This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

HARVARD COLLEGE
LIBRARY

BOUGHT FROM THE
AMEY RICHMOND SHELDON
FUND

СОЧИНЕНІЯ

Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ

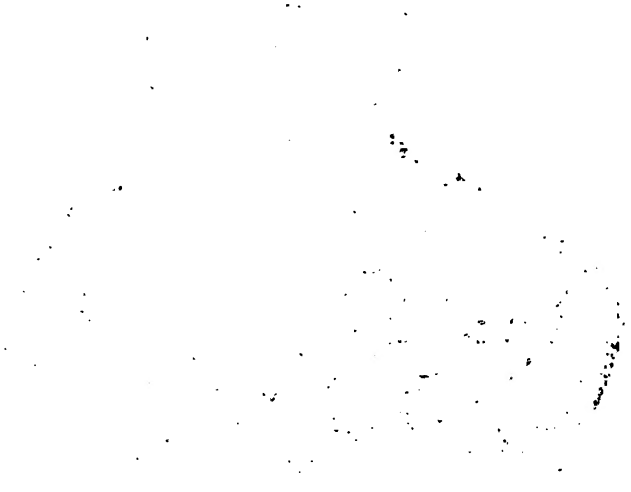
СЪ ПОРТРЕТОМЪ

СОДЕРЖАНІЕ: 1) Ж[illegible] рія. 2) [illegible] 3) Суздальцы и суздальщина [illegible] тературы и дѣятельности [illegible] 5) Карлъ Марксъ [illegible] [illegible] 7) Въ перемежку [illegible] 8) [illegible] 9) [illegible] 1879 [illegible]

Изданіе редакціи журнала „Русское Богатство".

ЦѢНА 2 РУБЛЯ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-Литографія Б. М. Вольфа, [illegible]
1897.



СОЧИНЕНІЯ
Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.

СОДЕРЖАНІЕ: 1) Жертва старой русской исторіи. 2) Идеализмъ, идолопоклонство и реализмъ. 3) Суздальцы и суздальская критика. 4) О литературной дѣятельности Ю. Г. Жуковскаго. 5) Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Ю. Жуковскаго. 6) Въ перемежку. 7) Письма о правдѣ и неправдѣ. 8) Литературныя замѣтки 1878 г. 9) Письма къ ученымъ людямъ. 10) Житейскія и художественныя драмы. 11) Литературныя замѣтки 1879 г. 12) Литературныя замѣтки 1880 г.

Изданіе редакціи журнала „Русское Богатство".

ЦѢНА 2 РУБЛЯ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-Литографія Б. М. Вольфа, Разъѣзжая ул., 15.
1897.

Slav 4347.4.3 (4)

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
FEB 4 1958

ОПЕЧАТКИ.

Стр.	*Строчка.*	*Напечатано.*	*Надо читать.*
2	8 сверху	энтографическія	этнографическія
12	10 снизу	жнани	жизни
16	18 „	мснѣе	менѣе
46	3 „	окончаніемъ	описаніемъ
60	27 „	наго	него
61	19 сверху	воображенін	воображенія
77	22 снизу	„нигилисы“	„нигилисты“
78	20–21 сверху	краиѣ не	крайне
79	15 снизу	спридирчивости	придирчивости
82	27 сверху	собя	себя
104	3 снизу	Гёксяли	Гёксли
117	30 „	авторитотовъ	авторитетовъ
119	17 сверху	пзъ	изъ
121	15 „	западиой	западной
122	22 „	литературѣ	литературѣ
125	21 „	нообходимо	необходимо
132	13 снизу	Berliu	Berlin
134	5–4 „	бролить	бросить
137	въ заголовкѣ	Ю. Т. Жуковскаго	Ю. Г. Жуковскаго
138	14—13 снизу	во владѣнія	во владѣніи
143	25 сверху	боставляя	обставляя
145	1 снизу	труды	трудъ
146	8 сверху	теорія	теоріи
152	25 „	ними	нами
160	16 „	толькоодно	только одно
161	27 снизу	въ глаза	въ связи
162	18 сверху	подъ порядкамъ	подъ порядкомъ
176	20 снизу	увѣряя васъ	увѣряю васъ
178	23 „	философія	философіи
178	3 „	нхъ	пхъ
184	28 „	не повредилъ	не повредивъ
188	6 „	научным и	научными
191	33 сверху	мальчики	мальчикъ
201	21 снизу	щесть	шесть
206	16 сверху	трудь	трудъ
208	20 „	то да	тогда
211	8 „	въ	къ
228	1 снизу	ли ни за что	или ни за что
230	26 „	на	на
236	5 сверху	эксплуатирующихъ	эксплуатирующихъ
236	10 снизу	къ Зацѣцѣ	къ Зацѣпѣ
244	5 сверху	я огорченій	и огорченій
250	7—8 „	посѣтятѣ	посѣтятъ
260	2 снизу	я и, таричекъ	я и старичекъ

Стр.	*Строчка.*	*Напечатано.*	*Надо читать.*
275	17 сверху	въ свѣтѣ	въ совѣтѣ
276	12—11 снизу	пальмовидныхъ	пальмелевидныхъ
304	27—26 „	изъ и этой	изъ этой
309	15 сверху	извините-съ	извините-съ
323	6 „	отпа	отца
340	18 „	такъ	тамъ
361	2 „	подали	попали
405	6 „	бы	было
461	16 снизу	еттественно	естественно
474	7 сверху	мсжду	между
481	3 „	относитсьа	относиться
482	2 снизу	осу денъ	осужденъ
487	1 „	Нотутъ	Но тутъ
519	19 сверху	осложняющимся	осложняющихся
520	10 снизу	въ томъ	въ этомъ
534	15 „	но	оно
539	13 „	по слабые	слабые
591	25 сверху	термены	термины
593	27 снизу	неогранизованный	неорганизованный
594	1 сверху	пантентованнаго	патентованный
598	17 снизу	лую	цѣлую
598	4 „	дли	для
607	26 сверху	Zumen	Lumen
609	17 „	общественнаго	общиннаго
615	23 снизу	времи	время
635	7 „	V	IV
658	15 „	коррективамъ	коррективомъ
687	23 сверху	тѣма	тѣмъ
706	10 „	исключеніями	исключеніями
718	27—26 снизу	привил егіяхъ	привилегіяхъ
714	1 „	дѣлъ	дѣло
744	28 сверху	исполиненіе	исполненіе
760	18—17 снизу	экпериненаальнымъ	экспериментальнымъ
762	17 сверху	Додо	Доде
891	17 снизу	не	но

Жертва старой русской исторіи *).

Пережитое и передуманное. Воспоминанія Василія Кельсіева. Спб. 1868. Галичина и Молдавія. Путевыя письма Василія Кельсіева. Спб. 1868.

Г. Кельсіевъ былъ у насъ еще недавно героемъ дня, о которомъ думали, говорили, писали. Исторія г. Кельсіева, дѣйствительно, такова, что ему вполнѣ подобаетъ быть героемъ дня. Судьба его выходитъ совершенно изъ ряду вонъ: человѣкъ былъ девять лѣтъ эмигрантомъ, бросался изъ одного угла Европы въ другой, велъ самую дѣятельную революціонную агитацію, всю душу свою клалъ въ это дѣло, замѣшанъ во множествѣ политическихъ дѣлъ, счастливо пробрался въ Россію съ фальшивымъ паспортомъ, такъ же счастливо ушелъ изъ нея, получилъ неслыханный у насъ титулъ «неосужденнаго государственнаго преступника», полтора года былъ атаманомъ некрасовцевъ въ Добруджѣ, чуть-чуть не попалъ въ черкесскіе султаны и въ концѣ-концовъ воротился въ Россію, получилъ помилованіе и обратился въ русскаго литератора. Такая странная, пестрая судьба дѣлаетъ г. Кельсіева очень любопытныхъ психологическимъ, если не психіатрическимъ субъектомъ. Понятно, что всѣ взоры обратились на него, какъ только онъ перешелъ русскую границу и даже раньше, какъ только стало извѣстно, что корреспондентъ «Голоса» Ивановъ-Желудковъ есть не кто иной, какъ самъ г. Кельсіевъ. Одни ликовали, другіе скорбѣли. Но затѣмъ, когда г. Кельсіевъ издалъ свои воспоминанія, оказалось, что гора родила мышь, и что въ фактѣ возвращенія г. Кельсіева въ Россію нѣтъ поводовъ ни къ скорби, ни къ ликованію. Въ этомъ именно смыслѣ и говорили о воспоминаніяхъ г. Кельсіева нѣкоторыя наши періодическія изданія, вслѣдствіе чего удѣлили особѣ г. Кельсіева по нѣскольку небрежныхъ словъ. Но нынѣ г. Кельсіевъ издалъ другую книгу, въ которой собралъ, въ исправленномъ и дополненномъ видѣ, свои путевыя письма изъ Галиціи и Молдавіи. Изъ этой книги оказывается, что нынѣшнее міросозерцаніе г. Кельсіева, стоящее въ такой рѣзкой противоположности къ его прежнему строю мыслей и чувствъ, есть, повидимому, не минутная вспышка, что оно сидитъ въ немъ глубоко и крѣпко, что онъ готовитъ къ печати новое сочиненіе, иллюстрированное, въ которое должны войти его археологическія и энтографическія изслѣдованія. Онъ обращается къ гуцуламъ съ такими словами объ этой своей будущей книгѣ: «О, вы, бѣдные Грыньки, Грицки, Ильки, вы не прочтете моихъ строкъ, вы не будете знать, сдержалъ ли я свое обѣщаніе, что буду писать о васъ, а я пишу, какъ мнѣ это ни тяжело, и выйдетъ въ свѣтъ книга, выйдетъ съ картинками, и я постараюсь, чтобы она была переведена на другіе языки, чтобы знали люди ваше горе, вашу слѣпоту». Затѣмъ г. Кельсіевъ издастъ, вѣроятно, еще что-нибудь и тамъ столь же горячо будетъ пропагандировать свои теперешніе взгляды. Нѣкоторыя особенности характера г. Кельсіева ручаются за эту горячность пропаганды и его литературную плодовитость въ теперешнемъ направленіи. Въ виду этого обстоятельства мы считаемъ полезнымъ остановиться на личности г. Кельсіева нѣсколько дольше, чѣмъ это было сдѣлано до сихъ поръ русскою печатью. Мы будемъ имѣть въ виду именно личность г Кельсіева, а не поднимаемые и затрогиваемые имъ вопросы. Помимо деликатности и щекотливости этого рода вопросовъ, у насъ есть и другія причины для сосредоточенія вниманія исключительно на особѣ автора. Г. Кельсіевъ говоритъ: «Я забирался въ захолустья и трущобы, въ которыя до меня никто изъ нашей пишущей братіи не забирался, а потому пишущая братія (я говорю собственно о дилетантахъ литературы и публицистики) судить меня не можетъ. Изъ захолустьевъ я вынесъ рядъ загадокъ. Разгадать ихъ не могу, а на общій судъ повергнуть дерзаю. Прошу только объ одномъ:

*) 1868, декабрь.

чтобы меньше обращали вниманія на мою личность, а больше на вопросы, которые я поднимаю». Въ этихъ немногихъ строкахъ (изъ предисловія къ «Галичинѣ и Молдавіи») столько противорѣчій, что мы считаемъ себя въ правѣ просьбы г. Кельсіева не исполнить. Да и какъ ее исполнить? Онъ въ томъ же предисловіи категорически заявляетъ, что съ нимъ можетъ спорить только человѣкъ, побывавшій въ Галиціи, и тутъ же объясняетъ, что, не напечатай онъ своихъ путевыхъ писемъ, у насъ не было бы *ровно ничего, ровно ни одной книги о Галичинѣ* (это напечатано у г. Кельсіева курсивомъ). На чей же, спрашивается, судъ отдаетъ онъ свои «загадки», и кто послѣ этого не дилетантъ по отношенію къ занимающимъ г. Кельсіева вопросамъ? Мы, лично, въ Галиціи не были и даже, откровенно говоря, и не собираемся туда ѣхать. Чтобы видѣть людское «горе и слѣпоту», забираться въ Галицію намъ, русскимъ, надобности, благодаря судьбѣ, нѣтъ. У насъ у самихъ есть «подлиповцы», есть у насъ вологжане, толпами бѣгущіе изъ своихъ деревень, есть много народу, мрущаго съ голода и вязнущаго въ умственной и нравственной грязи. Говоря о затрудненіяхъ, съ которыми строится въ Львовѣ церковь, г. Кельсіевъ замѣчаетъ, что мы, русскіе, могли бы помочь галичанамъ, но что «мы знаемъ все, кромѣ того, что творится на великой Руси». Нѣтъ, мы знаемъ кое-что изъ того, что творится на великой Руси, и чѣмъ ближе мы съ ней будемъ знакомиться, тѣмъ меньше у насъ, вѣроятно, будетъ охоты ѣхать въ Галицію и къ братьямъ-славянамъ вообще. Но мы бы, разумѣется, съ удовольствіемъ узнали что-нибудь о нашихъ дальнихъ сопленникахъ, хотя бы они намъ и приходились седьмой водой на киселѣ. Мы съ удовольствіемъ позаимствовались бы у г. Кельсіева свѣдѣніями и попытались дать посильныя разгадки на вынесенныя имъ изъ Галиціи, какъ онъ выражается, «загадки». Но, къ величайшему сожалѣнію, никакихъ загадокъ мы у г. Кельсіева не нашли. Загадки, можетъ быть, и были, но напрасно г. Кельсіевъ утверждаетъ, что онъ ихъ разгадать не можетъ. Онѣ для него уже разгаданы, да и, какъ увидимъ, онъ вовсе не такой человѣкъ, чтобы для него въ извѣстные моменты его жизни могли существовать загадки. Вопросы, поднятые имъ, сводятся къ одному вопросу о будущности различныхъ славянскихъ племенъ, такъ что здѣсь-то и слѣдуетъ искать загадокъ. Но ничего подобнаго у г. Кельсіева найти нельзя. Онъ все разгадалъ, все рѣшилъ до мельчайшихъ подробностей. Возьмемъ нѣсколько примѣровъ.

«Вся цѣль и идеалъ славянства состоитъ въ томъ, чтобы слиться, во что бы то ни стало, воедино; слиться въ одинъ народъ, возьмѣть одинъ языкъ, одну азбуку, одну церковь, такъ, чтобы чехъ считалъ бы себя въ Москвѣ такъ же дома, какъ великоруссъ будетъ считать себя дома въ Прагѣ. Задача, стало-быть, весьма нехитрая. Полагаясь на наши грубыя плечи, полагаясь на наши тяжелыя мышцы, братья славяне могутъ къ намъ примкнуть и слѣдовать за нами, зная, что плечо наше не дрогнетъ и мышца наша не встряхнется отъ чужого удара» («Галичина и Молдавія», стр. 81).

Ради всѣхъ братьевъ-славянъ, объясните, гдѣ тутъ загадка?

«Языкъ этотъ (нашъ русскій) таковъ, что каждый славянинъ долженъ ему учиться. Этотъ языкъ готовится сдѣлаться тѣмъ въ восточной Европѣ, чѣмъ до сихъ поръ былъ языкъ французскій, тѣмъ самымъ, чѣмъ языкъ Данте сдѣлался для итальянцевъ, а языкъ Лютера для нѣмцевъ. Какіе тутъ южноруссы, какіе тутъ сербы, болгары и платдейчеры въ виду тѣхъ великихъ событій, которыя происходятъ въ дни наши, когда всѣ племена соединяются воедино?.. Первое дѣло и первый вопросъ для всѣхъ славянъ въ настоящее время состоитъ въ томъ, какъ бы слиться воедино. Что выйдетъ дальше, про то наши внуки узнаютъ, но для насъ, людей второй половины XIX вѣка, иной задачи быть не можетъ» (l. c., 84).

Неужели и это загадка?

«Насталъ часъ освобожденія не только единовѣрныхъ намъ народовъ, но уже и единоплеменныхъ, изъ-подъ чужеземнаго ига» (l. c., 147).

«И пусть идутъ (поляки). Пусть и ихъ бѣдныя головы лягутъ за завѣтъ отцовъ, благо *нынѣшняя война будетъ послѣднею*» (l. c., 328).

«Когда присоединится Галичина къ Россіи, унія въ одинъ день исчезнетъ» (l. c., 107).

«Земля русская почти собрана (недостаетъ только Восточной Галичины и части Венгріи по рѣку Тису); теперь пришло время воскресенію царствъ Греческаго, Болгарскаго, Сербскаго и Румынскаго, которыя *должны* (курсивъ въ подлинникѣ) быть нашими союзниками въ будущемъ» (l. c., 299).

И т. д. Таковы загадки г. Кельсіева, который, очевидно, былъ бы очень плохимъ сфинксомъ. Г. Кельсіевъ утверждаетъ, что онъ ихъ самъ разрѣшить не можетъ и повергаетъ на общій судъ. Мы отказываемся принять участіе въ этомъ судѣ, во-первыхъ, потому, что судить, по принципу alibi, собственно, нечего—загадокъ нѣтъ; а во-вторыхъ, мы въ Галиціи не были, слѣдователь-

но, не можемъ удовлетворить тѣмъ условіямъ, которыя г. Кельсіевъ требуетъ отъ своихъ судей. Правда, непосредственное знакомство съ краемъ можетъ быть въ значительной степени замѣнено чтеніемъ книжекъ о данной мѣстности, но въ настоящемъ случаѣ такого суррогата у насъ нѣтъ. Единственная книга о Галиціи, какъ говоритъ самъ г. Кельсіевъ, есть его книга, а изъ нея трудно почерпнуть что-нибудь ясное и опредѣленное. Мы опять приведемъ примѣры.

На стр. 11-й г. Кельсіевъ утверждаетъ, что галичане платятъ правительству *треть* своего дохода. Слово *треть* онъ подчеркиваетъ и прибавляетъ еще въ скобкахъ: «Это я не ошибаюсь, что пишу *треть*». А на стр. 137-й уже оказывается, что «подать — *три четверти* (опять подчеркнуто) годового дохода» и что «уменьшить ее австрійское правительство не можетъ, потому что оно въ долгахъ по уши». Неужели же такъ въ самомъ дѣлѣ и не можетъ, даже до одной *трети* не можетъ? Хотя бы изъ любезности къ г. Кельсіеву уменьшило, а то онъ только что заявлялъ и подчеркивалъ, что не ошибается въ цифрѣ *треть*...

На стр. 30-й г. Кельсіевъ говоритъ слѣдующее: «Меня особенно рѣзко поразилъ недостатокъ уваженія къ церкви въ народѣ (русинскомъ), при всей его набожности и при всей его исключительно церковной жизни: въ церковь входятъ съ узлами, съ корзинами, съ разными покупками—такой безцеремонности я, помнится, нигдѣ еще не видалъ. Даже причастники явились съ узлами и, только становясь на колѣни передъ царскими вратами, отложили въ сторону свои ноши. Говорятъ, что въ костелахъ дѣлаютъ то же самое, стало-быть, это слѣдуетъ приписать католичеству». Это *стало-быть* очень мило, но не въ томъ пока дѣло. Одинъ русинъ вотъ что разсказывалъ г. Кельсіеву: «Когда москали, дай имъ Боже здоровья, ходили нашего цесаря спасать отъ венгровъ и отъ поляковъ», то поставили, между прочимъ, къ одному русину на постой солдата. «Встаетъ утромъ москаль, вычистилъ амуницію, хочетъ на службу божію итти и спрашиваетъ хозяина, чего тотъ не собирается. А тотъ смѣется: «чего, говоритъ, я пойду— это все глупость, попы выдумали, чтобы народъ обдирать». Какъ услышалъ это москаль, какъ взялъ хлопа за шиворотъ, какъ отвозилъ тесакомъ—и повелъ въ церковь. «Малый, говоритъ, ты, хохолъ, дурень, не смѣй разсуждать!» Изъ этихъ фактовъ слѣдуетъ, повидимому, вывести, что уніатъ-русинъ особеннаго уваженія къ церкви, по крайней мѣрѣ, въ смыслѣ храма, не питаетъ. Но это заключеніе разбивается на стр. 192 й такими словами того же самаго г. Кельсіева: «Въ каждомъ русскомъ селѣ стоитъ церковь, иногда бѣдная, чахлая, но въ воскресенье эта церковь полна народа (съ узлами и корзинками, или безъ оныхъ?). Въ католическомъ селѣ народу въ церкви дѣлать нечего, и, сравнительно, костелъ всегда пустѣе церкви. Народъ ходитъ въ костелъ потому, что нельзя же не идти куда-нибудь въ воскресенье. Вѣка ввели это въ потребность, въ привычку, но католикъ въ костелѣ вовсе не то, что православный въ церкви». Одному еврею г. Кельсіевъ прочиталъ такую нотацію по поводу неблагочестиваго поведенія: «Когда мы молимся, мы не прерываемъ моленья, по крайней мѣрѣ, по часу, и, выходя изъ церкви или вставая съ молитвы, не можемъ такъ легко заговорить о чемъ-нибудь житейскомъ, особенно когда нѣтъ крайней надобности. При гостяхъ, или если когда какое дѣло есть, мы лучше совсѣмъ не начинаемъ молиться, боясь осквернить высокое чувство молитвеннаго настроенія и нарушить рядъ мыслей о Богѣ чѣмъ-либо житейскимъ, будничнымъ. Мы молимся искренно и *искренно не молимся*, но Христа съ Веліаромъ не смѣшиваемъ». Подъ словомъ *мы* г. Кельсіевъ разумѣлъ въ этой нотаціи христіанъ; вообще, изъ которыхъ, пожалуй, можно выкинуть католиковъ, но сомнѣнія нѣтъ, что тѣ русины, которые въ церковь съ узлами ходятъ, Христа съ Веліаромъ не смѣшиваютъ и высокаго чувства молитвеннаго настроенія не оскверняютъ... Таковы сообщаемые г. Кельсіевымъ факты о странѣ, извѣстной изъ русскихъ ему одному. Хотите ли вы знать экономическій бытъ галичанъ— онъ вамъ на одной страницѣ сообщитъ, что они платятъ въ казну треть своего годового дохода, а чрезъ нѣсколько страницъ эта треть разрастется въ три четверти. Пожелаете ли вы узнать, богомольны ли русины,— г. Кельсіевъ скажетъ *нѣтъ*, а потомъ поправитъ и скажетъ *да*. Можетъ быть, васъ интересуютъ евреи, и вы хотите знать, напримѣръ, честолюбивы ли они? О, г. Кельсіевъ сію минуту разрѣшитъ вамъ этотъ вопросъ. На стр. 224 онъ вамъ категорически объяснитъ, что если христіанинъ, между прочими земными благами, мечтаетъ и о томъ, чтобы «набраться титуловъ», то «и еврею, разумѣется, того же (т. е. земныхъ благъ вообще и титуловъ въ частности) хочется, но для еврея это не составляетъ существенной потребности; для него роскошь—положительная прихоть». Ваше любопытство удовлетворено: но если вы перевернете одну страницу, то узнаете слѣдующее: «Извѣстно, что никто на свѣтѣ не имѣетъ такой слабости (какъ евреи) дѣлаться баронами. Это у нихъ доходитъ до пункта помѣшательства». Вы разводите руками... Но это, положимъ,

мелочь. Давайте же искать у г. Кельсіева фактовъ для рѣшенія вопроса, безспорно важнѣйшаго изъ всѣхъ, какіе только могли представиться автору во время его путешествія по Галиціи. Что польская и русская или русинская національности въ Галиціи не ладятъ,—это дѣло всѣмъ извѣстное. Но если есть борьба, значитъ, есть, были или будутъ побѣдители и побѣжденные. Кто же кого? Русины ли полонизируются или поляки руссифицируются? и куда тяготятъ или влекутся уніаты—къ православію или къ католицизму? На этотъ счетъ у г. Кельсіева есть своя оригинальная мысль, которою онъ, видимо, доволенъ, потому что часто повторяетъ ее. Вотъ эта мысль: «Насильственная латинизація и полонизація добилась своего: чаша перелилась черезъ край — русскіе спятъ и видятъ возвратиться къ восточному обряду. Поляки сами проиграли свое дѣло и сами догоняли русиновъ до возвращенія къ русской жизни. Поляки кричатъ, что все это движеніе поднято русскими агентами; а здѣсь даже и говорить-то по нашему почти никто не умѣетъ. Нѣтъ, это не наша пропаганда; наши посольства и наши дѣятели даже не знаютъ о здѣшнемъ краѣ. Если и есть здѣсь наша пропаганда, то ее поляки ведутъ, работая противъ насъ, но за насъ. Противъ Рѣчи Посполитой не Москва, какъ выражаются поляки, — съ Москвою, какъ со всякимъ внѣшнимъ врагомъ, можно бы справиться, — противъ нея религіозные и экономическіе интересы массы. Традиціи и традиціонный образъ дѣйствія приверженцевъ Рѣчи Посполитой — подпора русской народности. Это очень странно; но это такъ, и это можно вслухъ говорить, потому что поляки неисправимы. У поляковъ все есть, кромѣ политическаго такта». Прекрасно. Значитъ, дѣло Польши и католицизма такъ плохо въ Галиціи, дѣйствуютъ они такъ неумѣло, что русскимъ патріотамъ нечего бояться за русиновъ; они не ополячатся и не окатоличатся, какъ потому, что сами не хотятъ, такъ и потому, что католики-поляки ужъ очень плохи. Но, къ сожалѣнію, г. Кельсіевъ не даетъ читателю успокоиться на этомъ выводѣ, и на 37-й стр. разсказываетъ слѣдующій случай. Недалеко отъ Перемышля есть деревня Хлопичи, въ которой есть уніатская церковь, а въ этой церкви есть явленная икона Богородицы. Русины часто ходили молиться этой иконѣ, а за ними потянулись и мазуры—«мазуры, которые вовсе не дѣлаютъ различія между уніею и нашей схизмой и которые вовсе не прочь *смоскамить*». Католическіе священники немедленно устроили для мазурскихъ богомольцевъ придѣлъ въ хлопической церкви. Дѣло кончилось тѣмъ, что теперь, говорятъ, уніатовъ въ Хлопичахъ почти нѣтъ — большинство крестьянъ обратилось въ католицизмъ. «Чудо у русскихъ, восклицаетъ г. Кельсіевъ, повело къ ополяченію русскихъ—вотъ здѣсь какая сторона!» Дѣйствительно, любопытная должна быть сторона, — нехорошо только, что путешественниковъ съ толку сбиваетъ, ну, и читателей путевыхъ писемъ въ недоумѣніе вводитъ. Но положимъ опять-таки, что случай въ Хлопичахъ—единичный случай, нисколько не опровергающій общаго вывода г. Кельсіева относительно политической и религіозной несостоятельности поляковъ-католиковъ... Впрочемъ, какое ужъ тутъ положимъ. Вотъ другой выводъ г. Кельсіева, изложенный имъ на стр. 345: «Почти во всѣхъ нашихъ губернскихъ городахъ есть костелы, а мы до сихъ поръ еще не смекнули и не замѣтили, что въ этихъ костелахъ недостаетъ *уніатскихъ придѣловъ*. Посмотрите же, какъ распорядительны въ этомъ отношеніи поляки: они въ каждую уніатскую церковь втерли католическіе алтари, и эти алтари сдѣлали свое дѣло: дворянство и большинство мѣщанства западныхъ губерній окатоличилось. Мы—умныя головы—въ этомъ отношеніи *отлично помогаемъ имъ*, хоть святой отецъ въ Римѣ и не цѣнитъ нашихъ заслугъ. Мы кричимъ о русской народности, а въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нашей границы ополячиваются хохлы». Чему же вѣрить? Гдѣ правда въ единственной книгѣ о Галиціи? Поляки ли ведутъ русскую пропаганду, «работая противъ насъ, но за насъ»; «традиціонный ли образъ дѣйствія Рѣчи-Посполитой — подпора русской народности» или «мы — умныя головы — отлично помогаемъ имъ»?...

Итакъ, въ книгѣ г. Кельсіева нѣтъ ни «загадокъ», ни фактовъ, потому что послѣдніе другъ друга стираютъ. Слѣдовательно, предложеніе автора обратить вниманіе не на его личность, а на поднимаемые имъ вопросы, предложеніе это никѣмъ принято быть не можетъ. Личность же г. Кельсіева—другое дѣло, потому что для оцѣнки ея имѣются факты. Издавъ свою автобіографію, г. Кельсіевъ тѣмъ самымъ отдалъ на общій судъ всю свою бурную, богатую самыми экстраординарными приключеніями, жизнь. Г. Кельсіевъ—живое лицо, но, благодаря его книжкѣ, мы можемъ относиться къ нему, какъ къ герою какого-нибудь длиннаго, интереснаго и поучительнаго романа. Романъ этотъ дѣйствительно очень интересенъ и поученъ. Что касается до героя, который имъ вполнѣ освѣщается, то на этотъ счетъ мы пришли къ тому заключенію, что многотомный романъ г. Кельсіева еще далеко не конченъ. Онъ не успокоится, и передъ нимъ еще длинный рядъ разнообразнѣйшихъ при-

ключеній. Онъ будетъ еще и еще увлекаться, еще и еще проклинать свои увлеченія и называть ихъ ошибками, еще и еще подниматься и падать, и опять подниматься и опять падать. Такъ ему на роду написано, что можно безошибочно прочитать въ его воспоминаніяхъ и путевыхъ письмахъ, которыя дышатъ полнѣйшею искренностью, не смотря на то, что авторъ говоритъ подчасъ невѣроятныя вещи. Да, романъ г. Кельсіева не конченъ, и нѣкоторыя ближайшія главы его можно даже предсказать, отнюдь не претендуя на титулъ пророка. Намъ хочется этимъ заняться. Мы разскажемъ прошедшее, настоящее и ближайшее будущее г. Кельсіева. Во всѣ подробности мы, впрочемъ, входить не будемъ. Мы будемъ останавливаться только на тѣхъ моментахъ, которые уясняютъ основную складку ума и характера г. Кельсіева. Дѣло это мы считаемъ небезполезнымъ вотъ почему. Издалъ г. Кельсіевъ книжку, издалъ другую, готовитъ третью, собирается перевести ее на иностранные языки, издастъ четвертую, будетъ готовить пятую и т. д. Игнорировать такой рядъ литературныхъ явленій недобросовѣстно и невыгодно. А между тѣмъ дѣлать каждый разъ выписки, сравнивать одну страницу съ другой, доказывать, что авторъ никакихъ вопросовъ не ставитъ, а рѣшаетъ, на манеръ Александра Македонскаго, вопросы давно поставленные, рѣшенія свои основываетъ на фактахъ, которые одинъ другому противорѣчатъ,—это и скучно, и длинно. Есть гораздо болѣе удобный путь. Если намъ удастся уловить психическую суть г. Кельсіева, то разъ навсегда опредѣлится значеніе его трудовъ, разъ навсегда уяснятся ихъ фальшивыя струны. Да и въ психологическомъ отношеніи любопытно: былъ человѣкъ эмигрантомъ и соціалистомъ, а очутился панславистомъ; говоритъ человѣкъ: вотъ, говоритъ, вамъ загадки, разгадайте,—а загадокъ нѣтъ, а разгадывать нечего; говоритъ человѣкъ: вотъ я вамъ новые факты принесъ,—а фактовъ нѣтъ. Мы будемъ смотрѣть на г. Кельсіева не съ точки зрѣнія какой-нибудь литературной, общественной или политической партіи, а просто въ качествѣ психолога: посмотримъ, чѣмъ, какъ и при какихъ обстоятельствахъ жила душа г. Кельсіева, и изъ этихъ данныхъ выведемъ заключеніе о его личности и дальнѣйшей судьбѣ.

Прежде всего замѣтимъ, что и самъ г. Кельсіевъ настоящей своей цѣны не знаетъ, что явствуетъ изъ слѣдующихъ его словъ: «Не безъ причины же я попалъ въ эмиграцію, а другіе въ каторгу и ссылку. Неужели же вина въ государственныхъ преступленіяхъ исключительно личная? Не было даже у насъ доселѣ эмиграціи, а политическіе преступники наши прошлаго или XVII столѣтія носили совершенно другой характеръ и разнились отъ насъ до такой степени, что общаго между нами и какими-нибудь стрѣльцами, Долгорукими, Минихами ничего нѣтъ... Если есть въ насъ сходство съ кѣмъ-нибудь и если кого мы можемъ назвать своими прародителями, то развѣ Радищева и Новикова». Отсюда видно, что г. Кельсіевъ считаетъ себя прототипомъ всѣхъ русскихъ государственныхъ преступниковъ XIX столѣтія; всѣхъ ихъ онъ ставитъ съ собой на одну доску. Г. Кельсіевъ здѣсь, очевидно, забываетъ декабристовъ и петрашевцевъ, которыхъ судьба натолкнула на политическое преступленіе, разумѣется, совершенно не такъ, какъ его. Но этого мало. Г. Кельсіевъ можетъ служить представителемъ только развѣ ничтожнаго числа нашихъ политическихъ преступниковъ, и даже большинство его сверстниковъ, безъ всякаго сомнѣнія, было подвигнуто на преступленіе иными мотивами. Г. Кельсіевъ не имѣетъ собственно никакого права до такой степени обобщать свою личную исторію. А если принять въ соображеніе, что онъ считаетъ себя представителемъ не только нашихъ политическихъ преступниковъ, а и всѣхъ такъ называемыхъ отрицателей, нигилистовъ всѣхъ оттѣнковъ (а между отрицателемъ и политическимъ преступникомъ можетъ, разумѣется, быть весьма мало общаго), то притязанія его теряютъ уже всякую тѣнь состоятельности. Анализъ условій, при которыхъ развивался г. Кельсіевъ и которыя дали его дѣятельности толчокъ въ извѣстную сторону, покажетъ это какъ нельзя лучше.

Г. Кельсіевъ былъ вскормленъ и вспоенъ литературой карамзинскаго періода и мистиками конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка. Еще совсѣмъ ребенкомъ онъ жадно читалъ и перечитывалъ сочиненія Карамзина, митрополита Платона, Державина, Хераскова, «Сіонскій Вѣстникъ», «Пансальвина или князя тьмы», «Старика вездѣ и нигдѣ», «Гросфильдское аббатство», «Удольфскія таинства» и проч. Понятно, какой слѣдъ должно было оставлять подобное чтеніе на впечатлительной душѣ ребенка. Воображеніе развивалось на счетъ всѣхъ другихъ умственныхъ способностей. Дѣтскій мозгъ не могъ, разумѣется, совладать съ этимъ фантастическимъ міромъ, не могъ разсмотрѣть, что герои этой литературы ходятъ на ходуляхъ, что ихъ высокіе чувства и помыслы выкрашены и обмазаны сусальнымъ золотомъ, какъ гнилыя пасхальныя яйца. Герои высоки, ихъ чувства и помышленія блестящи, и дѣтская душа рвалась въ этотъ міръ таинственнаго, великаго и прекраснаго. Г.

Кельсіевъ и теперь, послѣ столькихъ жизненныхъ бурь и кораблекрушеній, съ замѣтною симпатіей относится къ этому міру. «Литература XVIII и начала XIX вѣка, на которой мнѣ пришлось вырасти,—говоритъ онъ,—и которая мнѣ такъ же сродни, какъ и современная, имѣла то странное свойство, что обаятельно отрѣшала читателя отъ всего окружающаго, вводила его въ ворота новаго міра,—міра, исполненнаго изящества, геройства, глубокихъ страстей, гдѣ не было ни дрязгъ, ни суеты житейской, и гдѣ не являлся ни одинъ Санхо-Панчо, задававшій, какъ въ нынѣшней литературѣ, вопросы своему Донъ-Кихоту, что на какія же деньги благородные рыцари изволятъ странствовать по свѣту? Житейскій вопросъ, вопросъ обыденной жизни для этой литературы не существовалъ, и мѣщанскаго въ ней ничего не было. Она звала къ подвигамъ, она развивала мечтательность и зарождала въ душѣ инстинктъ ко всему высокому и изящному». Таковъ фундаментъ развитія г. Кельсіева. Мы обращаемъ на это обстоятельство особенное вниманіе читателя, равно какъ и на то, что и теперь даже, въ приведенной тирадѣ, написанной въ 1868 г., сквозитъ симпатія къ «насъ возвышающему обману» въ ущербъ «тьмы низкихъ истинъ».

Изъ воспоминаній г. Кельсіева видно, что онъ былъ мальчикъ до крайности мечтательный, и что ни дома, ни въ школѣ не нашлось трезвыхъ элементовъ, достаточно сильныхъ для парализированія такой односторонности. О тогдашнемъ воспитаніи мы имѣемъ очень опредѣленныя и ясныя понятія, и потому можемъ повѣрить г. Кельсіеву на слово, что онъ росъ «внѣ всякаго умственнаго движенія». Всѣ умственныя силы его концентрировались, какъ въ фокусѣ, въ воображеніи, и расходовались на чтеніе вышеозначенныхъ книгъ, къ которымъ прибавились потомъ романы Дюма и русскихъ писателей въ родѣ Кукольника, да на постройку самыхъ невозможныхъ фантазій, гдѣ самъ фантазеръ фигурировалъ въ видѣ какого-нибудь героя. Часть дѣтской жизни очень многихъ изъ насъ ушла на подобное неестественное усиленіе воображенія; но недостатокъ парализирующихъ элементовъ и изъ ряду вонъ выходящая впечатлительность г. Кельсіева сдѣлали то, что фантастическая закваска легла въ основаніе всего его умственнаго склада, и все, что потомъ входило въ его жизнь, какъ ингредіентъ его нравственнаго существованія, должно было предварительно перебродить въ этой закваскѣ. Въ ней зародился и развился и политическій червь, точившій г. Кельсіева всю жизнь и точащій его по сіе время. О политическихъ дѣлахъ мальчикъ не имѣлъ, разумѣется, никакого понятія, и г. Кельсіевъ разсказываетъ по этому поводу нѣсколько очень забавныхъ анекдотовъ. Не смотря, однако, на это невѣдѣніе, онъ весьма сочувствовалъ декабристамъ, разсказы о которыхъ окружались въ то время мракомъ таинственности, и которыхъ онъ рисовалъ себѣ въ видѣ заговорщиковъ въ черныхъ плащахъ на красной подкладкѣ, съ кинжалами въ рукахъ и проч. Нечего и говорить, что онъ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о томъ, что это были за люди, какія у нихъ были дѣла и проч. Онъ любилъ ихъ «точно такъ же, какъ любилъ всякихъ графовъ С.-Жерменъ, Каліостро, Пиѳагора, египетскіе гіероглифы, Эккартсгаузена и вообще все загадочное и таинственное». Наступилъ 1848 годъ, 1849, Европа забушевала; а тутъ случилась исторія Петрашевскаго. Все это доносилось до юнаго г. Кельсіева урывками, подъ покровомъ таинственности, и его все сильнѣе и сильнѣе манила къ себѣ роль политическаго дѣятеля, то-есть не самая роль, потому что онъ ея не понималъ и не могъ понять, а обстановка этой роли.

Тѣмъ временемъ явилась натуральная школа съ своимъ безпощаднымъ анализомъ и безпощаднымъ зримымъ смѣхомъ сквозь незримыя слезы. Это было совершенно новое міросозерцаніе, діаметрально-противоположное ходульному и мишурному міросозерцанію предшествовавшаго періода литературы, и между ними началась борьба за существованіе въ умахъ русскихъ людей. Г. Кельсіевъ мастерски (съ точки зрѣнія изложенія, въ сущности же довольно сбивчиво) рисуетъ ту психическую раздвоенность, которую ему въ ту пору приходилось выносить. Приводимъ его послѣднія слова: «Вся тогдашняя литература, особенно переводная, на которой мы воспитывались, вся она совершенно шла въ разрѣзъ съ нашей натуральной школой и пріучила насъ видѣть въ себѣ героевъ, думать о заговорахъ, о побѣгахъ изъ тюремъ, услаждать себя мыслью о смерти на плахѣ и мечтать о томъ, какъ будешь рисоваться въ обществѣ въ качествѣ или общественнаго дѣятеля, или вездѣсущаго, всевѣдущаго и до невозможности ловкаго конспиратора. Въ полномъ невѣжествѣ общественной жизни, въ полномъ незнаніи ея вопросовъ, при отсутствіи всякой политической практики и опытныхъ политическихъ руководителей, мы росли на французскихъ романахъ, на уваженіи ко всему таинственному и необыкновенному и на сочувствіи къ заговорамъ и заговорщикамъ и, въ то же время, жадно слѣдили за произведеніями натуральной школы, которая развивала въ насъ способность если не все, то многое

отрицать, и пріучила насъ въ то же время сначала къ психическому, а потомъ и къ соціальному анализу. Бочка пороху была готова, стоило бросить искру, и искра эта не заставила себя ждать: крымская война грянула!»

Здѣсь оканчивается періодъ дѣтства г. Кельсіева. Какъ разъ къ началу крымской кампаніи онъ кончилъ курсъ въ коммерческомъ училищѣ. И отсюда начинается рядъ смѣняющихъ другъ друга, взаимно исключающихъ увлеченій и покаяній. Вступилъ г. Кельсіевъ въ жизнь, въ интеллектуальномъ отношеніи, какъ его мать родила. Никакой болѣе или менѣе твердой опоры у него не было,—ни научной подготовки, ни сильно развитого соціальнаго чувства, ни знанія общества и его нуждъ; словомъ, ничего такого, что бы могло послужить вѣхами на его жизненномъ пути. Не было у него подъ ногами никакой почвы, и стоялъ онъ отъ всего, что волнуетъ живыхъ людей, далеко, далеко, въ заоблачномъ мірѣ фантазіи. Натуральная школа только скользнула по его уму и не могла поколебать основную фантастическую закваску. Въ другихъ борьба между нашимъ литературнымъ мистицизмомъ и романтизмомъ съ одной стороны и натуральной школой съ другой—не могла долго тянуться. Всѣ, кто способенъ былъ понять новое «вѣяніе», какъ выразился бы А. Григорьевъ, должны были сразу ухватиться за него, какъ за якорь спасенія, они должны были сдѣлать скачокъ, потому что и сама натуральная школа была гигантскимъ скачкомъ. Г-на Кельсіева натуральная школа, быть можетъ, даже заставила еще крѣпче ухватиться за міръ ходуль и сусальнаго золота, хоть онъ и говоритъ, что «понималъ всю вопіющую ложь романтизма». И это совершенно понятно, потому что новое міросозерцаніе стояло въ слишкомъ рѣзкой противоположности къ этому небывалому, но чудному міру, которымъ г. Кельсіевъ успѣлъ уже насквозь пропитаться; между ними не было никакого перехода, никакой постепенности, которая могла бы пріучить г. Кельсіева смотрѣть на вещи иначе. Его изъ-подъ горячаго крана прямо посадили подъ холодный,—ощущеніе въ высшей степени непріятное, болѣзненное, и ему жаль было своихъ мишурныхъ героевъ. Но онъ переросъ ихъ, возврата къ нимъ уже не было, а фантастическая закваска осталась и требовала себѣ пищи. Пища нашлась, разумѣется.

Опредѣленныхъ стремленій у г. Кельсіева не было никакихъ. Онъ сталъ заниматься восточными языками, но не въ силу пониманія ихъ значенія, не въ силу сознательной потребности, а «вслѣдствіе своего общаго мистическаго и фантастическаго настроенія». Началась крымская кампанія, и г. Кельсіевъ пожелалъ поступить въ военную службу. «Мнѣ мечталось быть юнкеромъ, офицеромъ, говоритъ онъ, итти съ своимъ войскомъ на батарею, на приступъ. Мнѣ казалось, что я могъ бы оказать чудеса храбрости». Г. Кельсіевъ объясняетъ такое свое настроеніе патріотизмомъ и народною гордостью. Но едва-ли не вѣрнѣе объяснить его тою же фантастичностью и разнузданностью воображенія, хотя и патріотизмъ могъ тутъ играть нѣкоторую не важную роль. Г. Кельсіеву хотѣлось подвиговъ, славы, хотѣлось явиться передъ обществомъ и передъ самимъ собой увѣнчаннымъ лаврами или даже картинно умереть на полѣ битвы. Но онъ настолько уже выросъ, что долженъ былъ для него существовать и вопросъ: за что умереть? Отвѣтъ подсказалъ историческій моментъ: за Россію! И г. Кельсіевъ сдѣлался патріотомъ. Въ военную службу онъ однако не поступилъ. На другой день послѣ того, какъ онъ уже написалъ прошеніе о принятіи его на военную службу, вышло распоряженіе, чтобы всѣхъ вольноопредѣляющихся и вообще новичковъ не пускать въ дѣло, а оставлять въ резервѣ. Умереть картинно на полѣ битвы, воротиться со щитомъ иль на щитѣ не представлялось, значитъ, возможности. И г. Кельсіевъ отъ военной службы отказался. Ясно, что патріотизмъ стоялъ у него не на первомъ планѣ. Здѣсь, впрочемъ, сказалось и другое качество г. Кельсіева,—онъ не можетъ отдѣлить слова отъ дѣла. Г. Кельсіевъ—человѣкъ увлекающійся и энергическій. Если онъ предается чему-нибудь, то предается цѣликомъ и беззавѣтно. Въ этомъ его оправданіе и глубокое несчастіе. Эта цѣльность, вмѣстѣ съ его фантастичностью, именно и бросаетъ его отъ одного увлеченія къ другому, противоположному; и въ странномъ сплетеніи этихъ двухъ качествъ лежитъ ключъ къ объясненію всей его пестрой жизни. Г. Кельсіевъ жаждалъ дѣятельности, и дѣятельности не обыденной, а такой, въ которой можно было бы явиться героемъ; драпировка и аксессуары были ему нужны, а до направленія и цѣли этой дѣятельности ему дѣла не было. Направленіе и цѣль опредѣлились помимо его выбора. Но разъ они опредѣлились, онъ уже сталъ искреннимъ патріотомъ, и ему уже не просто картинно умереть хотѣлось, а картинно умереть за отечество. Благодаря фантастически-героическимъ наклонностямъ, его внезапно вспыхнувшій патріотизмъ принялъ очень узкое теченіе. Казалось бы, что вѣдь отечеству можно служить и не саблей только, а г. Кельсіеву какъ будто предстояла дилемма: или военный патріотизмъ или никакого. Да

и съ чего-жъ ему было проникнуться желаніемъ служить родной землѣ какъ-нибудь иначе? Какія тамъ были дѣятельности? Кропотливый трудъ ученаго, чиновника, скромная работа литератора, наконецъ трудъ физическій,—все это такъ мизерно, такъ плоско, такъ мало выдается впередъ, раскрашено такими блѣдными красками, что ему, мечтавшему о блескѣ и величіи, трудно было помириться съ такой незавидной долей. Возможность служить отечеству при трубныхъ звукахъ, среди свиста пуль и въ пороховомъ дыму, у него отняли, и онъ такъ же быстро бросилъ свой патріотизмъ, какъ и ухватился за него,—опять засѣлъ за восточные языки. А когда сама жизнь вступила въ число писателей натуральной школы и продиктовала исторіи знаменитую трагикомедію въ духѣ этой школы,—крымскую кампанію, г. Кельсіевъ, какъ теперь самъ утверждаетъ, проявилъ уже полнѣйшее отсутствіе патріотизма. И таковы всѣ его увлеченія до вчерашняго. Какъ фантазеръ, онъ видитъ всегда только одну сторону дѣла, и именно ту, которая открываетъ поле для геройскихъ подвиговъ; какъ человѣкъ энергическій и глубоко честный, онъ отдается односторонне понятому имъ дѣлу весь, безъ остатка. Равновѣсіе нарушается, и онъ летитъ стремглавъ, проклинаетъ свое увлеченіе, предается отчаянію, а вдали уже мерцаетъ для него какая-нибудь новая приманка,—новое поле для геройскихъ подвиговъ; онъ хватается за него, разыгравшееся воображеніе опять мѣшаетъ ему разсмотрѣть всѣ стороны дѣла, а ухлопываетъ онъ опять-таки себя всего.

Г. Кельсіевъ горько кается за то увлеченіе, съ которымъ онъ, вмѣстѣ съ другими, нападалъ, послѣ крымскихъ неудачъ, на правительство, равно какъ и въ своемъ западничествѣ и нигилизмѣ, которые довели его до эмиграціи. Въ періодъ этого нигилизма онъ, вѣроятно, столь же горько каялся въ своемъ минутномъ военномъ патріотизмѣ. Но теперь, оглядываясь на свое прошлое, онъ умалчиваетъ объ этомъ покаяніи по очень естественной причинѣ. Онъ оглядывается въ извѣстномъ настроеніи, къ которому его ребяческій патріотизмъ подходитъ ближе, нежели его ребяческій нигилизмъ. Если бы онъ писалъ свои воспоминанія нѣсколько лѣтъ тому назадъ, они получили бы, разумѣется, совершенно иную окраску, и въ нихъ наиболѣе выдвинулись бы и получили бы наиболѣе, такъ сказать, праздничный, свѣтлый видъ увлеченія и покаянія противоположнаго характера. Мы уже говорили о сбивчивости разсказа г. Кельсіева. Она объясняется очень просто. Г. Кельсіевъ пережилъ и передумалъ нѣсколько міросозерцаній. Вчерашнее замалевываетъ третьегодняшнее, сегодняшнее замалевываетъ вчерашнее. Но мѣстами изъ-подъ позднѣйшаго наслоенія выглядываетъ клочокъ предыдущаго, которое, въ своей общности, уже давно улетучилось изъ головы г. Кельсіева. Вотъ примѣръ. «Не въ Россіи же намъ искать было истины и разрѣшенія всякаго рода загадокъ,—говоритъ авторъ воспоминаній,—не въ Домостроѣ же намъ пускаться, не по Кормчей же устраивать жизнь и не справляться же о государственномъ правосудіи и неправосудіи въ Судебникахъ и въ Уложеніи».—Вы видите, что это говоритъ западникъ и нигилистъ, и говоритъ искренно. Но г. Кельсіевъ уже отрекся отъ западничества и нигилизма, и тутъ же дѣлаетъ такую приписку позднѣйшей формаціи: «Если бы въ самомъ дѣлѣ въ этихъ Домостроѣхъ, Кормчихъ, Судебникахъ и Уложеніяхъ заключались какія-нибудь великія истины и если бы изъ нихъ и можно было позаимствоваться уроками для будущаго и разъясненіями для настоящаго, мы не обратились бы къ нимъ по той весьма простой причинѣ, что эти почтенныя произведенія ума и сердца человѣческаго не только никакой репутаціей на Западѣ не пользуются, но извѣстны тамъ менѣе Магабгараты и законовъ Ману. Не знаютъ на Западѣ, стало быть, вниманія не заслуживаетъ».—Здѣсь слышится еще насмѣшливое отношеніе къ Домостроямъ и Кормчимъ, но достается уже и западничеству. А дальше ужъ совсѣмъ въ новомъ духѣ идетъ. Бываетъ и наоборотъ, что старое, уже пережитое и сданное въ архивъ, подкрашивается новымъ. Разсказываетъ, напримѣръ, г. Кельсіевъ о томъ, какъ онъ разговаривалъ съ однимъ евреемъ. Разговоръ происходилъ тогда, когда г. Кельсіевъ еще «вѣрилъ въ Польшу» и полагалъ, что «евреямъ при польскомъ правительствѣ будетъ легче, чѣмъ при нашемъ». И тѣмъ не менѣе, г. Кельсіевъ ухитряется передать свою бесѣду съ евреемъ такимъ образомъ:

«— Да, отвѣчалъ я, вотъ незадолго до моего отъѣзда я былъ въ Лондонѣ на одномъ польскомъ митингѣ, гдѣ слышалъ между прочимъ оратора еврея, уроженца Виленской губерніи. Зачѣмъ онъ попалъ въ Англію, я не знаю; но *этотъ господинъ изволилъ* говорить, что евреи такіе же граждане земли польской, какъ сами поляки, и что если бы поляки не оскорбляли ихъ, а искренно признали ихъ своими братьями, то еврейская молодежь точно также взяла бы ружья и косы и отправилась бы избивать и изгонять русскихъ, *унетающихъ* (курсивъ въ подлинникѣ) польскую народность» (Галичина и Молдавія, 216).

Здѣсь le tor fait la musique. Вслушай-

тесь въ это презрительное «этотъ господинъ изволилъ говорить», всмотритесь въ это курсивомъ напечатанное *унетающихъ*,—и скажите, вѣрно ли передаетъ г. Кельсіевъ свой собственный разговоръ, веденный имъ еще въ то время, когда онъ «вѣрилъ въ Польшу».

Работать надъ всѣми этими своего рода палимпсестами намъ нѣтъ никакой надобности. Приводить въ порядокъ воспоминанія и записки г. Кельсіева мы не будемъ, но реставрація нѣкоторыхъ пробѣловъ для нашей цѣли все-таки необходима. Поэтому мы напоминаемъ г. Кельсіеву пропущенный имъ фактъ—покаяніе по поводу военнаго патріотизма. Особенно горькихъ сѣтованій тутъ, вѣроятно, не было, потому что дѣло не успѣло зайти слишкомъ далеко, но было, вѣроятно, что-нибудь въ родѣ насмѣшки надъ самимъ собой. Такимъ образомъ исторія первыхъ лѣтъ общественной жизни г. Кельсіева получаетъ слѣдующій видъ: онъ принимается за изученіе восточныхъ языковъ единственно по свойственному ему стремленію ко всему таинственному и загадочному; затѣмъ то же самое воображеніе его, развитое въ ущербъ другимъ умственнымъ способностямъ, ищетъ для себя пищи въ военной славѣ, каковое стремленіе сплетается съ безсознательнымъ патріотизмомъ; потомъ г. Кельсіевъ кается въ своемъ патріотизмѣ и увлекается отрицаніемъ и западничествомъ. Увлекается онъ ими не сознательно, а опять-таки благодаря все той же фантастичности и порыванію въ область загадочнаго, неизвѣстнаго, но кажущагося по своей таинственности чѣмъ-то великимъ. Оказывается, что однимъ изъ факторовъ, толкнувшихъ его въ нигилизмъ, были «запрещенныя книги», т. е. не самыя запрещенныя книги, а таинственность ихъ обстановки,—та самая таинственность, ради которой ему въ дѣтствѣ были одинаково милы и декабристы, и Каліостро. Соціалистическія теоріи, напримѣръ, манили его не потому, чтобы онъ когда-нибудь задумывался надъ судьбой рабочаго человѣка,—объ этомъ въ его воспоминаніяхъ не говорится ни слова. Онъ добрался до всего того, что у насъ огуломъ окрещивается нигилизмомъ, главнымъ образомъ, путемъ фантазіи, а не анализа, который игралъ тутъ роль второстепенную и, такъ сказать, запоздалую Свой первый политическій шагъ онъ сдѣлалъ совершенно безсознательно, единственно потому, что положеніе политическаго дѣятеля разукрашивалось его фантазіей и съ дѣтства влекло его къ себѣ своею поэтической обстановкой, что не мѣшало ему въ антрактѣ рваться къ поэтической обстановкѣ молодого воина. Въ одинъ прекрасный день, будучи въ Лондонѣ, онъ вдругъ ни съ того ни съ сего является въ наше генеральное консульство и объявляетъ, что не считаетъ себя русскимъ подданнымъ. Объ этомъ своемъ несообразномъ поступкѣ онъ самъ разсказываетъ такъ:

«Никто меня не зналъ, ни во что я не былъ замѣшанъ, впереди мнѣ предстояла довольно недурная дорога, совершенно подходящая къ моей спеціальности, впереди все было свѣтло и даже завидно. Но я все бросилъ не только безъ всякой причины, не только безъ всякаго внѣшняго толчка, но даже противъ совѣтовъ и желанія редакторовъ «Колокола».

— Зачѣмъ вы хотите быть эмигрантомъ?— спрашивали они меня.

— Хочу работать.

— Да работать въ Россіи лучше. Оставаясь на службѣ и живя въ средѣ русскаго общества, хоть бы въ той же Ситхѣ, вы сдѣлаете вдесятеро больше, чѣмъ отрѣзываясь отъ Россіи и оставаясь въ Лондонѣ.

— И все-таки я останусь, потому что мнѣ есть многое что сказать, чего нельзя высказать въ Россіи.

— Да что же именно? Уясните себѣ, для чего вы остаетесь, уясните себѣ, что вы хотите сказать.

— Буду говорить о бракѣ, о христіанствѣ, о личности.

— Но что же именно? Дайте себѣ подробный отчетъ.

«Подробнаго отчета я себѣ дать не могъ и въ то же время не могъ не сдѣлаться эмигрантомъ: *время было такое, такимъ воздухомъ вѣяло*».

Г. Кельсіевъ, очевидно, ошибается, хотя неправда его вполнѣ добросовѣстная. Въ его эмигрантствѣ повинны совсѣмъ не то время и совсѣмъ не тотъ воздухъ, на которые онъ ссылается. Оно было продуктомъ его личной исторіи, коренившейся въ томъ добромъ старомъ времени, которое породило сказочный міръ, гдѣ съ дѣтства жилъ г. Кельсіевъ, въ томъ добромъ старомъ времени, которое «пріучило его видѣть въ себѣ героя, думать о заговорахъ, о побѣгахъ изъ тюремъ, услаждать себя мыслью о смерти на плахѣ и мечтать о томъ, какъ будешь рисоваться въ обществѣ въ качествѣ или общественнаго дѣятеля, или вездѣсущаго, всевѣдущаго и до невозможности ловкаго конспиратора». Замѣтьте, что если онъ даже и находилъ, что ему есть что сказать, чего нельзя высказать въ Россіи, то все-таки незачѣмъ было идти въ консульство и объявлять о своемъ отреченіи. Онъ могъ бы себѣ смирно сидѣть и писать о бракѣ, о личности, о чемъ угодно. Если бы онъ написалъ что-нибудь такое, что русскому подданному писать не подобаетъ, дѣло сдѣлалось бы помимо его. Для чего же онъ торопился?

А для того, чтобы поскорѣе осуществить свою завѣтную мечту и облечься въ грандіозный костюмъ революціоннаго дѣятеля. Онъ эмигрировалъ для эмигрантства. Взлелѣянный міромъ ходульныхъ и мишурныхъ героевъ, онъ, какъ настоящій ребенокъ, полѣзъ на ходули и налѣпилъ на себя мишурные позументы. И относительно его не была забыта глубокая заповѣдь: «блюдите, да не презрите единаго отъ малыхъ сихъ», — гг. Герценъ и Огаревъ и разговаривали съ нимъ какъ съ ребенкомъ.

Мы довели г. Кельсіева до его перваго политическаго шага и можемъ теперь оглянуться и посмотрѣть, насколько онъ годится въ представители умственнаго и общественнаго движенія послѣдняго десятилѣтія. Комбинація условій, подъ вліяніемъ которыхъ сложился умственный и нравственный характеръ г. Кельсіева, очевидно, не имѣетъ никакого отношенія къ духу времени, въ которое ему пришлось дѣйствовать. Не будь у его отца на комодѣ старыхъ книгъ, и судьба его получила бы, безъ сомнѣнія, совершенно иное теченіе. Г. Кельсіевъ полагаетъ, что онъ эмигрировалъ, повинуясь духу времени, который заставлялъ людей искать истины на Западѣ. Но, во-первыхъ, духъ времени состоялъ не въ томъ, а во-вторыхъ, если даже предположить, что г. Кельсіевъ искалъ истины на Западѣ, то правдоискательство это все-таки не играло тутъ главной роли. Оно относится къ его эмигрантству точно такъ же, какъ его патріотизмъ относился нѣкогда къ жаждѣ военной славы. Фантастическая закваска сказывалась, эмигрантскіе эполеты надѣть хотѣлось. Г. Кельсіевъ авантюристъ, т.-е. человѣкъ съ сильнымъ воображеніемъ и энергіей, жаждущій сильныхъ ощущеній для самыхъ ощущеній. А такихъ людей, хотя и было много во всѣ времена и у всѣхъ народовъ, но на низшей степени цивилизаціи ихъ всегда больше, чѣмъ на высшей, на которой поле фантазіи необходимо уже. Если намъ замѣтятъ, что духъ времени опредѣлилъ по крайней мѣрѣ категорію похожденій г. Кельсіева, то и это будетъ справедливо только въ малой степени. Онъ и самъ говоритъ о себѣ, что онъ уже «въ болѣе зрѣломъ возрастѣ пускался въ разныя смѣлыя предпріятія, чтобы провѣдать невѣдомые міры въ родѣ Галичины, малоазійскаго русскаго села Майносъ, и не столько въ силу сознательной потребности, сколько по обаянію всѣмъ загадочнымъ, пускался въ десятки разныхъ удалыхъ похожденій». Донъ-Кихотъ, начитавшись рыцарскихъ романовъ, вздумалъ возстановить рыцарскіе нравы какъ разъ наперекоръ духу времени. Когда Гете написалъ своего Вертера, мечтательные и сантиментальные нѣмцы и нѣмки стали одинъ за другимъ бросаться въ воду безъ всякой видимой причины. Неужели и этотъ фактъ слѣдуетъ объяснить духомъ времени, а не болѣзненно-развитымъ воображеніемъ и стремленіемъ къ геройничанью? Нѣтъ, г. Кельсіевъ, духъ времени въ вашемъ дѣлѣ не при чемъ. Вы жертва не новой русской исторіи, какъ вамъ теперь кажется, а старой. Вы развивались наоборотъ какъ разъ въ разрѣзъ духу времени конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только взять тѣ крайности, до которыхъ дошли нѣкоторые наши отрицатели, разбѣжавшись подъ толчкомъ духа времени: отрицалось искусство, любовь сводилась на половой инстинктъ; словомъ, самымъ азартнымъ образомъ подрубались именно тѣ ходули, на которыхъ воспитывался г. Кельсіевъ, Все это валило черезъ пень колоду, вмѣстѣ съ ходулями сплошь и рядомъ подрубались и ноги. Но таковъ законъ реакціи; формула: «уголъ паденія равенъ углу отраженія» имѣетъ приложенія не только въ механикѣ, а и въ психологіи индивидуальной и соціальной. Во всей этой неистовой рубкѣ съ плеча сказывался, однако, духъ времени, состоявшій именно въ потребности трезваго взгляда на жизнь и людскія отношенія. Крымская кампанія развѣяла вѣру въ нашу призрачную мощь. Натуральная школа разбила обаятельный міръ лжи. Эта потребность трезвыхъ взглядовъ дѣйствительно носилась въ воздухѣ и ею опредѣлялся духъ времени. А что нѣкоторые изъ насъ, торопясь снять съ себя напяленные на насъ нашими предками мишурные кафтаны, въторопяхъ и не замѣтили, какъ сняли съ себя не только эти кафтаны, а и послѣднюю рубашку, даже кожу съ себя содрали и боли сгоряча не чувствовали, — такъ въ этомъ ужъ не духъ времени виноватъ, а историческій законъ реакціи.

Дѣло это очень простое и понятное Г. Кельсіевъ до сихъ поръ не можетъ сдержать своего негодованія, вспоминая о натуральной школѣ. «Впередъ, впередъ рвется душа,— говоритъ онъ, — къ вѣчнымъ идеаламъ, поставленнымъ человѣчествомъ со времени еще старика Гомера, и вдругъ, какъ какимъ холоднымъ вѣтромъ пахнетъ, раздается хохотъ, неумолимый хохотъ Гоголя и въ воображеніи станутъ мелькать Чичиковы, Собакевичи, Ноздревы, высѣченный поручикъ Пироговъ, и станешь прикидывать этотъ хохотъ на своихъ товарищей, на учителей и на воспитателей. Щемящая хандра залѣзаетъ въ душу, самъ видишь свои недостатки и видишь чрезвычайно ясно, потому что дался и усвоился аналитическій методъ, самъ себя разбираешь, самъ себя потрошишь и съ вопіющею, безпощадною ясностью ви-

дишь свои недостатки и чувствуешь, какъ силы слабѣютъ, какъ руки опускаются, и понимаешь, что не только далекъ, но даже и не существуетъ этотъ роскошный міръ замковъ, поэзіи, подвиговъ, путешествій».

Общій тонъ воспоминаній и писемъ г. Кельсіева не даетъ мѣста никакимъ сомнѣніямъ насчетъ того, на чьей сторонѣ лежатъ его симпатіи: на сторонѣ ли жесткой, неутѣшительной правды, или на сторонѣ «роскошнаго міра замковъ и подвиговъ». Ему и до сихъ поръ жаль этого развѣяннаго міра, и въ этомъ-то и сказывается неприкосновенность къ нему духа времени. Г. Кельсіевъ называетъ нашихъ отрицателей «правдоискателями» и причисляетъ къ нимъ и себя. Да, духъ времени заключался въ правдоискательствѣ, но г. Кельсіевъ правдоискателемъ не былъ. Другимъ не жаль было величавой и таинственной лжи,—въ этомъ нѣтъ ни вины ихъ, ни заслуги: духъ времени былъ таковъ. А г. Кельсіеву было жаль, потому что духъ *сіо* времени былъ иной. Натуральная школа явилась какъ бомба въ средѣ русскаго общества и съ одного маху разбила его на козлищъ и овецъ. Одни пошли направо, другіе налѣво. Одни, лизнувъ горечи, ухватились еще крѣпче за свой старый патошный леденецъ; другіе же не могли оторваться отъ этой горечи, потому что въ ней была правда. И здѣсь-то и получили свое начало наши правдоискатели. Г. же Кельсіевъ выбрался изъ этого искуса такъ, что, оставаясь въ сущности въ своемъ завѣтномъ мірѣ фантазіи, съ формальной стороны примкнулъ къ новому движенію, сдѣлался героемъ во имя новыхъ идей, которыхъ еще не пережилъ, не переварилъ, даже хорошенько не передумалъ. Онъ сѣлъ между двухъ стульевъ. Точно также онъ сдѣлался когда-то патріотомъ изъ жажды военной славы и геройства. Когда исторія зальетъ насъ своей волной, когда застынетъ все, что теперь бьется и суетится, историкъ нашего общества съ удивленіемъ взглянетъ на г. Кельсіева, какъ посмотрѣлъ бы съ удивленіемъ палеонтологъ на окаменѣлость, найденную имъ не въ той формаціи, въ которой ей отведено мѣсто природою.

Другіе шли инымъ путемъ. Въ другихъ духъ времени дѣйствительно сказывался. Духъ времени разсѣялъ, напримѣръ, образы поселянъ и поселянокъ, мирно срывающихъ полевые цвѣтки и наслаждающихся жизнью подъ отеческимъ кровомъ благодѣтельнаго помѣщика, — образы, которые любилъ маловать предшествовавшій періодъ литературы. Вмѣсто нихъ поднялся мужикъ, мужикъ поротый, грубый, невѣжественный, надъ которымъ надо подумать, чтобы высмотрѣть въ немъ едва тлѣющую искру божію. И намъ и въ голову не могло прійти сожалѣніе о мірѣ замковъ, подвиговъ и путешествій. Если мы и оглядывались на прошедшее, такъ только съ допросами: вы скрывали отъ насъ этотъ образъ и малевали вмѣсто него эту куклу? значитъ и вездѣ, и во всемъ вы насъ такъ надували? Такъ прочь же ваше лживое искусство, прочь ваши кумиры! Что у васъ есть еще? любовь? честь? вѣжливость? жертва? родственное чувство? нравственность? патріотизмъ? народность? Вотъ они— смотрите... Все, за что мы ни хватались изъ наслѣдія нашихъ предковъ, оказывалось расписанною и позолоченною ложью, а намъ правда нужна была, во что бы то ни стало. Такъ что г. Кельсіевъ очень вѣрно охарактеризовалъ суть нашего послѣдняго общественнаго броженія, назвавъ его правдоискательствомъ. Но онъ дѣлаетъ ошибку, во-первыхъ, причисляя къ правдоискателямъ себя, а во-вторыхъ, утверждая, что духъ времени состоялъ въ исканіи правды на Западѣ. На Западѣ мы искали правды съ самаго Петра Великаго. И во всякомъ случаѣ «западники» старше «нигилистовъ». Припомните хоть Чаадаева. Отрицатели наши не щадили и Запада, и выгораживали изъ него развѣ только нѣкоторыя философскія системы и соціалистическія теоріи. Но это предметъ, выходящій за предѣлы нашей статьи.

Итакъ, отрицаніе наше вообще вытекало изъ чистаго и свѣтлаго источника, мы опьянѣли уже потомъ. Намъ били по глазамъ, по сердцу безобразія, и мы отдавали удары. Многіе дѣлали это непосредственно, безъ призыва къ намъ какихъ бы то ни было западныхъ теорій, даже смутно представляя ихъ себѣ, наконецъ, даже вовсе не зная о ихъ существованіи. О такихъ людяхъ у насъ имѣютъ очень смутное понятіе, потому что русская литература ими мало занимается. Во всякомъ случаѣ къ нимъ г. Кельсіева причислить нельзя, потому что, если они и не уступятъ ему въ способности отдаваться дѣлу цѣликомъ, то они не геройствуютъ и о красномъ плащѣ съ кинжаломъ не мечтаютъ. Были у насъ и такіе, которые по интенсивности фантазерства, пожалуй, и равны г. Кельсіеву. Но, во-первыхъ, фантазія ихъ тяготѣла къ будущему, а фантазія г. Кельсіева, — къ прошедшему; они ошибались потому, что вырывали клочокъ изъ будущаго и хотѣли его связать съ настоящимъ, которое съ нимъ вовсе не гармонировало; г. же Кельсіевъ вырывалъ клочокъ изъ прошедшаго и его стремился втиснуть въ настоящее, которое и съ его клочкомъ не вязалось. Во-вторыхъ, если мы возьмемъ отношенія самихъ фантазеровъ къ ихъ фантазіямъ, то и здѣсь не найдется ничего общаго у г. Кельсіева съ

людьми новаго времени, съ правдоискателями. Въ мечтахъ г. Кельсіева на первомъ планѣ стоялъ онъ самъ, закутанный въ фантастическій плащъ, а правдоискатели видѣли прежде другихъ, а потомъ ужъ себя. Они въ зеркало не смотрѣлись. Они мечтали немедленно осчастливить человѣчество или, по крайней мѣрѣ, Россію, а осчастливить столько народу—это такое счастіе, которое трудно уступить другому кому-нибудь. Каждый изъ нихъ думалъ, разумѣется, и о своемъ *я*, но счастіе этого *я* расплывалось въ общемъ счастіи, сливалось съ нимъ. Мы опять таки говоримъ о тѣхъ, въ комъ дѣйствительно сказывался духъ времени.

Совершивъ свой первый политическій шагъ, сдѣлавшись эмигрантомъ, г. Кельсіевъ. вѣроятно нѣсколько времени любовался своимъ эмигрантствомъ, какъ любуется своими эполетами свѣже-испеченный прапорщикъ. Другого дѣла онъ бы, можетъ быть, еще долго не нашелъ себѣ, если бы ему не попались подъ руку, какъ онъ самъ говоритъ, совершенно случайно, нѣкоторые любопытные документы о раскольникахъ, которые онъ и издалъ въ Лондонѣ. Эта счастливая случайность опредѣлила не только родъ, а и видъ его дѣятельности. Г. Кельсіевъ не могъ удовлетвориться изданіемъ документовъ о раскольникахъ, во-первыхъ, потому, что ему не давало покою воображеніе, а во-вторыхъ, потому, что онъ человѣкъ энергическій и увлекающійся цѣликомъ. Какъ онъ выражается, — назвался груздемъ, такъ полѣзай въ кузовъ, то-есть, объявилъ себя эмигрантомъ, такъ дѣйствуй. Мы видѣли, что онъ точно такъ же разсуждалъ и передъ крымской кампаніей: назвался патріотомъ, воиномъ, такъ дѣйствуй. И эмигрантомъ, и воиномъ его побуждала сдѣлаться одна и та же струнка — фантастичность, но затѣмъ онъ уже совершенно сливался съ дѣломъ, отдавался ему тѣломъ и душой. Документы о раскольникахъ натолкнули на самихъ раскольниковъ. Вы видите, что у г. Кельсіева не было и намека на какой-нибудь планъ дѣйствія. Онъ отправился въ Россію съ турецкимъ паспортомъ, испыталъ достаточно сильныхъ ощущеній и уѣхалъ. Мы не знаемъ хорошенько, что онъ собственно дѣлалъ въ Россіи, но легко можетъ быть, что надобности въ его поѣздкѣ не было никакой. Во всякомъ случаѣ красный плащъ и вообще обстановка имѣли тутъ не послѣднее значеніе.

Вслѣдъ за тѣмъ мы встрѣчаемъ г. Кельсіева въ Турціи въ средѣ раскольниковъ. Сбивчивость его разсказа (такъ красиво и даже художественно въ подробностяхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ сбивчиво въ цѣломъ можетъ писать только такой человѣкъ, какъ г. Кельсіевъ,—le style c'est l'homme) дѣлаетъ невозможнымъ прослѣдить его психическую жизнь за это время. Такъ въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ, что еще въ *1862* и *1863* годахъ «ходъ польскаго возстанія и паденіе нигилистовъ окончательно потрясли въ немъ вѣру въ его идеалы»; а дальше оказывается, что въ *1864* году онъ звалъ къ себѣ въ Добружду эмигрантовъ изъ Европы для всевозможныхъ соціальныхъ опытовъ. Вообще разсказъ объ этомъ времени, когда въ Кельсіевѣ надламывалась вѣра въ его прежніе кумиры, страдаетъ особеннымъ отсутствіемъ ясности, можетъ быть вслѣдствіе туманности самаго времени. Объ эту пору молнія мысли уже почти не появляется въ бурѣ чувствъ г. Кельсіева. Можно сказать только, что онъ уразумѣлъ несостоятельность своихъ мечтаній и впалъ въ отчаяніе. Наши слова покажутся, можетъ быть, слишкомъ жестокими, но мы все-таки скажемъ, что и здѣсь, вѣроятно, звенѣла старая струна, что г. Кельсіеву жалко было разстаться съ обстановкой революціи. Мы рѣшаемся даже утверждать, что это былъ одинъ изъ главныхъ факторовъ его отчаянія, потому что иначе онъ не могъ бы поправиться послѣ той страшной ампутаціи, которую онъ совершилъ надъ собой. Какъ бы то ни было, но отчаяніе г. Кельсіева не имѣло предѣловъ. Онъ впалъ уже въ дѣйствительный, заправскій нигилизмъ. Онъ отвернулся отъ всего міра. Онъ «сосредоточился, ушелъ въ себя и пришелъ къ такимъ отрицаніямъ, до какихъ едва-ли кто-нибудь доходилъ». Онъ «проклялъ міръ, родъ человѣческій, мысль, чувство, свои воспоминанія и свои надежды». Это понятно. У него было отнято все. Но это *все*, чему онъ отдавался весь, было не *все*, а *часть*, нѣчто половинчатое и одностороннее. И потому можно бы было, даже не зная его дальнѣйшей судьбы, предсказать, что онъ опять встанетъ на ноги. Ему нужно было только какъ-нибудь совершенно случайно наткнуться еще на какую-нибудь сторону жизни, и онъ такъ же узко, односторонне и пылко ухватился бы и за нее. Такъ и случилось.

Г. Кельсіевъ жилъ въ періодъ этого своего настоящаго нигилизма въ Яссахъ. Онъ все проклялъ, все отринулъ, но не могъ отказаться отъ двухъ вещей: *пѣть* и *думать*. «Въ періодъ моего діогенства, — говоритъ онъ,—я никакъ не могъ отказаться отъ передумыванья разныхъ спорныхъ, прежде дорогихъ мнѣ, научныхъ вопросовъ о славянской миѳологіи и филологіи, которыми я занимался въ старое время. Грамматическія формы и обрывки миѳовъ то и дѣло носились у меня въ памяти и невольно сосредоточивали на себѣ мое вниманіе, а отъ мір-

ского и житейскаго умъ мой сталъ совершенно свободенъ». Г. Кельсіеву улыбнулась наука, и его стало уже опять тянуть на Западъ. Садится онъ, въ одинъ прекрасный день, на пароходъ. Куда онъ ѣхалъ, онъ не зналъ. У него не было ни одного плана. Пароходъ сталъ подъѣзжать къ Вѣнѣ, и ему захотѣлось на нее посмотрѣть, такъ, просто, безъ опредѣленной цѣли. Въ Вѣнѣ окончательно развернулись проснувшіяся въ Яссахъ стремленія къ филологіи. Онъ назвался турецкимъ подданнымъ Ивановымъ-Желудковымъ, раскольникомъ хлыстовской секты, сталъ ходить на лекціи въ университетъ и сдѣлался постояннымъ посѣтителемъ Славянской Бесѣды. Здѣсь въ г. Кельсіевѣ совершился необычайный переворотъ, необычайный по своей быстротѣ и по своей рѣзкости. Если принять въ соображеніе, что въ концѣ 1866 года (а можетъ быть и въ началѣ 1867) онъ былъ еще въ Яссахъ и предавался полнѣйшему и настоящему нигилизму, а о парижскомъ покушеніи 25-го мая узналъ уже въ Россіи, на дорогѣ въ Петербургъ, то на самый психическій переворотъ остается изумительно малое число дней. А переворотъ былъ крутой: г. Кельсіевъ изъ нигилиста на манеръ героя повѣсти г. Тургенева «Довольно» превратился въ панслависта... Вотъ какъ живучъ г. Кельсіевъ и какъ быстро становится онъ на ноги. Разбито было все, чѣмъ человѣкъ жилъ девять лѣтъ; упалъ человѣкъ изнеможенный и обезсиленный, и нѣсколькихъ мѣсяцевъ пребыванія въ Вѣнѣ, въ средѣ молодыхъ славянъ, достаточно было для воскресенія его изъ мертвыхъ!... Нѣтъ, чудеса не прекратились, они у насъ воочію совершаются...

Однако, чудеса чудесами, но поискать ихъ причины все-таки не мѣшаетъ. Замѣтьте, что г. Кельсіевъ въ первое время пребыванія своего въ Вѣнѣ наталкивался на такія явленія, отъ которыхъ, какъ онъ самъ говоритъ, его просто коробило. Онъ не считалъ себя русскимъ, стыдился за Россію, а молодые славяне, утверждаетъ онъ, всѣ поголовно обожаютъ ее. Онъ привыкъ уважать «конституціонный порядокъ, свободу личности, федерацію, свободу слова», а молодые славяне все это отрицали и «въ полемическомъ увлеченіи даже доходили до апоѳеоза кнута, самоуправства, нагайки донскихъ казаковъ и предварительной цензуры». И въ такой-то средѣ, которая со всею жизнью г. Кельсіева не имѣла ничего общаго, онъ оріентировался такъ быстро. Онъ указываетъ еще на одинъ элементъ, который дѣлалъ его чужимъ среди славянъ, на свое «невѣжество, которое уже разъ сдѣлало изъ него эмигранта и агитатора, даже помимо согласія Герцена и Огарева». Онъ былъ круглымъ невѣждой относительно славянъ (по крайней мѣрѣ какъ живыхъ людей) и въ нѣсколько мѣсяцевъ узналъ ихъ, полюбилъ, полюбилъ черезъ нихъ Россію, и опредѣлились для него даже въ будущемъ взаимныя отношенія славянъ и Россіи. Все это было бы, разумѣется, невѣроятно, если бы это разсказывалъ не г. Кельсіевъ, каждому слову котораго мы безусловно вѣримъ. И каково бы ни было наше личное отношеніе къ тому, чѣмъ жилъ г. Кельсіевъ прежде и чѣмъ онъ живетъ теперь, мы не можемъ отказать ему въ нашемъ, разумѣется, условномъ, уваженіи. Да и вся жизнь г. Кельсіева, все его прошлое таково, что мы не можемъ, не смѣемъ ему не вѣрить. То-есть невозможны для насъ сомнѣнія въ его искренности, но это не мѣшаетъ намъ самымъ скептическимъ образомъ относиться къ разсказываемымъ имъ фактамъ. Если онъ намъ скажетъ, что онъ видѣлъ свинью въ ермолкѣ, что на его глазахъ курочка бычка родила и поросеночекъ яичко снесъ, мы ему повѣримъ. Онъ дѣйствительно, значитъ, видѣлъ, но мы можетъ быть и усомнимся въ реальномъ существованіи свиньи въ ермолкѣ. Онъ въ этомъ отношеніи совершенно уподобляется тѣмъ наивнымъ гуцуламъ, о которыхъ онъ разсказываетъ: «увѣренность въ людкахъ (гуцульскіе гномы) сдѣлала то, что гуцулы дѣйствительно ихъ видѣли и дѣйствительно съ ними разговаривали и видѣли ихъ красныя шапочки» (Галичина и Молдавія, 256). Г. Кельсіевъ въ своихъ сужденіяхъ восходитъ не отъ частнаго къ общему, а наоборотъ. Не фактами опредѣляется его міросозерцаніе и общее настроеніе, а напротивъ, общее настроеніе, почерпнутое изъ области фантазіи, опредѣляетъ вѣсъ, мѣру и цвѣтъ фактовъ. Когда онъ говоритъ, напримѣръ, что вездѣ въ славянскихъ земляхъ, въ Молдавіи, къ кому бы онъ ни обратился, къ чехамъ, галичанамъ, сербамъ, молдаванамъ, отъ всѣхъ онъ слышалъ однѣ и тѣ же похвалы Россіи и одно и то же желаніе подойти подъ скипетръ русскаго царя; когда онъ говоритъ это, мы ему вѣримъ, онъ несомнѣнно слышалъ эти похвалы и желанія. Но въ то же время мы смотримъ на общее настроеніе г. Кельсіева. Настроеніе это состоитъ въ любви къ Россіи и въ увлеченіи мыслью о единствѣ славянъ. Для насъ все становится понятнымъ: къ его общему настроенію подгоняются факты и подгоняются сами собой, невольно. Происходитъ это такимъ образомъ, что г. Кельсіевъ слышитъ только то, что подходитъ къ его міросозерцанію въ данную минуту, и не слышитъ ничего противоположнаго, вслѣдствіе чего именно для него и не существуетъ загадки.

Это свойство всѣхъ сильныхъ, но односторонніхъ увлеченій. Пріѣзжаетъ, напримѣръ, г. Кельсіевъ въ Россію, пріѣзжаетъ въ самомъ радужномъ настроеніи духа, и отблескъ этой радуги озаряетъ всѣ встрѣчающіеся ему на пути факты. Становой приставъ, обыскивающій его, позволяетъ ему оставить при себѣ складной ножъ. Г. Кельсіевъ сейчасъ же замѣчаетъ: «Можно, спрашивается, обойтись вѣжливѣе?—а только русскіе такъ умѣютъ». Исправникъ встрѣчаетъ его вѣжливымъ вопросомъ; онъ пишетъ: «гдѣ въ Западной Европѣ встрѣтите вы такую человѣчность?» Жандармъ объясняетъ другому, что онъ долженъ за порядкомъ смотрѣть, а не драться, г. Кельсіевъ приходитъ въ восторгъ. Пьяный солдатъ произноситъ такую рѣчь:

«Какая же я сволочь? Почему вы говорите, что я сволочь? Я ношу мундиръ, на службѣ состою, значитъ, на государственной службѣ, говорится, на коронной. Такъ развѣ я могу быть сволочью? Развѣ сволочь на службу принимаютъ? Я ношу мундиръ, какъ же я буду сволочь? Сами разсудите, по какому праву вы мнѣ сказали, что я сволочь»? и т. д.

Сами разсудите, по какому праву г. Кельсіевъ приходитъ по поводу этого перла ораторскаго искусства въ восторгъ и видитъ въ немъ свидѣтельство несомнѣннаго русскаго прогресса за послѣднее время? Прогрессъ этотъ дѣйствительно несомнѣненъ, но можемъ увѣрять, если не увѣрить, г. Кельсіева, что пьяные солдаты у насъ и прежде довольно часто произносили такія рѣчи. Для г. Кельсіева онѣ новость только потому, что онъ прежде смотрѣлъ на нихъ иначе. При томъ же самый этотъ поучительный разговоръ есть, такъ сказать, мечъ обоюдоострый: если одинъ пьяный солдатъ такъ высоко ставитъ государственную службу, что возмущается, когда его, состоящаго на этой службѣ, обругали сволочью, то вѣдь обругавшій-то сволочью этого значенія государственной службы, значитъ, въ такой-же мѣрѣ не понимаетъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ этотъ же фактъ былъ бы вывернутъ г. Кельсіевымъ на изнанку и послужилъ бы для него доказательствомъ крайней неразвитости нашихъ солдатъ. Вся бѣда въ томъ, что онъ имѣетъ уши не для того, чтобы *слышать*, а для того, чтобы *слушать*. Еслибъ эти уши были одинаково отверсты для всѣхъ фактовъ, для всѣхъ сторонъ, г. Кельсіевъ не былъ бы, можетъ быть, ни эмигрантомъ, ни панславистомъ. Эта пригонка къ извѣстному, заранѣе поставленному, принципу заводитъ его иногда въ чрезвычайно оригинальныя логическія трущобы.

Итакъ, говоримъ мы, мы вѣримъ всѣмъ словамъ г. Кельсіева, но сомнѣваемся иногда въ сообщаемыхъ имъ фактахъ. Когда онъ говоритъ, что онъ въ нѣсколько мѣсяцевъ узналъ быть, нужды, желанія и стремленія славянъ, онъ говоритъ совершенно искренно, ему кажется, что онъ дѣйствительно узналъ все это. Но это не мѣшаетъ намъ думать, что онъ ничего этого не знаетъ. Точно также сомнѣваемся мы и въ вѣрности оцѣнки г. Кельсіевымъ причинъ, побудившихъ его возратиться въ Россію. Впрочемъ, тутъ собственно и сомнѣваться не въ чемъ. Г. Кельсіевъ не столько излагаетъ причины переворота, сколько изумляется ему и благодаритъ за него судьбу. Приходится реставрировать пробѣлъ.

Г. Кельсіевъ, еще будучи въ Вѣнѣ, «началъ догадываться, что наша государственная жизнь слагается двумя путями, что у насъ двѣ потребности, которыя идутъ параллельно и одинаково требуютъ удовлетворенія. Одна изъ нихъ—*внутреннія преобразованія;* другая — *опредѣленіе границъ* сліяніемъ во-едино всѣхъ славянскихъ племенъ, въ какой бы формѣ ни совершилось это сліяніе, въ видѣ ли Бѣлградской губерніи, Бѣлградскаго намѣстничества, или въ видѣ Slavischer Bund, United Slavonian State. Мы не повторимъ г. Кельсіеву отрезвляющаго вопроса Санхо-Панчо Донъ-Кихоту: «на какія же деньги благородные рыцари изволятъ странствовать по бѣлу свѣту?» Г. Кельсіевъ этого вопроса не любитъ (вообще, какъ только дѣло дойдетъ до такой холодной и молчаливой штуки, какъ цифры, г. Кельсіевъ совершенно пасуетъ). Поэтому-то ему и кажется, что «мы, при всѣхъ нашихъ долгахъ и финансовыхъ затрудненіяхъ, все-таки богаты», и что не бѣда, еслибъ помощь славянамъ «тяжело отозвалась на нашемъ бюджетѣ». Онъ увѣряетъ даже, что одинъ священникъ въ семь лѣтъ присоединилъ къ православію *двѣсти восемьсотъ* мазуровъ. (Понятное дѣло, что это опечатка, но опечатка очень характерная). Но любопытно бы было знать, почему г. Кельсіевъ лично для себя избралъ не скромную дѣятельность по части *внутреннихъ преобразованій*, а грандіозное дѣло *опредѣленія границъ?* Отвѣтъ даетъ вся жизнь г. Кельсіева: онъ выбралъ грандіозное дѣло потому, что оно грандіозно, и отринулъ скромное потому, что оно скромно. Здѣсь же лежитъ и ключъ къ уразумѣнію послѣдняго покаянія и послѣдняго увлеченія г. Кельсіева: грандіозное дѣло нашлось. Г. Кельсіевъ, живя въ средѣ славянъ, прислушивался къ глухому шуму славянскаго вопроса, который въ сотый разъ выдвигается исторіей впередъ, хотя и можетъ разрѣшиться черезъ годъ, а можетъ, и черезъ сто лѣтъ. Г. Кельсіевъ

сложилъ было съ себя всѣ мечты и проклялъ всѣ свои надежды, потому что не было подъ руками дѣла героическаго, такого дѣла, отъ котораго могла бы закружиться голова,— судьба подтасовала славянскій вопросъ. Г. Кельсіевъ, благодаря вѣнскимъ студентамъ, додумался до того, что вопросъ не можетъ быть рѣшенъ иначе, какъ слитіемъ съ Россіей. И вотъ, опять замелькало передъ нимъ что-то въ родѣ стариннаго краснаго плаща, только на новой подкладкѣ. Чутье авантюриста сказало, что здѣсь есть пожива. Онъ пустился изучать Галицію или, какъ онъ ее называетъ, «Галичину», «Галицко-Володимірское королевство». «Путешествіе это было довольно опасное». Любопытно слѣдить, какъ г. Кельсіевъ *изучалъ* Галицію. Поѣхалъ онъ туда, какъ увѣряетъ, еще полный сомнѣніями. Онъ «искренно вѣрилъ въ то, что для поляковъ есть возможность существовать отдѣльно». Вѣнскіе студенты отрицали это, но онъ «имъ не вѣрилъ и вѣрить имъ было ему отвратительно». Онъ поѣхалъ, чтобы лично повѣрить вопросъ на мѣстѣ столкновенія русинской и польской національностей. И, однако, изъ второго его письма, изъ Перемышля, видно, что онъ уже порѣшилъ вопросъ и поѣхалъ въ Галицію съ готовымъ a priori рѣшеніемъ. Онъ уже въ этомъ второмъ письмѣ (а ихъ всѣхъ тридцать два) «начинаетъ соглашаться съ тѣми историками, которые говорятъ, что гибель Польши была неизбѣжна». Пригонка фактовъ къ пріисканной мѣркѣ производится г. Кельсіевымъ самымъ прозрачнымъ образомъ. Видитъ онъ, напримѣръ, что русины лѣнивы, на подъемъ тяжелы, однимъ словомъ, тюфяки. Онъ объясняетъ это пятисотлѣтнимъ польскимъ гнетомъ и утверждаетъ, что у русина одна мечта, одна мысль—избавиться отъ поляка и отъ еврея, и «онъ ни за что приняться не хочетъ, ожидая, когда наступитъ этотъ желанный часъ». Мы ничего не имѣемъ противъ этого объясненія, потому что въ настоящей статьѣ ни о чемъ, кромѣ личности г. Кельсіева, не говоримъ и не намѣрены говорить. Но тѣмъ не менѣе для насъ вполнѣ ясно, что это объясненіе пригнанное, ибо на той же страницѣ г. Кельсіевъ высказываетъ предположеніе, что Олегъ такъ охотно промѣнялъ Новгородъ на Кіевъ и такъ хорошо устроился въ теперешней южной Россіи потому, что южноруссы уже тогда были тюфяками. Онъ категорически говоритъ: «Вотъ *откуда пошла есть русская земля*—отъ безсилія хохлацкаго». А мы уже отпраздновали тысячелѣтіе Россіи. Слѣдовательно, южноруссы «ни за что приниматься не хотѣли» еще, по крайней мѣрѣ, за пятьсотъ лѣтъ до пятисотлѣтняго польскаго гнета.

Нечего, значитъ, и говорить о томъ, что г. Кельсіевъ поѣхалъ въ Галицію съ цѣлью провѣрить на мѣстѣ какой бы то ни было вопросъ,—всѣ занимавшіе его вопросы были имъ рѣшены уже въ Вѣнѣ. А поѣхалъ онъ такъ себѣ,—людей посмотрѣть и себя показать, въ особенности, послѣднее. Съ чего онъ, напримѣръ, проѣхался къ гуцуламъ? А вотъ съ чего. Увидѣлъ онъ гуцульскіе топоры, которые показались ему очень похожими на топоры бронзоваго періода цивилизаціи. «Отыскать слѣды бронзоваго періода въ XIX вѣкѣ было лестно, говоритъ онъ, но еще лестнѣе было отыскать ихъ у русскихъ», и г. Кельсіевъ поѣхалъ къ гуцуламъ. А гуцулы этими самыми топорами вотъ какія штуки выкидываютъ. «Перепьются иногда и какую-нибудь нелюбимую опозоренную дѣвку, которую надо *развѣнчать*, потому что она лишилась невинности, привяжутъ за косу къ столбу и отсѣкутъ ей косу, метая въ нее этими топориками». По истинѣ слѣды бронзоваго періода! Но почему показалось г. Кельсіеву, что ихъ въ XIX вѣкѣ отыскать *лестно* и еще *лестнѣе* отыскать именно у русскихъ, — это извѣстно только Богу и г. Кельсіеву. Вотъ до какого страннаго патріотизма доводитъ г. Кельсіева его стремленіе въ міръ подвиговъ и путешествій. Неужели же онъ въ самомъ дѣлѣ жертва новой, а не старой исторіи? Возьмите любого пошляка,—мы ужъ не говоримъ кого-нибудь покрупнѣе, пошляка возьмите въ родѣ Ситникова, въ которомъ новая исторія отразилась какъ солнечный лучъ въ грязной лужѣ,—и этотъ пошлякъ не скажетъ, что лестно открыть слѣды бронзоваго періода у русскихъ. А г. Кельсіевъ говоритъ это, но у насъ не повернется языкъ назвать его пошлякомъ. Онъ просто несчастный человѣкъ, и корень его несчастія лежитъ въ нашемъ прошедшемъ, въ томъ прошедшемъ, которое сдирало съ мужика послѣдній грошъ на благотворительное дѣло; въ томъ прошедшемъ, которое уносило въ обаятельный міръ подвиговъ и путешествій; въ томъ прошедшемъ, въ которомъ такъ отвратительно переплетались барство и рабство и которое не умѣло сводить прихода съ расходомъ. Туда-то и должны направляться его проклятія и сѣтованія. А если новая исторія и опредѣлила форму, въ которую вылилась старая сущность, то только въ такой же мѣрѣ, въ какой кухонная форма опредѣляетъ фигуру гороховаго киселя: его можно вылить и просто на тарелку, и въ видѣ башни какой-нибудь, но и тутъ и тамъ будетъ все тотъ же кисель гороховый...

Прокатившись такимъ образомъ по Галиціи, г. Кельсіевъ, разумѣется, окончательно убѣдился въ своей мысли о необходимости

сліянія славянъ подъ сѣнью Россіи. Затѣмъ онъ попалъ, волею судьбы и графа Голуховскаго, въ Яссы, тамъ объявилъ о своемъ желаніи вернуться въ Россію, потомъ явился въ Скулянскую таможню, по дорогѣ вспомнилъ предсказаніе г. Погодина г. Герцену, что онъ вернется въ Россію, потому что всѣ русскіе бродяги, промотавъ послѣднюю копейку и хвативъ для храбрости шкаликъ, сами сдаются становому; сдался и былъ отвезенъ въ Петербургъ. Все это сопровождалось, разумѣется, не малымъ количествомъ сильныхъ ощущеній. Въ Петербургѣ онъ испыталъ новое удовольствіе: «что ни говорите, говоритъ онъ, но есть своего рода удовольствіе обращать на себя общее вниманіе и служить предметомъ толковъ; это какъ-то щекочетъ самолюбіе». Нынѣ онъ занимается славянскимъ вопросомъ и забываетъ, на какія деньги странствуютъ благородные рыцари.

Мы обѣщали предсказаніе. Вотъ оно. Если славянскій вопросъ вспыхнетъ и втянетъ въ себя Россію,—г. Кельсіевъ пойдетъ въ самую середину огня и, можетъ быть, сложитъ свою буйную голову за какихъ-нибудь современныхъ представителей бронзоваго періода. Если же окажется, что г. Кельсіевъ не совсѣмъ хорошо узналъ въ нѣсколько мѣсяцевъ нужды и стремленія славянъ; если политическія событія отодвинутъ рѣшеніе славянскаго вопроса или даже рѣшатъ его, но безъ треску и грома; если и это поле для геройскихъ подвиговъ исчезнетъ,—г. Кельсіевъ проклянетъ свое увлеченіе и увлечется... Чѣмъ? этого мы не можемъ предсказать. Спиритизмомъ, можетъ быть, а можетъ быть уѣдетъ въ Южную Америку и сдѣлается претендентомъ на кресло президента Парагвайской республики...

Идеализмъ, идолопоклонство и реализмъ *).

Der alte und der neue Glaube. Ein Bekenntniss von D. Fr. Strauss. 4 Auflage. Bonn. 1873.

I.

«Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающій обманъ», говорили наши отцы устами своего великаго поэта. Мы смѣялись надъ ними, негодовали. Мы были и остаемся правы въ своихъ насмѣшкахъ и негодованіи. Въ самомъ дѣлѣ, чего иного заслуживали тѣ безконечныя фальсификаціи, самообольщенія, иллюзіи, то мелочныя до послѣдней степени, то до послѣдней степени наглыя, то личныя, то національныя, которымъ предавались наши «отцы»? Конечно, смѣху достойно погодинское ломаніе копій за Дмитрія Донского и Сусанина. Оно было бы ни мало не смѣшно, если бы г. Погодинъ имѣлъ въ виду только историческую истину, если бы онъ доказывалъ только, что физіономіи Дмитрія Донского и Сусанина фальсифицируются г. Костомаровымъ, не соотвѣтвѣтствуютъ ихъ дѣйствительнымъ образамъ. Но г. Погодинъ не скрываетъ, что возвышающій насъ обманъ дороже ему тьмы низкихъ истинъ, и это достойно смѣху, какъ достойно смѣху положеніе страуса, прячущаго голову и воображающаго, что онъ спасенъ. И потомъ еще остается открытымъ вопросъ: на сколько идеализація Сусанина или Дмитрія Донского представляетъ обманъ, насъ возвышающій? Не будемъ говорить о русскихъ великихъ людяхъ, возьмемъ другой примѣръ, возьмемъ хоть Вильгельма Телля. Новѣйшія изслѣдованія показали, что этотъ герой швейцарской исторіи никогда не существовалъ, не существовалъ по крайней мѣрѣ какъ герой — освободитель родины. Многіе швейцарцы видятъ въ этихъ изслѣдованіяхъ личную для себя обиду, нѣкоторую низкую истину, и предпочитаютъ ей идеализацію Вильгельма Телля, какъ завѣдомый обманъ, но обманъ, швейцарцевъ возвышающій. Между тѣмъ образъ Вильгельма Телля, какимъ его знаетъ по Шиллеру весь міръ, можетъ служить только укоромъ его соотечественникамъ, которые послѣ него прославились въ качествѣ исправныхъ солдатъ наемниковъ, дерущихся за кого бы то ни было, лишь бы имъ исправно платили деньги, которые и нынѣ славны въ качествѣ кондитеровъ, кельнеровъ, швейцаровъ, гидовъ, боннъ и гувернеровъ. Конечно, это все профессіи, сами по себѣ очень почтенныя. Швейцарцы, надо имъ отдать справедливость, сумѣли до извѣстной степени облагородить даже некрасивую профессію наемнаго солдата, ибо они честно исполняли разъ принятыя на себя

*) 1873, декабрь.

обязательства и дрались и умирали за, во всѣхъ отношеніяхъ, чужое для нихъ дѣло, такъ какъ не многія націи умѣютъ драться и умирать за свое собственное. Но рядомъ съ фигурой Телля все это такъ мизерно, такъ плоско, такъ подчасъ прямо скверно, что даже съ точки зрѣнія народной гордости швейцарцамъ было бы лучше не имѣть въ прошедшемъ Вильгельма Телля. Имѣть предка героя, передъ которымъ преклоняется весь образованный міръ, и самому быть храбрымъ наемнымъ солдатомъ, ловкимъ кельнеромъ, искуснымъ гидомъ, честнымъ швейцаромъ,— что тутъ лестнаго? Честный швейцаръ прекрасенъ, въ своемъ родѣ даже честный и храбрый наемникъ швейцарецъ, умирающій за подрядившаго его божію милостію короля Франціи Людовика XVI. Но если они мнѣ говорятъ, что они дѣти героя, они теряютъ въ моихъ глазахъ; они не только не увеличили своего духовнаго наслѣдства, но сократили его: Телль былъ такъ же честенъ, какъ швейцаръ, но кромѣ того онъ былъ не швейцаръ, онъ былъ такъ же храбръ и самоотверженъ, какъ и наемникъ Людовика XVI, но кромѣ того онъ былъ не наемникъ. Такъ что въ концѣ концовъ миѳъ Вильгельма Телля есть обманъ, не только не возвышающій швейцарцевъ, а даже бросающій на нихъ очень невыгодную тѣнь.

Эти, какъ видитъ читатель, очень нехитрыя соображенія вполнѣ приложимы и ко всѣмъ другимъ идеализаціямъ историческихъ дѣятелей, ко всѣмъ историческимъ миѳамъ, держащимся на принципѣ: «тьмы низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающій обманъ». Пріемы такой идеализаціи и отрицанія низкой истины получили недавно очень любопытное обобщеніе на почвѣ біологіи и философіи въ нападкахъ на теорію Дарвина. Пока эта теорія не была еще доведена до своего логическаго конца въ примѣненіи къ человѣку, она встрѣчала оппозицію главнымъ образомъ въ средѣ спеціалистовъ, только отчасти опиравшихся на побочныя, чуждыя наукѣ соображенія. Но какъ только теорія развѣнчала происхожденіе человѣка (еще до книги самого Дарвина объ этомъ предметѣ), на нее поднялись и профаны, и спеціалисты, становясь уже на этотъ разъ на точку зрѣнія принципа: тьмы низкихъ истинъ и т. д. Преданія всѣхъ народовъ приписываютъ человѣку болѣе или менѣе высокое происхожденіе, и хотя въ цивилизованномъ мірѣ они давнымъ давно и ослабѣли, и искривились подъ напоромъ исторіи, но оказались однако при случаѣ настолько живучими, что Дарвинъ и дарвинисты совершили нѣкоторымъ образомъ гражданскій подвигъ своимъ примѣненіемъ теоріи къ человѣку. Опять-таки, какъ въ случаѣ съ Сусанинымъ и Дмитріемъ Донскимъ, можно спорить съ дарвинистами, можно находить, что они невѣрно изображаютъ намъ исторію происхожденія человѣка, но толковать по этому поводу о низкихъ истинахъ и возвышающемъ насъ обманѣ—смѣшно. И опять-таки Дарвинъ совершенно правъ, говоря, что народныя преданія о происхожденіи человѣка отъ боговъ, полу-боговъ и т. п. представляютъ собою обманъ, нисколько насъ не возвышающій; что если ужъ говорить о возвышеніи, то для человѣка въ тысячу разъ лестнѣе пробиться до своего теперешняго положенія изъ низкихъ сферъ, изъ глубины природы. Въ самомъ дѣлѣ, только съ этой точки зрѣнія человѣкъ дѣйствительно возвысился; со всѣхъ другихъ онъ палъ, посрамилъ своихъ предковъ, и, во имя послѣдовательности, надо сказать вмѣстѣ съ Руссо: все прекрасно, выходя изъ рукъ природы, и все изгаживается въ рукахъ человѣка.

Идеализація личностей и фактовъ давно прошедшаго времени, заставляя людей отворачиваться отъ истины, сама по себѣ можетъ вызвать только смѣхъ. Но, къ сожалѣнію, она сопровождается почти всегда такими наѣздами въ область текущихъ дѣлъ и настоящей минуты, которые ни малѣйше не способствуютъ утвержденію веселаго расположенія духа. Въ развѣнчиваніи миѳовъ видятъ обыкновенно не только низкую истину, но приплетаютъ сюда измѣну отечеству, проповѣдь безбожія, вообще что-нибудь, находящееся въ вѣдѣніи прокурорскаго надзора. Низкая истина есть, по выраженію Фейербаха, объектъ полиціи, и полиція приглашается для установленія границы между истиною и наукой. Это ужъ, разумѣется, не весело и не смѣшно. Это, прямо сказать, возмутительно. Но возмутительность аксессуаровъ идеализаціи еще удвоивается, когда дѣло идетъ о фактахъ и личностяхъ современныхъ. Намъ, русскимъ, этого рода идеализація особенно знакома и памятна по крымской войнѣ, когда вся наша хваленая мощь оказалась жалкою фикціей. До войны считалось позорнымъ и преступнымъ даже помышлять о неудовлетворительности нашей государственной организаціи, о непрочности ея началъ, о возможности какого-бы то ни было печальнаго исхода. Это были для насъ низкія истины, и только громъ непріятельскихъ пушекъ и избіеніе севастопольскихъ героевъ убѣдили насъ, что низкая истина есть все-таки истина, что шапками никого не закидаешь и идеализаціей этихъ шапокъ никого не удивишь. Послѣдствія крымской войны были для нашего общества неисчислимы и въ высокой степени благотворны. Всѣ они сходятся, какъ

сліянія славянъ подъ сѣнью Россіи. Затѣмъ онъ попалъ, волею судьбы и графа Голуховскаго, въ Яссы, тамъ объявилъ о своемъ желаніи вернуться въ Россію, потомъ явился въ Скулянскую таможню, по дорогѣ вспомнилъ предсказаніе г. Погодина г. Герцену, что онъ вернется въ Россію, потому что всѣ русскіе бродяги, промотавъ послѣднюю копейку и хвативъ для храбрости шкаликъ, сами сдаются становому; сдался и былъ отвезенъ въ Петербургъ. Все это сопровождалось, разумѣется, не малымъ количествомъ сильныхъ ощущеній. Въ Петербургѣ онъ испыталъ новое удовольствіе: «что ни говорите, говоритъ онъ, но есть своего рода удовольствіе обращать на себя общее вниманіе и служить предметомъ толковъ; это какъ-то щекочетъ самолюбіе». Нынѣ онъ занимается славянскимъ вопросомъ и забываетъ, на какія деньги странствуютъ благородные рыцари.

Мы обѣщали предсказаніе. Вотъ оно. Если славянскій вопросъ вспыхнетъ и втянетъ въ себя Россію,—г. Кельсіевъ пойдетъ въ самую середину огня и, можетъ быть, сложитъ свою буйную голову за какихъ-нибудь современныхъ представителей бронзоваго періода. Если же окажется, что г. Кельсіевъ не совсѣмъ хорошо узналъ въ нѣсколько мѣсяцевъ нужды и стремленія славянъ; если политическія событія отодвинутъ рѣшеніе славянскаго вопроса или даже рѣшатъ его, но безъ треску и грома; если и это поле для геройскихъ подвиговъ исчезнетъ,—г. Кельсіевъ проклянетъ свое увлеченіе и увлечется... Чѣмъ? этого мы не можемъ предсказать. Спиритизмомъ, можетъ быть, а можетъ быть уѣдетъ въ Южную Америку и сдѣлается претендентомъ на кресло президента Парагвайской республики...

Идеализмъ, идолопоклонство и реализмъ *).

Der alte und der neue Glaube. Ein Bekenntniss von D. Fr. Strauss. 4 Auflage. Bonn. 1873.

I.

«Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающій обманъ», говорили наши отцы устами своего великаго поэта. Мы смѣялись надъ ними, негодовали. Мы были и остаемся правы въ своихъ насмѣшкахъ и негодованіи. Въ самомъ дѣлѣ, чего иного заслуживали тѣ безконечныя фальсификаціи, самообольщенія, иллюзіи, то мелочныя до послѣдней степени, то до послѣдней степени наглыя, то личныя, то національныя, которымъ предавались наши «отцы»? Конечно, смѣху достойно погодинское ломаніе копій за Дмитрія Донского и Сусанина. Оно было бы ни мало не смѣшно, если бы г. Погодинъ имѣлъ въ виду только историческую истину, если бы онъ доказывалъ только, что физіономіи Дмитрія Донского и Сусанина фальсифицируются г. Костомаровымъ, не соотвѣтвѣтствуютъ ихъ дѣйствительнымъ образамъ. Но г. Погодинъ не скрываетъ, что возвышающій насъ обманъ дороже ему тьмы низкихъ истинъ, и это достойно смѣху, какъ достойно смѣху положеніе страуса, прячущаго голову и воображающаго, что онъ спасенъ. И потомъ еще остается открытымъ вопросъ: на сколько идеализація Сусанина или Дмитрія Донского представляетъ обманъ, насъ возвышающій? Не будемъ говорить о русскихъ великихъ людяхъ, возьмемъ другой примѣръ, возьмемъ хоть Вильгельма Телля. Новѣйшія изслѣдованія показали, что этотъ герой швейцарской исторіи никогда не существовалъ, не существовалъ по крайней мѣрѣ какъ герой — освободитель родины. Многіе швейцарцы видятъ въ этихъ изслѣдованіяхъ личную для себя обиду, нѣкоторую низкую истину, и предпочитаютъ ей идеализацію Вильгельма Телля, какъ завѣдомый обманъ, но обманъ, швейцарцевъ возвышающій. Между тѣмъ образъ Вильгельма Телля, какимъ его знаетъ по Шиллеру весь міръ, можетъ служить только укоромъ его соотечественникамъ, которые послѣ него прославились въ качествѣ исправныхъ солдатъ наемниковъ, дерущихся за кого бы то ни было, лишь бы имъ исправно платили деньги, которые и нынѣ славны въ качествѣ кондитеровъ, кельнеровъ, швейцаровъ, гидовъ, боннъ и гувернеровъ. Конечно, это все профессіи, сами по себѣ очень почтенныя. Швейцарцы, надо имъ отдать справедливость, сумѣли до извѣстной степени облагородить даже некрасивую профессію наемнаго солдата, ибо они честно исполняли разъ принятыя на себя

*) 1873, декабрь.

обязательства и дрались и умирали за, во всѣхъ отношеніяхъ, чужое для нихъ дѣло, такъ какъ не многія націи умѣютъ драться и умирать за свое соботвенное. Но рядомъ съ фигурой Телля все это такъ мизерно, такъ плоско, такъ подчасъ прямо скверно, что даже съ точки зрѣнія народной гордости швейцарцамъ было бы лучше не имѣть въ прошедшемъ Вильгельма Телля. Имѣть предка героя, передъ которымъ преклоняется весь образованный міръ, и самому быть храбрымъ наемнымъ солдатомъ, ловкимъ кельнеромъ, искуснымъ гидомъ, честнымъ швейцаромъ,— что тутъ лестнаго? Честный швейцаръ прекрасенъ, въ своемъ родѣ даже честный и храбрый наемникъ швейцарецъ, умирающій за подрядившаго его божію милостію короля Франціи Людовика XVI. Но если они мнѣ говорятъ, что они дѣти героя, они теряютъ въ моихъ глазахъ; они не только не увеличили своего духовнаго наслѣдства, но сократили его: Телль былъ такъ же честенъ, какъ швейцаръ, но кромѣ того онъ былъ не швейцаръ, онъ былъ такъ же храбръ и самоотверженъ, какъ и наемникъ Людовика XVI, но кромѣ того онъ былъ не наемникъ. Такъ что въ концѣ концовъ миѳъ Вильгельма Телля есть обманъ, не только не возвышающій швейцарцевъ, а даже бросающій на нихъ очень невыгодную тѣнь.

Эти, какъ видитъ читатель, очень нехитрыя соображенія вполнѣ приложимы и ко всѣмъ другимъ идеализаціямъ историческихъ дѣятелей, ко всѣмъ историческимъ миѳамъ, держащимся на принципѣ: «тьмы низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающій обманъ». Пріемы такой идеализаціи и отрицанія низкой истины получили недавно очень любопытное обобщеніе на почвѣ біологіи и философіи въ нападкахъ на теорію Дарвина. Пока эта теорія не была еще доведена до своего логическаго конца въ примѣненіи къ человѣку, она встрѣчала оппозицію главнымъ образомъ въ средѣ спеціалистовъ, только отчасти опиравшихся на побочныя, чуждыя наукѣ соображенія. Но какъ только теорія развѣнчала происхожденіе человѣка (еще до книги самого Дарвина объ этомъ предметѣ), на нее поднялись и профаны, и спеціалисты, становясь уже на этотъ разъ на точку зрѣнія принципа: тьмы низкихъ истинъ и т. д. Преданія всѣхъ народовъ приписываютъ человѣку болѣе или менѣе высокое происхожденіе, и хотя въ цивилизованномъ мірѣ они давнымъ давно и ослабѣли, и искривились подъ напоромъ исторіи, но оказались однако при случаѣ настолько живучими, что Дарвинъ и дарвинисты совершили нѣкоторымъ образомъ гражданскій подвигъ своимъ примѣненіемъ теоріи къ человѣку. Опять-таки, какъ въ случаѣ съ Сусанинымъ и Дмитріемъ Донскимъ, можно спорить съ дарвинистами, можно находить, что они невѣрно изображаютъ намъ исторію происхожденія человѣка, но толковать по этому поводу о низкихъ истинахъ и возвышающемъ насъ обманѣ—смѣшно. И опять-таки Дарвинъ совершенно правъ, говоря, что народныя преданія о происхожденіи человѣка отъ боговъ, полу-боговъ и т. п. представляютъ собою обманъ, нисколько насъ не возвышающій; что если ужъ говорить о возвышеніи, то для человѣка въ тысячу разъ лестнѣе пробиться до своего теперешняго положенія изъ низкихъ сферъ, изъ глубины природы. Въ самомъ дѣлѣ, только съ этой точки зрѣнія человѣкъ дѣйствительно возвысился; со всѣхъ другихъ онъ палъ, посрамилъ своихъ предковъ, и, во имя послѣдовательности, надо сказать вмѣстѣ съ Руссо: все прекрасно, выходя изъ рукъ природы, и все изгаживается въ рукахъ человѣка.

Идеализація личностей и фактовъ давно прошедшаго времени, заставляя людей отворачиваться отъ истины, сама по себѣ можетъ вызвать только смѣхъ. Но, къ сожалѣнію, она сопровождается почти всегда такими наѣздами въ область текущихъ дѣлъ и настоящей минуты, которые ни малѣйше не способствуютъ утвержденію веселаго расположенія духа. Въ развѣнчиваніи миѳовъ видятъ обыкновенно не только низкую истину, но приплетаютъ сюда измѣну отечеству, проповѣдь безбожія, вообще что-нибудь, находящееся въ вѣдѣніи прокурорскаго надзора. Низкая истина есть, по выраженію Фейербаха, объектъ полиціи, и полиція приглашается для установленія границы между истиною и наукой. Это ужъ, разумѣется, не весело и не смѣшно. Это, прямо сказать, возмутительно. Но возмутительность аксессуаровъ идеализаціи еще удвоивается, когда дѣло идетъ о фактахъ и личностяхъ современныхъ. Намъ, русскимъ, этого рода идеализація особенно знакома и памятна по крымской войнѣ, когда вся наша хваленая мощь оказалась жалкою фикціей. До войны считалось позорнымъ и преступнымъ даже помышлять о неудовлетворительности нашей государственной организаціи, о непрочности ея началъ, о возможности какого-бы то ни было печальнаго исхода. Это были для насъ низкія истины, и только громъ непріятельскихъ пушекъ и избіеніе севастопольскихъ героевъ убѣдили насъ, что низкая истина есть все-таки истина, что шапками никого не закидаешь и идеализаціей этихъ шапокъ никого не удивишь. Послѣдствія крымской войны были для нашего общества неисчислимы и въ высокой степени благотворны. Всѣ они сходятся, какъ

сліянія славянъ подъ сѣнью Россіи. Затѣмъ онъ попалъ, волею судьбы и графа Голуховскаго, въ Яссы, тамъ объявилъ о своемъ желаніи вернуться въ Россію, потомъ явился въ Скулянскую таможню, по дорогѣ вспомнилъ предсказаніе г. Погодина г. Герцену, что онъ вернется въ Россію, потому что всѣ русскіе бродяги, промотавъ послѣднюю копейку и хвативъ для храбрости шкаликъ, сами сдаются становому; сдался и былъ отвезенъ въ Петербургъ. Все это сопровождалось, разумѣется, не малымъ количествомъ сильныхъ ощущеній. Въ Петербургѣ онъ испыталъ новое удовольствіе: «что ни говорите, говоритъ онъ, но есть своего рода удовольствіе обращать на себя общее вниманіе и служить предметомъ толковъ; это какъ-то щекочетъ самолюбіе». Нынѣ онъ занимается славянскимъ вопросомъ и забываетъ, на какія деньги странствуютъ благородные рыцари.

Мы обѣщали предсказаніе. Вотъ оно. Если славянскій вопросъ вспыхнетъ и втянетъ въ себя Россію,—г. Кельсіевъ пойдетъ въ самую середину огня и, можетъ быть, сложитъ свою буйную голову за какихъ-нибудь современныхъ представителей бронзоваго періода. Если же окажется, что г. Кельсіевъ не совсѣмъ хорошо узналъ въ нѣсколько мѣсяцевъ нужды и стремленія славянъ; если политическія событія отодвинутъ рѣшеніе славянскаго вопроса или даже рѣшатъ его, но безъ треску и грома; если и это поле для геройскихъ подвиговъ исчезнетъ,—г. Кельсіевъ проклянетъ свое увлеченіе и увлечется... Чѣмъ? этого мы не можемъ предсказать. Спиритизмомъ, можетъ быть, а можетъ быть уѣдетъ въ Южную Америку и сдѣлается претендентомъ на кресло президента Парагвайской республики...

Идеализмъ, идолопоклонство и реализмъ *).

Der alte und der neue Glaube. Ein Bekenntniss von D. Fr. Strauss. 4 Auflage. Bonn. 1873.

I.

«Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающій обманъ», говорили наши отцы устами своего великаго поэта. Мы смѣялись надъ ними, негодовали. Мы были и остаемся правы въ своихъ насмѣшкахъ и негодованіи. Въ самомъ дѣлѣ, чего иного заслуживали тѣ безконечныя фальсификаціи, самообольщенія, иллюзіи, то мелочныя до послѣдней степени, то до послѣдней степени наглыя, то личныя, то національныя, которымъ предавались наши «отцы»? Конечно, смѣху достойно погодинское ломаніе копій за Дмитрія Донского и Сусанина. Оно было бы ни мало не смѣшно, если бы г. Погодинъ имѣлъ въ виду только историческую истину, если бы онъ доказывалъ только, что физіономіи Дмитрія Донского и Сусанина фальсифицируются г. Костомаровымъ, не соотвѣтвѣтствуютъ ихъ дѣйствительнымъ образамъ. Но г. Погодинъ не скрываетъ, что возвышающій насъ обманъ дороже ему тьмы низкихъ истинъ, и это достойно смѣху, какъ достойно смѣху положеніе страуса, прячущаго голову и воображающаго, что онъ спасенъ. И потомъ еще остается открытымъ вопросъ: на сколько идеализація Сусанина или Дмитрія Донского представляетъ обманъ, насъ возвышающій? Не будемъ говорить о русскихъ великихъ людяхъ, возьмемъ другой примѣръ, возьмемъ хоть Вильгельма Телля. Новѣйшія изслѣдованія показали, что этотъ герой швейцарской исторіи никогда не существовалъ, не существовалъ по крайней мѣрѣ какъ герой — освободитель родины. Многіе швейцарцы видятъ въ этихъ изслѣдованіяхъ личную для себя обиду, нѣкоторую низкую истину, и предпочитаютъ ей идеализацію Вильгельма Телля, какъ завѣдомый обманъ, но обманъ, швейцарцевъ возвышающій. Между тѣмъ образъ Вильгельма Телля, какимъ его знаетъ по Шиллеру весь міръ, можетъ служить только укоромъ его соотечественникамъ, которые послѣ него прославились въ качествѣ исправныхъ солдатъ наемниковъ, дерущихся за кого бы то ни было, лишь бы имъ исправно платили деньги, которые и нынѣ славны въ качествѣ кондитеровъ, кельнеровъ, швейцаровъ, гидовъ, боннъ и гувернеровъ. Конечно, это все профессіи, сами по себѣ очень почтенныя. Швейцарцы, надо имъ отдать справедливость, сумѣли до извѣстной степени облагородить даже некрасивую профессію наемнаго солдата, ибо они честно исполняли разъ принятыя на себя

*) 1873, декабрь.

обязательства и дрались и умирали за, во всѣхъ отношеніяхъ, чужое для нихъ дѣло, такъ какъ не многія націи умѣютъ драться и умирать за свое соботвенное. Но рядомъ съ фигурой Телля все это такъ мизерно, такъ плоско, такъ подчасъ прямо скверно, что даже съ точки зрѣнія народной гордости швейцарцамъ было бы лучше не имѣть въ прошедшемъ Вильгельма Телля. Имѣть предка героя, передъ которымъ преклоняется весь образованный міръ, и самому быть храбрымъ наемнымъ солдатомъ, ловкимъ кельнеромъ, искуснымъ гидомъ, честнымъ швейцаромъ,— что тутъ лестнаго? Честный швейцаръ прекрасенъ, въ своемъ родѣ даже честный и храбрый наемникъ швейцарецъ, умирающій за подрядившаго его божію милостію короля Франціи Людовика XVI. Но если они мнѣ говорятъ, что они дѣти героя, они теряютъ въ моихъ глазахъ; они не только не увеличили своего духовнаго наслѣдства, но сократили его: Телль былъ такъ же честенъ, какъ швейцаръ, но кромѣ того онъ былъ не швейцаръ, онъ былъ такъ же храбръ и самоотверженъ, какъ и наемникъ Людовика XVI, но кромѣ того онъ былъ не наемникъ. Такъ что въ концѣ концовъ миѳъ Вильгельма Телля есть обманъ, не только не возвышающій швейцарцевъ, а даже бросающій на нихъ очень невыгодную тѣнь.

Эти, какъ видитъ читатель, очень нехитрыя соображенія вполнѣ приложимы и ко всѣмъ другимъ идеализаціямъ историческихъ дѣятелей, ко всѣмъ историческимъ миѳамъ, держащимся на принципѣ: «тьмы низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающій обманъ». Пріемы такой идеализаціи и отрицанія низкой истины получили недавно очень любопытное обобщеніе на почвѣ біологіи и философіи въ нападкахъ на теорію Дарвина. Пока эта теорія не была еще доведена до своего логическаго конца въ примѣненіи къ человѣку, она встрѣчала оппозицію главнымъ образомъ въ средѣ спеціалистовъ, только отчасти опиравшихся на побочныя, чуждыя наукѣ соображенія. Но какъ только теорія развѣнчала происхожденіе человѣка (еще до книги самого Дарвина объ этомъ предметѣ), на нее поднялись и профаны, и спеціалисты, становясь уже на этотъ разъ на точку зрѣнія принципа: тьмы низкихъ истинъ и т. д. Преданія всѣхъ народовъ приписываютъ человѣку болѣе или менѣе высокое происхожденіе, и хотя въ цивилизованномъ мірѣ они давнымъ давно и ослабѣли, и искривились подъ напоромъ исторіи, но оказались однако при случаѣ настолько живучими, что Дарвинъ и дарвинисты совершили нѣкоторымъ образомъ гражданскій подвигъ своимъ примѣненіемъ теоріи къ человѣку. Опять-таки, какъ въ случаѣ съ Сусанинымъ и Дмитріемъ Донскимъ, можно спорить съ дарвинистами, можно находить, что они невѣрно изображаютъ намъ исторію происхожденія человѣка, но толковать по этому поводу о низкихъ истинахъ и возвышающемъ насъ обманѣ—смѣшно. И опять-таки Дарвинъ совершенно правъ, говоря, что народныя преданія о происхожденіи человѣка отъ боговъ, полу-боговъ и т. п. представляютъ собою обманъ, нисколько насъ не возвышающій; что если ужъ говорить о возвышеніи, то для человѣка въ тысячу разъ лестнѣе пробиться до своего теперешняго положенія изъ низкихъ сферъ, изъ глубины природы. Въ самомъ дѣлѣ, только съ этой точки зрѣнія человѣкъ дѣйствительно возвысился; со всѣхъ другихъ онъ палъ, посрамилъ своихъ предковъ, и, во имя послѣдовательности, надо сказать вмѣстѣ съ Руссо: все прекрасно, выходя изъ рукъ природы, и все изгаживается въ рукахъ человѣка.

Идеализація личностей и фактовъ давно прошедшаго времени, заставляя людей отворачиваться отъ истины, сама по себѣ можетъ вызвать только смѣхъ. Но, къ сожалѣнію, она сопровождается почти всегда такими наѣздами въ область текущихъ дѣлъ и настоящей минуты, которые ни малѣйше не способствуютъ утвержденію веселаго расположенія духа. Въ развѣнчиваніи миѳовъ видятъ обыкновенно не только низкую истину, но приплетаютъ сюда измѣну отечеству, проповѣдь безбожія, вообще что-нибудь, находящееся въ вѣдѣніи прокурорскаго надзора. Низкая истина есть, по выраженію Фейербаха, объектъ полиціи, и полиція приглашается для установленія границы между истиною и наукой. Это ужъ, разумѣется, не весело и не смѣшно. Это, прямо сказать, возмутительно. Но возмутительность аксессуаровъ идеализаціи еще удвоивается, когда дѣло идетъ о фактахъ и личностяхъ современныхъ. Намъ, русскимъ, этого рода идеализація особенно знакома и памятна по крымской войнѣ, когда вся наша хваленая мощь оказалась жалкою фикціей. До войны считалось позорнымъ и преступнымъ даже помышлять о неудовлетворительности нашей государственной организаціи, о непрочности ея началъ, о возможности какого-бы то ни было печальнаго исхода. Это были для насъ низкія истины, и только громъ непріятельскихъ пушекъ и избіеніе севастопольскихъ героевъ убѣдили насъ, что низкая истина есть все-таки истина, что шапками никого не закидаешь и идеализаціей этихъ шапокъ никого не удивишь. Послѣдствія крымской войны были для нашего общества неисчислимы и въ высокой степени благотворны. Всѣ они сходятся, какъ

сліянія славянъ подъ сѣнью Россіи. Затѣмъ онъ попалъ, волею судьбы и графа Голуховскаго, въ Яссы, тамъ объявилъ о своемъ желаніи вернуться въ Россію, потомъ явился въ Скулянскую таможню, по дорогѣ вспомнилъ предсказаніе г. Погодина г. Герцену, что онъ вернется въ Россію, потому что всѣ русскіе бродяги, промотавъ послѣднюю копейку и хвативъ для храбрости шкаликъ, сами сдаются становому; сдался и былъ отвезенъ въ Петербургъ. Все это сопровождалось, разумѣется, не малымъ количествомъ сильныхъ ощущеній. Въ Петербургѣ онъ испыталъ новое удовольствіе: «что ни говорите, говоритъ онъ, но есть своего рода удовольствіе обращать на себя общее вниманіе и служить предметомъ толковъ; это какъ-то щекочетъ самолюбіе». Нынѣ онъ занимается славянскимъ вопросомъ и забываетъ, на какія деньги странствуютъ благородные рыцари.

Мы обѣщали предсказаніе. Вотъ оно. Если славянскій вопросъ вспыхнетъ и втянетъ въ себя Россію,—г. Кельсіевъ пойдетъ въ самую середину огня и, можетъ быть, сложитъ свою буйную голову за какихъ-нибудь современныхъ представителей бронзоваго періода. Если же окажется, что г. Кельсіевъ не совсѣмъ хорошо узналъ въ нѣсколько мѣсяцевъ нужды и стремленія славянъ; если политическія событія отодвинутъ рѣшеніе славянскаго вопроса или даже рѣшатъ его, но безъ треску и грома; если и это поле для геройскихъ подвиговъ исчезнетъ,—г. Кельсіевъ проклянетъ свое увлеченіе и увлечется... Чѣмъ? этого мы не можемъ предсказать. Спиритизмомъ, можетъ быть, а можетъ быть уѣдетъ въ Южную Америку и сдѣлается претендентомъ на кресло президента Парагвайской республики...

Идеализмъ, идолопоклонство и реализмъ *).

Der alte und der neue Glaube. Ein Bekenntniss von D. Fr. Strauss. 4 Auflage. Bonn. 1873.

I.

«Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающій обманъ», говорили наши отцы устами своего великаго поэта. Мы смѣялись надъ ними, негодовали. Мы были и остаемся правы въ своихъ насмѣшкахъ и негодованіи. Въ самомъ дѣлѣ, чего иного заслуживали тѣ безконечныя фальсификаціи, самообольщенія, иллюзіи, то мелочныя до послѣдней степени, то до послѣдней степени наглыя, то личныя, то національныя, которымъ предавались наши «отцы»? Конечно, смѣху достойно погодинское ломаніе копій за Дмитрія Донского и Сусанина. Оно было бы ни мало не смѣшно, если бы г. Погодинъ имѣлъ въ виду только историческую истину, если бы онъ доказывалъ только, что физіономіи Дмитрія Донского и Сусанина фальсифицируются г. Костомаровымъ, не соотвѣтвѣтствуютъ ихъ дѣйствительнымъ образамъ. Но г. Погодинъ не скрываетъ, что возвышающій насъ обманъ дороже ему тьмы низкихъ истинъ, и это достойно смѣху, какъ достойно смѣху положеніе страуса, прячущаго голову и воображающаго, что онъ спасенъ. И потомъ еще остается открытымъ вопросъ: на сколько идеализація Сусанина или Дмитрія Донского представляетъ обманъ, насъ возвышающій? Не будемъ говорить о русскихъ великихъ людяхъ, возьмемъ другой примѣръ, возьмемъ хоть Вильгельма Телля. Новѣйшія изслѣдованія показали, что этотъ герой швейцарской исторіи никогда не существовалъ, не существовалъ по крайней мѣрѣ какъ герой — освободитель родины. Многіе швейцарцы видятъ въ этихъ изслѣдованіяхъ личную для себя обиду, нѣкоторую низкую истину, и предпочитаютъ ей идеализацію Вильгельма Телля, какъ завѣдомый обманъ, но обманъ, швейцарцевъ возвышающій. Между тѣмъ образъ Вильгельма Телля, какимъ его знаетъ по Шиллеру весь міръ, можетъ служить только укоромъ его соотечественникамъ, которые послѣ него прославились въ качествѣ исправныхъ солдатъ наемниковъ, дерущихся за кого бы то ни было, лишь бы имъ исправно платили деньги, которые и нынѣ славны въ качествѣ кондитеровъ, кельнеровъ, швейцаровъ, гидовъ, боннъ и гувернеровъ. Конечно, это все профессіи, сами по себѣ очень почтенныя. Швейцарцы, надо имъ отдать справедливость, сумѣли до извѣстной степени облагородить даже некрасивую профессію наемнаго солдата, ибо они честно исполняли разъ принятыя на себя

*) 1873, декабрь.

обязательства и дрались и умирали за, во всѣхъ отношеніяхъ, чужое для нихъ дѣло, такъ какъ не многія націи умѣютъ драться и умирать за свое соботвенное. Но рядомъ съ фигурой Телля все это такъ мизерно, такъ плоско, такъ подчасъ прямо скверно, что даже съ точки зрѣнія народной гордости швейцарцамъ было бы лучше не имѣть въ прошедшемъ Вильгельма Телля. Имѣть предка героя, передъ которымъ преклоняется весь образованный міръ, и самому быть храбрымъ наемнымъ солдатомъ, ловкимъ кельнеромъ, искуснымъ гидомъ, честнымъ швейцаромъ,— что тутъ лестнаго? Честный швейцаръ прекрасенъ, въ своемъ родѣ даже честный и храбрый наемникъ швейцарецъ, умирающій за подрядившаго его божію милостію короля Франціи Людовика XVI. Но если они мнѣ говорятъ, что они дѣти героя, они теряютъ въ моихъ глазахъ; они не только не увеличили своего духовнаго наслѣдства, но сократили его: Телль былъ такъ же честенъ, какъ швейцаръ, но кромѣ того онъ былъ не швейцаръ, онъ былъ такъ же храбръ и самоотверженъ, какъ и наемникъ Людовика XVI, но кромѣ того онъ былъ не наемникъ. Такъ что въ концѣ концовъ миѳъ Вильгельма Телля есть обманъ, не только не возвышающій швейцарцевъ, а даже бросающій на нихъ очень невыгодную тѣнь.

Эти, какъ видитъ читатель, очень нехитрыя соображенія вполнѣ приложимы и ко всѣмъ другимъ идеализаціямъ историческихъ дѣятелей, ко всѣмъ историческимъ миѳамъ, держащимся на принципѣ: «тьмы низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающій обманъ». Пріемы такой идеализаціи и отрицанія низкой истины получили недавно очень любопытное обобщеніе на почвѣ біологіи и философіи въ нападкахъ на теорію Дарвина. Пока эта теорія не была еще доведена до своего логическаго конца въ примѣненіи къ человѣку, она встрѣчала оппозицію главнымъ образомъ въ средѣ спеціалистовъ, только отчасти опиравшихся на побочныя, чуждыя наукѣ соображенія. Но какъ только теорія развѣнчала происхожденіе человѣка (еще до книги самого Дарвина объ этомъ предметѣ), на нее поднялись и профаны, и спеціалисты, становясь уже на этотъ разъ на точку зрѣнія принципа: тьмы низкихъ истинъ и т. д. Преданія всѣхъ народовъ приписываютъ человѣку болѣе или менѣе высокое происхожденіе, и хотя въ цивилизованномъ мірѣ они давнымъ давно и ослабѣли, и искривились подъ напоромъ исторіи, но оказались однако при случаѣ настолько живучими, что Дарвинъ и дарвинисты совершили нѣкоторымъ образомъ гражданскій подвигъ своимъ примѣненіемъ теоріи къ человѣку. Опять-таки, какъ въ случаѣ съ Сусанинымъ и Дмитріемъ Донскимъ, можно спорить съ дарвинистами, можно находить, что они невѣрно изображаютъ намъ исторію происхожденія человѣка, но толковать по этому поводу о низкихъ истинахъ и возвышающемъ насъ обманѣ—смѣшно. И опять-таки Дарвинъ совершенно правъ, говоря, что народныя преданія о происхожденіи человѣка отъ боговъ, полу-боговъ и т. п. представляютъ собою обманъ, нисколько насъ не возвышающій; что если ужъ говорить о возвышеніи, то для человѣка въ тысячу разъ лестнѣе пробиться до своего теперешняго положенія изъ низкихъ сферъ, изъ глубины природы. Въ самомъ дѣлѣ, только съ этой точки зрѣнія человѣкъ дѣйствительно возвысился; со всѣхъ другихъ онъ палъ, посрамилъ своихъ предковъ, и, во имя послѣдовательности, надо сказать вмѣстѣ съ Руссо: все прекрасно, выходя изъ рукъ природы, и все изгаживается въ рукахъ человѣка.

Идеализація личностей и фактовъ давно прошедшаго времени, заставляя людей отворачиваться отъ истины, сама по себѣ можетъ вызвать только смѣхъ. Но, къ сожалѣнію, она сопровождается почти всегда такими наѣздами въ область текущихъ дѣлъ и настоящей минуты, которые ни малѣйше не способствуютъ утвержденію веселаго расположенія духа. Въ развѣнчиваніи миѳовъ видятъ обыкновенно не только низкую истину, но приплетаютъ сюда измѣну отечеству, проповѣдь безбожія, вообще что-нибудь, находящееся въ вѣдѣніи прокурорскаго надзора. Низкая истина есть, по выраженію Фейербаха, объектъ полиціи, и полиція приглашается для установленія границы между истиною и наукой. Это ужъ, разумѣется, не весело и не смѣшно. Это, прямо сказать, возмутительно. Но возмутительность аксессуаровъ идеализаціи еще удвоивается, когда дѣло идетъ о фактахъ и личностяхъ современныхъ. Намъ, русскимъ, этого рода идеализація особенно знакома и памятна по крымской войнѣ, когда вся наша хваленая мощь оказалась жалкою фикціей. До войны считалось позорнымъ и преступнымъ даже помышлять о неудовлетворительности нашей государственной организаціи, о непрочности ея началъ, о возможности какого-бы то ни было печальнаго исхода. Это были для насъ низкія истины, и только громъ непріятельскихъ пушекъ и избіеніе севастопольскихъ героевъ убѣдили насъ, что низкая истина есть все-таки истина, что шапками никого не закидаешь и идеализаціей этихъ шапокъ никого не удивишь. Послѣдствія крымской войны были для нашего общества неисчислимы и въ высокой степени благотворны. Всѣ они сходятся, какъ

сліянія славянъ подъ сѣнью Россіи. Затѣмъ онъ попалъ, волею судьбы и графа Голуховскаго, въ Яссы, тамъ объявилъ о своемъ желаніи вернуться въ Россію, потомъ явился въ Скулянскую таможню, по дорогѣ вспомнилъ предсказаніе г. Погодина г. Герцену, что онъ вернется въ Россію, потому что всѣ русскіе бродяги, промотавъ послѣднюю копейку и хвативъ для храбрости шкаликъ, сами сдаются становому; сдался и былъ отвезенъ въ Петербургъ. Все это сопровождалось, разумѣется, не малымъ количествомъ сильныхъ ощущеній. Въ Петербургѣ онъ испыталъ новое удовольствіе: «что ни говорите, говоритъ онъ, но есть своего рода удовольствіе обращать на себя общее вниманіе и служить предметомъ толковъ; это какъ-то щекочетъ самолюбіе». Нынѣ онъ занимается славянскимъ вопросомъ и забываетъ, на какія деньги странствуютъ благородные рыцари.

Мы обѣщали предсказаніе. Вотъ оно. Если славянскій вопросъ вспыхнетъ и втянетъ въ себя Россію,—г. Кельсіевъ пойдетъ въ самую середину огня и, можетъ быть, сложитъ свою буйную голову за какихъ-нибудь современныхъ представителей бронзоваго періода. Если же окажется, что г. Кельсіевъ не совсѣмъ хорошо узналъ въ нѣсколько мѣсяцевъ нужды и стремленія славянъ; если политическія событія отодвинутъ рѣшеніе славянскаго вопроса или даже рѣшатъ его, но безъ треску и грома; если и это поле для геройскихъ подвиговъ исчезнетъ,—г. Кельсіевъ проклянетъ свое увлеченіе и увлечется... Чѣмъ? этого мы не можемъ предсказать. Спиритизмомъ, можетъ быть, а можетъ быть уѣдетъ въ Южную Америку и сдѣлается претендентомъ на кресло президента Парагвайской республики...

Идеализмъ, идолопоклонство и реализмъ *).

Der alte und der neue Glaube. Ein Bekenntniss von D. Fr. Strauss. 4 Auflage. Bonn. 1873.

I.

«Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающій обманъ», говорили наши отцы устами своего великаго поэта. Мы смѣялись надъ ними, негодовали. Мы были и остаемся правы въ своихъ насмѣшкахъ и негодованіи. Въ самомъ дѣлѣ, чего иного заслуживали тѣ безконечныя фальсификаціи, самообольщенія, иллюзіи, то мелочныя до послѣдней степени, то до послѣдней степени наглыя, то личныя, то національныя, которымъ предавались наши «отцы»? Конечно, смѣху достойно погодинское ломаніе копій за Дмитрія Донского и Сусанина. Оно было бы ни мало не смѣшно, если бы г. Погодинъ имѣлъ въ виду только историческую истину, если бы онъ доказывалъ только, что физіономіи Дмитрія Донского и Сусанина фальсифицируются г. Костомаровымъ, не соотвѣтвѣтствуютъ ихъ дѣйствительнымъ образамъ. Но г. Погодинъ не скрываетъ, что возвышающій насъ обманъ дороже ему тьмы низкихъ истинъ, и это достойно смѣху, какъ достойно смѣху положеніе страуса, прячущаго голову и воображающаго, что онъ спасенъ. И потомъ еще остается открытымъ вопросъ: на сколько идеализація Сусанина или Дмитрія Донского представляетъ обманъ, насъ возвышающій? Не будемъ говорить о русскихъ великихъ людяхъ, возьмемъ другой примѣръ, возьмемъ хоть Вильгельма Телля. Новѣйшія изслѣдованія показали, что этотъ герой швейцарской исторіи никогда не существовалъ, не существовалъ по крайней мѣрѣ какъ герой — освободитель родины. Многіе швейцарцы видятъ въ этихъ изслѣдованіяхъ личную для себя обиду, нѣкоторую низкую истину, и предпочитаютъ ей идеализацію Вильгельма Телля, какъ завѣдомый обманъ, но обманъ, швейцарцевъ возвышающій. Между тѣмъ образъ Вильгельма Телля, какимъ его знаетъ по Шиллеру весь міръ, можетъ служить только укоромъ его соотечественникамъ, которые послѣ него прославились въ качествѣ исправныхъ солдатъ наемниковъ, дерущихся за кого бы то ни было, лишь бы имъ исправно платили деньги, которые и нынѣ славны въ качествѣ кондитеровъ, кельнеровъ, швейцаровъ, гидовъ, боннъ и гувернеровъ. Конечно, это все профессіи, сами по себѣ очень почтенныя. Швейцарцы, надо имъ отдать справедливость, сумѣли до извѣстной степени облагородить даже некрасивую профессію наемнаго солдата, ибо они честно исполняли разъ принятыя на себя

*) 1873, декабрь.

обязательства и дрались и умирали за, во всѣхъ отношеніяхъ, чужое для нихъ дѣло, такъ какъ не многія націи умѣютъ драться и умирать за свое соботвенное. Но рядомъ съ фигурой Телля все это такъ мизерно, такъ плоско, такъ подчасъ прямо скверно, что даже съ точки зрѣнія народной гордости швейцарцамъ было бы лучше не имѣть въ прошедшемъ Вильгельма Телля. Имѣть предка героя, передъ которымъ преклоняется весь образованный міръ, и самому быть храбрымъ наемнымъ солдатомъ, ловкимъ кельнеромъ, искуснымъ гидомъ, честнымъ швейцаромъ,— что тутъ лестнаго? Честный швейцаръ прекрасенъ, въ своемъ родѣ даже честный и храбрый наемникъ швейцарецъ, умирающій за подрядившаго его божію милостію короля Франціи Людовика XVI. Но если они мнѣ говорятъ, что они дѣти героя, они теряютъ въ моихъ глазахъ; они не только не увеличили своего духовнаго наслѣдства, но сократили его: Телль былъ такъ же честенъ, какъ швейцаръ, но кромѣ того онъ былъ не швейцаръ, онъ былъ такъ же храбръ и самоотверженъ, какъ и наемникъ Людовика XVI, но кромѣ того онъ былъ не наемникъ. Такъ что въ концѣ концовъ миѳъ Вильгельма Телля есть обманъ, не только не возвышающій швейцарцевъ, а даже бросающій на нихъ очень невыгодную тѣнь.

Эти, какъ видитъ читатель, очень нехитрыя соображенія вполнѣ приложимы и ко всѣмъ другимъ идеализаціямъ историческихъ дѣятелей, ко всѣмъ историческимъ миѳамъ, держащимся на принципѣ: «тьмы низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающій обманъ». Пріемы такой идеализаціи и отрицанія низкой истины получили недавно очень любопытное обобщеніе на почвѣ біологіи и философіи въ нападкахъ на теорію Дарвина. Пока эта теорія не была еще доведена до своего логическаго конца въ примѣненіи къ человѣку, она встрѣчала оппозицію главнымъ образомъ въ средѣ спеціалистовъ, только отчасти опиравшихся на побочныя, чуждыя наукѣ соображенія. Но какъ только теорія развѣнчала происхожденіе человѣка (еще до книги самого Дарвина объ этомъ предметѣ), на нее поднялись и профаны, и спеціалисты, становясь уже на этотъ разъ на точку зрѣнія принципа: тьмы низкихъ истинъ и т. д. Преданія всѣхъ народовъ приписываютъ человѣку болѣе или менѣе высокое происхожденіе, и хотя въ цивилизованномъ мірѣ они давнымъ давно и ослабѣли, и искривились подъ напоромъ исторіи, но оказались однако при случаѣ настолько живучими, что Дарвинъ и дарвинисты совершили нѣкоторымъ образомъ гражданскій подвигъ своимъ примѣненіемъ теоріи къ человѣку. Опять-таки, какъ въ случаѣ съ Сусанинымъ и Дмитріемъ Донскимъ, можно спорить съ дарвинистами, можно находить, что они невѣрно изображаютъ намъ исторію происхожденія человѣка, но толковать по этому поводу о низкихъ истинахъ и возвышающемъ насъ обманѣ—смѣшно. И опять-таки Дарвинъ совершенно правъ, говоря, что народныя преданія о происхожденіи человѣка отъ боговъ, полу-боговъ и т. п. представляютъ собою обманъ, нисколько насъ не возвышающій; что если ужъ говорить о возвышеніи, то для человѣка въ тысячу разъ лестнѣе пробиться до своего теперешняго положенія изъ низкихъ сферъ, изъ глубины природы. Въ самомъ дѣлѣ, только съ этой точки зрѣнія человѣкъ дѣйствительно возвысился; со всѣхъ другихъ онъ палъ, посрамилъ своихъ предковъ, и, во имя послѣдовательности, надо сказать вмѣстѣ съ Руссо: все прекрасно, выходя изъ рукъ природы, и все изгаживается въ рукахъ человѣка.

Идеализація личностей и фактовъ давно прошедшаго времени, заставляя людей отворачиваться отъ истины, сама по себѣ можетъ вызвать только смѣхъ. Но, къ сожалѣнію, она сопровождается почти всегда такими наѣздами въ область текущихъ дѣлъ и настоящей минуты, которые ни малѣйше не способствуютъ утвержденію веселаго расположенія духа. Въ развѣнчиваніи миѳовъ видятъ обыкновенно не только низкую истину, но приплетаютъ сюда измѣну отечеству, проповѣдь безбожія, вообще что-нибудь, находящееся въ вѣдѣніи прокурорскаго надзора. Низкая истина есть, по выраженію Фейербаха, объектъ полиціи, и полиція приглашается для установленія границы между истиною и наукой. Это ужъ, разумѣется, не весело и не смѣшно. Это, прямо сказать, возмутительно. Но возмутительность аксессуаровъ идеализаціи еще удвоивается, когда дѣло идетъ о фактахъ и личностяхъ современныхъ. Намъ, русскимъ, этого рода идеализація особенно знакома и памятна по крымской войнѣ, когда вся наша хваленая мощь оказалась жалкою фикціей. До войны считалось позорнымъ и преступнымъ даже помышлять о неудовлетворительности нашей государственной организаціи, о непрочности ея началъ, о возможности какого-бы то ни было печальнаго исхода. Это были для насъ низкія истины, и только громъ непріятельскихъ пушекъ и избіеніе севастопольскихъ героевъ убѣдили насъ, что низкая истина есть все-таки истина, что шапками никого не закидаешь и идеализаціей этихъ шапокъ никого не удивишь. Послѣдствія крымской войны были для нашего общества неисчислимы и въ высокой степени благотворны. Всѣ они сходятся, какъ

въ фокусѣ, на одномъ пунктѣ,—на торжествѣ «низкихъ истинъ» надъ «возвышающимъ насъ обманомъ». Такой результатъ нашего пораженія былъ вполнѣ естественъ, какъ реакція противъ слишкомъ долго и прочно торжествовавшаго и слишкомъ намъ дорого стоившаго «обмана». А что результатъ былъ именно таковъ, въ этомъ очень легко убѣдиться, припомнивъ въ общихъ чертахъ, на что наше общество накинулось въ жизни, въ литературѣ, въ наукѣ. Прежде всего подверглась критикѣ идеализація нашего общественнаго строя, и вообще въ цѣломъ и въ подробностяхъ. Вездѣ мы старались разыскивать застарѣлыя раны, дотолѣ прикрытыя сусальнымъ золотомъ. Идеализація благодѣтельныхъ помѣщиковъ, благоденствующихъ крестьянъ, храбрыхъ и искусныхъ генераловъ, неподкупныхъ чиновниковъ, національнаго величія, патріархальныхъ нравовъ и т. д., и т. д., была, такъ сказать, ежедневно взрываема по частямъ на воздухъ. Намъ нужны были именно «низкія истины». Ихъ-же мы искали и въ чисто теоретической области. Если прежде мы носились съ высокими идеями и идеалами патріотизма, самоотверженія, любви, преданности, идеалами, впрочемъ, весьма умѣренно осуществлявшимися въ жизни; то теперь мы съ особенною настоятельностью стали развивать тотъ философскій принципъ, что человѣкъ всегда, вездѣ и во всемъ неизбѣжно эгоистъ, хотя это не мѣшало намъ быть менѣе всего эгоистами. Если прежде, будучи связаны по рукамъ и по ногамъ, мы вѣрили въ свободу и самоопредѣленіе человѣческаго духа; то теперь, получивъ нѣкоторый просторъ, мы ухватились за идею необходимости и законосообразности явленій психическихъ и общественныхъ. Если прежде мы отводили искусству особый уголъ насъ возвышающихъ иллюзій, то теперь потребовали отъ него простого изображенія низкихъ истинъ. Если прежде идеализировались интересы, то теперь обнаруживалось стремленіе реализировать идею права. Всякая фикція, всякій символъ строго допрашивались и тщательно разыскивалось ихъ, такъ сказать, реальное дно.

И грустно, и ненужно, и неудобно разсказывать, какъ это такъ называемое отрицательное движеніе, овладѣвшее было всѣмъ обществомъ, мало по малу затиралось; какъ сокращалось число его сторонниковъ; какъ оно уступало мѣсто побѣжденному было принципу «тьмы низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающій обманъ»; какъ началась, тянулась и еще не кончилась безобразная травля «низкихъ истинъ»...

Эта травля и, конечно, собственныя ошибки искателей низкихъ истинъ—ошибки, которыя, впрочемъ, никогда не достигли бы такого развитія при отсутствіи травли—привели насъ къ очень печальнымъ результатамъ. Уже сама по себѣ реакція противъ того духовнаго хлѣба, который мы жевали до крымской войны, при всей своей законности, не могла быть гарантирована отъ увлеченій и нѣкоторой путаницы. А тутъ еще здравымъ понятіямъ, только что складывавшимся, приходилось становиться въ оборонительное положеніе и мѣряться съ такими бурями, какъ, напримѣръ, польское возстаніе. Да и вообще вся наша обстановка сложилась такъ, что правильно и безъ зигзаговъ провести до конца извѣстную мысль среди разнообразнѣйшихъ пинковъ и толчковъ было болѣе, чѣмъ трудно. Возьмемъ какой-нибудь по возможности безобидный вопросъ и попробуемъ прослѣдить за соотносящимися низкими истинами и насъ возвышающимъ обманомъ. Возьмемъ вопросъ о положеніи женщины.

Казовая, такъ сказать, офиціальная сторона нашихъ прежнихъ отношеній къ женщинѣ выражалась въ чувствительныхъ романсахъ, въ романахъ, написанныхъ необычайно высокимъ слогомъ; выражалась она еще на балахъ и въ другихъ публичныхъ собраніяхъ. Въ романахъ и романсахъ говорилось о пламенной любви, преданности, глубокомъ уваженіи; въ теоретическихъ устныхъ и печатныхъ разсужденіяхъ трактовалось о великомъ значеніи женщины по части смягченія нравовъ, о блаженной невинности и святой наивности, какъ объ удѣлѣ женщины; въ обществѣ она являлась феей, царицей, передъ которой все преклонялось. Словомъ, вездѣ и во всемъ она оказывалась нѣкоторымъ духомъ, почти безплотнымъ и далеко отстоящимъ отъ всего земного. Но какъ только крымская война пошатнула нашу приверженность къ насъ возвышающему обману, такъ мы не замедлили развѣять, въ частности, и весь слащавый идеализмъ, окружавшій женщину поддѣльнымъ ореоломъ. Въ сущности мы и прежде очень хорошо знали, что всѣ эти феи и царицы, всѣ эти безплотные духи имѣютъ самыя разнообразныя и большею частью некрасивыя соприкосновенія съ земною жизнью. Мы очень хорошо знали, что такая-то фея, одѣваясь на балъ, гдѣ она будетъ поражать своею безплотностью и газообразностью, таскаетъ свою дѣвку за волосы; что такая-то другая фея бываетъ въ свою очередь оттаскиваема за волосы отъ чувствительнаго романа своимъ чувствительнымъ мужемъ или отцомъ; что въ такихъ-то и такихъ-то феяхъ услуги по части смягченія нравовъ, блаженная невинность и святая наивность цѣнятся наименѣе всего. Мы знали, что, говоря: женщина, о это высокое, чистое созданіе, ниспосланное небомъ, и т. д.—мы лжемъ нагло и без-

совѣстно. Но, благодаря всеобщему безмолвному соглашенію, мы лгали, не краснѣя. Наконецъ, мы покраснѣли и потребовали ликвидаціи этого идеальничанья, мы потребовали низкой истины во всеоружіи ея безобразія. Но на этой обличительной сторонѣ дѣла не остановился и не могъ остановиться процессъ исканія низкой истины и отрицанія насъ возвышающаго обмана. Нашъ идеализмъ оказался лживымъ, но подлежали еще провѣркѣ самые идеалы. Женщина и ея обстановка оказались въ дѣйствительности не такими, какъ намъ рисовали, но насколько удовлетворительны мечты нашихъ отцовъ, представлявшихъ себѣ идеалъ женщины въ видѣ безплотнаго духа, удаленнаго отъ всего земного? Идеалъ этотъ критики не выдержалъ, онъ оказался насъ возвышающимъ обманомъ, въ тысячу разъ дороже котораго стала намъ низкая истина: женщина есть такой же человѣкъ, какъ и мы, слѣдовательно ея права и обязанности должны быть равны нашимъ собственнымъ. Мы, само собою разумѣется, не могли жалѣть ликвидированнаго нами круга понятій о женщинѣ, о любви и проч. не только потому, что эти понятія оказались вдвойнѣ ложью, какъ дѣйствительность и какъ идеалъ, но и потому, что мы противопоставили старому идеалу новый. Новый идеалъ былъ широкъ и высокъ, онъ обнималъ и общественное положеніе женщины и всю сферу семейной жизни. Мы были несомнѣнно идеалисты, хотя и на нѣсколько иной манеръ, чѣмъ наши отцы. Но мы были вмѣстѣ съ тѣмъ такъ напуганы чудовищною ложью стараго идеализма, что боялись не только словъ—идеалъ, идеализмъ, идеализація, но даже соотвѣтствующихъ понятій. Мы гордились не идеализмомъ своимъ, а реализмомъ, безстрашіемъ передъ фактами низкихъ истинъ, и старались главнымъ образомъ его выставить на первый планъ, даже отрицаясь всяческаго идеализма, хотя нашъ идеализмъ и нашъ реализмъ представляли только двѣ различныя, но равно законныя стороны одного и того же міросозерцанія. Между тѣмъ началась травля. Поднялись не прошенные защитники женскаго достоинства, высокихъ чувствъ, нравственности, старыхъ идеаловъ. Чѣмъ сильнѣе и безобразнѣе гудѣли они въ защиту насъ возвышающаго обмана, тѣмъ крѣпче замыкались мы въ свой реализмъ, въ свою сферу низкихъ истинъ, тѣмъ строже допрашивали мы все въ нашемъ міросозерцаніи, похожее на идеалъ и идеализмъ. Намъ настойчиво толковали, что удѣлъ женщины есть не трудъ, не наука, не тѣ или другія идеи, а любовь, въ области которой она способна оказать неисчислимыя услуги человѣчеству. Въ отвѣтъ на это мы съ естественнымъ въ молодыхъ борцахъ задоромъ стали отыскивать реальное дно того «фіала любви», о которомъ говорили поэты. Дно оказалось очень просто—половое влеченіе. И ради этого-то намъ предлагаютъ держать женщину вдали отъ мысли, жизни и труда! Мы не съ разу бросились въ этомъ направленіи въ крайность. Мы долго помнили, что самый трезвый, простой, самый реальный расчетъ побуждаетъ не игнорировать содержимое чаши ради ея дна; что тѣ усложненія, которымъ подвергается въ человѣкѣ половое влеченіе и изъ совокупности которыхъ слагается любовь, такъ же естественны и реальны, какъ и самое половое влеченіе; что наслажденія, даваемыя этими усложненіями, цѣнны сами по себѣ. Но—чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ. Якобы реалистическая формула: любовь исчерпывается половымъ влеченіемъ—восторжествовала для многихъ. Но кто болѣе или менѣе пережилъ эти времена на самомъ себѣ или на близкихъ людяхъ, тотъ знаетъ, что эта краткая и грубая формула отнюдь не выражала собою нашего психическаго содержанія; что въ душѣ нашей жилъ идеалъ, который non sine gloria могъ бы помѣряться съ идеалами нашихъ отцовъ; что подчасъ страшной внутренней ломки стоило намъ прикидываться якобы реалистами, смѣяться надъ тѣмъ, что намъ въ сущности было дорого, и стыдиться того, чѣмъ мы имѣли бы право гордиться. Мы, возставшіе на ложь,—лгали, хоть конечно не такъ, какъ лгали наши отцы: тѣ стыдились своей дѣйствительности и своего реализма, мы — своихъ идеаловъ и своего идеализма.

Къ подобному же внутреннему разладу между теоретическими положеніями и собственными чувствами мы подобнымъ же путемъ пришли и по другимъ вопросамъ. Въ краткихъ, грубыхъ, якобы реалистическихъ формулахъ, отнюдь не соотвѣтствующихъ чувствамъ формулирующаго, недостатка не было. Нѣкоторыя были даже не безъ юмора. Напримѣръ: жертва есть сапоги въ смятку. Отцы наши много, слишкомъ много толковали о величіи и необходимости жертвъ, о жертвахъ Богу, отечеству, народу, любящему человѣку и проч., и проч. Это были лживыя рѣчи, насъ возвышающій обманъ. И когда чаша переполнилась и пролилась, мы стали искать соотвѣтственныхъ низкихъ истинъ въ томъ же самомъ порядкѣ, какъ и относительно положенія женщины. Сначала пошло въ ходъ обличеніе. Открылось, что толки о жертвахъ вполнѣ совмѣстимы съ обереганіемъ собственной шкуры во что бы то ни стало, съ поставкой на армію сапогъ безъ подошвъ и гнилой муки и т. д. За обличеніемъ слѣдовала провѣрка старыхъ идеаловъ, затѣмъ изслѣдованіе реальнаго дна

круга явленій, связаннаго съ понятіемъ жертвы, самоотверженія и т. д. Реальное дно оказалось опять-таки весьма просто: человѣкъ есть эгоистъ, каждый его шагъ, даже, повидимому, самый великодушный и самоотверженный, направленъ цѣликомъ къ пользамъ и наслажденіямъ его самого; самоотверженіе есть только частный случай самосохраненія; жертва есть фикція, нѣчто въ дѣйствительности не существующее, — сапоги въ смятку. Останавливаясь на этой формулѣ, мы упускали изъ виду, что, во-первыхъ, расширеніе личнаго *я* до степени самооотверженія, до возможности переживать чужую жизнь,—столько-же реально, какъ и самый грубый эгоизмъ; и что, во-вторыхъ, формула: жертва есть сапоги въ смятку не покрываетъ нашего психическаго содержанія, ибо болѣе, чѣмъ когда-нибудь мы были готовы приносить всевозможныя жертвы.

Искусство есть обособленный отъ жизни и возвышающійся надъ нею міръ чудныхъ звуковъ и прекрасныхъ образовъ, въ которомъ человѣкъ долженъ находить отдохновеніе отъ жизненной грязи. Такъ смотрѣли и практиковали наши отцы. Мы противопоставили этому идеалу требованіе строго точнаго изображенія дѣйствительности, низкой истины. Само по себѣ это требованіе не исключало ни идеаловъ вообще, ни въ частности идеальныхъ типовъ. Но, спускаясь, подъ вліяніемъ травли и другихъ невыгодныхъ внѣшнихъ условій, со ступеньки на ступеньку, мы предлагали наконецъ художнику обратиться въ фотографическій аппаратъ, въ гоненіи всяческихъ символовъ и нереальныхъ образовъ дошли до того, что серьезно костили Шекспира за тѣнь отца Гамлета и проч. А между тѣмъ рядомъ съ этими крайними теоретическими требованіями критики уживались въ беллетристикѣ болѣе или менѣе неудачно нарисованные идеальные «новые люди». Опять разладъ. Далѣе, когда травля выхватывала изъ среды такъ называемыхъ новыхъ людей какихъ-нибудь уродовъ, буквально понимавшихъ и практиковавшихъ наши краткія и грубыя формулы, которыя имѣли для насъ вообще только теоретическое значеніе и которымъ мы вовсе не слѣдовали на практикѣ; когда травля выхватывала такихъ уродовъ и снимала съ нихъ фотографію, мы либо отрицали самый фактъ, либо даже брали уродовъ подъ свою защиту и старались нанизать на нихъ свои мысли и чувства, обратить въ свой идеалъ.

Нравственно все, что естественно; человѣкъ есть рабъ обстоятельствъ; наука должна служить исключительно практическимъ цѣлямъ; законы исторіи непреоборимы; человѣкъ есть животное. Вотъ еще рядъ краткихъ и ясныхъ формулъ, къ которымъ мы пришли, стремясь, при самыхъ невыгодныхъ внѣшнихъ условіяхъ, отыскивать низкую истину, лежащую на днѣ и старыхъ, и нашихъ собственныхъ идеаловъ. Формулы эти условно вѣрны, какъ условно справедливо то, что половое влеченіе составляетъ реальное дно любви, а эгоизмъ — реальное дно самоотверженія. Но, въ жару борьбы, мы придали имъ нѣсколько большее значеніе и старались изо всего этого неотдѣланнаго сырья сложить цѣлый кодексъ реализма. Кодексъ слагался трудно, потому что отдѣльные его параграфы противорѣчили нашимъ собственнымъ чувствамъ и стремленіямъ. Такъ что, напримѣръ, заявляя, что человѣкъ есть рабъ обстоятельствъ, мы не находили достаточно сильныхъ словъ для обруганія той-же самой мысли, выраженной въ другой формѣ: среда заѣла. Какъ-бы то ни было, но мы вынесли много ломки, страданій и внутренней борьбы изъ-за этого разлада нашихъ скрытыхъ идеаловъ съ нашимъ открытымъ реализмомъ.

Теперь все это уже улеглось. Кто сумѣлъ выкарабкаться, кто погибъ жертвой разлада, кто затонулъ въ омутѣ мелкой жизни, кто до сихъ поръ тянетъ старую канитель, но уже безъ стараго увлеченія и азарта. Недалеко отъ насъ это время—всего нѣсколько лѣтъ, но въ эти нѣсколько лѣтъ утекло такъ много воды, что будто цѣлая пропасть отдѣляетъ насъ отъ недавней поры исканія низкихъ истинъ для ниспроверженія насъ возвышающихъ обмановъ. Приливъ кончился, начался отливъ. Какъ волны морскія, отхлынувъ отъ берега, оставляютъ на немъ рыбъ, моллюсковъ, которымъ предстоитъ умереть внѣ родной стихіи, такъ и волны нашего общественнаго движенія, отхлынувъ, оставили на берегу вышеприведенныя краткія и грубыя формулы, которыя сами по себѣ, безъ оживлявшаго насъ недавно духа, мертвы. Пришли люди, не мучившіеся надъ ихъ выработкой, не знающіе ихъ цѣны, не имѣющіе той внутренней гарантіи, которая не допускала бы практическаго паденія, несмотря на односторонность теоретическихъ положеній. Пришли эти люди и подобрали наши краткія и ясныя формулы и пустили ихъ въ оборотъ... Боже, что они изъ нихъ сдѣлали!

Пришли люди и сказали: мы люди трезвые, плюемъ на всякій идеализмъ, держимся строгихъ предписаній науки и реальной философіи. Мы реалисты, а такъ какъ съ точки зрѣнія реализма нравственно то, что естественно, то мы, повинуясь естественной борьбѣ за существованіе, признаемъ нравственнымъ давить слабыхъ и неприспособленныхъ. Мы реалисты, а такъ какъ съ

точки зрѣнія реализма жертва есть сапоги въ смятку, то мы живемъ единственно ради своей собственной утробы. Мы реалисты, а такъ какъ съ точки зрѣнія реализма человѣкъ есть рабъ обстоятельствъ, то мы объявляемъ себя неотвѣтственными за всѣ тѣ подлости, которыя мы сдѣлали, дѣлаемъ и имѣемъ сдѣлать. Мы реалисты, а такъ какъ съ точки зрѣнія реализма наука должна служить практикѣ и сама по себѣ цѣны не имѣетъ, то мы пускаемъ ее въ ходъ для обдѣлыванія своихъ практическихъ дѣлишекъ. Мы реалисты, а такъ какъ съ точки зрѣнія реализма законы исторіи непреоборимы, то, признавая историческимъ закономъ смѣну акцій и реакцій или развитіе въ извѣстный моментъ пролетаріата, мы не считаемъ нужнымъ прать противъ рожна. И т. д., и т. д., и т. д. Словомъ, пришлые люди, подобравъ наши краткія и ясныя формулы, уединивъ ихъ отъ процесса ихъ выработки, навѣсили на нихъ всевозможныя грязныя поползновенія, всяческую низость, всякое совсѣмъ не подходящее нравственное тряпье, подобранное ими на заднемъ дворѣ практической жизни. И эти пришлые люди лягаютъ еще вдобавокъ время отъ времени тѣхъ, кто оставилъ имъ въ наслѣдство краткія и ясныя формулы! Впрочемъ, въ тысячу разъ горше слышать, когда они пятнаютъ ихъ своимъ почтеніемъ...

Въ виду всего этого, въ головѣ средняго русскаго образованнаго человѣка долженъ существовать порядочный сумбуръ. И становится необходимымъ провѣрить, во-первыхъ, пункты столкновенія новыхъ идеаловъ со старыми, т.-е. тѣ пункты, отъ которыхъ мы вышли на исканіе низкихъ истинъ; во-вторыхъ, значеніе краткихъ и ясныхъ формулъ, какъ теоретическихъ положеній и какъ практическихъ правилъ, т.-е. тѣ пункты, на которыхъ мы столкнулись съ пришлыми людьми. Это-то мы и хотимъ сдѣлать. Но прежде познакомимъ читателя съ новымъ произведеніемъ автора «Жизни Іисуса», названіе котораго поставлено у насъ въ заголовкѣ статьи. По разнымъ причинамъ мы не считаемъ ни нужнымъ, ни возможнымъ знакомить читателя съ «Старою и новою вѣрою» очень подробно. Мы возьмемъ изъ нея только то, что можетъ помочь намъ въ нашей непосредственной задачѣ. Нѣсколько цитатъ—вотъ все, что мы обѣщаемъ читателю.

II.

Новая книга Штрауса есть «исповѣдь», Bekenntniss. Чья?—Штрауса? Отчасти—да. Я работалъ сорокъ лѣтъ,—говоритъ онъ,—дожилъ до старости, до такой старости, что пора уже подвести итоги своимъ трудамъ. Но претензіи знаменитаго автора «Жизни Іисуса» на этомъ не останавливаются. Der alte und der neue Glaube представляетъ не только личную исповѣдь Штрауса, но вмѣстѣ съ тѣмъ программу всѣхъ, очень многочисленныхъ людей, отрицающихъ и католицизмъ, и протестантизмъ, и какую бы то ни было церковную организацію. «Мы»,—говоритъ Штраусъ,—не помышляемъ разрушать церковь, потому что для множества людей она составляетъ еще потребность; но вмѣстѣ съ тѣмъ, мы думаемъ, что не настало еще время для новой организаціи «идеальныхъ элементовъ жизни народовъ» (der idealen Elemente im Völkerleben). Въ ожиданіи этого времени «мы» стараемся только сблизиться на почвѣ новой науки (въ противоположность старой вѣрѣ) и указать эту почву всѣмъ колеблющимся и ищущимъ твердой нравственной опоры. Сообразно этому, Штраусъ ставитъ себѣ двѣ задачи: во-первыхъ, опредѣленіе «нашихъ» отношеній къ существующимъ религіознымъ воззрѣніямъ; во-вторыхъ, изложеніе новаго міросозерцанія. А эти двѣ задачи распадаются для него на слѣдующіе четыре вопроса: 1) христіане ли мы? 2) имѣемъ ли мы религію вообще? 3) какъ понимаемъ мы міръ? 4) какъ устраиваемъ мы свою жизнь? Къ книгѣ приложены еще два критическихъ этюда «о нашихъ (нѣмецкихъ) великихъ поэтахъ» и «о нашихъ великихъ музыкантахъ». Но они не имѣютъ никакой связи съ главнымъ содержаніемъ «исповѣди» и трудно даже объяснить, зачѣмъ они сюда попали.

На первый изъ своихъ вопросовъ Штраусъ отвѣчаетъ безусловно отрицательно: «мы» не христіане; но, по понятнымъ читателю причинамъ, мы не станемъ излагать этотъ отвѣтъ. Не можемъ мы привести здѣсь вполнѣ и отвѣта на второй вопросъ: имѣемъ ли мы еще религію вообще? Мы приведемъ только заключительную часть этой главы. Показавъ, что религіозное чувство постепенно слабѣетъ въ европейскомъ обществѣ, Штраусъ находитъ, однако, что есть въ религіозномъ чувствѣ нѣчто не пропадающее, всегда несомнѣнное, истинное, вполнѣ соотвѣтствующее реальному ходу вещей,—именно чувство зависимости. Эта «сущность» всѣхъ религій, ихъ основной элементъ не исчезаетъ изъ нашего психическаго обихода, хотя то нѣчто, отъ котораго мы чувствуемъ себя зависимыми, постоянно для человѣка измѣняется, и одна изъ главныхъ чертъ этихъ измѣненій состоитъ въ утратѣ означеннымъ «нѣчто» личнаго характера. Штраусъ признаетъ такимъ «нѣчто» вселенную (das All, Universum). Онъ представляетъ себѣ ее и свое чувство зависимости отъ нея

слѣдующимъ образомъ: «Мы видимъ въ мірѣ постоянныя измѣненія, но тѣмъ не менѣе усматриваемъ среди нихъ нѣчто неизмѣнное, порядокъ и законъ. Мы видимъ въ природѣ рѣзкія противоположности, грозную борьбу, но въ то же время видимъ, что этимъ не только не нарушаются, а поддерживаются устойчивость и гармонія цѣлаго. Далѣе мы видимъ вездѣ постепенность, развитіе высшаго изъ низшаго, тонкаго изъ грубаго, нѣжнаго изъ жесткаго. Мы находимъ также, что наша личная и общественная жизнь тѣмъ болѣе насъ удовлетворяетъ, чѣмъ болѣе намъ удается подчинить въ себѣ и вокругъ насъ все измѣняющееся закону и развить изъ низкаго высшее, изъ грубаго нѣжное. Встрѣчая такое подчиненіе и такое развитіе въ сферѣ человѣческой жизни, мы называемъ ихъ благими и разумными. Иначе не можемъ мы называть и то, что соотвѣтствуетъ имъ въ остальной природѣ. А такъ какъ мы чувствуемъ себя вполнѣ зависимыми отъ окружающаго насъ міра, такъ какъ только изъ него можемъ выводить свое существованіе во всѣхъ подробностяхъ, то должны признать этотъ міръ, вселенную источникомъ всего разумнаго и благого... То, отъ чего мы чувствуемъ себя зависимыми, есть для насъ не только грубая сила, передъ которою мы преклоняемся съ нѣмою покорностью, но порядокъ и законъ, разумъ и благо, которымъ мы предаемъ себя съ любовью и довѣріемъ. Мало того: такъ какъ признаваемыя нами въ мірѣ силы благого и разумнаго мы находимъ въ самихъ себѣ, такъ какъ нами это благое, разумное чувствуется, познается и въ насъ индивидуализируется, то мы чувствуемъ себя тѣсно связанными съ тѣмъ, отъ чего мы зависимъ, свободными въ своей зависимости; и въ нашихъ отношеніяхъ къ міру смѣшиваются гордость и смиреніе, радость и преданность» (142, 145).

Въ виду этихъ соображеній Штраусъ даетъ на поставленный имъ вопросъ условный отвѣтъ: «мы» и религіозны и нерелигіозны, смотря по тому, что понимать подъ религіей и религіознымъ чувствомъ. Но во всякомъ случаѣ приведенный очеркъ «нашихъ» отношеній къ міру слишкомъ неполонъ сравнительно съ тѣмъ, какъ они понимаются представителями различныхъ религій, обнимавшихъ и обнимающихъ и исторію мірозданія, и практическую философію. Надо, значитъ, еще отвѣтить на два послѣдніе вопроса: какъ мы понимаемъ міръ? Какъ мы устраиваемъ свою жизнь?

Если мы совсѣмъ не привели отвѣта Штрауса на вопросъ: христіане-ли мы? и только отчасти объяснили, какъ онъ относится къ вопросу: религіозны-ли мы?—по чисто цензурнымъ соображеніямъ, то за его развитіемъ вопроса: какъ мы понимаемъ міръ? мы не будемъ слѣдить по совершенно инымъ причинамъ. Въ главѣ, посвященной этому вопросу, нѣтъ ничего новаго и оригинальнаго. Штраусъ здѣсь только кратко и поверхностно излагаетъ выводы астрономіи, геологіи, біологіи, освѣщая ихъ время отъ времени весьма слабыми философскими разсужденіями. Для насъ достаточно знать, что онъ является ярымъ сторонникомъ Дарвина, Ляйелля, новѣйшихъ психологическихъ теорій и соглашается признать себя матеріалистомъ. Человѣкомъ науки его, разумѣется, за эту главу назвать нельзя, да онъ и не претендуетъ на этотъ титулъ и охотно называетъ себя профаномъ. Тѣмъ не менѣе онъ очевидно усвоилъ себѣ послѣдніе результаты положительнаго знанія, а отчасти и научные пріемы, отчасти, потому что гегеліанецъ даетъ себя по временамъ знать довольно осязательно. Во всякомъ случаѣ мы имѣемъ передъ собой болѣе или менѣе полнаго и послѣдовательнаго реалиста. Любопытно знать, какъ этотъ реалистъ рѣшаетъ свой послѣдній вопросъ: какъ устраиваемъ мы свою жизнь?

Пока рѣчь идетъ о нравственно-политическихъ вопросахъ вообще, объ ихъ общей постановкѣ, реалистъ разсуждаетъ такъ: «Въ человѣкѣ природа двинулась не просто впередъ, но стремится въ немъ перерасти самое себя. Поэтому онъ долженъ быть не просто животнымъ, а чѣмъ-то бо́льшимъ и лучшимъ» (246). «Человѣкъ можетъ и долженъ не только изучать природу, но и покорять ее, и притомъ не только внѣшнюю природу, насколько хватаетъ его силъ но и свою собственную (das Natürliche in ihm selbst» (247). Но какъ только дѣло доходитъ до частностей, такъ у нашего реалиста сразу пропадаетъ убѣжденіе въ возможности и обязательности для человѣка стать выше природы. Напримѣръ, онъ обращается къ членамъ лозанскаго конгресса мира съ такими рѣчами: «человѣкъ есть, правда, высшій и развитѣйшій отпрыскъ животнаго міра, но, какъ таковой, онъ все-таки вполнѣ неразумное существо (von Hause aus ein irrationales Wesen); при всѣхъ успѣхахъ разума и науки, природа, алчность и гнѣвъ будутъ надъ нами всегда имѣть власть; и знаете-ли, милостивыя государыни и милостивые государи, когда вы добьетесь того, что человѣчество станетъ разрѣшать свои споры мирными соглашеніями?—въ тотъ самый день, когда вы устроите, чтобы человѣчество размножалось посредствомъ разумныхъ бесѣдъ» (262).

Другіе пункты своей нравственно-политической программы Штраусъ уже не моти-

вируетъ ни обязанностью превзойти природу, ни невозможностью превзойти ее. Онъ ихъ просто ставитъ одинъ за другимъ, то почти афористически, то обставляя ихъ соображеніями приблизительно такого-же свойства, какими наполняются передовыя статьи нашихъ газетъ. Онъ косвеннымъ образомъ предлагаетъ германскому правительству отмѣнить законъ о свободѣ стачекъ. Онъ требуетъ сохраненія смертной казни, радуется, что Бисмаркъ на этотъ счетъ твердъ, но скорбитъ о томъ, что германскій императоръ, по своему мягкосердечію, будетъ чего добраго злоупотреблять правомъ помилованія. Крайняя поверхностность и плоскость его рѣшеній избавляетъ насъ отъ обязанности слѣдить за ними и мы только приведемъ кое-что характерное для книги и ея автора.

Попрекнувъ международное общество рабочихъ за разрушительныя стремленія и презрѣніе къ національному элементу, Штраусъ продолжаетъ:

«Мы не забываемъ, что и нашимъ великимъ геніямъ прошлаго столѣтія, Лессингу, Гете, Шиллеру, было подчасъ тѣсно въ національныхъ рамкахъ. Они чувствовали себя ужъ конечно не швабами или саксонцами, даже не гражданами нѣмецкаго государства, а гражданами міра. Поэтому мыслить и творить въ духѣ только одного народа было для нихъ мало... Но въ чемъ состоялъ ихъ космополитизмъ? Они обнимали своимъ сочувствіемъ все человѣчество, они хотѣли видѣть постепенно ссуществленными у всѣхъ народовъ свои идеи прекрасной нравственности и разумной свободы. Чего, напротивъ, хотятъ теперешніе проповѣдники братства народовъ? Они хотятъ прежде всего уравненія матеріальныхъ условій человѣческаго существованія, средствъ жизни и наслажденія; духовное стоитъ на второмъ планѣ и должно только способствовать добыванію этихъ средствъ. Но и въ духовномъ отношеніи они требуютъ уравненія всеобщей посредственности, и сообразно этому смотрятъ на все высшее равнодушно и даже подозрительно» (265).

«Я буржуа и горжусь этимъ. Что бы ни говорили и какъ бы ни смѣялись надъ буржуазіей, но она все-таки остается ядромъ народа, очагомъ его нравственности; она работаетъ не только надъ увеличеніемъ благосостоянія народа, но и надъ ростомъ науки и искусства. Буржуа, мечтающій о чести стоять въ рядахъ дворянства или даже покупающій эту честь, срамитъ себя въ моихъ глазахъ. И даже когда подобное возвышеніе какой-нибудь достойный представитель средняго сословія принимаетъ въ видѣ награды съ благодарностью, я пожимаю плечами и вижу здѣсь достойную сожалѣнія слабость. Но при этомъ я далеко не врагъ дворянства и вовсе не желаю его уничтоженія. Для этого я слишкомъ искренно цѣню монархію. Мы неоднократно видѣли на примѣрѣ Франціи, что значитъ тронъ, возвышающійся надъ нивеллированнымъ обществомъ. Наоборотъ, Англія и теперь показываетъ намъ, на что способно истинное дворянство (ein rechter Adel) и въ качествѣ блюстителя народныхъ вольностей и въ качествѣ опоры законной королевской власти. Въ органическомъ строѣ конституціонной монархіи дворянство составляетъ неизбѣжное звено, и рѣчь можетъ быть не о томъ, чтобы его выкинуть, а только о томъ, чтобы отвести ему его настоящее мѣсто. Дворянство опирается прежде всего на крупное землевладѣніе, и законодательство должно предоставить ему, равно и богатой буржуазіи, возможность въ извѣстныхъ границахъ сохранять свое имущество не раздробленнымъ. Точно также конституція должна предоставить дворянству, крупной промышленности и, такъ сказать, крупной интеллигенціи соотвѣтственное вліяніе на общественныя дѣла» (274).

«Еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ была въ ходу, повторяясь даже приличными писателями, такая теорія: отнынѣ, дескать, человѣчество не будетъ руководимо отдѣльными выдающимися личностями; талантъ и пониманіе будутъ все болѣе и болѣе обращаться въ общее достояніе массъ, которыя, дескать, сами сумѣютъ себя руководить. Разъ было рѣшено, что нѣтъ надобности ломать шапку передъ любымъ богачомъ, что власти суть не болѣе, какъ слуги державнаго народа и что на нихъ смотрѣть нечего,—оставалось только отбросить всякое уваженіе къ генію. Тогда, конечно, наступитъ торжество братства и цѣль и высшій пунктъ цивилизаціи будутъ благополучно достигнуты. Но событія послѣднихъ годовъ сыграли злую шутку съ этимъ демократическимъ рѣшеніемъ. Конечно, Гёте и Гумбольдты, повидимому, вымерли, но на ихъ мѣста явились Бисмарки и Мольтке, величіе которыхъ отрицать тѣмъ труднѣе, что оно сказывается въ области осязательныхъ фактовъ. Самые одеревенѣлые и щетинистые изъ радикаловъ поневолѣ должны нѣсколько приподнять голову, чтобы имѣть возможность окинуть взоромъ эти величавыя фигуры хотя бы до колѣнъ. Нѣтъ, исторія не перестанетъ быть аристократкой, хотя и съ благопріятными для народа воззрѣніями» (286).

Книга Штрауса заканчивается слѣдующимъ окончаніемъ времяпровожденія тѣхъ «насъ», символъ вѣры которыхъ есть «Der alte und der neue Glaube»:

«Мы принадлежимъ къ самымъ разнообразнымъ профессіямъ; кромѣ ученыхъ и художниковъ между нами есть чиновники и военные, промышленники и помѣщики, есть между нами и женщины, и повторяю, насъ не мало, цѣлыя тысячи и притомъ не худшихъ людей всѣхъ странъ. Кромѣ занятій своими профессіями, семейной жизни и жизни съ друзьями, мы стараемся воспитывать въ себѣ сочувствіе ко всѣмъ высшимъ интересамъ человѣчества. Такъ, въ послѣдніе годы мы принимали живое участіе и, каждый по мѣрѣ своихъ силъ, дѣйствовали въ великой національной войнѣ и въ учрежденіи нѣмецкаго государства, мы чувствуемъ себя возвышенными въ глубинѣ души этимъ, столь же неожиданнымъ, какъ и прекраснымъ оборотомъ судебъ нашей многострадальной націи. Война эта даетъ неисчерпаемый матеріалъ для размышленій о томъ, что ведетъ къ гибели и спасенію какъ націй, такъ и отдѣльныхъ лицъ; ни одно время не богато такъ нравственными уроками, какъ послѣдніе годы. Въ пониманіи этихъ вещей мы помогаемъ себѣ изученіемъ исторіи, которое стало теперь доступно даже неученымъ, благодаря цѣлому ряду привлекательно и популярно написанныхъ историческихъ сочиненій. При этомъ мы стараемся расширить свои познанія о природѣ, для чего также существуетъ достаточно общепонятныхъ пособій. Наконецъ, въ твореніяхъ нашихъ великихъ поэтовъ и музыкантовъ мы находимъ такое возбужденіе разума и чувства, воображенія и юмора, которое не оставляетъ ничего больше желать.

So leben wir, so wandeln wir beglückt.

Говорятъ, что это годится только для людей ученыхъ или по малой мѣрѣ образованныхъ, а для простого человѣка изъ народа чтеніе и изученіе въ такомъ количествѣ невозможно. Говорятъ, что у него нѣтъ времени и что пониманіе нашихъ поэтовъ для него особенно трудно. Говорятъ, для него существуетъ библія, ее онъ понимаетъ» (299).

Но, заканчиваетъ Штраусъ, это совершенный вздоръ, потому что библія нисколько не понятнѣе великихъ нѣмецкихъ поэтовъ.

Таково, не скажемъ новое произведеніе Штрауса, потому что многое изъ него читателю осталось неизвѣстнымъ, но таково современное настроеніе автора «Жизни Іисуса». Онъ, очевидно, не ошибся, называя свою книгу не только своею личною исповѣдью, но программою мысли и жизни весьма и весьма многихъ людей. Лично, спеціально Штраусу здѣсь принадлежитъ только первая глава—о христіанствѣ. Все остальное есть общее достояніе средняго нѣмецкаго человѣка, котораго болѣе или менѣе коснулись всѣ историческія вѣянія съ половины тридцатыхъ до начала семидесятыхъ годовъ. Если бы «нашу» исповѣдь писалъ экономистъ или политикъ, у него глава о христіанствѣ вышла бы гораздо блѣднѣе, а отвѣтъ на вопросъ: какъ мы устраиваемъ свою жизнь? гораздо разработаннѣе. Спеціалистъ по естественнымъ наукамъ, въ свою очередь, сильнѣе налегъ бы на вопросъ: какъ мы понимаемъ міръ? Но за исключеніемъ этого перемѣщенія центра тяжести изложенія и кое-какихъ неважныхъ разногласій въ частностяхъ, книга Штрауса по справедливости можетъ быть названа выраженіемъ мнѣній весьма и весьма значительной части представителей имущихъ и образованныхъ классовъ въ Германіи. Несомнѣнно, что въ этихъ слояхъ христіанство болѣе или менѣе потеряло кредитъ: несомнѣнно однако также, что имъ вовсе не хочется разрывать съ религіей вообще и желательно было бы только сочетать ее какъ-нибудь съ метафизикой; несомнѣнно, что естественныя науки пользуются огромнымъ уваженіемъ; несомнѣнно, наконецъ, что Бисмаркъ и Мольтке великіе люди, что война есть благодѣтельная и неизбѣжная гроза, что требованія рабочихъ безумны и грозятъ паденіемъ цивилизаціи и т. д. Приглядываясь, однако, къ этой программѣ, мы замѣчаемъ во-первыхъ, что она едва ли можетъ быть названа «новой вѣрой». Основы ея даны еще французскими энциклопедистами: та же критика христіанства, та же условная, половинчатая религіозность, то же уваженіе къ естественнымъ наукамъ. Во всякомъ случаѣ если современная историческая критика и современное развитіе естествознанія оставили далеко за собою соотвѣтственныя составныя части міросозерцанія энциклопедистовъ, то это только уясненіе частностей, развитіе знанія исключительно фактическое. Новѣйшіе нѣмцы навѣсили сюда еще Бисмарка, Мольтке и величіе нѣмецкой націи, далѣе понизили, ради тѣхъ же Бисмарка и Мольтке, тонъ буржуазнаго либерализма, вычеркнули ненависть энциклопедистовъ къ войнѣ и смертной казни и прибавили борьбу съ соціализмомъ. Можетъ ли все это быть названо улучшеніемъ,—пусть судитъ читатель. Затѣмъ, несмотря на то, что исповѣдь Штрауса есть, дѣйствительно, исповѣдь многихъ, всякій свѣжій человѣкъ невольно поразится ея нескладностью, отсутствіемъ связи и гармоніи между ея составными частями. Спрашивается, почему, покончивъ со всякой идеализаціей естественныхъ дѣятелей, «мы» нарочито идеализируемъ какой-то бездушный, безличный «міръ», das All, Universum? Откуда у «насъ» берутся такія чувства, какъ «гордость и смиреніе, радость и предан-

ность» по отношенію къ этому слѣпому и глухому, такъ сказать, опорожненному отъ всякихъ идеальныхъ началъ «міру»? Что значитъ съ точки зрѣнія реализма «стремленіе природы перерасти самое себя въ человѣкѣ»? Что значитъ повелительное наклоненіе: покоряй das natürliche in dich selbst? Развѣ есть въ человѣкѣ что-нибудь unnatürliches или übernatürliches? Если человѣкъ долженъ бороться съ внѣшней природой и своими собственными животными наклонностями, то почему лозанскій конгрессъ мира достоинъ осмѣянія за свою агитацію противъ войны? Если война международная неизбѣжна, то на чемъ основана надежда Штрауса устранить при помощи князя Бисмарка войну междусословную? Зачѣмъ громить рабочихъ за ихъ «алчность и гнѣвъ», когда въ другихъ случаяхъ объявляется категорически, что эти чувства «будутъ всегда имѣть власть надъ человѣкомъ»?—На всѣ эти вопросы Штраусъ либо не даетъ отвѣта вовсе, либо даетъ отвѣты не мотивированные, либо, наконецъ, мотивируетъ ихъ крайне плохо. Очевидно, что «новая вѣра» представляетъ просто механическую смѣсь. На болѣе или менѣе послѣдовательно проведенныя и обставленныя новыми фактами теоретическія положенія, которыя были поставлены еще энциклопедистами, Штраусъ навѣсилъ разное нравственное тряпье, подобранное имъ на заднемъ дворѣ практической жизни современной Германіи. Сюда замѣшалась еще нѣмецкая метафизика, но для насъ это ингредіентъ неинтересный. Выкинувъ его, мы увидимъ, что Штраусъ сдѣлалъ съ ученіями энциклопедистовъ нѣчто подобное тому, что пришлые люди сдѣлали съ нашими краткими и ясными формулами. Полнаго сходства между этими двумя операціями, конечно, нѣтъ и быть не можетъ, но оно во всякомъ случаѣ есть.

Матеріалисты прошлаго столѣтія, какъ и мы, возстали противъ «насъ возвышающаго обмана». Какъ мы, они искали низкихъ истинъ и реальнаго дна старыхъ и своихъ собственныхъ идеаловъ. Какъ и мы, они пришли, въ жару борьбы, къ краткимъ, яснымъ и грубымъ формуламъ. Даже формулы ихъ и наши почти тождественны. И они говорили, что любовь есть половое влеченіе, жертва — сапоги въ смятку, что законы исторіи непреоборимы, что человѣкъ — животное, что нравственно все, что естественно, что наука должна служить исключительно практическимъ цѣлямъ, что человѣкъ есть рабъ обстоятельствъ. Мало того, они завоевали этимъ формуламъ прочное положеніе, распространили по всему бѣлому свѣту, обратили ихъ почти въ общее мѣсто. Но для нихъ это были, во-первыхъ, просто теоретическія положенія, изъ которыхъ надлежало вывести практическія правила поведенія, но именно вывести, а не обращать теоретическое положеніе непосредственно въ повелительное наклоненіе. Во-вторыхъ, духъ, жившій въ мыслителяхъ и писателяхъ, непосредственно предшествовавшихъ революціи, гарантировалъ имъ до извѣстной степени возможность избѣгнуть практическихъ заблужденій, несмотря на односторонность ихъ теоретическихъ исходныхъ точекъ. Въ-третьихъ, наконецъ, краткія и ясныя формулы энциклопедистовъ имѣли, главнымъ образомъ, значеніе антитезы старыхъ идей и идеаловъ. Говоря, напримѣръ, что нравственно все, что̀ естественно, они не думали называть нравственною всякую похоть, которая, однако, какъ и все на свѣтѣ, возникаетъ совершенно естественно. Если у нихъ и можно найти кое-что въ такомъ родѣ, то это продукты увлеченія. Главное же значеніе формулы: нравственно все, что естественно,—заключается въ противоположности ея дотолѣ царившимъ воззрѣніямъ, что источники и санкція нравственности сверхъестественны, что естество человѣка грѣховно и должно быть попираемо и т. д. Говоря, что жертва есть сапоги въ смятку, они вовсе не имѣли въ виду предписывать грубый эгоизмъ. Они только указывали реальное дно самоотверженія и вмѣстѣ съ тѣмъ боролись со старой фикціей, что въ человѣка откуда-то извнѣ вложены идеи нравственности и любви. Словомъ, всѣ ихъ краткія и ясныя формулы, всѣ найденныя ими низкія истины имѣли преимущественно значеніе ударовъ «насъ вызывающимъ обманомъ», старымъ идеаламъ, построеннымъ на фикціяхъ и самообольщеніяхъ. Низкія истины, благодаря усиліямъ конца прошлаго вѣка, получили полное право гражданства въ Европѣ, и Дюбуа Реймонъ справедливо говоритъ, что мы всѣ болѣе или менѣе вольтерьянцы, хотя не всѣ сознаемъ это и не всѣ себя такъ называемъ. Если въ этомъ мнѣніи знаменитаго физіолога нѣсколько преувеличено значеніе Вольтера, то уже, конечно, не преувеличено значеніе того движенія вообще, котораго далеко не самымъ послѣдовательнымъ, хотя и самымъ счастливымъ представителемъ былъ Вольтеръ. Несмотря однако на это, шашки смѣшались, и чуть не всѣ многочисленныя нравственно-политическія теченія, проходившія и сталкивавшіяся надъ Европой, дѣлали изъ низкихъ истинъ практическіе выводы, сплошь и рядомъ взаимно исключающіеся. Что навѣшивали и навѣшиваютъ на низкія истины, распространенныя энергіей писателей прошлаго столѣтія, мальтузіанцы, манчестерцы, нѣкоторые дарвинисты, многіе моралисты и политики,—это доста-

точно извѣстно. Штраусъ ухитряется, напримѣръ, навѣсить войну, смертную казнь, Бисмарка, Мольтке, т.-е. все, чѣмъ живетъ въ настоящую минуту трусливая по отношенію къ домашнимъ дѣламъ и расхрабрившаяся по отношенію къ дѣламъ внѣшнимъ нѣмецкая буржуазія. А между тѣмъ все это элементы тѣхъ самыхъ идеаловъ, которые были осмѣяны и оплеваны въ концѣ прошлаго столѣтія. Такимъ образомъ процессъ перехода отъ всѣми болѣе или менѣе открыто признаваемыхъ теоретическихъ положеній къ практическимъ выводамъ неясенъ и въ Европѣ; до такой степени неясенъ, что низкія истины, пущенныя вначалѣ въ ходъ для борьбы со старыми идеалами, оказываются нынѣ со многими изъ нихъ въ тѣснѣйшей дружбѣ. Какъ же, наконецъ, связать теорію съ практикой и какъ разграничить старые и новые идеалы?

III.

Давно извѣстно, что язычники списываютъ своихъ боговъ съ самихъ себя, придавая имъ нѣсколько преувеличенные размѣры въ физическомъ и нравственномъ отношеніяхъ; именно приписывая имъ такіе размѣры своихъ собственныхъ свойствъ, силъ и способностей, которые они желали бы имѣть, но, по собственному сознанію, не имѣютъ и имѣть не могутъ. Это теорія Фейербаха, принятая отчасти и Штраусомъ. Боги суть продукты идеализаціи тѣхъ или другихъ явленій природы вообще и человѣческой въ особенности, но они вовсе не суть идеалы, не маяки на жизненномъ пути. Они идолы, предметы поклоненія, ужаса, обожанія, причемъ твердо сознается невозможность сравняться съ ними, достигнуть ихъ величія и силы. Идеалъ, напротивъ, есть нѣчто для человѣка практически обязательное: человѣкъ желаетъ и чувствуетъ возможность достигнуть того или другого состоянія. Приведемъ нѣсколько примѣровъ. Язычникъ существуетъ и желаетъ существовать какъ можно дольше. Эту ненасытную жажду бытія язычникъ воплощаетъ въ представленіи вѣчности своихъ боговъ, но въ то же время онъ понимаетъ, что для него лично эта вѣчность бытія немыслима. Язычникъ обладаетъ извѣстной физической силой, цѣнитъ ее очень высоко и желалъ бы владѣть ею въ неограниченномъ размѣрѣ. Онъ вноситъ эту жажду мощи въ образы боговъ, съ полнымъ сознаніемъ нечеловѣчности, недостижимости для человѣка такого размѣра силы. Такимъ же путемъ слагаются и всѣ другіе аттрибуты миѳическихъ существъ. А когда идолъ готовъ, ему можно поклоняться, созерцать его, удивляться ему, можно получать отъ него приказанія и указанія, но жить и дѣйствовать по его примѣру, брать себѣ его за образецъ нельзя. Онъ есть именно то, чѣмъ человѣкъ хотѣлъ бы быть, но по собственному сознанію быть не можетъ. И приписываются ему именно тѣ дѣйствія, которыя человѣкъ самъ выполнить не можетъ: такъ къ нему обращаются съ мольбою главнымъ образомъ въ такихъ случаяхъ, когда для полученія извѣстнаго результата обыкновенныхъ человѣческихъ силъ и способностей не хватаетъ. Идеалы же человѣчества, хотя и переплетаются болѣе или менѣе съ идолопоклонствомъ въ той или другой формѣ, имѣютъ совершенно противоположный характеръ. Возможность достиженія извѣстной комбинаціи вещей собственными, человѣческими средствами составляетъ ихъ необходимое условіе. Извѣстный идеалъ можетъ быть по сознанію человѣка недостижимъ ни сегодня, ни завтра, можетъ быть цѣлый рядъ поколѣній долженъ уложить къ нему путь своими костями, но во всякомъ случаѣ онъ близокъ, родственъ человѣку; человѣкъ признаетъ для себя обязательнымъ и возможнымъ итти, приближаться къ нему.

Всѣ черты идолослуженія могутъ находиться на лицо въ примѣненіи не только къ религіозному, а и къ историческому мифу. Для Шиллера, напримѣръ, Вильгельмъ Телль былъ идеаломъ, великимъ образцомъ, къ которому надлежитъ стремиться. Для него было безразлично, существовалъ когда-нибудь Телль въ дѣйствительности или нѣтъ. Онъ готовъ бы былъ отъ него всегда отказаться, какъ отъ реальной исторической фигуры. Онъ только выбралъ изъ хроникъ и легендъ подходящій матеріалъ, изъ котораго построилъ образъ великій, но человѣчески достижимый и желательный, нѣкоторый общечеловѣческій идеалъ. Напротивъ, для честнаго швейцарскаго кельнера, для хозяина швейцарской гостиницы, въ столовой которой красуется на стѣнѣ портретъ миѳическаго героя, для храбраго наемнаго швейцарскаго солдата тотъ же Вильгельмъ Телль есть идолъ, нѣчто великое, прекрасное, но чуждое его жизни. Онъ можетъ ему поклоняться, но не пойдетъ по его слѣдамъ и знаетъ, что это для него невозможно. Для него въ миѳѣ Телля воплощаются тѣ именно черты, великія и прекрасныя, которыхъ нѣтъ въ немъ самомъ. Могутъ возразить, что если бы наступила историческая минута, подобная той, при которой дѣйствовалъ легендарный Телль, то честный кельнеръ и хозяинъ швейцарскаго отеля приняли бы своего національнаго героя за образецъ и пошли бы по его слѣдамъ; но это будетъ возраженіе, совершенно не идущее къ дѣлу. Что будетъ впредь—неизвѣстно, а теперь-

то во всякомъ случаѣ герой самъ по себѣ, кельнеръ тоже самъ по себѣ. Тогда какъ въ понятіи Шиллера идеалъ героя былъ настолько широкъ и гибокъ, несмотря на свою ясность и твердость, что обнималъ собою многоразличнѣйшія частныя положенія. Для Шиллера обстановка Телля была только однимъ изъ конкретныхъ проявленій, одною изъ реальныхъ рамокъ широкаго идеала.

Идоломъ можетъ быть и живой человѣкъ, причемъ дѣло почти всегда сводится къ общественному положенію этого живого человѣка. Такимъ идоломъ былъ, напримѣръ, для огромнаго числа своихъ современниковъ Наполеонъ I. Хоть каждый французскій солдатъ и носилъ въ своемъ ранцѣ маршальскій жезлъ in potentia, но это могло быть достигнуто только подъ знаменемъ маленькаго капрала, съ которымъ никто не смѣлъ и думать мало-мальски сравняться. На Наполеона можно было молиться, можно было ждать отъ него всякой благостыни, завѣдомо недостижимой собственными силами, передъ нимъ и для его удовольствія и славы можно было бросаться на вѣрную гибель, какъ бросился Понятовскій съ своими уланами и тысячи другихъ; но уподобиться ему было нельзя. Въ представленіи своихъ поклонниковъ онъ былъ и долженъ былъ быть единственнымъ въ своемъ родѣ экземпляромъ.

Идолопоклонническая идеализація можетъ итти еще дальше, преклоняясь не только передъ личностью, занимающею извѣстное общественное положеніе, а непосредственно передъ этимъ положеніемъ. Таковъ догматъ папской непогрѣшимости. Никакой инфалибилистъ не считаетъ для себя не только обязательнымъ, но даже возможнымъ добиваться непогрѣшимости, хотя бы относительной, не выходящей изъ предѣловъ человѣческихъ способностей. Впрочемъ, здѣсь мы имѣемъ просто нѣкоторое видоизмѣненіе прямо религіознаго миѳа, о которыхъ уже говорили. Но точно также ни одинъ свѣтскій католикъ, какъ бы онъ ни былъ искренъ и вѣрующъ, не считаетъ для себя обязательнымъ и возможнымъ слѣдовать примѣру своихъ служителей церкви на пунктѣ безбрачія. Безбрачная жизнь есть, по его мнѣнію, нѣчто прекрасное, въ высокой степени заслуживающее уваженія, но это вовсе не его идеалъ, это только идолъ, которому онъ поклонится, но за которымъ не пойдетъ.

Обращаясь къ жизни брачной, мы опять-таки встрѣчаемъ замѣну идеаловъ идолами. Идолослуженіе даже можетъ быть наичаще встрѣчается въ супружескихъ отношеніяхъ, вообще въ отношеніяхъ между мужчинами и женщинами. Когда мужчина говоритъ о своемъ идеалѣ женщины или женщина о своемъ идеалѣ мужчины, то въ огромномъ большинствѣ случаевъ они выражаются совершенно неправильно. Для женщины въ большей части случаевъ идеалъ мужчины слагается изъ мужественности, твердости, учености, энергіи, силы и т. д., словомъ изъ такихъ чертъ, которыхъ въ ней, въ женщинѣ, по ея собственному сознанію, нѣтъ. Женщина, вообще говоря,—исключенія, конечно, есть и число ихъ безъ сомнѣнія все растетъ и должно расти,—и не помышляетъ о томъ, чтобы приблизиться самой къ этому идеалу мужчины. Онъ есть для нея нѣчто прекрасное, но недостижимое, чужое, на что она можетъ только любоваться. А можно ли это назвать идеаломъ? Это только идолъ, допускающій и увлеченіе, и поклоненіе, и любовь, и самопожертвованіе, но не имѣющій никакихъ правъ на имя идеала въ смыслѣ образца, въ смыслѣ маяка, знаменующаго собой извѣстную ступень развитія. Точно также и наоборотъ, для мужчины идеалъ женщины, вообще говоря, слагается изъ особенностей, въ немъ самомъ отсутствующихъ: нѣжности, наивности, слабости, граціи и т. д. Опять-таки это вовсе не идеалъ, а идолъ, и, признавая элементы своего идола прекрасными, вдохновляясь ими въ качествѣ поэта, рыцаря, наконецъ просто любящаго человѣка, мужчина знаетъ, что они для него лично недостижимы, да и ненужны ему.

Какъ-то разъ мнѣ случилось выразить мнѣніе, что такъ называемый женскій вопросъ поставленъ неудовлетворительно, именно въ томъ отношеніи, что́ женщины стремятся заполучить тѣ же профессіи, какія заняты мужчинами, не подвергая критикѣ самыхъ этихъ профессій. Читатель можетъ мнѣ напомнить эти мои соображенія какъ доказательство того, что женщины перестали видѣть въ мужчинѣ идола и стремятся сравниться съ нимъ, слѣдовательно замѣнили идола идеаломъ. Это справедливо. Въ свою очередь и мужчины перестаютъ цѣнить въ женщинахъ качества, еще недавно считавшіяся спеціально женскими. Такъ что въ извѣстномъ слоѣ нашего общества идолопоклонническія отношенія между мужчинами и женщинами, безъ сомнѣнія, исчезли или по крайней мѣрѣ исчезаютъ. Однако идолопоклонство въ обществѣ этимъ еще не изгоняется, а косвеннымъ образомъ даже отчасти поддерживается. Дѣло въ томъ, что стремясь стать рядомъ съ мужчинами въ качествѣ конкурентовъ на имѣющіяся и дозволенныя въ настоящемъ обществѣ профессіи, женщины стремятся тѣмъ самымъ закрѣпить всѣмъ своимъ персоналомъ данный порядокъ вещей. Это фатально и не подлежитъ никакому порицанію и никакому про-

тиводѣйствію, но это такъ. Данный-же порядокъ вещей представляетъ цѣлую очень широкую и очень развѣтвленную систему идоловъ. Къ ней мы и перейдемъ, оговорившись на случай какихъ-нибудь недоразумѣній, что, не преувеличивая значенія движенія, извѣстнаго подъ именемъ женскаго вопроса, мы считаемъ его однако неизбѣжнымъ, благотворнымъ, причемъ его косвенныя невыгоды могутъ и должны быть тѣмъ или другимъ способомъ парализованы.

Когда жирный нѣмецкій буржуа-идеалистъ декламируетъ стихи Шиллера:

Arbeit ist des Bürger's Zierde,
Segen ist der Mühe Preis;
Ehrt den König seine Würde,
Ehret uns der Hände Fleiss,

онъ думаетъ, что нарисовалъ идеалъ работника. Но каковъ-бы ни былъ этотъ идеалъ самъ по себѣ, для жирнаго буржуа-идеалиста онъ есть не болѣе какъ идолъ. Жирный буржуа можетъ очень высоко ставить тяжелый и упорный трудъ, но относится къ нему въ такомъ-же родѣ, какъ относится язычникъ къ тѣмъ или другимъ аттрибутамъ своихъ боговъ, католикъ къ непогрѣшимости папы и безбрачію своихъ священниковъ, швейцарскій отелье къ самоотверженію Вильгельма Телля, наполеоновскій солдатъ къ величію маленькаго капрала, т.-е., какъ къ чему-то чуждому, необязательному, невозможному, къ чему-то такому, что должно исполнять непосильныя лично для идеалиста работы. Да не смущается читатель тѣмъ, что въ приведенныхъ до сихъ поръ примѣрахъ люди относятся къ своимъ идоламъ какъ будто снизу вверхъ, а здѣсь, въ идеализаціи труда устами жирнаго буржуа, имѣется какъ будто обратный случай. Во-первыхъ, отвлеченнымъ образомъ жирный буржуа несомнѣнно ставитъ трудъ очень и очень высоко. Во-вторыхъ, смотритъ-ли человѣкъ на что-нибудь снизу вверхъ или сверху внизъ, это рѣшительно все равно. Идолъ есть просто нѣчто высокое, но чуждое и недостижимое, и отношенія къ нему весьма часто бываютъ двойственныя. Такъ Ксерксъ высѣкъ море, такъ нѣкоторые дикари сѣкутъ своихъ божковъ, такъ, видя въ женщинѣ идола, мужчина ее все-таки третируетъ сверху внизъ. Точно также ничто не мѣшаетъ жирному буржуа, идеализируя трудъ, въ то же самое время драть съ рабочаго по десяти шкуръ.

Когда Штраусъ противопоставляетъ якобы исключительно матеріальнымъ стремленіямъ рабочихъ свой идеалъ счастливой жизни, полной изящнѣйшихъ наслажденій музыкой, поэзіей, научною мыслью, то каковъ-бы ни былъ этотъ идеалъ самъ по себѣ, но народу онъ рекомендуется въ качествѣ идола. Если бы Штраусъ не оказывался во всей своей книгѣ такъ добродушно слабъ головою, можно-бы было принять за злѣйшую иронію послѣднія строки его «исповѣди». Будь библія въ тысячу разъ непонятнѣе нѣмецкихъ поэтовъ, изъ этого еще очевидно не слѣдуетъ, чтобы народъ имѣлъ время и возможность вести идеализируемый Штраусомъ образъ жизни. Народъ можетъ, конечно, находить пребываніе въ мірѣ чудныхъ звуковъ, прекрасныхъ образовъ и научныхъ идей превосходнымъ времяпровожденіемъ; но можетъ только издали любоваться на него, отнюдь не помышляя низвести этого идола до степени идеала или, вѣрнѣе сказать, поднять его до степени идеала. Наоборотъ, какъ бы ни были, по рѣшенію Штрауса, проникнуты политическимъ матеріализмомъ стремленія рабочихъ классовъ, они имѣютъ въ виду нѣкоторый идеалъ, хотя дѣйствительно не хотятъ болѣе идолопоклонства. Одна нѣмецкая газета выражаетъ эту мысль слѣдующими словами, ясность и рѣзкость которыхъ мы не хотимъ испортить переводомъ: Das Streben des wahren Socialisten muss dahin zielen auf Grund der socialen Magenfrage dem Volke die ideale sociale Aufgabe des vierten Standes begreiflich zu machen. Если Штраусу кажется, что стремленіе къ справедливости въ распредѣленіи труда и его продуктовъ отодвигаетъ все духовное на задній планъ, то это зависитъ только оттого, что онъ, несмотря на весь свой радикализмъ въ дѣлѣ исторической критики, слишкомъ сжился съ идолопоклонствомъ въ другихъ сферахъ.

Когда Мальтусъ требовалъ отъ рабочихъ, чтобы они отказались отъ наслажденій семейной жизни; когда онъ предлагалъ и капиталистамъ отказаться отъ наслажденій и только накоплять, накоплять и опять накоплять богатства, — онъ ставилъ передъ тѣми и другими идоловъ, а не идеалы. И не только потому, что самъ онъ не считалъ для себя обязательнымъ руководиться своими якобы идеалами въ собственной жизни. Допустимъ, что онъ убѣдилъ-бы рабочихъ и капиталистовъ въ величіи рекомендуемаго имъ самопожертвованія въ видахъ благополучія общества. Самопожертвованіе это оставалось-бы для тѣхъ и другихъ все-таки только идоломъ, ибо, какъ-бы высоко они его ни цѣнили, но сознавали-бы, что безъ глубокаго и коренного извращенія человѣческой природы оно ничѣмъ не отзовется на ихъ практической жизни.

Когда наши старые романисты рисовали идиллическіе образы поселянокъ и поселянъ, подбирающихъ букеты изъ розъ и незабудокъ, наслаждающихся всѣми благами сельской жизни подъ крыломъ благодѣтельнаго помѣщика; когда, напримѣръ, почтенный

П. М. Ковалевскій еще недавно воспроизвелъ въ очень миломъ стихотвореніи картину сѣнокоса, причемъ трудъ косцовъ оказался даже и не трудомъ вовсе, а пріятнѣйшимъ времяпровожденіемъ;—они не только подкрашивали дѣйствительность: они противопоставляли дѣйствительности идола. Хотя сочетаніе труда съ наслажденіемъ, le travail attrayant Фурье можетъ войти въ составъ весьма высокаго идеала, но если это сочетаніе представляется при наличности условій, не допускающихъ его осуществленія, оно есть только идолъ.

Этихъ примѣровъ, взятыхъ изъ самыхъ разнообразныхъ сферъ жизни, кажется, совершенно достаточно для уясненія разницы между идолами и идеалами. Но безъ сомнѣнія читатель замѣтилъ, что вмѣстѣ съ тѣмъ намъ уясняются границы между старыми идеалами («старой вѣрой» Штрауса), съ которыми такъ побѣдоносно боролись въ свое время энциклопедисты, съ которыми недавно боролись и мы, и идеалами новыми («новой вѣрой»), во имя которыхъ происходила борьба. Дѣйствительно, каковы-бы ни были сами по себѣ элементы духовной жизни нашихъ отцовъ, но это были въ огромномъ большинствѣ случаевъ идолы, а не идеалы. Великъ или не великъ образъ женщины, какъ безплотнаго духа, не имѣющаго ничего общаго съ земной грязью; достоинъ или не достоинъ поклоненія ученый, служащій чистой наукѣ; прекрасенъ или не прекрасенъ россіянинъ, кладущій на алтарь отечества и жизнь свою, и имущество; высока или не высока мораль христіанства, хороши или не хороши мужики, подбирающіе букеты изъ розъ и незабудокъ и пылающіе любовью къ благодѣтельному помѣщику;—одно вѣрно: все это были идолы. Признавая всѣ эти вещи въ абстрактѣ прекрасными, отцы наши вовсе не желали-бы, чтобы женщины дѣйствительно утратили плоть свою или перестали сталкиваться съ земной грязью на кухнѣ; вовсе не желали предаваться служенію чистой наукѣ; на алтарь отечества клали не жизнь и имущество, а сапоги безъ подошвъ и гнилую муку; признавая величіе христіанства, отнюдь не помышляли уподобиться Христу, и т. д. Идеалы были сами по себѣ, а практическая жизнь складывалась совершенно помимо ихъ. Такъ что прежде всего мы возстали противъ отцовъ не за идеализмъ, а напротивъ за идолопоклонство, т. е. *за отсутствіе идеаловъ*. Въ этомъ именно состояла первая обличительная ступень нашего возстанія противъ насъ возвышающихъ обмановъ и первый рядъ открытыхъ нами низкихъ истинъ. Вторая ступень возстанія была уже принципіальнаго свойства. Якобы идеалы отцовъ оказались идолами не только потому, что они были безсодержательными формами, не имѣющими никакой связи съ дѣйствіями вѣровавшихъ въ нихъ людей. Оказалось, что они идолы по существу, что ими и нельзя руководиться въ практической жизни, что реализація ихъ невозможна либо по условіямъ человѣческой природы вообще, либо по совокупности наличныхъ, исторически сложившихся общественныхъ условій. Напримѣръ, женщина, какъ безплотный духъ, не имѣющій ничего общаго съ земной жизнью, оказалась идоломъ не только потому, что въ дѣйствительности никому въ голову не приходило уподобиться этому фантому; но и потому, что это есть фантомъ, продуктъ игнорированія человѣческой природы. Самопожертвованіе оказалось идоломъ не только потому, что его не было въ дѣйствительности, но потому, что при условіяхъ нашей жизни его и не могло быть; это былъ опять фантомъ, продуктъ игнорированія существующихъ общественныхъ условій. Это игнорированіе реальнаго міра теоретически выражалось признаніемъ нѣкотораго идеальнаго, сверхчувственнаго міра, куда входили въ совершенномъ безпорядкѣ аттрибуты божества, вдохновеніе поэта, чистая любовь, идея, духъ, разумъ. Практически оно отражалось предоставленіемъ житейскихъ дѣлъ ихъ собственному ходу, удовлетвореніемъ никакою нравственною уздою не сдерживаемыхъ аппетитовъ. Требуя ликвидаціи идеальнаго, сверхчувственнаго міра, съ которымъ носились наши отцы, и противопоставляя ему рядъ нашихъ краткихъ и ясныхъ формулъ, мы протестовали только противъ фантомовъ, противъ идеализма теоретическаго. Теоретическій идеализмъ, весь построенный на забвеніи реальнаго міра, до такой степени не соотвѣтствуетъ истинѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ ведетъ къ такой безобразной нравственной распущенности, что нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что слово идеалистъ стало для насъ чуть-чуть не ругательнымъ. Но, какъ теоретическій идеализмъ, несмотря на свою кажущуюся возвышенность, не только уживается со всякой низостью въ практической жизни, но даже способствуетъ ея процвѣтанію, ибо предоставляетъ практическую жизнь себѣ самой; такъ теоретическій реализмъ не только не исключаетъ практическаго идеализма, но, во обще говоря, даже вызываетъ его, какъ свой логическій конецъ. Дѣйствительно, если я, отбросивъ всякіе фантомы, смотрю дѣйствительности прямо въ глаза, то при видѣ ея некрасивыхъ сторонъ во мнѣ естественно рождается идеалъ, нѣчто отличное отъ дѣйствительности, желательное и, по моему крайнему разумѣнію, достижимое.

Итакъ, старые идеалы суть не идеалы, а идолы, старая вѣра—идолопоклонство на подкладкѣ теоретическаго идеализма. Опредѣливъ такимъ образомъ тѣ пункты, отъ которыхъ мы вышли на исканіе низкихъ истинъ, перейдемъ къ тѣмъ, на которыхъ мы столкнулись съ пришлыми людьми.

Если въ принципѣ теоретическій реализмъ и практическій идеализмъ суть родные братья,—я почти готовъ назвать ихъ сіамскими близнецами —то фактически дѣло происходитъ, повидимому, не всегда такъ. Вотъ, напримѣръ, пришлые люди говорятъ, что, отрицая теоретическій идеализмъ, они вмѣстѣ съ тѣмъ отрицаютъ и практическій идеализмъ, что они реалисты вполнѣ. И благодаря привычной ассоціаціи понятій, выражаемыхъ однимъ и тѣмъ же словомъ, выходитъ даже такъ, что какъ будто они то именно и суть единственно послѣдовательные люди. Между тѣмъ это только недоразумѣніе, и я думаю, что, какъ говорятъ, кажется, нѣмцы, я схвачу быка прямо за рога, если для разъясненія этого недоразумѣнія заведу рѣчь объ одномъ очень старомъ и все-таки новомъ вопросѣ.

«Намъ не за чѣмъ пускаться въ разрѣшеніе вопроса о свободѣ человѣческой воли,—говоритъ Штраусъ. — Идея свободнаго выбора дѣйствій всѣми философскими системами, достойными этого имени, всегда признавались пустымъ фантомомъ; но нравственная оцѣнка человѣческихъ дѣйствій и побужденій не затрогивается этимъ вопросомъ» (252).

Кабы устами Штрауса да медъ пить! Къ сожалѣнію, дѣло не такъ просто, какъ оно ему представляется. Философскія системы, достойныя этого имени, всегда много трудились надъ вопросомъ о свободѣ воли и нравственная оцѣнка человѣческихъ дѣйствій и побужденій весьма и весьма близко затрогивается этимъ вопросомъ. Легко сказать, что всѣ дѣйствія человѣка столь-же необходимы, какъ вращеніе земли около солнца, прекращеніе жизненнаго процесса подъ вліяніемъ сильнаго яда и т. п. Легко даже доказать это, опираясь либо на анализъ любого частнаго факта, подробности котораго достаточно извѣстны, либо на общій принципъ причинной связи. Но легко также показать, что это рѣшеніе, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, никого не удовлетворитъ. И не удовлетворитъ именно потому, что имъ неловко затрогивается нравственная оцѣнка человѣческихъ побужденій и дѣйствій. Если каждое побужденіе и каждое дѣйствіе человѣка есть одно изъ звеньевъ необходимой цѣпи, то нравственная оцѣнка есть безсмыслица. Съ чего мы будемъ корить предателя Бэкона или кровопійцу Калигулу, когда предательство перваго столь же необходимо, какъ и его философскія заслуги, а неистовства Калигулы столь же необходимы, какъ кротость Марка Аврелія? Зачѣмъ Штраусъ пытается судить матеріализмъ рабочихъ классовъ, когда этотъ матеріализмъ есть явленіе не менѣе необходимое, чѣмъ величіе Бисмарка и Мольтке? А между тѣмъ нравственная оцѣнка своихъ и чужихъ дѣйствій составляетъ такую глубокую потребность для человѣка, что онъ склоненъ подвергать ей даже явленія окружающей мертвой природы. И хотя эта склонность постепенно слабѣетъ подъ вліяніемъ изученія природы, но вотъ даже Штраусъ говоритъ о благости и разумности всемогущаго All, слѣдовательно подвергаетъ его нравственной оцѣнкѣ. Это уже старая и давно сданная въ архивъ пѣсня. Мы убѣдились, что эпитеты: нравственный и безнравственный, благой и злой, разумный и неразумный неприложимы къ явленіямъ природы, именно потому, что мы не можемъ погнуть ихъ желѣзную необходимость повелительнымъ наклоненіемъ ни въ видѣ совѣта, ни въ видѣ приказанія, ни въ видѣ молитвы. Но человѣкъ никогда не включалъ, не включитъ и не можетъ включить себя самого въ эту желѣзную цѣпь, ибо не можетъ указать свое мѣсто въ ней, не можетъ по условіямъ своей природы. Когда дѣло касается его, то, признавая въ общемъ желѣзную необходимость того или другого явленія, онъ въ каждомъ частномъ случаѣ однако протестуетъ противъ него всѣми силами своего существа и отстаиваетъ свою свободу до послѣдней капли крови, до послѣдняго дыханія. Таково, напримѣръ, явленіе смерти. Вполнѣ сознавая ея желѣзную необходимость и страшную объективную обязательность вообще и для себя самого въ извѣстную минуту, человѣкъ однако признаетъ эту минуту только тогда, когда она уже наступаетъ и когда ему слѣдовательно ничего не остается признавать. Съ нѣкоторой высшей точки зрѣнія, обнимающей всю совокупность особенностей моего жизненнаго процесса и моей обстановки, моя смерть неизбѣжна въ такомъ-то часу, такого-то числа, такого-то года, но эта высшая точка зрѣнія для меня недоступна. Она для меня даже не высшая, а скорѣе не полная, во всякомъ случаѣ невозможная, не человѣческая, а метафизическая или богословская. Но если таково отношеніе человѣка къ смерти, то тѣмъ паче не можетъ онъ признавать фатальность, желѣзную необходимость процессовъ, въ которыхъ его воля играетъ роль одного изъ моментовъ. Здѣсь для него рѣшительно неустранимо сознаніе свободы выбора, свободы, конечно, какъ и все человѣческое, не безусловной, а только

относительной; неустранимо сознаніе, что онъ до извѣстной степени можетъ противостоять напору обстоятельствъ. Какъ бы мы ни смотрѣли на нашу волю, какъ на орудіе нѣкоторыхъ высшихъ одухотворенныхъ силъ, или какъ на одно изъ звеньевъ неизбѣжно извѣстнымъ образомъ располагающейся цѣпи необходимыхъ проявленій слѣпыхъ силъ природы, но послѣ каждаго дѣйствія образуется въ нашемъ сознаніи извѣстный нравственный осадокъ, выражающійся то угрызеніями совѣсти, то сознаніемъ исполненнаго долга. А эти явленія, коренящіяся въ убѣжденіи, что мы могли бы поступить иначе, что мы имѣли извѣстную свободу выбора, столь же реальны, какъ вращеніе земли около солнца и прекращеніе жизненнаго процесса подъ вліяніемъ сильнаго яда. Отрицать ихъ или называть ихъ фантомомъ, игрой воображенія нельзя, потому что они суть психическія состоянія, поддающіяся изслѣдованію. И въ виду ихъ фаталистъ можетъ сказать только слѣдующее: всѣ дѣйствія человѣка одинаково необходимы, но нѣкоторыя изъ нихъ необходимо вызываютъ наше одобреніе, а другія столь же необходимо—порицаніе. Это можетъ быть признано безусловной истиной, но, какъ и всякая безусловная истина, она, въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи въ томъ же безусловномъ направленіи, оказывается совершенно не по плечу такому ограниченному и условному существу, какъ человѣкъ. Если нравственная оцѣнка, положительная или отрицательная, столь же необходима, какъ и вызвавшій ее фактъ, то необходима и борьба съ этимъ фактомъ. Такимъ образомъ мы имѣемъ необходимую борьбу съ необходимымъ фактомъ, происходящую въ виду третьей, высшей необходимости. Ясно, что мы теряемъ изъ-подъ ногъ всякую почву и запутываемся въ непосильной намъ безусловной истинѣ. Мало того. Въ силу того-же фатализма мы должны признать необходимымъ и сознаніе свободы выбора, вслѣдствіе чего идея необходимости пожираетъ сама себя. Она отпускаетъ насъ съ тѣмъ же нравственнымъ и даже умственнымъ багажомъ, съ которымъ мы подошли къ ней. Исповѣдуя принципъ: человѣкъ есть рабъ обстоятельствъ, мы все-таки каждымъ своимъ шагомъ стремимся подчинить эти обстоятельства себѣ, сознаемъ себя свободными въ выборѣ цѣлей и средствъ, хотя и признаемъ возможность теоретически разложить эту свободу на необходимые элементы. Таковъ реальный человѣкъ. И реальная, доступная человѣку, гуманная философія, заслуживающая этого имени, должна принимать его, каковъ онъ есть, и удовлетворять его потребностямъ, въ числѣ которыхъ стоитъ и потребность въ указаніи нравственныхъ цѣлей. Въ теоретической области мы бросили уже всяческія разсужденія о томъ, насколько соотвѣтствуютъ «вещи въ себѣ», «нумены» ихъ отраженію, при помощи ощущеній, въ нашемъ сознаніи,—феноменамъ. Бросили потому, что познали свои границы и признали метафизическое познаніе для себя недоступнымъ. Мы признали, что если всѣ наши познанія о природѣ и суть, можетъ быть, только призраки, то это призраки, сросшіеся съ человѣкомъ, обусловленные свойствами его природы. Такъ что нынѣ развѣ только изрѣдка кто заспоритъ о томъ, есть-ли сущность міра матерія или Гегелевская саморазвивающаяся идея, духъ или Гартмановское безсознательное. Такъ и въ практической области мы должны бросить разсужденія о несоотвѣтствіи сознанія свободы съ безусловно истиннымъ ходомъ вещей: это сознаніе срослось съ человѣкомъ, обусловлено его природой. Человѣкъ есть рабъ обстоятельствъ, но не хочетъ имъ быть и можетъ; человѣкъ есть рабъ обстоятельствъ и потому обстоятельства должны быть измѣняемы въ благопріятномъ для него смыслѣ. Вотъ условныя, но и единственно доступныя намъ истины. Краткая и ясная формула: человѣкъ есть рабъ обстоятельствъ—несомнѣнно выражаетъ реальное дно жизненной чаши, но именно только дно, которымъ ни одинъ пьющій, ни одинъ живущій не удовлетворяется. Въ своемъ безусловномъ видѣ это реальное дно не имѣетъ ровно никакого практическаго значенія. Это опять нѣкоторый идолъ, только на реалистической подкладкѣ, ничѣмъ непосредственно не отражающійся на практической жизни, не дающій ей никакой руководящей нити. Отправляясь отъ этого идола, можно въ практическомъ отношеніи безпрепятственно идти и направо, и налѣво, что мы и видѣли въ дѣйствительности; искатели низкихъ истинъ, какъ оружія противъ насъ возвышающихъ обмановъ, пошли налѣво, пришлые люди—направо, изъ чего, впрочемъ, отнюдь не слѣдуетъ, чтобы правда и право были на ихъ сторонѣ.

Уголовная статистика свидѣтельствуетъ, что, напримѣръ, число грабежей при извѣстномъ общественномъ устройствѣ неизмѣнно, ибо человѣкъ есть рабъ обстоятельствъ. Изъ этого искатели низкихъ истинъ вывели, что для уничтоженія грабежей мало репрессивныхъ мѣръ, что должны быть измѣнены самыя обстоятельства, вызывающія грабежи. Изъявительное наклоненіе: человѣкъ есть рабъ обстоятельствъ—мы не обращали безъ дальнѣйшей переработки въ наклоненіе повелительное: будь рабомъ обстоятельствъ. Напротивъ, мы говорили: будемъ господами обстоятельствъ, измѣнимъ ихъ сообразно на-

шему идеалу. Этотъ идеалъ давалъ намъ руководящую нить, а не наша краткая и ясная формула, которая сохраняла значеніе только реальнаго дна и, будучи истиною условною, играла лишь служебную, разъяснительную роль. Въ тѣхъ-же случаяхъ, когда, подъ вліяніемъ увлеченія или травли, эта истина получала для насъ характеръ безусловный, и мы стремились обратить ее прямо въ практическое правило, она была идоломъ; такъ какъ идеалъ-то нашъ все-таки не замиралъ и жили мы, и дѣйствовали наперекоръ своему теоретическому положенію: мы лгали. Но точно также лгутъ и пришлые люди, когда говорятъ, что ихъ образъ дѣйствій логически вытекаетъ изъ якобы реалистической формулы: человѣкъ есть рабъ обстоятельствъ. На дѣлѣ они изо всѣхъ силъ борятся съ обстоятельствами, пробиваясь къ какому-нибудь изъ вѣсомыхъ или невѣсомыхъ земныхъ благъ. Человѣкъ есть рабъ обстоятельствъ, но человѣкъ, какъ *покорный* рабъ, есть миѳъ; его никто никогда не видалъ и не увидитъ. Это идолъ.

Позволю себѣ привести выписку изъ одной моей полемической статьи, опуская, конечно, по возможности, ея полемическіе пріемы: «Я былъ еще очень молодъ, когда мнѣ довелось прочитать сочиненіе Дарвина о происхожденіи видовъ. Оно произвело на меня сильное впечатлѣніе, которое увеличивалось еще тѣмъ, что книгу Дарвина я прочиталъ одновременно съ книгою Мишле «L'amour». Я не берусь вамъ передать тотъ глубокій внутренній разладъ, который поднялся при этомъ въ моемъ молодомъ существѣ. Мой юный умъ былъ порабощенъ строгою логикою Дарвина и массою выставленныхъ имъ фактовъ. Но моему юному сердцу былъ противенъ этотъ неумолимый законъ неустанной борьбы за каждую пядь земли, за каждый кусокъ хлѣба, за каждый глотокъ воды. Это шло совершенно въ разрѣзъ съ тѣми неопредѣленными, но чистыми и высокими идеалами, какіе волнуютъ «юность»... Мой юный умъ, вѣроятно въ качествѣ юнаго, былъ настолько смѣлъ и послѣдователенъ, что дотягивалъ страшную нитку до конца. Онъ рѣшилъ, что Дарвиново изслѣдованіе обязательно и для фактовъ общественной жизни, что оно узакониваетъ, какъ нѣчто стихійно неизмѣняемое, все то, бороться съ чѣмъ представлялось мнѣ дотолѣ священною миссіей, долгомъ. Но тѣмъ сильнѣе протестовало юное сердце. И бывали минуты, когда я глубоко ненавидѣлъ великаго англійскаго натуралиста. А рядомъ съ нимъ стоялъ старикъ Мишле съ своимъ беззубымъ шамканьемъ о любви, приторный, расплывающійся, безсильный. И отъ этого сопоставленія становилось на душѣ еще тяжелѣе: на одной сторонѣ, на той, къ которой лежитъ душа,—безсиліе мысли и паточная реторика, а на противоположной—всепокоряющая сила знанія и логики»...

Я думаю, что огромному большинству образованныхъ русскихъ людей, которымъ теперь 25—35 лѣтъ, очень знакомо описанное мною душевное настроеніе, хотя оно могло быть вызвано, разумѣется, очень различными явленіями жизни, науки и литературы. Я думаю, что именно этотъ глубокій душевный разладъ выраженъ въ словахъ, вложенныхъ г. Тургеневымъ въ уста Базарову, когда послѣдній слѣдитъ за муравьемъ, который тащитъ муху: «тащи ее, братъ, тащи! Не смотри, что она упирается, пользуйся тѣмъ, что ты, въ качествѣ животнаго, имѣешь право не признавать чувства состраданія». Какъ, въ самомъ дѣлѣ, быть съ состраданіемъ, которое живетъ во мнѣ и жжетъ мнѣ душу, но которое въ то же время не соотвѣтствуетъ моимъ понятіямъ о «естественности» и если еще вдобавокъ я, напуганный и возмущенный всякими сверхъестественностями и неестественностями, питаю къ «естественности» особенное уваженіе? Всѣ эти затрудненія, стоившія намъ такой сильной ломки, разрѣшаются совершенно просто, если мы примемъ, что всѣ процессы въ мірѣ «естественно» раздѣляются для человѣка на двѣ группы: во-первыхъ, процессы, въ которыхъ его воля не участвуетъ, во-вторыхъ, процессы, проходящіе черезъ его волю, какъ черезъ одну изъ инстанцій. Какъ бы ни казалось намъ такое дѣленіе непропорціональнымъ, но оно для насъ неизбѣжно. Единственный общій знаменатель, къ которому могутъ быть правомѣрно приведены всѣ процессы, есть человѣкъ, т.-е. существо, ограниченное извѣстными предѣлами, обладающее опредѣленною суммою силъ и способностей, оцѣнивающее вещи подъ тяжестью условій своей организаціи. Нормальное выполненіе этихъ границъ, т.-е. равномѣрное развитіе всѣхъ силъ и способностей, дарованныхъ природою человѣку,—таковъ нашъ единственно возможный, конечный идеалъ. Все, что сворачиваетъ съ дороги къ этому идеалу, ведетъ только къ идолопоклонству, къ разладу между теоретическими положеніями и практической жизнью, разладу, который на лучшихъ изъ идолопоклонниковъ часто отражается глубокими мученіями. Обнимая всѣ процессы міра, со включеніемъ тѣхъ, въ которыхъ мы играемъ активную роль, единымъ принципомъ естественности, мы удовлетворяемъ теоретической потребности обобщенія (которая, можетъ быть, удовлетворена и инымъ принципомъ), но вяжемъ себѣ руки и ноги въ практическомъ отношеніи. Всѣ процессы

одинаково естественны, и потому требованіе естественности, какъ условія нравственности, есть нелѣпость, противорѣчіе или игра словъ. Ни къ какому обобщенію оно не ведетъ. На дѣлѣ всякій понимаетъ «естественность» по своему и называетъ естественнымъ то, что ему нравится. Наши пришлые люди правы, когда говорятъ, что они не идеалисты, но ихъ символъ вѣры не есть и реализмъ. Онъ есть идолопоклонство на реалистической подкладкѣ. И на этомъ-то пунктѣ столкнулись съ ними искатели низкихъ истинъ, какъ оружія противъ насъ возвышающихъ обмановъ. Но положеніе искателей низкихъ истинъ было несравненно сложнѣе и труднѣе, чѣмъ положеніе пришлыхъ людей, потому что они были добросовѣстнѣе. Имъ сплошь и рядомъ приходилось признавать естественнымъ не то, что имъ нравилось вообще, а что нравилось имъ только какъ необходимый логическій выводъ, но противъ чего возмущалось ихъ чувство. Они приносили идолу естественности часто огромныя жертвы. Въ печати подобныя жертвоприношенія совершались, разумѣется, относительно говоря, рѣдко, рѣже во всякомъ случаѣ, чѣмъ въ обществѣ, однако, совершались. Когда, напримѣръ, одинъ писатель изъ искателей низкихъ истинъ съ задоромъ объявилъ, что рабство есть лучшій исходъ для сѣверо-американскихъ негровъ, онъ приносилъ жертву идолу естественности, и навѣрное она стоила ему не дешево, хотя, конечно, наслажденіе кажущеюся логичностью маскировало до извѣстной степени для него самого разладъ между теоретическимъ положеніемъ и идеаломъ. Иногда эти жертвоприношенія доходили почти до смѣшного. Такъ, напримѣръ, другой искатель низкихъ истинъ, покойный Писаревъ, сидя въ крѣпости за политическую неблагонадежность, весьма пространно и азартно доказывалъ, что «мыслящій реалистъ» долженъ сидѣть за естественными науками, дѣлать свое дѣло и не мѣшаться въ чужія, что ему должно быть все равно, какъ живутъ другіе и т. д. Конечно, не идеалъ свой рисовалъ Писаревъ, а идола, который казался ему превосходнымъ, какъ яко бы логическій выводъ изъ основныхъ положеній реализма; но котораго онъ на дѣлѣ отнюдь не бралъ себѣ за образецъ. А что дѣлалось между нами, не писавшею, а просто жившею молодежью того времени... Какъ мы, искатели истины, лгали и ломались, преклоняясь передъ какимъ-нибудь идоломъ Базаровымъ! Какъ бравировали мы базаровскимъ «богатымъ тѣломъ», черствостью и т. п., когда намъ такъ хотѣлось любить! Какъ трещалъ на насъ по всѣмъ швамъ узкій, якобы реалистическій мундиръ, который мы, подъ вліяніемъ увлеченія и травли, старались напялить на себя во что бы то ни стало! Какъ легко доставалось намъ въ теоріи обращеніе изъявительныхъ наклоненій нашихъ краткихъ и ясныхъ формулъ въ наклоненія повелительныя, и какихъ мукъ стоилъ тотъ же фокусъ на практикѣ!.. Пришлые люди говорятъ почти то же, что и мы говорили, но чувствуютъ они и живутъ не такъ, какъ мы чувствовали и жили.

Въ числѣ поименованныхъ нами краткихъ и ясныхъ якобы реалистическихъ формулъ есть одна, относительно которой читатель можетъ потребовать спеціальнаго разъясненія. Мы разумѣемъ положеніе: законы исторіи непреоборимы. Понятая безусловнымъ образомъ, эта краткая и ясная формула сводится къ весьма малоцѣнному утвержденію: что будетъ, то будетъ. Это просто безсодержательныя скобки, въ которыя могутъ быть поставлены и, дѣйствительно, ставятся фразы съ весьма и весьма несходнымъ содержаніемъ. Искатели низкихъ истинъ ставили въ число законовъ исторіи ростъ и торжество истины и справедливости. Это теченіе они считали непреоборимымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ они не считали и нужнымъ бороться съ нимъ, такъ какъ это былъ путь, ведущій къ осуществленію ихъ идеаловъ. Но изъ этого не слѣдовало, чтобы они должны были сидѣть сложа руки, такъ какъ законы исторіи, во всякомъ случаѣ, реализируются при посредствѣ отдѣльныхъ личностей и сидѣть сложа руки, не двигать исторію невозможно. Дѣятельность искателей низкихъ истинъ, совпадая съ законами исторіи, какъ они имъ представлялись, должна, однако, была все-таки состоять въ борьбѣ съ явленіями, которыя уже въ силу того, что они существовали, имѣли право на титулъ исторической законности Искатели низкихъ истинъ стремились, однако, ихъ смести, уничтожить. Очевидно, что руководящею нитью ихъ дѣятельности не была краткая и ясная формула: законы исторіи непреоборимы, а нѣкоторый идеалъ, и понятіе непреоборимости законовъ исторіи играло при этомъ лишь служебную и чисто условную роль. Итакъ бываетъ всегда и вездѣ. Всегда и вездѣ *идеалъ* даетъ *реальное* содержаніе понятію о законахъ исторіи. Пришлые люди, рекомендующіе не прать противъ рожна акцій и реакцій или появленія въ извѣстный историческій моментъ пролетаріата, дѣйствительно, не суть идеалисты, но только потому, что идеалъ ихъ находится нѣкоторымъ образомъ на точкѣ замерзанія, совпадаетъ съ дѣйствительностью. Изъ этого, однако, отнюдь не слѣдуетъ, чтобы они были реалисты. Они идолопоклонники на реалистической подкладкѣ Это особенно ясно въ тѣхъ случаяхъ, когда пришлые

люди, не объявляя, конечно, себя прямо идеалистами (до этого они никогда не снисходятъ), даютъ, однако, косвеннымъ образомъ понять, что и имъ не чуждо нѣкоторое подобіе идеала. Въ разъясненіе я приведу примѣръ, который былъ мною уже не разъ утилизированъ, но который заслуживаетъ даже гораздо болѣе частаго упоминанія. Я разумѣю дѣятельность г. Скальковскаго. Этотъ пришлый человѣкъ, какъ, можетъ быть, помнитъ читатель, разболтался однажды въ письмахъ съ московской политехнической выставки о глубоко печальныхъ сторонахъ развитія крупной промышленности. Онъ давалъ тѣмъ самымъ понять, что нѣкоторыя идеальныя стремленія въ немъ какъ будто не заглохли, что онъ не просто ждетъ того, что будетъ, а различаетъ въ будущемъ вещи по степени ихъ нравственной удовлетворительности, что ему не чужды страхъ и надежда. Но въ тѣхъ же письмахъ съ московской выставки, какъ, впрочемъ, и во всей своей дѣятельности, г. Скальковскій обнаруживаетъ практическое стремленіе содѣйствовать непреоборимымъ законамъ исторіи, поскольку подъ нихъ подходитъ развитіе крупной промышленности. Такимъ образомъ, выходитъ какъ будто, что идеалъ г. Скальковскаго (обрисованный, правда, только слегка и отрицательными чертами) стоитъ въ совершенной независимости отъ его понятій о непреоборимыхъ законахъ исторіи. Но именно эта независимость и показываетъ, что идеалъ г. Скальковскаго есть вовсе не идеалъ, а идолъ, передъ которымъ онъ можетъ преклоняться, но осуществленіе котораго въ жизни его ни мало не интересуетъ. Но г. Скальковскій не есть и реалистъ, ибо реалистъ долженъ понимать, что человѣкъ есть существо не только познающее, но и чувствующее и желающее, что эти свои способности онъ необходимо вноситъ въ выработку представленія о непреоборимыхъ законахъ исторіи, осложняя ихъ идеаломъ.

Возьмемъ примѣръ противоположнаго свойства. Въ разгаръ споровъ о нашей поземельной общинѣ, когда противники ея доказывали, что замѣна общиннаго землевладѣнія личнымъ есть вопросъ времени, ибо таковы уже непреоборимые законы исторіи, замѣчательнѣйшій изъ сторонниковъ общины написалъ удивительную статью. Статья эта называлась «Критика философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго землевладѣнія». Авторъ, одинъ изъ талантливѣйшихъ и умнѣйшихъ русскихъ людей, былъ главою искателей низкихъ истинъ. Но, къ удивленію всѣхъ его многочисленныхъ читателей и почитателей, означенная статья была цѣликомъ построена на философіи исторіи Гегеля, берлинскаго штатсъ-философа, творца множества насъ возвышающихъ обмановъ. Діалектика Гегеля обладаетъ нѣкоторыми свойствами, о которыхъ здѣсь распространяться не мѣсто, но которыя могутъ обратить ее къ услугамъ весьма разнообразныхъ доктринъ: Марксъ и Лассаль воспитались на ней. Но въ «Критикѣ философскихъ предубѣжденій» рѣчь шла не о діалектикѣ Гегеля, а объ его философіи исторіи. Для Гегеля же непреоборимый законъ исторіи состоитъ въ трехчленномъ развитіи всякаго явленія, причемъ послѣдняя ступень тріады есть ничто иное, какъ возвращеніе, въ болѣе развитой формѣ, къ первой ступени. Промежуточный же фазисъ, представляющій отрицаніе перваго, только содѣйствуетъ процессу развитія. Эту трехчленную формулу непреоборимаго закона исторіи, прослѣдивъ его предварительно на многихъ явленіяхъ природы, авторъ вышеупомянутой статьи приложилъ къ исторіи развитія формъ землевладѣнія. При этомъ оказалось, что личное землевладѣніе, вторая ступень тріады, представляющая отрицаніе первой—землевладѣнія общиннаго, отнюдь не можетъ считаться ступенью окончательной, высшей: въ силу непреоборимаго закона исторіи она должна въ свою очередь уступить мѣсто общинному землевладѣнію. Такимъ образомъ, худо ли, хорошо ли, но ссылкѣ противниковъ общины на непреоборимые законы исторіи была противопоставлена ссылка на непреоборимые же законы исторіи. Ясная и краткая формула торжествовала, но она торжествовала, очевидно, на манеръ идола, на манеръ моря, высѣченнаго Ксерксомъ, или божка, высѣченнаго дикаремъ. Авторъ «Критики философскихъ предубѣжденій» тутъ же смѣялся надъ Гегелемъ и его тріадой. И Гегель, и его непреоборимый законъ трехчленнаго развитія были для него дѣломъ постороннимъ, чисто внѣшнимъ. Постороннимъ дѣломъ былъ даже непреоборимый законъ исторіи вообще. Дѣйствительно, противники общины могли бы возразить: хорошо, пусть общинное землевладѣніе есть высшая, окончательная ступень развитія, но къ этой высшей ступени надо пройти черезъ вторую, черезъ личное землевладѣніе, которое, дѣйствительно, и господствуетъ теперь въ западной Европѣ. Авторъ предвидѣлъ это возраженіе и потому постарался доказать, что средніе моменты развитія часто опускаются исторіей. И это доказывается, главнымъ образомъ, уже не на основаніи Гегеля, а чисто практическими соображеніями въ такомъ родѣ: если личное землевладѣніе въ западной Европѣ дало такіе-то и такіе-то неудовлетворительные результаты, то намъ не зачѣмъ ихъ повторять; вторая ступень трехчленнаго развитія осуществилась уже, и намъ остается только

руководствоваться практикой другихъ народовъ. Такимъ образомъ, вся статья оказалась жертвоприношеніемъ идолу исторической законности, жертвоприношеніемъ, правда, «примѣрнымъ», шуточнымъ, такъ сказать, полемическимъ.

Изъ этого не слѣдуетъ, конечно, что законы исторіи не существуютъ. Нѣтъ, они существуютъ, но они неизбѣжно осложняются идеаломъ, который именно и даетъ имъ реальное содержаніе. Мало сказать: повинуйся законамъ исторіи, какъ говорятъ пришлые люди, какъ говорили иногда и искатели низкихъ истинъ. Надо прибавить: дѣлай исторію, двигай ее въ направленіи своего идеала, ибо въ этомъ-то и состоитъ повиновеніе законамъ исторіи.

Итакъ, изо всей массы естественныхъ процессовъ для человѣка неизбѣжно, въ силу его естественныхъ свойствъ, выдѣляется область процессовъ нравственно-политическихъ, проходящихъ черезъ его волю, какъ черезъ одну изъ инстанцій. Для этихъ процессовъ мы неизбѣжно должны признать свободу выбора и, слѣдовательно, законность идеала. Теоретическій реализмъ не только не исключаетъ практическаго идеализма, но неизбѣжно его вызываетъ. И задача «новой вѣры» состоитъ не въ томъ, чтобы выкинуть идеалъ изъ счета, а въ томъ, чтобы выяснить его и привести въ равновѣсіе съ жизнью. Нарушеніе этого равновѣсія ведетъ къ идолопоклонству на подкладкѣ теоретическаго идеализма, или теоретическаго реализма. Прежде всего идолы—идеалистическіе и реалистическіе—должны быть замѣнены идеалами, а затѣмъ можноже классифицировать послѣдніе.

Суздальцы и суздальская критика *).

Физическое основаніе жизни. Новая философія и позитивизмъ. Лекція *Гексли* („Космосъ". Второе полугодіе. № 2).

Позитивизмъ и современная наука. Огюстъ Контъ и Гексли. *Р. Конгрева* (Id. № 4).

Позитивизмъ и современная наука. Отвѣтъ *Гексли* Конгреву (Id. № 5).

Было время, и оно еще и теперь не совсѣмъ кончилось,—когда романисты изображали въ своихъ произведеніяхъ не живыхъ людей, а нѣкоторыя реализированныя отвлеченія. Писатель бралъ какое-нибудь нравственное или умственное качество, положительное или отрицательное, похвальное или непохвальное, тщательно очищалъ его отъ постороннихъ примѣсей и затѣмъ облекалъ соотвѣтственными плотью и кровью. Въ злодѣяхъ, фигурировавшихъ въ подобныхъ произведеніяхъ, никогда, ни разу во всю жизнь не пробивалась ни одна искра божія: на добродѣтельныхъ людяхъ не было и намека на какое-либо пятно. И какъ бы все еще не довѣряя своимъ силамъ, все еще недовольный полнотою реализаціи отвлеченія, романистъ придавалъ злодѣю безобразный физическій обликъ и прозвище Ножова, Злодѣева, Воровского, Гордячкина, а добродѣтели—ангельскую красоту и звучное имя графа Добротворова, княгини Великодушиной и проч. Конечно, теперь намъ трудно читать безъ смѣха произведенія, въ которыхъ этотъ эстетическій пріемъ проявляется въ полной силѣ, но не слѣдуетъ забывать что онъ составлялъ совершенно законный продуктъ своего времени. Здѣсь въ литературѣ, какъ въ зеркалѣ, отразилась вся суть извѣстной ступени общественнаго развитія. Въ этомъ эстетическомъ пріемѣ можно замѣтить, во-первыхъ, послѣднюю, въ своей серіи явленій, отрыжку древняго вѣрованія, что Богъ не одного Каина отмѣтилъ своимъ собственнымъ перстомъ, но отмѣчаетъ вообще людей, какъ порочныхъ, такъ и безпорочныхъ. Далѣе, слѣдуетъ имѣть въ виду, что отцы и дѣды наши, въ силу окружавшихъ ихъ формъ общественности, любили и должны были любить психическую оцѣнку одноцвѣтную и яркую, какъ красная рубаха; одинъ неловкій или недостойный шагъ,—и человѣкъ изъ согрѣшившаго превращался въ грѣшника, изъ сдѣлавшаго глупость—въ глупца; одинъ честный и благородный поступокъ,—и вмѣсто человѣка передъ обществомъ стоитъ ярко вычищенная медаль за спасеніе погибающихъ, и у этой медали нѣтъ оборотной стороны. Барство и рабство, «либо въ зубы, либо ручку пожалуйте»,—вотъ что носилось въ воздухѣ и сказалось въ суздальской работѣ старинныхъ романистовъ. Только съ

*) 1870, апрѣль.

теченіемъ времени, по мѣрѣ того, какъ исторія заставляла людей становиться ближе другъ къ другу, такъ сказать, прижиматься, явилась возможность болѣе многосторонняго психическаго анализа Мало-по-малу явилось и окрѣпло убѣжденіе, что одноцвѣтныхъ людей въ жизни не бываетъ, что всѣ мы люди болѣе или менѣе пестрые, на которыхъ окружающія условія иногда самымъ причудливымъ образомъ располагаютъ перемежающіяся и пересѣкающіяся полосы свѣта и тѣни. Разобрать эти полосы свѣта и тѣни, разглядѣть и различить ихъ, не разсѣкая, однако, въ то же время цѣльной индивидуальности,—такова одна изъ задачъ современнаго искусства. Работа эта не легкая, и европейская поэзія могла подойти къ ней, только пройдя сквозь горнило байронизма и романтизма съ его знаменитою формулою— le laid c'est le beau.

Очевидно, что альтернатива «или въ зубы, или ручку пожалуйте» имѣетъ двоякаго рода корни: незнакомство со степенью вліянія обстоятельствъ на складъ души и недостатокъ уваженія къ тѣмъ качествамъ, за которыя суздалецъ (употребляю это выраженіе для краткости) желаетъ поцѣловать ручку, равно какъ и недостатокъ ненависти къ качествамъ противоположнымъ, за которыя тотъ же суздалецъ готовъ разбить зубы. Такая постановка вопроса можетъ показаться парадоксальною, но она совершенно вѣрна. О старинныхъ романахъ и господствующей въ нихъ суздальской, одноцвѣтной оцѣнкѣ мы заговорили только для сравненія. Занимаютъ же насъ здѣсь барскія и рабскія отношенія не къ художественнымъ образамъ, а къ системамъ, теоріямъ и къ живымъ людямъ, поскольку они являются носителями и представителями различныхъ философскихъ, научныхъ, общественныхъ системъ и теорій.

Если легкомысленный человѣкъ, знакомясь съ рядомъ сочиненій извѣстнаго автора, какъ-нибудь нечаянно наткнется въ нихъ прежде всего на какую-нибудь очевидную ошибку, то онъ, не разбирая, поскольку эта ошибка вяжется съ совокупностью взглядовъ автора, станетъ къ автору въотношенія барскія; его девизомъ станетъ энергическое «въ зубы». Если, наоборотъ, легкомысленный человѣкъ наткнется на мысль, ясную, какъ божій день, то, хотя бы эта мысль и не занимала особенно виднаго мѣста въ соображеніяхъ автора, легкомысленный человѣкъ лобъ прошибетъ, кланяясь ему. Это еще лучшія изъ барскихъ и рабскихъ отношеній къ мыслителю, потому что легкомысленный человѣкъ можетъ схватить свое «либо въ зубы, либо ручку пожалуйте» просто съ вѣтру. Во всякомъ случаѣ элементы этой альтернативы тѣ же самые, что и въ суздальской фабрикаціи героевъ старинныхъ романовъ: недостаточное знакомство съ предметомъ, которому человѣкъ поклоняется, или который предается имъ оплеванію, и недостатокъ уваженія къ тѣмъ самымъ началамъ, во имя которыхъ, повидимому, поклоненіе и оплеваніе происходятъ. Это основанія, общія для всякаго проявленія принципа такъ называемой безусловной вмѣняемости,—положительной и отрицательной,—взваливающей наличность безусловную отвѣтственность за все, когда либо и при какихъ либо обстоятельствахъ этою личностью сдѣланное. При этомъ промахи и удачныя мысли, ошибки и хорошія дѣла естественно получаютъ несоотвѣтственные ихъ дѣйствительному значенію размѣры, и вышеприведенная альтернатива всплываетъ неизбѣжно. Всѣми силами души желали бы мы предостеречь читателя отъ такого суздальства вообще и отъ такого суздальскаго отношенія къ мыслителямъ въ особенности. Да не подумаетъ, однако, читатель, чтобы мы приглашали его къ эклектизму. Напротивъ, мы рекомендуемъ ему полную оригинальность и самостоятельность мысли. Эклектизмъ исходитъ изъ того убѣжденія, что во всѣхъ когда либо существовавшихъ теоріяхъ и системахъ есть извѣстная доля истины и извѣстная доля заблужденія. Мы же твердо вѣримъ, что есть системы и теоріи, въ которыхъ нѣтъ ничего истиннаго. Эклектизмъ, далѣе, строитъ на своемъ основномъ положеніи методъ, который мы, не обинуясь, можемъ назвать однимъ изъ самыхъ плохихъ философскихъ методовъ. Эклектизмъ полагаетъ, что путемъ сопоставленія различныхъ системъ и теорій можетъ быть получена истинная теорія, ибо, при сопоставленіи, заблужденія въ ту и другую сторону взаимно сокращаются, и остается только одна чистая истина. Пріемъ этотъ, не говоря о прочихъ его недостаткахъ, вовсе не исключаетъ возможности барскихъ и рабскихъ отношеній къ мыслителямъ. Сравнивайте всевозможныя системы и теоріи, сопоставляйте ихъ сколько хотите,—это дѣло очень полезное, но не надѣйтесь встрѣтить во всѣхъ нихъ истину и не надѣйтесь получить истину при помощи сложенія и вычитанія, къ которымъ сводится вся работа эклектиковъ. Барско-рабскій элементъ даже неизбѣженъ при подобной работѣ, потому что приступать къ ней человѣкъ можетъ, а въ принципѣ даже долженъ, безъ всякихъ собственныхъ убѣжденій и взглядовъ. Тогда какъ отсутствіе барско-рабскаго легкомыслія обусловливается присутствіемъ твердыхъ убѣжденій и глубокаго и искренняго уваженія къ тѣмъ началамъ, которыя человѣкъ исповѣдуетъ, которыя онъ признаетъ своими. Если бы суздальскій романистъ дѣйствительно уважалъ великодушіе, онъ бы

непремѣнно увидѣлъ, что его княгиня Великодушина таскаетъ дѣвокъ за волосы; точно также, если бы онъ дѣйствительно презиралъ порокъ, то никакой надобности валить всѣ шишки на какого-нибудь бѣднаго Макара ему бы не предстояло. Онъ и съ великодушіемъ, и съ порокомъ собственно такъ мало даже знакомъ, что каждую минуту дрожитъ, какъ бы ему не промахнуться, и торопливо взваливаетъ гору достоинствъ одесную и гору недостатковъ ошую. Писатель, дѣйствительно уважающій великодушіе, не стѣснится представить его въ образѣ Квазимодо и подслушаетъ его и у разбойника. Суздальскій романистъ трусъ. Всякая трусость есть невѣріе въ свои силы, въ себя, трусость нравственная — невѣріе въ свои идеалы. Конечно, наша старая Русь, представлявшая такой изумительный механизмъ въ видѣ восходящей системы лакеевъ, если смотрѣть на машину снизу, и нисходящей системы баръ, если смотрѣть сверху, не могла способствовать укрѣпленію нравственной смѣлости, но мы можемъ имѣть то печальное утѣшеніе, что и въ старой Европѣ многіе не брезгаютъ легкимъ дѣломъ осуществленія принципа «либо въ зубы, либо ручку пожалуйте». Само собою разумѣется, что осуществленіе это можетъ иногда имѣть мѣсто не по легкомыслію осуществляющаго, а по его злонамѣренности. И не всегда можно отличить легкомысліе отъ злонамѣренности; тѣмъ болѣе, что послѣдняя можетъ иногда получить довольно благовидную наружность, представляя продуктъ временнаго личнаго раздраженія, а не постояннаго злостнаго, систематическаго напиранія въ извѣстную сторону.

Суздалецъ—трусъ. Но въ предѣлахъ, огороженныхъ его трусостью, онъ смѣлъ до... чего хотите. Онъ не посмѣетъ подсмотрѣть великодушіе въ разбойникѣ, но та беззавѣтная храбрость, съ которою онъ наваливаетъ добродѣтели на издыхающаго подъ этою ношею графа Добротворова, та беззавѣтная смѣлость, съ которою онъ валитъ шишки на бѣднаго Макара,—по-истинѣ изумительна. Суздалецъ не посмѣетъ найти свѣтлую точку ни въ доктринѣ, находящейся почему-нибудь въ опалѣ, ни въ ея живыхъ представителяхъ, но храбрость его граничитъ съ геройствомъ, когда онъ начинаетъ по своему бомбардировать подлежащихъ бомбардированію. Суздалецъ—это заяцъ съ львиной гривой. Это весьма топорной работы музыкальный инструментъ, способный воспроизводить только двѣ ноты, но въ то же время способный всякаго оглушить усерднымъ воспроизведеніемъ этихъ двухъ нотъ. Ревность онъ имѣетъ не по разуму. Все или ничего—вотъ съ какимъ требованіемъ подходитъ онъ ко всякому ученію, ко всякой школѣ, ко всякой партіи, ко всему, однимъ словомъ, къ чему онъ только подходитъ. Какой тебя краской съ ногъ до головы вымазать, красной или желтой? «Въ зубы или ручку пожалуйте?»—вотъ вопросы, постоянно волнующіе суздальца. И какъ только суздалецъ — какой бы то ни было степени, отъ легчайшаго легкомыслія до тяжеловѣснѣйшей недобросовѣстности — примется за свое малярное дѣло, вы тотчасъ же по пріемамъ его узнаете, что въ его духовномъ нутрѣ не хватаетъ именно той свѣтлой краски, которую онъ столь усердно и широко расточаетъ, а присутствуетъ, напротивъ, та темная краска, на которую онъ, впрочемъ, не менѣе щедръ. Нарисовалъ вамъ романистъ одноцвѣтнаго графа Добротворова,—будьте увѣрены, что романистъ во всю свою жизнь ни одного добраго дѣла не сдѣлалъ, даже не знаетъ и понять не можетъ, какъ эти самыя добрыя дѣла дѣлаются.

Въ прошломъ году въ журналѣ «Заря» была напечатана, если не великая, какъ полагаетъ сама «Заря», то очень большая статья г. Данилевскаго «Европа и Россія». Въ главѣ, напечатанной въ майской книжкѣ, г. Данилевскій желаетъ опредѣлить «различіе въ психическомъ строѣ» народовъ славянскихъ, съ одной стороны, и романо-германскихъ съ другой. Къ дѣлу этому онъ приступаетъ, повидимому, съ большою осторожностью. Онъ говоритъ, что нельзя такъ себѣ, зря, ухватиться за какую-нибудь этнографическую особенность и на ней выстроить цѣлый народный характеръ, что въ этомъ случаѣ нельзя довѣряться даже самымъ добросовѣстнымъ и наблюдательнымъ путешественникамъ, ибо, справедливо разсуждаетъ г. Данилевскій, одинъ путешественникъ случайно наталкивается на одно свойство, другой столь же случайно встрѣчаетъ другое, и трудно судить, которое изъ этихъ свойствъ, для даннаго народа, наиболѣе характеристично. Для открытія въ народномъ характерѣ дѣйствительно національныхъ и притомъ достаточно важныхъ чертъ слѣдуетъ обратиться къ исторіи народа. Если намъ удастся прослѣдить во всей исторической жизни народа одну какую-нибудь особенность, проявляющуюся такъ или иначе, но постоянно, то можно утвердительно сказать, что это особенность и важная, и характерная. Такъ разсуждаетъ г. Данилевскій, разсуждаетъ прекрасно, и вы никакъ не ожидаете, что это не болѣе, какъ приготовленіе къ суздальской работѣ. Немедленно вслѣдъ за своимъ прекраснымъ разсужденіемъ г. Данилевскій заявляетъ: «Одна изъ такихъ чертъ, общихъ всѣмъ народамъ ро-

мано-германскаго типа, есть *насильственность* (Gewaltsamkeit)». Затѣмъ г. Данилевскій ровно на *четырехъ* страницахъ комкаетъ полторы тысячи лѣтъ европейской исторіи для доказательства своего положенія, и *четыре* же страницы употребляетъ на прогулку по исторіи русской для изысканія въ ней слѣдующаго: «вообще не интересъ составляетъ главную пружину, главную двигательную силу русскаго народа, а внутреннее, нравственное сознаніе, медленно подготовляющееся въ его духовномъ организмѣ, но всецѣло обхватывающее его, когда настанетъ время для внѣшняго практическаго обнаруженія и осуществленія». Таковъ путь, избранный г. Данилевскимъ для рѣшенія важнаго и многотруднаго вопроса о преобладающихъ чертахъ всего романо-германскаго и всего славянскаго міра, за все время ихъ существованія. Почтенный сочинитель полагаетъ, что это путь единственный, за неимѣніемъ такой статистики, которая могла бы числами выразить относительную частость или рѣдкость проявленія того или другого качества въ томъ или въ другомъ народѣ. Кое-какая статистика этого рода, впрочемъ, имѣется, но, къ сожалѣнію, она не разрѣшаетъ подлежащаго вопроса съ суздальскою смѣлостью трусости или трусостью смѣлости. По этому поводу я разскажу анекдотъ. Разъ какъ-то я былъ въ здѣшнемъ университетѣ на защищеніи магистерской диссертаціи. Въ диссертаціи находилась, между прочимъ, статистическая таблица, приведшая въ большое изумленіе одного изъ офиціальныхъ оппонентовъ. «Помилуйте, — укорялъ онъ магистранта,—вы говорите, что въ Баденѣ приходится одинъ подсудимый на 245 жителей, а въ Ганноверѣ 1 на 12. Вѣдь и то Германія, и это Германія», и оппонентъ развелъ руками. Магистрантъ отвѣтилъ, что цифры эти заимствованы имъ изъ извѣстнаго труда Легуа и что Германія Германіи рознь... Оппонентъ былъ изъ любителей суздальской живописи: коли — молъ—называешься ты Германіей, то веди себя по-германски, а то что это за безпорядки? только мыслителей съ толку сбиваешь... Но я припоминаю опять анекдотъ. Одному древнему скептику показывали въ храмѣ изображенія людей, которые исполнили обѣты, данные ими богамъ въ минуту кораблекрушенія. «Неужели—спрашивали скептика жрецы—неужели ты и теперь не вѣришь въ нашихъ боговъ? Ты видишь, — вотъ сколько людей спаслось обѣщаніемъ совершить богоугодное дѣло». Скептикъ отвѣчалъ вопросомъ: «А гдѣ изображенія тѣхъ, которые, давши обѣты, все-таки погибли?» Скептикъ былъ не изъ суздальцевъ... Возвратимся къ г. Данилевскому. Становится этотъ публицистъ на западной окраинѣ Россіи, беретъ въ руки компасъ и, опредѣливъ съ помощію его, гдѣ находится востокъ и гдѣ западъ, мажетъ западъ мрачною краской насильственности, а востокъ свѣтлой краской кротости; къ первому обращается съ энергическимъ «въ зубы», ко второму съ заискивающимъ «ручку пожалуйте». На вяземскихъ пряникахъ выпечатываютъ надпись «сія каврижка вяземская». Едва-ли на работѣ г. Данилевскаго требуется выпечатать: «сія работа суздальская». Вопросъ теперь въ томъ: дѣйствительно-ли г. Данилевскій столь уважаетъ кротость и ненавидитъ насильственность, какъ то, повидимому, слѣдуетъ заключить по его суздальскимъ пріемамъ? и дѣйствительно-ли г. Данилевскій столь любитъ Россію, какъ онъ о томъ говоритъ? Вынужденнымъ нахожусь отвѣчать отрицательно. Если-бы г. Данилевскій дѣйствительно очень любилъ Россію, онъ не сталъ бы утверждать такую неправду (потому что это въ самомъ дѣлѣ неправда). будто мы, русскіе, колонизировали Сибирь совершенно мирно, тунгусовъ и остяковъ не били, въ рабство не обращали и вообще насильственно съ ними не поступали. Совсѣмъ бы ему не понадобилось въ такомъ количествѣ сыпать шишки добродѣтели на Макара русской исторіи, да и самъ Макаръ въ нихъ не нуждается. Прошелъ онъ свою тысячу лѣтъ, видѣлъ всякаго ненастья вдоволь; немудрено, что и спотыкаться ему приходилось. Зачѣмъ-же г. Данилевскому шишки добродѣтели понадобились? Очевидно, что онъ любитъ не Россію, какъ она есть, а Россію нарумяненную и набѣленную, а это ужъ что за любовь. Россія можетъ обратиться къ г. Данилевскому съ извѣстными словами, такъ много смѣшившими генерала Бетрищева: полюби насъ черненькими, а бѣленькими-то насъ и всякій полюбитъ. И въ самомъ дѣлѣ, если бы мы дѣйствительно тунгусовъ не били, такъ отчего же и имъ насъ не любить? Въ такой же малой мѣрѣ г. Данилевскій любитъ кротость и ненавидитъ насильственность, ибо онъ рекомендуетъ намъ взять, завоевать, освободить, а всѣ эти дѣйствія, по необходимости, насильственны.

И такъ всегда бываетъ съ суздальскою работою. Древній греческій философъ Эмпедоклъ выдавалъ себя за бога и, чтобы скрыть свою смерть, бросился въ жерло Этны. Всѣ концы были такимъ образомъ спрятаны, и люди думали, что Эмпедоклъ вознесся на небо. Но изверженіе Этны выдало его тайну, выбросивъ его мѣдную сандалію. Такъ-то и съ суздальцами: у каждаго изъ нихъ есть своя Этна и своя мѣдная сандалія. За послѣднее время наша литература обогатилась

десятками двумя романовъ, въ которыхъ извѣстная часть нашей молодежи изображается проводящею время въ различныхъ глупыхъ, преступныхъ и скандальныхъ занятіяхъ. Сія работа суздальская, это несомнѣнно, смѣлость трусости и трусость смѣлости достигаютъ здѣсь своей кульминаціонной точки. Но полагаете ли вы, что романисты, съ такимъ азартомъ изобличающіе, напримѣръ, любострастныя наклонности своихъ героевъ, дѣйствительно проникнуты искреннимъ отвращеніемъ къ связаннымъ съ этими наклонностями порокамъ и преступленіямъ? Полагаете ли вы, что они столь дорожатъ цѣломудріемъ, какъ это можно бы заключить изъ поверхностнаго обзора ихъ суздальской рьяности? Вы не полагаете? И я тоже не полагаю. Еще бы помѣщикъ Петръ Петровичъ Пѣтухъ въ моментъ заказыванія повару пирога на четыре угла, въ моментъ сладострастнаго причмокиванія и приговариванія задыхающимся голосомъ: «да поджарь... да подрумянь... да осетровыхъ щекъ положи» и проч., еще бы милѣйшій Пѣтухъ сталъ утверждать, что онъ ненавидитъ пироги на четыре угла!

Весьма любопытно присутствовать при столкновеніи двухъ суздальцевъ различной масти, т. е. когда одинъ по-суздальски предаетъ оплеванію тотъ самый предметъ, которому другой, тоже по-суздальски, поклоняется; если, напримѣръ, одинъ суздалецъ говоритъ, что практическимъ выводомъ изъ всѣхъ «новѣйшихъ теорій» является необходимость воровать яблоки, что непохвально, а другой суздалецъ утверждаетъ, что практическій выводъ дѣйствительно таковъ, но что воровать яблоки похвально; или если одинъ суздалецъ заявляетъ, что всѣ, положимъ, «нигилисты» стремятся къ изнасилованію или обольщенію дѣвицъ, а другой говоритъ, что ни одинъ «нигилистъ» никогда ничего подобнаго не совершалъ. Въ послѣднемъ случаѣ оба суздальца понимаютъ подъ словомъ «нигилизмъ» не какую-нибудь ясно опредѣленную и обозначенную теорію, а случайную совокупность часто совсѣмъ невяжущихся между собою идей и поступковъ, не химическое, такъ сказать, соединеніе, а простую смѣсь. Очевидно, что если бы дебатирующіе суздальцы близко принимали къ сердцу вопросъ объ отношеніяхъ между мужчинами и женщинами, то они не допустили бы существованія соотвѣтственной части «нигилизма» въ видѣ простой смѣси, а разобрали бы дѣло какъ слѣдуетъ. Если бы суздалецъ—защитникъ нигилизма, какъ простой смѣси, дѣйствительно горячо желалъ честныхъ и свободныхъ отношеній между полами, то ему не зачѣмъ было бы отрицать факты. Всякому клубничному романисту, обличителю нигилизма онъ могъ бы безъ малѣйшей трусости сказать: да, между тѣми, кого называютъ и кто самъ называется нигилистами, есть глупцы и негодяи, но что же изъ этого слѣдуетъ? Если кто-нибудь, начитавшись Прудона, вздумалъ, что онъ можетъ совершенно правомѣрно воровать яблоки, то какое до этого дѣло Прудону и мнѣ, уважающему Прудону? Если подъ знаменемъ христіанства горѣли инквизиціонные костры, то только суздалецъ будетъ опираться на это обстоятельство для пораженія христіанства; только суздалецъ будетъ отрицать самый фактъ инквизиціи, воображая при своей трусости, что такою смѣлостью онъ дѣйствительно защищаетъ христіанство, и только суздалецъ станетъ защищать инквизицію. Истинный христіанинъ какъ и искренній нехристіанинъ, найдутъ себѣ болѣе солидныя точки опоры въ самомъ христіанствѣ.

Суздальцы всѣхъ оттѣнковъ—народъ крайѣ не вредный. Соединяя въ себѣ заячью натуру съ львиной гривой, они напускаютъ туману во всякое дѣло. По отношенію къ мыслителямъ и отдѣльнымъ мыслямъ, къ которымъ они обращаются съ своимъ «либо въ зубы, либо ручку пожалуйте», суздальцы способны возбудить къ себѣ чувство самаго живого негодованія и омерзенія. Мыслитель работаетъ двадцать, тридцать лѣтъ. Устаетъ, наконецъ, его, измученная работой, голова; безсонныя ночи, нерадостные дни дѣлаютъ свое дѣло, умъ слабѣетъ, и мыслитель сбивается съ дороги, впадаетъ, положимъ, въ мистицизмъ. И вотъ на могилѣ этого несчастнаго труженика поднимаются суздальскія сатурналіи. Одни суздальцы начинаютъ бить лбомъ передъ именемъ великаго покойника и молятся на его печальныя заблужденія такъ же аляповато-ussрдно, какъ и на добытыя имъ истины. Другіе суздальцы хватаются за его ошибки и вопятъ: что можетъ выйти путнаго изъ Виѳлеема? что можетъ сказать истиннаго человѣкъ, который говоритъ такую-то и такую-то безсмыслицу? Это просто помѣшанный! О, суздалецъ! шапку долой передъ этимъ помѣшаннымъ, шапку передъ нимъ ты долженъ снять, потому что его свалила работа, до которой тебѣ, какъ до звѣзды небесной, далеко. Пусть суздальцы продѣлываютъ свою пляску скомороховъ, если безсонныя ночи и нерадостные дни мыслителя убиты съ начала до конца на проведеніе дикой идеи, нелѣпыхъ положеній. Но если въ работахъ мыслителя, помимо его заблужденій, бьетъ широкой струей свѣтлая истина и если суздальцы здѣсь начинаютъ свою сатурналію и, хватаясь за заблужденіе, задергиваютъ имъ весь рядъ работъ мыслителя, то да будетъ имъ стыдно. Да будетъ имъ стыдно особенно у насъ, въ Россіи, если они, по легкомыслію или въ виду какихъ-либо сторонніхъ

цѣлей, извращаютъ факты и, выставляя на показъ одну сторону дѣла, загораживаютъ дорогу другой сторонѣ.

Между западными мыслителями есть нѣсколько такихъ, которымъ судьба точно будто выдала патентъ на привилегію служить мишенью для суздальскихъ упражненій. Къ нимъ принадлежитъ, напримѣръ, Фурье, Заговоривъ объ его теоріяхъ, суздалецъ непремѣнно сейчасъ же съѣдетъ на анти-китовъ и анти-львовъ, на превращеніе морской воды въ лимонадъ и проч. Но едва-ли кто привлекаетъ къ себѣ вниманіе суздальцевъ въ такой мѣрѣ, какъ Огюстъ Контъ. Кто только его не лягалъ и не лягаетъ! Я сказалъ выше, что любопытно бываетъ присутствовать при столкновеніи двухъ суздальцевъ разной масти. Но еще любопытнѣе, когда въ дѣло замѣшается третій суздалецъ; когда суздалецъ, указывая публикѣ на битву двухъ другихъ суздальцевъ, говоритъ: вотъ, милостивые государи, поучительная битва, изъ которой можно вывести весьма важныя заключенія. Изъ такого сраженія можно дѣйствительно вывести многія любопытныя заключенія, но отнюдь не тѣ, которыя подразумѣваются рекомендующимъ суздальцемъ. Недавно русская публика имѣла случай присутствовать при подобной битвѣ суздальцевъ на страницахъ журнала «Космосъ», пріютившаго у себя полемику Гёкели и Конгрева о Контѣ и положительной философіи. Первымъ суздальцемъ является здѣсь—говорю это съ величайшимъ сожалѣніемъ — Гекели, вторымъ— Конгревъ, третьимъ — редакція «Космоса». Дѣло происходило такъ. Гёкели въ одной своей публичной лекціи пренебрежительно отозвался о философіи Конта; англійскій позитивистъ Конгревъ поднялъ перчатку; Гекели отвѣчалъ Конгреву, окончательно выругавъ Конта, а редакція «Космоса» помѣстила у себя эту полемику, снабдивъ ее своими примѣчаніями. Меня кто-то упрекнулъ въ печати за то, что я начинаю свои статьи съ мелочей. Фактъ, сознаюсь, указанъ вѣрно, но происходитъ онъ не вслѣдствіе излишней спридирчивости, а просто потому, что пріятно смести съ дороги мелкій соръ и знать, что съ мелочами дѣло уже покончено. Начинаю и на этотъ разъ съ мелочей, именно съ примѣчаній редакціи.

Первое примѣчаніе гласитъ такъ: «Въ этой статьѣ англійскій естествоиспытатель высказываетъ свое мнѣніе о пресловутомъ позитивизмѣ вообще и о философіи О. Конта въ частности. Мы уже показали, впрочемъ только мимоходомъ, что мы не высоко ставимъ позитивизмъ Конта и его послѣдователей, вошедшій у насъ въ моду, вѣроятно, вслѣдствіе невѣжественнаго незнакомства съ болѣе удовлетворительными философскими направленіями. Предлагаемая статья можетъ служить подтвержденіемъ нашихъ взглядовъ на позитивизмъ, которые мы намѣрены были изложить въ особой статьѣ съ цѣлью опредѣлить истинный размѣръ, обыкновенно слишкомъ преувеличиваемый, заслугъ и достоинствъ позитивизма. Авторитетъ Гекели избавитъ насъ отъ необходимости быть слишкомъ подробными въ нашихъ разъясненіяхъ и доказательствахъ, что́ было бы нужно въ виду нашихъ противниковъ, не очень разборчивыхъ на полемическіе пріемы, всегда уклоняющихся отъ сущности дѣла и могущихъ, по обыкновенію, объяснять наши сужденія о позитивизмѣ и Контѣ какими-нибудь несущественными мотивами, или же повести такую рѣчь, «что Контъ-де слишкомъ либералъ, что мы не можемъ подробно и ясно изложить его либеральныхъ заслугъ и радикальныхъ взглядовъ (изложить *что?* или *чего?*), поэтому принуждены бываемъ не договаривать, ставить точки, отчего наши статьи и кажутся слишкомъ вздорными и невѣжественными, а на дѣлѣ онѣ очень либеральны». Авось либо имя Гёкели остановитъ это нахальство либеральничающихъ невѣждъ, желающихъ прикрываться пустыми и пошлыми словоизверженіями».

Авторитетъ Гёкели дѣйствительно авторитетъ очень почтенный. Но, во-первыхъ, авторитетъ авторитетомъ, а взвѣшивать то, что онъ говоритъ, все-таки не мѣшаетъ. Я постараюсь это сдѣлать ниже, не ставя никакихъ точекъ и не уклоняясь отъ сущности дѣла. Во-вторыхъ, авторитету Гёкели, столь презрительно, какъ увидимъ, отзывающагося о Контѣ, можно противопоставить авторитеты не менѣе солидные. Напримѣръ:

«Одинъ современный писатель, сдѣлавшій болѣе, чѣмъ кто либо, для возвышенія научнаго уровня исторіи, презрительно отзывается о ней въ слѣдующихъ словахъ: «L'incohérante compilation de faits déja improrement qualifiée *d'histoire. Comte. Philosophie positive*», vol. V, p. 18. Въ методѣ и выводахъ этого великаго творенія есть многое, съ чѣмъ я не могу согласиться, но было бы несправедливо отрицать его необыкновенныя достоинства» (Бокль: «Исторія цивилизаціи въ Англіи», изд. Тиблена, I, 4).

«Но никто изъ названныхъ писателей не взглянулъ такъ философически на этотъ законъ (законъ опредѣленныхъ пропорцій въ химіи) какъ Контъ, «Philosophie positive», vol. III, pp. 133—176. Это одна изъ лучшихъ главъ его глубокаго, но плохо понятаго сочиненія» (id. 44).

«Этотъ замѣчательный отрывокъ Смита едва-ли много читается въ настоящее время; но его очень хвалитъ одинъ изъ вели-

чайшихъ философовъ нашего времени, Контъ, «Phil. pos », vol. VI, p. 319». (Id. 183).

Контъ, въ своемъ «Курсѣ положительной философіи», «ясно, полно и удобопонятно изложилъ и отчасти создалъ то, что назвалъ положительной философіей» (Милль, О. Контъ и позитивизмъ, 7).

«Въ виду этого онъ предпринялъ ту изумительную систематизацію философіи всѣхъ предшествующихъ наукъ отъ математики до физіологіи, систематизацію, которая одна, если-бы онъ не сдѣлалъ ничего другого, поставила бы его, по мнѣнію людей понимающихъ, въ число главныхъ мыслителей вѣка... Касательно первыхъ пяти основныхъ наукъ своего ряда Контъ достигъ предположенной цѣли съ успѣхомъ, которому едва-ли можно достаточно надивиться. Даже менѣе изумительную часть его общаго обозрѣнія—томъ о химіи и біологіи, который уже тогда стоялъ ниже дѣйствительнаго состоянія этихъ наукъ и находится далеко позади нынѣшняго положенія ихъ—даже этотъ томъ намъ никогда не случалось открывать безъ того, чтобы не почувствовать каждый разъ всей обширности умозрѣній, заключенныхъ въ немъ, и не убѣдиться, что путь поставить эти науки на совершенно-раціональную ногу, далеко еще не вполнѣ усвоенный большинствомъ занимающихся разработкою ихъ, нигдѣ такъ успѣшно не былъ указанъ» (Id. 49, 50).

«Въ своемъ «Cours de philosophie positive» Огюстъ Контъ сдѣлалъ для XIX столѣтія то же, что Бэконъ сдѣлалъ для XVII: онъ выразилъ въ этомъ великомъ твореніи всѣ прогрессивныя стремленія предыдущихъ вѣковъ» (Льюисъ: «Исторія философіи», 804).

«Cours de philosophie positive» представляетъ намъ величайшую философскую систему, какая когда-либо существовала, такъ какъ эта система есть самая вѣрная изъ всѣхъ; нѣкоторыя неизбѣжныя несовершенства въ подробностяхъ не заставятъ насъ забыть совершенства цѣлаго и мы должны быть признательны великому мыслителю, выработавшему эту систему» (jd. 844).

Самъ Спенсеръ, наконецъ, къ которому Гёксли относится съ такимъ уваженіемъ и который такъ некрасиво и придирчиво относится къ Конту, долженъ сознаться, что Контъ «представилъ общее изложеніе воззрѣній и метода, выработаннаго наукой» («О причинахъ разногласія съ Контомъ», 37); что «вмѣсто смутной и неопредѣленной идеи Контъ далъ міру идею опредѣленную и въ высокой степени выработанную; что въ развитіи этой концепціи онъ выказалъ замѣчательную широту воззрѣній, много оригинальности, громадную плодовитость мышленія, необычайную силу обобщенія» (39). Вѣрная или ошибочная—говоритъ тотъ же Спенсеръ—но система Конта породила въ цѣломъ несомнѣнно важные и благотворные перевороты въ мышленіи многихъ умовъ и породитъ такіе же результаты въ еще большемъ числѣ умовъ. Не менѣе несомнѣнно и то, что немалое число мыслителей, уклоняющихся отъ общихъ воззрѣній Конта, было горячо возбуждаемо его соображеніями. Цѣлостное представленіе научнаго знанія и метода—вѣрно ли оно было построено или ошибочно—не могло не расширить въ значительной степени пониманія многихъ читателей. Контъ имѣлъ еще ту особенную заслугу, что онъ освоилъ людей съ идеей соціальной науки, основанной на другихъ наукахъ. Я убѣжденъ, что, помимо этихъ благотворныхъ результатовъ общаго характера и силы философіи Конта, на страницахъ его труда разсѣяно множество широкихъ идей, которыя цѣнны не только какъ стимулы мысли, но и по дѣйствительной своей истинѣ» (64).

Такъ говорятъ о Контѣ первоклассные европейскіе мыслители, относящіеся къ нему совершенно независимо. Я нарочно не цитировалъ ни одного изъ людей, признающихъ себя учениками Конта, хотя и между ними, напримѣръ, Литтре самъ представляетъ авторитетъ почтенный, тѣмъ болѣе, что, признавая себя открыто ученикомъ Конта, онъ относится къ своему учителю не по-суздальски, не такъ, какъ, напримѣръ, Конгревъ. Правда, Гёксли есть одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ современныхъ ученыхъ и, въ качествѣ такового, заслуживаетъ полнаго уваженія. Но сомнѣваюсь, чтобы кто-либо поставилъ его даже рядомъ съ цитированными выше людьми по силѣ мысли, за исключеніемъ развѣ Льюиса, да и тотъ въ дѣлѣ философіи имѣетъ больше правъ быть выслушаннымъ. Во всякомъ случаѣ, если Милль, Бокль, Льюисъ, да и Спенсеръ могутъ быть зачислены въ штатъ «либеральничающихъ невѣждъ» и уличены въ «невѣжественномъ незнакомствѣ съ болѣе удовлетворительными философскими направленіями», то я, право, предпочитаю лучше остаться съ ними, чѣмъ идти на суздальскія пиршества ученой нелиберальничающей редакціи «Космоса». Если имѣть въ виду авторитеты и если Бокль и Милль, при всей своей независимости по отношенію къ Конту и Спенсеръ, при всей своей придирчивости, находятъ, что вопросъ о зависимости общественной науки отъ наукъ низшихъ Контомъ въ общемъ поставленъ и разрѣшенъ правильно; и если тутъ же, рядомъ, напримѣръ, г. Жуковскій заявляетъ, что Контъ «высказывалъ довольно дѣтскія мысли насчетъ сближенія нравственнаго знанія съ точными пріемами изслѣдованія» (см. статью «Рикардо и его теорія цѣнности» во

2-мъ № «Космоса»), то, при всемъ уваженіи къ авторитету г. Жуковскаго, я осмѣливаюсь склоняться на сторону авторитетовъ Бокля, Милля и Спенсера. Надо замѣтить, что Гёксли и самъ ссылается на авторитеты. Такъ, онъ ссылается на Милля, и мы увидимъ, что онъ дѣлаетъ это недобросовѣстно; на Спенсера, и мы увидимъ, что оба они впадаютъ въ одну и ту же ошибку; наконецъ, на Уэвеля. Относительно послѣдняго я припоминаю положительное заявленіе Милля (въ «Логикѣ»), что Уэвель не понялъ Конта ни на волосъ. Одинъ изъ соредакторовъ «Космоса», г. Антоновичъ, въ предисловіи къ своему переводу «Исторіи индуктивныхъ наукъ» Уэвеля, считаетъ его мыслителемъ неважнымъ. Поэтому, подстрекаемый авторитетами Милля и г. Антоновича, я долженъ признать авторитетъ Гёксли, отчасти опирающійся на авторитетъ Уэвеля, довольно сомнительнымъ. Прошу г. Антоновича извинить мнѣ разговоръ о его переводѣ «Исторіи индуктивныхъ наукъ». Я знаю, что онъ долженъ ему напомнить то печальное время, когда онъ, г. Антоновичъ, еще не имѣлъ права разсылать во всѣ стороны эпитеты «невѣжественный», «полупросвѣщенный», «портящій дурнымъ переводомъ хорошія книги» и пр. Нынѣ г. Антоновичъ это право имѣетъ...

Вступительное примѣчаніе редакціи насчетъ авторитета есть единственное достойное нѣкотораго вниманія. Я противопоставилъ авторитету Гёксли другіе авторитеты; разсмотрю ниже возраженія Гёксли, но къ примѣчаніямъ редакціи «Космоса» болѣе уже не возвращусь, развѣ какъ-нибудь мимоходомъ. Примѣчанія эти кропаются по такому рецепту: берется фраза противника и между различными частями ея предложеній вставляются *оскобленныя* (поставленныя въ скобкахъ) энергическія, восклицательно-препинательнаго свойства *слова, слова, слова*, какъ говоритъ Гамлетъ Полонію. Напримѣръ, одна изъ моихъ вышенаписанныхъ фразъ можетъ получить отъ почтенной редакціи «Космоса» такую обработку: «Во всякомъ случаѣ (*ужъ будто и во всякомъ?!*), если Милль, Бокль, Льюисъ, да и Спенсеръ могутъ быть зачислены (*нѣтъ, это вы можете быть зачислены, а не они*) въ штатъ «либеральничающихъ невѣждъ» (*вздоръ и ложь!*) и уличаемы въ «невѣжественномъ незнакомствѣ съ болѣе удовлетворительными философскими направленіями» (*какое низкое предположеніе!*),то я, право, предпочитаю лучше остаться съ ними, чѣмъ идти на суздальскія пиршества ученой и нелиберальничающей редакціи «Космоса» (*никто васъ и не приглашаетъ*)». Манера эта, сильно напоминающая критическіе пріемы гг. Антоновича и Посторонняго Сатирика въ «Современникѣ», есть, надо правду сказать, манера довольно плохая и довольно бездоказательная, а потому отъ обзора примѣчаній редакціи «Космоса» къ полемикѣ Конгрева и Гёксли я себя считаю въ правѣ уволить.

Одинъ мой знакомый говоритъ, что отвѣтъ Гексли Конгреву написанъ будто съ просонокъ. Я нахожу это замѣчаніе очень вѣрнымъ и характернымъ. Статья написана именно будто въ томъ состояніи, когда человѣкъ только-что проснулся, неясно различаетъ окружающіе предметы и не можетъ себѣ дать ясный отчетъ, что собственно онъ видѣлъ во снѣ и что существуетъ въ дѣйствительности. Если бы такую статью написалъ кто-нибудь другой, напримѣръ, кто-нибудь изъ почтенныхъ редакторовъ «Космоса», то никто не обратилъ бы на нее большого вниманія, и всякій только пожалъ бы плечами и улыбнулся. Но такъ какъ подъ статьей стоитъ уважаемое имя Гексли, то нѣтъ сомнѣнія, что она задѣнетъ за живое и не такихъ людей, какъ Конгревъ. По всей вѣроятности, она вызоветъ, можетъ быть даже уже вызвала, солидныя возраженія и преимущественно въ англійской печати. До сихъ поръ мнѣ удалось видѣть только одно возраженіе Гёксли въ видѣ короткой замѣтки, напечатанной въ журналѣ «La philosophie positive» (septembre, octobre 1869) и подписанный Г. В. (G. W.). Я приведу здѣсь эту замѣтку, не потому, чтобы придавалъ ей какое-нибудь особенное значеніе—ни ссылаться, ни вообще какъ-нибудь опереться на нее я не имѣю намѣренія, а просто потому, что полемика Гёксли и Конгрева у русской публики передъ глазами, быть можетъ ею многіе заинтересовались, и слѣдовательно, лишній документъ здѣсь не помѣшаетъ. Вотъ эта замѣтка:

«Въ рѣчи о «физическомъ основаніи жизни» читанной г. Гёксли въ Эдинбургѣ и переведенной въ «Revue des cours scientifiques» (17-го іюля 1869), я не безъ удивленія встрѣтилъ слѣдующее мѣсто: «Изучая характеристическія черты положительной философіи, я нашелъ въ ней очень мало и могу даже сказать ничего такого, что имѣло бы хоть какую-нибудь научную цѣнность и, наоборотъ, нашелъ много такихъ особенностей, которыя въ такой же мѣрѣ противны самому существу науки, какъ и все, что есть противонаучнаго въ ультрамонтанскомъ католичествѣ». Признаюсь, мнѣніе это показалось мнѣ до такой степени плоскимъ, хотя оно и высказано человѣкомъ, пользующимся въ своей спеціальности справедливымъ уваженіемъ, что я большого значенія ему не придалъ; я думалъ, что это одна изъ тѣхъ бутадъ, какія часто проскакиваютъ у ученыхъ, когда они начинаютъ говорить о вещахъ,

имъ незнакомыхъ. Но г. Гёкели счелъ нужнымъ распространиться о своихъ взглядахъ въ любопытной статьѣ, напечатанной въ «Fortnightly Review» (1-го іюня 1869 г.), гдѣ онъ приходитъ къ заключенію, что позитивная философія есть не болѣе, какъ сплетеніе противорѣчій и нелѣпостей. Конечно, всякій въ правѣ высказывать свои мнѣнія о той или другой философской доктринѣ; но чтобы не попасть въ комическое положеніе, надо по крайней мѣрѣ имѣть обстоятельное понятіе о предметѣ, подлежащемъ сужденію. Г. же Гёкели, повидимому, не особенно близко знакомъ не только съ позитивной философіей, но и съ философіей вообще; скажу болѣе—онъ не знаетъ, что такое *философія*. Прошу извиненія у г. Гёкели, но я и себѣ оставляю свободу мнѣнія и, какъ и онъ, я постараюсь доказать утверждаемое мною цитатами изъ его рѣчи и изъ его статьи. Я заимствую у него даже ту форму аргументаціи, которую онъ употребляетъ, критикуя позитивизмъ.

«I. *Я говорю, что г. Гёкели не знаетъ, что такое философія.* Прежде всего я замѣчу, что въ обѣихъ лежащихъ передо мною статьяхъ онъ ни разу ясно не говоритъ, что онъ разумѣетъ подъ философіей; а между тѣмъ это было бы очень важно. Приходится искать опредѣленія философіи въ изложеніи его философскихъ идей, что представляетъ большія затрудненія. То изъ его словъ слѣдуетъ заключить, что философія есть, по его мнѣнію, «*духъ* новой науки»; то эта же самая новая философія обращается въ «оцѣнку границъ физическаго изслѣдованія»; то, наконецъ, задача философіи сводится къ изученію фактовъ и ихъ законовъ. Я не буду говорить о томъ, на сколько эти странныя опредѣленія другъ другу противорѣчатъ; но мнѣ важно показать, что ни одно изъ нихъ не можетъ служить опредѣленіемъ *философіи*. Въ самомъ дѣлѣ, г. Гёкели, говоря о философіи, думаетъ только о наукѣ. Но наука не всегда же существовала. Не относятся ли къ философіи политеизмъ, католицизмъ и всѣ другія системы вѣрованія, ничего не заимствовавшія у науки? Не относятся ли къ философіи многочисленныя метафизическія школы, которыя такъ долго царили на землѣ? Я понимаю, что объ этихъ теоріяхъ можно отозваться какъ о плохой философіи, но я не понимаю, какъ можно давать философіи такое опредѣленіе, которое исключаетъ все сдѣланное прошедшими вѣками. До тѣхъ поръ, пока г. Гёкели не выразитъ намъ своихъ мнѣній объ этомъ предметѣ болѣе обстоятельно, я считаю себя въ правѣ говорить, что онъ не знаетъ, что такое философія.

«II. *Я говорю, что онъ незнакомъ съ исторіей философіи вообще.* Да и какое же тутъ знакомство; когда онъ не чувствуетъ надобности въ опредѣленіи области философіи? Но кромѣ этого отрицательнаго доказательства, у меня есть и положительныя. Онъ на каждомъ шагу толкуетъ о *новой философіи*, которую проситъ не смѣшивать съ философіей Конта и которую приписываютъ Юму. Но Юмъ, писавшій въ XVIII вѣкѣ, есть философъ не особенно *новый*, и неужели 80 лѣтъ послѣ смерти шотландскаго скептика прошли совершенно безслѣдно? Г. Гёкели объ этомъ не подумалъ. Ему просто надо было противопоставить авторитету Конта другой авторитетъ; онъ взялъ Юма, который былъ у него подъ рукой. Это, конечно, проще и удобнѣе, чѣмъ изучать всю массу новыхъ идей, принесенныхъ XIX вѣкомъ, но простые и удобные пріемы въ философіи не всегда наилучшіе. Оцѣнилъ ли по крайней мѣрѣ г. Гёкели настоящею цѣною характеръ философіи Юма, великаго мыслителя, котораго онъ является панегиристомъ и котораго я глубоко уважаю? Вотъ отрывокъ изъ рѣчи одного англійскаго епископа, который г. Гёкели считаетъ выраженіемъ духа *новой* философіи: «Всякая наука основывается на изученіи фактовъ, наблюденныхъ чувствами. Преданія старыхъ философій помрачили нашъ опытъ, примѣшавъ къ нему много вещей, находящихся внѣ чувственнаго воспріятія; и наша наука останется несовершенною, пока окончательно не исчезнутъ эти примѣси. Метафизика, напримѣръ, говоритъ намъ, что такой-то наблюденный фактъ есть причина, а такой-то—дѣйствіе этой причины, но строгій анализъ показываетъ, что чувства наши не наблюдаютъ ни причинъ, ни дѣйствій: они свидѣтельствуютъ, что такой-то фактъ слѣдуетъ за другимъ фактомъ, и послѣ извѣстнаго числа опытовъ они убѣждаются, что второй фактъ непремѣнно слѣдуетъ за первымъ; слѣдовательно, понятіе причины и дѣйствія мы должны замѣнить понятіемъ неизмѣнной послѣдовательности. Старая философія учитъ насъ опредѣлять предметъ различеніемъ его существенныхъ свойствъ отъ свойствъ случайныхъ; но опытъ не знаетъ ни существеннаго, ни случайнаго; онъ видитъ только, что извѣстные признаки принадлежатъ предмету и, послѣ извѣстнаго числа наблюденій, свидѣтельствуетъ, что одни изъ этихъ признаковъ всегда бываютъ въ предметѣ, тогда какъ другіе могутъ иногда и отсутствовать. Такъ какъ всякое знаніе относительно, то понятіе о необходимости должно быть изгнано вмѣстѣ со всѣми другими преданіями». Какъ! Такъ вы это-то называете новой философіей? эти общія мѣста, давно извѣстныя не принадлежащія даже и Юму, потому что въ XVIII вѣкѣ ихъ

можно было встрѣтить вездѣ, и въ настоящее время отрицаемыя только какою-нибудь горстью отсталыхъ метафизиковъ? Но если новая философія характеризуется только этимъ, то гдѣ же разница между новѣйшимъ пантеизмомъ Фейербаха, матеріализмомъ, детерминизмомъ, позитивизмомъ? Тѣнь Давида Юма, которая, по мнѣнію г. Гексли, должна содрогнуться при видѣ забвенія его заслугъ въ философіи, едва-ли можетъ себя чувствовать польщенною такимъ панегирикомъ. Юмъ сдѣлалъ больше, а главное нѣчто лучшее, и, если бы онъ очутился среди насъ, онъ, безъ сомнѣнія, весьма изумился бы тому, что послѣ ста лѣтъ изученія и прогресса, столь общія и ходячія идеи торжественно украшаются именемъ новой философіи. Но допустимъ на мгновеніе, что въ этомъ дѣйствительно состоитъ истинная философская система и что Юмъ открылъ ее, какъ Колумбъ Америку, хотя не трудно было бы показать, что она открыта уже Галилеемъ и во всякомъ случаѣ была защищаема Тюрго, Кантомъ, Дидро, Кондорсе, по крайней мѣрѣ такъ же хорошо, какъ и Юмомъ. Но должны ли опыты шотландскаго философа считаться неподвижнымъ и непогрѣшимымъ евангеліемъ и не прибавили ли къ нему чего-нибудь работы нашего вѣка? Должно ли вычеркнуть труды Сенъ-Симона, Бэна, Милля, я не упоминаю о Контѣ, потому что г. Гёкели утверждаетъ, что онъ не сдѣлалъ ничего новаго. Это весьма странное смѣшеніе неважныхъ общихъ идей съ вопросами о методѣ, составляющими настоящую область философіи. Въ виду такого совершеннаго незнакомства съ исторіей философіи, въ виду этого записыванія въ счетъ Юму такихъ вещей, которыхъ не чуждъ и Аристотель, не имѣю ли я право сказать, что г. Гексли взялся не за свое дѣло.

«III. Отсюда уже очевидно, что г. Гёкели не въ состояніи оцѣнить роль положительной философіи. А потому и критика его ограничивается пріискиваніемъ въ шести толстыхъ томахъ курса Конта противорѣчій и частныхъ ошибокъ. Извѣстно, что критиковать философское сочиненіе и находить въ немъ противорѣчія очень легко, когда въ ходъ пускается пріемъ, который столь часто употребляется г. Дюпанлу въ его многочисленныхъ брошюрахъ и который состоитъ въ выдергиваніи отдѣльныхъ фразъ и пришиваніи ихъ одну къ другой. Но даже и въ этомъ столь легкомъ дѣлѣ г. Гексли не обнаружилъ особеннаго искусства. Вотъ примѣръ. Онъ говоритъ, что достаточно самаго поверхностнаго знакомства съ физикой, чтобы видѣть, какъ скудны были знанія Конта и неудачы его оцѣнки; и въ доказательство онъ приводитъ, между прочимъ, его нападки на Юнга и Френеля за ихъ гипотезу эѳира, составляющую «основаніе новѣйшей физики». Но въ рѣчи его я нахожу слѣдующее мѣсто: «Если существуетъ физическая необходимость, то она состоитъ въ томъ, что камень, предоставленный самому себѣ, падаетъ на землю. Но что въ сущности мы знаемъ и что *можемъ* знать объ этомъ послѣднемъ явленіи? Только то, что, по всеобщему человѣческому опыту, камни, поставленные въ извѣстныя условія, всегда падали на землю». Такимъ образомъ гипотеза тяготѣнія должна быть исключена, «какъ фантомъ, порожденный нашимъ собственнымъ воображеніемъ», а совершенно аналогичная гипотеза, объясняющая явленія свѣта, должна служить основаніемъ «новѣйшей физикѣ»! Можетъ ли далѣе этого простираться презрѣніе къ логикѣ и къ здравому смыслу? Такъ какъ г. Гёкели заводитъ здѣсь рѣчь о физическихъ наукахъ и приглашаетъ всѣхъ математиковъ, физиковъ и проч. согласиться съ нимъ, что книга Конта не имѣетъ никакого значенія, то да позволено мнѣ будетъ сослаться на авторитетъ, котораго онъ, безъ сомнѣнія, отрицать не станетъ. «Намъ хотѣлось бы, — говоритъ Брьюстеръ въ давно уже извѣстномъ трудѣ (Edimb. Review 1838), — представить читателю нѣсколько образцовъ того способа, который г. Контъ употребляетъ для обработки этихъ трудныхъ и представляющихъ глубокій интересъ вопросовъ, его простого, но сильнаго краснорѣчія, его высокой умственной силы, его исторической точности, безпристрастія его оцѣнокъ, полнаго отсутствія личныхъ и національныхъ предразсудковъ. Читатель на каждомъ шагу чувствуетъ, что по лабиринту астрономическихъ открытій его ведетъ проводникъ надежный и искусный, самъ коротко знакомый со всѣми труднѣйшими мѣстами этого лабиринта. Философъ, состарѣвшійся на службѣ наукѣ, не можетъ желать имѣть лучшаго историка и цѣнителя». Я думаю, что въ физическихъ наукахъ авторитетъ Брьюстера стоитъ по крайней мѣрѣ не ниже авторитета Гёкели.

«Я не буду возражать на замѣчанія г. Гексли о Контовомъ законѣ трехъ фазисовъ и о его классификаціи наукъ, потому что замѣчанія эти и не новы, и основаны на соображеніяхъ, въ высшей степени поверхностныхъ. При томъ-же цѣль моя состоитъ не столько въ защитѣ позитивной философіи отъ нападокъ англійскаго профессора, сколько въ указаніи, какъ мало онъ знакомъ съ предметомъ, о которомъ говоритъ. Истинная оригинальность философіи Конта заключается не столько въ *доктринѣ*, сколько въ *методѣ*; новость ея главнѣйше заключается въ доказательствѣ того великаго факта, со-

ставляющаго главный пунктъ новой философіи, что положительный методъ приложимъ къ соціальнымъ явленіямъ наравнѣ со всѣми другими естественными явленіями. Ничего этого г. Гексли не видѣлъ и не понялъ. Онъ не замѣтилъ, что Контъ былъ бы невозможенъ безъ трудовъ его непосредственныхъ предшественниковъ, между которыми естественно находится и Давидъ Юмъ. Онъ не понялъ, что величіе Юма только укрѣпляется такою философіею, которая позволяетъ безпристрастно отнестись къ исторіи человѣческой мысли.

«При видѣ первоклассныхъ ученыхъ, которымъ вдругъ приходитъ въ голову приняться за рѣшеніе вопросовъ, отъ которыхъ ихъ спеціальныя занятія всегда держали ихъ въ отдаленіи, я всегда спрашиваю себя: какой злой духъ толкнулъ ихъ на эту дорогу? какой злой духъ толкнулъ ихъ изъ области, гдѣ они трудятся такъ блистательно, въ такую, гдѣ ихъ труды не могутъ подняться даже до уровня посредственности? Этотъ же вопросъ я задалъ себѣ и по прочтеніи двухъ статей г. Гёкели».

Нѣкоторыя обстоятельства побуждаютъ насъ нѣсколько дополнить приведенный въ этой замѣткѣ отзывъ Брьюстера о Контѣ. Брьюстеръ не только хвалилъ Конта, а и порицалъ его труды. Такъ, въ той же статьѣ онъ говоритъ, напримѣръ: «установивъ физическія науки въ слѣдующемъ порядкѣ: барологія, термологія акустика, оптика и электрологія, авторъ нашъ, въ отдѣльныхъ лекціяхъ, обращается къ выясненію общей идеи каждой изъ этихъ отраслей. Лекціи эти запечатлѣны тою-же солидностью, какъ и весь трудъ, и содержатъ весьма поучительныя и цѣнныя разсужденія. Мы должны однако сознаться, что лекція объ оптикѣ насъ совершенно не удовлетворила. Это сухой экстрактъ изъ прошедшей и настоящей исторіи науки. Авторъ бѣгло, поверхностно и недостаточно справедливо относится къ блестящимъ открытіямъ своихъ соотечественниковъ (Малю, Араго, Біо и Френеля). Хотя и здѣсь встрѣчаются указанія вѣрныя, однако мы должны признать, что авторъ недостаточно знакомъ съ новѣйшими пріобрѣтеніями оптики, и это видно изъ его частыхъ нападокъ на теорію волненія, въ которой онъ видитъ фантастическую идею, способную задержать дальнѣйшее развитіе науки. Эта важная ошибка, которую мы не ожидали встрѣтить у такого сильнаго мыслителя, зависитъ отъ двухъ причинъ: одна заключается въ томъ, что авторъ не признаетъ научными гипотезы, относящіяся къ способу возникновенія явленій; другая причина та, что авторъ незнакомъ съ важностью, которою обладаетъ въ настоящее время теорія волненія въ дѣлѣ предвидѣнія и объясненія явленій. Хотя теорія волненія и принимаетъ *эѳиръ*, невидимый, невѣсомый, присущій всѣмъ тѣламъ и простирающійся отъ нашего глаза до послѣднихъ предѣловъ звѣзднаго неба, но тѣмъ не менѣе, насколько она объясняетъ весьма сложныя и необъяснимыя инымъ образомъ явленія, поскольку она способствуетъ предвидѣнію весьма важныхъ фактовъ, теорія волненія должна заключать въ себѣ, хотя бы она и была ложна какъ физическая теорія, нѣчто дѣйствительно соотвѣтствующее истинной причинѣ свѣта. Въ этихъ границахъ теорія волненія заслуживаетъ быть принятою въ качествѣ драгоцѣннаго орудія и замѣчательной и плодотворной философской концепціи». Г. Г. В. не привелъ этой части отзыва Брьюстера вѣроятно просто потому, что она ему не была нужна и могла бы отвлечь его въ сторону частнаго вопроса объ отношеніи Конта къ гипотезѣ эѳира. Я же привожу ее въ предупрежденіе какихъ-либо суздальскихъ уличеній и толкованій и оберегаю при этомъ не себя — потому что не причисляю себя ни къ одной изъ фракцій позитивистовъ,— а самихъ же позитивистовъ: эта часть отзыва заимствована мною изъ книги «Auguste Comte et philosophie positive» позитивиста Литтре, одного изъ редакторовъ того самаго журнала «La poilosophie positive», въ которомъ напечатана замѣтка г. Г. В. Значитъ, на этомъ по крайней мѣрѣ пунктѣ позитивисты уличенію въ передержкахъ не подлежатъ.

Читатель замѣтилъ можетъ быть одну любопытную особенность въ статьѣ г. Г. В.: въ ней ни разу не упоминается имя Конгрева. Гексли полемизируетъ съ Конгревомъ, позитивистомъ, ученикомъ Конта, и журналъ, спеціально посвященный распространенію и развитію идей Конта, относится къ полемикѣ о Контѣ такъ, какъ будто бы въ ней и не принималъ никакого участія Конгревъ, товарищъ и единомышленникъ. Дѣло въ томъ, что Конгревъ и журналъ «La philosophie positive» хотя и ученики Конта, но вовсе не товарищи и единомышленники. Мало того, если «La philosophie positive» на своихъ страницахъ никогда не допускаетъ ни полемики, ни даже упоминанія о единомышленникахъ Конгрева, то единомышленники эти, напротивъ, относятся къ сотрудникамъ позитивистскаго журнала крайне враждебно и о розни своей съ ними напоминаютъ при каждомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ. Разъясненіе этого обстоятельства для нашей цѣли, т. е. для оцѣнки критики позитивизма Гёкели, весьма важно. Кстати, мы опредѣлимъ, по возможности ясно, и свои собственныя отношенія къ Конту.

Дѣятельность Конта относится къ первой половинѣ нашего вѣка: родился онъ въ 1798 году, умеръ въ 1857, первое сочиненіе его «Plan des travaux nécessaires pour reorganiser la société» напечатано въ 1822 году, послѣднее «Synthése subjective ou Système Universel des Conceptions propre à l'Etat Normal de l'Humanité»—въ 1856 году. Въ то время, когда началась и ясно обозначилась философская карьера Конта, Европа въ умственномъ отношеніи представляла въ высшей степени пеструю, разношерстную картину. Слабые остатки философіи XVIII вѣка и католическая реакція де-Местра и Бональда, положительная наука и Священный Союзъ; доктринеры и нѣмецкій «Sturm und Drang Periode»; Гегель и соціалисты; промышленность и Кузенъ съ братіею,—все это рвало на клочки умственныя силы, тянуло ихъ въ разныя стороны и мутило старую Европу, собиравшуюся отдохнуть послѣ великаго погрома революціи и имперіи. Надъ всею этою пестротой царила одна глубокая, коренная рознь, рознь практической дѣятельности и теоретической, жизни и науки. Разразилась іюльская революція. Одинъ изъ друзей Гёте бѣжитъ къ великому поэту поговорить объ этомъ вопросѣ дня. Поэтъ-натуралистъ встрѣчаетъ его словами: «Ну, что вы думаете объ этомъ великомъ событіи? Изверженіе вулкана произошло; все въ огнѣ, и теперь ужъ не можетъ быть и рѣчи о сдѣлкахъ». Разговоръ продолжается въ томъ же тонѣ, но черезъ нѣсколько минутъ оказывается, что Гёте говоритъ не объ «этихъ людяхъ», а о знаменитомъ спорѣ между Кювье и Жоффруа де-Сентъ-Илеромъ, происходившемъ во французской академіи, по вопросу объ измѣняемости видовъ, за нѣсколько дней до революціи. — Гегель доказываетъ, что все истинное въ идеѣ истинно и объективно. На это ему замѣтили, что не все равно *имѣть* тысячу долларовъ или *думать*, что имѣешь ихъ. Гегель презрительно отвѣтилъ на счетъ долларовъ, что «daran ist philosophisch nichts zu erkennen», Развивая свое знаменитое положеніе, что бытіе и небытіе тождественны, тотъ же Гегель задаетъ себѣ вопросъ: все ли равно, что мой домъ существуетъ и не существуетъ, что существуетъ воздухъ и не существуетъ? и т. п. И отвѣчаетъ такъ: «Въ этихъ примѣрахъ подразумѣваются частныя цѣли, напримѣръ, полезность, и на основаніи этихъ частныхъ цѣлей спрашивается: все ли мнѣ равно, существуютъ ли извѣстныя полезныя вещи или нѣтъ? Но философія есть именно такое ученіе, которое должно освободить человѣка отъ безчисленнаго множества конечныхъ стремленій и цѣлей и сдѣлать его настолько равнодушнымъ къ нимъ, что для него дѣйствительно должно быть все равно, существуютъ эти вещи или нѣтъ». — И не только съ практическою жизнью такъ рѣзко и безповоротно разошлась тогдашняя философія. Она и науки знать не хотѣла, и въ лицѣ Шеллинга и Гегеля апплодировала Гётеву возстанію противъ Ньютоновой теоріи цвѣтовъ. А Гете, въ подтвержденіе своихъ доводовъ, аргументировалъ, между прочимъ, такимъ образомъ: «Какъ-будто что-нибудь существуетъ только, когда это можно доказать математически. Глупо было бы, если бы кто-нибудь не вѣрилъ любви своей возлюбленной, потому что она не можетъ доказать ее по математикѣ». Поэзія, въ свою очередь, обращалась съ такими репримандами, напримѣръ, въ лицѣ Шиллера къ астрономіи:

Schwatzet mir nicht so viel von Nebelflecken und Sonnen!
Ist die Natur nur grosse, weil sie zu zählen euch gibt?
Euer Gegenstand ist der erhabenste freilich im Raume;
Aber, Freunde, im Raum wohnt das Erhabene nicht!

Въ сферѣ практическихъ вопросовъ шла та же всесторонняя грызня, хотя время это можетъ быть названо временемъ единовременнаго существованія, въ политикѣ, въ наукѣ, въ философіи, молочныхъ зубовъ и гнилыхъ зубовъ мудрости. Одни элементы, какъ католицизмъ де-Местра, нѣмецкая метафизика, доживая свои послѣдніе дни, напрягали всѣ силы и достигали предсмертно колоссальнаго развитія. Другіе, какъ соціализмъ, только прорѣзывались и принимали колоссальные размѣры по своей молодости, не заботясь о томъ, что въ нихъ можетъ быть подрублено положительною наукою и практическою жизнью.

Контъ былъ пораженъ этой умственною анархіею. Я не говорю, чтобы онъ обратилъ особенное вниманіе именно на приведенные мною примѣры разладицы, случайно взятые изъ умственной жизни Германіи—съ этою жизнью Контъ былъ знакомъ весьма мало и то изъ вторыхъ рукъ. Но разладица носилась въ воздухѣ и такъ или иначе сказывалась вездѣ. Такая ужъ историческая станція была, станція на пути отъ 1789 къ 1848 и дальнѣйшимъ годамъ. Люди, расходившіеся въ своихъ теоретическихъ посылкахъ, приходили къ приблизительно одинаковымъ практическимъ результатамъ; люди, согласные въ исходномъ принципѣ, расходились на практикѣ. Въ историческую колесницу Европы впряглись лебедь, щука и ракъ. Въ области спеціально политическихъ вопросовъ свободно мыслящіе люди распадались на двѣ группы, какъ ихъ тогда называли, «критическую» и «органическую».

Первые хотѣли политическихъ реформъ, вторые—соціальныхъ. Контъ принадлежалъ сначала къ первымъ, но черезъ нѣсколько времени по выходѣ изъ политехнической школы онъ сблизился съ Сенъ-Симономъ, однимъ изъ главныхъ вожаковъ «организовъ». Впослѣдствіи Контъ чуть не проклиналъ время своего сближенія съ Сенъ-Симономъ и утверждалъ, что этотъ эпизодъ изъ его жизни имѣлъ пагубное вліяніе на его развитіе. Это одна изъ тѣхъ несправедливостей, какихъ такъ много говорилъ и дѣлалъ Контъ. Такъ какъ въ полемикѣ Гёкели и Конгрева рѣчь идетъ и о нравственномъ характерѣ Конта, то можетъ быть не лишне будетъ замѣтить, что, какъ человѣкъ, Контъ былъ далеко ниже мыслителя. Не то, чтобы на его имени лежало какое-нибудь крупное пятно, какое-нибудь черное или преступное дѣло. Нѣтъ, съ нимъ въ этомъ отношеніи нѣтъ никакой возможности сравнивать, напримѣръ, Бэкона. Напротивъ, всѣ нравственно неодобрительные поступки Конта запечатлѣны какою-то странною, почти ребяческою наивностью. Тѣмъ не менѣе мы должны съ большимъ сожалѣніемъ признать, что его нравственный уровень былъ несравненно ниже уровня его умственной силы. Какъ бы то ни было, года черезъ три Контъ совершенно разошелся съ Сенъ-Симономъ и въ дальнѣйшемъ развитіи его ученія, какъ при жизни, такъ и по смерти самого Сенъ-Симона, не только не принималъ никакого участія, но имѣлъ съ сенъ-симонистами нѣсколько очень враждебныхъ столкновеній. Съ этихъ поръ Контъ весь отдался одной великой работѣ, отъ которой не отступалъ до самой своей смерти. Конечная цѣль его состояла въ реорганизаціи общества—цѣль, занимавшая его еще въ почти дѣтскомъ возрастѣ. Но, пройдя ступени вѣры въ дѣйствительность реформъ политическихъ и въ болѣе глубокія, но внѣ положительныхъ знаній стоящія реформы соціальныя, Контъ убѣдился наконецъ, что прочная и коренная реорганизація общества можетъ имѣть мѣсто только по установленіи строго-научнымъ путемъ законовъ общественныхъ явленій. Мысль о необходимости новаго общественнаго порядка, и притомъ порядка, основаннаго на безспорныхъ началахъ науки, развита Контомъ съ такою небывалою силою и обстоятельностью, что даже въ высшей степени враждебный и въ высшей степени несправедливый къ нему Гекели принужденъ сказать: «Изъ изученія сочиненія Конта я вынесъ убѣжденіе,—за возбужденіе котораго я вѣчно ему буду благодаренъ,—что устройство общества на новыхъ и исключительно научныхъ началахъ есть не только практическое предпріятіе, но и единственный политическій предметъ, въ самомъ дѣлѣ заслуживающій нашихъ усилій и нашей борьбы» (Космосъ, № 5, стр. 78). Чрезъ всю дѣятельность Конта, не исключая и его позднѣйшихъ заблужденій, свѣтлою нитью проходитъ одна простая, но глубокая идея: необходимость такъ экономизировать силы природы и человѣка, чтобы трата ихъ вознаграждалась соотвѣтственною прибылью. Я не утверждаю, чтобы онъ гдѣ-нибудь такимъ именно образомъ формулировалъ свою задачу, но присутствіе этой идеи для меня очевидно и въ его анализѣ трехъ методовъ мышленія, и въ его законѣ трехъ фазисовъ, и въ классификаціи наукъ, и въ постройкѣ философіи отдѣльныхъ наукъ, и въ переходѣ къ утвержденію необходимости субъективнаго метода въ общественной наукѣ, во множествѣ, наконецъ, частностей его позднѣйшихъ и въ цѣломъ ниже всякой критики стоящихъ сочиненій. Въ виду этой идеи, можетъ быть имъ самимъ смутно сознаваемой (въ чемъ я, впрочемъ, отнюдь не убѣжденъ), или по крайней мѣрѣ въ виду болѣе спеціализированнаго выраженія этой идеи,—въ виду необходимости новаго и правильнаго, въ смыслѣ науки, общественнаго порядка, Контъ предпринялъ и совершилъ дѣло, по-истинѣ гигантское. Требовалось опредѣлить границы человѣческой природы и заставить людей принять какъ для теоретической, такъ и для практической дѣятельности такой девизъ: только то, что могу, но все, что могу. Для этого Контъ подвергъ строгому анализу тѣ способы мышленія, разнохарактерностью которыхъ обусловливалась умственная анархія общества. Такихъ способовъ оказалось три: теологическій, метафизическій и положительный. Затѣмъ Контъ опредѣлилъ ихъ преемственную связь и относительное значеніе, а равно и отношеніе ихъ къ другимъ факторамъ общественной жизни. Требованіе экономіи умственныхъ силъ само собою должно было отодвинуть назадъ какъ стремленіе проникнуть въ сущность явленій, познать вещи въ себѣ, такъ и излишнюю спеціализацію знаній. Корабль человѣческой мысли былъ нагруженъ страшно, черезъ край; въ составъ груза входило много въ высшей степени драгоцѣнныхъ вещей, но много было и совершенно негоднаго баласта; вдобавокъ все это валялось въ безпорядкѣ и затрудняло управленіе ходомъ корабля. Задача слѣдовательно была двойная: выкинуть за бортъ человѣческой мысли всю неподлежащую ея вѣдѣнію область непознаваемаго, и расположить познаваемое, если можно такъ выразиться, по линіи наименьшаго сопротивленія. Первая половина задачи рѣшена Контомъ такимъ образомъ: ни сущности

явленій, ни дѣйствительной ихъ первичной причины мы не знаемъ и, по природѣ своей, знать не можемъ; мы знаемъ только самыя явленія, поскольку они подлежатъ наблюденію и опыту, и тѣ постоянныя взаимныя отношенія, въ которыя они, по свидѣтельству нашего опыта, другъ къ другу становятся, и самое это знаніе только относительное. Имѣлъ ли Контъ относительно этой доктрины предшественниковъ? Имѣлъ очень многихъ. Предшественниковъ не имѣлъ только извѣстный первый портной. Приставать къ Конту на этомъ общемъ пунктѣ съ вопросомъ: что ты сказалъ новаго? и сообразно съ этимъ выдвигать ту или другую сторону суздальской альтернативы «либо ручку пожалуйте, либо въ зубы» — есть величайшая нелѣпость. Прогрессъ положительныхъ философскихъ идей не имѣетъ никакого сходства съ прогрессомъ огнестрѣльныхъ оружій и освѣтительныхъ снарядовъ, при какомъ мы нынѣ присутствуемъ: здѣсь дѣйствительно вооружили вы сегодня армію ружьями Шасспо и купили свѣчку Шандора, завтра — если вы хотите быть au courant, слѣдить за прогрессомъ, бросайте Шасспо и Шандора и покупайте Врадія и не знаю еще кого; послѣ завтра опять бросайте и опять покупайте и т. д. Такое коловращеніе постоянной смѣны *метафизическихъ* системъ дѣйствительно имѣетъ мѣсто въ исторіи философіи. Ибо метафизикъ черпаетъ свой матеріалъ изъ самого себя, изъ собственной личности, и, исчерпавъ себя до дна, т. е. превратившись въ выѣденное яйцо, передаетъ своимъ наслѣдникамъ право сызнова начать такое самоѣденіе. Но не то бываетъ съ положительною, научною стороною философскихъ системъ. Контъ выразилъ въ своей основной доктринѣ условія, необходимыя для истинно научнаго изслѣдованія, и потому естественно, что всѣ предыдущія научныя работы необходимо удовлетворяли требованіямъ положительной философіи, иначе онѣ не были бы научными. Такимъ образомъ всѣ люди науки до Конта были его практическими предшественниками. Но онъ имѣлъ и теоретическихъ предшественниковъ. Отдѣлить область непознаваемаго отъ области доступнаго человѣческому вѣдѣнію было задачею многихъ умовъ даже въ глубокой древности, и для того, чтобы прослѣдить всю филіацію этой идеи, слѣдуетъ, быть можетъ, подняться до древнѣйшихъ скептиковъ, до Пиррона, современника Александра Македонскаго. Но слѣдуетъ замѣтить, что большинство этихъ предшественниковъ не могли остановиться во-время и, вмѣстѣ съ баластомъ, выбрасывали за бортъ и вещи первой необходимости. Сомнѣнія въ возможности познать нумены, вещи въ себѣ, вещи, каковы онѣ дѣйствительно, а не только каковыми онѣ намъ представляются, сомнѣнія эти и совершенное отрицаніе этой возможности сплошь и рядомъ вели къ сомнѣніямъ и къ прямому отрицанію неизмѣнности причинной связи, существованія внѣшняго міра и проч. Чисто діалектическимъ путемъ нетрудно добѣжать до такихъ выводовъ, и въ метафизической системѣ они могутъ занять свое законное мѣсто; но съ точки зрѣнія науки и положительной философіи такіе выводы могутъ быть разсматриваемы только какъ попытки поднять кверху обѣ ноги заразъ. Были наконецъ еще болѣе близкіе предшественники, которымъ удалось подойти вплотную къ опредѣленію естественныхъ рамокъ умственной дѣятельности человѣка. Между ними Юмъ занимаетъ очень видное мѣсто. Однако между нимъ и Контомъ есть одна важная разница. Юмъ утверждалъ — какъ видитъ читатель изъ приведенной въ статьѣ г. Г. В. выписки изъ рѣчи англійскаго епископа, на которую Гексли указываетъ какъ на доктрину Юма и «новой философіи»,—что не только мы не знаемъ причинъ явленій, а только ихъ послѣдовательность и сосуществованіе, но что собственно и нѣтъ такихъ причинъ, которыя бы не были продуктами другихъ причинъ. Съ точки зрѣнія скептической философіи Юма это былъ выводъ справедливый. Съ точки же зрѣнія положительной философіи причины эти не подлежатъ ни утвержденію, ни отрицанію. Въ окончательномъ результатѣ мы должны признать вмѣстѣ съ Миллемъ, что «основаніе философіи Конта отнюдь не составляетъ его исключительной собственности: это общее наслѣдіе вѣка, хотя далеко не усвоенное многими даже сильными умами. Такъ называемая положительная философія есть не новѣйшее изобрѣтеніе Конта, но простое признаніе традицій всѣхъ великихъ научныхъ умовъ, открытія которыхъ сдѣлали людей тѣмъ, что они суть. Самъ Контъ никогда и не смотрѣлъ иначе на свое ученіе, но онъ сдѣлалъ его *своимъ*, способомъ его обработки». (Auguste Comte et le positivisme, par J. Stuart Mill, Paris, 1868, p. 9. Цитирую по французскому переводу, потому что русскій сдѣланъ очень плохо). Миллъ справедливо замѣчаетъ далѣе, что для основательнаго знакомства съ предметомъ мы должны знать не только что онъ есть, но и въ чемъ состоятъ особенности отрицающихъ его, борящихся, соперничающихъ съ нимъ предметовъ. Контъ исполнилъ эту работу, разграничивъ и подвергнувъ анализу теологическое и метафизическое міросозерцанія. Но этого мало. Дѣло не только въ томъ,

чтобы ясно опредѣлить область непознаваемаго и опредѣлить и отбросить теологическія и метафизическія объясненія явленій. Мы не знаемъ и не можемъ знать нуменовъ, вещей въ себѣ, мы знаемъ только феномены въ ихъ связи послѣдовательности и сосуществованія; но самые эти феномены, какъ представители различныхъ (феноменально различныхъ) областей познаваемаго, имѣютъ различныя степени сложности и потому требуютъ для своего изслѣдованія различныхъ пріемовъ. Требуется слѣдовательно расположить весь матеріалъ познаваемаго, какъ я выразился. по линіи наименьшаго сопротивленія. Требованіе это Контомъ блистательно удовлетворено при помощи его классификаціи наукъ. Мы увидимъ ниже, до какой степени не понялъ этой классификаціи Гёкели. Раздѣливъ науки на абстрактныя и конкретныя и предоставивъ будущему классификацію послѣднихъ, какъ въ настоящее время еще недостаточно опредѣлившихся, Контъ сосредочилъ свое вниманіе на наукахъ абстрактныхъ. Порядокъ, въ которомъ онъ ихъ расположилъ, извѣстенъ: математика, астрономія, физика, химія, біологія и соціологія. Соціологія—цѣль жизни Конта, оказалась такимъ образомъ наверху лѣстницы, размѣрами и высотой своей способной оттолкнуть каждаго. Но, разъ убѣдившись, что общественная наука можетъ быть построена не иначе, какъ на основаніи низшихъ наукъ, Контъ не задумался подняться по этой лѣстницѣ, не пытаясь однако скрыть отъ себя трудности предпринятаго имъ дѣла. Шагъ за шагомъ прошелъ онъ эту тяжелую дорогу и написалъ послѣдовательно одну за другою философію шести наукъ своего ряда. Это не курсы математики, астрономіи, физики и т. д., потому что главное вниманіе въ нихъ устремлено на анализъ пріемовъ, наиболѣе пригодныхъ для той или другой науки, для изслѣдованія той или другой группы явленій; задача эта можетъ только отчасти входить въ обыкновенные, такъ называемые курсы, имѣющіе главною цѣлью передачу результатовъ науки, а не изслѣдованіе ея методовъ. Здѣсь же, при изложеніи философіи отдѣльныхъ наукъ, Контъ имѣлъ случай на каждой изъ нихъ повѣрить свой законъ трехъ фазисовъ. Нечего и говорить, что такая громадная работа не могла обойтись безъ частныхъ ошибокъ. Тутъ нѣтъ ничего удивительнаго. Удивляться надо тому, что сумма ошибокъ все-таки такъ ничтожна.

Контъ былъ уже близокъ къ берегу. Онъ уже съ замѣчательнымъ успѣхомъ справился съ соціальной динамикой, довольно неудачно съ соціальной статикой. Онъ даже счастливо ступилъ на берегъ, провозгласивъ необходимость субъективнаго метода въ общественной наукѣ. Жизнь и наука готовы были сблизиться, наука о природѣ и наука общественная—слиться въ одно цѣльное и живое міросозерцаніе. Но множество причинъ помѣшало осуществленію этого великаго дѣла. Страшная работа мысли (до какой степени напряженно работалъ Контъ, можно видѣть изъ того, что весь первый томъ его «Курса» написанъ въ три мѣсяца), семейныя непріятности (послѣ нѣсколькихъ лѣтъ не особенно счастливой жизни Контъ развелся съ женой; трудно судить эти duels domestiques, какъ выражается Контъ въ одномъ письмѣ къ Миллю, но, по отзывамъ, какъ самого Конта, такъ и другихъ, его жена была прекрасная женщина). гнетущая бѣдность (онъ перебивался уроками математики, иногда журнальной работой, получалъ одно время субсидію отъ трехъ англійскихъ почитателей, между которыми небезъинтересно видѣть извѣстнаго автора исторіи Греціи—Грота)—все это постепенно подломило необыкновенныя умственныя силы Конта. Онъ сошелъ съ ума еще въ 1826 году, при самомъ началѣ публичныхъ лекцій, составившихъ впослѣдствіи курсъ положительной философіи. Лекціи эти были имъ возобновлены только черезъ два года. Сумашествіе не оставило, повидимому, никакихъ слѣдовъ. Но, послѣ развода съ женой, онъ, какъ свидѣтельствуютъ нѣкоторыя указанія, подвергся новому душевному разстройству, которое не было такъ сильно, какъ первое, но продолжалось до конца его жизни. Этому, кажется, помогло отчасти и запоздалое чувство любви къ г-жѣ де-Во. Я укажу, наконецъ, еще на одну важную причину неудачи Конта въ области соціологіи: какъ уже было замѣчено выше, Контъ соединялъ съ громадными умственными силами довольно ординарный, чтобы не сказать болѣе, нравственный характеръ. Его общественный идеалъ былъ очень невысокъ, а разъ принятъ субъективный методъ въ общественной наукѣ, обстоятельство это, и помимо сумасшествія, должно было крайне невыгодно повліять на все построеніе «Позитивной политики». Низкій уровень его общественнаго идеала сказался не только въ «Позитивной политикѣ», а и въ самыхъ раннихъ его произведеніяхъ и въ «Курсѣ положительной философіи», когда онъ еще держался за объективный методъ. Какъ бы то ни было, въ своемъ новомъ направленіи Контъ шелъ очень быстро. Скоро онъ провозгласилъ новую религію, объявилъ себя первосвященникомъ, создалъ культъ, составилъ новый календарь и надѣлалъ бездну глупостей, давшихъ впослѣдствіи столь обильную пищу суздальцамъ различныхъ мастей. Мы не будемъ приво-

дить примѣры, это и грустно и ненужно; для всякаго непредубѣжденнаго человѣка должно быть очевидно, что послѣдніе годы жизни Конта ставить ему въ счетъ нельзя. Ученики Конта распались на двѣ группы. Одни, которыхъ можно назвать собственно позитивистами, остались вѣрными идеямъ «Курса положительной философіи»; другіе— ихъ можно, пожалуй, назвать контистами— приняли всего Конта цѣликомъ, отъ первой до послѣдней строки. Это — суздальцы. Къ нимъ относятся въ Англіи Бриджъ, Конгревъ, Бертонъ, во Франціи — Робине, Блиньеръ и другіе. Къ Литтре и другимъ позитивистамъ контисты относятся крайне враждебно, называютъ ихъ отщепенцами, еретиками. Позитивисты, въ свою очередь, изъ деликатности никогда не говорятъ о контистахъ. Такимъ образомъ, эти двѣ фракціи учениковъ Конта отнюдь не должны быть смѣшиваемы, и подняться на это дѣло можетъ только суздальская критика. Поэтому, когда Гёкели громитъ Конгрева, одного изъ самыхъ ярыхъ контистовъ, поскольку послѣдній отстаиваетъ вторую половину философской дѣятельности Конта, то позитивистамъ до этого обстоятельства дѣла весьма мало, и они имѣютъ право примѣнить къ этому обстоятельству слова самого Гёкели, съ которыми онъ обращается къ англійскому прелату насчетъ Конта. Они могутъ сказать: «Пусть почтенный профессоръ сокрушаетъ Конгрева тяжестью своей діалектики и разрываетъ его на куски, какъ новаго Агага; мы не будемъ пытаться остановить его руку».

Мнѣ бы хотѣлось теперь опредѣлить, для ясности дѣла, свои собственныя отношенія къ позитивизму. Я буду кратокъ, тѣмъ болѣе, что не разъ уже имѣлъ случай касаться нѣкоторыхъ наиболѣе выдающихся пунктовъ ученія Конта. Вмѣстѣ съ обѣими фракціями учениковъ Конта, я принимаю основныя положенія позитивизма о границахъ изслѣдованія, положенія, ни мною и ни однимъ, по крайней мѣрѣ, позитивистомъ (контисты, можетъ быть, есть и такіе, да и то не ручаюсь) не передаваемыя въ исключительную собственность Конта. Его классификацію наукъ я признаю одною изъ величайшихъ философскихъ концепцій, какія когда-либо являлись на свѣтъ божій, и надѣюсь показать, что Гёкели не понялъ ни ея, ни Контова анализа различныхъ научныхъ методовъ. Законъ трехъ фазисовъ, не удовлетворяющій меня окончательно, я признаю, однако, обобщеніемъ въ высшей степени замѣчательнымъ, а нападки на него Гёкели—въ такой же степени неосновательными. Затѣмъ мы расходимся съ обѣими фракціями учениковъ Конта. Соглашаясь съ контистами, что Контъ поступилъ правильно, перейдя къ субъективному методу въ общественной наукѣ, мы тѣмъ самымъ расходимся съ позитивистами, которые утверждаютъ необходимость въ соціологіи метода объективнаго, и нѣкоторыя попытки приложенія этого метода мы считаемъ совершенно неудовлетворительными. Соглашаясь съ позитивистами въ томъ, что «Позитивная политика» Конта есть произведеніе до послѣдней степени слабое (позитивисты полагаютъ, что слабость эта есть результатъ примѣненія субъективнаго метода, мы же приписываемъ ее другимъ причинамъ),— мы тѣмъ самымъ расходимся съ суздальцами-контистами, принимающими и религію, и культъ, и календарь Конта и проч. Еще одно обстоятельство. Въ ближайшей связи съ закономъ трехъ фазисовъ находится вѣрованіе Конта и позитивистовъ, что, слѣдя за прогрессомъ умственнымъ, мы можемъ получить ясное понятіе о прогрессѣ и другихъ общественныхъ факторовъ. Литтре, впрочемъ, принимаетъ, кажется, это вѣрованіе съ довольно большими ограниченіями. Когда я познакомился съ великимъ произведеніемъ Конта, я имѣлъ на этотъ счетъ свои собственные, достаточно уже установившіеся взгляды; я полагалъ именно и полагаю, что законовъ прогресса слѣдуетъ искать въ развитіи самой общественности, то-есть въ развитіи и послѣдовательной смѣнѣ различныхъ формъ кооперацiи. Знакомство съ Контомъ меня въ этомъ не разубѣдило. Эти личныя строки внушены мнѣ желаніемъ показать, что мною не руководятъ никакія фракціонныя соображенія. При томъ же, опровергая возраженія Гёкели, я не буду имѣть повода указать на пункты своего разногласія съ доктринами позитивистовъ, а мнѣ не хотѣлось бы, чтобы мнѣ была приписана большая доля согласія съ ними, чѣмъ какая существуетъ на самомъ дѣлѣ.

Занимающая насъ полемика была вызвана слѣдующими словами Гёкели: «Я нашелъ въ вашихъ газетахъ (Гёкели читалъ публичную лекцію въ Эдинбургѣ) краснорѣчивую рѣчь о *границахъ физическаго изслѣдованія*, которую за день до этого произнесъ предъ членами философскаго института извѣстный прелатъ англійской церкви. Эта рѣчь вращается около этого же предмета границъ философскаго изслѣдованія, и я никакъ иначе не могу лучше высказать здѣсь мои собственныя мысли объ этомъ предметѣ, какъ поставивши ихъ въ параллель съ мыслями, которыя архіепископъ йоркскій высказалъ столь просто и вообще столь точно. Но, да позволено мнѣ будетъ сдѣлать здѣсь предварительное замѣчаніе о фактѣ, который особенно меня удивилъ. Примѣняя къ этому опредѣленію границъ физическаго изслѣдо-

ванія, которое я вмѣстѣ съ многими учеными считаю вѣрнымъ, названіе *новой философіи*, архіепископъ начинаетъ свою рѣчь отождествленіемъ этой *новой философіи* съ положительной философіей Огюста Конта (на котораго онъ смотритъ, какъ на основателя ея) и затѣмъ сильно нападаетъ на этого философа и на его ученія. Пусть почтенный прелатъ сокрушаетъ Огюста Конта тяжестью своей діалектики и разрываетъ его на куски какъ новаго Агага; я не буду пытаться остановить его руку. Когда я изучалъ характеристическія черты положительной философіи, то нашелъ въ ней весьма мало, я могу даже сказать рѣшительно ничего такого, что имѣло бы какую-нибудь научную цѣнность, и, взамѣнъ того, нашелъ много особенностей, столь же противныхъ самой сущности науки, какъ и все, что есть противонаучнаго въ католическомъ ультрамонтанствѣ. Вообще философію Огюста Конта, мнѣ кажется, можно охарактеризовать практически, назвавши ее католицизмомъ безъ христіанства. Но что можетъ быть общаго между философіей Огюста Конта и *новой философіей*, какъ ее опредѣляетъ архіепископъ въ слѣдующемъ мѣстѣ своей рѣчи (слѣдуетъ характеристика «новой философіи», сдѣланная архіепископомъ йоркскимъ и приведенная у насъ выше, въ замѣткѣ г. Г. В.). Въ этомъ отрывкѣ дѣйствительно указаны черты, которыя могутъ характеризовать духъ *новой философіи*, если разумѣть подъ этимъ словомъ духъ новой науки; но я не могу не удивляться, когда подумаю, что образованное и ученое общество Эдинбурга могло безъ малѣйшаго протеста слушать, что основателемъ этихъ ученій называютъ Огюста Конта. Никто не обвинитъ шотландцевъ въ томъ, что они вообще забываютъ своихъ національныхъ знаменитостей, но тѣнь Давида Юма не должна ли была задрожать во гробѣ, когда въ четырехъ шагахъ отъ дома, въ которомъ онъ жилъ, вы могли слушать безъ выраженія ропота, какъ его характеристическія доктрины приписываются французскому писателю, который жилъ 60 лѣтъ спустя и тяжелыя и многословныя сочиненія котораго такъ мало напоминаютъ силу мысли и удивительную точность слога того, котораго я не боюсь назвать превосходнѣйшимъ мыслителемъ XVIII вѣка, хотя этотъ вѣкъ произвелъ и Канта?» («Космосъ», № 2, стр. 962 и слѣд.).

Спрашивается теперь, съ чего архіепископъ йоркскій взялъ, что указанныя имъ доктрины, которыя Гёксли признаетъ основаніями «новой философіи», принадлежатъ Конту. Положимъ, что архіепископъ грубо заблуждается, указывая на Конта, какъ на основателя этихъ доктринъ, или отдавая ихъ ему въ исключительное владѣніе. Но вѣдь какое-нибудь основаніе архіепископъ имѣлъ же, и основаніе это, безъ сомнѣнія, было очень основательное: архіепископъ, безъ сомнѣнія, просто изложилъ общую часть ученія Конта, какъ понялъ ее при чтеніи сочиненій Конта. Гёксли и не отрицаетъ, чтобы нѣчто, близко подходящее къ его *новой философіи*, не находилось въ сочиненіяхъ Конта. Онъ только возмущается тѣмъ, что забыто право первородства Юма. Итакъ, существенные элементы «новой философіи» у Конта изложены, допустимъ даже, что они завалены кучей несообразностей, допустимъ, что Контъ ихъ просто выписалъ у Юма; а Гёксли, какъ видно изъ его отвѣта Конгреву, не думаетъ уличать Конта въ заимствованіи у Юма и дѣлаетъ даже предположеніе, что Контъ Юма и не читалъ. Но если такъ и если духъ новой философіи есть духъ новой науки, то какой смыслъ имѣетъ заявленіе Гёксли, что онъ не нашелъ у Конта *рѣшительно ничего* такого, что имѣло бы научную цѣнность? Вопросъ этотъ мы, впрочемъ, задаемъ только мимоходомъ и большой важности ему не придаемъ, какъ не придавалъ вѣроятно особеннаго значенія и Гёксли своей первой внезапной вылазкѣ противъ Конта. Что касается до филіаціи идей положительной философіи, я говорилъ объ этомъ выше. Вопросъ о спеціальныхъ отношеніяхъ философіи Юма къ философіи Конта я не могу рѣшить собственными силами, такъ какъ знакомъ съ сочиненіями Юма изъ вторыхъ рукъ. Но, признавая себя въ этомъ дѣлѣ судьей не компетентнымъ, я, однако, оставляю за собой право выбрать себѣ судью компетентнаго. Я выбираю Милля, авторитетъ котораго въ дѣлѣ философіи стоитъ безспорно выше авторитета Гёксли. У Милля же я читаю слѣдующее. Отмѣтивъ Бэкона, Декарта и особенно Ньютона, какъ близко подошедшихъ, въ болѣе отдаленныя времена, къ уразумѣнію основной доктрины положительной философіи, Милль говоритъ, что «во всей своей общности она была впервые схвачена Юмомъ, который забѣжалъ нѣсколько далѣе Конта», именно, отрицая не только возможность познанія, а и самое существованіе причинъ и сущностей. «Между прямыми наслѣдниками Юма, говоритъ далѣе Милль, писатель, наилучше изложившій и защищавшій основную доктрину Конта, есть докторъ Томасъ Броунъ. Доктрина и духъ философіи Броуна вполнѣ позитивны, и нѣтъ лучшаго приготовленія къ позитивизму, какъ первая часть его лекцій» («A. Comte et le positivisme», 9). Кажется, ясно, что, по Миллю, по крайней мѣрѣ, патріотическое воззваніе Гёксли къ жите-

лямъ Эдинбурга не особенно основательно. Развѣ, можетъ быть, и Милля обличить въ недостаткѣ патріотизма? Но не съ однимъ Миллемъ придется это сдѣлать. Льюисъ, напримѣръ, въ своей исторіи философіи воздаетъ должную дань почтенія и удивленія генію Юма, но въ концѣ концовъ открыто становится въ ряды позитивистовъ и приноситъ Конту дань уваженія еще большую. Насколько я могу судить о философіи Юма, я думаю, что къ Конту могутъ быть *по малой мѣрѣ* примѣнены уже цитированныя мною слова его противника, Спенсера, именно, что «вмѣсто смутной и неопредѣленной идеи, Контъ далъ міру идею опредѣленную и въ высокой степени выработанную».

Приведенныя слова Гексли вызвали отвѣтъ Конгрева. Это, какъ уже сказано, суздалецъ, то-есть человѣкъ, могущій сослужить пріятелю службу только на манеръ прославленнаго медвѣдя, слишкомъ неразумно отгонявшаго мухъ отъ лица человѣка. Его статью, уснащенную примѣчаніями редакціи «Космоса», мы обойдемъ совсѣмъ, какъ незаслуживающую никакого вниманія. Справедливость требуетъ, однако, сказать, что статья положительнаго суздальца Конгрева, по своему сдержанному и приличному тону, составляетъ рѣзкій контрастъ съ энергическими, хотя довольно безтолковыми, восклицательно-препинательнаго свойства примѣчаніями отрицательныхъ суздальцевъ—редакціи «Космоса».

Отвѣтъ Гёксли Конгреву начинается очень игриво. Гёксли вспоминаетъ о томъ времени, когда онъ впервые сталъ читать Конта, съ разными шуточками и прибауточками. Но оставляя въ сторонѣ вопросъ о степени остроумія этихъ шуточекъ и прибауточекъ, мы съ сожалѣніемъ должны сказать, что здѣсь же Гёксли дѣлаетъ первый шагъ на скользкомъ пути суздальской критики. Передо мной лежитъ книга нѣкоего Пуату «Les philosophes français contemporains et leurs systèmes religieux» (Paris, 1864); книжка очень поверхностная и написанная въ защиту началъ, нынѣ выживающихъ свои предпослѣдніе дни въ Римѣ. И, однако, этотъ Пуату обнаруживаетъ въ своихъ сужденіяхъ о позитивизмѣ гораздо менѣе суздальства, чѣмъ Гёксли. Онъ говоритъ, напримѣръ: «Положительная или позитивная философія прошла нѣсколько фазисовъ. Сначала она желала ни болѣе, ни менѣе, какъ реорганизировать всѣ науки и создать новую, верховную науку—науку соціальную. Но скоро основатель позитивизма не удовлетворился этою цѣлью, его соблазнила роль пророка; онъ выдумалъ *позитивную* религію, провозгласилъ ея догматы и составилъ катехизисъ. Наконецъ,—и этотъ третій періодъ продолжается до сихъ поръ,—позитивная философія благоразумно отказалась отъ этихъ гордыхъ претензій и обратилась просто въ научную форму скептицизма» (devint une forme savante du scepticisme) (85). Это очень неглубокое сужденіе, но не суздальское: авторъ не свалилъ въ одну кучу все, что обыкновенно называется позитивизмомъ, а усмотрѣлъ въ немъ вещи, между собою очень различныя. Передо мною лежитъ другая книга, извѣстная книга Луи Рейбо о «современныхъ реформаторахъ». Въ ней я читаю: «Философія Конта—философія только по имени. Это просто механическій переходъ отъ геометріи, черезъ физику и химію, къ человѣку и человѣчеству. Здѣсь все автоматично и искусственно. Нѣсколько позже Контъ обратился, онъ имѣлъ видѣніе, какъ Павелъ на дорогѣ въ Дамаскъ, онъ проникся религіознымъ чувствомъ и возвратился къ идеямъ догмы и культа. Но и здѣсь его преслѣдуетъ гордость. Онъ хочетъ создать нѣчто новое вмѣсто того, чтобы довольствоваться готовымъ. Печальное извращеніе мысли, оправдываемое только болѣзненнымъ состояніемъ мозга». Это тоже не особенно глубоко, но суздальства здѣсь все-таки меньше, чѣмъ у Гёксли. Гёксли и не думаетъ различать «позитивистовъ» и «контистовъ», первую половину дѣятельности Конта и вторую. Глумясь надъ намѣреніемъ Конта «réorganiser, sans Dieu ni roi. par le culte systématique de l'Humanité»—«разрушенное зданіе современнаго общества», Гёксли нисколько не обращаетъ вниманія на то, что значительнѣйшая вліятельнѣйшая часть позитивистовъ, учениковъ Конта, не имѣетъ ничего общаго съ его культомъ человѣчества. Это, очевидно, тотъ самый суздальскій критическій пріемъ, который былъ недавно въ такомъ ходу у нашихъ отечественныхъ суздальцевъ—романистовъ и публицистовъ. Къ этому именно пріему должны быть отнесены слова редакціи «Космоса»: «благодаря ему, у насъ затаптывались мысли самыя здравыя, начинанія самыя благія и люди, наиболѣе искренніе, наиболѣе проникнутые желаніемъ добра и истинной пользы, столь легко смѣшивались въ одинъ разрядъ съ площадными повѣсами» (№ 2. Предисловіе редакціи къ статьѣ «Рикардо и теорія цѣнности»).

А тотъ украдкою киваетъ на Петра.

Но, можетъ быть, Гёксли не зналъ, что позитивисты распадаются на два лагеря и что Контъ въ послѣдніе годы своей жизни находился въ состояніи полной невмѣняемости? Нѣтъ, Гёксли это зналъ, потому что онъ говоритъ, что читалъ книгу Литтре въ которой имѣется подробное изложеніе

дѣла: потому что онъ утоминаетъ (правда, только однажды) о «людяхъ», старающихся провести разграничивающую линію между общимъ духомъ «положительной философіи» и духомъ «политики» и послѣдующими сочиненіями». Знакомство это слѣдуетъ, быть можетъ, видѣть и въ словахъ его: «я отъ души радъ, что попалъ въ руки Конгрева, а не въ руки кого-нибудь изъ его сотоварищей, способности и сила которыхъ хорошо извѣстны мнѣ, и которые повели бы противъ меня иную систему атаки, которую было бы не такъ легко отразить». Посмотримъ же на возраженія Гёкели. Они раздѣляются на четыре параграфа, озаглавленные такъ: 1) «Позитивизмъ есть католичество безъ христіанства»; 2) «Законъ трехъ фазисовъ развитія науки»; 3) «Классификація наукъ»; 4) «Позитивизмъ противенъ самой сущности науки»

Первый и послѣдній параграфы, не смотря на различіе заглавій, трактуютъ объ одномъ и томъ же, именно о той плоскости общественнаго идеала Конта, о которой мы уже упоминали выше. Что общественный идеалъ Конта весьма приближался къ организаціи католичества—это не подлежитъ никакому сомнѣнію: онъ и самъ говорилъ, что воюетъ только съ *доктриной* католичества, считая его *организацію* достойною многолѣтія. Но какое это отношеніе имѣетъ къ основнымъ положеніямъ Конта? Гёкели, отправляясь отъ соціологическихъ заблужденій Конта и въ частности именно отъ его принципа новой духовной власти, пытается ихъ несостоятельностью доказать «противонаучность» всей положительной философіи. Это крайне легкомысленно, по-суздальски легкомысленно. Отправляясь отъ совершенно вѣрной идеи, что общественная наука можетъ быть построена не иначе, какъ при существенной и непосредственной помощи біологіи, Спенсеръ приходитъ къ заключенію, что общество есть организмъ. Считая такое представленіе объ обществѣ въ высшей степени превратнымъ и ненаучнымъ, долженъ ли я, имѣю ли я какое-нибудь логическое право отбросить и исходную точку Спенсера? Это значило бы «все или ничего», «либо въ зубы, либо ручку пожалуйте». Другое дѣло было бы, если бы Гёкели доказалъ существованіе органической связи между всѣми частями ученій Конта. Но Гекели этого не сдѣлалъ и не могъ сдѣлать, потому что, какъ ни какъ, а Юма онъ въ Контѣ все-таки встрѣтилъ бы. Гёкели ссылается, правда, на свидѣтельство самого Конта, что его философія и политика связаны неразрывно, но свидѣтельство Конта не имѣетъ здѣсь ровно никакого значенія, ибо всякій мыслитель полагаетъ, что всѣ части его ученія составляютъ одно неразрушимое цѣлое. Постороннему же, безпристрастному наблюдателю очень не трудно увидѣть бѣлыя нитки. Рѣшая вопросъ на суздальскій манеръ Гёкели, можно пожалуй сказать, что доктрины столь любезнаго ему Юма находятся въ органической связи съ консервативными и даже прямо ретроградными политическими убѣжденіями этого знаменитаго философа. И безъ сомнѣнія самъ Юмъ находилъ, что между его философіей и его ненавистью къ политической свободѣ никакой розни нѣтъ. Но кто же бы ему повѣрилъ? Я, по крайней мѣрѣ, охотнѣе повѣрю слѣдующей не суздальской, но мѣткой характеристикѣ Бокля: «Проницательный геній Юма подсказалъ ему, что въ философіи и въ чисто отвлеченныхъ сторонахъ религіозныхъ ученій ничего не можетъ быть сдѣлано безъ смѣлой и ничѣмъ не стѣсняемой свободы изслѣдованія. Но тутъ рѣчь шла о свободѣ его собственнаго класса, о свободѣ мыслителей. Сухость его мысли не дозволила ему распространить свое сочувствіе за предѣлы мыслящихъ классовъ, т.-е. классовъ, съ чувствами которыхъ онъ непосредственно вѣдался. Это доказываетъ, что его политическія ошибки произошли не отъ недостаточности изслѣдованій, какъ вообще полагали, а скорѣе отъ холодности темперамента. Вотъ что останавливало его на пути и сообщило его сочиненіямъ странный видъ—видъ твореній глубокаго и оригинальнаго мыслителя половины XVIII вѣка, защищающаго практическія доктрины столь нелиберальныя, что осуществленіе ихъ немедленно приводило бы къ деспотизму, и въ то же время защищающаго такія смѣлыя и свѣтлыя отвлеченныя доктрины, которыя стояли не только далеко впереди его вѣка, но, въ извѣстной степени, опережаютъ и нашъ вѣкъ» (Исторія цивилизаціи, II, 386). Пріятно остановиться на этихъ свѣтлыхъ строкахъ послѣ аляповатыхъ, суздальскихъ выходокъ Гексли. Вы съ разу видите, что Бокль, такъ отчетливо разглядѣвшій въ Юмѣ полосы свѣта и тѣни, знаетъ цѣну свѣту и тѣни, дѣйствительно любитъ свѣтъ и дѣйствительно не любитъ тьмы. Сомнѣваюсь, чтобы кто-нибудь вывелъ подобное же заключеніе и о Гёкели, по его размашистому обращенію съ Контомъ. Защищать политическій идеалъ Конта мы ни въ какомъ случаѣ не намѣрены и изъ выходокъ Гёкели, наполняющихъ первый и четвертый параграфы его возраженій, отмѣтимъ только одну, побочную. Гёкели, признавая себя некомпетентнымъ въ вопросахъ соціологическихъ, что впрочемъ не мѣшаетъ ему бесѣдовать очень развязно и о нихъ, ссылается на авторитетъ Милля, который-

разобралъ мнѣнія по этому предмету Конта и «съ силой», и «съ строгостью, по временамъ доходящею даже до презрѣнія». Это положительно ложь, не столько въ словахъ (хотя и тутъ собственно «презрѣніе» изобрѣтено самимъ Гёкели), сколько въ тонѣ и въ недомолвкѣ. Книга Милля о Контѣ переведена на русскій языкъ, и каждый читатель можетъ убѣдиться, что Милль съ величайшимъ уваженіемъ относится къ Конту вообще и къ его заслугамъ въ соціологіи въ частности. Правда, Милль, вмѣстѣ со всѣми благомыслящими людьми, со включеніемъ и прямыхъ учениковъ Конта, совершенно отвергаетъ вторую половину дѣятельности Конта, почти исключительно посвященную разработкѣ соціологіи. Но, не говоря уже о томъ, что и здѣсь Милль относится къ Конту не по суздальски и здѣсь находитъ многія цѣнныя мысли и указанія,—Милль принимаетъ всю соціанальную динамику Конта, принимаетъ методъ, предложенный имъ для соціологіи (а съ философской точки зрѣнія, на которую Гёкели никакъ не можетъ подняться, вопросъ о методѣ есть вопросъ о наукѣ), признаетъ, наконецъ, образцовымъ Контовъ анализъ отношеній соціологіи къ низшимъ наукамъ.

Второй и третій тезисы Гекели — несостоятельность и противорѣчивость закона трехъ фазисовъ и классификаціи наукъ— для насъ гораздо интереснѣе. Третій параграфъ Гёкели начинаетъ съ нѣкоторыхъ частныхъ ошибокъ въ шести томахъ курса положительной философіи. Дѣло это не трудное, такъ что Гёкели могъ бы, по всей вѣроятности, найти такихъ ошибокъ гораздо больше, чѣмъ нашелъ: онъ ихъ приводитъ только четыре — одну изъ второго тома, двѣ изъ третьяго и одну изъ шестого. Двѣ изъ нихъ могли бы быть до извѣстной степени оспариваемы, но дѣло не въ этомъ. Мнѣ хочется только указать, въ параллель мнѣнію Гекели о несостоятельности Контовыхъ предсказаній вѣроятной будущности той или другой отрасли знанія— его замѣчательное указаніе на вѣроятную будущность и историческое значеніе науки о языкѣ (помнится, въ примѣчаніи къ одной изъ лекцій четвертаго тома). Послѣ этого указаній четырехъ ошибокъ, Гёкели переходитъ къ разбору закона трехъ фазисовъ. Онъ утверждаетъ, что все когда-либо объ этомъ законѣ Контомъ сказанное есть не что иное, какъ рядъ противорѣчій, не говоря уже о томъ, что законъ этотъ находится въ противорѣчіи съ дѣйствительнымъ ходомъ вещей. Для доказательства этого положенія Гекели дѣлаетъ, во-первыхъ, довольно длинную выписку изъ перваго тома курса положительной философіи, суть которой заключается въ слѣдующихъ словахъ: «Этотъ великій основной законъ, по моему мнѣнію, можетъ твердо опираться какъ на раціональныхъ доводахъ, почерпнутыхъ изъ изученія нашей организаціи, такъ и на исторической провѣркѣ, основанной на внимательномъ изученіи прошедшаго. Этотъ законъ заключается въ томъ, что каждое изъ нашихъ основныхъ понятій и каждая отрасль нашихъ знаній проходитъ послѣдовательно три различные теоретическіе фазиса: фазисъ теологическій или фиктивный; фазисъ метафизическій или отвлеченный; фазисъ научный или положительный. Иными словами, человѣческій умъ по своей природѣ послѣдовательно употребляетъ, въ каждомъ изъ своихъ изслѣдованій, три метода философствованія, *характеры которыхъ существенно различны и даже радикально противоположны другъ другу* (курсивъ, какъ въ этой, такъ и въ слѣдующей выпискѣ, принадлежитъ Гекели). Отсюда три рода философіи, *взаимно исключающихъ другъ друга*, или три главныя системы воззрѣній на совокупность явленій». По Гёкели, изложеніе это резюмируется такъ: а) человѣческій разумъ въ силу неизмѣнной необходимости подчиненъ закону, который можетъ быть доказанъ a priori, на основаніи сущности самаго разума; и съ другой стороны, если справиться въ исторіи, мы увидимъ, что разумъ всегда подчинялся этому закону. b). Каждая отрасль человѣческихъ знаній проходитъ три фазиса, начиная непремѣнно съ перваго. c) Эти три фазиса взаимно исключаютъ другъ друга, такъ какъ они существенно и даже радикально противоположны между собою». Затѣмъ Гёкели дѣлаетъ другую длинную выписку, изъ четвертаго тома Контова курса, гдѣ дѣло идетъ вотъ о чемъ: «Собственно говоря, теологическая философія, даже во время нашего индивидуальнаго и общественнаго дѣтства, не могла быть строго всеобщею, т.-е. въ отношеніи къ нѣкоторымъ родамъ явленій *наиболѣе простые и обыкновенные факты всегда объяснялись естественными причинами и вліяніемъ естественныхъ законовъ, а не безусловнымъ произволомъ сверхъестественныхъ силъ*. Напримѣръ, знаменитый Адамъ Смитъ въ своихъ философскихъ опытахъ весьма удачно замѣтилъ, что нигдѣ и никогда не изобрѣтался богъ тяжести *То же самое вообще происходитъ въ отношеніи къ предметамъ, даже болѣе сложнымъ, къ явленіямъ элементарнымъ и до того привычнымъ, что совершенная неизмѣняемость ихъ дѣйствительныхъ отношеній должна была поражать самаго наименѣе подготовленнаго наблюдателя*. Въ нравственномъ и общественномъ мірѣ, къ которому положительной философіи тщетно загораживали путь

нѣкоторые противники, необходимо существовало во всѣ времена понятіе объ естественныхъ законахъ по отношенію къ простѣйшимъ явленіямъ вседневной жизни, чего, очевидно, требовалъ общій ходъ нашего реальнаго, индивидуальнаго и общественнаго существованія, такъ какъ невозможна была бы никакая предусмотрительность, если бы всѣ явленія человѣческой жизни постоянно приписывались сверхъестественнымъ силамъ. *Нужно замѣтить даже объ этомъ предметѣ, что, напротивъ того, первоначальное неполное понятіе о первыхъ естественныхъ законахъ, присущихъ индивидуальнымъ или общественнымъ актамъ, фиктивно перенесенное на всѣ явленія внѣшняго міра, послужило, какъ видно изъ предшествующихъ нашихъ объясненій, съ самаго начала основнымъ принципомъ теологической философіи... Такимъ образомъ первоначальный зародышъ положительной философіи въ сущности такъ же первобытенъ, какъ и зародышъ теологической философіи, хотя онъ могъ развиться только значительно позже послѣдней.* Такое понятіе крайне важно для нашей соціологической теоріи, оно показываетъ ея совершенную раціональность». Отрывокъ этотъ Гёксли резюмируетъ такъ: «а) На дѣлѣ человѣческая наука не подчинялась неизмѣнно закону трехъ фазисовъ, слѣдовательно необходимость этого закона не можетъ быть доказана апріористическимъ путемъ. b) Значительная часть нашихъ понятій всякаго рода вовсе не проходила всѣхъ трехъ фазисовъ и въ особенности перваго, какъ говоритъ намъ самъ Контъ. c) Положительный фазисъ съ первыхъ же шаговъ человѣческаго мышленія болѣе или менѣе одновременно существовалъ съ теологическимъ фазисомъ». Сравнивая оба свои резюме, *a*, *b*, *c* (резюме, по-истинѣ, абецедарныя), Гёксли находитъ, что они другъ другу противорѣчатъ. Это справедливо, но это дѣло Гёксли, а не Конта. При поверхностномъ обзорѣ двухъ вырванныхъ Гёксли изъ курса отрывковъ, дѣйствительно можетъ показаться, что они противорѣчатъ другъ другу, но весьма поверхностный обзоръ составляетъ для этого необходимое условіе. Контъ доказываетъ справедливость своего закона на огромномъ количествѣ фактовъ. Гёксли не послѣдовалъ за нимъ въ этомъ пути, что было бы хотя неизмѣримо труднѣе, чѣмъ вырывать два клочка, но зато и неизмѣримо основательнѣе. Положимъ, что Гёксли не считалъ нужнымъ терять такъ много времени, но, если человѣкъ берется критиковать цѣлую философскую систему, то для него обязательно, по крайней мѣрѣ, познакомиться съ духомъ этой системы. И если бы Гексли дѣйствительно изучилъ духъ положительной философіи, то онъ увидѣлъ бы, что параграфы а) его обоихъ резюме не имѣютъ съ точки зрѣнія положительной философіи никакого значенія, ибо съ этой точки зрѣнія апріористическія доказательства, «на основаніи сущности самаго разума»—не существуютъ, не то что они вѣрны или не вѣрны, а просто не существуютъ. Онъ увидѣлъ бы далѣе, что положительная философія, опять-таки по самому духу своему, абсолютныхъ рѣшеній не даетъ. И если положительная философія выдвигаетъ законъ трехъ фазисовъ, то она дѣлаетъ это не зря, а указываетъ на тѣ условія, которыя заправляютъ послѣдовательною смѣною теологическаго, метафизическаго и положительнаго міросозерцаній. И если мы видимъ, что въ такомъ-то данномъ случаѣ одинъ изъ фазисовъ отсутствуетъ и вмѣстѣ съ тѣмъ отсутствуютъ и тѣ условія, которыми онъ въ другихъ случаяхъ вызывается, то обстоятельство это не только не даетъ права обвинять Конта въ противорѣчіяхъ, а напротивъ, блистательно поддерживаетъ Контовъ анализъ. Познакомившись съ духомъ положительной философіи, Гёксли замѣтилъ бы, что было бы совершенно противно этому духу утверждать, что три фазиса смѣняютъ другъ друга съ тою безпощадностью и внезапностью, какую старые геологи приписываютъ фазисамъ исторіи земли; а внимательнѣе и добросовѣстнѣе читая Конта, Гёксли убѣдился бы, что Контъ никогда ничего подобнаго не утверждалъ. По Конту теологическое, метафизическое и положительное міросозерцанія, исключая другъ друга *логически*, въ принципѣ — *фактически* смѣняютъ другъ друга только въ извѣстные моменты развитія. Гёксли очень смущенъ тѣмъ обстоятельствомъ, что взаимно исключающіяся міросозерцанія существуютъ единовременно, и я понимаю, что съ суздальской точки зрѣнія это невозможно. Но Контъ стоялъ не на суздальской точкѣ зрѣнія. Онъ ясно видѣлъ, что для того, чтобы смѣнить другъ друга не въ силу откровенія или созерцанія собственнаго духа, а въ силу реальнаго хода вещей, три взаимно исключающіяся системы убѣжденій необходимо должны существовать единовременно. Эти три фазиса взаимно вытѣсняются, но для этого они должны бороться, а борьба предполагаетъ единовременное существованіе по крайней мѣрѣ двухъ враждебныхъ элементовъ. Замѣчательное философское безсиліе Гёксли, особенно замѣтное, какъ увидимъ ниже, въ его критикѣ Контовой классификаціи наукъ, достаточно проявляется и здѣсь. Онъ никакъ не можетъ отдѣлить логическій порядокъ отъ порядка эмпирическаго и потому сомнѣвается въ воз-

можности практическаго сосѣдства логически взаимно исключающихся вещей. Но такое сосѣдство, къ сожалѣнію, возможно встрѣтить на каждомъ шагу. Не только въ извѣстномъ историческомъ періодѣ теологическое, метафизическое и положительное міросозерцаніе могутъ безпрепятственно уживаться рядомъ; они могутъ уживаться даже въ одной и той же личности и все-таки логически исключать другъ друга. Тому живой примѣръ соотечественникъ и товарищъ Гексли по наукѣ — Оуэнъ, научныхъ, положительныхъ заслугъ котораго никто не станетъ отрицать, что не мѣшаетъ, однако, ему погрязать въ то же время въ міросозерцаніи довольно первобытномъ. Что касается до исключеній изъ закона трехъ фазисовъ, на которые Гёксли, по самому же Конту, указываетъ съ столь побѣдоноснымъ видомъ, то къ нимъ должны быть приложены правила критики, общія для всѣхъ исключеній. А такихъ правилъ два. Во-первыхъ, какъ велико число этихъ исключеній сравнительно съ числомъ случаевъ, подходящихъ подъ законъ Конта?—Число это ничтожно. Во-вторыхъ, какъ велико логическое значеніе этихъ исключеній? Опровергаютъ они законъ трехъ фазисовъ логически, или же могутъ быть приведены съ нимъ въ соглашеніе? — Могутъ, ибо, какъ мы уже упоминали, законъ трехъ фазисовъ, какъ добытый не супранатуральнымъ и не метафизическимъ путемъ, покоится цѣликомъ на анализѣ естественныхъ и историческихъ условій; и поэтому если условій, необходимыхъ, съ точки зрѣнія самаго закона трехъ фазисовъ, для порожденія теологическаго, напримѣръ, объясненія, данный случай не представляетъ, то отсутствіе теологическаго фазиса является здѣсь исключеніемъ, только подтверждающимъ основанія закона. При опредѣленіи умственнаго характера той или другой эпохи, той или другой ступени развитія науки, той или другой личности, слѣдуетъ имѣть въ виду относительное значеніе элементовъ, привходящихъ въ эту эпоху, эту ступень, эту личность. Древніе римляне, безъ всякаго сомнѣнія, сообразовались въ своемъ земледѣліи и садоводствѣ съ естественными законами; они, пожалуй, знали эти законы. Но не могу же я признать, что они находились въ положительномъ фазисѣ развитія, если я знаю, что они, невольно игнорируя свои собственные труды, приписывали все дѣло особой покровительницѣ плодовъ—Церерѣ, человѣка, уничтожившаго жатву, приносили этой самой Церерѣ въ жертву, и пр. У меня есть знакомый татаринъ, человѣкъ очень практическій, очень хорошо, повидимому, понимающій, что деньги онъ добываетъ неустаннымъ шляньемъ съ халатами по Петербургу. Но, право, я боюсь отнести міросозерцаніе моего Камаля къ положительному фазису, тѣмъ болѣе, что онъ объяснилъ мнѣ недавно, почему онъ не хочетъ взять билета котораго нибудь изъ внутреннихъ займовъ съ выигрышами: «Аллахъ захочетъ, такъ и безъ билета выиграешь».

Кромѣ приведенныхъ, Гёксли ссылается еще на одно мѣсто у Конта, которое, по его, Гексли, мнѣнію, уличаетъ Конта въ противорѣчіи. Вотъ это мѣсто: «Истинный духъ всякой теологической и метафизической философіи состоитъ въ томъ, что для нихъ принципомъ, объясняющимъ явленія внѣшняго міра, служитъ наше непосредственное воспріятіе человѣческихъ явленій; между тѣмъ, какъ положительная философія, напротивъ, всегда отличается тѣмъ, что она необходимо и раціонально подчиняетъ понятіе о человѣкѣ понятію о мірѣ». Противорѣчіе съ прежними цитатами Гёксли видитъ въ томъ, что здѣсь «три фазиса на практикѣ сведены къ двумъ». У меня есть персикъ, яблоко и слива. Ни того, ни другого, ни третьяго вы никогда не видали. Я описываю вамъ ихъ, разсказываю, чѣмъ они другъ отъ друга отличаются, говорю, что это плоды различные. Но затѣмъ объясняю вамъ, что персикъ и слива могутъ у насъ произрастать только въ оранжереяхъ, тогда какъ яблоки растутъ и въ нашемъ климатѣ на открытомъ воздухѣ. Ради всѣхъ святыхъ, скажите мнѣ, неужели же я впалъ въ противорѣчіе съ самимъ собой и забылъ о различіяхъ, существующихъ между персикомъ и сливой? Я утверждаю, что объектъ зоологіи есть міръ животныхъ, ботаники — міръ растеній, минералогіи — минералы. Затѣмъ я утверждаю, что зоологія и ботаника изучаютъ представителей органической жизни; а минералогія завѣдуетъ неорганическими формами вещества. Неужели мои тезисы противорѣчатъ другъ другу? Есть три міросозерцанія: одно полагаетъ, что человѣкъ есть цѣль природы, другое видитъ цѣли природы внѣ человѣка, третье отрицаетъ существованіе цѣлей природы; первыя два допускаютъ цѣлесообразность устройства вселенной, послѣднее отрицаетъ ее. Неужели и это противорѣчіе?

И послѣ этой суздальской оцѣнки закона трехъ фазисовъ Гексли заявляетъ, что «люди науки не имѣютъ обыкновенія обращать особенное вниманіе на «законы», устанавливаемые подобнымъ образомъ!» Въ Гексли, по крайней мѣрѣ, заслуженномъ и уважаемомъ человѣкѣ науки, такая гордость совершенно неумѣстна.

Гексли противопоставляетъ исторической теоріи Конта свою собственную. Можетъ быть, она окажется и прекрасною, когда

Гёкели разовьетъ ее подробнѣе и провѣритъ фактами. Но въ томъ видѣ, какъ она теперь напечатана, я не думаю, чтобы она была достойна особеннаго вниманія «людей науки». Это, впрочемъ, ихъ дѣло. Я съ своей стороны скромно замѣчу, что какъ послѣ Пушкина всякій можетъ безъ искры таланта и оригинальности написать довольно гладкіе русскіе стихи, такъ и послѣ Конта всякій можетъ указанные имъ элементы, теологическій, метафизическій и положительный, расположить въ на видъ оригинальную схему. Гёкели не вноситъ въ построеніе Конта никакого новаго принципа, не дѣлаетъ въ немъ никакой поправки, а только перекрещиваетъ положительный фазисъ въ «физицизмъ», а фазисъ теологическій въ «антропоморфизмъ». Я сказалъ, что онъ не дѣлаетъ въ теоріи Конта никакой поправки, и это справедливо, если не считать поправкою то обстоятельство, что онъ спуталъ строго различаемые у Конта порядокъ логическій и порядокъ эмпирическій. Три маленькія, разгонистаго шрифта, странички «Космоса», на которыхъ Гёкели противопоставляетъ закону трехъ фазисовъ свою собственную теорію, я прочиталъ не только не съ предубѣжденіемъ, а скорѣе съ чувствомъ совершенно противоположнымъ, потому что самъ не вполнѣ удовлетворенъ закономъ трехъ фазисовъ. Но я долженъ былъ совершенно разочароваться въ своихъ ожиданіяхъ.

Обратимся къ критикѣ классификаціи наукъ. Здѣсь мы встрѣтимъ еще болѣе полное выраженіе философскаго и критическаго безсилія Гёкели. Классификація наукъ Конта, какъ и законъ трехъ фазисовъ, по мнѣнію Гёкели, противорѣчитъ и самой себѣ и фактамъ. Контъ различаетъ, какъ извѣстно, науки абстрактныя, отвлеченныя и конкретныя, описательныя. Предметъ первыхъ есть «раскрытіе законовъ, управляющихъ различнаго рода явленіями въ примѣненіи ко всѣмъ случаямъ, какіе только можно представить себѣ». Вторыя «заключаются въ примѣніи этихъ законовъ къ дѣйствительной исторіи различныхъ существъ». «Это весьма ясно можно видѣть — цитируетъ Гекели Конта — если сравнить общую біологію съ зоологіею и ботаникою въ собственномъ смыслѣ. Въ самомъ дѣлѣ, изслѣдовать законы жизни вообще и опредѣлить способъ жизни каждаго живого тѣла въ частности — двѣ совершенно различныя вещи. *Эта вторая задача необходимо основана на первой*». Эти послѣднія слова, отмѣченныя мною курсивомъ,—критикуетъ Гекели—показываютъ, что познанія Конта по физической наукѣ далеко неточны и что они заимствованы единственно изъ книгъ. Какъ! «спеціальное изслѣдованіе живыхъ существъ основано на общемъ изученіи законовъ жизни!» Такъ какъ Конгревъ сообщаетъ намъ, что онъ посвятилъ себя физіологіи, я готовъ отказаться отъ своего мнѣнія; но нѣкоторое понятіе, которое я имѣю объ этихъ вопросахъ, приводитъ меня къ заключенію, что если бы Контъ практически мало-мальски былъ знакомъ съ біологической наукой, онъ далъ бы совершенно обратный видъ своей фразѣ и призналъ бы, что мы не можемъ имѣть объ общихъ законахъ жизни другого знанія, кромѣ того, которое основано на спеціальномъ изученіи живыхъ существъ. Слѣдовательно, Контъ въ высшей степени неудачно выбралъ свой примѣръ».

Осмѣливаюсь утверждать, что Контъ выбралъ свой примѣръ чрезвычайно удачно. Осмѣливаюсь утверждать, что если бы Гекели оказывалъ побольше уваженія къ логикѣ и внимательнѣе, и добросовѣстнѣе читалъ сочиненія Конта — онъ никогда бы не написалъ приведенныхъ строкъ. Осмѣливаюсь утвержать, что строки эти въ высшей степени дурно рекомендуютъ критическій талантъ Гёкели. Но такъ какъ примѣръ біологіи справедливо уважаемому біологу Гёкели оказывается мало доступнымъ, то я возьму сначала другой. Различныя физическія и химическія причины образовали неорганическія формы вещества, называемыя минералами. Всѣ существующіе на землѣ минералы составляютъ предметъ минералогіи, науки конкретной, описательной по преимуществу. Эта конкретная наука находится въ зависимости отъ абстрактныхъ наукъ и именно химіи, физики и математики (отъ послѣдней зависитъ, по крайней мѣрѣ, кристаллологія). Но химія, напримѣръ, изучаетъ химическія свойства тѣлъ не только минераловъ, а и органическихъ тѣлъ, и такихъ неорганическихъ, которыя въ природѣ не встрѣчаются, а приготовляются въ лабораторіяхъ искусственно. То же самое относится и къ физикѣ и къ математикѣ. Итакъ, конкретная наука—минералогія, и науки абстрактныя—математика, физика и химія преслѣдуютъ цѣли различныя. Теперь вопросъ въ томъ: имѣлъ ли бы право Контъ сказать, что «задача минералогіи необходимо основана на задачахъ физики, химіи и математики», другими словами, что конкретная наука покоится на выводахъ соотвѣтственныхъ абстрактныхъ наукъ, а не наоборотъ? По Гёкели, онъ не имѣлъ бы этого права, и Гёкели могъ бы сослаться на то обстоятельство, что еще Аристотель наблюдалъ и изучалъ минералы, безъ всякой помощи химіи, которая явилась гораздо позже. Но въ такомъ случаѣ Гёкели вновь пришлось бы смѣшать логическій по-

рядокъ съ эмпирическимъ и эмпирическіе законы съ раціональными, какъ онъ это и дѣлаетъ относительно конкретной и абстрактной біологіи. Эмпирическимъ закономъ называется такой, который завѣдомо истиненъ относительно нѣкоторыхъ случаевъ, но не можетъ быть правомѣрно распространенъ на случаи сосѣдніе, ибо мы не знаемъ, какими причинами этотъ законъ обусловливается. Напримѣръ, синильная кислота и морфинъ содержатъ въ себѣ много азота и, представляя въ другихъ отношеніяхъ весьма мало сходства, оба оказываются сильными ядами. Наблюденіе это совершенно вѣрное, но пока оно остается на этой эмпирической ступени и не разложено на болѣе простые элементы, до тѣхъ поръ мы не имѣемъ никакого права утверждать, что какое-нибудь третье тѣло съ огромнымъ содержаніемъ азота тоже непремѣнно ядовито. Дальнѣйшіе, гораздо болѣе сложные, опыты и наблюденія могутъ убѣдить насъ, что всѣ сильно азотистыя тѣла ядовиты, но только въ такомъ случаѣ, если эти опыты и наблюденія разъяснятъ намъ, почему азотъ въ этихъ случаяхъ оказывается элемеитомъ, вреднымъ для организма. Когда мы узнаемъ эту причинную связь между разстройствомъ организма и присутствіемъ сильно азотистыхъ веществъ, законъ перестанетъ быть эмпирическимъ, обратится въ раціональный, и мы, узнавъ, что такое-то вещество содержитъ много азота, будемъ имѣть полное право сказать, что это вещество ядовитое. Легко можетъ оказаться, что ядовитость морфина и синильной кислоты обусловливается вовсе не размѣромъ содержанія въ нихъ азота, а какими-нибудь другими ихъ свойствами, отъ нашего наблюденія до сихъ поръ ускользавшими. Ясно, что пока относительно извѣстной группы явленій мы имѣемъ въ своемъ распоряженіи только эмпирическіе законы, наука этихъ явленій не существуетъ, хотя опытовъ и наблюденій можетъ быть накоплено уже достаточно. Аристотель могъ, конечно, изучать и наблюдать минералы, могъ открыть даже нѣкоторые грубые эмпирическіе законы въ этой области, но минералогія, какъ наука, можетъ получить значеніе не иначе, какъ по установленіи законовъ математики, физики и химіи, то-есть тѣхъ абстрактныхъ наукъ, которыя разсматриваютъ извѣстную группу свойствъ тѣлъ въ примѣненіи къ всевозможнымъ случаямъ. Точно также же конкретная біологія, состоящая изъ зоологіи, ботаники и палеонтологіи, существовала раньше біологія абстрактной, но существовала только въ эмпирическомъ видѣ, то-есть существовала, какъ сборникъ матеріаловъ, и не существовала, какъ наука. Гёксли только смѣшонъ, когда онъ предлагаетъ Конту дать его оцѣнкѣ взаимныхъ отношеній между абстрактною и конкретною біологіею обратный видъ. Контъ никогда и не думалъ отрицать, что «мы не можемъ имѣть объ общихъ законахъ жизни другого знанія, кромѣ того, которое основано на спеціальномъ изученіи живыхъ существъ». Контъ прямо и неоднократно указываетъ, — и это неизбѣжно вытекаетъ изъ основныхъ положеній его философіи, — что конкретныя науки начали развиваться раньше абстрактныхъ, но неизбѣжно *послѣ* абстрактныхъ принимаютъ дѣйствительно научный характеръ, то-есть вырываются изъ фазиса отрывочныхъ наблюденій и эмпирическихъ законовъ. Гёксли опять-таки только смѣшонъ, когда говоритъ: «И если отвлеченныя науки обнимаютъ собою воображаемые случаи примѣненія законовъ, изслѣдуемыхъ каждою изъ нихъ, то неужели онѣ не обнимаютъ и предметовъ конкретныхъ наукъ, которые, конечно, легко представить себѣ уже по одному тому, что они существуютъ?» Это возраженіе не имѣетъ и тѣни основательности. Каждая отвлеченная наука занимается только извѣстною группою свойствъ тѣлъ, то-есть предметовъ конкретныхъ наукъ. Физика занимается физическими свойствами тѣлъ органическихъ и неорганическихъ, химія — химическими, біологія изслѣдуетъ только законы жизни и въ этомъ смыслѣ абстрактныя науки обнимаютъ собою не «воображаемые», а всевозможные случаи примѣненія своихъ законовъ. И опять-таки все дѣло въ томъ, что Гёксли смѣшиваетъ эмпирическіе законы съ раціональными, на которые, съ теченіемъ времени, эмпирическіе законы разлагаются. А между тѣмъ въ этомъ именно обстоятельствѣ лежитъ полное логическое и историческое оправданіе какъ Контова раздѣленія наукъ на абстрактныя и конкретныя, такъ и его классификація абстрактныхъ наукъ. Гёксли имѣлъ полное право согласиться или не согласиться съ основнымъ принципомъ этой классификаціи, лежащимъ именно въ различеніи эмпирическихъ обобщеній отъ обобщеній строго-научныхъ. Затѣмъ, въ качествѣ добросовѣстнаго критика, онъ долженъ бы былъ посмотрѣть, какъ Контъ исполнилъ поставленную имъ себѣ задачу. Но Гёксли не только не сдѣлалъ этого, а даже именно слона-то и не примѣтилъ. Онъ не выразилъ ни согласія, ни несогласія съ основнымъ взглядомъ Конта, онъ о немъ просто умолчалъ. Быть можетъ, онъ его проглядѣлъ? Въ первомъ случаѣ это недобросовѣстно, а во второмъ Гёксли не обнаружилъ большой проницательности. И по-истинѣ злой духъ толкнулъ его въ область философской критики, въ которой онъ такъ слабъ.

Читатели, я очень хорошо вижу неловкость своего положенія, я очень хорошо понимаю, что многіе изъ васъ увидятъ въ моемъ разборѣ возраженій Гёкели то суздальское «разрушеніе авторитетовъ», которое было у насъ когда-то въ модѣ и которому не мало послужила и нынѣшняя редакція «Космоса». Иному изъ васъ можетъ показаться весьма дерзкимъ мое обращеніе съ первоклассным ъ европейскимъ ученымъ, пользующимся огромнымъ и заслуженнымъ кредитомъ. Но, читатель, я, во-первыхъ, уже сослался на исключающіе мнѣнія Гёкели о Контѣ авторитеты первоклассныхъ европейскихъ мыслителей; во-вторыхъ, я не приглашаю васъ вѣрить мнѣ на слово: имѣяй очи видѣти, да видитъ; въ третьихъ, наконецъ, я ни на минуту не желалъ бы поколебать вашего уваженія къ ученымъ трудамъ и заслугамъ Гекели. Да избавитъ меня Богъ отъ такого суздальства. Но да избавитъ меня Богъ и отъ того противоположнаго суздальства, которое обнаружила редакція «Космоса», обращаясь къ статьѣ Гёкели съ суздальскимъ «ручку пожалуйте». Ниже я скажу свое мнѣніе о поведеніи въ этомъ дѣлѣ редакціи «Космоса», а теперь замѣчу только, что эта, въ другихъ случаяхъ, столь многоглаголивая и много-примѣчающая редакція не снабдила статей Гёкели ни однимъ примѣчаніемъ, за исключеніемъ вступительнаго, насчетъ авторитотовъ. Не то, чтобы я считалъ примѣчанія этой редакціи очень цѣнными, но было бы очень желательно знать мнѣніе ея о нѣкоторыхъ частныхъ взглядахъ Гёкели, было бы даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ для нея обязательно выразить свое мнѣніе. Такъ, вѣроятно, не я одинъ и ждалъ, и желалъ встрѣтить примѣчаніе редакціи къ слѣдующей тирадѣ Гёкели, по поводу мнѣнія Конта, что «всякое научное образованіе, не начинающееся изученіемъ математики, грѣшитъ въ своемъ основаніи». «Образованіе, весь секретъ котораго заключается въ переходахъ отъ легчайшаго къ болѣе трудному, отъ конкретнаго къ отвлеченному, должно идти, по Конту, совершенно инымъ путемъ и переходить отъ отвлеченнаго къ конкретному!» Было бы весьма любопытно знать мнѣніе редакціи «Космоса», на сколько легокъ предлагаемый Гёкели путь изученія, напримѣръ, физики или астрономіи безъ знакомства съ математикой. Это было бы желательно знать въ виду разъясненія собственныхъ взглядовъ редакціи на педагогическій порядокъ наукъ. Когда-то, когда «Космосъ» издавался еще въ видѣ еженедѣльной газеты, въ немъ была категорически выражена нынѣ опровергаемая Гёкели мысль, что образованіе должно начинаться съ математики. Поэтому читатели «Космоса» должны находиться въ нѣкоторомъ недоумѣніи. И недоумѣніе это должно усиливаться еще путаницею, вносимою сюда напечатанными въ «Космосѣ» статьями «Рикардо и его теорія цѣнности» и «Новѣйшія изслѣдованія по вопросу народонаселенія». Въ статьяхъ этихъ, имѣющихъ цѣлью обработку общественной науки при непосредственной помощи математики, обнаруживается крайнее шатаніе по вопросу о значеніи математики, вообще, и ея роли въ общественной наукѣ, въ особенности. Статьи эти поучительны во многихъ отношеніяхъ. Мы скажемъ о нихъ нѣсколько словъ собственно потому, что и въ нихъ трактуется о Контѣ и положительной философіи. «Такъ называемая позитивная философія — говорится въ предисловіи редакціи къ статьѣ «Рикардо и его теорія цѣнности» — резонируя въ лицѣ Огюста Конта на тему нравственныхъ вопросовъ, чуждыхъ послѣднему по его образованію и мало знакомыхъ ему въ существѣ, могла считать безнадежнымъ, чтобы масса пестрыхъ и зыбкихъ, на первый взглядъ, явленій нравственной и психической области могла когда-нибудь быть подчинена такому же точному измѣренію, классификаціи и дисциплинѣ, какъ и рядъ другихъ, болѣе простыхъ на видъ, фактовъ. Этой философіи, говоримъ мы, несмотря на свое названіе позитивной философіи, простительно было оставаться философіей глазомѣра и всего менѣе позитивной философіей въ дѣлѣ нравственныхъ фактовъ». Затѣмъ редакція «Космоса» намекаетъ на то, что ей извѣстны «спеціальныя изслѣдованія дѣйствительно позитивнаго характера, правда, немногочисленныя, но драгоцѣнныя въ нравственной литературѣ, можетъ быть, вовсе незнакомыя ни русскому читателю, ни русской журналистикѣ», и что эти одной редакціи «Космоса» (по крайней мѣрѣ, въ Россіи) извѣстныя изслѣдованія «давно отвели свое надлежащее историческое мѣсто и старымъ взглядамъ на этотъ предметъ позитивистовъ, да и самой позитивной философіи Конта». Къ сожалѣнію, это указаніе слишкомъ таинственно; почтенная редакція не пожелала подѣлиться съ русскою публикою своимъ драгоцѣннымъ секретомъ. А между тѣмъ, для нея, повидимому, было нравственно обязательно опубликовать свой секретъ. Статья Гекели едва-ли разобьетъ «вошедшій у насъ въ моду» позитивизмъ! и потому, если редакція «Космоса» признаетъ его въ такой мѣрѣ зловреднымъ, то ей надлежало выдвинуть свою тяжелую артиллерію. Тѣмъ не менѣе, русская публика приглашается къ построенію храма богу, вѣдомому только двумъ русскимъ жрецамъ

науки, на подобіе аѳинскаго храма богу невѣдомому. А это тѣмъ печальнѣе, что въ ближайшую связь съ этимъ невѣдѣніемъ и вхожденіемъ въ моду позитивизма редакція «Космоса» ставитъ существованіе у насъ «полупросвѣщенныхъ резонеровъ», «наивныхъ болтуновъ на политическія темы», которые, правда, только смѣшны почтенной редакціи «Космоса», но которые въ то же время «въ тягость своему родному брату», которые суть «враги обществу, Каины его лучшихъ дней», которыхъ, наконецъ, по нѣсколько фантастическому предположенію редакціи, «не родила бы родная мать, если бы она могла ясно видѣть дѣло, которое они дѣлаютъ» (Всѣ эти выраженія заимствованы мною изъ того же предисловія къ статьѣ «Рикардо и его теорія цѣнности»). Въ чемъ же, однако, дѣло, и что скрывается подъ этою, черезъ-чуръ уже таинственною, мантіею олимпійскаго величія? Въ чемъ состоятъ тѣ «дѣтскія мысли на счетъ сближенія нравственнаго знанія съ точными пріемами изслѣдованія», которыя высказывалъ Контъ, и въ чемъ не дѣтскія мысли, коихъ на этотъ счетъ держится редакція «Космоса»?

Начнемъ съ послѣднихъ. «Космосъ» полагаетъ, что всякая отрасль знанія начинаетъ свои изслѣдованія при помощи методовъ болѣе или менѣе грубыхъ, несовершенныхъ — словомъ, «ограничивается общими способами врожденнаго глазомѣра». Но наступаетъ, наконецъ, для науки такой моментъ, когда ей приходится прибѣгнуть къ «вооруженнымъ пріемамъ изслѣдованія», каковые пріемы сводятся къ математическому анализу явленій. Нравственныя и политическія науки находятся донынѣ на ступени «способа глазомѣра», но способу этому наступаетъ конецъ и въ этой области. Такъ, въ наукѣ экономической — экономисты и соціалисты исчерпали всѣ средства, какія можетъ дать способъ глазомѣра, и потому наукѣ приходится «выбирать между праздным перебалтываніемъ стараго или пріемомъ новыхъ методовъ». Такимъ образомъ, «Космосъ» сводитъ всѣ методы изученія явленій къ двумъ: къ «способу врожденнаго глазомѣра» и къ математическому методу, оставляя неразъясненнымъ, въ чемъ именно тотъ и другой состоятъ. Подъ «способами врожденняго глазомѣра». очевидно, слѣдуетъ разумѣть вещи весьма и весьма различной научной цѣнности. Допустимъ, что упоминаемый, хотя и неразъясняемый «Космосомъ» математическій методъ есть нѣчто опредѣленное и для всѣхъ наукъ въ извѣстномъ моментѣ развитія обязательное. Но біологія и нравственныя, и политическія науки, до сихъ поръ въ этотъ моментъ не вступавшія, прошли однако, не мало ступеней, существенно различныхъ. Сравнительно анатомическая точка зрѣнія, вивисекціи, микроскопъ, химическій анализъ — не суть ли это все ступени «способа врожденнаго глазомѣра» въ біологіи? Съ другой стороны, пиѳагорейцы совали математику всюду: знаменитый, хотя слишкомъ часто страдавшій бѣлою горячкою Эдгаръ Поэ сопрягалъ математику съ поэзіей; Мальтусъ выразилъ важный соціологическій законъ двумя пропорціями. Но былъ ли въ этихъ случаяхъ прилагаемъ таинственно рекомендуемый «Космосомъ» математическій методъ, и если былъ, то вѣрно ли? «Космосъ» даже и не говоритъ о методѣ, а разсказываетъ, что есть, де, способы врожденнаго глазомѣра, а есть и болѣе вооруженные пріемы, пріемы математическіе. Въ виду этого тумана, читателю поневолѣ должны прійти въ голову вопросы: да на сколько же приложеніе математики къ высшимъ наукамъ гарантируетъ насъ отъ ошибокъ, свойственныхъ «врожденному глазомѣру»? Какимъ образомъ это приложеніе должно происходить? Правда, «Космосъ» даетъ примѣры этого приложенія, и именно къ теоріи цѣнности и къ вопросу народонаселенія. Но примѣры эти не только ничего не объясняютъ, а, какъ увидимъ, напускаютъ туману еще пущаго.

Я сказалъ, что біологія не вступала въ моментъ «вооруженныхъ пріемовъ», и прибавлю теперь, что она въ него и не можетъ вступить, если подъ вооруженными пріемами» разумѣть математическій анализъ. «Космосъ» смотритъ на это дѣло иначе. «Въ настоящее время — говорится въ томъ же курьезномъ предисловіи — всѣ болѣе разработанныя отрасли знанія или вступили въ прямой союзъ съ высшими способами анализа, или стремятся къ тому, и только развѣ въ нашей литературѣ можно встрѣтить такія мнѣнія, по которымъ, чѣмъ сложнѣе наука, тѣмъ менѣе она нуждается въ совершенныхъ методахъ, въ доказательство чего и указывается на физіологію и химію, не имѣющихъ будто бы никакого касательства къ математикѣ. Но такія наивныя вещи возможны развѣ въ нашей литературѣ. Сами физіологи очень хорошо знаютъ, что тѣ отдѣлы физіологіи, которые болѣе другихъ разработаны, какъ, напримѣръ, физіологія, зрѣнія всѣ основаны на математикѣ». Мнѣ пріятно заявить, что почтенный авторъ, столь мальтретируя литературу, къ которой принадлежитъ самъ, дѣлаетъ ошибокъ почти столько же, сколько говоритъ словъ. Конечно, было бы нелѣпо утверждать, что сложнѣйшія науки не нуждаются въ совершенныхъ методахъ. Но во-первыхъ, никто этого въ нашей литературѣ и не утверждалъ, не утверждали, по крайней мѣрѣ, тѣ, въ кого

авторъ мѣтитъ, а во-вторыхъ, авторъ впадаетъ здѣсь въ такъ-называемое круговое умозаключеніе (petitio principii), ибо вопросъ именно въ томъ и состоитъ, насколько совершеннымъ орудіемъ можетъ служить математика въ высшихъ наукахъ. Въ нашей литературѣ говорилось нѣсколько (очень, впрочемъ, немного) разъ не то, что біологія и соціологія не нуждаются въ совершенныхъ методахъ, а то, что математическій анализъ въ этихъ областяхъ неприложимъ. Ошибается авторъ и въ томъ, что «такія наивныя вещи возможны развѣ въ нашей литературѣ». Нѣтъ, онѣ не только возможны, а существуютъ и въ западной литературѣ. Я не буду ссылаться на самого Конта, ибо ученая редакція «Космоса» убѣждена въ его невѣжествѣ, но вотъ что говоритъ писатель, когда-то пользовавшійся большимъ уваженіемъ этой редакціи «Въ томъ же сочиненіи (въ курсѣ Конта), особенно въ третьемъ томѣ, вполнѣ разобраны предѣлы приложимости математическихъ началъ къ развитію другихъ наукъ. Подобныя начала, очевидно, непримѣнимы тамъ, гдѣ причины, опредѣляющія какой-либо родъ явленій, такъ мало доступны нашему наблюденію, что мы не можемъ, соотвѣтственнымъ наведеніемъ, обнаружить ихъ численные законы; или гдѣ причины до того многочисленны и представляютъ такую сложную смѣсь, что еслибъ даже законы ихъ были извѣстны, то вычисленіе совокупнаго дѣйствія превзошло бы силу исчисленія, въ теперешнемъ его состояніи и вѣроятномъ будущемъ; наконецъ, гдѣ сами причины постоянно измѣняются, какъ напримѣръ, въ физіологіи и еще болѣе, если это возможно, въ соціальной наукѣ. Математическія рѣшенія физическихъ вопросовъ становятся прогрессивно болѣе трудными и несовершенными, по мѣрѣ того, какъ вопросы теряютъ свой отвлеченный и гипотетическій характеръ и приближаются къ той сложности, которая дѣйствительно существуетъ въ природѣ. Это до того справедливо, что, за предѣлами явленій астрономическихъ и наиболѣе сходныхъ съ ними, математическая точность достигается обыкновенно въ «ущербъ реальности изслѣдованія». Даже въ астрономическихъ вопросахъ, «несмотря на удивительную простоту ихъ математическихъ началъ, нашъ слабый умъ оказывается неспособнымъ успѣшно прослѣдить логическія сочетанія законовъ, опредѣляющихъ явленія,— какъ скоро мы пытаемся одновременно сообразить болѣе двухъ или трехъ существенныхъ вліяній» (Philosophie Positive. III, 414—416). Какъ замѣчательный примѣръ этого, не разъ уже была приводима задача о трехъ тѣлахъ: полное рѣшеніе такого, сравнительно простого вопроса, было не по силамъ самымъ проницательнымъ математикамъ. Поэтому мы можемъ себѣ представить, какъ призрачна была бы надежда съ пользою примѣнить математическія начала къ явленіямъ, зависящимъ отъ безчисленнаго множества частичекъ тѣлъ,—напримѣръ, къ явленіямъ химіи и, еще болѣе, физіологіи. По подобнымъ же причинамъ начала эти остаются непримѣнимы къ еще сложнѣйшимъ изслѣдованіямъ, предметами которыхъ служатъ явленія общественныя и государственныя, (Милль. Система логики. II, 156). Правда, логика Милля есть сочиненіе не новое, хотя и едва-ли замѣненное чѣмъ-нибудь болѣе новымъ, но Милль выражаетъ тотъ же взглядъ и въ недавней своей книгѣ о Контѣ и позитивизмѣ, которую я уже не разъ цитировалъ. Итакъ, «Космосъ» ошибается, утверждая, что такія наивныя вещи возможны развѣ только въ нашей литературѣ. Я думаю, впрочемъ, что здѣсь ошибки не было; я думаю, «Космосъ» зналъ, что онъ говоритъ неправду; кто у насъ не читалъ логики Милля? а гг. Антоновичъ и Жуковскій, безъ сомнѣнія, прочли ее съ тѣмъ добросовѣстнымъ вниманіемъ, которое ихъ столь характеризуетъ вообще и котораго, наконецъ, требовалъ и самый предметъ книги. Я думаю, что «Космосъ» сказалъ неправду изъ скромности. Дѣйствительно, подняться на неизмѣримую высоту надъ русской литературой, увидѣть въ ней Каиновъ, которыхъ бы не родила родная мать, и проч.—это дѣло немудреное. Но уличать одного изъ видвѣйшихъ мыслителей Европы «въ нахальствѣ либеральничающихъ невѣждъ, желающихъ прикрываться пустыми и пошлыми словоизверженіями», — это было бы уже слишкомъ сильно, и «Космосъ» снисходительно скрылъ грѣхъ провинившагося мыслителя. Я даже думаю, что, намекая на какія-то таинственныя, ей одной извѣстныя, изслѣдованія, поражающія позивитизмъ на смерть, редакція «Космоса» говоритъ неправду опять-таки изъ скромности: эти «драгоцѣнныя» изслѣдованія принадлежатъ, по всей вѣроятности, самой редакціи. Присутствіе при такой скромности соотечественниковъ доставило мнѣ большое удовольствіе. Съ другой стороны, пріятно было за «Каиновъ, которыхъ бы не родила родная мать», ибо въ сосѣдствѣ Милля они должны себя чувствовать все-таки недурно.

Классифицировать какіе бы то ни было предметы, а слѣдовательно и науки можно въ виду очень разнообразныхъ цѣлей и на основаніи очень разнообразныхъ принциповъ. Всякая классификація въ извѣстной мѣрѣ искусственна, и достоинство и значеніе

ея должны быть измѣряемы, во-первыхъ, важностью предположенныхъ цѣлей, а во-вторыхъ, тѣмъ, насколько классификація этихъ цѣлей достигаетъ. Классификація наукъ Конта имѣетъ тройную цѣль: расположить доступныя человѣку явленія въ порядкѣ ихъ возрастающей сложности и убывающей общности; представить послѣдовательность логическаго и историческаго попорядка, въ которомъ различныя отрасли знанія опираются другъ на друга, и наконецъ, представить іерархію наукъ въ педагогическомъ отношеніи. Цѣлямъ этимъ Контова классификація наукъ удовлетворяетъ вполнѣ, если не считать двухъ-трехъ частностей, которыя не могли быть аранжированы сообразно всѣмъ тремъ цѣлямъ классификаціи заразъ; таково, напримѣръ, довольно произвольное расположеніе различныхъ отдѣловъ физики. Кстати, «Космосъ» смущенъ «физіологіей зрѣнія, которая вся основана на математикѣ», но смущеніе это совершенно тщетно, ибо та часть физіологіи зрѣнія, которая «основана на математикѣ», т. е. оптика, имѣетъ свое мѣсто, по классификаціи Конта, въ физикѣ, а ни Контъ, ни Милль и никакой Каинъ никогда не отрицали, что физика есть одна изъ тѣхъ немногихъ наукъ, въ которыхъ математика играетъ весьма важную роль; напротивъ, и Контъ и Милль, и Каины на это обстоятельство всегда указывали. Гёксли, отзвонивъ свой суздальскій звонъ по поводу раздѣленія наукъ на абстрактныя и конкретныя,—звонъ несложный, мы привели все, что говоритъ по этому поводу Гёксли,—возраженій противъ Контовой классификаціи наукъ абстрактныхъ самъ не дѣлаетъ, а ссылается на возраженія Спенсера. Спенсеръ же въ своихъ опытахъ о «Генизисѣ наукъ» и о «Классификаціи наукъ» дѣйствительно выставляетъ много возраженій противъ классификаціи Конта, но построены они главнымъ образомъ на томъ же смѣшеніи эмпирическаго и строго научнаго состоянія нашихъ знаній, въ которое впадаетъ и Гёксли, говоря объ отношеніяхъ конкретныхъ и абстрактныхъ наукъ. Контъ никогда не думалъ утверждать, чтобы его линейная филіація наукъ изображала практическое развитіе всѣхъ нашихъ знаній, какова бы ни была ихъ относительная цѣнность. Контъ, напротивъ, неоднократно говоритъ, что всѣ отрасли нашего знанія должны были зародиться если не единовременно, то, во всякомъ случаѣ, не въ томъ строго логическомъ порядкѣ, на какомъ построена его классификація наукъ. Эмпирическій порядокъ развитія знанія представляетъ собственно полнѣйшій безпорядокъ, въ которомъ, повидимому, нѣтъ никакой возможности оріентироваться. Какое-нибудь грубое, «по способу врожденнаго глазомѣра», біологическое наблюденіе дѣлается въ извѣстномъ мѣстѣ и при извѣстныхъ обстоятельствахъ, особенно благопріятныхъ, наблюденіе это уносится педагогическимъ путемъ въ другія мѣста, переносится въ другія обстоятельства, и здѣсь оно становится зародышемъ нѣкоторыхъ законовъ механики, отъ которыхъ, въ свою очередь, возможенъ прыжокъ къ какому-нибудь эмпирическому соціологическому обобщенію и т. д., и т. д. Мнѣ недавно случилось слышать или читать мнѣніе, что идея общественнаго равенства, составляющая, по Спенсеру, основаніе соціологіи, и изобрѣтеніе вѣсовъ существенно помогли другъ другу. Я не буду разбирать, насколько это мнѣніе справедливо, но во всякомъ случаѣ очевидно, что подобную неожиданную помощь отъ области весьма отдаленной легко могла получать каждая отрасль нашихъ знаній. Контъ, разумѣется, понималъ это очень хорошо. Онъ не только говорилъ объ этомъ, но даже указывалъ на необходимость обратить особенное вниманіе на нѣкоторые случаи того, что можно бы было назвать возвратнымъ движеніемъ наукъ; именно тѣхъ случаевъ, когда высшая и болѣе сложная наука оказываетъ косвенную или непосредственную помощь низшей и болѣе простой наукѣ. Я уже говорилъ объ этомъ въ статьѣ объ «аналогическомъ методѣ въ общественной наукѣ». Но великая заслуга Конта, безспорно свидѣтельствующая о необыкновенной философской силѣ его ума, состоитъ въ томъ, что онъ съумѣлъ уловить въ этой пестрой и сложной свѣти руководящую нить. Не претендуя на формулировку движенія знанія вообще, которое никакой формулировкѣ и не поддается, Контъ указалъ ту зависимость, въ которой находятся другъ отъ друга науки абстрактныя, не какъ сборники матеріаловъ, отрывочныхъ наблюденій, эмпирическихъ законовъ, т. е. законовъ грубыхъ, подлежащихъ разложенію на болѣе простые элементы, законовъ, справедливыхъ только въ извѣстныхъ узкихъ предѣлахъ,—а *какъ науки*. Біологія, какъ собраніе безсвязныхъ наблюденій и опытовъ, грубыхъ обобщеній, практическихъ медицинскихъ правилъ, эмпирическихъ законовъ, не только могла, а и должна была существовать раньше низшихъ наукъ, но, какъ наука, она опирается на нихъ и слѣдуетъ за ними и логически, и педагогически, и исторически. Отцомъ соціологіи Контъ считаетъ еще Аристотеля, но, какъ наука, соціологія не существуетъ и по сіе время, и появится она только тогда, когда люди, изучающіе общественную жизнь и ея законы, обопрутся на законы

біологіи. Въ этомъ именно указаніи на совпаденіе логическаго порядка развитіи наукъ съ порядкомъ историческимъ, понятымъ не «по способу врожденнаго глазомѣра», состоитъ главное достоинство Контовой классификаціи столь дурно оцѣненное Спенсеромъ, а вслѣдъ за нимъ и Гёкели. Цитированный мною выше, для сравненія съ Гёкели, Пуату приводитъ изъ сочиненія Литтре «Parole de philosophie positive» слѣдующее краткое резюме классификаціи Конта: «Безъ математики невозможны ни астрономія, ни физика; химія безсильна безъ помощи физики; безъ химіи непонятенъ важнѣйшій жизненный фактъ—питаніе; а исторія, соціологія невозможны безъ помощи законовъ біологическихъ». Пуату по этому случаю иронически замѣчаетъ, что, дескать, Аристотель и Монтескье никуда, значитъ, не годятся и что, значитъ, для управленія народами необходимо ознакомиться съ «важнѣйшимъ жизненнымъ фактомъ, съ питаніемъ». Иронія Пуату очень плоска, но въ сущности она одного происхожденія съ возраженіями и Спенсера и Гёкели. Не говоря уже о томъ, что знакомство съ фактомъ питанія весьма и весьма не лишнее дѣло для управленія народами, Контъ никогда не утверждалъ, чтобы даже довольно важныя соціологическія изслѣдованія не могли имѣть мѣста помимо біологіи. Людямъ практическимъ, людямъ, поставленнымъ въ необходимость дѣйствовать или обсуждать чужія дѣйствія, некогда дожидаться строго научной постановки общественныхъ вопросовъ. Они руководствуются запасомъ своего практическаго опыта, личнаго и историческаго, и поневолѣ стоятъ на почвѣ эмпирической. Но наука общественная все-таки невозможна безъ существенной помощи біологіи. Остальныя науки могутъ, правда, оказать нѣкоторыя услуги, какъ напримѣръ, химія анализомъ почвы, но услуги эти будутъ всегда по необходимости второстепенными. Что же касается до математики, то ея роль въ общественной наукѣ совершенно ничтожна, что блистательно подтверждается двумя вышеупомянутыми статьями «Космоса». Такимъ образомъ съ точки зрѣнія классификаціи наукъ Конта, «вооруженнымъ пріемомъ» въ общественной наукѣ должно считаться примѣненіе къ ней не математическаго анализа, а законовъ жизни, законовъ біологическихъ. Пусть читатель познакомится съ превосходнымъ изложеніемъ идеи этой зависимости соціологіи отъ біологіи у Конта, и онъ изумится той дерзости—я готовъ бы былъ сказать тому нахальству, если бы желалъ состязаться съ «Космосомъ» въ энергіи ругани—съ которою «Космосъ» толкуетъ о «дѣтскихъ» мысляхъ Конта, противопоставляя имъ свои недоваренныя разсужденія о «способахъ врожденнаго глазомѣра» и математическомъ анализѣ общественныхъ явленій. Но Контъ не у всѣхъ подъ руками, онъ не переведенъ на русскій языкъ, да наконецъ, пусть за нимъ останется роль подсудимаго. Прочтите изложеніе той же идеи у Спенсера, отрывочныя замѣчанія по этому же предмету у Гэккеля,—и вы увидите, до чего можетъ довести людей суздальская альтернатива «либо въ зубы, либо ручку пожалуйте». Тотъ подозрительный пафосъ, съ которымъ «Космосъ» третируетъ «Каиновъ», проникая даже въ возможное настроеніе ихъ матерей въ моментъ ихъ рожденія; тотъ не менѣе подозрительный апломбъ, съ которымъ гг. Антоновичъ и Жуковскій относятся къ одному изъ величайшихъ мыслителей новѣйшаго времени,—разрѣшаются невѣроятно комическимъ образомъ. Едва-ли большаго посмѣянія достойна была извѣстная синица, которая надѣлала весьма много шуму, но моря не зажгла.

Поломавшись надъ Контомъ, понегодовавъ на Каиновъ, «Космосъ» приступаетъ, наконецъ, къ замѣнѣ, въ области политической экономіи, «способа врожденнаго глазомѣра» математическимъ—я не скажу методомъ, но, положимъ, математическими пріемами. Авторъ находитъ, что это именно и есть путь, на который должна вступить нынѣ политическая экономія. «Тутъ—говоритъ авторъ—*прежде всего*—старыя экономическія школы должны будутъ найти свое категорическое выраженіе, а слѣдовательно, и свою надлежащую оцѣнку», и т. д. Но я тщетно ждалъ, что будетъ послѣ этого *прежде всего*. Когда съ такою помпою возвѣщается новый методъ въ наукѣ и на всѣ стороны разсыпаются, какъ бы изъ рога изобилія, упреки въ невѣжествѣ, мы въ правѣ ожидать, что намъ разскажутъ, въ чемъ состоитъ новый методъ, т. е. тотъ путь, которымъ, по мнѣнію предлагающаго, могутъ быть получены законы извѣстнаго цикла явленій. Но никакихъ подобныхъ разъясненій намъ не даютъ. Далѣе, мы въ правѣ ожидать, что если ужъ авторъ не хочетъ пускаться въ теоретическія разсужденія о своемъ методѣ, то онъ покажетъ намъ его, по крайней мѣрѣ, практически, изслѣдуя и находя, при его помощи, какіе либо законы явленій. Но и подобнаго ничего намъ не даютъ. Намъ говорятъ только, что «Мальтусъ указалъ на законъ размноженія народонаселенія, какъ на раціональную причину неравномѣрнаго распредѣленія продукта въ обществѣ, а на ренту—какъ на естественный налогъ, при посредствѣ котораго совершалась цивилизація»; что Рикардо «разработалъ самый процессъ учета, самый порядокъ, какимъ распредѣленіе достигало

того конца, въ которомъ оно нуждалось по теоріи Мальтуса»; что Рикардо «придалъ своей обработкѣ ту строгость, точность и законченность, которыя почти граничили съ аналитическимъ построеніемъ системы, математической формулировкой экономическихъ теоремъ»; что самъ Рикардо не далъ этихъ формулъ, но что онѣ «легко могутъ быть построены изъ его положеній и примѣровъ», и что наконецъ «мы (Космосъ) примемъ этотъ трудъ на себя». Но, милостивые государи, гдѣ-же тутъ новый методъ? Вы просто взялись выразить математическимъ языкомъ теорію Рикардо, и ничего больше вы и не дѣлаете. Я не утверждаю, чтобы это было безполезно, но гдѣ же обѣщанный переворотъ въ наукѣ и исчезновеніе экономистовъ и соціалистовъ? Рикардо дошелъ до своей теоріи «способомъ врожденнаго глазомѣра», но онъ могъ бы заказать любому математику перевести ее на математическій языкъ, отъ чего она нисколько не измѣнилась бы. Надо, впрочемъ, сказать, что передъ нами только отрывокъ изъ труда автора и что переворота слѣдуетъ искать, повидимому, не здѣсь, а въ томъ сравненіи между различными экономическими теоріями, которое должно имѣть мѣсто по переводѣ ихъ на математическій языкъ. Если такова дѣйствительно мысль автора, то это, конечно, пріемъ, болѣе достойный названія новаго метода. Однако, методъ этотъ, сильно напоминающій эклектическій методъ въ философіи, едва-ли достоинъ названія метода хорошаго. Получили вы рядъ математическихъ формулъ, выражающихъ, положимъ, теоріи цѣнности Рикардо, Прудона, Кэри, и проч. Но такъ какъ писателями этими ихъ теоріи получены «по способу врожденнаго глазомѣра», то сравнивать вамъ приходится не иное что, какъ результаты глазомѣрнаго способа, математически выраженные, т.-е. нисколько не-измѣненные, а только приведенные къ «своему категорическому выраженію». Слѣдовательно, мы, въ сущности, ни на шагъ не подвинулись впередъ, и можетъ только показаться, что мы облегчили себѣ возможность сравненія. Но и это облегченіе довольно сомнительно, ибо сравненіе голыхъ формулъ ни къ чему повести не можетъ. Формулы могутъ здѣсь имѣть только то достоинство, что онѣ вкратцѣ покажутъ, что, положимъ, мѣновая цѣнность, по изслѣдованіямъ такого-то, сдѣланнымъ «по способу врожденнаго глазомѣра», слагается изъ такихъ-то и такихъ-то элементовъ, обусловливается такими-то и такими-то моментами и находится къ нимъ въ такихъ-то и такихъ-то отношеніяхъ; по изслѣдованіямъ, тоже глазомѣрнымъ, другого автора, эти элементы и отношенія группируются иначе; по третьему автору, ихъ слѣдуетъ расположить опять иначе, вычеркнуть одинъ изъ элементовъ, введенныхъ въ построеніе другими, и ввести новый, другими не указанный, и т. д. Но если мы захотимъ подвергнуть всѣ эти изслѣдованія анализу, то ни въ какомъ случаѣ намъ математика здѣсь не поможетъ, а придется намъ обратиться къ исходнымъ точкамъ изслѣдованій и провѣрить ихъ какимъ-нибудь инымъ способомъ; придется посмотрѣть, вѣрны-ли были ихъ посылки, правильно ли выведены заключенія, вѣрны-ли наблюденія и вообще факты, легшіе въ основаніе теоріи, и т. д. Обращеніе къ математическимъ формуламъ для краткаго выраженія извѣстнаго положенія отнюдь не составляетъ новости и не разъ бывало употребляемо и въ политической экономіи, и въ біологіи. Но употребленію математическихъ формулъ никто и никогда не придавалъ значенія переворота въ наукѣ, потому что оно и дѣйствительно никакого переворота учинить не въ силахъ. Лейкартъ предложилъ для плодовитости формулу:

$$F=\frac{m}{n},$$

гдѣ F есть степень плодовитости, m—количество пластическаго матеріала, прибывающаго въ организмъ матери, n—количество матеріала, потребляемаго новою особью. Очевидно, что формула эта есть не болѣе, какъ выраженныя уравненіемъ нѣсколько печатныхъ страницъ, ничего къ нашимъ знаніямъ, какъ формула, не прибавляющая. Математическая формулировка не устранила недостатковъ «способа врожденнаго глазомѣра»; она не ввела, напримѣръ, вліянія мужского организма на степень плодовитости. Очевидно также, что если бы вы, на основаніи другихъ наблюденій, получили другую формулу для степени плодовитости, то сравненіе ея съ формулою Лейкарта не повело бы ни къ чему, а пришлось бы вамъ сравнивать свои наблюденія и опыты съ наблюденіями и опытами Лейкарта. По Гэккелю, степень наслѣдственности, т.-е. степень сходства потомковъ съ родителями прямо пропорціональна времени, въ теченіе котораго приплодъ находится въ связи съ организмомъ матери, и обратно пропорціональна разницѣ размѣровъ между организмами матери и приплода. Обозначая степень наслѣдственности буквою H, время связи—t, размѣръ материнскаго организма — v, размѣръ организма новорожденнаго—v', я получу формулу:

$$H=\frac{t}{v-v'}$$

Я могу сдѣлать эту формулу болѣе точною, вводя въ нее вмѣсто абсолютнаго числа дней непосредственной связи родительскаго организма и организма приплода (t)—отношеніе этого времени къ средней продолжительности жизни недѣлимаго. Но ни эта и никакая другая чисто математическая поправка ни на волосъ не измѣнятъ закона, предлагаемаго Гэккелемъ, и не введутъ въ него вліянія отцовскаго организма на степень наслѣдственности. За этой поправкой никакъ уже невозможно обращаться къ математикѣ. Равнымъ образомъ, поправка эта не получится сравненіемъ безчисленнаго множества подобныхъ же голыхъ формулъ.

Во всякомъ случаѣ, очевидно, что въ предлагаемомъ «Космосомъ» переводѣ экономическихъ теорій на математическій языкъ нѣтъ никакого математическаго анализа, нѣтъ никакого новаго метода, нѣтъ устраненія «способа врожденнаго глазомѣра» и не предвидится, наконецъ, отъ этого перевода ни исчезновенія, ни примиренія соціалистовъ и экономистовъ. Это просто упражненія въ математикѣ. Если ужъ «Космосу» такъ желательно примѣненіе математическаго анализа къ явленіямъ общественной жизни, то ему слѣдовало бы внять голосу Гёксли. «Соціальныя явленія, говоритъ Гёксли, суть результаты взаимныхъ дѣйствій, происходящихъ между членами общества, т. е. между людьми и между ними и міромъ, въ которомъ они живутъ. Но на языкѣ физической науки, употребляющей матеріалистическій языкъ, потому что того требуетъ сущность предметовъ этой науки,—поступки людей, насколько ихъ можетъ изучать наука, суть результаты молекулярныхъ измѣненій матеріи, изъ которой мы состоимъ; и эти измѣненія когда-нибудь, попадутъ въ область изслѣдованій физика». Не раздѣляя этой надежды Гёксли, я не могу, однако, отказать его требованіямъ отъ общественной науки въ невѣроятно громадныхъ логическихъ преимуществахъ передъ требованіями «Космоса». Сведите соціальныя явленія къ молекулярной механикѣ, если можете, и тогда прилагайте къ нимъ математическій анализъ, а до тѣхъ поръ не толкуйте о математическомъ методѣ и—послушайтесь Конта—поищите для соціологіи «вооруженныхъ пріемовъ» въ области біологіи. Чтеніе Конта убѣдило бы васъ, можетъ быть, также, что есть огромная разница между математическими упражненіями на готовыя соціологическія темы и математическимъ анализомъ общественныхъ явленій. Первыя возможны, но не особенно цѣнны; второй былъ бы, вѣроятно, очень цѣненъ, но онъ невозможенъ.

Нѣсколько иной характеръ имѣетъ статья «Новѣйшія изслѣдованія по вопросу народонаселенія». Здѣсь нѣтъ предисловія отъ редакціи, и, можетъ быть, по этому самому нѣтъ никакихъ Каиновъ, никакихъ уличеній Конта въ необразованности, никакихъ толковъ о переворотахъ въ наукѣ и вообще никакого тумана. Авторъ просто разсказываетъ, какъ, почему и къ какимъ выводамъ, относительно движенія народонаселенія приходили статистики. Но для насъ интересно въ этой статьѣ собственно только слѣдующее любопытное признаніе: «По своему существу вопросъ о приростѣ населенія, какъ слагающійся собственно изъ двухъ вопросовъ, вопроса о плодовитости и вопроса о смертности, есть вопросъ чисто-физіологическій. Но физіологія не даетъ никакого отвѣта на эти два частные вопроса. Она ничего не знаетъ о кривыхъ, по которымъ совершается развитіе жизненной силы или, вѣрнѣе, живучести въ организмѣ, и объ естественной мѣрѣ плодовитости. Поэтому общественная наука не имѣла никакихъ основаній, на которыхъ она могла бы приступить къ рѣшенію вопроса чисто-теоретическимъ способомъ. Ей предстояло основать всѣ средства свои на эмпирическихъ данныхъ; вопросъ изъ чисто-физіологическаго, какимъ онъ былъ по существу, долженъ былъ стать вопросомъ статистики. А извѣстное дѣло, въ какой дальній ящикъ откладывается рѣшеніе вопроса, разъ оно сводится на эмпирическій путь. Въ эмпирическихъ данныхъ изслѣдователь получаетъ рядъ послѣднихъ результатовъ, въ которыхъ скрывается сложное дѣйствіе иногда весьма разнообразныхъ причинъ, вскрыть и измѣрить которыя составляетъ дѣло величайшей трудности. Поэтому-то всѣ попытки теоретическаго построенія закона народонаселенія остаются до сихъ поръ совершенно тщетными. Основныя *постоянныя* вопроса,—представленія о такихъ основныхъ величинахъ, какъ, напримѣръ, естественная мѣра плодовитости, остаются крайне смутны и неопредѣленны. Въ этомъ отношеніи мы остаемся еще при той неопредѣленности, которою долженъ былъ довольствоваться знаменитый Лапласъ въ то время, какъ приступилъ къ своимъ вычисленіямъ по статистикѣ народонаселенія».

Итакъ, общественная наука, вооруженная «вооруженными пріемами» математики, но не имѣющая возможности опереться на біологію, на законы жизни, не можетъ подвинуться дальше эмпирическихъ законовъ. Но, милостивые государи, за что же вы такъ напустились на Конта, такъ презрительно относитесь къ его «дѣтскимъ» мыслямъ насчетъ сближенія нравственныхъ и политическихъ наукъ съ науками низшими, такъ тонко намекаете на никому, кромѣ васъ,

неизвѣстныя изслѣдованія, убивающія позитивизмъ, такъ гнѣвно обрушиваетесь на позитивистовъ; за что и зачѣмъ вы все это продѣлываете, когда въ концѣ-концовъ приходите къ тѣмъ же заключеніямъ, какія, далъ и Контъ? Вы сами видите, что «вооруженные пріемы» математики нисколько не гарантируютъ насъ въ общественной наукѣ отъ «способа врожденнаго глазомѣра». Зачѣмъ же вы уподобились неблагоразумной синицѣ, пообѣщавшей исполнить дѣло, неисполнимое не только для нея, синицы, но неисполнимое вообще? Ни одинъ позитивистъ не отрицаетъ статистики, какъ средства для полученія болѣе или менѣе грубыхъ эмпирическихъ законовъ, которыми практика, бѣдная даже этими несовершенными средствами, можетъ руководствоваться въ извѣстныхъ предѣлахъ. Но это средства, тѣмъ не менѣе, все-таки несовершенныя; несмотря на помощь математики, они остаются на степени «способовъ врожденнаго глазомѣра». И Контъ былъ совершенно правъ, упрекая Кетле, когда тотъ придалъ статистикѣ несоотвѣтственное названіе—соціальной физики. Статистика, по самому существу своему, ограничивается добываніемъ эмпирическихъ законовъ при помощи математическихъ пріемовъ. Соціальная же физика, соціологія, общественная наука, должна подняться выше и этихъ пріемовъ, и добываемыхъ ими законовъ, и опереться на біологію. За что же вы, милостивые государи, обругали Конта и позитивистовъ? за что подняли противъ нихъ свой столь стремительный и столь неудачный походъ? Зачѣмъ вы такъ хвалились, идучи на рать, когда вамъ приходится столь постыдно возвращаться? Эхъ, кабы за всякою мантіей олимпійскаго величія и за всякимъ таинственнымъ покрываломъ Изиды да было соотвѣтственное содержаніе... Кабы всякой бодливой коровѣ да Богъ рога даровалъ... И въ какое же время «Космосъ» вздумалъ называть «дѣтскими» соображенія Конта объ относительномъ значеніи математики и біологіи для общественной науки! Въ то самое время, когда мы, можетъ быть, находимся уже наканунѣ дѣйствительнаго и глубокаго переворота въ общественной наукѣ, переворота, имѣющаго быть произведеннымъ именно біологіею, а не математикой. И переворотъ этотъ отнюдь не ограничится законами народонаселенія, хотя начнется, по всей вѣроятности, съ нихъ. Стоитъ только вдуматься хоть въ вышеприведенную формулу плодовитости Лейкарта, которая, несмотря на свою неполноту, приблизительно все-таки вѣрна, чтобы убѣдиться въ этомъ. Теорія же Дарвина несомнѣнно окончательно выведетъ общественную науку на новый широкій и плодотворный путь. Я не хочу прикрываться мантіей олимпійскаго величія и таинственнымъ покрываломъ Изиды. Я не хочу сказать, что я знаю вполнѣ, какъ и какія именно новыя перспективы откроетъ біологія общественной наукѣ и какъ именно повліяетъ она въ частности на экономическія теоріи; я не хочу сказать, что у меня въ рукахъ есть ключъ къ этой загадкѣ, разрѣшеніе которой такъ желательно и уже такъ близко. Этого ключа въ настоящую минуту нѣтъ ни у кого, а тѣмъ болѣе у меня, простого журнальнаго работника. Но я радуюсь, имѣя случай указать русской читающей молодежи тотъ путь, которымъ она, поставленная въ болѣе благопріятныя условія, можетъ дойти до великой задачи. Точно также радуюсь я, имѣя возможность защищать такую философію, какъ философія положительная, хотя—повторяю—я не позитивистъ, если разумѣть подъ позитивистами ту или другую фракцію учениковъ Конта. И я увѣренъ, что если бы мать моя могла предвидѣть дѣло, которое я дѣлаю, она не отказалась бы родить меня. Я думаю даже, что это предвидѣніе облегчило бы ея муки.

Я началъ суздальцами, суздальцами и кончу. Я не стану касаться суздальства Гёкели, потому что оно для насъ мало интересно, и какъ суздальство европейское, безъ сомнѣнія, найдетъ себѣ должную оцѣнку въ Европѣ. На Западѣ позитивизмъ имѣетъ уже нѣкоторые корни, и такія плохія статьи, какъ статья Гёкели, отнюдь не могутъ тамъ отвлечь отъ позитивизма то вниманіе, которое онъ къ себѣ все болѣе и болѣе привлекаетъ. Доктрины Конта завоевываютъ себѣ въ Европѣ все болѣе и болѣе прочное мѣсто, что можно видѣть уже изъ того почтенія, съ которымъ къ нимъ относятся люди, далеко не вполнѣ съ Контомъ солидарные. Мы привели выше мнѣнія о Контѣ и позитивизмѣ Бокля, Милля, Льюиса, Спенсера, но уваженіе къ Конту далеко не ограничивается Англіею и этими блестящими именами. Я только что прочелъ главу о Контѣ и позитивизмѣ въ исторіи философіи Дюринга («Kritische Geschichte der Philosophie von ihren Anfängen bis zur Gegenwart», Berlin, 1869), просмотрѣлъ замѣчательную книгу Ланге—«Исторія матеріализма» («Geschichte des Materialismus und Kritik seinen Bedeutung in der Gegenwart», 1866) и вижу, что «либеральничающіе невѣжды, невѣжественно незнакомые съ болѣе удовлетворительными философскими направленіями и желающіе прикрываться пустыми и пошлыми словоизверженіями», существуютъ и въ Европѣ. Почтительное отношеніе къ Конту и его доктринамъ въ Ланге достойно особеннаго вниманія. Очевидно, въ западной Европѣ

прошло уже то время, когда можно было морочить людей, сваливая въ одну кучу обѣ половины дѣятельности Конта и навязывая всѣмъ позитивистамъ религію Конта и его общественные идеалы. Другое дѣло у насъ въ Россіи, а потому поведеніе редакціи «Космоса» въ этомъ отношеніи заслуживаетъ болѣе спеціальной оцѣнки.

Весь крестовый походъ «Космоса» противъ Конта и позитивизма мотивируется тѣмъ, что «позитивизмъ вошелъ у насъ въ моду». Во вниманіе къ возможнымъ печальнымъ послѣдствіямъ этого заблужденія, «Космосъ» печатаетъ статьи Гексли, въ которыхъ не указывается на то, что существуютъ двѣ совершенно различныя формы позитивизма; печатаетъ возраженіе суздальца - контиста Конгрева, прямо объясняя, что такъ именно, какъ Конгревъ, разсуждаютъ и всѣ позитивисты, хотя самъ Гёксли упоминаетъ, что есть позитивисты посильнѣе Конгрева, и заявляетъ при этомъ, что къ такому напечатанію онъ, «Космосъ», побуждается «долгомъ безпристрастія», тогда какъ долгъ безпристрастія требовалъ отъ него совсѣмъ не того; далѣе, «Космосъ» печатаетъ отрывокъ изъ отзыва одного французскаго журнала о предлежащей полемикѣ, въ каковомъ отзывѣ значится, что вотъ-де позитивизмъ стремится сдѣлаться религіей и за это наказуется отъ руки Гёксли; наконецъ, «Космосъ» уснащаетъ статью Конгрева оскобленными примѣчаніями, въ которыхъ заботливо поучаетъ насъ, что слѣдуетъ заниматься наукой, а не «мистическими соціологическими построеніями Конта». Все это заставляетъ меня пригласить «Космосъ» сознаться, что если его и нельзя прямо уличить въ лжесвидѣтельствѣ, то, во всякомъ случаѣ, онъ продѣлываетъ передъ русскою публикою крайне-недобросовѣстную мистификацію. «Космосъ» дѣйствуетъ такъ, какъ будто бы у насъ кто-нибудь стремится къ установленію новой духовной власти въ смыслѣ печальныхъ фантазій несчастнаго Конта въ періодъ его сумасшествія; какъ будто у насъ гдѣ-нибудь исповѣдуется «культъ человѣчества», кто-нибудь поклоняется «великому существу» «великому фетишу» и «великой средѣ», кто - нибудь промѣнялъ православные святцы на календарь Конта, и т. д. «Космосъ» дѣлаетъ ложный доносъ. Если бы кто-либо изъ членовъ редакціи «Космоса» остановилъ меня на улицѣ и сталъ бы мнѣ съ паѳосомъ объяснять: «Да развѣ вы не знаете, какъ постыдно воровать платки изъ кармана?! развѣ вы не знаете, что это дѣяніе преслѣдуется и человѣческимъ, и божескимъ правосудіемъ?!»—то на меня, безъ сомнѣнія, стали бы подозрительно смотрѣть прохожіе, а городовой, пожалуй, и въ часть потащилъ бы. Такимъ образомъ, я испыталъ бы на себѣ всѣ послѣдствія ложнаго доноса, хотя редакторъ «Космоса» ни разу не сказалъ мнѣ прямо: милостивый государь, вы украли у меня носовой платокъ, или: я видѣлъ, какъ вы украли носовой платокъ. «Космосъ» дѣлаетъ ложный доносъ. Онъ дѣлаетъ его, во-первыхъ, властямъ предержащимъ, указывая имъ, что вотъ такіе-то люди стремятся къ ниспроверженію установленныхъ общественныхъ и религіозныхъ порядковъ; тогда какъ никто къ ихъ ниспроверженію не стремится. Я не говорю, чтобы «Космосъ» хотѣлъ сдѣлать этотъ ложный доносъ, но, тѣмъ не менѣе, онъ его дѣлаетъ. Но уже не подлежитъ никакому сомнѣнію, что «Космосъ» сознательно дѣлаетъ ложный доносъ обществу на небольшую группу людей, болѣе или менѣе прикосновенныхъ къ позитивизму. Доносъ «Космоса», повторяю, ложенъ. Если не считать статей г. Ватсона въ «Современникѣ» и статьи покойнаго Писарева «Историческія идеи Огюста Конта» въ «Русскомъ Словѣ», которыя написаны уже довольно давно, то вотъ къ чему сведется все вхожденіе у насъ въ моду позитивизма. Въ майской книжкѣ «Современнаго Обозрѣнія» была напечатана статья «Задачи позитивизма и ихъ рѣшеніе», въ которой авторъ, г. П. Л., отдавая должную дань уваженія заслугамъ Конта, относится, тѣмъ не менѣе, критически къ обѣимъ половинамъ его философской дѣятельности; авторъ указываетъ даже, что въ позитивизмѣ, какъ онъ существуетъ нынѣ, есть важный органическій недостатокъ, мѣшающій ему обратиться въ цѣльную философскую систему. Писалъ о Контѣ и позитивизмѣ и я, въ «Отечественныхъ Запискахъ». Но мои отношенія къ позитивизму указаны выше. Гг. Лесевича и де-Роберти («Политико-экономическіе этюды») тоже нельзя заподозрѣть въ культѣ человѣчества и поклоненіи великому существу, великому фетишу и великой средѣ, ибо оба они очень отчетливо различаютъ «Курсъ положительной философіи» отъ «Позитивной политики» и другихъ сочиненій Конта. Г. Лесевичъ, помнится, даже посвятилъ цѣлую статью указанію отношеній, существующихъ между позитивистами и контистами. Вотъ и все, если не считать перевода на русскій языкъ книжекъ Льюиса и Милля о Контѣ, которыя собственно принадлежатъ не нашей литературѣ, да наивной рецензіи книжки г. де-Роберти, помѣщенной въ журналѣ «Дѣло». Итакъ, усиленныя приглашенія «Космоса» бросить поклоненіе великому фетишу, бролить религію Конта и его мистическія соціогическія построенія, приглашенія эти, представляя ложный доносъ, оказываются вмѣстѣ съ тѣмъ въ такой же мѣрѣ безсмыс-

ленными, какъ извѣстная пѣсня о томъ, какъ «Ѳедоръ вишни воровалъ въ своемъ огородѣ». Суздальская критика, презирающая всякія препоны для одноцвѣтной оцѣнки личности, партіи, школы, философской системы, очень удобна, но она можетъ завести человѣка въ мѣста, весьма нехорошія. Суздальская критика, какъ уже было говорено, коренится въ томъ обстоятельствѣ, что начала и интересы, повидимому, съ такимъ жаромъ защищаемые суздальцемъ на словахъ, на дѣлѣ имъ и понимаются, и принимаются къ сердцу въ степени далеко меньшей. И это обнаруживается и въ суздальскомъ походѣ противъ позитивизма, предпринятомъ «Космосомъ».

«Космосъ» сталъ издаваться въ прошломъ году, сначала въ видѣ еженедѣльной газеты. Въ первой же статьѣ перваго нумера, трактовавшей о необъятности и величіи вселенной, космоса, «Космосъ» отъ этой необъятности и величія въ одинъ прыжокъ перешелъ къ гг. Хану, Скарятину и еще кому - то. Одинъ рецензентъ замѣтилъ новому журналу, что популярно-научное обозрѣніе, столь убѣжденное въ необъятности и величіи космоса, могло бы пренебречь гг. Ханомъ и Скарятинымъ. «Космосъ» отвѣчалъ на это, что, дѣйствительно, миссія его состоитъ не въ пререканіяхъ съ гг. Ханомъ и Скарятинымъ, но что, тѣмъ не менѣе, необъятность и величіе космоса не помѣшаютъ ему строго осуждать журналистику «либеральную» и, въ особенности, «Отечественныя Записки» и «Петербугскія Вѣдомости». И дѣйствительно, необъятность и величіе космоса не помѣшали: въ особенности «Отечественныя Записки» были строго обсуждаемы и осуждаемы. Затѣмъ появилась извѣстная книжка гг. Антоновича и Жуковскаго, изъ которой видно, что редакторы «Космоса» недовольны г. Некрасовымъ, а такъ какъ г. Некрасовъ участвуетъ въ «Отечественныхъ Запискахъ», то расходившаяся суздальская логика, по принципу «либо въ зубы, либо ручку пожалуйте», требовала распространенія недовольства и на «Отечественныя Записки», которыя и были обруганы шушерой и шелухой. На этомъ дѣло не остановилось — суздальская логика никакихъ предѣловъ не знаетъ — и началась ругань на Конта и позитивистовъ, ибо о нихъ съ уваженіемъ говорилось въ «Отечественныхъ Запискахъ». Но разъ на суздальскій зубокъ попалъ Контъ, тутъ уже и рѣчи быть не можетъ о томъ, чтобы разсмотрѣть въ немъ полосы свѣта и тѣни: валяй все въ одну кучу, какая тутъ невмѣняемость; и вотъ Конту — «въ зубы», Гёкели—«ручку пожалуйте». Все это въ порядкѣ вещей, но, тѣмъ не менѣе, все это ясно свидѣтельствуетъ, что интересы науки, столь азартно «Космосомъ» защищаемые, на дѣлѣ не особенно ему дороги. Милостивые государи, я самъ готовъ воздать должное г. Некрасову, какъ одному изъ замѣчательнѣйшихъ нашихъ поэтовъ, но все-таки полагаю, что крайне неосновательно сосредоточить во всемъ космосѣ свое вниманіе на личности г. Некрасова; крайне неосновательно направлять теченіе «Космоса», имѣя въ виду только это средоточіе. Въ космосѣ и кромѣ г. Некрасова есть многое, достойное вниманія.

Съ вашими силами, господа, и съ вашимъ рвеніемъ я бы, чѣмъ Конгрева оскорбленными словами осыпать, сдѣлалъ вотъ что: взялъ бы книжку Милля о Контѣ и позитивизмѣ (только не русскій переводъ — онъ плохъ и съ пропусками), которая, какъ уже сказано, относится къ Конту съ уваженіемъ, но критически, да и представилъ бы разборъ ея русской публикѣ. Но, замѣтьте, не слѣдуетъ дѣлать возраженій такого сорта: «Я (*вздоръ и ложь*) хочу (*мало ли бы вы чего захотѣли*) показать (*ничего вы кромѣ своего невѣжества, не покажете*)», и проч. Эта штука стара, ее бросить пора. Равнымъ образомъ ругаться не слѣдуетъ. Если вы скажете, что вотъ такой-то «невѣжественъ», «Каинъ», «либеральничающій невѣжда», то вы этимъ ничего не докажете, не докажете даже того, чтобы вы обладали обширными познаніями.

Я пересмотрѣлъ свою статью, чтобы увидѣть, не уклонился ли я гдѣ-нибудь отъ сущности дѣла. Нѣтъ, кажется, нигдѣ не уклонился. Не поставилъ ли я гдѣ-нибудь многоточія, этого столь нелюбимаго «Космосомъ» знака препинанія? Въ многоточіяхъ грѣшенъ, ихъ у меня два:

1) «Прошу извиненія у г. Антоновича за разговоръ о его переводѣ «Исторіи индуктивныхъ наукъ» Уэвеля. Я знаю, что разговоръ этотъ долженъ ему напоминать то печальное время, когда онъ еще не имѣлъ права разсыпать во всѣ стороны уличенія въ невѣжествѣ. Нынѣ г. Антоновичъ это право имѣетъ»...

2) «Кабы всякой бодливой коровѣ да Богъ рога даровалъ»...

Я надѣюсь, что редакція «Космоса» не посѣтуетъ на меня за эти два многоточія, и потому съ спокойнымъ духомъ ставлю третье: Эмпедоклъ такъ и остался бы во мнѣніи древнихъ грековъ богомъ, если бы Этна не выбросила его мѣдной сандаліи; по этой сандаліи всѣ узнали, что Эмпедоклъ былъ простымъ смертнымъ, желавшимъ провести

воихъ соотечественниковъ...

О литературной дѣятельности Ю. Т. Жуковскаго *).

Исторія политической литературы XIX столѣтія Ю. Г. Жуковскаго. Томъ I. Спб. 1871. Изданіе Н. П. Полякова.

Жалобы на неудовлетворительность современной нашей журналистики слышатся со всѣхъ сторонъ и составляютъ нынѣ общее мѣсто. И, безусловно говоря, жалобы эти справедливы. Но безусловные приговоры всегда невѣрны. Мы думаемъ, что весьма многіе изъ порицателей теперешней журналистики не отдаютъ себѣ яснаго отчета въ своихъ обвиненіяхъ и требованіяхъ. Теперешней журналистикѣ ставится обыкновенно въ примѣръ и нѣкоторымъ образомъ въ пику журналистика конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ лѣтъ. Попробуемъ сравнить ихъ.

Въ шестидесятыхъ годахъ человѣкъ, стоявшій во главѣ сильнаго журнала, публицистъ, дѣйствительно даровитый, имѣлъ добродушіе и смѣлость, разсуждая объ одномъ экономическомъ вопросѣ, говорить такъ: «Приступая теперь къ самымъ выкладкамъ, мы впередъ проснимъ читателя, болѣе насъ занимавшагося математикой, извинить неловкость нашихъ пріемовъ. Человѣкъ, знающій алгебру, конечно употребилъ бы пріемы болѣе изящные; но простота вопроса, за который мы беремся, такова, что даже мы, знающіе только ариѳметику и употребленіе логариѳмическихъ таблицъ, могли дойти до надлежащихъ выводовъ». (Основанія политической экономіи Милля съ примѣчаніями переводчика; примѣч. на стр. 367). Въ статьѣ о «Началахъ политической экономіи» г. Горлова тотъ же авторъ говорилъ: «Теперь обратимся къ закону наивыгоднѣйшаго распредѣленія цѣнностей. Тутъ нужно руководиться счетомъ и мѣрой; но вычисленія будутъ очень простыя: четыре правила ариѳметики будутъ достаточны для разрѣшенія задачи». Разверните теперь какую-нибудь статью г. Жуковскаго по той же отрасли знаній, и вы не только встрѣтите тамъ интегралы, но узнаете, что «въ наше время какъ вы хотите безъ интегральнаго исчисленія?!» Вы вспомните Кукшину и ея: «въ наше время какъ вы хотите безъ эмбріологіи?!» Но, не смущаясь этимъ воспоминаніемъ, посмотрите только на разницу между теперешней журналистикой и журналистикой шестидесятыхъ годовъ. Тамъ талантливѣйшій писатель, стоящій во главѣ литературы, пользующійся огромнымъ вліяніемъ, не только публично признается въ своемъ математическомъ невѣжествѣ, но и утверждаетъ, что для рѣшенія важнѣйшихъ экономическихъ вопросовъ достаточно ариѳметики. Здѣсь г. Жуковскій не только заявляетъ о своемъ знакомствѣ съ высшимъ анализомъ, но утверждаетъ, что безъ этого знакомства нельзя шагу ступить нынѣ. Это ли упадокъ журналистики?!

Припомните, напримѣръ, въ «Современникѣ» статью «Антропологическій принципъ въ философіи». Тамъ излагаются, между прочимъ, довольно пространно нѣкоторыя данныя физіологіи. Кто ихъ излагалъ? Тотъ же самый публицистъ, который при помощи одной ариѳметики умѣлъ справляться съ важнѣйшими экономическими вопросами. Кто излагаетъ тѣ же данныя въ журналистикѣ теперь? Г. Сѣченовъ, спеціалистъ, замѣчательный ученый. Опять-таки упадокъ ли это журналистики?

Мыслимо ли было въ шестидесятыхъ годахъ появленіе въ общемъ литературно-политическомъ журналѣ такой статьи, какъ «Большой боярин XVII вѣка» г. Забѣлина? Можетъ быть, это и случилось бы, но во всякомъ случаѣ статья была бы написана не такъ солидно и заняла бы мѣсто гдѣ-нибудь въ заднемъ углу журнальной книжки. Вѣрнѣе же, что она была бы напечатана гдѣ-нибудь въ «Чтеніяхъ общества россійскихъ древностей и исторіи» и прочли бы ее только спеціалисты и любители. Нынѣ она составляетъ одну изъ капитальнѣйшихъ статей перваго нумера одного изъ самыхъ распространенныхъ журналовъ. Нынѣ не нѣсколько десятковъ записныхъ любителей, а тысячи профановъ узнаютъ, что во владѣнія боярина Бориса Ивановича Морозова «находились села, не упоминая о принадлежащихъ къ нимъ деревняхъ (это авторъ уже очевидно снисходитъ къ профанамъ), въ Московскомъ уѣздѣ: Павловское, Ославское, Бедрино, Котельники; въ Тверскомъ — Лотошино, Городня, Едиманово; во Владимірскомъ — Филисова Слободка; въ Галицкомъ—Вознесенское; въ Каширскомъ — Косяево; въ Рязанскомъ—Селецкая слобода; села: Киструсъ, Борокъ, Красная слобода, Сасыкино; въ Ряжскомъ — Петровское-Канино; въ Нижегородской сторонѣ: Лысково,

*) 1871, апрѣль.

Мурашкино, Покровское-Ногавицыно, Покровское-Вадъ, Троицкое-Ичалки, Бурцово, Сергачъ (нынѣ городъ), Кузминъ-Усадъ, Якшень, Знаменское-Котросъ, Покровское-Перегали, Уварово, Богородское-Кочюново и др. (опять снисхожденіе къ профанамъ); въ Темниковскомъ — Новое Рожествено» («Вѣстникъ Европы», № 1, стр. 10). Ужъ, разумѣется, вы не дождались бы отъ журналистики шестидесятыхъ годовъ такого подробнаго и обстоятельнаго перечисленія имѣній боярина Бориса Ивановича Морозова. Самое большее, на что можно бы было въ тѣ времена разсчитывать, это то, что писатель пересчиталъ бы про себя имѣнья боярина и сказалъ бы читателю, что было, дескать, у Бориса Ивановича столько-то ихъ. А еще вѣрнѣе, что писатель отдѣлался бы поверхностнымъ указаніемъ, что былъ, молъ, Борисъ Ивановичъ очень богатъ и было у него много деревень. Во всякомъ случаѣ ни о Лысковѣ, ни о Мурашкинѣ, ни о Едимановѣ вы въ тѣ времена не получили бы свѣдѣній.

Сравните еще, напримѣръ, статьи М. Л. Михайлова о женщинахъ съ обработкою того же сюжета г. Шашковымъ. Преимущества сюжета, новизны, таланта, мысли будутъ, конечно, на сторонѣ Михайлова; но зато какою массою фактовъ давитъ васъ г. Шашковъ.

Сравните еще... Да что тутъ сравнивать; дѣло ясное, что журналистика стала гораздо основательнѣе, обстоятельнѣе и солиднѣе.

И однако, читатель, несмотря на интегралы, несмотря на Лысково, Мурашкино и Едиманово, несмотря даже на г. Сѣченова, вы жалуетесь на журналистику. Вы вздыхаете по буйной и неосновательной журналистикѣ конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ. Вы ее, можетъ быть, переросли, вы можете найти въ ней бездну ошибокъ и увлеченій, разразить ея неосновательность и скоропалость, но въ то же самое время вы думаете про себя: ошибокъ не надо, основательность вещь хорошая, но если бы сюда чуточку стараго буйства... И сказать ли вамъ, многоуважаемый читатель, секретъ не только вашъ, а и многихъ рецензентовъ. Развертываете вы, напримѣръ, «Большого боярина» и видите: «Лысково, Мурашкино, Едиманово, Кузминъ - Усадъ, Покровское-Перегали»... Да, это основательная, солидная статья, рѣшаете вы, и переходите къ «студіи» г. Тургенева. Развертываете вы статью г. Жуковскаго, и видите интегралы. О, это бездна премудрости, это прекрасная статья, потому—интегралы. Но эти интегралы вы все-таки благоразумно обходите и кладете книжку на полку. Признайтесь, что это такъ. Мы не требуемъ, чтобы вы сказали это откровенно въ кругу своихъ знакомыхъ или въ печати. Рецензентамъ нисколько не возбраняется обрушиться на насъ за это предположеніе, но въ душѣ они должны сознаться, что мы правы, что для нихъ интегралы г. Жуковскаго sont sacrès, car personne n'y touche. Тѣмъ не менѣе солидность остается неприкосновенною.

Кромѣ этой солидности, есть еще одна особенность, характерная для современной журналистики, именно тяготѣніе ея къ болѣе или менѣе отдаленному прошлому. Для раскапыванія старины у насъ существуютъ, во-первыхъ, спеціальныя изданія, каковы Русская Старина, Русскій Архивъ. Для той же цѣли существуютъ особые отдѣлы въ нѣкоторыхъ общихъ литературно-политическихъ журналахъ, какъ напримѣръ въ «Зарѣ». Кромѣ того раскапываніемъ старины систематически занимается «Вѣстникъ Европы», въ лицѣ не только г. Забѣлина, а и гг. Пыпина и Костомарова. Возьмите послѣднія статьи г. Скабичевскаго у насъ, возьмите всѣ новыя повѣсти, почти исключительно заимствующія свои сюжеты изъ нашего общественнаго движенія пятидесятыхъ-шестидесятыхъ годовъ,—вездѣ вы наткнетесь на пережитое, а не на переживаемое. Мы не имѣемъ въ виду относительной цѣнности этихъ литературныхъ явленій. Есть, конечно, огромная разница между появленіемъ въ общемъ журналѣ Большого борина XVII вѣка во всей его неприкосновенности, съ массою сырого матеріала, доставляемаго спеціальными изданіями въ родѣ «Русскаго Архива», и наконецъ статьями, напримѣръ, г. Скабичевскаго. Но мы указываемъ только на тяготѣніе журналистики къ жизни прошедшаго вообще. И дѣйствительно, никогда мы не эксплоатировали такъ своего прошлаго, какъ нынѣ: то мы выносимъ его въ журналистику прямо сырьемъ, то беремъ изъ него канву для романовъ и драматическихъ произведеній, то пытаемся подвести ему итоги, изучаемъ то XVII вѣкъ, то XVIII, то александровскую эпоху, то сороковые года, то конецъ пятидесятыхъ и начало шестидесятыхъ. Ничего подобнаго, въ такихъ размѣрахъ, мы въ прежнее время не видали. Прежняя журналистика не только абсолютно менѣе удѣляла вниманія прошлому, т.-е. давала меньше статей и сырого матеріала въ этомъ направленіи; измѣнилась самая пропорція вниманія къ прошедшему съ одной стороны,—и къ настоящему и будущему съ другой. Мало того, если журналистика шестидесятыхъ годовъ поднималась иногда къ очень отдаленному прошедшему, то не ради этого прошедшаго an und für sich, а съ цѣлью выставить на видъ какую-нибудь философскую идею, имѣю-

щую современный интересъ, или съ цѣлью прямо публицистическою или наконецъ даже съ полемическими цѣлями. Словомъ, прошедшее было въ рукахъ журналистики главнымъ образомъ орудіемъ, такъ-сказать, дубиной, которою она расчищала себѣ путь къ своимъ цѣлямъ. И такъ она обращалась со всякаго рода фактами. Нынѣ факты вообще и факты прошедшаго въ частности получаютъ иное значеніе. Это обстоятельство опять-таки свидѣтельствуетъ о нашей относительной солидности, но въ то же время даетъ нѣкоторый ключъ къ уразумѣнію и другихъ сторонъ прежней и теперешней журналистики. Яснѣе всего выступаетъ дѣло въ современной беллетристикѣ, повидимому, наиболѣе сохранившей традиціи шестидесятыхъ годовъ. Шестидесятые годы убили на повалъ принципъ эстетическихъ бирюлекъ въ родѣ «Стукъ, стукъ, стукъ», «Бригадира», Лейтенанта Ергунова и т. п., и нынѣ производствомъ ихъ можетъ заниматься едва-ли не одинъ г. Тургеневъ, на что есть особыя причины. Вообще же говоря, нынѣшняя беллетристика даже переливаетъ, давая, сравнительно съ количествомъ сырого матеріала—образовъ, слишкомъ большое количество выводовъ и обобщеній. И въ то же время беллетристика и выводовъ держится давнишнихъ и матеріалъ свой черпаетъ изъ прошедшаго. Отчего это зависитъ? Отчего такъ рѣдки даже попытки уловить новый типъ, усмотрѣть новую струю жизни, или хотя бы дать новое освѣщеніе старому, пережитому? Ищите причинъ этого явленія въ самой жизни, читатель, а затѣмъ вы станете осмотрительнѣе и въ своихъ безусловныхъ приговорахъ современной журналистикѣ. Г. А. Михайловъ, напримѣръ, написалъ десятка два романовъ и повѣстей по одному и тому же давно заготовленному шаблону изъ исторіи нашего недавняго броженія. Понятное дѣло, что если бы г. Михайловъ былъ въ десять разъ талантливѣе, такъ и то долженъ бы былъ изсякнуть и превратиться въ трудолюбца...

Журналистика живетъ не на воздухѣ. Она живетъ, когда живетъ общество, и замираетъ, когда подрѣзаны корни жизни въ обществѣ. Когда наши золотыя упованія размѣнялись на мѣдную дѣйствительность, когда нашъ полный жизни общественный организмъ превратился въ машину, тогда и журналистика, представляющая только одну изъ функцій общественной жизни, обратилась въ маховое колесо. Но нельзя сказать, чтобы это колесо, какъ колесо, дѣйствовало дурно. Напротивъ, оно подчасъ дѣйствуетъ слишкомъ хорошо, до тошноты и тоски хорошо. Однако, если вы примете въ соображеніе *тотъ* consensus, въ которомъ необходимо находятся состояніе общественной атмосферы вообще и состояніе журналистики, если вы слѣдовательно откажетесь отъ безусловныхъ приговоровъ, то мы готовы сказать, что вы правы, признавая неосновательную журналистику шестидесятыхъ годовъ выше теперешней основательной. Въ журналистикѣ Мурашкино и Едиманово составляютъ болѣзненное явленіе (уже просто потому, что нѣтъ резона отдавать предпочтеніе боярину Морозову, а перечислять всѣ села всѣхъ бояръ дѣло уже совсѣмъ фантастическое), возможное только въ годину маховыхъ колесъ и приводовъ, но для этой годины, замѣтьте, они вполнѣ естественны. Правы вы, наконецъ, еще и потому, что основательность теперешней журналистики сплошь и рядомъ принимаетъ такіе размѣры, что перестаетъ быть даже основательностью.

Прибѣгнемъ къ сравненію. Припомнимъ объявленіе объ изданіе «Современнаго Обозрѣнія»,—тѣмъ болѣе умѣстное, что въ редактированіи объявленія принималъ участіе, какъ извѣстно, и занимающій насъ г. Жуковскій. «Мы будемъ заниматься вопросами накопленія, а не распредѣленія богатствъ», говорилось въ объявленіи. Не вдаваясь въ разборъ мотивовъ, которые могли побудить редакцію «Современнаго Обозрѣнія» къ такому странному ограниченію своихъ задачъ, мы отмѣтимъ только односторонность этой программы. Ученіе о распредѣленіи богатствъ составляетъ такую же составную часть науки, какъ и ученіе о производствѣ и накопленіи, и имѣетъ никакъ не менѣе правъ на наше вниманіе. Посвящать свои силы разработкѣ исключительно которой-нибудь изъ этихъ двухъ отраслей науки въ такой же мѣрѣ неосновательно и односторонне, въ какой было бы односторонне посвященіе самой жизни только накопленію или только распредѣленію. Распредѣлять надо что-нибудь, накоплять надо для чего-нибудь. Ошибки и увлеченія возможны и въ ту и въ другую сторону, но понятно, что односторонность въ распредѣленіи не можетъ принять такого рѣшительно безсмысленнаго характера, какъ односторонность въ накопленіи. Для того, чтобы распредѣлять, безусловно необходимъ объектъ распредѣленія, т. е. накопленныя богатства, и нѣтъ логической возможности упустить это изъ виду; тогда какъ накопленіе ради самаго процесса накопленія и ради матеріаловъ, безъ мысли о томъ, что изъ нихъ будетъ построено, — храмъ или кабакъ, трактиръ или музей, — вполнѣ возможно и составляетъ довольно обыкновенное явленіе въ жизни. Это относится къ богатствамъ не только въ узко-экономическомъ смыслѣ, а и къ умственнымъ

богатствамъ, къ суммѣ идей и знаній, находящихся въ данную минуту въ распоряженіи общества. Если мы будемъ сравнивать теперешнюю журналистику съ журналистикой шестидесятыхъ годовъ, то увидимъ, что роль послѣдней была по преимуществу распредѣляющая, а первой по преимуществу накопляющая. И той и другой свойственны одностороннія увлеченія: одна слишкомъ пристрастна къ выводамъ, другая—къ фактамъ; одна торопится распредѣлять, мало заботясь о накопленіи матеріаловъ и выработкѣ орудій, другая копитъ безъ всякой опредѣленной цѣли. Но увлеченія и ошибки журналистики шестидесятыхъ годовъ, какъ бы велики они ни были, не могли извратить самаго смысла журналистики; именно потому, что для распредѣленія нельзя не имѣть богатствъ, для выводовъ нельзя не имѣть фактовъ, и ошибка тутъ можетъ быть только въ томъ, что факты принимаются въ соображеніе мало. Ошибки и увлеченія теперешней журналистики совсѣмъ иного рода: они убиваютъ самый принципъ журналистики, и оттого-то, оставляя, конечно, приговоръ извѣстными условіями, мы должны признать что уровень журналистики понизился. Читатель можетъ къ намъ придраться и замѣтить, что, давая факты, теперешняя журналистика тѣмъ самымъ занимается распредѣленіемъ знаній. Мы могли бы привести однако въ подтвержденіе своей мысли кое-какія соображенія; но, чтобы не отклоняться отъ дѣла, предпочитаемъ сказать, что не имѣемъ въ виду точнаго употребленія словъ «накопленіе» и «распредѣленіе», а употребляемъ ихъ только для сравненія.

Въ шестидесятыхъ годахъ журналистика имѣла опредѣленныя жизненныя цѣли, данныя состояніемъ общества, и стремилась къ достиженію этихъ цѣлей, не обращая большого вниманія на запасъ матеріаловъ и на самый процессъ достиженія цѣлей; прежде всего имѣлись въ виду результаты. Пора была спѣшная, жизнь кипѣла, проснувшееся общество было застигнуто врасплохъ и заниматься накопленіемъ фактовъ было некогда; потребность была не столько въ фактахъ, сколько въ освѣщеніи ихъ; въ правилахъ поведенія и обращенія съ фактами, въ выводахъ, во взглядахъ на вещи, въ обобщеніяхъ, и журналистика ихъ давала. Въ этомъ была ея сила, но тутъ же лежала и ея слабость, ея Ахиллесова пятка. Обобщенія и выводы требовались самою жизнью и въ свою очередь требовали талантовъ, и жизнь въ нихъ не отказывала. Но при маломъ количествѣ накопленнаго фактическаго матеріала обобщенія и выводы необходимо должны были страдать скороспѣлостью. Однако, этимъ не извращался нормальный типъ журналистики, потому что журналистика обязана именно давать выводы, правила обращенія съ фактами, обобщенія, и нужно только желать, чтобы они были основательны. Скороспѣлость, конечно, и устранилась бы дальнѣйшимъ процессомъ самой жизни, если бы эта жизнь вдругъ не омашинилась, если бы живой организмъ не превратился въ мертвую машину. Нынѣ все идетъ, повидимому, въ обществѣ какъ слѣдуетъ; всѣ общественныя отправленія совершаются правильно, правильнѣе, чѣмъ когда-нибудь, и едва ли не до неправильности правильно; явились новыя профессіи, новыя практическія сферы дѣятельности: баронъ Н. А. Корфъ получилъ возможность практически заняться просвѣщеніемъ народа, не выходя изъ предѣловъ благонамѣренности; г. Верещагинъ устраиваетъ артели, не впадая въ соціализмъ; г. Колюпановъ устраиваетъ сельскіе банки, даже браня этотъ соціализмъ, и не безъ увлеченія. Но духъ жизни и мысли все-таки отлетѣлъ отъ общества и безцѣльность, тоска на все наложили свою тяжелую, тусклую свинцовую печать, русло жизни оскудѣло. Только теперь, со времени франко-прусской войны, показалась какая-то рябь. Можетъ быть, намъ и перепадутъ кое-какія крохи съ чужой трапезы и мы еще разъ поживемъ.

Естественное дѣло, что, какъ только общество омашинилось, въ журналистикѣ таланты уступили мѣсто трудолюбцамъ и на первый планъ выступили не результаты дѣятельности, а самая дѣятельность въ ея процессахъ и накопленіе матеріаловъ. Мы стали, вообще говоря, основательнѣе и солиднѣе, но зато суше и бездарнѣе. Мы не говоримъ, конечно, чтобы въ журналистикѣ шестидесятыхъ годовъ дѣйствовали талантливые лѣнтяи, а теперь поголовно бездарные трудолюбцы и компиляторы. Таланты есть и теперь, а журналисты шестидесятыхъ годовъ работали на общество, и, поскольку имъ оставалось времени, и надъ собой, столько, сколько теперь работаютъ весьма немногіе журналисты. Мы говоримъ только объ общемъ тонѣ двухъ періодовъ нашей журналистики. Талантъ и трудолюбіе, конечно, не исключаютъ другъ друга. Но бываютъ моменты, когда таланты слишкомъ надѣются на свои силы и, страстно желая достигнуть извѣстныхъ результатовъ, разсчитываютъ добѣжать до нихъ однимъ прыжкомъ. Бываютъ другіе моменты, когда трудъ теряетъ всякій смыслъ и нисходитъ до роли бѣгающей въ колесѣ бѣлки. Если журналистика шестидесятыхъ годовъ давала слишкомъ большое предпочтеніе мысли передъ фактомъ, приложенію передъ знаніемъ, то теперешняя журналистика впадаетъ въ про-

тивоположную крайность. Она уже слишкомъ мальтретируетъ мысль и слишкомъ прилѣпляется къ факту. Не имѣя, благодаря особенностямъ историческаго момента, опредѣленныхъ и близкихъ живыхъ цѣлей, журналистика принимаетъ за цѣли средства, творитъ изъ нихъ себѣ кумира и неумѣренно поклоняется ему. Подобно тѣмъ страннымъ корыстолюбцамъ, которыхъ одолѣваетъ auri sacra fames и которые копятъ единственно за тѣмъ, чтобы копить, журналистика валитъ Лысково на Мурашкино, Едиманово на Лысково, единственно за тѣмъ, чтобы совершить эту операцію,—«для познанія всякаго рода мѣстъ».

Вотъ именно съ этой-то точки зрѣнія г. Жуковскій и есть вполнѣ современный писатель. Не то, чтобы онъ баловалъ своихъ читателей чрезмѣрнымъ обиліемъ фактовъ, но Лысково и Едиманово все-таки играютъ выдающуюся роль въ его литературной дѣятельности, хотя являются въ нѣсколько иномъ видѣ.

Г. Жуковскій пришелъ въ «Современникъ» не съ пустыми руками. Онъ принесъ съ собой идею, правда не оригинальную, но и не совсѣмъ обыденную. Это была идея необходимости экономической подкладки для юридической науки. Развивалъ ее г. Жуковскій нѣсколько односторонне, но нѣтъ сомнѣнія, что если бы онъ былъ столь же даровитъ, сколько онъ трудолюбивъ, общество могло бы получить отъ него съ теченіемъ времени отчетливое и ясное представленіе объ отношеніякъ юридическихъ наукъ къ категоріямъ политической экономіи. Но, къ сожалѣнію, г. Жуковскій преимущественно трудолюбивъ. А между тѣмъ его дебютъ совпадалъ съ моментомъ высшаго развитія журналистики шестидесятыхъ годовъ со всѣми ея достоинствами и недостатками. Естественно, что г. Жуковскій не могъ поэтому занимать мѣсто въ первыхъ рядахъ литературы и былъ только журнальною полезностью. Въ сущности онъ былъ человѣкъ, совершенно чужой духу того времени вообще и въ частности тогдашней литературѣ талантовъ и скороспѣлости, жившей на всѣхъ парахъ, жадно гонявшейся за своими цѣлями, за результатами и не имѣвшей ни времени, ни охоты сосредоточивать вниманіе на выдѣлкѣ своихъ орудій. Г. Жуковскій и самъ вѣроятно это чувствуетъ, когда говоритъ, напримѣръ: «Политическая литература, которую мы будемъ описывать, почти не вышла изъ этихъ предѣловъ непосредственнаго способа наблюденія, гдѣ выводъ есть болѣе дѣло искусства, таланта, чѣмъ орудія, гдѣ успѣхъ болѣе опирается на личное дарованіе, чѣмъ на терпѣніе и труды» (Исторія политической литературы, 273). Но зато тѣмъ ближе и родственнѣе г. Жуковскій современному состоянію общества и литературы.

Какъ человѣкъ трудолюбивый и добросовѣстный, г. Жуковскій не ограничился проповѣдью о необходимости поставить науку права на экономическую почву. Онъ сталъ изучать экономическія теорія и давать статьи по экономическимъ вопросамъ. И здѣсь началась его литературная извѣстность, онъ сталъ въ первыхъ рядахъ журналистики. Въ это время кривая журналистики и общественнаго настроенія уже перегибалась слегка къ абсциссѣ и солидность начала подниматься въ цѣнѣ по мѣрѣ паденія курсовъ талантливости. Г. Жуковскій былъ попрежнему журнальною полезностью, но самый этотъ рангъ повысился. Дѣятельность г. Жуковскаго хотя и не сообщала журналу своего цвѣта и тона, была тѣмъ не менѣе очень полезна. Онъ толково излагалъ различныя экономическія теоріи и съ большею солидностью, хотя и съ меньшимъ талантомъ, развивалъ нѣкоторые тезисы помянутаго нами выше, довольствовавшагося одной ариѳметикой публициста, устраняя однако ихъ радикальный характеръ. Если мы подведемъ итогъ всему, что г. Жуковскій старался передать въ своихъ статьяхъ, то найдемъ слѣдующее: слѣдуетъ различать теоретическое значеніе экономическихъ категорій и ихъ эмпирическія формы; это различеніе, болѣе или менѣе послѣдовательно проводимое классиками политической экономіи, т.-е. Смитомъ, Рикардо и Мальтусомъ, совершенно забыто ихъ французскими и нѣмецкими продолжателями или, вѣрнѣе, фальсификаторами; отсюда все ничтожество современной школьной политической экономіи. Мысли эти излагались г. Жуковскимъ въ формѣ столь серьезной и отвлеченной, тономъ до такой степени спокойнымъ, что только необузданностью извѣстной части нашей литературы и приближеніемъ печальнаго для нея времени можно объяснить инсинуаціи, пущенныя противъ г. Жуковскаго въ ходъ «Московскими Вѣдомостями» и «Вѣстью». Поэтому мы съ нѣкоторымъ изумленіемъ прочли въ новой книгѣ г. Жуковскаго такое воспоминаніе и объясненіе: «Привычка принимать частные выводы чисто хозяйственнаго анализа за конечные выводы, не подлежащіе дальнѣйшему учету въ силу болѣе сложнаго характера самаго экономическаго вопроса, и зависимость его отъ вопроса дисциплины, сдѣлалась за послѣднее время источникомъ весьма крайнихъ и прискорбныхъ недоразумѣній. И я имѣлъ несчастіе испытать на себѣ всю тягость этого общественнаго заблужденія и подвергся са-

мымъ несообразнымъ инкриминаціямъ за то только, что думалъ излагать частные выводы экономическаго анализа, какъ выводы чисто частные и подлежащіе дальнѣйшему соглашенію съ другими элементами вопроса, ихъ всегда видоизмѣняющаго. Для меня это видоизмѣненіе и зависимость чисто экономическихъ положеній разумѣлись сами собой. Иначе хотѣли думать и заставить думать мои противники, я не говорю критики, потому что, собственно говоря, критиковъ я никогда не имѣлъ. Мной пугали, мной бранились, меня хотѣли ставить на барьеръ; но критиковать меня никто не думалъ. Въ противномъ случаѣ давно объяснилось бы само собой то, что объясняется теперь» (200). Что бы ни объяснялось теперь, неужели г. Жуковскому неизвѣстно, что имъ пугали и бранили вовсе не потому, что понимали или не понимали его, а единственно потому, что требовалось кѣмъ-нибудь пугать и кѣмъ-нибудь бранить. Недавно еще «Московскія Вѣдомости» объявляли о существованіи въ Петербургѣ нѣкотораго революціоннаго фонда, управляемаго гг. Генкелемъ, Суворинымъ и Шелгуновымъ, и однако никому изъ этихъ господъ не придетъ въ голову придавать этому факту какое-либо особое значеніе и жаловаться на то, что ихъ не критикуютъ, а только пугаютъ ими. «Московскія Вѣдомости» на то и существуютъ. Неужели, наконецъ, г. Жуковскому неизвѣстно, что г. Скарятинъ его хотѣлъ ставить на барьеръ безъ всякаго отношенія къ границамъ экономическихъ элементовъ и элементовъ дисциплины?

Пристрастіе г. Жуковскаго къ средствамъ въ ущербъ мысли сказалось на первыхъ же порахъ, но сказалось сначала очень мягко и съ выгодою для читающей публики. Цѣль г. Жуковскаго состояла ни болѣе ни менѣе, какъ въ реформѣ юриспруденціи, этики и политики, словомъ—всего отдѣла такъ называемыхъ нравственныхъ и политическихъ наукъ, или по крайней мѣрѣ въ указаніи пути къ такой реформѣ. Средствомъ для этого онъ призналъ политическую экономію. И цѣль и средство, и мысль и орудіе были поставлены совершенно ясно. Задаваясь такимъ широкимъ планомъ, г. Жуковскій, конечно, платилъ дань своему времени. Но настоящій журналистъ пятидесятыхъ—шестидесятыхъ годовъ и вообще всякій живой человѣкъ того времени удѣлилъ бы средствамъ, орудіямъ и матеріаламъ настолько вниманія, насколько они непосредственно ведутъ къ цѣли. При этомъ онъ могъ, разумѣется, изуродовать орудія, наговорить парадоксовъ и софизмовъ. Съ г. Жуковскимъ этого не случилось и не могло случиться, потому что онъ, хотя и не совершенно упустилъ изъ виду цѣль, но тѣмъ не менѣе насѣлъ на средства съ трудолюбіемъ нѣмецкаго гелертера. Вниманіе его почти исключительно сосредоточилось на чисто-экономическихъ вопросахъ, которые вначалѣ представлялись ему только ступенью лѣстницы, ведущей въ храмъ. Это было, какъ уже сказано, весьма выгодно для читателей, потому что позволительно сомнѣваться, чтобы г. Жуковскій удовлетворительно справился съ своей первичной задачей, а экономическія статьи давалъ онъ толковыя. Пытался онъ откликаться и на нѣкоторые чисто практическіе, такъ-сказать, ходячіе вопросы, еще волновавшіе общество, но въ этомъ направленіи не поднялся выше «Вопроса молодого поколѣнія» и, кажется, скоро и самъ увидѣлъ, что это не его дѣло.

Вскорѣ г. Жуковскій—самъ ли додумался или подтолкнулъ его какой-нибудь спеціалистъ-математикъ—убѣдился, что для изученія политической экономіи, а равно и другихъ отдѣловъ общественной науки, необходима высшая математика. Буквально повторилась прежняя исторія. Опять, какъ человѣкъ трудолюбивый и добросовѣстный, г. Жуковскій сталъ заниматься математикой и вскорѣ получилъ возможность угощать своихъ читателей интегралами. Опять цѣль была грандіозная—реформа политической экономіи и взглядовъ на факты общественной жизни вообще, примиреніе соціалистовъ и экономистовъ. Опять цѣль, мысль—реформа политической экономіи, и средство, орудіе—математика были поставлены, повидимому, совершенно ясно. И опять, наконецъ, г. Жуковскій засидѣлся на пути къ цѣли. Но на этотъ разъ онъ до такой степени усердно занялся точеніемъ орудія, что и не замѣтилъ, какъ сточилъ его до основанія. Тутъ уже дѣятельность г. Жуковскаго не только утратила въ значительной степени свою полезность, а временами оказывается прямо безполезною и даже вредною. Сейчасъ мы поговоримъ объ этомъ подробнѣе, а теперь мы укажемъ, мимоходомъ, еще на одинъ любопытный примѣръ засиживанія г. Жуковскаго на пути къ цѣли. Кромѣ математики, вниманіе г. Жуковскаго остановила на себѣ еще физика, и именно механическая теорія, которую онъ также думаетъ приложить къ соціологіи. Въ какихъ размѣрахъ и какимъ образомъ должно произойти это приложеніе, а равно каково его будетъ отношеніе къ приложенію чистой математики, объ этомъ судить пока очень трудно, такъ какъ до сихъ поръ явилась только одна работа г. Жуковскаго въ этомъ родѣ, именно статья въ «Вѣстникѣ Европы»—«Вопросъ народонасе-

ленія» (представляющая, впрочемъ, передѣлку статьи Космоса «Законъ сохраненія силы въ его примѣненіи къ нравственному быту»; главы IV и V въ Исторіи политической литературы также перепечатаны изъ «Космоса»). Статья начинается съ того, что г. Жуковскій по вопросу народонаселенія не согласенъ ни съ Мальтусомъ, ни съ соціалистами. Въ концѣ-концовъ онъ полагаетъ, что если въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ земля и должна износиться, какъ изнашивается все на свѣтѣ, то въ настоящее время и Мальтусъ и соціалисты одинаково неправы въ томъ отношеніи, что желали уменьшенія плодовитости; въ настоящее время приростъ населенія не только не страшенъ, но составляетъ залогъ дальнѣйшей цивилизаціи. Эта мысль не только не новая, но едва-ли не столь же старая, какъ сама теорія Мальтуса. Недавно одинъ нѣмецкій писатель кратко и энергически выразилъ эту мыслъ словами: «Je mehr Bevölkerung, desto weniger Uebervölkerung» (любопытно замѣтить, что и этотъ писатель и г. Жуковскій ставятъ вопросъ народонаселенія въ тѣснѣйшую зависимость отъ вопроса о путяхъ сообщенія). Оригинальность г. Жуковскаго состоитъ не въ основной мысли статьи, а въ средствахъ, съ которыми онъ къ ней подходитъ: онъ рѣшаетъ вопросъ народонаселенія отправляясь отъ закона сохраненія силы. Одновременно съ первымъ нумеромъ «Вѣстника Европы» появилось въ газетахъ объявленіе о предстоящемъ выходѣ спеціальнаго сочиненія г. Жуковскаго по теоріи свѣта. Это фактъ чрезвычайно характерный. Обыкновенно люди, задающіеся какимъ-нибудь широкимъ планомъ, всю жизнь преслѣдуютъ свою задачу, по возможности сокращая свое пребываніе на промежуточныхъ станціяхъ. Г. Жуковскій поступаетъ совершенно наоборотъ. Кажется, что можетъ быть привлекательнѣе задачи перестроить всю общественную науку при помощи математики и физики? И что можетъ быть громаднѣе этой задачи? Однако, г. Жуковскій не торопится, не особенно дорожитъ своею цѣлью и находитъ время для писанія спеціальныхъ сочиненій по физикѣ. Онъ откладываетъ исполненіе грандіознѣйшаго и привлекательнѣйшаго плана для забавы, потому что, само собою разумѣется, что сочиненіе его по теоріи свѣта не можетъ быть ни чѣмъ инымъ, какъ забавой: вѣдь съ физикой онъ какъ бы то ни было познакомился только надняхъ и ничего дѣйствительно цѣннаго дать въ этой области не можетъ. Г. Жуковскій и самъ, вѣроятно, понимаетъ, что плодъ, который онъ можетъ взрастить въ спеціальномъ сочиненіи по физикѣ, совершенно ничтоженъ въ сравненіи съ тѣмъ трудомъ, который ему придется положить на это дѣло, но г. Жуковскій такъ любитъ трудъ и такъ мало интересуется плодами... Вотъ онъ вполнѣ современный писатель. Положительно ни на одномъ писателѣ съ болѣе или менѣе крупнымъ литературнымъ именемъ не отразились такъ ясно печальныя условія переживаемаго обществомъ историческаго момента, какъ на г. Жуковскомъ. Несмотря на свои интегралы, съ высоты которыхъ онъ презрительно обзираетъ окрестность, онъ есть одинъ изъ полнѣйшихъ, наиболѣе типическихъ представителей этихъ окрестностей, ихъ духа и смысла или, вѣрнѣе, ихъ безсмыслія.

При такихъ обстоятельствахъ г. Жуковскій могъ бы, повидимому, жить припѣвая «среди долины ровныя на гладкой высотѣ»; могъ бы дѣлать свое дѣло безъ злобы и печали. Однако, этого нѣтъ. Даже въ своей «Исторіи политической литературы» г. Жуковскій не можетъ совершенно удержаться отъ злобы и печали, отъ нѣкотораго полемическаго задора, хотя, видимо, сдерживается. Много есть на это причинъ, большая часть которыхъ не укладывается въ рамки предлагаемой читателю замѣтки. Но одну общую причину изолированнаго положенія г. Жуковскаго, при всей его солидарности съ духомъ настоящаго времени, мы попробуемъ разсмотрѣть. Г. Жуковскій въ въ своей новой книгѣ неоднократно заявляетъ свое уваженіе къ «обобщеніямъ частнымъ, касающимся отдѣльныхъ группъ явленій, обобщеніямъ, которыя, конечно, не столь смѣлы и не даютъ такой пищи ни воображенію, ни самолюбію (какъ какая-нибудь общая философская система), но зато построены на болѣе или менѣе точныхъ и добросовѣстныхъ основаніяхъ»; онъ намекаетъ, что не боится упрековъ «въ отсутствіи даровитости и оригинальности, въ недостаткѣ творчества и геніальности, которой обладали старые писатели, даже въ отсутствіи опредѣленныхъ взглядовъ и убѣжденій»; онъ говоритъ, что нѣкоторыя обстоятельства «охладили въ писателяхъ охоту точно и ярко формулировать свои воззрѣнія и воспитали иной способъ, болѣе осторожный, при которомъ, примѣняясь къ умственному развитію общества, имѣется болѣе въ виду постепенное развитіе понятій, чѣмъ утвержденіе законченныхъ опредѣленныхъ воззрѣній». «Писатели съ громкимъ языкомъ, со смѣлыми теоріями—прибавляетъ г. Жуковскій—вышли изъ моды не потому только, что смѣлыя теоріи бываютъ большей частью лишены должной основательности, но потому также, что способъ ихъ вліянія на общество оказывался далеко не

столь (?) благотворенъ и основателенъ». «Громкій языкъ» тутъ, очевидно, дѣло совершенно постороннее: никогда никто не ставилъ въ вину, напримѣръ, тому же г. Жуковскому его тяжелаго и неправильнаго слога, и никто никогда не преувеличивалъ значенія «громкаго языка», напримѣръ, Прудона. Можно пожалѣть, что г. Жуковскій пишетъ тяжело и неправильно, можно съ удовольствіемъ слѣдить за яркимъ, сильнымъ и образнымъ слогомъ Прудона, но тутъ насчетъ языка дѣло и кончается, ни къ основательности, ни къ неосновательности онъ не имѣетъ никакого отношенія. Что же касается до смѣлыхъ теорій, могущихъ давать пищу воображенію и самолюбію, то этимъ грѣхомъ самъ г. Жуковскій сильно грѣшенъ. Развѣ теорія экономической подкладки всѣхъ юридическихъ явленій недостаточно смѣла? Развѣ попытка подвести подъ механическую теорію всѣ явленія міра со включеніемъ общественной жизни есть частное только обобщеніе, касающееся какой-нибудь отдѣльной группы явленій? Развѣ недостаточно смѣла, недостаточно даетъ пищи воображенію и самолюбію мысль примирить соціалистовъ и экономистовъ при помощи математическаго анализа явленій общественной жизни? Можно смѣло утверждать, что обобщеніе до такой степени широкихъ теорій, до такой степени смѣлыхъ весьма мало предъявляется не только въ нашей, а и въ иностранной литературѣ. На сколько эти обобщенія и теоріи основательны и цѣнны— это другой вопросъ. Но ясно, что всѣ смѣлыя теоріи г. Жуковскій раздѣляетъ на двѣ группы: однѣ, говоритъ онъ, суть *мои* обобщенія и теоріи и, какъ бы смѣлы и широки они ни были, имъ дается право безпрепятственно разгуливать по бѣлому свѣту; другія, то-есть *не мои*, «будучи лишены должной основательности, производятъ вліяніе не столь благотворное и основательное». Но оставимъ насмѣшки, потому что мы подошли по-истинѣ къ трагическому моменту существованія г. Жуковскаго. Если бы г. Жуковскій не испыталъ на себѣ вліянія того времени, когда новые взгляды и смѣлыя теоріи составляли глубочайшую потребность нашего общества, когда каждый изъ насъ имѣлъ свою смѣлую и оригинальную теорію міра и общественныхъ отношеній, онъ былъ бы теперь, при своемъ трудолюбіи и замѣчательныхъ способностяхъ, можетъ быть видныхъ ученымъ изъ тѣхъ, которые довольствуются малымъ. Но бѣда въ томъ, что г. Жуковскій вкусилъ древа познанія добра и зла, плодовъ котораго, однако, по складу своего ума, переварить не можетъ. Эта засѣвшая въ немъ, посторонняя его существу искра заставляетъ его постоянно создавать широчайшія обобщенія и смѣлѣйшія теоріи, или если не создавать, то, по крайней мѣрѣ, развивать обобщенія, данныя другими. И этой-то стороной, часто внѣшней, «феноменальной», какъ не совсѣмъ правильно выразился бы самъ г. Жуковскій, онъ и не можетъ приклеиться къ совершенной тиши, глади и божьей благодати, которой, однако, всецѣло принадлежитъ основными своими свойствами. Онъ не прочь отъ самыхъ смѣлыхъ теорій, но терпѣть не можетъ «конечныхъ выводовъ» и жестоко преслѣдуетъ ихъ, и ихъ «любителей». Онъ согласенъ на самыя широкія обобщенія, но подъ условіемъ, чтобы они оставались въ видѣ проектовъ. Необходимо преобразовать юридическую науку при помощи политической экономіи, говоритъ г. Жуковскій. Но онъ никогда не приступитъ къ этому преобразованію, а солидно и съ успѣхомъ займется политической экономіей. Онъ даже будетъ обходить тѣ положенія, которыя заставили бы его хотя нѣсколько уяснить суть проектируемаго имъ преобразованія. Лежащій передъ ними первый томъ его новаго труду заключаетъ въ себѣ по исторіи политической литературы собственно XIX вѣка только отдѣлъ «экономистовъ», куда вошли Мальтусъ, Рикардо и Сэ. Остальная часть книги занята обширнымъ введеніемъ, излагающимъ, во-первыхъ, нѣкоторыя общія воззрѣнія автора, а во-вторыхъ, содержащимъ очеркъ теорій нѣкоторыхъ писателей прошлаго вѣка. Сюда вошли Ло, Адамъ Смитъ, Бэконъ, Локкъ, Кантъ и Бентамъ. Введены они съ тою цѣлью, чтобы «дать точное понятіе о главныхъ перемѣнахъ въ судьбѣ политическихъ воззрѣній предшествовавшаго времени». Вы спросите, почему здѣсь нѣтъ Монтескьё, воззрѣнія котораго играли столь важную роль въ прошломъ столѣтіи, что въ Исторіи политической литературы можно бы смѣло поступиться для него изложеніями общихъ началъ философіи Канта? Можетъ быть, у г. Жуковскаго есть на то свои важныя причины, но намъ кажется, что Монтескьё пропущенъ потому, что, излагая и критикуя его, пришлось бы приступить къ самому дѣлу, къ сведенію отвлеченныхъ юридическихъ положеній на экономическую почву. Но пусть это останется гадательнымъ. Необходимо приложить механическую теорію къ изученію явленій общественной жизни, говоритъ опять г. Жуковскій, но тутъ же, изъ боязни «конечныхъ выводовъ», оставляетъ проектъ проектомъ и пишетъ сочиненіе по теоріи свѣта.—Необходимо примирить соціалистовъ и экономистовъ, прилагая къ соціологіи математическій методъ, еще разъ заявляетъ г. Жуковскій, но сводитъ дѣло на упражненія въ

математикѣ. Такова, не шутя, трагическая двойственность, разъѣдающая г. Жуковскаго. Послѣ этого, естественно, что когда въ современной бѣдной литературѣ являются люди, желающіе по возможности дальше провести какую-нибудь руководящую нить, дойти до извѣстныхъ предвидѣній и извѣстныхъ правилъ поведенія — къ чему и сводится въ концѣ концовъ все значеніе науки — г. Жуковскій обрушивается съ нѣкоторою даже лютостью на этихъ людей и остается такимъ образомъ недоволенъ и присутствіемъ и отсутствіемъ обобщеній и теорій. Въ сущности г. Жуковскій не впадаетъ въ противорѣчіе, когда преслѣдуетъ обобщенія, и въ то же время самъ строитъ смѣлыя теоріи, гораздо болѣе смѣлыя, чѣмъ тѣ, которыя имъ преслѣдуются. Г. Жуковскій преслѣдуетъ собственно не смѣлость теорій, а ихъ практическое значеніе, ихъ вліяніе, которое, по его мнѣнію, должно быть «не столь благотворно и основательно». Съ другой стороны самъ онъ собственно только сочиняетъ заглавія проектовъ весьма широкихъ обобщеній и естественно считаетъ эти заглавія застрахованными отъ произведенія вреднаго вліянія. Это до извѣстной степени справедливо — но только до извѣстной степени — но зато она застрахованы и отъ произведенія полезнаго вліянія.

Г. Жуковскій въ тиши своего кабинета сочиняетъ очень громкое и пышное заглавіе и тщательно выписываетъ его на листѣ хорошей бумаги. Но и по складу своего ума и по своимъ убѣжденіямъ относительно значенія обобщеній и «конечныхъ выводовъ», онъ далекъ отъ мысли о томъ сочиненіи, которому написанная имъ фраза должна служить заглавіемъ. Онъ сочиняетъ заглавіе, «не предвидя отъ него никакихъ послѣдствій». И сочиненное имъ заглавіе служитъ ему только предлогомъ для занятій, иногда полезныхъ, иногда мало полезныхъ, иногда совсѣмъ безполезныхъ, но во всякомъ случаѣ болѣе или менѣе посторонихъ предпринимаемому имъ, повидимому, дѣлу. Правда, какъ мы видѣли, г. Жуковскій даетъ понять, что онъ, «примѣняясь къ умственному уровню общества, имѣетъ болѣе въ виду постепенное развитіе понятій, чѣмъ утвержденіе законченныхъ, опредѣленныхъ воззрѣній». Не смѣемъ не вѣрить г. Жуковскому и готовы признать, что онъ намѣренно таитъ въ глубинѣ своей души тѣ окончательные выводы, которыхъ не даетъ публикѣ. Но любопытно, что онъ «примѣняется къ умственному уровню общества», а его поклонники считаютъ для этого общества невозможнымъ подняться «до высоты его воззрѣній». Опять очень трагическое столкновеніе. Допуская, однако, возможность намѣреннаго со стороны г. Жуковскаго утаиванія тѣхъ сочиненій, заглавія которыхъ такъ громки и заманчивы, мы склонны думать, что въ большинствѣ случаевъ дѣло происходитъ нѣсколько иначе; что г. Жуковскій самъ не имѣетъ ясныхъ представленій о томъ, что должно скрываться подъ заглавіемъ. Это-то обстоятельство и позволяетъ ему, поставивъ ясно обдуманную, повидимому, цѣль, тѣмъ не менѣе топтаться на мѣстѣ и уклоняться во всѣ стороны, кромѣ той, которая ведетъ къ цѣли. Когда въ «Космосѣ» появились извѣстныя статьи съ «Каинами» и примиреніемъ соціалистовъ и экономистовъ при помощи математическаго метода, мы пожелали узнать, въ чемъ состоитъ этотъ методъ. Статьи «Космоса» не давали отвѣта на этотъ вопросъ, такъ какъ ихъ теоретическія положенія о новомъ методѣ страдали крайнею неопредѣленностью и, въ сущности, ничего не давали, кромѣ ругани и голаго, хотя и громкаго, заглавія: «Приложеніе математическаго метода къ соціологіи». Что же касается до практическаго примѣненія этого метода, то-есть до переложенія теорій Рикардо на математическій языкъ, то мы не могли не усомниться въ ихъ цѣнности. Намъ казалось, что тутъ нѣтъ никакого практическаго примѣненія новаго метода, а есть именно только переложеніе готовой теоріи на математическій языкъ. Намъ казалось, что если уже говорить о «праздномъ перебалтываніи стараго», то всего удобнѣе назвать этимъ именемъ математическія упражненія г. Жуковскаго, такъ какъ они ничего не имѣли въ виду кромѣ передачи теорій Рикардо своими словами и математическими знаками Мы думали, что тутъ собственно и рѣчи быть не можетъ не только о новомъ, а и о какомъ бы то ни было методѣ; что, какъ сущность идей какого-нибудь иностраннаго писателя ни на волосъ не измѣнится и не улучшится отъ перевода его на русскій языкъ такъ и любая экономическая теорія, при переводѣ ея на языкъ математическій, останется, въ сущности, во всей своей неприкосновенности. Мы не ошиблись. Г. Жуковскій ввелъ свои статьи о Рикардо въ Исторію политической литературы и дополнилъ ихъ новыми главами, изъ которыхъ послѣдняя оканчивается слѣдующими словами:

«Такое замѣчаніе (для насъ неважно, какое именно) не только не наноситъ ущерба самой постановкѣ, какая дана вопросу о распредѣленіи Рикардо, но указываетъ, напротивъ того, на теоретическій, философскій характеръ этой постановки, обезпечивающей за выводами Рикардо, въ случаѣ ихъ вѣрности, характеръ общихъ законовъ. Противъ вѣрности этихъ законовъ можно, конечно, спорить, но у нихъ нельзя отнять послѣдовательности. Что касается, за-

тѣмъ, самой теоріи цѣнности, которая положена Рикардо въ основаніи распредѣленія, то эта теорія дана имъ, конечно, только въ однѣхъ общихъ чертахъ и въ нѣкоторыхъ случаяхъ ограничивается одними довольно неопредѣленными намеками. Самое построеніе этой теоріи не можетъ быть названо иначе, какъ гипотетическимъ, такъ что все зданіе, построенное Рикардо, является, конечно, только гипотезой, нерѣдко недосказанной, недовершенной. Этотъ гипотетическій характеръ она должна была сохранить и въ нашемъ изложеніи, но я старался, насколько это было возможно, въ видахъ большей опредѣленности, въ своемъ изложеніи не только повторить сказанное у самаго Рикардо, но и представить читателю непосредственные результаты системы. Въ этихъ видахъ я долженъ былъ вводить въ изложеніе иногда довольно пространные примѣры и дѣлать частыя отступленія отъ буквальнаго изложенія текста. Въ этихъ же видахъ и еще болѣе въ видахъ того важнаго значенія, которое имѣетъ во всемъ направленіи экономистовъ теорія цѣнности Рикардо, я счелъ нужнымъ придать ея положеніямъ, гдѣ это было возможно, аналитическое выраженіе. Читатель, недовольный такимъ пріемомъ, пусть постарается составить себѣ ясное понятіе о предметѣ, не останавливаясь надъ математическими выраженіями. Читателю же болѣе терпѣливому я долженъ сказать, что формулы, имъ встрѣченныя, должны составлять только точныя выраженія главнѣйшихъ положеній самого Рикардо, вѣрность которыхъ остается на его отвѣтственности, выраженія, построенныя большею частью на основаніи данныхъ имъ же самимъ численныхъ примѣровъ. На приведенные же мною лично разсчеты въ подтвержденіе соображеній, вытекающихъ изъ основныхъ положеній системы, онъ долженъ смотрѣть какъ на разсчеты чисто примѣрные» (389).

Нѣкоторый нѣмецъ перевелъ нѣкоторую современную нѣмецкую барабанно-патріотическую пѣсню не только на множество живыхъ языковъ, но и на многіе мертвые, изобразилъ ее по-санскритски, изобразилъ ее іероглифами и т. д. Для этой операціи очевидно потребовалась такая основательность и ученость, передъ которою совершенно меркнетъ ученость, потребная для перевода какой-нибудь экономической теоріи на математическій языкъ. И тѣмъ не менѣе это нѣмецъ совершенно неосновательный. Спрашивается, зачѣмъ онъ продѣлалъ свою штуку? Въ переводѣ пѣсня по всей вѣроятности значительно утратила свой букетъ и свои достоинства, если таковыя были; написанная по-санскритски или по-китайски, пѣсня, разумѣется, доступна гораздо меньшему числу людей, чѣмъ по-нѣмецки... Но всѣ эти соображенія о результатѣ труда были очевидно далеки отъ слишкомъ основательнаго и потому самому совершенно неосновательнаго нѣмца. Ему просто доставлялъ удовольствіе самый процессъ перевода, его влекла единственно наклонность къ ученымъ упражненіямъ, единственно трудолюбіе, и вопросъ цѣлесообразности ни разу передъ нимъ не поднимался... Г. Жуковскій напомнилъ намъ этого неосновательно-основательнаго нѣмца. Теорія Рикардо, какъ была, такъ и осталась, безъ всякаго опредѣленнаго критическаго освѣщенія; обѣщалъ г. Жуковскій, обѣщалъ торжественно, что при помощи его математическихъ операцій въ теоріи Рикардо «гипотетическое рѣзко отдѣлится отъ доказаннаго», а теперь объясняетъ, что свой «гипотетическій характеръ она должна была сохранить и въ его изложеніи». Вопросъ о томъ, что въ этой теоріи вѣрнаго и невѣрнаго, гипотетическаго и доказаннаго, остается открытымъ; только въ новомъ изложеніи г. Жуковскаго ее понимать можетъ только человѣкъ, знакомый съ санскритскимъ... то бишь съ языкомъ высшей математики. Такимъ образомъ, дѣятельность г. Жуковскаго, выигрывая въ основательности, теряетъ значительную долю своей полезности. Общество терпитъ очевидный ущербъ, получая вмѣсто прежнихъ, не менѣе основательныхъ, но общедоступныхъ статей г. Жуковскаго, математическія упражненія и ненужныя, и безцѣльныя, и большинству, разумѣется, недоступныя. Если же г. Жуковскій находитъ нужнымъ и возможнымъ высоко цѣнить свой трудъ и толковать по поводу его о реформѣ въ наукѣ и новомъ методѣ, то это потому, что онъ, вслѣдствіе своего трудолюбія, склоненъ придавать топтанію на мѣстѣ, если таковое совершается съ какими-нибудь выкрутасами, такое важное значеніе, какого оно отнюдь имѣть не можетъ.

Но—скажетъ, можетъ быть, читатель—если изложить излагаемое г. Жуковскимъ иначе нельзя, какъ тѣмъ, дѣйствительно для огромнаго большинства затруднительнымъ способомъ, которымъ онъ это дѣлаетъ, то приходится примириться съ этимъ; приходится или приняться за дифференціальное и интегральное исчисленіе или отказаться отъ удовлетворительнаго пониманія тѣхъ вопросовъ, которые разбираются г. Жуковскимъ. Противъ занятій высшею математикою мы, разумѣется, ничего не имѣемъ даже если бы она и не могла—что въ дѣйствительности и есть—играть въ соціологіи сколько-нибудь важную роль. Но намъ показалось, насколько наши свѣдѣнія то дозволяли, что г. Жуковскій могъ бы выразить то же самое въ гораздо болѣе простой и скромной формѣ. Мы призадумались даже о тѣхъ четырехъ правилахъ ариѳметики, которыя, во времена буйства и неосновательности нашей журналистики, считались математическими операціями, вполнѣ достаточными для измѣренія подлежащихъ измѣренію сторонъ явленій экономической жизни. Однако мы не осмѣлились рѣшить этотъ любопытный вопросъ собственными силами и обратились къ одному пріятелю, болѣе

насъ знакомому съ тайнами высшей математики. Мы получили такой отвѣтъ: *въ книгѣ г. Жуковскаго удовлетворительно рѣшаются нѣкоторыя простыя задачи изъ дифференціальнаго и интегральнаго исчисленія, но всѣ добытыя имъ формулы могутъ быть найдены при помощи простыхъ алгебраическихъ и ариѳметическихъ дѣйствій.* Напримѣръ, если дѣло идетъ о приращеніи производительности труда отъ введенія машинъ, то оно можетъ быть, конечно, принято равнымъ безконечно малой величинѣ, что заставитъ насъ прибѣгнуть къ дифференціальному исчисленію; но оно точно также можетъ быть принято равнымъ X или какой-нибудь численной величинѣ, отъ чего сущность дѣла нисколько не измѣнится, а только упростится операція, ибо и x, и dm, и *10* будутъ вами приняты одинаково условно и примѣрно. Пріятель нашъ предлагалъ намъ даже письменно разобрать для примѣра двѣ-три формулы г. Жуковскаго, чтобы показать, какими простыми средствами можно прійти къ тѣмъ же результатамъ. Но мы не сочли удобнымъ вдаваться здѣсь въ эти подробности, хотя въ случаѣ надобности могли бы привести самыя ясныя доказательства совершенной ненужности большей части математическихъ упражненій г. Жуковскаго. Мы были уже нѣсколько подготовлены къ такому результату, когда приступили, подъ руководствомъ человѣка, хорошо знакомаго съ дѣломъ, къ разсмотрѣнію вычисленій и формулъ г. Жуковскаго, а и то были просто поражены его трудолюбіемъ. Надобно очень пристраститься къ орудію и очень мало дорожить цѣлью, чтобы до такой степени безнужно заваливать самому себѣ путь къ цѣли, которая и велика, и прекрасна, и смѣла: реформа науки, примиреніе соціалистовъ и экономистовъ при посредствѣ математическаго анализа общественныхъ явленій. Какое пышное заглавіе! Но зато это только заглавіе... Замѣчайте, какъ близокъ и родственъ г. Жуковскій всему нынѣшнему времени, когда мы имѣемъ пышныя заглавія и свободы печати, и самоуправленія, и реформы податной системы, и когда самый текстъ, непосредственно слѣдующій за заглавіями, представляетъ нѣкоторыя, болѣе или менѣе постороннія заглавіямъ упражненія...

Редакція «Космоса» громила людей, «прикрывающихся пустыми словоизверженіями». Что сказать о людяхъ, прикрывающихся интегралоизверженіями? Мы думаемъ, что распространеніе въ обществѣ легкомысленныхъ понятій при помощи интеграловъ въ такой же мѣрѣ нежелательно и предосудительно, какъ и распространеніе ихъ путемъ либеральныхъ фразъ или чего-нибудь иного. Мы не упрекнемъ г. Жуковскаго въ недобросовѣстности и не назовемъ его «Каиномъ, котораго бы не родила родная мать». Помимо нашей антипатіи къ столь сильнымъ и въ сущности безсмысленнымъ выраженіямъ, мы можемъ относиться только съ соболѣзнованіемъ къ г. Жуковскому при видѣ его трудолюбія, его очевиднаго усердія, его, наконецъ, добрыхъ намѣреній и въ особенности въ виду того трагическаго разлада между мыслью и исполненіемъ, который довольно глубоко коренится въ его натурѣ. Но мы можемъ жалѣть о напрасной потерѣ силы и происходящемъ отъ того ущербѣ для общества. Мы можемъ признать нынѣшнюю дѣятельность г. Жуковскаго не только безполезною, а и вредною, потому что онъ распространяетъ въ обществѣ легкомысліе, во-первыхъ, непосредственно своими интегралами, которые, несмотря на свою тяжеловѣсность, въ данномъ случаѣ оказываются даже слишкомъ легковѣсными; и во-вторыхъ, общимъ характеромъ своей дѣятельности, такъ громко вторящей современному печальному положенію вещей въ нашемъ отечествѣ вообще. При этомъ если и можно говорить о недобросовѣстности г. Жуковскаго, то только въ томъ смыслѣ, что онъ недостаточно вдумывается въ смыслъ своихъ заглавій, упускаетъ изъ виду, что другіе не удовольствуются заглавіемъ, а попытаются заглянуть и подъ него, причемъ можетъ произойти прискорбная путаница. Правда, г. Жуковскій имѣетъ въ виду эту путаницу, даже прямо говоритъ о ней, но понимаетъ онъ ее очевидно нѣсколько наоборотъ. Онъ говоритъ именно, что находящіеся нынѣ въ модѣ (или не вышедшіе изъ моды) писатели намѣренно не договариваются до конца, а, примѣнясь къ умственному уровню общества, понемножку обобщаютъ себѣ да обобщаютъ. Но г. Жуковскій своимъ образомъ дѣйствій только путаетъ читателей, да и самого себя ставитъ въ неловкое положеніе. Обѣщалъ онъ, напримѣръ, «рѣзко отдѣлить гипотетическое отъ доказаннаго» въ положеніяхъ Рикардо. Ведетъ онъ читателя, ведетъ по легкому, быть можетъ, для него, но конечно затруднительному для обыкновеннаго читателя пути сложныхъ математическихъ вычисленій. Прошелъ читатель этотъ тернистый путь и ждетъ обѣщанной награды. Г. Жуковскій однако прямо говоритъ ему, что гипотетическое отъ доказаннаго въ положеніяхъ Рикардо не отдѣлилось ни рѣзко, ни нерѣзко и что, несмотря на тернистый путь, положенія Рикардо, какъ были на его, Рикардо, отвѣтственности, такъ и остаются, что, впрочемъ, и очень естественно. Понятное дѣло, что если-бы г. Жуковскій не маскировалъ въ самомъ началѣ этого

конца, то было бы гораздо лучше. Нынѣ г. Жуковскій не выдаетъ уже своего переложенія за математическій анализъ явленій общественной жизни. Это конечно хорошо: лучше поздно, чѣмъ никогда. Но г. Жуковскій тутъ же принимается за старую игру. Онъ продолжаетъ упорствовать въ мысли, что математическій анализъ общественныхъ явленій возможенъ, и даетъ понять, что добьется-таки своего, но на этотъ разъ уже при помощи теорій вѣроятностей. Конецъ этого предпріятія предвидѣть нетрудно: онъ будетъ подобенъ концу переложенія. Это, пожалуй, иной назвалъ бы недобросовѣстностью. Но мы думаемъ, что г. Жуковскій впадаетъ тутъ въ неправду добросовѣстную. Любовь къ «познанію всякаго рода мѣстъ» въ немъ до такой степени сильна, что онъ, безъ сомнѣнія, съ успѣхомъ доѣдетъ до области теоріи вѣроятностей и съ успѣхомъ тамъ зазимуетъ, съ полною увѣренностью, что онъ не зимуетъ, а анализируетъ соціальныя явленія. Полнѣйшая его невинность очевидна изъ слѣдующихъ его словъ: «нигдѣ можетъ быть такъ не важно измѣреніе, какъ въ нравственной области, именно потому, что мы здѣсь имѣемъ дѣло съ сложными явленіями, для которыхъ наблюденіе одного частнаго факта не имѣетъ ровно никакого значенія и доказательной силы, и гдѣ только средній выводъ изъ суммы наблюденій имѣетъ значеніе, гдѣ, слѣдовательно, главной опорой выводовъ служитъ теорія вѣроятностей» (12). Прибавьте въ этой путаницѣ словъ и понятій постоянныя жалобы г. Жуковскаго на то, что нравственныя науки остаются донынѣ на уровнѣ «приблизительныхъ измѣреній», и вы увидите, что съ одной стороны онъ гонитъ приблизительность, а съ другой зоветъ ее, ибо что такое средній выводъ, какъ не приблизительный? и можетъ ли теорія вѣроятностей давать что нибудь, кромѣ приблизительныхъ измѣреній? Г. Жуковскій говоритъ: «Отнимите элементъ измѣренія отъ наукъ точныхъ и вы со всею ихъ наблюдательностью и опытомъ низведете ихъ на общія мѣста наукъ нравственныхъ. Живымъ примѣромъ этому могутъ служить до сихъ поръ тѣ изъ наукъ, неоспоримо наблюдательныхъ, какъ напр. медицина и въ значительныхъ отдѣлахъ растительная и животная физіологія, гдѣ измѣреніе получило до сихъ поръ мало примѣненія. Упущеніе изъ виду этого-то именно различія и заставило меня сомнѣваться въ томъ, довольно-ли ясно понимается та положительность, которой требуютъ отъ нравственнаго знанія люди, пишущіе и толкующіе о ней. У насъ, напримѣръ, вошло въ обыкновеніе указывать, какъ на провозвѣстника точнаго метода, на французскаго философа Огюста Конта; но у него-то именно прежде всего упущенъ былъ изъ виду указываемый нами недостатокъ нравственнаго знанія, отсутствіе измѣренія, составлявшаго главную точку опоры всей положительности точнаго знанія. Контъ именно полагаетъ всю точность знанія въ одной наблюдательности, не видя ничего дальше нея, не подозрѣвая, что въ этихъ предѣлахъ всѣ знанія были всегда положительными» (11) О, Господи!... Мы не станемъ защищать бѣднаго Конта отъ могущественной логики г. Жуковскаго, потому что это дѣло хоть и очень почетное, но оно уже намъ надоѣло, да и здѣсь было бы лишнимъ. Мы скажемъ только-что: Контъ былъ по профессіи математикъ, но не узкій спеціалистъ, не знающій и не видящій ничего за предѣлами своей спеціальности, и не пылкій неофитъ, вчера познакомившійся съ математикой и потому сегодня сующій ее всюду. Мы отъ души совѣтуемъ г. Жуковскому прочитать Конта. Онъ его очевидно читалъ, потому что въ его книгѣ попадаются термины и даже мысли Конта, но пусть прочтетъ еще разъ. Что же касается до приведенныхъ г. Жуковскимъ медицины и физіологіи, то это примѣръ очень любопытный. Физіологія есть наука, хоть и оставляющая многаго желать, и въ ней элементъ измѣренія не былъ серьезно прилагаемъ, тогда какъ существуютъ цѣлая отрасль знанія — медицинская статистика, нисколько не мѣшающая медицинѣ оставаться на ступени грубаго эмпиризма и шарлатанства. Хининъ излѣчиваетъ перемежающуюся лихорадку изъ 100 разъ столько-то разъ, а мышьяковисто-кислое кали меньше. Это несомнѣнно измѣреніе. Но полагаетъ ли г. Жуковскій, что это не есть вмѣстѣ съ тѣмъ грубый эмпиризмъ? Не желательно ли замѣнить это измѣреніе, которымъ поневолѣ приходится иногда пользоваться, ближайшимъ знакомствомъ съ перемежающеюся лихорадкою и съ отношеніемъ къ ней хинина и мышьяковисто-кислаго кали? Мы совѣтуемъ опять-таки г. Жуковскому почитать Конта да и Клода Бернара—геніальнаго философа-математика и замѣчательнаго біолога-философа. У Клода Бернара рекомендуемъ вниманію г. Жуковскаго анекдотъ о томъ трудолюбивомъ и ученомъ нѣмцѣ, который пристроился къ мочепріемнику на одной изъ станцій одной изъ центральныхъ европейскихъ желѣзныхъ дорогъ и тамъ изслѣдовалъ мочу, дабы получить такимъ образомъ средній составъ «европейской мочи».

Г. Жуковскій очень часто повторяетъ, что политическая экономія есть по преимуществу наука счета и мѣры, и въ то же время обращаетъ вниманіе на «привычку Рикардо

къ точнымъ банкирскимъ счетамъ», отчасти помогшую ему «придать своей обработкѣ ту строгость, точность и законченность, которыя почти граничили съ аналитическимъ построеніемъ системы, математической формулировкой экономическихъ теоремъ» (308). Это обстоятельство, въ связи со всѣмъ предъидущимъ, заставило насъ усомниться въ томъ, довольно ли ясно понимается г. Жуковскимъ разница между счетоводствомъ и математическимъ анализомъ соціальныхъ явленій. А разница есть...

Обращаясь къ третьему обобщенію или къ третьей теоріи г. Жуковскаго, именно къ теоріи отношеній юридическихъ фактовъ къ экономическимъ, мы въ сущности встрѣтимъ то же самое, что и въ двухъ предыдущихъ случаяхъ. Разница только въ томъ, что здѣсь мысль г. Жуковскаго не имѣетъ такого фантастическаго характера, вслѣдствіе чего подъ громкимъ заглавіемъ стоитъ нѣсколько страницъ текста, которыя могутъ быть прочитаны съ пользой. Но это нисколько не измѣняетъ характера дѣятельности г. Жуковскаго, характера его отношеній къ предпринимаемому имъ дѣлу. И здѣсь мы встрѣчаемъ зимовку на пути къ цѣли, хотя несравненно болѣе благоразумную и полезную. И здѣсь мы видимъ опять-таки, что г. Жуковскій, отправляясь въ путь съ вполнѣ, повидимому, честнымъ и сознаннымъ маршрутомъ, на дѣлѣ имѣетъ объ этомъ маршрутѣ далеко не ясныя представленія. Мы только отчасти коснемся этой неясности и взглянемъ на нее въ глаза съ нѣкоторыми другими руководящими взглядами, имѣющимися въ новой книгѣ г. Жуковскаго.

Г. Жуковскій полагаетъ, что всѣ политическія ученія могутъ быть сведены къ двумъ типамъ, къ ученіямъ «фаталистическимъ» и «соціалистическимъ», изъ которыхъ первыя подчиняютъ человѣка природѣ, окружающимъ условіямъ и отрицаютъ въ немъ способность самостоятельно устроить свою жизнь, а вторыя полагаютъ, что человѣкъ есть полный господинъ природы, можетъ устроиться, какъ онъ хочетъ. «Одни представляли элементъ порядка и дисциплины, элементъ статическій, другія — элементъ прогресса и движенія, элементъ динамическій. Развитіе однихъ совпадало съ развитіемъ дисциплинарныхъ началъ въ самомъ обществѣ, съ закрѣпленіемъ въ жизни выработавшихся формъ; развитіе другихъ сопровождало обновленіе и усовершенствованіе отжившихъ формъ» (IV). Ни тѣ, ни другія ученія, взятыя въ своей исключительности, не выдерживаютъ критики ни съ практической, ни съ теоретической точки зрѣнія. Дисциплина или порядокъ не составляютъ сами по себѣ цѣли общества, но безъ дисциплины обойтись невозможно. Далѣе, человѣкъ не есть безличный рабъ природы, но и не есть полный ея господинъ; природа ставитъ извѣстныя границы его дѣятельности, но онъ имѣетъ возможность до извѣстной степени раздвигать эти границы. Вслѣдствіе этого теперь настоитъ надобность въ доктринѣ, которая была бы равно далека отъ крайностей фаталистическихъ и соціалистическихъ системъ. Задатки такой доктрины уже существуютъ.

Въ основаніи всего этого лежитъ совершенно вѣрная мысль. Но должно сожалѣть, что г. Жуковскій, позаимствовавъ у Конта примѣненіе къ соціологіи терминовъ «статика» и «динамика» и соотносящееся сюда противоположеніе идей порядка и прогресса, не усвоилъ себѣ ихъ философскаго значенія. Подъ порядкамъ г. Жуковскій, разумѣетъ исключительно дисциплину, т.-е. государственно - полицейское начало, тогда какъ Контъ называлъ порядкомъ вообще состояніе общественныхъ отношеній въ данный моментъ, абстрагируя при этомъ элементъ поступательнаго движенія, всегда въ извѣстной мѣрѣ имѣющаго мѣсто. Должно также сожалѣть, что г. Жуковскій совершенно произвольно употребляетъ выраженія «фаталистическій» и «соціалистическій». Если первое въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимаетъ дѣло г. Жуковскій, до извѣстной степени приближенія соотвѣтствуетъ своему назначенію, то второе въ дальнѣйшемъ изложеніи его рѣшительно запутываетъ. Мы думаемъ даже, что самый принципъ классификаціи политическихъ ученій, принятый г. Жуковскимъ, имѣетъ весьма важныя теоретическія и практическія неудобства, которыя и заставляютъ автора постоянно измѣнять ему. Вышеприведенное излагается г. Жуковскимъ въ предисловіи. Во введеніи онъ снова возвращается къ классификаціи и послѣдовательной смѣнѣ политическихъ ученій и говоритъ объ этихъ вещахъ нѣсколько подробнѣе. Тутъ онъ приходитъ къ слѣдующимъ тремъ воззрѣніямъ на общество: «Первое, въ силу котораго человѣкъ признавался неспособнымъ самъ собою различать доброе отъ злого и законодательство считалось даннымъ ему извнѣ. Второе, въ силу котораго законодательство считалось выраженіемъ врожденныхъ человѣку отъ самой природы основныхъ правилъ нравственности; и третье, въ силу котораго законодательство и рѣшенія человѣка о добромъ и зломъ признавались результатомъ человѣческаго опыта о полезномъ и вредномъ» (16). Отдавая должную справедливость этой мысли автора, мы должны однако замѣтить, что на этомъ пунктѣ — одномъ изъ основныхъ—до высоты его воззрѣній подняться даже бѣдной теперешней журналистикѣ не предстоитъ особенныхъ

трудностей. Въ этой журналистикѣ неоднократно развивались воззрѣнія, почти тождественныя воззрѣніямъ г. Жуковскаго. Мы могли бы привести тому самыя осязательныя доказательства, но предпочитаемъ указать, что приведенная классификація входитъ, какъ частность, въ законъ трехъ фазисовъ столь обруганнаго и осмѣяннаго «Космосомъ» Конта. Это тѣмъ любопытнѣе, что г. Жуковскій употребляетъ даже отчасти терминологію Конта для обозначенія своихъ трехъ типовъ политическихъ ученій и соотвѣтствующихъ имъ историческихъ фазисовъ. Такъ, онъ иногда называетъ свой второй типъ «метафизическимъ» и совершенно напрасно называетъ его по своему — «соціалистическимъ». Если вторая классификація г. Жуковскаго совершенно удовлетворительна, то изъ нея же видна несостоятельность принципа первой классификаціи. Въ самомъ дѣлѣ, когда Ксеркъ сѣчетъ море, когда бурятъ либо мажетъ сметаной губы своего божка, либо оскорбляетъ его, вообще, когда человѣкъ тѣмъ или инымъ способомъ разсчитываетъ измѣнить направленіе воли своихъ божествъ, онъ, очевидно, не выходитъ изъ предѣловъ воззрѣнія, «въ силу котораго законодательство считается даннымъ ему извнѣ», не выходитъ изъ предѣловъ теологическаго фазиса, какъ сказалъ бы Контъ, или антропоцентрическаго, какъ предпочли бы выразиться мы. Но вмѣстѣ съ тѣмъ очевидно, что это уже не фатализмъ. Нельзя сказать, чтобы Ксеркъ или бурятъ не «считалъ себя хозяиномъ и господиномъ своей жизни и положенія»; онъ, можно сказать, если придерживаться принципа и терминологіи первой классификаціи г. Жуковскаго, почти соціалистъ. И можетъ быть г. Жуковскій не найдетъ ничего страннаго въ такомъ выводѣ. Говоримъ: *можетъ быть*, потому что отнюдь не увѣрены въ томъ, какъ посмотритъ на это дѣло г. Жуковскій, и должны откровенно сознаться, что въ этомъ случаѣ не можемъ подняться до высоты его воззрѣній. Г. Жуковскій даетъ соціализму опредѣленіе съ одной стороны слишкомъ узкое, а съ другой слишкомъ широкое. Въ предисловіи онъ называетъ соціалистическими такія теоріи, которыя «въ полномъ (?) размѣрѣ» признаютъ за человѣкомъ возможность «устраивать свою собственную жизнь». Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: «Для соціалистической философіи между внѣшней природой и природой самого человѣка существовала полная цѣлесообразность. Организмъ человѣка не развился для борьбы за существованіе съ внѣшней природой, не былъ міромъ, отвоеваннымъ у остальной природы, и всѣ цѣли его не были для соціалистовъ осуществимыми только путемъ такой же борьбы, упорной и медленной, совершающейся по тѣмъ же законамъ, по которымъ совершается обособленіе каждаго самостоятельнаго бытія, каждой новой его формы, и которые предсуществуютъ въ самыхъ условіяхъ природы. Природа съ ихъ точки зрѣнія была та благодѣтельная мать, которая родила человѣка для наслажденія и дала къ тому всѣ средства; но человѣческія учрежденія все это исказили, и потому-то, говорила эта школа, они должны быть исправлены» (418). Эта тирада годится для опредѣленія теоріи Руссо, годится отчасти и для нѣкоторыхъ завѣдомо соціалистическихъ теорій. Но вѣрно также и то, что это отнюдь не есть опредѣленіе соціализма; что подъ это опредѣленіе не подойдутъ весьма многія соціалистическія системы, но зато подойдутъ воззрѣнія, не имѣющія съ соціализмомъ ничего общаго. Нѣмецкая метафизика, напримѣръ, полагала, что нашъ разумъ и внѣшняя природа находятся между собою въ полномъ соотвѣтствіи, что природа есть та благодѣтельная мать, которая дала человѣку возможность «въ полномъ размѣрѣ» познавать сущность вещей. Отправляясь отъ этого положенія, мы должны признать прусскаго штатсъ-философа Гегеля соціалистомъ. Мы имѣемъ право брать такой примѣръ, потому что г. Жуковскій ставитъ вопросъ достаточно широко и въ одномъ мѣстѣ прямо переноситъ дѣло въ область средствъ и потребностей мысли. И мы не должны изумляться результату, къ которому пришли, ибо г. Жуковскій безразлично называетъ извѣстныя воззрѣнія то соціалистическими, то метафизическими. Г. Жуковскій говоритъ, что фаталистическія и соціалистическія теоріи повторяются въ исторіи политической литературы «во всей ихъ исключительности». Мы желали бы знать, къ которому изъ этихъ типовъ относится теорія laisser passer. Съ одной стороны, эта теорія несомнѣнно фаталистическая, за что именно противъ нея и ратуютъ соціалисты; но г. Жуковскій долженъ будетъ признать ее соціалистическою, ибо она предполагаетъ извѣстную цѣлесообразность въ самомъ ходѣ вещей. Когда Бастіа беретъ эпиграфомъ къ своимъ «Экономическимъ гармоніямъ» слова: Digitus dei est hic — кто онъ: соціалистъ или фаталистъ? Когда Кэри восторгается дивной гармоніей законовъ природы, нѣкоторымъ предопредѣленнымъ путемъ, ведущимъ человѣка къ благополучію, — соціалистъ онъ или фаталистъ? Куда мы отнесемъ экономистовъ вообще? Вѣрно только то, что они не соціалисты; вѣрно и по здравому смыслу, и по г. Жуковскому, ибо онъ прямо противополагаетъ экономистовъ соціалистамъ, говоря: экономисты открыли, что «между природой

и человѣкомъ не было той солидарности интересовъ и не было той цѣлесообразности во внѣшней природѣ съ цѣлями человѣка, которая одна могла обусловить возможность на землѣ непосредственнаго общественнаго блаженства. Отсюда — то первое положеніе Мальтуса, что средства жизни не согласуются съ потребностями, а изъ этого перваго положенія сами собой слѣдуютъ всѣ остальныя». Согласно этому, г. Жуковскій считаетъ экономистовъ съ Мальтусомъ во главѣ представителями «болѣе уже опытнаго и умудреннаго взгляда». Экономисты, по г. Жуковскому, суть не фаталисты и не соціалисты, а представители болѣе поздней и совершенной доктрины, которую онъ называетъ опытною. Въ прежнія времена г. Жуковскій смотрѣлъ на дѣло иначе: Мальтуса и его школу онъ называлъ не иначе, какъ фаталистами, и намъ кажется, что новый взглядъ автора на этотъ предметъ не есть взглядъ «умудренный». Впрочемъ, Мальтусъ можетъ быть названъ фаталистомъ даже и съ нынѣшней точки зрѣнія г. Жуковскаго. Дѣйствительно, онъ называетъ фаталистическими такія теоріи, которыя отрицаютъ «за человѣкомъ возможность устраивать свою жизнь», а теорія Мальтуса «въ полномъ размѣрѣ» удовлетворяетъ этому требованію.

Мы должны ограничиться этими замѣчаніями. Когда путаница достигаетъ такихъ размѣровъ, нельзя уже говорить только о произвольности терминологіи, надо допустить, что путаница существуетъ и въ мысли автора. Пріятно будетъ распутать дѣло, когда появятся дальнѣйшіе томы труда г. Жуковскаго. До сихъ поръ «Исторіи политической литературы XIX вѣка» еще нѣтъ, она вся въ будущемъ. Именно потому мы не сочли себя въ правѣ говорить о самой книгѣ и ограничились обрисовкой литературной физіономіи автора, которая на лицо.

Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Ю. Жуковскаго *).

Въ старые годы у насъ были въ большой модѣ сѣтованія на «разрушеніе авторитетовъ», которымъ будто бы систематически занималась извѣстная часть литературы. Нельзя сказать, чтобы сѣтованія эти теперь совсѣмъ прекратились. Такъ, еще недавно г. Градовскій въ полемикѣ изъ-за «примиренія» съ Польшей поднялъ изношенный упрекъ въ недостаточномъ уваженіи къ авторитетамъ отечественнымъ, доморощеннымъ. Но нынѣ подобные упреки и сѣтованія являются во всякомъ случаѣ рѣже, какъ-то спорадически. Зависитъ это отъ многихъ причинъ, изъ которыхъ едва ли не самая важная состоитъ въ измѣненіи персонала и характера самыхъ авторитетовъ. Въ сущности вѣдь это —совсѣмъ вздоръ, это негодованіе на разрушеніе авторитетовъ. Авторитетовъ въ принципѣ, авторитетовъ вообще никогда никто не защищалъ: защищались только тѣ или другіе авторитеты, тѣ именно, которые защищающій признавалъ авторитетами, что и естественно конечно. Если же являлись возможность и охота прикрывать эти вполнѣ естественныя отношенія какимъ-то принципіальнымъ уваженіемъ къ авторитетамъ, такъ единственно потому, что въ извѣстныя времена могутъ претендовать на титулъ авторитетовъ только извѣстнаго рода дѣятели, вслѣдствіе чего они до нѣкоторой степени однородны: защита или отверженіе одного изъ нихъ представляется защитою или отверженіемъ всѣхъ остальныхъ, а отсюда до авторитетовъ вообще, до самаго принципа научнаго авторитета—уже рукой подать. Люди, извергавшіе потоки сѣтованій на разрушеніе авторитетовъ, отнюдь не вымерли. Но они вовсе не склонны признавать авторитетами нынѣшніе авторитеты, напримѣръ, Дарвина въ біологіи, Конта или Спенсера въ философіи, Маркса въ политической экономіи, Бокля въ исторіи и т. п. Встрѣчая въ литературѣ критическое отношеніе къ этимъ новымъ авторитетамъ, они поэтому не только не запѣваютъ своей старой пѣсни, но напротивъ, съ большимъ удовольствіемъ потираютъ руки. Дѣло житейское, простое. И хоть такая терпимость къ критикѣ очень односторонняя и ненадежна, но это все-таки лучше, чѣмъ вопли о разрушеніи авторитетовъ, вопли, прямо сказать, лицемѣрные, нечестные и глубоко вредные. Вредны они не только потому, что могутъ террори-

*) 1887 г., октябрь.

зировать общество и литературу, задерживать ихъ правильное развитіе: они способны возбудить еще иную, внутреннюю, въ своемъ родѣ не менѣе пагубную реакцію. Представьте себѣ, что господа-охранители неприкосновенности авторитетовъ, всѣ эти господа Катковы, Мещерскіе и какъ ихъ тамъ еще зовутъ, при каждомъ критическомъ замѣчаніи насчетъ Дарвина, Конта, Спенсера, Маркса, Бокля, становятся на дыбы и приходятъ въ ужасъ отъ разрушенія авторитетовъ. Невѣроятно комическій характеръ этихъ сценъ не долженъ скрывать отъ насъ совсѣмъ не комическую сторону дѣла. Подобныя ламентаціи, при достаточной назойливости, могутъ по закону реакціи вызвать въ читателяхъ столь чрезмѣрное преклоненіе передъ авторитетами Дарвина, Конта и т. д., что потомъ, можетъ быть, годы понадобятся на отдѣленіе пшеницы отъ плевелъ въ писаніяхъ этихъ современныхъ авторитетовъ. По какимъ бы значить причинамъ ни призатихли голоса противъ «разрушенія авторитетовъ»—этому можно радоваться. Есть писатели, до такой степени сильно вооруженные самою природою или усидчивымъ трудомъ, до такой степени способные поработить мысль читателя, что строго критическое отношеніе къ нимъ уже само по себѣ, независимо отъ результатовъ критики, можетъ принести значительную пользу. Само собою разумѣется однако, что результаты критики, т. е. указанія на дѣйствительно слабыя и дѣйствительно сильныя мѣста разбираемаго писателя, составляютъ при этомъ необходимое условіе. Просто взять да облаять человѣка, не показавъ ничего, кромѣ собственнаго невѣжества или недобросовѣстности или легкомыслія, безъ сомнѣнія, очень нетрудно, но зато и нисколько не полезно. Никакого «разрушенія авторитетовъ» тутъ не будетъ, а будетъ только срамъ для самого критика. Таковъ, напримѣръ, срамъ гг. Антоновича и Жуковскаго, какъ единственный результатъ ихъ попытки «разрушить авторитетъ» Конта.

Къ числу тяжеловѣснѣйшихъ современныхъ авторитетовъ, способныхъ даже гнетущимъ образомъ дѣйствовать на читателя, принадлежитъ Карлъ Марксъ. Рѣдкая логическая сила и громадная эрудиція, признаваемыя даже рѣшительными его противниками, могутъ побудить къ принятію безъ критики и такихъ его положеній, передъ которыми отнюдь не полагается отворять настежь ворота. Возьмемъ примѣръ, который, кромѣ поясненія высказанной мысли, пригодится намъ и впослѣдствіи.

Въ шестой главѣ «Капитала» имѣется параграфъ, озаглавленный: «Такъ называемое первоначальное накопленіе». Здѣсь Марксъ имѣлъ въ виду историческій очеркъ первыхъ шаговъ капиталистическаго процесса производства, но далъ нѣчто гораздо большее — цѣлую философско-историческую теорію. Она очень любопытна вообще, очень любопытна для насъ русскихъ въ особенности.

Капиталистическій процессъ требуетъ для своего осуществленія и развитія наличности двухъ разрядовъ людей: во-первыхъ на-лицо долженъ быть собственникъ денегъ, средствъ производства и существованія, желающій увеличить принадлежащую ему сумму цѣнностей покупкою чужого труда; во-вторыхъ на-лицо долженъ былъ продавецъ труда, *свободный* работникъ. Рабъ или крѣпостной для этого не годится, не годится и крестьянинъ, имѣющій собственное хозяйство. Какъ участникъ капиталистическаго способа производства, работникъ ни самъ не долженъ принадлежать къ условіямъ производства, ни эти условія не должны принадлежать ему. Сообразно этому, первоначальное накопленіе есть процессъ отдѣленія работника отъ условій труда или средствъ производства или собственности. Исторія показываетъ, что вездѣ въ Европѣ процессъ этотъ начался вскорѣ послѣ паденія крѣпостного права. Главные моменты его слѣдующіе. Уничтоженіе феодальныхъ дворовыхъ выбросило на рынокъ труда громадную массу пролетаріевъ, совершенно свободныхъ въ двоякомъ смыслѣ, нужномъ для капиталистическаго производства. Такой же результатъ имѣла реформація сокращеніемъ или уничтоженіемъ феодальныхъ правъ церкви и ея представителей, распущеніемъ монастырскихъ населеній и проч. Рядомъ съ этими факторами, вытекающими непосредственно изъ разрушенія крѣпостного права, дѣйствовалъ рычагъ прямого насилія. Насильственно или обманнымъ образомъ отчуждались государственныя и церковныя имущества, захватывались подъ разными предлогами и разными способами общинныя крестьянскія земли; феодальная, т. е. условная, собственность превращалась въ безусловную частную собственность. Парламентскими и непарламентскими формами насилія, носившими громкіе титулы «билля о включеніи общинныхъ земель», «очищенія имѣній», а то и никакихъ титуловъ не носившими, крестьянскія земли были экспропріированы, что уже само по себѣ отрывало земледѣльца отъ условій его труда. Затѣмъ пахотныя земли обращались въ пастбища, выгоны, а выгоны въ свою очередь въ парки. Всѣмъ этимъ земледѣлецъ усиленно гнался съ земли. Появились цѣлыя толпы бродягъ, нищихъ, разбойниковъ, противъ которыхъ правительства издавали чисто драконовскіе законы. Куда же было дѣваться всѣмъ этимъ со-

гнаннымъ съ земли бродягамъ? Или назадъ, на землю, въ батраки къ новымъ землевладѣльцамъ и ихъ арендаторамъ, или въ города, въ составъ промышленныхъ армій для возникающихъ мануфактуръ. Заморскія событія, въ родѣ открытія американскихъ золотыхъ и серебряныхъ мѣсторожденій, истребленіе и порабощеніе туземныхъ населеній, превращеніе Африки въ поле охоты за неграми, торговыя войны, международный кредитъ—всѣ эти міровыя событія способствовали разъ начавшемуся отлученію труда отъ собственности, работника отъ условій производства. Такимъ образомъ первоначальное накопленіе есть формальное измѣненіе отношеній, именно—превращеніе рабовъ и крѣпостныхъ въ наемныхъ работниковъ, и въ то же время экспропріація непосредственныхъ производителей, т. е. уничтоженіе частной собственности, основанной на собственномъ трудѣ. Это былъ трудный, мучительный и долгій, вѣковой, но въ то же время необходимый процессъ. Средневѣковыя формы самостоятельности земледѣльца и ремесленника, имѣющихъ въ своихъ рукахъ орудія производства, предполагаютъ раздробленіе земли и орудій. Эти формы противятся введенію кооперації, раздѣленію труда, общественному господству надъ природой—словомъ, исключаютъ развитіе *общественной* производительной силы. На извѣстной степени развитія этотъ порядокъ вещей самъ выдвигаетъ матеріалы для своего разрушенія. «Уничтоженіе его, *обращеніе индивидуальныхъ и раздробленныхъ средствъ производства въ общественно-сосредоточенныя*, т. е. обращеніе мелкой собственности многихъ въ громадную собственность немногихъ, т. е. *экспропріація земли, средствъ существованія и орудій труда у большихъ народныхъ массъ*, эта ужасная и трудная экспропріація народа образуетъ первоначальную исторію капитала». Но процессъ на этомъ не останавливается. Въ силу «имманентныхъ законовъ» самаго капиталистическаго производства идетъ дальнѣйшее «обобществленіе» (Vergesellschaftung) труда. На этотъ разъ экспропріируются уже не рабочіе, а сами капиталисты. Одинъ капиталистъ побиваетъ другихъ, немногіе экспропріируютъ многихъ, число магнатовъ капитала сокращается, средства производства сосредоточиваются все въ меньшихъ рукахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ развиваются «кооперативная форма рабочаго процесса, сознательное технологическое приложеніе науки, цѣлесообразная эксплуатація земли, превращеніе орудій труда въ такія, которыя могутъ прилагаться только сообща, и экономизированіе всѣхъ средствъ производства посредствомъ употребленія ихъ, какъ общихъ средствъ производства комбинированнаго, общественнаго труда». Рядомъ со всѣми ужасами нищеты, униженія, гнета, которыми этотъ процессъ обрушивается на массы, идетъ обученіе, объединеніе, организація этихъ массъ «самымъ механизмомъ капиталистическаго процесса производства». И, наконецъ, капиталистическая оболочка не выдерживаетъ этого «обобществленія»: «экспропріирующихъ экспропріируютъ». «Капиталистическій способъ производства и присвоенія, а слѣдовательно и капиталистическая частная собственность есть отрицаніе индивидуальной частной собственности, основывающейся на собственномъ трудѣ. Отрицаніе капиталистическаго производства производится имъ же самимъ и неизбѣжностью собственнаго процесса. Это—отрицаніе отрицанія. Оно снова возстановляетъ индивидуальную собственность, но на основаніи пріобрѣтеній капиталистической эры, т. е. на основаніи кооперації свободныхъ работниковъ и ихъ общиннаго владѣнія землею и средствами производства, произведенными самими работниками». Этотъ обратный процессъ долженъ завершиться несравненно быстрѣе, чѣмъ процессъ экспропріації массъ. (Стр. 613—650 русскаго перевода).

Вотъ въ сжатомъ видѣ философско-историческій взглядъ Маркса. Онъ отнюдь не случайно имъ высказанъ въ главѣ о «первоначальномъ накопленіи» и подкрѣпляется множествомъ мѣстъ въ огромномъ томѣ «Капитала», а равно и въ другихъ сочиненіяхъ Маркса. Представимъ себѣ теперь русскаго человѣка, который увѣровалъ бы въ истинность этой исторической теоріи. Случай очень возможный, такъ какъ Марксъ и общей своей научной физіономіей способенъ внушить безграничное довѣріе, и въ частности приведенная его историческая теорія обставлена въ фактическомъ отношеніи съ большою роскошью, а въ отношеніи логическомъ представляетъ во всякомъ случаѣ нѣчто стройное, цѣльное, а потому соблазнительное. Такой русскій человѣкъ, если только онъ живетъ не исключительно головой, не относится безучастно къ практикѣ жизни, окажется въ чрезвычайно странномъ и трудномъ положеніи, Тотъ обоюдоострый, страшный и вмѣстѣ благодѣтельный, непреоборимый процессъ «обобществленія» труда или, вѣрнѣе, та форма обобществленія, которую излагаетъ Марксъ, у насъ на святой Руси очень мало подвинулась впередъ. Крестьянинъ нашъ далеко не въ такой мѣрѣ «свободенъ» отъ земли и орудій производства, въ какой это необходимо для пышнаго развитія капиталистическаго производства. Напротивъ, не-

смотря на его печальное положеніе какъ земледѣльца и землевладѣльца, многія обстоятельства даже помимо его собственныхъ инстинктовъ держать его у земли. Съ другой стороны капиталы наши представляютъ въ сравненіи съ европейскими нѣчто крайне мизерное. Слѣдовательно, намъ предстоитъ еще пройти вслѣдъ за Европой весь тотъ процессъ, который описалъ и возвелъ на степень философско-исторической теоріи Марксъ. Разница однако въ томъ, что намъ придется повторить процессъ, т. е. совершить его сознательно. По крайней мѣрѣ его долженъ сознавать тотъ русскій человѣкъ, который увѣровалъ въ непреложность исторической теоріи Маркса. Марксъ не скрываетъ, конечно, тяжелыхъ и возмутительныхъ сторонъ процесса. Напротивъ, онъ ставитъ ихъ, что называется, ребромъ. Считаю нелишнимъ привести здѣсь слѣдующую его желчную выходку: «Если на европейскомъ континентѣ вліяніе капиталистическаго производства, которое подкапывается подъ человѣческую расу посредствомъ чрезмѣрнаго труда, дѣленія труда, подчиненія его машинамъ, калѣченія незрѣлыхъ и женскихъ организмовъ, дурной жизни и т. п., будетъ развиваться, какъ это было до сихъ поръ, рука объ руку съ конкуренціей en grand на поприщѣ народной солдатчины, государственныхъ долговъ, налоговъ, изящнаго веденія войны и т. п., то все это можетъ сдѣлать, наконецъ, неизбѣжнымъ обновленіе Европы посредствомъ кнута и насильственнаго смѣшенія европейской крови съ калмыцкою, о чемъ такъ ревностно пророчествуетъ полурусскій и вполнѣ «москвичъ» Герценъ. Замѣтимъ мимоходомъ, что этотъ беллетристъ сдѣлалъ свое открытіе «русскаго» коммунизма не въ Россіи, а въ сочиненіи прусскаго регирунгсрата Гакстгаузена» (613). Не входя въ подробности этой выходки, въ эти «кнуты» и «калмыцкую кровь», уже изъ общаго ея тона не трудно видѣть, какъ долженъ съ своей точки зрѣнія относиться Марксъ къ попыткамъ русскихъ людей найти для своего отечества путь развитія, отличный отъ того, которымъ шла и идетъ Западная Европа; къ попыткамъ, для которыхъ, какъ это уже много разъ доказывалось, вовсе нѣтъ надобности быть славянофиломъ или мистически вѣровать въ особыя высокія качества національнаго русскаго духа: надо только извлекать уроки изъ европейской исторіи. Однако, изъ той же выходки Маркса можно усмотрѣть, до какой степени трудно обойтись намъ безъ подобныхъ попытокъ. Въ самомъ дѣлѣ, русскому народу и безъ того выпала слишкомъ нелегкая доля, чтобы набавлять еще къ этому итогу указываемые Марксомъ способы «подкапыванія подъ человѣческую расу». Выходка Маркса, разумѣется, чисто ироническая. Онъ вполнѣ увѣренъ, что для обновленія Европы не понадобятся никакія постороннія средства, ибо къ обновленію ее приведетъ внутренній процессъ ея собственнаго развитія путемъ обобществленія труда. И ему хорошо иронизировать, когда значительная и тягчайшая часть этого процесса уже совершилась, но вѣдь мы въ иномъ совсѣмъ положеніи. Всѣ эти «калѣченія незрѣлыхъ и женскихъ организмовъ» и проч. намъ еще предстоятъ, и мы съ точки зрѣнія исторической теоріи Маркса не только не должны протестовать противъ этихъ калѣченій, что значило бы прать противъ рожна, но даже радоваться имъ, какъ необходимымъ, хотя и крутымъ ступенямъ, ведущимъ въ храмъ счастія. Трудно вмѣстить въ себѣ такое противорѣчіе, которое терзало бы душу русскаго ученика Маркса на каждомъ шагу въ томъ или другомъ частномъ приложеніи. Ему предстоитъ развѣ роль наблюдателя, съ безстрастіемъ Пимена заносящаго въ лѣтопись факты обоюдоострого прогресса. Принимать же въ немъ активное участіе онъ не можетъ. Для мерзостной стороны процесса онъ совсѣмъ не годится, а всякая дѣятельность, соотвѣтствующая его нравственнымъ требованіямъ, только задержитъ, затянетъ процессъ. Идеалъ его, если онъ ученикъ Маркса, состоитъ между прочимъ въ совпаденіи труда и собственности, въ принадлежности рабочему земли и орудій и средствъ производства. Но въ то же время, если онъ ученикъ Маркса со стороны философско-историческаго взгляда послѣдняго, онъ долженъ радоваться разлученію труда и собственности, расторженію связи между работникомъ и условіями производства, какъ первымъ шагамъ необходимаго и въ концѣ концовъ благодѣтельнаго процесса. Онъ долженъ, слѣдовательно, привѣтствовать неспроверженіе зачатковъ собственнаго идеала. Конечно такое столкновеніе нравственнаго чувства съ исторической необходимостью должно разрѣшиться въ пользу необходимости. У иного нравственное чувство можетъ и противъ смерти возмущаться, но вѣдь придетъ время, и онъ со всѣмъ своимъ нравственнымъ протестомъ уляжется въ такой же гробъ, въ какихъ лежатъ и никогда не протестовавшіе. Но дѣло въ томъ, что надо же доподлинно знать, что историческій процессъ дѣйствительно неизбѣжно таковъ, какимъ его рисуетъ Марксъ. Мы сейчасъ увидимъ, какія поправки къ теоріи можно заимствовать у самого Маркса. Но ясно во всякомъ случаѣ, что мы должны

семь разъ подумать прежде, чѣмъ одинъ разъ отрѣзать себѣ всѣ пути, кромѣ указаннаго нѣмецкимъ экономистомъ. Нужна, словомъ, критика.

И вотъ вы имѣете критику. Ее представилъ г. Ю. Жуковскій въ № 9 «Вѣстника Европы».

Мнѣ не въ первый разъ приходится говорить объ этомъ писателѣ, то-есть о г. Жуковскомъ, и я имѣю нѣкоторое основаніе гордиться своими прежними о немъ разговорами, потому что въ нихъ заключались между прочимъ предсказанія, очень быстро оправдавшіяся, а предсказанія эти вытекали изъ общей характеристики г. Жуковскаго, какъ писателя, слѣдовательно и характеристика содержитъ въ себѣ, надо думать, хоть зерно истины. Позволю себѣ напомнить эту характеристику въ новомъ видѣ—образомъ павлина. Да, г. Жуковскій представляетъ собою образъ и подобіе павлина, который, когда распускаетъ свой разноцвѣтный хвостъ, бываетъ чрезвычайно великолѣпенъ и выступаетъ такъ гордо, что даже слѣды ногъ его имѣютъ, повидимому, въ его глазахъ чрезвычайно важное значеніе; но такъ какъ собственная природа павлина обязываетъ его время отъ времени опускать хвостъ, то онъ и заметаетъ послѣднимъ свои слѣды впредь до новаго распущенія разноцвѣтнаго хвоста. Такъ именно ведетъ себя г. Жуковскій. Началъ онъ свою литературную дѣятельность давно уже, столь давно, что, повидимому, и самъ забылъ это начало, то есть, опустивъ хвостъ, замелъ имъ собственные слѣды. Началъ онъ съ идеи необходимости реформировать юридическія науки при помощи политической экономіи. И хотя этой идеи онъ и до сихъ поръ не забылъ, но предвозвѣщенной реформы не произвелъ, не произведетъ и не можетъ произвести. Не произвелъ потому, что, отложивъ свою цѣль въ сторону, посвятилъ себя орудію, то есть политической экономіи. Не произведетъ и не можетъ произвести потому, что оказалась необходимость новой реформы—реформы самой политической экономіи при помощи математическаго анализа. Съ весьма большой помпой была возвѣщена эта новая реформа, но ее постигла участь первой: г. Жуковскій занялся орудіемъ, то есть дифференціальнымъ и интегральнымъ исчисленіемъ, и до такой степени забылъ цѣль, что одно время серьезно думалъ, будто переводъ теоріи Рикардо съ языка словъ на языкъ математическихъ знаковъ есть настоящее приложеніе математическаго анализа къ экономическимъ явленіямъ. Въ то же время провозглашена была еще одна реформа—реформа всей разсыпанной храмины общественныхъ наукъ при помощи физики и именно механической теоріи. Однако, и эта реформа осталась въ проектѣ и все по той же причинѣ: г. Жуковскій пристрастился къ орудію, физикѣ, и принялся за сочиненіе по теоріи свѣта, котораго хотя до сихъ поръ не написалъ (по крайней мѣрѣ не издалъ), но о которомъ еще въ 1871 г. объявлялъ въ газетахъ. Такъ-то подвигался г. Жуковскій—не знаю ужъ, впередъ ли, назадъ ли, вправо или влѣво, но вообще въ пространствѣ, періодически распуская пышный хвостъ и заметая имъ же свои собственные слѣды, постоянно оставляя, какъ говорятъ французы, quelque chose à dévíner, постоянно давая понять, что есть у него въ запасѣ такой секретъ, такой секретъ... который онъ разскажетъ въ слѣдующій разъ.

Неизвѣстный литературный хроникеръ «Сѣвернаго Вѣстника», воздавъ должное «Вѣстнику Европы», замѣчаетъ: «Это—не то, что тѣ его собраты, которые то и дѣло кокетничаютъ съ читателемъ, зазывая за кулисы, обѣщая показать тамъ нѣчто любопытное, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ тамъ не оказывается ничего кромѣ фарса». Какихъ «собратовъ» почтеннаго журнала имѣетъ въ виду хроникеръ, онъ не говоритъ, да намъ и незачѣмъ знать. Но если имѣть въ виду не журналы, а отдѣльныхъ писателей, то не найдется между ними ни одного, къ которому приведенная характеристика пришлась бы лучше, чѣмъ къ г. Жуковскому. (Она очень идетъ и къ самому хроникеру, но до него намъ здѣсь дѣла нѣтъ).

Пообѣщать громадную реформу науки и дать переложеніе давно извѣстной теоріи съ одного языка на другой — развѣ это не значитъ пообѣщать «нѣчто любопытное» и дать «фарсъ»? Или вотъ, напримѣръ, г. Жуковскій лѣтъ уже восемь тому назадъ заявилъ, что ему извѣстны «спеціальныя изслѣдованія дѣйствительно позитивнаго характера, правда немногочисленныя, но драгоцѣнныя въ нравственной литературѣ, *можетъ быть, вовсе незнакомыя ни русскому читателю, ни русской журналистикѣ*, которыя давно отвели свое надлежащее историческое мѣсто и старымъ взглядамъ на этотъ предметъ (на отношеніе математики къ соціологіи) позитивистовъ, да и самой позитивной философіи Конта». И восемь лѣтъ г. Жуковскій держитъ русскаго читателя и русскую журналистику въ неизвѣстности! Это ли еще не кокетничанье? И это ли еще не фарсъ, если принять въ соображеніе, что драгоцѣнныя съ точки зрѣнія г. Жуковскаго страницы «нравственной литературы», неизвѣстныя ни русскому читателю, ни русской журналистикѣ, неизвѣстны въ то же время ему самому? Неизвѣстны

и не могутъ быть извѣстны, по той простой причинѣ, что ихъ нѣтъ. Увлекшись кокетствомъ, г. Жуковскій сказалъ неправду. Впрочемъ, до такого прямого, завѣдомаго лжесвидѣтельства г. Жуковскій не всегда доходитъ. Кокетству свойственно самому увлекаться затѣянной игрой и до извѣстной степени вѣрить въ присутствіе отсутствующихъ достоинствъ. Человѣкъ, до такой степени способный засиживаться на полудорогѣ къ цѣли, на обработкѣ орудій достиженія этой цѣли, естественно склоненъ оставлять quelque chose à dévîner не только читателю, а и самому себѣ. Юридическія науки стоятъ неудовлетворительно, не имѣютъ настоящаго научнаго облика; нужно ихъ реформировать при помощи политической экономіи. Хорошо. Догадывался ли читатель статей г. Жуковскаго, какой новый обликъ получаютъ юридическія науки послѣ реформы? Догадывался, но благодаря отнюдь не самому г. Жуковскому, а его обстановкѣ, главнымъ образомъ опредѣленности физіономіи журнала, въ которомъ г. Жуковскій работалъ. Зналъ ли самъ г. Жуковскій характеръ и содержаніе реформированнаго зданія науки? Въ общихъ чертахъ, по всей вѣроятности, зналъ, но можно уже навѣрное сказать, что о результатахъ второй реформы самъ онъ рѣшительно не имѣлъ яснаго представленія, ибо иначе онъ не могъ бы принять переложеніе теоріи Рикардо на математическій языкъ за реформу науки. Здѣсь онъ столько же обманывалъ самого себя, сколько читателей. Нѣкоторыя поверхностныя соображенія толкнули его на путь, совершенно для него темный. Онъ и самъ не зналъ, что въ концѣ этого пути нѣтъ ничего, кромѣ фарса. Онъ и самъ думалъ, что близокъ къ овладѣнію такимъ секретомъ, такимъ секретомъ... который онъ въ состояніи будетъ разсказать въ слѣдующій разъ. Нѣсколько иной характеръ (нѣсколько менѣе похожій на фарсъ) имѣетъ проектъ третьей реформы, хотя и тутъ г. Жуковскій очевидно изложилъ проектъ прежде, чѣмъ составилъ себѣ опредѣленное понятіе о результатахъ его исполненія, и тутъ читатель заманивался въ сферы, таинственныя для самого автора. Отсюда нѣкоторая туманность всей литературной физіономіи г Жуковскаго. Литературная дѣятельность слагается изъ двухъ частей: теоретической—научной и практической—прикладной. Что касается научной стороны дѣятельности г. Жуковскаго, то она естественно не могла до сихъ поръ получить характера законченности и опредѣленности, ибо, провозгласивъ необходимость реформы юриспруденціи при помощи анализа экономическаго, онъ вслѣдъ затѣмъ провозглашаетъ необходимость радикальнаго измѣненія самаго орудія этой реформы, то есть политической экономіи; ясно, что непосредственные результаты первой реформы отходятъ въ сторону, о нихъ нельзя себѣ составить опредѣленнаго понятія до окончанія второй реформы, а между тѣмъ подоспѣваетъ и еще одинъ проектъ реформы. Эта неопредѣленность результатовъ научнаго анализа явленій должна конечно отразиться и на практической сторонѣ литературной дѣятельности г. Жуковскаго извѣстными колебаніями. И дѣйствительно, мы видимъ слѣдующее. Первоначально политическій образъ мыслей г. Жуковскаго былъ довольно ясенъ, отчасти опять-таки благодаря журналу, въ которомъ онъ участвовалъ, а отчасти благодаря нѣкоторымъ его собственнымъ статьямъ, которыя онъ вѣроятно теперь не особенно охотно вспоминаетъ. Не буду и я смущать миръ его души этими напоминаніями. Затѣмъ г. Жуковскій (въ «Космосѣ») сталъ уже намекать, что его смѣшивали, «ставили въ одинъ разрядъ» съ какими-то «площадными повѣсами» и что это обстоятельство его очень огорчаетъ. Еще дальше намеки перешли въ прямыя жалобы. Г. Жуковскій сталъ объяснять (въ «Исторіи политической литературы XIX столѣтія»), что онъ «излагалъ только частные выводы экономическаго анализа» и никогда не забывалъ, что выводы эти должны еще видоизмѣняться въ зависимости отъ «вопроса дисциплины», что его, г. Жуковскаго, совершенно напрасно упрекали въ недостаточномъ уваженіи къ принципу «дисциплины». Наконецъ еще дальше г. Жуковскій пишетъ статью о Карлѣ Марксѣ, въ которой признаетъ начало дисциплины уже въ «полномъ размѣрѣ», какъ онъ любитъ выражаться, хотя по старой привычкѣ все еще даетъ понять, что у него есть такой секретъ, такой секретъ... котораго, увѣряя васъ, онъ даже самому себѣ никогда не откроетъ.

Надо отмѣтить еще одну черту г. Жуковскаго, какъ мыслителя и писателя, находящуюся впрочемъ въ самой тѣсной связи со всѣмъ вышесказаннымъ. Онъ очень любитъ говорить о различіи между формальнымъ и матеріальнымъ, между «феноменальнымъ» и «существеннымъ», но не особенно хорошо уяснилъ себѣ дѣйствительныя различія и предѣлы этихъ логическихъ категорій. Возьмемъ такой примѣръ. Въ виду вашего малокровія, докторъ совѣтуетъ вамъ ѣсть побольше мяса. Вы кушаете битокъ. Подходитъ г. Жуковскій и съ весьма серьезнымъ видомъ, съ готовностью даже пустить въ ходъ математическій анализъ, замѣчаетъ, что битокъ вѣдь это—собственно только форма, что мясо можетъ быть приготовлено и въ формахъ ростбифа, биф-

штекса и проч. Вы отвѣчаете, что это вамъ очень хорошо извѣстно, но что по обстоятельствамъ, напримѣръ потому, что у васъ зубы плохи, вы предпочитаете форму рубленаго мяса.—Это такъ, отвѣчаетъ г. Жуковскій:—но все-таки замѣтьте, что употребленіе мяса въ формѣ битка несущественно.—Это надоѣдливо, но по крайней мѣрѣ резонно и даже какъ-будто къ дѣлу идетъ. Но вотъ г. Жуковскій походилъ, походилъ, подумалъ, подумалъ и опять къ вамъ: послушайте, вѣдь самое мясо, это что же такое? только форма бытія, форма матеріи, потенціальная сила которой при извѣстныхъ условіяхъ преобразуется въ живую силу вашего организма. Это очень справедливо, но къ дѣлу уже вовсе не идетъ, что и самъ г. Жуковскій долженъ понимать; но ему такъ нравится презрительное отношеніе ко всему формальному и «феноменальному» и третированіе за панибрата всего «существеннаго», что онъ можетъ и дальше пойти, заговорить о томъ, что потенціальная сила есть, собственно говоря, только форма силы, именно сила, находящаяся въ состояніи напряженія. Вмѣстѣ съ этимъ онъ, разумѣется, отойдетъ отъ настоящаго предмета разсужденія за тридевять земель, заманивая васъ все дальше и дальше въ область существеннаго и ничего тамъ не показывая. На дѣлѣ онъ такъ далекъ отъ пониманія дѣйствительнаго характера употребляемыхъ имъ во зло логическихъ категорій, что можетъ, какъ мы уже видѣли, принять математическую форму изложенія за существенный переворотъ въ наукѣ. Можетъ онъ также употребить такое несообразное выраженіе, какъ «феноменальное явленіе». Несообразное, ибо «феноменъ» и значитъ «явленіе» (въ противоположность «нумену», сущности), и если мы вынуждены употреблять слово «феноменальный», такъ единственно потому, что по-русски существуетъ только одно прилагательное, производное отъ слова «явленіе»—«явленный», имѣющее свой слишкомъ спеціальный смыслъ.

Обращаясь къ возраженіямъ г. Жуковскаго Марксу, замѣтимъ прежде всего, что между ними нѣтъ ни одного оригинальнаго. Охотно вѣрю, что г. Жуковскій до всѣхъ ихъ своимъ умомъ дошелъ, но тѣмъ не менѣе, по странному стеченію обстоятельствъ, они были у него предвосхищены разными нѣмцами. Разница только въ томъ, что нѣмцы ведутъ дѣло на чистоту, а г. Жуковскій laisse quelque chose à deviner.

Самое общее и притомъ едва ли не единственно вѣрное замѣчаніе состоитъ въ указаніи на пристрастіе къ гегелевской діалектикѣ. Дѣйствительно, Марксъ, несмотря на свой протестъ противъ гегелевской философіи, очень охотно, даже слишкомъ охотно прибѣгаетъ къ ея діалектикѣ, чѣмъ безъ нужды усложняетъ и затрудняетъ пониманіе своихъ выводовъ. Это было всѣми давно замѣчено (въ особенности Дюрингъ, вообще крайне несправедливый къ Марксу, налегъ на это обстоятельство въ своей «Критической исторіи политической экономіи и соціализма»), и самъ Марксъ счелъ нужнымъ отозваться на голосъ критики во второмъ изданіи «Капитала». Но, отнюдь не снимая этого грѣха съ души Маркса, г. Жуковскому слѣдовало бы помнить то, что онъ нѣкогда понималъ довольно хорошо, а именно, что гегелевская діалектика, именно благодаря своей пустотѣ, безсодержательности, можетъ иногда оказаться «случайной внѣшней рамкой, въ которую авторъ вставилъ выводы, добытые вовсе не априористическимъ путемъ, а чистымъ анализомъ фактовъ», что «метафизическая форма» можетъ быть «просто механической приставкой къ независимому отъ нея содержанію». Такими именно словами характеризовалъ нѣкогда (и не Богъ знаетъ какъ давно, въ 1866 г.) г. Жуковскій пристрастіе къ гегелевщинѣ у Прудона (въ брошюрѣ «Прудонъ и Луи Бланъ»). А между тѣмъ вся разница въ этомъ отношеніи между Прудономъ и Марксомъ состоитъ въ томъ, что послѣдній не по наслышкѣ, какъ первый, знакомъ съ гегелевской діалектикой, и потому прилагаетъ ее къ дѣлу искуснѣе, но вмѣстѣ съ тѣмъ слишкомъ ужъ обильно.

Надо замѣтить, что въ глазахъ г. Жуковскаго Марксъ—вдвойнѣ грѣшникъ, вдвойнѣ «формалистъ», во-первыхъ, какъ ученикъ «формалистической» философіи Гегеля, во-вторыхъ — какъ соціалистъ. Эти два пункта, къ сожалѣнію, такъ перепутаны въ обвинительномъ актѣ г. Жуковскаго, что и намъ трудно отдѣлить ихъ другъ отъ друга. Будемъ слѣдовать за авторомъ обвинительнаго акта.

Г. Жуковскій начинаетъ какъ истый схоластикъ: область общественныхъ наукъ дѣлится на двѣ отрасли, соотвѣтствующія двумъ сторонамъ, заключающимся въ каждомъ предметѣ: сторону формальную изучаетъ наука права, сторону матеріальную—экономія. Первоначально это раздѣленіе труда имѣло свои резоны въ историческомъ ходѣ науки. Наука права родилась раньше экономіи и потому стала искать объясненія формъ общежитія, какъ явленій совершенно самостоятельныхъ или по крайней мѣрѣ независимыхъ отъ явленій экономическихъ. «Изучая ихъ въ такомъ видѣ, первоначально наука права отыскивала объясненія этихъ формъ и ихъ опредѣляю-

щаго содержанія поневолѣ въ такихъ же формальныхъ, отвлеченныхъ основаніяхъ. Онѣ для нея служили то осуществленіемъ на землѣ высшей правды и справедливости, то идеи добра, проходившей въ своемъ развитіи формальныя стадіи логическаго процесса и достигавшей наконецъ сознанія самой себя». Эти объясненія формъ общежитія оказались неудовлетворительными. Между тѣмъ выросла экономія, на которую однако юристы не пожелали опереться. Тогда среди экономическихъ писателей возникла сангвиническая, нетерпѣливая школа, «вмѣшавшаяся въ формальные вопросы общежитія съ экономической точки зрѣнія», не имѣя, однако, нужныхъ для подобнаго вмѣшательства выдержки и знанія. «Если въ то время, когда оно (вмѣшательство) произошло, можно было говорить о связи между формальными и экономическими фактами, то въ ближайшемъ своемъ видѣ эта связь была вовсе не обслѣдована, и экономическое значеніе отдѣльныхъ формъ вовсе не выяснено въ подробности. Точно также недостаточно была изслѣдована и матеріальная или экономическая сторона общежитія, и не выяснены въ точности границы, полагаемыя стремленіямъ человѣка, какъ внѣшней природой, такъ природою самого человѣка». Ничего этого не знали и знать не хотѣли сангвиническіе люди. «Всѣ слабыя стороны матеріальнаго положенія были отнесены къ недостаткамъ въ формахъ, и потому устраненіе ихъ поставлено въ прямую зависимость отъ измѣненія этихъ формъ. Что же касается послѣдняго, то форма представлялась этому направленію исключительно зависящею отъ произвола человѣка и независящею ни отъ матеріальныхъ условій, ни отъ природы или степени развитія человѣческой личности». Сангвиники поторопились, вмѣсто научной провѣрки своихъ положеній «предложили опытъ» и окончательно потеряли кредитъ.

Марксъ принадлежитъ къ числу этихъ сангвиниковъ. Спрашивается: насколько онъ, какъ позднѣйшій представитель школы, успѣлъ освободиться отъ общихъ ея недостатковъ? Оказывается, что онъ отъ нихъ не освободился «въ томъ отношеніи, что ограничиваетъ свое изслѣдованіе точно также одной формальной стороной, а другая, матеріальная сторона, оставляется имъ точно также безъ серьезнаго разсмотрѣнія. Правда, онъ и въ этомъ отношеніи настолько разсудительнѣе своихъ предшественниковъ, что не игнорируетъ вовсе значенія матеріальныхъ условій, но онъ въ то же время обходитъ ихъ прямое изслѣдованіе». Въ доказательство г. Жуковскій ссылается на слѣдующія умозаключенія нѣмецкаго писателя. Марксъ объясняетъ, что юридическія и политическія отношенія не суть самостоятельныя явленія, а вырастаютъ на почвѣ отношеній экономическихъ; что измѣняются они подъ вліяніемъ измѣненій въ условіяхъ производства. Извѣстныя юридическія и политическія отношенія не только въ дѣйствительности, а и въ сознаніи не могутъ возникнуть раньше, чѣмъ будетъ готова для нихъ матеріальная почва въ видѣ соотвѣтственныхъ условій производства. Слѣдовательно, заключаетъ отсюда Марксъ, если въ современномъ буржуазномъ обществѣ мы видимъ начало борьбы старыхъ порядковъ съ новыми, если въ сознаніи множества людей возникаетъ требованіе новыхъ юридическихъ отношеній, то значитъ матеріальная почва для нихъ готова.

Г. Жуковскій довольно долго ломается надъ этими соображеніями Маркса, справедливо видя въ нихъ отраженіе гегелевской философіи, но все-таки вовсе несправедливо и даже без... застѣнчиво, какъ мы сейчасъ увидимъ, обзывая за нихъ Маркса «формалистомъ», который обходитъ прямое изслѣдованіе матеріальныхъ условій юридическихъ отношеній.

Мы имѣемъ теперь уже всѣ данныя для сужденія о достоинствѣ общихъ критическихъ пріемовъ г. Жуковскаго. Но такъ какъ провѣрить ихъ всего удобнѣе на приведенной выше главѣ о первоначальномъ накопленіи, то посмотримъ сначала, какъ относится критикъ къ изложенному тамъ общему закону экономическаго развитія.

Само собою разумѣется, что г. Жуковскій слишкомъ vornehm, слишкомъ великолѣпенъ для приданія вопросу той постановки, которую я рекомендовалъ вниманію читателя. Нѣкогда, въ статьѣ, написанной по поводу магистерской диссертаціи г. Янсона, придравшись къ одному неловкому выраженію почтеннаго профессора, г. Жуковскій обратился къ нему съ такимъ апострофомъ: «Почтенный докторантъ, тутъ дѣло вовсе не въ томъ, чѣмъ кончитъ человѣческій духъ—извѣстное дѣло, когда-нибудь все перемелется—мука будетъ, а чѣмъ кончатъ хотя бы саксонскія поля черезъ 60 или 100 лѣтъ, или русскія черезъ 300» («Смитовское направленіе и позитивизмъ въ экономической наукѣ»). Теперь г. Янсонъ имѣлъ бы полное право возвратить эти восклицанія г. Жуковскому, ибо послѣдній въ экономическихъ вопросахъ болѣе занятъ энтрошіей (одинъ изъ способовъ объясненія того, какъ все, со включеніемъ духа, перемелется), чѣмъ участью не только русскихъ полей, но и русскихъ крестьянъ. Г. Жуковскій обращаетъ вниманіе на слѣдующіе моменты изложеннаго Марксомъ процесса образованія

капитала и обобществленія труда. «По своему отношенію къ юридическимъ основамъ общества, говоритъ онъ, — Марксъ рѣзко выдѣляется изъ школы соціалистовъ. Если мы примемъ за отличительный признакъ послѣднихъ критическое отношеніе къ началу личной собственности, то должны будемъ признать, что изслѣдованіе Маркса держится другой почвы: онъ остается на той почвѣ личной собственности, которая отрицается соціалистами крайняго направленія; онъ признаетъ это начало, какъ начало, и все его изслѣдованіе направлено къ тому, чтобы объяснить всѣ темныя стороны европейской соціальной жизни вовсе не присутствіемъ этого начала, а тѣмъ, что это начало было нарушено по отношенію къ работнику» Затѣмъ въ концѣ статьи г. Жуковскій очень бѣгло, въ нѣсколькихъ словахъ, сообщаетъ содержаніе главы о первоначальномъ накопленіи. Это бы еще ничего, что онъ его сообщаетъ бѣгло, но онъ дѣлаетъ это крайне неполно. Такъ о томъ, что Марксъ называетъ обобществленіемъ труда, критикъ не упоминаетъ вовсе, ни разу, равно какъ и въ другихъ мѣстахъ статьи. Онъ говоритъ только, что процессъ состоитъ въ отдѣленіи рабочаго отъ условій производства, въ частности—въ обезземеленіи, и заключаетъ такъ: «Какъ просты кажутся формалистамъ причины капиталистическаго процесса, столь же просты кажутся имъ и средства его измѣненія. Для Маркса, повидимому, все дѣло можетъ ограничиться закрѣпленіемъ за рабочими права на прибыль». А, дескать, «матеріальныя условія вопроса, лежащія какъ въ степени развитія личности рабочаго, такъ и въ матеріальныхъ условіяхъ производства»—для Маркса не существуютъ.

Такова общая характеристика нѣмецкаго писателя, сдѣланная русскимъ критикомъ. Имѣю смѣлость заявить, что вся она представляетъ одну большую ложь, состоящую изъ ряда маленькихъ лжей, такъ что трудно даже рѣшить, за которую изъ нихъ удобнѣе взяться сначала для выясненія настоящей физіономіи подсудимаго: embarras de richesses, слишкомъ много цвѣтовъ! Начнемъ съ указанія на уваженіе Маркса къ началу личной собственности. Собственно говоря, этотъ вопросъ мало идетъ къ дѣлу, такъ какъ мы имѣемъ въ виду Маркса, какъ человѣка науки, и практической его дѣятельности касаться здѣсь не можемъ, а нѣтъ ни одной его научной работы, спеціально посвященной вопросу о формахъ собственности. Но ради ясности вспомнимъ, что онъ есть одинъ изъ авторовъ «манифеста коммунистической партіи». Самое заглавіе этого документа показываетъ, что соотвѣтственную часть его характеристики, представленной г. Жуковскимъ, надо понимать совершенно наоборотъ. Къ этой фактической, для всякаго безъ разъясненій осязательной неправдѣ можно бы было тутъ же поставить точку и перейти къ слѣдующимъ неправдамъ Но самъ собою является вопросъ: почему г. Жуковскій пожелалъ ввести читателей «Вѣстника Европы» на этомъ пунктѣ въ заблужденіе? или же—гдѣ основанія его собственнаго заблужденія? Мы видѣли, что философско-историческая схема Маркса такова: капиталистическая частная собственность есть отрицаніе индивидуальной частной собственности, основанной на собственномъ трудѣ; затѣмъ происходитъ историческое отрицаніе этого отрицанія, вновь возстановляется индивидуальная собственность, но на основаніи пріобрѣтеній капиталистической эры — на основаніи кооперації свободныхъ работниковъ и общиннаго владѣнія землею и средствами производства, произведенными самими работниками. Послѣдняя часть схемы опять-таки ясно показываетъ, до какой степени наоборотъ слѣдуетъ понимать показаніе г. Жуковскаго объ отношеніи Маркса къ началу личной собственности. Какое ужъ тутъ уваженіе къ личной собственности, когда предсказывается и рекомендуется общинное владѣніе землей и средствами производства! Г. Жуковскаго очевидно смутило слово «индивидуальный». Дѣло въ томъ, что въ схему свою Марксъ ввернулъ два общеизвѣстные фокуса гегелевской діалектики, къ которой г. Жуковскій такъ строгъ, но которой въ данномъ случаѣ не замѣтилъ или не хотѣлъ замѣтить. Во-первыхъ, вся схема построена по закону гегелевской тріады: сначала идетъ положеніе, тезисъ, затѣмъ отрицаніе, антитезисъ и, наконецъ, отрицаніе отрицанія, дающее въ окончательномъ результатѣ синтезисъ. Во-вторыхъ этотъ синтезисъ основывается на тождествѣ противоположностей: индивидуальной и общинной собственности. Значитъ тутъ слово «индивидуальный» имѣетъ особенный, чисто условный смыслъ члена діалектическаго процесса и ничего ровно на немъ основывать нельзя. Правда, г. Жуковскій опирается повидимому преимущественно на фактическую часть историческаго очерка Маркса. Но вѣдь фактическая сторона потому и называется фактической, что разсказываетъ, какъ дѣло было. И соціалистъ, и экономистъ, и Жуковскій, и Марксъ, и Сидоръ, и Петръ должны будутъ приблизительно одинаково передать ее. Разница будетъ только въ освѣщеніи фактовъ. Марксъ освѣщаетъ ихъ съ точки зрѣнія отлученія работника отъ условій производства, но прослѣживаетъ это общее теченіе въ самыхъ разнообразныхъ явленіяхъ. Такъ, мы видѣли, напримѣръ, его ука-

занія на значеніе распущенія феодальныхъ дворовыхъ, на расхищеніе общинныхъ земель, на продажу церковныхъ имуществъ и проч. Слѣдовательно, и относительно фактической стороны г. Жуковскій просто, какъ говорится, сболтнулъ. Зачѣмъ?—неизвѣстно. Почему?—можетъ быть просто потому, что ничего не понялъ.

Зато обвиненіе въ гегелевщинѣ остается въ полной силѣ. Посмотримъ однако, не служитъ ли она и у Маркса, какъ по объясненію г. Жуковскаго у Прудона, только случайной внѣшней рамкой, въ которую авторъ вставилъ выводы, добытые не априористическимъ путемъ, а строгимъ анализомъ фактовъ. Г. Жуковскій не только этого не допускаетъ, но подсовываетъ на эту чашку вѣсовъ своей удивительной критики еще одну гирю: Марксъ—формалистъ, какъ гегельянецъ, да еще и какъ «сангвиникъ». Въ качествѣ такого дубль-экстракта формализма Марксъ, хотя и признаетъ значеніе экономическихъ условій для юридическихъ и политическихъ формъ, но «формальнымъ пріемомъ обходитъ» ихъ изслѣдованіе, именно предполагая, что разъ въ сознаніи современниковъ возникаютъ новыя формы, такъ значитъ матеріальныя условія для нихъ уже готовы. Кромѣ того, Марксъ, какъ двойной формалистъ, думаетъ, что все дѣло можетъ ограничиться закрѣпленіемъ за рабочими права на прибыль (битокъ, вѣдь это что же такое? только форма!), а какія для этого условія нужны, онъ и знать не хочетъ. Таковы обвиненія г. Жуковскаго. Если они попадутся человѣку, совершенно незнакомому съ Марксомъ, то этотъ бѣдный человѣкъ получитъ замѣчательно извращенное понятіе о «Карлѣ Марксѣ и его книгѣ о капиталѣ» (такъ озаглавлена статья г. Жуковскаго). Дѣйствительно, изъ приведенныхъ обвиненій слѣдуетъ, кажется, прежде всего заключить, что обвиняемый есть юридическій писатель, доказывающій въ сочиненіи «Капиталъ» право рабочихъ на прибыль. Между тѣмъ какъ въ дѣйствительности ни «Капиталъ», ни другое цитируемое г. Жуковскимъ сочиненіе Маркса «Zur Kritik der politischen Oekonomie»—отнюдь такой цѣли въ виду не имѣютъ. «Конечная цѣль этого сочиненія—показать экономическій законъ развитія новѣйшаго общества», говоритъ Марксъ о своемъ «Капиталѣ» и строго выдерживаетъ эту программу. Правда, для него право рабочихъ на прибыль несомнѣнно; правда, онъ увѣренъ, что въ концѣ концовъ и самый законъ развитія новѣйшаго общества тяготѣетъ къ признанію этого права. Поэтому тамъ и сямъ, въ особенности въ примѣчаніяхъ, въ предисловіяхъ, въ заключительныхъ словахъ нѣкоторыхъ главъ, можно найти указанія на право рабочихъ. Но систематически доказывать его онъ вовсе не думалъ. «Капиталъ» цѣликомъ посвященъ анализу условій производства и экономическихъ отношеній, такъ что показаніе г. Жуковскаго, что Марксъ «обходитъ» изслѣдованіе «матеріальныхъ условій», было бы совершенно непонятно, если бы мы не имѣли уже одного яркаго образца без... церемонности нашего критика. Вотъ что г. Жуковскій, трактуя о Марксѣ, «обходитъ» ни больше, ни меньше какъ всего Маркса—это вѣрно.

Если Марксъ сказалъ: законъ развитія современнаго общества таковъ, что оно само спонтанейно отрицаетъ свое предъидущее состояніе и затѣмъ отрицаетъ это отрицаніе, примиряя противорѣчія пройденныхъ стадій въ единствѣ индивидуальной и общинной собственности; если бы онъ сказалъ это и *только* это (хотя бы и на многихъ страницахъ), то онъ былъ бы чистымъ гегельянцемъ, строящимъ законы исторіи изъ глубины своего духа и успокоивающимся на чисто формальныхъ, то есть независимыхъ отъ содержанія, принципахъ. Но вѣдь всякій читавшій «Капиталъ» знаетъ, что онъ сказалъ не только это. Мало того: всякій прочитавшій только вышеприведенное бѣглое изложеніе главы о первоначальномъ накопленіи долженъ понять, что гегельянскую формулу можно также легко снять съ втиснутаго въ нее содержанія, какъ перчатку съ руки или шляпу съ головы, нимало не повредивъ руки или головы. Относительно пройденныхъ ступеней экономическаго развитія тутъ даже ни малѣйшихъ сомнѣній быть не можетъ. Называйте эти пройденныя ступени положеніемъ и отрицаніемъ, называйте иначе, перемѣните всю группировку, сдѣлайте изъ двухъ ступеней десять, двадцать — фактически Марксъ останется правъ. Разрушеніе феодальныхъ порядковъ въ Европѣ, дѣйствительно, сопровождалось отлученіемъ работника отъ условій производства; сила вещей, дѣйствительно, сгоняла этихъ отлученныхъ въ мануфактуры. Столь же несомнѣнно и дальнѣйшее теченіе процесса: сосредоточеніе средствъ производства все въ меньшемъ и меньшемъ числѣ рукъ. Насчетъ будущаго могутъ быть конечно сомнѣнія. Марксъ полагаетъ, что такъ какъ концентрація капитала сопровождается обобществленіемъ труда, то это послѣднее и составитъ ту экономическую и нравственную почву, на которой вырастутъ новые юридическіе и политическіе порядки. Г. Жуковскій имѣлъ полное право назвать это построеніе гадательнымъ, но не имѣлъ никакого права (нравственнаго, разумѣется) совершенно умолчать о значеніи, какое Марксъ придаетъ процессу обобществленія. А онъ,

какъ мы уже видѣли, умолчалъ. Онъ только съ ученымъ видомъ знатока потолокъ воду насчетъ формализма, не принимающаго въ соображеніе ни матеріальныхъ условій, ни степени развитія личности. Марксъ, говоритъ, думаетъ, что признавъ право рабочихъ на прибыль, да и шабашъ! Нѣтъ, не шабашъ, Марксъ это очень хорошо зналъ. И не только зналъ, а сказалъ съ ясностью и выразительностью, далеко превосходящею вялое и туманное мямленье г. Жуковскаго, и обслѣдовалъ съ знаніемъ, не менѣе возвышающимся надъ надменною quasi-ученостью беззастѣнчиваго критика. Въ предисловіи къ «Капиталу» читаемъ: «Въ Англіи процессъ преобразованія очевиденъ до осязательности. Дойдя до извѣстной высоты развитія, онъ долженъ отразиться на континентѣ (Марксъ имѣетъ въ виду преимущественно Германію). Въ какихъ формахъ проявится онъ тамъ, въ грубыхъ или гуманныхъ — *это совершенно зависитъ отъ степени развитія самихъ работниковъ*. Слѣдовательно, независимо отъ высшихъ мотивовъ, собственный интересъ самихъ теперешнихъ господствующихъ классовъ требуетъ устраненія путемъ закона всѣхъ препятствій, мѣшающихъ развитію рабочаго класса». Великъ комизмъ положенія человѣка, величественно вздымающаго руку для пораженія противника и попадающаго при этомъ пальцемъ въ небо! Г. Жуковскій *полемизируетъ* съ Марксомъ: «Я утверждаю, что мѣра, въ которой случится это участіе (участіе рабочаго въ прибыли), зависитъ отъ матеріальныхъ условій вопроса, лежащихъ какъ въ степени развитія личности рабочаго, такъ и въ матеріальныхъ условіяхъ производства. *Иначе разсуждаютъ формалисты*». О, да! совершенно иначе, но все-таки, подумаешь, сколько важности тратится иной разъ совсѣмъ напрасно!

«Одна нація можетъ и должна учиться у другой», говоритъ Марксъ. Оставляя на минуту г. Жуковскаго въ покоѣ, спросимъ: какого же рода урокъ можемъ мы получить изъ исторіи развитія экономическихъ отношеній въ Англіи? Имѣя въ виду свое отечество, Германію, Марксъ съ особеннымъ вниманіемъ отнесся къ англійскому фабричному законодательству, то есть къ тому, насколько въ Англіи подвинулся вопросъ о правительственномъ вмѣшательствѣ въ регулированіе рабочаго дня, женскаго и дѣтскаго труда и проч. Здѣсь, именно, лежатъ тѣ поправки къ фатальной непреклонности историческаго процесса, которыя могутъ быть заимствованы у самого Маркса. Фабричное законодательство, по крайней мѣрѣ въ принципѣ, направлено къ огражденію рабочаго населенія отъ калѣченія и къ доставленію ему возможности безпрепятственно развивать свои человѣческія способности. Слѣдовательно, возможно до извѣстной степени смягчить непреклонность процесса; возможно и должно, какъ образно выражается Марксъ, облегчить муки родовъ. Но для насъ очевидно и этихъ смягченій мало, ибо, какъ ни желательно у насъ развитіе и извѣстное направленіе фабричнаго законодательства, оно можетъ охватить лишь очень малое сравнительно число народа, а потому необходимо изысканіе путей для болѣе непосредственнаго обхода среднихъ стадій описаннаго Марксомъ процесса.

Изъ этого читатель между прочимъ видитъ, что мы вовсе не расположены только слушать, что magister dixit, а напротивъ, съ удовольствіемъ выслушали бы и отъ такого магистра, какъ г. Жуковскій, рядъ дѣйствительно критическихъ замѣчаній. Къ сожалѣнію до сихъ поръ мы видѣли только рядъ неправдъ. Къ еще большему сожалѣнію, мы и впредь увидимъ тоже самое.

До сихъ поръ у насъ шла провѣрка критики г. Жуковскаго на примѣрѣ, нами выбранномъ. Возьмемъ примѣръ, выбранный имъ самимъ. На основаніи нѣсколькихъ словъ предисловія къ «Zur Kritik der politischen Oekonomie» онъ утверждаетъ, что Марксъ, какъ формалистъ-гегельянецъ, довольствуется заявленіемъ, что сознаніе новыхъ общественныхъ формъ уже гарантируетъ наличность необходимыхъ для этихъ формъ матеріальныхъ условій. Опять-таки, если бы Марксъ написалъ только это предисловіе къ «Zur Kritik», то г. Жуковскій былъ бы совершенно правъ. Но такъ какъ Марксъ сдѣлалъ нѣсколько больше, то г. Жуковскій опять-таки говоритъ прямую, завѣдомую неправду. Если снять съ «Капитала» тяжелую, неуклюжую и ненужную крышку гегельянской діалектики, то независимо отъ другихъ достоинствъ этого сочиненія мы увидимъ въ немъ превосходно разработанный матеріалъ для рѣшенія общаго вопроса объ отношеніи формъ къ матеріальнымъ условіямъ ихъ существованія и превосходную постановку этого вопроса для частной области.

Г. Жуковскій весьма основательно замѣтилъ, что употребленіе мяса въ видѣ битка не существенно. Битокъ въ этомъ случаѣ есть, дѣйствительно, только форма, имѣющая, какъ и другія формы, свои удобства и неудобства. Человѣкъ—тоже форма бытія, оформленный клочокъ вещества, своеобразно ведущій приходо-расходную книжку своего существованія, только форма, по отношенію къ которой битокъ является однимъ изъ матеріальныхъ условій существованія. Но вотъ что удивительно: форма эта такъ

сильна, что битокъ и всякія другія формы не только мяса, а питательнаго вещества вообще, поступая въ организмъ человѣка, преобразуются въ матеріалы для поддержанія именно этой формы. Человѣкъ ѣстъ мясо, ѣстъ хлѣбъ, рыбу, рѣдьку съ квасомъ, но остается человѣкомъ. Извѣстная органическая форма совершенно, повидимому, подчиняетъ себѣ поступающій въ нее пластическій матеріалъ. Однако это — только повидимому. Въ дѣйствительности, какъ всѣмъ извѣстно, условія существованія способны, хотя и медленно, измѣнять органическія формы. Такимъ образомъ между формой и матеріальными условіями существованія устанавливаются довольно сложныя отношенія, причемъ до поры до времени одолѣваетъ форма, хотя въ концѣ концовъ и преобразующаяся. Съ общественными формами происходитъ нѣчто подобное, и никто лучше Маркса этого не показалъ. Собственно говоря, весь «Капиталъ» посвященъ изслѣдованію того, какъ разъ возникшая общественная форма все развивается, усиливаетъ свои типическія черты, подчиняя себѣ, ассимилируя открытія, изобрѣтенія, улучшенія способовъ производства, новые рынки, самую науку, заставляя ихъ работать на себя, и какъ наконецъ дальнѣйшихъ измѣненій матеріальныхъ условій данная форма выдержать не можетъ.

Книга Маркса требуетъ большой переработки въ смыслѣ очищенія ея отъ многочисленныхъ наростовъ и прожилокъ ненужныхъ діалектическихъ тонкостей, но именно анализъ отношеній данной общественной формы къ матеріальнымъ условіямъ ея существованія навсегда останется памятникомъ логической силы и громадной эрудиціи автора. Г. Жуковскій имѣетъ нравственное мужество утверждать, что этотъ-то вопросъ Марксъ и обходитъ. Тутъ ужъ ничего не подѣлаешь. Остается только съ изумленіемъ слѣдить за дальнѣйшими головоломными упражненіями критика, кувыркающагося на потѣху публики, одна часть которой, безъ сомнѣнія, сразу пойметъ, что передъ ней ломается отважный акробатъ, но другая, чего добраго, придастъ достойному удивленія зрѣлищу совсѣмъ другое значеніе.

Дальнѣйшее теченіе критическаго потока опредѣляется само собой. Русло для него уже выкопано: Марксъ является въ «Капиталѣ» не человѣкомъ анализа экономическихъ фактовъ, а формальнымъ защитникомъ, апологетомъ права рабочихъ. Онъ употребляетъ пріемы, «весьма удобные для того, чтобы выставить въ яркомъ свѣтѣ выгоды капиталиста и невыгоды работника», но въ научномъ смыслѣ эти пріемы никуда не годятся. Все, что Марксъ говоритъ о рабочемъ днѣ, «давно повторяется почти каждымъ сочиненіемъ, посвященнымъ изслѣдованію пауперизма; все это тамъ совершенно на мѣстѣ и способно вселить въ читателя много участія къ положенію рабочаго, но все это говоритъ только о злоупотребленіяхъ, которыя капиталисты дѣлаютъ изъ своего права, говоритъ болѣе объ общей порочности людей и заставляетъ серьезно помышлять о мѣрахъ къ устраненію этихъ злоупотребленій». Правда, нѣкоторые отдѣлы книги, именно тѣ, гдѣ разсказывается, какъ отражался на судьбѣ рабочихъ прогрессъ раздѣленія труда и машинъ, очень хороши; но «собственно говоря, обстоятельства, сюда относящіяся, не представляютъ ничего новаго и давно вошли въ разрядъ общихъ мѣстъ, повторяющихся въ каждой книжкѣ о западномъ пауперизмѣ, съ свойственнымъ этимъ сочиненіямъ человѣколюбіемъ». Въ концѣ концовъ апологія правъ рабочаго, предпринятая Марксомъ въ «Капиталѣ», оказывается крайне шаткою и вообще совершенно неудачною.

Было ужъ замѣчено, что «Капиталъ» никакой апологіи въ виду не имѣетъ, а потому ломанье насчетъ «свойственнаго этимъ сочиненіямъ человѣколюбія» совершенно неумѣстно. А впрочемъ, человѣколюбіе не такая ужъ достойная презрѣнія вещь, чтобы присутствіе его могло компрометировать научное сочиненіе. Вотъ напримѣръ нѣкоторымъ старымъ статьямъ г. Жуковскаго человѣколюбіе нисколько не вредило. Помню я, напримѣръ, его статью «Экономическая теорія Маклеода», въ которой меня тогда же поразилъ слѣдующій оборотъ мысли: «Въ суммѣ стало быть теорія цѣнности, на которой настаиваетъ Маклеодъ, откровенно разоблачаетъ только передъ нами всю безпощадную суровость рутины, и возводить ее въ принципъ значило очевидно то же, что возводить къ принципъ *неоплатность труда*». Это не я подчеркнулъ послѣднія два слова; ихъ самъ г. Жуковскій напечаталъ курсивомъ, тѣмъ самымъ свидѣтельствуя, что считаетъ этотъ аргументъ отъ человѣколюбія очень важнымъ. Помню я еще его статью о развитіи рабочихъ ассоціацій во Франціи, въ которую человѣколюбіе было допущено «въ полномъ размѣрѣ». Да и мало ли еще я помню статей г. Жуковскаго, вполнѣ человѣколюбивыхъ, что не мѣшало имъ, однако, быть въ то же время очень почтенными научными работами, гораздо даже болѣе научными, чѣмъ его позднѣйшія упражненія въ математикѣ, физикѣ и акробатическомъ искусствѣ. Если самъ онъ ихъ забылъ, такъ вѣдь павлину свойственно періодически распускать и сверты-

вать хвостъ, заметая имъ собственные слѣды. Какъ бы то ни было, но точка зрѣнія, съ которой г. Жуковскій смотритъ на Маркса, очень удобна для нашего критика. Разъ признано, что Марксъ не законы экономическихъ явленій изслѣдуетъ, а только апологіей правъ рабочаго занимается, не представляется уже большой надобности въ собственно научной критикѣ. Центръ тяжести сочиненія лежитъ въ апологіи—значитъ надо просто противопоставить ей другую. Такъ г. Жуковскій и поступаетъ. Но такъ какъ онъ при этомъ только повторяетъ размышленія одного нѣмца, то и мы сначала къ этому нѣмцу обратимся. Нѣмецъ этотъ есть извѣстный Генрихъ фонъ-Зибель, а размышленія его изложены въ отдѣльной брошюрѣ еще въ 1872 году. Надо замѣтить, что это двѣ публичныя лекціи, читанныя въ Барменѣ, по какому случаю, неизвѣстно, но для какой аудиторіи—можно судить по слѣдующимъ вступительнымъ словамъ первой лекціи: «Если я, академическій ученый, предполагаю говорить объ одномъ изъ важнѣйшихъ вопросовъ промышленнаго міра здѣсь, въ этомъ обществѣ, соединяющемъ множество опытнѣйшихъ практиковъ нашей индустріи, то» и т. д. Итакъ, Генрихъ фонъ-Зибель бесѣдовалъ съ фабрикантами. Сообразно этому онъ и бесѣду повелъ.

Бѣгло разсказавъ содержаніе «Капитала» вплоть до ученія о прибавочной цѣнности, Зибель продолжаетъ:

„Я вамъ передалъ все ученіе въ общей связи, чтобы наглядно показать его связность, законченность и послѣдовательность. Если вы примете первое положеніе, то должны будете признать и все остальное. Но мы уже упоминали, что исходная точка невѣрна. Она гласитъ, что источникъ и мѣрило цѣнности есть единственно человѣческій трудъ. Въ дѣйствительности же такимъ источникомъ является трудъ не самъ по себѣ, а лишь въ связи съ человѣческими потребностями, которымъ онъ удовлетворяетъ. Дѣло не въ продолжительности, а въ цѣлесообразности работы. Легко видѣть, какую важность имѣетъ это различіе для всего вопроса. По Марксу прибавочная цѣнность возникаетъ единственно изъ свойства человѣческаго труда производить больше, чѣмъ онъ самъ стоитъ, свойства благодѣтельнаго для самостоятельнаго рабочаго и роковаго для рабочаго наемнаго. Но правда-ли, что прибыль фабриканта основывается единственно на эксплуатаціи рабочаго, на разницѣ между производительностью труда и рабочею платою? Правда-ли, что его собственная дѣятельность въ процессѣ ограничивается ролью надзирателя за исполненіемъ заказанной работы? Я думаю, что ежедневный опытъ учитъ противному. Остановимся на примѣрѣ Маркса. Рабочая плата равна стоимости шести рабочихъ часовъ, которыми окупается содержаніе рабочаго, между тѣмъ какъ запродалъ онъ свою рабочую силу на цѣлый день, то есть на двѣнадцать часовъ; фабрикантъ поэтому выплачиваетъ ему по талеру въ день, а дохода получаетъ по два талера. Въ одинъ прекрасный день, при неизмѣнившихся условіяхъ, фабрикантъ вдругъ удваиваетъ рабочую плату. По Марксу онъ тѣмъ самымъ отказывается отъ всякой прибыли, потому что преграждаетъ единственный источникъ такъ называемой прибавочной цѣнности. Въ дѣйствительности же произошло вотъ что: обстоятельства еще пока не измѣнились, но проницательный взоръ фабриканта усмотрѣлъ измѣненіе, предстоящее въ будущемъ. Онъ яснѣе другихъ предвидитъ, что черезъ два мѣсяца, вслѣдствіе какихъ-нибудь внѣшнихъ событій, спросъ на его товаръ страшно возрастетъ Онъ предвидитъ, что какъ только конкуренты сдѣлаютъ то же наблюденіе, такъ станутъ отбивать другъ у друга хорошихъ работниковъ. Поэтому онъ обезпечиваетъ своихъ немедленнымъ удвоеніемъ рабочей платы и за это получаетъ черезъ нѣсколько времени учетверенную цѣну своихъ товаровъ. Рабочіе получали за двѣнадцать часовъ работы мѣновую цѣнность не шести, а двѣнадцати рабочихъ часовъ, а капиталистъ все-таки обогатился не эксплуатаціей рабочихъ, а эксплуатаціей конъюнктуры, предвидимаго состоянія рынка. Прибавочная цѣнность, прибыль капиталиста, безъ сомнѣнія, создана трудомъ, но не ручнымъ трудомъ работника, а головнымъ трудомъ работодателя. Нельзя себѣ представить болѣе заслуженнаго барыша. И всѣ мы знаемъ, что подобные случаи безконечно часты (unendlich häufig), что въ нихъ-то и состоитъ общее правило, въ этихъ спекуляціяхъ на измѣненіе конъюнктуры, въ этихъ барышахъ, независимыхъ отъ отношеній между капиталистомъ и рабочимъ, а основанныхъ лишь на колебаніяхъ рынка. Но пойдемъ еще дальше. Безъ сомнѣнія, человѣческій трудъ есть источникъ всякой цѣнности, такъ что никакая цѣнность безъ человѣческаго труда возникнуть не можетъ. Спрашивается, чѣмъ заслуживаетъ человѣческая дѣятельность почетное имя труда? Почему трудъ становится источникомъ цѣнности? Намъ отвѣтитъ самъ Марксъ: „мы предполагаемъ здѣсь процессъ труда въ такой формѣ, говоритъ онъ, въ которой онъ составляетъ исключительную принадлежность человѣка. Паукъ исполняетъ операціи очень сходныя съ операціями ткача, а пчела способомъ построенія своихъ восковыхъ ячеекъ пристыжаетъ многихъ человѣческихъ строителей. Но между самымъ плохимъ архитекторомъ и самою искусною пчелою есть одно существенное различіе, состоящее въ томъ, что архитекторъ строитъ свою ячейку въ головѣ прежде, чѣмъ начнетъ лѣпить ее изъ воску. Въ концѣ рабочаго процесса получается результатъ, который при началѣ этого процесса уже существовалъ въ представленіи работника, т. е. въ идеѣ. Человѣкъ не только обусловливаетъ своею дѣятельностью извѣстное измѣненіе формы въ данномъ веществѣ природы, но осуществляетъ въ этомъ веществѣ свою цѣль, которую онъ знаетъ наперед, которая съ принудительностью закона опредѣляетъ способъ его дѣятельности и которой онъ долженъ непрерывно подчинять свою волю». Слѣдовательно, человѣческая дѣятельность становится трудомъ потому, что служитъ человѣческой цѣли, а экономически полезнымъ трудомъ потому, что цѣль эта заключаетъ въ себѣ удовлетвореніе человѣческихъ потребностей. Слѣдовательно, только тотъ человѣкъ придаетъ труду его истинную цѣну, который кладетъ на него печать цѣлесообразности, который ставитъ передъ нимъ полезныя цѣли и открываетъ и пускаетъ въ ходъ пригодныя для осуществленія ихъ средства. Приложимъ эти данныя къ рабочему процессу большой ману-

фактуры или фабрики. Кто здѣсь творецъ цѣли? кто поэтому сообщаетъ обрабатываемымъ веществамъ свойство цѣнностей? Мнѣ кажется, стоитъ только поставить вопросъ, чтобы разрѣшить его. Въ этомъ положеніи находится единственно фабрикантъ, а не рабочіе. Онъ оцѣниваетъ фабрикѣ цѣль... Онъ изслѣдуетъ состояніе рынка, онъ опредѣляетъ родъ и размѣръ производства, онъ создаетъ машины и улучшенія въ нихъ и самихъ рабочихъ (schafft die Handarbeiter). Можетъ быть у него есть наемники и для нѣкоторыхъ умственныхъ работъ, техники, инженеры, спеціалисты по торговымъ вопросамъ. Можетъ быть онъ (какъ акціонеры желѣзной дороги) нанимаетъ особаго человѣка для управленія всѣмъ разъ устроеннымъ предпріятіемъ. Всѣ эти обстоятельства не измѣняютъ существеннаго пункта: фабрикантъ, капиталистъ, есть творецъ цѣли, а вмѣстѣ съ тѣмъ и творецъ всѣхъ возникающихъ цѣнностей. Его наемные рабочіе тутъ не при чемъ. Они — орудія въ его рукахъ, одушевленныя, человѣческія орудія, но въ рабочемъ процессѣ фабрики—такія же орудія, какъ и машины. Безъ нихъ онъ не можетъ достигнуть своей цѣли, какъ не можетъ ея достигнуть безъ угля, колесъ, винтовъ. Онъ не долженъ, конечно, забывать, что кромѣ того они—люди, имѣющіе свои общечеловѣческія, достойныя уваженія цѣли. Но въ рабочемъ процессѣ фабрики они настолько же участвуютъ въ образованіи цѣнностей, какъ машины. Кочегаръ подкладывающій уголь, что онъ знаетъ о цѣли и задачѣ фабрики? Мальчикъ, удаляющій отбросы хлопка, что онъ знаетъ объ общей связи, цѣли и средствахъ производства? Труженикъ ума, инженеръ или директоръ заведенія, конечно, знаетъ цѣль, но не создаетъ и не измѣняетъ ея, а получаетъ ее изъ духа фабриканта (sic) и служитъ ему точно такъ же, какъ и всякій работникъ. Ихъ рабочая плата входитъ въ составъ цѣны товара, точно такъ, какъ часть расходовъ на ножницы и иголки— въ составъ цѣны сюртука, сшитаго портнымъ. Никто, однако, не скажетъ, что ножницы и иголка создали сюртукъ и его цѣнность. Точно также и въ крупной промышленности создательницей цѣнности и прибавочной цѣнности является не ручная работа работника, прислуживающаго машинѣ, но головная работа фабриканта, управляющая ею".

Если я доставилъ себѣ скуку перевода этой белиберды Генриха фонъ-Зибеля, такъ на это были разныя причины. Во-первыхъ, сама по себѣ, для чтенія, она увеселительна. Во-вторыхъ, она показываетъ, каковы бываютъ настоящія апологіи. Въ-третьихъ, наконецъ ее повторяетъ Жуковскій, nur mit ein Bischen anderen Worten, какъ говоритъ Маргарита у Гете. Именно ein Bischen, потому что всѣ измѣненія состоятъ главнымъ образомъ въ педантическомъ тонѣ, приданномъ г. Жуковскимъ наивнымъ, яснымъ, откровеннымъ размышленіямъ Зибеля. По простотѣ, а также соображаясь съ персоналомъ своей аудиторіи, Зибель сложилъ весь міръ у ногъ фабриканта. Г. Жуковскій не такъ простъ, да и аудиторія у него не такая. Поэтому онъ, оставивъ аргументацію Зибеля по существу неприкосновенною, расширилъ ее и вмѣсто «проницательнаго взора» фабриканта поставилъ психическій трудъ вообще. Результатъ отъ этого измѣнился мало. Г. Жуковскій разсуждаетъ такъ. Вы ковыряете свой огородъ крючковатой палкой и вспахиваете его этимъ первобытнымъ способомъ въ двадцать дней. Но вотъ вы рѣшили употребить, положимъ, пять дней на приготовленіе лопаты, которою вспахиваете огородъ уже только въ пять дней. Вы получили десять рабочихъ дней чистой прибыли. Откуда взялась эта прибыль? Ее дало новое направленіе или распредѣленіе, организація вашего труда; прежде вы весь свой трудъ клали прямо въ пашню, а теперь часть его затратили на приготовленіе лопаты, и отсюда — прибыль. Но измѣненіе направленія труда предполагаетъ умственную работу. Этотъ-то психическій трудъ и составляетъ, при участіи силъ природы, источникъ прибыли. «Исторія намъ показываетъ, что этою прибылью пользовались всегда дѣйствительные организаторы труда, правительства или лица, прилагавшія на дѣлѣ какое-либо изобрѣтеніе или улучшеніе». Психическій трудъ можетъ быть направленъ двояко: или на комбинированіе и приспособленіе непосредственно силъ природы, чѣмъ завѣдуетъ въ наукѣ технологія, а на практикѣ предприниматели и капиталисты, или на комбинированіе и управленіе трудомъ работниковъ, что составляетъ задачу нравственныхъ и политическихъ наукъ съ одной стороны и законодателей, администраторовъ, а также опять-таки предпринимателей и капиталистовъ — съ другой. Разумѣя дѣло въ этомъ широкомъ смыслѣ, надо признать, что вся прибыль, какъ результатъ психическаго труда, есть результатъ дѣятельности тѣхъ классовъ, которые этимъ трудомъ занимаются. Та часть рабочаго дня, которую Марксъ называетъ прибавочной, только по внѣшнему виду составляетъ часть рабочаго, какъ тотъ рубль, который я могу положить къ вамъ въ карманъ на сбереженіе, составляетъ только по внѣшнему виду вашу, а не мою собственность. Платье, которое я вѣшаю на гвоздь, составляетъ точно также принадлежность этого гвоздя; между тѣмъ оно остается моимъ платьемъ, и никто не станетъ утверждать чтобы оно было не мое. Работникъ въ дѣлѣ сокращенія работы — чистый гвоздь къ которому знаніе и организація труда прыстегиваетъ лишній итогъ силы, но въ созданіи которой работникъ совершенно неповиненъ. Онъ не создаетъ той прибыли, въ которой хозяинъ хочетъ (?) сдѣлать его участникомъ, и эта прибыль не можетъ быть измѣряема по существу, какъ это допустилъ Марксъ, длиной рабочаго дня и только вя-

жется съ нимъ чисто внѣшнимъ, формальнымъ образомъ, какъ платье вяжется съ вѣшалкой, на которой оно виситъ... Работникъ Маркса настолько же ровно создаетъ прибыль или прибавочную стоимость, насколько полоса желѣза, представляющая рычагъ, поднимаетъ тяжесть или собираетъ силу; онъ—не болѣе какъ орудіе въ рукахъ знанія и организаціи труда; и сила, создающая прибыль, находится точно также внѣ его, столь же чужда ему и посторонняя, какъ сила, дѣйствующая на рукоятку рычага». «Если источникомъ прибыли служитъ вообще психическій трудъ, продолжаетъ въ другомъ мѣстѣ критикъ, или измѣненіе порядка пользованія физическимъ трудомъ какъ по существу, такъ и по формѣ, словомъ знаніе и организація труда, то и первый капиталъ былъ продуктомъ того же труда, той же психической дѣятельности... Пользованіе капиталомъ доставалось въ руки тѣхъ, кто оказывался виновникомъ его появленія, то есть организующихъ классовъ. Работникъ же, ничего не изобрѣтавшій и ничего не организовавшій, а только постоянно организуемый, не имѣетъ никакого основанія заявлять на него (?) малѣйшія претензіи».

Г. Жуковскій съ свойственною ему скромностью заявляетъ, что новооткрытый имъ факторъ производства, психическій трудъ, «до сихъ поръ упускается изъ виду вовсе экономической наукой»; что «крупная величина психической работы всѣхъ изобрѣтателей, тружениковъ знанія, организаторовъ, администраторовъ и проч.— составляли тотъ членъ или факторъ въ производствѣ, который оставался скрытымъ для политической экономіи», вплоть до 1-го сентября 1877 года, когда читатели «Вѣстника Европы» получили возможность просіянія своего ума при помощи статьи г. Жуковскаго. Какъ ни лестно это обстоятельство для Россіи, очевидно, могущей рождать собственныхъ Платоновъ и быстрыхъ разумомъ Ньютоновъ, но должно съ прискорбіемъ сказать, что эра этого научнаго просіянія должна быть значительно отодвинута назадъ, по крайней мѣрѣ до 9-го марта 1872 года, а то и много дальше. Во всякомъ случаѣ Генрихъ фонъ-Зибель уже 9-го марта 1872 года повѣдалъ міру то, что г. Жуковскій открываетъ въ сентябрѣ 1877 года. Г. Жуковскій и Генрихъ фонъ-Зибель едино суть. Если на первый взглядъ неопытнаго читателя научный соусъ, подъ которымъ отечественный писатель подаетъ новый факторъ производства, какъ будто погуще, то это—различіе отнюдь не существенное и не матеріальное, а только «феноменальное» и «формальное». Правда, г. Жуковскій, подобно извѣстному повару, не жалѣвшему ни луку, ни перцу, «лишь бы горячо вышло», подложилъ въ свой горячій, научно преданный или предательски научный (не знаю ужъ, какъ вѣрнѣе сказать) соусъ посторонніхъ ингредіентовъ физики и философіи, но отъ этого самое существо соуса нисколько не мѣняется. Прежде всего ясно, что Зибель и г. Жуковскій относятся къ своей задачѣ совершенно одинаково. Для обоихъ Марксъ важенъ не какъ объектъ критики, съ точки зрѣнія какой-нибудь научной доктрины, а главнымъ образомъ какъ политическій противникъ, какъ авторъ апологіи, которой нужно противопоставить другую. Но такъ какъ Марксъ стоитъ дѣйствительно на почвѣ науки, то это и ихъ обязываетъ придать своимъ апологіямъ какой-нибудь наукоподобный антуражъ, что они и исполняютъ, каждый по мѣрѣ силъ, способностей и усердія. Но вотъ что странно. Съ какой стати г. Жуковскій жалуется, вспоминая то время, когда онъ скромно занимался частнымъ анализомъ экономическихъ фактовъ, а его тянули къ отвѣту за неуваженіе къ принципу «дисциплины»? Правда, самъ Марксъ на такія инсинуаціи не имѣетъ права жаловаться, но, во-первыхъ, русское изданіе Маркса—не самъ Марксъ, а во-вторыхъ, требуетъ же г. Жуковскій для себя различенія двухъ означенныхъ областей «психическаго труда»: области теоретическаго изслѣдованія и области практическихъ выводовъ. Въ память столь горько оплакиваемыхъ имъ нынѣ собственныхъ несчастій, надлежало бы ему и на Маркса посмотрѣть преимущественно какъ на писателя, занимающагося анализомъ экономическихъ фактовъ, ну, а потомъ, на второмъ планѣ онъ могъ бы пожалуй и апологіями заниматься, если ужъ такъ нужно.

Есть, конечно, и различія между Зибелемъ и г. Жуковскимъ. Одно мы уже отмѣтили: понятіе капиталистовъ Зибеля г. Жуковскій расширяетъ до понятія всѣхъ носителей психическаго труда. Съ точки зрѣнія послѣдовательности, это, конечно—улучшеніе, вполнѣ, однако, объяснимое, какъ было замѣчено, различіемъ персонала аудиторій обоихъ ученыхъ. Есть и другія различія. Такъ, Зибель, можно сказать, выворачивается на изнанку съ цѣлью показать, что нѣтъ у него никакихъ заднихъ мыслей, что онъ весь тутъ на-лицо. Склонный къ кокетству и таинственности, г. Жуковскій поступаетъ иначе. При всемъ своемъ достойномъ награды усердіи, онъ не можетъ отказаться отъ заманиванія читателя такимъ секретомъ, который составляетъ еще пока секретъ для него самого. Напримѣръ, онъ такъ заканчиваетъ свою апологію: «классъ

лицъ, выдвинувшійся изъ рабочей массы въ теченіе исторіи и явившійся организаторомъ коллективной работы въ обществѣ, какъ представитель психической работы общества за все прошлое время, имѣетъ по крайней мѣрѣ съ внѣшней, *формальной стороны*, въ отношеніи прибавочной стоимости болѣе правъ. Это положеніе будетъ непоколебимо вѣрно *до тѣхъ поръ, пока мы не будемъ искать для раздѣла и распредѣленія прибыли другого основанія, другого закона, кромѣ того, который принимаетъ Марксъ и по которому каждому должно принадлежать то, что онъ производитъ, и та доля общей выработки, которой онъ служитъ виновникомъ*». Видите, какой, съ помощью Божіею, оборотъ. Слѣдуетъ ли весь этотъ туманъ такъ понимать, что съ *внутренней, существенной* стороны г. Жуковскій можетъ при случаѣ совсѣмъ иначе освѣтить и Маркса, и защищаемые послѣднимъ интересы? Слѣдуетъ ли ждать, что онъ самъ поколеблетъ когда-нибудь свою теперешнюю апологію, которая вѣдь непоколебима только съ точки зрѣнія Маркса? Эта точка зрѣнія, какъ ее передаетъ г. Жуковскій, можетъ быть выражена старинной формулой: à chacun selon ses oeuvres. Можетъ быть, г. Жуковскій желаетъ ее замѣнить другой, тоже старинной формулой: à chacun selon ses besoins? Можетъ быть, онъ не прочь при случаѣ опять «человѣколюбивыя» сочиненія писать. Можетъ быть, онъ просто сболтнулъ? Неизвѣстно; ибо, намекнувъ, что имѣетъ въ запасѣ такой удивительный секретъ, который можетъ побить даже его самого, г. Жуковскаго, со всѣми его апологіями, намекнувъ на этотъ секретъ, ученый критикъ скрылся въ облакахъ.

Но пока что, а на-лицо мы имѣемъ все-таки только непоколебимую апологію. Не будемъ пытаться обнять необъятное, не станемъ пробовать колебать непоколебимое. Посмотримъ только на наукоподобный антуражъ воздвигнутой гг. фонъ-Зибелемъ и Жуковскимъ крѣпости.

Зибель, какъ человѣкъ вполнѣ откровенный, наивный и ясный, очень просто объяснилъ, что психическій трудъ инженера, техника и проч. не играетъ роли самостоятельнаго фактора производства; по отношенію къ созданію прибыли онъ—такой же трудъ, какъ и трудъ физическій; новымъ, упущеннымъ Марксомъ изъ виду факторомъ онъ признаетъ психическій трудъ только верховнаго заправителя и организатора всего производства, творца цѣли, проницательный взоръ котораго слѣдитъ за состояніемъ рынка и проч. Расширивъ аргументацію Зибеля, г. Жуковскій лишилъ себя возможности различить эти два вида психическаго труда, тогда какъ на самомъ дѣлѣ они существуютъ и требуютъ объясненія ихъ взаимныхъ отношеній. Такимъ образомъ преимущество широты остается за русскимъ ученымъ, но преимущество ясности должно быть предоставлено его нѣмецкому собрату. Послѣдній, напримѣръ, очень ясно вводитъ спекулянта въ общія скобки психическаго труда, съ тѣмъ однако непремѣннымъ условіемъ, чтобы онъ производилъ спекуляцію за свой собственный счетъ, ибо, напримѣръ, биржевой агентъ, исполняющій только черную долю психическаго труда спекуляціи, есть лишь наемный слуга. Въ системѣ же г. Жуковскаго мѣсто спекулянта далеко неопредѣленно, равно какъ и вообще отношенія между чернымъ и бѣлымъ трудомъ. Допустимъ, въ самомъ дѣлѣ, вмѣстѣ съ г. Жуковскимъ, что физическій трудъ есть трудъ черный, а психическій—бѣлый. Но къ сожалѣнію, это весьма мало подвигаетъ насъ впередъ, потому что область психическаго труда далеко не однородна съ экономической точки зрѣнія, и въ ней повторяются рѣшительно тѣ же отношенія, какія существуютъ между организующими и организуемыми классами. Есть у насъ поэтъ-издатель г. Гербель, занимающійся составленіемъ и изданіемъ стихотворныхъ сборниковъ. Пользуясь правомъ печатать чужія произведенія въ размѣрѣ, не превышающемъ одного печатнаго листа, г. Гербель снимаетъ сливки со всей отечественной поэзіи, продавая въ свою пользу чужой поэтическій трудъ и ни копейки не платя настоящимъ авторамъ. Г. Жуковскій долженъ оказаться въ большомъ затрудненіи передъ этимъ фактомъ. Съ одной стороны онъ долженъ признать, что г. Гербель есть организаторъ, сообщающій своимъ психическимъ трудомъ цѣнность стихотворному сборнику, поэты же суть не болѣе какъ организуемые, а потому въ созданіи прибыли участвуютъ столь же мало, какъ рычагъ въ поднятіи тяжести. Но съ другой стороны эти поэты суть несомнѣнные представители психическаго труда, уже признаннаго организующимъ началомъ вообще. Какъ тутъ быть? Скажутъ можетъ быть, что операціи г. Гербеля представляютъ нѣчто исключительное и сюда неподходящее, потому что этотъ поэтъ-спекулянтъ не даетъ своимъ невольнымъ сотрудникамъ заработной платы, получаемой каждымъ фабричнымъ работникомъ отъ своего хозяина. Хорошо. Возьмемъ другой примѣръ. Возьмемъ изданіе журнала, возьмемъ дѣятельность самого г. Жуковскаго. Согласимся, что хоть бы та же его статья о Марксѣ есть плодъ большой учености, что, могущественно вліяя на умы читателей «Вѣстника Европы», статья эта несомнѣнно принад-

лежитъ представителю организующихъ классовъ, создающихъ своимъ психическимъ трудомъ новыя цѣнности. Но въ то же время мы должны признать, что г. Жуковскій есть чистый гвоздь, къ которому г. Стасюлевичъ, въ качествѣ предпринимателя и организатора, пристегиваетъ лишній итогъ силы. Г. Жуковскій есть поэтому не организующій, а организуемый представитель психическаго труда, и въ созданіи прибыли, доставляемой «Вѣстникомъ Европы», ни онъ, ни другіе сотрудники не принимаютъ ни малѣйшаго участія; вся она есть плодъ психическаго труда г. Стасюлевича. А если представить себѣ—что очень возможно—что на мѣстѣ г. Стасюлевича сидитъ въ качествѣ издателя человѣкъ даже малограмотный, но обладающій средствами и извѣстной ловкостью, то относительное значеніе различныхъ видовъ психическаго труда и совсѣмъ спутается. Если кромѣ литературной дѣятельности г. Жуковскій служитъ въ какой-нибудь канцеляріи, то, несмотря на все свое психическое великолѣпіе, онъ вдвойнѣ гвоздь. А если у него хватаетъ досуга и знаній для занятій въ качествѣ техника на какой-нибудь фабрикѣ, то онъ—и еще разъ гвоздь, по которому бьетъ молоткомъ фабрикантъ, быть можетъ, совершенно невѣжественный. Изъ этого видно, что сочинять новые факторы производства, дотолѣ скрывавшіеся отъ экономическихъ писателей, совсѣмъ не такъ легко, какъ кажется. Почему г. Жуковскій, обладай онъ достаточными техническими знаніями, можетъ оказаться рычагомъ, заправляемымъ фабрикантомъ? По той простой причинѣ, что фабрикантъ этотъ есть представитель капитала, а вовсе не новоявленнаго психическаго труда. Безъ капитала онъ былъ бы въ числѣ организуемыхъ, какъ и г. Жуковскій и послѣдній поденщикъ, тогда какъ теперь ему не требуется ни знанія, ни даже организаторской способности: онъ можетъ нанять подручныхъ организаторовъ и спеціалистовъ. Точно также и землевладѣлецъ получаетъ ренту отнюдь не потому, чтобы онъ психическимъ трудомъ занимался, а просто потому, что онъ—землевладѣлецъ. Напротивъ, доходъ наемнаго агронома-управляющаго, какъ бы послѣдній ни былъ свѣдущъ и дѣятеленъ, будетъ заработной платой и будетъ управляться ея законами. Наконецъ, самый психическій трудъ въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ заслуживаетъ этого имени, даетъ продуктъ, обусловленный не однимъ, а тремя факторами: природною способностью, знаніемъ и собственно трудомъ, то есть текущею тратой силы. А эти факторы открыты задолго до 1 сентября 1877 года. Дѣйствительно, до этого рокового числа всѣ экономисты единогласно признавали, что производство требуетъ участія: во-первыхъ, силъ природы (природная способность), во-вторыхъ—средствъ производства, орудій (знаніе) и, наконецъ, въ третьихъ—труда (собственно психическій трудъ). На эти три давно извѣстные фактора разваливается такимъ образомъ и пресловутый психическій трудъ, отнюдь слѣдовательно не составляющій фактора самостоятельнаго. Слѣдуетъ также замѣтить, что отсутствіе психическаго труда въ организуемыхъ классахъ есть изобрѣтеніе гг. Зибеля и Жуковскаго. Первый пожелалъ въ этомъ отношеніи опереться на критикуемаго имъ писателя. Но онъ имѣлъ осторожность привести только первую половину цитируемаго имъ мѣста изъ «Капитала». Вторая половина гласитъ такъ: «Кромѣ напряженія тѣхъ органовъ, которые работаютъ, требуется еще цѣлесообразная воля, проявляющаяся во все продолженіе процесса труда въ формѣ вниманія; и такого вниманія требуется тѣмъ болѣе, чѣмъ менѣе трудъ по своему содержанію и по способамъ своего исполненія увлекаетъ работника; чѣмъ менѣе поэтому можетъ работникъ наслаждаться имъ, какъ свободною игрою своихъ собственныхъ тѣлесныхъ и умственныхъ силъ». Это замѣчаніе не мѣшало бы принять во вниманіе и г. Жуковскому при анализѣ психическихъ факторовъ производства. А кромѣ того, если трудъ организаціи чужого труда есть трудъ, подлежащій высокой оцѣнкѣ, то вѣдь быть организуемымъ тоже нелегко, тоже требуетъ значительной психической затраты.

Итакъ, измышленный г. Жуковскимъ психическій трудъ, какъ творецъ прибыли, есть карточный домикъ, распадающійся отъ одного дуновенія. Ни съ точки зрѣнія производства, ни съ точки зрѣнія распредѣленія, ни съ точки зрѣнія теоріи, ни съ точки зрѣнія практики самостоятельнаго значенія онъ не имѣетъ, а разлагаясь на свои составныя части, расплывается, утопаетъ въ старыхъ истинахъ науки, какъ бы его и не было. Къ одной изъ такихъ старыхъ истинъ мы теперь и перейдемъ.

Есть въ работѣ г. Жуковскаго одна особенность, лучше сказать, одинъ пробѣлъ, рѣзко отличающій его отъ всѣхъ критиковъ Маркса. На этомъ единственномъ пунктѣ нашъ критикъ является вполнѣ оригинальнымъ, не къ большой впрочемъ своей чести. Г. Жуковскій старательно занялся обозрѣніемъ отношеній Маркса къ гегелевской философіи, хотя въ такой ужъ старательности, какъ мы видѣли, особенной надобности не предстояло. Гораздо менѣе занялся онъ отношеніями Маркса къ другимъ «сангвиникамъ», но все-таки по крайней мѣрѣ упомянулъ о нихъ. Но отношенія Маркса

къ экономистамъ онъ опустилъ совсѣмъ, не сказалъ о нихъ ни слова. Это тѣмъ болѣе достойно вниманія, что въ старые годы г. Жуковскій каждаго экономическаго писателя, такъ сказать, провѣрялъ классиками и не могъ написать ни одной статьи безъ размышленій объ Адамѣ Смитѣ и Рикардо. Почему же у него вдругъ пропала охота начинать съ Адама? Почему она пропала именно теперь и именно по отношенію къ Марксу, котораго всѣ критики, благорасположенные и враждебные, одинаково стараются привести въ преемственную связь съ этимъ самымъ Адамомъ, то есть Адамомъ Смитомъ и Рикардо? Собственно говоря, впрочемъ, тутъ нечего и стараться, потому что преемственная связь несомнѣнна и ее не надо разыскивать, изслѣдовать, но необходимо указать. Дѣло представляется вотъ въ какомъ видѣ. Въ то время, когда, какъ повѣствуетъ и г. Жуковскій, народилась политическая экономія, она занималась анализомъ матеріальныхъ условій производства и экономическихъ отношеній по возможности независимо отъ юридическихъ формъ. Это и было время между прочимъ Адама Смита и Рикардо. Съ теченіемъ времени въ рукахъ послѣдующихъ экономистовъ этотъ анализъ осложнился идолопоклонствомъ передъ данными формами общежитія, задатки котораго имѣлись уже и въ классикахъ, вслѣдствіе чего вульгарная экономія продолжала ихъ считать своими отцами. Тутъ подоспѣли сангвиники, и нѣкоторые изъ нихъ, вторгаясь въ область науки права съ экономической точки зрѣнія, ухватились за кое-какія положенія классиковъ. Самая возможность такого факта показывала, что Адамъ Смитъ и Рикардо не совсѣмъ годятся въ отцы идолопоклонникамъ данныхъ формъ общежитія, т. е. позднѣйшимъ экономистамъ. Они не замедлили поэтому начать отреченіе отъ нихъ, и когда Марксъ явился со своими логическими выводами изъ нѣкоторыхъ положеній классической экономіи и дальнѣйшею ихъ разработкою, то отреченіе произошло полное и торжественное. Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго въ стремленіи критиковъ Маркса опредѣлить его мѣсто въ ряду экономистовъ вообще и его отношенія къ Адаму Смиту и Рикардо въ особенности. Сторонники Маркса видѣли въ этой преемственности залогъ силы, независимо отъ его собственной убѣдительности. И вотъ почему, напримѣръ, у насъ Зиберъ старался прослѣдить эту связь въ своей диссертаціи и предпринялъ переводъ сочиненій Рикардо. Противники Маркса опять-таки понимали всю выгоду ниспроверженія установившихся авторитетовъ Смита и Рикардо, отродьемъ которыхъ является Марксъ. Мы и видимъ, что всѣ они по поводу Маркса напали на классиковъ. Такъ поступилъ, напримѣръ, Лавеле (въ «Revue des deux Mondes»), Рёсслеръ, такъ поступилъ даже Зибель, такъ поступилъ у насъ г. Бунге въ разборѣ книги г. Чупрова о желѣзно-дорожномъ хозяйствѣ (разборъ этотъ былъ напечатанъ въ томъ же «Вѣстникѣ Европы»). А г. Жуковскій, когда-то прожужжавшій всѣмъ уши Адамомъ Смитомъ и Рикардо, молчитъ! Нѣтъ дѣйствія безъ причины, нѣтъ даже умолчанія, то есть бездѣйствія, безъ причины. Есть она и на этотъ разъ.

Долженъ я сознаться, что относительно сейчасъ въ нѣсколькихъ словахъ разсказанной исторіи экономическихъ доктринъ г. Жуковскій имѣетъ нѣкоторое право сказать мнѣ не безъ горечи: моимъ же добромъ, да мнѣ же челомъ! Дѣйствительно, были у насъ два писателя, очень охотно разсказывавшіе, какъ и почему экономисты сначала носились съ Адамомъ Смитомъ и Рикардо, а потомъ стали отъ нихъ отрекаться. Разсказы эти составляютъ одну изъ любопытнѣйшихъ страницъ исторіи нашей экономической литературы. Одинъ разсказывалъ талантливо, живо и ясно, другой—старательно, тяжеловѣсно и сухо. Этотъ другой былъ г. Жуковскій, и я у него (не у одного него конечно) кое-чему научился; настолько научился, что теперь очень хорошо понимаю, почему г. Жуковскій отступился отъ своего Адама. Дѣло объясняется исключительнымъ положеніемъ нашего критика. Основная нить, связывающая Маркса съ классиками, состоитъ въ положеніи, что источникъ и мѣрило цѣнности есть трудъ. Это—тезисъ чисто научный, теоретическій, достаточно разработанный, чтобы была какая-нибудь надобность его здѣсь доказывать. Читатель можетъ обратиться за доказательствами въ русской литературѣ къ Марксу, къ Миллю, къ переводу Рикардо, къ диссертаціи Зибера, къ прежнимъ статьямъ г. Жуковскаго, гдѣ этотъ тезисъ облюбованъ такъ многократно и такъ усердно, что теперь остатокъ конфузливости мѣшаетъ г. Жуковскому отнестись къ классикамъ съ тою развязностью, съ которою онъ относится къ Марксу. Слишкомъ связанный на этомъ пунктѣ своимъ прошедшимъ, онъ предпочитаетъ молчать. Въ одномъ, въ двухъ мѣстахъ, по частнымъ и второстепеннымъ вопросамъ онъ даже какъ будто защищаетъ Смита и Рикардо отъ нападеній Маркса, тѣмъ самымъ усугубляя свою вину передъ несвѣдущими читателями, которые и въ самомъ дѣлѣ могутъ подумать, что между классиками и Марксомъ нѣтъ ничего общаго. Г. Жуковскому весьма выгодно оставить читателей въ этомъ заблужденіи. О классикахъ онъ говоритъ, что они занимались только изученіемъ ма-

теріальныхъ условій производства, а, слѣдовательно, если Марксъ есть ихъ преемникъ, такъ значитъ и онъ не обходитъ этого изученія. Но вѣдь г. Жуковскій сказалъ, что «обходитъ при помощи формальнаго пріема»... Итакъ, одна неправда родитъ другую. Притомъ же обратиться къ классикамъ значитъ занести ножъ надъ «психическимъ трудомъ», этимъ Веніаминомъ, этимъ младшимъ, послѣднимъ и любимымъ дѣтищемъ...

Обойдя отношенія Маркса къ классикамъ, обойдя самое упоминаніе о послѣднихъ, г. Жуковскій не обошелъ однако измѣны этимъ когда-то имъ столь чтимымъ Адаму Смиту и Рикардо, какъ не обошелся и безъ другихъ измѣнъ, не имѣющихъ, къ сожалѣнію, характера откровенности, откровеннаго и публичнаго признанія своихъ прежнихъ взглядовъ заблужденіями. Такъ, напримѣръ, возражая Марксу, что источникомъ прибавочной цѣнности можетъ служить не только трудъ, а и дерево, земля, скотъ, онъ возражаетъ собственно не Марксу, а Рикардо, хотя и не упоминаетъ объ этомъ. Посмотримъ только на пріемы его ратоборства съ самимъ Марксомъ. Дѣло идетъ о прибавочной цѣнности, теорію которй можно пояснить въ нѣсколькихъ словахъ. Источникъ и мѣрило цѣнности есть трудъ, такъ что вещи обмѣниваются въ пропоціяхъ потраченнаго на ихъ производство труда. Поступая на рынокъ, трудъ и самъ обращается въ вещь, въ товаръ, цѣнность котораго опредѣляется опять-таки трудомъ же, именно тѣмъ количествомъ труда, тѣмъ числомъ рабочихъ часовъ или дней, которое нужно для производства содержанія работнику на время работы. Это содержаніе рабочій и получаетъ въ видѣ заработной платы. Положимъ, что содержаніе его равняется шести рабочимъ часамъ. Слѣдовательно, проработавъ шесть часовъ, работникъ окупилъ свое содержаніе, наработалъ столько же, сколько истратилъ на себя. Въ слѣдующую затѣмъ часть рабочаго дня, напримѣръ еще шесть часовъ, онъ уже производитъ прибавочную цѣнность, которая достается капиталисту. Такова въ самомъ общемъ и элементарномъ видѣ теорія прибавочной цѣнности. Г. Жуковскій желаетъ ее опровергнуть. Онъ нимало не уподобляется при этомъ льву, храбро нападающему, въ надеждѣ на свою силу, на живую добычу. Нѣтъ, подобно шакалу, онъ выбираетъ своего рода падаль—нѣчто очевидно беззащитное, подлежащее не нападенію, а только пользованію. Онъ именно довольно долго останавливается на одномъ расчетѣ Маркса, переворачиваетъ его на разные лады и побѣдоносно отвергаетъ. Иной читатель можетъ подумать, что г. Жуковскій и впрямь совершилъ тутъ нѣчто особенное, если не заглянетъ въ Маркса, а это тѣмъ вѣроятнѣе, что критикъ вообще не указываетъ страницъ, содержащихъ критикуемыя имъ мѣста. Но если читатель разыщетъ у самого Маркса, то увидитъ, что Марксъ, какъ бы предвидя степень силы и мужества г. Жуковскаго, въ нѣкоторомъ родѣ подарилъ ему этотъ расчетъ. Въ примѣчаніи на стр. 165 читаемъ: «приведенныя нами расчисленія имѣютъ значеніе только какъ иллюстраціи къ предыдущему изложенію». Такъ оговорилъ Марксъ примѣрное, условное, поясните льное значеніе расчета, на коемъ нажилъ дешевые лавры г. Жуковскій, совершенно минуя все «предыдущее изложеніе», къ которому онъ долженъ бы былъ обратиться по указанію самого Маркса.

Дальнѣйшая аргументаціи г. Жуковскаго сводится, собственно говоря, къ двумъ софизмамъ, изъ которыхъ на первый мы взглянемъ только съ точки зрѣнія добросовѣстности аргументатора. Онъ разсуждаетъ такъ. Работникъ, положимъ, прядильщикъ, оплачиваетъ свое содержаніе въ шесть часовъ. Однако, такъ ли это? Вѣдь онъ наработалъ столько не потому только, что онъ работалъ, а потому, что ему помогали въ работѣ орудія готовыя и сырой матеріалъ. «Самъ по себѣ,—глубокомысленно замѣчаетъ критикъ,—безъ этихъ орудій онъ произвелъ бы вовсе не то же количество пряжи». Выводъ отсюда понятенъ. Мы замѣтимъ только въ утѣшеніе г. Жуковскаго, что безъ хлопка и орудій прядильщикъ не произвелъ бы даже ровно ничего и даже не былъ бы прядильщикомъ. Но мы спросимъ также: что произвелъ бы любой «психическій трудъ» безъ сырого матеріала, капитала и другихъ орудій и труда физическаго? Прибавимъ еще, что если г. Жуковскій между прочимъ обратится къ главѣ о постоянномъ и перемѣнномъ капиталѣ (о которой онъ тоже — ни гу-гу), то найдетъ разъясненіе многихъ своихъ недоразумѣній. Любопытнѣе второй софизмъ, повидимому очень понравившійся одному недальновидному газетному рецензенту. Невѣрно, говоритъ г. Жуковскій, чтобы каждый работникъ отрабатывалъ свое содержаніе въ шесть часовъ. Если бы это было такъ, то прямая выгода капиталиста состояла бы въ безконечномъ увеличеніи числа рабочихъ, между тѣмъ какъ мы знаемъ, что такое безконечное увеличеніе отнюдь не выгодно. Во всякомъ производствѣ наступаетъ такой моментъ, когда всякій новый рабочій приноситъ все меньшую и меньшую выгоду хозяину, которому слѣдовательно расчетъ нанимать новыхъ работниковъ только до тѣхъ поръ, пока послѣдній изъ нихъ по крайней мѣрѣ окупаетъ свое содержаніе.

Поэтому Марксъ не имѣетъ никакого права говорить: общее количество прибавочной цѣнности равняется прибавочной цѣнности, доставляемой однимъ работникомъ, помноженной на число работниковъ. Послѣдній нанятый работникъ, работая цѣлый день, все-таки только окупитъ свое содержаніе; хозяинъ держитъ его только благодаря прибыли отъ прочихъ рабочихъ. Орудія производства, такъ сказать, ни мало не оплодотворяются трудомъ этого послѣдняго рабочаго; они для него какъ бы не существуютъ, все равно какъ бы онъ работалъ голыми руками. Вотъ эта-то чистая работа, этотъ-то независимый отъ орудій человѣческій трудъ и есть мѣра цѣнности труда. Ею опредѣляется заработная плата. Съ замѣчательнымъ отсутствіемъ не только «человѣколюбія», а и здраваго смысла, г. Жуковскій спрашиваетъ: «что бы заставило работника идти на фабрику, если бы его трудъ на самомъ дѣлѣ былъ производительнѣе его рабочей платы?» Отсюда ясно, что заработная плата, оплачивающая лишь содержаніе рабочаго, вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ оплачиваетъ его трудъ.

«Формальный» пріемъ, которымъ г. Жуковскій доходитъ до такого заключенія, заимствованъ имъ у Рикардо, хотя послѣдній употребилъ его въ совсѣмъ другомъ, гораздо болѣе умѣстномъ случаѣ, именно вотъ въ какомъ. Дана извѣстная страна съ весьма разнообразными по степени плодородія участками земли. Первые поселенцы естественно занимаютъ лучшія земли, затѣмъ, когда народонаселеніе увеличится, явится надобность или заняться обработкой второго сорта земель, или заплатить владѣльцамъ лучшихъ участковъ извѣстную сумму за право пользованія ихъ землями. Дальнѣйшій процессъ таковъ, что и владѣльцы второго сорта участковъ отдадутъ свои земли въ наемъ, а тамъ — и третьяго и т. д. Эта плата за пользованіе даровой помощью природы и есть рента, которая очевидно опредѣляется для каждаго сорта земель разницею между доходомъ съ нея и доходомъ (при прочихъ разныхъ условіяхъ) съ наиболѣе худшихъ, послѣднихъ воздѣлываемыхъ земель, которыя ренты не даютъ. Эту естественную убывающую градацію производительности земель г. Жуковскій въ качествѣ дѣйствительно чисто формальнаго пріема перенесъ на разъясненіе отношеній труда къ прибыли. На послѣднемъ изъ воздѣлываемыхъ участковъ работникъ не создаетъ ренты, а только окупаетъ свое содержаніе. Точно также, разсуждаетъ г. Жуковскій, послѣдній нанятый фабричный рабочій не создаетъ прибыли, а только окупаетъ свое содержаніе. Но дѣло въ томъ, что въ случаѣ ренты мы имѣемъ дѣйствительныя различія въ плодородіи земель, тогда какъ послѣдній фабричный рабочій есть миѳъ. Тутъ нѣтъ ни первыхъ, ни послѣднихъ съ точки зрѣнія производительности — всѣ работаютъ одними и тѣми же орудіями и надъ однимъ и тѣмъ же сырымъ матеріаломъ. А потому и всѣ выводы, основанные на предположеніи несуществующаго въ дѣйствительности и логически невозможнаго послѣдняго работника, не имѣютъ никакого смысла. Послѣдній участокъ земли дѣйствительно ренты не даетъ, но послѣдній фабричный рабочій рѣшительно въ такой же мѣрѣ создаетъ прибыль, какъ и первый. Поэтому Марксъ имѣлъ полное право сказать, что общая прибавочная цѣнность равняется прибавочной цѣнности одного работника, помноженной на число занятыхъ работниковъ.

Вопросъ о рентѣ опять невольно напоминаетъ то не особенно далекое прошлое, когда г. Жуковскій любилъ начинать съ Адама. Вопросъ этотъ составлялъ его излюбленнѣйшую тему, и рѣшалъ онъ его конечно не въ томъ несообразномъ смыслѣ, что рента дается психическимъ трудомъ организаціи физическаго труда. Слѣдуя Рикардо, онъ объяснялъ ренту просто разницей въ количествахъ труда, необходимаго для обработки земель разнаго достоинства. Выразившуюся въ этомъ объясненіи характерную точку зрѣнія классической экономіи г. Жуковскій нынѣ отбросилъ. Это—его дѣло. Имѣлъ онъ, значитъ, для этого свои резоны и выгоды. Но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы онъ имѣлъ право ставить въ исключительную вину или заслугу Маркса то, что̀ принадлежитъ вовсе не одному ему. Марксъ не съ неба свалился. Онъ выросъ на почвѣ установившейся науки съ одной стороны, на почвѣ извѣстныхъ общественныхъ стремленій — съ другой. Отрывая его отъ предшествующей науки, г. Жуковскій лишаетъ читателя возможности оцѣнить, до какой степени многія положенія Маркса стоятъ прочно, до какой степени они научны, совершенно независимо отъ какихъ бы то ни было практическихъ выводовъ. Чтобы не далеко ходить, разверните, напримѣръ, 467 страницу I тома «Основаній» Милля, ученаго, спокойнаго, хотя и либеральнаго Милля. Тамъ вы найдете большой задатокъ Марксовой прибавочной цѣнности: «Причина прибыли та, что трудъ производитъ больше, чѣмъ требуется на его содержаніе. Земледѣльческій капиталъ даетъ прибыль потому, что люди могутъ производить пищи больше, чѣмъ необходимо на ихъ прокормленіе въ то время, пока растетъ пища... Изъ этого

слѣдуетъ, что если капиталистъ возьмется кормить работниковъ на условіи получать продуктъ, то кромѣ возвращенія своей затраты онъ получитъ еще нѣсколько лишняго». И т. д. Ничего не говоря о положеніи Маркса среди экономистовъ, г. Жуковскій утверждаетъ, что подобныя вещи можетъ говорить только формалистъ и апологетъ. Помилуйте, какой же Милль апологетъ! А люди слушаютъ, да ротъ разѣваютъ. Рецензенты двухъ большихъ газетъ были поражены единовременнымъ появленіемъ на страницахъ «Вѣстника Европы» статей гг. Жуковскаго и Бліоха. Одинъ прямо поставилъ въ вину почтенному журналу эту профанацію имени г. Жуковскаго. Другой, расхваливъ (по очевидному недомыслію) г. Жуковскаго, накинулся на Бліоха. Между тѣмъ какъ вся разница въ томъ, что г. Бліохъ призываетъ читателей на поклонъ передъ психическимъ трудомъ желѣзнодорожныхъ концессіонеровъ, а г. Жуковскій развиваетъ и обобщаетъ этотъ призывъ. Это — съ точки зрѣнія апологіи. Съ точки зрѣнія науки разница конечно больше. Но для обоихъ все-таки одинаково не существуетъ тотъ Адамъ, съ котораго г. Жуковскій прежде любилъ начинать. Поэтому тѣ, кто смотрятъ на г. Жуковскаго только по старой памяти, должны знать, что теперь онъ во всѣхъ смыслахъ—не тотъ. Это должны знать и враги, и друзья прежней литературной его дѣятельности.

Чувствуя нѣкоторую разбросанность предлагаемой статьи и желая обратить вниманіе на минимумъ прегрѣшеній г. Жуковскаго противъ правды, я приглашаю читателя сосредочиться на слѣдующихъ пунктахъ:

1) Отношеніе Маркса къ формамъ собственности діаметрально противоположно ихъ изображенію у г. Жуковскаго.

2) Показаніе, что Марксъ обходитъ изслѣдованіе матеріальныхъ условій производства и не принимаетъ въ соображеніе уровня развитія работника, опять-таки діаметрально противоположно истинѣ.

3) Въ частности процессъ обобществленія труда, которому Марксъ придаетъ огромное значеніе, скрытъ отъ читателей «Вѣстника Европы».

4) Точно также скрыты отношенія Маркса къ классической политической экономіи, то-есть къ Адаму Смиту и Рикардо.

5) «Психическій трудъ», какъ единственный создатель прибыли (силы природы подразумѣваются), есть безпорядочный конгломератъ и ничего цѣльнаго и самостоятельнаго собою не представляетъ ни въ производствѣ, ни въ распредѣленіи.

Всего этого, даже оставляя въ сторонѣ разныя забавности въ родѣ феноменальности явленія и формальнаго значенія битка, совершенно достаточно, чтобы читатель «Вѣстника Европы» получилъ о Марксѣ понятіе отчасти неполное, а отчасти совершенно извращенное. Конечно, не этимъ способомъ разрушаются авторитеты. Всегда, разумѣется, найдутся ротозѣи, которые увидятъ «вѣскость» и «солидность» въ самой вздорной и недобросовѣстной критикѣ, если только въ ней есть «жупелы» quasi-учености. Статья г. Жуковскаго именно на такихъ ротозѣевъ разсчитана.

Въ перемежку *).

(Фантазія, дѣйствительность, воспоминанія, предсказанія).

I.

— Пиши—легче будетъ, говорила мнѣ любимая женщина, передъ которой я раскрылъ свою душу.

Я долго боролся противъ этой односторонней, эгоистической силы женской логики. Я очень хорошо понималъ, что по отношенію ко мнѣ совѣтъ прекрасенъ. Getheilter Schmerz ist halber Schmerz. Да не зачѣмъ

*) 1876—1877.

Во избѣжаніе разныхъ недоразумѣній, считаю нужнымъ привести здѣсь слѣдующее «Письмо къ неучамъ», напечатанное въ «Отечественныхъ Запискахъ» въ 1878 году. Заглавіе это объясняется другимъ заглавіемъ. Въ то время, когда наглость нѣкоторыхъ борзописцевъ вынудила меня напечатать это «письмо къ неучамъ», мои ежемѣсячныя обозрѣнія назывались «письмами къ ученымъ людямъ».

Письмо къ неучамъ.

Господа неучи!

Я не думаю затѣвать переписку съ вами. Я ограничусь только этимъ письмомъ, имѣющимъ совершенно опредѣленную и спеціальную цѣль. Тѣ

впрочемъ и дѣлать кого-нибудь участникомъ своей скорби. Достаточно дать какой-нибудь исходъ собственной внутренней жизни, чтобы она не сбивалась тамъ въ груди, въ головѣ, въ плотную, тяжелую кучу, которая дышать мѣшаетъ. Если бы я былъ птицей, я бы все пѣсни пѣлъ. Я думаю, она, птица-то, оттого и весела такъ, что можетъ все «выпѣть». А у человѣка, особенно не говорливаго, каковъ я, образуется постоянно какой-то душевный отстой всего пережитаго, и какъ поднимется въ этомъ отстоѣ броженіе—жить становится изъ рукъ вонъ душно. Писательство — конечно исходъ чудесный. Блеснула мысль, загорѣлось чувство—клади сейчасъ на бумагу. Это вѣдь все равно, что форточку отворить и трубу открыть, дать постоянное теченіе и обновленіе застоявшемуся въ комнатѣ воздуху. Чего-жъ лучше? Но во-первыхъ, страшно, а во-вторыхъ, совѣстно. Слыхалъ я, что въ старые годы къ писательству приступали какъ къ

ваши подвиги, которые лежатъ внѣ этой спеціальной цѣли, да останутся подъ спудомъ, равно какъ и имена ваши.

Существуетъ преданіе, что Зевксисъ столь хорошо рисовалъ плоды, что птицы—конечно это были не очень умныя птицы—садились клевать ихъ. Существуетъ другое преданіе, что Апеллесъ однажды столь хорошо нарисовалъ бѣгущую лошадь, что живыя лошади, глядя на эту картинку, ржали. Съ тѣхъ поръ вплоть до настоящаго времени искусство ни въ одной изъ своихъ отраслей не поднималось до такой высоты. Мнѣ, и только мнѣ суждено было повторить чудеса Зевксиса и Апеллеса, а вамъ возобновить традиціи не очень умныхъ птицъ и ржущихъ лошадей.

Затѣвая свои полубеллетристическіе наброски «Въ перемежку», я не только не имѣлъ претензіи мѣряться съ Зевксисомъ и Апеллесомъ, но даже ни малѣйше не сомнѣвался въ слабости своего художественнаго таланта. Но когда не очень умныя птицы разинули клювы, а лошади заржали, когда вы, господа неучи, приняли художественное произведеніе за живую дѣйствительность, я возымѣлъ о себѣ, какъ о художникѣ, чрезвычайно высокое мнѣніе. Что значили для Зевксиса всѣ похвалы умныхъ людей въ сравненіи съ тѣмъ непререкаемымъ свидѣтельствомъ его художественной силы, которое дали ему глупыя птицы! Конечно, онъ этимъ свидѣтельствомъ гордился больше всего. Гордился и я, читая, какъ вы отождествляли меня съ моимъ поэтическимъ дѣтищемъ, милымъ моему сердцу Григоріемъ Темкинымъ, отъ лица котораго ведется разсказъ «Въ перемежку», и пользовались его автобіографіей, какъ моей біографіей. Правда, вы при этомъ поступали до послѣдней степени неприлично, разоблачая мой псевдонимъ, но вѣдь на то вы и неучи! Правда, вы усвоили мнѣ преимущественно ошибки и некрасивые поступки Григорія Темкина, воздерживаясь отъ такового же усвоенія его слабой, но благородной натуры. Но я охотно прощалъ эти ваши маленькія военныя хитрости въ благодарность за тотъ патентъ на званіе первокласснаго художника, который вы мнѣ безмолвно и безсознательно выдавали. Ни Левъ Толстой, ни Тургеневъ не достигали такого успѣха. Никто не считаетъ Льва Толстого маркеромъ на основаніи «записокъ маркера». Никто изъ біографовъ Тургенева не упоминаетъ, что онъ и его отецъ были влюблены въ одну и ту же дѣвушку, что дѣвушку эту отецъ Тургенева ударилъ однажды хлыстомъ по рукѣ и проч., хотя все это разсказано въ «Первой любви». Всѣ видятъ и понимаютъ, что это «сочиненія», прекрасно нарисованныя, но все-таки только нарисованныя, а не натуральные плоды, нарисованная, а не натуральная лошадь. И даже глупѣйшія птицы не поддаются обману. Я же совершилъ настоящее чудо искусства. Правда, и въ произведеніяхъ Толстого и Тургенева критики старались, иногда не безъ успѣха, уловить

ихъ личныя, субъективныя черты, но со мной произошло нѣчто иное. Мнѣ удалось такъ художественно обставить «я» Григорія Темкина, что вы приняли его за мое «я». Только въ полуміенческой исторіи греческой живописи могу я найти параллель такому чрезвычайному успѣху. Меня сильно подмывало сдѣлать еще слѣдующую пробу: заставить Григорія Темкина убить кого-нибудь—не потянутъ ли дескать меня то да къ уголовному суду на основаніи собственнаго сознанія? Конечно, это было бы вѣнцомъ моей поэтической славы, но за другими дѣлами я не успѣлъ привести этотъ честолюбивый проектъ въ исполненіе.

Если бы глупыя птицы аплодировали Зевксису, пѣли ему хвалебные гимны, подносили лавровые вѣнки и проч., онъ не только не нашелъ бы въ этомъ ничего для себя лестнаго, но былъ бы вѣроятно глубоко огорченъ, ибо глупыя птицы—глупыя пѣсни. Но когда глупыя птицы слетѣлись клевать нарисованные плоды, Зевксисъ конечно былъ имъ благодаренъ. На этомъ же основаніи благодаренъ и я васъ, когда вы старательно клевали Григорія Темкина., полагая, что клюете меня. Господа неучи, я пожалуй и теперь благодарю васъ за прошлое, но относительно будущаго я долженъ васъ просить умѣрить ваши художественные восторги. Довольно! наклевались! Вы начинаете уже проклевывать полотно, на которомъ написана картина, и уродовать великое произведеніе.

Въ самомъ дѣлѣ, господа, я вынужденъ просить васъ искать матеріаловъ для моей біографіи гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, ибо «Въ перемежку» есть сочиненіе. Не сочинено чувство, съ которымъ написано это сочиненіе, не сочинены нѣкоторые факты и личности, въ немъ изображенные. Но я—не Григорій Темкинъ и Григорій Темкинъ—не я.

Разъяснить это вамъ я долженъ былъ по слѣдующему случаю. Одинъ изъ васъ, стремясь заклевать меня въ лицѣ Темкина, пожелалъ прихватить и моихъ родственниковъ. Но при этомъ онъ не ограничился свѣдѣніями, взятыми изъ записокъ Темкина, а навелъ еще гдѣ-то справки на сторонѣ и объявилъ печатно, что моя «кузина» (представленная въ видѣ родной сестры Темкина—Сони) совершила прелюбодѣяніе!

Господа, вѣдь это уже Геркулесовы столбы! Я не обращаюсь ни къ уму вашему, ни къ сердцу, потому что знаю, что это безполезно. Я не напоминаю вамъ, какъ отнесся Христосъ даже къ блудницѣ по ремеслу, а не то что къ человѣку въ родѣ Сони. Я вамъ сообщаю только факты, которыми вы очевидно очень интересуетесь: у меня есть сестры, есть, кажется, и кузины, но, сколько мнѣ извѣстно, ни съ одною изъ нихъ не случилось того, что случилось съ Соней, и ни одна изъ нихъ не виновата въ томъ, что я—столь нелюбимъ вами.

Ник. Михайловскій.

нѣкоторому священнодѣйствію, съ трепетомъ, а нынѣ будто бы начинающіе писатели «осмѣлились». Не знаю какъ вообще, а мнѣ, право, страшно. Всѣ писатели представляются мнѣ людьми высокаго роста, съ гордыми орлиными носами, «съ печатью думы на челѣ» или съ какимъ-нибудь клеймомъ возвышеннаго вдохновенія. Оттого-то они такъ важны, щекотливы и знаютъ себѣ цѣну. Вотъ, напримѣръ, г. Тургеневъ. Онъ въ первой книжкѣ «Вѣстника Европы» за нынѣшній годъ сразу два раза заявилъ, что у него гордый орлиный носъ, необыкновенно и конечно правомѣрно чуткій ко всему, что относится до твореній обладателя носа. Въ примѣчаніи къ разсказу «Часы» г. Тургеневъ заявляетъ, что онъ предлагаетъ публикѣ конечно хорошенькую, но все-таки бездѣлку, которую отнюдь не слѣдуетъ смѣшивать съ ожидаемымъ всею Россіею большимъ романомъ автора. Въ письмѣ въ редакцію «Вѣстника Европы» г. Тургеневъ объясняетъ тоже «нѣкоторые до него лично относящіеся факты». Онъ заявляетъ именно, что хотя какой-то библіографъ справедливо приписываетъ ему разборъ книги Муравьева «Путешествіе къ святымъ мѣстамъ», напечатанный въ «Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія» за 1836 годъ, но онъ, г. Тургеневъ, «не можетъ, по совѣсти, считать это ребяческое упражненіе своимъ первымъ литературнымъ трудомъ». Еще бы! Конечно, г. Тургеневъ началъ прямо со второго литературнаго труда и ребяческими упражненіями никогда не занимался. Или вотъ г. Авдѣевъ. Въ объявленіяхъ «Молвы» было ошибочно показано заглавіе его произведенія, и г. Авдѣевъ немедленно публикуетъ во всѣхъ газетахъ исправленіе этой ошибки. Это я только то записываю, что совсѣмъ на-дняхъ случилось. А кабы старое копнуть, такъ и конца бы не было. Одинъ г. Тургеневъ сколько матеріала далъ бы. И эти люди имѣютъ полное право благоговѣть передъ каждой своей строкой. Ну, куда же мнѣ къ нимъ въ товарищи соваться!? Какимъ презрѣніемъ, разумѣется молчаливымъ, обольютъ меня крупные дѣятели русской литературы! А кто помельче такъ совсѣмъ заклюютъ. Недаромъ я, рѣшившись уже скрѣпя сердце предстать передъ русской читающей публикой, поставилъ въ заголовкѣ между прочимъ «предсказанія». Я и теперь могу предсказать, напримѣръ, что такой-то сочинитель наведетъ справки о цвѣтѣ моего пиджака (а онъ у меня, признаться, не казистый), о моей походкѣ, о моей прическѣ и все это изложитъ съ ясными на принадлежность мнѣ всѣхъ этихъ вещей доказательствами. Ну—и страшно. А кромѣ того совѣстно. Г. Тургеневъ твердо знаетъ, что его романа ждетъ вся Россія, а потому имѣетъ право сообщать читателямъ о ходѣ своей работы: дескать подождите еще немного, потерпите. Авторъ будущаго описанія моего гороховаго пиджака и вихрастой прически тоже твердо знаетъ, что это чрезвычайно нужно. Но откуда мнѣ-то взять эту увѣренность?

Такъ боролся я съ односторонней силой женской логики. Но въ концѣ-концовъ она побѣдила. Она доказала мнѣ прежде всего, что плохой тотъ солдатъ, который не надѣется быть генераломъ, что ничто не мѣшаетъ мнѣ сдѣлаться съ теченіемъ времени вторымъ Тургеневымъ и затѣмъ отречься съ высоты славы отъ своего перваго литературнаго труда. Значитъ, будь этотъ трудъ даже совершенно ребяческимъ упражненіемъ, не въ примѣръ слабѣйшимъ, чѣмъ разборъ муравьевскаго путешествія къ святымъ мѣстамъ, бѣды не будетъ. Во-вторыхъ мнѣ было доказано, что я—современный русскій типъ и въ качествѣ такового могу смѣло явиться передъ публикой, если только буду писать правду, излагать то, что я въ самомъ дѣлѣ пережилъ и переживаю. «Ты—кающійся дворянинъ», говорила мнѣ любимая женщина;—«и такихъ, какъ ты, много; что изъ васъ выйдетъ — не знаю, но типъ во всякомъ случаѣ любопытный, а васъ всѣ обходятъ, литература вами не занимается». Я долженъ былъ сознаться, что это правда. «Кающагося дворянина» пустилъ въ ходъ г. Михайловскій, кажется просто обозначивъ этой кличкой извѣстное явленіе. Другіе потомъ стали вкладывать въ эту кличку какой-то очень неодобрительный и укорительный смыслъ. Можетъ быть они и правы. Пусть судитъ читатель, познакомившись съ тою правдою, которую я ему разскажу, а разсказывать я буду правду. Вы можете мнѣ повѣрить, потому что я и писать только для того началъ, чтобы «выпѣть» все, что у меня въ душѣ накопилось, чтобы отворить форточку и открыть трубу. Если я буду лгать, такъ мнѣ легче не станетъ, броженіе душевнаго отстоя не прекратится. Значитъ, мой собственный интересъ велитъ мнѣ правду говорить. Не знаю, выдержу-ли я, хватитъ-ли у меня смѣлости довести до конца свою задачу, но намѣреніе мое твердо. Я откровенно разскажу, какъ и почему я сталъ кающимся дворяниномъ, въ чемъ каюсь, что ненавижу, что люблю, чего боюсь, на что надѣюсь. А если замѣчу, что задача мнѣ не по силамъ, такъ просто закрою форточку, то-есть перестану писать.

Но, какъ писатель начинающій, я не владѣю формой, не могу пріурочить свое писаніе къ какой-нибудь рубрикѣ. Я—не ро-

манистъ, не критикъ, не публицистъ, а всего понемножку, «въ перемежку». Въ такомъ смыслѣ я и условіе съ редакціей «Отечественныхъ Записокъ» заключилъ. Выйдетъ у меня фантастическая поэма—могу ее печатать; водевильные куплеты—тоже могу; критическія замѣтки—опять могу, и т. д. Безъ сомнѣнія, приглядѣвшись все-таки въ литературѣ, я читателямъ «Отечественныхъ Записокъ» не предложу ни «Исторіи Шампанскаго гусарскаго полка», ни романа, пропитаннаго ароматомъ будуара княгини Лучезаровой (если бы мнѣ случилось написать что-нибудь подобное, я отправлю въ «Русскій Вѣстникъ»), ни статьи о русскихъ глаголахъ или о магометанской нумизматикѣ (это пойдетъ въ «Вѣстникъ Европы»).

Вотъ и все, что я имѣю сказать въ видѣ рекомендаціи. А тамъ ужъ пусть читатель судитъ.

Вечеромъ дѣло было. То-есть по моему образу жизни вечеромъ. Такъ, часовъ въпять. Огарокъ свѣчки, отчасти по свойствамъ петербургской зимы, а отчасти потому, что окно моей комнаты выходитъ на задній дворъ, огарокъ, говорю, зажженный еще въ три часа, догорѣлъ, и пришлось его потушить. На душѣ было смутно. Но не потому, что у меня не было семи копеекъ на свѣчку—къ этакимъ случайностямъ я уже давно привыкъ—а потому, что я только-только-что успѣлъ дочитать романъ г. Достоевскаго «Подростокъ». Будь огарокъ чуть чуть поменьше, я не успѣлъ бы прочитать очень меня задѣвшія за живое слова Николая Семеновича, письмомъ котораго г. Достоевскій закончилъ свой романъ. Вотъ эти слова:

„Если бы я былъ русскимъ романистомъ и имѣлъ талантъ, то непремѣнно бралъ бы героевъ моихъ изъ русскаго родового дворянства, потому что лишь въ одномъ этомъ типѣ культурныхъ русскихъ людей возможенъ хоть видъ красиваго порядка и красиваго впечатлѣнія, столь необходимаго въ романѣ для изящнаго воздѣйствія на читателя. Говоря такъ, я вовсе не шучу, хотя самъ я—совершенно не дворянинъ, что впрочемъ вамъ и самимъ извѣстно. Еще Пушкинъ намѣтилъ сюжеты будущихъ романовъ своихъ въ „Преданіяхъ русскаго семейства“, и повѣрьте, что тутъ дѣйствительно все, что у насъ было досель красиваго. По крайней мѣрѣ, тутъ все, что было у насъ хотя сколько-нибудь завершеннаго. Я не потому говорю, что такъ уже безусловно согласенъ съ правильностью и правдивостью красоты этой; но тутъ, напримѣръ, уже были законченныя формы чести и долга, чего, кромѣ дворянства, нигдѣ на Руси не только нѣтъ законченнаго, но даже нигдѣ и не начато... Тамъ хороша-ли эта честь и вѣренъ-ли долгъ—это вопросъ второй; но важнѣе для меня именно законченность формъ и, хоть какой-нибудь, да порядокъ и уже не предписанный, а самими наконецъ-то выжитый. Боже, да у насъ именно важнѣе всего, хоть какой-нибудь, да свой, наконецъ, порядокъ! Въ томъ заключалась надежда и, такъ сказать, отдыхъ глазу: хоть что-нибудь, наконецъ, построеннос, а не вѣчная эта ломка, не летающія повсюду щепки, не мусоръ и соръ, изъ которыхъ, вотъ уже двѣсти лѣтъ, все ничего не выходитъ. Не обвините въ славянофильствѣ; это—я лишь такъ, отъ мизантропіи, ибо тяжело на сердцѣ! Нынѣ съ недавняго времени... уже не соръ пристаетъ къ высшему слою людей, а напротивъ, отъ краснваго типа отрываются, съ веселою торопливостью, куски и комки и сбиваются въ одну кучу съ безпорядствующими и завидующими. И далеко не единичный случай, что самые отцы и родоначальники бывшихъ культурныхъ семействъ смѣются уже надъ тѣмъ, во что можетъ быть хотѣли бы еще вѣрить ихъ дѣти. Мало того: съ увлеченіемъ не скрываютъ отъ дѣтей своихъ свою алчную радость о внезапномъ правѣ на безчестье, которое они вдругъ изъ чего-то вывели цѣлою массой“.

Вотъ слова, повергшія меня—не скажу въ глубокое раздумье, потому что выраженіе это предполагаетъ извѣстную правильность, порядокъ мысли, а въ какой-то душевный омутъ, въ которомъ странно сталкивались обрывки мыслей, образы давно прошедшаго и настоящаго, желанія, чувства—что-то совсѣмъ хаотическое, но тяжелое. Разобраться во всемъ этомъ я не могъ. Со мной бываетъ во снѣ, что вдругъ надвигается на меня что-то шарообразное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, безформенное, громадное, надвигается все ближе, ближе, и мнѣ становится все не то, что страшнѣе, а какъ-то неопредѣленно, но мучительно тяжелѣе,—я всѣ усилія употребляю, чтобы проснуться. Вотъ въ этомъ же родѣ было мое состояніе, когда я потушилъ свѣчку, дочитавъ письмо Николая Семеновича. Не въ самомъ письмѣ было конечно дѣло, но оно дало толчокъ, вызвавшій многое, что для меня было längst gestorben, verdorben. И можетъ быть именно потому, что толчокъ былъ неожиданный, образы и мысли явились въ совсѣмъ безпорядочномъ смѣшеніи. Вотъ отецъ, красивый человѣкъ съ крашеными волосами и усами. Но не успѣлъ еще я припомнить, какъ однажды я былъ изумленъ въ купальнѣ при видѣ краски, смытой водой съ отцовской головы, и какъ онъ смутился отъ моего дѣтскаго крика—вмѣсто отца уже назойливо вторгались «дяденька-нѣмецъ» и «дяденька-генералъ». Изъ-за дяденьки-генерала выглядывалъ мой братъ-мужикъ, о которомъ я пролилъ столько слезъ.. А тамъ сестра, а тамъ совсѣмъ недавнія, почти вчерашнія событія... Надо было кончить съ этимъ, то-есть собственно съ безпорядочностью и хаосомъ. Отъ воспоминаній я былъ не прочь, еслибъ они только представились въ маломальски стройномъ видѣ, не сбиваясь въ кучу. Невыносима была безпомощность-моя, невозможность справиться съ нахлынувшимъ вдругъ потокомъ. Мнѣ казалось, что, если

бы у меня была свѣчка и горѣла вотъ тутъ на столѣ, хаосъ исчезъ бы. Но откуда ее взять, свѣчку-то?

Вдругъ въ сосѣдней, хозяйской комнатѣ раздался тоненькій дѣтскій голосокъ:

— Адамъ и Ева не нуждались въ одеждѣ, потому что были безгрѣшны...

Это—хозяйкина дочь, десятилѣтняя Оля, вслухъ готовила на завтра урокъ изъ священной исторіи. Вѣрите ли, точно лучъ солнечный ворвался въ мою комнату, когда прозвучалъ тоненькій голосокъ Оли. Самый ли смыслъ этого голоска или смыслъ произнесенной имъ фразы подѣйствовалъ, но мучительный хаосъ исчезъ. Свѣчки мнѣ уже было не нужно. Я пошелъ гулять, потомъ провалялся часовъ до шести безъ сна, все приводя въ порядокъ свои воспоминанія и мысли, вызванныя письмомъ Николая Семеновича. Проснулся очень поздно, и первое, что услышалъ, были опять вчерашнія слова маленькой Оли. Она отвѣчала матери урокъ:

— Адамъ и Ева не нуждались въ одеждѣ, потому что были безгрѣшны...

Я часто вспоминаю одинъ любопытный физическій опытъ. Наливаютъ въ какой-нибудь сосудъ воды и очень медленно охлаждаютъ ее, наблюдая притомъ, чтобы сосудъ былъ совершенно спокоенъ. Термометръ падаетъ до нуля, до одного, до двухъ, даже до трехъ градусовъ, такъ что водѣ давно бы пора замерзнуть, а она не мерзнетъ. Но если чуть-чуть толкнуть чашку, замерзаніе происходитъ моментально. Не знаю, какъ у другихъ, а за собой я замѣчалъ совершенно подобный психическій процессъ. Терпишь, напримѣръ, иной разъ, терпишь какія-нибудь гадости, и давно бы пора плюнуть и уйти, а все терпишь, да вдругъ какой-нибудь совсѣмъ пустякъ и взорветъ. Такъ и письмо Николая Семеновича только пошевелило цѣлую массу впечатлѣній, незамѣтно для меня самого залегавшихъ во мнѣ при чтеніи романа г. Достоевскаго. Собственно говоря, давно бы ужъ пора подняться воспоминаніямъ, но это мнѣ только теперь ясно. Взять, напримѣръ, преслѣдующую «Подростка» кличку «князь Долгорукій». Ужъ одна она напоминаетъ мнѣ многое. Я не такъ, какъ Подростокъ—законнѣйшій сынъ законнѣйшихъ родителей, но имѣю счастье или несчастье носить древнюю фамилію Темкиныхъ, вдобавокъ зовутъ меня Григоріемъ Александровичемъ. Поэтому и школьники, и нѣкоторые учители тѣхъ двухъ учебныхъ заведеній, въ которыхъ я провелъ свою раннюю молодость, въ насмѣшку величали меня Потемкинымъ, «великолѣпнымъ княземъ Тавриды», «сыномъ роскоши, прохладъ и нѣгъ», и, наконецъ, просто «Гришкой въ потемкахъ», какъ, по преданію, школьники дразнили знаменитаго любимца Екатерины. Да и такъ, совсѣмъ помимо школьныхъ отношеній, случалось и случается, что назовешь свою фамилію и услышишь, какъ Подростокъ, переспросъ: Потемкинъ? Теперь я, разумѣется, совершенно равнодушенъ ко всѣмъ этимъ кличкамъ и переспросамъ, но прежде относился къ нимъ не такъ. Каюсь, сначала, когда я впервые услышалъ «Потемкина» и «великолѣпнаго князя», я былъ сильно польщенъ. Мало того: такъ какъ дѣло пошло на откровенность, да и времена это очень далекія, я открою вамъ маленькую хитрость, къ которой я прибѣгалъ, чтобы удержать за собой лестное, хотя и насмѣшливое, прозвище. Я очень быстро освоился со школьными порядками и замѣтилъ, что кличка, видимо не производящая на отмѣченнаго ею обиднаго впечатлѣнія, скоро отпадаетъ и замѣняется другою. Поэтому я всѣми силами старался показать товарищамъ, что я чрезвычайно обижаюсь «великолѣпнымъ княземъ», даже, помню, не разъ дирался изъ-за этого прозвища. Я боялся, что у меня отнимутъ «Потемкина» и нарекутъ какъ-нибудь въ родѣ «жидконожки» или «Мазепы». Черта ли это моего характера, или просто дѣтская черта—пусть судитъ читатель на основаніи дальнѣйшаго повѣствованія. Въ скоромъ времени, однако, произошло значительное измѣненіе въ моихъ отношеніяхъ къ Потемкину. Но, чтобы разсказать это, надо познакомить читателя съ «дяденькой-нѣмцемъ».

Такъ онъ назывался въ отличіе отъ «дяденьки-генерала», о которомъ потомъ. Дяденька-нѣмецъ приходился мнѣ, собственно, седьмой водой на киселѣ. Онъ былъ братъ жены двоюроднаго брата моего отца и жилъ у насъ не столько, какъ родственникъ, сколько въ качествѣ бѣднаго человѣка. Это былъ плюгавый съ виду, но крѣпкій, никогда не хворавшій старичокъ, съ вывернутыми въ стороны ногами, плѣшивый, съ всегда аккуратно выбритымъ лицомъ. Голосъ онъ имѣлъ пискливый и обладалъ непріятною слабостью, разгорячившись, обдавать собесѣдника брызгами слюней. Курилъ дрянныя сигары. Онъ былъ дѣйствительно нѣмецъ, но я никогда не слыхалъ отъ него ни одного нѣмецкаго слова, а по-русски онъ говорилъ совсѣмъ чисто, только пересыпая рѣчь безсмысленнымъ наборомъ словъ: «тутъ вотъ это теперича вотъ такъ». Къ отцу онъ относился съ величайшимъ почтеніемъ, даже съ подобострастіемъ, отчасти за кусокъ хлѣба и уголъ, которые онъ имѣлъ у насъ въ домѣ, отчасти, можетъ быть, ради личныхъ до-

стоинствъ отца, а главное, онъ видѣлъ въ немъ «стараго дворянина». Я никогда не видалъ человѣка, который бы до такой степени уважалъ «породу» и вѣрилъ въ красоту стараго дворянскаго типа, какъ дяденька-нѣмецъ. Я думаю, что даже публицисты «Русскаго Вѣстника» и «Русскаго Міра» должны были бы уступить ему пальму первенства. Самъ онъ былъ «совершенно не дворянинъ», какъ выражается Николай Семеновичъ, кровный нѣмецкій плебей (звали его Карлъ Карловичъ Фишеръ), сынъ митавскаго сапожника, коллежскій регистраторъ, дотянувшій до пенсіи на мѣстѣ смотрителя чего-то и гдѣ-то. Всю свою пенсію онъ тратилъ на покупку разныхъ древностей, которыми были завалены его двѣ маленькія комнатки во флигелѣ. Я очень любилъ рыться въ этомъ скарбѣ. Тутъ были разныя принадлежности рыцарскаго и древняго русскаго вооруженія, шлемы, копья, мечи, самопалы, которые дяденька-нѣмецъ, несмотря на свою любовь къ чистотѣ и порядку, оставлялъ во всей неприкосновенности ихъ священной ржавщины; старинные пергаменты и «выписы изъ книгъ гербовыхъ»; съ великими трудами и пожертвованіями собранная коллекція гербовыхъ печатей русскихъ дворянскихъ фамилій и во главѣ ихъ печать древняго рода Темкиныхъ; наконецъ, много различныхъ мелочей, которыхъ я не помню. Кстати, о печатяхъ, для характеристики дяденьки-нѣмца и его отношеній къ отцу. На печати отца была вырѣзана, кромѣ родового герба, сабля съ привѣшанными къ ней двумя или тремя орденами, полученными отцомъ въ военной службѣ. Оказалось потомъ, что эти добавленія страшно смущали дяденьку-нѣмца въ его культѣ породы. Онъ цѣнилъ, конечно, заслуги передъ отечествомъ, но желалъ бы видѣть гербъ Темкиныхъ совершенно чистымъ отъ какихъ бы то ни было позднѣйшихъ украшеній, такъ чтобы на печати не было ничего, кромѣ щита, раздѣленнаго на три поля и т. д., и дворянской короны, изъ которой поднимается голова какого-то звѣря—чтобы печать, однимъ словомъ, была исключительно родовая. Но отцу дяденька-нѣмецъ не рѣшался ни разу высказать свое задушевное желаніе и уже послѣ смерти его открылся мнѣ.

Такъ вотъ, къ этому-то чудаку явился я съ извѣстіемъ, что товарищи прозвали меня Потемкинымъ и великолѣпнымъ княземъ Тавриды. Должно быть я не могъ, а можетъ быть и не хотѣлъ скрыть удовольствія, которое мнѣ доставила кличка, потому что дяденька-нѣмецъ сразу на меня окрысился.

— А ты и обрадовался? пискнулъ онъ во всю силу своихъ маленькихъ легкихъ и такъ обдавая меня брызгами слюней, что я долженъ былъ попятиться и достать изъ кармана платокъ.—Чего обрадовался-то? Потемкинъ! Великая штука твой Потемкинъ тутъ вотъ теперича всегда! Потемкинъ! Да знаешь ли что такое были Потемкины, когда князья Темкины-Ростовскіе... да на, вотъ, читай... Хха: Потемкинъ!..

Дяденька-нѣмецъ торопливо и все пища что-то обидное для Потемкиныхъ досталъ изъ шкафа портфель, а изъ него цѣлую груду старыхъ бумагъ, которыя и сунулъ мнѣ подъ носъ. Но, увы, эти древніе манускрипты были для меня настоящей китайской грамотой. Дяденька-нѣмецъ это очень хорошо зналъ и не сообразилъ только сгоряча. Опомнившись, онъ досталъ изъ того же шкафа томъ Карамзина и заставилъ меня вслухъ прочитать объ участіи какого-то князя Темкина-Ростовскаго въ покореніи Казани. Затѣмъ на меня, совершенно ошеломленнаго, посыпалась хронологія, исторія, археологія, геральдика, и въ итогѣ я оказался происходящимъ отъ угасшаго рода князей Темкиныхъ-Ростовскихъ, а тѣ, въ свою очередь, прямо отъ одного изъ сыновей Владиміра Краснаго-Солнышка.

— Тутъ вотъ теперича вотъ какъ, заключилъ дяденька-нѣмецъ.—А что твой Потемкинъ князь былъ, такъ вѣдь пожалованный—понялъ? а не родовой. Если бы—тутъ дяденька-нѣмецъ вдругъ понизилъ голосъ—если бы Александръ Петровичъ (отецъ) только захотѣлъ, такъ ничего бы ему не стоило выхлопотать титулъ, потому — дѣло ясное... или хоть право имѣть въ гербѣ корону и мантію. Темкины не хуже Внуковыхъ, Еропкиныхъ и Ржевскихъ!..

Послѣдовала новая лавина хронологіи и геральдики, объяснявшая, почему Внуковы и Еропкины, не будучи князьями, но происходя отъ княжескихъ родовъ, имѣютъ въ гербѣ корону и мантію.

Разговоръ этотъ не остался для меня безъ нѣкоторыхъ непріятныхъ послѣдствій. Я очень мало запомнилъ изъ длинной лекціи дяденьки-нѣмца и очень мало понялъ. Больше восторженный тонъ старика, чѣмъ сообщенные имъ факты, внушилъ мнѣ высокое понятіе о древности рода Темкиныхъ. Къ несчастію, дяденька-нѣмецъ, для болѣе нагляднаго изображенія величія нашего рода, а также снисходя къ моей глупости, употребилъ выраженіе «родственники Владиміра Святого». И, къ еще большему несчастью, я это выраженіе запомнилъ. Запомнилъ и разболталъ... Боже! сколько я изъ-за этого вытерпѣлъ!

Былъ у меня въ гимназіи пріятель Нибушъ, незаконный сынъ богатаго помѣщика,

отпрыска древняго красиваго типа—Шубина. Если вы прочтете фамилію Нибушъ съ конца, такъ выйдетъ Шубинъ. Отпрыску стараго красиваго типа пришла странная фантазія вывернуть имя наизнанку для своего незаконнаго дѣтища, чтобы, дескать, видно было, что мой, да съ лѣвой стороны. Нибушъ былъ мальчикъ угрюмый и несообщительный, но мы съ нимъ почему-то сошлись. Замѣчательно, что Нибушъ никогда никого не «дразнилъ», то-есть не употреблялъ въ разговорѣ школьныхъ кличекъ «козелъ», «Мазепа» и т. д. Но зато и онъ не носилъ никакого школьнаго прозвища, представляя, можетъ быть, единственное во всей гимназіи исключеніе. Когда его однажды одинъ сорванецъ обозвалъ тѣмъ позорнымъ именемъ, которое грубые люди даютъ незаконнымъ дѣтямъ, сорванца едва вырвали изъ рукъ Нибуша: еще немного, и онъ бы его задушилъ. Случилась эта исторія еще до моего поступленія, и я о ней узналъ довольно поздно. Нибушу я и сообщилъ въ интимной бесѣдѣ, что такъ, молъ, и такъ, я собственно—родственникъ Владиміра Святого, и потому клички «Гришки въ потемкахъ», «сына роскоши», «великолѣпнаго князя» и «Потемкина» для меня, въ самомъ дѣлѣ, обидны. «Конечно, Потемкинъ былъ князь, развивалъ я идею дяденьки-нѣмца: — да вѣдь пожалованный, а мнѣ ничего не стоитъ вытребовать княжескій титулъ». Нибушъ выслушалъ меня молча, съ нахмуренными по обыкновенію бровями и, къ большому моему неудовольствію, не только не выразилъ сочувствія, а быстро и рѣзко оборвалъ разговоръ. Вскорѣ послѣ этого—истинно проклинаю эту минуту и до сихъ поръ краснѣю, вспоминая ее—я, раздраженный какою-то мелочью, обругалъ Нибуша позорнымъ именемъ, даже не понимая его значенія. Чортъ знаетъ, какъ сорвалось у меня съ языка это проклятое слово. Нибушъ поблѣднѣлъ, затрясся — и звонкая пощечина повалила меня на полъ. Я вскочилъ, началась безобразная драка; насъ едва розняли, и Нибушъ, дрожа отъ злости и едва попадая зубомъ на зубъ, какъ-то безсмысленно шипѣлъ: «родственникъ Владиміра Святого... я-те покажу... родственникъ... я-те покажу... Святого»... Драка была до такой степени основательная—мы оба были окровавлены—что выходила совсѣмъ изъ ряда вонъ, и причины ея скоро сдѣлались извѣстными и всѣмъ школьникамъ, и начальству, и моему отцу, и отцу Нибуша. Съ тѣхъ поръ кличка «Потемкинъ» была съ меня снята, и я сдѣлался «родственникомъ Владиміра Святого». Хоть это прозвище и было несравненно почетнѣе, но я, понятно, очень оскорблялся имъ и много ударовъ роздалъ и принялъ изъ-за злополучнаго «родственника». Только впослѣдствіи, по переѣздѣ въ Петербургъ и поступленіи въ другую школу, я сталъ, по созвучію, опять Потемкинымъ и «великолѣпнымъ княземъ Тавриды», а «родственникъ Владиміра Святого» канулъ въ вѣчность. Но сильнѣйшій изъ всѣхъ ударовъ былъ мнѣ нанесенъ отцомъ. Конечно, ударъ былъ нравственный: отецъ насъ ни разу въ жизни пальцемъ не тронулъ.

Какъ ни старался я смыть слѣды драки съ Нибушемъ, но явился домой весь въ синякахъ, царапинахъ и съ разорваннымъ рукавомъ. Притомъ же драка происходила въ субботу, а по субботамъ я приносилъ домой и вручалъ отцу «аттестацію», которую, по просьбѣ отца, составлялъ одинъ надзиратель. Исторія съ Нибушемъ была въ аттестаціи прописана. Я долго колебался, не шелъ, молился Богу, чтобы отцу что-нибудь помѣшало увидать меня хоть сегодня, чтобы онъ заболѣлъ—даже, чтобы онъ умеръ. Вѣрно вамъ говорю: я молился передъ висѣвшимъ въ дѣтской образомъ Трехъ Святителей, чтобы отецъ умеръ. Я припоминалъ похороны одного знакомаго доктора и представлялъ себѣ, какъ я буду плакать при видѣ отца въ гробу, среди ладоннаго дыма и въ бумажномъ вѣнчикѣ на лбу... Но вотъ въ кабинетѣ послышался звонокъ и потомъ его громкій голосъ:

— Пришелъ Григорій Александровичъ?

Сердце у меня забилось, какъ птица въ клѣткѣ; я долженъ былъ схватиться руками за грудь. Отвѣта лакея Якова, къ которому, я зналъ, обращался отецъ, я не слышалъ, но смыслъ его для меня былъ совершенно ясенъ, потому что тотчасъ же опять раздался страшный для меня въ ту минуту голосъ:

— Такъ чего же онъ не идетъ? Позови.

Яковъ разыскалъ меня. Дѣлать нечего, надо итти. Чего я боялся, я и теперь хорошенько не знаю, потому что, хоть отецъ и былъ строгъ, но къ моимъ нерѣдкимъ кудачнымъ похожденіямъ относился снисходительно. Должно быть, я смутно чувствовалъ, что «родственникъ Владиміра Святого» мнѣ не сойдетъ даромъ.

Когда я съ трепещущимъ сердцемъ вошелъ въ кабинетъ, отецъ сидѣлъ у письменнаго стола и держалъ въ лѣвой рукѣ длинный черешневый чубукъ трубки. Замѣтивъ мою блѣдную отъ волненія и помятую дракой физіономію, онъ молча протянулъ руку за аттестаціей. Я подалъ. Онъ сталъ читать. Я безсмысленно смотрѣлъ на его лѣвую руку, перехватившую чубукъ посерединѣ, и думалъ, глядя на его блестящіе, крѣпкіе, выпуклые ногти: «точно желуди!»

Отъ ногтей глаза поднялись по линіи чубука до высокаго тугого галстуха, изъ-за котораго не выглядывали никакіе воротнички—такъ тогда носили. Но выше, въ лицо, я не смѣлъ взглянуть и опять опустилъ глаза къ «желудямъ». Отецъ кончилъ, всталъ и ходилъ нѣсколько минутъ по кабинету, не обращая на меня, казалось, никакого вниманія. Мнѣ стало еще жутче, да и глаза, привыкшіе уже перебѣгать отъ желудей къ галстуху, не знали, на чемъ остановиться. Наконецъ, отецъ опять сѣлъ и, постукивая по столу «желудями» правой руки, заговорилъ своимъ обыкновеннымъ голосомъ:

— Ты это съ чего взялъ, что ты—родственникъ Владиміра Святого?

Я молчалъ.

— Ну, говори!

— Дяденька сказалъ, чуть слышно отвѣчалъ я, нѣсколько облегченный и спокойствіемъ отца, и слезами, которыя подступили въ эту минуту.

— Дяденька? Ну, дяденька ошибся. Я тебѣ вотъ что разскажу. У меня родилась дочь, а кормилица, серебрянская баба... знаешь Серебряное? (я очень хорошо зналъ подгородное село Серебряное и зналъ, что кормилица моя была оттуда)... такъ она подмѣнила дочь, подсунула вмѣсто нея своего сына, чтобы ему въ рекруты не итти, а дочь взяла къ себѣ. Дочь ужъ давно умерла, ты вѣдь знаешь? (я зналъ). Такъ вотъ она-то и была родственница Владиміра Святого, а ты выходишь серебрянскій мужикъ... Понялъ?.. Ну, и ступай...

Отецъ произнесъ все это очень отчетливо, увѣсисто и тотчасъ же отвернулся, дѣлая видъ, что роется въ бумагахъ на столѣ. Я зарыдалъ, постоялъ еще нѣсколько секундъ и вышелъ изъ кабинета униженный раздавленный... чѣмъ? Право, не знаю. Исторія подмѣна казалась мнѣ до такой степени сложной, что я и не пытался хорошенько вникнуть въ нее. Я понялъ только одно: что я, недавній родственникъ Владиміра Святого, просто серебрянскій мужикъ и что въ этомъ заключается что-то обидное и отчуждающее меня отъ отца, отъ сестры, отъ дома, отъ товарищей. Усомниться въ разсказѣ отца я и не подумалъ, потому что не могло же мнѣ прійти въ голову, что онъ, въ такую торжественную (для меня) минуту, шутитъ или употребляетъ особенный педагогическій пріемъ. Сестра Соня ждала уже меня въ дѣтской, встревоженная и любящая, но я ее оттолкнулъ.

— Я не... Владиміра Святого, рыдалъ я: — кормилицынъ... сынъ .. муж...жикъ... серебрянск...

Со мной сдѣлалась нервная горячка, доля которой должна быть вѣроятно отнесена насчетъ здоровыхъ кулаковъ Нибуша. Когда я выздоровѣлъ, о серебрянскомъ мужикѣ и фантастическомъ кормилицыномъ сынѣ не было уже помина. Я оказался чистымъ, настоящимъ Темкинымъ, но дяденька-нѣмецъ уже неохотно принималъ меня въ свои апартаменты, заваленные археологическимъ и геральдическимъ скарбомъ.

Съ Нибушемъ мы съ тѣхъ поръ не сказали ни одного слова, точно умерли другъ для друга. Мы встрѣтились гораздо позже и при совсѣмъ особенныхъ условіяхъ.

Что однако значитъ неумѣнье писать! Настоящій писатель, привычный и съ талантомъ развѣ онъ сталъ бы писать такую путаницу? У него бы романъ вышелъ или такъ легонькій разсказъ, вообще что-нибудь оформленное, опредѣленное, порядочное. А у меня выходитъ чортъ знаетъ что... Не взыщите, читатель; я только правду обязался говорить, а на формѣ не взыщите. Можетъ быть, на слѣдующей же страницѣ воспоминанія смѣнятся предсказаніями, дѣйствительность—фантазіей, разсказъ—лирикой или размышленіемъ. Меня вотъ и теперь тянетъ къ размышленію...

Въ самомъ дѣлѣ, это вѣдь любопытно. Мнѣ все яснѣе и яснѣе становится, что письмо Николая Семеновича было только толчкомъ, обнаружившимъ давно, но незамѣтно происходившій процессъ подбора воспоминаній. Нибушъ — незаконный сынъ и Подростокъ—тоже. Подростка преслѣдуетъ кличка и меня—тоже. Мелочи это конечно, да и не во всѣхъ подробностяхъ параллельныя, но все-таки онѣ полегоньку копились и готовили взрывъ. Письмо же Николая Семеновича прямо породило мысль, которая, однако, отъ неожиданности взрыва, сначала запуталась въ кучѣ воспоминаній. Тутъ выручилъ другой толчокъ—тонемькій голосокъ маленькой Оли:

— Адамъ и Ева не нуждались въ одеждѣ, потому что были безгрѣшны...

А мысль приблизительно была вотъ какая. Въ воспросительной больше формѣ она сначала представилась. Отчего Николай Семеновичъ, «совершенно не дворянинъ», и дяденька-нѣмецъ, тоже «совершенно не дворянинъ», отчего они такъ болѣютъ сердцемъ о «красивомъ типѣ» стараго русскаго дворянства и даже увѣрены, что нигдѣ, кромѣ среды «культурныхъ русскихъ людей», не существуютъ законченныя понятія чести и долга? Вѣдь это же со стороны совершенно не дворянъ — жесточайшее самобичеваніе (чуть-чуть не написалъ по ошибкѣ «самоубійство»), требованіе того самаго «права на безчестье», которое такъ возмущаетъ Николая Семеновича. «Совершенно не дво-

ряне» говорятъ: вамъ честь, вамъ долгъ, а мы и такъ проживемъ, въ безчестьи, вами любуючись, на васъ глазомъ отдыхаючи. Такъ въ старые годы преданные дворовые разсуждали: у насъ, молъ, паръ, а у господъ душа. Это—феноменъ, заслуживающій вниманія какого-нибудь ученаго психолога. Конечно, я говорю только объ искреннихъ дворовыхъ, каковы Николай Семеновичъ и дяденька-нѣмецъ, а не о публицистахъ «Русскаго Вѣстника» и «Русскаго Міра». Я очень допускаю, что эти господа—по происхожденію «совершенно не дворяне», но они во всякомъ случаѣ только поддѣлываются подъ тонъ искренно преданныхъ дворовыхъ. Въ дѣйствительности же, я увѣренъ, они клянутъ матерей своихъ, которыя вышли за «совершенно не дворянъ» и родили ихъ таковыми же. Дорого бы они дали, чтобы, какъ я, считать въ числѣ своихъ предковъ князей Темкиныхъ-Ростовскихъ и подписываться не Голопузенкомъ или Квасковымъ, а Темкинымъ. А я между тѣмъ—каюсь; я—кающійся дворянинъ... Опять странное явленіе. Мнѣ же лучше, чѣмъ какому-нибудь Голопузенкѣ, знать цѣну красиваго типа культурныхъ русскихъ людей. Отчего же я, говоря словами Николая Семеновича, отстранился отъ «законченныхъ формъ чести и долга»? Впрочемъ, тутъ Николай Семеновичъ ошибся, по крайней мѣрѣ относительно меня. Я оторвался—это правда, но совсѣмъ не съ веселою торопливостью. О нѣтъ, повѣрьте, что много душевной муки и горечи пережилъ я прежде, чѣмъ оторваться и покаяться. Да вы сами дальше увидите. А оторвался я единственно потому, что не нашелъ ни законченныхъ формъ чести и долга, ни красиваго типа, если я только вѣрно понимаю, что хотѣлъ этими послѣдними словами сказать Николай Семеновичъ. Вы, можетъ быть, объясните все дѣло тѣмъ, что у меня семи копеекъ на свѣчку не хватаетъ? Нѣтъ, по совѣсти нѣтъ. Я имѣю полную возможность хоть сейчасъ половину свѣчной лавки закупить. Для этого нужно только немного голову нагнуть и, главное, перестать каяться. Опять-таки вы все это дальше сами увидите и провѣрите и повѣрите.

Кстати о Николаѣ Семеновичѣ. Я слышалъ мнѣніе, будто его устами говорилъ самъ г. Достоевскій. Это конечно—совсѣмъ пустяки. Г. Достоевскій не въ такихъ лѣтахъ и не такого закала человѣкъ, чтобы быстро мѣнять свои взгляды. Онъ еще очень недавно чрезвычайно энергически заявлялъ, что «Власы спасутъ себя и насъ». У спасителей должны же быть опредѣленныя формы чести и долга, иначе они никого не спасутъ. А вы помните, что говорилъ Николай Семеновичъ: по части долга и чести «кромѣ дворянства, *нигдѣ* на Руси не только нѣтъ законченнаго, но даже *нигдѣ не начато*». Ясно, что Николай Семеновичъ и г. Достоевскій—два совсѣмъ разныя лица. Николай Семеновичъ—просто преданный дворовый, а г. Достоевскій можетъ быть даже согласится со мной, что мы, дворяне, недавно только *начали*, то-есть начали вырабатывать формы чести и долга и начали именно покаяніемъ.

Родъ Темкиныхъ, хотя и происходитъ отъ древняго угасшаго рода князей Темкиныхъ-Ростовскихъ, но былъ родъ захудалый, давно захудалый. Основаніе захудалости положилъ мой прадѣдушка, прозванный «лютымъ», отчаянный картежникъ, пьяница, сорви-голова, буквально выходившій съ толпой дворовыхъ грабить на большую дорогу. Его и до сихъ поръ въ нашихъ родныхъ мѣстахъ помнятъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе передавая чудовищные разсказы, можетъ быть приправляемые фантазіей, о его разбойническихъ подвигахъ. Можетъ быть въ художественномъ смыслѣ это былъ и красивый типъ, но вѣрно, что о чести и долгѣ онъ имѣлъ очень своеобразныя понятія. Въ концѣ концовъ, онъ разорился до тла. Барыши большой дороги не могли восполнить убытковъ отъ наѣздовъ алчной приказной челяди, съ которой ему постоянно приходилось имѣть дѣло, отъ безумнѣйшаго мотовства, отъ картежной игры—онъ ставилъ на одну карту по сту, по двѣсти душъ крестьянъ. Сынъ его, значитъ мой дѣдъ, былъ, по разсказамъ, человѣкъ смирный, забитый и отличался только плодородіемъ. Между его многочисленными дѣтьми и разошлись остатки когда-то громаднаго богатства Темкиныхъ. Каковы, впрочемъ, уже были эти остатки, можете судить потому, что у отца моего было человѣкъ десять-двѣнадцать (считая малолѣтокъ) крѣпостныхъ и небольшой деревянный домъ въ губернскомъ городѣ, гдѣ я увидѣлъ свѣтъ. Изъ дядей и тетокъ я до сей минуты не видалъ въ глаза никого, кромѣ «дяденьки-генерала», и отецъ о нихъ никогда при мнѣ по крайней мѣрѣ не вспоминалъ. «Дяденька-генералъ» былъ человѣкъ очень достаточный, даже богатый, но единственно благодаря двукратной женитьбѣ на богатыхъ купчихахъ. Матери я не помню: она умерла родами, подаривъ отцу шестого ребенка. Въ живыхъ, впрочемъ, насъ осталось всего двое—я и Соня. Хозяйствомъ заправляла въ домѣ, со смерти матери, толстая митавская нѣмка, выписанная по рекомендаціи «дяденьки-нѣмца».

Отъ нарочитаго описанія отца, Сони, экономки Иды Ѳедоровны, дома и проч. вы

ужъ пожалуйста меня увольте, снисходя къ моей неопытности и неумѣлости. Полную картину нашего житья-бытья я изобразить не сумѣю, а буду вызывать свои воспоминанія какъ придется, по частямъ, какъ они сами возникать будутъ.

Помню вечеръ, лѣтній, чудесный лѣтній вечеръ, описаніе котораго можете найти въ любомъ художественномъ романѣ. Жара спала, солнце уже угасло, посылая землѣ свои послѣдніе сонные лучи. Мы сидѣли на балконѣ, выходившемъ въ старый густой садъ, и пили чай. Были гости. Но больше изо всей обстановки я, при всемъ напряженіи, ничего не могу припомнить. Кто именно былъ у насъ въ гостяхъ, что они говорили, какъ мы сидѣли, въ какомъ порядкѣ, въ какихъ позахъ—ничего не помню: чудесный лѣтній вечеръ на балконѣ—и отецъ. Отецъ былъ въ ударѣ. Это съ нимъ случалось рѣдко, но, когда случалось, онъ былъ великолѣпенъ въ самыхъ разнообразныхъ видахъ: то неистощимо остроуменъ, то мастерской разсказчикъ, то обаятельно ласковъ и нѣженъ. Впослѣдствіи я слышалъ, что онъ на своемъ вѣку много женскихъ сердецъ съѣлъ. И это непремѣнно такъ должно было быть. Я увѣренъ, что ни одна женщина не устояла бы передъ этимъ человѣкомъ, если бы онъ только захотѣлъ, чтобы она не устояла. Къ тому же онъ былъ красивъ, вѣроятно, не прочь нравиться, потому что красилъ усы и волосы. На этотъ разъ онъ разсказывалъ. Что подало поводъ этому разсказу, я не помню, какъ и вообще ничего, кромѣ лѣтняго вечера и отца и его разсказа, который произвелъ на меня страшное, подавляющее впечатлѣніе. Было бы съ моей стороны нелѣпой претензіей пытаться передать этотъ разсказъ во всей художественности отцовскаго изложенія. Довольно того, что его никто не перебивалъ, не переспрашивалъ, всѣ точно замерли, а самъ онъ даже поблѣднѣлъ подъ конецъ разсказа. А что со мной дѣлалось, когда, впившись глазами въ выразительное лицо отца и едва дыша отъ внутренняго трепета, я старался не проронить ни одного слова!..

Отецъ разсказывалъ эпизодъ изъ исторіи одной своей казенной службы, говорю—одной, потому что онъ перемѣнилъ ихъ нѣсколько. Кстати вы получите понятіе о нѣкоторыхъ его служебныхъ поприщахъ.

Ему было поручено отыскать и изловить шайку фабрикантовъ фальшивыхъ ассигнацій гдѣ-то въ Западномъ краѣ. Переодѣтый и снабженный начальствомъ ложными документами о его личности, онъ, прибывъ на мѣсто, скоро убѣдился, что фабрикантъ былъ всего одинъ, а остальные—сбытчики. Съ величайшими подробностями, но нисколько не утомляя нашего вниманія—напротивъ, всѣ слушали его съ замираніемъ сердца, собственно отъ красоты разсказа—отецъ разсказывалъ, какъ онъ вкрадывался въ довѣріе сначала одного сбытчика, а потомъ, черезъ него, добрался и до фабриканта, оказавшагося жидомъ. Одолѣлъ онъ, наконецъ, и жида, до такой степени одолѣлъ, что тотъ водилъ его на свою фабрику гдѣ-то въ подпольѣ и они дѣлали фальшивыя бумажки вмѣстѣ. Затѣмъ, по прошествіи извѣстнаго времени, разузнавъ всѣ нити дѣла, отецъ предложилъ жиду сдѣлать большой «гешефтъ», именно свезти цѣлый транспортъ фальшивыхъ ассигнацій въ губернскій городъ, гдѣ, по увѣренію отца, онъ можетъ немедленно и очень выгодно сбыть всю партію разомъ. Рѣшили заготовить телѣгу съ двойнымъ дномъ, низъ набить ассигнаціями, а верхъ мѣстными мелкими издѣліями и пріѣхать въ губернскій городъ въ базарный день. Остальное отецъ брался устроить... Сказано—сдѣлано. Выѣхали съ вечера, поѣхали...

Попробовалъ было я тутъ воспроизвести разсказъ отца и все вычеркнулъ: такъ вышло блѣдно, скучно, такъ неизмѣримо далеко отъ подлинника. Эта ночь въ дорогѣ, проведенная съ человѣкомъ, котораго онъ готовился предать, какъ говорится, въ руки правосудія; эта остановка въ корчмѣ; этотъ жидъ, повѣрявшій спутнику свои задушевные планы... Куда мнѣ передать все это! Я, напротивъ, чувствую потребность разсказать конецъ какъ можно короче, суше, въ двухъ строкахъ: въ губернскомъ городѣ отецъ, проѣзжая мимо гауптвахты, уцѣпился за жида и закричалъ. Дѣло было сдѣлано... Когда жидъ узналъ, кто былъ отецъ, онъ разразился проклятіями. Онъ звалъ громы небесные на голову отца, проклиналъ его и дѣтей его и весь родъ его до седьмого колѣна...

Конецъ разсказа былъ истинный chef d'oeuvre. Проклятія тургеневскаго «Жида» не даютъ даже отдаленнаго понятія о томъ, что можно сдѣлать изъ этого матеріала, по крайней мѣрѣ въ устномъ изложеніи. Замѣтьте, что отецъ подражалъ жиду, говорилъ жидовскимъ говоромъ, съ тѣми «вей мирами» и «гевалтами», съ которыми мы привыкли соединять безусловно комическое впечатлѣніе. И однако разсказъ былъ страшно трагиченъ; насъ всѣхъ морозъ по кожѣ подиралъ. Отецъ самъ разбилъ это впечатлѣніе, потому что прибавилъ черезъ нѣсколько секундъ, среди общаго молчанія, какъ-то непріятно сухо:

— Я крестъ за это получилъ...

Конечно, и помимо сильнаго впечатлѣнія отъ художественности разсказа, отецъ былъ

для меня героемъ, потому что я смутно понималъ, какъ много энергіи и ума затратилъ онъ на поимку жида, рискуя не только боками, а и прямо жизнью. Но вмѣстѣ съ тѣмъ отъ страшныхъ жидовскихъ проклятій у меня сжималось сердце. Послѣ ужина, когда намъ, дѣтямъ, разрѣшалось еще полчаса побѣгать и поиграть, мы въ тотъ день не бѣгали и не играли, а сидѣли, прижавшись другъ къ другу, въ темномъ углу гостиной.

— Значитъ, мы—проклятые, не то спрашивалъ, не то утверждалъ я шопотомъ Сонѣ. Она молчала. Но я ясно видѣлъ, что она мнѣ сочувствуетъ, понимаетъ, что мы—проклятые...

Извините за безпорядочность, но тутъ же прибавлю, что въ моментъ, къ которому относятся эти воспоминанія, отецъ служилъ въ частной службѣ, именно у богатаго откупщика Сапунова, державшаго на откупу губерній пять.

Не подумайте, ради Бога, что я сочиняю, стараюсь представить отца моего въ дурномъ свѣтѣ и выдумываю, что онъ, Темкинъ, потомокъ князей Темкиныхъ-Ростовскихъ, служилъ по сыскной и откупной части. Я отца очень любилъ и теперь люблю, мертваго, и много ему обязанъ. Очень радъ тоже заявить, что онъ пользовался общимъ уваженіемъ, въ качествѣ благороднѣйшаго и очень умнаго человѣка. И, насколько я могу судить, онъ въ самомъ дѣлѣ былъ человѣкъ добрый, справедливый и честный. Вотъ прадѣдушка мой Темкинъ — «Лютый» былъ дѣйствительно безсовѣстный грабитель воръ и душегубецъ. Такъ я прямо это и говорю, а отецъ былъ не таковъ. И однако я оторвался отъ красиваго типа... Вы скажете, что это — вовсе не тотъ красивый типъ родового русскаго дворянства, о которомъ болѣетъ сердце Николая Семеновича и которому поклонялся дяденька-нѣмецъ. А почему такъ? Вы ужъ такъ и рѣшили, значитъ, что нѣкоторыя не совсѣмъ благовонныя, но общепризнанныя профессіи составляютъ уклоненія отъ краснваго типа. Пусть онѣ въ самомъ дѣлѣ — уклоненія, но вѣдь ихъ было такъ много, такъ много, даже не только среди захудалыхъ родовъ, въ родѣ нашего, что надо бы перестать ихъ считать уклоненіями. Я очень впрочемъ допускаю, что тѣ «преданія русскаго семейства», которыя въ послѣднее время эксплуатируетъ Щедринъ въ разсказахъ «Семейный судъ», «По родственному» и проч., очень допускаю, что они несравненно типичнѣе, чѣмъ то, что я разсказываю и имѣю разсказать, ближе и точнѣе рисуютъ «красивый типъ». Но вѣдь Щедринъ — художникъ. Онъ разсыпанную храмину фактовъ собираетъ и въ перлъ созданія возводитъ. Отдѣльныя черточки голой правды онъ слагаетъ въ художественные типы. А я только совершенно обнаженную правду разсказываю. Такъ было, съ тѣмъ и возьмите. Въ моемъ разсказѣ, если только возможно такъ назвать путаницу, которую вы теперь читаете, характерно, важно, типично только то, что относится ко мнѣ, какъ кающемуся дворянину. А все остальное—случайности, единичныя особенности. Одного одно привело къ покаянію другого—другое.

Но, во имя правды, пожалуйста, не говорите о «веселой торопливости». Неправда это. О, сколько муки душевной я вытерпѣлъ впослѣдствіи, вспоминая жидовскія проклятія, службу отца по откупной части и еще многое, многое другое... Нѣтъ, тутъ не было и не могло быть веселья. Торопливость была. Да какъ же не торопиться? Какъ не торопиться изъ угарной комнаты, когда голову ломитъ, дышать трудно, ноги подкашиваются? Какъ не кричать: воздуху! воздуху! свѣта!.. Какъ не каяться, если совѣсть мучитъ? Пусть она мучитъ вздоромъ и неправильно, да вѣдь мучитъ. Это фактъ.

Всякій русскій дворянинъ, лично прикосновенный къ крѣпостному праву, имѣлъ въ молодости друзей-пріятелей между дворней. Огромная часть родовыхъ Темкинскихъ крестьянъ давно была продана и проиграна въ карты. Но какъ уже сказано, у отца было душъ десять-двѣнадцать дворовыхъ. А потому и я имѣлъ крѣпостныхъ друзей-пріятелей. Два у меня ихъ было. Во-первыхъ, шустрый мальчишка Ѳедька (отецъ его ходилъ по оброку и жилъ въ Москвѣ въ сапожникахъ), мой ровесникъ, съ бѣлыми, какъ ленъ, и курчавыми волосами, голубыми глазами и сильно вздернутымъ, точно опрокинутымъ, всегда грязнымъ носомъ. По натурѣ онъ былъ художникъ, любилъ пѣть пѣсни, самъ научился рисовать, обладалъ очень пылкой фантазіей. Но этой стороной своей натуры онъ на меня мало дѣйствовалъ, хотя я и любилъ слушать, какъ онъ поетъ, и даже заставлялъ его пѣть. Зато онъ посвятилъ меня во всѣ подробности игоръ въ бабки и въ свайку. Онъ же втянулъ меня въ одну финансово-гастрономическую операцію. Впрочемъ, это я неправду говорю, что онъ меня втянулъ. Онъ только подалъ мысль, а развилъ ее я.

Недалеко отъ нашего дома была лавка, въ которой можно было найти всевозможные предметы необходимости, роскоши и гастрономіи. Тутъ были деготь и гвозди, и селедки, и свѣчи, и леденцы, и рукавицы, и ведра—однимъ словомъ, чортъ знаетъ чего

не было. Были, между прочимъ, и маленькіе круглые пряники, которые мы прозвали «солененькими» за ихъ дѣйствительно солоноватый на вкусъ. Гадость, какъ теперь припоминаю, ужаснѣйшая, но тогда они мнѣ казались несравненно вкуснѣе пирожныхъ, сочиняемыхъ Идой Ѳедоровной, да и вообще лакомѣе всякаго лакомства. Всѣ деньги, которыя мнѣ попадались въ руки, я проѣдалъ на «солененькіе» и къ этимъ Лукулловымъ пиршествамъ допускался иногда и Ѳедька. Разъ онъ самъ любезно предложилъ мнѣ запустить руку въ фунтикъ сѣрой бумаги, въ которомъ я нащупалъ солененькіе. Что за чудеса? Откуда у Ѳедьки такая роскошь, когда денегъ у него, разумѣется, никогда ни полушки не бывало. Ѳедька сіялъ, угощая меня; онъ былъ гордъ тѣмъ, что вотъ и онъ угощаетъ. Оказалось, что онъ нашелъ на улицѣ подковку и вымѣнялъ ее лавочнику Захарычу на солененькіе. Съ обычною пылкостью фантазіи онъ предложилъ мнѣ ежедневно вмѣстѣ искать по улицамъ подковъ и носить ихъ къ Захарычу. Два дня мы походили. Найти ничего не нашли, но зато сообразили, что на подковкахъ свѣтъ не клиномъ сошелся, что Захарычъ съ удовольствіемъ всякій желѣзный ломъ вымѣняетъ на солененькіе. Стали мы собирать желѣзный ломъ, большею частью гвозди, вытаскивая ихъ сначала изъ разныхъ старыхъ завалящихъ досокъ, а потомъ и изъ стѣнъ въ комнатахъ и снаружи дома. Наберется этого добра извѣстное количество, и бѣжитъ Ѳедька къ Захарычу, такъ что только пятки голыхъ ногъ сверкаютъ, и ворочается съ солененькими. Мы забираемся на сѣновалъ или въ другое укромное мѣстечко и пируемъ, а потомъ Ѳедька пѣсню затянетъ, Чудесныя были минуты! Неизвѣстно, до какого состоянія довели бы мы домъ, вытаскивая изъ него ежедневно по нѣскольку гвоздей, если бы не случилось одно чрезвычайное событіе. Мы не одни гвозди таскали, а и разныя другія металлическія вещи, дверныя ручки, задвижки, шкворни, скобки. Разъ даже вывернули огромный желѣзный болтъ изъ ставни. Это было уже слишкомъ дерзко. Захарычъ выдалъ очень большую порцію солененькихъ, но потомъ испугался и прежде, чѣмъ дома было замѣчено похищеніе, принесъ болтъ... Поднялась кутерьма... И я имѣлъ подлость спрятаться за спину Ѳедьки, потому что его жестоко отодрали. А онъ, великодушный и благородный, не только не выдалъ меня подъ розгами, не только и впослѣдствіи ни однимъ словомъ не намекнулъ на мою подлость и отступничество, но на той-же недѣлѣ угостилъ меня солененькими, добытыми уже на свой собственный страхъ. Онъ видѣлъ, что такая свинья, какъ я, такому гусю, какъ онъ—не товарищъ, но все-таки принесъ солененькихъ...

Мелочь это, ребячество—я очень хорошо знаю. Но теперь, когда я, вообще, каюсь, когда извѣстная нравственная система проникла всѣ поры моего существованія, меня и эта старая ребяческая мелочь больно и непріятно щекочетъ. И хоть никому ровно до этихъ маленькихъ уколовъ дѣла нѣтъ, а иной даже посмѣется надъ ними, но мнѣ для собственнаго успокоенія хочется воздухъ очистить, форточку и трубу открыть и во всеуслышаніе крикнуть: Ѳедька! великодушный, прости меня...

Другой мой крѣпостной другъ-пріятель былъ въ совсѣмъ иномъ родѣ, да и отношенія между нами были иныя. О немъ немножко подробнѣе, потому что онъ очень важную роль въ моей жизни игралъ.

Отцовскій лакей («камардинъ» звала его остальная дворня) Яковъ былъ молодой малый, лѣтъ двадцати, съ чисто татарской физіономіей: черноволосый, широколицый, съ узенькими сѣрыми глазами, немного вкось поставленными, и крупнымъ, рѣзко очерченнымъ носомъ. Росту онъ былъ средняго, но плотенъ и чрезвычайно силенъ и ловокъ. Онъ имѣлъ склонность ко всякаго рода физическимъ упражненіямъ, въ родѣ акробатства и фокусничества. Помню, какъ онъ поражалъ меня въ купальнѣ: нырнетъ, ухватится руками за щели днища, а ноги выставитъ совершенно перпендикулярно поверхъ воды; сухія, мускулистыя, волосатыя, жилистыя ноги совсѣмъ посинѣютъ отъ напряженія, а онъ все держится. Такъ стоять онъ могъ очень долго, цѣлый часъ, какъ мнѣ тогда казалось, а въ дѣйствительности, конечно, много поменьше. Во всякомъ случаѣ очень здоровыя легкія нужны для такого фокуса. Выучился онъ у проѣзжаго фокусника-нѣмца ручнымъ фокусамъ, а потомъ и самъ до многаго дошелъ, устроилъ себѣ разные приборы и приспособленія. «Эйнцъ, цвей, дрей, але маширъ»,—говорилъ онъ, постукивая магической палочкой по деревянному стаканчику и, къ величайшему моему недоумѣнію, шарикъ, бывшій подъ стаканчикомъ, оказывался у меня въ карманѣ. Много и другихъ любопытныхъ фокусовъ зналъ Яковъ: вытаскивалъ десятки аршинъ ленты изо рта, ѣлъ горящую паклю, глоталъ ножи, наливалъ себѣ на руку растопленный свинецъ и проч., и проч. Онъ былъ грамотный, но читалъ исключительно книги въ родѣ «Тайны черной и бѣлой магіи», «Все и ничего во рту опытнаго магика ли ни за что не отгадаешь» и т. п.

Впослѣдствіи, какъ вы въ свое время увидите, изъ него вышелъ медіумъ...

Яковъ, вообще, любилъ все таинственное и мрачное и—что кажется такъ не идетъ къ фокуснику—готовъ былъ повѣрить самой невѣроятной исторіи, если въ ней были замѣшаны какіе-нибудь злые духи, которыхъ онъ, впрочемъ, нисколько не боялся, а даже искалъ съ ними встрѣчи. Отъ него я узналъ, напримѣръ, что въ полночь въ пустой банѣ можно встрѣтить бѣлую кошку, которую нужно изо всѣхъ силъ ударить, тогда она вся разсыплется деньгами, и многое другое таинственное. Онъ и ходилъ въ баню, но бѣлой кошки не встрѣчалъ. Ходилъ онъ, кромѣ того, по ночамъ въ развалины стараго, неизвѣстно кому принадлежавшаго, каменнаго дома, уединенно стоявшаго саженяхъ въ двухъ стахъ отъ нашего. Но и тамъ, кажется, ничего особеннаго не нашелъ. Другіе дворовые увѣряли даже, глядя на его фокусы и безстрашіе, что онъ чорту душу продалъ, и сторонились отъ него. Отецъ у него давно умеръ и родныхъ, вообще, не было. Кромѣ разной чертовщины, онъ мнѣ много разсказывалъ про прадѣда Темкина-лютаго, приправляя, однако, опять-таки чертовщиной всѣ эти разсказы, дошедшіе до него по преданію. Такъ, онъ увѣрялъ, напримѣръ, что Лютый вырѣзывалъ животы беременнымъ женщинамъ, вынималъ дѣтей, рубилъ ихъ на мелкіе кусочки и ими «причащался адовскому богу». Это—подлинное выраженіе Якова.

Теперь, чтобы записать одинъ случай, въ которомъ Яковъ игралъ главную дѣйствующую роль, я долженъ разсказать вамъ мѣстоположеніе и устройство нашего дома. Онъ стоялъ на горѣ, на площадкѣ. Рядомъ—домъ священника, подальше, въ той же линіи, но отступя—развалины каменнаго дома, куда Яковъ ходилъ по ночамъ навѣдываться по части чертовщины (онъ назывался «пустымъ» домомъ). Противъ дома священника и значитъ чуть-чуть наискосокъ отъ насъ—церковь, а отъ нея шелъ крутой спускъ къ рѣкѣ, выложенный большими неотесаными камнями въ видѣ чрезвычайно головоломной лѣстницы. Домъ былъ деревянный, одноэтажный, если не считать подвала, гдѣ помѣщались кухня и «людскія». Раздѣлялся онъ на собственно «домъ» и флигель, соединенные теплымъ, довольно длиннымъ коридоромъ. Въ «домѣ» помѣщался отецъ; тамъ былъ его кабинетъ, спальня, пріемныя комнаты и маленькая дѣтская, въ которой мы, однако, пребывали только днемъ. Спали мы во флигелѣ, гдѣ помѣщались также Ида Ѳедоровна и дяденька-нѣмецъ. Значитъ по ночамъ въ «домѣ» оставались только отецъ и Яковъ, которому, мимоходомъ сказать, отецъ почему-то безгранично довѣрялъ.

Разъ ночью, зимой, я былъ разбуженъ страшнымъ шумомъ гдѣ-то на дворѣ. Съ просонковъ я не могъ разобрать, что это такое дѣлается: шумъ, стукъ, бѣготня, крики, хлопанье воротами. Ясно было только, что какая-то необычайная возня происходитъ именно во дворѣ, а не въ саду, куда выходило окно моей конурки, закрытое ставней. Темно... страшно... Дрожа, вскочилъ я съ кровати и кинулся къ дяденькѣ-нѣмцу.

— Дяденька, говорилъ я сначала шопотомъ, трогая ручку двери. — Дяденька! Дяденька! наконецъ закричалъ я изо всѣхъ силъ, еще болѣе испугавшись отъ звука своего голоса, и толкнулъ дверь: она оказалась отпертой. Дяденька-нѣмецъ спалъ во второй комнатѣ. Я бросился туда, но, отворивъ дверь, съ еще большимъ ужасомъ и крикомъ побѣжалъ назадъ. Дяденьки-нѣмца не было; постель его, измятая, была пуста; одѣяло валялось на полу. А полная, свѣтлая зимняя луна глядѣла въ окно, съ котораго сорвался ставень, и фантастически серебрила шлемы, латы, мечи, щиты и прочій археологическій скарбъ. Я еще не видалъ дяденькинаго музея при такомъ освѣщеніи, да и раньше былъ напуганъ, да и отсутствіе дяденьки поразило... Дрожа отъ страха и холода, потому что былъ босикомъ и въ одной рубашкѣ, я побѣжалъ, отъ ужаса переставъ даже кричать, въ другую сторону, гдѣ спали Ида Ѳедоровна и Соня. У нихъ горѣлъ ночникъ, но Иды Ѳедоровны тоже не было; ея одѣяло тоже валялось на полу. Соня спала сладкимъ сномъ.

— Соня, крикнулъ я,—Соня!

— Что? что? отозвалась Соня, испуганно озираясь и протирая заспанные глазки.

— Слышишь, Соня, слышишь? Дяденьки нѣтъ и Иды Ѳедоровны нѣтъ... Слышишь на дворѣ?..

Мы стали прислушиваться, какъ вдругъ вбѣжала Ида Ѳедоровна въ шубѣ, накинутой чуть не прямо на голое жирное тѣло, и съ изудованнымъ отъ перепуга лицомъ.

— Oh Gott, oh Gott! кричала она, безпорядочно суетясь по комнатѣ. Мы пристали съ разспросами, но она, кажется, просто насъ не видала, не слышала и только кричала: oh Gott, oh Je! Потомъ она схватила какія-то тряпки, какія-то склянки и убѣжала, оставивъ насъ въ неописанномъ ужасѣ. Мы обнялись и зарыдали. Соня первая нашла исходъ.

— Пойдемъ туда, проговорила она шопотомъ и стуча зубами.

Куда туда? Мы этого, конечно, не знали; должно быть—туда, гдѣ люди есть, но оба стали торопливо одѣваться во что попало.

Сначала я накинулъ на Соню какую-то хламиду, а она себѣ надѣла на ноги кстати подвернувшіеся мѣховые высокіе сапожки, потомъ она проводила меня ко мнѣ въ комнату, гдѣ я тоже кое-какъ обрядился. Въ какомъ мы были все это время состояніи, судите сами, но изготовились должно быть очень быстро, затѣмъ схватились за руки и молча побѣжали сначала въ корридоръ, потомъ на дворъ. Тамъ мы увидали странную процессію. Толпа народу медленно подвигалась отъ воротъ къ флигелю, собственно къ подвальному его этажу, кое-кто съ фонарями, которые, впрочемъ, были совсѣмъ не нужны, потому что луна ярко обливала свѣтомъ снѣжную скатерть двора. Бабы выли и причитали. Мужчины очевидно кого-то несли, потому что слышались голоса: «держи голову-то!» «ровнѣй, дядя Иванъ!» и т. п. Мы пристали къ процессіи, но кого несутъ—увидать изъ-за толпы не могли. Изъ отрывочныхъ, безпорядочныхъ фразъ и бабьяго причитанія мы поняли только, что кто-то «расшибся», Процессія, тѣснясь и толкаясь въ узкомъ проходѣ, спустилась въ людскую, мы—тоже. Въ людской оказалось, что несли Якова. Но, Боже! въ какомъ видѣ его положили на лавку... Лицо было все въ крови, ноги тоже, подолъ желтой лисьей шубы, въ которой онъ былъ одѣтъ,—тоже, штаны изодраны въ окровавленные клочья... Онъ тихо стоналъ. Около него хлопотала Ида Ѳедоровна, прикладывая ко лбу мокрыя тряпки. Всѣ говорили шопотомъ. Инстинктивно чувствуя, что насъ выгонятъ, какъ только замѣтятъ, мы съ Соней, дрожа и крѣпко прижавшись другъ къ другу, забились за печку.

Вдругъ заскрипѣла на ржавыхъ петляхъ и хлопнула дверь, и вошелъ отецъ. Тишина настала мертвая, только Яковъ стоналъ. Отецъ былъ въ халатѣ на бѣличьемъ мѣху и въ казанскихъ ичигахъ, какъ онъ всегда зимой по вечерамъ ходилъ. Я замѣтилъ, что онъ былъ очень блѣденъ. Онъ остановился посреди комнаты и какъ-то неопредѣленно махнулъ рукой, но всѣ поняли и вышли, даже дяденька-нѣмецъ и Ида Ѳедоровна. Но мы за печкой только еще крѣпче прижались другъ къ другу. Въ двухъ шагахъ отъ насъ было окно и на немъ стояла сальная свѣчка, вставленная въ бутылку; пламя свѣчки по временамъ неровно колыхалось, потому что окно было, разбито. А подальше лежалъ на лавкѣ Яковъ. Отецъ подошелъ къ нему и наклонился. Къ намъ онъ стоялъ спиной и заслонялъ своей фигурой лицо Якова. Мы могли только слышать разговоръ.

— Больно, Яковъ?—спросилъ отецъ тихо, мягко и какъ-то растерянно.

Яковъ застоналъ, потому что, судя по движенію ногъ, которыя мнѣ были видны, онъ хотѣлъ подняться.

— Которыя... вещи... въ пустомъ домѣ... слабо заговорилъ онъ.

— Ты не говори, не говори, Яковъ, все также мягко, тихо перебилъ отецъ и тотчасъ же забылъ свой совѣтъ и опять сталъ спрашивать:

— Тебѣ у меня худо было?

Яковъ молчалъ.

— А куда-жъ ты съ горы побѣжалъ?

— То... питься...

Въ эту минуту Соня всхлипнула, да и у меня глаза были мокры. Отецъ услышалъ, круто и быстро повернулся въ нашу сторону и спросилъ гораздо громче:

— Кто тутъ?

Такъ какъ мы не отвѣчали, то онъ самъ подошелъ къ печкѣ и увидѣлъ насъ. Но, странное дѣло, онъ какъ будто нисколько не удивился нашему присутствію, какъ будто бы было очень естественно, что мы въ какихъ-то фантастическихъ костюмахъ, дрожащіе отъ холода и страха, сидимъ за печкой въ людской въ третьемъ часу ночи. Онъ съ секунду посмотрѣлъ на насъ, потомъ нагнулся, поцѣловалъ въ голову Соню, меня, и я явственно чувствовалъ, какъ горячая слеза перебѣжала съ его лица на мою щеку. Потомъ онъ, все молча, взялъ Соню на руки, а меня за руку и пошелъ изъ людской. За дверями ждала вся дворня. Ида Ѳедоровна накинулась-было на насъ, такъ какъ совсѣмъ не ожидала насъ увидать, но отецъ сурово остановилъ ее.

— Ступайте къ Якову... Иванъ, за докторомъ.

Поднимаясь по лѣстницѣ, я, Богъ знаетъ по какому побужденію, припалъ губами къ отцовской рукѣ и цѣловалъ ее, цѣловалъ... Онъ не отнималъ руки.

— Ну, спать, дѣтки!—тѣмъ же мягкимъ и растерянымъ голосомъ, какъ и въ людской, сказалъ отецъ, спуская Соню съ рукъ на полъ, когда мы пришли во флигель. — Ты здѣсь ложись, прибавилъ онъ, указывая мнѣ на кровать Иды Ѳедоровны. Потомъ онъ снялъ съ Сони хламиду, разулъ ее и сталъ грѣть дыханіемъ ея похолодѣвшія ножки (Соня была его любимица). Словъ между нами больше никакихъ не было сказано. Онъ уложилъ насъ въ постели, заботливо укуталъ одѣялами, а самъ сѣлъ въ кресло у Сониного изголовья. Я долго не могъ заснуть и все слѣдилъ за нимъ: онъ не шевелился и сидѣлъ, свѣсивъ голову на грудь...

На другой день я узналъ слѣдующее. У отца засидѣлся какой-то гость. Когда онъ уходилъ, Якова въ передней не оказалось, такъ что отецъ самъ выпустилъ гостя и заперъ за нимъ дверь. Желая взглянуть, кото-

рый часъ, онъ не нашелъ своихъ карманныхъ часовъ на томъ мѣстѣ, гдѣ они обыкновенно лежали. Туда, сюда—нѣтъ часовъ. Якова тоже нѣтъ. Затѣмъ отецъ пошелъ въ платяной шкафъ за халатомъ и увидѣлъ, что шкафъ на половину пустъ. Дѣло было ясное: воровство. Отецъ разбудилъ людей, велѣлъ искать Якова, но его нигдѣ не было. Поднялась кутерьма. Вдругъ сторожъ за воротами увидѣлъ человѣка въ такой же желтой лисьей шубѣ, какая была у Якова, бѣгущимъ отъ пустого дома къ церковной сторожкѣ, примыкавшей къ колокольнѣ. А надо замѣтить, что въ сторожкѣ жилъ звонарь, большой пріятель Якова, что было всѣмъ очень хорошо извѣстно? Стали стучать въ дверь сторожки. Не отпираютъ. Но вдругъ дверь настежь отворилась и изъ сторожки, размахивая своими здоровенными кулаками, выбѣжалъ Яковъ. Сбивъ съ ногъ двухъ человѣкъ, онъ бросился по головоломной лѣстницѣ, которая вела къ рѣкѣ. Но на половинѣ лѣстницы поскользнулся, упалъ и страшно расшибъ себѣ лобъ и оба колѣна. Тутъ его и взяли. Украденныя вещи, часы, нѣсколько паръ платья, шкатулку съ разными документами, нашли потомъ, по указанію Якова, въ пустомъ домѣ. Тутъ же лежали разные аппараты для фокусовъ.

Отецъ постарался замять всю эту исторію, взялъ опять Якова въ «камардины» и никогда не напоминалъ ему о его попыткѣ бѣжать. Да и никто, кажется, не напоминалъ. Ида Ѳедоровна и дяденька-нѣмецъ вѣроятно потому, что боялись гнѣва отца, мы съ Соней должно быть—по дѣтской чуткости и деликатности, а дворня, какъ я замѣтилъ, даже почему-то лучше, любовнѣе стала относиться къ Якову послѣ этого случая. Можетъ быть онъ убѣдилъ ихъ, что Яковъ души чорту не продалъ. Напоминало Якову объ этомъ событіи только зеркало, отражавшее вмѣстѣ съ другими подробностями его физіономіи и полученный имъ на головоломной лѣстницѣ большой шрамъ отъ виска до виска. По этому шраму и я впослѣдствіи узналъ Якова...

Многіе знакомые говорили отцу, что напрасно онъ довѣряетъ такому человѣку и по прежнему остается съ нимъ по ночамъ вдвоемъ въ цѣломъ домѣ. Но отецъ или круто мѣнялъ разговоръ, или прямо и рѣшительно просилъ не говорить объ этомъ...

Ахъ, какое это пошлое, какое гнусное, подлое слово сказалъ Николай Семеновичъ: «веселая торопливость»!... Почемъ знать, можетъ быть—я такъ хотѣлъ бы этому вѣрить—можетъ быть и отецъ ужъ каялся, только не хватило у него силъ каяться на чистоту...

II.

Г. Заурядный Читатель, литературный хроникеръ «Биржевыхъ Вѣдомостей», почтилъ меня открытымъ письмомъ (№ 29). Лестно!.. Было бы еще болѣе лестно, если бы я могъ понимать мотивы этого письма. А теперь выходитъ такъ лестно, такъ лестно, что даже совсѣмъ не лестно. Выходитъ, какъ будто г. Заурядный Читатель только поощрить хотѣлъ меня, новичка на литературномъ поприщѣ. Благодарю впрочемъ и за то—все-таки вниманіе—и какъ человѣкъ вѣжливый, благовоспитанный, все-таки постараюсь извлечь изъ письма г. Зауряднаго Читателя какой-нибудь матеріалъ для отвѣта.

Г. Заурядный Читатель полагаетъ, что Николай Семеновичъ, слова котораго показались мнѣ такими пошлыми, гнусными, подлыми—съ своей точки зрѣнія правъ. Въ этомъ я впрочемъ ни малѣйше не сомнѣвался, потому что нѣтъ такой точки зрѣнія, съ которой кто-нибудь не былъ бы правъ, и обратно—нѣтъ такой гнусности, которая не оправдывалась бы какою-нибудь точкою зрѣнія. Николаи Семеновичи, продолжаетъ мой благосклонный корреспондентъ, «не правы только въ томъ же смыслѣ, какъ не правы были Донъ-Кихоты, Вальтеръ-Скотты и Де-Местры, т. е. въ смыслѣ мечтаній о возможности воскресить сгнившіе въ могилахъ трупы и исполнить ихъ слова жизни и молодости; но они правы по отношенію къ переживаемому нами моменту, потому что какъ ни мизеренъ самъ по себѣ тотъ поэтическій апоѳеозъ, въ который они облекаютъ отжившія, до-реформенныя формы культурнаго слоя, все-таки, какой ни на есть, а апоѳеозикъ. А какой же вы можете противопоставить этому апоѳеозику поэтическій апоѳеозъ нашего момента? Вы указываете на покаяніе? Положимъ, что покаяніе вещь очень почтенная и въ общественномъ и въ нравственномъ отношеніи. Но съ поэтической точки зрѣнія, съ какой именно и ставятъ вопросъ Николаи Семеновичи, все-теки оно представляетъ зрѣлище довольно жалкое. Вы сравните только прежняго Николая Ростова (о немъ у Зауряднаго Читателя раньше рѣчь была) и нынѣшняго. Прежде это былъ, какъ есть, юпитеръ-громовержецъ: всесовершенный, вседовольный и даже грозный; а теперь этотъ самый Николай Ростовъ уже не на тройкѣ ухарски скачетъ, а бредетъ растерзанный сомнѣніями, сбившійся со всякаго пути, растерянный, съ уныло опущенной головой—и жиды уже не прячутся отъ него по норамъ, а прозаически тащутъ его къ мировому. Куда

какъ респектабеленъ и поэтиченъ подобный современный образъ. Прежде дѣвушки

Разстилали бѣлый платъ
И надъ чашей пѣли въ ладъ
Пѣсенки подблюдны,

и весело-развесело было при этомъ и имъ самимъ, и ихъ женихамъ, и ихъ родителямъ; а нынѣ эти самыя дѣвицы, съ опечаленными, озабоченными лицами и съ книжками подъ мышкой, все куда-то спѣшатъ; въ умѣ масса неразрѣшенныхъ вопросовъ, на сердцѣ масса невыполненныхъ плановъ и намѣреній; женихи не знаютъ, чѣмъ пособить ихъ горю, родители оплакиваютъ ихъ участь—и сколь многія изъ нихъ успѣли уже увянуть, состарѣться въ унынiи и отчаяніи отъ тщетныхъ поисковъ и неудачъ; сколь многія покончили чахоткой, выстрѣломъ или, еще того хуже, примиреніемъ съ какою-нибудь пошленькою золотою серединочкою. Это—трагедія, г. Темкинъ, страшная подчасъ трагедія, въ которой конечно и тѣни нѣтъ того поэтическаго апоѳеоза, котораго ищутъ Николаи Семеновичи».

Я буду спорить. «Это—трагедія»—вѣрно, но, откровенно говоря, я въ первый разъ слышу, что трагедія и поэтическій апоѳеозъ взаимно исключаются. Шекспиръ, я думаю, не сказалъ бы этого. Бѣлинскій—тоже. Николаи Семеновичи ищутъ совсѣмъ не того, что можемъ представить мы, кающіеся дворяне, въ какомъ бы то ни было отношеніи—это опять вѣрно. Но я не думаю, что на Николаяхъ Семеновичахъ свѣтъ клиномъ сошелся, что они представляютъ собою высшую судебную инстанцію хотя бы въ одной только области красоты и поэтическаго апоѳеоза. Я буду спорить, потому что изъ этого спора могутъ возникнуть очень важныя и благотворныя послѣдствія. Я—человѣкъ маленькій и не имѣю въ помышленіи лично перевернуть вкусы читающей и пишущей публики. Но я очень склоненъ думать, что отъ копеечной свѣчки происходятъ иногда, при благопріятныхъ условіяхъ, огромные пожары. Придутъ другіе маленькіе люди и разскажутъ такъ же откровенно и такъ же безъ претензій, какъ я, все, что они пережили и видѣли. А потомъ придетъ большой человѣкъ, которому мы, маленькіе, недостойны развязать ремень у сапога, придетъ, подберетъ всѣ наши мелочи, сгруппируетъ ихъ, освѣтитъ и такую поразительную красоту вамъ предъявитъ, что вы ахнете. Я потому беру на себя смѣлость предсказывать появленіе этого большого человѣка, что уже теперь чую—нѣтъ, мало этого—вижу, осязаю дивную красоту въ сферѣ своего покаянія. Пожалуйста не подумайте, что я стану хвастаться какими нибудь подвигами. Нѣтъ, я лично ихъ не совершалъ и напротивъ даже много гадостей дѣлалъ, но кругомъ себя я видѣлъ не одинъ подвигъ, достойный поэтическаго апоѳеоза, а не только форменнаго похвальнаго листа, выданнаго однимъ изъ романистовъ, эксплуатирующихъ «новыхъ людей» и «молодое поколѣніе». Прекрасные и преблагонамѣренные молодые люди эти романисты (теперь ужъ они впрочемъ выводятся); я многихъ изъ нихъ коротко знаю и въ свое время, какъ сумѣю, представлю читателю. Но они дѣлали огромную ошибку, предоставляя поэтическій апоѳеозъ, подобно г. Заурядному Читателю, въ полное и исключительное владѣніе Николаевъ Семеновичей и ему подобныхъ. Они остановились на той ступени покаянія, которая отрицаетъ красоту и поэтическій апоѳеозъ, какъ роскошь, какъ достояніе барства. И я очень понимаю законность этой ступени, потому что самъ ее пережилъ. Но я пережилъ ее и теперь страстно хотѣлъ бы внушить всѣмъ читателямъ и писателямъ, что не только истина и право на нашей сторонѣ, а и красота: что мы, кающіеся, «красивѣе» нераскаянныхъ; что поэтическаго апоѳеоза мы до сихъ поръ не имѣемъ только по недоразумѣнію и можетъ быть по случайному недостатку творческихъ силъ.

Конечно, было бы всего лучше прямо предъявить этотъ поэтическій апоѳеозъ. Но на это моихъ силъ не хватитъ; это сдѣлаетъ тотъ большой человѣкъ, который скоро придетъ (можетъ быть не одинъ). Я съ своей стороны могу только намѣтить кое-какіе кирпичики для будущаго художественнаго зданія. Ихъ на святой Руси не мало; но именно потому, что мы привыкли отводить всякую красоту въ исключительное пользованіе Николаевъ Семеновичей (собственно тѣхъ «культурныхъ людей», которымъ Николаи Семеновичи покланяются, какъ «красивому типу»), именно поэтому означенныхъ кирпичиковъ никто не замѣчаетъ. Ихъ топчутъ, плюютъ на нихъ, толкаютъ ногами, въ полной увѣренности, что изъ Виѳлеема ничего путнаго не выйдетъ. Такъ поступаетъ и г. Заурядный Читатель, о чемъ я очень сожалѣю. Онъ приводитъ изъ «Героевъ времени» г. Некрасова одинъ глубоко трагическій эпизодъ, который я долженъ напомнить читателю:

Слухъ по столицѣ пронесся одинъ—
Сдѣлано слишкомъ ужъ дерзкое дѣло!
Входитъ къ Зацѣпѣ единственный сынъ:
„Правда-ли? Правда-ли?“ юноша смѣло
Сыплетъ вопросы—и нѣтъ имъ конца.
Вспыхнула ссора. Зацѣпа сбѣсился.
Чтобъ не встрѣчать и случайно отца,
Сынъ непокорный въ Москву удалился.
Тамъ онъ оканчивалъ курсъ, голодалъ,
Письма и деньги отцу возвращая.
Втайнѣ Зацѣпа о немъ тосковалъ...
Вдругъ телеграмма пришла роковая:

«Раненъ твой сынъ». Черезъ сутки письмомъ
Другъ объяснилъ и причину дуэли:
«Воромъ отца обозвали при немъ...»
Черныя мысли отцомъ овладѣли,
Утромъ онъ къ сыну поѣхать хотѣлъ,
Но и другая пришла телеграмма...

Т. е. телеграмма о смерти сына. Приведя это мѣсто, г. Заурядный Читатель продолжаетъ: «Вы только подумайте, г. Темкинъ, что за невообразимый, чудовищный хаосъ представляетъ подобнаго рода картина? Вѣдь это—краски, мрачнѣе ювеналовскихъ... Чего же дивиться, что Николаи Семеновичи платонически вздыхаютъ о той достославной эпохѣ, когда въ крещенскій вечерокъ дѣвушки гадали и Николай Ростовъ летѣлъ подбоченясь на тройкѣ»...

Право, я тутъ очень затрудняюсь: о чемъ собственно предлагаетъ мнѣ подумать г. Заурядный Читатель? Во исполненіе впрочемъ его желанія, я подумалъ... Что Николаи Семеновичи, «совершенно не дворяне», вздыхаютъ о достославной эпохѣ—это для меня остается вполнѣ удивительнымъ, потому что достославная эпоха въ томъ именно между прочимъ и состояла, что на спинахъ Николаевъ Семеновичей продѣлывались различныя увеселенія.

Меня эта черта холопства давно уже въ «дяденькѣ-нѣмцѣ» поражала. Я понимаю, что дѣвицы, которыя гадали въ крещенскій вечерокъ и «за ворота башмачокъ, снявъ съ ноги, бросали», я понимаю, что онѣ и всѣ близкіе ихъ ничего выше своего времяпровожденія въ достославную эпоху себѣ представить не могутъ. Но какъ можетъ согласиться съ ними дяденька-нѣмецъ, отецъ котораго, честный митавскій сапожникъ, только шилъ башмаки, а не увеселялъ себя ими? Фактъ существуетъ, значитъ есть ему и причина, и объясненіе. Но откровенно сознаюсь—я ихъ не знаю, не понимаю. Не понимаю, какъ можетъ человѣкъ говорить кому бы то ни было: вамъ красота, поэтическій апоѳеозъ и законченныя формы чести и долга, а мы и въ грязи за ваше здоровье поваляемся. Еще менѣе понимаю я, почему г. Заурядный Читатель увидѣлъ въ эпизодѣ съ Зацѣпой только невообразимый, чудовищный хаосъ. Какъ! по поводу этого эпизода вы соглашаетесь еще разъ отдать поэтическій апоѳеозъ и законченныя формы чести и долга въ вѣдѣніе культурныхъ людей и достославной эпохи! Вы ни во что не цѣните ту форму чести и долга, которая побудила сына Зацѣпы разорвать съ отцомъ и добровольно терпѣть всевозможныя лишенія; ту силу покаянія, которая даже въ гробъ свела юношу?! Надѣюсь, что эта форма чести вполнѣ закончена, потому что нѣтъ конца конечнѣе смерти, нѣтъ пробы вѣрнѣе ея. По крайней мѣрѣ согласитесь, что не съ веселою же торопливостью оторвался юноша отъ жизни и что онъ умеръ не отъ «свинства», въ чемъ г. Достоевскій уличаетъ всѣхъ нашихъ самоубійцъ... («Дневникъ писателя», № 1). Неужто даже съ поэтической точки зрѣнія, о которой говорятъ и Николай Семеновичъ, и Заурядный Читатель, образъ юноши Зацѣпы ниже, блѣднѣе, слабѣе какихъ-то дѣвицъ, разстилающихъ бѣлый платъ и поющихъ подблюдныя пѣсни? Остановитесь въ самомъ дѣлѣ только на поэтической точкѣ зрѣнія. Нынѣ, по поводу дѣла дворянина Кронеберга и жалобы профессора Бутлерова на своего сына, который женился безъ его, отцовскаго, позволенія, много говорятъ о предѣлахъ родительской власти и дѣтскаго повиновенія. И Боже! что говорятъ по этому поводу!.. Оставимъ это совсѣмъ въ сторонѣ. Пусть сынъ Зацѣпы—дерзкій мальчишка, наглый подростокъ, единственно по «свинству» своему становящійся судьей отца и по свинству же умирающій на дуэли. О да—пусть по свинству: покойникъ и не такую еще брань стерпитъ и промолчитъ, его ротъ полонъ могильныхъ червей. Но, какъ сюжетъ для поэтическаго произведенія, этотъ юноша все-таки не хуже бѣлаго плата и бѣшеной тройки. Не говорите, что образъ юноши Зацѣпы принадлежитъ еще доброму старому времени, когда дескать семейныя узы еще не поколебались подъ тлетворнымъ дыханіемъ и проч. Не говорите этихъ «благонамѣренныхъ рѣчей», потому что онѣ тутъ совсѣмъ неумѣстны. Юноша Зацѣпа не отрицалъ, что его отецъ—воръ, не пряталъ этого факта ни отъ себя, ни отъ другихъ и все-таки вызвалъ на дуэль человѣка, заявившаго этотъ фактъ. Онъ взялъ на себя грѣхъ отца и изнемогъ подъ его тяжестью: покаялся, но за покаяніемъ слѣдуетъ причащеніе, и измученный юноша не нашелъ ничего лучшаго, какъ причаститься смерти. Я не одобряю этого исхода и знаю, что другіе находили и находятъ иной исходъ. Но вѣдь чѣмъ сложнѣе душевная жизнь, тѣмъ выгоднѣйшій поэтическій сюжетъ она представляетъ. А не достаточно развѣ была сложна душевная мука юноши Зацѣпы?

Между тѣмъ, посмотрите, что дѣлается. Съ одной стороны Николаи Семеновичи и всякіе Голопузенки и Авсѣенки прямо объявляютъ: нѣтъ красоты и поэзіи внѣ нормальной жизни культурныхъ людей. Съ другой стороны является г. Заурядный Читатель и говоритъ: да, дѣйствительно, что другое, а красота и поэзія вся тамъ, въ прошедшемъ; мы ничего не можемъ выставить поэтически равнаго бѣшеной тройкѣ и бѣлому плату. Чортъ знаетъ что такое! Въ концѣ-концовъ, каждое амурное похожденіе, каждое

чиханіе князя Юхотскаго или, какъ ихъ тамъ зовутъ, героевъ романовъ Голопузенки и комп., сопровождается поэтической иллюминаціей, а мы, кающіеся, какія бы сложныя душевныя комбинаціи ни переживали, какою бы красотою ни блистали, не получаемъ отъ литературы ни привѣта, ни отвѣта! За что?

Я написалъ, вамъ покажется, хвастливую фразу: «какою бы мы красотою ни блистали». Но это вовсе не хвастовство. Во-первыхъ, это я не о себѣ лично, во-вторыхъ, истинно говорю вамъ: съ тѣхъ поръ, какъ стоитъ святая Русь, никто болѣе насъ поэтическаго апоѳеоза не заслуживалъ. И мы его, наконецъ, получимъ. Ахъ, если бы я былъ первоклассный художникъ, если бы я могъ разлиться въ звукахъ, въ образахъ, въ краскахъ,—я воспѣлъ бы васъ, братья по духу, изобразилъ бы васъ, мученики исторіи, и изломалъ бы затѣмъ перо, рѣзецъ и кисти, потому что, отвѣдавши сладкаго, не захочешь горькаго, не запоешь подблюдныхъ пѣсенъ... Но дѣло такъ ярко говоритъ само за себя, что даже я, вполнѣ сознавая ничтожество своихъ силъ, надѣюсь дать вамъ по крайней мѣрѣ намекъ на дивную красоту нашего покаянія. Лгать и прикрашивать я не буду, не скрою ни ошибокъ, ни увлеченій, ни глупостей, ни даже нѣкоторыхъ дрянностей. И все-таки вы увидите...

Мнѣ было должно быть лѣтъ двѣнадцать, когда отецъ умеръ. Тутъ—большой пробѣлъ, лучше сказать, провалъ въ моихъ воспоминаніяхъ: Ѳедька, Яковъ, Ида Ѳедоровна, дяденька-нѣмецъ, старый деревянный домъ, родной городъ и проч. и проч.—все это именно куда-то провалилось, и я очутился въ Петербургѣ, въ одномъ полувоенноучебномъ заведеніи. (Кое-что изъ стараго, какъ увидите, потомъ опять вынырнуло). Такъ рѣшилъ дяденька-генералъ, сдѣлавшійся моимъ и Сонинымъ опекуномъ. Онъ явился вскорѣ послѣ смерти отца. Это былъ строгій, величественный, какъ мнѣ тогда казалось, человѣкъ, съ большими сѣдыми усами, нависшими впередъ на губы, съ выпяченною грудью, блиставшею орденами и звѣздами. Онъ внушалъ мнѣ какое-то странное, сложное, смѣшанное чувство. То безграничное подобострастіе, съ которымъ всѣ относились къ дяденькѣ-генералу, не могло не отразиться отчасти и на мнѣ, да и звѣзды и ордена на его выпяченной груди и тяжелые эполеты на плечахъ производили впечатлѣніе. Онъ представлялся мнѣ чѣмъ-то высокимъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, это высокое вовсе не было очень хорошимъ. Во-первыхъ, дяденька-генералъ билъ прислугу и чаще всего почему-то Якова, который постоянно ходилъ въ синякахъ. Бывало, сдѣлаетъ Яковъ что-нибудь не такъ, дяденька безъ особеннаго, кажется, гнѣва—бацъ! бацъ! или ткнетъ какъ-то всѣмъ кулакомъ впередъ, и Яковъ судорожно хватается за карманъ, достаетъ грязный платокъ и прикладываетъ къ носу, а самъ ни съ мѣста; скоро платокъ напитывается кровью, кровь бѣжитъ по пальцамъ Якова, и дяденька грозно гонитъ его вонъ, чтобы онъ не запачкалъ пола... Гадость... Какъ ни былъ я неразуменъ, но понималъ, что это—гадость... Кромѣ того, дяденька-генералъ нестерпимо надменно относился къ дяденькѣ-нѣмцу, а тотъ, бѣдный, и безъ того весь съежился послѣ смерти отца... Все это впрочемъ я помню очень смутно. Дяденька-генералъ распорядился по военному и очень скоро свезъ Соню въ Москву, въ институтъ, а меня—въ Петербургъ.

Какъ мнѣ жилось въ школѣ, разсказывать не стоитъ. Все это давнымъ-давно описано, а особеннаго со мной ничего не случалось вплоть до одного весьма для меня важнаго разговора съ дяденькой-генераломъ. Скажу только одно: я былъ своекоштный и немало этимъ гордился—своекоштныхъ у насъ было мало—хотя рѣшительно не умѣлъ бы сказать, что тутъ собственно лестнаго. Съ такимъ же неопредѣленнымъ внутреннимъ удовлетвореніемъ принималъ я вновь возникшія клички: «Потемкина», «сына роскоши», «великолѣпнаго князя» и проч.

Дяденька-генералъ въ Петербургѣ не жилъ. Помѣстивъ меня въ школу, онъ уѣхалъ восвояси, и съ тѣхъ поръ я его не видалъ лѣтъ пять, даже не слыхалъ о немъ ничего, такъ что и о существованіи его забылъ. Разъ мнѣ говорятъ, что въ пріемной меня ждетъ какой-то генералъ. А надо вамъ сказать, что меня до тѣхъ поръ никогда никто въ пріемной не ждалъ, потому что внѣ школьныхъ стѣнъ у меня не было ни души знакомой. Не торопитесь дѣлать изъ этого обстоятельства выводы и заключенія; не торопитесь говорить, что тѣ пока еще нѣсколько необычныя чувства и мысли, которыми я живу и которыя вамъ можетъ быть не совсѣмъ нравятся, обязаны своимъ происхожденіемъ уродливому воспитанію въ стѣнахъ закрытаго учебнаго заведенія. Это фактически не такъ было. Первый толчокъ къ теперешнимъ моимъ чувствамъ и взглядамъ далъ не кто иной, какъ дяденька-генералъ, конечно нисколько не подозрѣвая этого и совершенно безсознательно. Стѣны же закрытаго заведенія были въ акустическомъ отношеніи такъ основательно устроены, что сквозь нихъ развѣ чуть-чуть доносилось то, что на вольной волѣ дѣлалось; а тамъ происходили любопытныя вещи:

крымская война кончалась и кончилась... Тѣ изъ моихъ товарищей, которые, благодаря существованію родныхъ и знакомыхъ, имѣли сношенія съ внѣшнимъ міромъ, кое-что и выносили оттуда. Но я былъ всецѣло погруженъ во внутреннія школьныя дѣла, ѣлъ съ невѣроятнымъ аппетитомъ пироги и булки, строилъ разныя каверзы учителямъ игралъ въ лапту и городки, сдавалъ экзамены—словомъ, былъ настоящимъ школяромъ—здоровымъ, всеядным и дикимъ.

Въ пріемной я увидалъ генерала, котораго сразу же призналъ за дяденьку, не столько по памяти о немъ самомъ, сколько потому что онъ былъ очень похожъ на отца. Но странное дѣло: лобъ и глаза у дяденьки-генерала были чуть-чуть поменьше, чѣмъ у отца, а носъ, усы и нижняя часть лица чуть-чуть побольше; и эти «чуть-чуть» дѣлали то, что, несмотря на сходство съ красивымъ, выразительнымъ, пріятнымъ лицомъ отца, дяденька-генералъ былъ очень непривлекателенъ на видъ. Вдобавокъ, онъ сильно постарѣлъ, сморщился, согнулся и далеко не имѣлъ того величественнаго вида, съ которымъ онъ у меня остался въ памяти. По всей вѣроятности онъ даже никогда не былъ величественъ, и воспоминанія мои были просто обманъ дѣтскаго зрѣнія, подкупленнаго эполетами, звѣздами и всеобщимъ подобострастіемъ. Во всякомъ случаѣ, въ пріемной я нашелъ сморщеннаго, желтаго старикашку, развѣ чуть-чуть повыше меня ростомъ. Встрѣча была, какъ всѣ quasi-родственныя встрѣчи: обнялись, поцѣловались; онъ мнѣ сказалъ, что я совсѣмъ молодецъ сталъ,—я промолчалъ. Оказалось, что дяденька выходитъ въ отставку, поселяется на жительство въ Петербургѣ и намѣренъ брать меня къ себѣ по воскресеньямъ и вообще на праздники. На томъ мы и порѣшили. Дяденька отправился къ генералу, бывшему моимъ верховнымъ начальникомъ, а тотъ, въ свою очередь, призвалъ меня къ себѣ и объявилъ, во-первыхъ, объ удовольствіи, которое ему доставило знакомство съ дяденькой-генераломъ, а во-вторыхъ, о томъ, что онъ очень радъ, что я наконецъ «увижу свѣтъ». «Ступай,—шутливо заключилъ генералъ:—ступай, людей посмотри и себя покажи», и милостиво потрепалъ меня по плечу.

Да, я наконецъ «увидѣлъ свѣтъ»... Событіемъ огромной важности было для меня уже самое мое появленіе въ салонахъ дяденьки-генерала. Я былъ должно быть очень похожъ на тѣхъ дикихъ готовъ, бургундовъ и лонгобардовъ, которые чуть не прямо изъ лѣсу попадали въ омутъ римскаго великолѣпія и роскоши. Мраморный каминъ съ зеркаломъ въ золоченой рамѣ, ея превосходительство Анна Сергѣевна Темкина, вторая жена дяденьки-генерала, красивая, худощавая и вертлявая женщина лѣтъ тридцати-пяти; трельяжи, зеленѣвшіе плющемъ; мои кузены—молодой гвардеецъ и еще болѣе молодой правовѣдъ, дѣти первой жены дяденьки; мягкая мебель; лакеи во фракахъ и бѣлыхъ перчаткахъ; длинные и сложные обѣды; соотвѣтственные гости и гостьи и проч., и проч., и проч.,—все это я увидѣлъ непосредственно послѣ пироговъ съ говядиной, лапты и экзаменовъ. Это было тяжело, особенно присутствіе женщинъ, а онѣ, какъ нарочно, старались приласкать меня. Какъ дикій звѣрь какой-нибудь, забивался я въ уголъ и оттуда пугливо выглядывалъ на людей и прислушивался къ ихъ рѣчамъ. Рѣчи все были очень хорошія—тогда вѣдь всѣ хорошія рѣчи говорили: въ салонахъ дяденьки-генерала фигурировалъ между прочимъ одинъ писатель, нынѣ стоящій на стражѣ «культуры», а тогда онъ былъ еще молодъ и тоже хорошія рѣчи говорилъ. Я однако очень мало цѣнилъ эти хорошія рѣчи и больше норовилъ пристроиться къ картинкамъ и къ ѣдѣ. Въ этихъ вкусахъ мы сошлись съ дяденькой-генераломъ. Этого я никакъ не ожидалъ и вообще, на первыхъ же порахъ, былъ до чрезвычайности пораженъ положеніемъ дяденьки въ домѣ и его нравственной физіономіей. По старой памяти, я разсчитывалъ встрѣтить громовержца, разсыпающаго во всѣ стороны брань и удары и заставляющаго всѣхъ трепетать. На дѣлѣ однако въ домѣ дяденьки-генерала никто не трепеталъ, кромѣ его самого. Это впрочемъ не совсѣмъ вѣрное слово: онъ не трепеталъ, а сокращался, умалялся, съеживался не только передъ своей супругой, а и передъ сыновьями и передъ гостями. «Генералъ Темкинъ», коротко рекомендовала его Анна Сергѣевна своимъ знакомымъ...

Если бы я писалъ что-нибудь въ родѣ романа, да даже и просто въ видахъ обстоятельности и послѣдовательности, я долженъ бы былъ представить здѣсь общій характеръ либеральнаго салона генеральши Темкиной и хоть нѣсколько экземпляровъ изъ числа его обычныхъ посѣтителей. Но, по предоставленной мнѣ самимъ собой вольности, я сдѣлаю это можетъ быть позже, когда придется къ слову, а можетъ быть и вовсе не сдѣлаю. Теперь же тороплюсь подойти къ чрезвычайно важному для меня эпизоду. Приведу только одно выраженіе одного изъ гостей Темкиныхъ, такъ какъ оно можетъ быть освѣтитъ вамъ кое-что. Въ числѣ обычныхъ посѣтителей салона былъ нѣкто Андрей Андреевичъ Башкинъ, удивительно красивый брюнетъ, лѣтъ тридцати, съ чудесными мягкими лѣнивыми гла-

зами и круглой бородкой. Описывать его впрочемъ не буду, потому что ниже онъ появится на сцену во весь ростъ. Вотъ съ этимъ-то Башкинымъ и еще съ двумя-тремя молодыми людьми мнѣ пришлось разъ вмѣстѣ выйти отъ дяденьки-генерала. Одинъ изъ молодыхъ людей съ восторгомъ говорилъ объ Аннѣ Сергѣевнѣ, называлъ ее «идеаломъ современной женщины» и еще какъ-то. Башкинъ, лѣниво усмѣхаясь, остановилъ этотъ каскадъ восторга словами: «Э, полноте, батюшка! она—просто madame Мессалина Рекамье». Молодой человѣкъ ахнулъ и принялся съ жаромъ спорить...

Итакъ, дяденька-генералъ любилъ картинки и ѣду, преимущественно сласти. Я—тоже. Но на счетъ картинокъ мы не сразу сошлись. Генералъ Темкинъ любилъ изображенія парадовъ, смотровъ, сраженій, штурмовъ, вообще—войскъ въ дѣйствіи и бездѣйствіи, а также голыхъ женщинъ. Картинки баталическаго свойства любилъ и я, но голыхъ женщинъ сначала конфузился... Впрочемъ мало-по-малу привыкъ. Принесетъ бывало дяденька въ свой маленькій, увѣшанный оружіемъ кабинетъ кипу картинокъ, книгъ, кипсековъ и корзинку какихъ-нибудь сластей—сласти дяденькѣ выдавались дешевыя: изюмъ, пастила, мармеладъ—и начинается у насъ пиршество, въ прямомъ и переносномъ смыслѣ: матеріальное и нравственное. Я очень живо помню эти пиршества и, если бы обладалъ беллетристическимъ талантомъ и не хотѣлъ бы такъ страстно поскорѣе добраться до моего покаянія, то могъ бы доставить читателю большое эстетическое наслажденіе изображеніемъ нашего съ дяденькой времяпровожденія.

Со стороны салона доносится смѣшанный гулъ голосовъ, изъ котораго по временамъ выдѣляются «хорошія» слова какого-нибудь разгорячившагося оратора, чаще всего молодого писателя, который нынѣ благополучно стоитъ на стражѣ культуры. Шумъ, смѣхъ, аплодисменты, пѣніе, споры, чтеніе, декламація... А въ маленькомъ кабинетѣ, у маленькаго круглаго стола, на которомъ горитъ маленькая лампа, пируемъ мы съ генераломъ Темкинымъ. Онъ—сѣдой старикъ, выраженіемъ лица смахивающій на Наполеона III, въ орденахъ и звѣздахъ; я—семнадцатилѣтній малый, краснощекій, вихрастый, выросшій изъ казеннаго мундира... Мы смотримъ картинки и ѣдимъ пастилу и мармеладъ. Когда картинки всѣ пересмотрѣны, дяденька подхватываетъ какое-нибудь хорошее слово, доносящееся изъ салона, и начинаетъ его беззубо-зло коментировать: онъ отводитъ душу, онъ радъ, что у него есть слушатель, передъ которымъ онъ можетъ излить свою желчь, опорожнить свою нравственную утробу отъ ежедневно, ежечастно получаемыхъ имъ въ своемъ домѣ оскорбленій и огорченій. А я, въ самомъ дѣлѣ—слушатель превосходнѣйшій: молчу и жую мармеладъ... Иной разъ я начинаю разсказывать объ учителяхъ, товарищахъ, начальствѣ, о послѣднихъ школьныхъ событіяхъ, и дяденька-генералъ слушаетъ съ видимымъ интересомъ и время отъ времени вставляетъ свои одобрительныя и порицательныя замѣчанія.

Разъ однако, когда мы такимъ образомъ сидѣли и благодушествовали, произошелъ у насъ разговоръ совершенно неожиданный. Сначала мы старое перебирали, вспоминали отца, Соню, домъ, и отъ этихъ воспоминаній нѣсколько размякла моя заматерѣлая на пирогахъ и булкахъ душа, размякла и подготовилась къ принятію новой мысли. Когда очередь дошла до воспоминаній о дяденькѣ-нѣмцѣ, дяденька-генералъ прочиталъ мнѣ маленькую нотацію.

— Э-э-э,—началъ онъ по обыкновенію басомъ и съ оттяжкой:—э-э-э, послушай, Гриша, я давно хотѣлъ сказать... какой тебѣ дяденька этотъ Карлъ Ивановичъ?..

— Карлъ Карловичъ, поправилъ я.

— Э-э-э, ну, какъ его... все равно—сапожникъ... Онъ—сапожникъ, а ты, братецъ,—дворянинъ, онъ—Фишеръ, а ты—Темкинъ. Разница!

Я протестовалъ, ссылаясь на всѣхъ домашнихъ, въ томъ числѣ на отца, которые всегда признавали Карла Карловича моимъ дяденькой. Дяденька-генералъ упорно стоялъ на своемъ, доказывая, что, какъ гусь свиньѣ не товарищъ, такъ и Фишеръ Темкину не родня. Я опять протестовалъ, потому что, несмотря на всѣ его странности, я любилъ добраго, мягкаго дяденьку-нѣмца, и этотъ споръ все помаленьку вызывалъ искру божію изъ-подъ груды пироговъ школьнаго озорничества и всякой грубости и пошлости. Наконецъ искра блеснула...

Продолжая развивать свою тему, дяденька-генералъ сталъ доказывать, что и Темкина-то не всякаго онъ признаетъ своей родней, а не то что Фишера, и что конечно всякій проходимецъ радъ лѣзть въ родство къ благороднымъ людямъ. Въ доказательство дяденька-генералъ разсказалъ слѣдующій случай. Будучи еще полковникомъ и полковымъ командиромъ, онъ стоялъ съ полкомъ въ одной южной губерніи. Однажды денщикъ ему докладываетъ, что пришли «казакъ съ казачкой» и желаютъ видѣть его высокородіе. Его высокородіе велѣлъ было сначала гнать незваныхъ гостей въ шею, но денщикъ объяснилъ, что «казакъ»

утверждаетъ, будто онъ—племянникъ его высокородія. Его высокородіе потребовалъ объясненія. Оказалось слѣдующее. Родной братъ моего отца и дяденьки-генерала, значитъ, мнѣ дядя, былъ когда-то въ тѣхъ мѣстахъ мелкопомѣстнымъ помѣщикомъ. Онъ сманилъ у богатаго и властнаго сосѣда гувернантку и женился на ней. Но сосѣдъ самъ имѣлъ виды на гувернантку и потому сталъ мстить. Сначала шли мелочныя пакости, но разъ у дяди случился пожаръ, причемъ сгорѣли всѣ документы. Властный сосѣдъ—должно быть не хуже былъ Темкина-Лютаго—воспользовался этимъ и, деньгами и вліяніемъ, добился того, что дядя Темкинъ, потомокъ князей Темкиныхъ-Ростовскихъ, оказался будто бы исконнымъ его крѣпостнымъ человѣкомъ. Въ качествѣ такового, онъ былъ затѣмъ проданъ другому помѣщику вмѣстѣ съ женой. Дяденька-генералъ не сумѣлъ мнѣ хорошенько разсказать всю эту исторію, отчасти по недостатку сообразительности и краснорѣчія, а отчасти потому, что и самъ подробностей не зналъ: «казакъ» плохо толковалъ. Казакъ этотъ былъ никто иной, какъ плодъ любви несчастнаго дяди и гувернантки, послужившей яблокомъ раздора, то-есть мой двоюродный братъ. Онъ успѣлъ уже вполнѣ «омужичиться», какъ говорилъ дяденька-генералъ, и женатъ былъ на породной крестьянкѣ. Какъ ни былъ однако неудовлетворителенъ разсказъ дяденьки-генерала, онъ меня глубоко взволновалъ. Въ душѣ у меня точно что раздвинулось, расширилось. Я жадно ловилъ слова, рѣдко, съ оттяжкой вылетавшія изъ-подъ густыхъ сѣдыхъ усовъ дяденьки-генерала. Я ждалъ конца романической исторіи и уже предвкушалъ этотъ конецъ: я ждалъ, что дяденька явится мстителемъ и благодѣтелемъ...

— Ну, и что-жъ? нетерпѣливо спросилъ я, когда дяденька-генералъ остановился.

— Э-э-э, ну, и что-жъ? переспросилъ онъ, посасывая усатымъ беззубымъ ртомъ пастилу.—Ну, и прогналъ...

— Какъ прогналъ?!

— Э-э, такъ и прогналъ... Можетъ, онъ все навралъ... Ну, наврать впрочемъ не посмѣлъ бы... Не племянникомъ же мнѣ его признать, когда отъ него дегтемъ воняетъ на цѣлый домъ... Хамъ ужъ онъ настоящій, какъ тамъ ни вертись... Ужъ кто, братецъ, въ хамствѣ родился, тотъ хамъ и есть... кто въ навозѣ выкупался... Можетъ быть вонъ и у моего Сергушки или у вашего Якова... такъ, что-ли, звали любимца-то твоего отца, царство ему небесное (дяденька перекрестился)... Э-э-э, что бишь я?.. Да, такъ у Яшки можетъ быть отецъ тоже какой-нибудь принцъ былъ...

Дяденька еще много подобнаго вздора говорилъ (даже съ точки зрѣнія культурныхъ людей это, кажется, вздоръ, а впрочемъ не знаю), но я только до Якова не помню. Какъ сказалъ дяденька это имя собственное, такъ и сталъ мнѣ глубоко омерзителенъ, и не слушалъ ужъ я его больше....

Слезы, первыя благодатныя слезы сочувствія и негодованія подступили мнѣ къ горлу и душили меня...

Я, кажется, не идеализирую себя, не говорю, что я отъ младыхъ ногтей былъ переполненъ высокими чувствами и глубокими думами. О, нѣтъ! я не хочу врать. Прямо говорю, что до семнадцати лѣтъ я былъ балбесъ-балбесомъ, да и первый взрывъ душевный произошелъ во мнѣ при совсѣмъ особенныхъ обстоятельствахъ. Нужно было, чтобы кто-нибудь изъ близкихъ моихъ, дядя, двоюродный братъ, потерпѣлъ крупную несправедливость... Ну, что-жъ дѣлать? каковъ есть, такого и берите. Но все-таки скажу: чудно «красивъ» былъ мой душевный міръ въ моментъ этого взрыва. Я не о внѣшности говорю. Внѣшность была совсѣмъ некрасива. Помню, что я, глотая слезы, опрокинулъ вазу съ пастилой и обозвалъ дяденьку-генерала какимъ-то грубымъ кадетскимъ словомъ. Затѣмъ, совершенно безсознательно, машинально пошелъ въ переднюю: оставаться у дядяньки я не могъ. Прошелъ я почему-то черезъ салонъ, хотя могъ бы пройти и болѣе короткимъ, и болѣе удобнымъ путемъ. Помню, какъ сзади меня дяденька-генералъ шипѣлъ задыхающимся голосомъ: «ахъ — ты пащенокъ!» помню, какъ я неуклюже, неровно переставляя ноги, прошелъ черезъ салонъ, набитый народомъ, ни съ кѣмъ не прощаясь и наступая на ноги и подолы. Помню, наконецъ, какъ кто-то изъ гостей, когда я вышелъ въ переднюю, громкимъ шопотомъ сострилъ сосѣду: «пастилы объѣлся, животъ заболѣлъ», и какъ кто-то громко захохоталъ....

И дорога до дому, и ночь, и слѣдующій день, и опять ночь и опять день были поглощены моимъ братомъ-мужикомъ. Я не иначе называлъ его мысленно, какъ братомъ, и не могъ себѣ представить его иначе, какъ въ видѣ Якова, когда тотъ лежалъ окровавленный въ людской или когда онъ, послѣ побоевъ дяденьки, держалъ у носа окровавленный платокъ. Почему это такъ выходило,—не знаю. Но отдѣлаться отъ этого образа я не могъ, да и не хотѣлъ, не пытался, потому что онъ мнѣ новую жизнь далъ. Къ семнадцати годамъ у человѣка много силъ накапливается, но, благодаря моему воспитанію въ четырехъ высокихъ

стѣнахъ, силы эти находились въ потенціальномъ состояніи, если вы позволите мнѣ такъ выразиться; на пироги съ говядиной, лапту и долбню много силъ не израсходуешь. И вдругъ всѣ эти силы перешли въ состояніе активное, заработали. Естественное дѣло, что хаосъ у меня въ головѣ былъ ужаснѣйшій, и только двойной образъ брата и Якова ярко горѣлъ въ этомъ хаосѣ, какъ нѣкогда духъ Божій носился надъ бездной. Я былъ до такой степени балбесъ, что, несмотря на свои семнадцать лѣтъ и несмотря на всѣ вѣянія времени, впервые остановился на дикомъ смыслѣ словъ: продать человѣка, купить человѣка. Я былъ до такой степени грубъ, что впервые задалъ себѣ вопросы: гдѣ теперь Яковъ? что съ нимъ? гдѣ дяденька-нѣмецъ? гдѣ Соня, какъ она живетъ? Я ихъ всѣхъ перезабылъ. А вопросъ тянулся за вопросомъ, какъ крючокъ за петлей. Гдѣ Яковъ? Гдѣ Ѳедька? Я былъ до такой степени невѣжда, что не зналъ этого, не зналъ, что они мои друзья-пріятели, проданы и что этою цѣною отчасти оплачиваются мои пироги съ говядиной и моя лапта. Да и теперь это мнѣ не было вполнѣ ясно. Я только смутно догадывался... Зналъ ли отецъ, что его братъ взятъ въ кабалу и проданъ? Должно быть, зналъ. Какъ же онъ-то не вступился? О, я разыщу брата, я куплю его... нѣтъ, это—гадость... я вырву его изъ омута и приведу въ салонъ дяденьки-генерала и скажу: вотъ...

Эхъ, доля моя горькая! Назвался груздемъ, такъ и полѣзай въ кузовъ. Взялся разсказывать, такъ и разсказывай. А между тѣмъ чувствую, какъ у меня все это выходитъ блѣдно, неумѣло, далеко отъ дѣйствительности. Просто руки опускаются и перо вываливается... Приходи же ты скорѣе, большой человѣкъ, ты, умный, талантливый и любящій, приходи, желанный, и разскажи за меня и за другихъ, какъ зарождается покаяніе. Заткни глотки всѣмъ, кто говоритъ, что красота погибла, что ея нѣтъ; покажи, что за красота, которую художники испоконъ вѣка выслѣживаютъ въ первой любви — ничто, плоскость въ сравненіи съ красотой перваго проблеска покаянія. А первая любовь вѣдь это—лучшее чистѣйшее, что вы можете выставить, вы, неразскаянные... Я опять о красотѣ, и вы, пожалуй, опять подумаете, что я хвастаться начну. Ничуть не бывало. Даже совсѣмъ напротивъ. Отъ того момента, когда въ моемъ мозгу поселился двойной образъ Якова и брата-мужика, была прямая дорога къ тому, чѣмъ я теперь дышу и живу. Но я это только теперь вижу, а тогда я не пошелъ этой дорогой, уклонился отъ нея, пошелъ путемъ окольнымъ, на которомъ встрѣтилъ много препятствій и опасностей. И это, кажется, не случайное уклоненіе, а типическое, въ которомъ грѣшны почти всѣ мы, кающіеся дворяне, хотя, разумѣется, въ моей исторіи были кое-какія личныя особенности. Я не назову этого уклоненія старымъ философскимъ терминомъ «моментъ развитія», потому что терминъ этотъ какъ бы узакониваетъ, санкціонируетъ то, безъ чего легко было обойтись и безъ чего позднѣйшіе кающіеся дворяне обходятся и должны обходиться.

Сначала шло все, какъ слѣдуетъ. Двойной образъ Якова и брата ярко горѣлъ въ сознаніи и продолжалъ дѣлать свое дѣло.

Для разрѣшенія задаваемыхъ имъ вопросовъ я сталъ припоминать разныя хорошія слова, слышанныя однимъ ухомъ въ либеральномъ салонѣ Анны Сергѣевны; сталъ прислушиваться къ тому, что говорилось товарищами, раньше меня «увидѣвшими свѣтъ»; сталъ читать книги, которыми тогда зачитывался весь образованный русскій людъ. Работа шла быстро. Лапта и пироги съ говядиной помаленьку утратили свою прелесть. Кое-что мнѣ выяснилось. Въ салонъ Анны Сергѣевны меня очень тянуло, но, съ другой стороны, дяденька-генералъ былъ глубоко противенъ, да и конфузился я своего неуклюжаго ухода и остроты: «пастилы объѣлся, животъ заболѣлъ... Пропустилъ одно воскресенье, два, три, четыре. На слѣдующее воскресенье рѣшилъ уже было итти, какъ вдругъ мнѣ говорятъ, что меня желаетъ видѣть какой-то «вольный» — такъ дядька звалъ всѣхъ статскихъ. «Вольный» оказался красавцемъ Башкинымъ. Онъ явился отъ имени Анны Сергѣевны.

— Тетушка ваша, — говорилъ онъ офиціально-вѣжливо, но чуть-чуть насмѣшливо улыбаясь:—поручила мнѣ узнать о причинахъ вашего долгаго отсутствія. Генералъ Темкинъ почему-то вами очень недоволенъ и требуетъ, чтобы вы извинились...

— Я извиняться не буду... не въ чемъ,— перебилъ я.

— Это и не нужно, — продолжалъ, еще насмѣшливѣе улыбаясь, Башкинъ.— Тетушка ваша не безъ основанія полагаетъ, что кто прогнѣвалъ генерала Темкина, тотъ имѣетъ шансы угодить ей. Вы, надѣюсь, не будете такъ упорствовать?

Я молчалъ.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, что у васъ тамъ вышло? Вѣдь вы такіе пріятели были, пастилу вмѣстѣ ѣли, а?

Послѣ нѣкотораго настоянія я, конфузясь, краснѣя, путаясь и запинаясь, разсказалъ. Башкинъ очень внимательно слушалъ и перестадъ улыбаться. Это придало мнѣ бодрости, подняло въ собственныхъ глазахъ,

такъ что я кончилъ даже не безъ увлеченія и краснорѣчія. Башкинъ, впрочемъ, кажется, не совсѣмъ меня понялъ, потому что спросилъ:—«а кто же это — Яковъ?» (я и Якова, и какъ его дяденька билъ, вернулъ въ разсказъ). Я вновь сталъ объяснять.

— Извините, — сказалъ въ заключеніе Башкинъ очень серьезно: — извините, мнѣ не совсѣмъ все-таки ясно... притомъ же, вы немного взволнованы. Мнѣ кажется, однако, что вы слишкомъ строго относитесь къ генералу Темкину. Онъ человѣкъ стараго вѣка... пусть мертвые хоронятъ мертвыхъ. На вашемъ мѣстѣ я не стоялъ бы за извиненіемъ... Виноватъ, это—мое личное мнѣніе, и вамъ вовсе не предстоитъ надобности имъ руководствоваться. Извинятся пожалуй вовсе не нужно. Просто приходите... Я передамъ вашей тетушкѣ все, что отъ васъ слышалъ. Она вѣроятно пожелаетъ васъ видѣть... Подумайте, а?

— Я подумаю...

— Да, подумайте и приходите...

А чего «подумайте»! Я ужъ и до Башкина рѣшилъ, что пойду къ дяденькѣ, то-есть собственно къ тетенькѣ. А теперь, когда этотъ умный, насмѣшливый красавецъ простился со мной съ такимъ серьезнымъ уваженіемъ ко мнѣ,—такъ мнѣ показалось, да и въ самомъ дѣлѣ нѣчто подобное, кажется, было—теперь, разумѣется, и сомнѣнія быть не можетъ, что я пойду въ слѣдующее же воскресенье. Мнѣ, сознаюсь, льстило смутное предчувствіе, что и Анна Сергѣевна, и весь ея салонъ со включеніемъ остряка, который сказалъ, что я пастилы объѣлся, будутъ со мной говорить такъ же серьезно, почтительно, какъ Башкинъ.

Предчувствіе не обмануло. Анна Сергѣевна буквально съ распростертыми объятіями меня встрѣтила и тотъ же часъ увела въ свой маленькій будуаръ, сказавъ мимоходомъ гостямъ, что она «должна серьезно поговорить съ этимъ молодымъ человѣкомъ». Серьезнаго разговора впрочемъ никакого не вышло. Мы сидѣли въ небольшой, густо заставленной низенькою, мягкою мебелью комнатѣ, въ которой было очень жарко и очень пахло духами. Анна Сергѣевна посадила меня очень близко къ себѣ и все время держала мои руки въ своихъ. Мнѣ было такъ неловко, душно и конфузно; притомъ же Анна Сергѣевна говорила такъ быстро, что я почти ничего не слышалъ. Она говорила что-то о своемъ сочувствіи къ моему «благородному порыву», о любви къ «меньшему брату», о томъ, что генералъ Темкинъ — извѣстный ретроградъ, но впрочемъ добрый, и нисколько на меня не сердится. Во всякомъ случаѣ она, Анна Сергѣевна, всегда готова быть моей защитницей и совѣтницей.

— Будемъ друзьями, Grégoire,—заключила Анна Сергѣевна, тряся меня за руки и стараясь заглянуть мнѣ въ глаза, а я упорно опускалъ ихъ внизъ и смотрѣлъ на тигровую шкуру, разостланную въ ногахъ, и на подолъ лиловаго шелковаго платья тетеньки:— будемъ друзьями, Grégoire. Если васъ посѣтятъ какія-нибудь душевныя тревоги, какія-нибудь сомнѣнія или книги вамъ понадобятся, — приходите ко мнѣ. Я васъ пойму. Я много виновата передъ вами. Я должна бы была прямо ввести васъ въ кругъ мыслящихъ и развитыхъ людей, но я... вы простите меня? да? я считала васъ мальчикомъ и думала, что вамъ веселѣе ѣсть мармеладъ и смотрѣть картинки съ генераломъ Темкинымъ... ха, ха, ха!—Анна Сергѣевна весело разсмѣялась надъ своимъ предположеніемъ о преимуществѣ мармелада передъ бесѣдой мыслящихъ людей, но тотчасъ же серьезно прибавила; — этого больше не будетъ! пойдемте...

Мы вышли изъ будуара подъ-руку. Я былъ красенъ, какъ ракъ, и до того вспотѣлъ, что чувствовалъ, какъ цѣлыя струи льются у меня по спинѣ. Гости и гостьи очень внимательно, даже до неприличія, осматривали меня. Скоро пришелъ Башкинъ и дружески поздоровался со мной. Явился дяденька и молча кивнулъ головой на мой неуклюжій поклонъ. Онъ имѣлъ видъ совершенно обиженнаго человѣка. Подойдя къ двери, которая вела въ кабинетъ, гдѣ мы такъ часто наслаждались картинками и пастилой, онъ оглянулся въ мою сторону не то съ упрекомъ, не то съ приглашеніемъ. Я отвернулся. Когда я опять взглянулъ въ ту сторону, дяденьки-генерала уже не было; онъ сидѣлъ у себя и въ одиночку ѣлъ пастилу и смотрѣлъ картинки...

Благодаря всеобщему вниманію—очевидно всѣ уже знали мою исторію—и въ особенности любезности Анны Сергѣевны и Башкина, я скоро разошелся и имѣлъ даже нѣкоторый успѣхъ въ салонѣ, довольно впрочемъ двусмысленный и меня самого поразившій. Разговаривая съ Башкинымъ, я между прочимъ сказалъ ему, что дядька назвалъ его «вольнымъ», то-есть штатскимъ. Сидѣвшій тутъ же молодой писатель, нынѣ благополучно стоящій на стражѣ культуры, очень громко расхохотался и сказалъ, что «это чрезвычайно мѣтко». Захохотали и другіе, поднялись остроты надъ бывшими тутъ двумя офицерами — они впрочемъ и сами шутили на эту тему—и при этомъ всѣ относились ко мнѣ такъ, какъ будто я сказалъ какую-нибудь замѣчательную остроту. А я... должно быть я очень глупый видъ имѣлъ, потому что чувствовалъ себя совершенно невиннымъ въ остроуміи, а между тѣмъ не-

хотѣлъ отклонить отъ себя того, что мнѣ такъ любезно навязывали.

Съ этихъ поръ я сдѣлался постояннымъ посѣтителемъ салона Анны Сергѣевны и скоро вошелъ во вкусъ его. Не вдругъ однако. Сначала меня нѣсколько коробило слѣдующее обстоятельство Какъ ни красиорѣчиво бесѣдовала со мной Анна Сергѣевна въ будуарѣ, да и потомъ не одинъ разъ, но я отъ нея не узналъ рѣшительно ничего, непосредственно къ взволновавшей меня исторіи относящагося. Я въ простотѣ душевной думалъ, что она поможетъ мнѣ отыскать брата и Якова, а отыскать ихъ обоихъ я считалъ необходимымъ, хоть и не знаю зачѣмъ. Но она, кажется, даже и не знала, въ чемъ собственно состояла та исторія, которая возбудила въ ней такую симпатію ко мнѣ. По крайней мѣрѣ меня она не разспрашивала, а Башкинъ меня въ тотъ разъ не понялъ, значитъ и ей не могъ сообщить что-нибудь опредѣленное. Анна Сергѣевна удовлетворилась просто тѣмъ, что я сказалъ генералу Темкину грубость по какому-то благородному поводу, въ которомъ была замѣшана «меньшая братія» и кулачная расправа генерала. Этого съ нея было довольно. Но мнѣ-то было этого мало. Завести съ Анной Сергѣевной серьезный разговоръ — я въ этомъ скоро убѣдился—не было никакой возможности: она тараторила свое, разсыпалась въ общихъ фразахъ и отвлеченностяхъ, но къ фактамъ не спускалась. Притомъ же ея манера хватать за руки и сажать очень близко къ себѣ очень смущала меня, даже просто отталкивала. Я рѣшилъ, что надо обратиться къ дяденькѣ. Это было нетрудно сдѣлать. Онъ аккуратно каждое воскресенье, пройдя поперекъ салона, останавливался у дверей кабинета и взглядывалъ на меня укорительно-пригласительнымъ взглядомъ. Наконецъ, я рѣшился откликнуться на этотъ молчаливый зовъ...

Опять передо мной стояла на маленькомъ кругломъ столѣ корзинка съ мармеладомъ и пастилой, опять я видѣлъ полуосвѣщенные свѣтомъ маленькой лампы огромные сѣдые усы, прикрывавшіе беззубый ротъ, Сначала разговоръ естественнымъ образомъ не клеился, но дяденька самъ направилъ его на интересовавшіе меня пункты. Мнѣ удалось выспросить слѣдующее. Отъ продажи нашего дома, людей, то-есть Якова, Ѳедьки и прочей дворни, лошадей и всякаго имущества была выручена сумма, которая вмѣстѣ съ небольшими деньгами, оставшимися послѣ отца, составила десять тысячъ. Проценты съ этой суммы шли на уплату за мое и Сонино воспитаніе. Люди были проданы всѣ въ одни руки — помѣщику Короваеву. Дяденька-нѣмецъ уѣхалъ въ Митаву, и что съ нимъ теперь — неизвѣстно. Относительно брата-мужика дяденька, за безпамятствомъ, ничего сообщить не могъ, кромѣ названія губерніи, гдѣ онъ его встрѣтилъ. Вотъ и все. Но и это немногое я принялъ съ страннымъ равнодушіемъ. Какъ-то холодно взглянулъ я мысленно по направленію къ недавно еще такъ мучившему меня двойному образу. Это—странно, но такъ было. Я сначала такъ страстно хотѣлъ разсѣять мракъ, окружавшій Якова и брата и мои къ этому существу отношенія, но когда получилъ нѣкоторые, хотя скудные, положительные матеріалы, вышло такъ, какъ будто я исполнилъ какое-нибудь формальное, вовсе не глубоко меня задѣвающее обязательство...

Это—проклятый духъ либеральнаго салона Анны Сергѣевны сказывался. Тамъ были всѣ такъ веселы, такъ довольны собой, другъ другомъ и всѣмъ салономъ (можетъ быть одинъ Башкинъ составлялъ нѣкоторое исключеніе, но онъ велъ себя очень сдержанно и не имѣлъ до меня никакого касательства), что я поневолѣ заразился тѣмъ же. Я убѣдился, что въ сущности я — прекраснѣйшій молодой человѣкъ, умный, либеральный, обуреваемый весьма высокими мыслями и глубокими чувствами, и что если мнѣ чего не достаетъ, такъ только продолженія того, чѣмъ я уже обладаю: знаній, «развитія». Не ловите меня на словѣ, не говорите, что я и теперь все о своей красотѣ толкую. Разница огромная! Во-первыхъ я о красотѣ покаянія потому такъ настоятельно говорю, что о ней никто не говоритъ, а красота салона Анны Сергѣевны гремѣла въ тѣ времена по всему Петербургу. Во-вторыхъ тогда было самообольщеніе, самопоклоненіе и самослуженіе, а теперь ничего этого нѣтъ. Теперь я вамъ прямо говорю: я хорошъ постольку, поскольку чисто, искренно, глубоко и рѣшительно приношу мое покаяніе. Я бы очень хотѣлъ выяснить вамъ чрезвычайно рѣзкую границу между тогдашнимъ и теперешнимъ моимъ образомъ мыслей. Это — очень важная вещь. Надѣюсь, что дальше это будетъ вполнѣ ясно. Если относительно меня по крайней мѣрѣ справедливъ упрекъ въ *«веселой* торопливости», такъ онъ всецѣло относится къ этому періоду моего развитія, хотя, надо замѣтить, я тогда вовсе не «отрывался». Единственный осязательный результатъ, вынесенный мною изо всей передряги изъ-за Якова-брата, сводился въ ту пору къ отреченію отъ «темкинства». Это ужъ осталось прочно и навсегда; но вѣдь во мнѣ эта гордость родствомъ съ

Владиміромъ Святымъ была въ сущности просто ребячествомъ. Серьезно я не былъ никогда ею зараженъ. Затѣмъ посмотрите: такъ ошеломившій меня на первыхъ порахъ напливъ новыхъ мыслей очень быстро разсѣялся въ какихъ-то отвлеченностяхъ и самослуженіи. Во времена посѣщенія салона Анны Сергѣевны я конечно очень хорошо понималъ, вмѣстѣ со всѣми благомыслящими русскими людьми, что такое крѣпостное право. И однако я могъ бы построить такое умозаключеніе: мои друзья-пріятели Ѳедька и Яковъ проданы, и этою цѣною оплачивается мое воспитаніе; такимъ образомъ создается образованный, гуманный, развитой, либеральный молодой человѣкъ, который, выйдя на стезю жизни, еще болѣе расширитъ предѣлы образованности, гуманности, развитія и либерализма. Въ этомъ умозаключеніи непріятная сторона моихъ отношеній къ Якову и Ѳедькѣ не то что вычеркнута, а проглочена, пройдена съ чрезмѣрною быстротою, сказана скороговоркою въ томъ родѣ, какъ въ извѣстномъ разговорѣ: что твое, то мое, а что мое, то мое. Или еще какъ хохлы говорятъ: або ти, тату, ідь у лис, а я зостанусь дома, або я, тату, зостанусь дома, а ти ідь у ліс. Очень скоро сказано, такъ что незамѣтно.

Здѣсь позволю себѣ маленькое отступленіе, собственно для того, чтобы привести пояснительный примѣръ скороговорки, вычитанный мною въ томъ же любезномъ открытомъ письмѣ ко мнѣ г. Зауряднаго Читателя. Онъ пишетъ мнѣ, что не совсѣмъ доволенъ статьей г. Михайловскаго «Борьба за индивидуальность». Онъ полагаетъ именно, что ихтіозавры вовсе не представляютъ высшаго типа развитія, сравнительно съ рыбами и ящерами, на которыхъ они распались; что ихтіозавры одинаково плохо ворочались и на сушѣ, и въ водѣ, а рыбы и ящерицы, избравъ себѣ спеціальную стихію, весьма въ ней сильны. Я думаю, говоритъ г. Заурядный Читатель, что совокупленіе физическаго и умственнаго труда въ одномъ лицѣ можетъ сдѣлать только то, что лицо это будетъ одинаково плохо въ обоихъ отношеніяхъ. Будущій, говоритъ, человѣкъ грезится мнѣ въ видѣ «геніальнаго комка нервовъ», окруженнаго машинами. Насчетъ ихтіозавровъ, хорошо ли или дурно они справлялись со стихіями, мнѣ неизвѣстно. Это гг. Заурядный Читатель и Михайловскій пусть промежъ себя рѣшаютъ. Но такъ собственно, не съ научной, а съ житейской и отчасти съ художественной точки зрѣнія, мнѣ ихтіозавры г. Михайловскаго очень понравились. Можетъ быть впрочемъ я ихъ неправильно толкую. Мнѣ народъ, и въ особенности русскій народъ, представляется въ видѣ ихтіозавра, котораго разные проходимцы стараются пріурочить къ разнымъ спеціальнымъ стихіямъ... Это впрочемъ я—такъ, мимоходомъ. А скороговоркой у г. Зауряднаго Читателя сказано слѣдующее: для того, чтобы изъ меня геніальный комокъ нервовъ выработался, нужно кому-нибудь снять съ меня весь физическій трудъ, необходимый въ данную минуту, то есть нужны Ѳедьки и Яковы, не крѣпостные, такъ «вольные», но во всякомъ случаѣ приспособленные къ стихіи физическаго труда и превосходно съ ней справляющіеся. Вотъ именно это самое и я когда-то говорилъ скороговоркой: на виду былъ только «геніальный комокъ нервовъ»—чудеснѣйшая вѣдь штука,—а Ѳедьки и Яковы гдѣ-то въ полумракѣ были. Я не мошенничалъ, не подтасовывалъ, а просто говорилъ скороговоркой, почти безсознательно проглатывая нѣкоторыя подробности умозаключенія.

И было мнѣ дѣйствительно весело. На меня свободой пахнуло и хорошими, очень хорошими словами. Я много читалъ и пріобрѣталъ свѣдѣнія, но вовсе не тѣ, которыя входили въ программу школы, гдѣ я воспитывался. Школа эта мнѣ стала ненавистна. Я мечталъ быть «вольнымъ» въ томъ нѣсколько каламбурномъ смыслѣ, который произвелъ фуроръ въ салонѣ Анны Сергѣевны. Я мечталъ быть адвокатомъ, такъ какъ тогда уже ходили слухи о новомъ судѣ. Не корите меня за это. Тогда ни я и никто вообще не ожидалъ, что цвѣтъ и краса адвокатуры, г. Спасовичъ, будетъ защищать розги и пощечину, какъ педагогическое средство. Напротивъ, около этого времени была напечатана знаменитая статья «Всероссійскія иллюзіи, разрушаемыя розгами», а также былъ ошельмованъ въ печати Миллеръ-Красовскій, предвосхитившій у г. Спасовича защиту пощечины, какъ педагогическаго средства. Никто не ожидалъ также гг. Потѣхина, Языкова и Соколовскаго, а также многихъ другихъ подобныхъ вещей. Поэтому мои мечты объ адвокатурѣ были чисты и законны. Въ нихъ порывъ къ идеалу сказывался, чего, разумѣется, нельзя будетъ сказать такъ безусловно о теперешнихъ юношахъ, стремящихся въ адвокаты. Теперь идеалъ достаточно опозоренъ и оплеванъ. Впрочемъ, мечты объ адвокатствѣ были только мечты, и я ровно ничего не дѣлалъ для ихъ осуществленія. Меня просто тянуло на волю, dahin, dahin, wo die Zitronen blühen... Это ужъ тогда такое повѣтріе было, и не одинъ я стремился dahin. Въ результатѣ получилась школьная революція, въ которой я принялъ самое дѣятельное, горячее участіе и былъ замѣченъ. Революціи описывать не стану, потому что она

ровно ничѣмъ не замѣчательна, кромѣ безпредметнаго молодого задора. Но, въ концѣ-концовъ, однако, изъ школы, благодаря этой революціи, было выброшено на улицу человѣкъ тридцать, въ томъ числѣ и я. Впрочемъ, во вниманіе къ личности генерала Темкина, я былъ уволенъ «по прошенію». Бѣдный генералъ подавалъ это прошеніе съ великимъ сердечнымъ сокрушеніемъ. Я не знаю, что онъ говорилъ наединѣ съ генераломъ-начальникомъ, но мнѣ лично не осмѣлился сказать ни одного укорительнаго слова: за меня горой стояла ея превосходительство Анна Сергѣевна. Она вполнѣ сочувствовала и моимъ «благороднымъ порывамъ», и моимъ мечтамъ объ адвокатствѣ. Рѣшено было, что я поступлю въ университетъ. Приходилось однако подождать: университетъ былъ какъ разъ въ это время закрытъ...

Вотъ я—«вольный», обладатель 300 рублей ежегоднаго дохода, то-есть 25-ти рублей въ мѣсяцъ. Сумма! Я живу въ маленькой комнаткѣ съ двумя крошечными окнами, въ мансардѣ, на Васильевскомъ острову. Плачу 8 рублей въ мѣсяцъ. Тутъ же получаю столъ за девять рублей. Прелесть, какъ хороша казалась мнѣ эта грязная, темная, душная комната, въ которой я впервые въ жизни могъ дѣлать все, что хотѣлъ! Вотъ я справляю новоселье. У меня въ гостяхъ Анна Сергѣевна (она пришла «благословить меня на свободную трудовую жизнь»), генералъ Темкинъ и Башкинъ. Хотѣли еще быть сыновья генерала, да не пришли. Анна Сергѣевна привезла бутылку шампанскаго, дяденька—пастилы и мармеладу, Башкинъ — калачъ. Очень весело; всѣхъ веселѣе конечно мнѣ. Мы хохочемъ и надъ разномастными стаканами и бокалами, которые притащила грязная кухарка Василиса, и надъ Василисой, которая, ослѣпленная невиданнымъ зрѣлищемъ генерала, называетъ дяденьку «ваше происходительство», и надъ самимъ его происходительствомъ, и надъ собой. Анна Сергѣевна разливаетъ чай и даетъ мнѣ разные хозяйственные совѣты, въ которыхъ впрочемъ оказывается сама слаба. Василиса бѣжитъ за второй бутылкой шампанскаго. У насъ начинаетъ шумѣть въ головахъ, то-есть у меня и у Анны Сергѣевны: генералъ не пьетъ, только пастилу жуетъ, а Башкинъ не пьянѣетъ.

Въ сосѣдней комнатѣ тоже весело. Изъ-за тонкой досчатой перегородки слышенъ пьяный говоръ двухъ голосовъ. У насъ все слышно. Изъ разговора видно, что это студенты, которые должны завтра уѣхать изъ Петербурга: они кутятъ на прощанье. Одинъ зоветъ другого въ какое-то мѣсто, гдѣ веселѣе... Анна Сергѣевна, будучи въ игривомъ настроеніи духа, проектируетъ пригласить сосѣдей къ намъ. Я согласенъ; генералъ въ ужасѣ; Башкинъ тоже протестуетъ. Въ это время въ сосѣдней комнатѣ сначала все замолкаетъ, а затѣмъ слышится сердитый шопотъ Василисы:

— У-у-у, безпутные! Тамъ его происходительство генералъ сидитъ, а они словно въ кабакѣ... Сейчасъ хозяйкѣ пожалюсь...

— Прр-рроисходительство!? раздается громкій пьяный басъ. — Ккккое происходительство.

— Извѣстно какое: генералъ у новаго жильца... не тебѣ чета,—генералы ходятъ...

— Ввваше происходитство, кричитъ обладатель баса и начинаетъ колотить кулаками ко мнѣ въ стѣну.

— Александръ Иванычъ, брось, оставь, пойдемъ, унимаетъ другой голосъ, но безуспѣшно: басъ продолжаетъ грохотать. Анна Сергѣевна теряется и даже нѣсколько блѣднѣетъ; генералъ хмурится и сжимаетъ кулаки; Башкинъ лѣниво улыбается; я смѣюсь. Между тѣмъ за перегородкой продолжается возня. Наконецъ одинъ голосъ говоритъ:

— Ну, чортъ съ тобой! я пойду, цѣлуйся съ своимъ генераломъ.

Въ самомъ дѣлѣ, по корридору раздаются неровные шаги быстро удаляющагося человѣка.

— С-с-счасъ, кричитъ ему вслѣдъ басъ:— с-с-счасъ, я только къ его происходит-ству проститься...

И вдругъ, къ общему нашему удивленію, къ намъ вломилась высокая плотная фигура, въ грязномъ пальто съ бараньимъ воротникомъ и въ шапкѣ съ козыремъ. Человѣкъ этотъ остановился посреди комнаты, медленно снялъ шапку и молча, мутными глазами, обводилъ присутствующихъ. Глядя на его широкое лицо въ веснушкахъ, обрамленное коротенькой рыжеватой бородкой, на вздернутый носъ, густыя, сросшіяся брови и массу всклокоченныхъ, рыжеватыхъ волосъ на головѣ, я что-то припомнилъ. Какъ будто я гдѣ-то этого человѣка видѣлъ. Анна Сергѣевна прижалась къ генералу, тотъ всталъ и величественно выпятилъ грудь. Табло!

— Гдѣ же генералъ? спросилъ наконецъ пьяный человѣкъ.

— Я, милостивый государь, генералъ— генералъ Темкинъ: что вамъ угодно?

— Тттемкинъ... Ттемкинъ... Темкинъ-Потемкинъ... Въ сараевской гимназіи были? вдругъ быстро спросилъ онъ, глядя въ упоръ на дяденьку.

— Не извольте шутить! грозно началъ тотъ, а я вдругъ вспомнилъ:

— Нибушъ! Нибушъ, это я былъ въ сараевской гимназіи, Григорій Темкинъ, помнишь? родственникъ Владиміра Святого?

Я очень обрадовался Нибушу, обнялъ его, чему онъ не противился, и сталъ разсказывать публикѣ, какъ меня «дразнили» родственникамъ Владиміра Святого. Нибушъ все время молчалъ, тупо поглядывая на всѣхъ и опираясь на мое плечо. Онъ сильно пошатывался.

— Значитъ, отвергаешь? спросилъ онъ, уразумѣвъ изъ моего тона, что я ужъ, не горжусь родствомъ съ Владиміромъ Святымъ.—От-ввергай, а всетаки фактич-ски, понимаешь, фактич-ски, ты, всетаки—родственникъ... А я—семибатьковичъ, обернулся онъ неожиданно къ дяденькѣ:—семибатьковичъ, ваше прроисходит-ство... семь батекъ... незаконный, значитъ. Ну, прощай, генералъ... Я т-тебя тоже от-ввергаю...

И, хлопнувъ дяденьку генерала по плечу, Нибушъ быстро повернулся и ушелъ. Вслѣдъ затѣмъ явилась Василиса съ пространными извиненіями передъ «его происходительствомъ» и предо мной. Эпизодъ этотъ нѣсколько разстроилъ наше веселье, и гости тотчасъ же ушли. Я завалился спать и спалъ, какъ убитый. Когда я на другой день справился о Нибушѣ, его уже не было: онъ уѣхалъ...

Сталъ я, такимъ образомъ, жить да поживать на вольной волѣ. Дѣлать я собственно ничего не дѣлалъ, потому что университетъ былъ закрытъ. И братъ, и Яковъ совсѣмъ скрылись въ туманѣ; я ихъ даже рѣдко вспоминалъ. Съ Темкинымъ я тоже разошелся, вотъ по какому случаю. Шатаясь отъ бездѣлья по разнымъ мѣстамъ, я столкнулся съ дѣвушкой, которую... не знаю, впрочемъ, любилъ ли я ее когда-нибудь, но она меня кажется нѣкоторое время любила. Во всякомъ случаѣ ходила ко мнѣ. Повадилась ко мнѣ тоже ходить Анна Сергѣевна; приходила одна и садилась ближе прежняго и держала мои руки въ своихъ дольше, чѣмъ когда-нибудь... Я чувствовалъ, что мои тогда еще красныя щеки играютъ тутъ значительную роль и вспоминалъ слова Башкина: madame Мессалина Рекамье. Но эти мысли я старался гнать отъ себя. Разъ Анна Сергѣевна застала у меня рано утромъ дѣвушку. Произошелъ скандалъ, какого я и не ожидалъ отъ благовоспитанной дамы. Она была точно фурія, меня назвала «развратнымъ мальчишкой» и негодяемъ, а дѣвушку обругала самымъ площаднымъ словомъ. Съ тѣхъ поръ наше знакомство кончилось... Жилъ я, стыдно сказать, какъ дрянно и пусто, хотя продолжалъ считать себя прекраснымъ и очень либеральнымъ молодымъ человѣкомъ. Бездѣлье, кутежи—подобрались соотвѣтственные пріятели—мерзость однимъ словомъ, такая мерзость, что противно и не стоитъ разсказывать. Но одну подробность я чувствую потребность разсказать. Ежемѣсячно являлся ко мнѣ лакей отъ Темкиныхъ, вручалъ мои двадцать пять рублей и бралъ росписку. Капиталъ этотъ немедленно проѣдался и пропивался съ Наташей (такъ звали мою дѣвушку) и пріятелями, а остальное время до слѣдующаго перваго числа жилось отчасти въ долгъ, отчасти чортъ знаетъ какъ, вообще—впроголодь. Въ одну изъ подобныхъ проголодей Наташа принесла десятокъ соленыхъ огурцовъ, десятокъ печеныхъ яицъ и кусокъ ситнаго хлѣба... Правда, я былъ страшно голоденъ, но вѣдь я зналъ, какою цѣною Наташа купила эти огурцы и яйца... Зналъ и ѣлъ, и съ пріятелями дѣлился, и тѣ ѣли, и не становились у насъ поперекъ горла эти соленые огурцы и печеныя яйца... Мало того: мы были увѣрены, что изъ насъ выйдутъ «геніальные комки нервовъ». Это—ужъ верхъ мерзости...

Всѣ эти мерзости кончились съ пріѣздомъ Сони. Съ появленіемъ этого свѣтлаго созданія, начинается настоящая красота, сперва съ нѣсколько комическимъ оттѣнкомъ, а потомъ —трагическая.

Мимо, мимо всѣ мои безобразія... Какъ я, достигнувъ совершеннолѣтія, вытребовалъ у дяденьки-генерала свои пять тысячъ, эту—что одно время было для меня вполнѣ ясно—цѣну крови Якова и Ѳедьки; какъ я эту цѣну крови меньше, чѣмъ въ годъ разбросалъ безпутно, неумѣло, даже почти безъ удовольствія для себя... Все это—мимо. Не потому, чтобы я хотѣлъ скрывать что-нибудь, а просто потому, что все это было слишкомъ ужъ какъ-то ординарно и развѣ только вотъ въ какомъ смыслѣ оригинально: все это время, какъ я проматывалъ деньги, какихъ у меня съ тѣхъ поръ въ рукахъ не бывало, да и не будетъ, я жилъ въ той же душной и темной конурѣ на Васильевскомъ Островѣ и образа жизни собственно не мѣнялъ. Какъ это я ухитрился—ужъ не знаю...

Разъ я сидѣлъ и пересчитывалъ остатки своего богатства. Насчиталъ, какъ теперь помню, четыреста тридцать три рубля бумажками, да шесть штукъ золотыхъ. Въ первый разъ кажется я призадумался надъ необыкновенно быстрымъ исчезновеніемъ денегъ. (Помѣщеніе ихъ въ какое-нибудь финансовое учрежденіе даже ни разу не приходило мнѣ въ голову). Опредѣленныхъ, впрочемъ какихъ-нибудь соображеній о ближайшемъ будущемъ все-таки не было, а такъ просто раздумье нашло. Дѣло вечеромъ было.

Я сидѣлъ у стола, на которомъ горѣла лампа. Вдругъ слышу въ корридорѣ какой-то старчески пискливый голосъ. «Григорій Александровичъ господинъ Темкинъ здѣсь квартируетъ?» А черезъ нѣсколько секундъ вошелъ и обладатель пискливаго голоса. Сразу я его не разглядѣлъ. Увидѣлъ только какую-то странную, длинную хламиду въ родѣ шинели, да бурую цилиндрическую шляпу, которую гость держалъ въ рукѣ. Онъ робко, застѣнчиво повторилъ свой вопросъ: здѣсь-ли «квартируетъ Григорій Александровичъ господинъ Темкинъ». И тутъ я его призналъ: это былъ дяденька-нѣмецъ. Онъ сильно похудѣлъ, но вовсе почти не постарѣлъ, да и мудрено ужъ ему, впрочемъ, было старѣть. Обрадовался я ему очень, но онъ былъ почему-то смущенъ и, назвавъ меня сначала Гришей, тотчасъ поправился и сталъ величать по отчеству. Когда мы поздоровались, дяденька сбросилъ хламиду и очутился въ сильно потертомъ, но очевидно тщательно вычищенномъ сюртукѣ съ длиннѣйшею таліей. Сѣвъ на стулъ, онъ оглядѣлъ комнату и, наткнувшись взглядомъ на лежавшіе на столѣ остатки моего богатства, вдругъ опустилъ глаза, какъ-то безпомощно положилъ обѣ руки на колѣна и прерывающимся голосомъ произнесъ свою поговорку: «Тутъ вотъ теперича всегда вотъ такъ!» Попугаи такъ иногда произносятъ заученную фразу—грустно и не кстати. Я видѣлъ, какъ слезы закапали на бѣлоснѣжную манишку дяденьки. Пошли тары да бары, разспросы да разсказы. Оказалось, что дяденька-нѣмецъ прожилъ все время со смерти отца («моего великодушнаго и благороднаго покровителя», выразился дяденька) въ Митавѣ, очень бѣдствовалъ, тѣмъ болѣе, что не могъ отстать отъ своей страсти къ археологическому хламу, и теперь пріѣхалъ въ Петербургъ съ цѣлью открыть магазинъ древностей и рѣдкостей.

— Мнѣ совѣтовали продать мои коллекціи, говорилъ дяденька-нѣмецъ, и покупщики были: но вы понимаете, Григорій Александровичъ, что мнѣ это очень трудно... продать... Столько лѣтъ собиралъ и теперича тутъ вотъ всегда...

— Да вѣдь послушайте, дяденька, вѣдь, если магазинъ откроете, такъ все равно продавать будете.

— Да и покупать...

— Ну, да, продавать и покупать?

— Да, да, и покупать...

Такъ я и отсталъ. Ясно было, что дяденька упорно хотѣлъ видѣть только одну сторону задуманнаго предпріятія: покупку археологическаго хлама и, слѣдовательно, расширеніе своей коллекціи, а отъ продажи всячески отворачивался. Дѣлалъ онъ это до трогательности наивно, что часто бываетъ съ мономанами. Съ такою же наивностью дяденька объяснилъ мнѣ, что разсчитываетъ на мою помощь, ибо видитъ во мнѣ сына своего великодушнаго и благороднаго покровителя. «Мнѣ только на первое обзаведеніе, говорилъ онъ:—я скоро поправлюсь и возвращу... еслибы можно было рублей триста... немножко у меня самого есть. Извините меня, Григорій Александровичъ, но въ память Александра Петровича, вотъ тутъ теперича всегда такъ»... Я немедленно и съ полнѣйшей готовностью удовлетворилъ желаніе этого стараго ребенка, который, очевидно, не имѣлъ ни малѣйшаго понятія объ моихъ денежныхъ дѣлахъ и о моемъ положеніи вообще. Дяденька тотчасъ же сталъ веселъ, разговорчивъ, особенно, когда на столѣ зашипѣлъ и забурлилъ на разные лады пузатый хозяйскій самоваръ—дяденька всегда очень любилъ чай. Онъ оказался до такой степени переполненнымъ своимъ проектомъ, что ни о чемъ, кромѣ него и связанныхъ съ нимъ вещей, говорить не могъ. Онъ ужаснулся моей ссорѣ съ дяденькой-генераломъ, котораго объявилъ тоже «великодушнымъ и благороднымъ»; но, къ большому моему удовольствію, о подробностяхъ и причинахъ распри даже не спросилъ. Зато съ величайшимъ одушевленіемъ сообщилъ, что уже высмотрѣлъ на Гороховой подходящій для него магазинъ. Съ еще большимъ одушевленіемъ разсказалъ о знакомствѣ, которое онъ успѣлъ свести въ Петербургѣ. Знакомый былъ сосѣдъ дяденьки по меблированнымъ комнатамъ гдѣ-то на Лиговкѣ. Онъ служилъ нѣсколько времени въ бибиковской ревизіонной коммиссіи, учрежденной въ прошлое царствованіе для повѣрки дворянскихъ правъ въ юго-западныхъ губерніяхъ, и привлекъ къ себѣ сердце дяденьки разсказами объ этой коммиссіи. «65,000 фальшивыхъ дворянъ открыли! передавалъ дяденька, чрезвычайно волнуясь, поднимая голосъ до высочайшаго фальцета и обдавая меня брызгами слюней.—65,000! И какой государственный мужъ былъ генералъ Бибиковъ! Онъ сказалъ кіевскимъ помѣщикамъ: отнынѣ, говоритъ, каждый изъ насъ будетъ навѣрное всегда тутъ вотъ теперича знать, что подаетъ руку благородному дворянину!»—Бѣдный, самоотверженный дяденька-нѣмецъ! Онъ такъ искренно радовался тому, что ему не подастъ руки чистокровный благородный человѣкъ...

Скоро на Гороховой объявился новый магазинъ съ вывѣской: «К. К. Фишеръ. Покупка и продажа древностей и рѣдкостей. «An-und Verkauf von Antiken».—Дяденька отпраздновалъ новоселье, на которомъ, впрочемъ кромѣ хозяина, присутствовали только я и, таричекъ, служившій въ бибиковской коммсссіи—старичекъ, ничѣмъ рѣшительно

незамѣчательный. Дяденька угощалъ насъ чаемъ, бутербродами съ кнакъ-вурстомъ и какимъ-то совершенно невѣроятнымъ шипучимъ напиткомъ, съ этикетомъ на бутылкѣ: «Non pareil». Дяденька утверждалъ, впрочемъ, что это—шампанское. Онъ былъ счастливъ, какъ ребенокъ, которому подарили очень занятную игрушку. Еслибы я не видѣлъ своими глазами, я никогда не повѣрилъ бы, что человѣческое лицо можетъ вмѣстить столько блаженнаго умиленія, сколько его сосредоточилось въ физіономіи дяденькинѣмца, когда онъ расхаживалъ по своимъ новымъ владѣніямъ и безъ нужды отпиралъ и запиралъ витрины, заключавшія его сокровища. Онъ не ходилъ, а какъ бы танцевалъ какой-то торжественно-побѣдительный танецъ, высоко взбрасывая вывернутыми въ стороны ногами. Онъ не говорилъ, а, такъ сказать, вѣщалъ исторію каждой своей хламинки, если можно сдѣлать такое существительное. Бесѣдовали мы въ задней комнатѣ магазина, которую дяденька называлъ кладовою, и гдѣ совмѣщались, кромѣ хлама, спальня и столовая. Не успѣли мы еще выпить бутылку Non pareil и дослушать разсказъ дяденьки о голенищѣ Святополка Окаяннаго или о чемъ-то въ этомъ родѣ, какъ въ передней комнатѣ, въ «магазинѣ», послышался звонокъ. «Покупатель! практика!» перешепнулись мы съ нѣкоторымъ даже волненіемъ. Дяденька торопливо обдернулъ сюртучекъ, пригладилъ височки и вышелъ въ магазинъ. Мы съ бибиковскимъ старичкомъ съ любопытствомъ смотрѣли въ полуотворенную дверь: что будетъ? Вошла не старая, очень худая и болѣзненная дама въ траурѣ, а слѣдомъ за ней какой-то малый изъ породы петербургскихъ младшихъ дворниковъ внесъ довольно большую корзинку, въ какихъ бѣлье носятъ. Малый поставилъ корзину на прилавокъ, снялъ шапку и встряхнулъ волосами. Дама торопливо зарылась въ карманѣ. Дяденька спросилъ, что ей угодно. «Сейчасъ, сейчасъ, отвѣчала она, вы вѣдь торгуете рѣдкостями?.. Я сейчасъ»... Она еще больше заторопилась, вытащила изъ кармана нѣсколько мѣдюковъ, разронила ихъ по полу, покраснѣла, стала собирать... Наконецъ, мѣдюки были вручены малому и онъ ушелъ.

— Вотъ, я хочу продать—не купите ли? заговорила дама, неумѣло развязывая корзину и вынимая изъ нея различные, завернутые въ бумагу и переложенные соломой предметы. На прилавкѣ появились штука за штукой пять или шесть стклянокъ съ заспиртованными зародышами человѣка и какихъ-то животныхъ, маленькій мѣдный сосудъ странной и не русской формы, коробочка со старыми монетами, безобразная китайская фигура изъ зеленаго камня, большой мѣдный осьмиконечный крестъ съ финифтью и, наконецъ, еще какой-то большой предметъ, который я сначала не могъ разглядѣть, но который привлекъ къ себѣ все вниманіе дяденьки: какой то неровный широкій металлическій обручъ. Дяденька отобралъ въ сторону этотъ обручъ, нѣсколько монетъ, мѣдный сосудъ и спросилъ, что это все будетъ стоить. «А этого мнѣ вотъ тутъ не надо», прибавилъ онъ, презрительно отодвигая рукой стклянки съ зародышами и прочее.—«Ахъ, нѣтъ, пожалуйста, тоскливо заговорила дама: — пожалуйста, все вмѣстѣ... куда же я дѣну? Я вамъ еще хотѣла принести, у меня мужъ собиралъ, да я не знаю... Вѣдь вы все равно продадите». Дяденька подумалъ и согласился. Сторговались они очень быстро на восемнадцати рубляхъ, и, кромѣ того, дяденька записалъ адресъ дамы, чтобы посмотрѣть у нея на дому остатки коллекціи ея мужа. Дяденька съ сіяющимъ лицемъ поднесъ намъ вещь, показавшуюся мнѣ издали желѣзнымъ обручемъ: это былъ обломокъ шлема.

— Двѣнадцатаго вѣка, какъ дважды два, пищалъ онъ на самый побѣдоносный манеръ:—а можетъ быть и одиннадцатаго... варяжскій... видите, крылатые звѣри вычеканены... видите дырья: это—мѣста для глазъ въ забралѣ... Эхъ!.. вотъ кабы тутъ еще кусочекъ не обломался... Можетъ быть, кто-нибудь изъ ваннхъ предковъ тутъ вотъ теперича всегда носилъ, Григорій Александровичъ... Ну-ка, я примѣрю...

И съ видомъ человѣка, вѣнчающаго когонибудь лаврами за услуги отечеству, дяденька-нѣмецъ сталъ мнѣ надѣвать на голову обломокъ шишака. Но голова моя вся ушла въ этотъ желѣзный обручъ, такъ что онъ очутился на плечахъ.

— Хе-хе-хе, весело залился дяденька:— головы тогда больше были... теперь умнѣе, поспѣшилъ онъ меня успокоить; —всегда вотъ тутъ умнѣе, и образованнѣе... Ну, а тогда... хе-хе-хе... тогда больше, богатыри вотъ тутъ были...

— Тяжела ты шапка Мономаха! вставилъ неизвѣстно въ какомъ смыслѣ бибиковскій старичекъ и тоже весело разсмѣялся раскатистымъ старческимъ смѣхомъ.

— А можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ Мономаха? блеснула у дяденьки веселая идея, которую онъ, однако, развить не успѣлъ, потому что въ магазинѣ опять раздался звонокъ. Дяденька пошелъ, какъ былъ, съ знаменитымъ варяжскимъ шлемомъ въ рукѣ. Мы съ бибиковскимъ старичкомъ опять припали къ полуотворенной двери. И представьте себѣ мое удивленіе, когда я узналъ

въ посѣтителѣ Башкина. Онъ былъ такъ же красивъ, какъ и прежде, и та же лѣнивая, насмѣшливая полуулыбка бѣгала подъ его неширокими черными усами. Я уже его давно не видалъ, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ окончательно пересталъ бывать у дяденьки-генерала. Я ему даже какъ будто обрадовался, но подойти почему то и не думалъ. Башкинъ съ обыкновенной своей вѣжливо-насмѣшливой манерой поздравилъ дяденьку съ новосельемъ. И когда тотъ разинулъ ротъ отъ недоумѣнія, онъ пояснилъ, что знаетъ всѣ антикварскія лавки въ Петербургѣ, и если, дескать, не зналъ дяденькина магазина, такъ, значитъ, онъ открылся недавно.

— Сегодня вотъ тутъ, — отвѣчалъ дяденька, видимо смущенный изяществомъ наружности, манеръ и рѣчи посѣтителя.

— Ну, вотъ; значитъ я—какъ разъ на новоселье. Нѣтъ ли у васъ чего-нибудь изъ Помпеи?.. Помпейскихъ древностей? пояснилъ Башкинъ, видя дяденькино недоумѣніе. Надо сказать, что дяденька сунулся въ воду антикварской торговли, не спросясь броду: онъ зналъ толкъ только въ рыцарскихъ нѣмецкихъ и русскихъ древностяхъ, а о Помпеѣ можетъ быть и не слыхивалъ.

— Нѣтъ? продолжалъ Башкинъ. — Жаль. А фарфора стараго? Оказалось, что и фарфора нѣтъ. Башкинъ пообѣщалъ зайти въ другой разъ и попросилъ имѣть его въ виду, если дяденькѣ навернется что-нибудь подходящее. Передъ самымъ уходомъ онъ спросилъ, что такое держитъ дяденька въ рукахъ. Тотъ пустился съ увлеченіемъ объяснять многоразличныя достоинства варяжскаго шлема, что, повидимому, очень мало интересовало Башкина. По крайней мѣрѣ, онъ кажется просто для того, чтобы сказать что нибудь и благовидно прекратить болтовню старика, перебилъ его вопросомъ: и что же эта вещь можетъ стоить? Дяденьку этотъ вопросъ, очевидно, засталъ врасплохъ, потому что онъ далеко еще не вошелъ въ роль торговца. Онъ расписывалъ достоинства варяжскаго шлема, какъ любитель, а совсѣмъ не какъ купецъ, который желаетъ товаръ лицомъ показать. Поэтому онъ даже какъ-будто въ лицѣ перемѣнился, услышавъ вопросъ Башкина, и нѣсколько секундъ молчалъ.—Восемь... запнулся онъ, наконецъ, и вдругъ рѣшительно и быстро добавилъ:— восемьдесятъ пять рублей. При этомъ онъ почти выдернулъ шлемъ изъ рукъ Башкина и ревниво прижалъ его къ своей бѣлоснѣжной манишкѣ. Башкинъ посмотрѣлъ на него съ насмѣшливымъ любопытствомъ, молча раскланялся и ушелъ.

Кнакъ-вурстъ былъ съѣденъ, Non pareil выпитъ, ставни магазина заперты, бибиковскій старичекъ зѣвалъ самымъ заразительнымъ образомъ, я тоже аппетитно потягивался, раздумывая, какъ непріятно будетъ тащиться на Васильевскій Островъ, но зато какъ славно будетъ завалиться сегодня пораньше спать. Дяденька правда не уставалъ носиться въ эмпиреяхъ, но расходиться было всетаки пора. Разошлись. Не пришлось мнѣ однако въ эту ночь завалиться пораньше. Напротивъ, я ее совсѣмъ безъ сна провелъ...

— Гдѣ ты, полуночникъ, шляешься? сердито-ласково, какъ и всегда, встрѣтила меня патріархальная Василиса, одной рукой цѣломудренно придерживая рубашку, слѣзавшую съ ея плечъ, а въ другой держа пальмовую свѣчку въ мѣдномъ подсвѣчникѣ.— Право, полуночникъ. Иди скорѣе, тебя тамъ барышня сколько времени дожидается.

— Какая барышня?

— Извѣстно какая, настоящая; сестрица, говоритъ, твоя. Не тебѣ бы, полуночнику, этакую сестрицу...

Но я уже не слышалъ воркотни Василисы, въ нѣсколько прыжковъ очутился въ своей комнатѣ и, черезъ какія-нибудь двѣ секунды, обнималъ свою Соню. Да, меня ждала Соня...

Тутъ-то вотъ и начинается нѣчто, совершенно къ моимъ силамъ не подходящее. Какъ я вамъ опишу Соню, когда это—сама красота? я разумѣю душевную красоту, хотя Соня и собой хороша была. Заставляя теперь проходить передъ собой исторію этой чудной дѣвушки, перебирая памятью безчисленное множество ея крупныхъ и мелкихъ эпизодовъ, я чувствую съ болѣзненною ясностью, что всѣ слова, какія я могъ бы написать для изображенія ея, либо пошлы, либо ходульны. Нѣтъ словъ... Конечно, еслибы я былъ большой художникъ, слова нашлись бы, и я заставилъ бы васъ, какъ выражается Достоевскій, «молитвенно и колѣнопреклоненно» отнестись къ моей Сонѣ. Но я—не только не большой художникъ, а даже ни самомалѣйшей претензіи на художественность не имѣю и потому просто боюсь испортить дѣло своимъ грубымъ перомъ, боюсь, что не сумѣю сказать правду, а или какъ-нибудь урѣжу ее, или расцвѣчу аляповато. Какъ могла уродиться такая красота среди, повидимому, совсѣмъ не подходящихъ условій—я не знаю. Готовъ бы былъ даже прямо назвать ее уродомъ, выродкомъ, еслибы не имѣлъ счастія встрѣчать въ жизни и другихъ людей, правда очень немногихъ, въ которыхъ находилъ, то слабое, а то и очень сильное выраженіе той же самой красоты. Моя задача—изображеніе Сони—съ перваго же ея появленія передъ вами усложняется тѣмъ, что я

засталъ ее у себя въ комнатѣ не одну. И этотъ другой, съ кѣмъ она сидѣла, дожидаясь меня, былъ, если хотите, тоже уродъ: онъ былъ геній...

Послѣ первыхъ объятій, прерываемыхъ совсѣмъ безсмысленными восклицаніями сквозь слезы радости, Соня показала мнѣ на какого-то молодого человѣка, совершенно мнѣ незнакомаго. Онъ смущенно стоялъ у стола, опершись на него одной рукой, а другую заложилъ за спину. Неловкая, какая-то двойственная, не то сочувственная, не то горькая, не то конфузная улыбка некрасиво кривила его ротъ. Несмотря на то, что я въ эту минуту былъ меньше всего способенъ наблюдать, мнѣ показалось, что онъ не просто сконфуженъ, а больше чѣмъ сконфуженъ. Я угадалъ, какъ потомъ оказалось.

— Вотъ, Гриша, я безъ тебя знакомство ужъ свела. Вотъ... а какъ же васъ зовутъ? весело обратилась Соня къ молодому человѣку. Контрастъ этого вопроса съ тономъ, предполагавшимъ какъ бы очень близкое знакомство, выходилъ очень забавенъ. Мы всѣ трое невольно расхохотались и затѣмъ взаимно отрекомендовались. Молодого человѣка звали Дмитрій Николаевичъ Бухарцовъ. Онъ только третьяго дня поселился въ сосѣдней со мной комнатѣ. Наканунѣ утромъ я слышалъ, какъ онъ посылалъ Василису въ лавочку.

— Вотъ вамъ пять копѣекъ, Василиса,— говорилъ мой, тогда еще незнакомый мнѣ сосѣдъ:— вотъ вамъ пять копѣекъ; вы на три копѣйки купите сливокъ, а на остальное, понимаете? на все остальное, до послѣдней копѣйки, самыхъ сахарныхъ сухарей...

— На остальное! Много тутъ остального. Сахарныхъ-то всего четыре штуки дадутъ, возражала Василиса, заливаясь смѣхомъ.

— Ахъ, Василиса, Василиса,—продолжалъ дурачиться сосѣдъ:—такой вы чудесный экземпляръ человѣческой породы, а надъ бѣднымъ человѣкомъ смѣетесь: бѣдному человѣку четыре сухаря какъ разъ...

Такъ вотъ съ этимъ-то чудакомъ Соня и успѣла, дожидаясь меня, свести знакомство. А это странное быть можетъ для васъ обстоятельство (странное, впрочемъ, для того только, кто не живалъ и не бывалъ въ небогатыхъ петербургскихъ меблированныхъ комнатахъ лѣтъ десять-пятнадцать тому назадъ) налагаетъ на меня тяжелую обязанность представить вамъ сразу двухъ человѣкъ, изъ которыхъ каждый требуетъ пера поискуснѣе моего. Начну съ Бухарцова. Во-первыхъ, это много легче; во-вторыхъ, Бухарцовъ мелькнулъ передо мной, какъ метеоръ, какъ онъ блестящій, какъ онъ скоропреходящій, какъ онъ особенный, точно неимѣющій никакой связи съ другими явленіями природы. Въ самомъ дѣлѣ Бухарцовъ стоитъ совсѣмъ особнякомъ въ моихъ воспоминаніяхъ. Встрѣчу съ нимъ я могу выдѣлить, какъ законченный эпизодъ, законченный—смертью, значитъ невозвратно, безнадежно законченный...

Представьте себѣ молодого человѣка, лѣтъ двадцати четырехъ-пяти, средняго роста, очень худого, чуть-чуть сутулаго съ узкими и низенькими плечами, съ волосами сѣро-пепельнаго цвѣта, жидкими и мягкими, такого же цвѣта маленькими усами и едва пробивающейся бороденкой, длиннымъ носомъ и неопредѣленнымъ цвѣтомъ лица. Черты, какъ видите, все очень незамѣчательныя. Вы такихъ людей сотни, конечно, видали. Но можетъ быть вы не видали такихъ глазъ и такой верхней губы, какъ у Бухарцова. Глаза у него были голубые и поражали по временамъ необыкновенною живостью и блескомъ, а по временамъ такою упорною сосредоточенностью, что она казалась почти тупостью. Верхняя губа тоже была характерная: средній выгибъ ея выдавался треугольникомъ, который крѣпко, точно замкомъ запиралъ, ложился на нижнюю губу. Простите эти мелочи. Это я себя тѣшу, очень хорошо понимая, что не даю вамъ ни малѣйшаго понятія о физіономіи Бухарцова. Кто его зналъ, впрочемъ, тотъ вѣрно вспомнитъ. Одѣвался онъ ни на что не похоже. Все время, что я его зналъ, онъ лѣто и зиму носилъ одну и ту же трепанную и засаленную шотландскую шапочку безъ подкладки и клѣтчатый, черный съ зеленымъ, пледъ. Узенькій, черный галстухъ вѣчно совершалъ кругошейное путешествіе, такъ что бантъ торчалъ то на правой сторонѣ, то на лѣвой, а то и на затылкѣ. Откуда онъ бралъ платье—Богъ его знаетъ, но только оно всегда сидѣло на немъ мѣшкомъ, чѣмъ онъ ни мало не смущался. Помню, разъ онъ получилъ уроки въ какомъ-то аристократическомъ домѣ, которыми онъ по разнымъ стороннимъ соображеніямъ дорожилъ. Представляться надо было во фракѣ. Онъ досталъ фракъ у какого-то знакомаго гораздо выше и шире его. Но Бухарцовъ совершенно искренно вѣрилъ, что онъ вполнѣ элегантенъ въ своихъ обыкновенныхъ, какихъ-то муруго-пѣгихъ панталонахъ и въ этомъ чужомъ фракѣ, который сидѣлъ на немъ, какъ на вѣшалкѣ. Мимоходомъ сказать, уроковъ этихъ онъ далъ всего, кажется, два—не поладилъ.

Прошлое Бухарцова мнѣ мало извѣстно. Знаю, что онъ воспитывался въ одномъ изъ

самыхъ привилегированныхъ петербургскихъ учебныхъ заведеній, кончилъ тамъ курсъ, но науки тамошней не взлюбилъ и уѣхалъ тотчасъ же по выходѣ заграницу, гдѣ три или четыре года занимался естественными науками. Вернулся онъ въ Россію ученымъ въ полномъ и лучшемъ смыслѣ этого слова. Вы, пожалуй, этому не повѣрите; но дѣло въ томъ, что способностей онъ былъ по истинѣ громадныхъ. Никогда не встрѣчалъ я такой силы анализа, такой способности къ обобщенію, такого быстраго усвоенія фактическаго матеріала, такой неустанной, почти лихорадочной работы мысли. Пишу вполнѣ трезво и сознательно: Бухарцовъ былъ геніальный умъ. Что же касается до его учености, то тутъ я—плохой конечно судья, но за то имѣю факты. Бухарцовъ самостоятельно работалъ на берегу Средиземнаго моря надъ мелкими морскими животными. Этого рода изслѣдованія, какъ извѣстно, въ послѣднее время сильно подвинули науку впередъ и прославили нѣсколько именъ. Въ числѣ ихъ Бухарцовъ занималъ бы одно изъ первыхъ мѣстъ, еслибы смерть не подкосила его такъ безжалостно рано. Онъ вывезъ множество наблюденій и весь этотъ матеріалъ предполагалъ обработать въ Россіи по готовому уже, совершенно опредѣленному плану. Но напечатать онъ успѣлъ только одну свою и то небольшую работу. Вы можете ее найти въ бюллетеняхъ петербургской академіи наукъ. У меня до сихъ поръ хранится подаренный мнѣ Бухарцовымъ оттискъ этой статьи на нѣмецкомъ языкѣ (бюллетени нашей академіи по-русски не издаются) съ собственноручной его поправкой. Въ началѣ статьи говорится, что авторъ успѣлъ обработать только часть своего матеріала wegen Zeit-und *Geld*-Mangel, то-есть по недостатку времени и *денегъ*. Академія вычеркнула недостатокъ денегъ, ибо русскому ученому этимъ страдать не полагается... Не могу судить, какое именно значеніе имѣетъ для науки эта единственная напечатанная ученая работа Бухарцова, но знаю, что на нее довольно часто ссылаются очень высокіе европейскіе авторитеты. Еще недавно прочелъ я въ книгѣ одного такого авторитета слѣдующее: «Изслѣдованіями Фрица Мюллера, Бухарцова и Геккеля обнаружено» и т. д. Но эта работа составляла какую-нибудь сотую, и того меньше, долю того, что хотѣлъ и имѣлъ сказать по своей спеціальности Бухарцовъ. По безобразной волѣ судьбы, онъ умеръ при такихъ страшныхъ и до сихъ поръ не вполнѣ для меня ясныхъ условіяхъ, что вмѣстѣ съ нимъ погибли и заготовленные имъ матеріалы и вещи, болѣе или менѣе обработанные...

Какой свѣтильникъ разума погасъ,
Какое сердце биться перестало!

Да, и сердце перестало биться великое. Свойственной спеціалистамъ черствости и узкости въ Бухарцовѣ не было и слѣда. Совсѣмъ напротивъ. Помню, былъ въ университетѣ диспутъ по предмету, близко Бухарцову знакомому. Послѣ оффиціальныхъ оппонентовъ выступилъ и онъ. Съ магистрантомъ онъ былъ знакомъ, даже, кажется, гдѣ-то за-границей они вмѣстѣ работали. Онъ началъ такъ: «Ну-съ, г. N, теперь позвольте и мнѣ сказать нѣсколько словъ. У насъ совсѣмъ другой разговоръ пойдетъ, потому что мы съ вами, по крайней мѣрѣ, литературу своего предмета знаемъ». Оффиціальные оппоненты, кто переглянулся, кто презрительно усмѣхнулся, выслушавъ эту дерзость безбородаго юноши. А Бухарцовъ, сдѣлавъ два три спеціальныя замѣчанія, объявилъ, что не объ этихъ частныхъ ошибкахъ и упущеніяхъ диссертаціи, равно какъ и не о несомнѣнныхъ достоинствахъ ея, намѣренъ онъ говорить. «Науки, продолжалъ онъ,—въ Россіи еще не было и нѣтъ въ настоящее время. Съ извѣстной точки зрѣнія, бѣда эта еще не большая, такъ какъ вопросъ не въ томъ: есть ли въ странѣ каста ученыхъ, подобострастно преклоняющихся предъ общественнымъ мнѣніемъ и запродающихъ выводы свои за опредѣленную степень благосостоянія, спокойствія и за право безнаказанно знать и понимать многое, нисколько не обязываясь въ то же время проводить свои убѣжденія въ жизнь? но—существуютъ ли ученые въ настоящемъ смыслѣ слова, т. е. общественные дѣятели, почерпающіе изъ предмета своихъ занятій какіе-нибудь практическіе выводы, отдающіе свою жизнь наукѣ, не изъ видовъ личнаго обезпеченія, но занимающіеся ею только потому, что признаютъ въ ней двигательную силу къ достиженію человѣческаго идеала — разрѣшенію общественныхъ вопросовъ?» И т. д., и т. д. Бухарцовъ былъ человѣкъ веселый, любилъ шутить, болтать всякій вздоръ, но въ серьезныхъ случаяхъ онъ говорилъ именно такъ, какъ я представилъ: нѣсколько книжно, длиннѣйшими періодами и чрезвычайно быстро, торопливо глотая слоги и цѣлыя слова. Разговорнаго такта онъ, впрочемъ, не имѣлъ ни на грошъ, никогда не сообразовался ни съ мѣстомъ, гдѣ онъ говоритъ, ни съ свойствами лицъ, его слушающихъ. Сплошь и рядомъ обливалъ онъ напримѣръ, меня каскадомъ такихъ спеціальностей, которыхъ я совершенно не понималъ и которыми ни малѣйше не интересовался. Остановить же его, разъ онъ былъ въ ударѣ, не было возможности: «послушайте, да вѣдь это такъ просто» и пойдетъ, и пойдетъ опять. Насколько

умѣстно было начало его рѣчи на университетскомъ диспутѣ—судите ужъ сами. Предсѣдатель и магистрантъ не нашли его умѣстнымъ, и Бухарцовъ долженъ былъ, наконецъ, замолчать, не безъ борьбы однако. Было, конечно, дерзко говорить такую рѣчь въ сонмѣ патентованныхъ ученыхъ. Но, во-первыхъ, Бухарцовъ крѣпко вѣрилъ въ то, что говорилъ, а во-вторыхъ, дерзость была вообще въ его характерѣ. Не та дерзость, которая разражается ругательствами. Нѣтъ, онъ крѣпкихъ словъ вообще не любилъ, а циническая брань даже ни разу не осквернила его устъ. Мимоходомъ сказать, онъ и вина не пилъ. Только подъ самый конецъ полюбилъ онъ глинтвейнъ и ликеры и очень этимъ тѣшился. Помню, придемъ мы бывало обѣдать въ греческую кухмистерскую или въ средней руки трактиръ, и Бухарцовъ, заказывая обѣдъ, заранѣе прибавляетъ: «а послѣ обѣда рюмочку ликеру»—какого, ему было все равно, было бы сладко. Такъ дерзокъ, говорю, онъ былъ ужасно, и что особенно замѣчательно въ такомъ слабосильномъ и нервномъ человѣкѣ, онъ и физическою храбростью обладалъ тоже до степени дерзости. Очевидецъ разсказывалъ мнѣ, какъ однажды, гдѣ-то заграницей, Бухарцовъ разсвирѣпѣлъ на кучера, который ударилъ бичомъ проложаго: въ одну секунду Бухарцовъ былъ на козлахъ, пара лошадей остановлена, и кучеръ просилъ прощенія. Я и самъ былъ свидѣтелемъ одного такого его столкновенія съ буйнымъ, огромнымъ и сильнымъ человѣкомъ, причемъ восторжествовалъ Бухарцовъ. Въ другой разъ, онъ совершенно серьезно предлагалъ дуэль «на ножахъ въ темной комнатѣ». Понятно, что враговъ у него было много (были даже такіе, которые серьезно увѣряли, что онъ глупъ), но за то много было и друзей. Я признаться не понималъ, какъ можно было не любить эту чистую и изумительно богатую натуру, эту дѣтски-наивную душу. Правда, жить съ нимъ постоянно въ мирѣ не было никакой возможности. Мнѣ тоже случилось съ нимъ разъ поссориться, но ссора вышла на перепискѣ, а нѣсколько минутъ личнаго свиданія и прямого разговора сразу все уладили.

Что касается существа рѣчи, полусказанной Бухарцовымъ на диспутѣ, то это была его святая святыхъ. Благодаря огромнымъ, хотя нѣсколько одностороннимъ свѣдѣніямъ и геніальному уму, необыкновенно склонному къ обобщеніямъ, онъ, можно сказать, ежедневно осыпалъ насъ гипотезами, теоріями, оригинальными сближеніями, не придавая имъ никакого значенія, а такъ, между дѣломъ. Такъ льется вода изъ переполненнаго сосуда. Но надъ всей этой роскошью теоретической смѣлости (пожалуй, опять дерзости) царила одна идея, которой Бухарцовъ придавалъ великое значеніе. Онъ мечталъ о реформѣ общественныхъ наукъ при помощи естествознанія и выработалъ уже обширный планъ ея. Не могу похвастаться, чтобы я хорошо его помнилъ, но знаю, что онъ не имѣлъ ничего общаго съ идеями, напримѣръ, г. Стронина и тому подобныхъ реформаторовъ. Впрочемъ, мнѣ случалось всетаки встрѣчать въ литературѣ прямое отраженіе идей незабвеннаго друга учителя... Работалъ Бухарцовъ безпорядочно, но страшно много, читалъ рѣшительно все, соприкасающееся съ его спеціальностью, и, кромѣ того, жадно пополнялъ пробѣлы своего образованія по другимъ отраслямъ. Откуда онъ бралъ деньги на такую массу русскихъ и иностранныхъ журналовъ и книгъ—я не знаю. Я думаю, онъ и самъ не зналъ. Родные его были люди очень состоятельные (они жили въ провинціи), но онъ былъ съ ними не въ ладахъ и не получалъ отъ нихъ ни гроша. Затѣмъ онъ давалъ уроки, занимался переводами, но вообще бралъ деньги, гдѣ случится, и тратилъ ихъ самымъ безпорядочнымъ образомъ, хотя кутежи его не шли дальше рюмочки ликеру или стаканчика глинтвейну. Если онъ бралъ, гдѣ случится, такъ и отдавалъ, кому случится. Никогда не забуду я умори тельной сцены у одного нашего общаго пріятеля. Онъ жилъ въ маленькомъ заведеніи меблированныхъ комнатъ, всего комнаты въ четыре, считая хозяйскую. Какъ-то разъ мы съ Бухарцовымъ заночевали у него. Я улегся въ комнатѣ пріятеля, а Бухарцову хозяйка, добродушная, пожилая полька, предложила лечь въ одной изъ свободныхъ (а онѣ всѣ на ту пору были не заняты) комнатъ. Она очень старательно уложила его, постлала чистое бѣлье и вообще была чрезвычайно любезна. Улеглись. Не помню, ужъ съ чего началось дѣло, кажется, съ того, что Бухарцовъ слишкомъ громко перекликался съ нами черезъ стѣну, но только хозяйка начала понемножку ворчать на безцеремонность и неблагодарность Бухарцова. Дальше—больше; хозяйка, наконецъ, стала уже просто кричать, что выгонитъ его съ своей кровати и чтобы онъ убирался вонъ изъ ея квартиры. Бухарцовъ столь же громко и совершенно серьезно удивлялся: «Вотъ дура-то! ея кровать! вонъ изъ квартиры! вотъ дура! куда я ночью пойду?!» И т. д. Споръ вышелъ чрезвычайно горячій; но Бухарцовъ по обыкновенію побѣдилъ, а на утро они были опять пріятелями съ хозяйкой. (У него была способность нравиться, особенно простымъ людямъ, хотя онъ не дѣлалъ для этого рѣшительно никакихъ усилій. Такъ ужъ какъ-то выходило). Если онъ былъ пораженъ требованіемъ хозяйки, то за то нисколько

не поражался, если кто-нибудь обращался къ нему съ требованіемъ его муруго-пѣгихъ панталонъ или зеленаго съ чернымъ пледа.

Но лучше всего, весь цѣликомъ, Бухарцовъ выразился въ слѣдующемъ сложномъ эпизодѣ. Я поминалъ уже, что при видѣ нашей встрѣчи съ Соней онъ былъ больше, чѣмъ сконфуженъ. Дѣло въ томъ, что у него тоже была сестра, которую онъ любилъ до чрезвычайности и которой, какъ онъ думалъ, плохо жить у родныхъ. Онъ мнѣ самъ говорилъ потомъ, что эта-то мысль и грызла его, когда онъ увидѣлъ, какъ мы съ Соней обнимались и плакали отъ радости. Но Бухарцовъ былъ не такой человѣкъ, чтобы остановиться передъ какой-нибудь рискованной попыткой. Онъ рѣшилъ ни больше, ни меньше, какъ похитить сестру и переправить ее за-границу. Операція трудная и дорого стоющая. Нужны прежде всего деньги. Бухарцовъ немедленно вступаетъ въ соглашеніе съ однимъ издателемъ и берется перевести въ извѣстный срокъ съ латинскаго обширный трактатъ по зоологіи, за что ухитряется стребовать тысячу рублей впередъ чистыми деньгами. Попытка похищенія и переправы за-границу оканчивается полнымъ фіаско, деньги, однако, на нее истрачиваются, и Бухарцовъ остается съ обязательствомъ исполнить заказъ. Надо замѣтить, что латинскаго языка онъ почти не зналъ и даже вѣрнѣе будетъ сказать—совсѣмъ не зналъ. Но онъ такъ хорошо зналъ предметъ, что при помощи лексиконовъ и знанія новѣйшихъ языковъ произвелъ вмѣсто обѣщаннаго перевода нѣчто очень нескладное, но колоссальное. Онъ не успѣлъ кончить эту изумительную работу, но листовъ пять печатныхъ я уже видѣлъ въ корректурѣ. Сначала идетъ текстъ съ рѣдкими и небольшими примѣчаніями переводчика. Потомъ примѣчанія все растутъ въ числѣ и объемѣ и, наконецъ, совершенно изгоняютъ текстъ. Остаются одни только примѣчанія переводчика, требующія уже новыхъ примѣчаній. Бухарцовъ разсчитывалъ вложить сюда результаты всѣхъ своихъ самостоятельныхъ работъ, ничтожная доля которыхъ появилась въ бюллетеняхъ академіи наукъ, и всѣ свои завѣтныя мысли. Оттого на ряду съ тонкостями спеціальной эрудиціи попадаются такія примѣчанія къ примѣчаніямъ (у меня сохранилась часть корректуры): «Я вообще не могу въ моихъ дополненіяхъ къ Ванъ-дер-Гевену слишкомъ вдаваться въ теоретическія соображенія и выводы относительно примѣненія всѣхъ этихъ чисто анатомическихъ вопросовъ къ рѣшенію вопросовъ общественно-экономическихъ. Поэтому я опять только обращаю вниманіе читателя на то, что вся моя анатомическая и эмбріологическая теорія имѣетъ главною своею цѣлью отысканіе законовъ физіологіи общества, и потому всѣ мои дальнѣйшія сочиненія будутъ, конечно, основаны на научныхъ данныхъ, излагаемыхъ мною въ этой книгѣ».

Все это погибло: Бухарцовъ, можно сказать, только приступилъ къ этому переводу, если можно такъ назвать задуманное имъ оригинальнѣйшее произведеніе...

Такъ вотъ каковъ былъ человѣкъ, котораго я засталъ у себя въ комнатѣ, когда вернулся съ новоселья дяденьки-нѣмца. Я буду вводить его при случаѣ, когда понадобится, въ дальнѣйшій разсказъ, но теперь мнѣ хотѣлось хоть немножко выдѣлить его фигуру. Вы, пожалуй, удивитесь, что ничего не слыхали о такомъ замѣчательномъ человѣкѣ. А, милостивыя государыни и милостивые государи, на то были особыя причины. Да и мало ли вѣдь вы чего не слыхали? Вѣрно только то, что благонамѣренные творцы «новыхъ людей» прозѣвали много любопытнѣйшихъ типовъ и что, хоть тема эта и надоѣдала порядочно, но вовсе не потому, что она исчерпана. Нетронутой красоты тутъ вдоволь. Вы, вѣроятно, и о Далматовѣ ничего не слыхали. Я тоже не слыхалъ, пока не прочелъ въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» (отъ 8 апрѣля) его коротенькую біографію. Газеты не только не попытались разсѣять нѣкоторыя недоразумѣнія, возбуждаемыя этою біографіей, но даже ни одна ее не перепечатала. Мнѣ хочется ее вамъ разсказать («С.-Петербургскія Вѣдомости» заимствовали ее изъ «Одесскаго Вѣстника»).

Николай Дмитріевичъ Далматовъ родился въ 1842 г. въ Пермской губерніи отъ состоятельныхъ родителей-помѣщиковъ. Служилъ въ военной службѣ. «Гуманность его и доброе отношеніе къ нижнимъ чинамъ снискали ему искреннюю любовь послѣднихъ, не смотря на то, что онъ былъ строгъ, гдѣ это было необходимо по его мнѣнію. Но «одинъ въ полѣ не воинъ», и бороться съ окружающимъ строемъ было не подъ силу молодому человѣку... Онъ вышелъ въ отставку въ чинѣ подпоручика. Въ 1859 г. онъ получилъ, по духовному завѣщанію умершей въ это время матери, 1,000 десятинъ земли съ соотвѣтственнымъ числомъ крестьянъ. Не заключая никакихъ условій, Николай Дмитріевичъ даетъ крестьянамъ волю и отдаетъ имъ всю землю, не оставляя себѣ ничего, за что и получилъ высочайшую благодарность». Дальнѣйшія похожденія Далматова таковы. Поступилъ въ петровско-разумовскую академію, служилъ контролеромъ на заводѣ въ сѣверо-западномъ краѣ, служилъ на маріинской системѣ, былъ на ковровскихъ заводахъ, откуда, услыхавъ, что подготовляется болгарское возстаніе

(въ концѣ 60-хъ годовъ), отправился черезъ Одессу въ Болгарію. Въ Одессу онъ уже прибылъ безъ копѣйки. Кое-какъ удалось ему поступить матросомъ на купеческое судно и такимъ образомъ достигнуть цѣли путешествія. Прибывъ на мѣсто, онъ получилъ было командованіе надъ однимъ изъ сформировавшихся отрядовъ; но такъ какъ возстаніе не состоялось, то ему пришлось искать работы. Онъ поступилъ рабочимъ на казенный пулелитейный и патронный заводъ въ Бѣлградѣ, гдѣ пробылъ около двухъ лѣтъ. Потомъ вернулся въ Россію, переходилъ въ разныхъ должностяхъ (большею частью въ качествѣ рабочаго) съ одного мѣста на другое и, наконецъ, попалъ рабочимъ въ слесарное отдѣленіе механическаго завода Яхненко и Симиренко, гдѣ пробылъ около полутора года. Оттуда Далматовъ поступилъ сперва въ курскую желѣзно-дорожную мастерскую слесаремъ, потомъ слесаремъ же въ конотопскую мастерскую. Здѣсь его застало герцеговинское возстаніе. Онъ немедленно поѣхалъ туда и въ сраженіи подъ Карагуевацемъ 8 (20) января убитъ. Былъ онъ причастенъ и литературѣ, но объ этомъ въ замѣткѣ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» говорится очень неясно и неточно.

Вотъ, милостивые государи, фигура. Красивая фигура. Конечно, это—еще не фигура, а только остовъ, скелетъ, формулярный списокъ. Пусть художникъ одѣнетъ его плотью, пусть онъ реставрируетъ его жилы и погонитъ по нимъ горячую алую кровь, пусть разгадаетъ его душу и разскажетъ, какъ и что двигало Далматова; пусть художникъ сдѣлаетъ все это—и вы должны будете преклониться предъ красотою этого образа. А между тѣмъ вы ничего не слыхали объ этомъ человѣкѣ, хотя онъ «получилъ высочайшую благодарность», а это не втихомолку дѣлается. Ахъ, господа, какъ многаго мы съ вами не знаемъ... Да и не понимаемъ тоже очень многаго. Странная это въ самомъ дѣлѣ штука. Мы, кажется, такъ умѣемъ цѣнить добродѣтель, умъ, талантъ, заслуги, такъ любимъ служить панихиды и справлять юбилеи. А между тѣмъ «герой», въ смыслѣ положительнаго типа, намъ почти неизвѣстенъ въ беллетристикѣ. Это въ сущности—такая же условная фигура, какъ «первый любовникъ», «комическая старуха», «благородный отецъ» и т. п. на сценѣ. Это—«амплуа» и только. Наши большіе художники или совсѣмъ избѣгаютъ этого амплуа, или не умѣютъ съ нимъ справиться; и даже у большихъ художниковъ, не говоря о мелкотравчатыхъ, амплуа героя сплошь и рядомъ занимаетъ парикмахерская вывѣска, гамлетизированный поросенокъ или вызолоченный оселъ. Это удивительно. Конечно, тутъ много причинъ дѣйствуетъ. Во-первыхъ, тѣ совершенно ужъ постороннія причины, которыя разогнали фантастическій юбилей Мосеича въ щедринскомъ «Снѣ въ лѣтнюю ночь». Во-вторыхъ, очень драгоцѣнное само по себѣ качество русскаго человѣка вообще—трезвость. Не та трезвость, которая водки не пьетъ—этого русскій человѣкъ не боится—а трезвость нравственная, боязнь ходульности и риторики. Это качество само по себѣ превосходное, но и его можно пересолить. Очень долгое въ этомъ смыслѣ воздержаніе, а особенно, если оно отчасти насильственное, т. е. разгоняется, какъ юбилей Мосеича, можетъ повести къ совершеніи невозможности дать за чрезвычайно высокое нравственное явленіе настоящую цѣну: русскій человѣкъ любитъ поторговаться. Наконецъ, есть и еще, я думаю, причина, если не самая важная, такъ самая распространенная. Существуютъ извѣстные образцы, шаблоны красоты, многочасно и многообразно разработанные. Надоѣли они, откровенно говоря, хуже горькой рѣдьки. Надоѣли, я думаю, даже самимъ писателямъ, которые ихъ эксплоатируютъ. Какъ хотите, а я не могу повѣрить, чтобы Тургеневъ свои «Вешнія воды», напримѣръ, или Левъ Толстой добрыя семь восьмыхъ «Анны Карениной» писали съ удовольствіемъ. Скучно имъ было. Молодые писатели должно быть скучаютъ тоже, потому что сплошь и рядомъ, изображая даже «новаго человѣка», облекаютъ его ветхимъ Адамомъ, усвоиваютъ всѣ пріемы, всю рутину «стараго красиваго типа». Происходитъ это, я думаю, оттого, что хоть оно и скучно, да не трудно, именно потому, что образцы готовы, передъ глазами. А между тѣмъ отойти отъ этихъ образцовъ и выработать новые вовсе ужъ не такъ, кажется, невозможно. Конечно, la critique est aisée, mais l'art est difficile. А, впрочемъ, когда я слышу эту поговорку, мнѣ всегда хочется прибавить: et l'art de critique?

Надо искать новыхъ образцовъ тамъ, гдѣ ихъ до сихъ поръ совсѣмъ не искали или искали очень мало. Когда Щедрину надоѣли юбилеи архиваріусовъ и проч. ему приснился юбилей Мосеича, и юбилей этотъ оказался не въ примѣръ законнѣе юбилея помощника экзекутора Севастьянова. Къ этому источнику беллетристика наша обращалась уже, впрочемъ, не одинъ разъ и часто съ большимъ успѣхомъ. Чтобы не поминать стараго, еще недавно г. Златовратскій заставилъ насъ съ огромнымъ удовольствіемъ отпраздновать юбилей «крестьянъ-присяжныхъ», выведя при этомъ много чертъ дивной красоты. Народъ, какъ источникъ

новыхъ или мало тронутыхъ образцовъ красоты, можетъ быть, даже особенно подходитъ къ нашей русской трезвости, боязни ходуль и риторики. Что такое Мосеичъ? Какой онъ «герой»? Онъ пятьдесятъ лѣтъ «ни разу не отступилъ отъ правилъ истинной крестьянской жизни и безпрекословно принималъ всѣ ея невзгоды; всегда въ трудахъ, всегда въ потѣ лица своего добывая хлѣбъ свой... И памятуя церковь Божію... Онъ прокармливалъ семью свою, не щадя ни силъ, ни крови своей... И ложе супружеское нескверно содержа... Никогда не задерживалъ податей, сидѣлъ въ острогѣ, былъ битъ... однимъ словомъ, въ совершенствѣ исполнилъ то назначеніе, которое въ свѣтѣ судебъ предопредѣлено...» А «крестьяне-присяжные»? Они повинность отбываютъ, тоже въ совершенствѣ исполняютъ то назначеніе, которое въ совѣтѣ судебъ предопредѣлено. Такіе люди могутъ вложить «силу всю души великую» въ отбываніе повинности и, слѣдовательно, доставить художнику богатѣйшій матеріалъ, но это—всетаки только отбываніе повинности, исполненіе обязанности, а значитъ первое условіе изображенія, даже великой силы ихъ души—есть простота. И вотъ эта-то простота и есть, я думаю, камень, на которомъ должно построиться зданіе новой красоты. Не знаю, понятно ли я выражаю свои мысли. Вамъ, можетъ быть, покажется, что я предлагаю апоѳеозъ пассивности. Но это не такъ. Вотъ напримѣръ, въ очеркахъ г. Г. И. «Люди и нравы», дѣдъ Парменъ, типъ «ходока», который ужъ побывалъ и въ острогѣ, и въ Сибири, и еще разъ рѣшилъ: «коли такъ, такъ, стало, Божья воля мнѣ потерпѣть еще на старости лѣтъ!.. Видно ужъ Господь батюшка, Никола-милостивый такъ осудилъ меня вѣнцомъ—иду!» Помните, какъ «старый дѣдъ, съ котомкой за плечами, съ длинной палкой въ сухой рукѣ, неровной поступью худыхъ тонкихъ ногъ, обутыхъ на мірской счетъ въ новые лапти, пошелъ воевать за свое дѣло». Это—значительное уклоненіе отъ чисто пассивнаго типа, это—уже отчасти типъ воинствующій: какъ ни какъ, а дѣдъ Парменъ идетъ «воевать». Но онъ идетъ воевать за *свое* дѣло, и въ этомъ-то состоитъ крайняя простота и вмѣстѣ съ тѣмъ огромная и рѣдкая въ нашей литературѣ красота его фигуры. Мірское дѣло есть его личное дѣло, срослось съ нимъ; онъ никого не благодѣтельствуетъ, никому не приноситъ жертвы. Если со стороны глядѣть, такъ онъ, конечно, подвигъ, совершаетъ, но самъ-то старый дѣдъ Парменъ тоже въ родѣ какъ повинность отбываетъ, а не героическое какое-нибудь дѣло совершаетъ.

Этотъ же самый принципъ простоты и, если хотите, своего рода эгоизма долженъ быть введенъ и въ изображеніе нашего брата. Еслибы я осмѣлился, въ художественномъ смыслѣ, поднять руку на дорогую мнѣ память Бухарцова, я, конечно, не скрылъ бы истинно героическихъ его чертъ. Но онъ самъ и не подозрѣвалъ бы даже этого, онъ дѣлалъ бы *свое* дѣло, а такъ какъ онъ былъ склоненъ къ созиданію теорій, то непремѣнно возводилъ бы эгоизмъ даже въ принципъ. И, поставивъ дѣло такимъ образомъ, я бы былъ правъ, почти фотографически правъ, то-есть вполнѣ вѣренъ оригиналу. Вы, конечно, можете мнѣ не повѣрить, что Бухарцовъ, еслибы смерть не подкосила такъ рано эту жатву жизни, могъ бы, еслибы захотѣлъ, быть ученою знаменитостью на всю Европу. Но я его во всякомъ случаѣ такъ понимаю и такъ изобразилъ бы. Но никогда, ни въ серьезнѣйшихъ интимныхъ разговорахъ, ни среди самой необузданной шутливости, не прорывалось у него тяготѣніе къ этой перспективѣ. Я ужъ не говорю, что онъ не мечталъ о славѣ ученаго. Это—еще не Богъ знаетъ что. Но онъ любилъ свою спеціальность, былъ полонъ жажды знанія вообще, и даже помню говаривалъ, что охотно поселился бы навсегда гдѣ-нибудь на берегу моря или въ тропическихъ лѣсахъ, единственно для того, чтобы «съ нимъ говорила морская волна и была ему звѣздная книга ясна»; охотно отдался бы онъ жаждѣ знанія, еслибы... еслибы не чувствовалъ обязанности, «повинности» жить въ обществѣ и направлять свою эрудицію извѣстнымъ образомъ. Но съ этою обязанностью онъ также сросся, какъ дѣдъ Парменъ съ обязанностью ходока. Совершенно такъ же и дѣдъ Парменъ охотно лежалъ бы на печи и грѣлъ свои старыя кости, еслибы мірское дѣло не было его собственнымъ дѣломъ. Оттого и Бухарцовъ былъ такъ простъ. Самая его дерзость была ничто иное, какъ простота. Говоря свою рѣчь на диспутѣ, онъ былъ прекрасенъ именно своею простотой, именно тѣмъ, что онъ дѣлалъ свое собственное дѣло, собственную свою душу выкладывалъ, предлагая ученому ареопагу связать «генезисъ въ типѣ пальмовидныхъ водорослей» (что-то въ этомъ родѣ составляло тему диссертаціи) съ разрѣшеніемъ общественныхъ вопросовъ; самъ постоянно работая мыслью въ этомъ направленіи, онъ вовсе не думалъ предлагать или совершать что-нибудь достойное благодарности. Нѣтъ, онъ исполнялъ только свою обязанность и притомъ такую, которая облегчала его личное существованіе. Его тяготила громадная масса его знаній, пріобрѣтенная на счетъ невѣжественнаго общества.

Онъ только сбрасывалъ съ души своей тяжесть. Или вотъ то же Далматовъ. Его можно художественно двоякимъ, даже троякимъ образомъ обработать. Романистъ, въ родѣ г. Стебницкаго, сдѣлаетъ изъ него, пожалуй, нѣчто въ родѣ каторжника и во всякомъ случаѣ бахвала, глупца, жертву разныхъ зловредныхъ посторонніхъ явленій, заставитъ его жалѣть о поведеніи съ крестьянами и потребуетъ, чтобы въ бѣдности онъ оказался нечистъ на руку. Объ этомъ жанрѣ я ничего не имѣю сказать. Благонамѣренные изобразители «новыхъ людей» и «молодого поколѣнія» сдѣлаютъ изъ Далматова «героя», сознательно приносящаго жертвы, благодѣтельствующаго, освобождающаго и т. д. Надо имѣть много таланта, чтобы это не вышло ходульно, но и при большомъ талантѣ это всетаки будетъ мотивъ старый и порядочно пріѣвшійся, это будетъ всетаки ветхій Адамъ, хотя и симпатичный; старый образецъ или шаблонъ красоты. Можно иначе изобразить Далматова. Можно представить дѣло такъ (какъ оно навѣрное и было въ дѣйствительности), что онъ никого не благодѣтельствуетъ, никакихъ жертвъ не приноситъ, а только и занятъ усмиреніемъ своей собственной бунтующей совѣсти. Пусть воочію развертывается и облекается плотью и кровью весь прекрасный формулярный списокъ Далматова, пусть всѣмъ читателямъ будетъ ясенъ его героизмъ, но пусть самъ онъ дѣлаетъ свое личное дѣло. Повидимому, тутъ всего одну маленькую передвижечку въ старомъ шаблонѣ красоты надо сдѣлать. Но сдѣлайте ее—и васъ обдастъ ароматомъ совершенно новой красоты. Вы скажете, можетъ быть, что такимъ образомъ освящается начало собственнаго благополучія, какъ говорятъ обыкновенно, эгоизма. Нѣтъ, зачѣмъ же. Искусство есть своего рода гласный нравственный судъ. Оно освѣщаетъ свой матеріалъ такъ или иначе и, значитъ, освѣщаетъ въ немъ то или другое, но прежде всего оно должно имѣть и всѣмъ показать свой матеріалъ. Матеріалъ этотъ долженъ постоянно обновляться, какъ обновляется жизнь, изъ которой онъ черпается. И самый характерный для нашего времени матеріалъ есть разладъ совѣсти съ жизнью. Искусствомъ онъ пока затронутъ только чуть-чуть. (Я могъ бы все по пальцамъ пересчитать). Онъ имѣетъ, вѣроятно, скромныхъ Пименовъ, которые, вотъ какъ я, сидя у себя въ кельѣ, ведутъ свою безъискусственную лѣтопись. Но въ самомъ скоромъ времени, можетъ быть, завтра, должна появиться художественная его обработка. Будущій художникъ отнюдь не взглянетъ на свой матеріалъ, какъ на старый только разладъ идеала съ дѣйствительностью, а какъ на совершенно ясную, спеціальную, опредѣленную его форму, именно какъ на разладъ совѣсти съ жизнью. Это далеко не одно и то же. Какой-нибудь гамлетизированный поросенокъ можетъ, во имя чрезвычайно высокаго идеала, несоотвѣтствующаго дѣйствительности, приходить въ отчаяніе, кокетливо «складывать на пустой груди ненужныя руки»; можетъ даже бороться съ дѣйствительностью, но съ полнымъ сознаніемъ своихъ многообразныхъ преимуществъ передъ простыми смертными, своего величія. Все это можетъ продѣлывать даже не гамлетизированный поросенокъ, а настоящій человѣкъ; но во всякомъ случаѣ, это—старый типъ, исчерпанная тема. Для созданія новой темы, поросенокъ долженъ весь проникнуться той мыслью, что онъ—дѣйствительно поросенокъ, хотя и съ чрезвычайно нѣжнымъ, бѣлымъ, жирнымъ мясомъ; не любоваться этимъ мясомъ онъ долженъ, не выставлять его, въ какомъ бы то ни было смыслѣ, на показъ, а, напротивъ, терзаться имъ. Если онъ неспособенъ на это, такъ и чортъ съ нимъ, пусть остается поросенкомъ, на ходули его во всякомъ случаѣ не зачѣмъ ставить. Настоящій же человѣкъ (въ смыслѣ новой темы) и самъ на ходули не полѣзетъ. Всѣ его преимущества передъ простыми смертными, въ чемъ бы они ни состояли, должны его тяготить, его должна за нихъ грызть совѣсть, и потому, дѣйствуя въ извѣстномъ направленіи, онъ будетъ дѣлать свое собственное дѣло. Много разнаго люда видалъ я на своемъ вѣку, много размышлялъ о людяхъ, и—повѣрьте моей опытности—если человѣкъ говоритъ: «я хочу приносить пользу», «я пожертвую собой общему благу», «я хочу благодѣтельствовать человѣчество или родину, или какой-нибудь околодокъ», если онъ говоритъ это даже вполнѣ искренно, такъ это еще ровно ничего не значитъ. Трудно выразить благороднѣйшую задачу жизни какими-нибудь другими общими формулами, и пылкая молодежь всегда говоритъ эти слова. Въ этомъ еще ни бѣды нѣтъ, ни радости. Припоминая весь рядъ людей, съ которыми меня сталкивала судьба, я вижу, что почти всѣ они говорили: я пожертвую, я хочу приносить пользу и т. п. Но одни ставили на первый планъ свои, иногда (конечно, рѣдко), дѣйствительно большія достоинства и отъ нихъ уже спускались къ интересовавшему ихъ дѣлу, которое выходило, такимъ образомъ, дѣломъ чужимъ, только по великодушію, по благородству души признаваемымъ за свое. Очень все это большею частью искренно было, кое-кто даже пострадалъ, но всетаки крайне непрочно. Дрянь потомъ изъ этихъ людей выходила иногда ужасная.

Другіе напротивъ исходили изъ своего личнаго дѣла, изъ сознанія своихъ собственныхъ грѣховъ, требующихъ искупленія. Здѣсь-то будущій художникъ и найдетъ своихъ героевъ. Личное благополучіе, какъ принципъ, есть штука, конечно, очень, какъ бы сказать... мѣщанская, что-ли. Стремленіе къ личной чистотѣ и соотвѣтственное покаяніе—штука старая и давшая искусству, кажется, уже все, что съ нея взять можно. Но чувство *личной* отвѣтственности за свое *общественное* положеніе—есть тема новая и почти нетронутая. Это чувство двигало и Бухарцова, и Далматова. Конечно, тутъ очень различныя комбинаціи возможны. Я зналъ, напримѣръ, такихъ людей, которые въ жизни не сбивались съ пути, но постоянно брюзжали и ворчали на собственную совѣсть, не дающую покоя и мѣшающую отдаться всякимъ инстинктамъ—очень любопытный типъ. Зналъ и такихъ, которые сбивались совсѣмъ незамѣтно и, очутившись въ сущности при одномъ, чисто мѣщанскомъ личномъ, благополучіи, продолжали думать, что они совсѣмъ не сбились. Чувствую, что выражаюсь неясно, но можетъ быть, потомъ, на примѣрахъ, дѣло выяснится. Я вамъ разныхъ людей покажу, какъ съумѣю: кого словами разскажу, кого воочію представлю.

Однако, и старыхъ шаблоновъ красоты бросать не слѣдуетъ. Въ нихъ есть кое-что истинно и еще надолго прекрасное, особенно если и въ нихъ сдѣлать маленькую передвижечку. Вотъ, напримѣръ, такая тема: мать, убаюкивающая ребенка. Тема очень старая. Привычный, набившій руку художникъ въ нѣсколько минутъ набросаетъ вамъ картину: мать, блондинка или брюнетка, пользующаяся или непользующаяся супружескимъ счастіемъ, лѣтомъ на крыльцѣ помѣщичьей усадьбы, или зимой въ бѣдной, но уютной комнаткѣ, съ радостными или горестными мыслями, баюкаетъ ребенка. Слабымъ или сильнымъ, но пріятнымъ сопрано или контральто она поетъ Berçeuse или колыбельную пѣсню г. Майкова, положенную на музыку г. Рубцомъ, или такъ какой-нибудь, подслушанный у няньки мотивъ. Право, кажется, я всѣ возможныя комбинаціи перечислилъ. Но очевидно, что только очень большое мастерство изложенія можетъ спасти дальнѣйшія варіаціи этой темы, и самъ художникъ будетъ скучать, выбирая ихъ. А я бы вотъ какъ поступилъ. Я бы отнялъ у матери и сопрано, и контральто, и вообще всякій голосъ, слухъ и всякіе мотивы. Я бы заставилъ ее нескладнымъ голосомъ пѣть какой-нибудь совершенный вздоръ, безсмысленный наборъ словъ въ невозможныхъ склоненіяхъ и спряженіяхъ. Я бы заставилъ окружающихъ смѣяться надъ ея пѣніемъ, хотя бы и добродушно, а она пусть, не смущаясь, мѣрно ходитъ изъ угла въ уголъ, качаетъ ребенка и тянетъ свою нескладицу: «золотую мою сыночку, бѣлую березочку, голубую кошечку, бай-бай-бай» и т. п. Можетъ быть я и преувеличиваю, но мнѣ кажется, что одна эта черточка, комическая и трогательная вмѣстѣ, способна въ рукахъ художника возбудить новый интересъ въ читателѣ, которому давно пріѣлись описанія матери, убаюкивающей ребенка. А между тѣмъ, весь смыслъ этой маленькой черточки только въ томъ и состоитъ, что она сильнѣе другихъ налегаетъ на материнскую «повинность». Не велико дѣло—убаюкивать ребенка пріятнымъ контральто или сопрано: ребенокъ заснетъ самъ-собой, а кромѣ того, прохожій остановится, послушаетъ, мужъ полюбуется голосомъ «звонкимъ и ласковымъ», да и самой весело. Среди этихъ разнообразныхъ и все пріятныхъ обстоятельствъ, еще неизвѣстно, насколько дѣло вашего ребенка совпадаетъ съ вашимъ личнымъ дѣломъ. А вотъ вы попробуйте пѣть безъ голоса, возбуждать насмѣшки, оскорблять эстетически развитое ухо и всетаки пѣть—тогда будетъ видно.

Я понимаю, что это черточка мелкая, ничтожная, и привелъ ее такъ, къ слову. А ежели я къ ней и пристрастенъ можетъ быть, такъ потому, что этотъ образъ безголосой матери мнѣ очень близокъ. Такъ пѣвала моя бѣдная Соня, и я, грѣшный человѣкъ, смѣялся надъ ея пѣніемъ и «голубой кошечкой», да и мудрено было не смѣяться. Но что всетаки это трогательно было и достойно хорошей кисти—это вѣрно.

Это я далеко впередъ забѣжалъ. Пока еще ни одно облачко не сгустилось надъ головой Сони. Она сидитъ у меня, свѣжая, не помятая жизнью, веселая, какъ птица, выпущенная изъ клѣтки. Бухарцовъ тотчасъ же ушелъ, и мы остались вдвоемъ. Разговора нашего передать нѣтъ никакой возможности. Да и не разговоръ это былъ, а чортъ знаетъ что, потому что мы другъ друга почти не слушали, перебивали, цѣплялись за отдѣльныя слова, хохотали. Соня высыпала передо мной, какъ горохъ изъ мѣшка, груду институтскихъ воспоминаній, впечатлѣній дороги въ Петербургъ и наблюденій надъ Анной Сергѣевной (генеральшей Темкиной), которая въ качествѣ жены опекуна взяла ее къ себѣ изъ института. Она съ особеннымъ удовольствіемъ вспоминала какую-то классную даму и какого-то учителя, которые помогли ей «развиться». Хотя я очень

привыкъ слышать это тогда модное слово и самъ его часто употреблялъ, но въ устахъ Сони оно было какое-то несоотвѣтственное. Я не могъ не улыбнуться, отчасти снисходительно-покровительственно. Соня отнеслась къ моей улыбкѣ съ видомъ человѣка, который имѣетъ въ рукахъ неопровержимѣйшія доказательства, но предоставляетъ все времени: «Думаешь, нѣтъ? думаешь, нѣтъ, Гриша? Вотъ увидишь увидишь!» щебетала она. Анна Сергѣевна ей очень не понравилась, а генерала Темкина она еще по старой памяти не любила, за его надменную строгость вообще и за зуботычины Якову въ особенности. И генералъ, и генеральша меня ей очень бранили, называли «дряннымъ и грязнымъ мальчишкой», «пропащимъ человѣкомъ» и предостерегали ее отъ моего пагубнаго вліянія. Не отпустить ее повидаться со мной было, однако, нельзя. Ей данъ былъ въ провожатые лакей, тотъ самый, который когда-то аккуратно каждый мѣсяцъ приносилъ мнѣ мои двадцать пять рублей. Не заставъ меня дома, Соня осталась ждать, а лакея отпустила. Но часовъ въ десять, онъ явился опять, съ строжайшимъ требованіемъ Анны Сергѣевны «пожаловать домой». Соня объявила, что не уйдетъ, не видавъ меня, хоть бы ей пришлось ночевать въ моей комнатѣ. Лакей тоже стоялъ упорно на своемъ, но его наконецъ прогналъ Бухарцовъ, слышавшій весь споръ изъ своей комнаты. Этимъ и началось знакомство Сони съ Бухарцовымъ. «Онъ — чудесный, аттестовала его Соня:—только, должно быть, у него голова не въ порядкѣ, странный такой». Съ своей стороны и я разсказалъ исторію своихъ отношеній съ генераломъ и генеральшей Темкиными, но очень бѣгло, кратко и поверхностно. Я не хотѣлъ посвящать Соню въ подробности послѣдняго посѣщенія Анны Сергѣевны, а на счетъ первой стычки съ генераломъ изъ-за Якова и брата-мужика конфузился въ другомъ родѣ. Передъ этимъ свѣжимъ, свѣтлымъ созданіемъ мнѣ было стыдно сразу признаться, что Яковъ и братъ-мужикъ давно уже перестали меня безпокоить, а потому я скомкалъ весь этотъ эпизодъ. Въ душѣ я рѣшилъ, что Соня все это непремѣнно должна узнать, но отложилъ исповѣдь до другого раза. На этотъ разъ и Соня, впрочемъ, не была расположена къ серьезному разговору. Извѣстію о дяденькѣ нѣмцѣ она очень обрадовалась.

Самую суть нашей бесѣды составляли, однако, не эти все-таки серьезныя или по крайней мѣрѣ фактическія рѣчи, а тѣ непередаваемые вздоры и пустяки, поводъ которымъ давали и нѣкоторыя забавныя институтскія манеры Сони, и патріархальная Василиса, которая безъ меня приходила занимать ее, и вообще все, что попадалось подъ руку. Проболтали мы такъ часовъ до шести. Солнце, которое только въ это время и заглядывало въ мою конурку, навело было насъ на мысль идти гулять, но я увидѣлъ, что, не смотря на бодрость духа Сони, плоть ея немощна: глаза у нея совсѣмъ слипались. Мы, наконецъ, улеглись, не раздѣваясь, она на диванѣ, а я на кровати (такъ хотѣла Соня) и черезъ какихъ-нибудь четверть часа Соня спала сладкимъ сномъ.

IV.

Ну вотъ и на нашей улицѣ праздникъ. Да еще какой праздникъ-то; нами занимается самъ Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ и намѣренъ предложить почтеннѣйшей публикѣ романъ на тему «нѣкоторыхъ новыхъ явленій среди нашей молодежи». Я объ этомъ съ величайшимъ удовольствіемъ узналъ отъ какого-то г. П., который побывалъ у нашего маститаго романиста въ деревнѣ, узналъ, какъ и что онъ пишетъ, какъ одѣвается и сморкается, и все это пропечаталъ въ № 207 «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» подъ заглавіемъ: «У Ивана Сергѣевича Тургенева». Не буду, впрочемъ, лицемѣрить: я узналъ о праздникѣ на нашей улицѣ не только безъ величайшаго, а безъ всякаго удовольствія, хотя и съ нѣкоторымъ интересомъ. Не то, чтобы я былъ обиженъ за своихъ братьевъ по духу и положенію, среди которыхъ, по передаваемому г. П. мнѣнію г. Тургенева, «не имѣется такого крупнаго типа, какъ Базаровъ, въ которомъ могъ бы находиться центръ тяжести всего романа». Нѣтъ, это какъ г. Тургеневу угодно будетъ, да и обиднаго тутъ, съ извѣстной точки зрѣнія, нѣтъ ничего, но я по совѣсти говорю, что самъ г. Тургеневъ —*не тотъ* «большой человѣкъ», появленіе котораго я предсказывалъ и который долженъ разсказать нашу исторію, воспѣть наши горести и радости. Замѣтьте, я говорю только, что онъ—не тотъ большой человѣкъ, котораго намъ нужно, а размѣровъ его вовсе не умаляю. Конечно, онъ—большой человѣкъ, потому что изъ разной дряни можетъ конфетку сдѣлать. Такой, напримѣръ, конфетки, какъ «Вешнія воды», никому теперь не сдѣлать, это вѣрно, потому что г. Тургеневъ—большой человѣкъ. Большой, да не нашъ, Ѳедотъ, да не тотъ.

Когда-то было сказано, что г. Тургеневъ —человѣкъ «чуткій», что всякое нарождающееся явленіе онъ немедленно схватываетъ и облекаетъ въ художественные образы. Было это сказано очень вѣрно въ свое время. Но потомъ тутъ вышла такая же исто-

рія, какая случается съ винными бутылками, поступающими съ теченіемъ времени подъ баварскій квасъ и кислыя щи: правдивая для своего времени этикетка свидѣтельствуетъ, что нѣкогда бутылка содержала портвейнъ бѣлый, лучшій, старый; хоть этикеты эти и для своего времени можетъ быть не совсѣмъ правдивы, но ужъ во всякомъ случаѣ теперь то въ бутылкѣ баварскій квасъ, и лавочникъ смѣло могъ бы содрать этикетку. Лавочникъ, однако, не сдираетъ, не обмана ради, потому что и онъ, и покупатель очень хорошо знаютъ, въ чемъ дѣло, а такъ, Богъ знаетъ почему. Вотъ и г. П. не сдираетъ этикетки чуткости съ г. Тургенева хотя очень хорошо могъ бы сообразить, что она на немъ держится *такъ*. Очень, говоритъ, будетъ интересно прочитать романъ г. Тургенева, «тѣмъ болѣе, что онъ, столь чуткій къ вліяніямъ времени, не затрогивалъ ни одной современной темы послѣ своего «Дыма». Чуткій, но не затрогивалъ; портвейнъ, но баварскій квасъ; Ѳедотъ, но не тотъ.

Это такъ естественно. Г. П. съ восторгомъ говоритъ о «почтенныхъ лицахъ и дубахъ» тургеневской усадьбы, подъ тѣнью которыхъ «родилось и окрѣпло много поэтическихъ картинъ и образовъ, ставшихъ достояніемъ всего цивилизованнаго міра». Дѣло идетъ объ орловскомъ имѣніи маститаго романиста, селѣ Спасскомъ-Лутовиновѣ: «въ остальныхъ своихъ имѣніяхъ онъ бывалъ лишь ненадолго, больше по дѣламъ». Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы Спасское Лутовиново давало ему пріютъ *надолго*. Нѣтъ, въ послѣдній разъ онъ былъ тамъ два года тому назадъ, а нынче пробылъ около полтора мѣсяца. Конечно, и за-границей есть всякаго рода, возраста и положенія русскіе люди. Но г. Тургеневъ самъ разсказывалъ г. П.:—«Я всю жизнь прожилъ съ людьми, которымъ до моей литературной дѣятельности не было почти никакого дѣла. Въ настоящее время многіе близкіе мнѣ люди даже вовсе не знаютъ по-русски». Не знаю ужъ, какъ все это вяжется съ чуткостью. Но когда я вспоминаю, что даже своего современника или почти современника, мѣщанина Бабурина, г. Тургеневъ заставилъ требовать, чтобы къ нему не просто входили въ комнату, а предварительно постучавшись, на заграничный манеръ, въ дверь, когда я вспоминаю это удивительное обстоятельство, я думаю: о да, это—Ѳедотъ, несомнѣнно Ѳедотъ, но не тотъ.

И право, я объ этомъ безъ малѣйшей грусти думаю: не тотъ, такъ не тотъ, лишь бы насъ въ покоѣ оставилъ. А онъ вотъ не хочетъ... Впрочемъ, доживемъ—увидимъ...

Ахъ, какъ много воды утекло съ тѣхъ поръ, какъ г. Тургеневъ былъ современникомъ своего времени. Г. П. говоритъ, что «въ двадцать пять лѣтъ, протекшихъ со времени появленія «Записокъ Охотника», характеръ орловскаго пейзажа измѣнился довольно значительно: болота всѣ повысохли, лѣса повырублены... Помѣщичьи усадьбы, эти «дворянскія гнѣзда» былого времени, еще болѣе опустились и вросли въ землю, а многочисленыя деревушки попрежнему уныло сѣрѣютъ по скатамъ холмовъ своими соломенными крышами». Кажется бы, вѣдь совсѣмъ пустяки: лѣса повырублены, болота повысохли, «дворянскія гнѣзда» опустились—словомъ, только *пейзажъ измѣнился*. Но моимъ читателямъ, конечно, очень хорошо извѣстны мнѣнія Бокля о вліяніи общаго вида страны, «пейзажа», на характеръ людей и цивилизаціи. Пейзажъ самъ по себѣ для художника—дѣло, съ позволенія сказать, плевое: пріѣхалъ, не то, что на полтора мѣсяца, а хоть на полтора дня, посмотрѣлъ на-право, посмотрѣлъ на-лѣво, сходилъ на охоту, съѣздилъ въ рощу — и все узналъ, т. е. пейзажъ-то. Но не такъ-то легко узнать, какъ отразился новый пейзажъ на людяхъ. Что-то теперь сталось съ меланхолическимъ и благороднымъ Лаврецкимъ, красой дворянскихъ гнѣздъ, съ изящными Кирсановыми и проч.? Придавило должно быть ихъ не много опустившимися усадьбами, такъ что даже віолончель Кирсанова не устанавливается, можетъ быть, въ комнатѣ. Кулики улетѣли, потому что болота повысохли; зайцы разбѣжались, потому что лѣса повырублены; поэтическія души завяли, потому что въ воздухѣ нѣтъ достаточной влаги—болота повысохли, лѣса повырублены. Но Лаврецкіе и Кирсановы, если далъ имъ Богъ вѣку и дожили они до нашихъ дней, сохранили еще въ себѣ запасъ влаги, накопленный съ дѣтства. А вотъ мы-то, ихъ дѣти, очень, очень позасохли, позачерствѣли...

Впрочемъ, какъ сказать... Глаза у насъ, конечно, не на мокромъ мѣстѣ (болота повысохли, лѣса повырублены), но слезы намъ всетаки—дѣло знакомое. По неизмѣннымъ физіологическимъ законамъ они подступаютъ къ горлу и мучительно щекочутъ. До чрезвычайности сократилось нынѣ число поводовъ къ этому физіологическому процессу, но тѣмъ, я думаю, сильнѣе даетъ онъ себя знать въ тѣхъ случаяхъ, когда еще имѣетъ мѣсто. Такъ что въ концѣ-концовъ, не смотря на измѣненіе орловскаго пейзажа, а отчасти, можетъ быть, даже благодаря этому измѣненію, никому не полагалось бы упрекать насъ въ черствости. А между тѣмъ это случается очень часто.

Недавно, совсѣмъ на-дняхъ, я встрѣтилъ Башкина. Долго мы передъ тѣмъ съ нимъ не видались, на что были особенныя причины, ниже увидите—какія. Да и въ этотъ-то разъ встрѣча вышла очень странная. Измученный жарой, я присѣлъ къ одному изъ тѣхъ столиковъ, которые Доминикъ выставляетъ лѣтомъ на улицу, и пилъ пиво подъ якобы тѣнью чахлыхъ сиреней въ кадкахъ. У сосѣдняго столика сидѣли три человѣка, изъ которыхъ одинъ говорилъ мягко, лѣниво, но громко, спокойно и увѣренно. Онъ сидѣлъ ко мнѣ задомъ, но голосъ его былъ слишкомъ знакомъ. Это былъ Башкинъ. Собесѣдники его были совсѣмъ молодые люди, мнѣ незнакомые.

— Вы меня извините, господа, говорилъ Башкинъ:—но право вы какіе-то сухари нынче стали. Васъ, не то, что картиной или статуей, а и красивой женщиной не проймешь. Писаревъ, по крайней мѣрѣ, ругалъ Пушкина, грубо, наивно, по-дѣтски, но все-таки значитъ признавалъ въ немъ силу. А вы... помилуйте, вы даже говорить о Пушкинѣ не станете! Виноватъ, я знаю, что вы хотите сказать,—мягко остановилъ онъ одного изъ молодыхъ людей:—я не отрицаю благородства вашихъ стремленій: они стары, какъ міръ, и всегда такими были. Но видите-ли, въ чемъ дѣло: сухо ужасно все это, сухо, жестко, угловато. Это я въ вашихъ же интересахъ... Вы свое собственное дѣло въ скелетъ какой-то обращаете, снимаете съ него все мясо, всю красоту—ну, и пугаете только людей. Скелетъ никогда ничего не сдѣлаетъ, именно потому, что онъ—скелетъ, мертвецъ. Въ этомъ смыслѣ Тургеневъ правъ, что Венера Милосская несомнѣннѣе принциповъ 89 года. Да вотъ посмотрите...

Башкинъ мотнулъ головой на проходившихъ мимо солдатъ съ музыкой.

— Вотъ вѣдь, не будь музыки, эти молодцы не были бы такими молодцами.—Онъ самъ засмѣялся своей мысли.—А, баронъ, bonjour...

Башкинъ сдѣлалъ граціозный привѣтственный жестъ рукой по направленію къ офицеру, сопровождавшему солдатъ верхомъ. Офицеръ съ длинными рыжими усами поманилъ его къ себѣ; онъ подошелъ, и они объ чемъ-то дружески пошептались. A demain, крикнулъ офицеръ и затрусилъ впередъ, а Башкинъ вернулся на скамейку.

— Да, господа, сухари, сухари,—началъ онъ опять. Но тутъ я не выдержалъ и сдѣлалъ глупость. Взглянувъ на эту красивую рожу, я почувствовалъ, какъ кровь прилила мнѣ къ сердцу, и совершенно машинально спросилъ дрожащимъ голосомъ:

— И Соня—сухарь?

Всѣ трое съ недоумѣніемъ на меня оглянулись, Башкинъ поблѣднѣлъ и нѣсколько секундъ смущенно смотрѣлъ на меня своими красивыми глазами, въ углахъ которыхъ успѣли уже обозначиться порядочныя «лапки». Онъ растерялся, что съ нимъ случалось чрезвычайно рѣдко.

— А, Григорій Александровичъ! — выговорилъ, онъ, наконецъ, очень неловко, но руки мнѣ не протянулъ и хорошо сдѣлалъ, потому что иначе вышелъ бы еще пущій скандалъ. Я, не отвѣчая на привѣтствіе, повторилъ свой нелѣпый вопросъ. Но Башкинъ уже успѣлъ оправиться.

— Я не говорю о частныхъ случаяхъ,—сухо сказалъ онъ.—Эй, человѣкъ! получите...

Всѣ трое поднялись и пошли по Невскому. Молодые люди нѣсколько разъ на меня оглядывались, а я сидѣлъ, какъ прикованный, съ безсильнымъ бѣшенствомъ сжимая ручку пивной кружки. Эта смазливая дрянь, который хотѣлъ оскорбить мою Соню и отскочилъ отъ нея, самъ оплеванный и униженный, этотъ нераскаянный болтунъ смѣетъ насъ называть сухарями! Онъ почти серьезно увѣренъ, что тѣ, кто не умиляется надъ фарфоровыми и помпейскими древностями—совсѣмъ пропащіе, а главное, черствые люди. А между тѣмъ, онъ видѣлъ, онъ знаетъ... Но очи даны ему затѣмъ, чтобы не видѣть, а уши, чтобы не слышать. Помимо моихъ отношеній къ Башкину, помимо самой его личности, въ его оцѣнкѣ я явственно различалъ нѣчто общее, типическое. И какъ ни добросовѣстно стараюсь я теперь взвѣсить гирю личнаго раздраженія, но вполнѣ сознаю, что не она выдавила изъ меня нелѣпый вопросъ, брошенный мной Башкину. Вы, конечно, сами слыхали или читали отзывы, подобные мнѣнію Башкина. Они очень обыкновенны—иногда помягче, иногда пожестче, иногда либеральнѣе, иногда покруче; но всегда съ одною и тою же сердцевиной и почти всегда съ тѣмъ же видомъ сожалѣнія и сочувствія. И знаете что: это-то и противнѣе всего, эта мина сожалѣнія и сочувствія. Она устраивается, повидимому, съ тѣми же цѣлями, съ какими строятся мосты: для соединенія праваго и лѣваго берега рѣки. Мы отказываемся идти по этому мосту великодушія и сочувствія—такова ужъ наша суть, наша характеристическая черта, съ исчезновеніемъ которой исчезаемъ и мы, а насъ за это обзываютъ черствыми сухарями, скелетами. Люди думаютъ, что имѣютъ дѣло съ какою-то обнаженностью, и имъ становится неловко, почти стыдно, за обнаженныхъ конечно. И до извѣстной степени они правы фактически. Обнаженность не обнаженность, а ужъ тѣхъ «ста ризокъ», которыя поминаются въ за-

гадкѣ о кочнѣ капусты, тутъ искать нечего. Хорошо это или дурно, это—особый вопросъ. Я думаю, что хорошо; но теперь я хотѣлъ бы только уяснить себѣ дѣло съ фактической стороны. Когда передъ вами «стоитъ попокъ, на немъ сто ризокъ», вы имѣете дѣло съ загадкой, и хоть не надо быть сфинксомъ, чтобы знать ея смыслъ, но все-таки вы, можетъ быть, и не сразу сообразите, что это просто капустный кочень. Многимъ нравится заворачиваться въ сто ризокъ, видѣть другихъ такихъ же завороченныхъ, ну а мы не хотимъ загадокъ. Да и въ самомъ дѣлѣ, ихъ такъ много задаетъ мать-природа, что только что, только-что въ пору и съ этими-то справиться. На кой-же, извините меня, чортъ еще самимъ обращаться въ загадки? Поэтому, когда я вижу наглеца или болвана во всеоружіи нравственнаго нагиша, мнѣ скверно, конечно, но было бы еще скверне, еслибы онъ умѣлъ или могъ прикрывать свое мѣднолобіе и свою нравственную грязь. Съ этимъ я думаю всякій согласится, то есть съ тѣмъ, что безъ загадокъ удобнѣе. Но, какъ только эта непреложная истина сталкивается съ разными порожденіями житейскаго моря, она немедленно подвергается всевозможнымъ урѣзкамъ, надставкамъ, заплаткамъ, и все—чисто эстетическаго свойства Купецъ Аховъ у Островскаго очень хорошо знаетъ, что злодѣй-Иполитка вышелъ изъ-подъ его руки и что это ужъ безповоротно кончено. А все-таки требуетъ, даже не требуетъ, а униженно проситъ, чтобы Иполитка ему поклонился, такъ для виду. Ему картина благодарности нужна, только картина. Этакъ часто бываетъ. Знаетъ, напримѣръ, человѣкъ иной разъ, охъ какъ знаетъ! что цѣна ему собственно—грошъ, и что если мимоходящіе ломаютъ передъ нимъ шапки, такъ вовсе не передъ нимъ, а передъ его карманомъ что ли, вообще передъ чѣмъ-нибудь такимъ, чего онъ завтра же можетъ лишиться и остаться, какъ ракъ, на мели. А, ему всетаки лестно, потому—картина. Знаетъ тоже иной разъ человѣкъ, что его сосѣдъ ему — жесточайшій врагъ, который при первомъ удобномъ случаѣ съ величайшимъ наслажденіемъ перерветъ ему горло. Но пока до этого момента не дошло, враги съ успѣхомъ фигурируютъ въ пріятной пасторали, благодаря гардеробу «ста ризокъ». Если кто этой эстетикой пропитался, такъ онъ и къ голодному человѣку можетъ, не краснѣя, обратиться съ такой примѣрно рѣчью: знаю я, братецъ, что ты голоденъ, очень понимаю и сочувствую, вотъ какъ сочувствую, но понимаешь, этакъ не красиво: ты притворись, что сытъ, напѣвай какой-нибудь хорошенькій, веселенькій мотивчикъ, троеточкой помахивай, шляпу чуть-чуть на бокъ посади, и ты тогда увидишь, до какой степени я щедръ, великодушенъ, гостепріименъ. Вообще до чрезвычайной пошлости и гнусности можно по этой дорожкѣ добѣжать, но все самымъ эстетическимъ манеромъ, такъ что глазу пріятно. Представьте же себѣ теперь людей, которые съ этой эстетикой покончили, сами отрясли прахъ ея отъ ногъ своихъ, да и за другими зорко наблюдаютъ, дабы они не проносили подъ своими ста ризками какой-нибудь контрабанды. Разсуждая по совѣсти и разуму, этихъ людей въ черствости упрекать нельзя, потому что они ищутъ правды, жаждутъ познанія добра и зла и за-разъ познанное добро готовы положить душу свою. Но именно этой готовности не замѣтитъ человѣкъ, воспитанный на упомянутой эстетикѣ, а замѣтитъ ту жесткость, съ которою производится досмотръ ста ризокъ. Замѣтитъ и скажетъ: какъ сухо, черство! какой скелетъ...

Не для того, чтобы трактовать о событіяхъ на Балканскомъ полуостровѣ — куда ужъ мнѣ! а только чтобы показать, до чего можетъ простираться наша черствость, я загляну на минутку въ это море убійствъ и благороднѣйшихъ чувствъ, пожаровъ и краснорѣчивѣйшихъ воззваній...

Написалъ нѣсколько строкъ и вычеркнулъ: слишкомъ ужъ черство выходитъ, до нецензурности черство. А между тѣмъ клянусь вамъ, я желаю побѣды славянамъ сильнѣе и сознательнѣе, чѣмъ тѣ милыя и добрыя дамы, которыя ходятъ съ кружками по вагонамъ желѣзныхъ дорогъ; сильнѣе, сознательнѣе и чище, чѣмъ многіе газетные риторы, которые вдругъ поголовно обратились въ благороднѣйшихъ жрецовъ свободы... Нѣтъ, это въ сторону. Но всетаки для того, чтобы дать вамъ хоть нѣкоторый матеріалъ для сужденія о нашей черствости, я сообщу вамъ вопросъ, который теперь неотвязно, мучительно преслѣдуетъ меня. Кругомъ всеобщее возбужденіе. Естественно, что наверхъ всплываютъ тѣ, кто возбужденъ сильнѣе, или умѣетъ казаться сильнѣе возбужденнымъ, или не встрѣчаетъ препятствій для выраженія своего возбужденія—тѣ, однимъ словомъ, кто отъ природы или по обстоятельствамъ голосистѣе. Россія есть прекрасная страна, въ которой, однако, много прохвостовъ, какъ и во всякой, впрочемъ, странѣ. Прохвосты тоже всплываютъ наверхъ. И меня чрезвычайно занимаетъ вопросъ: куда всѣ они дѣнутся, когда историческая волна, такъ или иначе, покончитъ съ турецко-славянскими событіями? Останутся ли они на поверхности, придавая ей свой цвѣтъ и запахъ, или исчезнутъ въ пучинѣ? Вопросъ чрезвычайно черствый и, такъ сказать, несвоевременный, но всетаки любо-

пытный. Приходилъ онъ вамъ въ голову или нѣтъ, и какъ вы его разрѣшили, если приходилъ,—этого я не знаю. Я только къ тому, что при всей нашей любви, намъ приходятъ иногда въ голову жесткіе вопросы, за что на насъ и косятся. Оно и понятно. Стоитъ человѣкъ на площади и кричитъ: «ура!» Проходитъ другой человѣкъ и говоритъ: кричать-то ты кричи, а дай-ка я пересмотрю твои сто ризокъ. Жесткій человѣкъ, неделикатный человѣкъ, энтузіазма и картинности не понимаетъ, мясо сдираетъ и собственное свое тѣло въ скелетъ обращаетъ...

Но такіе приговоры, если они произносятся прямо и просто, въ судъ и во осужденіе — еще сполгоря. А вотъ, когда они являются съ кислосладкой приправой сочувствія и сожалѣнія — о, тогда это истинно обидно и противно! Другъ — такъ другъ, врагъ—такъ врагъ, но друго-врагъ или врагo-другъ, вродѣ Башкина, это—нѣчто омерзительное, нѣчто самымъ кореннымъ образомъ противное той жаждѣ правды и познанія добра и зла, которою мы живемъ. Тяжкимъ и скорбнымъ путемъ достались намъ наша вѣра, наша надежда, наша любовь. Каждая точка этого горькаго пути есть для насъ историческое воспоминаніе, на столько свѣжее, что прикасаться къ нему надо очень осторожно. Только бездушнѣйшій человѣкъ, хоть бы онъ распре-Ѳедотъ былъ, можетъ запускать неумѣлые пальцы въ зіяющія раны...

Вы хотите, конечно, знать, какъ все это такъ вышло. Я съ удовольствіемъ удовлетворю вашу любознательность. Не вдругъ конечно, не съ разу, потому что тема очень обширная, а понемножку и въ перемежку. Но мнѣ хочется сдѣлать разъ навсегда одну оговорку. Я чрезвычайно благодаренъ своимъ читателямъ, мало того, истинно сконфуженъ ихъ вниманіемъ. Не разъ ужъ приходило мнѣ въ голову, что пора «закрыть форточку», то-есть перестать писать и задавить въ себѣ все, что просится наружу. Я чувствовалъ свое безсиліе. Благодарю тѣхъ, кто присылалъ мнѣ одобряющее и ободряющее слово. Но прошу васъ имѣть въ виду, что за всѣ эти страницы подлежу отвѣтственности только я, мизинный человѣкъ Григорій Темкинъ. Дѣлаю эту оговорку потому, что еще недавно получилъ письмо, въ которомъ «Въ перемежку» приписывается одному очень извѣстному и очень талантливому беллетристу. Какъ ни лестна для меня такая ошибка, но она заставляетъ думать, что «Въ перемежку» есть, хотя бы только по замыслу, беллетристическое произведеніе и должно удовлетворять соотвѣтственнымъ требованіямъ. Между тѣмъ я пишу, какъ Богъ на душу положитъ, о томъ, что я дѣйствительно видѣлъ, слышалъ, пережилъ и переживаю. Поэтическій талантъ смѣло поднимается надъ дѣйствительностью, а я крѣпко держусь ея, потому что, за отсутствіемъ таланта, только этимъ и могутъ взять.

Теперь много говорятъ о деревнѣ, о мужикѣ, о простомъ русскомъ человѣкѣ. Говорятъ, какъ и всегда, много вѣрнаго и много вздорнаго. Я тоже пережилъ эту штуку и пришелъ къ извѣстнымъ результатамъ. Навязывать ихъ вамъ не буду, сами ужъ разсудите, много ли въ нихъ вѣрнаго и есть ли что-нибудь вздорное, а я вамъ разскажу только нѣчто изъ исторіи моей и Сониной души, разскажу кое-что (всего не разскажу) изъ того wie, wo und wann, warum mir so geschah.

Послѣ разныхъ передрягъ, которыя я вамъ можетъ быть когда-нибудь разскажу, а можетъ быть не разскажу, потому что онѣ не особенно любопытны, поселились мы съ Соней на квартирѣ, не отъ жильцовъ, а въ настоящей квартирѣ въ двѣ комнаты, съ прихожей, кухней и хозяйскими дровами. Переманили съ собой патріархальную Василису, которая безъ памяти полюбила Соню, да и меня жаловала. Соня ежемѣсячно получала, какъ нѣкогда и я, двадцать пять рублей отъ дяденьки генерала. Она требовала-было всѣ свои пять тысячъ на одно предпріятіе, о которомъ тоже—потомъ, но дяденька-генералъ или, вѣрнѣе, тетенька-генеральша отказала самымъ рѣшительнымъ образомъ. Я перебивался кое-какою работишкой, дешевенькими уроками; иногда корректура попадалась. Обстановка наша была очень неважная, но жилось намъ весело, и русскій Мюрже могъ бы найти много подходящаго матеріала въ нашемъ житьѣ-бытьѣ. Гости у насъ бывали часто: дяденька-нѣмецъ, Бухарцовъ, Башкинъ, Нибушъ, съ которымъ меня судьба опять нечаянно столкнула, еще кое-кто. Соня, тогда еще просто—милый ребенокъ, умный, добрый, веселый и очень впечатлительный, составляла центръ всего нашего общества. Надо быть Тургеневымъ, чтобы изобразить тѣ невидимые радіусы, которые соединяли этотъ центръ съ каждымъ изъ насъ. Я объ этомъ не помышляю. Надо замѣтить, что, относясь приблизительно одинаково къ своему центру, мы очень разнообразно относились другъ къ другу. Бухарцовъ, кажется, не замѣчалъ людей, то есть не различалъ ихъ, всѣмъ проповѣдывалъ свои теоріи, со всѣми шутилъ, со всѣми бранился, читалъ намъ систематическія лекціи по естественнымъ наукамъ и только незадолго передъ смертью обратилъ особенное вниманіе на Нибуша. Какіе-то у

нихъ таинственные разговоры происходили, куда-то они вмѣстѣ уходили, а возвращались порознь или, наоборотъ, уходили порознь, а возвращались вмѣстѣ. Нибушъ просто благоговѣлъ передъ Бухарцовымъ и даже нѣсколько боялся его. Онъ любилъ кутнуть, но, будучи навеселѣ, старался не попадаться Бухарцову на глаза. За то онъ очень не жаловалъ Башкина и всячески старался его уязвить или оборвать, что, впрочемъ, удавалось рѣдко. Я тоже скоро не взлюбилъ Башкина, и, признаться сказать, тутъ кажется ревность замѣшалась. Я ревновалъ Соню. Мнѣ казалось иногда, что элегантный красавецъ слишкомъ пристально на нее смотритъ. Въ концѣ концовъ я угадалъ... Самъ Башкинъ былъ со всѣми одинаково холодно-вѣжливъ и охотнѣе всего разговаривалъ объ разныхъ древностяхъ и рѣдкостяхъ съ дяденькой-нѣмцемъ. Тотъ былъ преисполненъ самаго унизеннаго почтенія къ нему, а насъ всѣхъ не одобрялъ, особенно Нибуша, которому не могъ простить его вывороченной на изнанку фамиліи, свидѣтельствовавшей о его происхожденіи съ лѣвой стороны.

Скоро у насъ поселился и жилецъ, совсѣмъ, впрочемъ, особенный. Дѣло такъ происходило. Возвратившись разъ съ урока домой, я съ величайшимъ удивленіемъ увидалъ слѣдующую сцену. Посреди нашей парадной комнаты стояло на двухъ стульяхъ корыто, а въ немъ барахталось и пищало какое то маленькое существо. Около него возились, засучивъ рукава, Соня и Василиса, а возлѣ, сложивъ руки и тяжело вздыхая, стояла совершенно незнакомая мнѣ пожилая женщина.

— Соня, что это такое?

— Гриша, голубчикъ, возьми тамъ на столѣ рецептъ, сбѣгай въ аптеку, да поскорѣе...

— Да что же это такое? откуда?

— Ахъ, ступай скорѣй; потомъ разскажу...

— Ишь намъ Богъ дитю послалъ,—пояснила Василиса, нагибаясь надъ корытомъ и усиленно работая руками.

Я рѣшительно ничего не понималъ. Даже ни одна догадка не лѣзла въ голову. Оказалось вотъ что. На улицѣ у Сони попросила милостыни женщина съ ребенкомъ на рукахъ. Соню поразилъ ужасно болѣзненный видъ ребенка: его несоразмѣрно большая голова была покрыта вся и съ лицомъ какой-то безобразной, красной, мѣстами гноящейся коростой. Женщина пояснила, что мальчику уже три года, что онъ былъ здоровъ, ходилъ, говорилъ, но вотъ, съ полгода назадъ, съ нимъ что-то приключилось: сталъ сохнуть, ноги отнялись, говорить пересталъ, а лицо, голова и мѣстами тѣло покрылись коростой. Соня вспомнила объ одномъ знакомомъ дѣтскомъ докторѣ, жившемъ неподалеку, и повела къ нему женщину съ ребенкомъ. Докторъ объяснилъ, что короста, не смотря на свой ужасный видъ,—пустяки, но что у ребенка есть еще такія то и такія-то (не умѣю ужъ сказать какія) очень серьезныя болѣзни. «Ребенку нуженъ чистый воздухъ, хорошая пища, тщательный уходъ, ванны,—заключилъ докторъ. — Ничего этого онъ, очевидно, не имѣетъ и имѣть не можетъ: значитъ и лечить его нечего. Пожалуй, я пропишу что-нибудь, да что толку-то? онъ все равно больше двухъ недѣль не выживетъ. Вы его чѣмъ кормите-то?» обратился онъ къ женщинѣ. «Что сами, батюшка, ѣдимъ, то и ему».— «Теперь постъ. Значитъ, и капусту, и рѣдьку, и квасъ?»—«Такъ точно: что сами, то и ему». — «Ну, вотъ, — обратился докторъ къ Сонѣ.—Вы вотъ что, Софья Александровна, — добавилъ онъ шутя: — возьмите-ка мальчишку къ себѣ; я вамъ его въ два мѣсяца такъ выправлю, что и не узнаете». Но Сонина мысль и безъ того уже работала въ этотъ направленіи. А тутъ еще такое сопоставленіе: «больше двухъ недѣль не выживетъ» и «въ два мѣсяца выправлю такъ, что и не узнаете». Соня рѣшила и просила доктора, изъ дружбы къ ней, заняться мальчикомъ. Докторъ не ожидалъ этого. Онъ сталъ объяснять трудность задачи: уходъ нуженъ самый тщательный, придется ночи не спать, такія дѣти бываютъ невыносимо капризны, и, по мѣрѣ того, какъ у ребенка будутъ прибавляться силы, онъ будетъ первое время еще капризнѣе; наконецъ, такихъ дѣтей въ Петербургѣ множество, это—не рѣдкость какая нибудь; съ чего же именно этотъ будетъ вырвать у смерти? да и зачѣмъ?.. Соня, разумѣется, ничего этого знать не хотѣла. Она знала только, что ребенокъ или двухъ недѣль невыживетъ, или поправится черезъ два мѣсяца, и что она можетъ повернуть это дѣло и такъ, и иначе. Но тутъ встрѣтилось новое затрудненіе. Женщина, носившая ребенка на рукахъ, была ему совсѣмъ чужая. Она была только знакомая его матери и брала его съ собой въ своихъ прогулкахъ по городу, въ качествѣ нищей. Мать же была беременна напослѣдяхъ, она—поденщица, отецъ—фабричный рабочій. Съ ними и надо было уговариваться. Нищая, къ которой ребенокъ, очевидно, уже привыкъ, изъявила, впрочемъ, согласіе поселиться у насъ въ качествѣ няньки и даже немедленно отправиться къ намъ на квартиру, предоставляя Сонѣ вѣдаться съ родителями ребенка. На томъ и порѣшили. Все это случилось въ продолженіе тѣхъ трехъ часовъ, когда я шатался по урокамъ.

Разсказывая этотъ случай, я вовсе не думаю ставить его въ какую-нибудь особенную заслугу Сонѣ. Очень знаю, что это—обыкновеннѣйшая изъ обыкновенныхъ исторій, свидѣтельствующая только о впечатлительности и готовности быстро и цѣликомъ отдаться доброму чувству. Не сталъ бы я и огородъ городить, еслибы только это имѣлъ разсказать вамъ. Не думайте, впрочемъ, что, по крайней мѣрѣ, ниже васъ ждутъ яркія событія или геройскіе поступки. Нѣтъ, вся исторія сама по себѣ очень маленькая, но по своему воспитательному значенію, по тому душевному процессу, который она въ насъ возбудила, она очень любопытна.

Родители мальчика жили далеко, на Лиговкѣ. По животрепещущимъ мосткамъ мы прошли въ самую глубь обширнаго, но грязнаго, вонючаго и немощенаго двора и вошли въ какое-то... помѣщеніе. Именно «помѣщеніе», выбираю такое общее названіе, потому что ни на что въ частности «помѣщеніе» не было похоже. Это было что-то вродѣ довольно большого, полутемнаго сарая, по стѣнамъ котораго и на полу висѣла и лежала мѣстами разная рухлядь. Въ одномъ углу жарко топилась большая русская печка, и около нея суетились, вооруженныя ухватами, двѣ женщины съ засученными рукавами и подоткнутыми подолами. Въ другомъ углу еще одна женщина укачивала ребенка въ зыбкѣ, прикрѣпленной къ шесту, упиравшемуся въ потолокъ. Было темно, жарко, душно, угарно. Ребенокъ кричалъ во все горло; женщины дружно, на перебой угощали кого-то отсутствующаго самыми отборными ругательствами. Онѣ съ любопытствомъ на насъ посмотрѣли и точно нарочно долго переспрашивали и тянули отвѣтъ, чтобы имѣть возможность наглядѣться на насъ, въ особенности на Соню. Наконецъ, намъ было указано, какъ пройти къ Марьѣ—такъ звали искомую мать нашего пріемыша. «Помѣщеніе» оказалось разгороженнымъ на нѣсколько клѣтушекъ, и въ одной изъ нихъ мы нашли Марью. Она лежала на чемъ-то вродѣ наръ и съ трудомъ приподнялась намъ навстрѣчу. Я боюсь впасть въ банальность, описывая вамъ страшную худобу, блѣдность, что называется ни кровинки въ лицѣ, заострившійся носъ и синіе круги вокругъ огромныхъ, точно разодранныхъ глазъ этой женщины. Все это такъ знакомо, по крайней мѣрѣ по описаніямъ искусныхъ романистовъ. Знакомо и сине-багровое пятно на одной скулѣ—слѣдъ чьего-то кулака, и безобразно поднявшійся кверху животъ, вслѣдствіе чего спереди платье высоко обнажало опухлыя и грязныя ноги. Но знать по описанію—не то, что видѣть живьемъ. Я въ первый разъ въ жизни встрѣчалъ такъ близко такую, почти буквально непокрытую, бѣдность и былъ пораженъ. Но въ особенности поразила меня одна подробность. Въ клѣтушкѣ не было рѣшительно ничего такого, что показывало бы, что тутъ живутъ люди и удовлетворяютъ хотя бы самымъ начальнымъ своимъ потребностямъ вродѣ пищи и одежды—ни стоптаннаго башмака, ни обглоданной корки хлѣба, ни задрипанной юбки, ни сальной свѣчки, ничего, ничего, кромѣ... кофейника! Старый, сильно погнутый и грязный жестяной кофейникъ стоялъ на окнѣ и не то сиротливо, не то гордо посматривалъ на окружавшее его отсутствіе всякаго присутствія. Перебирая теперь всю эту исторію, я вынужденъ припоминать, то есть дѣлать нѣкоторыя умственныя усилія. Самый образъ испитой Марьи уже значительно стушевался въ моей памяти, но этотъ неожиданный, невозможный, невѣроятный кофейникъ и до сихъ поръ стоитъ передо мной такъ ясно, что я почти готовъ протянуть руку и пощупать его. Чѣмъ онъ такъ поражалъ, я хорошенько не знаю: должно быть именно своею единственностью, но смотрѣть на него было поистинѣ ужасно и вмѣстѣ съ тѣмъ почти смѣшно. Можетъ быть впечатлѣніе это уяснится вамъ сравненіемъ. Много лѣтъ спустя послѣ исторіи съ пріемышемъ, мнѣ попалась въ руки опись подлежащаго продажѣ имущества крестьянъ-недоимщиковъ одной волости. Въ одной графѣ вереницей слѣдовали другъ за другомъ Петры Ивановы и Иваны Петровы, а въ другой—противъ каждаго имени выписано было его имущество. У кого корова, у кого двѣ, у кого лошадь, строеніе, у кого что, но нашелся одинъ такой трагикомическій Антонъ Бѣлоноговъ, противъ имени котораго было четкою писарскою рукою написано: «пенджакъ». Антонъ Бѣлоноговъ—пенджакъ, и больше ничего. Ни дома, ни гуся, ни вола, ни осла, а такъ какое-то безвоздушное пространство и въ немъ болтается «пенджакъ»... Замѣтьте, что опись эту я видѣлъ не въ Петербургской или Московской губерніи, а въ довольно глубокой провинціи, такъ что цивилизованный обликъ «пенджака» получалъ еще особенную пикантность. Я не могъ, глядя на него, удержаться отъ смѣха, но еслибы я его видѣлъ такъ же близко, какъ Марьинъ кофейникъ, такъ, можетъ быть, и не до смѣха было бы.

Оба жильца клѣтушки, Марья и ея кофейникъ, встрѣтили насъ сначала не то что холодно, а какъ-то тупо. Шли мы довольно храбро, и хоть кой-какія сомнѣнія насчетъ успѣшности предпріятія шевелились въ моей головѣ, но я не хотѣлъ разочаровывать Соню. А она ни малѣйше не сомнѣвалась.

— Я ничего не буду говорить, ничего не буду просить, говорила она съ спокойствіемъ человѣка, идущаго взять вещь, имъ самимъ положенную въ извѣстное мѣсто:—я передамъ только, какъ докторъ сказалъ: или черезъ двѣ недѣли умретъ, или черезъ два мѣсяца поправится...

Но вся обстановка Марьи, со включеніемъ кофейника и синебагроваго пятна на ея скулѣ, насъ сильно смутила и должно быть мы не особенно толково изложили свою петицію. Во всякомъ случаѣ, по нашей ли винѣ, отъ неожиданности ли предложенія, или по природной тупости, но Марья довольно долго не могла взять дѣло въ толкъ. Во время переговоровъ въ клѣтушку малопо-малу набрались и остальные обитатели «помѣщенія», собственно тѣ три женщины, которыя насъ встрѣтили. Одна изъ нихъ явилась съ ребенкомъ на рукахъ, вѣроятно, отчаявшись въ возможности укачать его въ зыбкѣ. Это была самая бойкая. Она сразу поняла, въ чемъ дѣло и какого мы полета птицы.

— Чего призадумалась, Марья? говорила она, энергически жуя хлѣбъ и еще болѣе энергически вправляя пальцемъ жеванину въ ротъ ребенка.—Чего думать? Ишь, господа добрые. Недолго тебѣ ждать-то—гляди, можетъ и сегодня въ вечеру экого же родишь. Не въ Сибирь ссылаешь, не на вѣкъ. Я бы свою Анютку и на вѣкъ отдала. Хочешь къ господамъ, Анютка? Возьмите и мою...

Анютка заревѣла.

— У-у дура!..

Марья колебалась.

— Я что-жъ?.. намаялась я съ нимъ... Вы не обидите... Только, вотъ, Никаноръ Петровичъ какъ... Безъ его нельзя...

— Это кто же, Никаноръ Петровичъ?

— Мужъ ейный, — пояснила энергическая баба,—гуленa... загулялъ, вотъ ужъ никакъ недѣли съ двѣ: придетъ пьяный, да и уйдетъ не тверезый. Да онъ что! онъ Бога молить долженъ.

Какъ ни какъ, Марья сдалась и, какъ только сдалась, такъ и разсыпалась въ благодарностяхъ, и залилась слезами. Вмѣстѣ съ тѣмъ разогрѣлся и кофейникъ: онъ пожелалъ насъ угостить изъ своей утробы. Не онъ собственно, а Марья, и даже не сама Марья, а энергическая баба, напомнившая ей объ обязанности гостепріимства. Мы отказались подъ тѣмъ предлогомъ, что некогда. Да оно и въ самомъ дѣлѣ некогда было: надо было торопиться домой, чтобы мыть, мазать кормить и проч. ребенка. Порѣшили мы на томъ, что Ванюшка остается пока у насъ, а тамъ—какъ Никаноръ Петровичъ скажетъ, когда свой загулъ кончитъ.

Выбравшись, напутствуемые всяческими благодареніями и пожеланіями, довольно, впрочемъ, въ сущности холодными и какъ бы сказать казенными, форменными, на улицу, мы вдругъ Богъ знаетъ по какому побужденію обнялись. Соня тихо плакала; у меня тоже что-то въ горлѣ садѣло. То было, впрочемъ, не непріятное чувство, во всякомъ случаѣ очень сложное. Психологъ нашелъ бы тутъ и радость успѣха, и нѣкоторое самодовольство, а можетъ быть, то чувство, о которомъ говоритъ, кажется, Лукрецій: чувство удовольствія наблюдать съ безопаснаго берега бурю, которая топитъ корабли и людей. Намъ было хорошо, мы были хороши. Наша плохонькая, но все-таки уютная квартира такъ выигрывала отъ сравненія съ клѣтушкой Марьи и со всѣмъ «помѣщеніемъ». Наши чувства, несомнѣнно добрыя и налаженныя выше обычнаго строя, казались еще выше рядомъ съ грубымъ юморомъ энергической бабы и тупостью Марьи, такъ быстро согласившейся отдать намъ свое дѣтище. Конечно, мы себя не разбирали, не анализировали, что у насъ тамъ въ душѣ копошится. Мы были просто довольны собой... Соня сіяла. Теперь она уже рѣшила, подъ вліяніемъ успѣха, что Ванюшка останется у насъ навсегда, что мы изъ него сдѣлаемъ какого-то совершенно необыкновеннаго человѣка, и Богъ знаетъ еще какого милаго вздора наговорила она мнѣ, пока мы тряслись на извозчичьихъ дрожкахъ до дома.

Начались у насъ новые порядки, и любопытно было видѣть, какъ относился къ нимъ весь нашъ кружокъ. Соня вся отдалась ребенку, цѣлый день съ нимъ возилась, самымъ педантическимъ образомъ исполняя всѣ приказанія доктора, не спала ночей. Ребенокъ былъ, дѣйствительно, очень капризенъ. При малѣйшемъ отказѣ въ какомъ-нибудь его требованіи, онъ сердито сжималъ свои худенькія, высохшія, какъ плети, ручки, въ кулаки и какъ-то злобно мычалъ, оглядываясь по сторонамъ, точно пойманный звѣрокъ. Но и онъ полюбилъ Соню. Василиса ворчала напропалую, но дѣла дѣлала не меньше, а даже больше Сони. Нищанянька только выносила Ванюшку гулять, а все остальное время спала и ѣла съ нечеловѣческою жадностью, точно стараясь на будущее время наѣсться. Дяденька-нѣмецъ совсѣмъ пересталъ къ намъ ходить. Башкинъ тоже сталъ бывать гораздо рѣже и относился къ безобразному больному ребенку, ко всѣмъ мазямъ, притираньямъ, лѣкарствамъ и ваннамъ, которыми, такъ сказать, переполнилась наша квартира, съ видимою гадливостью. Онъ, впрочемъ, старался скрыть это. Бухарцовъ объявилъ, что, въ

случаѣ понадобятся деньги, такъ чтобы къ нему обращались, хотя собственно у него по обыкновенію не было ни копѣйки. Нибушъ сталъ аккуратно являться въ тѣ часы, когда я уходилъ на уроки, и съ величайшею готовностью бѣгалъ и въ лавочку за отрубями для ванны, и въ аптеку за лѣкарствомъ, даже готовилъ, въ случаѣ надобности, вмѣсто Василисы обѣдъ.

Расходы были большіе. Нужны были новые источники доходовъ Соня написала дяденькѣ-генералу письмо, въ которомъ имѣла неосторожность изложить всю исторію съ полной точностью, съ просьбой о присылкѣ денегъ за четыре мѣсяца впередъ. Отвѣтъ былъ написанъ самой генеральшей Темкиной. Она рѣшительно отказывала, ссылаясь на свою обязанность беречь Сонино «приданое», которое, дескать, этакъ не замедлитъ пойти прахомъ и которое ей понадобится для ея дѣтей по выходѣ замужъ. Не помню ужъ, какъ была формулирована эта послѣдняя мысль, но фраза вышла язвительная и двусмысленная: злая баба, не смотря на весь свой либерализмъ, притворилась, что не вѣритъ разсказу о пріемышѣ, которому уже три года; она намекала, что это сынъ самой Сони. Соня только разсмѣялась. Принялись мы искать работы, то-есть я, Соня и Нибушъ. Какъ мы ея искали, разскажу въ другой разъ, потому что это весьма поучительно. Теперь разскажу только, что поиски наши успѣхомъ не увѣнчались. Насъ выручалъ Бухарцовъ, добывавшій деньги, не знаю ужъ какими путями, въ совершенномъ для насъ изобиліи.

Прошла недѣля, прошла другая. Мальчикъ видимо и чрезвычайно быстро поправлялся. Можетъ быть это только такъ казалось, потому что быстро спадала безобразная короста, но и вообще всѣмъ ходомъ лѣченія докторъ былъ очень доволенъ. Посылали мы разъ нищую няньку на Лиговку справиться, какъ тамъ идутъ дѣла. Оказалось, что Марья родила мертваго и лежитъ хворая, а Никаноръ Петровичъ все еще гуляетъ. Прошла недѣля, и Никаноръ Петровичъ, наконецъ, явился. Пришелъ онъ въ отсутствіе мальчика—Соня и нянька повели его гулять. Никаноръ Петровичъ, типическій безпутный фабричный, маленькій, тщедушный, что называется, плюнуть и растереть, явился сильно на-веселѣ. Отъ предложеннаго ему стула онъ отказался, прислонился, заложивъ руки за спину, къ дверному косяку и не безъ граціи перекинулъ ногу за ногу.

— У васъ находится мой сынъ Иванъ,— началъ онъ, пошатнулся и замолчалъ.

— Папиросочку, Никаноръ Петровичъ,— нашелся Нибушъ.

Никаноръ Петровичъ закурилъ и сѣлъ.

— У васъ находится мой сынъ Иванъ,— началъ онъ опять видимо приготовленную рѣчь.—Какъ я есть отецъ... на какомъ основаніи? Съ супругой моей вы уговоръ имѣли, но, какъ я есть отецъ...

— Позвольте, Никаноръ Петровичъ, мы съ супругой вашей никакого уговора не имѣли, потому что она безъ васъ не рѣшалась. Вотъ теперь и будемъ говорить; мы васъ, давно ждали. Вамъ, вѣдь, вѣрно сообщала Марья, что докторъ сказалъ...

— Господинъ докторъ сказали, будто отъ капусты, напримѣръ, и рѣдьки... нездоровье... Ну, какъ мы можемъ заработать, между прочимъ, больше капусты, то позвольте спросить, на какомъ основаніи находится у васъ мой сынъ Иванъ?

Никаноръ Петровичъ строго и торжественно смотрѣлъ на меня своими заплывшими, мутными глазами. Я терялся.

— Да помилуйте, Никаноръ Петровичъ, какое же тутъ основаніе? Безъ всякаго основанія. Просто, ему у насъ лучше—вотъ и лѣкарства, и все...

Меня выручилъ Нибушъ.

— Знаете что, Никаноръ Петровичъ,— перебилъ онъ мою рѣчь:—господинъ Темкинъ теперь занятъ; нельзя ли до другого раза? до завтра къ примѣру, а?

— Какъ я есть отецъ...

— Я понимаю, Никаноръ Петровичъ, понимаю... Да мы вотъ какъ...Тутъ сейчасъ рядомъ трактиръ есть, такъ мы туда. Объ такомъ дѣлѣ надо честь честью. Мы переговоримъ съ вами теперь, я и передамъ господину Темкину, какъ и что. А потомъ ужъ васъ окончательные разговоры съ нимъ будутъ.

— Ежели съ благороднымъ человѣкомъ, на благородномъ, напримѣръ, основаніи...

Они ушли. Нибушъ очевидно торопился увести Никанора Петровича до прихода Сони, и я былъ ему за это глубоко благодаренъ. Но вѣдь это—только отсрочка. Въ строгомъ и торжественномъ тонѣ Никанора Петровича было что-то зловѣщее. Онъ что-то слишкомъ напиралъ на то, что онъ отецъ, то-есть владыка этого маленькаго, больного, безпомощнаго созданія. Я не скрылъ своихъ опасеній отъ Сони, когда она вернулась. Она сильно встревожилась. Сталъ собираться народъ: сначала Башкинъ, потомъ Бухарцовъ. Башкинъ объяснилъ таинственную фразу Никанора Петровича «на какомъ основаніи?» въ томъ смыслѣ, что онъ «желаетъ получить нѣкоторое вознагражденіе за удовольствіе видѣть своего сына здоровымъ и сытымъ». Онъ совѣтовалъ или немедленно разстаться съ Ваней и вообще бросить всю эту затѣю, или же заключить съ Никаномъ Петровичемъ какое-нибудь фор-

мальное условіе. Бухарцовъ предлагалъ смѣлый планъ: увезти мальчика примѣрно на годъ куда-нибудь въ провинцію, а тамъ —что Богъ дастъ. Мы съ нетерпѣніемъ ждали Нибуша. Но онъ пришелъ очень поздно и—увы! совершенно пьяный. Кое-какъ съумѣлъ онъ сообщить только, что Никаноръ Петровичъ «скотина» и что его слѣдуетъ остерегаться.

Развязка не заставила себя ждать. Дня черезъ три, въ отсутствіе мое и Сони, Никаноръ Петровичъ взялъ мальчика, уведя съ собою и нищую-няньку. Василиса пробовала-было протестовать, но онъ грозилъ полиціей, вытребовалъ дворника и — побѣдилъ. Когда мы вернулись, мы застали только Василису, горько плакавшую надъ развалинами гнѣзда, свитаго было для Вани. Соня, измученная безсонными ночами и дневными тревогами, успѣвшая вдобавокъ уже сильно привязаться къ мальчику, въ которомъ видѣла отчасти какъ бы свое созданіе, слегла и прохворала мѣсяцъ. За это время я побывалъ на Лиговкѣ, но Никанора Петровича не засталъ, а Марья съ новыми сине-багровыми иллюстраціями на лицѣ только охала и безсильно махала руками. Мальчикъ, какъ я гораздо позже случайно узналъ, умеръ...

Увѣряю васъ, что въ этомъ бѣгломъ очеркѣ я не прибавилъ къ дѣйствительности ни единаго украшенія отъ себя. Все было именно такъ, какъ сказано. Марья дѣйствительно чрезвычайно быстро согласилась отдать намъ мальчика. Никаноръ Петровичъ дѣйствительно взялъ его назадъ, по причинамъ, которыя такъ и не выяснились. Сомнѣваюсь, чтобы въ немъ говорила любовь къ сыну. Если же и жила въ немъ та инстинктивная привязанность къ своему порожденію, которая у звѣрей едва ли не сильнѣе, чѣмъ у человѣка, то она во всякомъ случаѣ тонула въ болѣе или менѣе посторонникъ чувствахъ, въ своего рода требованіяхъ приличія, въ гордости, въ самодурствѣ. Это я подчеркиваю, то есть тупость Марьи и свинство Никанора Петровича. И еще подчеркиваю вотъ что: мы въ этой исторіи были совершенно чисты, если не считать нечистью нѣкоторое самодовольство, достигавшее иногда, я должень откровенно признаться, нѣсколько чрезмѣрной напряженности. Тѣмъ не менѣе, именно этотъ случай, какъ я теперь, оглядываясь назадъ, ясно вижу, положилъ мнѣ въ душу зерно теперешняго моего отношенія къ дѣламъ сего міра. А оно удивительно отличается отъ того наивно-радужнаго настроенія, въ которомъ мы возвращались съ Сонней съ Лиговки домой. Совѣсть, спокойная какъ зеркало, въ которое я любовался на себя, какъ Нарцисъ,—гдѣ она?! Ея нѣтъ: она быльемъ поросла, она замѣнилась мучительнымъ процессомъ покаянія, хотя я ничего дурного въ легальномъ смыслѣ не сдѣлалъ. Того скрыто-презрительнаго, неопредѣленно-снисходительнаго отношенія къ мрачнымъ обитателямъ мрачнаго помѣщенія на Лиговкѣ—тоже и въ поминѣ нѣтъ. Оно смѣнилось почти завистью, хотя я очень хорошо знаю, что Марья — тупица, Никаноръ Петровичъ—свинья, а одинокій кофейникъ большихъ радостей въ жизни не дастъ. Это—штука чрезвычайно тонкая, и я не боюсь васъ обидѣть предположеніемъ, что вы ея, можетъ быть, не поймете, если, разумѣется, не пережили на своей собственной шкурѣ. Всякій нарождающійся общественно-психологическій процессъ кажется сначала чрезвычайно запутаннымъ и неяснымъ, такъ что трудно даже формулировать его, разсказать словами.

Когда сравниваютъ теперешнее состояніе русскаго общества съ нѣкоторыми предшествовавшими блестящими періодами, то обыкновенно почти отплевываются и говорятъ: вотъ была жизнь, вотъ когда люди жили, а теперь что? тьфу! Что въ такъ называемомъ интеллигентномъ обществѣ, наполняющемъ собой авансцену, господствуютъ или чисто утробная жизнь, или полнѣйшая скука и апатія, это—такъ. Но что кроется въ обществѣ и жизнь настоящая, глубокая—это тоже вѣрно. Представители этой жизни—зачѣмъ скрытничать?—мы. Смѣйтесь, пожалуй, если хотите; но, по извѣстной поговоркѣ, справедливо смѣется только послѣдній. Много есть тому признаковъ и документовъ: я приведу только два. Во-первыхъ—самоубійства. Смерть, какъ признакъ и доказательство жизни можетъ вамъ показаться парадоксомъ, но когда я вамъ въ свое время разскажу, какъ и что, такъ вы увидите. Во-вторыхъ, литературные толки о народѣ. Разбирать, какъ, почему, что и кто говоритъ на эту тему—не мое дѣло. Я знаю только, что говорятъ. На что ужъ «Вѣстникъ Европы», ежемѣсячный покойникъ въ желто-красномъ гробу съ виньеткой Шарлеманя, и тотъ заговорилъ. Это наша мысль, наша жизнь, наша кровь въ ходъ пошла. И увѣряю васъ, что эта жизнь ничѣмъ не хуже жизни лучшихъ представителей русскаго общества прежнихъ временъ. Я рѣшаюсь даже сказать, что она глубже, по той простой причинѣ, что исторія идетъ впередъ и вопросы, нѣкогда только намѣченные, ставятъ передъ сознаніемъ и совѣстью во всей ихъ наготѣ, такъ что увертываться отъ нихъ или нѣтъ возможности, или не является же-

ланія. Обратите, пожалуйста, вниманіе на оба эти пункта: возможность и желаніе. Это очень важно. Въ моей жизни былъ одинъ довольно таки тягостный періодъ, когда я могъ только размышлять. Это время я употребилъ на соображеніе разныхъ историческихъ параллелей и сравненій и пришелъ, между прочимъ, къ такому результату, что всякій общественно-психологическій процессъ, имѣющій будущность, производится двумя силами: чисто матеріальною, непреоборимою невозможностью для людей не поступать извѣстнымъ образомъ и силою духовною, сознаніемъ правоты, справедливости такого образа дѣйствій. Ну-съ, такъ вотъ въ нашемъ дѣлѣ оба эти пункта есть на-лицо. Первый пунктъ, силу матеріальную, неумолимый, прямо сказать, голосъ желудка, составляющій прямое послѣдствіе измѣненія орловскаго пейзажа, вы увидите, надѣюсь, съ достаточною ясностью, когда я вамъ разскажу, какъ мы съ Соней и Нибушемъ искали работы. А теперь о силѣ духовной, о голосѣ совѣсти.

Съ годъ тому назадъ я перечитывалъ одну старую, но превосходную русскую книгу. Меня поразилъ въ ней слѣдующій эпизодъ. Бесѣдуютъ лучшіе представители сороковыхъ годовъ, умные, остроумные, образованные, полные гуманнѣйшихъ чувствъ и благороднѣйшихъ стремленій. Блескъ, шумъ, остроты, жизнь кипитъ. Между прочимъ, одинъ изъ собесѣдниковъ затрогиваетъ какую-то тему въ родѣ «діалектическаго процесса саморазвивающейся идеи»—не помню ужъ въ точности. Другой собесѣдникъ блѣднѣетъ и проситъ перестать. Нѣсколько колкихъ фразъ, и затѣмъ разговоръ прекращается. Авторъ, видимо взволнованный, въ глубоко-прочувствованныхъ выраженіяхъ говоритъ, что собесѣдники поняли, что они чужіе и что у каждаго изъ нихъ что-то съ болью оторвалось отъ сердца.—Я понимаю историческую законность подобныхъ явленій, но такъ, со стороны, отвлекаясь отъ исторической точки зрѣнія, мнѣ, признаюсь, чудно, что люди вкладывали столько души въ споры о діалектическомъ процессѣ саморазвивающейся идеи. (Знаю, что подлежу за это уличенію въ черствости,—ну, и пусть). Сообщилъ я это впечатлѣніе одному пріятелю. Онъ не согласился со мной. «Какъ ни какъ, сказалъ онъ:—а люди жили: а теперь что? тьфу!» Дѣйствительно теперь что? Мнѣ случалось бывать въ одномъ кружкѣ очень милыхъ людей. Тутъ было нѣсколько писателей, художниковъ, студентовъ, нѣсколько соотвѣтственныхъ дамъ. Такъ какъ это были люди вполнѣ порядочные, то тутъ не было ни дикаго пьянства, ни какихъ-нибудь другихъ безобразій, ни даже мужского заигрыванія съ женскимъ кокетствомъ. И было большею частью томительно. Кое-кого вывозилъ темпераментъ, кое-гдѣ по временамъ завязывались бесѣды, иногда очень остроумныя и оживленныя, но въ цѣломъ далеко не было того горячаго тона, который сквозитъ, напримѣръ, въ упомянутомъ разговорѣ о размолвкѣ изъ-за діалектическаго процесса саморазвивающейся идеи. Выручало какое нибудь внѣшнее возбужденіе, въ родѣ стакана вина или музыки. Отчего это? Отчего! Да отъ всего, отъ всякой мелочи. Отчего! Ужъ конечно, не отъ недостатка жизни, а только отъ невыясненности нарождающагося общественно-психологическаго процесса. Насколько я успѣлъ присмотрѣться къ этимъ людямъ, насколько я знаю ихъ общественное положеніе, неумолимая жизнь загнала ихъ всѣхъ въ одинъ и тотъ же приблизительно кругъ убѣжденій и чувствъ. Діалектическій процессъ саморазвивающейся идеи для нихъ выѣденнаго яйца не стоитъ, а не то что какого-нибудь серьезнаго волненія. Въ томъ, что къ нимъ ближе, они во всемъ существенномъ согласны. Такъ что та форма обмѣна мыслей, которая называется споромъ, здѣсь рѣдко можетъ имѣть мѣсто. А тутъ еще ежечасно вторгаются разныя житейскія мелочи, заставляющія прикусить ихъ языкъ. Извольте, напримѣръ, взглянуть на такую мелочь—одну изъ тысячи. Кухарка вноситъ самоваръ. Отъ тяжести и чтобы защитить лицо отъ пара, она откинулась немного назадъ и въ сторону; лицо ея отъ натуги покраснѣло и искривилось. Всѣмъ присутствующимъ извѣстно, что кухарка продѣлываетъ эту операцію по нѣскольку разъ въ день и еще множество другихъ за шесть, за семь цѣлковыхъ въ мѣсяцъ. Но кромѣ того, всѣмъ присутствующимъ, какъ людямъ образованнымъ и благомыслящимъ, очень хорошо извѣстна та политико-экономическая истина, что трудъ есть мѣрило цѣнностей и что обмѣнъ услугъ справедливъ только при условіи равенства. Выходитъ такого рода противорѣчіе между мыслью и жизнью, что людямъ поневолѣ становится другъ друга совѣстно. Пока имѣлъ цѣну вопросъ о діалектическомъ процессѣ саморазвивающейся идеи и тому подобныя вещи, они играли роль мушки и горчичника: оттягивали вниманіе даже благороднѣйшихъ людей отъ ежечасныхъ противорѣчій, въ которыхъ они стояли. Но теперь поневолѣ приходится снимать одна за другою всѣ «сто ризокъ» и имѣть дѣло съ тою обнаженностью, которая такъ не нравится Башкину и ему подобнымъ друзьямъ красоты.

Прибавьте еще, что, заявляя объ этомъ противорѣчіи, рискуешь показаться смѣшнымъ, какъ рискую въ эту минуту я. Но я

ужъ на то пошелъ. Я безбоязненно встрѣчаю улыбку на вашемъ лицѣ. Вы вспоминаете юмористическій разсказъ объ икрѣ, которую лучше бы не ѣсть, а продать и деньги отдать бѣднымъ. Нѣтъ, то — филантропія и довольно глупая филантропія, а я о собственной шкурѣ хлопочу: *мнѣ* тяжело. Поймите ради Христа крайнюю серьезность и даже трагичность этого положенія. Мнѣ подъ руку мелочь. Я могъ бы поговорить и о болѣе крупныхъ вещахъ... но не поговорю. Да вѣдь и мелочи, оставляя каждая на душѣ чуть-чуть замѣтный слѣдъ горечи, въ суммѣ могутъ просто отравить жизнь. Притомъ, каждая такая мелочь можетъ иногда и сама по себѣ вырости до чрезвычайно большихъ размѣровъ.

Позвольте разсказать вамъ случай именно съ кухаркой. Вы уже имѣете понятіе о Василисѣ: простая, милѣйшая баба, немного ворчунья, очень привязанная къ Сонѣ и ко мнѣ. Между прочимъ, она особенно часто ворчала на насъ за хозяйственную безпорядочность. Хозяйство наше было въ самомъ дѣлѣ невелико и необильно, но порядка въ немъ было мало. Соня пробовала было заводить приходо-расходную книгу, но убѣдилась, что отъ этого ни тепло, ни холодно. Иногда, мы въ своемъ родѣ роскошествовали, а иногда сидѣли что называется на экваторѣ, закладывали вещи, должали въ лавки и за квартиру. Василиса намъ строго за это выговаривала и называла въ чисторугательномъ смыслѣ «барчатами» и «шалопутами». Однажды мы и сами замѣтили, что сахаръ у насъ чрезвычайно быстро выходитъ (простите, что я все съ такими мелочами), но только поговорили объ этомъ, такъ сказать, констатировали фактъ. Представьте же себѣ наше изумленіе, когда мы разъ застали на мѣстѣ преступленія похищенія сахара никого иного, какъ нашего строгаго ментора—Василису! Она сидѣла задомъ къ намъ на корточкахъ передъ большой жестянкой и выгребала изъ нея сахаръ къ себѣ въ передникъ.

— Василиса, что ты дѣлаешь?

Василиса быстро обернулась съ испуганно-озлобленнымъ лицомъ (я только два раза въ жизни и видѣлъ такія лица). Потомъ вдругъ что-то необычайно наглое мелкнуло у нея на лицѣ. Она поднялась, съ грохотомъ опорожнила передникъ и просто крикнула:

— Что дѣлаю! сахаръ ворую!

Мнѣ еще недавно вспомнился этотъ крикъ, когда я прочелъ въ газетахъ отвѣтъ одного крестьянина-подсудимаго на вопросъ предсѣдателя, чѣмъ онъ занимается: «прежде хлѣбопашествомъ занимались, а теперь кражами занимаемся». Но это было должно быть сказано совершенно спокойнымъ тономъ, да и вообще совсѣмъ другой смыслъ имѣло. Мнѣ припомнилось только сходство выраженій. Съ искаженнымъ отъ злобы лицомъ, вся красная, съ рыданіями, Василиса прокричала намъ грозную филиппику. Я боюсь испортить передачей дикую энергію этой рѣчи и передамъ только ея содержаніе. Василиса винила насъ за то, что у насъ все открыто и отперто, что мы, «барчата», сдѣлали ее воровкой, чѣмъ она съ роду не бывала, что мы «бѣднаго человѣка погубили». Все это сопровождалось сильной жестикуляціей, рыданіями и завершилось объявленіемъ, что она, Василиса, не хочетъ жить въ такомъ «проклятомъ домѣ» и требуетъ разсчета. Мы были совершенно поражены и не нашли ни одного слова для отвѣта. Никакой собственно вины мы за собой не знали, а между тѣмъ въ каждомъ словѣ, въ каждомъ жестѣ разъяренной Василисы сквозило полнѣйшее сознаніе ея правоты. Ея бранная рѣчь была до такой степени убѣдительна, не логичностью своею разумѣется, а пыломъ, свидѣтельствовавшимъ о ея невинности, и нашей виновности, что въ глубинѣ души мы *должны* были сказать: виноваты. Я не знаю, чѣмъ мы были виноваты; знаю даже, что лично мы не были виноваты. Но знаю тоже вотъ что: если воръ, пойманный вами съ поличнымъ, не отпирается, не оправдывается, а вамъ самимъ бросаетъ въ лицо обвиненіе, и если вы чувствуете, что есть что-то въ его словахъ вѣрное, такъ надо бѣжать изъ и этой комбинаціи условій. А какъ бѣжать? Куда бѣжать?

Василиса прошла къ себѣ въ кухню, и долго мы слышали ея всхлипыванія и какой-то шорохъ: это она укладывала свои вещи. Мы молча разошлись по своимъ кроватямъ. Долго я ворочался, но, наконецъ, заснулъ. Меня разбудила Соня со свѣчкой въ рукѣ.

— Хочешь, Гриша, кофею?

— Какой кофе ночью? Ты съ ума сошла, Соня.

— Вставай, пойдемъ, мы съ Василисой пьемъ, помирились.

Я всталъ. Дѣйствительно, Василиса съ Соней сидѣли около самовара и кофейника и какъ ни въ чемъ не бывало разговаривали о томъ, что надо дровъ завтра же купить, потому что совсѣмъ мало осталось. Василиса, еще красная и со слѣдами слезъ, была совершенно спокойна, только какъ-то еще любовнѣе прежняго относилась къ Сонѣ. Что у нихъ тамъ было, какъ произошло примиреніе—я никогда не могъ узнать. На мои распросы Соня всегда отвѣчала: «очень просто—я къ ней пришла, и мы помирились.

Съ этихъ поръ объ женщины стали закадычными пріятельницами, не смотря на разницу лѣтъ. И когда, впослѣдствіи, Соня исчезла, исчезла съ нею и Василиса...

Но это я очень далеко впередъ забѣжалъ. Много воды утекло между исторіей неудавшагося пріемыша и уличеніемъ Василисы въ воровствѣ. Много радостей и горестей улеглось въ этотъ промежутокъ времени, и многое еще мнѣ надо вамъ разсказать, чтобы вамъ стали понятны наши чувства и послѣдній крупный случай въ нашей жизни исчезновеніе Сони...

Извините, что плохо разсказываю.

V.

Дяденька-нѣмецъ все старѣлъ и глупѣлъ. Дѣла его шли плохо, потому что, какъ на моихъ глазахъ, въ самый день открытія его Antiquitäten-Handlung, такъ и впослѣдствіи, онъ очень охотно покупалъ древности и очень неохотно продавалъ. Столько у него наконецъ всего этого хлама скопилось, что надо было другой магазинъ нанимать, побольше. А это опять денегъ стоило. Онъ уже перебралъ у Сони тысячи полторы, которыя она съ большимъ трудомъ вытянула у дяденьки-генерала. Но все это валилось, какъ въ бездонную бочку. Дяденька-нѣмецъ, хоть и смутно, но самъ понималъ, что его торговля—только одинъ разговоръ, но отстать отъ своей системы не могъ и только, какъ не совсѣмъ понятливая, но все-таки чувствующая свою провинность собачка, какъ-то усиленно лебезилъ передъ Соней. Право, мнѣ иногда казалось, что у него подъ фалдами спрятанъ маленькій, облѣзлый хвостъ, какой у старыхъ собакъ бываетъ, и онъ имъ помахиваетъ, умильно глядя на Соню. Жалкій совсѣмъ старикъ сталъ. Между прочимъ онъ рѣшилъ пріискать Сонѣ жениха, хорошаго жениха, достойнаго подать руку Темкиной, которая, еслибы захотѣлъ отецъ, могла быть княжной Темкиной-Ростовской. Онъ смотрѣлъ на это даже какъ на свою обязанность передъ «фамиліей», потому что генералъ Темкинъ отъ насъ отступился и онъ, Карлъ Карловичъ Фишеръ, остается нашимъ единственнымъ покровителемъ. Было это иногда очень забавно, а иногда ужъ глупо очень. Довольно того, что разъ онъ вступилъ въ переговоры съ грязной свахой, а въ другой разъ, не смотря на всѣ свои генеалогическія и геральдическія познанія, повѣрилъ какому-то—не знаю ужъ—приходимцу или шутнику, что онъ—князь Сварожичъ и происходитъ по прямой линіи отъ языческаго славянскаго бога.

По поводу этого удивительнаго князя Сварожича и нѣкоторыхъ другихъ штукъ дяденьки-нѣмца въ томъ же нелѣпомъ родѣ, у насъ часто происходили шутки, смѣхи. Но разъ Соня—надоѣло ей это, что ли?—серьезно попросила дяденьку не безпокоиться, потому что она замужъ никогда не выйдетъ «ни за князя Сварожича, ни за графа Сковородкина и вообще ни за кого». Она, именно такъ сказала. Фраза—самая обыкновенная и очень мало остроумная, потому что ни о какомъ графѣ Сковородкинѣ и рѣчи не было. Но я запомнилъ эти слова, потому что сказаны они были какимъ-то очень ужъ серьезнымъ тономъ. Въ тотъ же день оказалось, что не я одинъ обратилъ на нихъ вниманіе. Дяденька очень хитро улыбнулся и объявилъ, что «тутъ вотъ теперича всегда такъ дѣвушки говорятъ». Однако—не настаивалъ. Разговоръ этотъ происходилъ въ дяденькиномъ магазинѣ. Башкинъ тутъ былъ и Нибушъ. Вышли мы вчетверомъ. Помню: чудесный весенній вечеръ былъ. Даже на набережной Екатерининскаго канала, по которой нашъ путь лежалъ, такъ и то хорошо было. Ледъ прошелъ ужъ, тепло, какія-то пары, прислонившись къ забору набережной, таинственно шепчутся... Однимъ словомъ, весна.

— Послушайте, Софья Александровна,—сказалъ вдругъ Башкинъ,—а вѣдь, дяденька правду сказалъ, что дѣвушки вотъ тутъ всегда теперича вотъ такъ говорятъ (онъ передразнилъ старика, но очень плохо, насильственно какъ-то вышло).

— Такъ что-жъ?

— Ничего, я—такъ. Онѣ, дѣвушки-то эти, замужъ все-таки выходятъ...

— Вы думаете, что и я выйду?

Башкинъ замочалъ и скоро простился съ нами—ему надо было въ сторону сворачивать.

Черезъ нѣсколько шаговъ сталъ и Нибушъ допытываться, и тоже очень неловко, съ тою насильственною насмѣшливостью въ голосѣ, которою люди часто стараются прикрыть свое смущеніе.

— Софья Александровна, знаете, что я вамъ сказать хочу? тоже насчетъ вашего замужества... если позволите... Я, вѣдь, не господинъ-съ Башкинъ-съ (я, кажется, уже говорилъ, что Нибушъ Башкина терпѣть не могъ и, говоря съ нимъ или объ немъ, всегда прибавлялъ «съ», въ знакъ, должно быть, презрѣнія), я попросту и, коли прикажете, такъ-таки сразу и замолчу, ась?

— Говорите, говорите, Александръ Ивановичъ.

— Ну вотъ спасибо. Главное, очень вы вѣско сказали: никогда замужъ не выйду. Значитъ, не въ шутку, не пуръ се лепетанъ, ну, а не барышня тоже вы, жеманиться не

станете. Такъ вотъ... какъ же? въ монахини не пойдете, вѣдь? (Соня засмѣялась). Ну, да. Ну, а когда, выражаясь высокимъ слогомъ, придетъ пора любви, когда какой-нибудь «воитель черноокій», вообще, какой-нибудь тамъ Чортъ Иванычъ... все равно, я такъ, къ примѣру?

Соня расхохоталась, а мнѣ, признаться, тонъ Нибуша не нравился: что-то въ немъ было тревожное и напряженное.

— Придетъ пора—такъ, значитъ, пора будетъ,—отвѣчала смѣясь Соня.

Нибушъ вдругъ сталъ рыться въ карманахъ; вытащилъ папиросу, спичечницу и остановился. Когда я на него оглянулся, то увидалъ, что у него руки ходуномъ ходятъ, такъ что онъ насилу попалъ концомъ папиросы въ огонь.

— Ну, да, конечно, значитъ пора,—заговорилъ онъ неровнымъ голосомъ, догнавъ насъ и усиленно пыхтя папиросой.—Я тоже къ тому... Но, вѣдь, какъ намъ извѣстно, любовь плоды приноситъ. Я это отлично хорошо знаю, потому что самъ нѣкоторымъ образомъ—плодъ любви, не то, чтобы совсѣмъ заправской любви... Извините, что я такъ... нечистоплотно. Господинъ-съ Башкинъ-съ лучше бы сказалъ; ну, да все равно, вы не обидитесь... Ну-съ, такъ я знаю. Моя родная тетенька-съ—съ папенькиной стороны—на моихъ глазахъ мою мать по щекамъ била, а ужъ мнѣ-то что доставалось... Тетенька и по сейчасъ свои грасы показываетъ, даже здѣсь, въ Петербургѣ. На прошлой недѣлѣ самъ видѣлъ. Сижу на вышкѣ, въ оперѣ, а въ бель-этажѣ наискосокъ, смотрю—ма тантъ! Старушка ужъ, а небесность эту во взорѣ еще сохранила; ручки маленькія, въ перчатки затянуты... А мать моя, надо сказать, была баба здоровая, щеки скуластыя... Знаете что, Софья Александровна, благословите меня романъ писать—вотъ на какую тему. Представьте себѣ, въ какія-нибудь давно прошедшія времена, два семейства отъ одного, замѣтьте, корня. Ну, какой нибудь тамъ князь Сварожичъ женится на какой-нибудь княжнѣ Темкиной-Ростовской—это я къ примѣру—и въ то же время прельщается скуластыми щеками своей или тамъ хоть чужой крѣпостной бабы. Выходятъ два семейства. По необыкновенно странной случайности, законная линія князя Сварожича такъ и остается на всемъ своемъ протяженіи законной, да и не такъ, чтобы индѣ—дюкъ, индѣ — индюкъ, а все ровно, все въ предѣлахъ благородной крови. Незаконная же линія изъ незаконности не выходитъ, и въ нее примѣшивается, то мужицкая кровь, то дворянская, то купеческая, вообще—кавардакъ идетъ. Ну, тамъ разныя комбинаціи выходятъ. Наконецъ, вотъ какой случай. Я его сейчасъ только придумалъ у дяденьки-нѣмца. Все не зналъ, чѣмъ кончить, да вдругъ Богъ и послалъ конецъ; вашими устами, Софья Александровна, послалъ. Сейчасъ, вотъ только закурю... Да, можетъ, я вамъ надоѣлъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, особенно если вамъ Богъ черезъ меня конецъ романа послалъ.

Соня смѣялась, но я видѣлъ, что ей неловко.

— Ну-съ,—продолжалъ Нибушъ,—послѣдній представитель незаконной линіи князя Сварожича—человѣкъ не глупый, не свинья, но безпутный и маленько пьяница даже. Онъ можетъ, впрочемъ, исправиться, если встрѣтится... если встрѣтятся благопріятныя обстоятельства. Но все-таки совсѣмъ третьестепенный человѣкъ. И вдругъ осмѣливается влюбиться въ совершенно первостепенную дѣвушку. Для интереса романа можно ее изъ законной линіи князя Сварожича позаимствовать. Много чрезвычайной сволочи фигурируетъ въ этой линіи, а тутъ какъ-то прокинулась чистота. Точно, что ее въ семи водахъ мыли, а герой-то мой, кромѣ грязи, которая въ него же летѣла, ничего почти-что и не видалъ... Ну, какъ бы тамъ ни было, а онъ, наконецъ, предлагаетъ ей руку и сердце. Дерзость! онъ самъ понимаетъ, что дерзость; онъ много терпѣлъ, пока рѣшился... А она отвѣчаетъ: я ни за кого замужъ не выйду... вотъ какъ вы, совсѣмъ такимъ тономъ и такими словами. Герой, все равно, какъ и я, изъ тона этого заключаетъ, что это не барышня жеманится, что это честный, живой и умный человѣкъ, говоритъ, который отъ любви не отказывается... Такъ, вѣдь, Софья Александровна?..

— Такъ,—серьезно отвѣчала Соня.

— Понялъ, значитъ, я? Не вовсе дуракъ? И еще разъ спасибо. Ну-съ, тутъ вотъ и роману конецъ. Герой мой не такъ глупъ, какъ я. Онъ не лѣзетъ съ разспросами. Онъ только про себя разсуждаетъ: что же это, молъ, за диво: законнѣйшая представительница законнѣйшей линіи князя Сварожича не отступаетъ передъ возможностью оказаться матерью незаконныхъ дѣтей? Это она сама говоритъ, прямо въ лицо человѣку, который своими боками узналъ прелесть бытія плода любви, который избитъ, изломанъ жизнію, чортъ знаетъ изъ-за чего и за что, который потому и не смѣлъ подойти къ ней, что сознавалъ свое безпутство и безобразіе, а безобразіе это... Ты чего уставился?!—вдругъ яростно вскинулся Нибушъ на городового, который, стоя на углу, подозрительно смотрѣлъ на насъ и особенно на громко говорившаго, почти кричавшаго Нибуша.

Зная нравъ Нибуша, я схватилъ его за

руки. Я боялся какой-нибудь скверной исторіи. Соня тоже стала уговаривать. Никакой однако исторіи не вышло. Городовой оказался слишкомъ проникнутымъ собственнымъ достоинствомъ, чтобы обидѣться окрикомъ, какъ онъ, очевидно, думалъ, пьянаго гуляки.

— Не извольте шумѣть, господа,—сдержанно и наставительно сказалъ онъ:—сами говорите: безобразіе, безобразіе, а между прочимъ продолжаете...

Нибушъ вдругъ нервно расхохотался—да оно и въ самомъ дѣлѣ смѣшно было—и, утрированно-вѣжливо снявъ шапку, проговорилъ: извинте-съ, господинъ городовой! «Господинъ городовой» величественно отвернулся.

— А между прочимъ продолжаете,—повторилъ Нибушъ и замолчалъ. Такъ мы дошли до нашего дома. Пока дворникъ возился съ ключами и отворялъ калитку, Нибушъ спросилъ:

— Такъ какъ же, Софья Александровна? на этомъ, на размышленіи то-есть героя, на вопросительномъ знакѣ и совѣтуете закончить романъ?

— Александръ Ивановичъ, милый, зачѣмъ вы спрашиваете? Вы—милый, хорошій, только не будемъ такъ говорить...

Нибушъ стиснулъ зубы, мотнулъ намъ обоимъ головой и почти побѣжалъ отъ воротъ.

Дома и я принялся за исповѣдь, но, въ качествѣ брата и ближайшаго пріятеля, приступилъ къ дѣлу прямо и получилъ такой же прямой отвѣтъ. Вы можетъ быть не разъ слыхали тѣ разсужденія, которыя я услыхалъ отъ Сони; одно время они были въ большомъ ходу. Выйти замужъ значитъ связать себя и другого въ такомъ дѣлѣ, въ которомъ человѣкъ надъ собой не воленъ; изъ такой связанности выходятъ только взаимные обманы, взаимное униженіе и всякія гадости. Вотъ сущность того, что Соня мнѣ росписала, какъ по книжкѣ. Очень въ то время обыкновенныя, ходячія слова. Самъ я ихъ при случаѣ не разъ говорилъ, но тутъ, когда дѣло было мнѣ такъ близко, когда рѣчь шла о судьбѣ моей Сони, я—откровенно каюсь—струсилъ. Эту трусость всякій долженъ назвать позорною, какъ бы онъ ни смотрѣлъ на Сонины разсужденія: принципы, принципы, а какъ дошло дѣло до самого себя или близкихъ и кровныхъ,—такъ и на попятный. Обыкновеннѣйшая, впрочемъ, исторія. Сонины убѣжденія—дѣло, конечно, спорное. Оставляя ихъ совсѣмъ въ сторонѣ, я разсуждаю вообще и вижу, что есть много такихъ вещей, въ истинности и справедливости которыхъ люди иногда вполнѣ убѣждены, но не имѣютъ рѣшительно никакого интереса въ ихъ осуществленіи. И это еще, сравнительно говоря, очень хорошее положеніе, потому что бываетъ и такъ, что человѣкъ схватилъ, такъ называемое, свое «убѣжденіе» просто съ вѣтра и носится съ нимъ или только по низкопробному добродушію, или для того даже, чтобы быть на виду. Тутъ ужъ совсѣмъ дѣло швахъ выходитъ. У меня есть въ запасѣ занимательнѣйшіе экземпляры этой породы, но теперь не хочется съ ними возиться, очень ужъ они мелки: первая крошечная житейская проба валитъ ихъ съ ногъ. Любопытнѣе тѣ, которые умомъ дѣйствительно понимаютъ и иногда превосходно понимаютъ, что a+b=c, но оставшись наединѣ съ своей совѣстью, должны сказать, что то, что они признаютъ хорошимъ, справедливымъ, для нихъ лично вовсе ненужно и даже нежелательно. Между этими людьми я многихъ чрезвычайно уважаю, въ виду той глубокой внутренней борьбы, которая въ нихъ должна совершаться и дѣйствительно совершается. Однако и тутъ надо различать. Впрочемъ, это—тема слишкомъ обширная, и, отдавшись ей, я далеко отойду отъ исторіи Сони, а ее надо разсказать. Въ самой этой исторіи найдется можетъ быть болѣе подходящее мѣсто для маленькаго изслѣдованія значенія присутствія и отсутствія личнаго интереса въ томъ или другомъ дѣлѣ.

Не помню ужъ какими резонами я убѣждалъ Соню, должно быть неважными, потому что они отскакивали отъ нея, какъ отъ стѣны горохъ. И странное дѣло: она не говорила ничего оригинальнаго, она повторяла то, что тогда у многихъ было на устахъ и что даже въ книжкахъ писалось, но въ тонѣ ея было опять-таки что-то такое, недопускавшее сомнѣній, вѣское. Она въ буквальномъ смыслѣ то же слово, но не такъ молвила. Не умѣю передать, отчего такъ казалось. Только одинъ пунктъ ея возраженій былъ, дѣйствительно, оригиналенъ, и я его запомнилъ. Я былъ раздраженъ ея упорствомъ. Я говорилъ, что Нибушъ правъ, что ей, почти дѣвочкѣ, не знающей жизни, смѣшно спорить съ нимъ, который на своей шкурѣ испыталъ «прелесть бытія плода любви»; что многое, превосходное въ теоріи, никуда не годится на практикѣ; что разныя утопіи очень хороши, но улита ѣдетъ, когда-то будетъ, и т. п. Великодушная Соня ни разу не попрекнула меня отступничествомъ отъ того, что я самъ не разъ проповѣдовалъ. Она, «дѣвочка, не знающая жизни», снисходительно улыбалась и тщательно и серьезно полемизировала. Она утверждала, что исторія Нибуша къ дѣлу не идетъ, потому что онъ—

сынъ звѣря-помѣщика и его крѣпостной бабы, а ея положеніе совсѣмъ иное. Она очень хорошо знала, что улита ѣдетъ, когда-то будетъ, но находила, что ей лично незачѣмъ дожидаться пріѣзда улиты.

— Вотъ ты все сердишься,—заключила она:—а разсуди хладнокровно, такъ и увидишь, что я права. Вѣдь, *мои* дѣти-то будутъ; вѣдь, никто ихъ у меня отнять не можетъ. Въ воспитательный не отдамъ, на улицу не брошу, бить не стану, да и — какъ бишь, Нибушъ-то сказалъ? — Чорту Иванычу тоже не отдамъ... Объ чемъ мы только съ тобой говоримъ, Гриша! просто смѣшно. Чего и въ поминѣ нѣтъ... Тутъ вотъ правда, что улита ѣдетъ, когда-то будетъ...

— Несчастная!—перебилъ я.—Ты Чорту Иванычу дѣтей не отдашь! Да вѣдь ты—дѣвчонка, кто знаетъ, что изъ тебя самой-то выйдетъ? Можетъ быть Чортъ-то Иванычъ въ тысячу разъ лучше будетъ...

— А это—на совѣсть. Понимаешь, на совѣсть. Если онъ хорошій будетъ, такъ чего-жъ лучше? А если лучше меня, такъ ему и дѣти...

Такъ-то болтали мы, стараясь поймать за хвостъ будущее. Я по-дѣтски раздражался, она по-дѣтски упорствовала, и не подозрѣвали мы, какъ въ сущности серьезно близокъ былъ предметъ нашего ребяческаго спора...

Башкинъ—да будетъ онъ трижды проклятъ—давно уже уговаривалъ меня сойтись опять съ домомъ генерала Темкина. Онъ въ особенности настаивалъ на томъ, что я обязанъ сдѣлать это, въ качествѣ старшаго брата, для Сони. Онъ вполнѣ, по крайней мѣрѣ на словахъ, соглашался со мной, что общество Бухарцова, Нибуша и другихъ несравненно лучше салона генеральши Темкиной, но, какъ настоящій змѣй-искуситель, онъ настаивалъ на необходимости для Сони вкусить древа познанія добра и зла. «Не вѣкъ ей съ вами жить, говорилъ онъ:—пусть же она лучше исподволь, при васъ познакомится съ людьми». То же самое онъ говаривалъ Сонѣ, и, къ большому моему неудовольствію, она очень терпѣливо относилась къ его разглагольствіямъ. По всей вѣроятности Башкинъ и подъ Анну Сергѣевну соотвѣтственныя мины подводилъ, потому что въ одинъ прескверный день мы имѣли неудовольствіе принимать у себя генерала и генеральшу Темкиныхъ. Анна Сергѣевна была сама любезность. Она такъ и разсыпалась и передъ Соней, и передо мной, и передъ случившимся тутъ Бухарцовымъ, и даже передъ Василисой. Соня «расцвѣла, какъ роза». Я «возмужалъ» и пріобрѣлъ «очень интеллигентное выраженіе лица». Съ Бухарцовымъ генеральшѣ «чрезвычайно, чрезвычайно пріятно познакомиться, и повѣрьте, что это—не фраза,—прибавила Анна Сергѣевна самымъ задушевнымъ тономъ:—я объ васъ такъ много слышала». «Добрѣйшей» Василисѣ она любезно напомнила ихъ первое свиданіе у меня на новосельѣ. Припомнила по этому случаю даже Нибуша, который тогда такъ неделикатно обошелся съ генераломъ и о которомъ она слышала отъ Башкина. Словомъ, всѣмъ сестрамъ роздала по серьгамъ и въ концѣ концовъ просила меня и Соню забыть пробѣжавшую между нами и ею черную кошку. Генералъ Темкинъ привезъ Сонѣ коробку конфектъ, которыя, впрочемъ, самъ тутъ же почти всѣ съѣлъ. Онъ больше молчалъ во время трескотни своей супруги и только изрѣдка поддакивалъ.

Вы не повѣрите, до чего непріятно было мнѣ это внезапное и истинно наглое посѣщеніе. Уже само по себѣ оно было достаточно противно; такъ на меня и пахнуло ароматомъ салона и будуара Анны Сергѣевны, такъ и встали передо мной, какъ живые, посѣтители салона съ ихъ либеральной болтовней. Но этого мало; посѣщеніе требовало отвѣта, Анна Сергѣевна взяла съ насъ слово. Соня, Бухарцовъ и Василиса много смѣялись надъ моей воркотней по отъѣздѣ генерала и генеральши Темкиныхъ. Соня усадила Бухарцова за коробку конфектъ, въ подражаніе генералу, а сама стала передразнивать генеральшу, удивительно похоже ворочая головой, хватаясь за руки и трещa напропалую. Мнѣ было смѣшно и досадно.

— Нѣтъ, какъ хочешь, Гриша, а поѣдемъ къ нимъ, непремѣнно поѣдемъ. Что ты въ самомъ дѣлѣ, за тиранъ такой! не даешь людей посмотрѣть и себя показать...

Такъ говорила Соня... Я выбранился и ушелъ провѣтриться. Вырвавшіяся у Сони шутливыя слова: «что ты за тиранъ такой» засѣли въ головѣ...

Опять я въ салонѣ генеральши Темкиной. Тотъ же каминъ съ зеркаломъ въ золоченой рамѣ, тѣ же трельяжи съ плющемъ и виньоландомъ, тѣ же канделябры, тотъ же матовый фонарь въ будуарѣ и мягкая, низкая мебель, тотъ же острый запахъ духовъ; та же маленькая лампочка на маленькомъ столикѣ въ маленькомъ кабинетикѣ генерала. Даже персоналъ почти весь тотъ же... Но, Боже, какъ всѣ эти люди стали солидны, какъ далеко отлетѣлъ отъ нихъ витавшій здѣсь нѣкогда легкомысленный духъ, такъ сказать, акробатическаго либерализма! Они не перестали быть либеральны, о, нѣтъ!

они только утратили игривость, поскучнѣли, поважнѣли. Вотъ бывшій правовѣдъ, сынъ генерала отъ первой жены. Прежде это былъ веселый мальчикъ, которому было все равно—спѣть-ли какую-нибудь двусмысленную пѣсенку, или выкинуть какое-нибудь либеральное колѣнце, съ самымъ даже краснымъ оттѣнкомъ, лишь бы почуднѣе, поярче вышло. А теперь онъ готовится въ дѣятели по судебной реформѣ и, еле поворачивая голову среди высокихъ, туго накрахмаленныхъ воротничковъ, солидно излагаетъ своей сосѣдкѣ значеніе вексельнаго права. Сосѣдка такъ и впилась въ него глазами, боясь проронить хоть одно слово и, очевидно, безповоротно увѣренная въ великомъ значеніи вексельнаго права. Вотъ другой сынъ генерала, гвардеецъ, когда-то лихой мазуристъ, разглагольствуетъ по «Московскимъ Вѣдомостямъ», но съ прѣсно-либеральной приправой, сглаживающей ѣдкій вкусъ и острый запахъ чистокровной катковщины. Вотъ писатель, котораго Анна Сергѣевна прозвала нѣкогда Камилломъ Демуленомъ; онъ уже стоитъ одной ногой на стражѣ культуры, хотя это выраженіе лежитъ еще пока подъ спудомъ, и жметъ все, чему поклонялся, съ яростью ренегата и съ солидностью человѣка, познавшаго истинные принципы просвѣщеннаго и умѣреннаго либерализма. Онъ разсказываетъ что-то сальное и грязное про нигилистовъ и при этомъ самымъ наглымъ, вызывающимъ образомъ косится на меня и на Соню. Скучно и отвратительно... Я ушелъ по старой памяти въ кабинетъ генерала. Тамъ было все уже безусловно по-старому. Генералъ нимало не перемѣнился, только зубовъ у него стало еще меньше, такъ что сласти онъ могъ только сосать. Картинки онъ любилъ по прежнему, а принципы вексельнаго права и культуры были ему такъ же ненавистны, какъ и тѣ бойкія, забубенныя рѣчи, которыя когда-то доносились изъ салона въ кабинетъ.

Насилу я дождался ужина. Соню усадили далеко отъ меня, между Башкинымъ и будущимъ прокуроромъ. Въ томъ концѣ было, кажется, весело. Воротнички будущуго прокурора значительно подались въ стороны, и голова получила неожиданную способность къ движенію. Навѣрное не о вексельномъ правѣ говорилъ онъ съ Соней. Она разгорѣлась, какъ маковъ цвѣтъ, и была очень мила, только немножко слишкомъ громко хохотала, чѣмъ обращала на себя всеобщее вниманіе. Мужчины впрочемъ всѣ, очевидно, ею любовались, а глаза писателя, нынѣ благополучно стоящаго на стражѣ культуры и разсказывающаго сальности про нигилистовъ, сдѣлались до неприличія масляными. Отношеніе Башкина къ Сонѣ мнѣ тоже не нравилось. Положимъ, что онъ тутъ былъ ея единственный знакомый, но меня всетаки мутило. Моя сосѣдка зачѣмъ то меня пытала—истинно пытала!—Базаровымъ, но, по счастью, была столь болтлива, что, даже при полнѣйшемъ съ моей стороны желаніи, не было бы возможности вставить хоть одно слово въ бурный потокъ ея рѣчей, хотя она, то и дѣло, обращалась ко мнѣ съ вопросами. Я былъ совсѣмъ измученъ...

Еще и еще разъ Соня съѣздила къ Аннѣ Сергѣевнѣ. Я сидѣлъ дома и злился, и только отводилъ иногда душу съ Нибушемъ.

— Чудакъ ты, Григорій Александровичъ,—утѣшалъ онъ меня,—развѣ къ этакой чистотѣ что пристанетъ? пусть ее выбѣгается.

Пусть... Я на этомъ утвердился, да и что же мнѣ было дѣлать? Пусть, пусть... И когда Соня объявила мнѣ, что ее Анна Сергѣевна зоветъ на лѣто къ себѣ въ деревню, я подумалъ: пусть. Одно мнѣ было больно: Соня очень хорошо знала, что я туда не поѣду, и всетаки поговорила чисто для формы на ту тему, что хорошо бы, дескать, намъ вмѣстѣ ѣхать. Къ такому притворству, къ такому извороту Соня прежде не прибѣгла бы.

Уѣхала Соня. Еще раньше разбрелись всѣ наши, въ томъ числѣ Нибушъ и Бухарцовъ—кто на кондиціи, кто куда. Остался я сиротой съ Василисой.

— Пришелъ Пахомъ, понесло тепломъ, доложила мнѣ Василиса, подавая утромъ самоваръ, на другой день послѣ отъѣзда Сони.

— Какой Пахомъ? чего ему нужно?

— Ничего не нужно, а только что Пахомьевъ день—сегодня Пахома бокогрѣя...

— Ну, такъ что же?

— Къ лѣту дѣло, наша барышня въ самый разъ въ деревню поѣхала.

Я, наконецъ, понялъ. Этотъ разговоръ Василиса повторяла часто. Я своевременно узналъ, когда «земля именинница», когда «Акулины—задери хвосты» и проч., и что можетъ и должна дѣлать по случаю этихъ торжествъ «наша барышня» въ деревнѣ. Я такъ привыкъ къ этому, что и самъ иногда спрашивалъ: ну, а сегодня что?—Сегодня—Аграфены-купальницы, наша барышня, поди, купаться начала.—Иной разъ отвѣтъ бывалъ гораздо короче: а ничего сегодня нѣту; гуляетъ, чай, наша барышня.

Письма отъ Сони приходили сначала часто. Она въ первый разъ жила въ деревнѣ и дѣтски-наивно сообщала всѣ свои впечатлѣнія. Она, видимо, была довольна. Но потомъ письма стали приходить рѣже и, наконецъ, совсѣмъ остановились. Въ каленомъ Петербургѣ было тоскливо. Дяденька-нѣмецъ своею радостью по случаю нашего сближенія съ домомъ генерала Темкина былъ мнѣ до такой степени противенъ, что я даже видѣть его не могъ...

Вы скажете, что я изъ-за пустяковъ, изъ-за вздора бѣсился, потому что не съѣдятъ же Соню въ деревнѣ у Анны Сергѣевны. Я очень хорошо знаю, что не демоны впились въ чистую душу Сони, не вампиры какіе сосутъ изъ нея кровь. Но если сравненіе съ этими чудищами сюда не подходитъ, такъ только потому, что они—чудища, значитъ, нѣчто грандіозное, а Анна Сергѣевна, со всей ея мужской и женской свитой,—просто кучка низкопробныхъ пятиалтынныхъ. Но видѣть человѣка, тонущаго въ болотѣ, должно быть, гораздо тяжелѣе, чѣмъ въ бурномъ и свирѣпомъ океанѣ. Я—не мистикъ, но въ предчувствіе вѣрю. Вѣрю, что сильно заинтересованный, сильно любящій, сильно ненавидящій человѣкъ можетъ предугадать грядущія событія не только путемъ сознательнаго расчета вѣроятностей, а и безсознательно. Психологи и психіатры объясняютъ это, впрочемъ, какъ то очень просто и естественно. За четыре дня до смерти Бухарцова я полузналъ или чувствовалъ (не знаю, какъ вѣрнѣе сказать), что его скоро не будетъ. Это—фактъ. Совершенно также предчувствовалъ я, что поѣздка Сони въ Курганиху (деревню генерала) добромъ для нея не кончится, хотя и не сумѣлъ бы даже приблизительно сказать, какого именно рода опасности ее тамъ ждутъ. Мало того: еслибы я вздумалъ привести свои тогдашнія на этотъ счетъ мысли въ совершенную ясность, то—какъ теперь ясно вижу—навралъ бы, то-есть, не угадалъ бы. Я на самомъ себѣ испыталъ вліяніе болота-салона. Онъ отогналъ отъ меня образы Якова и брата-мужика и сдѣлалъ изъ меня—спасибо, хоть только на время—нераскаяннаго болтуна, самодовольнаго и самопоклоняющагося. Ничего, что духъ салона измѣнился, ничего, что тамъ теперь царитъ скука и сушь, эти люди все также довольны собой и другъ другомъ, все также видятъ въ себѣ нѣкіе священные сосуды и чуть не спасителей отечества. Если я въ предыдущихъ словахъ сумѣлъ вамъ объяснить, какъ мнѣ дорого мое покаяніе, то вы должны понять, что весь этотъ міръ Нарциссовъ мужскаго и женскаго пола для меня смѣшонъ въ обыкновенное время и ненавистенъ, когда онъ грозитъ поглотить мою Соню, укоротить ея душу до размѣровъ пятиалтыннаго. Я этого и боялся, конечно безсознательно; да еще, но уже на второмъ планѣ, вспоминались мнѣ масляные глаза писателя, стоящаго на стражѣ культуры, нагло уставленные на разгорѣвшееся Сонино личико; эпизодическія любезности прокурора, закованнаго въ броню крахмальныхъ воротничковъ и «вѣчной идеи правды и справедливости»; отношеніе къ Сонѣ Башкина...

Наступило, какъ теперь помню, 15-е августа.

— Бабье лѣто сегодня начинается,—доложила Василиса, наша барышня...

Звонокъ—и влетѣла Соня, именно влетѣла, и бросилась на шею ко мнѣ, къ Василисѣ, и слезы градомъ текли по ея исхудалому лицу. Она прижимала свою мокрую щеку къ моей и плакала, и смѣялась. Это было что-то почти истерическое, трудно объяснимое одной радостью свиданія. Но тогда я ничего не замѣтилъ. Я былъ только пораженъ неожиданностью и, выхвативъ у извощика Сонинъ чемоданъ, какъ дуракъ, носился съ нимъ по квартирѣ, совсѣмъ забывъ, что надо же его куда-нибудь поставить.

Когда Соня поуспокоилась, мы засѣли за самоваръ, и я сталъ разспрашивать, какъ она провела время.

— Не будемъ, Гриша, объ этомъ говорить: свиньи они всѣ тамъ...

— Ага! я говорилъ...

— Гриша! голубчикъ, не надо, ради Бога, не надо...

Такъ изъ сердца вырвались эти слова, почти крикомъ, что я опѣшилъ и во всякомъ случаѣ не имѣлъ духа растравлять какую-то неизвѣстную мнѣ душевную рану разспросами о Курганихѣ и ея обитателяхъ. Стали говорить обо мнѣ, о дяденькѣ-нѣмцѣ, о Василисѣ, объ Акулинѣ-задери хвосты и Пахомѣ-бокогрѣѣ. Соня развеселилась и сама разсказала кое-что изъ своего деревенскаго житья-бытья. Самое, впрочемъ, обыденное, тоже больше насчетъ Акулины-задери хвосты. Только одно сообщеніе было болѣе значительное; насмотрѣвшись въ деревнѣ, что терпятъ бабы и ребята, Соня рѣшила поступить въ акушерки. Рѣшеніе это она высказала мимоходомъ, но такъ же вѣско и серьезно, какъ нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ объявила, что никогда не выйдетъ замужъ.

На позднѣйшіе разспросы мои и другихъ о времяпровожденіи въ Курганихѣ, Соня отвѣчала уже гораздо спокойнѣе, но очень коротно и съ видимымъ неудовольствіемъ: «тамъ скверно», «тамъ все—свиньи» и т. п. Жизнь наша потекла попрежнему. Было, однако, въ ней нѣсколько особенностей, сумма которыхъ могла бы гораздо раньше навести меня на истину, которую я впослѣдствіи узналъ отъ самой Сони. Во-первыхъ, о продолженіи знакомства съ генераломъ и генеральшей Темкиными не было и помина: ни они къ намъ, ни мы къ нимъ. Башкинъ также не показывался. Во-вторыхъ, Соня стала получать какія-то письма въ красивыхъ конвертахъ, которыя, не читая бросала въ печку. «Отъ одной подруги инсти-

тутской—ужасно надоѣла»,—объяснила она. Въ-третьихъ, Василиса довела свое ухаживаніе за Соней рѣшительно до предѣловъ смѣшного: готовила ей особое кушанье, водила ее съ лѣстницы подъ руки и т. п. Правда, это объяснялось нездоровьемъ Сони: у нея, въ самомъ дѣлѣ, показались признаки какой-то странной, непонятной для меня болѣзни, хотя она упорно не соглашалась пригласить доктора... Такъ прошло два, три, пять мѣсяцевъ. Разъ ночью не спалось мнѣ. Перепробовалъ всѣ средства: читалъ снотворныя книги, смотрѣлъ въ упоръ въ одну точку на стѣнѣ, перебиралъ въ памяти безразличныя происшествія—ничто не помогало. Въ Сониной комнатѣ шелъ негромкій говоръ. Я хотѣлъ уже крикнуть, чтобы не мѣшали спать, но заинтересовался и сталъ прислушиваться.

— ... а свивальниковъ больше полдюжины не надо,—шопотомъ, наставительно оканчивала какую-то фразу Василиса.

— Да говорятъ пеленать нехорошо; я въ книгѣ читала, есть такіе мѣшки,—возражала Соня.

— Э, матушка, брось ты книжки эти! Слыхала и я тоже, да всего не переслушаешь. Не глупѣй насъ свивальники-то выдумали...

— Послушай, Василиса, какъ онъ шевелится... слышишь? вотъ тутъ...

— Это онъ пяточкой толкается, дитятко мое милое...

Еще нѣсколько словъ, и я понялъ: Соня ждала ребенка...

Башкинъ!—ясно и быстро мелькнуло у меня въ головѣ; и вдругъ все стало, какъ на ладони. Кровь бросилась въ голову, въ виски застучало.

— Соня!—крикнулъ я.

Молчаніе и шорохъ.

— Соня, можно къ тебѣ?

— Что тебѣ, Гриша?—послышалось послѣ новаго молчанія,—я сплю.

— Какъ спишь, когда съ Василисой разговариваешь? Ушей что-ли у меня нѣтъ? Я *все* слышу.

Дрожа отъ волненія, я наскоро кое-какъ одѣлся и пошелъ къ Сонѣ. Василисы тамъ ужъ не было. Маленькая лампа едва освѣщала комнату. Соня лежала.

— Я *все* слышу,—повторилъ я, подходя къ кровати. Соня притянула меня одной рукой, а другой обхватила за шею. Самъ не знаю почему, но вся моя мгновенная внутренняя сумятица разрѣшилась однимъ упрекомъ: Василиса знаетъ, а я ничего не знаю...

Ледъ былъ сломанъ. Я узналъ Сонину тайну. Она любила Башкина, сошлась съ нимъ въ Курганихѣ, но затѣмъ, также случайно, какъ я сейчасъ, подслушала его разговоръ съ сыномъ генерала, закованнымъ въ броню крахмальныхъ воротничковъ и вѣчной идеи правды и справедливости.

— Господи! есть же такіе скоты на свѣтѣ!—простонала на этомъ мѣстѣ разсказа Соня и залилась въ три ручья. Я не распрашивалъ, да она, конечно, и не могла бы пересказать. Должно быть, этотъ мерзавецъ и поклонникъ чистой красоты, въ интимномъ разговорѣ съ своимъ паскуднымъ пріятелемъ, цѣнилъ ее, какъ помпейскую древность, какъ старинную фарфоровую группу, съ тою разницей, что здѣсь приходилось говорить о живомъ человѣкѣ, о живомъ тѣлѣ... При одной мысли о томъ, что могъ болтать этотъ гнусный языкъ, и что должна была пережить Соня, выслушивая эту гнусность изъ устъ любимаго человѣка, я приходилъ въ ярость. Но Соня самымъ рѣшительнымъ образомъ потребовала, чтобы, во-первыхъ, я не искалъ встрѣчи съ мерзавцемъ, и, во-вторыхъ, въ случаѣ нечаянной встрѣчи, даже не заикался о происшедшемъ въ Курганихѣ.

Съ этихъ поръ вопросы о свивальникахъ пеленкахъ и прочемъ дебатировались уже въ моемъ присутствіи, и, признаться, дебаты эти мнѣ скоро даже надоѣли своей необычайною подробностью и неутомимостью дебатирующихъ. Соня и Василиса въ четыре руки шили всякую всячину для будущаго человѣка. Появилась акушерка...

Надо было разсказать Бухарцову и Нибушу. Все равно, они скоро узнали бы, а отношенія наши были больше, чѣмъ пріятельскія, въ заурядномъ смыслѣ слова, и потому было бы просто нехорошо держать ихъ въ невѣдѣніи относительно такого важнаго событія. Я поѣхалъ къ Бухарцову и, къ счастью, засталъ у него и Нибуша. Бухарцовъ жилъ на Выборгской Сторонѣ, въ мезонинѣ маленькаго деревяннаго домика, низъ котораго былъ занятъ кабакомъ. Представьте себѣ довольно большую, но сырую, холодную и достаточно грязную комнату. Вдоль двухъ стѣнъ прибиты некрашенныя сосновыя доски, уставленныя книгами. Кромѣ того, книги на полу, книги на окнахъ, книги на кровати и подъ кроватью, на столѣ и подъ столомъ. У третьей стѣны примостилась желѣзная кровать о трехъ ногахъ, надъ которой былъ навѣшанъ на гвоздяхъ весь немногосложный, впрочемъ, гардеробъ и туалетъ Бухарцова. Возлѣ кровати — небольшой столъ и на немъ микроскопъ, еще какіе-то инструменты, заспиртованные препараты и проч. У двухъ оконъ стояло по столу: одинъ обыкновенный и даже недурной письменный, а другой большой кухонный. Письменный столъ былъ, однако, занятъ далеко не письменными только принадлеж-

ностями: тутъ и книги горой лежали, и сапожная щетка, и маленькое зеркало, и гребенка, и маленькая жестяная кострюлька со спиртовой лампой, и кусокъ ветчины на тарелкѣ. На кухонномъ столѣ стоялъ большой тазъ съ водой, въ который Бухарцовъ и Нибушъ съ засученными рукавами внимательно смотрѣли. Бухарцовъ что-то съ большимъ увлеченіемъ объяснялъ. Отчасти собственными глазами, отчасти изъ объясненія, я узналъ, что въ водѣ плаваютъ рыбы, у которыхъ вырѣзаны глаза, и что дѣло идетъ о новомъ опытѣ. Сколько помню, рыба, лишенная ощущенія свѣта, должна была измѣниться и въ цвѣтѣ, и въ окраскѣ, именно—почернѣть. Пока рѣчь шла о физическомъ опытѣ, я рѣшительно не могъ вставить ни одного слова, но когда Бухарцовъ заѣхалъ въ натуръ-философію и заговорилъ объ отношеніяхъ субъективнаго къ объективному, вообще, я увидѣлъ, что конца не предвидится, и что нужны сильныя средства.

— Чортъ бы побралъ вашихъ безглазыхъ рыбъ!—вышелъ, наконецъ, я изъ терпѣнія,—Соня беременна...

Какъ по мановенію магическаго жезла, чортъ въ ту же секунду, дѣйствительно, побралъ безглазыхъ рыбъ. Онѣ были забыты. Меня засыпали вопросами. Во время моего разсказа Нибушъ только блѣднѣлъ, а Бухарцовъ все таки недовольный, что его оторвали отъ безглазыхъ рыбъ, вставлялъ время отъ времени нетерпѣливыя замѣчанія: «ну, такъ что-жъ?» «кому какое дѣло?» «ну, и слюбились, ну, и дай имъ Богъ—отличное потомство будетъ». Но когда я дошелъ до разговора Башкина съ будущимъ прокуроромъ, Нибушъ зарычалъ, именно зарычалъ, то-есть издалъ животный, протяжный, грозный и вмѣстѣ съ тѣмъ жалобный звукъ, а Бухарцовъ стремительно объявилъ, что онъ сейчасъ же ѣдетъ къ Башкину. Большого стоило мнѣ труда уговорить его. Онъ не признавалъ въ этомъ дѣлѣ даже авторитета самого заинтересованнаго человѣка, Сони, рѣшительное нежеланіе которой поднимать какую бы то ни было исторію я ему передалъ. Онъ горячился, что ему нѣтъ дѣла до Сони, что никто не имѣетъ права стѣснять его, что онъ, «какъ членъ общества», можетъ всегда «наплевать въ глаза подлецу» и проч. Наконецъ, я его уломалъ, а пока уламывалъ, Нибушъ исчезъ. Оставилъ и я Бухарцова наединѣ съ его безглазными рыбами. Не знаю только, занимался-ли онъ ими въ этотъ день.

* * *

Нибушъ пропалъ. День прошелъ, два, недѣля, другая—его нѣтъ. Я справлялся у Бухарцова—не видалъ; справлялся на квартирѣ—хозяйка ужъ объявку въ полицію подала. Мы терялись въ догадкахъ, и самыя черныя мысли лѣзли въ голову. Почему бы ему не броситься въ прорубь? Раздраженъ и несчастенъ онъ былъ страшно... Наши сомнѣнія были уничтожены появленіемъ полицейскаго служителя съ письмомъ на сѣрой писчей бумагѣ, запечатаннымъ бурымъ сургучемъ и адресованнымъ «Софьѣ Александровнѣ Темкиной, въ собственныя руки». Вотъ это письмо:

«Софья Александровна, пишу вамъ изъ кутузки, куда попалъ за уличное буйство въ пьяномъ видѣ. Никогда не скрывалъ я отъ васъ своего безобразнаго поведенія, а въ эту минуту чувствую потребность именно съ этого начать. Еще разъ узнайте, каковъ я есть человѣкъ, и затѣмъ выслушайте. Я знаю, что я васъ недостоинъ, и вы должны вѣрить, что я это дѣйствительно знаю, какъ дважды-два — четыре. (Тутъ четыре строки зачеркнуто)... прямо къ дѣлу, только дочитайте до конца. Съ вами случилось несчастье; возьмите меня въ отцы вашего ребенка (дочитайте, пожалуйста, до конца). Не романическое великодушіе движетъ мной; мнѣ даже смѣшно и стыдно писать это слово: «великодушіе». Великодушіе человѣка, сидящаго въ части за уличное буйство! великодушіе незаконнаго сына отставного корнета и землевладѣльца Шубина и бабы Арины Безпалой! Еще разъ повторяю, что я себѣ цѣну знаю и ни малѣйшихъ иллюзій на этотъ счетъ не имѣю. Откровенно говорю, что только въ письмѣ рѣшаюсь сдѣлать вамъ это предложеніе безъ всякихъ экивокъ — на словахъ никогда бы не рѣшился. Но клянусь вамъ всѣмъ, во что я вѣрю, клянусь вами, что, сдѣлавшись вашимъ мужемъ и отцомъ вашего ребенка, я стану совсѣмъ другимъ человѣкомъ. *Вамъ* предстоитъ дать мнѣ счастье, *вамъ* предстоитъ быть великодушной. Я не хотѣлъ бы, однако, одного великодушія, хотя даже въ этомъ случаѣ надѣюсь, что сумѣю себя повести такъ, чтобы вы не раскаялись. Я все возьму, всякое ваше подаяніе, какъ нищій беретъ грошъ и молится за подавшаго. Но, можетъ быть, послѣднія событія напомнили вамъ, что существуетъ на свѣтѣ человѣкъ, безгранично вамъ преданный, и, можетъ быть, это возбудило въ васъ маленькую искру чувства, менѣе обиднаго (хотя отъ васъ мнѣ ничего не обидно), чѣмъ простое великодушіе.

Александръ Нибушъ.

P. S. Софья Александровна, меня скоро выпустятъ, и я къ вамъ, конечно, во всякомъ случаѣ, приду, каково бы ни было ваше рѣшеніе (надѣюсь, что не оскорбилъ васъ, а потому придти могу). Но, во избѣжаніе конфузныхъ и ненужныхъ положеній, дайте

знать письмомъ или черезъ Гришу, какъ мнѣ приходить: просто, или—вашимъ будущимъ мужемъ.

А. Нибушъ.

P. S. Подумайте прежде, чѣмъ рѣшить—не ради себя, а ради меня подумайте. Я буду ждать сколько хотите. Но еслибы судьба послала мнѣ счастье, то не лучше ли обвѣнчаться прежде, чѣмъ родится ребенокъ? Бога ради, простите, если что безъ умысла»... (Тутъ опять зачеркнуто нѣсколько строкъ).

— Ну что, Соня? Онъ проситъ подумать; подумай до завтра.

— Нечего думать, Гриша; сходи къ нему сегодня же, пусть приходитъ...

— Какъ? просто или женихомъ? Соня, не торопись...

— Я его не люблю, Гриша... Я его *просто* люблю, пусть просто приходитъ...

Какъ скучно было бы все это записывать для себя въ какомъ-нибудь дневникѣ (рѣшительно не понимаю, какъ могутъ умные и живые люди писать дневники, а могутъ: примѣръ—Добролюбовъ); но какъ мучительно писать для публики, для васъ, читатели. Кто васъ знаетъ, съ какимъ чувствомъ пробѣгаете вы эти страницы? На васъ нѣтъ аппеляціи: кажется вамъ скучно, нехорошо, мелко, глупо—ничего не подѣлаешь. А между тѣмъ всѣ эти черты и черточки, которыя я и безъ того pour vos beaux yeux самымъ варварскимъ, самоубійственнымъ образомъ урѣзываю, мнѣ дороги. Я ими жилъ когда-то, и до сихъ поръ еще они горятъ въ моей памяти. Понимаю, что вамъ до этого дѣла нѣтъ, а все-таки обидно. Тѣмъ болѣе обидно, что я не въ личной своей жизни приглашаю васъ принять участіе, а, право, въ вашей собственной — въ той, которая въ васъ и кругомъ васъ происходила и происходитъ. О, Боже мой, я — человѣкъ скромный, цѣну себѣ тоже знаю и ни въ какомъ случаѣ голую личную свою исторію вамъ не предложу. Вы имѣете передъ собой матеріалы для подлинной исторіи нашего времени — матеріалы, конечно, далеко не полные, но за то вполнѣ достовѣрные. Чего не знаю, не видѣлъ, такъ и говорю, а изъ того, что знаю и видѣлъ, стараюсь извлечь наиболѣе типичныя и характерныя черты, хоть, разумѣется, тамъ и сямъ проскальзываютъ вещи, неимѣющія никакого общаго значенія, но дорогія для меня лично. Вотъ, напримѣръ, этотъ буйный пьяница Нибушъ. Вы скажете можетъ быть: за чѣмъ онъ сюда попалъ? Но припомните Помяловскаго, Щапова, Рѣшетникова, припомните многихъ другихъ «разночинцевъ», которыхъ жизнь также безбожно сызмлада ломала, какъ Нибуша. Припомните, поистинѣ, страшный крикъ, вырвавшійся у Помяловскаго въ одной его неоконченной повѣсти: «О, препоганая мать-природа, зачѣмъ ты создала сивуху, чтобъ тебѣ насквозь прошло! О, свято-русскій народъ—брось пить, я—одинъ изъ бросающихъ. Правда, всѣ великіе люди пили (по Гервинусу), отсюда слѣдуетъ, что ты—великій народъ, народъ-пьяница, но будь трезвымъ великимъ народомъ!.. Великій русскій народъ, расшиби ты поганую посуду съ поганой сивухой; наплюй въ окна кабаковъ и въ рожи ихъ производителей! Отрезвись и пой хоть ту же унылую пѣсенку, какую пѣлъ до сихъ поръ, только не спьяна! Но чую, чую взбѣшенной душой, что это все напрасно написано, докторъ не вылѣчитъ пѣвчаго... Значитъ, такъ тому и быть, на роду что ли намъ написано это... Проклятая жизнь и проклятая ты природа! Чую, что смерть идетъ ко мнѣ быстрыми шагами. Итакъ, много ли нажилъ? О, проклятая жизнь!»

Вотъ замѣчательный и, смѣю сказать, историческій фактъ: въ то время, какъ Писаревъ и другіе изыскивали программу чистой, святой жизни, уединенной отъ всякой общественной скверны, а мы, чуть ли не большинство тогдашней молодежи, старались проводить эту программу въ жизнь, въ это самое время, всѣ эти Помяловскіе, Рѣшетниковы, Щаповы, Нибуши и проч. знать не хотѣли никакихъ эпитемій и знакомились съ бѣлой горячкой. Они были полны ненависти и были правы въ своей ненависти. Ихъ не могло мучить сознаніе личной отвѣтственности за свое общественное положеніе, ихъ могла душить только злоба на искалѣченную жизнь. Но они были все-таки близки намъ, именно своею ненавистью, и изъ этой близости возникали чрезвычайно странныя столкновенія. Прежде всего они насъ спасли отъ окончательнаго погруженія въ писаревщину. Мы готовы были совершенно закупориться въ тѣсную раковинку собственной чистоты, примирившись съ тѣмъ фактомъ, что въ нижнемъ этажѣ того самаго зданія, гдѣ мы себѣ устроили уютное гнѣздышко, живетъ непроглядное невѣжество, безысходная нищета. Но разночинцы выходили именно отсюда, изъ этого страшнаго подвала и вносили съ собой струю свѣжаго воздуха. Такъ что они, со всѣмъ своимъ пьянствомъ и буйствомъ, спасали насъ. Дальше вотъ еще что. Вы прочитали множество романовъ, авторовъ которыхъ мнѣ противно вамъ напоминать, и которые всѣ построены по слѣдующему шаблону. Дѣйствующія лица: благорожденная дѣвица пылкаго темперамента и прекрасная душой и тѣломъ, столь же прекрасный и благорожденный мужчина и, наконецъ, мужчина совершенно неблагорожденный. Это—главныя дѣйствующія лица, вокругъ которыхъ размѣщается большее или

меньшее количество побочныхъ персонажей. Благорожденная и прекрасная дѣвица увлекается модными идеями. Этимъ гнусно пользуется мужчина неблагорожденный и—съ «мохнатымъ сердцемъ», какъ говоритъ кто-то у Шекспира. Онъ уже готовъ облапить дѣвицу или ему это даже удается. Тутъ является на сцену мужчина благорожденный, тонкій знатокъ и цѣнитель всякой красоты, «эстетикъ», какъ его ругаютъ люди съ мохнатымъ сердцемъ. Онъ или удерживаетъ дѣвицу на краю пропасти, или, если дѣло уже непоправимо, становится въ красивую позу и болѣе или менѣе пространно и грустно восклицаетъ: о, времена! о, нравы! Не спорю, можетъ быть, подобные факты бывали—чего на свѣтѣ не бываетъ? Но дѣлать изъ нихъ шаблонъ, значитъ—лгать. Я вамъ разсказываю исторію, гораздо болѣе достойную обобщенія, насколько, разумѣется, могу судить по своему личному опыту, довольно большому. Мой благорожденный мужчина, Башкинъ, не въ примѣръ типичнѣе (не въ смыслѣ, разумѣется, художественной отдѣлки, которой похвастать не могу). Я видѣлъ ихъ не мало, и всякій разъ, когда я вижу подобнаго субъекта, преданнаго чистой красотѣ, когда онъ начинаетъ восторгаться во всеуслышаніе картиной, статуей, видомъ, женской красотой, я въ извѣстный моментъ говорю себѣ: сейчасъ онъ начнетъ пакости выбалтывать. И я ни разу до сихъ поръ не ошибался. Что же касается моего неблагороднаго мужчины, Нибуша, то не знаю, удалось-ли мнѣ выбрать изъ его существа тѣ черты безконечной деликатности и мягкости, которыя сквозили изъ-подъ его пьянства и буйства. И это типично. Даже оставаясь въ предѣлахъ любовныхъ отношеній, посмотрите соотвѣтственныя страницы въ біографіяхъ, хоть тѣхъ же Помяловскаго и Рѣшетникова, и вы увидите. Частный фактъ столкновенія жажды свободной любви кающейся дворянки Сони съ упорнымъ зазывомъ къ законному браку со стороны разночинца Нибуша—тоже характеренъ. . .

. . . . . .

Не такъ, во всякомъ случаѣ, судила судьба.

Наступилъ страшный, вѣчно памятный для меня день, вечеръ...

Соня ходила по комнатѣ и стонала... Я сходилъ за акушеркой. Начались какія-то таинственныя приготовленія, и меня выслали въ свою комнату. Сначала я сталъ, было, перелистывать какую-то книгу. Но вдругъ послышался страшный, за душу хватающій крикъ. Еще, еще и еще, съ промежутками, которые были то длиннѣе, то короче... У меня дѣтей не было, и потому я не знаю въ точности, что долженъ чувствовать мужъ, когда жена родитъ. Но, должно быть, это—нѣчто ужасное. Эти не жалостные, а жалкіе крики, въ которыхъ не отражаются ни ужасъ, ни отчаяніе и, вообще, никакая мысль и никакое чувство, кромѣ чувства невыносимой физической боли, такъ и на слушателѣ отзываются. Нѣтъ опредѣленной мысли о какой-нибудь опасности, нѣтъ яснаго, оформленнаго представленія тѣхъ страданій, которыя испытываются тамъ, за тонкой деревянной стѣной. Если есть что ясное, такъ это—сознаніе своего безсилія, возмутительное сознаніе своего положенія, какъ слушателя. Я понимаю порывъ той, вѣроятно, миѳической купчихи, которая половину публики въ театрѣ привела въ негодованіе, а другую разсмѣшила, крикнувъ изъ райка театральному герою, что театральный злодѣй, только что совершавшій убійство, спрятался за дверью. Быть слушателемъ, когда воочію совершается страшная драма, только слушателемъ, не могущимъ ни на одну іоту, не то что измѣнить теченіе дѣлъ, а хоть чуть-чуть облегчить страданіе—это ужасно, оскорбительно, невыносимо. Да и драма-то идетъ особенная: сила, съ которой помѣряться нельзя, сила стихійная, слѣпая, неумолимая и неотразимая, давитъ человѣка безвиннаго или, по крайней мѣрѣ, не больше виноватаго, чѣмъ слушатель мужескаго пола; давитъ такъ, что низводитъ его до уровня своей стихійности и слѣпоты, не оставляетъ въ немъ, кажется, ничего человѣческаго, кромѣ способности ощущать боль и выразить ощущеніе безсмысленнымъ крикомъ. Но зажать уши нельзя: во-первыхъ, не поможетъ, а, во-вторыхъ, совѣсть не позволитъ. Я попробовалъ, но въ ту же минуту отдернулъ руки, потому что въ ту же минуту блеснула мысль, что малодушно и подло бѣжать даже звукового отраженія чужого страданія. Я затолкалъ себѣ въ ротъ носовой платокъ, чтобы не разрыдаться... Въ одинъ изъ промежутковъ между болями меня впустили къ Сонѣ; она лежала, блѣдная, обезсиленная, съ закрытыми глазами и, кажется, такъ же безъ мысли отдыхала, какъ за минуту передъ тѣмъ безъ мысли страдала. Я спросилъ, не нужно-ли доктора (уже раньше былъ объ этомъ разговоръ съ акушеркой, и она дала мнѣ на всякій случай адресъ), но акушерка, молодая и спокойно-самоувѣренная женщина, объявила, что все идетъ, какъ слѣдуетъ и кончится благополучно. Опять начались стоны, опять я заходилъ на цыпочкахъ (неизвѣстно для чего) изъ угла въ уголъ, опять заталкивалъ себѣ въ ротъ платокъ... И такъ—не часъ, не два... Вдругъ ко мнѣ торопливо вошла акушерка.

— Съѣздите за докторомъ... Ничего, ни-

чего, не бойтесь; но можетъ понадобиться... Напомните, чтобы захватилъ инструменты— онъ ужъ знаетъ.

Я понялъ только одно: есть опасность и опрометью бросился на улицу. Тамъ было уже свѣтло—часъ пятый, пусто и мертвенно-тихо. Ни одного извозчика, а докторъ жилъ далеко. Я вспомнилъ, что въ двухъ шагахъ отъ насъ—лѣчебница; тамъ мнѣ укажутъ, можетъ быть, другого, ближайшаго акушера. Минутъ съ пять ждалъ я у подъѣзда лѣчебницы, но это были минуты севастопольскія: каждая стоила добраго часа. Дверь, наконецъ, отворилась, и заспанный сторожъ сердито сообщилъ мнѣ адресъ. Это было близко. Я побѣжалъ. Но тамъ меня даже не впустили въ квартиру, а изъ-за двери крикнули, что доктора нѣтъ дома. Я опять пустился бѣгомъ, и, наконецъ, судьба сжалилась надо мной — послала извозчика. По адресу акушерки я доктора засталъ, и надо ему отдать справедливость: онъ очень быстро вышелъ ко мнѣ, очень быстро одѣлся, но зато, какъ человѣкъ бывалый и всякіе виды видавшій, всю дорогу терзалъ мою душу разговоромъ о занимавшемъ тогда всѣхъ въ Петербургѣ уголовномъ процессѣ. А я между тѣмъ былъ весь полонъ однимъ вопросомъ: что тамъ дѣлается?! А тутъ еще у нашего извозчика колесо соскочило... Наконецъ, наконецъ и трижды наконецъ, бѣжалъ я черезъ двѣ, черезъ три ступени вверхъ по нашей лѣстницѣ. Мнѣ отворила дверь Василиса:

— Ну, съ племянникомъ васъ, Григорій Александровичъ,—тихо и торжественно произнесла она.

Соня лежала въ полубезчувственномъ состояніи, а на диванѣ барахталось завернутое въ простыню маленькое, красное, сморщенное существо...

О, простите, читатель, простите, что я васъ подобными вещами занимаю! Вы видите, что я и безъ того бѣгомъ бѣгу, почти такъ же, какъ бѣжалъ тогда за докторомъ. Конечно, пустяки: однимъ человѣкомъ на земномъ шарѣ больше стало, а ихъ, людей-то, и безъ того, говорятъ, слишкомъ много. Но это маленькое, красное, сморщенное существо такъ мнѣ дорого, такъ много я объ немъ думалъ и думаю, такъ многое изъ этихъ думъ хотѣлъ бы разсказать вамъ, что вы должны простить мнѣ эту чуточку воспоминаній о минутѣ его появленія на бѣломъ свѣтѣ. Но вы должны выслушать еще одну маленькую сцену, на которой я и покончу съ романической стороной исторіи Сони.

Вотъ какъ было дѣло. Соня, Нибушъ и я сидѣли за вечернимъ чаемъ. Возлѣ Сони на диванѣ лежалъ въ корзинѣ мальчикъ въ самомъ благодушномъ настроеніи, что съ нимъ не часто бывало, и сосалъ соску (у Сони молока было мало, такъ что нужно было прикармливать коровьимъ). Да и всѣ мы были чрезвычайно благодушны. Входитъ Василиса съ очень мрачнымъ, сердитымъ лицомъ и суетъ Сонѣ въ руки карточку. На ней славянской вязью, такъ что мы несразу и прочли, было напечатано: «Андрей Андреевичъ Башкинъ», а внизу приписано карандашемъ, очень красивымъ почеркомъ: «умоляю о 10 минутахъ—не больше».

— Хорошо, пусть идетъ,—быстро сказала Соня.

— Софья Александровна, подумайте! — вступился Нибушъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, пусть идетъ, пусть лучше сразу...

Вошелъ Башкинъ, какъ всегда, изящный, красивый, со шляпой въ рукѣ. Нибушъ, блѣдный, какъ полотно, усиленно и громко мѣшалъ ложкой въ стаканѣ и расплескивалъ чай кругомъ. Соня тоже поблѣднѣла, и руки у нея, я замѣтилъ, дрожали. Башкинъ остановился посреди комнаты; никто не протянулъ ему руки; никто не пригласилъ сѣсть. Молчаніе. Слышно только, какъ ребенокъ тянетъ соску, да Нибушъ все громче и азартнѣе мѣшаетъ ложкой въ стаканѣ.

— Софья Александровна,—началъ, наконецъ, Башкинъ неровнымъ, обрывающимся голосомъ и не глядя на Соню,—я вамъ глубоко благодаренъ за позволеніе...

Молчаніе съ тѣми же двумя акомпаниментами. Руки у Сони дрожатъ еще сильнѣе, но она перемогается и, повидимому, очень спокойно спрашиваетъ:

— Что же вамъ угодно?

— Нѣсколько минутъ разговора... безъ свидѣтелей...

Говоря это, Башкинъ уже совершенно оправился и, при словѣ «свидѣтелей», метнулъ, какъ мнѣ показалось, полупрезрительный, полувызывающій взглядъ на насъ съ Нибушемъ. Онъ былъ въ своемъ родѣ великолѣпенъ. Еслибы я изобразилъ эту памятную для меня сцену въ драматической формѣ, то, я увѣренъ, ни одинъ актеръ не сумѣлъ бы, какъ слѣдуетъ, выдержать положеніе: стоять одному среди комнаты подъ выстрѣлами трехъ паръ ненавидящихъ глазъ. Выдержанность Башкина меня, впрочемъ, нимало не удивляла. Зато, дѣйствительно, удивительно было самообладаніе Сони.

— Это—мой братъ и мой другъ; у меня отъ нихъ нѣтъ секретовъ, а съ нами нѣтъ ничего общаго.

— Есть общее, Софья Александровна, оно возлѣ васъ.

И Башкинъ шагнулъ къ корзинѣ, въ которой лежалъ ребенокъ. Соня инстинктивно схватилась за нее рукой, а Нибушъ, мимо котораго Башкину приходилось бы

пройти, поднялся во весь свой огромный ростъ.

— Это, вѣдь—*мой* сынъ,—сказалъ Башкинъ.

— Нѣтъ,—бросила Соня дрожащимъ голосомъ.

Злая и наглая, но почти невольная, почти конвульсивная усмѣшка искривила красивый ротъ Башкина.

— Чей-же?—нахально спросилъ онъ.

Соня, тяжело дыша, осмотрѣлась кругомъ, точно искала кого-нибудь, и потомъ вдругъ показала пальцемъ на Нибуша.

— Его...

Молчаніе. Легкія у всѣхъ присутствующихъ усиленно работаютъ.

— Въ такомъ случаѣ,—заговорилъ Башкинъ все съ тою же кривой, конвульсивной усмѣшкой,—въ такомъ случаѣ извините, что я васъ побезпокоилъ. Я никогда не расчитывалъ на честь быть такъ близкимъ къ господину...

Онъ не кончилъ, потому что Нибушъ, не говоря ни слова и только скрипя зубами, схватилъ его за лацканы сюртука и тряхнулъ.

— Оставьте! — крикнула Соня,—не марайте рукъ. Проводите господина Башкина...

Нибушъ покорно выпустилъ лацканы изъ рукъ и пошелъ вслѣдъ за Башкинымъ въ переднюю. Но черезъ двѣ минуты оттуда послышался его задыхающійся басъ:

— Дуэль?! На кк-кулакахъ!.. Всю м-морду...

Ребенокъ проснулся и закричалъ. Соня рыдала...

О, мой милый, дорогой мой мальчикъ, что-то ждетъ тебя?

Маленькія ножки! рѣзвости въ васъ много,
Но лежитъ предъ вами трудная дорога:
Будете вы часто падать, спотыкаться,
Трескаться отъ зною, грязью покрываться.
Изнуренъ я этимъ странствіемъ тяжелымъ
И смотрю на васъ я взоромъ невеселымъ.

Нѣтъ, это — вздоръ, то-есть невеселый взоръ—вздоръ. Съ чего? Или мы совсѣмъ даромъ проживемъ и оставимъ своимъ дѣтямъ въ наслѣдство тѣ же раны, которыми сами страдаемъ, во всей ихъ неприкосновенности? Этого быть не можетъ, и вы сейчасъ увидите, что не трусливый оптимизъ мнѣ это подсказываетъ. Съ происхожденіемъ своего племянника я скоро примирился. Во-первыхъ, этому способствовала спокойная самоувѣренность Сони, а во-вторыхъ, и въ самомъ дѣлѣ это сторона, конечно, непріятная, но отнюдь не страшная при данныхъ условіяхъ. Можетъ, иной комъ грязи и полетитъ въ ни въ чемъ неповиннаго (не онъ же, въ самомъ дѣлѣ, виноватъ, что родился!) мальчика изъ устъ какого-нибудь негодяя. Но ротъ негодяевъ до такой степени полонъ грязи, и такъ охотно они ее извергаютъ, что по тому-ли, по другому-ли поводу, а рѣдко кто обезпеченъ отъ ихъ оскорбленій. А отъ того, что пережилъ, напримѣръ, Нибушъ отъ отца, выворачивающаго фамилію своего сына наизнанку, отъ матери, подставляющей свои скуластыя щеки подъ маленькія ручки тетеньки, отъ многаго множества пинковъ, тычковъ и порокъ—отъ всего этого Сонинъ сынъ гарантированъ. Не эти опасности «рабскаго состоянія» ждутъ его въ жизни, а напротивъ, опасности состоянія барскаго, а изъ этихъ послѣднихъ едва-ли не ближе всего возможность оказаться лишнимъ человѣкомъ. Не изъ тѣхъ лишнихъ людей, которыхъ изобразилъ нѣкогда г. Тургеневъ; нѣтъ, тѣ были и быльемъ поросли; тѣ въ концѣ-концовъ просто не знали, «на какой манеръ свою сытость разыграть», а теперешніе лишніе люди не знаютъ, напротивъ, на какой манеръ свой голодъ удовлетворить.

Я уже говорилъ о нарождающемся общественно-психологическомъ процессѣ, производимомъ, какъ и всякій подобный процессъ, двумя силами: духовною—голосомъ совѣсти и матеріальною—голосомъ желудка. О голосѣ совѣсти тоже говорилъ, хотя очень мало, особенно сравнительно съ напряженностью этой силы и ея важностью. Но говорить объ этомъ предметѣ трудно, какъ ни накипѣлъ онъ на душѣ. У меня есть въ запасѣ безъ преувеличенія ужасающіе факты для его характеристики, но приходится держать ихъ до времени подъ спудомъ. Теперь—о голосѣ желудка. Если вы не забыли, я обѣщалъ разсказать, какъ мы искали работы, но я могу вамъ предложить нѣчто болѣе любопытное, чѣмъ мои собственныя похожденія. Изъ нихъ только такъ, для развлеченія, сообщу слѣдующее комическое происшествіе. Задумали мы вчетверомъ—Соня, Бухарцовъ, Нибушъ и я—открыть маленькую контору для пріема всякаго рода письменныхъ работъ: переписки, переводовъ, составленія компиляцій, съ тѣмъ, чтобы распредѣлять ихъ между собой сообразно силамъ и способностямъ. Напечатали въ газетахъ объявленіе. Составлялъ его, грѣшный человѣкъ, я, и вотъ какая у меня вышла редакція: нуждающіеся въ перепискѣ, переводахъ и т. п. просятъ сообщать письменно свои адресы туда-то. На другой же день явились три адреса. Я пошелъ. По первому адресу надо было идти на уголъ Вознесенскаго и Екатерингофскаго. Уже съ самаго начала меня стало брать нѣкоторое смущеніе, потому что неизвѣстный работодатель оказался живущимъ на второмъ дворѣ, по достаточно скверной, грязной, темной и вонючей лѣст-

ницѣ. Ну, думаю, должно быть, предложатъ переписку копѣекъ по десяти, а то и меньше, за листъ. Но, подойдя къ двери и въ особенности дотронувшись до нея (звонка не было), я почувствовалъ потребность провѣрить, туда-ли я попалъ. Посмотрѣлъ на бумажку, гдѣ былъ записанъ адресъ — вѣрно. Стучусь. Отворяетъ высокая, худая женщина.—Здѣсь живетъ Николай Ивановичъ Трапезниковъ? — Здѣсь. — Дома? — Кажись, дома.—Въ маленькой, узенькой, низкой, совершенно гробообразной комнатѣ, куда я добрался длиннымъ корридоромъ, стоялъ столъ, этажерка, два стула и кровать, а на кровати лежалъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати, плотный, краснощекій, съ веселыми карими глазами. Онъ всталъ, тщетно стараясь застегнуть на груди свою странную сѣрую венгерку, сильно потертую, съ оборванными красными шнурами—тщетно, потому что соотвѣтственной пуговицы не было.

— Николай Ивановичъ Трапезниковъ?

— Такъ точно, что вамъ угодно?

— Я пришелъ узнать, что именно *вамъ* угодно...

— То есть, какъ же это?

— Я получилъ вашъ адресъ, по объявленію въ «Петербургскихъ Вѣдомостяхъ».

— А! Милости прошу, садитесь... Нѣтъ, нѣтъ, не на этомъ... этотъ—трехногій и на немъ можетъ усидѣть только Пиѳія... ха, ха, ха! Такъ вы по объявленію? Да я все могу: и почеркъ у меня хорошій, и три языка знаю, не то, чтобы очень хорошо, говорить не могу, но для переводовъ...

— Позвольте, однако... у меня тоже недурной почеркъ, я самъ ищу работы, такъ и объявилъ...

— Какъ?! да, вѣдь, вы объявили...

И т. д. Конецъ разговора сами можете себѣ представить. Трапезниковъ хохоталъ, какъ сумасшедшій, я—тоже. Qui pro quo вышло изъ-за двусмысленной редакціи объявленія. Я понялъ, что и другіе два присланные намъ адреса принадлежатъ такимъ же «нуждающимся», какъ Трапезниковъ, и не пошелъ ихъ искать, а поторопился составить другое объявленіе: переписываютъ и переводятъ хорошо, скоро и дешево. Но зато по этому объявленію не явился *никто*.

Этотъ забавный эпизодъ можетъ вамъ наглядно показать отношеніе между предложеніемъ и спросомъ на трудъ многочисленнаго петербургскаго «мыслящаго пролетаріата»—отношеніе, просто несообразное. Нынѣшнимъ лѣтомъ всѣ, не смотря на восточныя событія, замѣтили множество газетныхъ объявленій въ такомъ родѣ: «По причинѣ лишенія всѣхъ средствъ къ существованію и не предвидя для себя хорошаго исхода, прошу дать мнѣ работу, т. е. дать возможность существовать». По одному изъ такихъ объявленій сходилъ и я—работишка небольшая наклюнулась, которой можно было подѣлиться. Меня, конечно, не поразило то, что я увидѣлъ, но только потому, что я всякіе виды видалъ... Въ литературѣ, сколько я знаю, на эту массу отчаянныхъ объявленій обратилъ вниманіе только извѣстный священникъ - публицистъ г. Беллюстинъ. Онъ думаетъ, что все дѣло въ томъ, что родители обуреваемы какою-то студентобоязнью, странною и неосновательною боязнью—поручать студентамъ образованіе и воспитаніе своихъ дѣтей. Онъ думаетъ также, что при медико-хирургической академіи (почему-то именно только при ней) должно быть устроено особое бюро изъ академическаго, повидимому, начальства, которое взяло бы на себя посредничество между работодателями и ищущими работы студентами. Можетъ быть оно и вѣрно, и хорошо—не знаю, сомнѣваюсь, впрочемъ. Меня другая сторона этой матеріи занимаетъ. Для уясненія ея позвольте мнѣ привести изъ одной газеты напечатанный тоже нынѣшнимъ лѣтомъ разсказъ. Онъ очень плохо написанъ, но дышетъ правдой и, смѣю думать, представляетъ глубокій интересъ. Я его цѣликомъ выпишу, благо не великъ.

На поденной работѣ.

(Фактъ).

Я — молодой человѣкъ и не имѣю еще никакого опредѣленнаго положенія въ обществѣ. Притомъ я — пролетарій. Поэтому многіе меня не считаютъ даже за человѣка. По крайней мѣрѣ, родные и знакомые моего отца нерѣдко мнѣ говаривали: „Другъ мой! выслужись хоть до перваго чина, ибо кто не имѣетъ чина, тотъ — не человѣкъ“. Я—сирота. Отецъ мой, одинъ изъ крупныхъ провинціальныхъ чиновниковъ, недавно умеръ, оставивъ мнѣ, своему единственному сыну, 50 рублей деньгами. Съ его смертью обстановка моей жизни мгновенно измѣнилась. Теперь я могъ существовать лишь при условіи личнаго труда: посредствомъ знаній, пріобрѣтенныхъ мною въ реальномъ училищѣ. Расчитывая поступить осенью въ земледѣльческій институтъ, я послѣ похоронъ отца пріѣхалъ въ Петербургъ и поселился на дачѣ въ Лѣсномъ, заплативъ за комнату 20 руб. въ лѣто. У меня еще оставалось 25 рублей, да книгъ и вещей рублей на 50. Ясно было, что безъ уроковъ или переписки я не могу прожить до половины сентября. Поэтому я принялся усердно розыскивать многочисленныхъ знакомыхъ моего отца, прося ихъ дать мнѣ работу. Всѣ эти господа въ стереотипныхъ выраженіяхъ обѣщались мнѣ пріискать занятія; на лицахъ нѣкоторыхъ изъ нихъ я замѣтилъ даже нѣчто вродѣ сочувствія къ моему положенію, многіе записали мой адресъ, но въ концѣ-концовъ никто не далъ мнѣ работы; а между тѣмъ въ числѣ этихъ особъ были: отставной министръ, нѣсколько важныхъ генераловъ, два директора гимназій, учителя, чиновники, офицеры и, наконецъ, денежные тузы. Хотя мнѣ и пора бы было убѣдиться, что человѣку въ моемъ по-

ложеніи трудно, почти невозможно достать себѣ работу безъ протекціи, родства, кумовства и личнаго знакомства съ сильными міра, однако голодъ—не тетка, и я продолжалъ звонить въ квартиры знакомыхъ покойнаго отца. Теперь, разумѣется, я больше къ нимъ не пойду, потому что понялъ, наконецъ, какіе это люди. Затѣмъ я обѣгалъ очень много присутственныхъ мѣстъ, всевозможныхъ конторъ и т. п. учрежденій и—опять напрасно. Что дѣлать? Я заложилъ послѣдній свой сюртукъ и изъ 2 рублей ссуды, что получилъ за него, пожертвовалъ на публикаціи объ урокахъ 1 р. 58 к. Всѣ три публикаціи прошли для меня безслѣдно, можетъ быть, потому, что въ нихъ не было выраженій: „даю уроки за ничтожное вознагражденіе“, или „ищу всевозможныхъ занятій“, или же „предлагаю свои услуги пожилымъ дамамъ за столъ и квартиру“. А между тѣмъ изо дня въ день неумолимая нужда все болѣе и болѣе суживала кругъ моихъ жизненныхъ потребностей. Время было торопиться разрѣшеніемъ голоднаго вопроса... И, вотъ, я надумалъ, въ ожиданіи лучшихъ временъ, прибѣгнуть къ помощи мускульнаго труда. На другой же день я вышелъ изъ своей квартиры въ Лѣсномъ и направился въ Петербургъ искать поденной работы. Переходя Самсоніевскій мостъ, я вспомнилъ, что тутъ, въ угловомъ деревянномъ домѣ, по набережной Малой Невы, если съ моста завернуть налѣво, живетъ мой товарищъ, студентъ-медикъ Петровъ. Я зашелъ къ нему съ намѣреніемъ взять у него хоть немножко денегъ. Петрова не было дома; я сталъ его дожидаться и отъ нечего дѣлать высунулся въ окно, выходившее въ узкій, продолговатый дворъ, поросшій репейникомъ, лопухомъ и крапивой. Взглянувши въ лѣвомъ направленіи, я увидѣлъ часть берега Малой Невы и деревянную барку съ распиленными бревнами. Съ барки на берегъ велъ спускъ изъ четырехъ досокъ, неплотно прилегавшихъ одна къ другой, а отъ спуска по землѣ, мимо окна квартиры Петрова, слѣдовалъ непрерывный деревянный путь въ одну доску, скрывавшійся гдѣ-то на дровяномъ дворѣ. Трое рабочихъ занимались разгрузкою барки, безпрестанно прокатывая въ тачкахъ бревна на дровяной дворъ. Едва я успѣлъ все это наблюсти, какъ позади меня раздались скорые шаги, дверь въ комнату растворилась, и ко мнѣ подошелъ Петровъ, съ привѣтливой улыбкой протягивая мнѣ руку.

— Ну что, Семеновъ, въ какомъ положеніи ваши дѣла?

— Да что, Петровъ! Вотъ, думаю взяться за поденную работу, а то скоро и ѣсть будетъ нечего.

— Знаете, мнѣ кажется, что вы неспособны къ физическому труду. Притомъ въ такомъ костюмѣ, въ какомъ вы теперь, васъ и не примутъ въ рабочіе.

Я оглянулся на свой костюмъ. На мнѣ были надѣты сапоги съ вентиляціями, таковые же темнозеленые, клѣтчатые штаны, сѣрый жилетъ съ разорванною до воротника спиною и лѣтній пиджакъ, когда-то желтаго цвѣта. Голову мою защищала бѣлая стружковая шляпа съ большими полями.

— Пустяки,—горячился я, — пустяки, чтобы мускульный трудъ мнѣ не былъ подъ силу... Да что говорить!.. Лучше всего посмотрите въ окно на этихъ мужиковъ. Посмотрите, всѣ они ниже и моложе меня, на взглядъ тощіе, а видите, какъ свободно везутъ тачки.

Проводивъ рабочихъ глазами, я продолжалъ:

— Что же касается моей одежды, то ее, вѣдь, въ случаѣ надобности можно замѣнить и другою.

— Ну, попытайтесь! — задумчиво произнесъ студентъ.

— Да мнѣ ничего больше не остается дѣлать.

Выйдя на улицу, я пошелъ навстрѣчу мужику-старику, сходившему съ барки. Онъ ее сторожилъ и наблюдалъ за работою.

— Отчего у васъ такъ мало работниковъ,— спросилъ я.

— Да оттого, батюшка, что къ намъ не приходятъ рабочіе,—отвѣчалъ добродушно старикъ, слегка шамкая.

— А я думалъ потому, что мало дровъ на баркѣ.

— Какое мало, батюшка, когда еще осталось саженъ семдесятъ.

— А вы всякаго принимаете на работу?

— Всякому, батюшка, рады.

— Ну, такъ возьмите меня къ себѣ въ рабочіе.

Старикъ широко ухмыльнулся.

— Тяжелая работа, батюшка,—замѣтилъ онъ.

— Э, ничего... вѣдь, работаютъ же они (я показалъ рукой), стало быть, могу и я.

Старикъ слушалъ меня съ улыбкою, казалось, окаменѣвшею на его лицѣ.

Послѣ минутной паузы я продолжалъ:

— А какую плату вы мнѣ дадите?

— Да што они получаютъ, то и вы получите... О платѣ, батюшка, вамъ надо съ ними переговорить.

Отыскавши на дровяномъ дворѣ рабочихъ, я обратился къ нимъ съ предложеніемъ.

— Братцы, хочу вмѣстѣ съ вами поработать; согласны-ли вы принять меня въ товарищи?

Всѣ три мужика, вмѣсто отвѣта, молча уставились въ меня глазами. Я повторилъ свой вопросъ.

На этотъ разъ одинъ изъ молодыхъ парней отвѣтилъ мнѣ, почесывая затылокъ:

— Что-жъ, ничего... можно.

— А какая плата?—поинтересовался я узнать.

— Да разно, съ сажени плата.

— Рубль выручаете въ день?

— Мы-то? Мы зарабатываемъ и больше рубля въ день, рубля полтора.

— А сколько работаете въ день?

— Мы работаемъ съ четырехъ часовъ утра до семи вечера.

— Гдѣ же у васъ еще тачки?—спросилъ я, оглядываясь во всѣ стороны и намѣреваясь сейчасъ же приняться за работу.

— Здѣсь у насъ нѣтъ тачекъ,—отвѣчалъ парень,—тачки у насъ хозяйскія, и мы ихъ сюда привозимъ, когда надо. Завтра можно и для тебя захватить тачку. Только какъ же вдругъ-то, — какъ будто спохватясь, замѣтилъ онъ,—вотъ мы съ тобой договорились ужъ, а не знаемъ, каковъ таковъ ты работникъ.. Нѣтъ... ты намъ для примѣру хоть одну тачку сволоки.

— Да, да, да, — подхватили остальные рабочіе,—чтобы мы, значитъ, видѣли, какъ можешь ты работать.

— Хорошо,—отвѣтилъ я и пошелъ на барку вмѣстѣ съ рабочими, потащившими за собою тачки. — Воображеніе мое заиграло. Я уже видѣлъ въ себѣ работника съ хорошо укрѣпленными мышцами и съ мѣсячнымъ заработкомъ въ 50 р.

Я быстро побѣжалъ на барку. Рабочій, съ которымъ я договаривался, подкатилъ ко мнѣ пустую тачку и сказалъ: такъ и быть, я каждый разъ буду тебѣ свозить тачку на берегъ; твое дѣло—тащить ее по доскамъ во дворъ.

Я принялся за работу. Нагружая тачку бревнами, я чуть было однимъ изъ нихъ не отдавилъ себѣ ноги, два раза ронялъ бревно. Че-

резъ нѣсколько минутъ тачка была нагружена. Явился рабочій и скатилъ ее съ барки.

— Ну, теперь вези, — сказалъ онъ, обратившись ко мнѣ лицомъ и отходя самъ шага на два въ сторону. Парни пересмѣхнулись, подмигивая на меня.

— Нннууу... нуу... Трогай!—заговорили работники.

Наступила рѣшительная минута. Я,молча, схватился за рукоятки тачки и сталъ осторожно ее приподнимать. Но прежде еще, чѣмъ я успѣлъ сдвинуть съ мѣста, она заколебалась, стала накреняться на лѣвый бокъ и, наконецъ, вырвавшись изъ моихъ рукъ, опрокинулась съ доски въ траву. Раздался дружный смѣхъ зрителей. Съ ругательствами я бросился устанавливать тачку и вновь ее нагружать. Когда, пригнувшись лицомъ къ землѣ и обхвативши руками концы тяжелаго бревна, я взваливалъ его на тачку, отъ сильной натуги у меня чуть не переломился позвоночный столбъ. Опять приподнявъ тачку, я налегъ на нее и вторично опрокинулъ, причемъ повторилась та же сцена смѣха. Одинъ только я не смѣялся; со мною сдѣлался точно столбнякъ... Воцарилось молчаніе.

— Ну, веземъ, что-ли!.. — вдругъ выговорилъ сурово рабочій, на пути котораго я стоялъ,— что тутъ стоять-то, али не видали чево!

Рабочіе тронулись, а я... я вернулся въ квартиру Петрова.

— Ну, что?—спросилъ Петровъ.

— Да что!... Фіаско, вотъ что!—злобно сказалъ я.

— Что и требовалось доказать,—спокойно замѣтилъ Петровъ.

Я не отвѣчалъ и задумался. Я думалъ о томъ, что моя надежда, моя послѣдняя надежда на физическій трудъ разбилась въ дребезги, и всего въ какія-нибудь пять минутъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ я испытывалъ всею своею нервною системою страшныя физическія боли, вслѣдствіе сознанія какъ бы своей непригодности къ условіямъ жизни.

Я увѣренъ, что сумѣю
Людямъ помогать,
И за нихъ не пожалѣю
Жизнь свою отдать.

Такъ я закончилъ когда-то одно изъ своихъ стихотвореній. И, вотъ, этотъ же самый я, въ силу неотразимой логики положенія, оказывался ненужнымъ человѣкомъ на пирѣ жизни. Ужасно! И я вспомнилъ о школѣ, въ которой мы всѣ учимся. Какое право, думалъ я, имѣетъ эта школа игнорировать въ дѣлѣ воспитанія физическій трудъ! Какое имѣетъ она право дѣлать насъ такими жалкими, такими безпомощными на дорогѣ жизни! И горько стало у меня на душѣ.

Вотъ настоящій нынѣшній лишній человѣкъ, «ненужный», какъ онъ самъ говоритъ. И не думайте, пожалуйста, что это—какое-нибудь рѣдкое исключеніе, которое по своей исключительности даже мало занимательно. Напротивъ, совершенно напротивъ. Еще немного, и мы съ вами, можетъ быть, тоже очутимся «на поденной работѣ», и благо намъ будетъ, если руки наши окажутся достаточно мускулистыми. Дѣло серьезное, и я не хочу допускать неточности и двусмысленности. Не всѣмъ же обладать геркулесовскимъ сложеніемъ; нѣтъ резона всей кучѣ ненужныхъ людей толпиться на дровяномъ дворѣ, но, вѣдь, на немъ свѣтъ не клиномъ сошелся. Вы видите, во всякомъ случаѣ, громадную разницу между старымъ и новымъ лишнимъ человѣкомъ. Тотъ старый, былъ положимъ, тоже несчастенъ и разбитъ жизнью, но изъ самаго своего несчастія онъ ухитрялся сдѣлать странно пріятную для себя игрушку: онъ любовался на свои раны, заставлялъ и другихъ любоваться, кокетничалъ. Новому не до кокетства, потому что... потому что онъ голоденъ. Тотъ лгалъ, этотъ— сама правда, голая и неприкрашенная.

Позвольте мнѣ ужъ заодно сдѣлать еще двѣ выписки. Беру почти первую попавшуюся подъ руки книгу о внутреннихъ отношеніяхъ нашего отечества—сборникъ нижегородскаго статистическаго комитета «въ память перваго русскаго статистическаго съѣзда». (Нижній-Новгородъ, 1875). Развертываю статью г. Фогеля «Крѣпостное хозяйство въ Ярославской губерніи», и читаю: «Возможно-ли веденіе хозяйства въ ярославской губерніи? вопросъ, который составляетъ существенный интересъ настоящей экономической жизни. Вообще, всѣ хозяева губерніи, за весьма рѣдкими исключеніями, того мнѣнія, что веденіе хозяйства съ успѣхомъ — дѣло немыслимое... Людей, которые вѣрятъ въ возможность возрожденія хозяйства, немного; ихъ можно сосчитать по пальцамъ. Но что эти люди могутъ привести въ опроверженіе большинства?—Свою вѣру, энергію, трудъ и нѣсколько фактовъ, которые дороги для нихъ, какъ залогъ будущей дѣйствительности, но неимѣющихъ никакой цѣны для большинства, которое придаетъ этимъ фактамъ характеръ случайности. Хозяева съ болѣе умѣренными взглядами говорятъ, что хозяйство не въ убытокъ и можно вести его, но только тогда, когда самъ хозяинъ живетъ въ имѣніи. Оно можетъ прокормить владѣльца, но и только; затѣмъ весь доходъ съ хозяйства уходитъ на содержаніе рабочихъ. Хозяйство, по ихъ мнѣнію, можетъ только окупить текущія издержки, но не въ состояніи дать что-нибудь на свое улучшеніе. Въ подтвержденіе приводятъ то, что владѣльцы, у которыхъ нѣтъ надѣловъ или особыхъ источниковъ доходовъ, живутъ такъ бѣдно, что даже поѣздка въ уѣздный городъ составляетъ для нихъ чувствительный расходъ. Также указываютъ на то обстоятельство, что хозяйственныя постройки настолько плохи, что годны на одно топливо, и держатся потому только, что у хозяевъ нѣтъ средствъ построить новыя... У насъ считаются тѣ хозяйства удовлетворительными, которыя окупаютъ расходы и даютъ владѣльцу сносное содержаніе. Тогда на владѣльца указываютъ, какъ на дѣйствительнаго хозяина и какъ на

знатока въ своемъ дѣлѣ. Но что же ему даетъ хозяйство—только одно плохое содержаніе, а трудъ его вовсе не окупается. Большинство же хозяйствъ даетъ чистый убытокъ и ведется только по прихоти... Большинство владѣльцевъ радо развязаться съ своими имѣніями, которыя имъ въ тягость, и множество усадьбъ ждутъ покупателей, но желающихъ очень мало. Владѣльцы утверждаютъ, что земли не окупаютъ даже поземельныхъ окладовъ».

Развертываю въ томъ же сборникѣ статью г. Пирогова «Очеркъ состоянія земледѣльческой промышленности въ Костромской губерніи», и читаю: «Недостатокъ денежныхъ средствъ, знаній и практической опытности для раціональнаго веденія сельскаго хозяйства, частью неисполнительность рабочихъ и, наконецъ, высокая цѣнность вольнонаемнаго труда для обработки малопроизводительныхъ полей, заставляютъ многихъ изъ владѣльцевъ оставлять усадьбы, сдавая ихъ въ аренду, или же значительно сокращать запашки; сокращенія эти достигли такихъ размѣровъ, что, напримѣръ, въ цѣломъ Галичскомъ уѣздѣ, одномъ изъ самыхъ хлѣбородныхъ въ губерніи, существовали въ 1871 году только три владѣльческія усадьбы, имѣвшія до 50-ти четвертей ржаного посѣва; всѣ же прочія хозяйства въ уѣздѣ представляли значительно меньшіе размѣры. Въ Костромскомъ уѣздѣ, по свѣдѣніямъ земской управы, изъ 520 землевладѣльцевъ не болѣе $^1/_6$ части въ настоящее время правильно ведетъ свое хозяйство, остальные же или оставили поля безъ обработки, или же сдали ихъ въ аренду».

Костромская и Ярославская губерніи, конечно, не составляютъ исключенія, да и, наконецъ, кому же неизвѣстно, какъ идетъ у насъ дворянское хозяйство? Я могъ бы сдѣлать сотни цитатъ, не менѣе выразительныхъ, чѣмъ тѣ, которыя привелъ. Слѣдовательно, авторъ «На поденной работѣ», сынъ значительнаго провинціальнаго чиновника, могъ бы быть и сыномъ помѣщика. Но точно также онъ могъ бы быть сыномъ писателя, доктора, и дѣло тутъ вовсе не въ студентобоязни г. Беллюстина: число работодателей сокращается, число работниковъ растетъ. Безъ сомнѣнія, лазейки въ стороны отъ «поденной работы» есть: кое-кто можетъ пристроиться къ государственной службѣ, къ частной, общественной, къ либеральнымъ профессіямъ. Но за всѣмъ тѣмъ все-таки остается громадная масса лишнихъ людей. И куда же спрашивается имъ идти? Прочитайте еще разсказъ «На поденной работѣ» и вы увидите. Авторъ только потому оказался окончательно лишнимъ, что руки у него плохи и ни къ какому ремеслу не привычны.

Чувствую, какъ все это у меня выходитъ бездоказательно и неполно. Очень мнѣ это больно, потому что дѣло важное и всякаго вниманія достойное. Во всякомъ случаѣ, такъ какъ я карты держу по возможности открыто, то вы видите, что есть чрезвычайно сильный, чисто матеріальный факторъ «слія-нія съ народомъ», котораго многіе никакъ не могутъ понять. Положимъ, что я этотъ факторъ изобразилъ неудовлетворительно, но онъ существуетъ. А тамъ, гдѣ его нѣтъ, является на подмогу факторъ духовный — голосъ совѣсти, въ сущности, не менѣе грозный и настойчивый, чѣмъ голосъ желудка. Вычитайте все, что можно вычесть, останется все-таки довольно круглая сумма и притомъ рѣшительно безъ всякой національной приправы. А вычитаніе-то, конечно, произвести надо. Вотъ, напримѣръ, г. Евгеній Утинъ — чтобы взять какой-нибудь конкретный примѣръ,— древняя исторія котораго состоитъ хотя и въ нѣкоторой незаконной связи радикализма съ просвѣщеннымъ либерализмомъ, но который все-таки былъ изъ нашихъ. Онъ, вѣдь, такъ отчетливо произносилъ въ одной свой статьѣ (о Рѣшетниковѣ), что надо «возможно ближе подойти къ народу, къ его стремленіямъ и истиннымъ интересамъ». Г. Евгеній Утинъ, новѣйшая исторія котораго состоитъ въ ломаніи стульевъ даже не изъ-за Александра Македонскаго, а изъ-за нѣсколькихъ тысячъ рублей... Г. Евгеній Утинъ, который въ другой своей статьѣ (объ Островскомъ) написалъ слѣдующія какъ бы пророческія строки: «Я сумѣю поддѣлаться и къ тузамъ; я найду себѣ покровительство—вотъ вы увидите. Глупо ихъ раздражать; имъ надо льстить грубо, безпардонно. Вотъ, и весь секретъ успѣха». Такъ говоритъ Глумовъ, и въ этихъ словахъ заключается ключъ къ уразумѣнію всего его характера. Боже мой, какое разстояніе пройдено отъ Жадова до новаго героя! Тамъ на первомъ планѣ стояли принципы, высокія начала честности, правды, слышалось искреннее желаніе быть полезнымъ другимъ, бороться съ ложью, обманомъ; здѣсь, напротивъ, прежде всего является собственная личность, карьера, на алтарь которой Глумовъ готовъ принести все, что только въ его власти. Это больше не тотъ юноша, который громко возмущается несправедливыми общественными отношеніями: нѣтъ, это—человѣкъ, который боится терять время на смѣхъ надъ людскою глупостью; онъ жаждетъ употребить ее въ свою пользу; надо пользоваться «ихъ слабостями», говоритъ онъ...»

На этотъ сортъ людей, на господъ Евгеніевъ Утиныхъ, конечно, надо класть извѣстный процентъ. Но, во-первыхъ, ихъ могутъ

ошельмовать собственныя дѣти (помните Зацѣпу?). А, во-вторыхъ, ихъ вовсе не такъ трудно разгадать, даже въ періодъ ихъ древней исторіи. Они прежде всего чрезвычайно благородны и не скрываютъ этого, какъ видно даже изъ приведенной маленькой тирады. Не помню гдѣ, кажется въ «Запискахъ охотника», одно лицо изображается такъ: «мужчина съ чрезвычайно благороднымъ лицомъ, и по всѣмъ признакамъ шулеръ». Шулеръ не шулеръ, а, во всякомъ случаѣ, очень ненадежный человѣкъ, проблематическая, такъ сказать, натура. Можетъ быть, все это благородство есть только façon de parler, а, въ сущности, человѣкъ понимаетъ, что ему кичиться нечѣмъ, а, напротивъ, каяться надо. Но вѣрнѣе, что за древней исторіей Евгенія Утина должна послѣдовать его новѣйшая исторія, потому что дѣло, построенное на одномъ, хотя бы необычайномъ благородствѣ, построено на пескѣ. Никто, вѣдь, не обязанъ обладать необычайнымъ благородствомъ: хочетъ—благородствуетъ, не хочетъ—въ карманъ благородство прячетъ. Другое дѣло—когда человѣкъ не можетъ не поступать извѣстнымъ образомъ или, по крайней мѣрѣ, поступать въ противоположномъ смыслѣ; когда его неустанно грызетъ червь недовольства собой, когда ему стыдно благородствовать... Спасители!—сами спасайтесь! Ну, а про матеріальный факторъ и говорить нечего, такъ какъ прочность его, разъ только наличность его признана, для всякаго очевидна.

У меня есть знакомый докторъ, зарабатывающій хорошія деньги и живущій очень хорошо. Онъ учитъ своихъ дѣтей ремесламъ. Я думалъ, что это онъ, какъ докторъ, съ гигіеническими цѣлями. Но на мой вопросъ онъ отвѣтилъ: «мало-ли что можетъ случиться»?

Да, мало ли что можетъ случиться?..

VI.

Ахъ, какъ трудно писать для публики, или, можетъ быть, это съ непривычки, но только все боишься не дописать или переписать. Изъза этой именно боязни я, было, и «закрылъ форточку», пересталъ писать. Изъ-за нея же, вотъ, опять берусь за перо. Такой ужъ случай вышелъ.

«Московскія Вѣдомости» въ трехъ номерахъ разсуждаютъ объ «Нови» г. Тургенева устами полупочтеннаго г. Н. Щербаня. Мнѣ, признаться, всѣ разсужденія объ «Нови» надоѣли хуже горькой рѣдьки. Этакая, въ самомъ дѣлѣ, у людей страсть пустое мѣсто пережевывать! Я и самую «Новь» насилу прочиталъ, такъ полупочтенныхъ комментаторовъ и Богъ велѣлъ обходить. Да пріятель одинъ показалъ: смотри-ко, что объ тебѣ Щербань пишетъ. Я посмотрѣлъ. Разсуждая о «непорочности» Маріанны, онъ прибавляетъ: «Въ февральской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» прошлаго года помѣщены были отрывки изъ автобіографіи нѣкоего прогрессиста, г. Темкина, *разумѣется, псевдонима*, задавшагося мыслью правдиво описать свою жизнь, не скрывая ни ошибокъ, ни увлеченій, ни нѣкоторыхъ «дрянностей». Г. Темкинъ приводитъ, между прочимъ, слѣдующее изъ своей студенческой жизни: «мѣсячное мое содержаніе, 25 рублей, немедленно проѣдалось и проживалось съ Наташей (такъ звали «его дѣвушку») и пріятелями, а остальное время жилось отчасти въ долгъ, отчасти чортъ знаетъ какъ, вообще, впроголодь. Въ одну изъ подобныхъ проголодей Наташа принесла десять огурцовъ, десять печеныхъ яицъ и кусокъ ситнаго хлѣба. Я зналъ, *какою цѣною Наташа купила эти огурцы и яйца*, зналъ и ѣлъ, и съ пріятелями дѣлился, и не становилось у насъ поперекъ горла; и мы были увѣрены, что изъ насъ выйдутъ геніальные комки нервовъ»... У нихъ (прибавляетъ уже отъ себя г. Щербань), въ случаѣ надобности, кормятся Наташами, а не то, чтобы блюсти чистоту Маріаннъ и хлопотать объ огражденіи ихъ непорочности отъ сомнѣній».

Чрезвычайно тонкій и проницательный человѣкъ этотъ господинъ Щербань. Узналъ, что «Темкинъ»—псевдонимъ; если спросятъ: чей? — пальцемъ укажетъ, да и отъ полупочтенныхъ комментаріевъ не откажется. Не хочу, впрочемъ, притворяться. Г. Щербань—совсѣмъ не проницательный и не тонкій человѣкъ. Онъ просто нехорошій человѣкъ и вдобавокъ очень грубый. Онъ долженъ былъ видѣть, какъ больно мнѣ вспоминать эту мерзость, которую я разсказалъ только по чувству правды. Онъ не понялъ ни этой боли, ни этого чувства—какой же онъ тонкій и проницательный человѣкъ? и гдѣ же ему понять тѣ болѣе тонкія боли и болѣе высокія чувства, о которыхъ онъ трактуетъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ»? Онъ — даже не полупочтенный, а совсѣмъ непочтенный человѣкъ. Но мнѣ, сознаюсь, всетаки было обидно прочитать выдержку г. Щербаня изъ моихъ безхитростныхъ воспоминаній. Неужели я, въ самомъ дѣлѣ, до такой степени переписалъ или недописалъ, что мои слова могутъ быть правомѣрно заткана въ ту гнилую и линючую матерію, которую изготовилъ для «Московскихъ Вѣдомостей» г. Щербань? Заглянулъ въ февральскую книжку «Отечественныхъ Записокъ», прочиталъ: кажется, все ясно, все на ладони, хотя кое-что, впрочемъ, дописать не мѣшаетъ. Дѣло въ томъ, что непосредственно

за строками моего признанія, выписанными г. Щербанемъ, стоитъ слѣдующее: «Это ужъ—верхъ мерзости... Всѣ эти мерзости кончились съ пріѣздомъ Сони» и т. д. Этихъ строкъ г. Щербань не привелъ. Какъ человѣку нехорошему и вдобавокъ грубому, ему хотѣлось представить дѣло такъ, какъ будто я считаю «кормленіе Наташами» если не прекраснымъ, то, по крайней мѣрѣ, безразличнымъ дѣяніемъ. Даже и не правдоподобно, А между тѣмъ ту же цѣль преслѣдуетъ и другая маленькая передержка г. Щербаня. Въ серединѣ цитаты выпущены слова: «правда, я былъ страшно голоденъ, но, вѣдь, я зналъ, какою цѣною» и т. д. Дѣйствительно, тонкій и проницательный человѣкъ (если онъ при этомъ не шулеръ, конечно) увидалъ бы, что самый голодъ упоминается здѣсь только для того, чтобы показать, что и имъ не оправдывается мерзость. Главная-то, впрочемъ, передержка г. Щербаня состоитъ въ пропускѣ не отдѣльныхъ фразъ, а цѣлой мысли, которая, кажется, ясно была выражена словами: «я бы очень хотѣлъ выяснить вамъ чрезвычайно рѣзкую границу между тогдашнимъ (временъ эпизода съ Наташей) и теперешнимъ моимъ образомъ мыслей», а также, само собою разумѣется, образомъ дѣйствій. Эпизодъ съ Наташей есть несомнѣнная мерзость, но ничего «нашего» онъ характеризовать не можетъ. Я былъ «вашъ», непроницательный и грубый г. Щербань, до такой степени очевидно вашъ, что гордился знакомствомъ съ молодымъ писателемъ, котораго я встрѣчалъ въ салонѣ Анны Сергѣевны и который нынѣ, рука объ руку съ г. Щербанемъ, благополучно стоитъ на стражѣ культуры. Я былъ безпутный мальчишка, испорченный сначала барскимъ воспитаніемъ, а потомъ проклятымъ салономъ Анны Сергѣевны. Я былъ, собственно говоря, такой же князь Братовичъ, который въ послѣднемъ романѣ князя Мещерскаго «Тайны современнаго Петербурга» продаетъ себя шикарной кокоткѣ Мери Фиджи. Или фигурирующій въ томъ же романѣ штабсъ-ротмистръ Лоскутовъ, который «жилъ на содержаніи у какой-то купчихи и ея же деньгами содержалъ другую женщину». Разница только въ томъ, что я не продавался, а просто велъ себя мальчишески безпутно. Если ужъ г. Щербань дѣлаетъ мнѣ честь и цитируетъ меня, какъ правдиваго и свѣдущаго бытописателя, то, для характеристики «нашихъ» отношеній къ женщинамъ, ему надлежало бы воспользоваться изображеніемъ любви Нибуша къ Сонѣ, потому что болѣе ничего я изъ этой сферы не представилъ.

Итакъ, непроницательно г. Щербань мѣтилъ въ ворону, а попалъ, въ корову, мѣтилъ въ какихъ-то «нашихъ», а попалъ въ своихъ. Это все равно, какъ еслибы онъ для характеристики нашихъ отношеній къ родословнымъ, указалъ на тотъ моментъ изъ моихъ воспоминаній, когда я горько плакалъ, узнавъ, что я—не потомокъ князей Темкиныхъ-Ростовскихъ, не «родственникъ Владиміра Святого», а серебрянскій мужикъ. Встъ бы попалъ-то! И этакій-то непроницательный или недобросовѣстный (одно изъ двухъ непремѣнно) человѣкъ берется разсуждать о послѣднемъ романѣ г. Тургенева... Воображаю, что онъ такъ написалъ. Мнѣ, признаюсь, омерзительно было заглянуть, да и немного, думаю, я потерялъ.

Во всякомъ случаѣ ошибка или вѣрнѣе недомолвка съ моей стороны была. Тѣ пріятели, которые помогали мнѣ коротать время съ Наташей, не получали у меня никакой обрисовки. Соня, Нибушъ, Бухарцовъ, которыхъ я вамъ уже представилъ, Шива, Бѣдный Музыкантъ и другіе, которыхъ я еще долженъ вамъ представить—все это позднѣйшіе знакомые, неучаствовавшіе въ моихъ безобразіяхъ. Для ясности дѣла и для полноты мнѣ бы слѣдовало предъявить коллекцію типовъ иного характера, тѣхъ, съ которыми я бражничалъ до пріѣзда Сони. Тутъ были не безъинтересныя фигуры. Одного изъ нихъ я призналъ въ процессѣ червонныхъ валетовъ, другой теперь пишетъ корреспонденціи изъ Петербурга въ одну московскую газету, третій какъ-то доползъ до степеней извѣстныхъ. Все это надо бы предъявить. Но во-первыхъ, я, къ счастію, съ этимъ людомъ возился недолго, а во-вторыхъ—ей-богу противно. Такъ противно, что хоть вотъ теперь и хотѣлось бы—извините за простонародное выраженіе—утереть носъ г. Щербаню, да просто рука не поднимается. Ну ихъ!

Однако, разъ взялся за перо, писать хочется. Только ужъ отвыкъ какъ-то. Не знаю, какъ выйдетъ. Ну, да читатель со стараго, и вдобавокъ непритязательнаго знакомаго не взыщетъ. Я, вѣдь, больше для себя пишу: что накопится на душѣ, то и выкладываю въ какомъ придется порядкѣ.

Немудрено, что на меня опять нахлынули воспоминанія и опять стали давить мою измученную душу: я недавно встрѣтилъ дяденьку-генерала и Анну Сергѣевну и всю свиту ея.

Это было въ академіи художествъ на выставкѣ. Я пришелъ смотрѣть картину Семирадскаго. Это—такое громадное полотно, съ такимъ огромнымъ числомъ лицъ и фигуръ, что нужно извѣстное время, чтобы вглядѣться въ картину, подвести хоть приблизительный итогъ массѣ отдѣль-

ныхъ впечатлѣній. Я былъ именно этимъ занятъ, какъ вдругъ недалеко отъ себя услышалъ какіе-то знакомые голоса (передъ картиной толпилось человѣкъ семьдесятъ). Смотрю — Башкинъ. Онъ объясняетъ что то незнакомой мнѣ дамѣ. Говоритъ онъ тихо и должно быть дѣлаетъ какія-нибудь параллели между тѣмъ, что на картинѣ изображено, и тѣмъ, что очень занимаетъ и его, и молодую даму; дама улыбается и грозитъ ему вѣеромъ. Немного отступя отъ нихъ, сзади—цѣлая группа: Анна Сергѣевна, значительно уже постарѣвшая и даже кажется немного подрумяненная; мой кузенъ-прокуроръ, затянутый въ броню крахмальныхъ воротничковъ и вѣчной идеи правды и справедливости; мой кузенъ военный, молодцовато опершійся на саблю; еще какія-то дамы, изъ которыхъ одна была особенно нарядна и красива; она составляла предметъ нарочитой любезности обоихъ кавалеровъ. Вправо отъ нихъ, у самаго окна, сидѣлъ на стулѣ дяденька-генералъ, очевидно, очень усталый и отъ стоянія на ногахъ, и отъ напряженія глазъ и ушей, онъ дремалъ и что-то сосалъ. Ораторствовалъ мой кузенъ-прокуроръ. Онъ говорилъ громко, самоувѣренно, такъ что всѣ кругомъ прислушивались и посматривали въ ту сторону. Я хотѣлъ, признаться, шикнуть, да удержался: очень бы ужъ мнѣ непріятно было обратить на себя ихъ вниманіе. Кузенъ говорилъ (по-французски) сначала объ удивительномъ мастерствѣ рисунка, о ловкомъ сочетаніи красокъ, не производящемъ впечатлѣнія пестроты и проч. Потомъ онъ перешелъ въ экспрессіи. Онъ находилъ, что равнодушіе привычки къ такого рода зрѣлищамъ хорошо передано на лицахъ римлянъ, но что было лучше, еслибы художникъ вложилъ хоть въ нѣкоторыя изъ этихъ лицъ побольше звѣрства, кровожадности. «Вѣдь это звѣри,—говорилъ онъ:—звѣрскіе гонители, а не безучастные только зрители гоненія новаго слова, благой вѣсти (de la bonne nouvelle, при этомъ кузенъ мотнулъ головой на правую сторону картины). Надпись на столбахъ гласитъ: Christianus incendiator urbis generisque humani hostis (кузенъ такъ по-латыни и прочиталъ и потомъ уже перевелъ по-французски); это съ точки зрѣнія зрителей—поджигатели, враги государства и всего человѣческаго рода, которыхъ они не могутъ просто созерцать; они ихъ по слѣпотѣ своей ненавидятъ». Кузенъ видимо щеголялъ своими соображеніями и старался вести бесѣду въ возвышенномъ тонѣ. Ему не удавалось однако: то Анна Сергѣевна задастъ дѣтски-невѣжественный вопросъ и сама расхохочется; то кузенъ-военный сдѣлаетъ легкомысленное замѣчаніе насчетъ красоты торса обнаженной женщины, которая оперлась на подножіе статуи Химеры. Привычному къ наблюденію человѣку было сразу замѣтно, что оба кузена другъ другомъ не совсѣмъ довольны, что между ними идетъ тайная борьба изъ-за прекрасныхъ глазъ нарядной дамы. Кузенъ-прокуроръ расчитывалъ взять солидностью и благородствомъ помысловъ, кузенъ военный — веселымъ легкомысліемъ. Въ этомъ направленіи онъ, поощряемый очевиднымъ предпочтеніемъ, которое дама оказывала веселому легкомыслію, до того дошелъ, что вдругъ самымъ невиннымъ тономъ спросилъ прокурора: «а что, Вольдемаръ, еслибы все это теперь происходило, ты бы вѣдь отличную обвинительную рѣчь сказалъ противъ этихъ христіанъ...»

Не знаю ужъ какіе у нихъ дальше пошли разговоры. Я ихъ больше не слушалъ. Меня заняла веселая мысль военнаго кузена. Картина Семирадскаго, какъ вамъ извѣстно, раздѣляется на двѣ части. Лѣвая, большая половина полотна, занята старымъ міромъ; тутъ и Неронъ съ Поппеей, и сенаторы, и патриціи, и гуляки; все сверкаетъ золотомъ, цвѣтнымъ платьемъ, обнаженнымъ тѣломъ, весельемъ, довольствомъ. На правой сторонѣ стоитъ рядъ высокихъ деревянныхъ столбовъ, обвитыхъ гирляндами, а къ вершинамъ столбовъ привязаны закутанные по горло въ просмоленную солому христіане. Внизу копошатся палачи, приготовляясь поджечь «свѣточи христіанства» Изъ христіанъ видны только двое: старикъ сѣдобородый и молодая дѣвушка, остальные теряются въ перспективѣ. Ну такъ вотъ, смотря на картину подъ непосредственнымъ вліяніемъ остроумныхъ преканій моихъ кузеновъ, я инстинктивно сталъ пріискивать для нихъ (кузеновъ) мѣсто на картинѣ. И пріискалъ: они не испортили бы лѣвой половины полотна. Затѣмъ мысль стала уже почти машинально работать въ томъ же направленіи, и постепенно вся раззолоченная, цвѣтная, сверкающая часть картины наполнилась для меня живыми, знакомыми лицами. Тутъ я и дяденьку-генерала нашелъ, и Башкина, и Анну Сергѣевну, и нарядную даму, и писателя, благополучно стоящаго на стражѣ культуры, и даже г. Щербаня (котораго я, впрочемъ, никогда въ глаза не видалъ). Весь этотъ людъ выступалъ изъ рамокъ картины, двигался... Осмотрѣвшись кругомъ, я нашелъ въ толпѣ посѣтителей академической выставки еще нѣсколько подходящихъ типовъ, даже до поразительности. Какъ разъ возлѣ меня стоялъ пожилой, но очень представительной наруж-

ности человѣкъ, который показался мнѣ какъ двѣ капли воды похожимъ на сенатора, подающаго на картинѣ краснымъ платкомъ знакъ, что пора начинать мучительскую казнь. Въ довершеніе сходства, человѣкъ этотъ держалъ въ ту минуту большой красный фуляръ въ рукахъ. Можетъ быть, впрочемъ, на мои развинченные нервы именно этотъ футляръ такъ подѣйствовалъ, что я и въ лицахъ нашелъ сходство. Вообще, теперь, когда я пишу совершенно спокойно, когда я способенъ писать, я, можетъ быть, не нашелъ бы ни малѣйшаго сходства между лицами картины и лицами зрителей. Но тогда было иначе. Какъ въ сказкѣ говорится: на небѣ солнце и въ теремѣ солнце, на небѣ звѣзды и въ теремѣ звѣзды. На картинѣ Анна Сергѣевна и передъ картиной Анна Сергѣевна, на картинѣ кузены и передъ картиной кузены, на картинѣ дяденька-генералъ, и передъ картиной дяденька-генералъ, точно въ зеркалѣ. Это было такъ живо, такъ наглядно, даже назойливо-ясно, что я цѣлый день и, какъ увидите, цѣлую ночь не могъ выбиться изъ-подъ впечатлѣній выставки. Ну, а вы можете посмотрѣть на мой разсказъ хоть просто, какъ на матеріалъ для психологическаго или, пожалуй, психіатрическаго изученія.

Не знаю, можно, ли назвать мои тогдашнія впечатлѣнія галлюцинаціей, иллюзіей, вообще, какимъ-нибудь ученымъ терминомъ, но знаю, что я не потерялъ способности разсуждать, анализировать. Когда лѣвая половина картины оживилась, самъ собою явился вопросъ: по какому же колоссальному недоразумѣнію кузенъ-прокуроръ, кузенъ-военный или, вотъ, этотъ человѣкъ съ краснымъ фуляромъ въ рукѣ, да и почти всѣ остальные посѣтители выставки, по какому недоразумѣнію они, фотографическое отраженіе лѣвой стороны картины, явились сюда сочувствовать правой сторонѣ? Въ самомъ дѣлѣ, это, вѣдь, колоссальная безсмыслица...

Позвольте мнѣ на минуту оторваться, собственно, отъ моихъ впечатлѣній. Недоразумѣніе, такимъ страннымъ путемъ открывшееся мнѣ на выставкѣ, есть только одно изъ многихъ. Цѣлая сѣть ихъ опутываетъ отношенія зрителей къ картинѣ Семирадскаго. Самыя крикливыя изъ сужденій объ этой картинѣ были вмѣстѣ съ тѣмъ и самыя удивительныя. Крикуны и словесно, и въ печати говорили: слава Семирадскому! своимъ успѣхомъ онъ показалъ, что у насъ возможно еще чистое искусство, чистое отъ «идоловъ злобы дня и гражданской скорби». На эту тему можно много написать и наговорить, лишь стало бы охоты. Охоты было много, а потому и написано и наговорено было не мало. Говорено было о «скоропихинскихъ» (бѣдный г. Тургеневъ!) теоріяхъ, припоминались судьбы русскаго искусства, припоминались почему-то «Бурлаки» Рѣпина. Художественный критикъ «Русскаго Вѣстника», г. А., удобенъ въ томъ отношеніи, что нелѣпыя мысли онъ доводитъ до ихъ естественнаго конца, то-есть до окончательной нелѣпости. Такъ онъ поступилъ и въ этотъ разъ. «Позволительно надѣяться,— говоритъ онъ,—что безплодное, нищенское направленіе, завладѣвшее было въ послѣднія пятнадцать лѣтъ нашими художниками и погубившее столько несомнѣнныхъ дарованій, если не исчезнетъ совершенно, то, по крайней мѣрѣ, перестанетъ такъ вредно дѣйствовать. Въ лицѣ г. Семирадскаго искусство побѣдоносно выбивается изъ-подъ тяжелаго ига журнальныхъ идей и литературныхъ вліяній и посрамляетъ знаменитое скоропихинское «э! э!», о которомъ остроумно говоритъ г. Тургеневъ въ своемъ новомъ романѣ». И дальше: «Бурлаки (Рѣпина) сильно отзывались стихотвореніями г. Некрасова и *явно были на гражданскій смыслъ. Но, помимо этого недостатка*, картина отличалась самыми положительными достоинствами... *Группа бурлаковъ выдѣлялась превосходнымъ пятномъ на огромномъ холстѣ*... Громадный поволжскій пейзажъ, необыкновенно трудный по своей пустынности, *служилъ превосходнымъ фономъ* для этой сбившейся въ кучу толпы».

О скоропихинскихъ теоріяхъ, равно какъ и, вообще, о вліяніи журнальныхъ, литературныхъ идей, мнѣ неизвѣстно. Изъ романа г. Тургенева я знаю, что какой-то Скоропихинъ проповѣдуетъ презрѣніе къ европейскому искусству и тѣмъ сбиваетъ съ толку нашихъ молодыхъ художниковъ. Это, конечно, очень глупо, а если Скоропихинъ, дѣйствительно, вліяніе имѣетъ, такъ вдобавокъ очень прискорбно. Теперь будемъ говорить такъ. Что такое свѣточи христіанства?— Звѣрская потѣха безумнаго человѣка. Кто такой этотъ человѣкъ? Звѣрь, тиранъ, безумецъ. Но, между прочимъ, онъ—художникъ и притомъ совершенно чистый отъ «гражданскаго смысла». Мало того, что онъ разъѣзжалъ по своимъ обширнымъ владѣніямъ въ качествѣ пѣвца, музыканта, декламатора и дорожилъ призовыми вѣнками больше, чѣмъ императорской короной. Онъ смотрѣлъ на вещи совершенно такъ же, какъ г. А. Когда его мать Агриппина была по его приказанію убита, онъ осматривалъ, ощупывалъ трупъ и находилъ, что покойница была хорошо сложена. Какъ г. А. цѣнитъ въ «Бурлакахъ» «превосходное пятно на огромномъ

холстѣ» и косится на «гражданскій», нравственный смыслъ картины, такъ и Неронъ видѣлъ въ трупѣ матери только красивое тѣло. Когда ему принесли однажды головы двухъ казненныхъ по его повелѣнію патриціевъ, онъ, совершенно въ тонѣ критики г. А., замѣтилъ, что одинъ покойникъ былъ очень плѣшивъ, а у другого былъ очень длинный носъ. Неронъ былъ любитель своеобразныхъ живыхъ картинъ. Такъ одну христіанку онъ заставилъ изображать Данаю и до смерти засыпалъ ее золотымъ дождемъ: онъ не хотѣлъ знать «гражданскаго смысла» живой картины, топталъ его ногами и любовался только «превосходнымъ пятномъ», «превосходнымъ фономъ». Самые свѣточи христіанства были произведеніемъ чистаго искусства. Неронъ поджегъ Римъ, чтобы полюбоваться огромнымъ огненнымъ пятномъ, и во время пожара декламировалъ описаніе разрушенія Трои. Светоній разсказываетъ, что Неронъ потомъ хотѣлъ и еще разъ поджечь вновь выстроившійся Римъ и на этотъ разъ усилить художественный эффектъ скачками и ревомъ дикихъ звѣрей, выпущенныхъ изъ цирка. Когда Римъ сгорѣлъ, Неронъ пожелалъ доставить себѣ новое эстетическое наслажденіе, обвинилъ въ поджогѣ христіанъ, и заставилъ ихъ горѣть превосходными яркими «пятнами» на превосходномъ фонѣ южнаго неба. А между тѣмъ спросите г. А., онъ, Нерончикъ по своимъ эстетическимъ идеямъ, скажетъ: *нась* жгли!

Теперь дальше. Что такое эти засмоленные люди на картинѣ Семирадскаго? Первые христіане, рабы, обездоленные, забитые, изъ которыхъ самые видные были «рыбари», чуть что не бурлаки, да еще римскіе кающіеся дворяне, отрекшіеся отъ стараго міра. Почему же «Бурлаки» такъ претятъ г. А. своимъ «гражданскимъ смысломъ», а дальнѣйшее историческое развитіе ихъ сюжета приводитъ его въ восторгъ? Потому что онъ ровно ничего не понимаетъ, потому что онъ, кромѣ «пятенъ», ничего не видитъ, потому что и самъ онъ не больше, какъ «пятно»...

Простите, я немножко разсердился, но право въ этой сѣти недоразумѣній, въ этой путаницѣ трудно оставаться хладнокровнымъ.

Римлянинъ Децій у г. Аполлона Майкова («Два міра») такъ выражается по поводу христіанъ:

Да, если есть душа вселенной,
Есть божество—оно во мнѣ!
И если, чтобъ ему вполнѣ
Раскрыться, нужно непремѣнно,
Чтобъ гибли тысячи тупыхъ
Существъ, несмысленныхъ, слѣпыхъ—
Пусть гибнутъ! Такова ихъ доля!
Имъ даже счастіе—неволя!
Лишь съ дня, когда онъ въ рабство впалъ,
Для міра рабъ—хоть нѣчто сталъ.

Римскому кающемуся дворянину Марцеллу Децій говоритъ:

Марцеллъ! вѣдь, строя Римъ твой новый,
Пойми, ты губишь Римъ отцовъ,
Созданье дѣлъ ихъ! трудъ вѣковъ!
. . . . . .
И этотъ Римъ, и это зданье
Ты отдаешь на растерзанье...
Кому же?.. Тѣмъ, кто годенъ былъ,
Какъ вьючный скотъ, въ цѣпяхъ, лишь къ носкѣ
Земли и камня, къ перевозкѣ
Того, что мнѣ-бъ и мулъ свозилъ!
Рабы!.. Марцеллъ, да гдѣ мы? гдѣ мы?
Для нихъ вѣдь камни эти нѣмы!
Что намъ позоръ—имъ не позоръ!
Они (*указывая на статуи*) предъ этими мужами
Не заливались слезами,
Съ стыдомъ не потупляли взоръ!
И вдругъ, безъ всякаго преданья,
Безъ связи съ прошлымъ, какъ стада
Звѣрей, которымъ пропитанье—
Всей жизни цѣль, придутъ сюда!
И гдѣ-жъ узда для дикой воли?
Что ихъ удержитъ?.. Все падетъ!
И пантеонъ, и капитолій
Травою сорной заростетъ!

По какому же случаю радуется картинѣ Семирадскаго г. А.? Вѣдь, онъ же—«человѣкъ культуры», онъ такъ рьяно занимается порицаніемъ людей «безъ всякаго преданья, безъ связи съ прошлымъ», онъ Децій (только ростомъ не вышелъ), а Децій, какъ и Неронъ, какъ и вся римская культура стоитъ въ картинѣ Семирадскаго у позорнаго столба. Или онъ, дѣйствительно, ровно ничего не понимаетъ? или картина, въ самомъ дѣлѣ, недостаточно выразительна и можетъ быть сведена къ извѣстному количеству превосходныхъ пятенъ на превосходномъ фонѣ?

Мнѣ трудно объ этомъ судить, потому что картина для меня лично получила совсѣмъ особенный смыслъ. Я въ исключительномъ положеніи. Я ушелъ съ выставки съ головой, обремененной знакомыми, близкими образами, благодаря случайно услышанной остроумной бесѣдѣ кузеновъ. Я подкупленъ. Цѣлый день преслѣдовала меня картина и даже заснуть не давала. А когда я, наконецъ, заснулъ, она всетаки не дала мнѣ покоя. Во снѣ оживилась и правая сторона картины. По естественной ассоціаціи идей, Башкинъ, кузены, дяденька-генералъ, Анна Сергѣевна вызвали, какъ свое дополненіе, сначала Соню, потомъ Нибуша, потомъ другихъ, которыхъ я ужъ давно не видалъ и о которыхъ даже извѣстій не имѣю. Но этимъ образамъ не было мѣста рядомъ съ кузенами и прочими. Если тѣ стояли налѣво, эти, естественно, должны были помѣститься направо. Не смотря на то, что мой

сонъ объясняется такимъ образомъ очень просто, по элементарнымъ законамъ психологическаго естества, онъ былъ всетаки страшенъ..

Мнѣ снилось, что всѣ близкіе мнѣ люди нашли себѣ мѣсто на правой сторонѣ картины Семирадскаго. Вся эта сторона наполнилась дорогими образами... Вотъ Шива, спокойный, холодный, и только напружившіяся на широкомъ лбу жилы выдаютъ усиленную внутреннюю работу. Вотъ Бѣдный Музыкантъ съ разбитыми очками на носу. Онъ что-то говоритъ, но его медлительной, заикающейся рѣчи не слыхать за шумомъ пестрой толпы. Вотъ Нибушъ, яростно, но безсильно рвущійся изъ веревокъ, соломы и цвѣточныхъ гирляндъ. Вотъ Соня, вся ясная, свѣтлая... Она съ ободряющей улыбкой смотритъ на Василису... И та тутъ!..

Да дайте же мнѣ проснуться, вы, силы, наводящія и отгоняющія сонъ, дайте крикнуть: палачи! убійцы! звѣри!..

Я, дѣйствительно, проснулся съ крикомъ, какъ сообщилъ мнѣ мой теперешній сожитель. Я былъ просто боленъ. Вы понимаете значитъ, что о картинѣ Семирадскаго мнѣ судить трудно. Но одно замѣчаніе я всетаки хотѣлъ бы сдѣлать. Огромное большинство представителей стараго міра относится къ готовящейся казни равнодушно, нѣкоторые даже отвернулись, хотя сенаторъ съ краснымъ платкомъ уже готовъ подать знакъ, что зрѣлище начинается. Только на немногихъ лицахъ выражается нѣчто иное, нѣчто мягкое и сочувственное. Но странно то, что тутъ нѣтъ пресыщенія, то-есть такого пресыщенія, которое до извѣстной степени сблизило бы старый міръ съ новымъ. Не знаю, какъ бы это пояснѣе выразить. Ну, вотъ, напримѣръ, Неронъ. Еслибы онъ не былъ буквально сумасшедшимъ, то есть психически больнымъ, онъ могъ бы, переиспытавъ всѣ наслажденія, какія старому міру были доступны, увидѣть, что тутъ счастья нѣтъ, что жизнь или должна быть иначе построена, или оборваться. Исторія послѣднихъ временъ Рима знаетъ примѣры такого пресыщенія. Съ философской точки зрѣнія, говорятъ, очень слабы и несамостоятельны умственныя потуги римскихъ стоиковъ, эпикурейцевъ, скептиковъ. Но со стороны житейской, какъ жизненный фактъ, онѣ, я думаю, имѣютъ громадное значеніе. На дѣлѣ нерѣдки были переходы съ лѣвой стороны картины на правую, изъ рядовъ гонителей въ ряды гонимыхъ. Въ картинѣ Семирадскаго этотъ моментъ ничѣмъ не отразился. А самоубійства? Гдѣ они, то есть гдѣ ихъ корни въ старомъ мірѣ, гдѣ эта готовность безъ страха, безъ сожалѣній оборвать нитку жизни? На картинѣ старый міръ счастливъ; положимъ по-скотски счастливъ, но всетаки сплошь счастливъ, а на дѣлѣ было не такъ.

Это я, впрочемъ, не свою мысль высказываю. Я только прилагаю къ картинѣ Семирадскаго мысль Шивы.

Вотъ уже третій разъ вспоминаю я этого человѣка, а вы объ немъ ничего не знаете. Надо васъ познакомить. Довольно замѣчательный человѣкъ былъ. Звали его разумѣется не Шива, а просто Матвѣй Матвѣевичъ Апостоловъ. Шива — это шутливое, пріятельское прозвище. Было у него и другое: Апостолъ. Познакомился я съ нимъ вотъ какъ. Тогда существовалъ небольшой студенческій кружокъ, задавшійся цѣлями, такъ сказать, взаимнаго обученія. Молодые люди собирались въ извѣстные дни, читали вмѣстѣ или кто-нибудь дѣлалъ сообщеніе о вновь вышедшей книгѣ, о журнальной статьѣ, обратившей на себя вниманіе. Шли разговоры о прочитанномъ или выслушанномъ. Мы, то есть Соня, Нибушъ, я и еще два-три человѣка близкихъ пріятелей, знали о существованіи этого кружка, но относились къ нему съ нѣкоторымъ презрѣніемъ, во всякомъ случаѣ не бывали тамъ, хотя насъ зазывали. Устроителемъ и руководителемъ собраній былъ нѣкто профессоръ Кранцъ человѣкъ очень юркій, очень самолюбивый и очень бездарный. Въ своемъ муравейникѣ онъ пользовался, впрочемъ, хорошей репутаціей, для поддержанія которой прибѣгалъ къ обыкновеннымъ пріемамъ популяриничанья: льстилъ, либеральничалъ, участвовалъ во всевозможныхъ благотворительныхъ обществахъ, ораторствовалъ, вообще, всячески высовывался. Образцы этой породы вы, конечно, видали. Самая безнадежная порода. Тѣ крупицы добра, которыя эти люди иногда дѣлаютъ, далеко не выкупаютъ приносимаго ими вреда, а вредъ состоитъ въ томъ, что они распространяютъ кругомъ себя какіе-то болотные газы, если вы позволите мнѣ такъ выразиться. Имъ непремѣнно нужна толпа, въ самомъ неодобрительномъ смыслѣ слова. Ничего оригинальнаго, выдающагося они около себя не терпятъ: либо гонятъ, либо сами бѣгутъ. Въ предѣлы ихъ вліянія попадаютъ, разумѣется, люди или совсѣмъ еще, неустановившіеся, или недалекіе, и къ нимъ-то какой человѣкъ долженъ подлаживаться, у нихъ искать популярности. Ясно, что какіе бы либеральные аллюры онъ ни продѣлывалъ, онъ—непремѣнно рутинеръ, отъ него стоячей водой несетъ. Таковъ именно былъ Кранцъ, обрусѣлый нѣмецъ, худой, длинный, съ длинными волосами и американской бородой, то есть усы выбриты, а борода подстрижена. Мы очень хорошо

знали, чего онъ стоитъ (даже и прозвище для него соотвѣтственное было: тетеревъ), и очень жалѣли юношей, погруженныхъ имъ въ стоячую воду, но по малому съ ними знакомству ничего подѣлать не могли. Разъ, однако, Нибушъ случайно попалъ на одно изъ собраній и на другой день сообщилъ мнѣ, что встрѣтилъ тамъ «башку».

— Это Кранца, что, ли?

— Какой къ чорту Кранцъ! Кранца не было, а это какой-то Апостоловъ, Апостольскій... такъ что-то. Изъ семинаристовъ, должно быть.

— Да откуда же онъ взялся? съ неба что-ли свалился?

— Я и самъ спрашилъ: откуда вы, тетеревята, его взяли? Сами хорошенько не знаютъ. Пріѣхалъ недавно изъ провинціи откуда-то. Кто и ввелъ-то его, такъ и то ничего не знаетъ; познакомился, говоритъ, въ вагонѣ, на желѣзной дорогѣ. Ну и взбудоражилъ же онъ тетеревятъ—хотятъ самому тетереву жаловаться. Самъ-то онъ два раза проманкировалъ, а тутъ и подоспѣлъ этотъ Апостольскій. Онъ мнѣ Бухарцова напомнилъ (Бухарцовъ тогда лежалъ уже на Волковомъ кладбищѣ). Маленько не дотянетъ противъ покойника, ну, а башка же всетаки...

— Да чѣмъ же онъ тебя такъ проялъ?

— Не меня, братъ, я виды видалъ; тетеревятъ пронялъ. Я тебѣ говорю: Кранцу жаловаться хотятъ, что завелся «духъ отрицанья, духъ сомнѣнья». Злятся, а сладить не могутъ... Чѣмъ онъ ихъ въ прошлый разъ донималъ, не знаю, а тутъ одинъ тетеревенокъ благородно такъ защищалъ протекціонизмъ, другой тоже благородно свободную торговлю отстаивалъ, а семинаристъ-то этотъ имъ: и протекціонизмъ, говоритъ—грабежъ, и свободная торговля—опять же грабежъ... Потѣха! пойдемъ въ слѣдующій разъ, я пойду: хотятъ съ нимъ Кранца стравить...

Нибушъ былъ человѣкъ увлекающійся, и первымъ показаніямъ его, пока онъ не успѣлъ провѣрить своихъ впечатлѣній, довѣрять не слѣдовало. Но я всетаки заинтересовался и пошелъ. На этотъ разъ собраніе происходило въ квартирѣ самого Кранца, а умственную пищу предоставить долженъ былъ его братъ, студентъ-филологъ, на тему «отрицательное направленіе въ русской литературѣ». Когда мы пришли, народа было уже достаточно—все молодежь. Хозяина, впрочемъ, еще ждали, онъ былъ въ засѣданіи какого-то дамскаго благотворительнаго комитета, въ которомъ состоялъ секретаремъ. Принималъ гостей его братъ, онъ же—и референтъ, благообразный молодой человѣкъ нѣмецкаго формата. Посреди довольно большой комнаты стоялъ длинный столъ, освѣщенный сверху большой лампой. Кругомъ сидѣли гости, человѣкъ пятнадцать и пили чай. Шелъ смутный говоръ. Поздоровавшись съ двумя - тремя знакомыми, Нибушъ указалъ мнѣ на человѣка, одиноко стоявшаго въ углу у печки. Я, впрочемъ, и безъ указанія обратилъ бы на него вниманіе. Во-первыхъ, онъ выдѣлялся уже тѣмъ, что стоялъ одинъ, во-вторыхъ, онъ былъ много старше остальной публики, такъ, по крайней мѣрѣ, казалось. Это былъ худой, вѣрнѣе, сухой человѣкъ средняго роста съ гладко выбритымъ лицомъ и темными, гладко причесанными волосами, въ которыхъ пробивалась порядочная просѣдь. Продолговатое лицо было очень широко у висковъ и очень узко внизу; тонкія губы были плотно сжаты; надъ ними выглѣзалъ впередъ большой сухой носъ; глаза прятались за синими очками. Одѣтъ онъ былъ чисто, даже щеголевато, фигуру имѣлъ стройную.

Зачѣмъ этотъ человѣкъ здѣсь?—вотъ первое, что мнѣ пришло въ голову, до такой степени онъ былъ здѣсь чужой. Нибушъ подошелъ къ нему, какъ къ знакомому, познакомилъ и меня. Его онъ «назвалъ «господиномъ Апостольскимъ».

— «Апостоловъ», — поправилъ тотъ и быстро, съ неловкой улыбкой заговорилъ:— меня часто Апостольскимъ называютъ, привыкли, знаете, что наши клерикальныя фамиліи все больше на *скій* кончаются, па *овъ*, дѣйствительно, рѣже...

Онъ остановился и, не выкуривъ еще папиросы, сталъ закуривать объ нее новую. Мнѣ показалось, что онъ былъ радъ, что къ нему подошли, заговорили. Должно быть, ему очень неловко было одному торчать, но говорить съ нами, собственно, было не о чемъ; мы же совсѣмъ незнакомы были.

— А знаете, Апостоловъ,—сказалъ Нибушъ,—противъ васъ тутъ комплотъ затѣянъ. Я мелькомъ слышалъ, что тетеревъ о васъ какія-то справки наводилъ... Что вы такъ смотрите? Да! вѣдь, вы тетерева не знаете. Кранцъ, Кранцъ, батюшка, нашъ сегодняшній амфитріонъ. Онъ, шельма, на всякую пакость способенъ.

Апостоловъ непріятно улыбнулся. Улыбка, вообще къ нему не шла, точно отъ природы ему было въ ней отказано. Подошелъ одинъ юноша, совсѣмъ еще розовый, съ еле пробивающимся пушкомъ на щекахъ.

— Что вы, господа, стоите; вотъ стулья, —сказалъ онъ, ловко ставя передъ нами три стула заразъ. Я понялъ, что это была любезность Апостолову; только юноша не смѣлъ оказать ея ему одному. Послышался звонокъ, и сію же минуту торопливо вошелъ во фракѣ и бѣломъ галстухѣ, съ портфелемъ подъ мышкой, Кранцъ.

— Извините, господа, виноватъ, задержалъ; я—сейчасъ, сейчасъ...

Онъ прошелъ въ боковую комнату, откуда скоро вернулся, переодѣтый въ какой-то кургузый пиджачекъ. Дружески поздоровавшись со всѣми, а намъ въ особину сказавъ: «очень пріятно», Кранцъ сѣлъ въ концѣ стола и тотчасъ же приступилъ къ дѣлу.

— Сегодня, господа,—началъ онъ—вашему вниманію предложится одно чрезвычайно важное явленіе въ русской литературѣ. Къ счастью, можно сказать, что это явленіе прошлаго. Однако, не безвозвратно прошлаго. Надо быть настороже. Да вы, впрочемъ, сами увидите. Я думаю, можно начинать: десятый часъ.

Референтъ густо покраснѣлъ, откашлялся, расправилъ ладонью свою тетрадку, опять откашлялся и, наконецъ, началъ: «Отрицательное направленіе въ русской литературѣ». Сначала все шло, какъ слѣдуетъ, то-есть, какъ слѣдовало ожидать: печальныя заблужденія, неуваженіе къ наукѣ, къ искусству, къ великимъ представителямъ, и проч., и проч., Но вдругъ, рефератъ принялъ совершенно неожиданное теченіе. Молодой авторъ заговорилъ о «бурсѣ въ литературѣ». Онъ доказывалъ, что отрицательное направленіе, если не внесено, то упрочено семинаристами. Затѣмъ слѣдовали параллели между тѣмъ, что дѣлали семинаристы въ бурсѣ, и тѣмъ, что они дѣлали въ литературѣ. Въ бурсѣ, читалъ референтъ, они долбили свои учебники и тетрадки, не пытаясь вникать въ смыслъ; въ литературѣ они стали долбить извѣстнаго пошиба иностранныя теоріи, тоже не вникая въ смыслъ, чисто механически. Въ бурсѣ герои Помяловскаго, всѣ эти Тавли, Омеги, Гороблагодатскіе, Чабри «загибали другъ другу салазки», «учиняли вселенскія смази», подчивали «съ пылу горячими» и т. п. Въ литературѣ они занимались тѣмъ же. Таковъ именно характеръ ихъ полемики. Таково же и ихъ отношеніе къ великимъ дѣятелямъ науки, искусства, политики: одинъ загибалъ салазки Маколею, другой Кавуру, третій учинялъ вселенскую смазь всей философіи, четвертый давалъ съ пылу горячихъ самому принципу искусства, пятый накидывался на Тургенева и т. д. Бурса ихъ учила одному—ненависти, отрицанію. Уважать самыя высшія проявленія человѣческаго духа они не могли, какъ нѣчто имъ совершенно чуждое и непонятное. А своею смѣлостью, почерпаемою въ собственной пустотѣ, они увлекли и другихъ.

Довольно долго читалъ на эту тему референтъ, иллюстрируя свое изложеніе эпизодами изъ «Очерковъ бурсы» Помяловскаго съ одной стороны, литературными эпизодами—съ другой. Тутъ были и остроты, и паѳосъ, но впечатлѣнія, на которое референтъ расчитывалъ, не было. Впечатлѣніе было непріятное. Большинство инстинктивно оцѣнило безтактность реферата, очевидно, грубонаправленнаго на новаго гостя. Я (и не одинъ я) нѣсколько разъ взглядывалъ на него, стараясь уловить на его лицѣ какое-нибудь движеніе. Онъ сидѣлъ, согнувшись, и оглаживалъ пальцами правой руки свою бритую бороду, время отъ времени усмѣхаясь. Но, вообще—точно будто и не про него писано.

Рефератъ кончился. Воцарилось молчаніе. Его прервалъ старшій Кранцъ.

— Господа, то, что вы выслушали, гораздо важнѣе, чѣмъ можетъ показаться. Литературное направленіе, о которомъ шла рѣчь, похоронила сама жизнь (дѣло было въ концѣ шестидесятыхъ годовъ), но оно можетъ опять возродиться, оно и теперь существуетъ внѣ литературы... Я, вотъ, напримѣръ, имѣю извѣстія изъ семибратовской губерніи, изъ самаго Семибратова... Появился тамъ одинъ этакій разрушитель, въ нѣкоторомъ родѣ Шива. У самого идеаловъ никакихъ—ну, и пошелъ косить направо и налѣво. Кончилось разными непріятностями, между прочимъ, самоубійствомъ одной молодой женщины. Я невольно почему-то взглянулъ на Апостолова и замѣтилъ, что онъ поблѣднѣлъ и еще плотнѣе сжалъ губы, но рука все такъ же оглаживала подбородокъ...) Значитъ, это дѣло не шуточное. Другой вопросъ—происхожденіе явленія. Тутъ можно спорить. Можетъ быть, референтъ не такъ поставилъ вопросъ, не такъ его освѣтилъ, можетъ быть, онъ и совсѣмъ ошибается. Будемъ бесѣдовать... Не угодно-ли кому-нибудь возражать?

Всѣ молчали.

— Ну, вотъ, вы, господинъ Апостольскій, —продолжалъ Кранцъ,—вамъ семинарскіе порядки лучше извѣстны...

— Вы, *вообще*, имѣете обо мнѣ невѣрныя свѣдѣнія,—слегка дрожащимъ голосомъ и подчеркивая *вообще*, отозвался Апостоловъ. —Во-первыхъ. я не Апостольскій, а Апостоловъ. А во-вторыхъ... во-вторыхъ, впрочемъ, я въ семинаріи никогда не былъ...

— Но, судя по фамиліи...

— Да, фамилія-то поповская, а въ семинаріи всетаки не былъ...

Опять настало молчаніе, на этотъ разъ ужъ совсѣмъ и для всѣхъ неловкое. Очевидно было, что травля не состоится, и что Апостоловъ побѣдилъ безъ всякой травли. Молодежь, хотя бы и содержимая въ стоячей водѣ, въ массѣ—всегда молодежь, всегда сохраняетъ добрыя и великодушныя чувства. Всѣмъ было стыдно передъ Апостоловымъ, не говоря уже о сознаніи не-

удачности реферата. Кранцъ своимъ, изощреннымъ въ дѣлѣ популярничанья, чутьемъ сразу понялъ это.

— Ну, что же, господа?—сказалъ онъ,— не вытанцовывается у насъ сегодня бесѣда, да и поздно ужъ... Займемся программой слѣдующаго собранія: гдѣ ему быть? что дѣлать будемъ?

Начались совѣщанія. Нибушъ, Апостоловъ и я не принимали въ нихъ участія; у насъ свой разговоръ шелъ.

— Ловко вышло!—говорилъ экспансивный Нибушъ.—А, вѣдь, это что-то на васъ тотеревъ намекалъ, про семибратовскія-то дѣла, а?

— Да, сплетня,—сухо отвѣчалъ Апостоловъ, такъ сухо, что Нибушъ прикусилъ языкъ.

Въ Апостоловѣ было что то звѣриное, не звѣрское замѣтьте, а именно звѣриное. Съ ручнымъ медвѣдемъ, напримѣръ, или съ иной собакой, кошкой вы можете до поры до времени быть, какъ говорятъ нѣмцы, ganz gemüthlich, играть, ласкать, но въ извѣстную минуту звѣрь заставитъ васъ держаться на почтительномъ разстояніи. Такъ и съ Апостоловымъ. Съ нимъ можно было болтать о всякой всячинѣ, болтать весело, за бутылкой вина, напримѣръ; онъ могъ разсказывать вамъ о своихъ разнообразныхъ похожденіяхъ, выслушивать таковые же ваши разсказы. Словомъ, могло, повидимому, установиться полное сближеніе на почвѣ маленькихъ житейскихъ дѣлъ. Но, въ сущности, никакого сближенія не было. Вы чувствовали, что этотъ человѣкъ держитъ себя отъ васъ далеко, что вы ему вовсе ненужны и никогда не будете нужны, что ему ничего не стоитъ сію же минуту прекратить всякія съ вами сношенія. То же самое вы поневолѣ чувствовали, когда шелъ разговоръ о вещахъ серьезныхъ, когда онъ выкладывалъ вамъ, повидимому, свое задушевное. Его многіе уважали, но едва-ли многіе любили, хотя онъ былъ человѣкъ, въ сущности, добрый, готовый при случаѣ помочь словомъ и дѣломъ. Очень ужъ въ немъ самомъ мало любви было, то есть того непосредственаго чувства привязанности къ Ивану, къ Сидору, къ той или другой крови и плоти, которая обыкновенно называется любовью. У большинства людей, вѣдь, какъ бываетъ? Полюбился вамъ почему нибудь Иванъ, такъ вы или закрываете глаза на его слабости, или разукрашиваете ихъ, или любите его какъ есть цѣликомъ, со всѣми этими слабостями. Такой любви Апостоловъ совсѣмъ не зналъ (о любви къ женщинамъ теперь не говорю, то — особь статья). Я увѣренъ, что даже въ сокровеннѣйшихъ уголкахъ своей души онъ не зналъ слабости къ «родному человѣку» и безъ пощады рѣзалъ его ножомъ своей рѣдкой аналитической способности. Не только лестью, а и хорошимъ поступкомъ его подкупить было нельзя. Онъ какъ-то вообще людей любилъ, а къ Ивану и къ Сидору могъ питать сожалѣніе, снисхожденіе, уваженіе—все, что хотите, но не любовь. Иванъ, Сидоръ это чувствовали и, разумѣется, тоже любить его не могли: отъ него холодомъ вѣяло. Но кромѣ того, его немногіе и понимать могли. На первый взглядъ онъ представлялъ собою воплощенное безпристрастіе. Любую цѣльную, живую форму бытія, какъ она создалась природой и исторіей, онъ всегда готовъ былъ разложить на логическіе моменты. Онъ могъ это сдѣлать и съ самымъ близкимъ человѣкомъ, съ своимъ единомышленникомъ (хотя вполнѣ единомышленныхъ у него не было), и съ человѣкомъ, завѣдомо враждебнымъ. И тамъ, и тутъ онъ находилъ добро и зло, только въ различныхъ пропорціяхъ. Это-то и сбивало насъ съ толку. Такъ безстрастно рѣзать правыхъ и лѣвыхъ, такъ тщательно взвѣшивать слабости своихъ и крупицы достоинства какихъ-нибудь негодяевъ—это безпристрастіе казалось намъ слишкомъ утонченнымъ, ненужнымъ и непріятнымъ. Опять-таки отъ него холодомъ вѣяло. А между тѣмъ, безпристрастіе это вовсе не было тѣмъ, что называется объективизмомъ. Ивана, Сидора, правыхъ, лѣвыхъ Апостоловъ судилъ съ какой-то высшей точки зрѣнія, постоянно съ одной и той же, которая отнюдь не оправдывала безобразій на томъ основаніи, что они фактически существуютъ. Въ этомъ отношеніи онъ былъ даже, если хотите, очень пристрастенъ, потому что систематически гнулъ факты подъ теорію. Такая смѣсь личнаго безпристрастія съ систематическимъ пристрастіемъ тѣмъ болѣе ставила насъ иногда въ тупикъ, что выражалась въ отношеніяхъ не только къ отдѣльнымъ людямъ.

Начать съ мелочей. Иванъ, Сидоръ, какъ бы, повидимому, близко ни подпускалъ ихъ къ себѣ Апостоловъ, чувствовали, что они ему вовсе ненужны. Онъ и устроился соотвѣтственно. Кошачьей привязанности къ мѣстности, свойственной не однѣмъ кошкамъ, а и очень многимъ людямъ, онъ совсѣмъ не зналъ. Петербургъ, Москва, Семибратовъ, Парижъ—это ему было все равно. Въ Петербургѣ онъ жилъ единственно потому, что имѣлъ хорошіе уроки математики (это была его профессія). Жилъ онъ на Загородномъ проспектѣ въ маленькой квартирѣ, состоявшей изъ одной комнаты и кухни. Прислуги не держалъ: самъ печи топилъ, самъ сапоги чистилъ, самъ обѣдъ готовилъ, когда не обѣ-

далъ гдѣ-нибудь въ трактирѣ. Дворникъ приносилъ дрова, жена дворника разъ въ недѣлю мыла полы. Человѣкъ онъ былъ не то, что хворый, а слабый, что называется «скрипѣлъ», но когда мнѣ случалось заставать его больнымъ, онъ, очевидно, тяготился моимъ присутствіемъ. Попросить сдѣлать что необходимо нужно—сходить въ лавку, въ аптеку — и затѣмъ такъ и видно, что ему хочется остаться одному, какъ больному звѣрю въ берлогѣ. Мимоходомъ сказать, онъ былъ женатъ, но съ женою не жилъ.

Теперь о его, такъ сказать, нравственно-политическихъ взглядахъ. Онъ попробовалъ разъ писать для печати, приготовилъ обширную статью подъ заглавіемъ «Кто мнѣ братъ?» и отдалъ ее въ «Отечественныя Записки». Тамъ ея не приняли. Рукопись у меня сохраняется. По формѣ это нѣчто совсѣмъ несообразное, много даже несообразнѣе тѣхъ «воспоминаній, предсказаній» и проч., которыми я васъ занимаю. Я хоть, по крайней мѣрѣ, отъ научныхъ и философскихъ разсужденій воздерживаюсь, а тутъ разсказы перемежаются цѣлыми трактатами съ цитатами и математическими формулами. По содержанію статья разбивается на четыре главы.

Глава I. «Братъ Егоръ». Сначала идутъ семейныя воспоминанія въ юмористическомъ тонѣ; о томъ, какъ старшій братъ Егоръ въ дѣтствѣ таскалъ автора за вихры и отнималъ у него пряники и т. п. Затѣмъ, тонъ разсказа становится все сумрачнѣе. Надъ головою автора или того человѣка, отъ лица котораго онъ пишетъ, собираются тучи посерьезнѣе волосянокъ и грабежа пряниковъ. Онъ женится. Братъ Егоръ отнимаетъ у него жену, живетъ съ ней, но авторъ этого не подозрѣваетъ. Потомъ обманъ открывается, идутъ сцены бѣшеной ревности и самобичеванія за нихъ. Эта личная семейная исторія незамѣтно переходитъ во всеобщую исторію и критику семейнаго начала.

Глава II. «Свой братъ-кутейникъ». Начинается опять воспоминаніями. Здѣсь мало новаго и оригинальнаго. Вы десятки разъ читали эти описанія жизни городскихъ и сельскихъ причтовъ съ ихъ хлопотами, радостями, огорченіями, взаимными препирательствами и ссорами. Оригинально то, что глава эта завершается историческимъ очеркомъ духовнаго сословія въ Россіи и потомъ трактомъ о кастахъ и сословіяхъ, вообще.

Глава III. «Братъ-славянинъ». Разборъ славянофильской доктрины по весьма широкой программѣ, обнимающей цѣлое ученіе о національностяхъ. Національность разсматривается, какъ продуктъ слѣпыхъ силъ природы и исторіи, совокупляющихъ въ одно цѣлое вещи, логически противорѣчащія одна другой и матеріально враждебныя. Это подтверждается соображеніями политическими и экономическими.

Глава IV. «Меньшая братія». Эта глава произвела на меня очень сильное впечатлѣніе, и я до сихъ поръ перечитываю ее иногда съ большимъ интересомъ.

Надо вамъ сказать, при какихъ обстоятельствахъ передалъ мнѣ свою рукопись Апостоловъ. Однажды я у него, къ большому своему удивленію, встрѣтился съ Яковомъ, съ тѣмъ самымъ лакеемъ моего отца, который пробовалъ бѣжать и который, какъ я тогда же, если вы помните, сказалъ, сдѣлался впослѣдствіи медіумомъ. Какимъ образомъ произошла эта встрѣча, въ какомъ видѣ представился мнѣ Яковъ, такъ сильно занимавшій нѣкогда мое воображеніе, объ этомъ разскажу потомъ. Здѣсь довольно сказать, что встрѣча меня порядочно встряхнула. Апостоловъ это оцѣнилъ, очень сочувственно выслушалъ мои изліянія, говорилъ со мной задушевно и, наконецъ, далъ прочитать «Кто мнѣ братъ?». Я, признаться сказать, многихъ подробностей не понялъ: изложеніе было не особенно ясное. Но меня поразилъ общій горькій, безотрадный тонъ статьи: брата у Апостолова не оказывалось нигдѣ. Это было тяжело, какъ многопудовая гиря, и я невольно старался сбросить ее съ себя. Относительно первой главы это мнѣ удалось, хоть и не безъ натяжки. Я былъ такъ счастливъ своей сестрой Соней, что довольно рѣшительно противопоставилъ этотъ единичный фактъ такому же единичному факту брата Егора. Но съ окончательными, общими выводами главы я справиться не могъ. Главы вторая и третья мнѣ были знакомы, какъ потому, что самъ я былъ давно чуждъ соотвѣтственнымъ увлеченіямъ, такъ и потому, что привыкъ къ манерѣ Апостолова разсѣкать конкретныя формы бытія на ихъ логическіе моменты. Мнѣ не случалось только до тѣхъ поръ встрѣчать такого концентрированнаго отвѣта на вопросъ, поставленный въ заголовкѣ статьи, а потому и эти главы, хоть въ общемъ для меня и не новыя, имѣли свое значеніе. Но четвертая глава глубоко меня поразила. Въ трехъ первыхъ авторъ все-таки по временамъ шутилъ, острилъ, наконецъ, кромѣ нѣсколькихъ мѣстъ первой главы, гдѣ разсказывалось объ обманѣ жены и брата Егора, изложеніе было очень спокойное. А тутъ выносишь такое впечатлѣніе, какъ будто въ темную, темную ночь слышишь гдѣ-то въ сторонѣ отчаянные вопли. «Меньшая братія»—это, конечно, мужикъ, народъ. Какъ конкретную форму бытія, Апостоловъ и его безпощадно кромсаетъ ножомъ анализа. Меньшая братія оказывается невѣжественнымъ стадомъ барановъ, которое уже по одному этому не мо-

жетъ быть его, Апостолова, братіей. Но и ему самому, «старшему брату», достается на орѣхи. Онъ—тунеядецъ, существованіе котораго позорно. Онъ не находитъ брата среди меньшей братіи не только потому, что тамъ мракъ, невѣжество, косность, не только потому, что онъ выше ихъ, а и потому, что онъ ниже ихъ. А ниже ихъ онъ уже по одному тому, что стоитъ надъ ними. Тамъ, при всемъ невѣжествѣ, есть разумный трудъ, польза котораго очевидна и трудящемуся, и другимъ. Здѣсь, даже при переполненіи знаніемъ головъ, цѣль труда едва мерцаетъ вдали, да и то это можетъ быть не маякъ, а блудящій огонекъ. Тамъ среди мрака сіяетъ чистая совѣсть. Здѣсь, чѣмъ свѣтлѣе кругомъ, тѣмъ больнѣе совѣсть. Тамъ косность, но тамъ и сила. Здѣсь движеніе, но здѣсь и безсиліе. «Старшимъ братомъ не хочу, ровней не могу»—такъ оканчивается рукопись.

Не то, чтобы для меня были новы всѣ эти мысли. Какъ читатель знаетъ, я отчасти и самъ такъ думалъ. Но во мнѣ не было этой подкошенности. Самообольщеніе или разумная вѣра — пусть судитъ читатель, но мнѣ казалось, что можно быть «ровней», что можно быть даже «старшимъ братомъ», не будучи лицемѣромъ, что можно, наконецъ, быть просто братомъ, не считаясь старшинствомъ и меньшинствомъ. Этой вѣры Апостоловъ во мнѣ и не разбилъ. Но меня поразила его собственная личность, которую я тутъ только узналъ вполнѣ, до ахиллесовой пятки включительно. Шутливое прозвище Шивы, которое осталось за нимъ съ легкой руки Кранца, очевидно, не годилось. Нѣтъ, это не Шива, это не то холодное, почти бездушное существо, преданное діалектикѣ, какимъ онъ иногда казался. Онъ—страдалецъ. Но какъ же можно жить, когда ни тутъ, ни тамъ нѣтъ брата, когда кругомъ чуждо не только то, чего не жаль, а и то, о чемъ скорбишь и плачешь, и стонешь.

Съ такимъ вопросомъ обратился я къ самому Шивѣ, возвращая ему рукопись.

— Живу, хлѣбъ жую,—отвѣчалъ онъ.

— Я къ вамъ въ душу не лѣзу, Матвѣй Матвѣичъ: не хотите—не говорите. Я только думалъ, что если вы сами дали мнѣ прочитать, такъ...

— Такъ обязанъ и бесѣдовать о прочитанномъ? Извольте, я вотъ сейчасъ самоваръ поставлю, будемъ чай пить, будемъ и разговоры разговаривать.

Онъ сходилъ въ кухню, вернулся съ самоваромъ и тутъ же, въ комнатѣ, наложилъ въ него изъ топившейся печки углей.

— Ну-съ,—говорилъ онъ, устанавливая трубу на самоварѣ и садясь на корточки лицомъ къ печкѣ, спиной ко мнѣ: — спрашивайте...

— Да я ужъ спросилъ... Еслибъ я такъ думалъ, какъ вы, такъ не сталъ бы, напримѣръ, къ тетеревятамъ ходить...

Онъ быстро повернулся ко мнѣ, и мнѣ показалось, что лицо его вдругъ повеселѣло, хотя синіе очки и мѣшали видѣть выраженіе глазъ.

— А накинули бы петлю на шею?—спросилъ онъ.—Нѣтъ, зачѣмъ же? Вотъ вы отлично спросили, въ самую точку попали, зачѣмъ я къ тетеревятамъ хожу? (Я этого вовсе не спрашивалъ). Я и не въ такія мѣста хожу. Тетеревята — народъ хорошій, Кранца своего они скоро совсѣмъ къ чорту пошлютъ. И это благодаря мнѣ. Зачѣмъ же я буду отъ добраго дѣла отказываться?

— Я не то спрашивалъ, Матвѣй Матвѣичъ...

— Знаю, знаю, Григорій Александровичъ, да ужъ очень я обрадовался, что вы въ такую точку попали. Видите ли что. Ничего я не совралъ въ этой штукѣ, которую вы прочитали. Такъ я думаю, такъ чувствую. Но вѣдь это моя личная исторія, ее никто на своей шкурѣ продѣлывать не обязанъ. Мнѣ скверно и, такъ я понимаю, хорошо быть не можетъ. Однако, знаете: коли привыкнешь жить, такъ сразу отвыкнуть какъ-то трудно, умирать не охота. Вотъ я и придумалъ лазейку: худо ли, хорошо ли языкъ у меня привѣшенъ, болтать я люблю. Дай же пойду трезвонить...

— Я уйду, Матвѣй Матвѣичъ...

— Да нѣтъ, постойте, я, вѣдь, серьезно говорю. Это вѣрно, что въ моемъ положеніи, то-есть, имѣя въ головѣ вотъ эту самую штуку, жить можно только при условіи дѣла, которое очень нравится и которое считаешь очень нужнымъ. Мнѣ бы слѣдовало собственно писать, да вотъ таланта про меня не отпущено. Я и разговариваю. Э-э! вскипѣлъ Бульонъ, потекъ во храмъ,—вдругъ перебилъ себя Шива, закрывая самоваръ, изъ-подъ крышки котораго бурливо выбивался и брызгалъ кипятокъ.

— Ну-съ, — продолжалъ онъ, хозяйничая,—дѣло житейское, всякая христіанская душа калачика проситъ и имѣетъ на него полнѣйшее право, да не всегда знаетъ, гдѣ онъ лежитъ. Я-то знаю, да не по желудку онъ мнѣ. Породы хотя не дворянской, а желудокъ имѣю совсѣмъ по формѣ, съ изжогами и несваренія ми и всѣмъ прочимъ, хоть бы князьямъ Темкинымъ-Ростовскимъ—такъ и то впору. Но опять-таки говорю, это моя личная судьба. Для васъ, для другого, для пятаго, десятаго она не обязательна. Что же мнѣ остается дѣлать, когда я вижу кругомъ себя христіанскія души, которыя калачика

просятъ? Остается показать имъ, гдѣ калачикъ лежитъ. Я это и дѣлаю... Лимону хотите?

— Я что-то этого не видалъ.

— Чего?

— Да вотъ, чтобы вы показывали, гдѣ калачикъ лежитъ..

— Знаю, что вы не видали, знаю, что вы меня Шивой прозвали—и совершенно напрасно. Случается мнѣ и прямо показывать. Правда, что рѣдко. Это дѣло, видите ли, какое. Я вѣдь только отвлеченно понимаю, гдѣ слѣдуетъ брата искать; на дѣлѣ у меня лично его нѣтъ, а значитъ и словъ соотвѣтственныхъ нѣтъ, то-есть словъ живыхъ, убѣдительныхъ. Потому я этотъ пунктъ трогаю неохотно, а если случается, такъ выкладываю ужъ все: такъ-молъ и такъ, самъ плохъ, но разумомъ понимаю. Вообще же я поступаю иначе. Когда я вижу христіанскую душу, я слѣжу, гдѣ она калачика ищетъ, и затѣмъ, если она его ищетъ въ надлежащемъ мѣстѣ, я отхожу, мнѣ тутъ дѣлать нечего, а если не въ надлежащемъ, такъ я доказываю, что оно ненадлежащее. Вотъ и все. Я знаю,—продолжалъ онъ, замѣтно одушевляясь:—я знаю чуть не всѣ закоулки, въ которыхъ люди счастья ищутъ, и знаю, что его тамъ нѣтъ, самъ по этимъ дорожкамъ бѣгалъ. И вотъ всѣ эти закоулки я разрушаю, да разрушаю; пусть я Шива, разрушаю, но разрушаю такъ, что загоняю людей въ то единственное мѣсто, гдѣ можно дышать, не мнѣ; конечно, потому что у меня легкія попорчены. Шива!... Что я разрушаю драгоцѣннаго? Обманы, иллюзіи, ложь, безсмыслицу, мерзости... Вѣры въ жизнь я никогда не разбивалъ.

У меня мелькнула мысль.

— Послушайте, Матвѣй Матвѣичъ, не имѣетъ ли ваша работа иногда другихъ результатовъ? Вы говорите, что вѣры въ жизнь никогда не разбивали, а помните намекъ Кранца о самоубійствѣ какой-то женщины?

Апостоловъ нахмурился.

— Ну, такъ что же?

— Я не объ этой именно исторіи говорю, а вообще...

— Гм!.. И вообще, и въ частности это вздоръ, что вы хотѣли сказать. Теперь не хочется, а въ другой разъ когда-нибудь я вамъ разскажу эту исторію. Я тутъ ни на столько не виноватъ. Эта женщина и безъ меня знала, гдѣ калачъ лежитъ, безъ меня и пошла за нимъ. Я былъ съ ней просто знакомъ. Сплетня, однимъ словомъ. А самоубійство ея—простая случайность: сунулась въ воду, не спросясь броду, оборвалась разъ и сейчасъ же—трахъ! Вообще же говоря, самоубійства совсѣмъ другіе источники имѣютъ, именно въ закоулкахъ-то этихъ разныхъ. Попробуетъ человѣкъ и того, и пятаго, и десятаго, повернется и такъ, и этакъ—нѣтъ! все плохо—ну, и конецъ... Согласитесь же сами, что вы хотѣли вздоръ сказать. Если я людей изъ этихъ закоулковъ гоню—значитъ отъ самоубійства отгоняю, а не то что...

Тутъ Апостоловъ сразу оборвалъ и по обыкновенію такъ, что я немедленно понялъ, что задушевному разговору конецъ, что я для него—совсѣмъ чужой, далекій человѣкъ, который имѣетъ полное право встать, поклониться и уйти, пожалуй, предварительно напившись чаю. Я такъ и сдѣлалъ.

Впослѣдствіи вы увидите Апостолова ближе, а въ ожиданіи этого я боюсь, что очень неумѣло нарисовалъ вамъ его портретъ. Я даже знаю, въ чемъ именно состоятъ нѣкоторые недостатки моей убогой живописи. Вамъ, вѣроятно, Апостоловъ представляется человѣкомъ крайне холоднымъ и рѣзкимъ. Увлекшись, если можно такъ выразиться, отвлеченностью его натуры, я и нарисовалъ его слишкомъ отвлеченно. Рѣзокъ былъ его умъ, складъ его мысли, но не самъ онъ. Холоденъ онъ, пожалуй, былъ, но не всегда такимъ казался.

Я разскажу случай. Однажды мы съ нимъ купались въ Невѣ, за городомъ, въ открытомъ мѣстѣ, то-есть не въ купальнѣ. Онъ первый залѣзъ въ воду на столько, что она ему хватала по середину груди, а я сидѣлъ еще на берегу на камнѣ и курилъ папиросу. Мы болтали о чемъ-то. Вдругъ Апостоловъ страшно поблѣднѣлъ, вскрикнулъ, задрыгалъ ногами, потомъ кинулся къ берегу (онъ не плавалъ), споткнулся, кувыркнулся въ воду, опять вскрикнулъ... Думая, что съ нимъ сдѣлались судороги, я бросился на помощь. Но онъ уже опять стоялъ какъ слѣдуетъ, хотя все еще блѣдный и осматривалъ ступню правой ноги.

— Фу, чортъ! говорилъ онъ, тяжело дыша: ракъ...

Оказалось, что ему просто впился въ ногу потревоженный имъ ракъ. Мы много этому смѣялись, и помню, онъ разсказалъ мнѣ, что разъ на Волгѣ видѣлъ, какъ крестьянскій мальчишка впившемуся ему такимъ же образомъ раку преспокойно отгрызъ зубами преступную клешню и потомъ бросилъ и рака, и клешню назадъ въ воду. «Ну, какой-же я ему братъ?» сказалъ въ заключеніе Апостоловъ.

Человѣкъ, дѣйствительно, довольно холодный, Апостоловъ былъ, однако, очень нервенъ, часто раздражался, не могъ равнодушно видѣть, какъ бьютъ животныхъ, а когда мы разъ за компанію затащили его

въ театръ (онъ никогда въ театръ не ходилъ) и подали на глупѣйшую, ну просто глупѣйшую мелодраму, я видѣлъ, какъ изъ-подъ его синихъ очковъ текли слезы. Странно, но такъ было. Можетъ быть, впрочемъ, здѣсь нѣтъ ничего страннаго. Холодность Апостолова состояла главнымъ образомъ въ томъ, что онъ не имѣлъ личныхъ привязанностей и не чувствовалъ потребности въ нихъ. А это не мѣшаетъ ни отзывчивости къ чужимъ страданіямъ, ни тѣмъ паче простой нервозности. Настроеніе его духа мѣнялось очень часто. Болтаетъ бывало весело, да вдругъ съежится, а то наоборотъ. Онъ бывалъ и очень мягокъ, и застѣнчивъ, и—чрезвычайно рѣдко—грубъ. Обо всемъ этомъ я говорю только мимоходомъ, потому что все это было въ Апостоловѣ дѣломъ второстепеннымъ. Такое или иное было его минутное настроеніе, вы во всякомъ случаѣ чувствовали, что онъ вамъ—чужой. Точно также перемѣны настроенія духа ничѣмъ не отзывались на складѣ его мысли, а въ немъ это было главное.

Вамъ можетъ быть думается тоже, что онъ очень красно говорилъ. Не было и этого. Онъ даже выдающимся спорщикомъ не былъ, по крайней мѣрѣ не всегда. Иногда на него нападалъ стихъ холодной иронiи: онъ обращался къ противнику съ утонченною вѣжливостью, изъ-подъ которой такъ и брызгало презрѣніе. Это выводило противника изъ себя, а Апостоловъ становился все вѣжливѣе, холоднѣе и презрительнѣе. Въ этомъ родѣ онъ часто бывалъ очень хорошъ, какъ діалектикъ. Но иногда онъ самъ быстро раздражался въ спорѣ, сбивался въ стороны, упускалъ хорошіе аргументы. Впрочемъ, такъ какъ онъ билъ всегда въ одну точку и выработалъ себѣ одинъ общій планъ разсужденій о какомъ бы то ни было явленіи жизни, науки, искусства, то въ концѣ-концовъ побѣда обыкновенно оставалась за нимъ. Споръ вѣдь это такое дѣло, которое въ большинствѣ случаевъ на мѣстѣ ни къ чему не приводитъ: съ чѣмъ спорящіе пришли, съ тѣмъ и уходятъ. Результаты обнаруживаются уже потомъ. Или одинъ изъ спорящихъ, спокойно переработывая въ себѣ аргументы противника, переходитъ на его сторону, или третье лицо, публика, присутствующіе, рѣшаютъ вопросъ о побѣдѣ и пораженіи, становясь на ту или другую сторону. Я знаю очень любопытные примѣры побѣдъ Апостолова въ этомъ родѣ, не говоря уже о тѣхъ, которые онъ совершалъ при бесѣдахъ съ глазу на глазъ...

Надѣюсь, что вамъ понятно по крайней мѣрѣ, одно, а именно, почему я, размышляя о картинѣ Семирадскаго, вспомнилъ Шиву. Онъ непремѣнно сказалъ бы, что лѣвая половина полотна не полна, недостаточно выразительна и исторически невѣрна. Весь этотъ блистающій платьемъ и наготою людъ счастливъ, тогда какъ онъ не былъ счастливъ, а развѣ только искалъ счастья по разнымъ «закоулкамъ»: кто въ наживѣ, кто въ наслажденіяхъ любви, кто въ роскоши, кто въ величіи Рима, кто въ красотѣ. Избѣгавъ эти закоулки вдоль и поперекъ, человѣкъ долженъ былъ въ концѣ-концовъ выбирать одно изъ двухъ: или перейти направо, или наложить на себя руки. Такова была мысль, постоянно занимавшая Шиву. Конечно, онъ оставлялъ мѣсто и для свиней и ословъ, достаточно грязныхъ и глупыхъ, чтобы довольствоваться спертымъ воздухомъ закоулковъ. Какъ онъ все это обставлялъ, объ этомъ въ другой разъ ужъ.

VII.

— Хотите видѣть спирита, медіума?

— Не хочу.

— Отчего?

— Оттого, что вздоръ.

— А вы все астрономіей что ли занимаетесь?

— Какой астрономіей?

— Да такъ вообще, пустяковъ никогда не дѣлаете?

Такой разговоръ происходилъ у меня однажды съ Шивой. Онъ убѣждалъ, я упирался, но въ концѣ-концовъ согласился. Соня и Нибушъ наотрѣзъ отказались. Любопытно, что я нимало не удивился предложенію Шивы, то-есть тому не удивился, что именно онъ, Шива, къ которому, повидимому, такъ не шло возиться со спиритизмомъ, знакомъ съ медіумомъ и даже устраиваетъ у себя спиритическій сеансъ. Я ужъ привыкъ знать, что онъ видится и водится, Богъ его знаетъ зачѣмъ, съ самыми разнообразными народами. По его словамъ, онъ и самъ въ первый разъ долженъ былъ увидѣть «эти фокусы»; съ медіумомъ познакомился случайно, и только объ немъ и знаетъ, что его зовутъ Канавинъ и что онъ изъ крестьянъ. Послѣднее, дѣйствительно, не совсѣмъ обыкновенное обстоятельство его кажется преимущественно интересовало. Надо замѣтить, что теперешній мой разсказъ относится къ тому времени, когда о Бредифѣ еще помина не было и когда спиритическія упражненія, по крайней мѣрѣ, у насъ, въ Россіи, были сравнительно очень просты.

Въ назначенный день я отправился въ извѣстную уже вамъ квартиру Апостолова, на Загородномъ Проспектѣ, но опоздалъ и засталъ все общество не только въ сборѣ, а даже за дѣломъ. Отворивъ мнѣ дверь, Апостоловъ сѣлъ къ круглому столу, стоявъ-

шему посреди комнаты, вокругъ котораго сидѣло уже нѣсколько человѣкъ. На предложеніе Шивы принять участіе въ манипуляціи я сказалъ, что подожду, и сѣлъ поодаль, у окна. Остальная публика только посмотрѣла на меня молча. Публика была вотъ какая. Во-первыхъ, двое молодыхъ людей изъ «тетеревятъ», которыхъ я зналъ по наслышкѣ. Это были ничѣмъ не замѣчательные молодые люди, одинъ брюнетъ, другой блондинъ. Оба, очевидно, конфузились и подбадривали себя той неопредѣленной, двусмысленной улыбкой, которую вы, вѣроятно, видали у людей, принимающихъ участіе въ дѣлѣ, въ серьезность котораго они не вѣрятъ и которое даже презираютъ. Они сидѣли рядомъ. По правую сторону блондина помѣщался широкоплечій, черноволосый мужчина лѣтъ сорока пяти, съ широкими скулами, узенькими, татарскаго покроя глазами и низкимъ лбомъ, который казался еще ниже, благодаря пересѣкавшему его отъ виска до виска, немножко наискось, шраму. Онъ носилъ только большіе, рыжевато-черные усы; энергически выдавшійся впередъ подбородокъ былъ выбритъ. Одѣтъ онъ былъ въ черный, доверху застегнутый сюртукъ. Я сразу призналъ въ немъ медіума, потому что все въ немъ было мрачно, таинственно, необычно, даже, признаюсь, какъ-то пошло необычно. Такъ мнѣ, по крайней мѣрѣ, показалось подъ вліяніемъ моего болѣе чѣмъ скептическаго отношенія къ спиритизму. Возлѣ медіума сидѣлъ Шива. Затѣмъ нѣсколько знакомый мнѣ художникъ Токмаковъ, съ длинной рыжей бородой и рѣзкими чертами лица. А дальше двое незнакомыхъ—мужчина и женщина. Мужчина былъ высокій молодой человѣкъ, лѣтъ примѣрно двадцати двухъ. Очень худое и точно восковое лицо его чуть-чуть запушилось бородкой, совсѣмъ свѣтлой, чухонскаго цвѣта. Такіе же у него и волосы были, длинные и рѣдкіе, падавшіе сзади на воротникъ неровными косицами. Несоразмѣрно большіе, свѣтло-сѣрые глаза смотрѣли необыкновенно кротко и въ то же время какъ будто туповато. Молодой человѣкъ носилъ очки, одно изъ стеколъ которыхъ было треснуто поперекъ. Возлѣ него сидѣла дама съ весьма замѣчательнымъ лицомъ. Если хотите, самое лицо было вовсе не замѣчательное: чисто русское, съ неопредѣленными, расплывающимися чертами. Но во-первыхъ, надъ этимъ лицомъ возвышалась цѣлая корона совершенно сѣдыхъ волосъ, чисто серебряныхъ. Именно корона. Представьте себѣ два толстые жгута, положенные другъ на друга въ видѣ вѣнковъ. Вдобавокъ эти серебряные волосы представляли такой контрастъ съ сравнительною моложавостью лица дамы, что поневолѣ казалось, будто это что-то постороннее, надѣтое. Поразительны были тоже глаза дамы, или вѣрнѣе взглядъ этихъ сѣрыхъ глазъ, острый, пронзительный. Очень тоже не подходилъ этотъ рѣзкій взглядъ къ мягкимъ, неопредѣленнымъ чертамъ лица дамы. Она не смотрѣла, а точно парой гвоздей приколачивала. Она и на меня такъ взглянула, когда я вошелъ, но тотчасъ же перевела свои гвозди на медіума, и мнѣ казалось, что ему немножко не по себѣ отъ этого упорнаго взгляда. Дамою съ серебряной короной заканчивался кругъ. Больше никого не было. Все маленькое общество держало руки на краяхъ стола, прикасаясь другъ къ другу большими пальцами и мизинцами. На столѣ лежалъ карандашъ, нѣсколько клочковъ бумаги, колокольчикъ. Всѣ молчали.

Прошло пять минутъ, десять... Мое положеніе было довольно глупое. Оно было бы, кромѣ того, донельзя тоскливо и скучно, если-бы не физіономіи медіума и дамы въ серебряной коронѣ, которыя поневолѣ приковывали къ себѣ вниманіе. Глядя на нихъ, я испыталъ ощущеніе, всѣмъ безъ сомнѣнія знакомое. Мнѣ вдругъ показалось, что когда-то, гдѣ-то я точно также сидѣлъ въ углу, у окна, а посерединѣ комнаты сидѣли вокругъ стола люди и молчали. То-есть не то, чтобы все это такъ отчетливо представлялось, но общій колоритъ минуты какъ будто ужъ былъ однажды пережитъ. Я не знаю, отчего это такъ бываетъ, да и никто кажется не знаетъ. Знаю только, что ощущеніе это довольно безпокойное и хоть не то, чтобы тяжелое, а все-таки совсѣмъ ненужное. На этотъ разъ я былъ выведенъ изъ-подъ его власти голосомъ дамы въ серебряной коронѣ.

— Ничего вѣрно не будетъ,—насмѣшливо сказала она, вколачивая свои гвозди прямо въ глаза медіума.

Тотъ сумрачно взглянулъ на нее и вдругъ вскрикнулъ. И въ это же время произошла короткая, но истинно безобразная сцена. Послышался какой-то стукъ, всѣ вскочили.

— Вотъ... вотъ... тамъ стояло... говорили, ничего не будетъ... вотъ... говорилъ медіумъ торжествующимъ и прерывающимся отъ волненія голосовъ.

— Къ ногамъ привязано было... осмотрите его ноги, я и не такіе фокусы видала,—почти кричала дама въ серебряной коронѣ.

Рыжебородый художникъ громко хохоталъ. Бѣлокурый молодой человѣкъ присѣлъ на корточки и внимательно и спокойно осматривалъ стоявшее возлѣ стола кресло. «Тетеревята» бросились къ ногамъ медіума; тотъ отбивался и бормоталъ какую-то нелѣпицу...

— Господа, что вы дѣлаэте? такъ нельзя,— остановилъ сцену Шива.—Господинъ Канавинъ самъ позволитъ вамъ осмотрѣть его ноги, а если и не позволитъ, такъ всетаки не годится...

Освобожденный медіумъ быстро направился къ двери...

— Отъ благородныхъ, образованныхъ людей я не думалъ такого... такой неприличности,—сказалъ онъ все тѣмъ же прерывающимся голосомъ, ни къ кому въ особенности не обращаясь и выходя въ переднюю. Онъ сильно побѣднѣлъ: густые, черные волосы вздрагивали, а шрамъ на лбу точно обновился, посвѣжѣлъ, побагровѣлъ. При этомъ заглохшее-было во мнѣ ощущеніе вторичности всего переживаемаго мною момента какъ будто обострилось: это блѣдное лицо съ багровымъ шрамомъ на лбу показалось такимъ знакомымъ, такимъ близкимъ. Апостоловъ пошелъ проводить медіума, и я слышалъ, какъ онъ извинялся передъ нимъ, объясняя поведеніе своихъ гостей внезапнымъ порывомъ. Однако не удерживалъ. Медіумъ ничего не отвѣчалъ.

Я попросилъ разсказать мнѣ, въ чемъ дѣло, потому что рѣшительно ничего не понималъ. Оказалось слѣдующее. Сзади и немножко сбоку медіума стояло кресло, на которое навалена была порядочная груда книгъ. Кресло это вдругъ само собой подкатилось къ медіуму, такъ что ударило его одной ручкой въ бокъ. Всѣ присутствующіе это видѣли, кромѣ меня; всѣ ни малѣйше не сомнѣвались, что это—шарлатанство, даже мало искусное. Всѣ опять-таки кромѣ меня. Не потому, чтобы я допускалъ возможность самопроизвольнаго движенія кресла. Нѣтъ, я просто былъ совсѣмъ не тѣмъ занятъ. Передо мной все стояло блѣдное лицо съ взъерошенными и вздрагивающими волосами и кровавымъ шрамомъ на лбу. И вдругъ мнѣ стало совершенно, безповоротно ясно, что медіумъ Канавинъ есть никто иной, какъ тотъ самый Яковъ, который нѣкогда забавлялъ меня глотаніемъ горящей пакли, вытаскиваніемъ лентъ изо рта и проч.; который потомъ разбилъ себѣ лобъ, сбѣгая по крутой каменной лѣстницѣ къ рѣкѣ, чтобы утопиться; образъ котораго, наконецъ, фантастически сплетясь съ образомъ брата-мужика, терзалъ и ласкалъ меня въ моментъ первыхъ проблесковъ моего покаянія. Память быстро пробѣжала по этимъ забытымъ клавишамъ. Только заключительный аккордъ непріятно рѣзалъ ухо. Какъ ни какъ, Яковъ былъ мнѣ дорогъ и по прямымъ воспоминаніямъ, и по тому запасу молодыхъ душевныхъ силъ, который я въ свое время вложилъ въ эти воспоминанія, расцвѣтивъ ихъ и изукрасивъ. И этотъ дорогой для меня человѣкъ—шарлатанъ! Но въ ту же секунду я вспомнилъ наивную вѣру, съ которою фокусникъ Яковъ ходилъ въ полночь въ «старый домъ» для встрѣчи съ чортомъ, глубоко искренній тонъ его разсказовъ о превращеніи бѣлой кошки въ кучу денегъ, о «причащеніи адовскому богу», которое совершалъ мой дѣдъ Темкинъ-Лютый и проч. Вспомнилъ и отказался судить Якова за шарлатанство. Какъ все это могло вязаться вмѣстѣ—шарлатанство и вѣра, сознательное фокусничество и искреннее тяготѣніе къ таинственному—этого я даже не попытался разбирать, да и некогда было; гораздо быстрѣе мелькнули всѣ эти мысли, чѣмъ ходитъ теперь мое перо по бумагѣ. Мнѣ одно нужно было, одного хотѣлось—сейчасъ же увидѣть Якова. Единственно для того, чтобы услышать подтвержденіе своей догадки, я спросилъ Апостолова, какъ зовутъ медіума, но онъ зналъ только фамилію. Ни имени, ни, что въ особенности было прискорбно, адреса его онъ не зналъ. Торопливо пожавъ руку Шивѣ и кивнувъ головой остальнымъ, я, не отвѣчая на разспросы, кинулся вслѣдъ за Канавинымъ. Пальто я надѣлъ свое, но шапку захватилъ второпяхъ чужую и только на дворѣ замѣтилъ, что она, такая же бѣлая баранья, какъ моя, была мнѣ чрезмѣрно велика: по самыя уши меня закрыла. Ворочаться было однако некогда. Было часовъ десять. Фонари тускло горѣли въ морозномъ воздухѣ. Снѣгъ скрипѣлъ подъ полозьями саней. Рѣдкіе пѣшеходы старательно завертывали лица въ воротники, башлыки, платки.

— Яковъ! Яковъ!.. Господинъ Канавинъ!— крикнулъ я, выбѣжавъ за ворота и вглядываясь направо и налѣво.

— Чего орешь на пришпехтѣ?—осадилъ меня довольно, впрочемъ, снисходительно сидѣвшій у воротъ дворникъ. Онъ кутался отъ холода въ полушубокъ.

— Сейчасъ тутъ человѣкъ вышелъ... Куда онъ пошелъ?

— Много тутъ вашего брата шляется! Въ кабакъ пошелъ...

— Въ какой кабакъ?

— Мало-ль кабаковъ... вонъ кабакъ...

Я пошелъ въ кабакъ черезъ улицу. Блокъ на кабацкой двери заскрипѣлъ, со мной ввалили клубы морознаго воздуха. Въ кабакѣ было много народа: двое солдатъ, извозчикъ, цѣлая компанія мастеровыхъ. Было дымно отъ табаку и шумно. У самой стойки, за которою бойко хозяйничалъ молодой малый въ ситцевой рубахѣ, подъ накинутымъ сверху полушубкомъ, стоялъ спиной къ дверямъ человѣкъ въ длинной шинели. Молодой малый ловко вывертывалъ для него крючкомъ пробку изъ какой-то посудины. Мнѣ показалось, что это долженъ быть Яковъ. Но,

подойдя къ стойкѣ и заглянувъ ему въ лицо, я увидѣлъ, что ошибся. Молодой малый освѣдомился, чего я «позволю» налить. Я оглядывался.

— Эхъ, хочется барину выпить, да видно денегъ нѣтъ!

— Эй! баринъ! шапка-то у тебя чужая; гдѣ стибрилъ?

Нелѣпая слабость заставила меня сконфузиться этихъ остротъ веселой компаніи. Я выпилъ какой-то гадости, налитой мнѣ молодымъ малымъ, заплатилъ и ушелъ, провожаемый дальнѣйшими остротами. Сивуха сразу ударила въ голову, но не одурманила, а, напротивъ, придала бодрость и ясность мысли. Я пошелъ очень скоро, заглядывая въ лица прохожихъ и разсуждая примѣрно такъ: дворникъ подшутилъ надо мной,ославъ въ кабакъ, или ошибся, принявъ другого за того, кого я спрашивалъ; однако, зачѣмъ я иду влѣво, къ Владимірской? гораздо вѣроятнѣе, что Яковъ пошелъ въ противоположную сторону, можетъ быть, онъ даже живетъ гдѣ-нибудь въ Семеновскомъ Полку— непремѣнно такъ; въ небольшой этакой комнатѣ, перегороженной пополамъ ситцевой драпировкой; но какая вообще вѣроятность, что я его нагоню? Глупо; онъ можетъ быть на извозчикѣ поѣхалъ; извозчикъ погналъ шибко, потому—холодно, да если и пѣшкомъ, такъ ужь теперь далеко ушелъ.—Разсужденіе было вполнѣ логическое, и оставалось только принять его къ руководству, то-есть прекратить несообразное преслѣдованіе Якова и либо домой идти, либо къ Шивѣ вернуться. Я выбралъ послѣднее, разсчитывая все-таки хоть что нибудь подходящее услышать.

Гости Апостолова еще не всѣ разошлись. Дама въ серебряной коронѣ и высокій бѣлокурый молодой человѣкъ въ разбитыхъ очкахъ были налицо. Они чайничали. На вопросъ, отчего я такъ внезапно убѣжалъ, я разсказалъ, какое значеніе имѣетъ для меня медіумъ Яковъ Канавинъ. Разсказалъ горячо и нескладно, отчасти благодаря выпитой въ кабакѣ гадости, но во всякомъ случаѣ вызвалъ сочувствіе. Даже гвозди дамы въ серебряной коронѣ какъ будто смягчились, хотя сначала она и сдѣлала очень рѣзкое замѣчаніе насчетъ того, что Яковъ—мошенникъ. Бѣлокурый молодой человѣкъ, дѣтски-ласково положивъ мнѣ руку на плечо, тихо, медленно и слегка заикаясь, посовѣтовалъ сходить въ адресный столъ. Онъ самъ, очевидно, понималъ всю малоцѣнность своего совѣта и очень скорбѣлъ, что не могъ придумать ничего лучшаго: это можно было, какъ въ книгѣ, прочитать въ его огромныхъ, кроткихъ глазахъ. Шива съ своей стороны обѣщалъ непремѣнно разыскать Якова и притомъ съ такимъ тоже участіемъ, съ такимъ теплымъ чувствомъ, какого я за нимъ и не подозрѣвалъ даже. Ему, впрочемъ, ничего и не стоило разыскать Якова. Онъ встрѣтился съ нимъ въ одномъ великосвѣтскомъ семействѣ, въ которомъ давалъ уроки, и слѣдовательно всегда могъ навести справки.

Онъ сдержалъ свое слово.

Впрочемъ, теперь не объ этомъ. Теперь мнѣ хочется разсказать про даму въ серебряной коронѣ, про бѣлокураго молодаго человѣка въ разбитыхъ очкахъ, про рыжебородаго художника. Очень достойные вниманія люди, особливо по нынѣшнему времени, когда васъ съ разныхъ сторонъ увѣряли, увѣряютъ и отчасти даже успѣли увѣрить, что ничего достойнаго вниманія нѣтъ, а есть какая-то дребедень, жалкая и смѣшная, въ которую даже вглядываться не стоитъ. Теперь, когда наши добровольцы уже совершили свои подвиги въ Сербіи, а наши войска еще совершаютъ подвиги въ Европѣ и Азіи, на сушѣ и на водѣ, многіе радуются, что вотъ, дескать, внѣшній толчокъ насъ разбудилъ, вызвалъ новыя чувства, новыя мысли, новыя стремленія, а то, дескать, вся Русь спала сномъ непробуднымъ. «Вся Русь»— это слишкомъ сильно сказано. Увѣряю васъ, она не вся спала, и вамъ стоитъ только немного повдумчивѣе осмотрѣться, чтобы увидѣть, что бодрственная жизнь шла и идетъ своимъ чередомъ. Вы ея не замѣчали—тѣмъ хуже для васъ: вы пропустили много любопытнаго, занимательнаго и поучительнаго. Что касается патріотическихъ чувствъ, мыслей, стремленій, то я даже совершенно не понимаю, какъ можно ихъ считать и называть новыми: крымская война и польское возстаніе кажется отъ насъ не за горами. Я, впрочемъ, ничего не имѣю сказать объ этихъ чувствахъ, мысляхъ и стремленіяхъ. Это—дѣло высшей такъ сказать политики, въ которую я не мѣшаюсь. И заговорилъ-то я объ ней только для того, чтобы сказать что не объ ней говорить хочу. На всякій случай, чтобы недоразумѣнія какого не вышло. Однако, довольно прелюдій. Сами увидите, достойны-ли вниманія личности, съ которыми я васъ хочу познакомить, и, если достойны, то въ какомъ смыслѣ.

Захваченную у Апостолова чужую шапку я унесъ съ собой домой: какъ держалъ въ рукахъ, такъ и унесъ, забывшись. На другой день пошелъ отыскивать хозяина. Прежде всего, разумѣется—къ Шивѣ. Онъ объяснилъ мнѣ, что шапка, по всѣмъ видимостямъ, должна принадлежать Николаю Ивановичу

Сицкому, бѣлокурому молодому человѣку въ разбитыхъ очкахъ: что Сицкій этотъ живетъ тамъ-то и тамъ-то, на Выборгской Сторонѣ. На вопросъ о томъ, что онъ за человѣкъ, Апостоловъ отвѣчалъ довольно загадочно.

— Знаете пословицу: рѣзвенькій самъ набѣжитъ, а на тихонькаго Богъ нанесетъ. Ну такъ вотъ онъ—изъ тихонькихъ.

Сицкій самъ отворилъ мнѣ дверь. Онъ былъ въ блузѣ, которая, какъ на вѣшалкѣ, висѣла на его длинномъ, нескладномъ туловищѣ. Волосы были перехвачены узенькимъ ремешкомъ поперекъ лба. Въ одной рукѣ онъ держалъ большія портняжныя ножницы. Онъ внимательно и нѣсколько удивленно посмотрѣлъ на меня и потомъ протянулъ:

— А! это—вы!

Долженъ сознаться, что въ тонѣ этого восклицанія было мало для меня лестнаго. Видно было, что молодой человѣкъ кого-то ждалъ, но только совсѣмъ не меня, и что мое появленіе его значительно разочаровало. Я объяснилъ, въ чемъ дѣло.

— Да, да, пойдемте ко мнѣ—сказалъ молодой человѣкъ, вводя меня изъ кухни (она же и передняя) въ свою комнату (квартира вся состояла изъ комнатъ отъ жильцовъ).— Да, да, я думаю, вамъ очень неловко было въ моей шапкѣ; у меня очень большая голова...

— Вамъ, я думаю, еще хуже пришлось. Извините, пожайлуста...

— Нѣтъ, что-жъ? Мнѣ ничего. Я сверхъ шапки-то, знаете, платкомъ носовымъ повязался. Даже очень хорошо вышло, потому что уши не мерзли.

Напоминаю читателю, что голосъ у Сицкаго былъ очень слабый, говорилъ онъ очень медленно и немножко заикался. Впрочемъ, своими голосовыми недостатками онъ нимало не стѣснялся и говорилъ чрезвычайно спокойно: не торопился, не удерживался отъ заиканія, не напиловалъ голоса. Такимъ я его слышалъ не только въ этотъ разъ, а и впослѣдствіи, при самыхъ разнообразныхъ обстановкахъ. Комнату онъ занималъ маленькую, низенькую, сырую и холодную. Единственное окно выходило на маленькій, но пустынный дворъ. У окна стоялъ столъ, на столѣ были аккуратно разложены части распоротаго сюртука или пиджака. Тутъ же лежали наперстокъ, нитки, куски матеріи. Десятка два книгъ красовались на прибитой къ стѣнѣ полкѣ. Кровать, три стула, еще столъ, на которомъ стоялъ самоваръ, чайникъ и два стакана, дополняли меблировку. Все было очень чисто и аккуратно.

— Ну, что же, Апостоловъ еще не узналъ адреса этого... какъ его? Медіума-то?

— Нѣтъ, гдѣ же? Вчера вечеромъ вѣдь только обѣщалъ...

— Да, да. А это очень интересно, что вы вчера... Звонятъ, кажется?

Сицкій вскочилъ и вышелъ.

— Не ко мнѣ,—грустно сказалъ онъ, возвращаясь.—Давайте чай пить.

За чаепитіемъ повторилась та же исторія, то-есть, заслышавъ звонокъ, Сицкій вскочилъ, выбѣжалъ въ кухню и вернулся огорченный. Я, наконецъ, спросилъ, не стѣсняю ли его, такъ какъ онъ, очевидно, кого-то ждетъ.

— О нѣтъ. Я бы прямо сказалъ, еслибы вы мѣшали. За что же я васъ буду въ такое положеніе ставить? Напротивъ, я вамъ очень, очень радъ. Это правда, что я жду.. Но это ничего, увѣряю васъ... Видите ли, сегодня ко мнѣ долженъ придти одинъ мужикъ, долгъ отдать. Только вы не подумайте... Видите ли, какъ дѣло было. Онъ подошелъ ко мнѣ на улицѣ. «Дай, говоритъ, баринъ на два дня двадцать три копѣйки, нехватаетъ на сапожнишки», знаете, валенки. Я ему далъ тридцать пять копѣекъ, двугривенный и пятиалтынный, такая монета случилась. Онъ мой адресъ взялъ, сегодня вотъ придетъ. Придетъ вѣдь, я думаю, а?

— Право не знаю. Вѣрнѣе, что не придетъ. Много вѣдь этакихъ-то на улицѣ взаймы берутъ. Какой ужъ тутъ заемъ!

— Ну нѣтъ, онъ вѣдь обѣщалъ, самъ обѣщалъ. Онъ бы могъ просто попросить, а то говоритъ: непремѣнно, говоритъ, принесу.

Видно было, что Сицкій самъ нетвердо вѣрилъ въ исполненіе обѣщанія прохожаго мужика и только очень хотѣлъ вѣрить. Мнѣ тоже хотѣлось, чтобы мужикъ пришелъ, больше изъ сочувствія къ этому большеголовому, большеглазому, кроткому существу. Я сомнѣвался однако. Сомнѣвался и былъ посрамленъ, потому что послѣ слѣдующаго звонка Сицкій ввелъ въ комнату небольшого, невзрачнаго и молодого еще мужика.

— Ну вотъ, ну вотъ, пришелъ, спасибо,— говорилъ Сицкій, нелѣпо хватая мужика за плечи, точно собираясь поднять его на воздухъ.

— Тебѣ спасибо, Миколай Иванычъ, степенно возражалъ тотъ. Онъ приставилъ къ стѣнѣ бывшую у него въ рукахъ пилу, свалилъ тутъ же съ плечъ мѣшокъ, досталъ изъ-за пазухи кошель и торжественно поднесъ Сицкому на лѣвой ладони двугривенный и пятиалтынный. Потомъ сталъ опять накидывать мѣшокъ на плечо.

— Чего-жъ ты? Какъ тебя звать-то?

— Семенъ Петровъ.

— Чего-жъ ты собираешься, Семенъ Петровичъ? Садись, гость будешь, чайку попьемъ.

— Нельзя, Миколай Иванычъ, на Ми-

кольскій надо, и то позамѣшкался, парня, одного поджидалъ. Часовъ одиннадцать, поди есть?

— Есть. Ну, въ другой разъ заходи.

— На этомъ опять же спасибо. Прощенья просимъ.

— Такъ зайдешь? Ежели что по портняжной части понадобится, такъ тащи. Починка ли какая, или что — штаны такіе сошью, что любо два.

— Ай мастеришь?

— Мастерю.

— Я думалъ, ты по ученой, по книжной, значитъ, части.

— И этотъ грѣхъ есть. Книжки захочешь почитать—найдемъ.

— Не знаю я грамотѣ-то.

— Выучу.

Мужикъ засмѣялся и окончательно распростился.

Сицкій какимъ-то задумчивымъ гоголемъ ходилъ по комнатѣ, широко разставляя длинныя ноги и побрякивая въ рукѣ только что полученными двугривеннымъ и пятиалтыннымъ.

— Ну, вотъ какъ вы ошиблись!—сказалъ онъ, останавливаясь передо мной и счастливо улыбаясь, больше глазами, чѣмъ губами.

— А вы развѣ такъ ужъ увѣрены были, что онъ придетъ?

— Нѣтъ, и я не былъ увѣренъ. Только все-таки такого полнаго, настоящаго невѣрія у меня не было. Конечно, тутъ могло разное выйти, могъ онъ и не придти. Это— какъ въ лотереѣ: больше вѣроятности, что не выиграешь; ну, а можетъ, и счастливый билетъ выкинется. Только тутъ наоборотъ.

— То-есть, тутъ больше вѣроятности, что мужикъ пришелъ бы? (Сицкій утвердительно мотнулъ головой). И вы настолько знаете народъ, чтобы говорить такъ рѣшительно?

— Какъ вамъ сказать? Народъ я знаю мало, да и кто-же его знаетъ не мало? Вглядывался... но больше такъ, теоретически, думалъ больше, много думалъ ..

— Мало вѣдь этого во всякомъ случаѣ.

— О да, я знаю, что все это надо дополнить, провѣрить, надо много самому видѣть. Я, именно, теперь къ этому готовлюсь.

— Гм... Развѣ большія приготовленія нужны?

Сицкій изумленно посмотрѣлъ на меня, потомъ снисходительно улыбнулся, сѣлъ рядомъ и положилъ мнѣ руку на плечо—любимый его жестъ въ разговорѣ.

— Огромныя, Темкинъ, оч-чень, оч-чень большія. Нужно во-вопервыхъ знаніе, не грошовое какое-нибудь, а очень точное и полное, потому что народъ въ этомъ отношеніи чрезвычайно требователенъ, гораздо требовательнѣе нашего брата... Вотъ вы улыбаетесь; оно съ перваго-то раза — какъ будто и въ самомъ дѣлѣ вздоръ, а вы подумайте хорошенько, такъ и увидите, что не вздоръ. Нашъ братъ больше для куска хлѣба учится, для диплома тамъ, для экзамена. И такъ это укоренилось, что малый мальчишка и тотъ ужъ имѣетъ въ виду. А если мужикъ что узнать хочетъ, такъ потому, что душа знанія проситъ. Ну, читать, писать, считать, это—для домашняго обихода, а что сверхъ этого—для души. Значитъ, тутъ требованіе иное. Возьмите опять вотъ что. У насъ все вопросы: женскій вопросъ, восточный вопросъ, вопросъ о происхожденіи человѣка, о свободѣ воли. Мужикъ не можетъ такъ хронически въ вопросительномъ видѣ стоять. У него или нѣтъ вопросовъ, или они сейчасъ же разрѣшеніе получаютъ, потому ему ясность, точность, опредѣленность нужна. Мы вотъ вчера съ вами подъ столъ лазили, чорта искали, котораго вашъ другъ Яковъ показать хотѣлъ, а мужикъ чорта очень хорошо знаетъ: у него, говоритъ, заячья лапа. Вотъ до какой точности, до какой подробности...

Я разсмѣялся.

— Конечно, тутъ нелѣпостей много,—спокойно продолжалъ Сицкій: — я вамъ только о тѣхъ требованіяхъ говорю, которыя народъ знанію ставитъ. Если вы сумѣете вопросъ о чортѣ разработать, совершенно, по своему вкусу, ну сообразно тамъ наукѣ, но чтобы было такъ же полно, подробно, отчетливо, какъ теперешнее представленіе мужика о чортѣ, мужикъ пойметъ и оцѣнитъ. А въ колебательномъ видѣ: либо дождикъ, либо снѣгъ, либо будетъ, либо нѣтъ—этого лучше и не несите народу, слушать не станетъ и всякое къ вамъ уваженіе потеряетъ. Или еще... Вы гдѣ учились?

Я сказалъ.

— Ну, вотъ возьмемъ какую-нибудь вамъ знакомую науку—ну химію ;что ли. Вамъ интересно знать, что древніе насчитывали четыре стихіи, четыре простыя тѣла, что понятіе это съ теченіемъ времени измѣнялось такъ-то и такъ то и прочее. Нашего брата даже всегда тянетъ, непремѣнно, такъ начать: прежде полагали такъ-то, потомъ иначе, потомъ еще иначе, а нынѣ полагаютъ разно—одни такъ, другіе иначе. Вы очень ученѣйшій будете человѣкъ, если будете знать все это, то-есть весь рядъ ошибокъ и заблужденій мысли. И это, разумѣется, очень важно, но мужику даромъ не нужно. Какъ кто думалъ, это для него не интересно, а интересно, какъ самому думать. Опять-таки, чтобы ясно, полно...

— Послушайте, Сицкій, вы вотъ сейчасъ про Якова говорили. Такъ, вѣдь онъ—тоже мужикъ, народъ...

— Ну, какой же онъ мужикъ? Лакеемъ, вы говорите, былъ, фокусами занимался... Нѣтъ! А впрочемъ, не знаю. Очень интересный во всякомъ случаѣ человѣкъ, и вы меня съ нимъ, пожалуйста, познакомьте, когда разыщите. Очень, очень интересно...

Сицкій задумался. Я съ нѣкоторымъ изумленіемъ смотрѣлъ на него, даже, долженъ откровенно признаться, съ нѣкоторою мелкою досадой. Забѣгая впередъ, скажу, что мы его впослѣдствіи прозвали «бѣднымъ музыкантомъ». Прозвище тѣмъ болѣе повидимому нелѣпое, что Сицкій ни на какомъ инструментѣ не игралъ. Такъ ужъ вышло. Во время одного любопытнѣйшаго похожденія Сицкаго (я его въ другой разъ разскажу) Нибушъ смотрѣлъ, смотрѣлъ на него, да и говоритъ; «эхъ, бѣдный ты музыкантъ!» И такъ эта кличка и пристала къ нему, точно пластырь. Нелѣпо и въ то же время удивительно похоже, удивительно кстати, такъ что даже изумляться надо было, что онъ такъ долго безъ этой клички ходилъ. «Бѣдный музыкантъ», значитъ, можете сами судить, впечатлѣніе чего-то жалостнаго, безпомощнаго. Такое впечатлѣніе Сицкій произвелъ на меня съ перваго же раза на неудавшемся спиритическомъ сеансѣ у Апостолова. И вдругъ этотъ «бѣдный музыкантъ», который вдобавокъ моложе меня годами, говоритъ со мной, какъ учитель. Такъ и по формѣ выходило, и по сущности, потому что я долженъ былъ признать нѣкоторую для меня новость соображеній Сицкаго. Недостатки его рѣчи придавали ей даже какую-то особенную силу: тихо, медленно, съ заиканіемъ, но совершенно покойно, увѣренно. Видно было, что онъ въ самомъ дѣлѣ, «много думалъ» о предметѣ разговора, пришелъ къ непререкаемымъ для него результатамъ и даже не можетъ себѣ представить мало-мальски резонныхъ возраженій. А мнѣ, какъ на грѣхъ, ни одно не приходило въ голову.

— Значитъ, вы отвергаете пользу исторіи мысли?—спросилъ я, самъ чувствуя, что говорю, неподходящее.

— Совсѣмъ нѣтъ, совсѣмъ даже напротивъ. Вы меня не поняли. Для васъ исторія мысли любопытна, даже необходима, потому что уясняетъ дѣло. Вы должны знать и ее, и самые важные изъ современныхъ взглядовъ на предметъ и, уже переработавши все это такъ, чтобы имѣть опредѣленное, неколеблющееся понятіе, можете предложить результатъ, замѣтьте, *результатъ* мужику. А процессъ развитія мысли весь при васъ останется. Когда-нибудь и имъ мужикъ заинтересуется, ну, а теперь просто спроса нѣтъ. Въ нѣкоторыхъ сферахъ онъ есть и теперь. Напримѣръ, исторія религіозныхъ вѣрованій, на сколько я понимаю, можетъ заинтересовать мужика...

— Позвольте однако, Сицкій; вѣдь мы начали съ того, что вы готовитесь къ познанію, такъ сказать, народа. А между тѣмъ, вы во-первыхъ такъ говорите, какъ будто знаете его и теперь ужъ вдоль и поперекъ. А во-вторыхъ...

— Я составилъ себѣ понятіе,—перебилъ Сицкій:—если увижу, что оно неполно или вздорно, такъ дополню или брошу...

— А во-вторыхъ,—продолжалъ я,—узнать народъ и учить его, это—двѣ разныя вещи. И я все-таки думаю, что для того, чтобы узнать его, особенныхъ приготовленій не требуется. Это всякій можетъ при добромъ желаніи.

— Напрасно вы такъ думаете. Съ чего это мужикъ станетъ ради вашего добраго желанія душу передъ вами раскрывать? Вы должны его уваженіе пріобрѣсти, представиться ему прежде всего дѣльнымъ, стоющимъ человѣкомъ...

— Прежде всего! Замѣтьте, вы все это еще «во первыхъ» говорите. Во-первыхъ—знаніе. Ну хорошо. Значитъ есть и во-вторыхъ?

— Есть и во-вторыхъ, и въ-третьихъ. Во-вторыхъ какой-нибудь физическій трудъ, мастерство, что-нибудь, вообще какая-нибудь умѣлость. Неумѣлость народъ только юродивымъ да блаженнымъ прощаетъ. А въ-третьихъ — подвигъ...

— Какой такой подвигъ?

— Какой подвигъ — это вы можете изъ исторіи узнать...

— Не всѣмъ же, однако, быть героями,—замѣтилъ я съ раздраженіемъ.—Простымъ-то смертнымъ, нашему брату, куда дѣваться?

— Для простыхъ дѣлъ нужны простые люди, для героическихъ—герои.

— И вы изъ героевъ, конечно?

— Я попробую,—просто сказалъ Сицкій, даже не останавливая своей прогулки задумчиваго гоголя.

Это было уже слишкомъ! Онъ попробуетъ! Онъ сказалъ это такимъ тономъ, какимъ бы вы сказали: я попробую переставить стулъ, или: я попробую пройтись по Невскому. Эта, какъ мнѣ казалось, бездонная пропасть самолюбія просто выводила меня изъ себя. Милый «бѣдный музыкантъ»! Ты попробовалъ, за тобой нѣтъ недомокъ, ты совершилъ свой подвигъ. Прости же мнѣ ту мелкую, дрянную завистливую досаду, съ которою я выслушалъ твое «я попробую»... Досада моя была тѣмъ сильнѣе что съ нею начинало уже борьбу чувство уваженія, которое невольно закрадывалось въ душу при видѣ этого безмятежнаго спокойствія. Чѣмъ-

нибудь да пріобрѣтено же оно, есть же за нимъ сила.

— Будьте поснисходительнѣе, господинъ Сицкій — сказалъ я. — Ну хорошо; ну вы герой.. будущій. Честь вамъ и слава, опять-таки въ будущемъ. Но у васъ все такъ взвѣшено и смѣрено, что, можетъ быть, вы и мнѣ не откажетесь подать совѣтъ.

Я иронизировалъ глупо, грубо, но иронизировалъ. Онъ не обратилъ, однако, никакого вниманія, да, какъ теперь припоминаю, и вообще не понималъ иронiи.

— Ахъ, я буду очень радъ, если сумѣю. Только вѣдь я васъ совсѣмъ не знаю, — отвѣчалъ онъ, какъ ни въ чемъ не бывало.— Это отъ очень разныхъ личныхъ обстоятельствъ зависитъ. Я и про себя не знаю. Силъ не хватитъ—ну что-жъ дѣлать? Шить, кроить умѣю, грамотѣ знаю—жить всетаки можно, на что-нибудь пригожусь. Главное надо тщательно свои силы, какъ вы говорите, взвѣсить и смѣрить, а тамъ ужъ и выбирать. Главное, не за свое дѣло не браться...

— Гм... Какъ бы, однако, вотъ чего не вышло: иной, пожалуй, дурно взвѣситъ, да въ герои и полѣзетъ, знаете, какъ у Гоголя «выше своей сферы», а иной изъ трусости откажется отъ дѣла, которое можетъ дѣлать...

— Да, злоупотребленія всегда дѣло возможное. Я про честныхъ людей говорю, вотъ какъ я, вы...

— Покорнѣйше васъ благодарю!

Сицкій недоумѣвающе посмотрѣлъ на меня съ секунду и потомъ продолжалъ, отказываясь повидимому проникнуть въ смыслъ моей иронической благодарности:

— Трусость! Трусость—несчастіе. Состояніе нервовъ, которое до извѣстной степени можно, конечно, преодолѣть, но которое надо тоже взять во вниманіе при оцѣнкѣ своихъ силъ. Если человѣкъ добросовѣстно работалъ надъ собой и всетаки не могъ преодолѣть, такъ пусть онъ такъ прямо и говоритъ: того-то и того-то я выносить не могу. Кто-жъ его попрекнетъ за это? Одинъ можетъ десять пудовъ поднять, другой—три. Только чтобы была дѣйствительно добросовѣстная работа надъ собой и добросовѣстная оцѣнка...

Въ комнату вошла старая женщина въ сарафанѣ, съ метлой въ одной рукѣ и съ тряпкой въ другой.

— Что-жъ, голубь, идти тебѣ пора, прибирать пришла,—сказала она очень громко, какъ говорятъ глухіе, и наклонила ухо въ сторону Сицкаго, очевидно привычная къ его слабому голосу.

— Пора, пора, бабушка, сейчасъ уйдемъ.

— А пинжакъ-отъ Ванюшкинъ готовъ аль нѣтъ?

— Экъ ты, бабушка, захотѣла! Видишь, только еще распоролъ.

— Ну ладно, ладно, я такъ...

Мы вышли вмѣстѣ и прямо отъ воротъ повернули въ разныя стороны.

Само собою напрашивается сравненіе Сицкаго съ Апостоловымъ. Я очень завидую обоимъ, завидую теперь ужъ, конечно, безъ всякой подмѣси дряннаго, полузлобнаго чувства, а напротивъ—съ глубочайшимъ уваженіемъ къ умѣнію взвѣсить свои силы и распоряжаться ими. Вы можете разно смотрѣть на ихъ мнѣнія и на нихъ самихъ, но вы должны признать за ними великое счастіе полной сознательности ихъ личной жизни. Я не выдаю ихъ за непогрѣшимыхъ папъ, даже не пытаюсь убѣдить васъ въ справедливости ихъ мнѣній, хотя думаю, что въ общемъ и тотъ и другой въ своемъ родѣ правы. Возможны для нихъ, конечно, разнаго рода уклоненія и ошибки. Насколько я могу судить по нѣкоторымъ отрывочнымъ разговорамъ Апостолова, ихъ было у него въ прошломъ даже довольно много. Но въ концѣ концовъ оба стоятъ на совершенно опредѣленной дорогѣ, имѣя при себѣ багажъ, строго соразмѣренный съ ихъ силами и способностями. У Сицкаго эта соразмѣрность была даже какою-то idée fixe. Онъ очень часто возвращался къ ней въ разговорахъ и строилъ на ней цѣлую утопію. Достигнувъ вѣрной самооцѣнки (она была безусловно вѣрна, какъ покажетъ его дальнѣйшая исторія), Сицкій думалъ, что и всякій на это способенъ. Этимъ именно путемъ, полагалъ онъ, должны исчезнуть мелочныя самолюбія, становящіяся поперекъ дороги всякому общему дѣлу. Съ его точки зрѣнія не было никакого позора въ какомъ-нибудь природномъ недостаткѣ, если только человѣкъ пытался съ нимъ бороться. Въ этомъ направленіи онъ шелъ до послѣднихъ предѣловъ. Я помню его уморительно-смѣшную бесѣду съ однимъ пріятелемъ. Пріятель этотъ бралъ на себя непосильную для него роль. Сицкій отговаривалъ его, доказывая между прочимъ, что роль эта требуетъ ума, а онъ, пріятель, не уменъ. Пріятель былъ совсѣмъ иного о себѣ мнѣнія и потому сердился. Но Сицкій былъ невозмутимъ. По обыкновенію словоохотливо, пространно, медлительно и заикаясь, онъ дѣлалъ опредѣленія ума и глупости и подгонялъ подъ эти опредѣленія личность претендента. Это былъ, впрочемъ, единственный извѣстный мнѣ случай, что Сицкій такъ грубо (хотя у него и это какъ-то не грубо вышло) вмѣшался въ чужое личное дѣло. Онъ былъ инстинктивный врагъ всякой кружковой и личной тираніи. Роль товарищей, хоть будь они семи пядей во лбу, ограничивалась для него посредственнымъ содѣйствіемъ уясненію

субъектомъ его жизненной задачи. Окончательный, рѣшающій голосъ долженъ былъ принадлежать самому субъекту, такъ что если онъ сказалъ: я это могу сдѣлать, или: я этого не могу сдѣлать—говорить ничего не оставалось. Съ самимъ Сицкимъ былъ разъ на моихъ глазахъ такой случай. Въ довольно большомъ обществѣ ему была предложена одна очень щекотливая обязанность. Онъ отказался. Кто-то сзади крикнулъ: «подлецъ!» Это было до такой степени дико, до такой степени несообразно съ чистотой души Бѣднаго Музыканта, что всѣ оторопѣли. Сицкій широко раскрылъ свои и безъ того огромные глаза. Онъ, кажется, только удивлялся. Водворилось молчаніе, прерванное басомъ Нибуша: «тотъ подлецъ, кто Сицкаго подлецомъ назвалъ!» Къ Сицкому протискался одинъ молодой человѣкъ, горбоносый, бородатый брюнетъ Манвеловъ, и, протягивая ему руку и краснѣя, какъ ракъ, сказалъ съ нерусскимъ акцентомъ: «я—подлецъ... я говорилъ... ошибка». Сицкій внимательно посмотрѣлъ на него, потомъ кивнулъ головой, притянулъ его къ себѣ, посадилъ рядомъ и положилъ ему руку на плечо. Бесѣда пошла своимъ чередомъ. Манвеловъ сидѣлъ, не поднимая глазъ и стараясь не шевелиться, чтобы не тревожить руки Бѣднаго Музыканта...

Въ той массѣ всяческихъ колебаній, волненій, сомнѣній, запутанностей, среди которой намъ приходится жить, люди съ строго обдуманною, твердо намѣченною задачей жизни составляютъ сравнительно большую рѣдкость (я не о тѣхъ, разумѣется, говорю, кто твердо намѣтилъ какой-нибудь жирный кусокъ). Оттого такіе люди нѣсколько давятъ окружающихъ, слишкомъ ужъ импонируютъ имъ. Свалить эту тяжесть можетъ только очень короткое съ ними знакомство, большая близость отношеній. Апостоловъ, напримѣръ, съ которымъ подобная близость была немыслима, почти всегда производилъ въ окружающихъ непріятное ощущеніе тяжести. Съ Сицкимъ ничего такого не было. Апостоловъ всегда держалъ кое-что про себя и только очень рѣдко позволялъ заглядывать себѣ въ душу поглубже. Сицкій, напротивъ, съ перваго же раза былъ весь на ладони. Вы видѣли, что въ первое же наше свиданіе я узналъ его святая святыхъ безъ всякихъ съ моей стороны разспросовъ и вообще усилій. Апостолова чуждались и, если по совѣсти говорить, не любили. Съ Сицкимъ же всякій чувствовалъ себя легко, и всѣ, кромѣ надменныхъ дураковъ, его очень любили. Апостоловъ былъ холодный и просто добрый человѣкъ, готовый при случаѣ оказать услугу. Сицкій былъ какое-то ходячее самопожертвованіе. Онъ предавался ему со страстію. Когда я вамъ разскажу хоть то его похожденіе, которое подало поводъ прозвищу «бѣдный музыкантъ», вы увидите, до какихъ даже маловѣроятныхъ вещей могъ онъ въ этомъ направленіи доходить.

Во всякомъ случаѣ знакомство и извѣстная короткость Шивы и Бѣднаго Музыканта очень естественны. Въ сущности они съ перваго же взгляда оказывались одного поля ягодами. Такъ даже по внѣшности. Но присутствіе на вечерѣ у Апостолова дамы въ серебряной коронѣ меня нѣсколько удивило. Я еще больше удивился, когда узналъ, что она—вдова статскаго совѣтника и мать двухъ дѣтей. А между тѣмъ эта статская совѣтница во многихъ отношеніяхъ была гораздо родственнѣе Апостолову, чѣмъ Сицкій и всѣ мы.

Исторію ея я знаю отчасти отъ Шивы, отчасти отъ нея самой, отчасти изъ другихъ источниковъ. Кое-что видѣлъ самъ. Звали ее Марья Львовна Бѣловерская. Мужъ ея былъ не совсѣмъ обыкновенный статскій совѣтникъ. Но разныя его необыкновенности къ дѣлу не идутъ, и я скажу только (въ интересахъ нижеслѣдующаго), что, прослуживъ двадцать лѣтъ въ одномъ вѣдомствѣ, славящемся своею хлѣбностью, онъ оставилъ семью нищею. Сама Марья Львовна была за то совершенно обыкновенная статская совѣтница, впрочемъ простая, неглупая и добрая женщина. Жили они тихо, смирно, благополучно, вообще хорошо. Однажды мужъ поздно засидѣлся за работой. Жена, поджидая его, прилегла, какъ была одѣта, въ спальнѣ и задремала. Вдругъ слышитъ въ кабинетѣ стукъ, точно что упало. Окликнула мужа — молчитъ, въ другой разъ — молчитъ. Встала вдова (она уже была вдовой въ эту минуту), пошла въ кабинетъ и увидѣла, что мужъ лежитъ навзничъ на полу, раскинувъ руки. Ему дурно конечно; надо его вспрыснуть водой, намочить голову одеколономъ, дать понюхать нашатырнаго спирта, послать за докторомъ. Все это исполняетъ вдова, но задолго до прихода доктора убѣждается, что мужъ умеръ. Теперь представьте вы себѣ женщину, привычную къ тихой, смирной, благополучной жизни, остающуюся ночью наединѣ съ трупомъ любимаго мужа (Дѣти спятъ, и хорошо еще, что спятъ; кухарки не оказалось дома, нянька ушла за докторомъ). Сомнѣній нѣтъ: это—трупъ, она—вдова, дѣти—сироты, тихая, спокойная жизнь надломлена въ одно мгновеніе нелѣпою случайностью, называемою апоплексическимъ ударомъ. Очень обыкновенный случай вообще, очень необыкновенный въ жизни вдовы. Что тутъ передумано, что перечувствовано—это вы ужъ постарайтесь сами себѣ представить. Я разсказывать не стану, потому что не съумѣю,

да и не особенно жалѣю объ этомъ. Но за то тѣмъ сильнѣе жалѣю, что не могу вамъ въ яркихъ образахъ и картинахъ разсказать рядъ послѣдующихъ обыкновенностей: будочники, протоколъ, судебный приставъ, обмывальщица, гробовщикъ, читальщики псалтыря, священники, факельщики. Никто кажется не изображалъ въ литературѣ обыкновенной обстановки смерти во всѣхъ ея подробностяхъ. У насъ есть нѣсколько превосходныхъ, высокохудожественныхъ описаній смертнаго часа, но всѣ они мало касаются того ряда мелкихъ обстоятельствъ, которыми смертный часъ осыпанъ, какъ крупный брильянтъ мелкими розами. Это очень жаль, потому что и въ розахъ отражается и переливается свѣтъ, и онѣ способствуютъ общей красотѣ всей драгоцѣнности. Я, конечно, не мечтаю, восполнить этотъ пробѣлъ въ литературѣ. Мнѣ жаль только, что я не умѣю разсказать вамъ, какъ эти розы украсили серебряной короной голову вдовы статскаго совѣтника и превратили ея глаза въ острые гвозди.

Все складывалось какъ нельзя лучше. Будочники немедленно узнаютъ о событіи и являются. Убитая горемъ, почти обезумѣвшая отъ неожиданности вдова проситъ ихъ поднять трупъ и положить его на кровать. Будочники оказываются чрезвычайно любезными и милыми людьми, успокоиваютъ вдову, просятъ ее «не убиваться», но, такъ какъ они вмѣстѣ съ тѣмъ—прекрасные будочники, строгіе блюстители порядка и исполнители своего долга, то они отказываются прикоснуться къ трупу до прихода начальства. И вдова смотритъ на помертвѣлое лицо статскаго совѣтника, на его раскинувшіяся руки, на его распростертое на полу туловище. Является начальство. Оно тоже очень любезно, очень внимательно, но по долгу службы, не можетъ поднять трупъ, пока не написана будетъ послѣдняя строчка протокола И дорогой трупъ все валяется, какъ падаль. Обмывальщица и гробовщикъ, конечно, не заставляютъ себя ждать. На счастье, они—тоже прекрасные люди и желаютъ имѣть точный и подробный заказъ, чтобы потомъ не вышло какихъ-нибудь недоразумѣній, пререканій, непріятностей. Какъ добросовѣстный человѣкъ, гробовщикъ освѣдомляется, сколько орденовъ было у покойника и сколько, слѣдовательно, понадобится подушекъ. Вдова не понимаетъ. «Да, были ордена?..—думаетъ она: — Андрюша ждалъ Анны на шею... какіе ордена?.. чего этому человѣку нужно?» —Гробовщикъ видитъ, что тутъ ничего не подѣлаешь, и рѣшается отложить второстепенный вопросъ о количествѣ подушекъ подъ ордена до завтра. Но ему необходимо нужно знать, съ балдахиномъ или безъ балдахина будетъ катафалкъ. Такъ какъ вдова изъ стороны балдахина оказывается недостаточно понятливою, то онъ, будучи не только добросовѣстнымъ, но чрезвычайно доброжелательнымъ и уважительнымъ человѣкомъ, даетъ совѣтъ, чтобы съ балдахиномъ: потому покойникъ носилъ чинъ немалый, не титулярный какой-нибудь, и до превосходительства уже недалеко было! Священникъ. Почтенный старичокъ съ ласковымъ взглядомъ. Онъ привыкъ утѣшать неутѣшныхъ и знаетъ слова утѣшенія. Онъ совѣтуетъ молиться и радоваться, что статскій совѣтникъ умеръ до вознесеньева дня, вслѣдствіе чего панихиды будутъ начинаться и оканчиваться радостною пѣснію «Христосъ воскресе изъ мертвыхъ». Но ему нужно, однако, знать, съ діакономъ или безъ діакона будутъ служиться панихиды, а также насчетъ сорокоуста. Вдова безсознательно отвѣчаетъ наудачу: съ діакономъ. Священникъ одобряетъ и находитъ, что статскій совѣтникъ долженъ быть почтенъ нѣкоторою пышностью, хотя и соразмѣрною со средствами статской совѣтницы. Діаконъ. Онъ тоже знаетъ слова утѣшенія. А дѣти теребятъ положенный на столъ трупъ новопредставленнаго болярина Андрея и кричатъ: «папа, вставай!» И щемитъ сердце вдовы, и кружится ея голова. «Отецъ-діаконъ,—говоритъ она съ отчаяніемъ:—какъ могу я теперь молиться?!»—«Это точно,—простодушно отвѣчаетъ отецъ-діаконъ:—это точно, Марья Львовна; говоримъ мы эти слова утѣшенія, а сами знаемъ, что вамъ теперь не до того».—Вдова благодарно смотритъ на отца-діакона: его простодушныя слова, именно, своимъ простодушіемъ и неформенностью проливаютъ каплю бальзама въ измученную душу. Но одна капля бальзама въ измученной душѣ гораздо даже меньше, чѣмъ капля воды въ морѣ... Судебный приставъ. Достойный молодой человѣкъ, вполнѣ изящный и современный. Онъ вынужденъ безпокоить вдову описью и опечатаніемъ имущества. Серебряный портсигаръ и золотые часы съ цѣпочкой онъ не беретъ во вниманіе. «Я не видалъ этого,—говоритъ онъ, любезно улыбаясь:—спрячьте, всетаки пригодится». Онъ опишетъ только мебель и, главное, капиталы. Но капиталовъ оказывается только четыре билета внутреннихъ съ выигрышами займовъ.—Какъ же это?—недоумѣваетъ достойный молодой человѣкъ:—статскій совѣтникъ—двадцать лѣтъ служилъ и въ такомъ вѣдомствѣ...

А вдова все думаетъ, чѣмъ она виновата. «Господи,—думаетъ она:—чѣмъ я провинилась, за что я такъ страшно наказана? и чѣмъ дѣти-то виноваты?» А когда къ ней пристаютъ съ орденами, балдахинами, стат-

скимъ совѣтникомъ, она думаетъ: «да чѣмъ же я виновата, что онъ былъ статскій совѣтникъ?!» Весь порядокъ, весь строй ея жизни, съ которымъ она такъ срослась, что почти не замѣчала его, получаетъ новое освѣщеніе и возмущаетъ ее. Все, что ей было близко, дорого, свято, мило, все, чѣмъ она гордилась и что почитала, все поочередно протыкаетъ ножемъ ея сердце. И нехорошо становится въ этомъ истыканномъ сердцѣ. Такъ нехорошо, что когда новопреставленнаго боярина Андрея опустили въ могилу, на головѣ Марьи Львовны уже высилась серебряная корона, а глаза начали оттачиваться въ гвоздяныя острія. Они отточились совсѣмъ, когда по прошествіи нѣкотораго времени вдова получила способность спокойно оглянуться на тѣ мелкія розы, которыя окружали крупный брильянтъ смерти статскаго совѣтника. Ей, между прочимъ, пришелъ въ голову вопросъ: каково тѣмъ вдовамъ, которымъ выпадаютъ на долю будочники нелюбезные, начальство неласковое, читальщики псалтыря нетрезвые, судебные пристава неизящные?

Марья Львовна уѣхала въ Петербургъ, во-первыхъ потому, что ей было очень тяжело на мѣстѣ, а во-вторыхъ, потому, что надѣялась тамъ вѣрнѣе найти кусокъ хлѣба. Она жила уроками и переводами и устроилась въ родѣ Апостолова: прислуги не держала, сама готовила обѣдъ и мыла полы и въ то же время учила дочь (сына она пристроила въ учебное заведеніе). Какъ ея на все хватало—я рѣшительно не понимаю.

О рыжебородомъ художникѣ въ другой разъ. Притомъ же онъ — совсѣмъ особь статья.

Письма о правдѣ и неправдѣ.

(Программа и критика).

I *).

Дѣло старое—дѣло болтливое. Хочу писать, хочу много писать, обо многомъ писать, потому что мое дѣло, очевидно, старое: виски посѣдѣли, болѣсти разныя обступили, и — нѣтъ, нѣтъ, да и развернется гдѣ-то совсѣмъ близко зіяющая пропасть, въ которую всѣмъ въ свое время приходится проваливаться и въ которую мнѣ пока провалиться ужасно не хочется. Вообще обидно умирать, не доживъ до ста лѣтъ—кладу эту цифру потому, что, по разсчету нѣкоторыхъ ученыхъ, человѣку отъ природы полагается жить около ста лѣтъ, причемъ собственно старость должна считаться лѣтъ съ семидесяти пяти. Но русскому человѣку оно вдвойнѣ обидно. Недаромъ-же русскій человѣкъ сочинилъ удивительную поговорку: старость — не радость, да и молодость—не корысть. Ни у какого другого народа такой поговорки нѣтъ. Французы, напримѣръ, говорятъ: si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. На первый взглядъ, это очень трагично: пол-жизни не знаешь, пол-жизни не можешь. Но это только на первый взглядъ. Здѣсь, въ сущности, нѣтъ ни отчаянія, ни скорби, ни апатіи, а есть только острота. Вы видите, что есть у людей какія-то задачи, выполненіе которыхъ, правда, встрѣчаетъ препятствія, но въ такихъ пустякахъ, какъ незнаніе молодости и безсиліе старости. Говорю: въ пустякахъ, потому что знаніе—дѣло наживное, лишь была бы охота учиться, а безсиліе старости во французской поговоркѣ есть просто нелѣпость. Предполагается, что юнецъ можетъ, но не знаетъ, а старецъ знаетъ, но не можетъ; но если онъ, дѣйствительно, знаетъ, если онъ кое-чего не забылъ и кое-чему научился, такъ ужъ онъ не безсиленъ. Если-бы онъ даже не могъ жить за свой собственный счетъ, онъ можетъ жить въ васъ, мои молодые друзья, и жить не дурно и не безполезно. Французскую поговорку сочинилъ человѣкъ, который, какъ-ни-какъ пожилъ, который кое-что изъ своихъ завѣтныхъ сновъ видѣлъ въ дѣйствительности. Поэтому ему умирать тяжело, но не обидно. Русскую поговорку сочинилъ человѣкъ, который не жилъ. Если âge des fleurs et du soleil—не корысть, такъ что же послѣ этого корысть? А! гдѣ мои цвѣты, гдѣ мое солнце? А вѣдь я не дожилъ еще и до половины того воз-

*) 1877, ноябрь.

раста, съ котораго нѣкоторые ученые начинаютъ считать старость... Вотъ почему мнѣ умирать, пожалуй, не тяжело, но за то смертельно обидно.

Впрочемъ, все это только въ разъясненіе моей болтливости, а также въ оправданіе титула молодыхъ друзей, съ которымъ я къ вамъ обращаюсь. Не бойтесь, однако: я не потребую, чтобы вы «почтили лицо старче и предъ лицомъ сѣдаго возстали». Можете даже забыть, что я—старикъ. Старъ я, но молодость люблю и болитъ за нее мое старое сердце. Я помню чудныя слова: блюдите, да не презрите единаго отъ малыхъ сихъ, въ нихъ же царство будущаго. Небудь будущаго, то-есть не будь надеждъ и ожиданій, ушелъ бы я отъ всей этой мерзости, которую кругомъ себя вижу, куда-нибудь въ лѣсъ и не глядѣлъ бы ни на что. Горькимъ опытомъ убѣдился я, что отъ настоящаго ждать нечего, потому что оно — не настоящее вовсе, а сплошь поддѣльное...

Этотъ каламбуръ сорвался нечаянно — я не хотѣлъ острить. Но разъ ужъ онъ сорвался, замѣтьте, что на русскомъ языкѣ выходитъ, какъ будто только настоящее время чего-нибудь стоитъ, а прошедшее и будущее, это ужъ не настоящее, не истинное. Не хочу выводить изъ этого заключеній, подобныхъ тѣмъ, которыми занимался недавно г. Владиміръ Соловьевъ. Этотъ юный философъ находитъ, что англичане и французы неспособны къ философіи, по своей крайней грубости и матеріализму, отпечатлѣвшемуся и на языкѣ. Англичане, говоритъ, говорятъ: nobody, somebody, то-есть никакого тѣла, нѣкоторое тѣло, вмѣсто никто, нѣкто; безъ «тѣла» имъ ничто не понятно. Французы тоже говорятъ: quelque *chose*. Они имѣютъ только одно слово conscience для выраженія двухъ, столь различныхъ понятій, какъ сознаніе и совѣсть; точно также существо и бытіе выражаются по французски однимъ словомъ être, а духъ и умъ однимъ словомъ esprit. «Неудивительно, говоритъ г. Соловьевъ, что при такой бѣдности языка, французы не пошли въ области философіи дальше первыхъ элементовъ умозрѣнія, установленныхъ Декартомъ и Мальбраншемъ; вся послѣдующая ихъ философія состоитъ изъ отголосковъ чужихъ идей и безплоднаго эклектизма. Подобнымъ же образомъ и англичане, вслѣдствіе грубаго реализма, присущаго ихъ уму и выразившагося въ ихъ языкѣ, могли разработывать только поверхность философскихъ задачъ, глубочайшіе же вопросы умозрѣнія для нихъ какъ бы совсѣмъ не существуютъ». Это—глупости, мои молодые друзья, и знаменитый русскій философъ легко могъ бы избѣжать ихъ, даже оставаясь на высотѣ своего презрѣнія къ англійской и французской философіи, еслибы припомнилъ хотя бы одного Берклея, который отрицалъ самое существованіе матеріи. Дѣло не въ этомъ, однако, а въ тѣхъ каламбурахъ, которые могутъ быть построены на отсутствіи въ языкѣ особаго слова для обозначенія того или другого предмета. Настоящее, въ смыслѣ текущаго, настоящаго времени и, настоящее, въ смыслѣ заправскаго, подлиннаго, истиннаго, въ русскомъ языкѣ сливаются въ одномъ словѣ. Очень не лестные для русскаго народа выводы слѣдовало бы изъ этого сдѣлать, еслибы вообще подобные выводы были возможны. А невозможны они хотя бы уже потому, что слишкомъ возможны, что слишкомъ ужъ много ихъ можно сочинить при добромъ желаніи. Напримѣръ, для г. Соловьева двусмысленное значеніе слова conscience свидѣтельствуетъ о скудости французскаго духа, а можно и совсѣмъ иной выводъ сдѣлать. Вѣдь и по-русски со-*вѣсть* и со-*знаніе*, въ сущности, одно и тоже слово. Но по-русски есть и еще болѣе яркій примѣръ совпаденія разныхъ понятій истины и справедливости въ одномъ словѣ «правда». Можно по этому случаю сказать: какъ скуденъ, какъ жалокъ духъ русскаго народа, не выработавшій разныхъ словъ для понятій истины и справедливости! Но можно также сказать: какъ великъ духъ русскаго народа, уразумѣвшій родственность истины и справедливости, самымъ языкомъ свидѣтельствующій, что для него справедливость есть только отраженіе истины въ мірѣ практическомъ, а истина—только отраженіе справедливости въ области теоріи; что истина и справедливость не могутъ противорѣчить другъ другу!

Въ этихъ двухъ примѣрныхъ восклицаніяхъ резюмируются двѣ противоположныя теоріи, долго волновавшія образованныхъ русскихъ людей и еще до сихъ до поръ не совсѣмъ угомонившіяся. Рѣчь у насъ пойдетъ объ нихъ въ свое время, а, можетъ быть, и совсѣмъ не пойдетъ, потому что, по правдѣ сказать, эти двѣ теоріи другъ друга съѣли, какъ тѣ фантастическія собаки, отъ которыхъ послѣ драки остались одни хвосты. Хвосты, правда, гуляютъ еще по бѣлу свѣту, стараясь имѣть видъ полной самостоятельности, но «хвостъ останется хвостомъ, «хоть ты осыпь его звѣздами». Мое отношеніе къ нимъ выражается очень просто тѣмъ, что я и ту, и другую теорію оставляю въ сторонѣ, беру фактъ, какъ онъ есть, и, пользуясь имъ, собираюсь бесѣдовать съ вами о правдѣ и неправдѣ въ томъ двоякомъ смыслѣ, который придалъ этимъ словамъ русскій народъ.

Мнѣ ночесь мало спалось,
Мнѣ во снѣ много видѣлось:
Кабы два звѣря собиралися,
Кабы два лютые собѣгалися,
Промежъ собой дрались-билися.
Одинъ одного звѣрь одолѣть хочетъ...
То не два звѣря собиралися,
Не два лютые собѣгалися:
Это Кривда съ Правдой соходилися,
Промежду собой бились-дралися.

Замѣтьте, что эти стихи, мимоходомъ сказать, полученные нами отъ болгаръ, но очень подошедшіе и къ нашимъ условіямъ, а потому, совершенно аклиматизировавшіеся, входятъ въ составъ стиха о голубиной книгѣ. А голубиная книга:

Ино книга эта немалая:
Высока книга сороку сажень,
Ширины книга двадцати сажень,
На рукахъ держать—не сдержать будетъ.

Въ этой книгѣ, недоступной, впрочемъ, для чтенія, разсказано *все*: отчего зачался бѣлый свѣтъ, отчего пошло солнце красное, отчего зачался свѣтелъ мѣсяцъ и проч. Разсказано и о дракѣ Правды съ Кривдою. Отвѣты голубиной книги на разные космогоническіе, историческіе и философскіе вопросы таковы, что въ Правдѣ суммируются и воплощаются не только понятія о справедливомъ, но и знаніе, наука о природѣ, наука своего времени, разумѣется, которую теперь наукой признать уже нельзя.

Та сила, которая сковывала нѣкогда понятія истины и справедливости узами одного слова «правда», грозитъ, кажется, нынѣ изсякнуть. По крайней мѣрѣ, можно очень часто встрѣтить людей, не только усердствующихъ исключительно на пользу одной какой-нибудь половины правды, но и косо смотрящихъ на другую половину. Одинъ говоритъ: мнѣ наплевать на справедливость, я истины хочу. Другой говоритъ: мнѣ истину не съ кашей ѣсть, я справедливости хочу. Выходитъ иногда даже такъ, какъ будто два лютые звѣря, дерущіеся въ стихѣ и голубиной книгѣ, суть не Правда и Кривда, а истина и справедливость—зрѣлище гораздо болѣе страшное и возмутительное. Да, мои молодые друзья: страшно и возмутительно. И мой совѣтъ, совѣтъ стараго человѣка, у котораго болитъ сердце за молодость: не принимайте въ этой позорной дракѣ участія. Тяжелыми ударами отзовется она на васъ и на близкихъ вамъ, и на всемъ, что вамъ дорого. Драка эта не только страшна, не только возмутительна. Сама по себѣ, она просто невозможна. Во тьмѣ—да будетъ она проклята—могутъ бороться фантастическія, изуродованныя подобія истины и справедливости. Но пустите сюда солнечный лучъ, онъ прогонитъ совъ и нетопырей, разгонитъ фантастическія ночныя тѣни, и всякій, имѣющій очи видѣть, увидитъ, что истина и справедливость одно—«правда».

Мы переживаемъ удивительное время. Никогда, кажется, наука не была въ такомъ почетѣ, какъ теперь, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, никогда наука не отрицалась такъ рѣшительно и такъ своеобразно. Было время, Митрофаны говорили: не хочу учиться, хочу жениться. Теперь молодые люди говорятъ иное, и чтобы найти въ исторіи нѣчто подобное, надо подняться къ концу прошлаго столѣтія во Франціи—къ Руссо. Вы думаете, можетъ быть, что я хочу говорить о гр. Л. Н. Толстомъ и нѣкоторыхъ другихъ подобныхъ литературныхъ явленіяхъ? Нѣтъ, эта тема очень любопытна, но я имѣю въ виду тему гораздо болѣе щекотливую, и по мнѣнію многихъ незначительную, а, по моему—значительнѣйшую. Объ одномъ жалѣю до слезъ печали и злобы—объ томъ, что не могу касаться этой темы по всей ея обширности. Въ литературѣ шли и идутъ толки о сближеніи съ народомъ, о пагубныхъ сторонахъ европейской цивилизаціи вообще, и нѣкоторыхъ доктринъ въ особенности и т. п. Много вѣрнаго говорится объ этомъ, много и вздору, и, въ общемъ, эти разсужденія до извѣстной степени, дѣйствительно, напоминаютъ прекословія Руссо и его противниковъ, такъ какъ самая идея сближенія съ народомъ есть та же идея Руссо о возвращеніи къ природѣ, только уясненная цѣлымъ вѣкомъ исторической жизни Европы. Но ни Руссо, ни соотвѣтственные русскіе писатели никогда не были апостолами невѣжества, хотя противники и уличали ихъ въ этомъ, прибѣгая къ обычному орудію нечистоплотной полемики. Вы знаете, что за предѣлами литературы эти разсужденія о неудовлетворительности многихъ, якобы научныхъ доктринъ, принимаютъ иногда формы очень рѣзкія и жесткія, за которыя литература уже потому не отвѣтственна, что они складываются, хотя бы и подъ ея вліяніемъ, но безъ ея контроля. Вы знаете—къ чему скрывать?—что существуетъ мнѣніе, будто наука не нужна, будто теперь—не такое время, когда позволительно пріобрѣтать знанія и т. п. Мнѣ стыдно и больно писать это. Я тороплюсь пропустить рядъ забытыхъ во тьмѣ истинъ моральной азбуки. Въ частности, въ защиту знанія не могу сказать ничего, кромѣ развѣ того, что *всякое*—пишу и подчеркиваю—практическое дѣло требуетъ знаній: малое дѣло—малыхъ знаній, большое дѣло—большихъ.

Но это отрицаніе науки, которое, прошу замѣтить, я отнюдь не выдаю за общее правило, но которое и въ видѣ исключеній прискорбно, это отрицаніе науки имѣетъ свои причины. Во-первыхъ—въ общемъ положе-

ніи вещей, въ силу котораго люди сплошь и рядомъ бродятъ во тьмѣ кромѣшной. Далѣе—въ свойствахъ той науки, которая открыто предлагается на академическихъ торжищахъ, а отчасти и внѣ ихъ. Старая притча о камнѣ, поданномъ вмѣсто куска хлѣба, не изжила своего вѣка. Я не буду говорить о разныхъ академическихъ и не академическихъ ничтожествахъ; образцы ихъ будутъ приведены въ слѣдующихъ письмахъ. Этимъ надутымъ лягушкамъ даютъ тонъ волы, величественные размѣры которыхъ не даютъ имъ спокойно спать. Если на вершинахъ наука реформируется, то и ничтожества являются съ проектами реформъ. Если на вершинахъ устанавливаются новыя области знанія, то и ничтожества сочиняютъ какую-нибудь науку объ ископаемыхъ экскрементахъ, дѣлятъ ее на копролитологію, копролитографію и копролитософію и съ видомъ лопающейся отъ натуги лягушки говорятъ: мы—наука! Понятно, что нѣкоторые изъяны настоящихъ вершинъ науки принимаютъ у ничтожествъ уже ни съ чѣмъ несообразные размѣры, ибо не всякаго можно научить Богу молиться—иной и лобъ разобьетъ. Если Бокль скажетъ, что прогрессъ обусловливается ростомъ знаній и что правила морали не прогрессируютъ, то бокленокъ, боклевидное ничтожество скажетъ: мнѣ наплевать на нравственность, я истины, науки, знанія хочу. Если Дарвинъ скажетъ, что борьба за существованіе есть творческій принципъ природы, то дарвиненокъ выйдетъ на улицу, засучивъ рукава, и крикнетъ: ну-ка, кто кого?

Итакъ, о вершинахъ науки. Надо правду сказать, не все свѣтъ на этихъ вершинахъ. Между прочимъ, тамъ дѣлаются иногда странныя, непостижимыя на первый взглядъ, но объяснимыя состояніемъ общества усилія разорвать Правду на двѣ половины. Недавно одинъ остроумецъ заявилъ печатно, что читатель «Отечественныхъ Записокъ», наслушавшись разсужденій этого журнала о роли науки, почувствуетъ непреодолимое желаніе сходить въ театръ «Буфъ». Веселый человѣкъ этотъ остроумецъ, но не желая давать повода даже и къ такому веселью, я не собственными словами буду говорить, а приведу двѣ-три выписки изъ сочиненій европейскихъ писателей, которыхъ преданность наукѣ находится внѣ сомнѣній. Пункты, которыхъ касаются эти выписки, я знаю, васъ интересуютъ.

„Въ своемъ знаменитомъ сочиненіи объ исторіи цивилизаціи въ Англіи, Бокль примѣнилъ невѣрную точку зрѣнія для доказательства, что фактическій прогрессъ нравовъ, равно какъ и прогрессъ культуры вообще, зависитъ главнымъ образомъ отъ интеллектуальнаго развитія. Если говоритъ, что извѣстныя простыя правила морали не потерпѣли существенныхъ измѣненій со времени созданія индійскихъ ведъ до нашихъ дней, то можно вѣдь указать и на простыя основанія логики, которыя тоже остаются неизмѣнными. Можно даже утверждать, что основныя правила познаванія съ незапамятныхъ временъ одни и тѣ же и что болѣе совершенное примѣненіе этихъ правилъ въ новое время должно быть приписано главнымъ образомъ нравственнымъ причинамъ. *Нравственныя* качества побуждали древнихъ мыслить свободно и независимо, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, довольствоваться опредѣленнымъ размѣромъ познанія и болѣе цѣнить цѣлостное развитіе личности, чѣмъ односторонній прогрессъ въ знаніи. *Нравственною* чертою средневѣковья опредѣлялось созданіе авторитетовъ, поклоненіе авторитетамъ и ограниченіе свободнаго изслѣдованія формулами преданія. *Нравственнаго* свойства были самоотверженіе и стойкость, съ которыми, въ началѣ новой исторіи, преслѣдовали свои цѣли Коперникъ, Жильберъ, Гарвей, Кеплеръ, Везаль. Существуетъ даже нѣкоторая аналогія между нравственными принципами христіанства и образомъ дѣйствій крупныхъ людей науки, потому что ничего они такъ не желаютъ, какъ отреченія отъ своихъ личныхъ слабостей, отреченія отъ мнѣній окружающихъ ихъ и полной самоотдачи своему предмету. О величайшихъ изслѣдователяхъ можно бы было сказать, что они умерли для себя и для міра, чтобы начать новую жизнь въ сношеніяхъ съ голосомъ природы. Но мы не будемъ здѣсь развивать эту мысль. Мы противопоставили односторонности Бокля ея pendant. Въ дѣйствительности, ни умственный прогрессъ не есть слѣдствіе нравственнаго, ни наоборотъ, но у обоихъ одинъ и тотъ же источникъ: углубленіе въ предметъ и естественная склонность гармонически представлять себѣ всю совокупность міра явленій. Но какъ существуетъ нравственный прогрессъ, выражающійся въ подчиненіи страстей требованію гармоническаго міросозерцанія, такъ подвигаются впередъ и нравственные идеалы. Нѣтъ ничего несправедливѣе утвержденія Бокля, будто прогрессъ цивилизаціи обусловливается подвижнымъ элементомъ знанія и неподвижнымъ элементомъ нравственности. Кантъ сказалъ, что въ нравственной философіи мы не ушли дальше древнихъ, но почти тоже самое сказалъ онъ и о логикѣ, и замѣчаніе это совсѣмъ не относится къ прогрессу нравственныхъ идеаловъ, управляющихъ цѣлыми историческими періодами. Античныя и христіанскія понятія о добродѣтели далеки другъ отъ друга, какъ небо и земля". (Lange. Geschichte des Materialismus. 2 Buch. 464 стр. второго изданія).

Дальше авторъ говоритъ о новѣйшихъ измѣненіяхъ въ нравственныхъ идеалахъ. Но до этого намъ здѣсь дѣла нѣтъ. Я привелъ слова Ланге, чтобы вы видѣли, что не въ однихъ «Отечественныхъ Запискахъ» говорится о нравственномъ элементѣ науки и о невозможности разорвать Правду пополамъ безъ ущерба для обѣихъ половинъ. Въ словахъ Ланге нѣтъ ничего унизительнаго для науки, ни даже для элемента знанія въ тѣсномъ смыслѣ слова. Напротивъ, унижаютъ его тѣ, кто думаетъ, что въ области знанія грязными руками можно сдѣлать то же самое, что и чистыми. Ланге же ставитъ науку такъ высоко, что почти требуетъ извѣстной нравственной подготовки къ ней, предваря-

тельнаго нравственнаго очищенія. А изъ этого слѣдуетъ, что при отсутствіи такой подготовки представитель науки не можетъ добиться и своей спеціальной цѣли—истины. Оно такъ и есть на самомъ дѣлѣ. Въ нѣкоторыхъ сферахъ знанія роль нравственнаго элемента сравнительно ограниченна. Такъ, вообще говоря, во всей обширной области науки о мертвой природѣ изслѣдователю могутъ быть предъявлены только элементарныя требованія личной нравственности. Человѣкъ лѣнивый, человѣкъ, недостаточно энергичный для сопротивленія голосу рутины и толпы, человѣкъ, безсовѣстно умолкающій передъ предразсудками сильныхъ міра сего, человѣкъ, настолько тщеславный, что желаетъ популярничать во что бы то ни стало—истины послѣ себя въ наслѣдство не оставитъ. Это не требуетъ объясненій. Но есть сферы знанія, гдѣ мало этой личной нравственности, гдѣ требуется еще нравственность, такъ сказать, политическая, опредѣляющаяся уровнемъ общественнаго идеала человѣка. Можно быть лично прекраснымъ человѣкомъ и, въ тоже время, безсознательно фальсифицировать науку въ угоду интересамъ ничтожной горсти людей. Въ большей части подобныхъ случаевъ, впрочемъ, фальсификація происходитъ сознательно, такъ что политическая безнравственность осложняется личною, хотя это и не необходимо. Этого рода явленія свойственны, конечно, преимущественно обществозианію.

Я хотѣлъ привести здѣсь одно, два яркія и гнѣвныя разоблаченія Дюринга, но раздумалъ. Какъ лично раздраженный человѣкъ, онъ можетъ показаться недостаточно безпристрастнымъ, а затѣмъ цитать можно бы было привести столько, что и бумаги бы у меня не хватило. У одного Маркса читатель найдетъ цѣлую гору фактовъ и безсознательнаго, и злостнаго извращенія экономической науки въ угоду низменнымъ политическимъ идеаламъ. А намъ здѣсь надо оставаться на признанныхъ вершинахъ науки, увы! далеко не всегда свободныхъ отъ политической безнравственности. Надо замѣтить, что вторженію политически-нравственнаго элемента подлежитъ не одно обществознаніе, а и соприкасающіяся съ нимъ области, какъ-то: эстетическія теоріи, философскія доктрины, обнимающія все сущее, а, слѣдовательно, и общество, доктрины біологическія и психологическія, по необходимости, отчасти снабжающія своими матеріалами обществознаніе, а отчасти заимствующія ихъ у него. И во всѣхъ этихъ областяхъ можно найти среди крупнѣйшихъ представителей науки яркіе образцы вліянія низкаго уровня общественныхъ идеаловъ, а, соотвѣтственно этому, и шмыганье мимо истины, при большихъ дарованіяхъ и большомъ трудолюбіи.

Утверждая, что роль нравственнаго элемента въ поступательномъ движеніи цивилизаціи ничтожна, Бокль прошмыгнулъ мимо истины—Бокль, который приложилъ къ своему сочиненію списокъ книгъ, послужившихъ ему пособіями, способный привести въ священный трепетъ всякаго книгоѣда; Бокль, до такой степени преданный истинѣ, что послѣднею, предсмертною мыслью его было сожалѣніе о томъ, что онъ не кончитъ своей книги. А между тѣмъ, прошмыгнулъ—это несомнѣнно. Отчего это? Отчего онъ не могъ понять, что даже его собственный вкладъ въ сокровищницу цивилизаціи, его книга, о которой онъ думалъ за минуту до предсмертной потери сознанія, есть плодъ нравственнаго стремленія? Оттого что, при высокой личной добросовѣстности и преданности дѣлу науки, онъ былъ въ политическомъ смыслѣ чистокровный буржуа, какъ это можно прочитать на любой страницѣ его знаменитаго труда, отъ изученія котораго я, однако, отнюдь не думаю васъ отвращать. Тотъ, кто не выносилъ въ своей душѣ политическаго идеала, болѣе широкаго, чѣмъ какимъ довольствуется всякій европейскій лавочникъ, не въ состояніи оцѣнить роли нравственнаго элемента въ исторіи. Онъ непремѣнно будетъ склоненъ такъ или иначе принизить его. И Бокль поступилъ еще лучше другихъ, принизивъ нравственный элементъ простымъ устраненіемъ его, какъ дѣятеля цивилизаціи. Бываетъ много хуже. Бываетъ такъ, что представитель вершинъ науки возводитъ лавочническій или кулачный принципъ въ перлъ созданія, дѣлаетъ его принципомъ природы и весь бѣлый свѣтъ обращаетъ въ подобіе громаднаго рынка или поля сраженія. Таковъ Дарвинъ и вся фаланга его правовѣрныхъ послѣдователей, ученіе которыхъ, однако, я опять-таки вамъ очень рекомендую. Но объ этомъ потомъ.

Прибавьте, что дурное слово, раздавшееся на вершинахъ науки, отдается еще грубѣе, еще жестче въ долинахъ, гдѣ низко и сыро и лягушки надуваются; прибавьте возвѣщаемую съ большою помпой науку объ ископаемыхъ экскрементахъ; прибавьте другіе разные камни, подаваемые вмѣсто хлѣба; прибавьте, наконецъ, тьму — о! будь она трижды проклята—и вы поймете, какъ и почему явилось среди васъ грубое, непродуманное отрицаніе науки. Старое старится, молодое ростетъ, и, какъ растеніе, тянется вверхъ, къ свѣту. Нужны совсѣмъ особыя условія, чтобы это инстинктивное стремленіе извратилось, и такія условія есть на лицо. Не говоря о прочемъ, молодость и въ особенности русская молодость, естественно

не можетъ примириться съ разрывомъ Правды пополамъ. Говорю: въ особенности русская, потому что русская дѣйствительность еще слишкомъ мало выработала поприщъ, на которыхъ простая куплю-продажа науки и ея результатовъ давала бы кусокъ хлѣба. И присмотритесь, пожайлуста, хорошенько къ свойствамъ нашего отрицанія. Вы увидите, что принципіальнаго отрицанія нѣтъ, да его и не можетъ быть. Есть, напротивъ, даже излишнее уваженіе къ наличной наукѣ, чего вовсе не должно быть. Отношеніе примѣрно такое: даютъ человѣку обтесанный въ видѣ хлѣба камень. Онъ упрямится, не беретъ, но—замѣтьте это—соглашается, что это, дѣйствительно, хлѣбъ. О, мои молодые друзья, та наука, которая такъ претитъ вашимъ нравственнымъ идеаламъ—совсѣмъ не наука: отрывая истину отъ справедливости, гоняясь только за первою, какъ за однимъ зайцемъ, она, въ противность пословицѣ, не ловитъ и его. Не брезгайте элементами знанія и вѣрьте, что они могутъ быть сгруппированы въ смыслѣ Правды. Европейская мысль давно работаетъ надъ такою группировкой, и я могъ бы вамъ просто предложить готовую систему Правды, предложенную тѣмъ или другимъ европейскимъ мыслителемъ. Но, во-первыхъ, тѣ системы писаны для Европы, для другихъ, значитъ, условій, а, во-вторыхъ, у меня есть своя собственная система, которую я, естественно, лучше знаю и которая мнѣ кажется болѣе пригодною.

Я попытаюсь ее изложить въ томъ видѣ, въ какомъ она только и имѣетъ смыслъ въ журналѣ, то-есть, во-первыхъ, скорѣе въ видѣ программы, чѣмъ законченной системы, а, во-вторыхъ — съ тѣми отступленіями критическаго характера, какія вызываются текущими явленіями литературы и жизни. Многое вамъ придется выслушать уже не въ первый разъ, но такіе пункты я постараюсь пройти скорѣе.

Для перваго раза, начну съ того, что обращу ваше вниманіе на одинъ газетный фельетонъ. Не то чтобы фельетонъ имѣлъ самъ по себѣ какое-нибудь особенное значеніе. Напротивъ, онъ совершенно ничтоженъ, но въ немъ намѣчены двѣ идеи, имѣющія для насъ съ вами огромное значеніе. Я говорю о фельетонѣ г. NN, напечатанномъ въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» за 18 мая. Рѣчь въ немъ идетъ о вопросѣ, очень знакомомъ читателямъ «Отечественныхъ Записокъ», а именно—о томъ, что такое индивидуумъ, и идетъ эта рѣчь по поводу статьи г. Брандта «Животный индивидуумъ» («Вѣстникъ Европы», № 5).

Разсмотрѣвъ рядъ случаевъ, въ которыхъ нѣсколько недѣлимыхъ являются сросшенными въ одно цѣлое, случаевъ прививки частей одного недѣлимаго къ другому, случаевъ разсѣченія низшихъ организмовъ на нѣсколько частей, изъ которыхъ каждая оказывается способною къ самостоятельной жизни, г. Брандтъ приходитъ къ такимъ заключеніямъ:

„Цѣлость и нераздѣльность—эта, повидимому, основная и наиболѣе характеристическая черта животнаго индивидуума — есть нѣчто условное. Это доказывается, съ одной стороны, случаями естественнаго и искусственнаго удаленія внѣшнихъ и внутреннихъ частей животнаго тѣла, а съ другой, прививкою ему частей чужого организма, причемъ особь все-таки остается особью. Тоже самое доказывается и самостоятельными дѣленіями многихъ животныхъ при размноженіи. Примѣры двойныхъ уродовъ, сложныхъ особей или колоній показываютъ, что два или болѣе индивидуума могутъ временно или постоянно соединяться въ одну особь, хотя всякій индивидуумъ, изъ числа какъ высшихъ, такъ и низшихъ животныхъ, представляетъ уже нѣчто сложное, части котораго могутъ претендовать на значеніе самостоятельныхъ индивидуумовъ. Такъ, подъ категорію индивидуумовъ могутъ быть подведены отдѣльные органы высшаго животнаго на томъ основаніи, что существуютъ самостоятельныя низшія животныя какъ бы объ одномъ только органѣ. Органы, въ свою очередь, распадаются на клѣтки, которыя способны къ самостоятельной жизни, и въ природѣ существуетъ множество одноклѣточныхъ организмовъ. Но и клѣтка не можетъ считаться простѣйшей единицей, ибо она, въ свою очередь, состоитъ изъ вещества, каждая часть котораго одарена такой же способностью къ самостоятельной жизни, какъ и клѣтка. Итакъ, оказывается не только, что всякій животный индивидуумъ есть нѣчто болѣе или менѣе сложное и дѣлимое, но что существуютъ и различныя степени усложненія животныхъ особей, недозволяющія измѣрять всѣхъ ихъ одною и тою же мѣркой и дать имъ общее опредѣленіе. Въ виду этого, Геккелемъ и другими сдѣланы попытки установленія нѣсколькихъ животныхъ недѣлимыхъ, подчиненныхъ одна другой. На основаніи предъидущихъ нашихъ разсужденій, мы могли бы признать пять такихъ категорій, а именно: частичку органическаго вещества, клѣточку, органъ, лицо (въ смыслѣ отдѣльнаго человѣка и подобной ему животной единицы) и, наконецъ, сложное животное или колонію, т. е. сочетаніе особей, составляющихъ одно цѣлое и утратившихъ въ большей или меньшей степени самостоятельность... Попытка подвести животныя особи подъ нѣсколько категорій, конечно, не рѣшаетъ вопроса о томъ, что такое животное недѣлимое, а вѣрнѣе—обходитъ его; тѣмъ болѣе, что всякія категоріи животной индивидуальности оказываются, если ближе вникнуть въ дѣло, вовсе не строгими, между всѣми ними замѣчаются промежуточныя, переходныя звенья... Итакъ, представленіе животной особи есть нѣчто въ частности измѣнчивое, а потому въ строгости неопредѣлимое: вотъ тотъ общій результатъ, къ которому приводятъ всѣ предъидущія разсужденія».

Фельетонистъ недоволенъ этими заключеніями. Такъ какъ разсужденія г. Брандта принадлежатъ вовсе не исключительно ему (кромѣ мысли о невозможности найти опре-

дѣленіе для недѣлимаго), а составляютъ признанное достояніе науки; такъ какъ, далѣе, вопросу объ индивидуальности будетъ придано ниже важное значеніе—то я считаю нужнымъ привести почти цѣликомъ критику фельетониста. Онъ говоритъ:

„Прочитавъ эти заключительныя строки, можно подумать, что наука, въ самомъ дѣлѣ, безсильна сказать что-либо болѣе опредѣленное по вопросу объ индивидуумѣ, что всѣ ея средства подойти къ вопросу ограничиваются тѣмъ путемъ, по которому пробовалъ подойти къ нему авторъ, что въ распоряженіи знанія нѣтъ другихъ подходовъ къ тому же вопросу, ближе ведущихъ къ дѣлу. Путь автора—путь внѣшній, зоологическій, и потому, во-первыхъ, отрицательный выводъ, къ которому онъ пришелъ, справедливъ только для этого пути. Онъ могъ сказать, что съ внѣшней зоологической точки зрѣнія, вопросъ объ индивидуумѣ есть вопросъ неразрѣшимый. Между тѣмъ, онъ придаетъ своему выводу болѣе общій, абсолютный характеръ, какъ будто онъ изслѣдовалъ вопросъ со всѣхъ сторонъ и вездѣ получилъ отрицательный отвѣтъ. Это не вѣрно, не точно, не научно. Во-вторыхъ, кромѣ внѣшняго, чисто зоологическаго отношенія къ вопросу, какого держался авторъ, не только возможно, но даже обязательно изслѣдованіе его съ совершенно другой стороны, которую, за неимѣніемъ болѣе точнаго термина, мы назовемъ физіологической. Пренебреженіе къ этой сторонѣ дѣла и замкнутость въ предѣлахъ чисто описательныхъ зоологическихъ средствъ могли оправдываться въ свое время, когда физіологія прибѣгала, для объясненія своихъ процессовъ, къ жизненной силѣ, а зоологическая форма представлялась чѣмъ то законченнымъ, постояннымъ и неподвижнымъ. Но шаткость зоологическихъ формъ достаточно уже общепризнана для того, чтобы можно было обращаться къ нимъ за рѣшеніемъ вопросовъ, подобныхъ тому, о которомъ идетъ рѣчь... Но если форма потеряла прежнее значеніе, благодаря трудамъ самихъ зоологовъ, то, въ то же время, благодаря трудамъ по другимъ отраслямъ естествознанія, открылся болѣе естественный путь къ объясненію органическихъ и физіологическихъ процессовъ. Физіологія избавилась отъ представленія о жизненной силѣ съ тѣхъ поръ, какъ механическая теорія теплоты указала болѣе простой путь къ объясненію этихъ процессовъ, а химія показала, что всѣ превращенія вещества раздѣляются на два типическіе класса реакціи, изъ которыхъ одинъ сопровождается потерей или тратой живой силы, другой—ея возстановленіемъ. Съ тѣхъ поръ и вопросъ о недѣлимости, объ индивидуумѣ, неразрѣшимый на почвѣ формальной, зоологической, получилъ иной смыслъ—физіологическій, причемъ онъ представляется уже вовсе не столь неопредѣленнымъ. Съ точки зрѣнія физіологической, всѣ процессы, совершающіеся внутри, какъ нашего, такъ и всякаго другого организма, распадаются на два акта, на двѣ половины: на усвоеніе организмомъ веществъ и силъ извнѣ, изъ окружающей его природы, и обращеніе этого вещества къ обновленію пластическаго строя организма – образованію тканей теплоты и механической работы. Иными словами: физіологическій процессъ представляетъ непрестанный круговой процессъ прихода силъ къ организму извнѣ и расхода ихъ организмомъ, обмѣна веществъ между внѣшнимъ міромъ и организмами. Съ этой точки зрѣнія, всякій организмъ представляется аппаратомъ или системой, жизнь и самостоятельность которой поддерживаются на счетъ постояннаго повторенія этого кругового процесса. Какъ только этотъ круговой процессъ нарушенъ или разорванъ, животное, клѣтка или протоплазма перестаютъ, что мы называемъ, жить: они умираютъ. Такимъ образомъ, настоящее недѣлимое, отъ котораго уже нельзя ничего отнять, ни урѣзать, не уничтоживъ самой жизни, составляетъ тотъ замкнутый процессъ прихода и расхода силъ, которымъ особенно и обусловливается понятіе о томъ, что мы называемъ живымъ организмомъ. Затѣмъ, самъ этотъ организмъ есть только та лабораторія, въ которой и при посредствѣ которой поддерживается постоянное повтореніе того же процесса. Послѣ этого, уже самое понятіе объ организмѣ, какъ о недѣлимомъ, прямо ставится въ зависимость отъ актовъ и процессовъ, ради и въ виду которыхъ долженъ быть устроенъ данный аппаратъ. Понятно, что внѣшнее дѣленіе, отрѣзаніе членовъ и проч. можетъ простираться лишь до тѣхъ поръ, пока ампутація не уничтожаетъ возможности продолженія обмѣна силъ, на счетъ котораго поддерживается жизнь организма. Мы можемъ вырѣзать у животнаго селезенку, потому что ея функціи восполняются, какъ показали опыты, усиленнымъ развитіемъ лимфатическихъ железъ; но мы не можемъ вырѣзать сердце, мало того, перерѣзать нервъ, двигающій легкія, не причинивъ мгновенной смерти. Послѣ сказаннаго нельзя уже, кажется, утверждать, чтобы современное знаніе не имѣло сказать ничего болѣе существеннаго по вопросу о недѣлимости, кромѣ того, что сказано Брандтомъ и, притомъ, сказать, популярно. Ему извѣстны настоящая причина и, такъ сказать, корень вопроса о нѣдѣлимости, и, такъ какъ этотъ корень лежалъ внѣ предѣловъ зоологіи, лежалъ въ томъ физическомъ процессѣ, который положенъ природой въ основаніе всего органическаго міра и который, собственно, отдѣляетъ его отъ міра неорганическаго, то, идя зоологическимъ путемъ, какъ это дѣлаетъ Брандтъ, нельзя было дать читателю и настоящаго понятія о положеніи, въ какомъ находится разсматриваемый вопросъ въ наукѣ».

Такъ критикуетъ фельетонистъ г. Брандта. Онъ совершенно правъ, говоря, что для недѣлимаго можетъ быть найдено удовлетворительное опредѣленіе. Точно также правъ онъ, утверждая, что законы органической жизни могутъ быть сведены на законы механики. За всѣмъ тѣмъ, разсужденія его представляютъ превосходный образчикъ образа дѣйствія лягушки, надувающейся для приданія себѣ размѣровъ вола. Въ этомъ отношеніи, онъ — типъ, для насъ съ вами очень важный. Я глубоко убѣжденъ, что такого рода люди много виноваты въ распространеніи отрицанія науки. Представьте себѣ, въ самомъ дѣлѣ, молодого человѣка, искренно желающаго учиться и натыкающагося на фельетонъ «Сѣвернаго Вѣстника». Его обдаетъ, прежде всего, величественный тонъ фельетониста, презирающаго все «внѣшнее», всякую «форму» и добирающагося до самой сути вещей. А!—думаетъ молодой человѣкъ,—это настоящій ученый; притомъ же, онъ такъ рѣшительно ссылается на послѣд-

нее слово науки, совершенно устранившее «формальную», «зоологическую», «внѣшнюю» точку зрѣнія, на которой стоитъ отсталый г. Брандтъ. Молодой человѣкъ искренно желаетъ учиться, и, хотя знаній имѣетъ мало, но, навѣрное, слыхалъ что-нибудь о механической теоріи, о сохраненіи силы, о единствѣ силъ и знаетъ, что всѣ эти вещи знаменуютъ собой крупный шагъ въ наукѣ. Это еще болѣе убѣждаетъ его, что онъ имѣетъ дѣло съ самою заправскою, самою передовою научною мыслью. Но, приглядываясь къ дѣлу ближе и внимательнѣе, онъ скоро увидитъ, что о предметѣ разсужденій, о животномъ индивидѣ онъ не узналъ отъ фельетониста рѣшительно ничего новаго, ничего такого, чего не сообщалъ бы отвергнутый фельетонистомъ г. Брандтъ. Мало того: онъ долженъ будетъ съ горечью признаться самому себѣ, что, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, горизонтъ его, послѣ прочтенія фельетона, нетолько не расширился, а даже сузился.

Г. Брандтъ говоритъ: «представленіе о животной особи есть нѣчто въ частности измѣнчивое, а потому въ строгости неопредѣлимое». Это, во всякомъ случаѣ—неточное выраженіе, а, можетъ быть, кромѣ того, и невѣрная мысль. Если почтенный ученый хотѣлъ сказать, что нельзя найти опредѣленіе индивиду, то это, конечно, невѣрно. Но, въ такомъ случаѣ, это—личная ошибка г. Брандта, за которую вовсе не отвѣтственна его «зоологическая», «формальная» точка зрѣнія. Спенсеръ, Вирховъ, Негели, Геккель (мимоходомъ сказать, все—люди не особенно отсталые въ области біологіи) даютъ опредѣленіе индивида именно съ этой точки зрѣнія, вовсе не прибѣгая къ механической теоріи и круговороту силъ. Но для г. Брандта дѣло было, повидимому, не столько въ опредѣленіи индивида, сколько въ выясненіи тѣхъ отношеній, которыя существуютъ между различными порядками индивидуальности—вопросъ, крайне интересный и занимающій очень многихъ ученыхъ людей. Всѣ эти ученые люди, а вслѣдъ за ними и г. Брандтъ, пришли къ заключенію, что бываютъ индивиды болѣе сложные и менѣе сложные, и что менѣе сложные существуютъ нетолько самостоятельно, а также входятъ въ составъ болѣе сложныхъ. Такъ, въ составъ человѣка, напримѣръ, входятъ органы, въ составъ органовъ клѣточки; но клѣточки, одноклѣтные организмы могутъ жить и за свой собственный счетъ, жить самостоятельно, питаться, размножаться. Далѣе, ученые люди обратили вниманіе на то, что нѣкоторыя животныя и растительные идивиды могутъ быть разрѣзаны въ совершенно произвольныхъ направленіяхъ на множество частей, послѣ каковой операціи каждая изъ этихъ частей живетъ самостоятельною жизнью. Изъ этого слѣдуетъ, что понятіе индивидуальности относительно—выводъ, который отнюдь не долженъ поражать человѣка, свыкшагося съ общепринятой мыслью объ относительности нашихъ знаній. Г. Брандтъ различаетъ пять ступеней индивидуальности: частичку органическаго вещества, клѣточку, органъ, лицо и сложное животное или колонію. Другіе ученые насчитываютъ ихъ больше, третьи меньше, но, въ общемъ, всѣ согласны относительно необходимости такого различенія. Устраняетъ-ли эту необходимость опредѣленіе индивида, предложенное фельетонистомъ? Ни малѣйше, потому что тутъ опредѣленіе рѣшительно не при чемъ. Назовете-ли вы индивидъ лабораторіей, въ которой совершается извѣстный круговоротъ силъ; назовете-ли вы его «единымъ цѣлымъ, въ которомъ всѣ части дѣйствуютъ сообща, для единой цѣли или, выражаясь иначе, по опредѣленному плану» (Вирховъ); назовете-ли вы его «замкнутымъ цѣлымъ», съ своеобразнымъ развитіемъ и своеобразными отношеніями къ внѣшнему міру» (Негели); или «конкретнымъ цѣлымъ, имѣющимъ строеніе, которое дѣлаетъ его способнымъ къ постоянному приспособленію внутреннихъ его отношеній къ внѣшнимъ и, такимъ образомъ, къ поддержанію равновѣсія его отправленій» (Спенсеръ) — отъ этого не исчезнетъ относительность понятія индивидуальности, не исчезнутъ и факты, приведенные г. Брандтомъ, не исчезнетъ и надобность различать нѣсколько ступеней индивидуальности. Круговоротъ силъ происходитъ и въ клѣточкѣ, и въ животной колоніи, но клѣточка и сложная колонія — не одно и то же. Важность этого обстоятельства, по правдѣ сказать, очень плохо выяснена г. Брандтомъ. Слѣдующія нѣсколько строкъ Дарвина лучше поясняютъ дѣло, чѣмъ цѣлая статья нашего ученаго. Кстати, вы увидите, кого именно, вмѣстѣ съ г. Брандтомъ, зачисляетъ фельетонистъ въ ряды отсталыхъ физіологовъ и зоологовъ: «Всѣ физіологи согласны въ томъ, что организмы состоятъ изъ множества элементарныхъ частей, въ значительной степени независимыхъ другъ отъ друга. Каждый органъ, говоритъ Клодъ Бернаръ, одаренъ своей собственной жизнью, своей автономіей; онъ можетъ развиваться и воспроизводить себя независимо отъ прилегающихъ тканей. Великій германскій авторитетъ Вирховъ утверждаетъ въ еще болѣе энергическихъ выраженіяхъ, что каждая система, то-есть нервная, костная или кровь, состоятъ изъ громадной массы безконечно малыхъ центровъ дѣятельности... «Каждый элементъ имѣетъ свою собственную, исключительную область дѣйствія и, хотя бы даже онъ заимствовалъ

стимулъ дѣятельности изъ другихъ источниковъ, то все же онъ отправляетъ свои обязанности, благодаря своимъ единичнымъ усиліямъ. Каждая отдѣльная клѣточка эпителія или мышцъ ведетъ жизнь паразита въ отношеніи остального тѣла». Каждый элементъ, какъ замѣчаетъ Пэджетъ, выживаетъ опредѣленный срокъ, затѣмъ умираетъ и, будучи отстраненъ или поглощенъ, замѣняется новыми» («Прирученныя животныя и воздѣланныя растенія», II, 400).

То же самое, въ сущности, говоритъ и г. Брандтъ, забракованный фельетонистомъ въ качествѣ человѣка «отсталаго», «формалиста», довольствующагося «внѣшностью» и не проникающаго въ суть вещей. Теперь представьте же себѣ положеніе нашего молодого человѣка, увлекшагося величественнымъ аллюромъ фельетониста. Вопросъ объ отношеніяхъ между органическимъ цѣлымъ и его частями, хотя и плохо, но все-таки поставленъ и отчасти разъясненъ г. Брандтомъ. Фельетонистъ же объявляетъ, что все это пустяки, достойные христоматій, давно вычеркнутые поступательнымъ движеніемъ науки. Вы видите, что это чистая ложь, но нашъ молодой человѣкъ имѣетъ мало свѣдѣній и вѣритъ фельетонисту, а потому изъ него можетъ выйти пустозвонъ, который пойдетъ вслѣдъ за фельетонистомъ трубить, гдѣ надо и гдѣ не надо, о механической теоріи. Но можетъ выйти и нѣчто иное. Молодой человѣкъ можетъ повѣрить фельетонисту, но въ то же время чувствовать, что статья Брандта, хоть что-нибудь, да давала, а фельетонъ, устраняя это что-нибудь, ничего не даетъ взамѣнъ. А! — подумаетъ онъ тогда въ своей скромности,—настоящая наука—очень хорошая вещь, но, должно быть, я для нея не гожусь. Можетъ быть, онъ этого не формируетъ съ такою ясностью, но, во всякомъ случаѣ между нимъ и наукой (то есть тѣмъ, что онъ, по прочтеніи фельетона, будетъ считать наукой) установятся холодно-почтительныя отношенія. Но, вотъ, молодой человѣкъ читаетъ какую-нибудь работу вродѣ статьи г. Жуковскаго о Марксѣ, гдѣ тоже что-то говорится о механической теоріи и сохраненіи силы. Въ статьѣ этой онъ, кромѣ тѣхъ особенностей, которыя встрѣтилъ въ фельетонѣ, сталкивается еще съ общественными идеалами, естественно антипатичными молодости. А между тѣмъ, величественный аллюръ тотъ же самый; передъ вами опять стоитъ какъ будто представитель послѣдняго слова науки, холодной, безстрастной, но вооруженной съ головы до ногъ. Что мудренаго, что молодой человѣкъ, мало свѣдущій, мало опытный въ чтеніи, скажетъ, наконецъ, съ грустью или съ озлобленіемъ, смотря по темпераменту: мнѣ не надо науки!

Молодой другъ мой, великая ваша ошибка состоитъ въ томъ, что вы приняли за послѣднее слово науки то, что дѣйствительною наукой совершенно отвергается. Ошибка ваша невольная, и не васъ надо винить за нее, а тѣхъ, кто передъ вами позорно фокусничаетъ насчетъ науки. Увѣряю васъ, что фельетонистъ «Сѣвернаго Вѣстника», такъ развязно уличающій другихъ въ отсталости, самъ-то и есть отсталый человѣкъ, ибо прошло или, по крайней мѣрѣ, проходитъ то время, когда свести какое-нибудь сложное явленіе жизни на его механическія основы представлялось, во всякомъ случаѣ, важнымъ и нужнымъ научнымъ подвигомъ. А ужъ то время, когда относительность знанія презиралась, прошло давнымъ-давно, и развѣ кое-какіе метафизики поминаютъ его въ своихъ молитвахъ. Надѣюсь, что изъ слѣдующихъ писемъ вы въ этомъ вполнѣ убѣдитесь. Но и теперь уже я нахожу нужнымъ и возможнымъ сказать нѣсколько словъ насчетъ общаго вопроса о томъ, насколько уясняется извѣстное сложное явленіе, если его свести къ законамъ явленій, относительно простѣйшихъ.

Припомните какой-нибудь историческій эпизодъ изъ тѣхъ, которые серьезно волновали васъ въ пору вашего гимназическаго малолѣтства или которые занимали васъ, какъ интересная сказка. Ну, напримѣръ, Манлія Торквата, разбуженнаго крикомъ священныхъ гусей и сбрасывающаго со стѣны Капитолія перваго, взобравшагося на нее галла. Вы можете разсказать этотъ эпизодъ, предполагая, конечно, его подлинность, на разныхъ языкахъ, разумѣю языки разныхъ наукъ. Историкъ будетъ говорить о патріотизмѣ Манлія, о его мужествѣ, о томъ, что онъ спасъ отечество отъ дикихъ галловъ, и вы совершенно поймете его, получите вполнѣ опредѣленное представленіе о событіи. Психологъ разскажетъ событіе иначе. Спасеніе отечества, само по себѣ, а не какъ психическій мотивъ Манлія, онъ оставитъ совсѣмъ въ сторонѣ; дикіе галлы займутъ его не въ качествѣ опаснаго для римской независимости или римской цивилизаціи элемента; по всей вѣроятности, они его даже вовсе не займутъ, кромѣ развѣ того факта, что Манлій, встрѣтившись лицомъ къ лицу съ дерзкимъ передовымъ галломъ, испытываетъ извѣстныя чувства страха или ненависти. Но за то патріотизмъ Манлія психологъ разложитъ на его простые элементы и покажетъ намъ быстрое возникновеніе и смѣну различныхъ ощущеній и представленій, совершившихся въ Манліѣ, начиная съ его пробужденія, представитъ картину его сознанія. Вы поймете и психолога, но замѣтите, что въ его

разсказѣ извѣстная сторона событія, именно историческая или, пожалуй, соціологическая, остается неразъясненною. Это васъ нисколько не удивитъ, потому что это и не дѣло психолога. Физіологъ разскажетъ опять иначе. Онъ разскажетъ, что подъ вліяніемъ возбужденія, даннаго крикомъ гусей, въ нервной системѣ Манлія произошли такія и такія то измѣненія, отозвавшіяся рядомъ извѣстныхъ мускульныхъ сокращеній. Есть, однако, большая вѣроятность, что онъ разскажетъ это съ большими пропусками, что онъ не сумѣетъ изобразить на языкѣ своей науки всю необыкновенно сложную механику нервной дѣятельности Манлія, хотя, въ принципѣ, это изображеніе не встрѣчаетъ препятствій. Но, во всякомъ случаѣ, состояніе духа, состояніе сознанія Манлія, какъ нѣчто субъективное, совсѣмъ не войдетъ въ разсказъ чистаго физіолога. Значитъ, въ разсказѣ этомъ вы упускаете изъ виду еще одинъ важный элементъ событія, хотя, допустимъ, получили чрезвычайно точное и подробное описаніе его нервно-физіологической стороны. Въ разсказѣ физико-механика упущеній будетъ еще больше, такъ что трудно даже его себѣ представить. Для физико-механика ударъ Манлія есть не только не важный моментъ въ психическомъ событіи, не только не результатъ сложной психической комбинаціи, но даже не результатъ нервнаго процесса; это—просто трата силы, механическая работа; весь эпизодъ надо понимать, какъ столкновеніе двухъ тѣлъ, причемъ дикій галлъ и Манлій, съ одной стороны, и два бильярдныхъ шара—съ другой, по существу, повинуются однимъ и тѣмъ же законамъ сохраненія силы и передачи движенія. Физико-механикъ совершенно правъ, и тѣмъ не менѣе событіе становится совершенно непонятнымъ. Этого мало. Мы разсматриваемъ галла и Манлія, какъ двѣ массы, но ихъ можно разсматривать, какъ систему атомовъ. Къ счастью, человѣкъ, который вздумалъ бы разсказать намъ эпизодъ съ этой точки зрѣнія, невозможенъ, если онъ не сумасшедшій, конечно, хотя, въ принципѣ, мы должны признать, что механика атомовъ играетъ свою роль въ эпизодѣ спасенія Рима.

Такимъ образомъ, переходя къ объясненіямъ, повидимому, все болѣе и болѣе простымъ, все болѣе и болѣе кореннымъ, приближающимся къ самой сути вещей, разлагая постепенно событіе на его простѣйшіе элементы, мы все удалялись отъ цѣлостнаго пониманія историческаго эпизода и, наконецъ, перестали его вовсе понимать. Мы провалились въ собственное глубокомысліе. Слѣдуетъ-ли изъ этого, что примѣненныя нами точки зрѣнія какъ-нибудь враждебны между собой, что ихъ надо мѣрять одну другой, что они, по самому существу, обладаютъ различными достоинствами? Отнюдь нѣтъ. Вы знаете, что есть картины, на которыя надо смотрѣть вблизи, и есть такія, на которыя надо смотрѣть издали для полученія должнаго эффекта; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы разстояніе въ пять шаговъ было какъ-нибудь само по себѣ лучше или хуже разстоянія въ десять шаговъ. Изъ этого слѣдуетъ только, что надо знать условія художественнаго эффекта и становиться, гдѣ нужно, на пять шаговъ отъ картины, а гдѣ нужно—на десять. Точно также надо знать условія, при которыхъ научная задача наилучше разрѣшается съ точки зрѣнія соціологической, психологической, физіологической или механической. Очень трудный и сложный путь привелъ науку къ представленію міра, какъ огромной механической системы. Этотъ, дѣйствительно, послѣдній результатъ науки вамъ необходимо усвоить себѣ, какъ общую, философскую почву научныхъ изслѣдованій. Но затѣмъ не представляется никакой надобности *всякое* изучаемое вами явленіе сводить къ его механическимъ основамъ. Иногда это бываетъ нужно, иногда—безразлично, иногда—совсѣмъ ненужно, иногда, наконецъ—просто практичееки невозможно. Поэтому отнюдь не слѣдуетъ приходить въ священный трепетъ передъ величественнымъ аллюромъ человѣка, объявляющаго, что онъ открылъ Америку сведеніемъ сложнаго явленія къ законамъ явленій относительно простыхъ. Все зависитъ отъ частныхъ условій задачи. Можетъ быть, человѣкъ этотъ и, въ самомъ дѣлѣ, открылъ Америку, а, можетъ быть, онъ просто ошибается или шарлатанитъ, потому что нѣтъ поля, болѣе удобнаго для всякаго рода шарлатанства, какъ подобныя упрощенія. Если вы не встрѣчали такихъ шарлатановъ въ области теоретической мысли или не умѣли ихъ разгадать, такъ, навѣрное, встрѣчали практическихъ мудрецовъ, которые разсуждаютъ примѣрно такъ: что такое жизнь? смотря въ корень вещей, надо сказать, что жить значитъ пить, ѣсть и дѣтей дѣлать. Или: что такое любовь?—половое влеченіе. Или: все, что естественно, то и нравственно. Или: я хочу того-то и того-то не потому, чтобы меня влекла къ нему идея нравственнаго долга, налагающая извѣстныя обязанности, а просто потому, что мои нервы хотятъ этого. Или еще: я совершилъ пакость, но, вѣдь, въ существѣ вещей, я и не могъ не совершить ея, потому что свободной воли нѣтъ, а есть неизбѣжная связь причины и слѣдствія—значитъ, я за

свою пакость не отвѣтственъ. При нѣкоторомъ искусствѣ или другихъ благопріятныхъ личныхъ своихъ качествахъ, шарлатанъ, невѣжда или прямо негодяй можетъ, не смотря на всю азбучную нелѣпость своихъ положеній, играть среди слабыхъ людей извѣстную роль, импонировать имъ кажущейся глубиной и послѣдовательностью своей мысли. А онъ просто забылъ моральную азбуку или даже никогда не зналъ ея.

Шарлатанство въ области теоретической мысли совершенно такого же свойства, но, какъ это ни странно на первый взглядъ, оно опаснѣе шарлатанства чисто практическаго, потому что первое есть корень или, по крайней мѣрѣ, необходимое условіе послѣдняго. Практическій шарлатанъ всегда исходитъ изъ какого-нибудь, якобы, научнаго теоретическаго положенія, изъ чего-то, якобы, умудреннаго трезвою, свободною отъ предразсудковъ мыслью. Никогда бы онъ не могъ этого сдѣлать, еслибы не встрѣчалъ прямой или косвенной поддержки въ наукѣ и въ литературѣ. Я только для краткости выражаюсь «практическое шарлатанство», «теоретическое шарлатанство», а надо бы говорить: «шарлатанство въ области теоретическихъ вопросовъ» и «шарлатанство въ области вопросовъ практическихъ». Само по себѣ, шарлатанство есть всегда нѣчто практическое и всегда сводится къ тому, чтобы провести свои, во всякомъ случаѣ, мелкія, а то и дрянныя личныя дѣлишки контрабандой подъ флагомъ Правды. Много трудовъ положено, много мукъ принято, много жертвъ принесено для выработки какого-нибудь нравственнаго правила или научнаго положенія. Чистѣйшіе, благороднѣйшіе представители человѣчества уложили къ нему путь своими костями. Шарлатану это ни по чемъ. Онъ съ легкимъ сердцемъ коверкаетъ его, упрощая до неузнаваемости. Подумайте, въ самомъ дѣлѣ, мои молодые друзья, какою страшною цѣною досталась намъ, напримѣръ, та истина, что человѣческія дѣйствія повинуются извѣстнымъ естественнымъ законамъ. Страшно вообразить тотъ рядъ костровъ, на которыхъ горѣли провозвѣстники этой идеи, тотъ рядъ преслѣдованій, который они вытерпѣли. И для чего?—для того, чтобы какой-нибудь пакостникъ имѣлъ возможность говорить: я совершилъ пакость, но моя воля несвободна—я ни въ чемъ не виноватъ! Возьмите представленіе міра въ видѣ механической системы. Не говорю ужъ о тѣхъ преемственныхъ вѣковыхъ усиліяхъ мысли, которыя привели къ этому представленію, но припомните только, какія препятствія встрѣчало развитіе этой идеи въ предразсудкахъ людей, власть имѣющихъ. И для чего?—для того, чтобы фельетонистъ «Сѣвернаго Вѣстника», желая блеснуть глубиною, новизною, оригинальностью мысли (а, вѣдь, это—еще самое невинное изъ возможныхъ въ подобныхъ случаяхъ побужденій), имѣлъ возможность замазать ту великую истину, которая заключается въ статьѣ г. Брандта... Не подумайте, впрочемъ, чтобы говоря о шарлатанахъ, я имѣлъ въ виду именно фельетониста. Нѣтъ, я говорю, вообще, а въ немъ лично я скорѣе склоненъ видѣть недомысліе. Да до него лично мнѣ и дѣла нѣтъ. Я одно знаю: скверно жить въ этомъ омутѣ, изъ котораго дай Богъ вамъ выбраться чистыми. А это, замѣтьте, тѣмъ труднѣе, чѣмъ глубже омутъ, чѣмъ темнѣе кругомъ, чѣмъ рѣже, по какимъ-бы то ни было причинамъ, будетъ доходить до васъ голосъ свободной критики.

Изъ теоретическихъ упрощеній самое у насъ распространенное состоитъ въ попыткахъ свести всю область психическихъ явленій безъ остатка къ ея механическимъ или, по крайней мѣрѣ, физіологическимъ основамъ. Въ свое время весьма важно было показать, что психическій процессъ не есть что нибудь совсѣмъ исключительное, не имѣющее себѣ подобія въ другихъ процессахъ. Для очень многихъ, для огромнаго большинства даже, доказательства эти и до сихъ поръ нужны. Мало того: ни одинъ человѣкъ, желающій научно мыслить, не можетъ обойти усвоеніе механической теоріи и опредѣленіе ея общихъ отношеній къ спеціальному предмету его занятій. Это относится и къ психологу. Для него важно знать и доказать, что моменты психической жизни суть своеобразныя формы движенія. Но затѣмъ самое психологическое изслѣдованіе, во всѣхъ своихъ частностяхъ и подробностяхъ, можетъ быть вполнѣ научнымъ. совершенно независимо отъ механической теоріи. И величайшую глупость въ мірѣ сдѣлалъ бы тотъ психологъ, который отринулъ бы изученіе психическихъ формъ движенія въ ихъ цѣлостности и законченности на томъ только основаніи, что они—формы. Онъ показалъ бы этимъ, что не понимаетъ ровно ничего, въ томъ числѣ и требованій механической теоріи. Утопить форму въ безформенности не значитъ понять соотвѣтствующее явленіе. Это я вовсе не свое личное мнѣніе только высказываю, которое въ состояніи буду представить и оправдать нѣсколько позже. Вотъ какъ разсуждаетъ объ этомъ современная наука:

«Соматическій методъ въ психологическихъ изслѣдованіяхъ обращаетъ возможно большее вниманіе на физическіе процессы, неразрывно и законосообразно связанные съ психическими явленіями. Но, примѣняя этотъ

методъ, вовсе нѣтъ надобности видѣть въ физическихъ процессахъ послѣднее основаніе психическихъ или даже нѣчто исключительно данное. Точно также нельзя, конечно, признавать возможность психическаго явленія безъ физіологической основы. Можно именно ученіе объ измѣненіи представленій, то-есть о вліяніи представленій наличныхъ или вновь поступающихъ въ сознаніе на послѣдующія, нетолько теоретически развивать, но и въ гораздо большемъ размѣрѣ, чѣмъ это было до сихъ поръ, подкрѣпить опытомъ и наблюденіемъ, даже не касаясь физіологической основы. (Дальше слѣдуютъ примѣры). Здѣсь иной критикъ можетъ замѣтить: одно изъ двухъ—или надо признать независимость явленія отъ физіологіи, или же все изслѣдованіе не строго научно, потому что оно устраняетъ предполагаемую, признанную основу явленія. Однако, такая альтернатива не существуетъ, потому что эмпирически добытые факты и даже «эмпирическіе законы» сохраняютъ свое значеніе совершенно независимо отъ сведенія къ основамъ явленій. Въ противномъ случаѣ, съ такимъ же правомъ можно отрицать и всю нервную физіологію, потому что она еще не сведена на механику атомовъ, которая, вѣдь, лежитъ въ основѣ всѣхъ явленій природы» (Lange, I. c. 394).

Такъ говоритъ Ланге, можетъ быть, нѣсколько подозрительный въ вашихъ глазахъ историкъ матеріализма. Но то же самое, въ концѣ-концовъ, говоритъ уже нисколько въ этомъ смыслѣ не подозрительный Дюрингъ: «Предметомъ механической точки зрѣнія сознанное ощущеніе можетъ быть не само по себѣ, а, въ крайнемъ случаѣ, только внѣшнимъ своимъ обнаруженіемъ или, другими словами, въ подлежащихъ объективному изслѣдованію свойствахъ нервныхъ явленій. Измѣренія ощущенія, произведенныя опытнымъ, но независимымъ отъ механическихъ принциповъ методомъ Вебера, можно свести на механическіе нервные процессы, но это всетаки не будетъ непосредственнымъ приложеніемъ механическихъ процессовъ къ субъективному ощущенію. Такое примѣненіе представляется даже невозможнымъ, потому что въ ощущеніи нѣтъ ничего такого, что, подобно объективному предмету, оправдывало бы точку зрѣнія матеріи и движенія. Этому нисколько не противорѣчитъ то обстоятельство, что ощущеніе есть матеріальное явленіе; ибо, хотя все сущее познается только со стороны своей матеріальности и существуетъ только, какъ матерія, но всетаки отдѣльные продукты и свойства тѣлъ и носители этихъ свойствъ—не одно и то же. Поэтому нельзя переносить механику вещества на составныя части сознанія» (Kritische Geschichte der allgemeinen Principien der Mechanik, 486, 2-е изданіе). Такъ говоритъ Дюрингъ въ чисто-научномъ своемъ сочиненіи. Въ «Курсѣ философіи» онъ посвящаетъ этому предмету цѣлый параграфъ, гдѣ, между прочимъ, читаемъ: «Представители этого направленія хотятъ довольствоваться чистой физіологіей органовъ ощущенія и мышленія и упускаютъ при этомъ изъ виду, что субъективные факты, какъ таковые, и въ своей сущности (in ihrer empfundenen Innerlichkeit), никогда не могутъ покрыться внѣшнимъ наблюденіемъ отправленій органовъ. Изслѣдованіе и наблюденіе органовъ и ихъ видимой дѣятельности можетъ дать цѣнныя указанія на отношенія субъективныхъ формъ сознанія. Но если непосредственное изученіе элементовъ и формъ сознанія считается дѣломъ безразличнымъ или второстепеннымъ, то этимъ обнаруживается полное непониманіе требованій раціональнаго ученія о сознаніи. Такъ было съ Контомъ, такъ бываетъ со всѣми тѣми физіологами, которые дѣлаютъ величайшія усилія для устраненія изъ психологіи суевѣрія, не будучи, однако, въ состояніи связать свои объективныя воззрѣнія съ соотвѣтственнымъ пониманіемъ субъективныхъ фактовъ. Физіологія непосредственныхъ органовъ ощущенія и мышленія есть для настоящаго ученія о сознаніи только вспомогательная наука, и особая теорія субъективныхъ элементовъ сознанія останется необходимою, пока мы не откажемся отъ точнаго и систематичнаго изученія всей психической стороны человѣка» (135).

На этотъ разъ довольно. Если что-нибудь въ этотъ письмѣ показалось вамъ неяснымъ, въ чемъ я, впрочемъ, сомнѣваюсь, такъ это зависитъ единственно отъ того, что я забѣжалъ впередъ. Выясненіе различныхъ точекъ зрѣнія, одинаково научныхъ, но примѣнимыхъ къ различнымъ явленіямъ, составляетъ лишь одну подробноеть системы Правды, которая (подробность) вполнѣ опредѣлится въ свое время. Теперь же, я полагаю, мы имѣемъ полное право сказать слѣдующее: какое мы бы ни дали опредѣленіе органическому индивиду, къ какимъ бы простѣйшимъ элементамъ мы ни сводили понятіе жизни, отношенія, существующія между органическимъ цѣлымъ и его частями, отъ этого нисколько не мѣняются. Отношенія эти раскроются намъ простымъ наблюденіемъ прежде всякаго философскаго обобщенія и независимо отъ него. Затѣмъ, я прошу у васъ только одного—вниманія.

II *).

Мы слишкомъ хорошіе, хотя и заглазные знакомые, чтобы я могъ конфузиться того неловкаго положенія, въ которое, кажусь, всталъ по своей винѣ. Я обѣщалъ «систему Правды», въ видѣ программы. Въ этомъ обѣщаніи не былъ ничего, по существу, неисполнимаго или очень заносчиваго. Каждый человѣкъ долженъ или имѣть, или искать такую систему, потому что иначе онъ превратится въ... Сейчасъ увидите во что онъ превратится, а теперь скажу только, что, послѣ первой же пробы, я долженъ былъ отказаться отъ мысли исполнить свое обѣщаніе въ журналѣ. Для этого нужна книга, и я ее напишу.

Это не мѣшаетъ мнѣ продолжать бесѣду о правдѣ и неправдѣ, хотя бы для того, чтобы показать, что система Правды нужна и возможна, что безъ нея жить нельзя, то есть, по человѣчески жить, а по свински-то можно. Это кажется такъ ясно, а между тѣмъ, посмотрите, сколько усилій употребляется для того, чтобы ниспровергнуть самое понятіе системы Правды, въ томъ двойственномъ смыслѣ, въ какомъ мы условились понимать это великое слово. Я не о тѣхъ говорю, кто просто и прямо отрицаетъ философію, не ту или другую философскую систему, а философію вообще. Этимъ Богъ проститъ, тѣмъ болѣе, что у нихъ самое отрицаніе философіи вытекаетъ часто изъ философіи же, даже изъ своего рода системы Правды (которую я представляю себѣ нѣсколько шире философіи), только они не умѣютъ свести въ ней концы съ концами. Я знаю, они и теперь, пожалуй, пожмутъ плечами, что, дескать, мужикъ, значитъ, непремѣнно живетъ по-свински. Нѣтъ, не непремѣнно. Что мужикъ сплошь и рядомъ живетъ по-свински — въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія, да и странно бы было, еслибы этого не было. Но, что каждый порядочный мужикъ имѣетъ въ своемъ распоряженіи полную систему Правды, хотя и въ смутномъ, зародышевомъ состояніи, или ищетъ ея — это тоже несомнѣнно. Система Правды требуетъ такого принципа, который: 1) служилъ бы руководящей нитью при изученіи окружающаго міра и, слѣдовательно, давалъ бы отвѣты на вопросы, естественно возникающіе въ каждомъ человѣкѣ; который 2) служилъ бы руководящей нитью въ практической дѣятельности и, слѣдовательно, давалъ бы отвѣты на запросы совѣсти и нравственной оцѣнки, опять-таки естественно возникающіе въ каждомъ человѣкѣ; и который, наконецъ, 3) дѣлалъ бы это съ такой силою, чтобы прозелитъ съ религіозною преданностью влекся къ тому, въ чемъ принципъ системы полагаетъ счастье. Это послѣднее требованіе, на первый взглядъ, не существенное и второстепенное, настолько, однако, важно, что ему инстинктивно стремились и стремятся удовлетворить всѣ философскія системы, реалистскія и идеалистскія, оптимистскія и пессимистскія, хотя оно и рѣдко ставится наравнѣ съ первыми двумя требованіями. Такъ вотъ, если вы обратитесь къ любому порядочному мужику, т. е. живущему или желающему жить по-человѣчески, а не по-свински, то вы убѣдитесь, что всѣ три пункта системы для него, если не ясны, то, во всякомъ случаѣ, намѣчены и притомъ связаны нѣкоторымъ единствомъ. Другое дѣло — отвѣты, которые онъ можетъ получить, при условіяхъ своей жизни. Объ нихъ, объ ихъ достоинствахъ и недостаткахъ я ничего не говорю.

Итакъ, рѣчь у насъ пойдетъ не объ отрицателяхъ, а, напротивъ, о людяхъ науки или выдающихъ себя за людей науки, о философахъ или мнящихъ себя быть таковыми. У меня есть превосходные матеріалы. На первый разъ, рекомендую вамъ статью г. де-ла-Серда въ послѣднемъ номерѣ «Знанія». Сначала покончимъ съ нѣкоторыми мелочами, изъ которыхъ, не смотря на всю ихъ мелочность, можно извлечь довольно полезные уроки.

Статья, о которой я говорю, есть произведеніе чисто-шутовское отъ первой до послѣдней страницы. Но такъ какъ она напечатана въ почти единственномъ у насъ популярно-научномъ изданіи, то оставить ее безъ вниманія нельзя. Шутовство автора доходитъ даже до выбора себѣ несообразнаго псевдонима. Слово la cerda изъ всѣхъ европейскихъ языковъ имѣетъ опредѣленное значеніе только въ испанскомъ и значитъ по-русски—свинья. Зачѣмъ оно понадобилось автору—понять довольно трудно. Но, во всякомъ случаѣ, шутовство послѣдовательно проходитъ черезъ всю статью. Я не могу назвать иначе, какъ шутовскою, ту развязность, съ которою г. де-ла-Серда (мнѣ нѣсколько неловко выписывать это странное имя, но дѣлать нечего) утверждаетъ, будто Дюрингъ есть все равно, что «нашъ Скальковскій»). Меня не удивляетъ авторъ, который задался цѣлью шутить и шутитъ, какъ умѣетъ. Но меня удивляетъ редакція «Знанія», которая, задумавъ издать цѣлый рядъ замѣчательныхъ, по ея мнѣнію, сочиненій по наукамъ антропологическимъ и соціальнымъ, въ первую голову, поставила сочиненіе Дюринга, если не ошибаюсь, его курсъ политической экономіи. Меня удивляетъ это неуваженіе редакціи къ своимъ читателямъ, къ самой

*) 1877, декабрь.

себѣ, къ наукѣ. А между тѣмъ, это, къ сожалѣнію—не единственный примѣръ. Статья г. ла-Серды написана о книгѣ г. Лесевича «Опытъ критическаго изслѣдованія основоначалъ позитивной философіи». Само-собою разумѣется, что никакой критики въ статьѣ г. ла-Серды нѣтъ—онъ только кувыркается. И одно изъ этихъ кувырканій таково. Г. Лесевичъ ссылается нѣсколько разъ въ своей книгѣ на г. П. Л. съ точнымъ обозначеніемъ заглавій работъ этого писателя, съ указаніемъ журналовъ, гдѣ онѣ были напечатаны. Г. ла-Серда пишетъ по этому случю: «г. П. Л., если я не ошибаюсь—позитивистъ-губернаторъ Paul von Lilienfeldt, о заслугахъ котораго я не считаю удобнымъ или нужнымъ распространяться». Опять-таки, меня нисколько не удивляетъ шутовство де-ла Серды, шутовство очевидное, потому что рѣчь вовсе не шла, вообще, о «заслугахъ» г. П. Л., а о тѣхъ его мысляхъ, на которыя ссылается г. Лесевичъ; принадлежи они губернатору или не губернатору—это рѣшительно все равно, разъ г. ла-Серда серьезно берется за дѣло. Но, такъ какъ ни о какомъ серьезѣ тутъ не можетъ быть рѣчи, то, повторяю, меня нисколько не удивляетъ устраненіе г. ла-Сердой цѣлой группы аргументовъ при помощи шутовского кувырканія. Но редакція «Знанія», помѣщавшая у себя статьи г. П. Л., меня истинно удивляетъ. «Знаніе» теперь прекратилось, но надняхъ должно возродиться въ видѣ общаго, литературно-научнаго журнала «Слово». Желая новому журналу успѣха, я желаю редакціи едва ли не самаго главнаго условія успѣха—самоуваженія. Разумѣется, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, и Иванъ Непомнящій можетъ добиться успѣха, но я не думаю, чтобы редакція «Знанія Слова» пожелала такъ устроить свои дѣла.

Комическое презрѣніе г. ла-Серды къ Дюрингу характерно вотъ въ какомъ смыслѣ. Для всякого мало-мальски свѣдущаго человѣка ясно, что критикъ не имѣетъ никакого понятія ни о Дюрингѣ, ни о Ланге, о которомъ онъ тоже говоритъ очень развязно, ни, вообще, о современной нѣмецкой философіи. Но откуда же берется у него смѣлость нести это свое невѣжество въ полной парадной формѣ въ какой ни на есть, но научный журналъ? И откуда берется смѣлость презирать то, объ чемъ онъ понятія не имѣетъ? Вѣдь, онъ почти гордится своимъ незнаніемъ. Онъ стоитъ, молодецки покручивая усы, на вершинѣ какой-то чрезвычайно высокой горы и съ младенческимъ самодовольствомъ посматриваетъ на этихъ, вполнѣ неизвѣстныхъ, но ужасно маленькихъ Дюринговъ и Ланге, которые копошатся гдѣ-то далеко, далеко внизу подъ нимъ, подъ ла-Сердой. Все это — отъ идолопоклонства, мои молодые друзья. Когда язычникъ разбиваетъ себѣ лобъ передъ идоломъ, онъ, во-первыхъ, не можетъ себѣ представить другихъ формъ уваженія, кромѣ такого же идолопоклонства, а во-вторыхъ, ни малѣйше не безпокоится узнать чужихъ боговъ. Напротивъ, именно въ незнаніи ихъ онъ полагаетъ свою чистоту, а въ заглазномъ презрѣніи и ненависти къ нимъ свое величайшее достоинство. Оно же и удобно кстати: все поменьше работы. Г. ла-Серда, именно такой идолопоклонникъ; его священный идолъ—журналъ гг. Литтре и Вырубова «La philosophie positive», а идолъ презираемый, но неизвѣстный — нѣмецкая философія. Я не намѣренъ говорить о книгѣ г. Лесевича по существу и обращу ваше вниманіе только на слѣдующее обстоятельство: г. Лесевичъ былъ нѣкогда чистымъ позитивистомъ и признавалъ гг. Литтре и Вырубова прямыми и достойными продолжателями Конта. Откровенно говоря, это меня удивляло, потому что позитивный журналъ всегда казался мнѣ, при всей его старательности, очень мало питательнымъ. Съ теченіемъ времени, г. Лесевичъ въ этомъ убѣдился и рѣшился остаться при одномъ Контѣ. Но, такъ какъ и Контъ, несмотря на свою геніальность—для него не идолъ, то онъ не погнушался найти нѣкоторыя поправки и дополненія къ Конту въ нѣмецкой философіи, которая у насъ огуломъ забракована еще съ тѣхъ поръ, какъ наши отцы (не дѣды-ли?) обломали себѣ зубы объ Гегеля. Такимъ является г. Лесевичъ въ своей книгѣ. Г. де-ла-Серда никакъ не можетъ понять такого свободнаго отношенія къ дѣлу. Слѣпое, традиціонное пренебреженіе къ нѣмецкой философіи, смѣнившее у насъ такую же слѣпую увѣренность, что вся мудрость заключена, именно, въ нѣмецкой философіи, значительно облегчаетъ положеніе г. ла-Серды и дѣлаетъ его храбрымъ. Куда бы онъ ни пришелъ, онъ можетъ быть вполнѣ увѣреннымъ, что остроты заднимъ числомъ насчетъ Гегеля и Фихте, смѣлыя уравненія въ родѣ: Дюрингъ-Скальковскій, и т. п. будутъ приняты обществомъ сочувственно и даже могутъ стяжать ему славу весьма свѣдущаго и остроумнаго человѣка. Такова сила предразсудка. Люди сороковыхъ годовъ должны помнить, что въ ихъ времена предразсудокъ по отношенію къ нѣмецкой философіи былъ тоже очень силенъ, но только обратный. Лично до г. ла-Серды мнѣ нѣтъ никакого дѣла; его рабьи привычки меня нисколько не безпокоятъ; онъ можетъ разбивать себѣ лобъ передъ чѣмъ ему угодно, и не я пожалѣю объ его лбѣ. Но, мои молодые друзья, когда я подумаю, что рабій образъ мыслей свойственъ не одному ла-

Сердѣ, когда я припоминаю, что я самъ на своемъ вѣку видѣлъ кругомъ себя въ этомъ вкусѣ, мнѣ становится скверно и страшно. Да, страшно. Что, думаю я себѣ, если эти юноши, съ которыми я веду бесѣду о правдѣ и неправдѣ, или даже не они, а ихъ дѣти, такъ же рабски, такъ же слѣпо отвернутся отъ тѣхъ вѣрованій, упованій, которыя васъ одушевляютъ и которыя, можетъ быть, пока не совсѣмъ ясны, но кажутся мнѣ сидящими прочно? Не въ обиду вамъ будь сказано—да и что объ этомъ говорить, когда мнѣ самому была бы тутъ кровная обида—но это очень возможно. До сихъ поръ такимъ именно путемъ шло наше русское умственное развитіе. Тиранія предразсудка—того, что принято прежде разсужденія, предъ разсужденіемъ, есть самая худшая изъ тираній, потому что на нее, какъ на каменную стѣну, опираются всѣ остальныя. Вы должны сами это знать даже изъ того сравнительно малаго жизненнаго опыта, который пока достался на вашу долю. Будьте свободны. Выбросьте изъ головы нелѣпый вопросъ: что можетъ выйти путнаго изъ Виѳлеема? и ищите для опредѣленія «путнаго», Правды, иныхъ, не географическихъ путей. Вы понимаете, что я вовсе не рекомендую вамъ погруженія въ нѣмецкую философію, какъ во всеисцѣляющій источникъ. Въ нѣмецкой философіи есть вещи очень различнаго достоинства, да я и не могу похвастаться всестороннимъ знакомствомъ съ ней. Но я могу вамъ указать въ ней два явленія, передъ которыми блѣднѣетъ вся остальная современная философская литература. Это тѣ, именно, Дюрингъ и Ланге, которыхъ г. ла-Серда, въ своей полной парадной формѣ невѣжества, кажется, особенно презираетъ. Онъ говоритъ, между прочимъ: «философскія воззрѣнія Литтре признаются Лесевичемъ чѣмъ-то «крайне наивнымъ и мизернымъ», *даже* въ сравненіи съ таковыми же воззрѣніями г. Альберта Ланге». Это *даже* — прелестно въ смыслѣ идолопоклонства. Я не знаю, какое бы вамъ привести простое сравненіе для уясненія всей фразы съ ея ироническимъ букетомъ. Ну, представьте себѣ, напримѣръ, что въ какой-нибудь глухой мѣстности живетъ наивный человѣкъ, глубоко увѣренный, что правофланговый солдатъ мѣстнаго 189 карапузнаго пѣхотнаго полка есть самый высокій солдатъ въ мірѣ и, что выше его и быть никакого не можетъ. Представьте себѣ, что этотъ наивный человѣкъ получаетъ отъ пріѣзжаго изъ столицы свѣдѣнія о ростѣ гвардейскихъ солдатъ. Онъ восклицаетъ побѣдосно-иронически: «по мнѣнію NN, правофланговый 189 карапузнаго пѣхотнаго полка ниже *даже* солдата преображенскаго полка». Таково дѣйствительное отношеніе «роста» Литтре и Ланге и таковъ комизмъ мѣстно-позитивнаго патріотизма г. де-ла Серды. Сейчасъ вы увидите, почему я ставлю высоко (далеко не одинъ я) Дюринга и Ланге. А теперь—опять къ г. де-ла-Серда.

Этотъ мало почтенный критикъ наводилъ, какъ онъ самъ разсказываетъ, справки о личности г. Лесевича и узналъ, что послѣдній есть, во-первыхъ, «личный врагъ одного весьма высокопоставленнаго, хотя, по всѣмъ вѣроятіямъ, лишь миѳическаго существа», и, во-вторыхъ, «членъ союза трезвыхъ философовъ». «Такой есть союзъ,—пояснили мало почтенному критику: — ни хлѣбнаго ни виноградnаго, а между тѣмъ, всетаки философы». Коротко и ясно, это называется сплетнями. Но онѣ очень идутъ къ общей физіономіи г. ла-Серды — и Богъ съ нимъ. Мнѣ хочется сказать нѣсколько словъ о «союзѣ трезвыхъ философовъ», воспѣтомъ уже однажды г. Минаевымъ въ комедіи «Спѣтая пѣсня» и вотъ теперь опять поднимаемомъ изъ гроба (онъ умеръ, бѣдный) г. ла Сердой. Любопытно, что оба эти писателя глумятся надъ «трезвостью» собраній, объ которыхъ говорятъ, разумѣя подъ трезвостью воздержаніе отъ «хлѣбнаго и виноградnаго». Кажется, что бы тутъ было такого достойнаго сатиры? Я уже не говорю о томъ, что выраженія «трезвая мысль», «трезвый взглядъ на вещи» должно быть совсѣмъ непонятны этимъ Ювеналамъ. Надо вамъ сказать, что «союзомъ» никогда собранія «трезвыхъ философовъ» не именовались, и самое названіе трезвыхъ философовъ было просто шуточнымъ, такъ какъ и разговоры на этихъ собраніяхъ были очень разнообразнаго свойства и часто не имѣли никакого отношенія къ философіи. Нѣсколько человѣкъ изъ учащейся молодежи пожелали собираться для бесѣдъ о новой книгѣ, о журнальной статьѣ, о чемъ придется. Пригласили нѣсколько профессоровъ, литераторовъ. Потомъ одни отставали, другіе приставали. Бесѣды были самыя мирныя и невинныя. Я бывалъ на нихъ и, откровенно говоря, большею частью, хотя далеко не всегда, скучалъ. Но это не мѣшаетъ мнѣ съ величайшимъ почтеніемъ относиться къ самой идеѣ собраній: на нихъ, какъ ни какъ, люди Правды искали. Я это не для васъ разсказываю, мои молодые друзья, а для другихъ. Во-первыхъ, разъ «трезвые философы» попали въ литературу и стали предметомъ обличенія (рѣшительно для меня непонятнаго), такъ пусть же объ нихъ будетъ извѣстна правда. Во-вторыхъ, мнѣ извѣстно, что совершенно подобныя же мирныя и невинныя бесѣды представляются иногда нѣкоторыми прозорливцами

въ видѣ чрезвычайно опасныхъ политическихъ сходокъ. Можетъ быть, открытый, печатный разсказъ о «трезвыхъ философахъ» нѣсколько сдержитъ прозорливцевъ.

Устранивъ г. П. Л. по подозрѣнію въ губернаторствѣ г. ла-Серда, хотя сравнительно снисходительно, но съ огромными претензіями на остроуміе и глубокомысліе, обрушивается на меня. Этотъ весь багажъ пусть при немъ и остается. Я возьму только слѣдующее: «Ровно восемь лѣтъ тому назадъ, г. Михайловскій терзался вопросами, которыми терзается въ извѣстномъ возрастѣ каждый мало-мальски порядочный и мыслящій юноша и которые, въ свое время, занимали еще и шиллеровскаго Jüngling am Bache. Свобода побужденій и роковая необходимость поступковъ, закономѣрность явленій и возмущенія совѣсти противъ нравственной непотребности фатализма, недовольство голой формулой: все совершается по извѣстнымъ законамъ, и юношеское нетерпѣніе—дополнить ее какимъ-нибудь принципомъ, который могъ бы служить руководящей нитью въ только что начинающейся молодой жизни—на эти и тому подобные вопросы г. Михайловскій въ свое время искалъ отвѣтовъ и, конечно, не обрѣлъ ихъ. Но эти самые вопросы волнуютъ теперь и г. Лесевича, который называетъ ихъ «проклятыми».

Я вамъ покажу, прежде всего, фактическій образчикъ развязности г. де-ла-Серды. «Юноша у ручья», «Jüngling am Bache» Шиллера, нисколько не волнуясь «проклятыми» вопросами, думаетъ объ «Ней» и заканчиваетъ свои мечты такимъ призывомъ:

Позабудь свои чертоги!
Припади ко мнѣ на грудь!
Я весенними цвѣтами
Скрашу жизненный твой путь.
Въ рощѣ пѣсни раздаются,
Ключъ струится съ высоты:
Вѣдь и въ хижинѣ просторно
Для любящейся четы!

Весьма вѣроятно, что юноша этотъ волновался и вопросами о свободѣ совѣсти и фатализмѣ, но Шиллеръ объ этомъ рѣшительно ничего не говоритъ. Не скажу, чтобы мнѣ никогда не приходилось мечтать объ «Ней», но мечтаній этихъ я никогда тисненію не предавалъ. Изъ этого вы видите, что Jüngling am Bache приплетенъ тутъ ни къ селу, ни къ городу, больше для того, что: на-те молъ, нѣмцы, презираю васъ, сую вашего Шиллера куда ни попало—хочу съ кашей ѣмъ, хочу во щи лью. Это ли еще не шутовство? Такова же и развязность г. де-ла-Серды по отношенію къ Дюрингу и Ланге. Ни того, ни другого онъ не знаетъ, но глубоко презираетъ, а потому—не все ли ему равно, куда ихъ сунуть? Объ Дюрингѣ онъ знаетъ только, что онъ много пишетъ и гнусно ругается. И то, и другое справедливо. Пишетъ Дюрингъ довольно много, ругается много, грубо и часто очень несправедливо. Но еслибы г. ла-Серда зналъ другія прегрѣшенія этого бѣднаго Дюринга, такъ онъ бы его совсѣмъ въ порошокъ истеръ. Довольно того, что Дюрингъ, какъ и Ланге, съ величайшимъ уваженіемъ относясь въ своей исторіи философіи къ Конту, ничего, кажется, не говоритъ о Литтре и ужъ навѣрное ничего о г. Вырубовѣ. Этого человѣка, котораго г. де-ла Серда, кажется одного только и согласенъ поставить рядомъ съ правофланговымъ 189 карапузнаго пѣхотнаго полка, Дюрингъ дерзаетъ оставлять совсѣмъ безъ вниманія! Мало того: Дюрингъ, какъ и Ланге, на старости лѣтъ волнуется тѣми самыми проклятыми вопросами, которые столь рѣшительно предоставлены г. ла-Сердой въ вѣдѣніе «юноши у ручья».

Но, мои молодые друзья, именно, поэтому-то я и рекомендую вашему вниманію Дюринга и Ланге. Сколько мнѣ, по крайней мѣрѣ, извѣстно, въ Европѣ нѣтъ писателей, которые были бы ближе къ Правдѣ, чѣмъ эти двое, хотя они—далеко не одно и то же. Въ Европѣ есть не мало чрезвычайно почтенныхъ ученыхъ, имена которыхъ навсегда останутся въ памяти благодарнаго человѣчества. Есть они и среди изучающихъ природу, и среди изучающихъ человѣческое общество. Людей, достаточно широкихъ и разносторонніхъ, чтобы обнять обѣ эти великія сферы человѣческаго вѣдѣнія — вопросы о природѣ и вопросы нравственно-политическіе—такихъ людей, понятно, гораздо меньше. Вдобавокъ, среди нихъ происходитъ обыкновенно то печальное явленіе, что кто силенъ въ пониманіи природы, тотъ слабъ въ оцѣнкѣ нравственно-политическихъ идеаловъ—и наоборотъ. Кто трезво, то есть безъ всякаго мистицизма смотритъ на «равнодушную природу», тотъ обыкновенно слишкомъ равнодушно относится къ волнующимъ людей нравственно-политическимъ идеаламъ, а въ этомъ случаѣ равнодушно относиться значитъ не понимать. Наоборотъ: кто горячо и чутко относится къ нравственно-политическимъ вопросамъ, къ тому, что *должно* существовать, тотъ часто впадаетъ въ тотъ или другой видъ мистицизма по отношенію къ природѣ, къ существующему. Такъ бываетъ обыкновенно. Но бываютъ счастливыя исключенія. Выростаютъ люди, благодаря какимъ-то неизвѣстнымъ условіямъ, соединяющіе въ себѣ качества, нужныя для уразумѣнія Правды во всемъ ея объемѣ. Таковы, именно, Дюрингъ и Ланге. Я не то хочу сказать, что вы можете изъ ихъ рукъ полу-

чить вполнѣ готовую систему Правды, надъ которой вамъ самимъ совсѣмъ уже не придется работать. Это уже потому немыслимо, что они далеко и далеко не во всемъ между собою согласны. Но оба они, во-первыхъ, могутъ смѣло претендовать на титулъ трезвыхъ философовъ (я не о «хлѣбномъ и виноградномъ» говорю—объ этомъ пусть г. де-ла Серда наводитъ справки) и, во-вторыхъ, оба чутко и горячо относятся къ самымъ святымъ упованіямъ современной Европы—святымъ, я знаю, и въ вашихъ глазахъ. Оба они далеко не «юноши у ручья»: Дюрингу лѣтъ сорокъ пять, Ланге умеръ лѣтъ сорока восьми. Это не мѣшаетъ имъ волноваться, вообще говоря, тѣми самыми вопросами, которые волнуютъ и васъ, юношей. Но само собою разумѣется, что возрастный критерій путей къ Правдѣ такъ же нелѣпъ, какъ и географическій. Изъ васъ хотятъ сдѣлать какую-то особенную породу людей, которая, однако, въ извѣстную пору непремѣнно должна превратиться въ другую породу. Одинъ острякъ говорилъ, что всѣ нѣмцы до тридцати лѣтъ — Адамъ Адамычи, а старше тридцати — Богданъ Богданычи. Я не знаю, что онъ хотѣлъ этимъ сказать. Если то, что нѣмецъ, проведя свою молодость во вздохахъ по «Ней», въ разныхъ буршикозныхъ буйствахъ и тому подобныхъ «непрактичностяхъ», къ тридцати годамъ круто поворачиваетъ къ буржуазно-практическому устройству своихъ дѣлишекъ; если острякъ это хотѣлъ сказать, то, независимо отъ остроумія, его мысль для недавняго еще времени довольно справедлива. Теперь это и для Германіи несправедливо. Стародавніе буршикозные типы вымираютъ, настоящіе практическіе люди ведутъ свою линію отъ младыхъ ногтей, а число не желающихъ обдѣлывать свои дѣлишки все ростетъ. Судя по нѣкоторымъ признакамъ, можно даже думать, что людей этого послѣдняго сорта въ Германіи теперь больше, чѣмъ гдѣ-нибудь въ Европѣ. Во всякомъ случаѣ, вамъ-то нѣтъ рѣшительно никакого резона быть до тридцати лѣтъ Адамъ Адамычами, а послѣ тридцати—Богданъ Богданычами, какъ совѣтуетъ мало почтенный критикъ «Знанія»; нѣтъ никакого резона волноваться вопросами совѣсти и нравственной оцѣнки только для того, чтобы въ извѣстномъ возрастѣ забросить ихъ, какъ неизбѣжный, но преходящій атрибутъ молодости. Я знаю, что это очень часто бываетъ, слишкомъ хорошо знаю, потому что мнѣ и самому случалось отрывать отъ сердца иного Адама Адамыча и даже топтать его, въ видѣ Богдана Богданыча, ногами, какъ негодную трянку, какъ опозоренное, сдавшееся врагу знамя. Я понимаю силу житейскаго болота, засасывающую иной разъ даже недюжинныхъ людей. Но борьба съ болотной силой все-таки возможна и, значитъ, обязательна. Во всякомъ же случаѣ, пусть засосанный прямо и откровенно сознается въ своей слабости, пусть онъ это сдѣлаетъ честно, и тогда онъ не вызоветъ ничего, кромѣ сожалѣнія о погибшемъ братѣ. Но пусть онъ не обобщаетъ своего положенія, не прикрывается великими вещами и не позоритъ ихъ этимъ употребленіемъ. А между тѣмъ, это-то и бываетъ обыкновенно.

Въ общихъ чертахъ, характеръ нашего умственнаго движенія, примѣрно съ пятидесятыхъ годовъ, можетъ быть сведенъ къ двумъ пунктамъ. Подъ напоромъ своихъ домашнихъ дѣлъ и иностранныхъ вліяній мы желали во-первыхъ, знать неподкрашенную правду о существующемъ, *о мірѣ какъ онъ есть*, со включеніемъ ближайшихъ къ намъ, окружающихъ насъ вплотную явленій. Поэтому мы благоволили къ разнымъ философскимъ системамъ, носившимъ названія матеріализма, реализма, позитивизма. Собственно, въ философскія системы мы никогда особенно пристально не вглядывались и довольно не разборчиво валили ихъ въ кучу, лишь бы онѣ обѣщали намъ правду. Къ нимъ мы питали больше платоническія чувства. Но направленіе все-таки очень сильно сказалось въ частныхъ областяхъ, въ пристрастіи къ естественнымъ наукамъ, въ особенныхъ пріемахъ въ беллетристикѣ и въ другихъ искусствахъ, въ критикѣ, въ обличительной литературѣ. Въ тоже время, насъ занимала и другая половина Правды—вопросы о томъ, каковъ міръ *долженъ* быть, міръ человѣческой жизни, разумѣется. Въ этомъ отношеніи разногласія было, понятно, гораздо больше. Мы можемъ, однако, совсѣмъ выкинуть изъ счета тѣхъ «несогласно мыслящихъ», которые, въ той или другой формѣ, въ тѣхъ или другихъ фразахъ, утверждали и утверждаютъ, что міръ долженъ быть таковъ, какъ онъ есть, съ маленькими заплатками и наставками. Это — представители умственной неподвижности: то, что останется за вычетомъ ихъ, и будетъ характерно для нашего умственнаго движенія, какъ оно продолжается до сего дня. Покойникъ Кельсіевъ, несчастный засосанный Кельсіевъ, былъ поэтому совершенно правъ, характеризуя общее теченіе нашихъ дѣлъ нескладнымъ словомъ «правдоискательство». Надо, однако, замѣтить, что обѣ половины Правды въ сравнительно лишь немногихъ головахъ находились въ состояніи полнаго равновѣсія, образуя гармоническое цѣлое. Въ большинствѣ происходило нѣкоторое шатаніе; Правда выставлялась впередъ то однимъ, то другимъ бокомъ, отчего происходило и происходитъ много внѣшней путаницы и внутренней ду-

шевной ломки. Мнѣ случалось разсказывать эту исторію, которую я лично на себѣ пережилъ и кругомъ себя видѣлъ, а потому въ подробности здѣсь входить не буду. Вы понимаете, что дѣло шло, именно, о проклятыхъ вопросахъ, которыхъ нельзя обойти, если вы въ самомъ дѣлѣ ищите Правды. Борьба за существованіе есть законъ природы (хотя это далеко не вѣрно), и, какъ законъ, я, во имя Правды, долженъ его признать, не смѣю, подобно глупому страусу, прятать отъ него голову. Но внутренній голосъ, голосъ совѣсти, во имя Правды же (и въ этомъ трагизмъ), щемящей болью протестуетъ противъ каждаго практическаго шага, сдѣланнаго на основаніи этого закона природы. Дѣла идутъ такъ, какъ они должны идти, какъ они не могутъ не идти, и завтрашній день принесетъ то, что онъ долженъ принести по совокупности условій предъидущихъ дней. Это — Правда. Но во имя той же Правды я хочу направить завтрашній день извѣстнымъ образомъ, не предоставляя его цѣликомъ во власть стихійныхъ силъ. Пока вы сосредоточиваете свое вниманіе на одной какой-нибудь половинѣ Правды, вы можете идти смѣло впередъ, но, какъ только условія вашего личнаго развитія или условія теоретическаго или практическаго вопроса, на который васъ натолкнула судьба, сведутъ обѣ половины на очную ставку, такъ неизбѣжно начинается путаница и ломка. О простой путаницѣ говорить не стоитъ. Въ ней человѣкъ можетъ очень спокойно провести цѣлую жизнь, самоудовлетворившись какою-нибудь кличкой въ родѣ «либерала» и съ гордостью подставляя свой мѣдный лобъ подъ всевозможные жизненные щелчки. Другое дѣло— ломка. Она, въ этомъ случаѣ, есть дѣло очень почтенное, свидѣтельствующее о томъ, что вы ищете Правды. Но на ней нельзя остановиться, и жизнь ставитъ передъ вами три выхода (четвертый—самоубійство; но это—не выходъ). Или вы рѣшаете для себя вопросъ о равновѣсіи Правды и не отказываетесь, слѣдовательно, ни отъ истины, ни отъ справедливости. Или вы затягиваетесь въ житейское болото, подавленные непосильною тяжестью проклятыхъ вопросовъ, но затягиваетесь честно, откровенно заявляя о своей слабости, не позоря себя теоретическимъ отступничествомъ, не прикрываясь одной половиной Правды для поруганія другой, не отвлекая другихъ отъ пути, съ котораго свернули только по своей слабости, а не потому, что самый путь нелѣпъ или невозможенъ. Или, наконецъ, вы нагло разрываете Правду пополамъ и говорите: да, когда я былъ молодъ, я тоже объ эти вещи спотыкался, но теперь я умудренъ житейскимъ опытомъ и наукою. Это заявленіе нисколько, разумѣется, не мѣшаетъ вамъ быть не просто невѣжественнымъ, а глубоко невѣжественнымъ человѣкомъ. Просто невѣжественнымъ я называю незнающаго: это—дѣло поправимое. Глубоко невѣжественный человѣкъ не знаетъ, не хочетъ знать и гордится своимъ незнаніемъ. Ничто, говорю, не мѣшаетъ именно такому глубоко невѣжественному человѣку ссылаться на науку для прикрытія своей нравственной наготы. Такъ какъ невѣжественныхъ людей больше, чѣмъ свѣдущихъ, то это даже наиболѣе обыкновенный случай. Можетъ показаться очень завиднымъ положеніе человѣка, который, отбросивъ всѣ безпокойные вопросы, смотритъ на міръ исключительно съ научной точки зрѣнія. Но завиднаго тутъ нѣтъ ничего, потому что онъ, въ сущности, по безсмертному выраженію Гоголя, смотритъ на міръ, ковыряя въ носу, а вовсе не съ научной точки зрѣнія. Въ такомъ именно мало изящномъ положеніи находится г. ла-Серда. И спокоенъ онъ равно постольку, поскольку не понимаетъ. Въ сущности же, онъ полонъ внутреннихъ противорѣчій, которыя очень ясно видны со стороны, и еслибы онъ имѣлъ возможность хоть на минуту заглянуть въ самого себя (а кто его знаетъ? можетъ быть, это съ нимъ когда-нибудь и случится), онъ ужаснулся бы, какой въ немъ идетъ кавардакъ. Ему, напримѣръ, очень смѣшны мои слова: «не восхищаться политическими фактами и не осуждать ихъ возможно только тогда, когда мы не понимаемъ ихъ значенія». Это, видите-ли—ребяческая мысль, приличествующая только младшему возрасту, только «юношамъ у ручья». Дѣло здѣсь идетъ не только о политическихъ фактахъ, въ тѣсномъ смыслѣ слова, а обо всѣхъ явленіяхъ нравственныхъ. И, однако, г. ла-Серда восхищается гг. Литтре и Вырубовымъ и осуждаетъ г. Лесевича. Значитъ ли это, что онъ не понимаетъ тѣхъ и другого? Нѣтъ, не значитъ: онъ дѣйствительно не понимаетъ, но зависитъ это отъ другихъ причинъ, и, во всякомъ случаѣ, онъ-то увѣренъ, что понимаетъ. Ну, и не писалъ бы статей, не осуждалъ бы однихъ, не восхищался бы другими, а спокойно бы занимался мало изящнымъ дѣломъ, о которомъ говоритъ Гоголь.

Я не питаю ни малѣйшихъ иллюзій насчетъ района дѣйствій словесной и печатной проповѣди и очень хорошо знаю, что она можетъ принести пользу только тамъ, гдѣ разныя предварительныя и побочныя условія подготовили для нея почву. Но я думаю, что въ васъ есть такая почва для проповѣди Правды въ ея единствѣ и цѣлостности. Знаю я также, что бываютъ такія минуты въ жизни человѣка и особенно молодого че-

ловѣка, когда подходящее слово можетъ запечатлѣться на цѣлую жизнь и всю ее окрасить извѣстнымъ цвѣтомъ. Вотъ почему очень важно знать, гдѣ говорятъ подходящія слова, то есть что и какъ слѣдуетъ читать. Я вамъ и говорю: вы ничего не потеряете, если ни разу въ жизни не развернете позитивнаго журнала гг. Литтре и Вырубова. Другое дѣло тѣ философскія системы (словъ не пугайтесь), въ которыхъ, какъ бы ни разногласили они въ частностяхъ, обѣ половины Правды сводятся на очную ставку, и проклятые вопросы, этотъ соединительный пунктъ истины и справедливости, не выкидываются за бортъ. А откуда они идутъ, изъ Германіи, Испаніи, Россіи, отъ юношей, отъ старцевъ— это ужъ предоставьте господамъ ла-Сердамъ.

Г. ла-Серда ведетъ свою линію слишкомъ грубо и шутовски, а потому едва ли можетъ кого-нибудь ввести въ соблазнъ. Еслибы въ немъ не отразилось нѣчто гораздо болѣе общее и важное, я не сказалъ бы объ немъ ни слова. Но, къ несчастію, не онъ одинъ стремится разорвать Правду пополамъ. Это стремленіе имѣетъ своихъ представителей, гораздо болѣе тонкихъ, умныхъ, талантливыхъ и знающихъ въ очень разнообразныхъ отрасляхъ науки и искусства. Но особенно печально, когда они, кромѣ того, еще вполнѣ искренни, что, конечно, возможно только при значительной долѣ наивности. Таковъ напримѣръ Эмиль Зола, «Парижскія письма» котораго вышли недавно отдѣльнымъ изданіемъ.

Зола сталъ на половину русскимъ писателемъ. Онъ не просто пишетъ корреспонденціи въ русскій журналъ, а влагаетъ въ эти корреспонденціи такое свое задушевное, которое, кажется, даже не рѣшается высказать у себя на родинѣ. Надо правду сказать: въ его положеніи на половину русскаго писателя есть своя доля комизма. Одинъ изъ видныхъ представителей «натуральной школы», «реальнаго романа» во Франціи, Зола не довольствуется дѣятельностью романиста, прилагающаго принципы школы прямо къ дѣлу. Онъ хочетъ еще теоретически развивать эти принципы и прилагать ихъ критически. Дѣлаетъ онъ это въ русскомъ журналѣ, изъ чего проистекаютъ многія странности. Такъ, напримѣръ, онъ говоритъ: «Прежде всего необходимо загладить несправедливость, съ которой отнеслись къ братьямъ Гонкурамъ... Нужно громко высказывать нѣкоторыя истины; особенно удобно это на чужбинѣ, гдѣ критикъ можетъ стоять внѣ крикливыхъ брюзжаній кружковъ и самозванныхъ репутацій и облечься въ полное безпристрастіе чистой справедливости». Была-ли оказана братьямъ Гонкуръ справедливость или нѣтъ, но это, во всякомъ случаѣ, произошло во Франціи. И если нужно «громко высказывать нѣкоторыя истины», то на чужбинѣ это вовсе неудобно, по той простой причинѣ, что слово, даже чрезвычайно громко сказанное по-русски, для французскаго уха не сказано ни тихо, ни громко, а потому никакой несправедливости загладить не можетъ. Съ другой стороны, мы, русскіе, такъ давно имѣемъ свою «натуральную школу» и свой «реальный романъ» и такъ наслушались самыхъ разнообразныхъ на этотъ счетъ разсужденій, что не получаемъ ничего новаго въ эстетическихъ и критическихъ принципахъ Зола. Если остановиться на этой точкѣ зрѣнія, то рѣшительно не видно, зачѣмъ ему писать свои корреспонденціи и зачѣмъ намъ ихъ читать. Но на этой точкѣ зрѣнія остановиться, конечно, нельзя, хотя остается всетаки безспорнымъ, что Зола и мы, его читатели, никогда не породнимся: онъ будетъ писать не для насъ, а для себя, мы его будемъ читать совсѣмъ не ради того, что самому ему особенно дорого. Затѣмъ, какъ ни какъ, передъ нами отводитъ душу положительный и убѣжденный человѣкъ.

Парижскія письма Зола сами собой распадаются на двѣ группы. Въ однихъ авторъ говоритъ образами и картинами, въ другихъ—языкомъ смертныхъ, прозой, логической рѣчью. Первыя представляютъ картины нравовъ и быта современной Франціи, вторыя большею частью заняты критическими опытами о современной французской литературѣ, преимущественно беллетристикѣ. Только эти послѣднія пока и вышли отдѣльнымъ изданіемъ. Это очень жаль: имѣя передъ собой обѣ группы писемъ, мы сразу видѣли бы и la critique, и l'art, и теоретическіе принципы творчества и практическое ихъ приложеніе. Въ поэтическихъ письмахъ Зола (если можно такъ выразиться въ противоположность критическимъ письмамъ) содержатся всѣ достоинства и недостатки школы, но, такъ какъ фабулы этихъ очерковъ очень несложны, то даже бѣглымъ сопоставленіемъ ихъ съ критическими письмами можно бы было добыть нѣчто цѣнное. Удовлетворимся критикой.

Надо замѣтить, что Зола придаетъ иногда очень наивный смыслъ слову: критика. Такъ, сказавъ вскользь о нѣкоторой мелочности работы Гонкуровъ, онъ спѣшитъ прибавить: «Я вовсе не намѣренъ критиковать; я просто объясняю образованіе того удивительнаго слога, который выдвинулъ братьевъ Гонкуръ въ первые ряды современныхъ беллетристовъ (85). Или, говоря о Додэ: «Мы имѣемъ здѣсь дѣло съ естественнымъ влеченіемъ темперамента, и я настаиваю на этомъ, чтобы не придавали моей мысли критическаго смысла, котораго она не имѣетъ» (106).

По мнѣнію Зола, какъ и по мнѣнію нашихъ губернскихъ аристократическихъ дамъ, критиковать, значитъ осуждать, хулить. Съ этой точки зрѣнія, первый томъ «Парижскихъ писемъ» можно раздѣлить на три отдѣла: въ первомъ—Зола ничего не «критикуетъ», а только умиляется, во второмъ—онъ критикуетъ, то есть осуждаетъ, въ третьемъ — онъ не дѣлаетъ ни того ни другого въ отдѣльности, и это самый маленькій, но самый цѣнный отдѣлъ книги, значительно, однако, колеблящій эстетическіе принципы автора.

Естественно, что Зола боится или не хочетъ «критиковать» своихъ единомышленниковъ или кого считаетъ единомышленниками—представителей натуральной школы и реальнаго романа. Въ этомъ отношеніи, онъ представляетъ образецъ полнаго личнаго безкорыстія (не говорю безпристрастія). Флоберъ, Гонкуры, Додэ, это—конкурренты Зола на полѣ реальнаго романа, но, далекій отъ всякой мелочной зависти, онъ превозноситъ ихъ выше лѣса стоячаго, имѣя въ виду только интересы принципа, школы. Это очень, конечно, хорошая черта его личнаго характера, но ея немножко мало для критика и теоретика. Каждый изъ писателей «натуральной школы» въ отдѣльности превозносится насчетъ всѣхъ остальныхъ, со включеніемъ даже его ближайшихъ собратовъ. Нечего и говорить о Бальзакѣ, онъ— «самый крупный умъ нынѣшняго вѣка» (46). Но и Флоберъ, Гонкуры, Додэ стоятъ такъ высоко, что, говоря о нихъ, Зола приходится то и дѣло восклицать: «нѣтъ ничего выше», «я не знаю ничего лучшаго» и т. п. Нѣсколько примѣровъ. «Я не знаю ничего страшнѣе сцены, гдѣ Родольфъ обсуждаетъ—увлечься ли ему Эммой, или нѣтъ» (55). «Въ нашей литературѣ не существуетъ слова, болѣе глубокаго, болѣе обнажающаго бездну слабости и доброты, нѣдрящихся въ сердцѣ человѣческомъ» (56). «Въ нашей литературѣ не существуетъ вступленія, которое могло бы соперничать съ первой главой «Salammbo» (91). «Никто еще не давалъ такой пощечины человѣчеству» (65). «Отсюда происходитъ то волшебное дѣйствіе, та небывалая доселѣ живость представленій и методъ (?), съ помощью которыхъ братья Гонкуръ» и т. д. (78). «Ни на какомъ языкѣ я не знаю болѣе индивидуальнаго слога, болѣе счастливаго возсозданія личностей и предметовъ» (80). «Они одни въ настоящую минуту знаютъ секретъ подкладывать подъ фразу устойчивый обликъ предмета» (81). «Никогда приближеніе смерти не было изучено съ болѣе терпѣливою настойчивостью» (90). «Я не знаю въ нашей современной литературѣ болѣе симпатичной личности и писателя съ болѣе обезпеченною будущностью, чѣмъ Додэ» (105). «Нельзя представить себѣ ничего проще, шире и законченнѣе этой драматической идилліи» (133). Въ такомъ же родѣ Зола выражается и о Тэнѣ; но отношеніе его къ этому писателю надо поставить особо. Эти гиперболы (особенно если ихъ сопоставить съ «чепухами» и «размазнями», попадающимися въ оцѣнкѣ Виктора Гюго) свидѣтельствуютъ, впрочемъ, только о маломъ критическомъ тактѣ Зола и еще ничего не говорятъ противъ эстетической программы натуральной школы. Программу эту Зола развиваетъ очень часто. Ее можно свести къ двумъ требованіямъ. Новый романъ, во-первыхъ, стремится возможно точно воспроизводить дѣйствительность, не гонялсь за романтическимъ вымысломъ, за интригой и за воплощеніемъ въ дѣйствующихъ лицахъ какихъ-нибудь отвлеченій. Во-вторыхъ, новый романъ, по возможности, топитъ въ себѣ личность писателя. «Реалистическій романистъ,—говоритъ Зола,—старательно исчезаетъ позади дѣйствія, которое изображаетъ. Онъ—скрытый двигатель всей драмы. Никогда не заявляетъ онъ о своемъ существованіи какой-нибудь фразой. Не слышно, чтобы онъ смѣялся или плакалъ вмѣстѣ съ своими лицами или бы позволилъ себѣ судить объ ихъ поступкахъ. И даже отличительной чертой его является это кажущееся безпристрастіе (вѣроятно, безстрастіе). Напрасно было бы искать вывода, морали или нравоученія изъ фактовъ. Дается одно лишь изложеніе фактовъ, похвальныхъ или непохвальныхъ. Авторъ—не моралистъ, но анатомъ, который довольствуется тѣмъ, что сообщаетъ о томъ, что онъ нашелъ въ человѣческомъ трупѣ» (45). Такова программа въ самомъ строгомъ и опредѣленномъ видѣ. Зола очень любитъ называть своихъ товарищей и единомышленниковъ «анатомами», «химиками», «людьми науки» и т. п. Иногда онъ прибѣгаетъ къ сравненіямъ, повидимому, не столь рискованнымъ, но въ сущности, не менѣе преувеличеннымъ. Онъ называетъ «реалистовъ», напримѣръ, собирателями «документовъ о человѣкѣ», составителями «протоколовъ» душевной жизни и комментируетъ эти опредѣленія такъ: «Скальпель анатома— вотъ орудіе вѣка. Наша литература стала литературой экспериментальной. Мы, какъ тѣ химики, которые, понимая, что наука находится еще въ младенчествѣ, не рискуютъ пускаться въ синтезъ и довольствуются тѣмъ, что разлагаютъ и анализируютъ тѣла. Наши романы не хотятъ больше ничѣмъ заимствоваться отъ воображенія, не хотятъ лживаго возвеличенія героевъ и болѣе или менѣе искусной группировки событій. Они рисуютъ жизнь такою, какова она есть, и стараются какъ

можно болѣе собрать документовъ о людяхъ. И они не даютъ выводовъ, изъ боязни впасть въ ошибку, предоставляя будущимъ вѣкамъ формулировать общія идеи, когда собраніе документовъ будетъ настолько велико, что дастъ возможность произвести сужденіе о человѣкѣ» (231). Подумаешь, будущіе вѣка не найдутъ лучшихъ матеріаловъ для «сужденія о человѣкѣ», чѣмъ романы Флобера, Гонкуровъ, Додэ и Зола! Подумаешь, эти господа и вправду завладѣли наукой о человѣкѣ! Какъ бы то ни было, но именно въ качествѣ химиковъ, анатомовъ, протоколистовъ, нынѣшніе французскіе романисты и совмѣщаютъ въ себѣ, по мнѣнію Зола, оба требованія его программы: правду изображенія и отсутствіе личнаго вмѣшательства автора въ смыслѣ нравственныхъ и иныхъ выводовъ. Вы понимаете, въ чемъ дѣло. Это—все то же злосчастное стремленіе разорвать Правду пополамъ, дикое, нелѣпое, ничѣмъ логически не оправдываемое стремленіе, упорно, однако, просачивающееся во всѣ сферы мысли и обволакивающее современнаго человѣка со всѣхъ сторонъ густымъ туманомъ. Съ этой стороны Зола получаетъ для насъ особенную занимательность.

Когда такъ много говорятъ о наукѣ, о «методахъ» и тому подобныхъ почтенныхъ вещахъ, то самъ собой является вопросъ: какую же это науку воздѣлываютъ французскіе романисты? въ чемъ состоятъ ихъ пріемы изслѣдованія? какъ производится наблюденіе и «анализъ»? Никакихъ отвѣтовъ на эти вопросы Зола не даетъ. Допустимъ, что Гонкуры превосходно изучили восемнадцатый вѣкъ, но къ нхъ романамъ это не имѣетъ прямого отношенія. Допустимъ, что какой то Фрёнеръ, доказывавшій невѣрность большинства историческихъ подробностей «Саламбо» Флобера — ие правъ и что Флоберъ изучилъ карѳагенскую исторію, какъ свои пять пальцевъ; но это, во всякомъ случаѣ, не та «наука», о которой у насъ идетъ рѣчь. Мы узнаемъ, что, напримѣръ, Гонкуры, принимаясь за работу, тщательно осматривали мѣстность, въ которой должны разыгрываться сцены романа, что Флоберъ съ подобными же цѣлями роется въ библіотекахъ, ѣздитъ на мѣсто дѣйствія и проч. Такими способами можно, безъ сомнѣнія, получить очень хорошіе матеріалы для сужденія о ландшафтѣ, вообще объ обстановкѣ человѣка, и «будущіе вѣка», если это имъ понадобится, можетъ быть, обратятся за подобнаго рода справками къ современнымъ французскимъ романистамъ. Но это, во всякомъ случаѣ— не матеріалы для «сужденія о человѣкѣ». Какъ эти послѣдніе собираются, группируются, анализируются Зола и его товарищами—объ этомъ мы не узнаемъ рѣшительно ничего, не смотря на всю роскошь словъ въ родѣ: химики, анатомы, методъ, анализъ и проч. Приходится брать «документы о человѣкѣ» и построенные на нихъ образы и психологическія обобщенія такими, каковы они есть, не задаваясь мыслью о томъ, какимъ образомъ они получены. Впрочемъ, можетъ быть, самые «документы» намъ помогутъ.

Разверните въ «Парижскихъ письмахъ» маленькій этюдъ о Тьерѣ на стр. 243 и прочтите слѣдующее: «Въ послѣдніе полтора года Тьеръ ощущалъ постоянно потребность въ просторѣ и свѣжемъ воздухѣ и все жаловался,что задыхается въ своемъ домѣ на площади Сен-Жоржъ, не потому, чтобы ему не хватало воздуха, но потому, что видъ изъ него ограничивается сосѣдними домами. Въ этомъ слѣдуетъ искать причину безчисленныхъ передвиженій, отмѣтившихъ послѣднее время его жизни. Въ прошломъ мѣсяцѣ онъ вдругъ уѣхалъ въ Діепшъ; ему захотѣлось посмотрѣть на океанъ, увидѣть передъ собой его необозримый просторъ. Затѣмъ онъ вдругъ почувствовалъ себя тамъ не совсѣмъ здоровымъ и внезапно вернулся въ Парижъ и также внезапно уѣхалъ въ Сен-Жермэнъ. Тамъ у него не было передъ глазами моря, но онъ видѣлъ у ногъ своихъ разстилавшуюся долину Сены, ту единственную въ мірѣ панораму, показывающую на горизонтѣ Парижъ и его окрестности, раскинутыя по двумъ берегамъ рѣки. *Эта потребность въ шири, въ открытомъ горизонтѣ очень характеристична и зачастую является передъ развязкой долгаю и трудолюбиваю существованія*». Вотъ вамъ и «документъ о человѣкѣ», психологическій законъ, предлагаемый съ полнѣйшею самоувѣренностью, тогда какъ ничто въ предъидущихъ показаніяхъ его не оправдываетъ. Предъидущія показанія состоятъ изъ какой-то путаницы. Тьеръ ощущалъ потребность въ свѣжемъ воздухѣ, но уѣхалъ изъ своего дома не потому, чтобы ему не хватало воздуха; онъ жаждалъ шири и открытаго горизонта, но покинулъ и «необозримый просторъ океана» для «единственной въ мірѣ панорамы», видной изъ Сен-Жермэна. А между тѣмъ, «документъ» касается даже не лично Тьера, а вообще «развязки долгаго и трудолюбиваго существованія». Откуда же взялась увѣренность Зола, что именно жаждою шири кончаютъ трудолюбивые и старые люди? Можетъ быть, оно такъ, можетъ быть, не такъ; но документъ свалился съ неба.

Другой примѣръ. Въ романѣ братьевъ Гонкуръ «Манетта Соломонъ» —«та же мысль, что въ «Шарлѣ Демальи»: женщина убиваетъ артиста. Не стану ее оспаривать, она кажется мнѣ совершенно ложною, какъ только захотятъ ее обобщать» (91). Біографическая

черта Альфонса Додэ: «Онъ женился по возвращеніи изъ Алжира и съ тѣхъ поръ сталъ добрымъ буржуа и ретивымъ работникомъ. Поэтъ, до тѣхъ поръ напѣвавшій безцѣльно, вступилъ въ періодъ зрѣлости законченнаго творчества. Бракъ, по моему, есть школа великихъ современныхъ производителей слова» (105). Объ очеркахъ того же Додэ «Жены артистовъ»: «не лишне прибавить, что его артисты — богемы по большей части и что у настоящихъ художниковъ-тружениковъ жены почти всегда достойныя и почтенныя жены, заслуживающія всякаго уваженія» (112). Въ одномъ изъ очерковъ, не вошедшихъ въ первый томъ отдѣльнаго изданія «Парижскихъ писемъ» («Бракъ во Франціи и его главные типы»), Зола, изобразивъ картину полнаго разложенія брака и семьи во всѣхъ слояхъ общества, возвращается къ своему mouton: «У меня есть, однако, одинъ аргументъ въ пользу брака, и я съ удовольствіемъ привожу его. Литераторы и художники нашего времени женятся и довольны своей судьбой... Современный анализъ, изученіе дѣйствительной жизни, непрерывная борьба съ толпой требуютъ продолжительнаго труда, ежеминутнаго напряженія. И вотъ почему семейная жизнь превосходна. Вставать рано и работать упорно, точно лавочникъ, любить свой домашній очагъ и не допускать въ него дурацкаго уличнаго шума—вотъ лучшее условіе для того, чтобы создавать мастерскія произведенія».

Зола можетъ называть эти афоризмы, какъ ему угодно: документами о человѣкѣ, протоколами душевной жизни, результатами точнаго анализа, работой анатомическаго ножа; но вы видите, какъ все здѣсь, отъ первой до послѣдней строки, наивно, произвольно и спутанно. Документы о человѣкѣ, представляемые Додэ и Гонкурами, говорятъ, что жены губятъ карьеру литераторовъ и артистовъ. Документы Зола говорятъ совершенно противоположное: вообще говоря, бракъ пережилъ самого себя; но браки въ средѣ литераторовъ и артистовъ чрезвычайно счастливы. Кому изъ химиковъ и анатомовъ вѣрить?

Уже изъ этихъ двухъ примѣровъ—а проштудировавъ всю группу французскихъ «реалистовъ», ихъ можно подыскать десятки и даже сотни — видно, что господа реалисты потому не могутъ сообщить великій секретъ своего научнаго анализа, что, вовсе не обладаютъ имъ. Замѣтьте также, что Зола протестуетъ противъ «Женъ артистовъ» Додэ и т. п. не только во имя правды изображенія, а и во имя нѣкотораго нравственнаго идеала, каковъ бы онъ самъ по себѣ ни былъ. Какими-то соображеніями Зола пришелъ къ заключенію, что литераторъ и художникъ должны быть женаты, и требуетъ, чтобы это нравственное убѣжденіе было воплощено въ художественные образы. Такимъ образомъ, изъяны обнаруживаются въ обѣихъ половинахъ программы: во-первыхъ, либо Зола, либо Гонкуры и Додэ неправдиво изображаютъ дѣйствительность; во вторыхъ—Зола вноситъ критику и требуетъ, чтобы другіе вносили въ романъ извѣстное нравственное начало. Такая путаница, такія внутреннія противорѣчія неизбѣжны, какъ скоро люди вздумаютъ въ какой бы то ни было области умственнаго творчества разрывать Правду на двое. Въ беллетристикѣ это яснѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь. И очень любопытно слѣдить, какъ самъ Зола, вынужденный, по тому или другому поводу, сознаться въ невозможности и противорѣчивости своей «реалистской» программы, дѣлаетъ въ ней разныя урѣзки. Такъ, онъ говоритъ: «Убійственная, право, вещь въ литературѣ—правда. У писателей нѣтъ увѣренности математиковъ. Когда говорятъ: «дважды два — четыре», то совершенно всѣ увѣрены въ истинности этого и могутъ спать спокойно. Но въ литературѣ есть всегда мѣсто сомнѣнію. Школы возникаютъ одна возлѣ другой и бросаютъ другъ другу въ лицо свои системы. Классики, романтики, реалисты кричатъ, что талантъ, правда, слогъ на ихъ сторонѣ; и бываютъ минуты, когда голова идетъ кругомъ. Въ сущности, единственнымъ вѣрнымъ основаніемъ можетъ служить одна природа; можно, не опасаясь ошибиться, взять ее за общее мѣрило. Сравнивать произведеніе съ жизнью, изслѣдовать, вѣрно ли оно передаетъ дѣйствительность—вотъ первый и легкій пріемъ, устанавливающій общую исходную точку для всѣхъ произведеній. Но, этого очевидно, не достаточно; какъ разъ дойдетъ до того, что станешь требовать фотографій и самымъ прекраснымъ произведеніемъ сочтешь наиболѣе точное, что не всегда бываетъ справедливо. Надо, слѣдовательно, ввести человѣческій элементъ, который сразу расширяетъ задачу и дѣлаетъ рѣшенія столь же разнообразными, столь же безчисленными, сколь разнообразны умы людей. Я охотно выскажу слѣдующее опредѣленіе литературнаго произведенія: «литературное произведеніе есть уголокъ природы, усмотрѣнный сквозь темпераментъ». Конечно, при этомъ всетаки далеко до математической точности, но пріобрѣтается орудіе для критики, могущее оказать большія услуги, не давая заблудиться въ предвзятыхъ фантазіяхъ» (346). Это одно изъ тѣхъ округленныхъ, но весьма мало удовлетворяющихъ опредѣленій, которыя такъ любятъ среднеобразованные французы, но это, во

всякомъ случаѣ, уступка, отступленіе отъ того пункта программы, который требуетъ безъусловнаго невмѣшательства авторской личности.

Уступка, конечно, не большая или, по крайней мѣрѣ, очень неопредѣленная, потому что слово «темпераментъ» очень, въ данномъ случаѣ, неясно. Уступка сдѣлана въ статьѣ объ Александрѣ Дюма сынѣ, въ которой мѣстами повторяются наивныя разсужденія о точномъ анализѣ. Въ общемъ, Зола все-таки стоитъ на своей программѣ и во имя ея возвеличиваетъ «реалистовъ» и принижаетъ Виктора Гюго и Жоржъ-Занда. Замѣчательно при этомъ, что, повидимому, совершенно аналогичныя произведенія этихъ двухъ группъ писателей вызываютъ со стороны Зола діаметрально противоположныя сужденія. Такъ, разсказавъ содержаніе мистическаго бреда Флобера въ «Искушеніи св. Антонія», Зола замѣчаетъ, что «никто еще не давалъ такой пощечины человѣчеству» (65) и что «такое произведеніе могло выйти изъ подъ пера великаго писателя, величайшаго, какого только насчитываетъ въ настоящее время наша литература». Отчасти сходный по замыслу, но гораздо болѣе умѣстный апоѳеозъ, которымъ оканчивается второй томъ «Légende des siècles» Виктора Гюго, вызываетъ у Зола только слѣдующія холодно-презрительныя слова: «Небо, бездна, человѣчество, Богъ — все перемѣшивается въ невообразимомъ хаосѣ; останавливаюсь, потому что боюсь самъ подвергнуться головокруженію» (315). Придираясь къ отдѣльнымъ фразамъ Виктора Гюго и осмѣивая ихъ высокопарность, Зола не подозрѣваетъ, что, еслибы его самого — его, прозаика и критика — подвергнуть подобной же операціи, то можно бы было истинно людей насмѣшить. Что такое, напримѣръ, значатъ фразы: Бальзакъ «завладѣлъ пространствомъ и временемъ и заслонилъ собой все солнце»; или: Гонкуры «превратили языкъ въ музыкальный инструментъ; въ живого человѣка, двигающагося во-очію и дыханіе котораго видно»; или: «у нихъ въ крови солнце, а въ головѣ пѣсни птицъ» и т. п.? Словомъ, Зола сплошь и рядомъ браннитъ Жоржъ-Занда и Виктора Гюго за то самое, чѣмъ въ большей или меньшей степени грѣшатъ «реалисты». Въ чемъ же дѣло?

Представьте себѣ, напримѣръ, какого-нибудь знаменитаго мученика свободы въ тюрьмѣ. Представьте, что эта тема задана реалистамъ Гонкурамъ или Зола и романтикамъ Виктору Гюго и Жоржъ Занду. Реалистъ убьетъ много времени и труда на изслѣдованіе эпохи, въ которую жилъ мученикъ, изобразитъ съ фотографическою точностью рѣшетку у окна, ложе мученика, какую-нибудь разбитую посудину, въ которой ему поставлена вода, и проч. Судя по необыкновенной точности описаній, попадающихся у Зола и Гонкуровъ, можно думать, что они дадутъ въ этомъ отношеніи мастерскую вещь. Костюмъ мученика, морщины на лбу, худоба и проч. будутъ тоже превосходны. Это будетъ сама правда. Но съумѣютъ ли они заглянуть въ душу мученика и прослѣдить въ ней переливы и отраженіе высшей Правды, ради которой онъ сидитъ за рѣшеткой? это—вопросъ очень сомнительный. Заглянуть-то они, конечно, заглянутъ и даже непремѣнно нацѣпятъ одну на другую множество психологическихъ тонкостей, въ родѣ того, что «развязка долгаго и трудолюбиваго существованія требуетъ простора, ширь». Но это будетъ именно «протоколъ», холодный и безучастный, съ тѣмъ отличіемъ отъ всякаго настоящаго протокола, что все въ немъ будетъ болѣе или менѣе произвольно. Дѣло въ томъ, что документовъ о человѣкѣ не только въ рукахъ господъ французскихъ реалистовъ, а вообще очень мало. Душевная жизнь человѣка изучена еще такъ плохо, что романистъ не имѣетъ въ своемъ распоряженіи почти ни какой руководящей нити и предоставленъ цѣликомъ силамъ своей наблюдательности и способности обобщенія. А извѣстное дѣло, что всякое наблюденіе требуетъ особенныхъ условій, которыхъ у романиста можетъ и не быть. Наблюдатель, страдающій извѣстною болѣзнью зрѣнія — дальтонизмомъ — краснаго цвѣта не увидитъ. Глухой можетъ превосходно наблюдать, какъ разѣваются рты и шевелятся языки поющихъ, но пѣсни не услышитъ. Нужно, однимъ словомъ, извѣстное соотвѣтствіе между наблюдателемъ и наблюдаемымъ явленіемъ. Оно необходимо и въ области нравственныхъ явленій. Человѣкъ, не дорожащій идеей свободы, политическій индиферентистъ, никоимъ образомъ не можетъ быть настоящимъ хозяиномъ въ душѣ мученика за свободу. Онъ будетъ, пожалуй, въ ней хозяйничать, но какъ чужой человѣкъ, пришлецъ, не знающій, гдѣ что лежитъ. Въ такомъ именно положеніи находятся, вообще говоря, нынѣшніе французскіе реалисты. Достойно, напримѣръ, вниманія, что Зола, пользующійся у насъ, и не совсѣмъ безъ основанія, репутаціей обличителя мерзостей второй имперіи, съ «легкимъ сердцемъ» пишетъ о Додэ: «Тотчасъ же по прибытіи въ Парижъ, онъ нашелъ друга и покровителя въ де-Морни, и этотъ послѣдній причислилъ его къ своему министерству... Въ 1870 году, тридцати лѣтъ отъ роду, онъ получилъ Почетнаго Легіона». Можетъ ли человѣкъ, дѣйствительно, и глубоко ненавидящій вторую имперію,

признающій ее разсадникомъ всяческаго разврата и причиною бѣдъ своей родины, можетъ ли онъ написать эти строки въ похвалу Додэ, въ доказательство «очаровательности» его личности? Конечно, про Зола можно сказать, что онъ — «химикъ». Но дѣло въ томъ, что химикъ только въ химіи и умѣстенъ, и въ душу человѣческую ему лѣзть не полагается, потому что онъ тамъ безсиленъ. Но, такъ какъ Зола, на дѣлѣ — вовсе не химикъ, а просто болѣе или менѣе набившій себѣ руку романистъ и болѣе или менѣе тонкій наблюдатель, но въ то же время политическій индиферентистъ, то, въ общемъ счетѣ, онъ сдѣлаетъ изъ нашей темы слѣдующее: превосходное изображеніе деталей, обстановки, лица, костюма мученика и рядъ произвольныхъ психологическихъ тонкостей. Рецептъ этихъ тонкостей очень простой. Даны два психическіе момента, отдѣленные другъ отъ друга извѣстнымъ промежуткомъ времени: напримѣръ, чувства мученика при водвореніи его въ тюрьмѣ и при выходѣ его изъ нея на свободу или на эшафотъ. Романистъ вяжетъ между этими моментами узелъ за узломъ, наблюдая, чтобы каждый послѣдующій узелъ вѣроподобно связывался съ предъидущимъ. Эстетическое чувство читателя можетъ получить въ такомъ произведеніи извѣстное удовлетвореніе, картина ему понравится, какъ картина, а наивные люди будутъ даже восклицать: какая тонкость психическаго анализа! Будутъ, впрочемъ, восклицать больше для того, чтобы показать, что и они могутъ быть судьями въ дѣлѣ психологическаго анализа. Но, въ дѣйствительности, читатель останется холоденъ, сравнительно, по крайней мѣрѣ, съ тѣмъ состояніемъ, въ которое можетъ его повергнуть художественной разработкой той же темы другой писатель.

Работа Жоржъ-Занда и Виктора Гюго будетъ иная. Отдѣлка деталей можетъ быть у нихъ такъ же тщательна, какъ и у любого реалиста. Но допустимъ, что ихъ работа будетъ въ этомъ отношеніи далеко ниже, допустимъ, что, какъ упрекаетъ въ одномъ мѣстѣ Зола Жоржъ-Занда, они не приладятъ своего разсказа къ дѣйствительнымъ, существующимъ формамъ суда и слѣдствія и посадятъ мученика въ тюрьму не на основаніи подлежащей статьи закона. Несомнѣнно также, что Викторъ Гюго напуститъ въ свой разсказъ много фразы и высокопарнаго тумана. Далѣе, и Викторъ Гюго, и Жоржъ-Зандъ—столь же мало химики, какъ и реалисты, то-есть также должны довольствоваться своею личною наблюдательностью и потому не обойдутся безъ произвола въ дѣлѣ уясненія душевной жизни мученика. Но вѣрно то, что они сдѣлаютъ или, по крайней мѣрѣ, могутъ сдѣлать изъ этой картины нѣчто глубоко потрясающее, что расшевелитъ въ васъ хоть малый откликъ тѣхъ самыхъ чувствъ, той самой Правды, которая привела мученика въ тюрьму. Конечно, Зола можетъ опятьтаки гордо пожать плечами и сказать: мы—химики, мы не ищемъ нравственнаго давленія на читателя, мы просто разлагаемъ душу и показываемъ, что нашли. Но если въ этой несчастной химіи отыскать ту малую долю смысла, которая въ ней заключается, то-есть старательное, добросовѣстное изученіе психической жизни человѣка при помощи скромныхъ средствъ, имѣющихся нынѣ въ распоряженіи художниковъ, то химиками скорѣе надо признать Виктора Гюго и Жоржъ-Занда. Знаютъ же они душу читателя, если могутъ такъ порабощать ее, такъ волновать ее. Они, въ свое время, дѣлали такія чудеса, какія и во снѣ не снятся нынѣшнимъ французскимъ романистамъ. Они водили за собой людей, на цѣлую жизнь клали на нихъ свой отпечатокъ, тогда какъ Зола и Гонкуры, при всей своей талантливости, просто читаются съ большимъ или меньшимъ интересомъ. Изъ этого я заключаю, что изгибы душевной жизни массы читателей Виктору Гюго и Жоржъ-Занду несравненно знакомѣе, чѣмъ Зола и Гонкурамъ.

Такимъ образомъ, безучастность, нравственное невмѣшательство авторской личности, которою такъ гордится Зола, прежде всего свидѣтельствуетъ о томъ, что онъ недостаточно химикъ. И замѣтьте, что фразистость Гюго, иногда, дѣйствительно, просто невыносимая, вовсе не есть необходимый атрибутъ всякаго писателя, который не исповѣдуетъ программы Зола. Таковъ его личный только «темпераментъ», и ничто не мѣшаетъ уживаться рядомъ правдѣ изображенія и правдѣ нравственнаго идеала. Но безучастность реалистовъ, независимо отъ того, что въ ней мало химіи—чисто условная. Зола можетъ быть очень безучастенъ къ политическому смыслу событій второй имперіи, но, какъ мы видѣли, онъ очень близко къ сердцу принимаетъ вопросъ о женахъ артистовъ. Вообще, несмотря на свой несомнѣнный индиферентизмъ, онъ, думая возвеличить себя и своихъ сотоварищей, уже слишкомъ наговариваетъ на нихъ. Всѣ они всетаки нравственно живутъ, и кто чѣмъ живетъ, тотъ то и вкладываетъ въ свои произведенія, отнюдь не думая о выполненіи невозможной программы; всѣ они люди—не великіе, но всетаки люди. Такъ, напримѣръ, Зола очень часто и съ большою настойчивостью утверждаетъ, будто реалисты берутъ для своихъ произведеній «пер-

вое попавшееся» явленіе. Это, конечно, пустяки, лучшимъ опроверженіемъ которыхъ можетъ служить строго обдуманный планъ цѣпи романовъ самого Зола. Они не только не чужды въ этомъ отношеніи установившимся и вполнѣ естественнымъ преданіямъ романа, но часто берутъ изъ этихъ преданій самое худшее. Такъ, всѣ они, и особенно Зола, охотно повѣствуютъ о любовныхъ интрижкахъ и съ причмокиваніемъ рисуютъ сцены сладострастія. Правда, они причмокиваютъ иногда съ видомъ полнаго безучастія, но это ничего не поправляетъ. Напротивъ, эта холодность дѣлаетъ многія страницы ихъ произведеній просто отвратительными. Напримѣръ, Зола приводитъ длинную выписку изъ одного романа братьевъ Гонкуръ, въ которой до мельчайшихъ подробностей описывается голая женщина—натурщица, стоящая передъ художникомъ. «Это чисто и цѣломудренно», замѣчаетъ Зола. Нѣтъ, это не чисто и не цѣломудренно, хотя, дѣйствительно, очень холодно, но это-то и скверно. Прочтите въ «Пѣсни пѣсней» описаніе женской наготы съ такими же подробностями. Тамъ вы видите страсть, и эта-то искренность, правда чувства спасаетъ нагую правду изображенія, оправдываетъ ее. Въ картинѣ братьевъ Гонкуръ, какъ и во многихъ страницахъ «Curée» Зола, васъ поражаетъ именно старческая холодность, безучастная обстоятельность, что и дѣлаетъ ее циническою и ненужною.

Лучшая статья въ первомъ томѣ «Парижскихъ писемъ» есть этюдъ о Тэнѣ. Но онъ особенно хорошъ тѣмъ, что въ немъ Зола какъ бы подошелъ къ зеркалу и, увидѣвъ въ немъ свое отраженіе, полюбовался на себя, но потомъ вдругъ застыдился и отвернулся. Статья написана по поводу замѣчательнаго труда Тэна «Les origines de la France contemporaine». Въ этой книгѣ Тэнъ собралъ множество фактовъ, относящихся къ концу первой революціи, и хорошо сгруппировалъ ихъ, но собственная его точка зрѣнія на революцію и причины ея просто смѣшна. Зола говоритъ, между прочимъ: «Свободный отъ личныхъ страстей, движимый единственно лишь мыслью просвѣтиться и просвѣтить другихъ, онъ бросаетъ Францію, существовавшую сто лѣтъ тому назадъ, на препаровочный столъ анатомическаго амфитеатра и разсѣкаетъ ее съ спокойнымъ любопытствомъ, стараясь объяснить себѣ ея конструкцію и понять, почему эта великая общественная машина вдругъ испортилась и какъ она была потомъ исправлена и снова пущена въ ходъ. Онъ—чистѣйшій натуралистъ. Еслибы ему попалось по дорогѣ какое-нибудь незнакомое насѣкомое, онъ не могъ бы съ большею радостью насадить его на булавку и съ большей научной страстью изслѣдовать его скальпелемъ. Насѣкомое судорожно бьется у него въ рукахъ. Что за дѣло—это его не возмущаетъ или, по крайней мѣрѣ, для анатома вопросъ чести—не выказывать волненія». Это не совсѣмъ справедливая оцѣнка пріемовъ Тэна, но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что Зола одобряетъ то, что разсказываетъ о Тэнѣ. «Такъ рѣдко и такъ пріятно, говоритъ онъ:—встрѣтить въ наши бурныя времена человѣка, который бы подходилъ къ политикѣ, сознаваясь, что ни во что не вѣритъ и не хочетъ вѣрить, кромѣ истины». Зола даже формальнымъ образомъ заявляетъ свое сочувствіе къ этой точкѣ зрѣнія отъ лица всѣхъ «романистовъ натуральной школы». Но, затѣмъ, оказывается, что Зола чувствовалъ себя «не по себѣ» при чтеніи книги Тэна; что «какой-то внутренній голосъ протестовалъ противъ него»; что, не смотря на весь натурализмъ, химію, анатомію и прочія превосходныя вещи, которыя онъ, Зола, такъ любитъ и уважаетъ, онъ «на этотъ разъ согласенъ лучше сохранить иллюзію, мечту». Все это, впрочемъ, не болѣе, какъ вступленіе къ очень остроумному доказательству, что Тэнъ только прикидывается анатомомъ и химикомъ, а въ сущности, смотритъ на революцію «съ личной точки зрѣнія», съ точки зрѣнія мирнаго ученаго, обезпокоеннаго въ своихъ занятіяхъ событіями 1871 года и потому брюзжащаго.

Итакъ, можно прикидываться химикомъ, протоколистомъ, чѣмъ угодно; можно даже искренно вѣрить, что холодно разсѣкаешь живую душу, и, однако, руководствоваться на дѣлѣ совсѣмъ не исключительно научнымъ мотивомъ исканія голой истины. Тэнъ совсѣмъ не составляетъ въ этомъ случаѣ исключенія. Вездѣ, гдѣ есть мѣсто обѣимъ половинамъ единой Правды, то-есть во всѣхъ дѣлахъ, затрогивающихъ человѣка, какъ животное общественное, одной истины человѣку мало—нужна еще справедливость. Онъ можетъ понимать ее узко, мелко, даже низко, но, по самой природѣ своей, не можетъ отъ нея отказаться, и забытая, искусственно подавляемая половина Правды, безъ его вѣдома, даже противъ его воли, руководитъ имъ. Если ученый или художникъ напускаетъ на себя комическую важность человѣка, ищущаго въ дѣлахъ общественныхъ только истины и анализирующаго ихъ съ точки зрѣнія химической, анатомической или какой тамъ еще, такъ онъ, прежде всего, истины не найдетъ. А исканіе истины этимъ несоотвѣтственнымъ путемъ показываетъ: или что человѣкъ просто заблуждается по незнакомству съ общими условіями усвоенія

истины, или что онъ увлекается модными идеями, какъ бы нелѣпы онѣ ни были, или, наконецъ, что онъ вполнѣ доволенъ наличнымъ, существующимъ порядкомъ вещей. Всѣ эти три обстоятельства могутъ, разумѣется, уживаться въ одномъ и томъ же лицѣ. Въ такомъ именно положеніи находится Зола. Истины онъ не нашелъ, потому что афоризмъ о развязкѣ долгаго и трудолюбиваго существованія и множество другихъ, пускаемыхъ имъ въ ходъ психологическихъ тонкостей—не истина, по крайней мѣрѣ, не доказанная истина. Далѣе, незнакомство его съ самыми элементарными и общепризнанными условіями усвоенія истины не подлежитъ никакому сомнѣнію. Кто такъ упорно суетъ ни къ селу, ни къ городу, химію и анатомію, тотъ ужъ. навѣрное — не очень ученый человѣкъ. Щеголяетъ онъ этими хорошими словами потому, что такая ужъ нынче мода. Наконецъ, несомнѣнно, что въ политическомъ отношеніи онъ, вообще говоря, совершенно доволенъ обстоятельствами, какъ они кругомъ него сложились. Это-то и даетъ ему смѣлость думать, что онъ—строгій ученый. Еслибы его отправили въ мѣста, болѣе отдаленныя отъ Парижа, гдѣ онъ имѣлъ бы, вѣроятно, поводы чувствовать себя много хуже, онъ спряталъ бы свой химическій анализъ въ карманъ и, пожалуй, отъ политико-сатирическаго романа съ ясно опредѣленною тенденціей не отказался бы. Въ вопросахъ же личной нравственности онъ многимъ изъ того, что видитъ вокругъ себя, недоволенъ, а потому не прочь и отъ нравственныхъ выводовъ. Въ концѣ-концовъ, весь его походъ во славу новоявленнаго французскаго реализма есть плодъ чистѣйшаго недоразумѣнія.

Я знаю, что Зола васъ мало интересуетъ, а потому дальше не пойду. Я хотѣлъ только показать на немъ, что и въ области искусства живутъ попытки разорвать Правду пополамъ и что и въ ней остается вѣренъ общій тезисъ единства и цѣлостности Правды. Впрочемъ, изъ предыдущаго можно извлечь еще одинъ поучительный выводъ. За романистами, особенно за тѣми, которые любятъ щеголять психологическими тонкостями, признается репутація необычайныхъ сердцевѣдовъ. Между тѣмъ какъ, въ дѣйствительности, тутъ кто палку взялъ—тотъ и капралъ. Кто пожелаетъ прослыть сердцевѣдомъ, тотъ можетъ этого добиться очень легко. Но, такъ какъ тутъ человѣкъ предоставленъ исключительно своей личной наблюдательности и своему нравственному развитію, то настоящими сердцевѣдами удается быть очень и очень немногимъ, да и изъ немногихъ-то многіе въ просакъ попадаютъ, особливо когда вздумаютъ обобщать и практически прилагать свои обобщенія. Вотъ вамъ примѣръ.

Когда то, въ «Дневникѣ писателя» (тогда еще въ «Гражданинѣ»), г. Достоевскій (кстати: говорятъ, что его романъ «Преступленіе и наказаніе» имѣетъ много общаго съ неизвѣстнымъ мнѣ романомъ Зола «Тереза Ракэнъ») очень негодовалъ на слабость нашихъ присяжныхъ къ оправдательнымъ вердиктамъ. «Прямо скажу, писалъ онъ:—строгимъ наказаніемъ, острогомъ и каторгой вы, можетъ быть, половину спасли бы изъ нихъ (преступниковъ). Облегчили бы ихъ, а не тяготили. Самоочищеніе страданіемъ легче, говорю вамъ, легче, чѣмъ та участь, которую вы дѣлаете многимъ изъ нихъ сплошнымъ оправданіемъ ихъ на судѣ. Вы только вселяете въ его душу цинизмъ, оставляете въ немъ соблазнительный вопросъ и насмѣшку надъ вами же, надъ судомъ вашимъ, надъ судомъ всей страны. Вы вливаете въ его душу безвѣріе въ правду народную, въ правду Божію». Г. Достоевскій—одинъ изъ нашихъ извѣстнѣйшихъ сердцевѣдовъ, а потому ему кто-нибудь, пожалуй, и повѣрилъ, съ горечью, съ болью, но повѣрилъ. Но если этотъ повѣрившій дожилъ до 1876 года, такъ онъ имѣлъ удовольствіе прочитать слѣдующія, блистающія мягкостью строки: «Много вынесетъ она изъ каторги? Не ожесточится ли душа, не развратится ли, не озлобится ли на вѣки? Кого когда поправила каторга? И, главное—все это при совершенно неразъясненномъ и не опровергнутомъ сомнѣніи о болѣзненномъ аффектѣ тогдашняго беременнаго ея состоянія. Опять повторяю, какъ два мѣсяца назадъ: лучше ужъ ошибаться въ милосердіи, чѣмъ въ казни. Оправдайте несчастную, и авось не погибнетъ юная душа, у которой, можетъ быть, столь много еще впереди жизни и столь много добрыхъ для нея зачатковъ. Въ каторгѣ же, навѣрное, все погибнетъ, ибо развратится душа».

Я могъ бы сдѣлать и другія сопоставленія разныхъ мѣстъ «Дневника писателя», выражающихъ мнѣнія, столь же діаметрально противоположныя по вопросамъ, не менѣе важнымъ. Либо раньше, либо позже, но г. Достоевскій говорилъ неправду, будучи вполнѣ увѣренъ, что говоритъ правду. А дѣло, между тѣмъ, шло о каторгѣ... Изъ этого видно, что и знаменитѣйшимъ сердцевѣдамъ не мѣшало бы иногда держать языкъ за зубами, если они сильны только сердцевѣдѣніемъ.

III. *)

Недавно вышелъ первый томъ сочиненій Юрія Самарина. Вамъ онъ—чужой человѣкъ,

*) 1878, январь.

конечно, и не онъ только, а вся та группа людей, однимъ изъ видныхъ представителей который былъ Самаринъ. Если даже кто-нибудь изъ васъ съѣздилъ въ качествѣ добровольца въ Сербію, славянофильство все-таки для васъ — могильная плита съ полустертою надписью, положенная надъ чѣмъ-то такимъ, что давно истлѣло. И это вѣрно: Самаринъ—чужой человѣкъ, славянофильство погребено. Но помимо даже того археологическаго интереса, который можетъ побудить поближе подойти къ могильной плитѣ и разобрать написанное на ней: здѣсь покоится прахъ и т. д.; помимо, говорю, этого интереса, очень законнаго и подлежащаго удовлетворенію, славянофильство можетъ представлять и вполнѣ живой, современный интересъ, даже интересъ будущаго. Славянофильство, какъ таковое, славянофильство чистое ist längst gestorben, verdorben. Можно поручиться, что вы не встрѣтитесь съ нимъ на жизненномъ пути. Но точно также можно поручиться, что, быть можетъ, въ самомъ недалекомъ будущемъ поперекъ вашей дороги ляжетъ бревно, которое будетъ очень похоже на славянофильство, хотя утратитъ многіе существенные его признаки и даже называться будетъ не славянофильствомъ, а какъ нибудь въ родѣ націоналъ-либерализма. Я не о тѣхъ патріотическихъ рѣчахъ говорю, которыя жгутъ пламенемъ страницы нѣкоторыхъ нашихъ газетъ. Нѣтъ, это только случайная прелюдія, увертюра; это цвѣтки, а ягодки еще впереди и къ нимъ надо приготовиться. Во ожиданіи ягодъ, мы можемъ чувствовать себя недурно вотъ въ какомъ отношеніи. Славянофилы—и это первая благодарность, которую вы должны имъ принести—подняли множество чрезвычайно любопытныхъ и въ высокой степени важныхъ вопросовъ. Изъ-за нихъ, изъ-за этихъ вопросовъ отцы наши вели много споровъ, въ непосредственно практическомъ смыслѣ совершенно безплодныхъ, но чрезвычайно горячихъ, пространныхъ, обстоятельныхъ. Въ полемическомъ увлеченіи, происходившемъ вдобавокъ въ нѣкоторомъ безвоздушномъ пространствѣ, безъ всякой практической «почвы», отцы наши не всегда могли, какъ слѣдуетъ, разобраться въ своихъ спорахъ. Теперь, и именно теперь, когда чистое славянофильство погребено, а ягоды на его могилѣ еще не созрѣли, мы можемъ съ большою пользою взглянуть попристальнѣе на труды нашихъ отцовъ, спокойно отдѣлить въ нихъ правду отъ неправды и затѣмъ предусмотрѣть цвѣтъ, вкусъ, ароматъ тѣхъ ягодъ, которыя созрѣютъ на могилѣ славянофильства изъ цвѣтовъ нынѣшняго газетнаго патріотизма. Повторяю свой совѣтъ: не говорите, что нѣтъ ничего путнаго изъ Виѳлеема. Не во имя пошлаго эклектизма, нелѣпаго лоскутничества, а во имя цѣльной и единой Правды, будемъ пересматривать споры нашихъ отцовъ, съ полною готовностью преклониться передъ истиной, откуда бы она ни шла. Разумѣется, намъ нѣтъ надобности входить во всѣ подробности ученій славянофиловъ и ихъ противниковъ, по крайней мѣрѣ, здѣсь. Съ насъ достаточно общихъ чертъ и, главное, способа постановки вопросовъ. Въ этомъ отношеніи славянофильство, даже въ томъ только видѣ, какъ оно представлено первымъ томомъ сочиненій Самарина, даетъ много любопытнаго. Къ сожалѣнію, нѣкоторые важные параграфы славянофильскаго ученія отличаются очень щекотливыми свойствами...

Меня всегда поражала въ славянофильствѣ странная смѣсь абсолютизма со скептицизмомъ. Есть вещи и, притомъ, вообще говоря, очень спорныя, въ которыя славянофилы вѣрятъ чуть ли не сильнѣе, чѣмъ въ таблицу умноженія, но есть и такія, относительно которыхъ они являются самыми крайними скептиками. Скептицизмъ этотъ идетъ гораздо дальше простого сомнѣнія въ западной мудрости и затрогиваетъ самыя основные вопросы Правды.

Вотъ какъ формулируетъ Самаринъ тѣ мнѣнія объ общихъ условіяхъ усвоенія истины, съ которыми онъ, Самаринъ, какъ представитель школы, не согласенъ.

«Задача науки—въ постиженіи сущности явленій. Чѣмъ полнѣе и чище они отражаются въ познающемъ разумѣ, чѣмъ менѣе возмущается этотъ процессъ духовнаго отраженія случайнымъ характеромъ познающаго лица и посторонними обстоятельствами, тѣмъ свободнѣе и стройнѣе явленія собираются въ группы, тѣмъ яснѣе выдается ихъ внутренній смыслъ изъ случайной ихъ обстановки, тѣмъ безошибочнѣе опредѣляется законъ ихъ послѣдовательнаго развитія. Народность можетъ быть предметомъ постиженія, какъ объектъ науки; но народность, какъ свойство постигающей мысли, ведетъ къ произволу, односторонности и тѣснотѣ воззрѣнія. Такимъ же образомъ проявляется въ ученомъ трудѣ вліяніе вѣка на мыслителя и вообще преобладающее вліяніе какого бы то ни было условія или начала, которому сознательно или безсознательно подчиняется мысль. Мысль, по существу своему безстрастна и безцвѣтна, и потому ученый, не умѣвшій или не хотѣвшій очистить себя отъ представленій, понятій и сочувствій, прилипающихъ невольно къ каждому человѣку отъ той среды, къ которой онъ принадлежитъ, не можетъ быть достойнымъ служителемъ науки. Кто вноситъ случайное и частное въ область міровыхъ идей, тотъ выноситъ изъ нея, вмѣсто общечеловѣческихъ истинъ или вѣрнаго отраженія предмета въ сознаніи, представленія неполныя, образы изуродованные и прихотливо распѣвченные... Народность и односторонность въ дѣлѣ науки одно и тоже; это—неровное зеркало, въ которомъ искривляется отражаемый предметъ; въ примѣненіи къ живому организму, это—недугъ, болѣзнь ума... Историкъ

не долженъ быть ни католикъ, ни протестантъ, ни французъ, ни нѣмецъ; онъ не долженъ принадлежать ни къ какой политической партіи, ни къ какой философской системѣ; онъ долженъ быть просто историкъ». (Сочиненія, I. «Два слова о народности въ наукѣ»).

Самаринъ не согласенъ съ этими мыслями. Онъ думаетъ, что подобнымъ путемъ обнаженія познавательной способности отъ всѣхъ посторонніхъ наростовъ, которые даны условіями среды, Правда никогда не была и не можетъ быть достигнута. Онъ думаетъ, что въ умѣ людей, разсуждающихъ, какъ сейчасъ показано, лежитъ невѣдомо для нихъ самихъ «основной слой отвердѣлыхъ понятій и представленій», который руководитъ ими во всѣхъ умственныхъ операціяхъ. «На повѣрку выйдетъ, говоритъ онъ:—что мнимое безпристрастіе, общечеловѣчность и отрицательная свобода ихъ воззрѣній, въ сущности, есть безсознательность». Подобный человѣкъ, по мнѣнію Самарина, только не сознаетъ присутствія въ себѣ многоразличныхъ осадковъ изъ «воздуха семьи, родины и т. п.» и потому, можетъ быть, вполнѣ искренно говоритъ о полномъ своемъ безпристрастіи и безстрастіи, но на дѣлѣ онъ смотритъ на вещи подъ извѣстнымъ угломъ, съ извѣстной точки зрѣнія, не въ теченіи даннаго умственнаго процесса выработавшейся, а заранѣе, всѣмъ его прошлымъ подготовленной. Люди могутъ, слѣдовательно, различаться болѣе или менѣе сознательнымъ отношеніемъ къ основнымъ, всеопредѣляющимъ требованіямъ своего ума, но всѣ одинаково неспособны не только находить, но даже искать чистую истину. Таково ужъ свойство человѣка, съ нимъ ничего не подѣлаешь.

Скептицизмъ дальше идти не можетъ или, пожалуй, можетъ, но не иначе, какъ въ предѣлахъ славянофильской постановки вопроса о Правдѣ. Всѣ критеріи истины, всѣ мѣрила, при помощи которыхъ можно бы было убѣдиться, что вотъ это правда, а это неправда — устранены. Положимъ, какой-нибудь Смитъ дѣлаетъ открытіе и строитъ на немъ теорію. Ивану она кажется удовлетворительною, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ знаетъ, что Смитъ, какъ англичанинъ, внесъ въ свою работу нѣчто такое, что могъ внести только англичанинъ, пропитанный осадками изъ воздуха англійской «семьи, родины и т. д.». Такъ какъ эти условія англійской выработки мысли совершенно отличны отъ тѣхъ, при которыхъ живетъ и работаетъ Иванъ, то правда, уловленная Смитомъ, для Ивана—совсѣмъ не правда. Не правда она и для нѣмецкаго Михеля, и для французскаго Жака. Каждый изъ нихъ можетъ и долженъ понимать дѣло по своему, можетъ и долженъ отвергать правду, добытую Смитомъ. Но этого мало. Недаромъ же Самаринъ говоритъ, что усвоеніе истины осложняется особенностями «семьи, родины *и т. д.*». Въ предѣлахъ «родины» князь Иванъ, простой Иванъ Ивановичъ и простѣйшій Ванька получаютъ совершенно различныя впечатлѣнія съ ранняго дѣтства, дышутъ совершенно различнымъ воздухомъ, а, слѣдовательно, и угломъ, подъ которымъ они смотрятъ на вещи, ихъ точка зрѣнія на познаваемый міръ совсѣмъ не одна и та же. И каждый изъ нихъ правъ, потому что никакого общаго критерія правды нѣтъ. Пойдемъ еще дальше. «Воздухъ семьи» совсѣмъ не одинаково воспиталъ князя Ивана и супругу его княгиню Маланью, а потому ихъ точки зрѣнія на очень многіе предметы познанія различны; правда съ точки зрѣнія князя Ивана—совсѣмъ не правда съ точки зрѣнія княгини Маланьи, и примириться имъ не на чемъ. Съ братомъ своимъ, княземъ Петромъ, князь Иванъ могъ бы сойтись почти во всемъ, но, къ сожалѣнію, князь Петръ—глухонѣмой отъ рожденія, а потому цѣлая масса впечатлѣній, опредѣлявшихъ умственный строй князя Ивана, для князя Петра отсутствуетъ.

Все это послѣдовательно, само собой вытекаетъ изъ общихъ положеній Самарина и славянофильства вообще. Самаринъ говоритъ: «Примѣненіе познавательной способности предполагаетъ объектъ мышленія и мыслящій субъектъ. Отношеніе, въ которое становитъ себя субъектъ къ объекту, есть именно то, что называется точкою зрѣнія. Мыслить о какомъ бы то ни было предметѣ, не установившись передъ нимъ, невозможно; требовать, какъ г. Чичеринъ, чтобы точка зрѣнія выработалась сама собою, какъ плодъ изученія, немыслимо, потому что изученіе *предполагаетъ* взглядъ на предметъ, слѣдовательно, и точку зрѣнія. Чѣмъ же подготовляется и опредѣляется этотъ приступъ къ предмету, эта точка зрѣнія? Отвѣчаемъ: *воспитаніемъ* мыслящаго субъекта въ самомъ широкомъ значеніи слова: коренными убѣжденіями, всецѣло наполняющими его и которыми онъ проникается постепенно, вдыхая въ себя воздухъ семьи, родины и т. д.» («Замѣчанія на замѣтки «Русскаго Вѣстника» по вопросу о народности въ наукѣ»). Такъ какъ рѣшительно не видно, почему тотъ или другой воздухъ семьи, родины «и т. д.» лучше остальныхъ подобныхъ же воздуховъ, то, значитъ, никакого критерія правды нѣтъ, и поговорка «кто во что горазъ» получаетъ полное оправданіе. Она оказывается даже недостаточно энергичною для изображенія дѣйствительнаго положенія вещей. Если я пришелъ къ извѣстной исти-

нѣ, то, какъ бы я ни былъ «гораздъ», сознаніе обладанія правдой отравляется тою мыслью, что будь я «воспитанъ» иначе, живи я въ другой обстановкѣ, я бы смотрѣлъ на предметъ моего изученія иначе и считалъ бы, можетъ быть, свою теперешнюю правду, которая мнѣ такъ дорога, такъ ласкаетъ мой умъ, возмутительной и грубой неправдой. И это изъ-за такого пустяка, какъ рожденіе отъ Смита или отъ князя Ивана, или отъ Ваньки!

Скажу прямо, что подобный скептицизмъ, въ качествѣ первой ступени, подготовительнаго пріема къ обладанію Правдой, совершенно законенъ, умѣстенъ и даже неизбѣженъ. Съ этой стороны смѣлость славянофильской постановки вопроса никогда не была оцѣнена по достоинству. Вы должны помянуть добромъ эту смѣлость мысли, отказывающейся отъ всякаго рода случайныхъ опоръ. Кто мучился сомнѣніями, кто жилъ и падалъ и поднимался, но, утопая, не хватался за жалкую соломинку, отвергалъ всѣ хрупкія и лживыя опоры, а честно искалъ Правды, тотъ поблагодаритъ славянофиловъ за такую постановку вопроса. Дѣло, однако, въ томъ, что славянофилы никогда не доводили своихъ сомнѣній до ихъ логическаго конца и навѣрное откажутся подписаться подъ вышеприведенными выводами, кажется, неизбѣжно вытекающими изъ ихъ общихъ положеній. Конечно, на голомъ скептицизмѣ можетъ успокоиться мысль развѣ какого-нибудь одинокого, замкнутаго мыслителя, а политическая школа, желающая играть практическую роль, должна искать себѣ союзниковъ, людей «согласно мыслящихъ», должна проповѣдывать, доказывать, отстаивать какія-нибудь истины, находящіяся, съ ея точки зрѣнія, внѣ всякаго сомнѣнія. Понятно, слѣдовательно, что, еслибы славянофилы были даже совершенно послѣдовательны и безпощадно разметали бы всѣ наличные критеріи Правды, такъ имъ всетаки понадобился бы *свой* критерій, свое мѣрило истины. Они это и сдѣлали. Отъ скептицизма они перешли къ догматизму, отъ сомнѣнія къ утвержденію. Но это былъ, собственно говоря, вовсе не переходъ, не постепенное преодолѣніе трудностей строго-логическаго пути, а головоломный скачокъ черезъ пропасть или, пожалуй, обходъ пропасти окольной тропинкой. Славянофилы обошли ее, сознательно или безсознательно, зажмуря глаза; отъ этого пропасть не исчезла, и постороннему человѣку очень ясно видны ея очертанія и ея глубина.

Самаринъ много и охотно полемизировалъ. Весь первый томъ его сочиненій состоитъ почти сплошь изъ полемическихъ статей. Для насъ любопытны здѣсь статьи: «О мнѣніяхъ «Современника» историческихъ и литературныхъ» (полемика съ г. Кавелинымъ, Никитенкомъ и Бѣлинскимъ), «Два слова о народности въ наукѣ», «О народномъ образованіи», «Замѣчанія на замѣтки «Русскаго Вѣстника», «Нѣсколько словъ по поводу историческихъ трудовъ г. Чичерина» и «По поводу мнѣнія «Русскаго Вѣстника» о занятіяхъ философіей, о народныхъ началахъ и объ отношеніи ихъ къ цивилизаціи» (полемика съ г. Чичеринымъ, «Русскимъ Вѣстникомъ» и нѣкіимъ г. Великосельцовымъ). Во всѣхъ этихъ статьяхъ проводится все та же, на первый взглядъ столь смѣло-скептическая, постановка вопроса объ условіяхъ Правды. Но въ невошедшихъ въ первый томъ полемическихъ статьяхъ объ общинномъ землевладѣніи, сколько я помню, по крайней мѣрѣ, этотъ общій вопросъ уже не затрогивается, хотя самая суть полемики представляетъ много къ тому поводовъ. Въ этихъ статьяхъ Самаринъ не прочь подтрунить надъ западничествомъ такихъ защитниковъ общины, какъ «Современникъ», и такихъ ея противниковъ, какъ г. Вернадскій; но о томъ, что чистая истина, независимая отъ условій среды, воспринимающей ее, есть миѳъ—объ этомъ рѣчи нѣтъ. Конечно, это можно объяснить разными причинами. Можно думать, что Самаринъ считалъ этотъ вопросъ покончennымъ или что онъ хотѣлъ сосредоточиться на непосредственномъ предметѣ спора, не уклоняясь въ сторону общихъ и отвлеченныхъ вопросовъ. Нельзя, однако, не замѣтить, что, заведя, въ этомъ случаѣ, свою скептическую рѣчь о чистой истинѣ, онъ оказался бы въ довольно затруднительномъ положеніи. Когда какой-то не чрезмѣрно умный г. Великосельцовъ рекомендуетъ прививать европейскую цивилизацію къ русскому народу, давая бабамъ читать романы и поощряя мужиковъ цѣловать у бабъ руки, тогда, конечно, нетрудно выражать сомнѣнія въ безусловномъ достоинствѣ европейской мысли и европейскихъ формъ общежитія. Не трудно также держаться на высотѣ скептицизма, когда «Русскій Вѣстникъ» или г. Чичеринъ утверждаетъ, что истина одна, что условія «воспитанія», вторгаясь въ область познаванія, только портятъ дѣло и т. п. На все это скептикъ могъ отвѣчать, какъ и дѣлалъ Самаринъ: истина не одна, потому что вы видите сами, что не всѣ насчетъ ея согласны; вторженіе воздуха «семьи, родины и т. п.» можетъ быть и вредно, но я утверждаю, что оно неизбѣжно и существуетъ. Въ спорѣ объ общинѣ положеніе было совсѣмъ иное. Гг. Вернадскій, Бутовскій и множество другихъ противниковъ общины доказывали ея негодность съ точки зрѣнія европейской науки,

«Современникъ», напротивъ, стоя также на европейской точкѣ зрѣнія, отстаивалъ общину, доказывая при этомъ, что наука, усвоенная гг. Вернадскимъ, Бутовскимъ и проч., отнюдь не есть прямое отраженіе чистой истины; что наука эта въ значительной степени создана подъ вліяніемъ извѣстныхъ европейскихъ партій и интересовъ. Онъ былъ, слѣдовательно, скептикъ не хуже Самарина и могъ, пожалуй, согласиться съ общими его положеніями. Онъ могъ бы сказать, а въ частныхъ случаяхъ и говорилъ: да, источникъ понятій человѣка заключается въ его ощущеніяхъ и впечатлѣніяхъ, свойства которыхъ опредѣляютъ, слѣдовательно, характеръ понятій и характеръ отношенія къ предмету изученія; и вотъ почему прихвостники французской и англійской буржуазіи сочиняютъ, можетъ быть, вполнѣ добросовѣстно, науку, ни для кого, во всемъ ея объемѣ, не обязательную. Въ этомъ отношеніи онъ много тверже и послѣдовательнѣе Самарина стоялъ на общей съ нимъ почвѣ, и потому Самарину нечего было его учить. Но, какъ и Самаринъ, какъ славяніофилы вообще, онъ не могъ удовлетвориться безбрежнымъ океаномъ скептицизма. И онъ, и славянофилы должны были искать твердой земли, точки опоры.

Насъ занимаютъ только славянофилы. Они, какъ извѣстно, нашли точку опоры въ національности или, какъ они любили неправильно выражаться, въ народности. На этой почвѣ обрывали они нить своихъ сомнѣній и торжественно восклицали: вотъ Правда!

Гдѣ же, однако, гарантія, что русская правда—больше правда, чѣмъ правда французская или нѣмецкая? И почему всѣ сомнѣнія сосредоточены на элементѣ національности, тогда какъ съ перваго же взгляда становится весьма вѣроятнымъ, что русская правда не есть что-нибудь вполнѣ однородное, что въ ней можно различить, напримѣръ, мужскую и женскую правду или дворянскую, купеческую, мѣщанскую, крестьянскую, казацкую правду? Допустимъ, что вторженіе національнаго элемента какъ въ работу одинокихъ мыслителей, такъ и въ творчество массъ неизбѣжно. Допустимъ, что нечего и прать противъ этого рожна, нечего и хлопотать объ очищеніи своей точки зрѣнія отъ воздуха родины. Но вѣдь не этотъ только воздухъ осложняетъ мысль человѣка, желающаго что-нибудь познать. Просто русскій человѣкъ, отвлеченный французскій человѣкъ и т. п. не существуютъ, а есть французскіе, русскіе, нѣмецкіе дворяне, французскіе, русскіе купцы, крестьяне, рабочіе и проч. *Этихъ* осложняющихъ вліяній, несмотря на весь свой скептицизмъ, славянофилы не принимали или не хотѣли принимать въ соображеніе. Правда, обстоятельства наводили ихъ на этотъ предметъ, и тотъ же Самаринъ, полемизируя съ г. Чичеринымъ, говоритъ: въ до-Петровской Руси, по мнѣнію г. Чичерина, «судъ разсматривался, исключительно, съ точки зрѣнія частнаго права, какъ привилегія судившаго, какъ его оброчная статья, отнюдь не какъ дѣло общественное, судъ учреждался для выгодъ судьи, а не для пользы подсудимыхъ, и потому не могло быть понятія о какихъ либо обязанностяхъ судьи къ подсудимымъ, а могла быть только рѣчь о правахъ его надъ ними и объ опредѣленіи границъ этихъ правъ въ отношеніи къ высшей власти или къ другимъ должностнымъ лицамъ... Допустимъ, что этотъ выводъ вѣренъ. Очевидно, что понятіе о судѣ, въ смыслѣ кормленія, могло принадлежать только тому сословію, которое владѣло судомъ, какъ собственностью: это было воззрѣніе служилыхъ людей, дававшихъ судъ, а, конечно, не общества, принимавшаго судъ. Почему же понятіе, возникшее изъ частнаго отношенія *одного* сословія къ разсматриваемому предмету, принято за выраженіе сознанія цѣлаго общества, за указаніе на начало, лежавшее въ основѣ его устройства?» Хотя противъ этого разсужденія можно бы было кое-что возразить, но, въ общемъ, оно вѣрно. Однако, точно такое же разсужденіе можетъ быть приложено къ чрезвычайно многимъ чертамъ, выдаваемымъ за національныя. Русскіе купцы считаютъ обмѣриваніе и обвѣшиваніе дѣломъ совершенно законнымъ. Еслибы кто нибудь вздумалъ обобщить это явленіе до степени національной особенности, то славянофилы имѣли бы полное право возразить: нѣтъ, это не русская, а купеческая правда. Точно также и относительно добродѣтелей, наваливаемыхъ славянофилами на русскую національность. Рѣчь идетъ, положимъ о сметливости русскаго народа, объ его способности приладиваться къ разнообразнымъ условіямъ внѣшней обстановки. Если, въ подтвержденіе этой мысли, приводятся примѣры изъ крестьянской жизни, такъ изъ нихъ только тотъ выводъ и можно сдѣлать, что вотъ какіе сметливые люди русскіе крестьяне. Это нисколько не мѣшаетъ другимъ сословіямъ той же русской національности оказываться на каждомъ шагу раками на мели. Но вся стратегія и тактика славянофиловъ состояла въ томъ, чтобы русскія особенности, непривлекательныя или считаемы непривлекательными, распредѣлять по отдѣльнымъ сословіямъ, а особенности одного какого-нибудь сословія, достойныя, съ славянофильской точки зрѣнія, одобренія, возводить на степень общаго національнаго признака. Правда, они утверждали, что въ излюбленной ими древней Руси сословные элементы не существо-

вали или, по крайней мѣрѣ, были только слабо намѣчены, но, справедливо ли это мнѣніе или нѣтъ, въ постановкѣ общаго вопроса объ условіяхъ Правды, они не имѣли никакого права сосредоточивать все свое вниманіе на однихъ лишь національныхъ особенностяхъ.

Они говорили: національный элементъ, воздухъ родины дѣлаетъ наши понятія нѣсколько односторонними, но съ этимъ ничего не подѣлаешь—таковъ ужъ предѣлъ, его же не прейдетъ человѣкъ. Совершенно съ такимъ же правомъ можно бы было сказать: сословный элементъ, воздухъ извѣстныхъ общественныхъ отношеній нѣсколько извращаетъ наши понятія, но это необходимо. Однако, славянофилы ничего подобнаго не говорили и, при случаѣ, готовы были погремѣть насчетъ сословныхъ предразсудковъ, отстаивая, въ то же время, неизбѣжность и законность предразсудковъ національныхъ. Это первый ихъ salto mortale; начали сомнѣніемъ, скептицизмомъ и кончили полнымъ произволомъ выбора точки опоры, даже не пытаясь логически оправдать его.

Но даже и этотъ salto mortale не вывелъ еще насъ пока изъ океана сомнѣній. Осложненіе точки зрѣнія познающаго элементомъ національности неизбѣжно, а потому неизбѣжна односторонность его пониманія. Изъ этого слѣдуетъ, что воззрѣнія французовъ, нѣмцевъ, англичанъ, китайцевъ, русскихъ одинаково односторонни. Поэтому, русскому человѣку, какъ и всякому другому, надо помнить, что онъ вовсе не обладаетъ и не способенъ обладать полной истиной, что понятія, признаваемыя имъ за истинныя, по необходимости, односторонни и, слѣдовательно, ошибочны, такъ же ошибочны, хотя и въ другомъ родѣ, въ другую сторону, какъ понятія французовъ, англичанъ и проч. Славянофилы опять-таки имѣли мужество признать это положеніе какъ исходную точку, но тотчасъ же струсили и придумали для русской или, точнѣе, славянской правды особыя гарантіи. Первая гарантія—безусловная. Помимо національности, они раздѣлили весь христіанскій міръ (оставивъ міръ не христіанскій внѣ своихъ соображеній) по вѣроисповѣданіямъ. Французы, испанцы, итальянцы обобщены въ рубрику католицизма, германскія племена—въ рубрику протестантизма, славяне—православія. При этомъ, хотя вѣроисповѣданія слиты уже не съ національностями, а съ цѣлыми племенными группами, и даже болѣе, потому что католико-протестантскій (онъ же романо-германскій) міръ противопоставляется часто, какъ нѣчто однородное, славяно-православному, но славянофилы всетаки разсуждаютъ о вѣроисповѣданіяхъ, какъ чисто національныхъ признакахъ, какъ о проявленіяхъ той или другой національной стихіи въ области религіи. Но, такъ какъ только въ православіи сохранилась единая, откровенная, вселенская истина, то этимъ самымъ славянская правда получаетъ гарантіи безусловности. Я только отмѣчаю это умозаключеніе. Сказать же объ немъ ничего не имѣю, кромѣ развѣ того, что нить сомнѣній и здѣсь обрывается совершенно внезапно. Любопытнѣе другія гарантіи, относительныя. Добываются они вотъ какъ.

«Искренній католикъ (вы ужъ должны примириться съ вѣроисповѣданіемъ, какъ проявленіемъ національности), искренній католикъ, по рѣзко опредѣленной ограниченности своего взгляда, лишается способности высказать полную правду о борьбѣ римской церкви съ реформаціей; за то онъ постигнетъ и внесетъ въ науку не только все великое и общечеловѣческое, созданное католицизмомъ, но и самыя глубокія психологическія условія, вызвавшія католицизмъ... Нѣмецкій историкъ, можетъ быть, превратно представитъ въ своемъ разсказѣ характеръ борьбы германскихъ государствъ съ славянскими племенами; онъ не уразумѣетъ вполнѣ возстанія гусситовъ и увидитъ въ нихъ не болѣе, какъ грубыхъ предшественниковъ Лютера и Кальвина; онъ проглядитъ заслугу, оказанную западной Европѣ Польшею, сдержавшею въ теченіи цѣлаго вѣка напоръ турецкаго завоеванія, и заслугу Россіи, изжившей на себѣ давленіе монголо-татарскаго племени, побѣдившей его и чрезъ это укрѣпившей за собой право мирнаго на него воздѣйствія; за то онъ яснѣе другихъ почувствуетъ и живѣе передастъ міровое значеніе германскаго племени въ судьбахъ человѣчества; ни одно проявленіе германскаго духа не ускользнетъ отъ его сочувствія и, черезъ его народное воззрѣніе, хотя бы и нечуждое односторонности, войдетъ въ общее достояніе науки и сдѣлается доступнымъ для общечеловѣческаго пониманія участіе въ исторіи одного изъ великихъ народныхъ дѣятелей... Можно ли отрицать, что русскому, потому что онъ—русскій, и въ той мѣрѣ, въ какой онъ—русскій, духъ нашей исторіи, мотивы нашей поэзіи, весь ходъ и все настроеніе народной жизни откроется яснѣе и полнѣе, чѣмъ французу, хотя бы послѣдній вполнѣ овладѣлъ русскимъ языкомъ и такою массою матеріаловъ, какою никогда не располагалъ ни одинъ русскій ученый?» («Два слова о народности въ наукѣ»). Изъ этого можно, по первому взгляду, сдѣлать только то скромное заключеніе, что свой свое понимаетъ, хотя въ нѣкоторыхъ случаяхъ и односторонне, но глубже, чѣмъ чужой чужое. Слѣдовательно—достоинства русской правды, русскаго пониманія вещей не выходятъ за

предѣлы русской исторіи: здѣсь русскіе люди—такіе же хозяева, какъ французы, нѣмцы и проч. у себя. Но это было бы слишкомъ скромно для славянофиловъ, да и вообще слишкомъ узко. Какъ видно изъ приведенныхъ словъ Самарина, онъ (и вообще славянофилы) вовсе не отрицалъ общечеловѣческихъ элементовъ исторіи. Онъ полагалъ, что каждая національность, разработывая свое и съ своей особенной точки зрѣнія, вноситъ результаты своей работы въ нѣкоторую общую сокровищницу, гдѣ различныя односторонности другъ друга уравновѣшиваютъ. Это очень важно замѣтить, потому что славянофилы часто, и иногда не безъ основанія, жаловались, что ихъ не понимаютъ, именно, на этомъ пунктѣ. И въ самомъ дѣлѣ, это—пунктъ очень важный; но въ рукахъ славянофиловъ онъ, къ сожалѣнію, игралъ такую же двусмысленную роль, какъ и ихъ скептицизмъ. Настаивая на общемъ положеніи о естественной односторонности всего, прошедшаго сквозь призму національности, они дѣлали, однако, рѣзкое изъятіе изъ этого общаго правила въ пользу національности русской или вообще славянской. Здѣсь-то они и прибѣгали чаще всего къ безусловной гарантіи, даваемой православіемъ. Но иногда они и безъ нея обходились. Такъ, Самаринъ чрезвычайно гордо заявляетъ въ одномъ мѣстѣ: «Мы дорожимъ старою Русью не потому, что она старая или что она наша, а потому, что мы видимъ въ ней выраженіе тѣхъ началъ, которыя мы считаемъ человѣческими или истинными, а вы, можетъ быть, считаете національными и временными» (104). Опять прыжокъ. Значитъ, русскія національныя начала, не въ примѣръ прочимъ, оставаясь національными, суть, вмѣстѣ съ тѣмъ, начала общечеловѣческія и безусловно истинныя. Значитъ, далѣе, рѣчь здѣсь идетъ не объ томъ только, что русскій человѣкъ можетъ глубже понимать русскую исторію, чѣмъ, напримѣръ, французъ, и, наоборотъ, французъ лучше понимаетъ свою исторію, чѣмъ русскій. Нѣтъ, этого мало. Русскій человѣкъ способенъ выработать такія общія научныя положенія, такую Правду, которая можетъ и должна быть принята всѣми человѣками, безъ различія національностей, въ качествѣ общечеловѣческой, хотя сама она вышла изъ нѣдръ національности. Это—національность избранная, которой законы не писаны, которая сама призвана писать другимъ законы. Само собою разумѣется, что, кромѣ неподлежащей возраженіямъ ссылки на православіе, положеніе это очень трудно подтвердить еще чѣмъ-нибудь. Поэтому славянофилы прибѣгали къ такому обороту мысли, нѣкоторыя подробности котораго должны васъ очень интересовать. «Если католикъ, говоритъ Самаринъ:—внесъ въ область науки свое ограниченное воззрѣніе на римскую церковь, если лютеранинъ также односторонне опредѣлилъ значеніе реформаціи, если ни отъ того, ни отъ другого мы не можемъ ожидать послѣдняго слова, опредѣленія взаимнаго отношенія двухъ вѣроисповѣданій: то почему не допустить, что произнести это слово призванъ тотъ, кто не участвовалъ въ борьбѣ, не заразился возбужденными ею страстями и, по возвышенности своей точки зрѣнія, стоитъ надъ сторонами, ведущими между собой споръ? Если токово призваніе православнаго мыслителя, то не ясно ли, что оно выпадаетъ ему не ради превосходной силы его ума, а единственно потому, что мысль его воспитается въ другой духовной средѣ и что примиреніе противоположностей будетъ ему доступно нетолько, какъ требованіе религіознаго сознанія, но какъ осуществленный фактъ въ полнотѣ духовной жизни православной церкви? Обнаруженіе односторонности выработанныхъ воззрѣній и примиреніе ихъ путемъ возведенія противоположностей въ высшій строй явленій, можетъ быть, предстоитъ намъ и въ другихъ областяхъ знанія. Можетъ быть, вопросы объ отношеніи личной свободы къ общественному предуставленному порядку, о соглашеніи выгодъ сосредоточенности поземельнаго владѣнія и раздробленія земли на мелкіе участки и многіе другіе найдутъ свое разрѣшеніе, именно, у насъ, вслѣдствіе того, что наука найдетъ ихъ въ жизни и взглянетъ на самые вопросы съ новой точки зрѣнія, на которую поставитъ ее народная жизнь. Можетъ быть также, что это мечта; но возможность подобнаго участія въ рѣшеніи поставленныхъ вопросовъ оправдывается прошедшими вѣками. Въ отвѣтъ на міровой запросъ, исторія не приноситъ логической формулы, а выводитъ на сцену новаго дѣятеля, живой бытъ свѣжаго народа, и, много спустя, мысль, воспитанная въ сочувствіи съ нимъ, возводитъ его на степень понятія и переноситъ изъ дѣйствительности въ область науки, какъ понятіе, какъ законъ» (117).

Вы видите, что здѣсь, рядомъ съ гарантіей безусловной, предлагается, но сравнительно довольно робко, гарантія относительная, зависящая отъ «свѣжести» русскаго народа. Не всегда, однако, славянофилы такъ робко настаивали на блестящей будущности Россіи, какъ вершительницы судебъ міра. Робость часто переходила въ дерзость, даже малоосмысленную, гадательныя предположенія—въ полнѣйшую достовѣрность, скромные напѣвы надежды и ожиданій—въ нахальнопобѣдный маршъ, и весь скептицизмъ исходной точки разбивался въ дребезги. Для всего

этого нужно же было имѣть хоть что-нибудь за душей, хоть какой-нибудь призракъ, фантомъ; нужно же было найти въ русской исторіи и въ русскомъ бытѣ что-нибудь, если не въ дѣйствительности блистающее всѣми цвѣтами радуги красоты, то, по крайней мѣрѣ, поддающееся соотвѣтственной идеализаціи. Славянофилы нашли это «что-нибудь» въ удачномъ разрѣшеніи Русью самаго важнаго вопроса изъ всѣхъ, передъ которыми когда либо останавливался въ раздумьи человѣкъ. Это—вопросъ объ отношеніи личности къ обществу. Древняя Русь, говорили славянофилы, завѣщала намъ общинное начало и какъ осуществленный уже фактъ, и какъ идею, присущую народному духу. Подъ общиннымъ началомъ здѣсь слѣдуетъ разумѣть не то, что подразумѣвается подъ нимъ въ просторѣчіи, а вообще свободное, сознательное, но смиренное подчиненіе личности цѣлому, свободное и сознательное отреченіе личности отъ своего полновластія. Этимъ путемъ сложились и держатся русскій «міръ», русская семья, русское государство. Вотъ чѣмъ мы хороши и святы, вотъ что предстоитъ намъ побѣдоносно пронести по всему бѣлому свѣту подъ звуки побѣдоноснаго марша. Въ древней Руси драгоцѣнная способность личности къ смиренію, къ страданію и самопожертвованію ради интересовъ цѣлаго общества составляла достояніе всѣхъ русскихъ людей, что и доказывается болѣе или менѣе искусно или, пожалуй, болѣе или менѣе неискусно освѣщеннымъ подборомъ историческихъ фактовъ. Но къ нынѣшнему времени оно сохранилось, вообще говоря, только въ народѣ, въ низшихъ классахъ общества. Такъ, чтобы привести хоть одинъ примѣръ: «въ понятіяхъ русскаго человѣка (мужика), женщина только до замужества живетъ для себя и старается нравиться, кому хочетъ. Съ выходомъ замужъ, эта веселая, беззаботная пора смѣняется другою, болѣе строгою. Начинается трудъ, подвигъ жизни и постоянное жертвованіе собою мужу, семьѣ и дому. Жена, мать, хозяйка живетъ уже не для себя, а для другихъ, и всѣ свои требованія и вкусы подчиняетъ желаніямъ и волѣ своего мужа, главы семейства. Ему одному она старается угождать и нравиться» (128, въ примѣчаніи). Въ подобныхъ явленіяхъ славянофиламъ дорога именно свобода, сознательность самопожертвованія и страданія. Справедливость требуетъ, впрочемъ, сказать, что и къ этой свободѣ и сознательности они относились довольно таки двусмысленно, дѣлая изъ нихъ даже нѣчто въ родѣ упрека, когда имъ указывали на нѣчто подобное въ Западной Европѣ. Такъ, въ пору знаменитыхъ споровъ объ общинномъ землевладѣніи, они не разъ доказывали, что европейская ассоціація, какъ бы далеко ни пошла она въ своемъ развитіи, всегда будетъ страдать преднамѣренностью, какъ бы излишнею сознательностью, тогда какъ русская община есть нѣчто органическое, стихійное, съ молокомъ матери всосанное и потому, дескать, особенно прочное.

Такъ или иначе, но общинное начало сохранилось у насъ только въ народѣ. Вотъ почему «сближеніе съ народомъ можетъ быть еще болѣе необходимо для образованнаго класса, чѣмъ для самого народа. Во всѣхъ странахъ міра кругъ образованности, пріобрѣтаемой ученіемъ въ городскомъ быту, съ каждымъ днемъ стѣсняется и мелѣетъ. Вездѣ знаніе логическое, которому подножіемъ служитъ отрицаніе непосредственности и сознанія жизненнаго, отказываетъ человѣку въ удовлетвореніи духовныхъ потребностей, самыхъ высокихъ и вмѣстѣ самыхъ простыхъ; онъ не находитъ въ немъ ни живыхъ побужденій къ дѣятельности, ни нормы для своей внутренней жизни. Потерявъ всякую власть надъ самимъ собой, онъ начинаетъ вспоминать и жалѣть о другомъ источникѣ знанія и жизни, когда-то ему доступномъ, но къ которому тропа для него потеряна; онъ ищетъ красотъ чего то, чего не дадутъ ему ни книги, ни комфортъ жизни и что, въ простотѣ своей, предугадываютъ дѣти и постигаетъ народъ. Народъ сохранилъ въ себѣ какое-то здравое сознаніе равновѣсія между субъективными требованіями и правами дѣйствительности, сознаніе, заглушенное въ насъ одностороннимъ развитіемъ личности; назидательные уроки жизни доходятъ прямо и безпрепятственно до его неотуманеннаго разума; ему доступенъ смыслъ страданія и даръ самопожертвованія. Все это не преподается и не покупается, а сообщается непосредственно отъ имущаго къ неимущему. Усвоивая себѣ жизнь народную и внося въ нее свое знаніе и свой опытъ, образованный классъ не останется въ накладѣ—онъ получитъ много взамѣнъ. Впрочемъ, съ какой бы точки ни смотрѣли на отношенія двухъ разлученныхъ другъ отъ друга половинъ нашего общественнаго состава, нѣтъ сомнѣнія, что сближеніе необходимо, что первый шагъ должно сдѣлать высшее сословіе и что его должна внушать любовь» (91).

Этой выпиской я кончаю съ Самаринымъ и откладываю его въ сторону. Я не имѣлъ намѣренія писать о немъ или о славянофилахъ критическую статью. Я хотѣлъ только наметить весь циклъ общихъ идей славянофильства, дающихъ поводъ для небезъинтересной бесѣды о правдѣ и неправдѣ. Уже изъ тѣхъ бѣглыхъ замѣчаній, которыми я сопровождалъ изложеніе наиболѣе общей части ученія славянофиловъ, вы должны

были убѣдиться, что это—чрезвычайно странная смѣсь правды и неправды, свѣта и мрака, смѣлаго полета мысли и заячьей трусости, рѣзкой постановки вопросовъ и крайней наивности, а подчасъ и дикости ихъ разрѣшенія. Славянофилы подошли, можно сказать, вплотную къ Правдѣ, но тотчасъ же отвернулись отъ нея и отошли прочь, даже не отошли, а позорно побѣжали.

Первое, что̀ вамъ должно быть дорого въ славянофилахъ и что̀ не повторяется, не повторится и не можетъ повториться въ его настоящихъ и будущихъ отпрыскахъ, это—то, что они никогда не пытались сознательно разорвать Правду пополамъ; никогда не представлялась славянофиламъ мысль, что истина сама по себѣ, а справедливость сама по себѣ. Напротивъ, идея ихъ высшаго единства внушала не разъ славянофиламъ глубоко продуманныя и прочувствованныя строки. Другое дѣло—самое содержаніе ихъ понятій объ истинномъ и справедливомъ: но объ этомъ рѣчь еще впереди. Именно изъ идеи единства и цѣлостности Правды вытекаетъ ихъ скептическая постановка вопроса о чистой истинѣ. Но здѣсь вѣрна только постановка. Самый анализъ постороннихъ вліяній, осложняющихъ умственную работу человѣка, азбучно несостоятеленъ, такъ какъ рѣшительно ничѣмъ нельзя оправдать свода всѣхъ этихъ осложняющихъ вліяній къ одному элементу національности. Безспорно слѣдующее положеніе: приступая къ какому бы то ни было умственному акту, человѣкъ, кромѣ непосредственнаго наблюденія или размышленія, руководится извѣстною точкою зрѣнія, обусловленною его прошлымъ: весь его сознательный или безсознательный прошлый опытъ, располагаясь въ извѣстную систему, побуждаетъ его съ большею или меньшею силою смотрѣть на вещи такъ или иначе и даже видѣть то или иное. Въ общихъ чертахъ, вы почти всегда можете предсказать, какъ тотъ или другой человѣкъ отнесется къ совершенно новому для него факту, о которомъ онъ прежде никогда не думалъ. Разумѣется, для этого вы должны знать его прошлое, знать, напримѣръ, какія онъ книжки читалъ, съ какими людьми дружилъ, въ какомъ кругу вращался, какія наблюденія имѣлъ случай дѣлать. Весь этотъ опытъ уже предопредѣляетъ до извѣстной степени его отношеніе къ новому для него факту. Поэтому-то и бываетъ такъ безполезна прямая, такъ сказать, нахрапная, пропаганда какихъ бы то ни было, даже самыхъ высокихъ идей, если для усвоенія ихъ нѣтъ подходящей почвы въ умѣ людей, которымъ эти идеи проповѣдуются. Если вы захотите внушить человѣку идею, для васъ безусловно вѣрную, то прежде всего вы должны изучить этого человѣка и затѣмъ подойти къ нему съ той стороны, съ которой идея можетъ оказаться для него доступною. Для этого вамъ, можетъ быть, придется долго шевелить его систематизированный прошлый опытъ или, какъ хорошо выражается Самаринъ, «основной слой отвердѣлыхъ представленій и понятій»; придется говорить о вещахъ, можетъ быть, съ виду совершенно постороннихъ вашей идеѣ. Иначе вы ничего не добьетесь и вызовете даже, можетъ быть, не смотря на всѣ ваши благія намѣренія, враждебное отношеніе къ вамъ, какъ къ человѣку, очевидно, чужому: «Основной слой отвердѣлыхъ представленій и понятій» всегда существуетъ. Человѣкъ приступаетъ къ любому умственному процессу всегда съ нѣкоторымъ, сознательно или безсознательно предвзятымъ рѣшеніемъ. Таковъ законъ природы. И хотя, въ противность мнѣнію Самарина и другихъ, въ законахъ природы нигдѣ не писано, чтобы этотъ «основной слой» безусловно не подлежалъ провѣриванію и измѣненіямъ, но приступать къ такому провѣриванію слѣдуетъ съ большими предосторожностями.

Въ числѣ вліяній, осложняющихъ всякій умственный процессъ, національные элементы, само собою разумѣется, играютъ извѣстную роль, но, къ счастію или къ несчастію, не въ нихъ вся сила, далеко, очень далеко не вся. Упуская это изъ виду, славянофилы обставляютъ свое положеніе очень скудными аргументами «отъ разума». Нѣсколько богаче арсеналъ ихъ доводовъ «отъ примѣра». Они любили указывать, что такое-то ученіе не только политическое, а и научное или философское, развивалось преимущественно въ такой-то странѣ, потому что, дескать, здѣсь только оно находило для себя подходящую національную почву. Рѣшительно всѣ ихъ этого рода примѣры могутъ и должны быть истолкованы совсѣмъ иначе. Взять хоть бы ихъ любимый примѣръ распространенія либерально-экономическихъ ученій изъ Англіи. Національнымъ англійскимъ продуктомъ ихъ можно признавать развѣ въ очень слабой степени. Во-первыхъ, потому, что въ выработкѣ ихъ въ самой Англіи принимали участіе совсѣмъ не англичане вообще, а извѣстные только слои англійскаго общества, и другіе слои того же англійскаго общества постоянно противъ нихъ протестовали и протестуютъ. Во-вторыхъ — потому, что либерально-экономическія ученія обошли всю Европу, не исключая и Россіи, находя себѣ глашатаевъ именно въ тѣхъ слояхъ различныхъ національностей, которые воздвигнули ихъ и въ Англіи. Такимъ образомъ, ученія эти суть не національные, а сословные продукты, разумѣя подъ сословіемъ группу людей съ опредѣленными интересами,

отличными отъ интересовъ остальныхъ частей націи. Славянофилы никогда не ставили такимъ образомъ вопроса, отчасти по искреннему недоразумѣнію, отчасти сознательно. Хотя сословный элементъ, какъ осложняющее начало, имѣетъ рѣшительно столько же правъ на признаніе, какъ и національный, но въ общемъ сознаніи какъ-то ужъ утвердилась та мысль, что гнуть Правду въ угоду сословнымъ интересамъ стыдно. Идея національныхъ интересовъ находится въ совсѣмъ иномъ положеніи. Благодаря смѣшенію словъ нація и народъ, каковымъ смѣшеніемъ славянофилы занимались, а грядущіе наши національ-либералы (чего Боже сохрани!) будутъ заниматься систематически, національные интересы представлялись интересами прямо мужика. Это выходило какъ будто очень красиво, даже самоотверженно или, по крайней мѣрѣ, благотворительно. Но и безъ этого самоотверженія, всетаки нація, это, вѣдь — цѣлое, обнимающее собою всѣхъ, и каждаго. Теперь вы понимаете, вѣроятно, хоть и не всѣ понимаютъ, что это — грубый софизмъ, что интересы націи, въ огромномъ, подавляющемъ большинствѣ случаевъ, совсѣмъ не существуютъ, что за этими красивыми и благородными словами скрываются вполнѣ осязательные интересы верхнихъ слоевъ націи. Но для усвоенія этой истины надо всетаки немножко подумать, очень, впрочемъ, немножко. Вотъ, напримѣръ, Самарину очень нравится, что истинно-русская женщина до замужества гуляетъ какъ ей угодно, но, вступая въ семью, въ нѣкоторое цѣлое, отдается ему вполнѣ, стираетъ въ угоду ему свою личность. Дѣло, однако, здѣсь вовсе не въ цѣломъ, а въ вершинѣ цѣлаго, и Самаринъ просто не хочетъ понять этого, когда говоритъ: «начинается трудъ, подвигъ жизни и постоянное жертвованіе собою *мужу, семьѣ и дому*. Жена, мать, хозяйка живетъ уже не для себя, а *для другихъ*, и всѣ свои требованія и вкусы подчиняетъ желаніямъ и волѣ *своего мужа, главы семейства*». Казалось бы, ясно, что мужъ есть такой же членъ цѣлаго, семьи, какъ и жена, а, слѣдовательно, если даже допустить, что ломать и давить личность въ интересахъ цѣлаго, значитъ, дѣлать хорошее дѣло, то изъ этого еще вовсе не вытекаетъ, чтобы подчиненіе жены желаніямъ и волѣ мужа было достойно похвалы. И, однако, для Самарина это именно такъ. Подобное смѣшеніе понятій еще соблазнительнѣе, когда рѣчь идетъ объ общественныхъ группахъ, болѣе сложныхъ и обширныхъ, чѣмъ семья. И дѣйствительно, тутъ смѣшеніе понятій достигаетъ часто чудовищныхъ размѣровъ, вслѣдствіе чего образуется мутная вода, въ которой одни добросовѣстно тонутъ, а другіе недобросовѣстно рыбу ловятъ. Въ самомъ дѣлѣ, такъ вѣдь легко наговорить хорошихъ словъ, въ родѣ: самоотверженіе, преданность интересамъ цѣлаго, свободное и сознательное отреченіе личности отъ своего полновластія и проч., и проч., и проч. Легко даже увлечь кое-кого этими словами и заставить людей жертвовать собою въ интересахъ яко бы цѣлаго, а въ сущности ничтожнѣйшей его части. Отсюда — всякаго рода іезуитизмъ противъ одного частнаго выраженія котораго — дѣйствій іезуитскаго ордена — Самаринъ такъ много ратовалъ. Іезуитизмъ, какъ закланіе личной совѣсти на алтарѣ будто бы цѣлаго или его сверхестественной персонификаціи, а въ сущности на алтарѣ кучки вожаковъ какой-нибудь партіи, ордена, кружка, общества, секты и проч., есть, дѣйствительно, дѣло возмутительное. И для васъ это очень важно замѣтить; но замѣтьте также, что не вездѣ, гдѣ говорится о свободѣ личности, она дѣйствительно подразумѣвается и цѣнится. Находя въ руской исторіи какое-то систематическое торжество смиренія и сознательнаго отреченія личности отъ своего полновластія, славянофилы, какъ извѣстно, громили европейскую цивилизацію за преобладаніе въ ней личнаго элемента. При этомъ пускались въ ходъ жалкія слова въ родѣ: эгоизмъ, презрѣніе къ общественнымъ интересамъ, неразвитость общиннаго начала. Сама западная цивилизація, въ лицѣ нѣкоторыхъ своихъ представителей, какъ бы вторила этимъ громамъ изъ Москвы, съ гордостью выставляя преобладаніе личнаго начала, какъ осуществленный фактъ и строго обслѣдованную теорію, но, разумѣется, идеализируя его, а не ругая. И все это — неправда. Въ Средніе вѣка въ Европѣ, конечно, не было никакого преобладанія личнаго начала, потому что личность сжималась тисками цѣлаго, которое называлось то цехомъ, то гильдіей, то общиной, то церковью, то крѣпостными отношеніями, то феодальной системой. Что же произошло, когда эти многоразличныя узы отчасти совсѣмъ распались, отчасти ослабѣли? Вы очень хорошо знаете, что произошло. Вы знаете, что, напримѣръ, въ экономической области европейской жизни преобладаетъ совсѣмъ не личность, а капиталъ, а это, разумѣется, не одно и то же. Вы знаете, что хотя отношенія европейскихъ капиталиста и рабочаго не имѣютъ формально-обязательнаго характера, но на самомъ дѣлѣ, при существующихъ условіяхъ, капиталистъ такъ же нуженъ рабочему, какъ рабочій капиталисту. Они могутъ, пожалуй, разсуждать о своей личной свободѣ, но, въ дѣйствительности, они прикованы другъ къ другу такими цѣпями, которыя ни въ чемъ, пожалуй, не уступятъ многоразличнымъ цѣ-

пямъ, лежавшимъ на личности въ средніе вѣка. Такимъ образомъ, цѣлое, въ составъ котораго входятъ капиталисты и рабочіе, совершенно подавляетъ личность, и преобладаніе личнаго начала есть миѳъ, ничѣмъ пока не отразившійся въ фактическомъ положеніи вещей. Дѣло только въ томъ, что личность европейскаго рабочаго, освободившись отъ формально-обязательныхъ узъ и не будучи безгласною, можетъ безпрепятственно заявлять о томъ, что ея интересы и интересы обнимающаго ее цѣлаго—совсѣмъ не одно и то же, что интересы этого цѣлаго, собственно говоря, вовсе не существуютъ, потому что подъ ними скрываются интересы хозяевъ. Вотъ если-бы цѣлое было разорвано, еслибы рабочій могъ не нуждаться въ хозяинѣ или — что въ концѣ-концовъ одно и то же—наоборотъ, тогда можно бы было говорить о торжествѣ личнаго начала, потому что тогда въ одной личности сосредоточивались бы всѣ тѣ ея атрибуты, которые теперь распредѣлены по различнымъ группамъ. Теперь же мы видимъ преобладаніе не личности, а одного, оторваннаго, отвлеченнаго атрибута личности, усвоеннаго группою людей съ своими особенными интересами.

Все это должно быть вамъ хорошо извѣстно. Но, въ частныхъ случаяхъ, вы, можетъ быть, не всегда становились на надлежащую точку зрѣнія. Тутъ нѣтъ ничего удивительнаго, потому что вопросъ объ отношеніи личности къ обществу очень обширенъ и можетъ представиться вамъ, въ практической жизни, въ чрезвычайно разнообразныхъ формахъ. Я постараюсь намѣтить нѣкоторыя изъ нихъ, какъ я думаю, наиболѣе для васъ важныя.

Всѣ умственные, всѣ психическіе процессы совершаются въ личности и только въ ней; только она ощущаетъ, мыслитъ, страдаетъ, наслаждается. Это — азбучная истина, но вы должны помнить и твердо держаться ея, не презирая ея азбучности, потому что на искалѣченіи ея строится множество политическихъ софизмовъ. Всякіе общественные союзы, какія бы громкія или предвзято-симпатичныя для васъ названія они ни носили, имѣютъ только относительную цѣну. Они должны быть дороги для васъ постольку, поскольку они способствуютъ развитію личности, охраняютъ ее отъ страданій, расширяютъ сферу ея наслажденій. Таковъ конечный смыслъ всѣхъ разсужденій на политическія темы, если только разсуждающіе доводятъ разсужденіе до логическаго конца, а не свертываютъ по дорогѣ къ нему въ сторону. Напомню наши споры о поземельной общинѣ. Противники ея утверждали, что община связываетъ личность крестьянина, насильно держитъ его у земли, налагаетъ на него цѣпи. Сторонники общины, по крайней мѣрѣ, благоразумные, не дѣлали себѣ, однако, изъ нея фетиша, передъ которымъ надо лбы разбивать. Они не говорили, что община дорога, потому что она — община. Они видѣли въ ней надежное убѣжище для крестьянской личности отъ грядущихъ бѣдъ капиталистическаго порядка. Правда была на ихъ сторонѣ, потому что съ распущеніемъ общины, если не явится какой-нибудь противовѣсъ со стороны, у насъ долженъ повториться процессъ европейскаго экономическаго развитія, а тамъ, какъ мы видѣли, личность вовсе не торжествуетъ. Но дѣло не въ этомъ, споръ объ общинѣ насъ здѣсь не интересуетъ. Я говорю только, что обѣ стороны самымъ ходомъ изслѣдованія вынуждены были принять мѣриломъ значенія общины судьбу личности. Они только разно смотрѣли на нее: одни понимали, другіе не понимали или умышленно не хотѣли понимать. Понимавшіе, хотя и стояли, по видимости, на почвѣ стѣсненія личной свободы, стояли, въ сущности, за личность, и стояли твердо. Наоборотъ, не понимавшіе и не хотѣвшіе понимать, не смотря на всѣ свои разглагольствованія на тему личной свободы и личныхъ интересовъ, постоянно сворачивали съ этой дороги въ сторону, главнымъ образомъ, разсыпая перлы краснорѣчія насчетъ экономическаго процвѣтанія отечества, національнаго богатства и т. п. Богатство же есть опять-таки только оторванный, отвлеченный атрибутъ личности, а національное богатство—плодъ недоразумѣнія. Значитъ, какія бы медоточивыя уста ни приглашали васъ къ фетишизму передъ общественными союзами всевозможныхъ наименованій, вы должны уклониться отъ позорной роли идолопоклонника, готоваго на человѣческія жертвоприношенія. Личность никогда не должна быть принесена въ жертву; она свята и неприкосновенна, и всѣ усилія вашего ума должны быть направлены къ тому, чтобы самымъ тщательнымъ образомъ слѣдить въ каждомъ частномъ случаѣ за ея судьбами и становиться на ту сторону, гдѣ она можетъ восторжествовать. Слова, въ родѣ «общее дѣло», «общественные интересы», «общая польза» отнюдь не должны васъ смущать, потому что подъ этимъ флагомъ слишкомъ часто провозится контрбанда. Я не то хочу сказать, чтобы они никогда не имѣли смысла, но за ними надо смотрѣть въ оба. Въ вопросахъ сравнительно мелкихъ, затрогивающихъ небольшія группы людей, разобраться въ этомъ смыслѣ, обыкновенно, вовсе не трудно,

Но въ вопросахъ, обнимающихъ большія массы, можетъ явиться сомнѣніе относительно приложимости мѣрила личности. Я сейчасъ скажу, чѣмъ, въ такихъ случаяхъ, личность можетъ быть, удобства ради, замѣнена.

Но прежде поговоримъ объ одномъ возраженіи, которое легко предвидѣть. Можетъ быть, вы даже не безъ негодованія отвернетесь отъ предлагаемой точки зрѣнія, которую я нарочно ставлю такъ рѣзко, такъ ребромъ. Можетъ быть, вы скажете: проповѣдь эгоизма! теорія личнаго благополучія!— намъ это не нужно. Нѣтъ, вамъ это нужно. Возраженіе неосновательно; но, повѣрьте, я очень цѣню его мотивы, и уже изъ одного этого вы можете заключить, что я несу вамъ не проповѣдь эгоизма, какъ его обыкновенно понимаютъ и какъ вы его понимаете. Ваше возраженіе, не смотря на его неосновательность, гораздо мнѣ ближе, симпатичнѣе, чѣмъ сочувствіе людей, которые думаютъ, что защита личнаго начала есть проповѣдь эгоизма и что теорія, имѣющая краеугольнымъ камнемъ личность, должна оправдать ихъ обдѣлываніе личныхъ дѣлишекъ.

Эгоизмъ эгоизму рознь и словъ пугаться не слѣдуетъ; особенно вамъ это не къ лицу. Уже изъ предъидущаго вы должны видѣть, что тамъ, гдѣ вамъ указываютъ на торжество личнаго начала, личность на дѣлѣ можетъ оказаться сильно подавленною и искалѣченною. Въ эту ошибку, умышленно или неумышленно, очень часто впадаютъ какъ теоретики любви къ ближнему и самопожертвованія, такъ и теоретики эгоизма. Я напомню вамъ двѣ-три черты ученія одного изъ всесвѣтно знаменитыхъ теоретиковъ эгоизма. Разумѣю Бентама. Онъ утверждалъ, что единственный руководитель человѣка есть личный интересъ, что человѣкъ, естественно, ищетъ наслажденій и бѣжитъ страданій; а затѣмъ никакихъ другихъ мотивовъ дѣятельности нѣтъ; поэтому, какъ ученіе о нравственности, такъ и законодательство должны быть построены на тѣхъ же основаніяхъ. Тутъ Бентамъ дѣлаетъ ничѣмъ, съ его основной точки зрѣнія, неоправдываемый прыжокъ отъ личнаго интереса къ общей пользѣ, а затѣмъ погружается въ море обыденныхъ либеральныхъ доктринъ, кое-что въ нихъ урѣзывая, кое-что къ нимъ прибавляя. Ученіе о нравственности, по его мнѣнію, должно только помогать человѣку въ сложныхъ расчетахъ кредита наслажденія и дебета страданія, которые могутъ представиться въ жизни. Если же другія теоріи нравственности уклоняются отъ этой задачи, то по простому недоразумѣнію: онѣ сами не понимаютъ, чего хотятъ. Для доказательства этого, Бентамъ подвергаетъ критикѣ всѣ ученія о нравственности, сводя ихъ къ двумъ типамъ. Одни, говоритъ онъ, основываютъ нравственность на началахъ симпатіи и антипатіи, другіе—на аскетизмѣ. Вотъ только на эту критику аскетическихъ ученій я и обращаю ваше вниманіе. Она должна выяснить намъ многое.

На первый взглядъ, принципъ аскетизма діаметрально противоположенъ принципу личнаго интереса и пользы и даже не поддается никакому объясненію съ точки зрѣнія послѣдняго: аскетъ бѣжитъ наслажденій и ищетъ страданій. Объясненіе, однако, очень просто. Когда аскетизмъ появляется только въ видѣ разумнаго воздержанія, то это — дѣло простого расчета и, слѣдовательно, прямо подходитъ подъ формулу разумно понятаго личнаго интереса. Объ этомъ и говорить не стоитъ. Но воздержаніе переходитъ иногда въ осужденіе наслажденія, какъ чего-то унижающаго человѣческое достоинство. Этого взгляда придерживаются многіе моралисты-философы, но ими руководитъ просто честолюбіе, жажда славы, репутаціи добродѣтельныхъ людей или мудрецовъ. Значитъ и здѣсь мы имѣемъ только видоизмѣненіе принципа личнаго интереса: наслажденіе громкою репутаціей перевѣшиваетъ порывы къ другимъ наслажденіямъ. Въ людяхъ мало образованныхъ аскетизмъ достигаетъ иногда своей высшей формы: люди нетолько избѣгаютъ наслажденій, но прямо ищутъ страданій. И это тоже очень просто: они надѣются, что блага загробной жизни съ избыткомъ вознаградятъ ихъ за претерпѣваемыя ими на землѣ страданія, а потому они ведутъ все-таки ту же самую линію личнаго интереса, которую, повидимому, отрицаютъ и которой, въ той или иной формѣ, держатся всѣ люди.

Такъ объясняетъ Бентамъ аскетизмъ. Чтобъ оцѣнить всю тупость этого объясненія, я приведу слѣдующія ироническія (если это—не иронія, то тѣмъ хуже) слова Бентама: «Разные монашескіе ордена и общества квакеровъ, доминикановъ, моравскихъ братьевъ и другія религіозныя общины были свободныя общества, къ принятію правилъ которыхъ никто не могъ быть вынуждаемъ безъ собственнаго согласія. Сколько бы человѣкъ ни думалъ находить заслугу въ дѣланіи себя несчастнымъ, повидимому, ни въ одномъ изъ этихъ обществъ не появлялось никогда мысли, что для человѣка можетъ быть заслугой, если не обязанностью, дѣлать несчастными другихъ; хотя казалось бы, что, если извѣстное количество несчастія есть такая вожделѣнная вещь, то было бы все равно, будетъ ли каждый самъ себя дѣлать несчастнымъ, или одинъ будетъ дѣлать несчастнымъ другого... Дать себѣ извѣстное число ударовъ бича было, дѣйстви-

тельно, заслугой для человѣка; но дать то же число ударовъ другому, безъ его согласія, было бы грѣхомъ»...

Бентамъ недоумѣваетъ, почему аскетъ истязуетъ самого себя, но другого, безъ его согласія, истязать не станетъ. А недоумѣваетъ онъ потому, что не понимаетъ ни объективныхъ, внѣшнихъ источниковъ аскетизма, ни его субъективныхъ, внутреннихъ побужденій. Аскетизмъ, съ одной стороны, гораздо ближе къ принципу личнаго интереса, а съ другой—гораздо дальше отъ него, чѣмъ думаетъ знаменитый пророкъ утилитаризма. Конечно, какой-нибудь Сенека, щеголявшій теоретическимъ презрѣніемъ къ наслажденіямъ и бывшій, въ то же время, прихвостнемъ Нерона, могъ развивать свои нравственныя темы единственно въ видахъ репутаціи и славы. Справедливо, что честолюбіе можетъ повести и къ практическому осуществленію аскетическаго принципа. Исторія знаетъ не мало такихъ примѣровъ. Справедливо также, что награда въ будущей жизни большинствомъ аскетовъ принимается въ соображеніе. Но исчерпываются ли этими мотивами всѣ источники аскетизма? Рѣшительно нѣтъ. Бентамъ обратилъ вниманіе только на случайныя привѣски къ какому-то особенному, спеціально-аскетическому побужденію—привѣски, берущія начало въ опредѣленной обстановкѣ, которая можетъ быть и не быть на лицо, отнюдь, въ послѣднемъ случаѣ, не устраняя самаго аскетизма. Я ссылаюсь на вашъ личный опытъ. Помните, какъ Рахметовъ ложился на кровать, утыканную гвоздями. Надо правду сказать, это—довольно неудачный, неумѣлый образъ, но въ немъ есть правда, и вы должны это очень хорошо знать. Вамъ, конечно, не разъ случалось или лично испытывать, или близко около себя видѣть не только совершенно сознательное отреченіе отъ наслажденія, но и прямой позывъ къ страданію, хотя и не въ такой нескладной и утрированной формѣ, какъ лежаніе на гвоздяхъ. Вы урѣзываете свой бюджетъ наслажденій, прямо ищете лишеній и дѣлаете это, замѣтьте, совсѣмъ безъ мысли о славѣ или какой-нибудь наградѣ со стороны. Если не всѣ вы такъ самоотверженны, то вы понимаете всетаки, что это—дѣло очень возможное. И, значитъ, Бентамъ долженъ бы былъ стать передъ подобнымъ явленіемъ въ тупикъ, онъ не можетъ свести его къ началу личнаго интереса. Съ его точки зрѣнія, такой аскетизмъ (а онъ можетъ идти очень далеко) составляетъ уже не кажущуюся, а дѣйствительную и непримиримую противоположность личному началу. А между тѣмъ, здѣсь-то именно личное начало и торжествуетъ. Если на васъ не дѣйствуютъ ни стимулъ славы, ни стимулъ награды или, по крайней мѣрѣ, кромѣ нихъ, дѣйствуетъ еще нѣчто, то это нѣчто должно состоять исключительно въ примиреніи съ самимъ собой, съ своей собственною личностью. Мимоходомъ сказать, Бентамъ не понималъ даже такой простой вещи, какъ совѣсть, и не понималъ именно потому, что совѣсть есть та почва, на которой происходитъ разладъ и примиреніе съ самимъ собою. Онъ увѣрялъ, что совѣсть выдумали философы въ родѣ того, какъ нѣмецъ выдумалъ обезьяну (Милль значительно исправилъ эту нелѣпость своего учителя). Всѣ подобныя слова онъ предлагалъ выкинуть изъ лексикона и замѣнить ихъ выраженіями представленій страданія и наслажденія. Оно, пожалуй, можно. Спокойная совѣсть есть состояніе наслажденія, угрызенная, больная совѣсть—состояніе страданія. Это несомнѣнно. И отсюда, съ утилитарной точки зрѣнія, вытекаетъ, что поступковъ, разрѣшающихся угрызеніями совѣсти, прямой расчетъ—избѣгать. Но какъ быть, если совѣсть предписываетъ страданіе, если только этимъ путемъ можетъ возстановиться миръ въ душѣ человѣка, миръ въ предѣлахъ его собственной личности, совершенно независимо отъ мнѣнія другихъ людей, отъ наградъ, вообще отъ всѣхъ сторонннхъ стимуловъ? Бентамъ отвѣтилъ бы, что человѣкъ, налагающій на себя какую-нибудь эпитемью, тѣмъ самымъ показываетъ, что страданія, ею причиняемыя, для него меньше страданій, производимыхъ угрызеніями совѣсти. Но надо же положить какую-нибудь разницу между страданіями, принимаемыми въ видахъ чужого одобренія и награды, и страданіями, принимаемыми единственно по личному внутреннему побужденію. Эта разница, казалось бы, особенно важна для апологетовъ личности, личнаго начала. Не установивъ ея, Бентамъ и оказывается въ такомъ двусмысленномъ положеніи относительно аскетизма. Я утверждаю, что, если держаться основаній бентамовской критики, то аскетизмъ окажется прямымъ и непримиримымъ противорѣчіемъ личнаго интереса, потому что субъективныя его цѣли могутъ не имѣть ничего общаго ни съ жаждою славы, ни съ разсчетомъ на какія бы то ни было награды. Но если видѣть въ аскетизмѣ отраженіе жажды внутренняго примиренія съ самимъ собой, то онъ несравненно ближе къ принципу личнаго интереса, чѣмъ думаетъ Бентамъ. Во-первыхъ — поскольку аскетъ не дорожитъ чужимъ мнѣніемъ и наградами со стороны, онъ заботится исключительно о себѣ, о спокойствіи своей совѣсти. Во-вторыхъ, аскетъ отрицаетъ всѣ наличные общественные союзы, семью, родину, сословныя группы, государство, и удаляется въ лѣса и пустыни

или для того, чтобы жить тамъ безусловно одиноко сторонясь отъ всякаго общенія съ людьми, или для того, чтобы свободно войти въ такую форму общежитія, которая удовлетворяетъ его личнымъ вкусамъ. Правда, тамъ онъ налагаетъ на себя, подчасъ, очень тяжелыя узы, отрекается отъ такъ называемой личной собственности, отъ личныхъ привязанностей и проч., но все это онъ дѣлаетъ совершенно произвольно, свободно, по личному желанію и для удовлетворенія требованій своей личной природы. Аскетъ поэтому, дѣйствительно, полонъ жаждой чисто личнаго счастія, но совсѣмъ не по тѣмъ основаніямъ, которыя выставляетъ Бентамъ, или, по крайней мѣрѣ, кромѣ нихъ, еще по особеннымъ основаніямъ. Но если не правъ Бентамъ, то еще больше не правы тѣ, которые видятъ въ аскетахъ какихъ-то смиренниковъ. Помилуйте, какіе-же смиренники эти люди, отрясающіе отъ ногъ своихъ прахъ всѣхъ исторически выработавшихся общественныхъ отношеній! какіе они смиренники, когда противопоставляютъ свою личность всему «міру», изъ котораго ушли добровольно! Аскетъ хочетъ страдать. Но мало ли страданій представляется и «на міру»? Смирные люди и остаются тамъ, подставляютъ свои шеи, тогда какъ аскетъ бѣжитъ — онъ хочетъ страдать по своему. Извѣстно, что аскеты, при удобномъ случаѣ, не разъ приставали къ самымъ крайнимъ партіямъ, мечтавшимъ о ниспроверженіи всего существующаго порядка, и заявляли, такимъ образомъ, желаніе реформировать весь «міръ» согласно своимъ личнымъ идеаламъ.

Все это я только для того говорю, чтобы показать, что въ понятіяхъ Бентама о личныхъ интересахъ есть какой-то изъянъ. Очевидно, есть такія проявленія личнаго интереса, которыя совершенно ускользаютъ отъ его критики. Не трудно видѣть, въ чемъ тутъ дѣло. Бентамъ, въ концѣ-концовъ, не смотря на разныя свои бутады, есть защитникъ и апологетъ такъ называемой системы «свободы и порядка», полнѣе всего осуществившейся въ нѣкоторыхъ сторонахъ англійской жизни, но, въ той или другой формѣ, давно и въ разныхъ странахъ бременящей землю. Вы знаете, что въ системѣ этой нѣтъ, собственно говоря, ни свободы, ни порядка, но что ужъ такъ принято ее называть, отчасти въ ироническомъ даже смыслѣ. Личный интересъ, какъ онъ преломляется въ этой системѣ, хотя грубо, однако всетаки довольно хорошо, изслѣдованъ Бентамомъ. Но обобщать это частное изслѣдованіе, хотя бы оно даже вдесятеро лучше было выполнено, до степени анализа человѣческой природы нѣтъ рѣшительно никакихъ основаній. Марксъ очень вѣрно замѣчаетъ, что Бентамъ подставилъ въ своей теоріи, вмѣсто человѣческой природы, природу современнаго англійскаго буржуа. А чѣмъ отличается личность современнаго англійскаго буржуа отъ человѣческой личности вообще? Тѣмъ, что она—и не личность даже, а осколокъ личности. Впрочемъ, я не хочу становиться на эту точку зрѣнія, такъ какъ она потребовала бы довольно длинныхъ и, отчасти, уже извѣстныхъ вамъ объясненій. Я напомню тоже извѣстное вамъ, но для настоящаго случая болѣе удобное различіе между типами идеальными и типами практическими. Практическіе типы, это тѣ, которые быстро приспособляются ко всякой обстановкѣ, какъ бы она ни была узка и душна, которые согласны существовать въ видѣ любого колеса любой телѣги, хотя бы оно было пятое, которыхъ требованія отъ жизни такъ скромны, что пятакъ, а тѣмъ болѣе двугривенный, ихъ совершенно удовлетворяетъ. Идеальные типы, напротивъ, слишкомъ полны, слишкомъ многосторонни, чтобы умѣститься въ какой-нибудь тѣсной рамкѣ. Понятно, что личный интересъ практическаго типа и личный интересъ идеальнаго типа далеки другъ отъ друга, какъ небо отъ земли. Подождите же, значитъ, негодовать противъ личнаго интереса, пожалуй даже, противъ эгоизма, потому что эгоизмъ эгоизму рознь, и надо прежде всего знать, о какого сорта личномъ интересѣ идетъ въ томъ или другомъ частномъ случаѣ рѣчь. Пожалуйста, не думайте, чтобы это были ненужныя тонкости и пустяки. Это—дѣло очень важное, потому что жизнь представляетъ и сама по себѣ бездну запутанностей, и если сюда еще прибавляются ложныя ассоціаціи идей и словъ, то путаница можетъ, если не совсѣмъ загубить человѣка, то, по крайней мѣрѣ, глубоко унизить его. Личный интересъ нисколько не противорѣчитъ ни самоотверженію, ни сознательному возложенію на себя страданій. Это такъ часто разъяснялось, что настаивать на этомъ пунктѣ нѣтъ надобности, и кто его до сихъ поръ не понимаетъ, тотъ не пойметъ и во вѣки-вѣковъ. Самоотверженіе есть не болѣе, какъ одна изъ формъ личнаго интереса, а потому на него бываютъ способны и практическіе, и идеальные типы. Но замѣтьте разницу. Практическій типъ такъ сростается съ обстановкой, къ которой онъ приспособленъ, что личный его интересъ, до извѣстной степени, отождествляется съ интересами того цѣлаго, которое даетъ ему его обстановка. Скажемъ, напримѣръ, та истинно русская женщина, которою восхищается Самаринъ. Этотъ смирный человѣкъ можетъ всю жизнь

свою проводить въ самопожертвованіи, нести бремя жизни, какъ теленокъ, отпаиваемый на убой, какъ почтовая лошадь, загоняемая фельдъегеремъ. И это потому, что она приспособилась къ своей обстановкѣ, только изъ этого окошка и видитъ свѣтъ, весь свой интересъ уложила въ интересъ семьи или, какъ оказывается при ближайшемъ разсмотрѣніи, главы семьи. Пусть славянофилы и лицемѣры поютъ гимны такому смиренію—вы не пристанете къ ихъ хору, вы не восхвалите такого глубокаго униженія личности; вы поймете, что кто одобряетъ такое смиреніе, тотъ одобряетъ и угнетеніе, потому что безъ послѣдняго нѣтъ и перваго: если лошадь возитъ фельдъегеря, такъ, значитъ, фельдъегерь ѣздитъ на лошади. Подставьте, вмѣсто семьи, любой общественный союзъ, большой, малый, постоянный, случайный—вы можете найти (можете и не найти, конечно) фельдъегерей и почтовыхъ лошадей, неразрывно другъ съ другомъ связанныхъ и логически другъ друга обусловливающихъ. Именно, вслѣдствіе этой неразрывности, они являются типами практическими, а потому и личные интересы ихъ состоятъ только въ поддержаніи наличныхъ общественныхъ отношеній, въ чемъ бы послѣднія ни состояли, въ системѣ-ли «свободы и порядка», или въ чемъ другомъ. Совсѣмъ иной характеръ будетъ имѣть личный интересъ идеальнаго типа, и совсѣмъ иное будетъ его самоотверженіе. Никогда не унизитъ онъ своей личности, по крайней мѣрѣ, будетъ бороться противъ униженія до послѣдней возможности, пробуя разнообразныя комбинаціи и, можетъ быть, погибая въ омутѣ практической жизни. Онъ наложитъ на себя обязанности, даже очень тяжелыя, но наложитъ самъ; общественный идеалъ его сложится на основаніи требованій идеала личнаго. При извѣстныхъ особенностяхъ характера изъ него выйдетъ, болѣе или менѣе ярко выраженный аскетъ, сознательно отсѣкающій въ себѣ тѣ потребности, которыя не находятъ себѣ въ данной средѣ удовлетворенія, какого ему нужно. При другихъ условіяхъ темперамента, онъ будетъ рваться къ удовлетворенію своихъ требованій во что бы то ни стало, хотя бы для этого пришлось поставить все окружающее вверхъ дномъ. Между этими двумя крайностями есть, разумѣется, множество оттѣнковъ, постепенно переходящихъ одинъ въ другой. Такъ или иначе, но идеальный типъ отказывается отъ роли какъ почтовой лошади, такъ и фельдъегеря, и личный свой интересъ укладываетъ не въ ту или другую наличную общественную систему, а въ общественный идеалъ—въ такой именно идеалъ, гдѣ личность свята и неприкосновенна.

Вы можете смотрѣть на различные историческіе идеальные типы, какъ вамъ угодно. Они всетаки носили на себѣ слѣды своего времени и своего мѣста, а потому бывали и невѣжественны, и грубы, и разнообразно покалѣчены. Дѣло не въ этомъ. Я хочу только сказать, что мѣриломъ достоинства всякаго союза—партіи, кружка, семьи, націи и проч.—долженъ служить интересъ личности, разумѣется, личности не практическаго типа, потому что это значило бы мѣрять аршинъ аршиномъ же, а такое измѣреніе ничего, кромѣ простого тождества, дать не можетъ. Значитъ, во всѣхъ политическихъ вопросахъ вы сдѣлаете фокусомъ своего размышленія интересы не націи, не государства, не общины, не провинціи, не федераціи, а—личности. Она составитъ тотъ центръ, изъ котораго разсѣются для васъ во всѣ стороны лучи Правды и освѣтятъ вамъ значеніе того или другого общественнаго союза. Одинъ и тотъ же союзъ можетъ оказаться сегодня твердымъ оплотомъ интересовъ личности, а завтра—ея губителемъ. Но вы не запутаетесь въ этомъ историческомъ калейдоскопѣ, если будете помнить, что всѣ психическіе процессы совершаются въ личности, и только въ ней, что только она получаетъ впечатлѣнія, ощущаетъ, мыслитъ, чувствуетъ, страдаетъ, наслаждается. Легковидѣть, что начало личности одно правомѣрно можетъ вывести изъ того океана скептицизма, изъ котораго славянофилы такъ произвольно вылѣзли на берегъ національности. Дѣло должно быть поставлено такъ. Умственный процессъ совершается въ предѣлахъ отдѣльнаго человѣка, личности. Предѣлы эти установлены, съ одной стороны, природой, а съ другой—историческимъ ходомъ вещей. Природныя опредѣленія мы вынуждены брать, какъ они есть, не пытаясь ихъ расширить или измѣнить. Поэтому, прежде всего, мы должны выяснить, какія границы положены нашему уму природой. Въ этомъ именно состоитъ то, что обыкновенно называется теоріей познаванія. Я не буду ея здѣсь развивать, но вы, конечно, знаете, хотя въ общихъ чертахъ, тѣ результаты, къ которымъ на этотъ счетъ пришло большинство мыслящихъ людей. За малыми и не стоющими большого вниманія исключеніями, всѣ признаютъ, что человѣку доступна только относительная Правда, что животное съ иною организаціей должно понимать вещи иначе, что Правда, съ точки зрѣнія человѣка, не есть что-нибудь вполнѣ соотвѣтствующее природѣ вещей и обязательное для всѣхъ существъ. Человѣкъ добываетъ элементы Правды при помощи пяти чувствъ, а, будь у него ихъ больше или меньше, Правда представлялась бы ему

совсѣмъ иначе. Границъ, отмѣченныхъ перстомъ природы, перешагнуть нельзя. Правда, добытая всѣми средствами, какія представляютъ эти конечные предѣлы человѣческой личности, есть Правда относительная; но, практически, она, пожалуй, безусловна для человѣка, потому что выше ея подняться нельзя. Но вотъ историческій ходъ вещей прибавляетъ къ природнымъ опредѣленіямъ, ограниченіямъ человѣческой личности, еще свои, особенныя, общественныя. Скажи мнѣ, къ какому общественному союзу ты принадлежишь, и я скажу тебѣ, какъ ты смотришь на вещи. Понятно, что все, добытое подъ напоромъ этихъ историческихъ опредѣленій, отстоитъ болѣе или менѣе далеко отъ той полноты Правды, какая доступна человѣку; все это, слѣдовательно—не правда. И нѣтъ никакого основанія предпочитать одну неправду другой: напримѣръ, національную — сословной или наоборотъ.

Но если, такимъ образомъ, все зданіе Правды должно быть построено на личности, то, какъ уже сказано, конкретные политическіе вопросы представляются иногда въ такой сложной формѣ, что прослѣдить въ этой сѣти за интересами и судьбами личности бываетъ очень трудно. Въ такихъ случаяхъ, вмѣсто интересовъ личности, вы поставите интересы народа или, точнѣе, труда. Я не могу теперь представить оправданіе для такой постановки вопроса, потому что времени и мѣста остается мало, а я хотѣлъ бы сказать еще нѣсколько словъ объ одномъ предметѣ высокой важности.

Славянофилы вѣрили или, по крайней мѣрѣ, говорили, что Россіи предстоитъ великая будущность, какъ примирительницѣ различныхъ односторонностей европейской жизни. Ихъ бы устами да медъ пить. А для этого есть нѣкоторыя основанія—основанія, впрочемъ, очень скромныя и никакой особенной чести намъ не приносящія. Кто позже другихъ начинаетъ дѣлать какое-нибудь дѣло, тотъ, естественно, пользуется преимуществомъ чужого опыта. Мы позже Европы начали дѣлать свою исторію, значитъ, можемъ воспользоваться всѣмъ ея историческимъ опытомъ. Воспользуемся-ли мы имъ въ дѣйствительности—это другой вопросъ. Я вѣрю, даже знаю, что вы хотите воспользоваться; но боюсь, что вы не обойдетесь безъ ошибокъ, даже довольно элементарныхъ.

Если оставить въ сторонѣ православіе, какъ высшую ступень, на которой должны примириться односторонности католицизма и протестантизма, то наиболѣе важное значеніе славянофилы придавали удачному у насъ разрѣшенію противорѣчія личнаго и общественнаго начала—противорѣчія, терзающаго Западную Европу. Мы видѣли, что славянофилы понимали это дѣло совсѣмъ неправильно, что въ Европѣ, къ сожалѣнію, личное начало не торжествуетъ, а только еще борется за свое существованіе, а наше смиреніе... ну, о нашемъ смиреніи надо говорить съ большимъ смиреніемъ, чѣмъ это дѣлали славянофилы. Что наиболѣе обще выраженная ваша задача состоитъ именно въ примиреніи личнаго и общественнаго началъ—въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. При этомъ можетъ представиться такой вопросъ: что выше—правила личной нравственности или общественнаго поведенія, контуры идеала личнаго или общественнаго, такъ какъ между ними возможны коллизіи болѣе или менѣе сложныя.

Оставимъ наши дѣла и заглянемъ во Францію. Французскій мужикъ былъ долго забытъ какъ либералами, такъ и соціалистами, которые сосредоточивали свое вниманіе на городскомъ рабочемъ, а мужика предоставляли въ вѣдѣніе бонапартистовъ, легитимистовъ, ультрамонтановъ и проч. Послѣдствія извѣстны. Представимъ себѣ теперь двухъ молодыхъ, энергичныхъ и образованныхъ французовъ, скажемъ, Пьера и Жака, задумывающимися о судьбѣ французскаго мужика. Они — совсѣмъ разные люди и совсѣмъ по разнымъ причинамъ задумываются. Пьеръ мѣтитъ въ министры или хоть въ депутаты, но, по общественному положенію или по искренно республиканскимъ убѣжденіямъ, можетъ добиться своего только при республикѣ. Онъ замѣчаетъ, что прочному установленію республики мужикъ мѣшаетъ, потому что съ этой стороны его никто до сихъ поръ не культивировалъ. Пьеръ рѣшаетъ заняться мужикомъ. Онъ сходится съ подходящими людьми, вырабатываетъ сообща съ ними подробный планъ распространенія въ крестьянскомъ населеніи либеральныхъ и республиканскихъ идей, издаетъ книжки, агитируетъ, словомъ—дѣлаетъ все для просвѣщенія мужика насчетъ легитимизма, бонапартизма и проч. Разсматривая дѣйствія Пьера только съ точки зрѣнія цѣлесообразности, мы увидимъ, что ему нѣтъ никакой надобности быть лично нравственнымъ человѣкомъ. Онъ можетъ быть просто мошенникомъ, даже пускать въ ходъ мошеннническія продѣлки, подлоги, ложь, интригу, насиліе надъ чужой личностью и проч. и всетаки добиться своей цѣли — утвержденія республики приливомъ крестьянскихъ голосовъ. Жакъ находится совсѣмъ въ другомъ положеніи. Онъ не мечтаетъ о карьерѣ министра или депутата, хотя, можетъ быть, и не прочь попасть для извѣст-

ныхъ цѣлей въ палату. Его не мучитъ ни честолюбіе, ни властолюбіе, ни корыстолюбіе, но онъ тоже не безъ душевныхъ мукъ живетъ. Онъ думаетъ: вотъ я—образованный и недурно обставленный человѣкъ, есть люди и гораздо лучше меня обставленные, а вотъ невѣжественный, неимущій, приниженный, коллективный соименникъ мой Жакъ Бономъ. Это сопоставленіе вызываетъ въ Жакѣ такія размышленія и такія чувства, достигающія притомъ такой напряженности, что его жизнь просто отравляется. Нуженъ выходъ и ему представляется ихъ два. Онъ можетъ дозволенными во Франціи средствами устнаго и печатнаго слова требовать осуществленія своихъ идей. Онъ можетъ также заглушить свои муки и сомнѣнія, подойдя къ Жаку Боному вплотную, заживъ его жизнью и передавая ему въ обмѣнъ свои знанія, свои болѣе развитыя понятія. Какъ въ первомъ, такъ, въ особенности, во второмъ случаѣ, онъ долженъ быть высоконравственнымъ человѣкомъ. Интригу, ложь, мелочное самолюбіе, рисовку, развратъ, насиліе, всякаго рода свинство онъ долженъ предоставить Пьеру и ему подобнымъ, хотя бы уже потому, что Жакъ Бономъ не подпуститъ его къ себѣ вооруженнымъ этимъ арсеналомъ стараго міра. Да, наконецъ, онъ и не можетъ, органически не можетъ прибѣгать къ подобнымъ орудіямъ, если только ходъ его развитія дѣйствительно таковъ, какъ мы себѣ представляемъ. Въ немъ, вѣдь, по нашему предположенію, совѣсть заговорила, а не желаніе ссадить кого-нибудь съ теплаго мѣста, чтобы самому на него усѣсться. По чрезвычайно счастливому стеченію обстоятельствъ, не только между его идеалами личной жизни и идеалами общественными нѣтъ никакой розни, но они другъ съ другомъ неразрывно связаны. Его личный интересъ и интересъ Жака Бонома, въ концѣ концовъ, тождественны. Провозвѣстникъ Правды, онъ долженъ осуществлять ее въ себѣ. Конечно, конь о четырехъ ногахъ, да и то спотыкается. Можетъ споткнуться и Жакъ и забыть даже азбучныя моральныя истины. Но онъ или именно только споткнется въ увлеченіи, или онъ—не Жакъ, такъ что другіе Жаки уже по одному этому признаку могутъ увидѣть въ немъ чужого и прогнать его отъ себя.

Этотъ примѣръ уяснитъ вамъ, быть можетъ, отношенія, существующія между идеалами личной нравственности и идеалами общественными.

Литературныя замѣтки 1878 г.

I *).

Химера и центавры.—Жизнь и сочиненія Н. С. Никитина.—Отвлеченная литература и отвлеченные литераторы.—О газетахъ.

Въ старые годы, наивные люди вѣрили въ существованіе химеръ, сфинксовъ, центавровъ и тому подобныхъ зоологически невозможныхъ составныхъ тварей. Нынѣшніе наивные люди въ нихъ не вѣрятъ, а между тѣмъ, химеры, сфинксы и центавры гуляютъ среди насъ въ огромномъ количествѣ. Крылья оказываются сплошь и рядомъ приросшими къ совсѣмъ не птичьему туловищу, тяжелому, неуклюжему, еле поворачивающемуся, и эти бѣдныя крылья только даромъ треплются, стараясь приподнять своего тяжеловѣснаго обладателя къ небесамъ. Полу-человѣкъ, полу-лошадь—тоже не особенная рѣдкость, и когда вы услышите конское ржанье, то не можете поручиться, что это подлинный четвероногій жеребецъ ржетъ. Между этими зоологическими невозможностями есть такія, о которыхъ говорить рѣшительно не стоитъ, пожалѣешь только иной разъ, что полу-лошадь остается, по недоразумѣнію, невзнузданной. Но есть невозможности очень любопытныя.

Покойная Лядова, которую свѣдущіе люди считаютъ лучшею изъ «Прекрасныхъ Еленъ», видѣнныхъ Петербургомъ, говорятъ, усердно молилась всякій разъ передъ выходомъ на сцену въ роли жрицы Венеры. Казалось бы, можетъ ли такая женщина проникнуться вызывающей, циничесой насмѣшкой Оффенбаха и «создать» роль супруги Менелая? А, между тѣмъ, фактъ на лицо. Г. Евгеній Утинъ въ статьѣ «Болгарія во время войны» (въ «Вѣстникѣ Европы») съ пламеннымъ негодованіемъ говоритъ о ти нѣ

*) 1878. февраль.

«личныхъ, эгоистическихъ интересовъ» и «практической жизни», въ которую русское общество было погружено передъ войной. Слова его прожигаютъ страницы «Вѣстника Европы» и сердца читателей. И не замѣчаетъ г. Утинъ, что его грозный бичъ полосуетъ его собственное, утинское тѣло, принимавшее такія граціозныя позы и аттитюды въ струсберговскомъ процессѣ. Это ли не химера, не центавръ, зоологически невозможный, имѣющій человѣческую голову и конское туловище? И куда бы вы ни посмотрѣли, вездѣ вы увидите длинные ряды химеръ, центавровъ и сфинксовъ, у которыхъ не то что нѣтъ ничего общаго между словомъ и дѣломъ (это бываетъ и съ просто слабыми и безхарактерными людьми), а которые совмѣщаютъ въ себѣ признаки совершенно разнородныхъ существъ. Мы такъ къ этому привыкли, такъ сжились съ этимъ химерическимъ сосѣдствомъ, что многіе, не обинуясь, пожимаютъ копыто центавра, точно оно и въ самомъ дѣлѣ не копыто, а человѣческая рука. Я не объ тѣхъ лошаляхъ говорю, которые просто, болѣе или менѣе искусно, притворяются людьми, притворяются сознательно, съ совершенно опредѣленною цѣлью. Это просто дрянь, заслуживающая узды, возжей, чего хотите, но не пристальнаго разсмотрѣнія, потому что даже въ чисто психологическомъ смыслѣ она не представляетъ никакого интереса: купилъ человѣкъ въ магазинѣ маску, надѣлъ ее, носитъ, пока требуется, а потомъ снялъ, ни мало не повредивъ подлиннаго лица своего, очень хорошо зная, что одно дѣло—маска и другое дѣло—подлинное лицо. Лядова и г. Утинъ—люди не этого сорта. Конечно, и они надѣваютъ нѣкоторымъ образомъ личину, изображая фривольную греческую царицу и пламеннаго ненавистника «эгоистическихъ интересовъ». На дѣлѣ, одна не такъ ужъ фривольна, а другой не такъ ужъ полонъ самоотверженія. Надѣвая на себя личину, оба эти человѣка въ значительной степени руководствуются практической сметкой, художественнымъ инстинктомъ и другими второсортными умственными способностями, позволяющими имъ попасть въ надлежащій тонъ и сыграть предположенную роль. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, они чрезвычайно проникаются этою ролью. До такой степени, что г. Утинъ заливается слезами, «когда о честности высокой говоритъ», а Лядова, не смотря на свою богомольность и вполнѣ добропорядочную жизнь внѣ театральныхъ подмостковъ, усвоиваетъ всѣ тончайшія черты личности легкомысленной Елены. Вы не должны смущаться этими примѣрами, взятыми изъ театральнаго міра. Я какъ то присутствовалъ при разговорѣ объ томъ, каковъ бы былъ въ роли Гамлета одинъ чрезвычайно талантливый русскій актеръ, до сихъ поръ не пробовавшій себя въ подобныхъ роляхъ. Одинъ мой пріятель остроумно замѣтилъ, что актеръ этотъ началъ бы знаменитый мрачный монологъ Гамлета такъ:

Быть или не быть?
Съ пальцемъ девять,
Съ огурцомъ пятнадцать!

Не знаю, такъ ли было бы на самомъ дѣлѣ, но вѣрно то, что актеръ, какъ и всякій художникъ, не можетъ мало-мальски сносно передать то, чего въ немъ самомъ нѣтъ, хотя въ видѣ зародыша. По мнѣнію знатоковъ, г. Утинъ и Лядова исполняютъ свои роли хорошо, а потому нельзя сомнѣваться, что въ слезахъ адвоката и въ легкомыслiи актрисы есть нѣчто подлинное, изъ души идущее. Это не совсѣмъ маска. Но вѣдь Лядова крестилась и жарко молилась христіанскому Богу, выходя на подмостки, а г. Утинъ бичуетъ эгоистическіе интересы, геройствуя въ московской Струсбергіадѣ. Какъ связать все это? какъ объяснить психическіе процессы, совершающіеся въ Лядовой и въ г. Утинѣ? Психологія пока дѣло довольно темное, но нужно думать, что оба названныя лица, по легкомыслію или по неспособности къ самоанализу—не полные хозяева въ своей собственной душѣ и даже не пытаются связать концы съ концами въ своей внутренней жизни. Какъ у Фауста zwei Seelen wohnen in der Brust, такъ и у г. Утина и Лядовой живутъ въ груди двѣ души. Разница, и не маловажная, состоитъ въ томъ, что Фаустъ зналъ, что онъ химера, а потому мучился своимъ «двоедушіемъ», боролся, терзался, искалъ выхода, а Лядова и г. Утинъ невинны, какъ Адамъ и Ева до вкушенія плодовъ древа познанія добра и зла. Муки «больной совѣсти» имъ такъ же мало извѣстны, какъ тому купцу, который ставитъ свѣчку Николаю Чудотворцу въ благодарность за удачу злостнаго банкротства. Молитва сама по себѣ, канканъ самъ по себѣ; Струсбергіада—сама по себѣ, бичъ моралиста—самъ по себѣ. И нисколько они другъ другу не мѣшаютъ. Жизнь такихъ людей можетъ быть въ извѣстномъ смыслѣ очень любопытна, но трагедіи изъ нея не скроишь. Это матеріалъ для водевиля, самое большое для комедіи, могущей получить трагическій оттѣнокъ, но только со стороны, въ тѣхъ третьихъ лицахъ, съ которыми этихъ забавныхъ химеръ сталкиваетъ жизнь.

Но не всегда химеры забавны. Онѣ могутъ быть носителями глубокаго страданія, если даже сознаніе своего «двоедушія» не достигаетъ такой страшной ясности, какъ

у Фауста. Жадная натура Фауста искала власти, богатства, чувственныхъ наслажденій, не останавливаясь, въ случаѣ надобности, передъ преступленіемъ, насиліемъ, низостью. Но въ немъ жила и другая душа, полная высшихъ, идеальныхъ стремленій. Она-то и точила Фауста, какъ червь, не давая ему успокоиться ни на чемъ и обнаруживая съ безпощадною ясностью нищету, плоскость, ненужность всего, чего онъ добивался отъ жизни съ такою страстностью. Сократите размѣры Фауста во всѣхъ направленіяхъ, понизьте уровень его требованій и стремленій, отымите у него его безстрашную послѣдовательность, онъ останется все-таки мученикомъ, и такихъ маленькихъ мучениковъ вы не разъ видали. Впрочемъ, для уясненія мученій этихъ маленькихъ мучениковъ, Фауста лучше оставить въ сторонѣ, потому что тѣнь его огромной фигуры не совсѣмъ покрываетъ ихъ тѣни. Дѣло бываетъ обыкновенно такъ: живетъ какой-нибудь Иванъ, тихо, смирно, занимается своимъ дѣломъ, имѣющимъ свои пріятныя и непріятныя стороны, или даже просто ничего недѣланіемъ. Вдругъ откуда-то, совсѣмъ со стороны налетаетъ что-то новое, новыя идеи, чувства, стремленія, настоящихъ корней въ жизни нашего Ивана не имѣющія, но, по тѣмъ или другимъ случайнымъ причинамъ, получающія для него большое значеніе. Если въ добавокъ, какъ обыкновенно и бываетъ, это новое долетаетъ до Ивана въ болѣе или менѣе туманномъ, неопредѣленномъ видѣ, такъ что онъ не сразу можетъ разобрать, до какой степени оно ему органически чужое и какой огромной внутренней переработки оно требуетъ для его воспринятія — матеріалъ для безконечныхъ мученій готовъ. Душа Ивана раздвоена, онъ сталъ химерой съ безсильно треплющимися крыльями на несообразно тяжеломъ туловищѣ. Старое, привычное тянетъ въ одну сторону, новое— въ другую, и человѣкъ изнываетъ, не умѣя отдаться вполнѣ ни тому, ни другому. Не то, чтобы такой результатъ былъ неизбѣженъ, но матеріалъ для него готовъ. На примѣрѣ дѣло будетъ яснѣе. Припомните Митю въ «Бѣдность не порокъ» Островскаго. Молодой малый живетъ въ приказчикахъ у богатаго и взбалмошнаго купца Гордѣя Торцова. Малый много терпитъ, но согласенъ терпѣть и еще больше, лишь бы хозяинъ не выгналъ его, потому что онъ влюбленъ въ хозяйскую дочь. У него есть поэтическій талантикъ; любовь, которую онъ долженъ отъ всѣхъ прятать и держать, какъ дорогую святыню, подъ спудомъ, разогрѣваетъ ему душу, онъ зачитывается Кольцовымъ, онъ самъ сочиняетъ пѣсни. Исторія кончается, какъ извѣстно, вполнѣ благополучно: Митя женится на предметѣ своей любви, становится законнымъ наслѣдникомъ богатаго тестя и кончаетъ, по всей вѣроятности, тѣмъ, что слой жиру затягиваетъ его поэтическіе инстинкты. Ничто не мѣшаетъ ему спрашивать у своей жены: «чего-моя нога хочетъ?» Онъ спокоенъ духомъ, обвѣшиваетъ, обмѣриваетъ, пьетъ чай цѣлыми самоварами, водку четвертями, словомъ все идетъ, какъ слѣдуетъ. Но представьте себѣ, что въ эту минуту, когда душа Мити разогрѣта и, по тревожности своего состоянія, особенно отзывчива, являются какіе-нибудь добрые люди съ участіемъ къ его поэтическому таланту, даютъ ему читать сочиненія крупныхъ русскихъ поэтовъ, дѣлаютъ наставленія, подзадариваютъ, поощряютъ, словомъ, играютъ роль раздувательныхъ мѣховъ. Исходъ можетъ быть разный, смотря по обстоятельствамъ, то-есть по свойствамъ Мити и раздувательныхъ мѣховъ. Можетъ изъ него выйти своего-рода Лядова-Утинъ, поэтъ-аршинникъ, сочиняющій стихи и въ то же время съ броненосною совѣстью обмѣривающій и обвѣшивающій покупателей. Можетъ и такъ случиться, что новая дѣятельность совершенно и кореннымъ образомъ преобразитъ Митю, увлечетъ его въ сферы истины и справедливости и дастъ то удовлетвореніе, которое дается этимъ путемъ. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ, Митя не будетъ знать внутренняго разлада и если придется ему переживать мучительныя минуты, то это не будутъ муки химеры. Но возможенъ еще одинъ исходъ, хуже котораго, лично для Мити, ничего быть не можетъ. Если основной слой лавочническихъ представленій и понятій залегъ въ немъ такъ прочно, что экскурсіи въ область мысли, предпринимаемыя съ художественными цѣлями, въ состояніи только всколебать его, хотя и представляютъ сами по себѣ нѣчто для Мити заманчивое, отвѣчающее нѣкоторымъ его вкусамъ, бѣдный Митя пропалъ. Онъ изноетъ въ борьбѣ съ самимъ собой, пока, наконецъ, какая-нибудь волна вынесетъ его на тотъ или другой берегъ, а можетъ и такъ случиться, что онъ до самой смерти никакого берега не увидитъ. Это очень обыкновенная исторія. По всей вѣроятности, въ жизни любого изъ коллекціи самодуровъ Островскаго, въ жизни всякаго другого звѣря въ человѣческомъ образѣ, а также въ жизни разнаго рода несчастныхъ людей бывали минуты, такъ сказать, расцвѣта души, дорогія, важныя, всю послѣдующую жизнь опредѣляющія минуты. Почти безразлично, отчего придетъ человѣкъ въ это единственное въ своемъ родѣ состояніе отзывчивости, отчего явится въ немъ эта жажда чего-то

хорошаго, большого, духъ захватывающаго. Почти безразлично, потому что тутъ дѣло вовсе не въ опредѣленности стремленія, а именно только въ отзывчивости, которая является, можетъ быть, въ силу чисто физіологическихъ причинъ. Но понятно, что сама по себѣ отзывчивость ничего не гарантируетъ. Она можетъ «не расцвѣсть и отцвѣсть въ утрѣ пасмурныхъ дней», можетъ вывести человѣка на твердую почву, можетъ и исковеркать его. Это зависитъ, во-первыхъ, оттого, какая дѣйствительность окружаетъ субъекта и въ какой мѣрѣ она въ него вѣлась, и во-вторыхъ, оттого, какая пища предложена ему въ моментъ запроса съ его стороны.

Какой страшный крестъ можетъ, при случаѣ, наложить на человѣка своеобразная комбинація этихъ двухъ условій—это не трудно видѣть изъ біографіи одного изъ довольно извѣстныхъ нашихъ поэтовъ, Никитина, сочиненія котораго только что вышли новымъ изданіемъ. (Сочиненія И. С. Никитина, съ его портретомъ, fac-simile и біографіей, составленной и вновь исправленной М. Ѳ. Де-Пуле. Изданіе второе. М. 1878). Мы прослѣдимъ за ней шагъ за шагомъ, по разсказу г. Де-Пуле, приводя въ подлинникѣ тѣ мѣста, которыя всего ярче освѣщаютъ «лучшую, по словамъ біографа, поэму Никитина—его жизнь и лучшій изъ созданныхъ имъ типовъ—его самого». Тогда и выяснится, насколько хороша эта поэма и этотъ типъ. Не предрѣшая ничего, скажемъ только, что біографія Никитина, во всякомъ случаѣ чрезвычайно поучительна.

Иванъ Савичъ Никитинъ, воронежскій мѣщанинъ, родился въ 1824 г. Отецъ его былъ человѣкъ состоятельный, торговые обороты его простирались не менѣе, какъ на сто тысячъ рублей ассигнаціями—сумма, по тогдашнему времени, очень почтенная. Онъ былъ человѣкъ умный, не лишенный нѣкотораго образованія (въ мѣщанство онъ перешелъ изъ духовнаго званія), но очень крутого нрава, что тяжело ложилось на семью. Грамотѣ Никитинъ-сынъ научился, повидимому, очень рано у сапожника; первыя прочитанныя имъ книги были «Мальчикъ у ручья» Коцебу и «Луиза, или подземелье лѣонскаго замка» Радклифъ. Восьми лѣтъ онъ поступилъ въ духовное училище, а, окончивъ тамъ курсъ—въ семинарію. Учился онъ очень хорошо, но особенно отличался въ словесности. Между прочимъ, и первое свое стихотвореніе онъ написалъ въ семинаріи и показалъ профессору словесности. «Профессоръ похвалилъ и совѣтовалъ продолжать. Вначалѣ 40-хъ годовъ, въ воронежской семинаріи были еще свѣжи воспоминанія о Серебрянскомъ и о его другѣ, Кольцовѣ; поэтому литературная производительность пользовалась у семинаристовъ большимъ почетомъ. Между ними Никитинъ скоро пріобрѣлъ названіе семинарскаго литератора, семинарскаго поэта и такое прозваніе нравилось самолюбію отца; поэтому о какомъ-нибудь противодѣйствіи наклонностямъ сына онъ не могъ и думать». Вообще, отецъ не только не противодѣйствовалъ умственному развитію сына, но даже мечталъ видѣть его въ университетѣ—фактъ, не совсѣмъ обыкновенный въ его время и въ его кругу. Но пока что, а дѣла отца стали по какимъ-то причинамъ разстроиваться, онъ началъ запивать, а, глядя на него и терпя отъ него разныя надругательства, запьянствовала и мать Никитина. Молодому семинаристу тѣмъ тошнѣе было присутствовать при домашнихъ безобразіяхъ, что въ семинаріи онъ понюхалъ совсѣмъ другого—Бѣлинскаго, съ его горячимъ, хотя и неопредѣленнымъ зовомъ къ добру, правдѣ и красотѣ. Вмѣсто университета онъ попалъ, однако, за прилавокъ. Почему это такъ вышло, разсудить изъ представленныхъ біографомъ данныхъ довольно трудно. Отецъ, не смотря на разстройство своихъ дѣлъ, не отступалъ отъ свой мечты; сынъ, какъ говоритъ, правда, вскользь г. де-Пуле — тоже. Дѣло, повидимому, встало изъ-за матери, которая на колѣняхъ просила мужа не отпускать Ивана Савича въ чужой городъ. Почему самовластный старикъ сдался на просьбу жены, понять тѣмъ труднѣе, что и послѣ смерти матери (послѣдовавшей всего черезъ полгода по окончаніи Никитинымъ семинарскаго курса), молодой человѣкъ всетаки остался за прилавкомъ и въ университетъ не попалъ. Должно быть, самъ поэтъ не особенно рвался. «Еще прежде, при матери, говоритъ г. де-Пуле:—Никитинъ просился у родителей отпустить его изъ Воронежа въ другой какой-нибудь городъ—зачѣмъ? онъ самъ не могъ дать себѣ отчета». Какъ бы то ни было, но будущій поэтъ стоитъ за прилавкомъ. Съ смертью матери, торговыя дѣла пошли еще хуже, потому что отецъ окончательно запилъ. Много горя испыталъ за это время двадцатилѣтній поэтъ. Отецъ не только пилъ, онъ, во-первыхъ, пропивалъ все, что можно было пропить, а во-вторыхъ, буйствовалъ. «Иванъ Савичъ!—кричалъ онъ пьяный:—Иванъ Савичъ! Подлецъ, такой-сякой! А кто далъ тебѣ образованіе и вывелъ тебя въ люди? А? не чувствуешь? Не почитаешь отца? Не кормишь его хлѣбомъ. Вонъ изъ моего дома...—И все, что стояло на столѣ для потребы пьянаго человѣка—огурцы, хлѣбъ, солонка, рюмка, стаканы, все это летѣло въ бѣднаго Ивана Савича. И такъ каж-

дый почти день! И неумолкаемо почти каждый день раздавались эти дикіе вопли! Бѣдность и нищета дошли до крайнихъ предѣловъ. Все, что можно было прожить, прожито—платье, вещи; что доставалось—шло на водку и дикія оргіи. Молодой Никитинъ потерялся и палъ духомъ». Онъ, впрочемъ, очень быстро оглядѣлся и если не самъ поправился, то поправилъ дѣла, самъ занявшись хозяйствомъ, именно взявъ на свое личное попеченіе постоялый дворъ. Дѣло было не легкое, потому что и хозяйство было распущено, и отецъ не уставалъ пьянствовать, и постоялый дворъ былъ плохъ и расположенъ неудобно, далеко отъ базара. Тѣмъ не менѣе, ловкій молодой хозяинъ съумѣлъ заслужить расположеніе извозчиковъ и сталъ мало-по-малу разживаться, построилъ новый домикъ и проч. Впослѣдствіи, онъ съ ужасомъ вспоминалъ объ этомъ времени, и ему вторитъ г. Де-Пуле, главнымъ образомъ съ той стороны, что вотъ «ученикъ Бѣлинскаго, восторгающійся Пушкинымъ, Лермонтовымъ и Кольцовымъ», вынужденъ дворничать, зазывать извозчиковъ, угождать имъ, отвѣшивать овесъ и сѣно, бѣгать при случаѣ въ кабакъ за водкой. Въ письмахъ своихъ, Никитинъ горько жалуется на грязныя сцены», свидѣтелями которыхъ ему приходилось быть за это время, на уединеніе, на которое онъ былъ обреченъ, на всю эту перемежку поэзіи и прозы. Особенно странныя отношенія установились у него съ отцомъ. «Оба другъ друга любили, разсказываетъ біографъ:—и оба другъ друга, каждый по своему, мучили. Когда Савва Евтѣичъ былъ въ трезвомъ состояніи, трудно было найти отца, который бы такъ кротко и любовно относился къ сыну, но за то надобно было поискать сына, который бы за подобное обращеніе отвѣчалъ такой суровостью и даже дерзостью. Когда старикъ бывалъ пьянъ и буйствовалъ, можно было удивляться кротости сына, ухаживающаго за нимъ, какъ за ребенкомъ, безъ всякой горечи и досады. На замѣчанія друзей своихъ о неровности обращенія съ отцомъ, Никитинъ обыкновенно отвѣчалъ: «Что же дѣлать! иначе я не могу». На совѣты оставить отца, обезпечивъ его всѣмъ нужнымъ, переѣхать на особую квартиру, или же совсѣмъ выѣхать изъ города, онъ отвѣчалъ тѣмъ же *не могу*, прибавляя: «безъ меня онъ совсѣмъ пропадетъ». Не разъ покойный поэтъ говаривалъ: «Я въ состояніи убить того, кто обидитъ старика въ моихъ глазахъ; но когда онъ отрезвляется и смотритъ здравомыслящимъ человѣкомъ, вся желчь приливаетъ къ моему сердцу, и я не въ силахъ простить ему моихъ страданій». Это не мѣшало, однако, «пробамъ пера». Нѣкоторыя изъ нихъ Никитинъ отправилъ въ столичные журналы, но напечатаны онѣ не были. Въ 1849 году, онъ отправилъ два стихотворенія въ «Воронежскія Губернскія Вѣдомости», редакція которыхъ не напечатала ихъ только потому, что не знала имени автора, о чемъ и заявила публично. Никитинъ, однако, почему-то не отозвался—и такъ дѣло и кануло. Впослѣдствіи, впрочемъ, онъ очень близко сошелся съ сотрудниками «Воронежскихъ Губернскихъ Вѣдомостей» и воронежской интеллигенціей вообще, въ томъ числѣ и съ г. Де-Пуле. Съ этихъ поръ начинается извѣстность Никитина. Онъ попалъ въ высшій воронежскій свѣтъ, къ губернатору, что даже пугало его родственниковъ; стихи его стали печататься въ журналахъ; нашелся издатель, въ лицѣ графа Д. Н. Толстого; сочиненія Никитина были поднесены Высочайшимъ особамъ. Вотъ что писалъ Никитинъ Второву, одному изъ сотрудниковъ «Воронежскихъ Губернскихъ Вѣдомостей», свѣтилу мѣстной интеллигенціи, совѣтнику губернскаго правленія и впослѣдствіи важному петербургскому чиновнику: «Милый Николай Ивановичъ, ура!! Отъ государыни императрицы Александры Ѳеодоровны сію минуту имѣлъ счастіе получить золотые часы. Пожалуйте ко мнѣ. Я прибѣгъ бы къ вамъ самъ, но у меня И. А. Придорогинъ и сейчасъ будетъ Л—къ. Приходите посмотрѣть. Цѣлую васъ заочно. Рука дрожитъ. Извините! 1856 г., числа не помню. Вашъ И. Никитинъ». Никитину было въ это время 32 года. Дворничать онъ не переставалъ, но хотя относился къ этой своей дѣятельности много терпимѣе прежняго, однако, все-таки тяготился ею. Скопилось у него около двухъ тысячъ рублей. Куда ихъ дѣвать? Сначала Никитинъ хотѣлъ купить домъ, но почему-то отдумалъ. «Общество дешеваго изданія книгъ» предложило ему быть его агентомъ въ Воронежѣ, и это подало Никитину первую мысль объ основаніи книжнаго магазина. При помощи друзей и покровителей, нашлись нужныя деньги и книжный магазинъ, къ великой радости Никитина, былъ открытъ. Онъ разстался съ постоялымъ дворомъ, чтобы перейти за прилавокъ магазина, въ которомъ видѣлъ не только средство наживы. Книжный магазинъ давалъ ему, во-первыхъ, положеніе, соотвѣтствующее кругу его новыхъ знакомствъ, а во-вторыхъ, онъ имѣлъ, по его собственнымъ словамъ, «благородную цѣль знакомства публики со всѣми лучшими произведеніями русской и французской литературы, въ особенности знакомство молодежи, воспитанниковъ мѣстныхъ учебныхъ заведеній».

(Надо, впрочемъ, замѣтить, что и до Никитина въ Воронежѣ было три книжныя лавки) Никитинъ былъ влюбленъ въ свой магазинъ и носился съ нимъ, какъ съ писаной торбой. Болѣзнь (онъ былъ тогда уже сильно боленъ), поэзія, все было забыто. Это очень огорчало его друзей. Одинъ изъ нихъ, Придорогинъ, такъ говоритъ о немъ въ письмахъ къ Второву: «Физическое истощеніе убило въ немъ поэта, но за то съ необыкновенною силою развернулся въ немъ мелочной и раздражительный духъ спекуляціи. Онъ ничего не пишетъ, мало читаетъ: онъ отсталъ отъ всѣхъ и всего, онъ весь погруженъ въ коммерческіе счеты и разсчеты; онъ доживаетъ послѣдніе дни свои въ лавкѣ; его ничто не занимаетъ, кромѣ барыша и выручки... Не могутъ ужиться вмѣстѣ, въ одномъ человѣкѣ, торгашъ и поэтъ; одно что-нибудь непремѣнно убьетъ другое, или разладица жизненныхъ занятій съ природой убьетъ и самую жизнь». Повидимому, передъ открытіемъ магазина, Никитинъ уговаривался съ друзьями не брать на своемъ товарѣ (книги, бумага, канцелярскія принадлежности) больше извѣстнаго процента, но не исполнялъ этого, за что его, въ особенности Придорогинъ, донималъ.

Въ 1861 году Никитинъ попалъ въ Петербургъ, но ни съ кѣмъ изъ писателей познакомиться не пожелалъ. «Онъ искалъ литературнаго товара и знать не хотѣлъ его производителей», говоритъ біографъ и находитъ объясненіе этому любопытному факту въ недовольствѣ Никитина тогдашнею литературою. Біографъ раздѣляетъ это недовольство. И хотя я привожу только факты, сообщаемые г. Де-Пуле, старательно обходя его собственныя размышленія, какъ не особенно драгоцѣнныя, но не могу не выписать слѣдующаго изумительнаго сужденія: Никитинъ «сочувствовалъ направленію «Русской Бесѣды», потому что оно было въ его душѣ, какъ во всякомъ живомъ русскомъ человѣкѣ. Но, какъ всякаго живого и просвѣщеннаго человѣка, Никитина возмущали крайности новыхъ литературныхъ направленій: въ крайностяхъ онъ видѣлъ духовную пустоту, отсутствіе въ человѣкѣ внутренняго содержанія. Въ Никитинѣ не было этой пустоты: въ грубой формѣ дворника, въ несовсѣмъ изящномъ образѣ купца, было содержаніе полное, былъ *человѣкъ съ цѣльнымъ нравственнымъ образомъ, человѣкъ, глубоко реальный, въ одно и то же время думающій и о барышѣ и о возвышенныхъ идеалахъ*».

Намъ остается позаимствовать у г. Де-Пуле только описаніе предсмертныхъ минутъ «человѣка съ цѣльнымъ нравственнымъ образомъ». Эти минуты, по истинѣ, страшныя. Въ нихъ сказался весь ужасъ химерическаго существованія Никитина. Чтобы такъ умереть—не стоитъ и жить, а между тѣмъ, предсмертныя минуты Никитина только подводятъ итогъ всей его жизни.

Пришла Никитину пора писать духовное завѣщаніе. Душеприказчикомъ онъ выбралъ біографа, который разсказываетъ, между прочимъ: «Умирающій сынъ оставался глухъ къ совѣтамъ включить отца въ духовное завѣщаніе. При всемъ тогдашнемъ вліяніи на Никитина, не смотря на совѣты отца духовнаго и другихъ близкихъ ему лицъ, онъ оставался непреклоннымъ, говоря: «это безполезно, и деньги пойдутъ прахомъ; старикъ имѣетъ домъ, возьметъ къ себѣ племянника съ женой и, я убѣжденъ, доживетъ свой вѣкъ спокойнѣе теперешняго; вы меня знаете, а другіе пусть говорятъ обо мнѣ, что хотятъ». Наступилъ день именинъ Никитина. Отецъ и душеприказчикъ сидѣли возлѣ дивана, на которомъ лежалъ умирающій поэтъ.—«Тихо и кротко началъ жаловаться отецъ на больного, говоря, что онъ тревожится, сердится понапрасну, совсѣмъ не бережетъ и убиваетъ себя. «Вотъ хоть бы ему посовѣтовали успокоиться насъ онъ совсѣмъ не слушаетъ», закончилъ свою жалобу Савва Евтѣичъ. При самомъ началѣ этого разговора Никитинъ очнулся и замѣтно сталъ прислушиваться къ словамъ отца. Не разъ онъ вскидывалъ глазами, и что-то похожее на улыбку я замѣтилъ на его лицѣ. При послѣднихъ словахъ старика, онъ совсѣмъ открылъ глаза и какъ-то тревожно смотрѣлъ на насъ обоихъ. Я чувствовалъ потребность сказать хоть что-нибудь и сказалъ фразу о необходимости спокойствія для больного. Никитинъ быстро приподнялся съ дивана и сталъ на ноги, шатаясь и едва держась руками за столъ. Онъ былъ страшенъ, какъ поднявшійся изъ гроба мертвецъ. «Спокойствіе! воскликнулъ умирающій.—Теперь поздно говорить о спокойствіи!.. Я себя убиваю!.. Нѣтъ—вотъ мой убійца!» Горящіе глаза его обратились къ ошеломленному и уничтоженному отцу. Умирающій опустился на диванъ, застоналъ и оборотился къ стѣнѣ, погрузившись въ забытье».—«Смерть прекратила страданія Никитина 16-го октября. Съ самаго ранняго утра не отрезвившійся старикъ не выходилъ изъ комнаты умирающаго сына. Онъ стоялъ у его смертнаго одра и взывалъ сиплымъ голосомъ: «кому отказываешь магазинъ? гдѣ ключи? подай сюда духовную!» Эти слова, не произносимыя, а выкликиваемыя, повторялись на всѣ лады: «Иванъ Савичъ! гдѣ деньги?» и т. д. Произносились и слова, угрожающія проклятіемъ... Умирающій судорожно вздрагивалъ и умолялъ глазами сестру отвести старика въ другую комнату. Кое-какъ я угомонилъ старика, сказавъ, что

духовная у меня, что содержаніе ея онъ скоро узнаетъ, что деньги всѣ цѣлы... Старикъ взвылъ, когда узналъ, что онъ обойденъ наслѣдствомъ. Но слово проклятія не сорвалось съ устъ его... На столѣ лежалъ мертвецъ. Въ пустынномъ домѣ поднялась суета отъ неизбѣжнаго прихода близкихъ и посторонникъ лицъ и отъ неизбѣжныхъ въ такихъ случаяхъ хлопотъ; но среди всего этого раздавались дикіе вопли, прерывавшіе печальное монотонное чтеніе псалтыря. Для ободренія себя, старикъ прибѣгалъ къ извѣстному средству, ругался и врывался въ комнату, гдѣ лежалъ трупъ сына. Я вынужденъ былъ напомнить ему о своихъ правахъ душеприказчика. Куда тебѣ! Онъ просто лѣзъ ко мнѣ съ угрозами и ругательствами. Я принужденъ былъ, наконецъ, постращать его закономъ, призваніемъ полиціи... И все это происходило передъ неостывшимъ еще трупомъ! Спѣшимъ прибавить, что смерть сына не прошла даромъ Саввѣ Евтѣичу: могучій старикъ крѣпко осунулся и одряхлѣлъ лѣтъ на десять. На другой день и при погребеніи, онъ былъ трезвъ и кротокъ и тихо плакалъ. Онъ почти ослѣпъ и безъ провожатаго уже не могъ ходить. Охотно и незлобиво говорилъ онъ о сынѣ, интересовался поставленнымъ на его могилѣ памятникомъ и каждый разъ заводилъ рѣчь о духовномъ завѣщаніи, объясняя умолчаніе въ немъ своего имени наговоромъ злыхъ людей, «ибо-де Иванъ Савичъ не таковскій былъ человѣкъ, чтобы забыть отца; а что они между собой иногда ссорились, такъ мало-ли чего не бываетъ—вѣдь, и горшокъ съ горшкомъ сталкиваются».

Такъ умиралъ Никитинъ. Мудрено придумать обстановку смерти, болѣе омерзительную, а между тѣмъ, она въ данномъ случаѣ составляла прямой логическій конецъ «лучшей поэмы, созданной Никитинымъ», то-есть, всей его жизни. Съ перваго взгляда вы невольно проникаетесь симпатіей къ этому несчастному человѣку, которому не даетъ спокойно закрыть глаза грубый и пьяный, безобразный отецъ. Ореолъ несчастія всегда подкупаетъ, и загубленная жизнь невольно ставится на пьедесталъ. Но приглядываясь къ дѣлу ближе, вы увидите совсѣмъ не то. Нельзя, разумѣется, думать о Никитинѣ безъ сожалѣнія о загубленной жизни, но она загублена такимъ спеціальнымъ, хотя и очень распространеннымъ манеромъ, что вызываетъ, именно, только одно сожалѣніе, а не сочувствіе. Если искать въ семьѣ Никитина «человѣка съ цѣльнымъ нравственнымъ образомъ», такъ ужъ, конечно, надо признать его не въ сынѣ, а въ отцѣ. Савва Евтѣичъ грубъ, отвратителенъ, но, посмотрите, какъ дѣйствительно цѣльно и просто относится онъ къ жизни вообще, къ своему сыну въ особенности; сравните эти отношенія съ двойственностію и изломанностью чуть не всякаго жизненнаго шага Никитина-сына. Можно бы было подумать, что именно пьяное самодурство Саввы Евтѣича раздвоило и изломало натуру Ивана Савича. Но этого не было. Многое множество русскихъ сыновей испытываютъ несравненно большій семейный гнетъ, чѣмъ какой выпалъ на долю Никитина. Взять уже одно то, что отецъ нетолько не мѣшалъ сыну учиться, но всячески поощрялъ его и, повидимому, даже сильнѣе его самого мечталъ о его высшемъ образованіи. Да и, вообще, во всей біографіи Никитина, составленной, хотя и довольно безпристрастно, но всетаки съ нѣкоторой утрировкой въ пользу поэта, нѣтъ рѣшительно ни одной черты, которая свидѣтельствовала бы о систематическомъ давленіи отца на сына, въ какомъ бы то ни было направленіи. Само собою разумѣется, что толчки, тычки, пьяная ругань отца, безсмысленныя ссоры и попреки составляютъ въ цѣломъ невеселую картину, но русская дѣйствительность знаетъ много картинъ, гораздо худшихъ. Дѣло, впрочемъ, не въ этомъ, а въ отношеніяхъ отца и сына. Савва Евтѣичъ смотрѣлъ на нихъ чрезвычайно просто. Съ его точки зрѣнія всѣ эти ссоры и дрязги были дѣломъ неизбѣжнымъ, да и не важнымъ: «вѣдь, и горшокъ съ горшкомъ сталкиваются». Онъ думалъ, что для сына здѣсь нѣтъ ничего оскорбительнаго, потому что и самъ былъ далекъ отъ намѣренія оскорбить. Онъ продѣлывалъ всѣ свои безобразія безъ злобы, а потому отказывался допустить, чтобы сынъ питалъ къ нему злобу, между тѣмъ, какъ въ сынѣ злоба кипѣла ключомъ, злоба, надо замѣтить, совершенно законная. Лично Никитину было не легче отъ того, что есть на святой Руси люди, которымъ живется тяжелѣе, чѣмъ ему. Не легче ему было и отъ отсутствія злонамѣренности въ отцѣ. Разъ извѣстныя безобразныя отношенія существуютъ, они тяжелѣе для того изъ дѣйствующихъ лицъ, который сознаетъ ихъ безобразіе, хотя бы онъ въ то же время превосходно сознавалъ, что слѣпая судьба связала его съ добрѣйшимъ и благожелательнымъ, собственно говоря, человѣкомъ. Можетъ и злой человѣкъ безобразничать, можетъ и добрый человѣкъ безобразничать, но безобразіе остается безобразіемъ. Дѣло, однако, въ томъ, что когда Никитинъ самъ сталъ на ноги и долженъ былъ самъ за себя отвѣтъ держать, онъ имѣлъ полную возможность покончить съ отцомъ, не унижая себя, не оскорбляя его: стоило только уйти, обезпечивъ отца. Никитинъ предпочелъ жизнь кошки съ собакой; даже худшую, потому что ни кошка, ни собака, никакой звѣрь не

способны такъ терзать себя нелѣпымъ, ненужнымъ накопленіемъ злобы, которая разразилась, наконецъ, страшнымъ восклицаніемъ: «вотъ мой убійца». Выносить всю жизнь чортъ знаетъ какія отношенія для того, чтобы грубо, убійственно-грубо, возмутительно-жестоко разорвать ихъ наканунѣ смерти, когда ужъ и разрывать нечего! Жостче, безнравственнѣе, мучительнѣе для себя и для отца ничего и придумать нельзя. Отецъ, требующій у умирающаго сына ключей, мерзокъ, но хорошъ и сынъ, наносящій отцу ударъ, стоя одной ногой въ гробу. И еслибы понадобилось выбирать между двумя завѣдомыми безобразіями, такъ ужъ, конечно, лучше этотъ пьяный дикарь, чѣмъ этотъ цивилизованный поэтъ.

Такова одна сторона цѣльности нравственнаго образа Никитина и одна сторона лучшей изъ созданныхъ имъ поэмъ. Остальныя въ этомъ же родѣ. Любовныя дѣла Никитина и, вообще, его отношенія къ женщинамъ изображены въ біографіи довольно неясно, и, однако, настолько ясно, что надо признать очень вѣрнымъ слѣдующее замѣчаніе біографа: «Кажется, нечего говорить, что Никитинъ не могъ увлечься непосредственнымъ чувствомъ и, тѣмъ болѣе, къ существу непосредственному». Это, дѣйствительно, такъ было во всѣхъ сферахъ жизни и дѣятельности у Никитина. Непосредственнаго чувства онъ никогда не зналъ, не зналъ и увлеченій, колеблясь на каждомъ шагу. Это бы еще не большая бѣда была какъ лично для Никитина, такъ и для потребителей плодовъ его музы, еслибы онъ обладалъ выдающеюся силою мысли, которая раскрыла бы ему если не «звѣздную книгу» и не говоръ «морской волны», то, по крайней мѣрѣ, кое-что изъ ближайшихъ житейскихъ дѣлъ. Но о силѣ мысли Никитина даже говорить смѣшно (г. Де-Пуле, впрочемъ, говоритъ). Даже фигуральное выраженіе «полетъ мысли» совсѣмъ не идетъ къ нему, потому что къ мысли его судьба привязала пудовыя гири. Если вычесть пятокъ-другой, дѣйствительно, удачныхъ стихотвореній Никитина, да вещи рабски-подражательныя, то Никитинъ предстанетъ намъ именно въ видѣ химеры, съ безсильно треплющимися крыльями. Возьмемъ, напримѣръ, на удачу стихотвореніе «Кладбище»:

Какъ часто я съ глубокой думой
Вокругъ могилъ одинъ брожу
И на курганы ихъ гляжу
Съ тоской тяжелой и угрюмой,
Какъ больно мнѣ, когда порой
Могильщикъ грубою рукой,
Гробъ новый въ землю опуская,
Стоитъ съ осклабленнымъ лицомъ
Надъ безотвѣтнымъ мертвецомъ,
Святыню смерти оскорбляя.
Или когда въ травѣ густой,
Остатокъ жалкій разрушенья,
Вдругъ черепъ я найду сухой,
Престолъ ума и вдохновенья,
Лишенный чести погребенья,
И пораженъ, и недвижимъ,
Сомнѣнья холодомъ облитый,
Я мыслю, скорбію томимъ,
Надъ жертвой тлѣнія забытой...

И т. д. Слѣдуетъ рядъ гамлетовскихъ вопросовъ, къ которымъ прибѣгали чуть не всѣ поэты, великіе и маленькіе. Но мысль Никитина только на одну минуту поднимается къ этимъ вопросамъ и сейчасъ же тяжело опускается внизъ: «нѣтъ! прочь безплодное сомнѣнье!» и т. д. У насъ считали, а многіе и до сихъ поръ считаютъ Никитина народнымъ поэтомъ и, какъ таковаго, его и судятъ. Надо отдать справедливость г. Де-Пуле, онъ не раздѣляетъ этого предразсудка, основаннаго единственно на мѣщанскомъ происхожденіи Никитина. Г. Де-Пуле справедливо замѣчаетъ, что Никитинъ даже, собственно говоря, не зналъ народа, потому что жилъ безвыѣздно въ Воронежѣ и сталкивался съ народомъ очень одностороннимъ образомъ: въ качествѣ хозяина постоялаго двора. Дѣйствительно, односторонность эта была такова, что внушала Никитину даже враждебное и гадливое отношеніе къ народу, которое, конечно, рѣдко проскакивало въ его поэтическія произведенія, но, тѣмъ не менѣе, существовало, а въ перепискѣ даже довольно ясно обнаруживалось. Г. Де-Пуле опять-таки вполнѣ справедливо говоритъ, что того непосредственнаго отношенія къ окружающей жизни, которымъ только и можетъ быть силенъ народный поэтъ, у Никитина не было и быть не могло: онъ былъ для этого слишкомъ «развитъ», слишкомъ «рефлективенъ», слишкомъ «литераторъ» (я прошу читателя запомнить это); онъ былъ вскормленъ не народными понятіями, а литературой сороковыхъ годовъ. Было бы, однако, совсѣмъ несправедливо относить все въ Никитинѣ насчетъ задѣвшихъ его литературныхъ вліяній, и самъ біографъ готовъ отчасти согласиться, что въ его героѣ сидѣлъ торгашъ, кулакъ. Оригинальнѣе всего выразилось это обстоятельство въ извѣстной поэмѣ «Кулакъ». Это, въ самомъ дѣлѣ, замѣчательное произведеніе, но, главнымъ образомъ, въ томъ отношеніи, что едва-ли какому другому поэту пришло бы въ голову выражать на такомъ большомъ количествѣ страницъ свое сочувствіе къ кулаку. Нужно было много, если не умѣнья, то искренняго сочувствія и, такъ сказать, залѣзанія въ шкуру кулака, чтобы опоэтизировать его, не скрывая его мошенническихъ продѣлокъ и всей его безпутной жизни. Это очень вѣрно понялъ чуткій другъ Никитина, Придорогинъ; онъ говорилъ, что Никитинъ

оттого и написалъ хорошо «Кулака», что самъ кулакъ. Не даромъ поэтъ называетъ своего героя «несчастнымъ братомъ». Не даромъ онъ оканчиваетъ поэму такъ:

И мнѣ по твоему пути
Пришлось бы, можетъ быть, идти.
Но я избралъ иную долю...
Какъ узникъ, я рвался на волю...
Упрямо цѣпи разбивалъ!
Я свѣта, воздуха желалъ!
Въ моей тюрьмѣ мнѣ было тѣсно!
Ни силъ, ни жизни молодой
Я не жалѣлъ въ борьбѣ съ судьбой!
Во благо-ль? Небесамъ извѣстно...
Но блага я просилъ у нихъ!
Не ради шутки, не отъ скуки
Я, какъ умѣлъ, слагалъ мой стихъ—
Я воплощалъ боль сердца въ звуки!
Моей душѣ была близка
Вся грязь и бѣдность кулака!

Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что никакой «борьбы съ судьбой» Никитинъ, въ дѣйствительности, не продѣлывалъ или, по крайней мѣрѣ, она имѣла такой микроскопическій характеръ, что и помянуть ее нечѣмъ. Не разбивалъ онъ также никакихъ «цѣпей», а, напротивъ, очень покорно принималъ ихъ. Правда, онъ всю жизнь боролся, но только съ самимъ собой, безсильно пытаясь замять въ себѣ то одну, то другую сторону своего половинчатаго существованія. Передъ судьбой же своей, дѣйствительно, несчастной, онъ настежъ растворялъ двери. Нагнала на него судьба литературу 40-хъ годовъ, онъ принялъ ее безъ борьбы, какъ безъ борьбы терпѣлъ невозможныя семейныя отношенія. Тутъ даже и признаковъ борьбы съ «судьбой» нѣтъ. Но нельзя также ее видѣть въ томъ, что Никитинъ быстро поправилъ денежныя дѣла, самъ взявшись за постоялый дворъ, а потомъ за книжный магазинъ. Это свидѣтельствуетъ только о практической ловкости, которая была свойственна нетолько поэтическому сыну, но и прозаическому отцу, пока онъ не запьянствовалъ.

Какъ ни какъ, человѣкъ былъ глубоко несчастливъ. Кто же разбилъ его жизнь, кого звать за нее къ отвѣту? Самъ Никитинъ, очевидно, слишкомъ слабосильный человѣкъ, чтобы выдержать бремя отвѣтственности. Корней его невзгодъ надо искать во всей его обстановкѣ, и потому-то такъ любопытна его біографія. Будь это крупный человѣкъ, онъ затмилъ бы собой всѣ окружающіе предметы, и біографія его имѣла бы, можетъ, очень большой, но исключительно личный интересъ. Люди сѣренькіе, легко поддающіеся волнамъ общественныхъ теченій, съ извѣстной точки зрѣнія, много любопытнѣе.

Никитинъ выросъ въ извѣстной средѣ, свойства которой въѣлись въ него неизгладимо на всю жизнь. Сынъ кулака, онъ и самъ былъ кулакъ, торгашъ. Онъ и остался бы имъ безъ всякой примѣси, еслибы не замѣшалось одно обстоятельство—нѣкоторый поэтическій талантъ или, по малой мѣрѣ, версификаторская способность. И это бы еще сошло ему съ рукъ, какъ сошло съ рукъ Митѣ и многому, вѣроятно, множеству другихъ подобныхъ версификаторовъ. Но онъ попалъ въ особенныя условія: въ Воронежѣ помнили Кольцова, семинарскій профессоръ одобрилъ вирши молодого кулака, въ семинаріи читались Бѣлинскій, Пушкинъ, Лермонтовъ. Попавъ въ эти условія, въ минуту душевнаго расцвѣта, когда у каждаго молодого человѣка «кровь кипитъ» и «силъ избытокъ», Никитинъ рьяно лѣзетъ на Парнассъ, а тутъ еще подвертывается мѣстная, воронежская интеллигенція въ лицѣ гг. Второва, Александрова-Дольника, Придорогина, Де-Пуле. Поощренія, подзадориванія, раздувательные мѣха... Воронежская плеяда состояла изъ типичнѣйшихъ людей 40-хъ годовъ, а объ людяхъ 40-хъ годовъ писано такъ много, что здѣсь разсуждать объ нихъ не приходится. Несомнѣнно то, что плеяда, принявшая такое горячее участіе въ поэтѣ-дворникѣ, окружила его туманной атмосферой... Трудно, впрочемъ, теперешнимъ языкомъ, по необходимости требующимъ точности, объяснить въ чемъ состояла эта туманная атмосфера. Пусть говоритъ г. Де-Пуле, онъ это дѣло знаетъ: «Отрицая свое (не всегда съ достаточнымъ основаніемъ и знаніемъ дѣла), Бѣлинскій указывалъ на европейскіе вли, какъ онъ любилъ выражаться, на общечеловѣческіе, не всегда пригодные для насъ, идеалы, это правда; но посмотрите какимъ превосходнымъ орудіемъ онъ дѣйствовалъ! Стремленіе къ идеалу онъ проводилъ путемъ эстетическаго, глубоко-жизненнаго воспитанія, путемъ благоговѣйнаго уваженія къ наукѣ, знанію, путемъ, наконецъ, самаго внутренняго, культурнаго, такъ сказать, гуманизма. Въ отрицаніи Бѣлинскаго нѣтъ и тѣни того, что мы замѣчаемъ у его незаконныхъ дѣтей... невѣжества и потрясенія основъ семейной жизни и благоустроеннаго общества». Не будемъ разбирать, что именно въ этой тирадѣ должно быть отнесено на счетъ Бѣлинскаго и что — на счетъ г. Де-Пуле и другихъ. Я привелъ ее только для характеристики вліяній, подъ которыми воспитался Никитинъ: «эстетическое, глубоко-жизненное воспитаніе», «благоговѣйное уваженіе къ наукѣ», «самый внутренній, культурный, такъ сказать, гуманизмъ», безъ потрясенія, однако, основъ. Все это формулы, по малой мѣрѣ, слишкомъ общія и расплывчатыя, чтобы усвоившій ихъ себѣ могъ воплотить ихъ въ практической жизни положительнымъ образомъ. Понятно, что человѣкъ, много наслы-

шанный о красотѣ, о гуманизмѣ, о благоговѣйномъ уваженіи къ наукѣ, долженъ отрицательно относиться къ запаху сивухи и непечатнымъ словамъ, понятно, что эти некрасивыя вещи должны оскорблять его. Такъ и было съ Никитинымъ. Онъ проклиналъ окружавшую его «грязную дѣйствительность». Но, чтобы пойти дальше такого проклятія, надо было или недюжинныя силы имѣть, или попасть въ лучшія условія, чѣмъ въ какія попалъ Никитинъ. Кулакъ, торгашъ и вообще человѣкъ данной среды сидѣлъ въ Никитинѣ уже такъ сильно. что неопредѣленная проповѣдь добра, красоты и истины не могла сдѣлать въ немъ какую-нибудь радикальную перемѣну. Она могла только почистить его, пріодѣть, причесать. Постоялый дворъ безъ непечатной ругани и сивухи удовлетворилъ бы его, да онъ и нашелъ такой постоялый дворъ въ своемъ книжномъ магазинѣ. Придорогинъ, наиболѣе симпатичный изъ плеяды, но, кажется, наименѣе вліявшій на Никитина, приходилъ въ ужасъ отъ того, что поэтъ-книготорговецъ бралъ на нѣкоторыхъ товарахъ по 25 и 50% барыша. Онъ видѣлъ въ этомъ паденіе, между тѣмъ, какъ никакого паденія тутъ не было. Никитинъ, чѣмъ былъ, тѣмъ и остался. Идеалистъ Придорогинъ, по близорукости, принималъ прежнее недовольство постоялымъ дворомъ за настоящій протестъ противъ «грязной дѣйствительности», тогда какъ это былъ только протестъ противъ грубыхъ ея формъ. Самой сути Никитина литературныя вліянія вовсе не затронули, они только раздули искорку его таланта. Но воспѣвать барышъ «языкомъ боговъ»—не полагается; полагается, напротивъ, воспѣвать безкорыстіе, «самый внутренній, такъ сказать, культурный гуманизмъ», красоту природы и тому подобныя прекрасныя вещи. Поэтому Никитину волей-неволей пришлось стать одной ногой въ область прекрасныхъ вещей, оставаясь другою на постояломъ дворѣ. Отсюда вся эта болѣзненная, гнетущая рефлексія, не позволяющая сдѣлать ни одного твердаго шага, вся эта мучительная изломанность и раздвоенность. Если бы Никитинъ былъ также невиненъ, какъ Лядова или г. Утинъ, онъ могъ бы жить припѣваючи, но, къ большому его личному несчастью, онъ до извѣстной степени ясно сознавалъ свое положеніе.

Вкладъ Никитина въ русскую литературу такъ ничтоженъ, что говорить о немъ можно развѣ только въ видѣ простого извѣщенія о выходѣ новаго изданія его сочиненій *). Мы говорили гораздо больше, единственно въ виду поучительности его біографіи, которая стоитъ не одиноко. Припомните хоть только литературные типы людей 40-хъ годовъ; потрудитесь реставрировать исторію ихъ развитія и вы увидите цѣлый рядъ варьяцій на тему жизни Никитина. Вездѣ одна и та же исторія: помѣщикъ въ душѣ, чиновникъ въ душѣ, гусаръ въ душѣ, кулакъ въ душѣ получаетъ въ извѣстный моментъ «просіяніе своего ума» отъ тѣхъ-же общихъ расплывчатыхъ формулъ, которыя и Никитина обдали. Конечно, онъ можетъ отвердить эти формулы и вложить въ нихъ опредѣленное содержаніе, но на это далеко не всякій способенъ. Для этого нужно, чтобы человѣкъ или ясно сознавалъ, что воспринятіе проповѣди добра, красоты и истины требуетъ предварительной глубокой внутренней переработки, или же, чтобы такая переработка не составляла необходимости, то-есть, чтобы въ человѣкѣ не было затвердѣлыхъ осадковъ изъ данной среды. Большинство людей 40-хъ годовъ не представляло ни тѣхъ, ни другихъ условій. Литературныя, эстетико-философско-гуманитарныя вѣянія задѣвали людей, не вырывая ихъ, однако, изъ омута ихъ среды. Они оставались по жизни и духу помѣщиками, чиновниками, солдатами, кулаками, а затѣмъ предстояло два выхода: для вполнѣ невинныхъ людей—роль химеры забавной, совершенно спокойное служеніе Богу и Маммонѣ; для людей, болѣе или менѣе сознающихъ свое положеніе—роль трагической химеры, изломанность, раздвоенность, муки нелѣпой внутренней борьбы. Иному надо бы, по его подлиннымъ вкусамъ и интимнѣйшимъ стремленіямъ, на бѣломъ конѣ среди опасностей боя скакать, или жить, да добро наживать, или чиновникомъ особыхъ порученій состоять, а онъ философіей Гегеля, гуманизмомъ и проч. по рукамъ и по ногамъ связанъ. Наши большіе художники давно все это въ лицахъ представляли, и я, пользуясь біографіей Никитина, только обращаю ваше вниманіе на общій корень всѣхъ этихъ лишнихъ людей, Степановъ Трофимовичей и проч., и проч.

Весь этотъ несчастный людъ сошелъ или сходитъ со сцены. Но химеры не исчезли, однако; химеры не только забавныя, которыхъ всегда въ волю, а и трагическія. Будто и между нами нѣтъ несчастныхъ раздвоенныхъ людей, разрываемыхъ въ разныя стороны? Конечно, есть. Дѣло въ томъ, что спеціальную особенность 40-хъ годовъ со-

*) Кстати, объ этомъ новомъ изданіи. Въ немъ во-первыхъ, почему-то совсѣмъ недостаетъ стихотворенія «На пепелищѣ» (одного изъ лучшихъ); во-вторыхъ, выпущена, примѣрно, половина стихотворенія «Нищій»; въ-третьихъ, въ стихотвореніи «Ѣхалъ изъ ярмарки ухорь-купецъ» заключительныя энергическія строки:

Кѣмъ ты, людъ бѣдный, на свѣтъ порожденъ,
Кѣмъ ты на гибель и срамъ осужденъ?

тоже выпущены. Зачѣмъ все это?

ставляла туманность «самаго внутренняго, культурнаго, такъ сказать, гуманизма». Но и гораздо болѣе точная, безукоризненно даже опредѣленная программа жизни не устраняетъ сама по себѣ возможности химерическаго существованія. Возьмемъ какую-нибудь очень ясно формулированную программу. Припомните сцену на «кухнѣ вѣдьмъ» въ «Фаустѣ»:

Фаустъ.

И въ этотъ омутъ сумасбродный
Ты, не спросясь, привелъ меня?
И что за глупость, за уродство
Хотѣть и думать, чтобы я
Искалъ у вѣдьмы исцѣленья!
Вся эта вздорная, нелѣпая стряпня
Вселяетъ только отвращенье!
И ничего-то ты не выдумалъ умнѣй,
Чтобъ сбросить мнѣ десятокъ лѣтъ съ костей.
Такъ я—увы!—надѣялся безплодно
На жизненный спасительный елей!
Природа, думалъ я, иль геній благородный...

Мефистофель.

Свой вздоръ ты заключилъ умно;
Но средство есть еще другое,
Да жаль, дешевое, простое,
Оно въ курьезную тетрадь занесено
И тамъ отмѣчено особою графою.

Фаустъ.

Я знать хочу!

Мефистофель.

Да вотъ оно:
Не надо тутъ ни заклинаній,
Ни денегъ, ни врачебныхъ знаній;
Ступай въ деревню, землю рой,
Въ кругъ тѣсный заключися духомъ,
Живи не головой, а брюхомъ,
И со скотами, за сохой,
Доволенъ будь въ безвѣстной долѣ;
Питайся пищею простой,
Да не считай за грѣхъ порой
Самъ удобрять для жатвы поле;
Вотъ средство лучшее, замѣть,
На много лѣтъ помолодѣть.

Фаустъ.

Я не привыкъ съ сохой возиться,
Не склоненъ къ сельской тишинѣ
И жизнь такая не по мнѣ.

Мефистофель.

Такъ надо къ вѣдьмѣ обратиться.

Фаустъ—не молодой человѣкъ, напротивъ, онъ ищетъ средства помолодѣть. Пора душевнаго расцвѣта, особенной отзывчивости для него давно миновала. Притомъ же дьяволъ Мефистофель представляетъ «другое средство», въ такомъ несоблазнительномъ видѣ. Понятенъ поэтому холодный отвѣтъ Фауста. Но то же самое средство можно вѣдь и очень заманчиво разукрасить, такъ что молодая душа откликнется. Представьте же себѣ теперь, что соотвѣтственныя идеи и чувства получаютъ, по обстоятельствамъ времени и мѣста, характеръ болѣе или менѣе распространеннаго, широкаго вѣянія, въ такомъ родѣ, какимъ въ свое время были туманныя и расплывчатыя эстетико-философско-гуманитарныя формулы 40-хъ годовъ. При такихъ условіяхъ всякому молодому человѣку данной эпохи придется, такъ или иначе, столкнуться съ означенными идеями и чувствами. Но, какъ и всегда, званныхъ будетъ сравнительно много, а избранныхъ—сравнительно мало. Одни какъ разъ подойдутъ къ требованіямъ новаго, другіе почувствуютъ необходимость предварительной внутренней переработки и болѣе или менѣе удачно справятся съ этой задачей, третьи — бросятся очертя голову, единственно въ силу молодой отзывчивости. А затѣмъ... затѣмъ изъ этихъ третьихъ могутъ выйти своего рода Никитины, лишніе люди, Степаны Трофимычи и проч. Г. Тургеневъ, который только эту сторону дѣла и могъ понять, на ней именно построилъ своего Нежданова. Неждановъ, между прочимъ, жалуется такъ: «какое право имѣлъ отецъ втолкнуть меня въ жизнь, снабдивъ меня органами, которые не свойственны средѣ, въ которой я долженъ вращаться? Создалъ птицу, да и пихнулъ ее въ воду!» Тутъ надо выкинуть изъ счета ту подкладку на французскій манеръ и именно на манеръ средняго, буржуазнаго французскаго общества, которую г. Тургеневъ счелъ умѣстнымъ подложить подъ Нежданова; въ томъ обществѣ, въ которомъ вращается Неждановъ, незаконное происхожденіе не играетъ такой роли, а потому всѣ протесты и вся обидчивость Нежданова, направленныя въ эту сторону, рѣшительно ни чѣмъ не оправдываются. Вѣрно, однако, то, что Неждановъ, будучи въ душѣ бариномъ, случайно попалъ въ водоворотъ, совсѣмъ для его сути не подходящій, попалъ очертя голову, ничего не взвѣсивъ, не сообразивъ; но разъ признавъ извѣстныя вещи истинными и справедливыми, онъ не въ состояніи съ ними разорвать, какъ не въ состояніи и себя передѣлать. Онъ не въ силахъ совлечь съ себя ветхаго Адама, но настолько уменъ, что понимаетъ фальшивость каждаго своего шага, мучится химерическимъ своимъ существованіемъ и кончаетъ самоубійствомъ. Къ этому послѣднему обстоятельству г. Тургеневъ приклеилъ любовную интригу, которая, однако, составляетъ случайный аксессуаръ и безъ которой легко можно было обойтись, безъ которой Неждановы, въ дѣйствительности, часто и обходятся. Какъ ни какъ, Неждановъ кончилъ самоубійствомъ и въ этомъ его отличіе отъ Никитиныхъ,

лишнихъ людей, Степановъ Трофимычей. Тѣ всю жизнь ныли, плакали, терзались, несли свое нытье въ публику, на торжища и стогна и не дѣлали рѣшительно ничего для прекращенія своихъ мученій. Неждановы обрываютъ дѣло съ разу. Отчего это зависитъ? Вотъ отчего. Со временъ 40-хъ годовъ, формулы жизни, захватывающія отзывчивыхъ людей, такъ сказать, [уловляющія людей въ моментъ ихъ душевнаго расцвѣта, становятся все опредѣленнѣе и опредѣленнѣе. «Самый внутренній, культурный, такъ сказать, гуманизмъ» —это такая штука, подъ которую можно подсунуть многое разное. Инстинктъ жизни силенъ, и, пока есть хоть подобіе опоры для жизни, человѣкъ за него хватается, чтобы жить, жить и жить, хотя бы среди страшныхъ мученій. Никитинъ, раздираемый внутреннимъ разладомъ, желалъ и могъ вѣрить, что 50% съ книжнаго магазина много благороднѣе такихъ же 50 процентовъ съ постоялаго двора, потому что формулы внутренняго, такъ сказать, культурнаго гуманизма, своею полною неопредѣленностью, допускали такую постановку вопроса. Съ уясненіемъ дѣла, съ внесеніемъ въ него все большей и большей опредѣленности, такія шаткія опоры все исчезаютъ, а, слѣдовательно, должна сокращаться продолжительность химерическаго существованія. Та вѣра, которую Нежда-новъ публично исповѣдуетъ, не имѣетъ никакихъ корней въ его душѣ; онъ принялъ ее пассивно изъ рукъ, такъ сказать, эпохи; въ немъ самомъ живутъ инстинкты и вкусы совершенно противоположнаго свойства. Столкновеніе это разрѣшается цѣлымъ рядомъ страданій, которыя, въ прежнія времена, только мѣшали бы человѣку жить, но не обязывали бы его умереть, потому что, благодаря неясности очертаній его идеаловъ, человѣкъ этотъ могъ бы за что-нибудь въ нихъ уцѣпиться. Нежданову не за что уцѣпиться, безпомощность его слишкомъ ясна, его публичная вѣра и его подлинные инстинкты такъ опредѣленны, такъ настоятельно сводятся на очную ставку самою жизнью, что здѣсь не можетъ быть мѣста продолжительному обману и самообману. По крайней мѣрѣ, здѣсь его несравненно меньше, чѣмъ въ жизни химеръ стараго времени. И вотъ почему, мы видимъ, что тѣ химеры ныли, ломались, но жили, тогда какъ нынѣшнія кончаютъ съ собой очень скоро, не оглашая окрестностей ламентаціями: ламентировать некогда. Они кончаютъ скоро и очень часто даже слишкомъ скоро, въ виду одной, двухъ неудачныхъ пробъ, еще недостаточно рѣшительныхъ...

Я убѣжденъ, что извѣстная часть нынѣшнихъ самоубійствъ именно такого происхожденія. Значитъ, въ нихъ, при всей тяжеловѣсной прискорбности факта безвременнаго и насильственнаго разсчета съ молодой жизнью, есть нѣчто и утѣшительное. Эти трупы свидѣтельствуютъ о ростѣ мысли и идеаловъ, о томъ, что они выясняются и что познаніе добра и зла не представляетъ уже нынѣ такихъ трудностей, какія лежали предъ нашими отцами, хотя практическое осуществленіе добра обставлено большими препятствіями.

Конечно, измѣреніе роста мысли и общественнаго сознанія самоубійствами можетъ показаться парадоксальнымъ. Но тутъ дѣло не въ самоубійствахъ, а въ ихъ причинахъ, каковыя причины порождаютъ не самоубійства только, а и еще кое-что. Что именно—объ этомъ говорить не приходится здѣсь, въ литературныхъ замѣткахъ. Будемъ говорить о литературѣ.

Толки объ упадкѣ литературы и ея значенія стали нынѣ общимъ мѣстомъ. Но г. Достоевскій замѣтилъ однажды, что съ тѣхъ поръ, какъ онъ себя помнитъ литераторомъ, толки эти не прекращались, то-есть, что всегда, въ самой литературѣ, раздавались сѣтованія объ упадкѣ литературы. Надо, поэтому, думать, что и въ нашихъ сѣтованіяхъ, можетъ быть, и справедливыхъ, есть нѣкоторыя недоразумѣнія.

Я обращаюсь опять къ Никитину. Г. Де-Пуле характеризовалъ его, между прочимъ, если читатель помнитъ, словомъ «литературный» человѣкъ. Де-Пуле, конечно, очень хорошо понимаетъ, что хочетъ сказать этимъ словомъ и пишетъ его съ очевиднымъ сочувствіемъ. Я, будучи много моложе г. Де-Пуле и зная больше по наслышкѣ тѣ времена, о которыхъ онъ вспоминаетъ, понимаю его, но сочувствовать не могу. А иной изъ моихъ читателей, можетъ быть, и совсѣмъ не пойметъ: какая это такая характеристика—литературный человѣкъ. Въ старые годы, когда воронежская интеллигенція внѣдряла въ Никитина «самый внутренній, такъ сказать, культурный гуманизмъ» и «эстетическое, глубоко-жизненное воспитаніе», и въ особенности немного раньше, въ тѣ годы литература представляла собою нѣчто не отъ міра сего. Такъ выходило и по вкусамъ самихъ сочинителей, и по внѣшнимъ, отъ нихъ независящимъ обстоятельствамъ, и по складу всей русской жизни. Я говорю, разумѣется, вообще: исключенія были, даже очень крупныя и всѣмъ извѣстныя. Напишетъ человѣкъ стихотвореніе, повѣсть, выразитъ въ стихахъ или прозѣ «благоговѣйное уваженіе къ наукѣ», и дѣло въ шляпѣ: онъ литераторъ. Кто презиралъ литературу, какъ пустую болтовню, тотъ презиралъ и его; кто уважалъ литературу, какъ

служеніе Аполлону и музамъ, тотъ уважалъ и его. Никто не вглядывался въ заданную имъ себѣ задачу, никто не интересовался даже тѣмъ, есть ли у него какая-нибудь задача. Читатель желалъ «интереснаго», духъ захватывающаго романа для услажденія своихъ досуговъ, красивыхъ, музыкальныхъ стиховъ, выраженія благоговѣнія передъ абстрактно хорошими вещами, какова, напримѣръ, наука. На этихъ скромныхъ требованіяхъ сходились и уважавшіе, и презиравшіе литературу, потому что и послѣдніе не отказывались услаждать свои досуги «праздной болтовней» поэзіи и прозы. Можно даже сказать, что и они, въ извѣстномъ смыслѣ, уважали литературу, конечно, не въ большей мѣрѣ, чѣмъ цыганку Стешку, которая умѣетъ хорошо «плечами говорить». Вообще говоря, отношенія между обществомъ и литературой были мирныя. Одна часть общества даже благоговѣла передъ ней, а другая, по крайней мѣрѣ, снисходила. И всѣ отлично понимали странную, на теперешній взглядъ, квалификацію «литературнаго человѣка». Это былъ, если не самъ служитель Аполлона и музъ, то, по крайней мѣрѣ, приватъ-звонарь храма литературы. Положеніе чрезвычайно удобное, если принять въ соображеніе все вышесказанное по поводу біографіи Никитина. Литературный человѣкъ, то есть и самъ священнослужитель, и приватъ-звонарь, пока Аполлонъ не требовалъ ихъ къ священной жертвѣ, могли заниматься чѣмъ имъ угодно, проводить время, какъ угодно и дружить съ кѣмъ угодно. Благодаря расплывчатости общихъ формулъ, которыми пробавлялась литература, священнослужитель-кулакъ, приватъ-звонарь—чиновникъ и проч. дружески встрѣчались въ храмѣ музъ, и затѣмъ каждый шелъ къ дѣлу своему, ничѣмъ или почти ничѣмъ не обязанный. Но вотъ дѣла стали помаленьку обостряться. Какъ въ «Театральномъ разъѣздѣ» Гоголя, стали поговаривать что, дескать, «за такую комедію тебя бы въ Нерчинскъ». Дальше—больше. Стали сортировать годное и годное не только по музыкальности стиха и интересности завязки и развязки, а по внутреннему содержанію. Расплывчатыя формулы начали выясняться, принимать болѣе опредѣленный характеръ, который, именно вслѣдствіе своей сравнительной опредѣленности, не могъ всѣмъ «любителямъ просвѣщенія» одинаково нравиться. Повидимому, кредитъ литературы сталъ падать, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ росъ, росъ вмѣстѣ съ обществомъ, которое худо-ли, хорошо-ли, начало сознавать свои разношерстные интересы, а потому желало не абстрактной литературы, не литературы вообще, а литературы съ опредѣленной физіономіей. Нотутъ подвернулся нашъ приснопамятный періодъ возрожденія наукъ и искусствъ, и литература, какъ таковая, опять попала въ честь. На этотъ разъ такъ вышло не потому, что литература стояла особнякомъ отъ жизни и всѣмъ одинаково нравилась, потому что одинаково никому не была нужна. Нѣтъ, на этотъ разъ литература попала въ честь по чистому недоразумѣнію. Произошло какое-то смѣшеніе языковъ, въ силу котораго всѣмъ казалось, что они чрезвычайно единодушны и что всѣ они хотятъ одного и того же. Чего именно — это было не совсѣмъ ясно. Вслѣдствіе этого химеры появились въ огромномъ количествѣ (иному, опять-таки, надо бы на бѣломъ конѣ скакать, а онъ сгоряча въ мировые посредники шелъ или изъ-за вольно-наемнаго труда распинался), а вмѣстѣ съ этою неопредѣленностью стремленій получилось и уваженіе къ литературѣ. На литераторовъ ходили смотрѣть, имъ обѣды задавали, къ нимъ на поклоненіе ходили, видя въ нихъ просто и только литераторовъ, служителей печатнаго слова. Какъ только кончилось смѣшеніе языковъ и каждый успокоился подъ смоковницей своей, такъ исчезъ и этотъ миражъ уваженія къ литературѣ. Немедленно выяснилось, что служители слова бываютъ разные, потому что и слова они говорятъ разныя. Иной такія возмутительныя слова говоритъ, что его не уважать, а презирать надо и проклинать. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Теперь писатель, который вздумалъ бы угодить всѣмъ или очень многимъ, рискуетъ не угодить никому. Бывали, конечно, случаи, что «на голосъ невидимой пери шелъ воинъ, купецъ и пастухъ», но та пери, о которой говорится въ этихъ стихахъ, была женщина неодобрительнаго поведенія. Теперь каждый писатель долженъ имѣть и, дѣйствительно, имѣетъ своихъ особенныхъ читателей, которые смотрятъ на него не какъ на абстрактнаго литератора, не какъ на служителя Аполлона и музъ, а какъ на выразителя, объяснителя, истолкователя болѣе или менѣе строго опредѣленныхъ чувствъ и мыслей. «Литературный человѣкъ» исчезаетъ. На его мѣсто являются люди, одушевленные опредѣленными взглядами и, по своимъ склонностямъ и талантамъ, а равно и по другимъ обстоятельствамъ избравшіе перо орудіемъ распространенія этихъ взглядовъ. Теперь между двумя литераторами сплошь и рядомъ гораздо меньше общаго, чѣмъ между литераторомъ и сапожникомъ, литераторомъ и священникомъ, литераторомъ и помѣщикомъ и проч. Конечно, дѣло стоитъ еще пока не такъ рѣзко и традиція литературнаго человѣка не совсѣмъ исчезла, но въ самомъ близкомъ будущемъ отъ нея не останется и слѣда. Говорятъ: у насъ

нѣтъ партій. Это не совсѣмъ вѣрно. Имъ просто трудно найти поприще для вполнѣ открытаго своего выраженія. Представьте себѣ закрытый ящикъ, внутри котораго творится какая-нибудь работа; вы не видите ея не потому, что ея нѣтъ, а потому, что крышка ящика захлопнута. Откиньте ее—а ларчикъ просто открывается — и вы увидите. И тогда квалификація литературнаго человѣка потеряетъ уже рѣшительно всякій смыслъ, писатели расположатся по извѣстнымъ группамъ самыхъ разнообразныхъ профессій и обобщатся не въ литературную группу, а въ рядъ группъ политическихъ. Повторяю, въ эту минуту еще нѣтъ такой опредѣленности. Временно, пожалуй, господствуетъ даже вящшая путанница, но она, именно своею запутанностью, свидѣтельствуетъ о близости конца, объ его началѣ. Хорошимъ подтвержденіемъ могутъ служить существующіе теперь въ Петербургѣ, такъ называемые, литературные обѣды. Имѣя въ виду объединить литераторовъ, какъ таковыхъ, безотносительно къ ихъ взглядамъ и мнѣніямъ, это, смѣю сказать, странное учрежденіе какъ бы показываетъ, что идея литературнаго человѣка жива во всей полнотѣ. Но это только одна видимость, потому что въ дѣйствительности на литературныхъ обѣдахъ нѣтъ никакого объединенія, а есть одна скука. Въ прежнія времена дѣло пошло бы гораздо веселѣе. Собрались бы господа литераторы, одинъ прочиталъ бы хорошенькое стихотвореніе, другой главу изъ новой повѣсти, третій сказалъ бы рѣчь о пользѣ наукъ и искусствъ, и всѣ были бы довольны. А теперь... Я ни разу не бывалъ на этихъ обѣдахъ, потому что не вижу въ нихъ рѣшительно никакой цѣли, но слыхалъ, что обѣдающіе разсаживаются примѣрно по редакціоннымъ группамъ и еле вытягиваютъ изъ себя какой-нибудь общій разговоръ. Такъ и быть должно. Конечно, разъ существуетъ литературная профессія, условія, которыми она обставлена, могутъ составить любопытную тему для собесѣдованія между всѣми литераторами, безъ различія мнѣній и направленій. Но эти общія условія, обставляющія положеніе литературы въ Россіи, не входятъ въ кругъ дебатовъ на литературныхъ обѣдахъ... Только эта почва и обща всѣмъ писателямъ, а затѣмъ совершенно непонятно, почему я долженъ искать чести обѣдать и бесѣдовать съ человѣкомъ, съ которымъ у меня нѣтъ рѣшительно ничего общаго, кромѣ случайнаго орудія нашей дѣятельности—пера. Храмъ музъ ничего не выигрываетъ и не проигрываетъ отъ перенесенія его въ «Малый Ярославецъ» или другой трактиръ. Литературный человѣкъ исчезаетъ, но не исчезъ—въ этомъ все дѣло. Пока онъ господствовалъ, все было просто. Когда онъ совсѣмъ прекратитъ свое существованіе, все будетъ опять просто.

Такимъ образомъ, исчезновеніе уваженія къ абстрактной, оторванной отъ жизни литературѣ не составляетъ для насъ позора и еслибъ только въ этомъ состояла наша бѣда, такъ это была бы не бѣда и даже не полъ-бѣды. Бѣда скорѣе состоитъ въ томъ, что литературный человѣкъ не совсѣмъ еще вымеръ. Впрочемъ, о томъ, въ чемъ состоитъ наша подлинная бѣда, мнѣ представится болѣе удобный случай говорить, по всей вѣроятности, въ слѣдующій разъ, по поводу новыхъ періодическихъ изданій.

Повторяя фразу о паденіи журналистики—говорю «фразу» не потому, чтобы слова эти совсѣмъ не соотвѣтствовали дѣйствительности, а потому, что употребляющіе ее рѣдко понимаютъ, что они хотятъ сказать—повторяя эту фразу, многіе разумѣютъ, главнымъ образомъ, толстые ежемѣсячные журналы, выгораживая газетную прессу, кредитъ, молъ, которой не только не падаетъ, а даже ростетъ. Говорятъ это преимущественно сами газеты, особенно со времени войны. Руководительство обществомъ, говорятъ газетные критики, очевидно, перешло отъ журналовъ къ газетамъ. Очень сожалѣю, что не могу согласиться съ такою утѣшительною для газетныхъ критиковъ мыслью. Она есть плодъ чистаго недоразумѣнія. Еслибы газетные критики утверждали, что газеты обнаруживаютъ гораздо больше того, что называется у насъ патріотизмомъ, чѣмъ журналы, то это была бы сама правда. Но между этимъ обнаруженіемъ патріотизма и руководительствомъ нѣтъ ничего общаго. Патріотическіе писатели иногда, дѣйствительно, ведутъ за собой общество, но, въ настоящую минуту, мы не видимъ вокругъ себя ничего подобнаго: патріотическіе писатели наши просто сами влекутся стихійнымъ теченіемъ и рѣшительно никѣмъ и ничѣмъ не руководятъ. Можно еще, пожалуй, допустить, что во время сербско-турецкой войны газеты, своими воззваніями, корреспонденціями, описаніями турецкихъ звѣрствъ и славянскаго геройства, до извѣстной степени, способствовали движенію нашихъ добровольцевъ. Но съ тѣхъ поръ, какъ дѣло перешло изъ частныхъ рукъ въ руки правительства, и русскія войска двинулись къ Дунаю — роль газетъ, и въ особенности яро-патріотическихъ, была сыграна. Имъ оставалось сообщать свѣдѣнія, давать факты, но они, дѣйствительно, продолжали и продолжаютъ мечтать о руководительствѣ. Увы! надо правду сказать—это мечты совершенно праздныя, и есть въ

нихъ даже своего рода комическій элементъ. Существуетъ басня, если не ошибаюсь, «Муха и дорожные», очень хорошо изображающая наивныя мечтанія нашихъ газетныхъ руководителей. Самыя нехитрыя размышленія должны бы, кажется, ихъ самихъ привести къ заключенію, что и безъ нихъ, хоть бы они ни единаго звука не проронили, дѣла шли бы въ томъ же направленіи, не хуже и не лучше, чѣмъ они идутъ теперь. Они не больше, какъ приватъ-звонари при храмѣ славы. Но этого мало. Общество живетъ не только перипетіями войны и патріотическими чувствами; могло бы найтись въ его жизни кое-что, подлежащее руководженію, но газетная литература сама у себя вырываетъ нужную для этого почву... Патріотическія газеты очень любятъ разсуждать о томъ, что намъ Европа не указъ и что между русскою и европейскою жизнью есть много очень важныхъ различій. Это правда, но газетные патріоты склонны забывать одну разницу, если не самую важную, то самую для нихъ любопытную, а именно, разницу между европейскою и русскою газетой. Г. Суворинъ, перечисляя недавно свои личныя заслуги и заслуги своей газеты, говоритъ, между прочимъ: «У меня есть реальныя доказательства того, что сербы и черногорцы признавали за «Новымъ Временемъ» такія заслуги, *о которыхъ мы не мечтали*; болгары прислали мнѣ адресъ» и проч. Хорошо, конечно, что мечты приватъ-звонарей храма славы могутъ быть превзойдены дѣйствительностью, но, къ сожалѣнію, дѣйствительность эта соткана изъ недоразумѣній и призраковъ. Болгары, сербы, черногорцы, имѣя въ виду значеніе европейскихъ газетъ, полагаютъ, что въ Россіи существуетъ нѣчто подобное, а потому наивно посылаютъ г. Суворину адресы и еще какія-то «реальныя доказательства» своей благодарности. Но г. Суворину, какъ и всѣмъ русскимъ писателямъ, должно быть извѣстно, что въ прямо практическихъ дѣлахъ русская газета можетъ угодить и не угодить, но никогда руководить. Такъ что хвалиться болгарскими адресами и сербско-черногорскими реальными доказательствами отнюдь не приходится; это плодъ стародавней славянской розни и незнакомства славянъ съ условіями русской жизни. Смѣшнѣе всего то, что газетные критики торжествуютъ какую-то побѣду надъ ежемѣсячными журналами на томъ основаніи, что эти послѣдніе отказываются фигурировать въ баснѣ «Муха и дорожные».

Независимо отъ этого, самая мысль о конкурренціи журналовъ и газетъ лишена всякаго смысла. Правда, въ Европѣ журналы не играютъ такой роли, какъ у насъ; правда, въ Европѣ газетная литература имѣетъ большое значеніе, конечно, безъ сравненія большее, чѣмъ у насъ. Но если даже выводить изъ единовременнаго существованія двухъ этихъ фактовъ такое заключеніе, что журналы въ Европѣ вытѣснены газетами и что намъ, по необходимости, предстоитъ то же самое — то здѣсь, все таки, нѣтъ повода для бахвальства газетныхъ критиковъ; бываютъ, значитъ, такія времена, когда журналы, хоть будь они семи пядей во лбу, должны, въ силу историческихъ условій, уступить мѣсто газетамъ. Тутъ ужъ ничего не подѣлаешь, тутъ нѣтъ ни чести въ побѣдѣ, ни позора въ пораженіи. А, главное, ничего подобнаго въ Европѣ не было и быть не могло. Журналъ и газета до такой степени различаются своими цѣлями и пріемами, что конкурренція между ними невозможна. Въ Европѣ журналы оттерты совсѣмъ не газетами, а книгами и брошюрами, что, безъ сомнѣнія, рано или поздно случится и у насъ.

Самое важное различіе между журналомъ и газетой состоитъ въ томъ, что первый создаетъ читателей, тогда какъ вторая создается читателями. Журналъ (какъ и книга) формируетъ, воспитываетъ мысль читателя, не имѣя ни возможности, ни обязанности рекомендовать ему тотъ или другой образъ дѣйствія въ каждомъ частномъ практическомъ случаѣ. Газета должна имѣть подъ собой почву уже сформированныхъ, воспитанныхъ въ извѣстномъ смыслѣ людей, нуждающихся въ юркомъ, поворотливомъ органѣ для выраженія своихъ практическихъ нуждъ и желаній и для отстаиванія своихъ интересовъ. Имѣя за собой такую почву, проникнувшись вполнѣ ея цвѣтомъ и запахомъ, газета можетъ смѣло давать mot d'ordre для текущихъ вопросовъ и стать въ этомъ смыслѣ руководительницею. Не бываетъ, разумѣется, такихъ временъ, когда практическія нужды и интересы не существуютъ, но бываютъ такія, когда этимъ нуждамъ и интересамъ недостаетъ общественной, корпоративной сознательности; бываютъ и такія времена, когда вся работа нуждъ и интересовъ происходитъ въ наглухо захлопнутомъ ларчикѣ. Въ такія времена газеты нетолько не могутъ перебить дорогу журналамъ, что, вообще, невозможно, но достигнуть и свойственнаго имъ вида вліянія въ сколько-нибудь значительной степени. Они могутъ или добросовѣстно сообщать факты, или состоять приватъ-звонарями при храмѣ славы, исполняя эту обязанность даже съ чрезвычайнымъ усердіемъ и звонкостью, но ни мало этимъ не увеличивая своего значенія. «Ѣхать, такъ ѣхать!» —кричалъ попугай, котораго кошка тащила

за крыло. Но попугай этотъ не воображалъ, по крайней мѣрѣ, что онъ руководитель.

Не смотря на то, что значеніе нашихъ газетъ весьма скромно, а положеніе мечтательныхъ приватъ-звонарей храма славы довольно комично, они не избавляются, однако, отъ значительной отвѣтственности передъ обществомъ. Наиболѣе крикливые изъ нихъ такъ много кричатъ о своемъ вліяніи и значеніи, что общество начинаетъ приглядываться къ нимъ особенно пристально и открываетъ слѣдующее. Во-первыхъ, претензіи ихъ относительно прямого давленія на ходъ вещей — чистое хвастовство. Во-вторыхъ, хотя эти претензіи и неосновательны, но мутить умы своихъ читателей газеты всетаки могутъ. Въ-третьихъ, газетный персоналъ сплошь и рядомъ состоитъ изъ флюгеровъ, мѣняющихъ свою вѣру, смотря по погодѣ. Въ-четвертыхъ, газетный персоналъ опять-таки сплошь и рядомъ страдаетъ круглымъ и упорнымъ невѣжествомъ. Такъ какъ открытія эти дѣлаются среди оглушительнаго колокольнаго звона и всякаго другого сумбура, то немудрено, что они принимаютъ форму чрезвычайно странныхъ недоразумѣній.

Таковъ именно характеръ послѣдняго пассажа съ «Новымъ Временемъ». Студенты технологическаго института отказались отъ дарового экземпляра этой газеты, о чемъ и заявили г. Суворину письменно, каковое письмо было напечатано въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ». Документъ этотъ начинается такъ: «Зная васъ, г. Суворинъ, какъ болѣе или менѣе талантливаго фельетониста «Биржевыхъ» и «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», мы, наравнѣ съ другими, возлагали надежду» и т. д. Но, позвольте, господа, почему же вы, зная г. Суворина, возлагали на него надежды? Одно изъ двухъ: или вы его не знали, или не могли возлагать на него надеждъ. Г. Суворинъ остался рѣшительно тѣмъ же, чѣмъ и былъ. Онъ, правда, рѣзко измѣнилъ свои взгляды на такъ называемый славянскій вопросъ, но, во-первыхъ, это не вчера случилось, во-вторыхъ, во всѣхъ другихъ отношеніяхъ онъ нисколько не измѣнился, остался вѣренъ самому себѣ, потому что самая суть его состоитъ въ постоянныхъ измѣненіяхъ, которыхъ отнюдь нельзя назвать измѣнами: флюгеръ былъ, флюгеромъ и остался, флюгеръ не измѣнникъ, хотя постоянно измѣняетъ свое направленіе. Далѣе, почему вы обратились къ «Новому Времени», давая тѣмъ поводъ думать и ему и другимъ подходящимъ органамъ печати, что оно, въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ-то рѣзко выдѣляется изъ сонма нашихъ газетъ? Чтобы недалеко ходить, за нѣсколько дней до появленія упомянутаго документа, «С.-Петербургскія Вѣдомости» позволили себѣ истинно глубоко возмутительныя размазыванія, какихъ, по крайней мѣрѣ, по этому поводу «Новое Время» не дѣлало. И, однако, «С.-Петербургскія Вѣдомости» репримандa не получали. Все это, очевидно, результатъ какого-то недоразумѣнія, точно также, какъ и отвѣтъ г. Суворина, занявшій цѣлый фельетонъ «Новаго Времени». Г. Суворинъ очевидно очень, очень изумленъ и огорченъ. Онъ не ожидалъ такого пассажа, онъ думалъ, что никто въ нашемъ отечествѣ, кромѣ завистливыхъ собратовъ по газетному ремеслу, не можетъ быть недоволенъ его газетою. Мы, говоритъ онъ, преисполненный удивленія, мы выражали полную увѣренность въ побѣдѣ, мы имѣемъ реальныя доказательства благодарности сербовъ и черногорцевъ, мы получили адресъ отъ болгаръ. За что же теперь такая напасть? Должно быть это все конкуренты-газетчики мутятъ. И вотъ г. Суворинъ начинаетъ говорить о «г. Полетикѣ, нынѣшнемъ представителѣ технологической молодежи», предлагаетъ протестантамъ «молиться на Полетику, Песковскаго, и Градовскаго»; иронически говоритъ, что «Песковскій, Гайдебуровъ, Полетика, Худековъ—вотъ люди, понимающіе молодое поколѣніе, сочувствовавшіе ему, готовые его руководить, представители его»; и затѣмъ ругается, ругается и ругается, какъ ломовой извозчикъ. Я не имѣю чести знать всѣхъ перечисляемыхъ г. Суворинымъ писателей и не могу судить о степени основательности его иронiи, но вѣрно, что нѣкоторыя газеты обрушиваются на г. Суворина изъ не совсѣмъ чистыхъ побужденій. Они дѣлаютъ это даже въ ущербъ здравому смыслу и деликатности по отношенію къ третьимъ лицамъ. Такъ, напримѣръ, «Новое Время» напечатало, что дѣвушка, покусившаяся на жизнь генерала Трепова, есть «дочь маіора и принимала вмѣстѣ съ своею матерью участіе въ нечаевской исторіи». Мать дѣвушки прислала въ «Новое Время» письмо, въ которомъ, между прочимъ, говорится, что она, мать, въ нечаевской исторіи замѣшана не была. «Новое Время» напечатало это письмо, да и что ему было больше дѣлать? Нашлись однако газеты, утверждавшія, что «Новое Время» должно было извиниться передъ матерью дѣвушки «въ напечатаніи незаслуженныхъ противъ нея обвиненій». За что извиниться? въ чемъ? Но каковы бы ни были мотивы враждующихъ съ «Новымъ Временемъ» газетъ, за нихъ ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть отвѣтчиками тѣ вовсе не газетные люди, которые выразили г. Суворину свое нежеланіе получать его газету. Смѣшивать «технологическую молодежь» съ г. Полетикой г. Суворинъ не имѣлъ рѣши-

тельно никакого права, равно какъ не имѣлъ никакого права объяснять всю исторію лично противъ него или противъ его газеты направленной интригой. Дѣло просто въ томъ, что кто громче всѣхъ звонитъ, тотъ больше всѣхъ мутитъ и больше другихъ обращаетъ на себя вниманія. Правда, г. Суворинъ, памятуя примѣръ г. Каткова, склоненъ отчасти и польскую интригу приплести, но это ужъ совсѣмъ напрасно. Правда также, г. Суворинъ отрицаетъ право учащихся молодыхъ людей судить о достоинствахъ газетъ и совѣтуетъ имъ учиться. Но тогда незачѣмъ было и посылать газету людямъ, неспособнымъ ее цѣнить. Что же касается до совѣта учиться, то этотъ прекрасный самъ по себѣ совѣтъ особенно страненъ въ устахъ г. Суворина. Какъ ему самому не безъизвѣстно, онъ—человѣкъ весьма мало образованный и однако, вотъ съ Божіей помощью «руководитъ»...

Баснь эту можно бы и болѣ пояснить. Но я только къ тому, что какія странныя происходятъ иногда недоразумѣнія въ захлопнутомъ ларчикѣ, который открывается, впрочемъ, очень просто, и какія опасности предстоятъ иногда на поприщѣ привать-звонаря.

II *).

Опять о газетахъ.—Русскій политическій корреспондентъ.—О новыхъ журналахъ.—О хорошемъ поступкѣ и ошибочныхъ мнѣніяхъ г. Антоновича.—Рыцарь Ла-Серда.

Опять о газетахъ...

A bon entendeur—demi mot. Впрочемъ, мысль, высказанная мною въ прошлый разъ, до такой степени проста и ясна сама по себѣ, что не требуетъ особеннаго развитія. Какъ бы ни пыжились господа газетные сочинители, но для всякаго, въ томъ числѣ и для нихъ самихъ, если они дадутъ себѣ полчаса времени на мало-мальски серьезное размышленіе о своемъ положеніи, должно быть ясно, что они—не болѣе, какъ привать-звонари храма славы. Конечно, это относится только къ тѣмъ, которые пыжатся дать понять, что они кѣмъ-то и чѣмъ-то руководятъ. Скромные труженики, добросовѣстно сообщающіе факты, а равно тѣ немногіе, которые не мечтаютъ о непосредственномъ воздѣйствіи на практическій ходъ государственной машины—эти почтенные люди въ счетъ не идутъ. Что же касается привать-звонарей, то высокій комизмъ ихъ торжественныхъ аллюровъ достоинъ большого вниманія. Но такъ какъ они многочисленны и многообразны, хотя вся ихъ суть сводится къ немногимъ основнымъ общимъ чертамъ, то сразу ихъ всѣхъ не обоймешь. Я хочу поэтому предложить читателю маленькое развлеченіе. Мы не будемъ классифицировать приватъ-звонарей или, вообще, штудировать ихъ систематически, а такъ возьмемъ, время отъ времени, какой-нибудь отдѣльный типъ и оглядимъ его немножко, можетъ быть, тщательнѣе, чѣмъ онъ самъ по себѣ заслуживаетъ, но въ видахъ общей характеристики приватъ-звонарей это будетъ небезполезно.

На первый разъ возьмемъ разновидность заграничнаго политическаго корреспондента, превосходный, по типичности, экземпляръ которой представляетъ парижскій корреспондентъ «Новаго Времени», подписывающійся «Parisien». Слѣдить за всѣми уморительностями этого уморительнаго человѣка нѣтъ никакой надобности. Остановимся только на его разсказахъ о томъ, какъ онъ посѣщалъ французскихъ великихъ людей. До сихъ поръ, онъ побывалъ у Луи Блана и Виктора Гюго, но редакція «Новаго Времени» торжественно объявляетъ, что «нашъ корреспондентъ обѣщалъ дать намъ цѣлый рядъ подобныхъ статей о наиболѣе выдающихся дѣятеляхъ Франціи разныхъ партій». Значитъ, г. Parisien, съ Божіей помощью, разскажетъ еще многое, съ пользою неизвѣстно для кого, но съ огромнымъ удовольствіемъ для себя и редакціи «Новаго Времени». Г. Parisien сходилъ сначала къ Луи Блану, а потомъ ужъ къ Виктору Гюго, но мы прослѣдимъ за его странствованіями въ обратномъ порядкѣ, то-есть проводимъ его сначала къ Гюго.

«Я признаюсь, не безъ нѣкотораго трепета,—говоритъ корреспондентъ,—распрашивалъ компетентныхъ людей о способахъ проникновенія въ святилище. Я ставилъ, главнымъ образомъ, три вопроса: 1) Въ какой формѣ являться? 2) Какъ называть поэта въ разговорѣ? 3) Какой предлогъ избрать для посѣщенія?» Заручившись нужными свѣдѣніями, корреспондентъ отправился. Самое поразительное изъ всего, что онъ видѣлъ и слышалъ у Гюго, было необыкновенное вниманіе къ его, корреспондента, личности. «Mr... Parisien,—сказалъ Гюго какъ-то оффиціально, но съ чудеснымъ поощрительнымъ выраженіемъ,—очень радъ, что меня посѣтили; я много слышалъ о васъ... (Я просто не вѣрилъ ушамъ,—замѣчаетъ корреспондентъ) Мнѣ говорилъ о васъ почтенный Луи Бланъ, какъ о начинающемъ поэтѣ... нѣкоторымъ образомъ, представителѣ интеллигенціи вашей страны, и г. Поль Мерисъ тоже много хорошаго—я очень радъ!» «Скажу безъ всякаго самохвальства,—говоритъ корреспондентъ,—Гюго нѣсколько интересовался мною, благодаря, вѣроятно, тому обстоятельству, что «двадцать съ чѣмъ-то» дѣлали меня безусловно юнѣйшимъ изъ всей компаніи, а мое

*) 1878, мартъ.

положеніе, какъ спеціальнаго корреспондента большой газеты, да еще корреспондента политическаго, причисляло меня цѣликомъ къ компаніи «старшихъ». Посидѣлъ, посидѣлъ корреспондентъ, полюбовался на себя, вдругъ видитъ: входитъ новый гость—Наке. Онъ сейчасъ къ нему: такъ и такъ, говоритъ, желаю познакомиться. «Наке пробормоталъ какую-то любезность, кончивши опять же на томъ, что онъ слышалъ обо мнѣ (корреспондентѣ) отъ Луи Блана... Господи! подумалъ я:—неужели же это Луи Бланъ такъ обрадовался, открывши нѣкоего Parisien, что рапортовалъ объ этомъ всѣмъ свѣтиламъ? Тѣмъ лучше!» («Новое Время», №№ 711 и 712).

Итакъ, старый болтунъ Луи Бланъ былъ до такой степени польщенъ честью и удовольствіемъ знакомства съ г. Parisien, что пошелъ объ немъ благовѣстить по всѣмъ знакомымъ: вотъ, дескать, какой адамантъ мнѣ навернулся. Разумѣется, всяко бываетъ. Возможенъ и адамантъ—русскій корреспондентъ, блещущій столь необычайными достоинствами, что такіе бывалые, всякихъ видовъ навидавшіеся, на всякую мразь и на всякое величіе насмотрѣвшіеся люди, какъ Луи Бланъ или Викторъ Гюго, любуются на него и не могутъ налюбоваться. Я готовъ, поэтому, вѣрить—оно же и лестно русскому сердцу—что въ салонѣ Гюго г. Parisien былъ звѣздой первой величины, и что Луи Бланъ трезвонилъ объ немъ по всему Парижу. Но любопытно всетаки знать, чѣмъ именно такъ блистательно заявилъ себя нашъ адамантъ передъ Луи Бланомъ. Для разъясненія этого обстоятельства, я долженъ почти цѣликомъ перепечатать одну изъ корреспонденцій г. Parisien.

«Луи Бланъ стоялъ у стола и застегивалъ на всѣ пуговицы небольшой сѣрый пиджачекъ. Послѣдовала уморительная сцена. Онъ началъ разглядывать меня, я—рѣшать головоломный вопросъ: и что во мнѣ такого необыкновеннаго? Наконецъ, меня просвѣтило свыше: виною всему мой фракъ и мои перчатки «гриперль»! Какъ оказалось послѣ, здѣсь сердечность пріема обратно пропорціональна костюму.

— Я хотѣлъ познакомиться съ вами,—началъ я какъ-то неловко... въ такой важный политическій моментъ, когда... и т. д... услышать мнѣніе такого человѣка, какъ вы, было бы крайне интересно...

Не помню хорошо, но вышло что-то въ этомъ родѣ...

— Вы корреспондентъ русской газеты, да? Видите: «Novoye Vremiâ», такъ? По наслышкѣ немножко знаю... но направленіе его мнѣ совершенно неизвѣстно.

Я постарался, конечно, объяснить наше направленіе и упомянулъ о томъ, что мы проводимъ національную идею..

— Это какую—же? не безъ ироніи, да еще самой ядовитой, спросилъ Луи Бланъ.

«Ужъ будто не знаете?» хотѣлось мнѣ спросить его. Меня немножко кольнула эта чисто, французская сторона вопроса. Точно, какъ будто монополія поставки идей на все человѣчество принадлежитъ исключительно 1789 году, и, точно, будто всякое національзированіе, сопряженное съ неизбѣжной дальнѣйшей разработкой и видоизмѣненіемъ идеи, составляетъ святотатство.

— Неужели же вы отрицаете въ русскомъ народѣ, по крайней мѣрѣ, въ его лучшей части, двѣ замѣчательнѣйшія стороны: ассимилированіе необыкновенно легкое всякой сколько-нибудь высокой идеи и неудержимое стремленіе къ ея несенію далѣе?..

— Несеніе далѣе? Знаете вы, что это такое? Вотъ я вамъ объясню: Франція теперь знать ничего не хочетъ про всѣ европейскія дрязги. Она занята громаднѣйшей внутренней работой: передѣлкой всего государственнаго строя, соціальныхъ отношеній, борьбой съ капиталомъ и монахомъ, и эта работа, начинающаяся настоящимъ образомъ только теперь, ставитъ Францію снова на сто лѣтъ впереди всѣхъ. Уже самое это положеніе обращаетъ на нее взгляды всѣхъ другихъ народовъ. Всѣ смотрятъ на идеи нашихъ работниковъ и учатся. Вотъ какъ я понимаю несеніе идеи... и у меня громадный примѣръ, если хотите, налицо: идеи первой революціи пронеслись по всему міру... идеи нашей нынѣшней, т. е. виноватъ, будущей республики пронесутся точно также... а самое главное—онѣ пронесутся не штыкомъ, не бомбой, а какой-нибудь брошюрой, живымъ словомъ, наконецъ, bulletin de vote—вы понимаете мою мысль.

— Какъ же, я имѣлъ удовольствіе васъ слышать на погребеніи Распайля...

— И потому вы поймете, продолжалъ Луи Бланъ,—что я заклятой врагъ войны; я понимаю войну оборонительную, когда на народъ нападаютъ...

— А война во имя идеи—война для освобожденія?...

Луи Бланъ чуть не засмѣялся; когда онъ подпрыгнулъ на своемъ стулѣ, я понялъ, что онъ только изъ вѣжливости не воскликнулъ: «эхъ вы, русскіе!»

— Ну, и какая же это война за освобожденіе—кого, чего? Тутъ дѣло просто идетъ объ устьяхъ Дуная, которыя нужны Россіи, о свободѣ плаванія черезъ какіе-нибудь проливы, наконецъ, если хотите, о защитѣ христіанства—о водруженіи креста вмѣсто луны; ну, вмѣстѣ съ тѣмъ, тутъ и популярность выигрывается, и союзники пріобрѣтаются, и вліяніе...

— Оставимъ въ сторонѣ и устья Дуная, и Константинополь,—сказалъ я,—и позвольте мнѣ поставить вопросъ другимъ образомъ. Послѣ этой войны, человѣчество увеличится нѣсколькими милліонами новыхъ гражданъ, которые будутъ, можно сказать, брошены въ добычу цивилизаціи и свободы. Признаете-ли вы на этихъ балканскихъ славянахъ громадную заслугу русскаго народа передъ цѣлымъ человѣчествомъ?

— Вопросъ поставленъ хорошо,—замѣтилъ Луи-Бланъ,—но, вотъ, что я вамъ скажу: объ этихъ милліонахъ Европа заботилась гораздо больше; для нихъ, можно сказать, вытребовали и конституцію, и полную свободу—имъ были открыты всѣ пути къ мирному прогрессу. Россія этого не допустила, она пошла ихъ освобождать par violence.

Луи-Бланъ вѣритъ въ дѣйствительность турецкой конституціи! Признаюсь вамъ, меня это обидѣло—да, обидѣло! Пусть проповѣдуютъ это «N. F. Presse», всѣ жиды Вѣны и Пешта, лордъ Биконсфильдъ и даже старикъ Кошутъ—я не удивлюсь. Но Луи Бланъ, ультра-соціалистъ и

радикалъ, говоритъ подобныя вещи!.. Точно, въ самомъ дѣлѣ, конституція—какія-нибудь модныя панталоны; надѣвши ихъ, варварство превращается въ цивилизацію, дикій паша и эффенди сразу вѣшаетъ на стѣну свой кнутъ и анджаръ... Нашъ диспутъ перешелъ незамѣтно на скользкую почву внутреннихъ отношеній Россіи... Я замѣтилъ въ этомъ передовомъ человѣкѣ, одномъ изъ самыхъ яркихъ умовъ французскаго народа, ту же горькую иронію, ту же, односторонность и то же... пренебреженіе и невниманіе, которое поражало меня во всѣхъ публицистахъ Запада, съ которыми мнѣ приходилось сталкиваться. Когда, наконецъ, я перешелъ къ французскимъ дѣламъ, Луи-Блянъ замѣтилъ очень любезно:

— Мои взгляды совершенно солидарны съ республиканскими органами. Читайте «Rappel» и другія газеты.

Затѣмъ хозяинъ сталъ мѣшать уголья въ горѣвшемъ каминѣ, давая этимъ понять, что визиту пора окончиться.

Я сталъ прощаться...

Трудно передать вамъ то впечатлѣніе, которое произвела на меня эта маленькая, сморщенная фигура съ повислымъ къ низу носомъ, характерными складками морщинъ на лбу и около губъ, и съ глазами, глубокими, умными—но, вмѣстѣ съ тѣмъ, какими-то холодными и злыми. Отъ Луи-Блана вѣяло холодомъ, чувствовалось, что онъ умѣетъ глубоко презирать и ненавидѣть и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не видѣлось ни одной искорки той чудной душевной теплоты, которая составляетъ такую чарующую силу именно въ великомъ человѣкѣ, будь даже онъ самымъ отчаяннымъ политическимъ врагомъ».

Если читатель нѣсколько напряжетъ воображеніе и воспроизведетъ эту картину свиданія русскаго адаманта съ Луи Бланомъ живьемъ, въ лицахъ, то, безъ сомнѣнія, ему станетъ ясно, почему глаза стараго француза были «холодны и злы»; почему на приглашеніе адаманта перейти къ французскимъ дѣламъ онъ «очень любезно» отказался отъ бесѣды и тотчасъ же «сталъ мѣшать уголья въ каминѣ». А! старому французу съ такими холодными глазами слишкомъ близки и святы домашнія дѣла своей родины, чтобы онъ могъ спокойно смотрѣть, какъ г. Parisien начнетъ ихъ безцеремонно перемалывать жерновами своей мельницы. Но г. Parisien очевидно еще многое скрылъ. Такъ онъ ничего не приводитъ изъ разговора на тему «внутреннихъ отношеній Россіи», заявляя только, что такой разговоръ былъ и что Луи Блянъ обнаружилъ въ немъ «иронію», «пренебреженіе» и «невниманіе». Далѣе, Луи Блянъ рекомендовалъ Виктору Гюго адаманта, какъ «начинающаго поэта и представителя интеллигенціи своей страны», а рекомендовать его такъ онъ могъ только со словъ самого корреспондента, каковыя слова корреспондентомъ не опубликованы. А словечки, должно быть, были хорошія. Надо замѣтить, что корреспонденція о Луи Бланѣ не ограничивается описаніемъ визита. Къ нему придѣлана еще характеристика Луи Блана, изъ которой мы узнаемъ, между прочимъ, что «въ своей знаменитой теоріи организаціи труда Луи Блянъ требовалъ безусловно одинаковой платы для всѣхъ производителей, но въ противоположность Фурье допускалъ отдѣльное вознагражденіе таланту, умственному труду и художеству»; что ко времени изгнанія Луи Блана «относится почти вся его Histoire de dix ans»; что къ этому же времени относится его пропаганда знаменитой позитивной философіи Огюста Конта въ Англіи». Все это—чистый вздоръ. Во-первыхъ, «отдѣльное вознагражденіе таланту, умственному труду и художеству» при равенствѣ заработной платы есть безсмыслица, въ которой Луи Блянъ совершенно неповиненъ. Во-вторыхъ, «вознагражденіе таланту» никоимъ образомъ не можетъ быть поставлено «въ противоположность Фурье», такъ какъ именно по формулѣ Фурье (и въ этомъ ея особенность) продуктъ распредѣляется между трудомъ, капиталомъ и талантомъ. Въ-третьихъ, Histoire de dix ans написана въ сороковыхъ годахъ, а не во время изгнанія. Въ-четвертыхъ, Луи Блянъ пропагандой позитивизма никогда не занимался. И все это еще далеко не весь вздоръ господина Parisien, обязательно предложенный «Новымъ Временемъ» своимъ читателямъ. Примите въ соображеніе, что корреспондентъ пишетъ изъ Франціи, что онъ готовился къ встрѣчѣ съ Луи Бланомъ, что существуетъ множество книжекъ, изъ которыхъ онъ могъ бы получить всѣ нужныя свѣдѣнія о личности человѣка, къ которому врывается въ перчаткахъ «гриперль» и «шапоклякѣ» на головѣ, но съ довольно скромнымъ багажемъ въ головѣ. Трудно даже себѣ представить, чего наслушался Луи Блянъ отъ этого развязнаго приватъ-звонаря въ шапоклякѣ, отъ этого забубеннаго представителя «свѣта съ востока», считающаго себя серьезнымъ представителемъ серьезной политической печати. Но за то легко себѣ представить что шепнулъ Луи Блянъ Виктору Гюго и Наке на счетъ прелестей нашего адаманта. А онъ, бѣдный, удивляется, что всѣ на него обращаютъ вниманіе, благодаря болтливости Луи Блана! Онъ принимаетъ за чрезвычайную любезность снисходительно-презрительное отношеніе къ себѣ и твердо вѣритъ, что высоко несетъ знамя «спеціальнаго корреспондента большой газеты, да еще корреспондента политическаго», что честь русской печати и «національной идеи» блистательно поддержана имъ въ салонахъ парижскихъ знаменитостей. Бѣдный наивный приватъ-звонарь! Онъ почти такъ же непорочень и чистъ душой, какъ Иванъ Александровичъ Хлестаковъ въ моментъ изумительнаго лганья о тридцати ты-

сячахъ курьеровъ. И такъ-то всѣ они: за душой—ничего, хоть шаромъ покати, но вмѣстѣ съ тѣмъ глубочайшая увѣренность въ серьезности и величіи своей миссіи. Читатель долженъ понимать, что это совсѣмъ не случайность. Разъ человѣкъ, связанный по рукамъ и по ногамъ, возмнитъ себя руководителемъ, онъ обреченъ своей злосчастной судьбой на цѣлый рядъ комическихъ положеній. И для него лично весь вопросъ состоитъ только въ томъ: какая именно роль выпадетъ на его долю—Пьеро? Арлекина? Коломбины? Дѣло, однако, въ томъ, что существуютъ третьи лица, читающая публика, передъ глазами которой разыгрывается арлекинада и которая можетъ быть введена въ заблужденія, болѣе или менѣе для нея пагубныя. Когда приватъ-звонари продѣлываютъ свои штуки, съ безпримѣрною «святою простотой» господина Parisien, они только комичны и право даже руки опускаются передъ этой простотой. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, быть съ человѣкомъ, имѣющимъ голову до того прочно устроенную, что отъ нея, какъ отъ заколдованнаго воина, даже пуля отскочитъ. Досадно, конечно, что вотъ читатели «Новаго Времени» получатъ совсѣмъ превратныя понятія о Луи Бланѣ, ну и стыдно немножко быть соотечественникомъ Parisien, но все это простить можно—за простоту. Но непоколебимость, сбнаруженная нашимъ адамантомъ, попадается въ природѣ не на каждомъ шагу. Въ другихъ его товарищахъ по звонарскому ремеслу невѣжество и развязность осложняются еще разными ухищреніями, подходами и подвохами, имѣющими не только комическую сторону. Объ нихъ, впрочемъ, въ другой разъ когда-нибудь.

Теперь о новыхъ журналахъ.

«Новый журналъ, подобно новому лицу, въ первый разъ являющемуся въ незнакомое общество, обращаетъ на себя всеобщее пытливое и пристальное вниманіе и вызываетъ цѣлый рой вопросовъ: кто? откуда? почему? и зачѣмъ? что онъ собирается дѣлать? какіе у него планы и замыслы? Какія щели и пробѣлы въ литературѣ онъ собирается конопатить и какою паклей? что у него самого есть въ головѣ—а кто-нибудь прибавитъ даже—и въ карманѣ? и т. д.».

Такъ начинаетъ старинный знакомецъ русской читающей публики г. Антоновичъ свою статью «Современное состояніе литературы» въ № 1 новаго учено-литературно-политическаго журнала «Слово». «Всеобщее, пытливое и пристальное вниманіе» изображено здѣсь красками немножко слишкомъ яркими. Такихъ волненій изъ-за новаго журнала не бываетъ по нынѣшнему времени, когда предѣлы литературныхъ вольностей такъ ясно обозначены, что читатель не можетъ питать никакихъ иллюзій на этотъ счетъ, и когда литературный персоналъ такъ не великъ, что читатель знаетъ его чуть не какъ свои пять пальцевъ. А объ нашемъ братѣ-писателѣ, затянутомъ въ водоворотъ журналистики, и говорить нечего. Кто? откуда? почему и зачѣмъ? и т. д.—всѣ эти вопросы для насъ рѣшительно не существуютъ. Относительно всякаго новаго журнала, если, разумѣется, онъ не спеціальный, мы очень хорошо знаемъ, союзникъ-ли онъ нашъ, или противникъ и въ какомъ именно смыслѣ союзникъ, въ какомъ противникъ. Такъ хорошо знаемъ, что даже досадно: на сюрпризъ разсчитывать нельзя. Однако, новый журналъ представляетъ всетаки любопытное явленіе. Новый журналъ—совсѣмъ не то, что «новое лицо, въ первый разъ являющееся въ незнакомое общество». Новое лицо сплошь и рядомъ является въ незнакомое общество съ самыми скромными цѣлями, въ родѣ, напримѣръ, желанія послушать умныхъ рѣчей или хорошей музыки, смиренно увянуть въ лучахъ чьей-нибудь славы или представиться генералу X и княгинѣ Z, довести до всеобщаго свѣдѣнія, что на свѣтѣ живетъ господинъ Добчинскій или сообщить читателямъ «Новаго Времени», что Луи Бланъ и Викторъ Гюго свидѣтельствуютъ свое почтеніе г. Суворину. Новый журналъ, напротивъ, есть всегда носитель нѣкоторой, и не маловажной претензіи. Если даже онъ затѣвается съ чисто карманными цѣлями, такъ и то ему нельзя быть простымъ сколкомъ съ существующихъ журналовъ, потому что кто же станетъ его читать въ такомъ случаѣ? Онъ претендуетъ либо на новую программу, либо на свѣжія литературныя силы, либо на умѣнье сгруппировать около себя извѣстнымъ образомъ силы наличныя. Все это претензіи, очень и очень не малыя, какъ сами по себѣ, такъ въ особенности по своеобразному у насъ значенію ежемѣсячныхъ журналовъ, которые, въ виду малаго развитія литературы книжной и полнаго отсутствія не литературныхъ способовъ воздѣйствія на общество, составляютъ для послѣдняго единственное воспитательное учрежденіе. Новый журналъ, по своимъ претензіямъ и по требованіямъ, какія ему могутъ быть предъявлены, не можетъ быть сравниваемъ не только съ новымъ лицомъ, являющимся въ незнакомое общество, но даже съ начинающимъ писателемъ. Новый писатель цѣнится по тѣмъ задаткамъ, которые онъ представляетъ, и нѣкоторые изъяны въ его талантѣ, познаніяхъ, и проч., еще ничего не говорятъ противъ его будущности, быть можетъ, самой блестящей. Новый журналъ не долженъ

разсчитывать на такое снисходительное отношеніе къ себѣ, потому что выступаетъ, какъ нѣчто подготовленное и готовое, законченное. Онъ можетъ, разумѣется, развиваться въ смыслѣ улучшенія самой механики журнальнаго дѣла, въ смыслѣ привлеченія большаго числа и лучшихъ литературныхъ силъ, но характеръ его долженъ опредѣлиться сразу. Молодому, начинающему писателю можетъ не совсѣмъ ясно представляться его собственная задача, и въ этомъ еще нѣтъ большой бѣды: онъ никому ничего формально не обѣщаетъ, не обѣщаетъ даже оставаться писателемъ. Новый журналъ, напротивъ, обѣщаетъ многое.

Вотъ почему новые собраты извинятъ меня за нѣкоторыя замѣчанія, которыя покажутся имъ, быть можетъ, слишкомъ строгими. Такихъ собратовъ насчитывается съ новаго года трое: совершенно новый учено-литературный журналъ «Историческая Библіотека», «Слово», преобразованное изъ «Знанія», и слегка видоизмѣненная ежемѣсячными приложеніями «Недѣля».

Задача «Исторической Библіотеки» состоитъ въ томъ, чтобы «содѣйствовать русскому образованному обществу къ восполненію его историческихъ знаній, возможно болѣе доступными для него путями, сводящимися къ популяризаціи исторіи въ лучшихъ ея видахъ». Подъ «лучшими видами популяризаціи исторіи» редакція разумѣетъ историческую беллетристику и собственно популярно-историческія статьи. Задача очень почтенная, но за то и очень трудная. Во-первыхъ, исторія есть и во времени, и въ пространствѣ—«дистанція огромнаго размѣра». Драки Брячиславичей съ Вячеславичами, колонизація Америки, наполеоновскіе походы, исходъ евреевъ изъ Египта, французская революція, смерть Кира, битва при Ментанѣ, пуническія войны, ростъ Пруссіи, пугачевскій бунтъ, и проч., и проч., и проч.—все это есть достояніе исторіи и надо же имѣть какую нибудь руководящую нить, чтобы мало-мальски разобраться въ этомъ безконечномъ разнообразіи. Надо же имѣть какую-нибудь цѣль, кромѣ простого «восполненія историческихъ знаній». Разъ товаръ предлагается въ такомъ ужасающемъ количествѣ и разнообразіи, необходимо дѣлать выборъ, и выборъ этотъ долженъ имѣть за себя какое-нибудь оправданіе Значитъ, людямъ, предпринявшимъ изданіе въ родѣ «Исторической Библіотеки», надлежитъ имѣть помимо обширныхъ знаній, еще очень опредѣленный взглядъ на историческую перспективу и опредѣленныя не историческія цѣли. Сами по себѣ препирательства Брячиславичей съ Ярославичами представляютъ совершенно такіе же историческіе факты, какъ и французская революція, и объединеніе Германіи, и т. д. Предлагая читателю тѣ или другіе, журналъ долженъ имѣть въ виду степень ихъ важности въ данную минуту и для даннаго общества, а эту разборку произвести далеко не легко, по крайней мѣрѣ, далеко не всякому легко. Что касается исторической беллетристики, то объ извѣстномъ ея сортѣ еще Бѣлинскій справедливо замѣтилъ, что стоитъ разъ осмѣлиться, а тамъ ужъ не трудно набить руку. Но мало-мальски сносный историческій романъ требуетъ очень рѣдкаго соединенія короткаго знакомства съ эпохой и своеобразнаго и недюжиннаго таланта. «Восполнить историческія знанія» романомъ можно, пожалуй, лучше даже, чѣмъ научнымъ изслѣдованіемъ, потому что романъ уже предполагаетъ изслѣдованіе, заключаетъ его въ себѣ, но говоритъ живыми образами. Однако, романъ для этого долженъ быть очень хорошъ. Загоскинскими романами ничего не восполнишь, какъ не восполнишь и ублюдками въ родѣ утомительнаго «Холопа» г. Костомарова, печатающагося теперь въ «Новомъ Времени».

Къ сожалѣнію, редакція «Исторической Библіотеки», очевидно, очень далека отъ пониманія обширности и важности своей задачи. Беллетристика представлена въ № 1 совершенно бездѣльнымъ очеркомъ г. Голубева «изъ дѣлъ сыскного приказа московскаго архива министерства юстиціи» и «романомъ-хроникой» г. Вс. Соловьева «Капитанъ гренадерской роты». Это именно изъ тѣхъ историческихъ романовъ, для изготовленія которыхъ въ какомъ угодно количествѣ надо только осмѣлиться. На будущее время обѣщаны: «Прекраса», романъ изъ жизни сѣверныхъ славянъ X вѣка г. Лядова, «Престолъ и монастырь», повѣсть конца XVII вѣка г. Ш—ва и «Любовь Марата», романъ Мете. Уже одинъ этотъ винегретъ изъ Прекрасы и Марата показываетъ, что редакція «Исторической Библіотеки» намѣрена носиться по волнамъ безбрежнаго океана исторіи безъ кормила и весла. А этакъ и утонуть можно. Научный отдѣлъ перваго номера состоитъ изъ поражающаго отсутствіемъ горъ и пропастей, то-есть совершенною плоскостью, «историческаго этюда» самого издателя-редактора г. Полежаева—«Московское княжество въ первой половинѣ XIV вѣка» и сухого переводнаго историческаго очерка—«Россія и Турція». Въ концѣ концовъ: скучно, скучно и ненужно.

Гораздо интереснѣе «Слово». Когда я прочиталъ объявленіе объ изданіи «Слова», съ перечисленіемъ именъ сотрудниковъ, болѣе или менѣе мнѣ симпатичныхъ, я былъ искренно обрадованъ. Конкуренція, думалось мнѣ, которая можетъ возникнуть между двумя орга-

нами печати, имѣющими нѣкоторыхъ общихъ сотрудниковъ, никогда не приметъ грязныхъ формъ личныхъ перебранокъ или какихъ-нибудь подвоховъ изъ-подтишка, и вообще ничего, кромѣ пользы какъ читателямъ обоихъ журналовъ, такъ и самимъ журналамъ, принести не можетъ. Меня не пугало даже страшное имя г. Антоновича, когда-то прославившагося большою охотою и совершеннымъ неумѣніемъ полемизировать. И г. Антоновичъ съ перваго же номера «Слова» оправдалъ мое безстрашіе. Правда, онъ пытается утаить въ мѣшкѣ нѣкоторое шило (объ этомъ ниже), онъ строгъ, но справедливъ и вполнѣ джентльменски приличенъ. Онъ требуетъ солидаризаціи писателей одинаковаго примѣрно образа мыслей, хотя и работающихъ въ разныхъ органахъ, онъ требуетъ добросовѣстности и приличія въ полемикѣ, горячаго интереса къ литературному дѣлу и многихъ другихъ хорошихъ вещей. Даже его строгость провзводитъ пріятное впечатлѣніе: человѣкъ, очевидно, ясно понимаетъ свою задачу, вилять и мѣнять свой цвѣтъ не намѣренъ и вообще относится къ дѣлу крайне серьезно, чего весьма естественно и отъ другихъ требуетъ. Строгость эта, надо, однако, замѣтить, принадлежитъ въ «Словѣ» не одному г. Антоновичу. Въ только что вышедшемъ № 3 литературнымъ обозрѣніемъ занятъ, кромѣ г. Антоновича, еще нѣкто г. Топорнинъ, чрезвычайно недовольный тѣмъ, что въ наше время «подъ одной обложкой, за скрѣпой одного и того же редактора, вы найдете представителей радикально противоположныхъ воззрѣній на одинъ и тотъ же предметъ». Я прошу читателя запомнить эти справедливо негодующія слова, потому что они имѣютъ ближайшую связь съ однимъ разочарованіемъ, испытаннымъ мною по отношенію къ «Слову».

Я былъ, впрочемъ, отчасти приготовленъ къ разочарованію. Дѣло въ томъ, что журналъ «Знаніе», особенно въ послѣдніе годы, когда нѣсколько попристальнѣе занялся вопросами соціологическими, допускалъ на свои страницы произведенія — оставляя въ сторонѣ вопросъ объ ихъ достоинствахъ—весьма разнообразнаго и иногда прямо противоположнаго характера. Можетъ статься, такъ и быть должно въ изданіи, хотя и популярномъ, но всетаки научномъ, смотрящемъ на вещи съ нѣкоторой высоты, съ которой исчезаютъ многія подробности. Можетъ статься, научное изданіе, самою программою своею удаленное отъ непосредственнаго сосѣдства житейскихъ треволненій, должно, въ видахъ безпристрастія, сосредоточивать въ себѣ разнообразныя точки зрѣнія, лишь бы онѣ удовлетворяли самымъ общимъ и элементарнымъ требованіямъ научности. Я этого вовсе не думаю и допускаю оправданіе такихъ противорѣчій только потому, что теперь не о «Знаніи» рѣчь. Хорошо-ли, дурно-ли оно велось, но «Слово» такъ вестись не можетъ. Редакція «Слова» и сама, конечно, это очень хорошо понимаетъ, и вотъ почему она, въ лицѣ гг. Антоновича и Топорнина, такъ строга, но справедлива. Но тутъ замѣшалась несчастная судьба слова «научность». Почему-то съ понятіемъ научности срослось представленіе либо какого-то страннаго сухаря, либо чего-то необыкновенно величественно-холоднаго и, такъ сказать, поднебеснаго на манеръ птицы, рѣющей въ облакахъ, или снѣговой вершины Монблана. На что г. ла-Серда—человѣкъ самъ ученый и преданный наукѣ, а и тотъ разумѣетъ науку въ видѣ «вѣчно холодныхъ, равнодушныхъ, гордыхъ и, главное, далеко не всѣмъ доступныхъ, суровыхъ, почти грозныхъ вершинъ» («Слово», № 3, 154). При этомъ обыкновенно упускается изъ виду, что Монбланъ, конечно, красивъ и величественъ, но еслибы онъ былъ человѣкъ, онъ былъ бы глупъ и жалокъ въ своей величественной позѣ и со своимъ лбомъ, упертымъ въ облака. Какъ бы то ни было, но Монбланъ такъ приросъ къ «научности», что когда слово это употребляется не въ смыслѣ противоположности метафизикѣ или теософіи, а вообще, какъ нѣчто самодовлѣющее, меня начинаютъ одолѣвать разныя сомнѣнія и подозрѣнія. Такъ было и по отношенію къ «Слову». Въ объясненіяхъ отъ редакціи и объявленіяхъ говорилось, что новый журналъ останется вѣренъ началамъ, положеннымъ въ основаніе «Знанія»; что содержаніе его будетъ носить научный характеръ; что онъ будетъ имѣть особый научный отдѣлъ; что живые вопросы русской дѣйствительности будутъ разсматриваться съ научной точки зрѣнія, что къ оцѣнкѣ произведеній изящной словесности будутъ прилагаться начала научной эстетики. Къ послѣднему пункту прибавлялась, впрочемъ, оговорка: «вмѣстѣ съ тѣмъ мы будемъ неуклонно держаться пріемовъ той критической школы, которая отъ литературныхъ произведеній требуетъ нетолько художественности, но и жизненной правды—нравственности и гуманности». Все это меня нѣсколько смущало. Научность въ смыслѣ Монблана есть уже цѣлая программа отношеній къ текущей жизни и притомъ такая, выдержать которую для литературно-политическаго журнала рѣшительно нѣтъ возможности. И еслибы «Слово» остановилось на такой именно якобы научности, то ему пришлось бы неизбѣжно впадать въ противорѣчія и печатать, по выраженію г. Топорнина, «подъ одной обложкой и за

скрѣпой одного и того же редактора», вещи совершенно несовмѣстныя.

Опасенія мои, къ сожалѣнію, оправдались. Приложенія началъ научной эстетики еще пока нѣтъ въ трехъ вышедшихъ номерахъ «Слова», какъ нѣтъ многаго изъ того, что было обѣщано редакціей и что, безъ сомнѣнія, съ теченіемъ времени будетъ ею представлено. Но Монбланъ научности есть. Есть и его неизбѣжное послѣдствіе — помѣщеніе подъ одной обложкой совсѣмъ разныхъ воззрѣній на одинъ и тотъ же предметъ. Особенно ясно выразилось это обстоятельство въ № 2, гдѣ рядомъ помѣщены статья Фра-Моріеля «Король свободной Италіи» и корреспонденція Андре Лео «Изъ Италіи». Если читатель потрудится прочесть эти статьи одну вслѣдъ за другой, то онъ, навѣрное, будетъ не мало изумленъ. Фра-Моріель чрезвычайно доволенъ Викторомъ-Эммануиломъ и утверждаетъ, что имъ чрезвычайно довольна вся «свободная Италія». Андре Лео, напротивъ, объясняетъ, что покойнымъ королемъ довольна только «высшая буржуазія, набившая себѣ карманы подъ покровительствомъ власти». Вообще вся статья Фра-Моріеля построена въ томъ смыслѣ, что Италія, благодаря Виктору Эммануилу, представляетъ собою нѣкоторое подобіе земного рая, въ которомъ всѣ чувствуютъ себѣ прекрасно. Андре Лео, напротивъ, разсказываетъ, что въ Италіи мелкіе чиновники и мелкіе лавочники «буквально мрутъ съ голоду», что въ Ломбардіи «люди бѣдствуютъ, не имѣя ни пищи, ни крова», что въ Венеціанской Области «не живутъ, а мрутъ, по словамъ одного крестьянина, приводимымъ итальянскимъ поэтомъ». Корреспондентъ «не рѣшается даже приводить оборотовъ и тона, въ которыхъ выражались при немъ бѣдняки «contadini» о томъ, котораго величаютъ теперь отцомъ отечества». Понятно изумленіе человѣка, прочитавшаго такія двѣ статьи подрядъ. А между тѣмъ, противорѣчивость ихъ даже гораздо серьезнѣе и глубже, чѣмъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Не въ томъ только тутъ дѣло, что Фра-Моріель и Андре Лео рисуютъ одни и тѣ же явленія въ діаметрально-противоположномъ свѣтѣ. Самыя ихъ точки зрѣнія на народную жизнь діаметрально-противоположны, а это пуще всего важно для русскаго литературно-политическаго журнала. Еще не Богъ знаетъ какая бѣда, если читатели «Слова» собьются насчетъ значенія слезъ, пролитыхъ надъ гробомъ Виктора Эммануила. Конечно, и это не хорошо, но все-таки тутъ дѣло идетъ объ одномъ опредѣленномъ фактѣ или группѣ фактовъ. Но если читатели будутъ систематически сбиваться съ толку по отношенію къ углу зрѣнія, подъ которымъ надо смотрѣть вообще на историческія событія, такъ это будетъ совсѣмъ прискорбно. И въ особенности у насъ. Европейскій человѣкъ встрѣчаетъ такую поддержку въ своей обстановкѣ, въ условіяхъ политическаго быта, что его не легко сбить съ извѣстной точки зрѣнія, выработанной самою жизнью. Событія своей родины, событія китайскія, русскія и всякія другія онъ можетъ цѣнить правильно или неправильно, но всегда осмысленно, благодаря опредѣленности своей точки зрѣнія. Русскій человѣкъ находится въ совсѣмъ иномъ положеніи и, смѣло говорю, нигдѣ, кромѣ литературно-политическихъ журналовъ, онъ не можетъ получить политическаго воспитанія, конечно, обстоятельствами очень ограниченнаго. Значитъ, вводить сюда двусмысленность отнюдь не годится.

Разница между Андре Лео и Фра-Моріелемъ, кромѣ прямо противорѣчивыхъ фактическихъ показаній, состоитъ въ томъ, что первый цѣнитъ, главнымъ образомъ соціальную сторону новѣйшей исторіи Италіи, второй — исключительно политическую. Эту послѣднюю точку зрѣнія очень пространно развиваетъ и оправдываетъ г. И. Л. въ любопытной статьѣ «Начала европейской политики» (№ 1). Статья эта, въ самомъ дѣлѣ, любопытна, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ, необычайно многословна и скучна. Авторъ — политическій хроникеръ журнала — придумалъ совершенно необыкновенный пріемъ для оцѣнки текущихъ дѣлъ въ Западной Европѣ. Пріемъ этотъ хорошъ, по словамъ автора, тѣмъ, что «съ одной стороны онъ дѣлаетъ ненужнымъ эмпирическое изложеніе текущихъ событій, болѣе подходящее къ условіямъ газеты, а не журнала, съ другой — устраняетъ чисто личныя соображенія, лишь въ рѣдкихъ случаяхъ обладающія точностью и правильностью». Мы, очевидно, сразу попадаемъ на снѣговую вершину Монблана. Только тамъ можно писать политическую хронику безъ фактовъ и безъ личныхъ взглядовъ, а въ болѣе низменныхъ мѣстахъ земного шара это — дѣло еще не виданное и можетъ напоминать только старинную загадку: безъ окошекъ, безъ дверей, полна горница людей. Отгадка этой замысловатой загадки, какъ извѣстно, очень проста: огурецъ. Что же касается загадки политическаго хроникера «Слова», то отъ ближайшаго ея разсмотрѣнія я себя увольняю. Скажу только — и въ этомъ можетъ убѣдится каждый, даже не особенно внимательный читатель — что нѣкоторые его товарищи по дѣлу той же политической хроники, въ томъ же № «Слова» употребляютъ пріемы, діаметрально противоположные пріемамъ г. И. Л. Сравните, напримѣръ, его статью съ рядомъ напечатанной

статьей г. Жикка «Политическій кризисъ во Франціи».

Отмѣтивъ этотъ двусмысленный характеръ вышедшихъ до сихъ поръ нумеровъ «Слова», слѣдовало бы перейти къ болѣе обстоятельному разбору нѣкоторыхъ статей и въ особенности статей г. Антоновича, играющихъ въ почтенномъ журналѣ одну изъ самыхъ выдающихся ролей. Но въ то время, какъ я писалъ все предыдущее, въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ» появилось письмо г. Антоновича, которое я перепечатываю цѣликомъ:

«По выходѣ въ свѣтъ 3-й книги журнала «Слово», я отказался отъ всякаго участія въ этомъ журналѣ. Я считаю себя обязаннымъ сдѣлать заявленіе это и объяснить въ общихъ чертахъ причину такого отказа, въ виду слѣдующаго обстоятельства:

Мнѣ извѣстно, что нѣкоторые подписались на журналъ «Слово», между прочимъ, въ надеждѣ встрѣчать въ немъ мои статьи и въ томъ ожиданіи, что я буду имѣть хоть нѣкоторое вліяніе на направленіе этого журнала. Поэтому я убѣдительно прошу этихъ расположенныхъ ко мнѣ подписчиковъ извинить меня, что я былъ невольною причиною ихъ недоразумѣнія и невольно ввелъ ихъ въ заблужденіе. Я и самъ сдѣлался жертвою подобнаго же недоразумѣнія и заблужденія. И я вступилъ въ журналъ «Слово» единственно въ надеждѣ, что онъ будетъ мнѣ по сердцу и будетъ держаться направленія, которому я сочувствую; я имѣлъ основанія для такой надежды. Но надежда моя не оправдалась.

«Вопреки моимъ ожиданіямъ и совѣтамъ, редакція журнала «Слово» не считала нужнымъ придерживаться какого-нибудь опредѣленнаго направленія, а, видимо, желала сдѣлать изъ своего журнала простой сборникъ статей. Я совѣтовалъ редакціи обратить преимущественное вниманіе на внутренніе вопросы, на внутренній отдѣлъ журнала, и для этого рекомендовалъ подходящихъ сотрудниковъ; но редакція не приняла этихъ сотрудниковъ и вообще предпочла усиленно заниматься иностранными дѣлами и расширить въ журналѣ внѣшній отдѣлъ, вслѣдствіе чего и вышла, напримѣръ, та вопіющая несообразность, что въ 3-й книгѣ «Слова» на *четыре* статьи по текущимъ иностраннымъ дѣламъ нѣтъ *ни одной* статьи по текущимъ русскимъ дѣламъ. Далѣе я совѣтовалъ редакціи вести дѣятельную полемику съ литературными органами и литераторами, вліяніе которыхъ мнѣ казалось гибельнымъ. Редакція не принимала такихъ совѣтовъ, а вмѣсто того нашла болѣе цѣлесообразнымъ напечатать непристойную полемическую статью противъ гг. Михайловскаго и Лесевича, въ литературномъ вліяніи которыхъ я не вижу ничего гибельнаго. Помѣщеніе въ журналѣ, вопреки моему совѣту, этой статьи и еще другой, столь же нелѣпой, подъ заглавіемъ «Прерванная переписка», и было непосредственнымъ поводомъ къ моему отказу отъ всякаго участія въ журналѣ «Слово».

«Въ заключеніе еще разъ прошу извиненія у тѣхъ подписчиковъ, которыхъ привлекло къ «Слову» мое бывшее участіе въ немъ. Я увѣренъ, что они одобрятъ мой отказъ, вызванный нежеланіемъ даже косвенно прикрывать моимъ именемъ литературныя безобразія».

Вслѣдъ затѣмъ редакція «Слова» напечатала въ тѣхъ же «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ» свое объясненіе, которое подтверждаетъ фактъ большихъ внутреннихъ неурядицъ въ «Словѣ»: г. Антоновичъ былъ недоволенъ редакторами и находилъ ихъ выборъ статей дурнымъ, редакторы точно также относились къ г. Антоновичу. Изъ всего этого слѣдуютъ два вывода.

Во-первыхъ, г. Антоновичъ былъ до того возмущенъ статьей г. ла-Серды, что она послужила непосредственнымъ поводомъ къ его выходу изъ «Слова». Если принять въ соображеніе, что г. Антоновичъ никогда не питалъ особеннаго благоволенія къ «Отечественнымъ Запискамъ», то ужъ изъ этого можно заключить о довольно-таки значительной неопрятности статьи г. ла-Серды. Объ этомъ, впрочемъ, потомъ.

Во-вторыхъ, о «Словѣ» говорить еще рано. Дѣйствительно, всѣ три вышедшія до сихъ поръ книжки составлены подъ сильнымъ вліяніемъ домашнихъ неурядицъ, и со стороны нѣтъ никакой возможности опредѣлить, что именно составляетъ здѣсь слѣдъ выбывшаго г. Антоновича и что должно быть поставлено на счетъ оставшейся редакціи. Значитъ, надо еще подождать, чтобы судить, каковъ будетъ почтенный журналъ въ своемъ настоящемъ видѣ, то есть минусъ г. Антоновичъ. Говорить о статьяхъ самого г. Антоновича тоже не приходится. Я стою на томъ, что онъ все время своего недолгаго сотрудничества въ «Словѣ» не безъ искусства утаивалъ въ мѣшкѣ нѣкоторое шило, но счеты, какіе могли бы быть ему по поводу этого шила представлены, теперь сводить не время: г. Антоновичъ былъ и теперь его нѣтъ. Что же касается до его вполнѣ справедливыхъ разсужденій о необходимости для журналиста добросовѣстнаго отношенія къ своему дѣлу, то, какъ ни хороши они, его поступокъ лучше. Я готовъ допустить, что объясненіе редакціи «Слова» отчасти справедливо, то-есть, что г. Антоновичъ выбылъ потому, что ему не была предоставлена въ журналѣ роль, на которую онъ претендовалъ. Но если онъ требовалъ такой роли для обезпеченія журнала отъ статей въ родѣ «Краткаго объясненія» г. ла-Серды, я жалѣю, что онъ ея не добился, и радъ, что, не добившись, онъ рѣшилъ оставить «Слово». Не потому, разумѣется, радъ, что наша литература еще на одного человѣка обѣднѣла, а потому, что поступкомъ своимъ г. Антоновичъ подтвердилъ искренность своихъ требованій добросовѣстности отъ журналистики и далъ примѣръ добропорядочности тѣмъ, кто можетъ руководствоваться примѣрами. Редакція «Слова», имѣвшая непосредственныя непріятныя столкновенія съ г. Антоновичемъ, можетъ, разумѣется, оста-

ваться при особомъ мнѣніи, но я не думалъ, чтобы у кого-нибудь посторонняго хватило духу лягнуть г. Антоновича въ догонку. И, однако, такіе люди нашлись: «Новое Время» не погнушалось. Да и чего, въ самомъ дѣлѣ, церемониться. Г. Антоновичъ, судя по плодовитости, обнаруженной имъ въ «Словѣ», хотѣлъ говорить и много говорить. Отъ этого, законнѣйшаго для писателя желанія г. Антоновичъ отказывается, потому что находитъ обстановку, при которой ему приходится дѣйствовать, не соотвѣтственною его идеаламъ — другъ Тряпичкинъ! вотъ пища для своего сатирическаго ума! ты, готовый писать какъ угодно, гдѣ угодно и что угодно, ты, готовый сегодня же, сейчасъ же сжечь все, чему поклонялся вчера, и разбить лобъ передъ тѣмъ, подо что вчера подводилъ чадный факелъ своего сомнительнаго остроумія—ты долженъ кипѣть желчью при видѣ добропорядочнаго поведенія.

Я хотѣлъ бы, однако, сказать нѣсколько словъ о статьѣ г. Антоновича «Причины неудовлетворительнаго состоянія нашей литературы» (№ 2), и то, впрочемъ, больше для того, чтобы защитить одно имъ въ этой статьѣ забракованное мнѣніе. Откровенно говоря, прочитавъ статью г. Антоновича, я не узналъ, въ чемъ, по его мнѣнію, состоятъ причины неудовлетворительнаго состоянія нашей литературы. Онъ, кажется, думаетъ объяснить все дѣло смертью и вообще отсутствіемъ или долговременнымъ молчаніемъ нѣкоторыхъ литературныхъ дѣятелей, игравшихъ нѣкогда болѣе или менѣе значительную роль и которыхъ г. Антоновичъ разумѣетъ въ формулѣ: «Добролюбовъ и его друзья». Онъ связываетъ эти обстоятельства съ «внѣшними неблагопріятными для литературы условіями». Я не могу себѣ представить, чтобы подобную мысль можно было серьезно отстаивать. Безъ сомнѣнія, внѣшнія неблагопріятныя для литературы условія всегда тяжело на ней отзываются. Справедливо также, что смерть, отсутствіе и молчаніе видныхъ литературныхъ дѣятелей не могутъ имѣть хорошихъ для литературы послѣдствій. Но вѣдь внѣшнія условія никогда особенно благопріятны литературѣ у насъ не были, а чтобы всѣ видные литературные дѣятели извѣстнаго момента вдругъ исчезли, не оставивъ даже ничего на сѣмена — этого и вообще не бываетъ, да и у насъ не было. Чтобы оцѣнить всю слабость объясненія г. Антоновича, возьмите во вниманіе вотъ что. Некрасовъ, гг. Щедринъ, Островскій, В. Крестовскій (псевдонимъ), Л. Толстой, Достоевскій, Гончаровъ, Тургеневъ составляютъ послѣднюю полновѣсную горсть крупныхъ бсллетристическихъ талантовъ, брошенную намъ исторіей нашей литературы. Позднѣйшія литературныя поколѣнія, со включеніемъ «Добролюбова и его друзей», не выставили ничего подобнаго, хотя вы можете указать тамъ и сямъ недюжинные таланты. «Добролюбовъ и его друзья» уровня беллетристики не подняли, а исчезновеніе ихъ (допуская, что они исчезли) этого уровня не понизило. Мы имѣемъ, такимъ образомъ, частную область литературы, весьма мало на себѣ испытавшую прямое вліяніе присутствія и отсутствія Добролюбова и его друзей и, однако, находящуюся не въ удовлетворительномъ состояніи. Сваливать въ этомъ отношеніи все на внѣшнія неблагопріятныя условія тоже не годится. Въ чемъ же дѣло?

Возьмите, напримѣръ, г. Иванова, *) чрезвычайно талантливаго автора очерковъ и разсказовъ, печатающихся у насъ въ «Отечественныхъ Запискахъ». Талантъ несомнѣнный и несомнѣнно большой. Это даже газетные критики, наконецъ, поняли. Однако, въ числѣ «всероссійскихъ фаворитовъ» (выраженіе одного моего пріятеля), какими у насъ были въ свое время гг. Тургеневъ, Достоевскій, Гончаровъ, онъ не значится. Сравнивать этихъ писателей по таланту нѣтъ ни повода, ни надобности, потому что будь г. Ивановъ даже вдесятеро даровитѣе, всероссійскимъ фаворитомъ онъ все-таки не былъ бы. Есть люди, съ величайшимъ вниманіемъ и сочувствіемъ слѣдящіе за его дѣятельностью, и я думаю даже, что напряженность этого вниманія далеко превосходитъ то, что въ этомъ смыслѣ выпадало въ свое время на долю признанныхъ звѣздъ первой величины нашей беллетристики. Но есть также въ числѣ читающей публикѣ люди, для которыхъ г. Ивановъ не представляетъ никакого интереса. Это зависитъ совсѣмъ не отъ степени и свойствъ его таланта, а оттого, что вообще время всероссійскихъ фаворитовъ прошло или, по крайней мѣрѣ, проходитъ. Очень трудно найти задачу, которая интересовала бы примѣрно всѣхъ читателей, а тѣмъ паче трудно найти точку зрѣнія для трактованія этой задачи, которая бы всѣмъ угодила. И тутъ не о чемъ печалиться, потому что дѣло сводится опять-таки на то же исчезновеніе «литературнаго человѣка», на прекращеніе уваженія къ абстрактной литературѣ и на выясненіе интимныхъ задачъ и стремленій общества путемъ литературы. Если въ обществѣ существуютъ разнообразныя стремленія и задачи, такъ что однѣ близки сердцу такихъ то людей, а другія—иныхъ, то отраженіе этого порядка вещей на литературѣ совершенно законно, необ-

*) Тогдашній псевдонимъ Г. И. Успенскаго.

ходимо и свидѣтельствуетъ отнюдь не о паденіи литературы, а, напротивъ, о ея жизненности. Еслибы судьба г. Иванова стояла совсѣмъ одиноко, тогда можно бы было, конечно, объяснить ее личными его особенностями, не подлежащими никакимъ обобщеніямъ и не дающими права строить на нихъ какія-нибудь заключенія о современномъ состояніи литературы. Но дѣло стоитъ не такъ. Въ наличности нѣтъ ни одного всероссійскаго фаворита изъ сравнительно молодыхъ беллетристовъ, и если вы потрудитесь обсудить причины этого явленія, то, оставляя въ сторонѣ вопросъ о талантѣ, вездѣ найдете ту же возможность всероссійскаго фаворитизма, которая, впрочемъ, понятна и a priori. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, заинтересовать, напримѣръ, даже чрезвычайно просвѣщеннаго желѣзнодорожнаго дѣятеля или губернскую львицу интимнѣйшими душевными волненіями нынѣшняго порядочнаго молодого человѣка? Между тѣмъ, какъ прежде стоило только талантливо разсказать исторію любви этого молодого человѣка, чтобы заставить такъ или иначе заиграть золову арфу души такого же точно дѣльца и такой же точно львицы. Я беру, конечно, рѣзкій примѣръ: не все только «про любовь намъ сладкій голосъ пѣлъ» и прежде, и читатели не сплошь изъ дѣльцовъ и львицъ состояли. Но общее положеніе дѣла, полагаю, намѣчено мною вѣрно. Задачи, напримѣръ, «Записокъ Охотника» Тургенева или слабыхъ, забитыхъ людей Достоевскаго были такъ общи и элементарны, что могли интересовать примѣрно всю тогдашнюю, сравнительно мало образованную Россію, со включеніемъ дѣльцовъ и львицъ. А по нынѣшнему времени эти задачи слишкомъ неопредѣленны. Отношенія обострились, и если нынѣ люди, вздыхающіе по добрымъ старымъ временамъ, должны довольствоваться вмѣсто Тургенева и Гончарова какими-нибудь «Бархатными когтями», или уголовнымъ романомъ, или произведеніями г. Авсѣенки, то плакать объ этомъ нечего.

Есть, однако, и еще одна сторона вопроса. Вернемся къ г. Иванову. Почему этотъ несомнѣнный талантъ такъ склоненъ къ оборваннымъ очеркамъ и къ пересыпанію художественныхъ образовъ и картинъ комментаріями публицистическаго свойства? Вы видите, что человѣкъ этотъ по натурѣ художникъ и большой, то-есть обладаетъ сильною творческою способностью а между тѣмъ какія то стороннія обстоятельства заставляютъ его не полагаться на свою изобразительную способность. Конечно, тутъ, какъ это и всегда бываетъ, не одна причина дѣйствуетъ. Нынѣшній беллетристъ прежде всего не такъ обставленъ, чтобы сидѣть цѣлыми годами надъ одной вещью, постепенно обработывая и подчищая ее. Затѣмъ, тутъ сказывается извѣстная страстность отношенія къ дѣлу: человѣкъ хватаетъ для выраженія своихъ мыслей и чувствъ первое попавшееся оружіе: попался ему удачный образъ, онъ пускаетъ его въ ходъ, а нѣтъ—такъ онъ и самъ выскакиваетъ впередъ и аргументируетъ, и поясняетъ прямо отъ своего собственнаго лица. Писатель самъ переживаетъ въ моментъ писанія тѣ психическіе процессы, которые совершаются въ его дѣйствующихъ лицахъ или въ томъ, повидимому, произвольно выбранномъ лицѣ, съ точки зрѣнія и отъ имени котораго ведется разсказъ. Переживаетъ совсѣмъ не въ смыслѣ повторнаго акта, простого воспроизведенія извѣстной группы наблюденій и чувствъ, законченной, уложенной на свое мѣсто въ памяти, сданной, такъ сказать, въ архивъ и вытребывающейся для справокъ. Такъ какъ дѣло это очень интимное и въ душу отдѣльнаго писателя по поводу его залѣзать не приходится, да и ошибиться можно, то я замѣчу, что въ отношеніи отрывочности и незаконченности г. Ивановъ стоитъ опять-таки не одиноко. Романовъ, повѣстей, разсказовъ, драмъ, комедій пишется теперь не меньше, чѣмъ когда-нибудь, но всѣ они рѣзко раздѣляются на двѣ группы: все законченное—старо, все новое—незакончено: старо или ново по мотивамъ, закончено или незакончено по формѣ. И это, очевидно, не простая случайность. Что старыя, давно знакомыя, изжитыя темы и мотивы являются въ законченномъ видѣ, хотя разрабатываются различными степенями таланта и бездарности—въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, достойнаго разсмотрѣнія. Понятно, что, имѣя передъ глазами образцы часто высокаго достоинства, не мудрено даже для бездарности скроить романъ, повѣсть, драму на мотивы, не счетное число разъ эксплоатированные. Посмотрите, напримѣръ, какъ округлены, несмотря на свою плоховатость, романы г. Авсѣенки, которому не даютъ спокойно спать лавры Льва Толстого. Посмотрите, какъ законченъ въ послѣднемъ романѣ самого Толстого, напримѣръ, очеркъ исторіи любви Карениной и Вронскаго, и какъ блѣденъ, отрывоченъ образъ Константина Левина, мотивированный въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ далеко не шаблоннымъ образомъ. Левинъ (покуда авторъ не направилъ его въ стойло) полонъ жажды обновленія, онъ хочетъ новой жизни, рѣзко отличной отъ всего, что онъ привыкъ кругомъ себя видѣть и что составляетъ для него предметъ насмѣшки, презрѣнія, него-

дованія и, въ лучшемъ случаѣ, сожалѣнія. Ему точно закрыты всѣ жизненные пути, по которымъ свободно и гордо гуляютъ остальныя дѣйствующія лица романа и которыя, по скольку онъ самъ къ нимъ причастенъ, являются для него источникомъ мучительныхъ процессовъ покаянія, стремленія вонъ, на волю, въ другія свѣжія сферы, въ тѣ самыя, куда Мефистофель приглашалъ Фауста на кухню вѣдьмъ. Это мотивъ въ русской беллетристикѣ совсѣмъ новый. И, пожалуйста, не смѣшивайте мотива съ темой, психологическаго момента съ фабулой разсказа. Если взять внѣшнюю только исторію людей, въ родѣ Левина, то написать на эту тему вполнѣ законченную беллетристическую вещь совсѣмъ не трудно, и примѣры эти, хотя въ очень ограниченномъ количествѣ—разъ, два, да и обчелся—однако, бывали. Но ввести въ разсказъ живую струю самаго психическаго процесса во всѣхъ его тонкостяхъ и подробностяхъ и, въ то же время, дать вещь цѣльную, законченную, которая сама за себя говоритъ, безъ авторскихъ комментаріевъ—въ высшей степени трудно. Психическій моментъ, о которомъ идетъ рѣчь, такъ новъ и оригиналенъ, что изображеніе его совершенно недоступно тому, кто лично на себѣ не переживалъ его, хотя отчасти. А тотъ, кто его переживаетъ, не можетъ отнестись къ дѣлу на столько спокойно, чтобы войти въ условныя рамки романа или драмы съ завязкой, развитіемъ, коллизіями и развязкой. Представьте себѣ, что самъ Левинъ вздумалъ писать романъ въ тѣ времена, когда онъ раздумываетъ о своемъ внутреннемъ состояніи на сѣнокосѣ или подвергаетъ себя строгому самодопросу въ разговорѣ съ Облонскимъ на охотѣ. Ясно, что романа онъ не напишетъ. Отъ всей своей привычной обстановки, а слѣдовательно и отъ обычныхъ мотивовъ романа онъ далекъ: если помните, для него въ это время и его возлюбленная Китти отступаетъ совсѣмъ на задній планъ. Свое же особенное психическое содержаніе онъ, естественно, не можетъ настолько, какъ говорятъ нѣмцы, объективировать, чтобы встать въ отношеніи къ нему въ положеніе посторонняго зрителя. Онъ самъ такъ полонъ тѣмъ психологическимъ мотивомъ, который одинъ только и способенъ его занимать, самъ такъ тревожно и скептически относится къ каждому своему шагу, что не можетъ не обрывать разсказа, не выскакивать впередъ и т. п. Подождите, пока уляжется это душевное смятеніе, завершится такъ или иначе психическій процессъ—и Левины дадутъ беллетристику, не уступающую старой въ цѣльности и законченности. Теперь же они, обладая, можетъ быть, огромными талантами, или вовсе не принимаются за романъ, или расходуются на пробы, по необходимости не удачныя и не доходящія по этому до читателей, или, наконецъ, даютъ обрывки и помѣсь беллетристики съ публицистикой. А между тѣмъ, все чуткое и очень талантливое непремѣнно должно притягиваться сюда, потому что тупая и неразборчивая бездарность новыхъ путей не ищетъ и осыпаетъ читателей старыми погудками на старый ладъ, приправляя ихъ для пряности уголовщиной.

Такимъ образомъ, голый фактъ пониженія уровня беллетристики нельзя не признать. Но онъ свидѣтельствуетъ о ростѣ мысли, уясненіи идеаловъ, сближеніи литературы съ жизнью. Въ выработкѣ этого результата конечно, принимали косвеннымъ образомъ, огромное участіе и «Добролюбовъ, и его друзья», за что имъ вѣчная благодарность. Но не трудно видѣть, что исторія на нихъ не остановила своего теченія, что ростъ мысли и выясненіе идеаловъ безостановочно продолжаются. И нужно скорбѣть не о томъ, что мы имѣемъ мало законченныхъ беллетристическихъ произведеній, а объ томъ, что старыхъ погудокъ на старый ладъ печатается еще слишкомъ много. Это показываетъ, что мысль ростетъ, идеалы выясняются, становятся ближе сердцу писателей, но все это происходитъ въ очень маленькой кучкѣ людей, а все остальное пробавляется чѣмъ Богъ пошлетъ. Въ этомъ послѣднемъ направленіи мы видимъ не кажущееся только, а дѣйствительное паденіе беллетристики. Разборъ трехъ-четырехъ шаблонныхъ романовъ или драмъ, которымъ я теперь не могу заняться, показалъ бы съ полною ясностью, что иначе и быть не можетъ.

Совершенно то же самое замѣчаемъ мы и въ другихъ сферахъ литературы и не только литературы, а и жизни: рѣшительный прогрессъ въ небольшой сравнительно кучкѣ людей и пониженіе въ остальномъ. Это пониженіе, естественно сильнѣе бросающееся въ глаза, а потому выдаваемое за общее, безъисключительное положеніе дѣла, ни для кого не составляетъ тайны. Ему придумывались разныя объясненія. Г. Антоновичъ, бѣгло ихъ перечисляя, говоритъ объ одномъ изъ нихъ слѣдующее: «Говорятъ, что наша литература хирѣетъ и чахнетъ... оттого, что она не имѣетъ живой связи съ народомъ, то-есть съ простымъ народомъ и именно съ тѣмъ простымъ народомъ, который живетъ въ деревнѣ. Чего же можно ожидать, кромѣ фантазерства или мертвечины, отъ подобной кабинетной, книжной литературы, не видавшей и въ глаза тѣхъ людей, на которыхъ должна быть направляема ея забот-

ливость? Къ сожалѣнію, люди, разсуждающіе такимъ образомъ, не говорятъ, когда именно литература порвала живую связь съ деревенскимъ народомъ и существовала-ли, вообще, когда-нибудь такая связь, такъ что остается неизвѣстнымъ, къ какому времени относится ихъ упрекъ, къ современной-ли только литературѣ или вообще ко всей новой и древней русской литературѣ, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ она начала существовать—съ самаго появленія «Слова о полку Игоревѣ». Эта мысль о разобщенности между литературою и деревенскимъ народомъ есть ничто иное, какъ повтореніе подобной же мысли, выражавшейся нѣкогда знаменитой фразой: «мы оторвались отъ почвы». Въ свое время мы подробно занимались въ «Современникѣ» этою мыслью или, лучше, этой фразой, оцѣнили ея значеніе и разъяснили ея настоящій смыслъ или, лучше сказать, отсутствіе въ ней опредѣленнаго смысла и осязательной мысли, и при этомъ льстили себя надеждой, что мы окончательно, навѣки похоронили эту мысль или фразу, а вотъ она ожила и возродилась изъ своего праха. Эта мысль, какъ въ первомъ ея изданіи—въ видѣ оторванія отъ почвы, такъ и во второмъ — въ видѣ разрыва связи съ деревенскимъ народомъ, находится въ родствѣ съ славянофильствомъ».

Одно изъ двухъ: или г. Антоновичъ стрѣляетъ въ этой тирадѣ изъ пушки по воробью, или онъ уклоняется отъ оцѣнки, дѣйствительно, серьезной мысли. Представленное имъ объясненіе неудовлетворительнаго состоянія нашей литературы было высказано въ «Недѣлѣ», и хотя и обратило на себя нѣкоторое вниманіе, но никакой поддержки себѣ въ литературѣ не встрѣтило. Напротивъ, оно было отвергаемо съ самыхъ различныхъ точекъ зрѣнія и было, вообще, такъ плохо обставлено, что имъ, не смотря на удобный случай, почти не воспользовалась даже наиболѣе славянофильствующая и шовинистская газета—«Новое Время». И теперь, когда сама «Недѣля», кажется, отступилась отъ своего объясненія или, по крайней мѣрѣ, оставила его втунѣ, теперь не представляется никакой надобности такъ пространно характеризовать его, да еще и объявлять на него походъ. Но, сдѣлавъ въ объясненіи «Недѣли» нѣкоторыя, съ виду маленькія, а, въ сущности, очень большія поправки, мы получимъ мысль, заслуживающую полнаго вниманія г. Антоновича и редакціи «Слова». Поставьте только вмѣсто словъ: «живая связь съ деревенскимъ народомъ» слова: живая связь съ интересами народа, пожалуй, даже деревенскаго, такъ какъ большинство русскаго народа деревенское. Тогда не будетъ надобности для разысканія момента «разобщенія» подниматься ко временамъ царя Гороха и Слова о полку Игоревѣ, а достаточно будетъ для г. Антоновича подняться къ собственнымъ его воспоминаніямъ. Въ тѣ времена, когда г. Антоновичъ еще только началъ украшать собою горизонтъ русской литературы, живая связь литературы съ интересами народа несомнѣнно существовала, хотя, можетъ быть, лично для г. Антоновича она и не была вполнѣ ясна. Это было время освобожденія крестьянъ, котораго, въ такихъ или иныхъ формахъ, вся литература, за малыми исключеніями, горячо, разумѣется, желала. Пусть многіе играли роль послушнаго эхо, пусть многіе горячились просто въ восторгѣ чувствъ, которому неизбѣжно предстояло скоро охладѣть, пусть, вообще, тутъ было много напускнаго, но литература, во всякомъ случаѣ за честь себѣ поставляла стоять на стражѣ интересовъ народа, такъ что даже отъявленные крѣпостники принуждены бывали надѣвать соотвѣтственную маску. Имъ приходилось стоять на точкѣ зрѣнія «улучшенія быта» и доказывать, что, въ собственныхъ интересахъ мужика, его, лѣниваго, порочнаго и пьянаго, надо держать въ уздѣ, или что, опять-таки въ его собственныхъ интересахъ, его надо освободить отъ земли. Такимъ образомъ, интересы народа, волей-неволей, стали центромъ всѣхъ литературныхъ распрей. Это былъ кардинальный вопросъ, и очень ошибся бы тотъ, кто вздумалъ бы утверждать, что тогдашняя передовая литература билась единственно изъ-за просвѣщенія, свободы или какого-нибудь другого отвлеченнаго начала. Всего этого она хотѣла, конечно, но вмѣстѣ съ тѣмъ ясно понимала, что ни одно изъ этихъ благъ не можетъ быть достигнуто безъ прочнаго обезпеченія интересовъ народа. Въ этомъ смыслѣ рѣшались нетолько чисто практическіе вопросы о формахъ землевладѣнія, о выкупѣ и проч., но и теоретическіе вопросы—о значеніи науки, искусства, философіи. И литература была права. Она обнаружила большой тактъ и чувство самосохраненія, потому что у насъ, за малымъ развитіемъ культурныхъ классовъ, литература, не говоря о прочемъ, даже изъ чувства самосохраненія должна искать опоры въ интересахъ народа. Разумѣю опору нравственную: литературѣ не во что больше вѣрить, не на что надѣяться, нечего любить. Затѣмъ наступило, по волѣ судьбы, «разобщеніе», продолжающееся и до сихъ поръ. Однако, мысль объ интересахъ народа, какъ кардинальномъ вопросѣ литературы, не затерялась безслѣдно. Напротивъ, она, съ перерывами, опредѣляемыми внѣшними причинами, продолжала развиваться, такъ что теперь нѣсколько да-

же странно видѣть отсутствіе ея въ литературныхъ обозрѣніяхъ «Слова». Я, признаться, былъ увѣренъ, что встрѣчу ее въ видѣ profession de foi новаго журнала и потому именно такъ искренно желалъ ему успѣха. Впрочемъ, это въ скобкахъ.

Повидимому, нынѣшнія разсужденія объ интересахъ народа осложнились однимъ не совсѣмъ подходящимъ привѣскомъ. Можно очень часто и въ устныхъ разговорахъ услышать, и въ печати увидѣть толки о величіи «правды народной», о многоразличныхъ достоинствахъ мужика и т. п. Толки эти принимаютъ разнообразныя формы, до такой степени разнообразныя, что вводить ихъ всѣ за одну скобку отнюдь не полагается. Безспорно, что нѣкоторыя изъ нихъ крайне несимпатичны по своей приторности, фразистости, осложняющимся еще, вдобавокъ, національнымъ самохвальствомъ, худшимъ и пагубнѣйшимъ изъ всѣхъ грѣховъ, какими можетъ грѣшить литература. Однако, это не единственная существующая форма толковъ о величіи «народной правды». Чтобы найти другую форму, стоитъ только развернуть въ томъ же «Словѣ» прекрасную статью г-жи Ефименко—«Трудовое начало въ народномъ обычномъ правѣ». Статья эта дѣйствительно очень хороша, хотя нѣсколько натянута. Г-жа Ефименко желаетъ доказать, что по народному обычному праву трудъ есть единственный источникъ собственности и что то же уваженіе къ труду проходитъ по всѣмъ отдѣламъ права. Между прочимъ, авторъ указываетъ, что «даже женихъ требуетъ съ невѣсты, которая нарушила заключенный свадебный договоръ, вознагражденія за рабочій день, потраченный на проѣздъ къ ней». Кромѣ фактическаго выясненія роли труда въ обычномъ правѣ и опредѣленія типическаго отличія обычнаго права отъ дѣйствующаго законодательства, авторъ имѣетъ въ виду показать и преимущество перваго передъ послѣднимъ, то-есть, показать величіе народной правды. Едва-ли, однако, возможно объяснить всѣ приводимые авторомъ случаи торжествомъ трудового начала и едва ли можно во всѣхъ подобныхъ случаяхъ видѣть нѣчто очень хорошее и желательное съ точки зрѣнія самой г-жи Ефименко. Въ кіевскихъ «Университетскихъ Извѣстіяхъ» г. Кистяковскій сообщаетъ слѣдующій характерный фактъ. Мировой судья одной изъ южно-русскихъ губерній получилъ прошеніе такого содержанія: «Крестьянинъ села Ж. Я. Д., въ прошломъ 1874 г., нанялъ меня къ своей женѣ, дабы у нея было дитя, съ уплатою мнѣ 10 руб. и такъ какъ въ настоящемъ 1875 г. родилось у его жены отъ меня дитя мужскаго полу, то я началъ требовать отъ него слѣдуемые 10 руб., но Я. Д. началъ еще смѣяться и ругать меня непристойными словами, а по сему честь имѣю покорнѣйше просить вызвать въ камеру свою отвѣтчика Я. Д. и свидѣтелей, знающихъ по этому дѣлу, Т. Д., С. Д. и Л. Н., что и священнику извѣстно, и не оставить рѣшеніе о взысканіи слѣдующихъ 10 р. и судебныхъ путевыхъ издержекъ 15 р., въ чемъ и подписуюсь крестьянинъ с. Ж. Я. Д. 1875 г. іюля 27-го дня». Привлеченные къ уголовной отвѣтственности, участники этой сдѣлки и свидѣтели въ первый разъ узнали отъ полиціи, что за подобныя дѣйствія имъ грозитъ тяжкая уголовная кара. Можетъ быть, въ этомъ случаѣ и возможно открыть торжество трудового начала (тогда нужно признать его и въ проституціи), но приплести сюда величіе народной правды едва-ли у кого повернется языкъ. Это нисколько, однако, не отнимаетъ у статьи г-жи Ефименки ея общаго значенія. Въ принципѣ, я полагаю, она совершенно права. Несомнѣнно, что трудъ способенъ быть источникомъ и нормою права; что гражданскому праву предстоитъ большая переработка въ этомъ направленіи, что нынѣшнему спеціалисту юристу очень трудно съ этимъ согласиться и даже понять юридическое значеніе труда (если г. Гольмстенъ, возражавшій г-жѣ Ефименко въ «Русскомъ Обозрѣніи», доказалъ что-нибудь, такъ только это); что народное обычное право типически отлично отъ дѣйствующаго писанаго закона, что трудъ, какъ юридическій факторъ, играетъ въ обычномъ правѣ весьма важную роль и поэтому самому народная правда отличается нѣкоторыми драгоцѣнными особенностями, совпадающими съ нѣкоторыми крайними результатами, добытыми мыслью цивилизованныхъ людей.

Въ этихъ общихъ положеніяхъ я не вижу нетолько ничего такого, что свидѣтельствовало бы о паденіи русской мысли со временъ «Добролюбова и его друзей», но, напротивъ, вижу дальнѣйшее ея развитіе, углубленіе и выясненіе. И въ тѣ времена приходилось, по поводу разсужденій о лѣности, порочности и пьянствѣ мужика, доказывать, что мужикъ—такой же человѣкъ, какъ мы съ вами, а во многихъ отношеніяхъ даже получше будетъ. У Добролюбова можно найти (въ статьяхъ о Маркѣ Вовчкѣ и другихъ) чрезвычайно яркія въ томъ отношеніи страницы. Такое отношеніе къ народу совпадало и съ другими задушевными вещами тогдашней литературы. Будучи поставленъ правильно и во всей своей широтѣ, вопросъ о народной правдѣ обнимаетъ нетолько русскій народъ, а весь трудящійся людъ всего цивилизованнаго міра. Недаромъ, кажется г. Достоевскій острилъ насчетъ «всемірнаго мужика» или «всемужика». От-

сюда вытекало извѣстное, вполнѣ опредѣленное отношеніе къ исторіи и результатамъ европейской цивилизаціи и нашихъ собственныхъ, заимствованныхъ у нея формъ культуры. Если нынѣ это отношеніе стало еще яснѣе, такъ что самое слово «западникъ», хотя и повторяемое любящими повторять зады, утратило всякій смыслъ, то и въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго признака паденія или пониженія.

Надо, однако, замѣтить, что точка зрѣнія г-жи Ефименки, вполнѣ справедливая въ своемъ основаніи, представляетъ двѣ «вѣроломныя покатости», какъ выразился г. Антоновичъ въ переводѣ «Исторіи революціи» Луи Блана. И по покатостямъ этимъ можно скатиться въ двѣ довольно-таки непривлекательныя трущобы. Во-первыхъ, можно, разъ зарядившись, искать нравственной санкціи для несомнѣнныхъ безобразій, совершаемыхъ въ народѣ и народомъ, или же закрывать на нихъ глаза, притворяясь, что не видишь. Выгоды тутъ, конечно, мало. И прежде всего представляется вопросъ: если народъ въ самомъ дѣлѣ всегда, вездѣ и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, чувствахъ и помышленіяхъ такъ хорошъ, то, значитъ, вѣка безправія, рабства и нищеты прошли для него даромъ, не наложивъ на него пятна и порока, а, чего добраго, даже способствовали его улучшенію. Тогда изъ-за чего же хлопотать и биться? изъ-за чего жить на этомъ свѣтѣ, гдѣ рабство людей не портитъ? Надо разстаться со всѣми дорогими, кровью лучшихъ представителей человѣчества оплаченными идеалами и сложить руки, отказавшись даже понимать что-нибудь въ исторіи и въ ходѣ человѣческихъ отношеній. Къ счастью, или къ несчастью, дѣло стоитъ не такъ. Къ счастью или къ несчастью, этотъ мужикъ, требующій вознагражденія за трудъ дѣтопроизводства, не составляетъ продукта самозарожденія, а воспитанъ длиннымъ рядомъ гнетущихъ обстоятельствъ. И пріискивать нравственную санкцію для него—значитъ пріискивать санкцію для этихъ обстоятельствъ. Есть, конечно, и другой исходъ: можно лгать, можно замалчивать горькіе факты или набрасываться на тѣхъ, кто ихъ правдиво изображаетъ. Такъ набросилась на г. Иванова «Недѣля», придавъ его правдивымъ наблюденіямъ такой общій характеръ, какого они, по мысли самого автора, отнюдь не имѣютъ. Но это ужъ совсѣмъ послѣднее дѣло. Напоминать притчу о страусѣ, прячущемъ голову, даже какъ-то совѣстно, до такой степени она часто повторяется. Общій принципъ уваженія къ народной правдѣ совсѣмъ не требуетъ оправданія или скрыванія тѣхъ ея изъяновъ, которые въ конкретныхъ случаяхъ необходимо должны обнаруживаться подъ вліяніемъ тяжкихъ внѣшнихъ условій.

Подвиньтесь еще немного и вы очутитесь въ другой трущобѣ, еще худшей. Переходъ отъ нравственныхъ идеаловъ къ понятіямъ о мірѣ, какъ онъ есть, очень легокъ и естественъ, а потому, зарядившись извѣстнымъ образомъ, можно, пожалуй, потребовать, во имя народной правды, чтобы всѣ вѣрили и исповѣдывали, что земля на трехъ китахъ стоитъ. Г. Достоевскій очень недалеко ушелъ отъ такого требованія или, вѣрнѣе, чуть-чуть не дошелъ до него и смѣло противопоставилъ свое приближеніе къ китовому міросозерцанію, въ качествѣ міросозерцанія національно-русскаго или славянскаго всему западу. Но г. Достоевскій есть самый смѣлый изъ нынѣ славянофильствующихъ трусовъ и наиболѣе готовый къ самоуниженію изъ всѣхъ наличныхъ самохваловъ. Трусы и самохвалы средняго калибра довольствуются менѣе опредѣленнымъ указаніемъ на преимущества востока надъ западомъ и умалчиваютъ о трехъ китахъ. Они просто говорятъ, что русскій человѣкъ много лучше европейскаго, и это очень натурально, потому что, вѣдь, они и сами русскіе люди, значитъ, тоже могутъ ослѣпить Европу причитающимся на ихъ долю изъ національнаго фонда великолѣпіемъ. Въ эту трущобу можно, впрочемъ, ввалиться, даже минуя трехъ китовъ, и сама г-жа Ефименко подходитъ къ ней, хотя, по всей вѣроятности, чисто случайно и для себя безопасно. Она находитъ факты, аналогичные русскому обычному праву, въ обычномъ правѣ сербовъ и болгаръ и готова ихъ признать отличительными признаками обще-славянскихъ понятій о правѣ. Дальше она не идетъ и поступаетъ, разумѣется, очень благоразумно, хотя могла бы нѣчто прибавить къ своимъ выводамъ, а именно, что аналогичные факты встрѣчаются у всѣхъ первобытныхъ народовъ безъ различія не только племенъ, а даже расъ. Однако, она всетаки во время останавливается. Но отсюда уже два шага до вавилонской башни, построенной въ честь славянскаго начала, попирающаго подъ ноги весь міръ. Одинъ удовольствуется попираніемъ нравственнымъ, сознаніемъ превосходства славянъ, а, вотъ, недавно продавался на улицахъ какой-то лубочный листокъ, въ которомъ предсказывалось, что Россія и силою оружія подведетъ себѣ подъ ноги весь міръ.

Я, кажется, не скрываю опасностей и скверностей, заполоняющихъ русскую литературу по поводу разсужденій о народѣ. Но я утверждаю также, что отдѣлить здѣсь мякину отъ зерна, при добромъ желаніи, очень легко. Если вы увидите, что человѣкъ скры-

ваетъ горькіе факты народной жизни, замалчиваетъ ихъ или, во имя правды народной, требуетъ молчанія объ нихъ, или отвергаетъ самую ихъ возможность, это—мякина. Если человѣкъ, возвеличивая выше лѣса стоячаго народъ, подставитъ вмѣсто него, безсознательно или сознательно, націю, а, слѣдовательно, въ томъ числѣ и себя и присныхъ своихъ, это—мякина. Мякины, въ особенности второго сорта, расплодилось въ нынѣшней литературѣ очень много, такъ много—что я сомнѣваюсь, чтобы съ ней могъ справиться самъ Геркулесъ, не смотря на практику по подряду очистки Авгіевыхъ конюшенъ. Но изъ-за мякины не видѣть зерна, по малой мѣрѣ, непроницательно. Я утверждаю, что зерно есть, что оно прорастаетъ, вырастетъ, дастъ цвѣтъ и плодъ. Я душевно скорблю, что г. Антоновичъ этого не замѣчаетъ или не хочетъ замѣтить. Скорблю я также о томъ, что г. Антоновичъ долженъ былъ оборвать свою рѣчь на полусловѣ. Скорблю совершенно искренно, потому что, вотъ, и самому мнѣ приходится обрывать на полусловѣ...

Обращаюсь къ «Краткому объясненію» г. ла-Серды, напечатанному въ № 3 «Слова». Я не знаю, что именно имѣлъ въ виду г. Антоновичъ, называя это произведеніе непристойнымъ. Но оно дѣйствительно въ высокой степени непристойно, и я усердно прошу читателя прочитать все нижеслѣдующее, не скучая цитатами, которыя мнѣ придется дѣлать, потому что болѣе поучительный полемическій эпизодъ едва-ли скоро можетъ встрѣтиться.

Занавѣсъ поднимается. На сценѣ стоитъ, въ величественной позѣ, г. ла-Серда съ «толедской шпагой» въ рукахъ, которою онъ вооружился для парированія ударовъ, наносимыхъ ему «грязною шваброю» противника. Противникъ этотъ—я. Г. ла-Серда этою самою эффектною картиною открываетъ свою полемику. Затѣмъ идутъ щедрые укоры въ клеветѣ, инсинуаціяхъ, наглости, невѣжествѣ, отсталости и проч. и, между прочимъ, слѣдующій мой портретъ, распространенію котораго я готовъ служить перепечаткой: «Противникъ мой, г. Николай Михайловскій, находится въ привилегированномъ положеніи по отношенію, по крайней мѣрѣ, къ цѣлому разряду обычныхъ читателей почтеннаго журнала, въ которомъ онъ такъ давно помѣщаетъ свои странныя, но безспорно отмѣченныя печатью своеобразнаго таланта произведенія, свои удивительныя покаянныя исповѣди, свои курьезныя критики по всѣмъ отдѣламъ человѣческаго знанія или незнанія, отрывки изъ своего универсальнаго трактата de omni re scibili, популярно-научные фарсы, философскія оффенбахіады и многое, многое, что служитъ рѣдко къ поученію, но почти всегда къ увеселенію». И т. д. еще строкъ двадцать въ томъ же тонѣ. Во всемъ этомъ приступѣ чрезвычайно много благородной гордости и рыцарской отваги, такъ что даже Сидъ-Кампеадоръ могъ бы позавидовать толедской шпагѣ г. ла-Серды. Но рыцарственный ла-Серда не останавливается, разумѣется, на голословныхъ показаніяхъ. Нѣтъ, онъ слишкомъ благороденъ для того, чтобы не перейти отъ приступа къ самому дѣлу, то есть—фактическому уличенію меня во всѣхъ семидесяти семи грѣхахъ, упомянутыхъ въ приступѣ.

Блеснула шпага разъ и два—
И покатилась голова...

Покатилась моя грѣшная голова, отрубленная славнымъ рыцаремъ ла-Сердой... Такъ должно бы было кончиться наше единоборство, по предположенію славнаго рыцаря. Къ сожалѣнію, однако, толедская шпага нѣсколько измѣняетъ своему благородному владѣльцу и совсѣмъ нечаянно вонзается прямо въ его собственную благородную грудь.

Дѣло въ томъ, что, прочитавъ статью г. ла-Серды, я былъ совершенно пораженъ ея лживостью и, главное, степенью ея лживости. Мнѣ не привыкать стать встрѣчать въ нашей печати ложь, но такого «настоящаго лжесвидѣтельства», какимъ переполнено «Краткое объясненіе», я давно не встрѣчалъ и даже не знаю, встрѣчалъ ли когда нибудь. Но редакція «Слова» говорила такъ много хорошихъ словъ на счетъ добросовѣстности, солидарности, приличія и проч., а г. Топорнинъ такъ убѣдительно доказывалъ мнѣ ненужность многоглаголанія и многописанія, что я рѣшилъ употребить рѣдко-практикуемый у насъ пріемъ для выясненія непристойностей толедской шпаги. Я лично отправился въ редакцію «Слова», и объяснился, примѣрно, такъ:

Я не намѣренъ утруждать почтенную редакцію разговоромъ о личныхъ нападкахъ г. ла-Серды,—пусть у него въ рукахъ сверкаетъ толедская шпага, блещущая всѣми достоинствами, пусть я вооруженъ только грязной шваброй, перепачканной семьюдесятью семью грѣхами. Но статья г. ла-Серды переполнена фактической ложью, что я берусь доказать почтенной редакціи сейчасъ же, не выходя изъ комнаты. Напримѣръ, въ «Краткомъ объясненіи» говорится, что авторъ «тождества Дюринга» и г. Скальковскаго, никогда, разумѣется, не утверждалъ». Но если вы потрудитесь развернуть № 4 (послѣдній) «Знанія» на страницѣ 35 статьи г. ла-Серды, то найдете слѣдующія строки: «Дюрингъ—извѣстный чудакъ. Мастеръ на всѣ руки, экономистъ,

философъ, критикъ, профессоръ, онъ точно нашъ Скальковскій, все знаетъ и пишетъ столько, что, кажется, для него одного работаетъ цѣлая бумажная фабрика въ Берлинѣ». Я передалъ эти слова такъ: «г. ла-Серда утверждаетъ, будто Дюрингъ есть все равно что нашъ Скальковскій». Теперь г. ла-Серда уличаетъ меня въ неправдѣ. Но, гг. редакторы, посудите сами,—есть ли какая-нибудь разница между выраженіями: «точно нашъ Скальковскій» и «все равно, что нашъ Скальковскій»? и извратилъ ли я хоть сколько нибудь отношеніе г. ла-Серды къ Дюрингу? Значитъ, г. ла Серда лжесвидѣтельствуетъ. Но это и многія другія лжесвидѣтельства толедской шпаги можно еще, при добромъ желаніи и достаточной увертливости, толковать такъ и иначе. Поэтому, господа, я не буду утруждать ваше вниманіе ихъ разоблаченіемъ. Хорошій охотникъ не станетъ тратить заряды на десятокъ зайцевъ, когда можетъ однимъ выстрѣломъ убить медвѣдя. Я укажу вамъ пунктъ, относительно котораго ни вы, ни самъ г. ла-Серда, имѣй онъ даже сотню толедскихъ шпагъ въ рукахъ, ни какой либо посторонній человѣкъ, словомъ, никто не усомнится. Позвольте прочитать вамъ страницу 152 «Краткаго объясненія». Тамъ говорится, что г. Лесевичъ «цитируетъ въ своемъ сочиненіи *цѣлыя страницы* изъ книги г. П. Лиліенфельда «Мысли о соціальной наукѣ будущаго»; что я, отрицающій это, дѣлаю «лживое показаніе», «извращаю истину», «дѣлаю постыдный промахъ», «выкидываю колѣнце sui generis»; «пускаю въ ходъ инсинуацію», наконецъ (вмѣстѣ съ г. Лесевичемъ) «*эксплуатирую*» (курсивъ г. ла-Серды) съ какими-то неблаговидными цѣлями какія-то столь же неблаговидныя причины, способствовавшія быстрой распродажѣ книги г. Лиліенфельда. Вы видите, господа, что это цѣлый обвинительный актъ, къ которому, кажется, никто не съумѣлъ бы прибавить ни одного комка грязи, и все это за то, что г. П. Л., цитируемый г. Лесевичемъ, не имѣетъ, по моему мнѣнію, ничего общаго съ г. Павломъ Лиліенфельдомъ. Вотъ вамъ книга г. Лесевича, вотъ вамъ книга г. Лиліенфельда. Найдите у г. Лесевича, не то что «цѣлыя страницы», а хоть одну строчку, только одну строчку изъ книги г. Лиліенфельда—и я подпишусь подъ «Краткимъ объясненіемъ» г. ла-Серды, публично объявляю себя низкимъ лжецомъ, клеветникомъ и проч. Но, милостивые государи, если вы этой строчки не найдете, то, предоставляя вамъ самимъ пріискать названіе для поведенія благородной толедской шпаги, я просилъ бы васъ заявить публично, что вы были введены г. ла-Сердой въ заблужденіе.

Я долженъ благодарить редакцію «Слова» за любезный пріемъ и готовность загладить ошибку, сдѣланную ею, благодаря ла-Сердѣ, и поданную публикѣ подъ соусомъ грязной брани и еще грязнѣйшихъ намековъ. Принявъ отъ меня нужные документы, то-есть книги гг. Лесевича и Лиліенфельда, редакція обѣщала мнѣ переговорить съ самимъ рыцаремъ ла-Сердой и увѣдомить меня тотчасъ же о результатѣ переговоровъ. И, дѣйствительно, я на другой же день получилъ письмо одного изъ редакторовъ, г. Коропчевскаго, изъ котораго видно, что благородный рыцарь Сидъ-Кампеодоръ ла-Серда, будучи приглашенъ исполнить предложенную мною задачу, долженъ былъ признаться, что онъ... ошибся! Сознавая неловкость своего положенія и необходимость выйти изъ него публично, редакція обѣщала мнѣ либо вытребовать отъ славнаго рыцаря письменное покаяніе для напечатанія въ газетахъ, либо напечатать объясненіе отъ себя. До сихъ поръ я еще жду исполненія этого обѣщанія... *).

Хорошо, пусть ошибся. Но какъ назвать человѣка, который, развязно разсуждая о философской литературѣ, не умѣетъ отличить г. П. Л. отъ г. Павла Лиліенфельда?

Какъ назвать человѣка, который пишетъ критическую статью о книгѣ, прочитавъ ее черезъ пятое въ десятое (потому что всѣ цитаты г. Лесевича сопровождаются точнымъ указаніемъ заглавій книгъ и журнальныхъ статей, на которыя онъ ссылается)?

Какъ назвать человѣка, разсыпающаго въ печати, *по ошибкѣ*, брань и до непонятности грязные намеки?

Какъ назвать человѣка, который валитъ упреки въ клеветѣ, наглости и лжи съ собственной больной головы на чужую здоровую?

Рыцарь ла-Серда! Какъ васъ назвать? Выбирайте себѣ сами имя изъ любаго лексикона—испанскаго, русскаго, какого хотите... А я обращусь только съ маленькимъ совѣтомъ къ моимъ товарищамъ по журнальному дѣлу, гг. редакторамъ газетъ и журналовъ, къ которымъ когда-нибудь обратится г. ла-Серда съ предложеніемъ своихъ драгоцѣнныхъ услугъ. Одинъ французскій слѣдователь, принимаясь за уголовное дѣло, спрашивалъ прежде всего: гдѣ женщина? Онъ былъ увѣренъ, что безъ женщины не можетъ обойтись ни одно преступленіе. Это

*) Строки эти были уже набраны, когда я получилъ письмо г. Коропчевскаго съ извѣщеніемъ, что редакція «Слова», по какимъ-то причинамъ (признаюсь, я не понялъ по какимъ), отказывается напечатать свое разъясненіе въ газетахъ, а откладываетъ его до ближайшаго номера «Слова».

гораздо парадоксальнѣе, чѣмъ слѣдующее мое предложеніе: какой бы благородный видъ не имѣла статья г. ла-Серды, какія бы высокія чувства въ ней ни выражались и на какія бы обширныя знанія автора въ ней ни намекалось—ищите: гдѣ «ошибка»?

III *).

Хвастовсто и его исторія.—Хвастовство «Недѣли».—Умъ и чувство, какъ факторы прогресса.—Горе не отъ ума.

Все имѣетъ свою исторію. Имѣетъ, и хвастовство: нынѣ люди хвастаютъ не тѣмъ, чѣмъ они хвастали двадцать лѣтъ тому назадъ, а тогда хвастали не тѣмъ, чѣмъ хвастали за двѣсти лѣтъ. Какъ ни мизеренъ кажется на первый взглядъ этотъ предметъ, но онъ заслуживаетъ полнаго вниманія. Исторія хвастовства, еслибы кто-нибудь взялся написать ее добросовѣстно и съ серьезнымъ убѣжденіемъ въ важности темы, могла бы составить прелюбопытную и преполучительную книгу. Степень умственнаго и нравственнаго развитія какъ цѣлыхъ обществъ, такъ и отдѣльныхъ личностей, ничѣмъ, можетъ быть, не выражается такъ ярко, какъ предметомъ и характеромъ хвастовства. Дикарь, измѣряющій свое достоинство количествомъ съѣденныхъ или, по крайней мѣрѣ, убитыхъ имъ людей; инквизиторъ, хвастающій числомъ сожженныхъ имъ еретиковъ и вѣдьмъ; кутила-помѣщикъ, хвастающій количествомъ истребленныхъ имъ напитковъ; купецъ, хвастающій тѣмъ, что ловко надулъ покупателя, и проч., и проч.—всѣ эти люди разсчитываютъ на одобреніе болѣе или менѣе обширнаго круга людей, и, слѣдовательно, въ ихъ хвастовствѣ отражается умственный и нравственный складъ всего этого круга. Дѣло это историческое, то-есть постоянно измѣняющееся вмѣстѣ съ общимъ развитіемъ личности и общества. Значитъ, и судить хвастуна можно только съ точки зрѣнія данной ступени развитія. Само по себѣ, хвастовство—не добродѣтель, конечно, не достоинство, но и не Богъ знаетъ какой недостатокъ. Смотря по содержанію, характеру и обстановкѣ, хвастовство можетъ быть очень наивнымъ, даже добродушнымъ; можетъ свидѣтельствовать о кое-какихъ общественныхъ инстинктахъ, потому что, какъ ни какъ, а хвастунъ дорожитъ уваженіемъ тѣхъ, передъ кѣмъ хвастаетъ; можетъ свидѣтельствовать, наконецъ, иногда даже объ очень тонкомъ умѣ, если разсчеты хвастуна оказываются вѣрными. Но точно также оно можетъ свидѣтельствовать и о глупости, и о полной нравственной дрянности. Какой-нибудь дикарь, гордо увѣшивающій себя скальпами враговъ, можетъ быть для своего времени и мѣста вполнѣ передовымъ человѣкомъ, цвѣтомъ и красой своего племени. Но еслибы среди насъ народился человѣкъ, способный хвастать скальпами, онъ былъ бы просто глупый звѣрь, котораго пришлось бы тотчасъ же устранить за совершенною невозможностью имѣть съ нимъ какое бы то ни было общеніе. И такова всегда участь людей, хвастающихъ тѣмъ, что перестало составлять для окружающихъ предметъ удивленія или уваженія, хотя само собою разумѣется, далеко не всегда требуется устраненіе подобныхъ запоздалыхъ хвастуновъ. Напримѣръ, у насъ въ старину пользовался почетомъ блѣдный поэтъ съ вѣчною печатью вдохновенія на челѣ, съ глазами, устремленными къ небу, самъ весь стремящійся куда то горѣ, а потому не видящій, что творится на землѣ. Эта по теперешнему странная фигура, не шутя, хвасталась своимъ отчужденіемъ отъ житейскихъ треволненій и битвъ, съ презрѣніемъ смотрѣла на мелкихъ мошекъ и букашекъ, борющихся за жизнь и находила свою аудиторію, своихъ поклонниковъ, гордившихся честью знакомства съ ротозѣемъ-поэтомъ. Представьте себѣ, что среди насъ явился бы такой ротозѣй. Устранять его, конечно, нѣтъ резона, но дѣла съ нимъ никакого нельзя имѣть, потому что, если онъ не понимаетъ своей запоздалости, которая такъ несомнѣнна, то, значитъ, онъ ровно ничего не понимаетъ. Въ старые годы, даже очень умный человѣкъ могъ хвастаться поэтическимъ ротозѣйствомъ, но теперь для этого нужно обладать значительнымъ скудоуміемъ. Точно также надо быть очень скорбнымъ главою, чтобы считать за честь знакомство съ такимъ мастодонтомъ, случайно проявившимся среди совсѣмъ неподходящей фауны, и хвастать этимъ знакомствомъ. Теперь всякій, маломальски смыслящій человѣкъ, требуетъ отъ поэта нетолько участія въ житейскихъ треволненіяхъ, а еще участія съ совершенно опредѣленнымъ характеромъ. Если поэтъ провозгласитъ, напримѣръ, что, дескать, «на этихъ людей, государь Пантелѣй, палки ты не жалѣй суковатыя», то однимъ это очень понравится, а другіе, пожалуй, и не хорошимъ словомъ поэта обзовутъ; одни будутъ гордиться рукопожатіемъ творца суковатой палки, а другіе—стыдиться. Съ этимъ, я думаю, и «Недѣля» согласится.

А причемъ тутъ «Недѣля»—тому слѣдуютъ пункты.

Все, сказанное о поэтѣ, приложимо и къ писателю вообще. Можетъ быть, гдѣ-нибудь въ дальнихъ уголкахъ великой и обильной земли нашей еще хранится представленіе

*) 1878, апрѣль.

о «литературномъ человѣкѣ», писателѣ вообще, какъ о странномъ какомъ-то знатномъ иностранцѣ, вызывающемъ благоговѣйное отношеніе къ себѣ, совершенно независимо отъ содержанія его писаній. Писатель, литераторъ—и конецъ: значитъ, какой-то особенный человѣкъ, на котораго даже посмотрѣть любопытно; а представляетъ-ли онъ изъ себя Богу свѣчу или чорту кочергу — это въ разсчетъ не берется. Съ перваго взгляда кажется, что въ такомъ отношеніи къ писателю сквозитъ глубокое уваженіе. На самомъ же дѣлѣ, тутъ уваженія нѣтъ ни капли, а есть только полная отчужденность: ты, молъ, не нашъ, намъ съ тобой не дѣтей крестить, не пиво варить, а посмотрѣть на знатнаго иностранца ничего, любопытно— можетъ быть, у него какіе узоры на лицѣ разрисованы. Отчужденность особенно выражается этимъ нежеланіемъ или неумѣніемъ проникнуть во внутреннюю жизнь писателя, посмотрѣть, чѣмъ, именно, живетъ его душа, какому онъ Богу молится. Въ дальнихъ уголкахъ это очень естественно. Но въ такихъ мѣстахъ, гдѣ писатель не есть rara avis, такое отношеніе къ нему просто нелѣпо. Я осмѣливаюсь утверждать, что тѣ дикіе люди, которые гонятъ какого-нибудь несчастнаго корреспондента, раскрывшаго губернскія тайны, и рекутъ на него всякъ золъ глаголъ, много ближе къ правильному пониманію вещей, чѣмъ тѣ, кто смотритъ на литератора, какъ на знатнаго иностранца. Они дики и звѣрообразны—это правда, но они, по крайней мѣрѣ, видятъ въ литературѣ нѣкоторую общественную силу, съ которой надо считаться, которая можетъ нанести имъ ущербъ, которая имъ, слѣдовательно, хоть и враждебна, но всетаки близка.

«Недѣля» съ этимъ, конечно, не согласится. Эта почтенная газета, сама, наконецъ, соскучившись наводить тоску на своихъ читателей, завела у себя двухъ фельетонистовъ, предающихся игривости по обязанности. Они чередуются, эти два бѣдные человѣка, и одну недѣлю одинъ, другую недѣлю другой стараются занимать общество. Оба они такъ другъ на друга похожи, что только опытный глазъ нашего брата, журналиста, можетъ различить въ одномъ нѣсколько больше старческой сентиментальности, въ другомъ—нѣсколько больше наивнаго самодовольства. Эта пара сапогъ проникнута чрезвычайнымъ уваженіемъ къ литераторамъ. Одинъ (сентиментальный старичекъ) вспоминаетъ:

«Помню маленькій домикъ въ три окошечка съ мезониномъ, на Карповкѣ, въ этомъ домѣ и *она* провела свою молодость. Теперь въ этомъ домѣ, кажется, фабрика Гризара, а тогда жилъ редакторъ одного извѣстнаго журнала и извѣстный переводчикъ Донъ-Кихота, не съ французскаго, а съ испанскаго. Въ этомъ домѣ свершилось мое первое литературное крещеніе. Я помню эти вечера, когда съ какимъ-то робкимъ чувствомъ вступалъ я въ этотъ домъ; внизу танцовала молодежь, и молодежь была умная. *Она* блистала своей красотой и какой-то особенной, привлекательной, молодящей граціей, чѣмъ-то такимъ хорошимъ, что становилось необыкновенно весело, тепло и уютно. Отецъ ея, редакторъ, работалъ на верху въ мезонинѣ и сходилъ сверху только въ 2 часа ночи. Своимъ появленіемъ онъ наводилъ на меня какое-то робкое смущеніе; онъ мнѣ казался необыкновеннымъ человѣкомъ, и я чувствовалъ себя какимъ-то маленькимъ. Я мечталъ походить на него, желалъ сдѣлаться писателемъ, но дерзкая мысль стать редакторомъ никогда даже и близко не подхопила ко мнѣ» (1878, № 8).

Другой (наивно самодовольный) вспоминаетъ.

«У меня еще съ юныхъ лѣтъ сохранилось какое-то инстинктивное уваженіе къ писателямъ. Помню, какъ я еще студентомъ первый разъ входилъ къ И. С. Тургеневу. Когда я остановился у его двери, мое сердце колотилось такъ сильно, что я нѣсколько минутъ долженъ былъ ждать, чтобы успокоиться и придти въ себя. Эту минуту я помню очень отчетливо. Но когда я дрожащей рукой робко потянулъ колокольчикъ и вошелъ въ переднюю, когда обо мнѣ доложили и я увидѣлъ его — *его самого*!—меня вдругъ охватилъ такой благоговѣйный трепетъ, что зазвенѣло въ ушахъ, закружилась голова—и этотъ моментъ представляется мнѣ теперь въ какомъ то туманѣ» (1877, № 44).

Для очень молодыхъ людей, робко мечтающихъ о литературной дѣятельности, это естественныя чувства. Но маленькая собачка— до старости щенокъ, а фельетонисты «Недѣли» изъ маленькихъ. Одинъ изъ нихъ побывалъ въ александринскомъ театрѣ въ бенефисъ г. Монахова, когда шла пьеса г. Потѣхина «Выгодное предпріятіе». Онъ напалъ тамъ на толпу литераторовъ. «И вотъ какъ онъ объ ней разсказывалъ въ семьѣ своей». Да добро бы еще въ самомъ дѣлѣ въ семьѣ—семейное дѣло закрытое дѣло—а въ газетѣ:

„Я вошелъ въ партеръ, и первый, кто попался мнѣ на глаза, былъ Петръ Исаевичъ Вейнбергъ.
— А, и вы показались? говорилъ онъ, протягивая руку.
— Какъ же! Нельзя!
— Тутъ уже есть кой-кто изъ „рѣдкихъ“. Да и случай-то рѣдкій.
Вотъ и Алексѣй Николаевичъ Плещеевъ.
— Что, батюшка, и вы заглянули?

— Да случай такой—нельзя!
Вотъ Петръ Дмитріевичъ Боборыкинъ.
— А вы-то какъ? Давно ли изъ Вѣны?
— Только вчера.
— Говорятъ, пьесу написали?
— Не пьесу, а такъ себѣ—сценки.
— Посмотримъ!
Боже! Михаилъ Матвѣевичъ Стасюлевичъ!
— Ну, ужъ васъ-то я не ожидалъ здѣсь встрѣтить.
— Какъ видите.
Вотъ и Николай Васильевичъ Максимовъ, авторъ талантливыхъ корреспонденцій съ театра войны.
— Что ваша рана?
— Благодарю васъ—зажила совсѣмъ.
Василій Аполлоновичъ Полетика.
— Какими судьбами?
— Да тѣми же, что и вы.
Евгеній Валентиновичъ Де-Роберти.
— Эге! И господа позитивисты сегодня пожаловали.
— Еще бы!
Алексѣй Сергѣевичъ Суворинъ.
— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— А вотъ и еще кто-то, а вонъ въ ложѣ тоже «свои». Да сегодня настоящій «смотръ»! Это тѣмъ пріятнѣе, что литераторы только и встрѣчаются, что на похоронахъ, да изрѣдка въ главномъ управленіи по дѣламъ печати.
— А гдѣ же *самъ-то*—бенефиціантъ?
— Монаховъ?—На сценѣ, разумѣется.
— Какое Монаховъ!—Потѣхинъ!
— А!... Онъ тоже, должно быть, тамъ же. А, пожалуй, это и вѣрно, что сегодня не Монахова, а *его* бенефисъ» (1877, № 44).

Столь наивное самодовольство по случаю знакомства съ литераторами имѣетъ себѣ параллель только въ самодовольствѣ г. Зиссермана, который со всѣми кавказскими генералами служилъ, всѣхъ ихъ знаетъ по имени и отчеству и при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ докладываетъ объ этомъ читателямъ «Русскаго Вѣстника» и «Новаго Времени». Но, надо правду сказать, г. Зиссерманъ имѣетъ немаловажное преимущество передъ фельетонистомъ «Недѣли». Онъ всегда всетаки хоть какой-нибудь воинскій подвигъ своихъ знакомыхъ генераловъ разскажетъ и не ограничивается простымъ «здравствуйте» Алексѣя Сергѣевича и «еще бы!» Михаила Матвѣича. Фельетонисту «Недѣли» и вообще ни до какихъ подвиговъ дѣла нѣтъ. Онъ жметъ руку Алексѣя Сергѣича и Сергѣя Алексѣича, самодовольно оглядываясь—видятъ-ли, дескать, окружающіе, что я со всѣми сочинителями знакомъ, а что Алексѣй Сергѣичъ есть вывороченный на изнанку Сергѣй Алексѣичъ — до этого ему дѣла нѣтъ. Онъ больше о томъ желаетъ повѣдать міру, что гулялъ однажды по Невскому съ Ѳедоромъ Михайловичемъ Достоевскимъ, пилъ чай съ Иваномъ Сергѣевичемъ Тургеневымъ и, изъ посторонникъ литературѣ лицъ, согласенъ допустить въ этотъ священнодѣйствующій кругъ только Дарью Михайловну Леонову, у которой онъ тоже пилъ чай. При этомъ оказывается, впрочемъ, что Дарья Михайловна много серьезнѣе понимаетъ свои гражданскія обязанности, чѣмъ Иванъ Сергѣевичъ. (№ 11, 1878). Но одна ласточка весны не дѣлаетъ: Дарья Михайловна — особь статья. Соль земли составляютъ сочинители. Фельетонистъ даже такъ выражается: «Я много видѣлъ... но чувство уваженія къ писателямъ, особенно «заслуженнымъ», всетаки осталось. Мало сказать: осталось—оно такъ сильно, что заявляетъ себя даже тамъ, гдѣ ему совсѣмъ бы не мѣсто. Видишь, напримѣръ, человѣка, отъ котораго, по настоящему, слѣдовало бы отворачиваться (съ *политической* точки зрѣнія), а всетаки даешь ему руку и даже слышишь, какъ внутренній голосъ, шепчетъ тебѣ: э, брось къ чорту эту политику! Какая у насъ политика! Жми крѣпко ему руку, потому что онъ, при всѣхъ своихъ спотыканіяхъ, всетаки въ милліонъ разъ выше многихъ, которые въ обыденной жизни считаются наичестнѣйшими и наиполезнѣйшими гражданами». О, да, конечно, какая у насъ политика! У насъ Полетика (Василій Аполлоновичъ), какъ сострилъ сднажды, кажется, г. Суворинъ (Алексѣй Сергѣевичъ). Жмите-же, крѣпче жмите руку, написавшую знаменитый стихъ: «палки ты не жалѣй суковатыя»; жмите, руку г. Каткова (онъ вѣдь Михаилъ Никифоровичъ), г. Болеслава Маркевича (и у него вѣрно отецъ былъ); жмите, не разбираючи лица, всякую руку, держащую перо, хотя бы перо это не выводило на бумагѣ ничего, кромѣ гнусностей и мракобѣсія. А мало вамъ живыхъ сочинителей, обратитесь къ Бредифу или иному медіуму — онъ вамъ вызоветъ тѣни Булгарина и Бѣлинскаго, и ничто не помѣшаетъ вамъ одинаково крѣпко жать имъ руки. Хвастайте себѣ на здоровье всякимъ «еще бы!» Алексѣя Сергѣича. Онъ *всетаки* въ милліонъ разъ выше наичестнѣйшихъ и наиполезнѣйшихъ гражданъ, а потому что сочинитель. Какая у насъ политика! У насъ Полетика!

Пара сапогъ «Недѣли», ея сентиментальный старичокъ и ея наивный самодоволецъ, проникнуты чрезвычайнымъ уваженіемъ къ литераторамъ. Значитъ ли это, что они уважаютъ литературу, признавая за ней какую-нибудь общественную силу? Конечно, нѣтъ: они говорятъ: какая у насъ политика! «къ чорту политику»! Они—просто запоздалые хвастуны. По крайней мѣрѣ, одинъ изъ нихъ даже какъ будто и самъ понимаетъ это: уваженіе, говоритъ къ писателямъ, такъ во мнѣ сильно, что заявляетъ себя даже тамъ, «гдѣ ему совсѣмъ бы не мѣсто», отъ иного, говоритъ, надо бы «отворачиваться». Но не могу, говоритъ, не заявить во всеуслы-

шаніе—потому—лестно, что пилъ чай съ Иваномъ Сергѣевичемъ, гулялъ съ Ѳедоромъ Михайловичемъ, обѣдалъ съ Петромъ Дмитріевичемъ, жалъ руку Алексѣя Сергѣевича и выслушалъ милостивое «э!» отъ Василія Аполлоновича. Наивный самодоволецъ хвастаетъ тѣмъ, что, къ счастію, давно уже перестало быть предметомъ уваженія общества, абстрактнымъ, оторваннымъ отъ жизни и «политики» литераторствомъ. Въ старые годы, когда сочинители и не помышляли о томъ, чтобы производить какое-нибудь опредѣленное давленіе на своихъ читателей, когда они просто сочиняли, такъ же просто, «какъ соловей поетъ и роза благоухаетъ», въ тѣ годы сочинитель былъ человѣкъ не отъ міра сего. Толпа готова была видѣть вокругъ головы этого чуждаго ей, далекаго, неопредѣленнаго, туманнаго образа какое-то сіяніе. Знакомство съ нимъ, возможность приблизиться къ нему считалось особенною, хотя и довольно двусмысленною честью. Нынѣ люди не расположены смотрѣть такъ на сочинителя, ибо видятъ въ немъ дѣятеля и, значитъ, сортируютъ сочинителей по ихъ дѣятельности. Поэтому хвастать абстрактнымъ литераторствомъ, значитъ, быть хвастуномъ запоздалымъ. А такое запоздалое хвастовство ведетъ за собой свои обычныя послѣдствія. Не понимая своей запоздалости, очевидной для всѣхъ, хвастунъ не понимаетъ ровно ничего и мелетъ разный вздоръ, не умѣя справиться не только съ политикой, а даже съ логикой и даже съ грамматикой.

Сентиментальный старичокъ и наивный самодоволецъ, такъ строго соблюдающіе культъ «литературнаго человѣка», не могли, разумѣется, оставить безъ вниманія мои скромныя разсужденія о вымираніи этого типа. Они, приватъ-звонари храма Аполлона и музъ, такъ твердо знающіе имена и отчества настоящихъ священнослужителей, не обмолвились, однако, ни однимъ словомъ о настоящемъ предметѣ моихъ разсужденій. Они, блаженные бѣдные люди (блаженны нищіе духомъ), съ замѣчательнымъ единодушіемъ ухватились за мои нѣсколько словъ о литературныхъ обѣдахъ, хотя это учрежденіе было помянуто мною только въ качествѣ иллюстраціи. Уже одно это обстоятельство характеризуетъ умонастроеніе фельетонистовъ «Недѣли». Сентиментальный старичекъ даже расплакался («плачетъ старый камень, въ прудъ роняя слезы», по незабвенному выраженію г. Фета): гордости, говоритъ, въ васъ много, сердца нѣтъ, а съ логикой далеко не уѣдешь—вотъ вы и не понимаете, какъ пріятно пообѣдать вмѣстѣ съ Алексѣемъ Сергѣевичемъ и княземъ Владиміромъ Петровичемъ! Философъ, говоритъ, вы и больше ничего. Наивный самодоволецъ, тотъ не расплакался. Напротивъ, онъ молодцовато разсказалъ, какъ онъ записывался въ думѣ въ «ополченскіе офицеры», пожелалъ видѣть меня въ ополченскомъ мундирѣ (покорнѣйше благодарю) и ужъ какъ-то съ этой стороны приплелъ литературные обѣды. Однако, тоже не похвалилъ: искренности, говоритъ, мало, смиреніе фальшивое на себя напускаете; философъ, говоритъ, вы и больше ничего.

Милые люди, право, съ вами ужасно трудно разговаривать. Но вотъ крупица чего-то, за что можно, по крайней мѣрѣ, ухватиться. Сентиментальный старичокъ, удержавъ на минуту слезы, весьма ехидно спрашиваетъ: отчего вы на литературныхъ обѣдахъ не бываете, а въ комитетѣ литературнаго фонда засѣдаете? Это непослѣдовательно. Въ самомъ дѣлѣ, почему я, получая постоянно приглашенія на литературные обѣды, ни разу на нихъ не былъ, а, будучи выбранъ въ члены комитета литературнаго фонда, не уклонился? Я съ большимъ удовольствіемъ объясню это сентиментальному старичку, потому что это можетъ повести къ правильной постановкѣ общаго вопроса. Говоря о литературныхъ обѣдахъ, я замѣтилъ, что есть, конечно, такого рода вопросы, которые могли бы составить любопытный предметъ собесѣдованія всѣхъ писателей, безъ различія цвѣта и направленія. Это вопросы объ общемъ положеніи литературы, политическомъ и экономическомъ, но они исключены изъ программы обѣденныхъ дебатовъ. Остается слѣдовательно, только «сближеніе», а сближеніе Алексѣя Сергѣевича съ Сергѣемъ Алексѣевичемъ я считаю невозможнымъ и ненужнымъ. Литературный фондъ поставленъ совсѣмъ иначе. Тамъ ни о какомъ сближеніи людей, не подлежащихъ сближенію, нѣтъ и рѣчи, тамъ просто помогаютъ «нуждающимся литераторамъ и ученымъ». И это—хотя не большое, не важное, но все-таки дѣло. Вотъ вамъ и все разъясненіе, мой сантиментальный старичокъ; но очень просто.

Однако, я долженъ повиниться. На одномъ изъ литературныхъ обѣдовъ обсуждался вопросъ, для разрѣшенія котораго не требуется единства политическаго образа мыслей конвивовъ. Одинъ мой пріятель говоритъ, что судьба литературныхъ обѣдовъ напоминаетъ ему слѣдующій анекдотъ. Нѣкто купилъ по случаю (очень уже дешево продавалась) двуспальную кровать, а, купивъ ее, серьезно уже сталъ пріискивать невѣсту. Такъ и господа обѣдающіе. Собравшись безъ всякой опредѣленной цѣли, они уже потомъ стали пріискивать цѣль. И пріискали, между прочимъ, вопросъ о нашихъ литературныхъ нравахъ и

полемическихъ пріемахъ. На что, кажется, лучше! Что тутъ было говорено, я хорошенько не знаю, да оно и не важно. Любопытно бы только знать, какъ отразились на дѣлѣ разсужденія (вѣроятно, прекрасныя) о необходимости приличія въ полемикѣ. Я не говорю: post hoc, ergo propter hoc; но, во всякомъ случаѣ, обѣденныя разсужденія о приличіяхъ, по малой мѣрѣ, не помѣшали выработаться полемическому пріему, кажется, новому въ нашей литературѣ, но совершенно неприличному. За образцами недалеко ходить. Они есть и въ «Недѣлѣ», въ фельетонахъ паладина обѣдовъ, наивнаго самодовольца. Этотъ человѣкъ говоритъ, что, по моему «увѣренію», г. Суворинъ «былъ когда-то простымъ уѣзднымъ учителемъ» (№ 13, 1878). Понадобилось это г. фельетонисту для того, чтобы всадить мнѣ нѣкоторую шпильку, которая, однако, не могла бы причинить серьезнаго укола даже въ томъ случаѣ, если бы была вполнѣ справедлива. Но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что наивный самодоволецъ солгалъ. Былъ ли г. Суворинъ «простымъ» уѣзднымъ учителемъ или нѣтъ—это мнѣ совершенно неизвѣстно; да еслибы и было бы извѣстно, то было совершенно безразлично. Г. Суворинъ могъ быть уѣзднымъ учителемъ и затѣмъ, работая надъ самимъ собой, достигнуть учености Гумбольдта; паладинъ обѣдовъ могъ послѣдовательно кончить курсъ въ десяти университетахъ и пятнадцати академіяхъ и тѣмъ не менѣе дойти до настоящаго состоянія его умственныхъ способностей. Я сказалъ только, что г. Суворинъ напрасно читаетъ нотаціи технологическимъ студентамъ насчетъ пользы ученія, такъ какъ самъ онъ, будучи человѣкомъ весьма мало образованнымъ, ничто же сумняся, стоитъ во главѣ большой газеты. Господа обѣдающіе, вѣроятно, вознегодуютъ за употребленное мною слово «солгалъ» и ничего не будутъ имѣть противъ самодовольца за самую ложь. Сказать «солгалъ», изволите ли видѣть, неприлично, а солгать — ничего, можно. Въ этой-то лжи и состоитъ новый полемическій пріемъ, быстро прививающійся къ нашей литературной почвѣ и въ короткое время сдѣлавшій невѣроятные успѣхи. Онъ разсчитанъ на то, что нельзя же всякій разъ справляться; повѣрятъ и на слово, особенно когда ложь произносится съ достаточнымъ апломбомъ, а апломбъ это по-русски—почти тоже, что мѣдный лобъ, отъ котораго всякая пуля отскочитъ.

Въ № 57 «Петербургскаго Листка» читатель можетъ найти очень любопытное письмо нѣкоего г. Трозинера, изъ котораго видно слѣдующее. Въ одномъ изъ воскресныхъ фельетоновъ «Новаго Времени» г. Суворинъ описывалъ общее собраніе общества взаимнаго кредита. Рѣчь на этомъ собраніи шла о расхищеніи изъ кассы общества немалаго количества денегъ — милліонами считаютъ. Г. Суворинъ имѣетъ, по предположенію г. Трозинера, отнюдь не идеальный интересъ замять эту исторію. И вотъ онъ набрасывается на г. Трозинера, находящагося въ совершенно иномъ положеніи. Онъ разсказываетъ эпизодъ изъ прошлой жизни г. Трозинера, а именно: какъ онъ однажды, будучи защитникомъ г-жи Гандонъ, обвинявшейся въ появленіи на сценѣ «почти безъ костюма», принесъ въ судъ, въ доказательство невинности своей кліентки, ея трикотовые панталоны. Ну, тутъ идутъ, разумѣется, разныя шуточки и прибауточки: «въ настоящемъ случаѣ г. Трозинеръ, вмѣсто трикотовыхъ панталонъ, держалъ въ рукахъ отчеты взаимнаго кредита», и т. д. Человѣкъ осмѣянъ, въ памяти читателя вызывается непривлекательный эпизодъ изъ прошлаго этого человѣка; цѣль достигнута: одинъ изъ противниковъ забросанъ грязью. Извольте рыться въ старыхъ газетахъ, справляться, такъ ли было дѣло, какъ разсказываетъ г. Суворинъ, приносилъ ли г. Трозинеръ въ судъ панталоны г-жи Гандонъ; да еслибы кому нибудь и пришло въ голову наводить справки, такъ дѣло уже сдѣлано, извѣстное впечатлѣніе произведено. Но вотъ оказывается, что г. Суворинъ солгалъ: г. Трозинеръ заявляетъ въ своемъ письмѣ, что никогда онъ г-жи Гандонъ не защищалъ, а слѣдовательно, и панталонъ ея не предъявлялъ, а защищалъ ее г. Крюковскій. Я, признаюсь, питалъ надежду, что г. Суворинъ извинится передъ оболганнымъ имъ человѣкомъ или, по крайней мѣрѣ, подтвердитъ, что дѣйствительно, дескать, ошибся. Ни чуть не бывало. Новый полемическій пріемъ восторжествовалъ до конца.

Или еще г. ла-Серда. Будучи мною фактически уличенъ во лжи, онъ напечаталъ въ № 4 «Слова» новую отповѣдь. Это такое море наглости, лжи, изворотовъ, отпирательствъ отъ собственныхъ словъ, которое, очевидно, разсчитано на то, что у порядочнаго человѣка опустятся, наконецъ, руки. Г. ла-Серда какъ бы говоритъ: ну, да, я солгалъ, и вотъ опять лгу, и еще буду лгать, что съ меня возьмешь?! Конечно, что съ васъ возьмешь! идите своей дорогой. Притомъ же, нужные въ настоящемъ случаѣ документы (книги и статьи) такъ немногочисленны, что всякій грамотный человѣкъ легко и самъ доберется до истины. Я только одну частность подчеркну, потому что тутъ документы не у всѣхъ могутъ быть подъ руками. Предполагая, что «ла-Серда» есть псевдонимъ, и зная, что по-испански la cerda значитъ «свинья», я подивился

шутовству человѣка, избирающаго такой псевдонимъ. Г. ла-Серда утверждаетъ, что «любой» испанскій лексиконъ опровергнетъ мой переводъ. Я справлялся съ лексиконами и могу только еще разъ подтвердить, что по-испански el cerdo значитъ кабанъ, а la cerda—свинья. Если ла-Серда не псевдонимъ, такъ чего же тутъ стыдиться, отчего отпираться? Надо только стараться, чтобы родовая кличка не по личной шерсти пришлась.

Кстати о г. ла-Сердѣ. Редакція «Слова», въ своемъ объясненіи, напечатанномъ въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ», говоритъ между прочимъ: «Такъ какъ г. де-ла-Серда нетолько намъ, но и всей русской литературѣ извѣстенъ съ такой стороны, что статьи его съ фактической стороны не подвергаются провѣркѣ, то мы напечатали его рецензію, не справляясь съ книгой г. Лесевича». Почтенная редакція хотѣла, вѣроятно, сказать, что г. ла-Серда *былъ* извѣстенъ съ такой стороны, потому что теперь-то ужъ онъ, конечно, совсѣмъ съ другой стороны извѣстенъ. Но и за всѣмъ тѣмъ, я былъ заинтересованъ: когда и кому г. ла-Серда былъ извѣстенъ вообще и со стороны его добросовѣстности и познаній въ особенности? Я обратился съ этимъ вопросомъ къ одному записному библіографу, имѣющему охоту и способность помнить всѣхъ, даже мельчайшихъ мошекъ и букашекъ русской литературы. Онъ такое мнѣ сказалъ, что я не повѣрилъ и потребовалъ доказательствъ. Тогда онъ принесъ мнѣ «С.-Петербургскія Вѣдомости» за 1873 г., гдѣ я нашелъ нѣсколько корреспонденцій изъ Рима, подписанныхъ «Е. де-ла-Серда». Въ № отъ 10 декабря, этотъ добросовѣстный и многознающій корреспондентъ, извѣстный «всей русской литературѣ» съ такой стороны и проч., пишетъ о пріемѣ, который встрѣтили въ Италіи агитаторы идеи «международнаго посредничества». По мнѣнію самого г. ла-Серды, они полны «вѣры въ осуществимость знаменитой утопіи Бернардена-де-С.-Пьера». Г. ла-Серда смѣшалъ автора проекта вѣчнаго мира, аббата С.-Пьера, съ авторомъ «Павла и Виргиніи», Бернарденомъ де-С.-Пьеромъ... Ну, что же, это пустяки, конечно.

Такъ идите же, я говорю, г. ла-Серда, своей дорогой; а своимъ собратамъ по ремеслу я повторю прежній совѣтъ: когда г. ла-Серда принесетъ вамъ статью, ищите прежде всего—гдѣ въ ней «ошибка». Ищите и вы, гг. редакторы «Слова», потому что «ошибки» могутъ, наконецъ, и на васъ отозваться...

Итакъ, вотъ какіе полемическіе пріемы выработались у насъ со времени обѣденныхъ разсужденій о приличіи въ полемикѣ: возьметъ человѣкъ, да и налжетъ на своего противника все, что ему вздумается, а потомъ вѣдь и промолчать можно, въ случаѣ ежели уличатъ, или отпереться: знать не знаю, вѣдать не вѣдаю. Этому пріему можно предсказать блестящую будущность. Можно будетъ такъ писать: г. Суворинъ, судившійся за поджогъ мельницы, застрахованной въ сумму выше ея дѣйствительной стоимости, и т. д. Или: г. Гайдебуровъ утверждаетъ въ № такомъ-то «Недѣли», будто земля на трехъ китахъ стоитъ, и проч. Или: г. ла-Серда, всему міру извѣстный своимъ умомъ, знаніями и благородствомъ, и проч. Очень весело и, главное, прилично можетъ пойти дѣло. И когда всѣ другъ на друга достаточно налгутъ, не представится уже ровно никакихъ затрудненій для совмѣстныхъ обѣдовъ въ «Маломъ Ярославцѣ».

Вернемся къ «Недѣлѣ». Есть въ ней разныя статьи: порядочныя и пустыя, но все это ужасно блѣдно и не характерно. Девизъ «Недѣли»: малымъ довольна. До какой степени она, дѣйствительно, малымъ довольна, это лучше всего видно изъ фельетона «Литературно-житейскія замѣтки» въ № 5 за нынѣшній годъ. Тамъ говорится о выстрѣлѣ г-жи Засуличъ. Это такой адамантъ, который я смѣло могу рекомендовать вниманію каждаго любителя драгоцѣнностей. Впрочемъ, и въ восклицаніи: къ чорту политику! тоже не дурно отражается девизъ почтенной газеты.

Къ чорту политику и да здравствуютъ обѣды! Своеобразное пониманіе «Недѣлею» задачъ и достоинства литературы сводится къ охраненію литературы отъ политики. Но у нея есть еще другая, не менѣе великая миссія—охраненіе чувства отъ разума. Почтенная газета исповѣдуетъ, что, какъ говорится, гдѣ то у Щедрина, была бы вѣра, а разумъ и на запяткахъ постоитъ! Сантиментальный старичокъ, все еще волнуясь изъ-за литературныхъ обѣдовъ, читаетъ мнѣ такую нотацію: «Измышленія ваши чисто книжныя, насиженныя и выдуманныя въ четырехъ стѣнахъ, придуманныя не сердцемъ, а выкрученныя изъ головы. Если стать на точку зрѣнія автора, то въ логичности его измышленія, пожалуй, и не найдется перерывовъ. Но вѣдь логика—вещь условная... Хотя я и никогда не сомнѣвался въ вашихъ, философствующій собратъ, книжныхъ знаніяхъ, но... ничто не создается головой». Старичокъ безъ боя уступаетъ умъ, логику и знаніе и даже, вообще, голову выдаетъ головой, памятуя, что и въ положеніи акефала онъ всетаки силенъ, какъ Геркулесъ, чувствомъ, сердцемъ. Онъ не можетъ прибрать для «измышленій» болѣе оскорбительнаго эпитета, какъ «выкрученныя изъ головы». Голова для него — совсѣмъ лишній инстру-

ментъ, безполезно поглощающій часть пластическаго матеріала, вырабатывающагося изъ питательныхъ веществъ, подаваемыхъ на литературныхъ обѣдахъ. У него есть мысли, «придуманныя сердцемъ». Готовъ вѣрить, что это мысли прекраснѣйшія, много лучшія, чѣмъ тѣ, которыя, по законамъ природы, изготовляются головой, но понимать ихъ не дано обыкновенному смертному, не осмѣливающемуся попирать законы природы съ такимъ презрѣніемъ. Поэтому пусть сердечныя мысли сентиментальнаго старичка остаются въ полной неприкосновенности.

«Недѣля» давно уже затянула пѣсню о необходимости держать разумъ на запяткахъ. Но все это были легкіе кавалерійскіе наѣзды по разнымъ побочнымъ поводамъ. Это были случайные пробы силъ надъ разумомъ, въ родѣ того, какъ прохожій пытаетъ свою мощь на силомѣрѣ, который кстати часто устраивается въ формѣ головы. Треснетъ прохожій кулакомъ по такой головѣ и отойдетъ прочь. Но въ нынѣшнемъ году «Недѣля» пожелала заняться этимъ дѣломъ вплотную, основательно, и напечатала статью «Умъ и чувство, какъ факторы прогресса» (№№ 6 и 7).

Статья заканчивается такимъ выводомъ: «самымъ важнымъ факторомъ прогресса есть чувство». Впрочемъ, авторъ согласенъ, кажется, выразить свою мысль въ не столь грубой и болѣе точной формѣ словами Милля: «духъ усовершенствованія является результатомъ возрастающей силы соціальныхъ инстинктовъ, въ связи съ развитіемъ умственной дѣятельности». Еслибы авторъ ограничился развитіемъ и доказательствами этого положенія, то я бы рѣшительно ничего не имѣлъ сказать о статьѣ «Умъ и чувство», кромѣ развѣ того, что мысль эта развивалась уже много разъ и обставлялась много лучше. Ничего не могъ бы я сказать и въ томъ случаѣ, если бы авторъ старался доказать, что одно образованіе и даже вообще одна умственная дѣятельность не гарантируетъ ни личнаго добропорядочнаго поведенія, ни глубины общественнаго развитія. Несомнѣнно, что умные и образованные люди могутъ быть негодяями, а люди, умственно но слабые, могутъ обладать значительной нравственной силой. Но статья «Недѣли» построена такъ, что даетъ поводъ къ различнымъ недоразумѣніямъ, особенно принимая въ соображеніе одну рѣзкую черту нашего россійскаго темперамента.

Казалось бы, умъ, логика, знаніе, наконецъ, вообще «голова», это безспорно такая прекрасная вещь, которая, если и можетъ чѣмунибудь помѣшать, такъ только глупости и невѣжеству. Можно разсуждать о томъ, умъ или чувство составляетъ наиболѣе важный факторъ прогресса, хотя это разсужденіе всегда будетъ безплодно. Можно утверждать, и совершенно основательно, что бываютъ условія, когда знаніе и логическая способность оказываются недостаточными; точно такъ же, какъ бываютъ условія, гораздо болѣе обыкновенныя, когда недостаточно чувство. Но мѣрять умъ и чувство, подгонять ихъ подъ рекрутскую мѣрку, послѣ которой кто-нибудь изъ нихъ долженъ оказаться «годнымъ», для службы человѣчеству, а кто-нибудъ—«негоднымъ» — это просто дико. Еще болѣе дико презирать бѣдную «голову» такъ, какъ презираетъ ее сентиментальный старичокъ «Недѣли». И замѣтьте вотъ что: если это, дѣйствительно, человѣкъ почтеннаго возраста, то легко можетъ быть, что лѣтъ пятнадцать, двадцать тому назадъ, онъ зачитывался блестящими статьями Писарева и статьями г. Шелгунова, въ родѣ «Убыточности незнанія» и т. п. Очень вѣроятно, что онъ и самъ пописывалъ что-нибудь на тему объ убыточности незнанія и о величіи разумнаго эгоизма. А теперь онъ согласенъ быть акефаломъ, лишь бы сохранить сердце. Это для насъ характерно. Кажется, и бури никакой не было, а насъ носитъ въ утлой ладьѣ нашей жизни изъ стороны въ сторону, отъ одного борта къ другому, отъ носа къ кормѣ и обратно. То люди, кромѣ книжки, ничего знать не хотятъ, то не могутъ произнести слово «книжка» безъ, смѣю сказать, нелѣпой иронія. «Недѣля» находится теперь уже не первый годъ въ этомъ ироническомъ настроеніи, которое отразилось и на статьѣ «Умъ и чувство, какъ факторы прогресса».

Впрочемъ, статья эта больше бросается въ глаза своимъ педантизмомъ и доктринерствомъ, особенно пикантнымъ въ устахъ паладина чувства, «сердца». Она испещрена ссылками на Спенсера, Дарвина, Милля, Маудсли, Бокля, Льюиса, Лекки, опять Спенсера, опять Дарвина, Бэна, Вундта и т. д. и не содержитъ въ себѣ указанія ни на одинъ житейскій фактъ. При этомъ цитаты набираются какъ-то совсѣмъ ни къ селу, ни къ городу. Напримѣръ, почтенному автору нужно сказать, что всякая способность развивается упражненіемъ и глохнетъ отъ неупражненія. Положеніе это до такой степени общеизвѣстно, что его можно поставить аксіомой и дѣлать прямо, какіе слѣдуетъ, выводы. Но авторъ счелъ нужнымъ сдѣлать, при семъ удобномъ случаѣ, цитаты изъ Вундта, Карпентера, Спенсера, Милля и Маудсли! Слишкомъ много цвѣтовъ! Далѣе, самый способъ выбора цитатъ необыкновенно страненъ. Писатель, въ подтвержденіе своей мысли, ссылается на слова другого писателя или потому, что въ словахъ этихъ выражена какая нибудь новая цѣнная мысль, или потому, что

самыя слова удачно передаютъ мысль, или потому, что ими сообщается фактъ, или, наконецъ, потому, что цитата характерна для того, именно, писателя, у котораго она заимствована. Всѣ эти поводы для нашего автора не существуютъ. Напримѣръ, важность упражненія для развитія способностей могла бы быть подтверждена множествомъ чрезвычайно любопытныхъ фактовъ, которые приводятся и излюбленными писателями нашего автора. Но фактовъ онъ не приводитъ, а беретъ только общія положенія. Что же касается характеристики его цитатъ, то, если ему будетъ угодно, я подберу у тѣхъ же самыхъ писателей цитаты совершенно противоположнаго свойства. Если ряды цитатъ что-нибудь доказываютъ, то мой рядъ долженъ быть признанъ не менѣе доказательнымъ, чѣмъ рядъ автора статьи «Умъ и чувство, какъ факторы прогресса». Напримѣръ, онъ съ торжествомъ приводитъ слѣдующія слова Спенсера: «*Вѣра въ нравственное дѣйствіе умственнаго образованія, опровергаемая фактами, нелѣпа и a priori*. Какую связь можно представить себѣ между знаніемъ, что извѣстные знаки, написанные на бумагѣ, означаютъ извѣстныя слова, и пріобрѣтеніемъ болѣе высокаго пониманія долга? Какое вліяніе можетъ оказать умѣнье выражать знаками звуки на усиленіе желанія поступать справедливо? Какимъ образомъ знаніе таблицы умноженія или умѣнье быстро дѣлать сложеніе и дѣленіе можетъ увеличивать сердечную доброту въ такой степени, чтобы удержать отъ стремленія вредить своимъ ближнимъ? Какимъ способомъ умѣнье писать, знаніе грамматики и проч. можетъ сдѣлать чувство справедливости болѣе сильнымъ? Почему отъ увеличенія запаса географическихъ свѣдѣній, добытаго усидчивымъ трудомъ, можно ожидать и увеличенія уваженія къ правдѣ? Несоотвѣтствіе между такими причинами и такими слѣдствіями почти также велико, какъ между упражненіемъ пальцевъ рукъ и увеличеніемъ силы въ ногахъ. Тотъ, кто, преподавая латинскій языкъ, надѣялся бы передать знаніе геометріи, или сталъ бы ожидать, что умѣнье рисовать придастъ выразительность исполненію какой-нибудь сонаты, *былъ бы, по всей вѣроятности, сочтенъ за сумасшедшаго; между тѣмъ, онъ едва ли судитъ болѣе неосновательно, чѣмъ тотъ, кто надѣется образовать болѣе высокія чувствованія путемъ развитія умственныхъ способностей... Вѣра въ книжные уроки и въ знаніе составляетъ одно изъ суевѣрій нашего времени*». Прекрасно. Но, съ позволенія «Недѣли», я тоже приведу слова Спенсера: «*Наука есть лучшее средство не только для умственной дисциплины, но и для нравственной*... Наука постоянно прибѣгаетъ къ индивидуальному разуму. Ея истины принимаются не на основаніи одного авторитета; всякому предоставляется свобода испытывать ихъ, а во многихъ случаяхъ, ученику приходится самому додумываться до заключеній. Каждый шагъ въ научномъ изслѣдованіи подлежитъ его обсужденію. Человѣкъ не обязанъ тутъ принимать истину, не провѣривъ ея. Нарождаемая же этимъ вѣра въ собственныя силы возрастаетъ еще вслѣдствіе единообразія, которымъ природа оправдываетъ его заключенія, если они вѣрно выведены. *Изъ всего этого вытекаетъ независимость, составляющая наиболѣе цѣнный элементъ характера*. И это вовсе не единственная нравственная выгода, получаемая путемъ научныхъ занятій. Когда изслѣдованіе дѣлается надлежащимъ образомъ (т. е., насколько это возможно, въ формѣ оригинальнаго изслѣдованія), оно упражняетъ настойчивость и искренность. Профессоръ Тиндаль говоритъ объ индуктивномъ изслѣдованіи: «оно требуетъ терпѣливаго прилежанія и смиреннаго, сознательнаго принятія откровеній природы. Первое условіе успѣха есть честная воспріимчивость и готовность оставить всѣ предвзятыя понятія, противорѣчащія истинѣ, какъ бы дороги они ни были. Повѣрьте мнѣ, въ частныхъ изслѣдованіяхъ истиннаго служителя науки нерѣдко высказывается такое благородное самоотреченіе, о которомъ свѣтъ понятія не имѣетъ» (Опыты, т. III, «Умственное, нравственное и физическое воспитаніе», стр. 60).

Вотъ. Мнѣ, обливаемому мутной водой іроніи «Недѣли» за пристрастіе къ книжкамъ, было, признаться сказать, скучно дѣлать эти выписки изъ Спенсера. Но я сдѣлалъ это для автора статьи «Умъ и чувство», который, не смотря на свое недовѣріе къ книжкамъ, строитъ цѣлую статью изъ книжныхъ цитатъ. Заключается-ли въ двухъ приведенныхъ выпискахъ одно изъ тѣхъ противорѣчій и виляній, которыми такъ богаты сочиненія Спенсера, или они могутъ быть какъ-нибудь согласованы — это въ настоящемъ случаѣ безразлично. Дѣло только въ томъ, что цитатамъ «Недѣли» можно противопоставить цитаты тѣхъ же самыхъ авторовъ, на которые и она ссылается, а про тѣхъ, на кого она не ссылается, и говорить нечего. А такъ какъ въ статьѣ «Умъ и чувство» нѣтъ ничего, кромѣ цитатъ, то, значитъ, она и не подлежитъ обсужденію по существу. Я позволю себѣ только одинъ вопросъ: зачѣмъ авторъ читалъ Милля, Спенсера, Льюиса, Дарвина, Маудсли, Карпентера, Вундта, Бэна? зачѣмъ онъ написалъ свою статью; зачѣмъ вообще издается «Недѣля», если правда, что вѣра въ книжные уроки и чтеніе есть не болѣе, какъ предразсудокъ? Я

ужъ и не спрашиваю: какъ вяжется презрѣніе «Недѣли» къ книжкѣ съ ея холопскимъ уваженіемъ къ тѣмъ, кто пишетъ книжки—къ Алексѣю Сергѣевичу и Сергѣю Алексѣевичу? Мы, грѣшники, думающіе, что книжка въ принципѣ—дѣло полезное (именно *дѣло*), хотя фактически иная книжка можетъ оказаться дѣломъ вреднымъ, мы можемъ, не противорѣча себѣ, съ чистою совѣстью читать, писать и цитировать. А для «Недѣли»—все это неприлично.

Есть, однако, точка зрѣнія, съ которой раздирающее бѣдную «Недѣлю» противорѣчіе исчезаетъ. Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, на эту исторію вотъ съ какой стороны. «Недѣля», въ сущности, остается вѣрна своему правилу придерживать разумъ на запяткахъ, когда громоздитъ горы цитатъ изъ Маудсли и Бэна, и Спенсера и проч., потому что, приводя доказательства исключительно книжныя, она тѣмъ самымъ предлагаетъ на слово вѣрить цитируемымъ авторамъ. Она и сама *вѣритъ*, и другимъ предлагаетъ *вѣрить*, что, если Спенсеръ или Дарвинъ сказали что-нибудь, такъ ужъ собственному разуму читателя надо по добру, по здорову убираться куда-нибудь подальше. Умственныя способности читателей не особенно разовьются отъ такого упражненія, но чувство довѣрія къ книжкѣ разовьется, напротивъ, настолько сильно, насколько могутъ этому способствовать силы «Недѣли». А результаты слѣпого довѣрія очень непрочны. Сегодня такой слѣпой человѣкъ находится въ однѣхъ рукахъ, завтра онъ можетъ перейти въ другія и также слѣпо окраситься въ совсѣмъ иной цвѣтъ. Долженъ, впрочемъ, оговориться: двѣ изъ цитатъ автора «Ума и чувства» (одна изъ Бокля, другая изъ Милля) сопровождаются нѣкоторыми критическими замѣчаніями. И за то спасибо.

Какіе же практическіе выводы слѣдуютъ изъ положенія, что чувство есть важнѣйшій факторъ прогресса? А вотъ какіе. Напримѣръ, существующія націи «различаются между собой неодинаковою степенью любви къ независимости: однѣ терпѣливо переносятъ стѣсненіе, другія совсѣмъ не переносятъ его» (цитата!); поэтому человѣкъ, который бы видѣлъ вредъ, происходящій изъ недостатка чувства независимости въ національномъ характерѣ, обязанъ направить свою дѣятельность такъ, чтобы побуждать своихъ согражданъ къ поступкамъ, внушаемымъ имъ чувствомъ независимости, потому что это единственный способъ развить это чувство, т. е. единственный способъ избавиться отъ вреда, происходящаго отъ недостатка чувства независимости. *Не распространеніе идей о независимости, а только поступки*, внушаемые чувствомъ независимости, развиваютъ и усиливаютъ это чувство». Еслибы авторъ говорилъ отъ лица своего «сердца», тогда разговоръ съ нимъ былъ бы дѣломъ довольно мудренымъ, но мы имѣемъ разсужденіе, логическій выводъ или нѣчто, выдаваемое за логическій выводъ. Значитъ, и требованія ему надлежитъ предъявить соотвѣтственныя. Надо замѣтить, что передъ тѣмъ авторъ, по обычаю, раздѣлялъ чувства на эгоистическія и альтруистическія и, по обычаю же, рекомендовалъ культивировать послѣднія и подавлять первыя. Но чувство независимости есть чувство эгоистическое (это и по Спенсеру такъ выходитъ). Почему же отъ недостатка его можетъ получиться вредъ? Другому я бы не задалъ такого вопроса; но авторъ «Недѣли» напичканъ Миллемъ, Бэномъ и проч.; онъ опредѣляетъ относительное значеніе чувства и ума, классифицируетъ чувства, подтверждаетъ каждое слово своей кучей цитатъ, онъ является во всеоружіи доктрины. Ему можетъ быть заданъ подобный вопросъ. Далѣе, признавъ чувство независимости благомъ (я не сомнѣваюсь, что оно—благо), надо еще знать, исчерпаны-ли авторомъ аргументы за и противъ рекомендуемаго имъ способа распространенія этого блага. Конечно, нѣтъ. Чтобы недалеко ходить, напомню сдѣланную мною выше выписку изъ излюбленнаго авторомъ Спенсера. Тамъ, какъ мы видѣли, доказывается, что чувство независимости воспитывается даже не «распространеніемъ идей», а просто привычкой критически мыслить. И въ этихъ доказательствахъ есть значительная доля справедливости. Несомнѣнно, что критическая работа мысли освобождаетъ отъ слѣпого довѣрія къ авторитетамъ, а, слѣдовательно, вырабатываетъ чувство независимости. Наконецъ, общественная жизнь представляетъ такую сложную сѣть, что примѣръ, взятый нашимъ авторомъ, рѣшительно немыслимъ, какъ конкретный случай. Немыслимо такое состояніе общества, въ которомъ вредъ отъ отсутствія или малаго развитія чувства независимости, не осложнялся бы другими условіями. Представимъ себѣ, что дѣло идетъ о болгарахъ подъ турецкимъ владычествомъ до нынѣшней войны. Можетъ быть, картина выйдетъ не вполнѣ соотвѣтствующею дѣйствительному положенію вещей въ Болгаріи, но мы говоримъ только примѣрно. Чувство независимости въ болгарахъ очень слабо, такъ что имъ и въ голову не приходитъ мысль о полной возможности сбросить турецкій гнетъ, благодаря огромному ихъ численному перевѣсу надъ турецкими угнетателями. И вотъ является какой-нибудь болгарскій патріотъ или горсть патріотовъ, убѣжденная, что только поступками, внушен-

ными чувствомъ независимости, можетъ быть устраненъ соотвѣтственный вредъ. Горсть патріотовъ можетъ сама совершать подобные поступки и не добиться ровно ничего, если, дѣйствительно, въ массѣ болгарской націи чувство независимости слабо. Сама нація должна совершать поступки, чтобы развить и усилить въ себѣ чувство независимости. А спрашивается: какъ же этого добиться, какъ не распространеніемъ идей, не разъясненіемъ болгарской націи всего ужаса и позора ея положенія подъ магометанскимъ владычествомъ? И развѣ такое распространеніе идей не есть «поступокъ»? Турки, вѣроятно, не задумались бы отвѣтить на этотъ вопросъ. Но тутъ встрѣтились бы еще и другія обстоятельства. Болгаре нетолько непосредственно слабы чувствомъ независимости, они невѣжественны и потому естественно находятся подъ гнетомъ авторитета и съ покорностью судьбѣ несутъ свое ярмо. Они изолированы другъ отъ друга, сидятъ каждый подъ смоковницей своей и не имѣютъ даже поползновенія сойтись съ сосѣдомъ, который тоже сидитъ подъ смоковницей. Для того, чтобы они признали силу свою, они должны объединиться, а объединеніе можетъ быть совершено только подборомъ единомышленниковъ, т. е. опять-таки только распространеніемъ идей. Наконецъ, вѣка рабства и насилія привили болгарской націи не мало положительныхъ пакостей, кромѣ отсутствія чувства независимости, и всѣ эти пакости требуютъ своихъ особенныхъ противоядій. Въ концѣ концовъ, еслибы даже «поступки», и только они, могли устранить вредъ, причиняемый болгарской націи отсутствіемъ чувства независимости (а это не вѣрно), то не бывало на памяти исторіи такого случая, чтобы вредныя стороны положенія общества исчерпывались однимъ этимъ вредомъ.

Странное дѣло: приходится защищать «распространеніе идей» отъ писателя, отъ человѣка, на котораго распространились идеи многихъ европейскихъ ученыхъ и который самъ распространяетъ идеи! Читатель можетъ сказать, что статья «Умъ и чувство, какъ факторы прогресса» совсѣмъ не требовала столь длиннаго объ ней разговора. Это отчасти—правда, но только отчасти. Не въ самой статьѣ тутъ дѣло, а въ читателяхъ, въ тѣхъ особенностяхъ нашего темперамента, о которыхъ рѣчь шла выше. Если авторъ перегибаетъ лукъ въ извѣстную сторону, то читатели, при извѣстныхъ условіяхъ, перегибаютъ его еще сильнѣе. Хорошій поступокъ прекраснъ и желателенъ, хорошее чувство тоже прекрасно и желательно, но предавать изъ за этого всесожженію мысль, знаніе, логику, «голову», «книжку»— отнюдь не приходится. Это совсѣмъ не такіе предметы, которые не могутъ ужиться рядомъ. Тяжба между умомъ и чувствомъ безобразна и не имѣетъ рѣшительно никакого raison d'être. Оставимъ это нелѣпое дѣло слезливымъ старичкамъ, изнывающимъ по женихѣ дѣвицамъ, да еще тѣмъ рыцарямъ чувства, которые имѣютъ дѣйствительные резоны бояться свѣта знанія и искры ума.

Какіе непривлекательные поступки можно совершать при содержаніи разума на запяткахъ, это очень наглядно показываетъ статья «Либералъ о сѣромъ мужикѣ», напечатанная въ № 9 «Недѣли». Рѣчь въ ней идетъ объ очеркахъ г. Иванова. Объ этомъ же предметѣ трактовалъ и наивный самодоволецъ, но тотъ такое занесъ, что пословица: «въ огородѣ лебеда, а въ Кіевѣ дядька»—сама премудрость въ сравненіи съ его разсужденіями. Что же касается автора статьи «Либералъ о сѣромъ мужикѣ», то вотъ одинъ изъ упрековъ, дѣлаемыхъ имъ г. Иванову: «Г. Ивановъ узналъ, чего ждетъ и проситъ мужицкая душа: денегъ, денегъ, денегъ... Что же пожелаетъ онъ нашему народу? Если онъ будетъ логиченъ, то пожелаетъ «просвѣщенныхъ администраторовъ», которые бы своими мѣрами, во-первыхъ, не дали возможности мужику выучиться «обобщать», иначе изъ этого мужика сдѣлается порядочная свинья, какъ ясно доказалъ г. Ивановъ; а во-вторыхъ—твердыми и неуклонными мѣрами поставили бы этого мужика въ невозможность нарушать права окружающихъ сѣрыхъ мужиковъ—на случай, еслибы онъ и выучился обобщать, не смотря на препятствія, созданныя просвѣщенными администраторами». Кто подумаетъ, что авторъ и въ самомъ дѣлѣ только договариваетъ недоговоренное самимъ г. Ивановымъ. Зачѣмъ, однако, автору понадобилось рѣшать за г. Иванова, чего онъ долженъ пожелать народу, когда тотъ самъ очень ясно формулировалъ свои пожеланія? Въ томъ самомъ очеркѣ, по поводу котораго авторъ находитъ нужнымъ и возможнымъ сравнивать г. Иванова даже со становымъ приставомъ, говорится: «Придетъ ли когда-нибудь въ русскую глухую деревню такой человѣкъ, который рѣшился бы отдать ей свои знанія, стать, не смотря на эти знанія, въ общія условія бѣдности крестьянской жизни, рѣшился бы не «благодѣтельствовать», а существовать на тѣ, только на тѣ средства, которыя безъ принужденій волостного начальства, а по силѣ помочи, дадутъ ему «за его трудъ» сами крестьяне, и только тѣ крестьяне, которымъ онъ помогъ, пособилъ, научилъ? Когда-нибудь такой человѣкъ непремѣнно придетъ въ деревню, теперь же его покуда что-то не видно. Мѣсто его за-

нимаетъ человѣкъ служащій, чужой, нанятой, какой случится, какой попался». Кажется, ясно? Вы можете считать пожеланія г. Иванова утопическими или исполнимыми, цѣлесообразными или не цѣлесообразными, достаточными или недостаточными, но приплести сюда «просвѣщенныхъ администраторовъ» не представляется, казалось бы, никакой возможности. Однако, «Недѣля» приплела. Одно изъ двухъ. Или это прямая, совершенно дрянная недобросовѣстность, которая должна быть просто зачислена въ списокъ полемическихъ подвиговъ самоновѣйшаго чекана, или это плодъ недоразумѣнія. Только объ этомъ послѣднемъ случаѣ и стоитъ говорить. Держа разумъ на запяткахъ и сохраняя лишь вѣру, авторъ счелъ нужнымъ заступиться за народъ, слишкомъ, дескать, черными красками изображаемый г. Ивановымъ. Я имѣлъ уже случай говорить о значеніи подобнаго заступничества, т. е. когда человѣкъ заступается зря, не понявъ точки зрѣнія того, чьи якобы нападки онъ отражаетъ. Не говоря уже о томъ, что всѣ наблюденія г. Иванова относятся къ одной опредѣленной мѣстности, что онъ и самъ оговариваетъ, г. Ивановъ указываетъ и причины подмѣченныхъ имъ непривлекательностей мужика. Причины эти лежатъ не въ самомъ мужикѣ, а въ его обстановкѣ, въ тяжеломъ его положеніи. Еслибы мужикъ былъ истуканъ, не имѣющій никакого нравственнаго содержанія, то, конечно, никакая обстановка не могла бы его изуродовать, потому что и уродовать то было бы нечего. Но, такъ какъ мужикъ—не истуканъ, не бревно, то его положеніе не могло не помять и не искалѣчить его нравственнаго облика. Утверждая, что народъ безусловно хорошъ, всегда и при всякихъ обстоятельствахъ хорошъ, «Недѣля» и не подозрѣваетъ, до какой степени она этотъ самый народъ оскорбляетъ, какую деревянность и не чувствительность ему усвоиваетъ. Не подозрѣваетъ она также, какую, говоря словами Зола, «пощечину человѣчеству» даетъ она, отрицая возможность нравственной порчи мужика, а, слѣдовательно, и пагубность условій, въ которыхъ ему жить приходится. Держа разумъ на запяткахъ, она не можетъ, конечно, благополучно выбраться изъ бездны противорѣчій, въ которыя попадаетъ, и, сильная (сильна ли?) только чувствомъ, разрѣшается клеветой на человѣка, добросовѣстно и съ щемящей болью въ сердцѣ передающаго свои наблюденія. «Недѣля», очевидно, не Чацкій и горе ея—не горе отъ ума.

Мой отчетъ о «Недѣлѣ» былъ бы не полонъ, еслибы я не упомянулъ о приложеніяхъ, которыя она съ нынѣшняго года ежемѣсячно выдаетъ своимъ подписчикамъ. Приложенія эти состоятъ изъ маленькихъ книжекъ, содержащихъ оригинальные и переводные повѣсти и разсказы. Приложенія, повидимому, сильно поправили дѣла «Недѣли». Это видно по тому радостному, лосня щемуся, такъ сказать, тону, съ которымъ расшаркивается передъ новыми подписчиками фельетонистъ «Недѣли»—не сентиментальный старичокъ, конечно, (тутъ плакаться не о чемъ)—а молодцоватый, вседовольный, всезнакомый, наивный самодоволецъ. Впрочемъ, это его хвастовство, хвастовство подписчиками и сочувственными письмами, не смотря на свой высокій комизмъ, по крайней мѣрѣ, вполнѣ натурально.

Что касается содержанія ежемѣсячныхъ приложеній къ «Недѣлѣ», то я откладываю его разборъ до слѣдующаго раза, когда буду вообще трактовать о современной шаблонной беллетристикѣ. Одно только замѣчаніе позволю себѣ сдѣлать сегодня.

Беллетристика Москвы и петербургскаго отдѣленія Москвы, то-есть произведенія гг. Клюшниковыхъ, Лѣсковыхъ, Авсѣенокъ, Маркевичей и проч., вся построена на одинъ ладъ. Дѣвица, прелестная, какъ, ангелъ, кроткая, какъ голубь, и мудрая, какъ змій, попадаетъ въ кружокъ петербургскихъ литераторовъ или петербургскихъ нигилистовъ, отличающихся разными недоброкачественностями и преимущественно пьянствомъ, сладострастіемъ и вольнымъ обращеніемъ съ женщинами. Первоначально дѣвица увлекается, иногда при этомъ падаетъ, иногда же не только, съ божіей помощью, невинность соблюдаетъ, но и капиталъ пріобрѣтаетъ. Однако, во всякомъ случаѣ, она томится. Не для нигилистовъ она рождена. Ея эфирная душа просится въ иныя, высшія сферы, ея лазурныя очи ищутъ иныхъ, болѣе изящныхъ картинъ и образовъ. Притомъ же, она, обыковенно, въ глубинѣ души одеколонъ и духи любитъ. Въ концѣ концовъ, она, такъ или иначе, отрясаетъ прахъ отъ ногъ своихъ. Шаблонъ этотъ, помимо его нравственной цѣнности, уже тѣмъ дуренъ, что страшно надоѣлъ. Кромѣ того, авторы не подозрѣваютъ, до какой степени пошла та кукла-героиня, которую они, какъ дѣти, рядятъ въ полинялые лоскутки всѣхъ цвѣтовъ. Къ сожалѣнію, шаблонъ этотъ начинаетъ перебираться изъ Москвы и петербургскаго отдѣленія ея въ Петербургъ. Таковъ, именно, мало ароматическій букетъ повѣсти г. Полонскаго «Нечаянно», напечатанной въ приложеніяхъ «Недѣли», и повѣсти г-жи Стацевичъ «Идеалистка», печатающейся въ «Словѣ». Это печально.

А, впрочемъ, кругомъ столько печалей и радостей поважнѣе, что объ этихъ дрязгахъ

писать такъ не хочется, такъ не хочется, что я кончаю...

IV *).

О новыхъ повѣстяхъ гг. Авсѣенко, Полонскаго, г-жи Стацевичъ, Писемскаго. — О положительныхъ типахъ въ беллетристикѣ.

Собираясь бесѣдовать о произведеніяхъ гг. Авсѣенки, Полонскаго и г-жи Анны Стацевичъ, чувствую прежде всего потребность возблагодарить судьбу за то, что я не спеціалистъ по литературной критикѣ. Занимай я это почтенное и важное амплуа, читатель потребовалъ бы подробнаго и обстоятельнаго анализа разнообразныхъ красотъ означенныхъ произведеній, оцѣнки ихъ общаго плана и проч. Ничего этого онъ теперь съ меня требовать не вправѣ, а я тѣмъ самымъ избавляюсь отъ ужасающей скуки. Въ утѣшеніе читателя, могу, впрочемъ, сказать, что и его вѣдь минуетъ горькая чаша скуки, ибо—истинно говорю вамъ—наименѣе скучное изъ упомянутыхъ твореній есть водевилеобразная повѣсть г. Полонскаго; но и она, въ качествѣ водевиля, растянувшагося на много печатныхъ листовъ, непомѣрно скучна. Пусть мертвые хоронятъ мертвыхъ, пусть творцы скучныхъ твореній сами упиваются сотворенною ими скукой. Мы возьмемъ только нѣчто у гг. Авсѣенки, Полонскаго и г-жи Анны Стацевичъ и посмотримъ на это нѣчто, только съ одной стороны. Читатель получитъ не критическій отчетъ, а только замѣтки объ одномъ небезъинтересномъ беллетристическомъ пріемѣ и, можетъ быть, небезъинтересномъ поэтическомъ типѣ.

Жила-была дѣвица Липочка Ипатова. Это была прекрасная дѣвица: умна, хороша, добродѣтельна, благородна, но нѣсколько неопытна. Жила она въ провинціи, но затѣмъ попала въ Петербургъ, прямо въ лапы адвоката Безбѣднаго. Подъ какимъ соусомъ съѣстъ Липочку Ипатову ловкій адвокатъ и даже съѣстъ-ли онъ ее или же этотъ лакомый кусочекъ достанется другому, болѣе достойному гурману—это пока еще неизвѣстно. Еслибы адвокатъ съѣлъ Липочку въ самомъ началѣ романа, то не было бы и романа. Прежде, чѣмъ придти къ предназначенному ей концу, Липочка должна пройти нѣкоторыя мытарства, должна людей посмотрѣть и себя показать. Такъ она и поступаетъ. «Молоденькая, только что пріѣхавшая изъ глухой провинціи и еще тамъ, въ провинціальной глуши, составившая себѣ весьма фантастическія представленія о петербургской жизни, она очень интересовалась познакомиться съ нѣкоторыми сторонами этой жизни. Больше же всего ей хотѣлось увидѣть двѣ вещи: какого-нибудь знаменитаго литератора и потомъ члена тайнаго революціоннаго общества». И вотъ, желанія Липочки, наконецъ, отчасти исполнились; она встрѣтилась съ одной подругой дѣтства, которая пригласила ее къ себѣ, обѣщая показать нѣчто во вкусѣ ея желаній.

Когда Липочка вошла къ Настенькѣ (такъ звали подругу), «въ первую минуту она ничего не могла разглядѣть сквозь густой табачный дымъ, застилавшій слабое мерцаніе рабочей лампы и двухъ свѣчей, страшно оплывшихъ оттого, что вокругъ нихъ постоянно толклись и махали руками и стаканами. Вмѣстѣ съ этимъ дымомъ, въ воздухѣ носились облака испареній, произведенныхъ разгоряченнымъ, спиртуознымъ дыханіемъ и талою сыростью, врывавшеюся сквозь раскрытую форточку». —«Пиво или чай?—таковъ былъ первый лаконическій вопросъ, заданный Липочкѣ хозяйкой. Пива! пива Липочкѣ Ипатовой! Она, конечно, съ негодованіемъ отвергла пиво, потребовала чаю и стала прислушиваться къ разговору нѣсколькихъ молодыхъ людей обоего пола, сидѣвшихъ въ комнатѣ. Разговоръ былъ сначала политическій и, конечно, крайне глупый, но скоро измѣнилъ характеръ. «Пиво выпивалось скорѣе. Баламутовъ, помѣстившись за стуломъ Попрункиной, явно обнималъ ее за талію. Хорошенькая Кронгольдъ поглядывала на нихъ съ насмѣшливой гримасой: она получила воспитаніе въ театральномъ училищѣ и, вопреки всему, сохранила вынесенное оттуда предпочтеніе къ офицерамъ. Липочка, хотя о многомъ имѣла очень самостоятельныя понятія и считала себя женщиной безъ предразсудковъ, но ей становилось все болѣе и болѣе неловко. Все, что она видѣла, совсѣмъ не отвѣчало ея ожиданіямъ». Но впереди Липочку ждали еще большія разочарованія. Именно, двое изъ видѣнныхъ ею у Настеньки мужчинъ явились къ ней одинъ вслѣдъ за другимъ съ чрезвычайно нелѣпымъ политическимъ приставаніемъ. Второй гость, впрочемъ, очень быстро и «съ невѣроятною наглостью» съѣхалъ на вопросъ: «Ну, а на счетъ физической любви, вы какихъ придерживаетесь мнѣній?» Липочка, разумѣется, немедленно выгнала его вонъ.

Это эпизодъ изъ повѣсти г. Авсѣенки «Скрежетъ зубовный», печатающейся въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Надо замѣтить, что Липочка Ипатова, «по убѣжденіямъ очень презирала такъ называемый свѣтъ, но инстинктами своими умѣла оцѣнить и хорошій туалетъ и тонъ». Такъ, одна свѣтская дама, госпоа Олжанская, «всегда на-

*) 1878, май.

рядная, всегда пахнувшая какими-то отличными духами, производила на нее успокаивающее впечатлѣніе своими мягкими движеніями, своею красотой, своимъ ласковымъ и легкомысленно звучащимъ голосомъ». Это внутреннее бореніе инстинктовъ и убѣжденій, склонности къ «отличнымъ духамъ» и различныхъ идеальныхъ стремленій, очень важно замѣтить для нашей, не особенно, впрочемъ, важной цѣли.

Жила-была другая дѣвица Леля Затаилова. Это была также прекрасная и также неопытная дѣвица. Еще въ дѣтствѣ Леля Затаилова «была такой хорошенькой дѣвочкой, что всѣ ею любовалась и всѣ ее баловали; даже учителя (что грѣха таить!) невольно прибавляли ей баллы за ея золотыя кудри и херувимское личико». Но и въ возрастъ придя, она имѣла «свѣтло-голубые, какъ лѣтнее небо, глаза», прикрытые «темными рѣсницами». Леля была, собственно, «избалованная, изнѣженная барышня», хотя и прекрасная, и умная, и добродѣтельная. Но, благодаря своему кузену-студенту, она «попала въ такое молодое общество, которое совершенно измѣнило весь складъ ея прежнихъ пансіонскихъ понятій и, такъ сказать, заставило ее сжечь все то, чему она поклонялась». О склонности ея къ отличнымъ духамъ точныхъ свѣдѣній не имѣется, но опекунъ (Леля—сирота) удостовѣряетъ, что она «боится сквознаго вѣтра и всякій разъ, какъ промочитъ свои фарфоровыя ножки, вытираетъ ихъ одеколономъ». «Въ глубинѣ души своей, она глубоко сожалѣла о тѣхъ удобствахъ, о той относительной роскоши, какою пользовалась при жизни своего отца. Ей было тяжело, очень тяжело просторную и удобную квартиру въ Троицкомъ переулкѣ промѣнять на темную квартиру на Знаменской. Боже мой, какъ желала она убрать свою комнату! — къ окну примостить письменный столикъ и уставить его разными письменными фарфоровыми и бронзовыми бездѣлушками, въ углу помѣстить свой маленькій туалетикъ, съ табуретомъ передъ зеркаломъ, прикрытымъ розовымъ чахломъ съ кисейной отдѣлкой». Таковы «инстинкты» Лели Затаиловой. Ея «убѣжденія», благодаря «молодому обществу», въ которое она попала, тянутъ совсѣмъ въ противоположную сторону. Въ этомъ обществѣ есть юный критикъ Кроликовъ (кузенъ Лели), послѣдователь и, по мнѣнію его почитателей, какъ бы замѣститель Писарева, золотушный, зябкій, вообще, плюгавый, но имѣющій о себѣ чрезвычайно высокое мнѣніе и чрезвычайно развязно толкующій о Гейне, уголовномъ правѣ, вообще о всѣхъ «матеріяхъ важныхъ», какія только подъ руку подвернутся. Есть Юленька Дицъ, очень симпатичная, немножко черезъ-чуръ развязная и съ значительной придурью дѣвица. Есть литераторъ Минераловъ, пишущій въ разныхъ повременныхъ изданіяхъ, подъ псевдонимами «Гвоздь», «Заноза», «Подвальный поэтъ» и проч., вѣчно пьяный, острякъ по профессіи, отзывающійся о «своихъ» слѣдующимъ образомъ: «Люди съ идеями, новые люди, которые за словомъ въ карманъ не полѣзутъ, люди, для которыхъ никакихъ предразсудковъ не существуетъ, ни религіозныхъ, ни литературныхъ, ни политическихъ». Маленькій образчикъ остроумія литератора Минералова:

«— Носовые платки слѣдуетъ терять,—замѣтилъ литераторъ.
— Отчего слѣдуетъ?
— Для распространенія насморка; насморкъ—это единственная вещь, которую мы имѣемъ право пропагандировать.
— Чтобы вы такое желали пропагандировать?—замѣтилъ Симеонъ Родіоновичъ.
— А вы семейный человѣкъ или холостой?
— Семейный.
— А есть у васъ дочки?
— Слава Богу!
— Пригласите меня къ вашимъ старшимъ дочерямъ—уроки давать, возьму не дорого.
— А зачѣмъ я васъ приглашу имъ уроки давать?
— Да я... я имъ, если угодно, свободную любовь буду пропагандировать».

Фигурируютъ и другія личности въ молодомъ обществѣ, совратившемъ Лелю Затаилову съ пути ея инстинктовъ, на путь ея убѣжденій. Есть тамъ звѣрообразный молодой человѣкъ Стихаревъ, наглый дармоѣдъ, который объясняется Лелѣ въ любви слѣдующимъ, даже маловѣроятнымъ образомъ: «Чтобы любить такъ, какъ я люблю васъ, прежде всего надо животнымъ быть—имѣть зубы, чтобы кусать и загрызать своихъ соперниковъ, и имѣть дерзновеніе силой взять то, что по праву принадлежитъ только сильному. Будь вы замужемъ хоть за десятью мужьями, я и тогда не откажусь отъ того, что мнѣ забрело въ голову! Видно у меня такая натура; я не виноватъ, что вы меня привлекаете!» Есть еще въ молодомъ обществѣ нѣкто Умековъ, красавецъ, талантливый, но весьма пустой. «Есть его кроткая любовница Маша Студенецкая. О глупости этой кроткой дѣвицы можете судить по слѣдующему ея разговору съ нѣкіимъ Пулькинымъ. Пулькинъ спросилъ Машу, кто, по ея мнѣнію, первый поэтъ въ Россіи.

«— Писаревъ,—быстро отвѣтила Маша, и также быстро поглядѣла ему въ глаза: она была увѣрена, что ея отвѣтъ изумитъ его. Но Пулькинъ не изумился.

— Такъ вы думаете, что онъ поэтъ?

— Выше всѣхъ поэтовъ, какіе когда-либо

были въ Россіи. Одна страница его стоитъ иногда десятка лирическихъ Пушкинскихъ и Лермонтовскихъ стихотвореній. Я уже не говорю о другихъ—тѣ просто нули...

— А Некрасовъ?

— Некрасова я люблю, но его Антоновича терпѣть не могу»...

Есть еще гигантъ-дѣвица Нельбитова, поднимающая восемь пудовъ и немилосердно пыхтящая папироской. Молодое общество много разговариваетъ о трудѣ и наукѣ, но не прочь заняться и вещами, довольно посторонними какъ труду, такъ и наукѣ. Такъ Минераловъ предлагаетъ уроки свободной любви, такъ Стихаревъ («съ невѣроятною наглостью», совершенно справедливо сказалъ бы г. Авсѣенко) обѣщаетъ «силой» добиться любви Лели Затаиловой, такъ Умековъ обнимаетъ Машу Студенецкую съ несравненно большею публичностью, чѣмъ Баламутовъ Попрункину въ повѣсти г. Авсѣенки.

Это эпизодъ изъ повѣсти «Нечаянно» извѣстнаго нашего поэта Я. Полонскаго, печатающейся въ ежемѣсячныхъ приложеніяхъ къ «Недѣлѣ».

Жила была третья дѣвица Наденька Ракитина... Но этой дѣвицей и ея похожденіями намъ предстоитъ заняться нѣсколько пристальнѣе, потому что исторія ея похожденій составляетъ уже не эпизодъ, а все содержаніе повѣсти «Идеалистка» г-жи Анны Стацевичъ, печатающейся въ «Словѣ».

Повѣсть эта заслуживаетъ вниманія во многихъ отношеніяхъ. Во-первыхъ, авторъ ея, сколько мнѣ извѣстно — писательница начинающая и притомъ обнаруживающая нѣкоторый, хотя и не чрезмѣрный талантъ. Г. Авсѣенко, г. Полонскій—люди законченные. До нихъ лично критикѣ, можно сказать, нѣтъ никакого дѣла. Ихъ произведенія могутъ служить, конечно, объектомъ критическаго разбора, но всякіе совѣты и указанія лично имъ были бы дѣломъ совершенно праздным, ибо, извѣстное дѣло, ученаго учить—только портить. Г-жа Стацевичъ находится въ иномъ положеніи. Чѣмъ лукавый не шутитъ! Можетъ быть, изъ нея выработается звѣзда первой величины, которая освѣтитъ туманный небосклонъ россійской словесности. Откровенно говоря, я въ этомъ сильно сомнѣваюсь, но, опять-таки, чѣмъ лукавый не шутитъ, и разъ г-жа Стацевичъ обнаруживаетъ нѣкоторый талантъ, критика обязана предостеречь ее отъ фальшивыхъ путей. Дѣло г-жи Стацевичъ—принять эти предостереженія къ исполненію, или только къ свѣдѣнію, или даже и къ свѣдѣнію не принимать. Далѣе, съ точки зрѣнія того беллетристическаго пріема и того поэтическаго образа, которымъ посвящаются настоящія замѣтки, произведеніе г-жи Стацевичъ представляетъ тему, много благодарнѣйшую, чѣмъ писанія гг. Авсѣенки и Полонскаго. Уже одно то много значитъ, что прелестная, щедро осыпанная всѣми дарами природы дѣвица, попадающая въ неподходящія для ея высокой натуры условія, не составляетъ центра тяжести тѣхъ произведеній, тогда какъ «Идеалистка» цѣликомъ построена на этомъ мотивѣ. Кромѣ того, гг. Авсѣенко и Полонскій, хотя и выдѣляютъ своихъ героинь изъ сонма окружающихъ ихъ ходячихъ пошлостей и неблагопристойностей, изъ породы разныхъ «истовъ» и «новыхъ людей», но всетаки и на нихъ, на героинь смотрятъ со стороны, съ высока. Они позволяютъ себѣ иногда легкую насмѣшку надъ прелестной дѣвицей, какъ со стороны ея инстинктовъ, такъ и со стороны ея убѣжденій. Г-жа Стацевичъ, напротивъ, всю душу свою кладетъ въ Наденьку Ракитину, чуть не молится на нее и оттого живопись ея выходитъ наивнѣе, грубѣе, нагляднѣе и тѣмъ самымъ поучительнѣе. Извѣстно, что для всякаго опыта, наблюденія, изслѣдованія полезно уединить изучаемый предметъ, добиться условій, при которыхъ онъ сталъ бы рѣзче, грубѣе, чѣмъ, обыкновенно, бываетъ. Грубость пріемовъ г-жи Стацевичъ сослужитъ и намъ въ этомъ отношеніи полезную службу. Мы получимъ въ почти чистомъ видѣ беллетристическій пріемъ, состоящій въ наваливаніи даровъ природы на дѣвицу, не умѣющую уладить распрю своихъ инстинктовъ съ своими убѣжденіями и разочаровывающуюся во всемъ, кромѣ собственной личности, которою, однако, самому беллетристу отнюдь не полагается очаровываться.

Наденька Ракитина столь прелестна, что восхищенный своимъ созданіемъ авторъ говоритъ о ней не иначе, какъ съ какимъ то страннымъ присюсюкиваніемъ. У Наденьки не голова, а «головка», не фигура, а «фигурка», не голосъ, а «голосокъ», даже не умъ, а «умокъ». Фигурка у Наденьки разумѣется, легкая и граціозная; голосокъ— «звучный и симпатичный», способный звучать и строго и мягко, и насмѣшливо и задушевно, но всегда восхитительно; головка— «кудрявая», а кудерки на ней «свѣтлорусыя, пушистыя»; «умокъ»... умокъ тоже маленькій и бѣлокуренькій. Этого послѣдняго, впрочемъ, г-жа Стацевичъ не говоритъ, напротивъ, она склонна представить «умокъ» Наденьки Ракитиной столь же сильнымъ и обширнымъ, сколь кудрява и пушиста ея головка. Но на этомъ пунктѣ мы можемъ дѣлать свои заключенія, совершенно независимо отъ подсказываній суфлера-автора. Дѣйствительно, когда рѣчь идетъ о необы-

чайной физической красотѣ Наденьки, мы должны вѣрить автору на слово. Напримѣръ, авторъ разсказываетъ: «Только что вошла она, въ корридорѣ, слабо освѣщенномъ одной керосиновой лампочкой, стало вдругъ какъ будто свѣтлѣе. Ото всей ея легкой фигурки, отъ оживленнаго лица, съ парой блестящихъ выразительныхъ глазъ, отъ пушистыхъ свѣтлорусыхъ кудрей, волной сбѣгавшихъ на плечи изъ подъ бархатной шапочки, вѣяло жизнью, свѣтлымъ взглядомъ на жизнь». Такъ разсказываетъ авторъ и мы должны ему вѣрить, по крайней мѣрѣ, не имѣемъ возможности провѣрить его показанія на основаніи имѣющихся на лицо матеріаловъ. Къ счастію, оно и не важно. Освѣщается-ли корридоръ одной керосиновой лампочкой, или въ немъ, кромѣ того, горитъ факелъ живой красоты Наденьки Ракитиной, это за предѣлами корридора не имѣетъ ровно никакого значенія. Красота не подражаема. Уроковъ, поученій изъ нея не извлечешь. Значитъ, Богъ съ ней, съ провѣркой авторскихъ показаній на счетъ красоты. Но когда намъ говорятъ, что такой-то человѣкъ уменъ и благороденъ, и не голословно говорятъ, а сообщаютъ нѣчто изъ его мыслей, чувствъ и поступковъ, то мы имѣемъ полную возможность оцѣнить степень справедливости показаній автора.

Г-жа Стацевичъ до такой степени влюблена въ свою героиню, что даже не трудится (а можетъ быть и не умѣетъ) искусно подтасовывать факты. Поэтому нѣкоторая дрянность Наденьки, прошу извиненія у влюбленнаго автора—обнаруживается сама собой, не взирая на усердное кажденіе г-жи Стацевичъ. Обнаруживается также истинная причина преслѣдующихъ «идеалистку» разочарованій. Это свидѣтельствуетъ, конечно, о правдивости автора.

Наденька, какъ это всегда бываетъ съ подобными, нѣсколько аляповатыми героинями, чуть не въ утробѣ матери начала плѣнять собою свѣтъ. Достовѣрно, что въ гимназіи (а она окончила гимназическій курсъ пятнадцати лѣтъ) учителя называли ее «звѣздой» и пророчили ей «будущность». Однажды она, въ классѣ русской словесности прочитала отрывокъ изъ «Камоэнса» Жуковскаго такъ превосходно, что учитель, вмѣсто того, чтобы, на основаніи этого опыта декламаціи, предсказать ей будущность актрисы, выразился вообще: «Изъ этой Ракитиной непремѣнно выйдетъ что-нибудь особенное!»

Рано расцвѣла эта прекрасная избранная душа, но за то рано начались для нея неудачи и разочарованія. Они начались въ гимназіи. Любопытно при этомъ слѣдить за авторомъ, за тѣмъ, какъ борется въ немъ правдивость съ пристрастіемъ къ Наденькѣ.

«Между тѣмъ, какъ ея молодыя сверстницы, съ пылающими щеками, отбивали ноги и полы въ шумныхъ галопахъ и полькахъ-мазуркахъ, Надя сидѣла въ уголку и, глядя на чужое веселье, анализировала свою душу. Она сознавала въ себѣ чувство, похожее на зависть, при видѣ своихъ веселящихся, влюбленныхъ и счастливыхъ взаимностью подругъ». Но сама она, несмотря на свои четырнадцать лѣтъ, была слишкомъ серьезна («слыла bas bleu») и возвышена для участія въ этомъ весельи и сторонилась отъ него. Такъ разсказываетъ авторъ, но онъ тутъ же, на той же и на предыдущей страницѣ сообщаетъ, что положеніе bas bleu было весьма почетное въ гимназіи. «Это была эпоха общественнаго пробужденія, эпоха горячей вѣры въ новое время, въ новые идеалы. Всѣ чувствовали себя болѣе обыкновеннаго людьми и ждали многаго отъ себя и другихъ. Учителя въ этой гимназіи были большею частью молодые, съ любовью относившіеся къ новому учрежденію. Учепицы также учились съ любовью и сознаніемъ. Гимназисты и гимназистки вели дебаты о свободѣ и равноправности женщины, объ *эмансипаціи* вообще, о началѣ всѣхъ началъ, о клѣточкѣ, объ инфузоріяхъ и манадахъ, о послѣднемъ сочиненіи Бюхнера. Въ классѣ закона божія украдкой читали «Отцовъ и дѣтей». Устраивались вечеринки съ танцами и съ «серьезными разговорами». Казалось бы четырнадцатилѣтнему синему чулку тутъ раздолье было. А между тѣмъ Наденькѣ «хотѣлось бѣжать прочь, въ темноту, въ тишину». Зачѣмъ бы это? отчего? Г-жа Стацевичъ представляетъ дѣло такъ, что отъ танцевъ. Но вѣдь были и «серьезные разговоры? Не правдивѣе-ли поэтому поступила бы г-жа Стацевичъ, еслибы представила Наденьку убѣгающею мысленно въ пустыню, вслѣдствіе прямыхъ неудачъ на танцовальномъ поприщѣ? Оно и естественнѣе въ четырнадцатилѣтней дѣвочкѣ. Впрочемъ, какъ увидитъ читатель, танцы и впослѣдствіи играютъ важную роль въ жизни Наденьки Ракитиной: все она какъ-то на нихъ сердится и все больше, кажется, за личныя неудачи, потому что, собственно говоря, она любитъ танцы и доднесь, то-есть до той минуты, къ которой относятся не дѣтскія воспоминанія, а самая фабула «Идеалистки». Танцы и—какъ у Лины Ипатовой и Лели Затаиловой—духи, это слабость Наденьки Ракитиной, важная составная часть ея «инстинктовъ».

Но вотъ гимназическій курсъ конченъ. Нашей героинѣ шестнадцать лѣтъ. «Во всей фигурѣ ея, во всѣхъ движеніяхъ ея гибкихъ,

стройныхъ, дѣтски-неразвитыхъ членовъ сказывалась особая чарующая грація, полная жизни и поэтичности и заставлявшая оглядываться на нее на улицѣ, въ толпѣ. Какъ-то случайно, одинъ заѣзжій художникъ, замѣтивъ ее въ церкви, всю всенощную не сводилъ глазъ съ этихъ мягкихъ, изящныхъ линій дѣвственнаго стана, съ этихъ, смиренно скрещенныхъ на колѣняхъ, рукъ, съ этой благоговѣйно склоненной головки, обрамленной вѣникомъ волнистыхъ, золотисто-пепельныхъ волосъ. Онъ нашелъ въ ней прелестную модель св. мученицы къ иконѣ въ древне-итальянскомъ стилѣ, которую въ то время писалъ. Первое ухаживанье вскружило ей голову. Лесть и похвала дѣйствовали на нее, какъ хорошее вино, какъ шампанское. Она чувствовала тогда себя созданной для любви и поклоненія. Лѣтомъ, молодежь бѣгала за ней толпами. Сама она влюблялась безъ конца: въ заѣзжаго пѣвца, въ больного музыканта, въ портретъ Тургенева, въ его глаза — «глубокіе, какъ пропасть», во всѣхъ героевъ, страдальцевъ, борцовъ, въ одного ссыльнаго». И вдругъ все это надоѣло Наденькѣ—«пошлость, скука», говорила она и стала стремиться къ химіи, къ медицинѣ и еще къ чему-то такому, что непонятно ни ей самой, ни ея біографу. Опять отчего такой странный оборотъ? Г-жа Стацевичъ объясняетъ, что отъ «пошлости и скуки» веселаго времяпровожденія. Но опять-таки она столь правдива, что тутъ же сообщаетъ истинную причину душевной пертурбаціи Наденьки: «Прошло лѣто и молодежь, вертѣвшаяся около нея, мало по малу отхлынула. «Богъ съ ней, съ этой серьезной музыкой, не всякій способенъ переварить ее, говорила о ней эта молодежь». Помилуйте, г-жа Стацевичъ, какая тутъ «серьезная музыка», когда дѣвица мнила себя быть «созданной для любви и поклоненія» и даже «глубокимъ, какъ пропасть глазамъ» почтеннѣйшаго Ивана Сергѣевича не давала спуску? Музыка самая несерьезная и дѣло происходило, увѣряю васъ, чрезвычайно просто: дѣвица мнила себя созданной для поклоненія, а молодежь думала иначе, и единственно въ этомъ печальномъ обстоятельствѣ заключается источникъ разочарованія Наденьки Ракитиной.

Потянуло Наденьку въ Петербургъ. Это ужъ какъ водится. Что ее туда потянуло—серьезная или несерьезная музыка—рѣшить довольно трудно. Однако, вѣрная своей фактической правдивости, г-жа Стацевичъ не скрыла слѣдующаго эпизода. Однажды Наденька встрѣтила толпу заѣзжихъ изъ Петербурга молодыхъ людей, которые «шли всѣ въ рядъ и во весь голосъ, съ увлеченіемъ распѣвали арію изъ «Прекрасной Елены»: «Всѣ мы жаждемъ любви». Надя впервые слышала такую заразительно живую мелодію и заслушалась, какъ очарованная... И все это было тамъ, въ Петербургѣ! И трудъ, и наслажденіе!.. Ей чудилось въ ту минуту, будто она слышитъ даже гулъ этого далекаго міра, ускоренную пульсацію его жизни». Право это, кажется, не само серьезная музыка и я искренно удивляюсь почему отъ Наденьки отхлынули провинціальные враги серьезной музыки: жить бы имъ да жить, вмѣстѣ «всѣ мы жаждемъ любви» распѣвать. Развѣ вотъ что: можетъ быть глазки Наденьки совсѣмъ не такъ выразительны, какъ разсказываетъ авторъ, а имѣютъ видъ оловянныхъ пуговицъ? Можетъ быть, у нея и какіе-нибудь другіе есть изъяны въ красотѣ? или можетъ быть непомѣрныя претензіи Наденьки отвадили провинціальныхъ поклонниковъ? Все можетъ быть, все, что угодно, но только не «серьезная музыка». Она тутъ рѣшительно не причемъ.

Въ Петербургѣ, опять-таки какъ водится, Наденька Ракитина не замедлила попасть въ кружки разныхъ «истовъ» и «новыхъ людей». Вотъ какъ вспоминаетъ она объ этомъ сама: «Медикъ одинъ, напримѣръ, постоянно просвѣщалъ меня относительно «ненормальности» моей жизни; порицалъ за любовь къ духамъ (онъ понималъ одинъ ароматъ—препаровочной! такъ увѣрялъ онъ, по крайней мѣрѣ) къ крѣпкому чаю, за всѣ мои волненія, стремленія и проч. Все было ненормально, нездорово. Я слушаю. Является другой—технологъ — порицаетъ за чистые воротнички и ленточку на шеѣ: аристократизмъ, «кисейная барышня», по Писареву. «Общественный нуль—и никакой идеи!»—«Отчего вы не поступаете въ акушерки?»—Господи! говорю, да я совсѣмъ не хочу въ акушерки! Что же все акушерки, да акушерки!—«Ну, поступайте въ академію».—А кто за меня платить будетъ? А что я ѣсть буду?—«Ну, такъ изъ васъ ничего не выйдетъ!»—и машетъ рукой, какъ надъ отпѣтой. Поневолѣ разозлишься.—Да я, говорю, ничѣмъ и не хочу быть. Я хочу быть просто человѣкомъ, и, если можно, образованнымъ человѣкомъ.—«Къ чорту образованность! Не до того! Народъ страдаетъ. Приближается время, когда всѣ будутъ равны и свободны и никто превосходенъ!» И все это, замѣтьте, тономъ невыносимо отвратительнаго авторитета».

Надо отдать справедливость г-жѣ Стацевичъ. Вложивъ эту тираду въ уста своей обожаемой героини, она тотчасъ же возвышается уже не до фактической только правдивости, а до правдивости, такъ сказать, принципіальной, ибо немедленно заставляетъ

Наденьку сознаться, что не имѣетъ никакого права смѣяться надъ осмѣянными ею молодыми людьми, что они много лучше ея, лучезарной Наденьки. Но это первое и послѣднее признаніе автора въ нѣкоторой небезподобности героини. Слѣдующій кружокъ, въ который попадаетъ Наденька, раздавленъ ея безподобностью безъ всякой пощады. Кружокъ этотъ литературный. Какіе это такіе литераторы, я сказать не умѣю. Для литературной богемы они слишкомъ хорошо живутъ (пикники, балы, шампанское), для литераторовъ болѣе или менѣе серьезныхъ и, такъ сказать, прочныхъ, они слишкомъ богемы. Подробности ихъ изображенія г-жею Стацевичъ даже совсѣмъ невѣроятны для всякого, мало-мальски знакомаго съ этой средой. Но все равно. Главное въ томъ, что Наденька Ракитина, совершенно какъ Липа Ипатова, пожелала видѣть литераторовъ, но, увидѣвъ ихъ, совершенно разочаровалась.

Читатель знаетъ, что я никакой особенной предилекціи къ литераторамъ, какъ къ литераторамъ, не чувствую и даже выношу за это громы собратовъ по ремеслу, громы, гремящіе, впрочемъ, не столько изъ тучи, сколько изъ «Недѣли». Тѣмъ паче не могу я уважать фантастическихъ литераторовъ г-жи Стацевичъ, которые только и дѣла дѣлаютъ, что срываютъ цвѣты наслажденія, вальсируютъ, полькируютъ, порхаютъ отъ поцѣлуя къ поцѣлую и отъ одной бутылки шампанскаго къ другой. Но я долженъ по совѣсти сказать, что даже при этихъ фантастическихъ условіяхъ, разочарованіе Наденьки совершенно неумѣстно, что ей надлежало бы разочароваться только въ самой себѣ и что, слѣдовательно, г-жѣ Стацевичъ слѣдовало бы выбрать нѣсколько болѣе подходящаго субъекта для идеализаціи.

Посмотримъ на окружавшій Наденьку персоналъ. Во-первыхъ, литераторъ Крамской, пьяный и грубый дикарь, но, что называется, человѣкъ съ душой и не глупый. Объ немъ будетъ рѣчь особо. Во-вторыхъ, поэтъ Талызинъ, совершенный двойникъ Минералова, изображеннаго г. Полонскимъ: такой же пьяный, такой же наглый, такой же острословъ и такой же охотникъ пропагандировать свободную любовь. Въ-третьихъ, литераторъ Павлищевъ и его жена—легкомысленная супружеская пара, живущая «по Чернышевскому». Въ-четвертыхъ, скульпторъ Истоминъ, не безталанный, но глупый, удостоившійся, однако, любви Наденьки. Въ-пятыхъ, докторъ Мордвиновъ, «превосходный танцоръ, сердцѣдъ, рьяный агитаторъ во всѣхъ тогдашнихъ студенческихъ исторіяхъ и ученый, которому предстоитъ блестящая будущность». Есть еще другіе разные, но поименно они неизвѣстны. Все это не великіе люди, конечно, и съ большими слабостями, но рѣшительно недурные, сравнительно, конечно, съ тѣмъ, что вообще русское общество представляетъ. Сама Наденька получила отъ нихъ нѣсколько не маловажныхъ услугъ. Такъ она влюбилась въ глупаго скульптора Истомина, завела эту интригу довольно далеко и завела бы еще дальше, еслибы ея не остановила истинно благодѣтельная рука никого другого, какъ обливаемаго презрѣніемъ г-жи Стацевичъ поэта Талызина. Да, послѣ одного только разговора съ этимъ пьянымъ поэтомъ, Наденька «тутъ же, сейчасъ же постигла, что художникъ, въ самомъ дѣлѣ, былъ далеко не уменъ, хотя былъ и добръ, и говорилъ тихо и изящно; что онъ совсѣмъ не образованъ и можетъ говорить только о своихъ статуяхъ и бюстахъ... да объ ней: и главное, что онъ мужъ другой женщины, противъ которой Наденька поступала безчестно». Ничего этого Наденька, при всей своей лучезарности и не смотря на весь свой «умокъ», не понимала до тѣхъ поръ и на все это ей раскрылъ глаза Талызинъ. Далѣе, Наденька влюбилась въ Мордвинова, а тотъ мягко, но откровенно замѣтилъ, что не любитъ ее и бережно отклонилъ добровольно предлагавшуюся ему жертву вечернюю. Опять ничего, кромѣ порядочности и серьезнаго отношенія. Я уже не говорю о Крамскомъ, который и работу Наденькѣ доставалъ, и руководилъ ею въ выборѣ книгъ для чтенія, и систему занятій для нея придумалъ, и вообще няньчился съ ней, какъ съ любимымъ ребенкомъ. Правда, Наденька, какъ дѣвица вполнѣ лучезарная, могла презирать эти личныя услуги и устремлять свою критику на общественную дѣятельность окружавшихъ ее людей. Но тутъ мы встрѣчаемся съ чрезвычайно странною вещью: г-жа Стацевичъ показываетъ намъ весь этотъ людъ только со стороны пьянства, кутежей, танцевъ. Но на какіе же деньги странствуютъ благородные рыцари? Чтобы литераторы могли такъ весело проводить время, они должны зарабатывать кучу денегъ, а куча денегъ можетъ зарабатываться литераторами только цѣною страшнаго труда, такого труда, о какомъ г-жа Стацевичъ, вѣроятно, даже и понятія не имѣетъ, такого труда, который въ чахотку вгоняетъ и въ могилу сводитъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, литературный трудъ, требующій постояннаго и усиленнаго умственнаго напряженія, по необходимости, сосредоточиваетъ занятыхъ имъ на умственныхъ интересахъ. Эти интересы могутъ быть, глядя по людямъ, мелки или важны, пониматься правильно или вкривь и вкось, но они необходимо должны быть на лицо. И, однако, объ

этой сторонѣ дѣла мы ничего не узнаемъ изъ «Идеалистки», кромѣ нѣсколькихъ бѣглыхъ свѣдѣній о Крамскомъ. Все вниманіе какъ самой Наденьки, такъ и ея біографа, устремлено на сферу половыхъ отношеній и различныхъ увеселеній, тогда какъ, по обстоятельствамъ дѣла, совершенно невѣроятно, чтобы ничего иного Наденька и не встрѣчала.

Замѣчательно вотъ что. Съ Талызинымъ, человѣкомъ, рекомендуемымъ за отпѣтаго, Наденька заговаривала иногда, какъ очень забавно сама разсказываетъ, «объ чемъ-нибудь серьезномъ: о Спенсерѣ, о нравственности, о своихъ стремленіяхъ къ совершенствованію», на что получала только одну отповѣдь, что все это, дескать, не бабьяго ума дѣло. Но, напримѣръ, съ «агитаторомъ и ученымъ, которому предстоитъ блестящая будущность», съ Мордвиновымъ, она только танцовала, да въ жертвы себя предлагала. Правда, Мордвиновъ изумительно танцовалъ. Наденька и до сихъ поръ вспоминаетъ объ этомъ обстоятельствѣ съ содроганіемъ. «Вся суть дѣла была въ вальсѣ,—разсказываетъ она.—Онъ танцовалъ его такъ (она замѣтно вздрогнула и нервно повела плечами)... Духъ захватывало! Ни прежде, ни послѣ я такъ не танцовала». Это такъ. Но вѣдь Мордвиновъ былъ, кромѣ того, «рьяный агитаторъ» и «ученый съ блестящею будущностью». Почему же бы Наденькѣ, вмѣсто Талызина, отъ котораго завѣдомо, какъ отъ козла молока, не поговорить съ Мордвиновымъ «о Спенсерѣ, о нравственности, о своихъ стремленіяхъ къ совершенствованію». Можетъ быть онъ такое ей сказалъ бы, что всякимъ ея разочарованіямъ конецъ насталъ бы. Можетъ быть и нѣтъ, конечно, но отчего же не попробовать? А она именно даже и не попробовала. Наденька «все не въ то мѣсто попадала» и въ этомъ ея истинная бѣда, а совсѣмъ не въ ея лучезарности.

Какъ Наденька, такъ и ея біографъ, очевидно, весьма недовольны встрѣченнымъ ими въ изображаемомъ кружкѣ неуваженіемъ къ семейному принципу. Она (право, не разберешь, гдѣ кончается обожаемая Наденька и гдѣ начинается обожающая г-жа Стацевичъ) саркастически подчеркиваетъ, что люди эти были *снисходительны* къ ея таинственнымъ прогулкамъ въ лѣсу съ художникомъ Истоминымъ; что *тамъ* считалось позволительнымъ мужчинѣ публично положить голову на плечо дѣвицы. Она негодуетъ на Павлищевыхъ, которыхъ только иронически можно называть людьми «семейными» и которые живутъ «по Чернышевскому». Она негодуетъ и на Талызина, который пропагандируетъ ей свободную любовь; и на Мордвинова, который «былъ женатъ фиктивно, съ благотворительною цѣлью, и *жилъ* съ какою-то артисткой, у которой былъ свой ami de coeur». Допустимъ, что все это, въ самомъ дѣлѣ, неодобрительно. Но, вѣдь, Наденька играетъ роль того diable, qui prêche la morale.

Чѣмъ кумушекъ считать трудиться,
Не лучше-ль на себя, кума, оборотиться.

Припомните, въ самомъ дѣлѣ, какую важную роль въ дѣлѣ переправы Наденьки въ Петербургъ игралъ оффенбаховскій мотивъ «всѣ мы жаждемъ любви». Припомните, что отъ свободной любви къ Истомину ее удержалъ только пропагандистъ свободной любви Талызинъ, что отъ свободной любви къ Мордвинову ее удержалъ только отказъ самого Мордвинова. Поэтому негодованіе Наденьки на недостатокъ уваженія къ семейному принципу что-то подозрительно. Не потому ли оно такъ сильно, что тутъ опять замѣшались личныя неудачи, неудачи на поприщѣ той самой свободной любви, которая нынѣ объявляется зеленымъ виноградомъ? Весьма можетъ быть. Даже навѣрное такъ.

Будь я на мѣстѣ г-жи Стацевичъ, я взялъ бы весь фактическій матеріалъ «Идеалистки» (за исключеніемъ, конечно, кое-какихъ невѣроятныхъ подробностей), но воспользовался бы имъ совсѣмъ иначе. Факты остаются фактами, но разсказать ихъ можно на разныя манеры, и я не могу удержаться, чтобы не привести одного образчика различія манеры, который самъ собой подвертывается подъ руку.

Былъ канунъ свѣтлаго праздника. На Наденьку нашелъ стихъ разочарованія. Она писала въ своемъ дневникѣ: «Первый разъ въ теченіи пятнадцати лѣтъ я *пропустила* (этотъ и прочіе курсивы принадлежатъ Наденькѣ) эту ночь. Я спала, усталая, измученная всѣмъ вчерашнимъ и сегодняшней сценой съ Крамскимъ. Я *не встрѣтила* праздника. Я *одна* теперь. Глухо доносится церковный звонъ. Во всѣхъ окнахъ свѣтъ. Весь Петербургъ не спитъ. И не одинъ Петербургъ: вся Россія... Весь *народъ* встрѣчаетъ, а мы!.. Какъ тяжело жить чужой среди народа и *не мочь* уже больше вмѣстѣ съ нимъ, въ одномъ храмѣ, одному и тому же Богу поклониться... Семья! младенчество! вѣра! мнѣ жаль тебя» и проч. Можетъ быть въ эту же самую минуту двойнику Талызина Минералову не даютъ, какъ разсказываетъ г. Полонскій, водки у Кроликовыхъ. Минераловъ доказываетъ, что ему должны дать водки, потому что сегодня праздниковъ праздникъ и торжество изъ торжествъ.

«— Да какой для васъ сегодня праздникъ, сказалъ Умековъ. — Развѣ вы хри-

стіанинъ, чтобы праздновать Свѣтлое Христово Воскресеніе!

«— Да отчего же не праздновать? Положимъ, я не христіанинъ, такой же, какъ и вы, но я русскій человѣкъ, простой русскій человѣкъ, и то, что русскій народъ празднуетъ, я тоже долженъ праздновать: у меня съ нимъ одна душа, онъ напивается и я напиваюсь. Какъ вы этого не понимаете»!

Такимъ образомъ, въ милліонный разъ оправдывается мудрая поговорка, что les beaux esprits se rencontrent. Лучезарная Наденька Ракитина и пьяный острословъ Талызинъ-Минераловъ сошлись въ принятіи имени народа всуе по случаю праздника пасхи. Но какъ чувствительно выходитъ это у Наденьки и какъ грубо у Минералова!

Да, много значитъ манера разсказа. И вотъ почему я взялъ бы всѣ или почти всѣ факты изъ «Идеалистки», но освѣтилъ бы ихъ совсѣмъ иначе. Я ничего не имѣю противъ идеальныхъ типовъ въ беллетристикѣ. Думаю и даже увѣренъ, что русская дѣйствительность не клиномъ сошлась и можетъ давать матеріалъ для постройки образовъ рыцарей безъ пятна и упрека. Думаю, что они вполнѣ законны, какъ продукты поэтическаго творчества, и были бы очень желательны. Но—не въ обиду будь сказано г-жѣ Стацевичъ—за это дѣло могутъ браться только очень умные и знающіе люди... Дѣло въ томъ, что разобраться въ «добродѣтеляхъ», въ положительныхъ качествахъ совсѣмъ не такъ легко, какъ кажется съ перваго взгляда. Взять хоть бы такое несомнѣнное, всѣми признанное положительное качество, какъ способность къ самопожертвованію. Прекрасно оно, что и говорить, но художникъ можетъ на эту тему и дѣйствительно идеальную фигуру создать, и всю обѣдню испортить, смотря потому, какъ и на что направить самопожертвованіе своего героя или героини. Но эта тема на столько всетаки ясна и благодарна, что даже при неправильномъ возвеличеніи самопожертвованія ради какихъ-нибудь грошовыхъ цѣлей, здѣсь всетаки можетъ получиться образъ живого человѣка, если приняты въ соображеніе другія требованія здраваго смысла. Обыкновенный пріемъ неумныхъ беллетристовъ много хуже. Онъ состоитъ въ томъ, чтобы навалить на героя гору добродѣтелей, даже не соображая, нѣтъ ли между ними противорѣчій, можетъ ли вынести ихъ одинъ человѣкъ, не превращаясь въ ходячій арсеналъ, въ которомъ помѣщено разнообразное смертоносное оружіе: холодное и огнестрѣльное, старое и новое, вышедшее и не вышедшее изъ употребленія, пушки и карманные револьверы. Вы, конечно, встрѣчали въ плохихъ романахъ такихъ героевъ, которые на одной страницѣ отличаются невозмутимымъ хладнокровіемъ, а на слѣдующей — неудержимою пылкостью. Неумные авторы этихъ романовъ разсуждаютъ такъ: невозмутимое хладнокровіе есть достоинство, неудержимая пылкость—тоже достоинство, а мой герой, въ качествѣ идеальнаго типа, долженъ быть носителемъ всѣхъ достоинствъ. Верблюжья выносливость, ослиная настойчивость, слоновья сила, соловьиный голосъ, гренадерскій ростъ, ньютоновъ умъ, вольтеровскій сарказмъ, дѣтская невинность, лебединая шея — все это валится въ одну кучу. И можете посудить, какой изъ этого выходитъ несообразный звѣрь, вмѣсто идеальнаго-то типа. Самые неумные доходятъ до того, что глаза своихъ героинь дѣлаютъ за-разъ и свѣтлыми, и темными, щеки—румяными и блѣдными, бюсты—роскошными и дѣвственно-несложившимися. Потому — и голубые глаза хороши, и черные тоже хороши и проч. Если у такого неумнаго художника есть маленькая практическая сметка или литературный навыкъ, онъ непремѣнно наровитъ изобразить, что называется, порывистую натуру. Эта все вынесетъ: сегодня у нея могутъ быть румяныя щеки, а завтра онѣ могутъ поблѣднѣть интересною блѣдностью; сегодня она вся—страсть, огонь, завтра вся—мудрость и самоотреченіе. Это очень легко, конечно, живописать, но за то и не умно, во-первыхъ, а во-вторыхъ, страшно надоѣло.

Таковы опасности, предстоящія созидателямъ идеальныхъ типовъ и г-жа Стацевичъ, къ сожалѣнію, не избѣжала этихъ фальшивыхъ путей. Ея Наденька, раздавленная горой красоты, ума и добродѣтели, есть именно такая порывистая натура, которой любезность автора предоставляетъ право носить сегодня дѣтски-румяныя, а завтра интересно блѣдныя щеки, сегодня являться мудрою, яко змій, а завтра легкомысленно порхать, подобно красивой бабочкѣ. Это въ порядкѣ вещей, такіе люди бываютъ, это даже самые обыкновенные, уличные, такъ сказать, люди, но молиться на нихъ совсѣмъ не полагается. Они большею частью, дрянные люди и могутъ много напакостить своимъ ближнимъ. Г-жа Стацевичъ заставляетъ Наденьку дѣлать выписки изъ всевозможныхъ книгъ на всевозможныхъ языкахъ; заставляетъ ее штудировать Тацита и Гете, Шекспира и Спинозу, Милля, Костомарова и Адама Смита; заставляетъ ее писать въ дневникѣ: «Stabo quoquoque ferar т. е. устою, гдѣ бы я ни былъ. Какой дивный языкъ!—скала! Зачѣмъ это насъ не учили по-латыни?!»—Подождите, chére et charmante mademoiselle, г. Катковъ еще возведетъ васъ на эту скалу, а

пока вы бы хоть съ тѣмъ мало-мальски справились, чему васъ учили. А то вотъ у васъ «на туалетѣ, посреди флаконовъ съ духами (эти мнѣ духи!), на самомъ видномъ мѣстѣ эффектно красовался бѣлоснѣжный алебастровый бюстъ Свифта». Каково положеніе бѣднаго Свифта! могъ ли когда-нибудь воображать великій сатирикъ что черезъ какихъ-нибудь сто, сто двадцать пять лѣтъ послѣ его смерти, лучезарная m-lle Ракитина, съ полнымъ сознаніемъ своей лучезарности, будетъ держать его бюстъ среди косметиковъ. Бѣдный Свифтъ и... счастливые духи, хотѣлъ было я сказать. Умоположеніе Наденьки лучше всего характеризуется этимъ сопоставленіемъ на одномъ туалетѣ Свифта и духовъ и, главное, самодовольствомъ по этому поводу. Она знаетъ, что хорошіе духи хороши и что Свифтъ тоже хорошая штука, а потому, не обинуясь, валитъ ихъ въ одну кучу. Опять-таки я не говорю, что такихъ людей нѣтъ на свѣтѣ. Напротивъ, ихъ много, слишкомъ много, но изображать ихъ надо не съ колѣнопреклоненіемъ, а на манеръ хоть бы того, какъ Свифтъ отдѣлывалъ ханжей и лицемѣровъ.

Будь я на мѣстѣ г-жи Стацевичъ, я бы, пожалуй, оставилъ Наденькѣ ея красоту, хотя и то, въ виду несомнѣнныхъ ея неудачъ на поприщѣ любви и танцевъ, надо бы немножко сбавить краски. Можно бы, напримѣръ, оставить Наденькѣ кудрявую шевелюру, но предоставить оловяные глаза или устроить носъ пуговицей. Что-нибудь въ этомъ родѣ. Далѣе я вложилъ бы въ нее огромный запасъ самомнѣнія, претензій, желанія блистать, первенствовать въ чемъ попало, безъ разбора, но одарилъ бы ее далеко не такъ щедро умственными и нравственными качествами, какъ это сдѣлала г-жа Стацевичъ. Вслѣдствіе такого разлада между претензіями и средствами, Наденька терпѣла бы рядъ неудачъ и естественно переходила бы отъ одного «порыва» къ другому; не удается въ танцахъ — она погружается въ науку; не удается въ наукѣ — она купается въ духахъ и все стремится, стремится никому, ни же ей самой не извѣстно куда. Фактически оно такъ и у г-жи Стацевичъ выходитъ.

«Первая лесть вскружила голову» Наденькѣ, когда ей было шестнадцать лѣтъ. Она возмнила себя созданной для поклоненія и любви, но вотъ неудача: молодежь оставила ее втунѣ, и Наденька немедленно признаетъ свои увлеченія «пошлостью и скукой» и мечтаетъ о химіи, о медицинѣ. Не выгорѣло съ химіей, Наденька подъ звуки «Прекрасной Елены» маршируетъ бѣглымъ шагомъ въ Петербургъ. Здѣсь она сталкивается съ разной молодежью, которая худо ли, хорошо-ли высказываетъ свои мысли, но вѣрно оцѣниваетъ m-lle Ракитину, и m-lle Ракитина отворачивается. Попадаетъ она къ литераторамъ. Когда она въ первый разъ пришла къ Крамскому, тамъ было (какъ и въ произведеніяхъ гг. Полонскаго и Авсѣенки) страшно накурено, стояли бутылки, стаканы, говорили люди о своихъ литературныхъ дѣлахъ. А m-lle Ракитина, еще полная мотивомъ «всѣ мы жаждемъ любви», сидитъ «среди всего этого какой-то феей, въ кисеѣ, кружевахъ, перчаткахъ gris-perle!» Естественно, что передъ ней колѣна не преклонились. «Вы понимаете,—разсказываетъ она:—мнѣ хотѣлось быть тоже замѣченной и тоже говорить!» А ея не замѣтили! Неудача! Везутъ Наденьку къ «семейнымъ» литераторамъ Павлищевымъ на дачу. Тамъ ее встрѣчаютъ ласково, но не особенно почтительно и даже немножко насмѣшливо. Наденька вспоминаетъ: «Я попросила не безпокоиться обо мнѣ, предоставивъ мнѣ, какъ и другимъ, полную свободу дѣлать что хочется.—Я воображала, что сказала нѣчто умное и либеральное. Это произвело «фуроръ», но совсѣмъ въ иномъ смыслѣ: всѣ переглянулись и расхохотались. Мнѣ хотѣлось провалиться на мѣстѣ». Неудача! Да и вообще новые знакомые не оцѣнили многоразличныхъ достоинствъ лучезарной Наденьки. Правда, Талызинъ пристаетъ къ ней съ свободною любовью, но Талызинъ пьяница и ко всѣмъ съ свободною любовью пристаетъ. Правда, въ Наденьку влюбился Истоминъ, и она осчастливила его взаимностью, но скоро оказалось, что она постыдно разметала бисеръ своей взаимности, если не передъ свиньей, то передъ самымъ глупымъ и даже, кажется, единственнымъ глупымъ человѣкомъ изо всей компаніи. Правда, въ Наденьку влюбился еще, какъ кошка, Крамской, но Крамской не молодъ, не красивъ, грубъ, пьянъ и, не смотря на эти недостатки, до такой степени всетаки заслоняетъ собой въ глазахъ новыхъ знакомыхъ лучезарную Наденьку, что они только по отношенію къ нему и цѣнятъ Наденьку. Она вспоминаетъ: «Для нихъ она, со всей ея внутренней жизнью, въ сущности, сама по себѣ и не существовала; на нее обращали вниманіе потому, что знали, что Крамской къ ней неравнодушенъ». Опять, значитъ, обида, опять неудача и Наденька, какъ угорѣлая, мечется то въ оперу, то въ Адама Смита и Тацита, то въ сліяніе съ народомъ по вопросу о празднованіи Свѣтлаго Христова Воскресенья. И нигдѣ, нигдѣ не удается ей добиться колѣнопреклоненій и ѳиміамовъ! Бѣдная Наденька...

Попадаетъ Наденька на литературный пикникъ. Этотъ пикникъ, по своей фанта-

стичности, заслуживаетъ воспроизведенія: «У каждаго мужчины была своя дама — и непремѣнно не жена: conditio sine qua non. Танцы были тоже какіе-то импровизированные. Въ одномъ углу пляшутъ и распѣваютъ carmagnole; въ другомъ — самыя сливки интеллигенціи, сѣдобородые мужи, должно быть, вспомнивъ Парижъ и бульварныя сцены 48-го года, въ шляпахъ, съ сигарами въ рукахъ, топочутъ ногами и распѣваютъ марсельезу... Здѣсь въ бѣшеной мазуркѣ несутся влюбленныя пары... Тамъ — какой то нескладный галопъ почтеннаго критика въ юпкѣ подъ ручку съ мизернымъ лысымъ педагогомъ. Однимъ словомъ, картина! И все это подъ акомпаниментъ хохота, пѣсенъ и болтовни, подъ громогласное пѣніе Крамского». Но у бѣдной Наденьки, не смотря на ея лучезарность, не было кавалера, хотя ея положеніе, какъ дѣвицы, было въ этомъ отношеніи особенно выгодно тамъ, гдѣ у каждаго мужчины была своя дама и непремѣнно не жена». Оловянные глазки Наденьки затуманились, курносый носикъ покраснѣлъ, она сѣла въ уголъ и задумалась о суетѣ мірской. Но вотъ къ ней довольно вольно подсѣлъ Мордвиновъ и позвалъ танцовать. Наденька мигомъ воспрянула: ее замѣтили! Въ знакъ благодарности, она тотчасъ же влюбилась въ Мордвинова, но когда тотъ ее отвергъ, она окончательно познала всю мелкость окружавшихъ ее людей и опять заметалась на всемъ невообразимо громадномъ и невообразимо пустомъ пространствѣ, граничащемъ съ одной стороны Свифтомъ, а съ другой violettes de Parme.

Бѣдная Наденька! Еслибы ея біографія состояла только изъ подобныхъ неудачъ, то, не смотря на всю мелочность мотивовъ ея несчастія, можно бы было простить ей ея неосновательныя бутады на людей, не оцѣнившихъ ея оловянныхъ глазъ, и отъ души пожалѣть ее. По человѣчеству пожалѣть. Даже не по человѣчеству, а такъ; какъ невольно жалѣешь всякую тварь божію, чистую и не чистую, если видишь, что ея жизнь непріятно сложилась. Конечно, всѣ эти пререканія съ разными «новыми людьми», «агитаторами», «сливками интеллигенціи» и проч., пререканія изъ-за собственныхъ прекрасныхъ или непрекрасныхъ глазъ, остаются, во всякомъ случаѣ, нелѣпыми и непривлекательными. Но самую обладательницу глазъ все-таки пожалѣть можно.

Однако, я не жалѣю Наденьку. Окончанія «Идеалистки» еще нѣтъ на лицо и я не знаю, какъ справится авторъ съ своей героиней. Думаю, что онъ ее уморитъ. Наденька еще и еще разъ пронесется бабочкой со Свифта на флаконъ violettes de Parme и обратно, совсѣмъ, совсѣмъ убѣдится, что никто не въ состояніи оцѣнить ее, и, истомившись, умретъ. Умретъ какъ-нибудь особенно. Либо на солнцѣ растаетъ, либо, какъ роза, увянетъ и душа ея, видимо для всей публики, вознесется на небо, какъ возносится душа Маргариты въ операхъ «Фаустъ», а могилу ея закроютъ цѣлой горой цвѣтовъ запоздалые поклонники. Или, какъ поется, въ какомъ-то водевилѣ, Наденька... «съ флаконами въ рукахъ, станетъ плавать вся въ духахъ». Поплаваетъ, поплаваетъ и утонетъ, какъ новая и гораздо болѣе ароматическая Офелія, а благодарные парфюмеры изобрѣтутъ новые духи «Надинъ ароматикъ». Но даже и въ такомъ трагическомъ случаѣ я не пожалѣю о Наденькѣ и буду имѣть жестокость сказать: дурная трава изъ поля вонъ.

Если вы потрудитесь внимательно прочитать тѣ страницы «Идеалистки», на которыхъ описываются взаимныя отношенія Крамскаго и Наденьки Ракитиной, вы должны будете согласиться, что я правъ. Крамской—самая симпатичная фигура въ «Идеалисткѣ». Это человѣкъ слабой воли и не богъ знаетъ какихъ широкихъ идеаловъ, но сама г-жа Стацевичъ признаетъ за нимъ и умъ, и душу недюжинную. Онъ безъ памяти влюбленъ въ Наденьку. И посмотрите, какъ дрянно, какъ—скажу прямо—подло играетъ лучезарная дѣвица на этомъ инструментѣ. Наденькѣ, замѣтьте, двадцать три года. Годы, конечно, молодые, но двадцать три года не шестнадцать лѣтъ, особливо когда обладательница ихъ глотаетъ и Гете, и Милля. Шестнадцати, семнадцатилѣтней дѣвочкѣ простительно, играючи, царапать чужую душу по невѣдѣнію. Но что прощается котятамъ, за то кошекъ бьютъ. Наденька, какъ ни глупа она (въ этомъ надо признаться), понимаетъ, что Крамской ее любитъ и мечтаетъ на ней жениться. Сознаетъ она также, что сама она его полюбить никогда не можетъ, хотя бы уже потому, что еслибы этотъ честный и умный человѣкъ пустился въ область хореографіи, такъ у него вышло бы нѣчто въ родѣ медвѣжьяго представленія, какъ дѣвки горохъ воруютъ. А для Наденьки «вся суть была въ вальсѣ». Но Наденька понимаетъ, кромѣ того, что Крамской человѣкъ слабый, на которомъ ѣздить очень легко, и потому неустанно, изо дня въ день, щекочетъ его, позволяя себѣ, въ качествѣ «порывистой натуры», то приласкать несчастнаго, то оттолкнуть, то подразнить, то чуть не на шею къ нему лѣзть и унижать то себя, то его. Словомъ, изъ жизни человѣка, и безъ того измученнаго и безспорно заслуживающаго лучшей участи, лучезарная Наденька ухитрилась устроить адъ; настоящій адъ, въ сравненіи съ которымъ обличаемый г-жею

Стацевичъ образъ жизни не только Павлищевыхъ и Мордвинова, но самого Талызина есть образчикъ свѣта и чистоты. Истинно противно читать описаніе этихъ пакостныхъ отношеній. Тѣмъ болѣе противно, что г-жа Стацевичъ разсказываетъ все это не въ судъ и осужденіе своей русокудрой любимицы, а въ видахъ идеализаціи дѣвчонки не просто пустой, а положительно дрянной. Мало-мальски порядочная дѣвушка, даже изъ тѣхъ, которыя довольствуются духами и не слыхивали о Свифтѣ, съумѣла бы порвать пакостныя отношенія, ну хоть бы на другую квартиру, по крайней мѣрѣ, переѣхала изъ уваженія къ себѣ и изъ состраданія къ Крамскому. Это, кажется, элементарно и наикисейнѣйшей барышнѣ доступно. А Наденька, столь щедро осыпанная нравственными и умственными дарами природы, у которой, по ея собственнымъ словамъ, «цѣлый міръ въ свободной и пылкой душѣ», остается жить съ Крамскимъ стѣна объ стѣну, дверь объ дверь въ меблированныхъ комнатахъ. Мало того, что она пользуется на каждомъ шагу его услугами и не дѣлаетъ ни одного шага для измѣненія отношеній, она не пользуется даже тѣми благопріятными для разрыва случаями, которые ей сама судьба посылаетъ. Напримѣръ, Крамской рѣшаетъ переѣхать на новую квартиру, сосѣди ему не нравятся. Наденька отнюдь не раздѣляетъ этого взгляда на сосѣдей и все-таки переѣзжаетъ вмѣстѣ съ Крамскимъ, чтобы и на новой квартирѣ не оставить его въ покоѣ! Въ другой разъ, измученный Крамской объявляетъ Наденькѣ, что ѣдетъ завтра въ деревню. Кажется, чего бы лучше. Но посмотрите, какъ ломается по этому поводу лучезарная дѣвица, то «не поднимая головы отъ шитья», то «поднимая на него свои грустные глаза», то говоря «тихо и печально», то говоря «чуть слышно и смущенно». Этакая мерзость! А когда Крамской уходитъ, она спрашиваетъ у себя: «Вотъ вѣдь какъ будто я и виновата передъ нимъ... а чѣмъ?»—Вы не понимаете, чѣмъ, chère et charmante mademoiselle? Вы не понимаете, Надинъ ароматикъ? Но за что же: скажите, за что г-жа Стацевичъ облѣпила васъ сусальнымъ золотомъ и посадила на пьедесталъ, и увѣнчала розами, и облила благовоніями, когда вы такъ неизмѣримо глупы и такъ уродски лишены нравственнаго чутья? Я не удивлюсь, если узнаю изъ второй части «Идеалистки», что Крамской ругаетъ Наденьку, какъ ломовой извозчикъ, пожалуй, даже бьетъ ее, а она все тянетъ свою пакостную канитель. Крамской — человѣкъ грубый и пьяный, а Наденька, съ своей стороны, дѣлаетъ все нужное для того, чтобы довести пьянаго и грубаго человѣка до непечатныхъ словъ и драки...

Полюбуйтесь же, г-жа Стацевичъ, какую дрянь вы возвеличали насчетъ разнаго рода «новыхъ людей». Не говорю, чтобы эти люди огуломъ не заслуживали никакого порицанія; но, во всякомъ случаѣ, не Надинъ ароматикъ можетъ бросить въ нихъ камнемъ. Это-то уже внѣ сомнѣнія. Припомните тоже на будущее время, что для созданія идеальнаго типа требуются такія данныя, которыхъ вы, по крайней мѣрѣ, теперь (дай вамъ Богъ умнѣть и учиться) не имѣете.

Вотъ тоже г. Писемскій тряхнулъ стариной и создалъ идеальный типъ...

Впрочемъ, позвольте сначала вернуться къ повѣсти г. Полонскаго «Нечаянно». Какъ уже сказано, центръ тяжести повѣсти составляетъ не Леля Затаилова и не «молодое общество», увлекшее ее съ пути violettes de Parme на путь Свифта. По крайней мѣрѣ, до сихъ поръ такъ, а повѣсть г. Полонскаго еще не кончена. Сюжетъ въ томъ, что молодой чиновникъ Пулькинъ нашелъ на улицѣ бумажникъ съ пятью тысячами. Нашелъ и присвоилъ, а чтобы замаскировать дѣло, объявилъ, что у него умеръ дядя, оставившій ему 50000. Постепенно усиливая вранье, Пулькинъ довелъ эту цифру даже до 200,000. Ну, разумѣется, отношенія къ нему знакомыхъ перемѣнились, когда онъ оказался богачомъ, а незнакомые спѣшили познакомиться. Для поддержанія своего вранья, Пулькинъ долженъ жить далеко несообразно съ размѣрами найденнаго имъ на улицѣ капитала, часть котораго у него вдобавокъ украли. Бумажникъ, кажется, принадлежитъ опекуну Лели Затаиловой, на которой Пулькинъ собирается жениться. Изъ всего этого выходитъ длинный, сложный и запутанный водевиль. Да, къ сожалѣнію, только водевиль, хотя сюжетъ могъ бы дать матеріалъ и не для водевиля. Пулькинъ задуманъ очень недурно: «Нельзя сказать, чтобы въ душѣ Пулькина не было честныхъ и благородныхъ побужденій. Не даромъ же онъ считалъ себя гражданиномъ, страдающимъ недугами своего отечества, не даромъ читалъ современные романы и сочувствовалъ героямъ идеальнымъ и съ европейской точки зрѣнія, но на каждое такое честное побужденіе появлялось въ немъ по нѣсколькуиныхъ хищническихъ побужденій, порожденіями (?) среды, избалованности, нужды, разлагающейся, гнилой нравственности нашего общества». Это очень распространенный и очень поучительный сортъ людей. Хищническіе инстинкты, конечно, въ концѣ-концовъ, большею частью преодолѣваютъ въ

нихъ «честныя побужденія». Но до поры до времени, у нихъ обыкновенно не хватаетъ достаточно наглости для производства грабежей. Ихъ должна подтолкнуть какая нибудь случайность, а тамъ уже они и сами подъ гору покатятся или, пожалуй, въ гору полѣзутъ. Въ видахъ пикантности, недурно взять такую случайность, на какой вертится повѣсть г. Полонскаго: нашелъ человѣкъ 5,000, совралъ, что получилъ наслѣдство въ 50,000—200,000 и долженъ вести себя соотвѣтственно. Понятно, какую великолѣпную и правдивую картину могъ бы написать на эту тему настоящій мастеръ, окруживъ миніатюрнаго богача Пулькина соотвѣтственнымъ персоналомъ. При достаточной серьезности и подготовленности художника, фиктивное богатство Пулькина могло бы сослужить службу не хуже мертвыхъ душъ Чичикова. Но г. Полонскій предпочелъ, во-первыхъ, водевиль, а во-вторыхъ, направилъ стрѣлы своей водевильной сатиры на такихъ, по малой мѣрѣ, невинныхъ и безвреднѣйшихъ людей, какъ юный критикъ Кроликовъ, литераторъ Минераловъ, поклонница Писарева Маша Студенецкая и проч. Ничего, конечно, и не вышло.

Много серьезнѣе посмотрѣлъ на свою задачу г. Писемскій, когда писалъ романъ «Мѣщане», печатавшійся сначала въ «Пчелѣ» и теперь вышедшій отдѣльнымъ изданіемъ.

Задача романа лучше всего характеризуется слѣдующей тирадой одного изъ дѣйствующихъ лицъ: «... и такимъ образомъ Таганка и Якиманка безапелляціонные судьи актера, музыканта, поэта... Дѣло не въ людяхъ, а въ томъ, что силу даетъ этимъ господамъ и какую еще силу: совѣсть людей становится въ рукахъ Таганки и Якиманки... Разсказываютъ даже, что нѣмцы въ Москвѣ, болѣе прозорливые, начинаютъ принимать православіе, чтобы только угодить Якиманкѣ и на благосклонности оной сотворить себѣ честь и благостыню... Это безсмыслица какая-то историческая! разные рыцари, что бы тамъ про нихъ ни говорили, и всевозможные воины ломали себѣ ребра и головы, чтобы добыть своей родинѣ какую-нибудь новую страну, а Таганка и Якиманка поѣхали туда и нажили себѣ тамъ денегъ... Великіе мыслители изсушили свои тяжеловѣсные мозги, чтобы дать міру новыя открытія, а Таганка, эксплоатируя эти открытія и обсчитывая при этомъ работника, зашибла и тутъ себѣ копейку и теперь комфортабельнѣйшимъ образомъ разъѣзжаетъ въ вагонахъ 1-го класса и поздравляетъ своихъ знакомыхъ по телеграфу со всякими вздорами... Наконецъ, самъ Бетховенъ и божественный Рафаэль какъ будто затѣмъ только и горѣли своимъ вдохновеніемъ, чтобы развлекать Таганку и Якиманку... Я совершенно убѣжденъ, что всѣ ваши московскіе Сентъ-Жермены, т. е. Тверскіе бульвары, большія и малыя Никитскія о томъ только и мечтаютъ, къ тому только и стремятся, чтобы какъ-нибудь уподобиться и сравниться съ Якиманкой и Таганкой... Еслибы вопросъ только о жизни былъ, тогда и говорить нечего; но тутъ хотятъ шубу на шубу надѣть, сразу хапнуть, какъ Екатерининскіе вельможи дѣлали: въ десять лѣтъ такія состоянія наживали, что послѣ три, четыре поколѣнія мотаютъ, мотаютъ и всетаки прожотать не могутъ!»

Въ этихъ словахъ, по обыкновенію г. Писемскаго, очень грубо, но очень вѣрно намѣчается одна изъ самыхъ характерныхъ чертъ нашего времени. Г. Писемскій уже не въ первый разъ принимается за эту тему. Его послѣднія комедіи «Ваалъ» и «Просвѣщенное время» построены на томъ же мотивѣ, хотя, къ сожалѣнію, это не литературныя произведенія, а какія-то рогожи. Какъ бы то ни было, но «мѣщанство», это по-европейски значитъ буржуазія, и пора бы намъ перестать толковать объ отличіи историческихъ путей, коимъ слѣдуетъ наше отечество, отъ тѣхъ, по которымъ шла и идетъ Европа. Еще есть, конечно, до извѣстной степени возможность позаимствовать у историческаго опыта Европы все хорошее и избѣжать дурного. Но для этого нужны энергическія усилія, а не безсмысленное закрываніе глазъ на то, что кругомъ насъ творится. Лучшее средство умереть отъ заразительной болѣзни состоитъ въ томъ, чтобы, ходя среди больныхъ, увѣрять и себя и другихъ, что опасности никакой нѣтъ. У насъ сплошь и рядомъ можно услышать утѣшительные разговоры насчетъ того, что мы, такъ сказать, не отъ міра сего, объ наживѣ не думаемъ, а потому и буржуазіи выростить изъ себя не можемъ. Хорошо бы, кабы этими устами да медъ пить. Но въ то самое время, какъ медоточивыя уста разглагольствуютъ, сборная команда купцовъ, помѣщиковъ, предпринимателей и кулаковъ-крестьянъ слагается въ совершенно опредѣленную буржуазію, хотя, конечно, на нашъ отечественный солтыкъ и притомъ пока еще не сомкнутую корпоративнымъ духомъ. Такъ какъ, благодаря нашей умышленной или неумышленной, намѣренной или вынужденной слѣпотѣ, ростъ этого элемента происходитъ совершенно безконтрольно; такъ какъ мы не хотимъ или не можемъ видѣть, какъ слагаются и крѣпнутъ Таганка и Якиманка, какъ Тверской бульваръ за ними тянется и какъ вообще вся старая Русь (хороша-ли она или дурна сама по себѣ) фактически совершенно раз-

ворочена, то въ одинъ прекрасный день мы можемъ получить не совсѣмъ пріятный сюрпризъ. И сюрпризъ этотъ будетъ почище тѣхъ ежедневныхъ, чуть не ежеминутныхъ кражъ и грабежей, которые нынѣ поражаютъ наивныхъ людей своей наглостью. Впрочемъ, это въ настоящую минуту сюжетъ не подходящій. Вѣрно то, что г. Писемскій, какъ авторъ «Мѣщанъ» правъ: Таганка и Якиманка и расширеніе ихъ власти и значенія—фактъ. Нельзя поэтому не поблагодарить г. Писемскаго за его намѣренія.

Что же касается до исполненія... Что касается до исполненія, то «Мѣщане» много приличнѣе «Ваала» и «Просвѣщеннаго времени». Но это очень небольшая похвала, а большой похвалы «Мѣщане» не заслуживаютъ. Какая-то странная, площадная грубость красокъ и пріемовъ и способность изображать вмѣсто людей деревянныхъ болвановъ портитъ всѣ благія намѣренія г. Писемскаго. Притомъ же намѣренія его благи только съ отрицательной стороны. Еслибы онъ даже превосходно изучилъ и представилъ читателю собственно «Мѣщанъ», всетаки дѣло было бы испорчено главною фигурой романа, въ которой авторъ воплотилъ свои положительные идеалы.

Въ Бѣгушевѣ (такъ зовутъ героя «Мѣщанъ») мы опять имѣемъ образчикъ совершенно несообразнаго звѣря, вмѣсто идеальнаго типа, какимъ онъ долженъ бы былъ быть по замыслу автора. Г. Писемскій—человѣкъ не молодой и много видовъ на своемъ вѣку видавшій. Судя по чрезвычайно комической наивности и неумѣстности, съ которыми онъ влагаетъ своимъ дѣйствующимъ лицамъ разсужденія о «теоріи Бенеке», о пантеизмѣ, о солнцѣ, какъ источникѣ жизни на землѣ, и т. п., надо думать, что самъ г. Писемскій только на дняхъ получилъ нѣкоторыя свѣдѣнія объ этихъ «матеріяхъ важныхъ». Конечно, лучше поздно, чѣмъ никогда, и я очень радъ за г. Писемскаго. Но, въ устахъ почтеннаго возрастомъ человѣка, комическая наивность и неумѣстность разсужденій на ученыя темы свидѣтельствуютъ о значительномъ безпорядкѣ его умственнаго развитія. Видно, что развитіе это происходило, такъ сказать, слоеобразно: верхній слой ложился на нижній, ни мало не измѣняя его, не ассимилируя его и самъ не ассимилируясь. Маленькая и даже не маленькая путаница понятій при этихъ условіяхъ очень естественна. Вслѣдствіе того, г. Писемскому особенно трудно разобраться въ понятіяхъ о добрѣ и злѣ, о хорошихъ и дурныхъ качествахъ, а потому трудно создать идеальный типъ. Что Бѣгушевъ красивъ, уменъ и благороденъ не плоше Наденьки Ракитиной—это уже само собою разумѣется. Но г. Писемскій пожелалъ еще наградить своего любимца огромнымъ богатствомъ, богатырскою грудью, физическою храбростью, способностью и охотою пить по три бутылки вина въ день, тончайшимъ гастрономическимъ вкусомъ, «бѣшенымъ характеромъ» и многими другими грандіозными вещами. Главное тутъ дѣло въ грандіозности, въ томъ, чтобы никто и никогда не могъ перещеголять Бѣгушева. Выходитъ чрезвычайно забавно, а отчасти и стыдно за автора. Напримѣръ, такой казусъ. Нѣкто Янсутскій, изъ «мѣщанъ», человѣкъ наглый, глупый и мошенникъ празднуетъ день своего рожденія обѣдомъ въ трактирѣ. Въ обѣдѣ, вообще роскошномъ, фигурируютъ, между прочимъ, трюфели. На обѣдѣ, въ числѣ конвивовъ, присутствуютъ Бѣгушевъ и его любовница. Бѣгушевъ уѣзжаетъ съ обѣда крайне всѣмъ недовольный и въ тотъ же день даетъ своей любовницѣ ужинъ у себя дома.

„Они прошли въ столовую.

— Я нарочно велѣлъ приготовить пулярдку съ трюфелями, чтобы вамъ показать, какіе могутъ быть настоящіе трюфели сравнительно съ тѣми пробками, которыми насъ угощалъ сегодня нашъ амфитріонъ... И Бѣгушевъ самъ наложилъ Домнѣ Осиповнѣ пулярды и трюфелей. Она скушала ихъ всѣ.

— Есть, надѣюсь, разница?—спросилъ ее Бѣгушевъ.

— Да!—согласилась Домна Осиповна, но въ самомъ дѣлѣ она такъ не думала и даже врядъ ли тѣ трюфели ей не больше нравились.

— Теперь позвольте вамъ предложить и краснаго вина, которое, надѣюсь повыше сортомъ вина изъ садовъ герцога Бургундскаго! (за таковое выдавалъ свое вино мошенникъ Янсутскій).

— О, это гораздо лучшее вино,—согласилась Домна Осиповна, всетаки не чувствуя въ винѣ никакого особеннаго превосходства. Въ слѣдующемъ затѣмъ масседуанѣ она обнаружила, наконецъ, нѣкоторое пониманіе.

— Какъ хорошо это прожное; его никакъ нельзя сравнить съ давешнимъ!.. начала уже она сама.

— Это изъ свѣжихъ фруктовъ, а то изъ сушеной дряни. Мѣщане!.. Они никогда не будутъ порядочно ѣсть!—заключилъ Бѣгушевъ".

Къ этому прибавить надо, что въ числѣ многоразличныхъ достоинствъ Бѣгушева значится «отвлеченное міросозерцаніе»... На что уже отвлеченнѣе! Но если человѣкъ съ отвлеченнымъ міросозерцаніемъ можетъ пикироваться съ «мѣщанами» изъ-за трюфелей и маседуана, то почему-же человѣку съ «бѣшенымъ характеромъ» не отличаться мягкостью и уступчивостью? «Неукротимость», «бѣшеный характеръ»—это въ старые годы считалось, а кос-гдѣ и теперь считается большимъ достоинствомъ. Не могъ же обойти его г. Писемскій въ инвентарѣ добродѣтелей положительнаго типа! Однако, Бѣгушевъ только самъ говоритъ о своемъ бѣшеномъ характерѣ, да еще Домна Осиповна зоветъ его «своимъ

тигромъ». На самомъ же дѣлѣ Бѣгушевъ больше на овцу или барана похожъ и не только, на всемъ протяженіи романа, ни одного «бѣшенаго» поступка не совершаетъ, но постоянно «сдерживается» и «смягчается». Однако, и то сказать: сдержанность и мягкость тоже добродѣтели и нельзя же ихъ миновать.

Самый планъ идеальнаго типа, раздавленнаго горою столькихъ «достоинствъ», уже предрѣшалъ вопросъ объ общественномъ положеніи героя. Само собою разумѣется, что пить по три бутылки превосходнѣйшаго вина въ день и угощать изумительными трюфлями и маседуаномъ можетъ только очень богатый человѣкъ. А очень богатаго человѣка можно взять только или изъ «мѣщанъ», или, такъ какъ задача состоитъ въ покараніи и обличеніи мѣщанства, изъ старинныхъ помѣщиковъ. Такимъ образомъ и вышелъ послѣдній могиканъ Бѣгушевъ, скала стараго дворянства, подъ которую тщетно подмываются волны мѣщанства. Конечно, послѣдній могиканъ обнаруживаетъ мало проницательности, ибо по поводу настоящей турецкой войны замѣчаетъ: «Меня въ этой войнѣ одно радуетъ, что пусть хоть на время рыцарь проснется, а мѣщанинъ позатихнетъ». Это называется попасть пальцемъ въ небо. Но оно, впрочемъ, и приличествуетъ послѣднему могикану.

Вообще мысль противопоставить послѣдняго могикана растущей силѣ мѣщанства нельзя признать неудачною. Напротивъ, это тема очень благодарная. Но при разработкѣ ея надо имѣть въ виду слѣдующее. Чтобы ни говорилъ Бѣгушевъ объ идеалахъ (а онъ говоритъ большею частью страшныя глупости, хотя всѣ остальныя дѣйствующія лица романа и самъ авторъ считаютъ его чуть не геніемъ), но самая суть его будированія состоитъ въ томъ, что какіе-то прощалыги, смыслящіе въ трюфляхъ столько же, сколько свинья въ апельсинахъ, покушаются на это достояніе знатоковъ и исконныхъ обладателей этого блага. Рыцарями Бѣгушевыхъ можно называть только въ шутку, а въ сущности, они рыцари трюфельнаго права. Значитъ, вся борьба идетъ, собственно, изъ за того, кому принадлежитъ право ѣсть трюфели: разбогатѣвшимъ мѣщанамъ или родовымъ дворянамъ. Борьба, безъ сомнѣнія, любопытная, достойная вниманія мыслящаго художника. Но такъ какъ обѣ стороны стоятъ на одной и той же почвѣ, то ни та, ни другая не могутъ выставить идеальнаго типа, безъ грубой размалевки и каррикатурнаго нагораживанія «достоинствъ». Какія, въ самомъ дѣлѣ, мало-мальски разумныя основанія можно привести для признанія любви къ трюфелямъ въ Бѣгушевѣ достоинствомъ, а въ Янсутскомъ—недостаткомъ? Въ Янсутскомъ она, по крайней мѣрѣ, вяжется со всѣмъ остальнымъ его содержаніемъ, а Бѣгушевъ вѣдь объ идеалахъ толкуетъ, рыцаремъ себя полагаетъ. Поэтому, даже съ чисто эстетической точки зрѣнія, какъ художественный образъ, Бѣгушевъ неизбѣжно долженъ былъ выйти плохъ, какимъ онъ и вышелъ у г. Писемскаго. Положительнымъ типомъ, героемъ романа «Мѣщане», романа, дѣйствительно, заслуживающаго этого заглавія, могъ бы быть только такой человѣкъ, который не борется за трюфельное право, а отрицаетъ его. Скоро-ли мы такого романа дождемся, этого я не знаю. Думаю, впрочемъ, что скоро, потому что давно пора.

Письма къ ученымъ людямъ.

I.

Письмо къ профессору Цитовичу *).

Милостивый государь!

Къ вамъ патентованному жрецу науки, раздающему ея великія и богатыя милости одесскому юношеству, осмѣливается обратиться съ открытымъ письмомъ человѣкъ, не имѣющій ни малѣйшихъ претензій на титулъ представителя науки, но глубоко уважающій науку и искренно желающій уважать ея представителей. Другими словами, я горячо желалъ бы, чтобы представители науки были достойны уваженія, если не въ такой же мѣрѣ, какъ сама безплотная и, слѣдовательно, безгрѣшная наука, то насколько это возможно для смертныхъ.

Вы понимаете, что можно уважать науку, благоговѣть передъ нею и въ то же время не уважать, даже презирать тѣхъ или другихъ ея представителей, потому что наука и ея представители, это — двѣ вещи разныя. Не восходя къ Бэкону,

*) 1878, іюнь.

который—признавая его заслуги передъ лицомъ науки — былъ негодяй, предатель и воръ, вы, безъ сомнѣнія, даже среди ближайшихъ своихъ товарищей по новороссійскому придѣлу храма науки найдете не одного патентованнаго ученаго, которому должны будете отказать въ своемъ уваженіи. Мало того, положа руку на сердце, вы должны, я думаю, признать, что огромное большинство патентованныхъ представителей русской науки только при значительномъ безстыдствѣ можетъ заявлять претензіи на уваженіе къ себѣ. Исключенія, конечно, есть, но, говоря вообще, за что въ самомъ дѣлѣ станемъ мы, уважающіе науку, уважать ваше сословіе? Помните, милостивый государь, у Гёте великолѣпное, по простотѣ и силѣ упрека, обращеніе Прометея къ Зевесу:

Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Thränen gestillet
Je des Geängsteten?

Вспоминая то время, когда «легковѣренъ и молодъ я былъ», когда, «духовной жаждою томимъ», я прибѣгалъ еще къ кладезю оффиціальной и, разумѣется, преимущественно русской науки, я всегда вспоминаю и чудныя слова Прометея. Въ кладезѣ, увѣряю васъ, вода была очень плохая, а часто ея и вовсе не было, и трескавшіяся отъ жара губы, и высохшій языкъ сплошь и рядомъ не освѣжались ни единой каплей божественной влаги, несмотря на проливной дождь лекцій и книгъ. Грѣшно, впрочемъ, сказать, чтобы русскіе ученые производили черезчуръ много книгъ. Чѣмъ другимъ, а этимъ они не грѣшны. Какъ бы то ни было, но жажда не утолялась, и если вы представите мнѣ казенное возраженіе, что не дѣло науки — утолять горести des Beladenen и утирать слезы des Geängsteten, я вамъ укажу, именно, на эту жажду. Не вижу надобности бесѣдовать, именно, съ вами объ обязанностяхъ и роли науки вообще, но не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что «духовную жажду» представители науки удовлетворять обязаны. Исполняютъ, ли они эту свою обязанность? Вы-можетъ быть, скажете: да. Я навѣрное скажу: нѣтъ. Вы опять повторите свое утвержденіе, я повторю свое отрицаніе и такъ далѣе, до безконечности. Есть, однако, объективные, наблюденію каждаго доступные факты, которые могутъ, кажется, положить конецъ этой сказкѣ про бѣлаго быка.

Думали-ли вы когда-нибудь, милостивый государь, о томъ, что мы, журналисты, можемъ обратиться къ вашему сословію съ заключительными словами Прометея:

Hier sitz'ich, forme Menschen nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, zu weinen,
Zu geniessen und zu freuen sich,
Und dein nicht zu achten,
Wie ich!

Да, здѣсь, на этихъ страницахъ, мы создаемъ людей по образу своему, людей, намъ подобныхъ, страдающихъ, плачущихъ, наслаждающихся, радующихся и васъ не уважающихъ, какъ мы. Я очень хорошо знаю, что по послѣднему пункту вы платите намъ подобной же монетой, только другого чекана, и склонны презирать нашего брата, какъ людей, болѣе или менѣе даровитыхъ, но легкомысленныхъ и идущихъ въ походъ съ недостаточнымъ багажемъ. Не вы лично, конечно—васъ я не имѣю чести знать. Вы лично представляетесь мнѣ чѣмъ-то въ родѣ милорда Георга англійскаго, о которомъ мнѣ извѣстно только, что онъ—герой лубочной сказки, никогда, однако, не попадавшей мнѣ въ руки. Относительно васъ мнѣ извѣстно только, что вы недавно опубликовали обвинительный актъ противъ своего товарища профессора Посникова, первоначально въ «Запискахъ Новороссійскаго университета», а затѣмъ и отдѣльной брошюрой. Припоминаю еще, что нѣсколько лѣтъ тому назадъ, если не ошибаюсь, въ Харьковѣ былъ изданъ переводъ одного сочиненія Бэна, сдѣланный нѣкіимъ Цитовичемъ, но вамъ-ли принадлежитъ этотъ изъ рукъ вонъ плохой переводъ—не знаю. Охотно вѣрю, что ваши подвиги въ области науки не уступаютъ ни количествомъ, ни качествомъ тѣмъ подвигамъ, которые, по всей вѣроятности, совершаетъ въ лубочной сказкѣ милордъ Георгъ англійскій, но ни тѣ, ни другіе мнѣ, къ сожалѣнію, неизвѣстны. Тѣмъ не менѣе, догадываюсь, что вамъ приличествуетъ титулъ не менѣе громкій, звучный и важный, чѣмъ милорду Георгу англійскому.

Итакъ, милордъ, оставляя васъ лично въ сторонѣ, я говорю, что ваше сословіе склонно нѣсколько презирать нашего брата. Законно или незаконно это презрѣніе, но оно не мѣшаетъ существовать тому несомнѣнному факту, что люди, духовной жаждой томимые, прибѣгаютъ къ намъ, а не къ вамъ. Надѣюсь, вы не можете отрицать этотъ общеизвѣстный фактъ, но не знаю, вдумывались-ли вы въ его причины и слѣдствія и во все его значеніе. Казалось бы, кому, какъ не вамъ, носящимъ мундиръ и вооруженіе науки, быть руководителями духовной жаждою томимыхъ? Кому, какъ не вамъ, занимать умы и сердца и приковывать къ себѣ вниманіе всѣхъ алчущихъ и жаждующихъ правды, всѣхъ трудящихся

надъ разрѣшеніемъ многоразличныхъ задачъ жизни, всѣхъ. обремененныхъ ея вопросами? И однако, этого нѣтъ. Конечно, положеніе, занимаемое русскою наукою, вытекаетъ изъ общаго положенія дѣлъ въ нашемъ отечествѣ, но за всѣмъ тѣмъ исторія заправской, академической, школьной, патентованной русской науки не имѣетъ ничего общаго съ исторіей русскаго общества. Наоборотъ, съ послѣднею самымъ тѣснымъ образомъ связана исторія русской журналистики. Будущій историкъ нашего времени, боюсь, не помянетъ ни единымъ, ни добрымъ, ни худымъ словомъ, какъ васъ лично, такъ и огромное большинство вашихъ собратовъ, но навѣрное не обойдетъ журналистики. Точно также и нынѣ, мы имѣемъ своихъ не личныхъ друзей и враговъ, а вы ихъ не имѣете. Мы создаемъ людей по образу и подобію своему, а вы—нѣтъ. Насъ читаютъ для поученія, васъ слушаютъ для окончанія курса.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ Харьковѣ защищалъ диссертацію на степень магистра или доктора молодой ученый, нынѣ благополучно профессорствующій на каѳедрѣ одного изъ многочисленныхъ «правъ». Диссертація была весьма плоха, и одинъ изъ оппонентовъ (кажется, даже оффиціальныхъ) замѣтилъ, между прочимъ, что, дескать, литература и безъ того уже постоянно попрекаетъ университеты пропускомъ и увѣнчаніемъ плохихъ диссертацій. На это молодой, но достаточно наглый ученый возразилъ: «Мнѣ, Иванъ Иванычъ (или какъ тамъ), вашей почтительной коллегіи мнѣніе дорого, а до литературы»... И молодой, но уже достаточно наглый ученый махнулъ рукой въ знакъ полнаго презрѣнія къ литературѣ. Слова эти не прошли, однако, даромъ диспутанту: онъ былъ немедленно ошиканъ публикой. Это натурально. Среди публики, по всей вѣроятности, было не мало людей, чья нравственная и умственная физіономія слагалась или сложилась подъ вліяніемъ литературы, но навѣрное не было ни одного, испытавшаго на себѣ хотя бы въ приблизительно равной мѣрѣ вліяніе академической науки.

Все это къ тому, милордъ Георгъ, что представители русской науки, очевидно, не исполняютъ своихъ прямыхъ обязанностей, если томимые духовной жаждой устремляются къ другимъ источникамъ. Вы можете скорбѣть объ этомъ (я искренно готовъ раздѣлить вашу скорбь), но фактъ остается фактомъ, и наша скорбь не шелохнетъ его. А скорбѣть есть о чемъ. Пожалуйста, не думайте, что вы имѣете дѣло съ пламеннымъ патріотомъ своего профессіональнаго отечества, который, видя сучекъ въ глазу дальняго своего, не видитъ бревна въ глазу ближняго. У меня ближнихъ въ литературѣ, къ большому моему горю, мало. Я очень хорошо знаю, чего не достаетъ большинству моихъ собратовъ по профессіи и до какихъ страшныхъ размѣровъ доходитъ этотъ минусъ въ нѣкоторыхъ представителяхъ журналистики. Но теперь не объ нихъ рѣчь, и если они не хороши, то тѣмъ паче не хороши вы, имѣющіе возможность властно, въ силу науки, вмѣшаться въ наши отношенія къ обществу и всетаки не могущіе, не желающіе или не умѣющіе вмѣшаться. Да, въ журналистикѣ можно наткнуться на страшную дикость и невѣжество. Но чего же вы смотрите? Почему мечъ науки ржавѣетъ въ вашихъ ножнахъ и не разитъ кого слѣдуетъ?

Если вы укажете мнѣ кое-какихъ представителей академической науки, часто фигурирующихъ на страницахъ журналовъ и газетъ, то я вамъ скажу... Я не хочу никого обижать, но согласитесь сами, что О. Ѳ. Миллеръ, при всѣхъ прекрасныхъ качествахъ его ума и особенно сердца, есть мизинецъ; почти такой же маленькій, безпомощный и неумѣлый мизинецъ, какъ какой-нибудь г. Гайдебуровъ. Пожалуй, вы можете указать даже настоящихъ людей даже изъ среды академической науки—профессоровъ, подвизающихся на поприщѣ городскаго самоуправленія, обрусенія окраинъ, финансовыхъ предпріятій и проч. А одинъ изъ этой «стаи славной» даже устрояетъ финансы освобожденной Болгаріи. Но дѣянія этихъ профессоровъ-дѣльцовъ давно уже ждутъ своего лѣтописца, и, можетъ быть, я вскорѣ осмѣлюсь отчасти приподнять завѣсу, скрывающую отъ публики ихъ дѣятельность *). Ими, во всякомъ случаѣ, русской наукѣ гордиться не приходится, и ужъ, конечно, не къ нимъ прибѣгнетъ живая душа, ищущая отвѣтовъ на вопросы жизни.

Итакъ, милордъ, допуская даже полную законность презрѣнія ученыхъ людей къ нанашему брату, журналисту, мы этимъ весьма мало возвеличимъ ваше сословіе. Напротивъ, если мы, не навыкшіе къ строго научной работѣ, страдаемъ по части логики и знаній, то тѣмъ обязательнѣе было бы для людей ученыхъ, вырвать у насъ ту живую жатву, которую мы пожинаемъ передъ самымъ, такъ сказать, вашимъ носомъ. Недавно русскіе ученые всполошились было по поводу спиритическаго бѣсованія и раздѣлились на два лагеря, мужественно ломавшіе другъ съ другомъ копья. И за то, конечно, спасибо, но замѣтьте, что, кромѣ небольшой, сравнительно, кучки бѣсноватыхъ,

*) Прошу людей, интересующихся дѣломъ, доставлять мнѣ соотвѣтственные матеріалы и свѣдѣнія.

преимущественно аристократическихъ, вопросъ мало кого интересовалъ, да и то вѣдь не былъ приведенъ къ благополучному концу: гг. Бутлеровъ, Вагнеръ остались при своемъ, а гг. Менделѣевъ, Шкляревскій—при своемъ. Что же касается болѣе сильныхъ, глубокихъ и свѣжихъ теченій нашей общественной жизни, то, чтобы не трогать настоящей минуты, потрудитесь припомнить, напримѣръ, наши увлеченія временъ Писарева. Кто удовлетворялъ тогда духовную жажду живыхъ душъ? Талантливый молодой человѣкъ, почти мальчикъ, историко-филологъ по образованію, промѣнявшій свою спеціальность на журнальную дѣятельность, литературную критику и пропаганду—популяризацію естествознанія, самъ набиравшійся знаній среди журнальной работы. За нимъ шли другіе, помельче. Сдѣлало-ли ваше сословіе хоть что-нибудь для усиленія или предотвращенія этого увлеченія, вообще какого бы то ни было регулированія его въ какомъ бы то ни было смыслѣ, положительномъ, или отрицательномъ? Ровно ничего. Мы должны были выкарабкиваться собственными силами, безъ малѣйшей помощи ученыхъ людей, ломать себѣ на ихъ глазахъ шеи, падать и опять карабкаться. Слѣдовательно,—

Ich dich ehren? Wofür?

Можетъ быть, вы скажете, что представители русской науки намѣренно уединяютъ себя отъ треволненій текущей жизни, дабы спокойно, въ тиши своихъ кабинетовъ, предаваться разработкѣ чистой науки, предоставляя всѣмъ и каждому заимствовать у нихъ что кому нужно. Плохая это доктрина, милордъ, плохая и въ нравственномъ, и въ логическомъ смыслѣ. Но если она очень даже превосходна, то гдѣ же плоды вашихъ уединенныхъ трудовъ? Простите откровенность бѣднаго человѣка, но я ихъ не вижу, за весьма малыми исключеніями. Правда, иногда говорятъ о «молодой неокрѣпшей русской наукѣ», съ которой, дескать, нельзя много требовать. Надѣюсь, вы понимаете однако, что это—чистый вздоръ. Еслибы русская наука росла на необитаемомъ островѣ, отъ вѣка отрѣзанномъ отъ цѣлаго міра, тогда, можетъ быть, она имѣла бы право на мало почетный титулъ молодой и неокрѣпшей. Но русская наука можетъ, а слѣдовательно, и должна быть богата всѣмъ громаднымъ богатствомъ европейской науки. Если не только, какъ говорятъ нѣмцы, epochemachende изслѣдованія и открытія, но и второстепенныя и третьестепенныя научныя работы, имѣющія, однако, извѣстное значеніе, производятся европейцами, а не русскими, то въ этомъ виноваты личныя свойства членовъ вашего сословія, а совсѣмъ не фантастическая молодость русской науки. И, конечно, эти личныя свойства—не изъ тѣхъ, которыя способны возбуждать уваженіе къ ихъ обладателямъ. Это, въ лучшемъ случаѣ, лѣнь и чисто формальное, безучастное отношеніе къ своему дѣлу. Замѣтьте: въ лучшемъ случаѣ. Можетъ быть и гораздо хуже. Представители науки могутъ отклоняться отъ своего прямого дѣла въ сторону банковыхъ и биржевыхъ операцій, интригъ, взаимныхъ подсиживаній и разной другой мерзости.

Впрочемъ, милордъ, если я готовъ выдать вамъ головой подавляющее большинство своихъ собратовъ по профессіи, то и вы, кажется, не станете защищать своихъ товарищей quand-même. По крайней мѣрѣ, относительно своего ближайшаго товарища, профессора новороссійскаго же университета, Постникова, вы являете образчикъ, повидимому, полнѣйшаго въ этомъ отношеніи безпристрастія въ статьѣ-брошюрѣ «Новые пріемы защиты общиннаго землевладѣнія». Это-то безпристрастіе и служитъ ближайшимъ поводомъ настоящаго моего письма къ вамъ.

Позвольте прежде всего сдѣлать одно замѣчаніе: вы не остроумны, очень не остроумны. Въ этомъ еще нѣтъ большой бѣды—не всѣмъ же быть остроумнымъ; остроуміе есть очень пріятный пряный соусъ, безъ котораго можно, однако, обойтись, если только есть что подавать подъ этимъ соусомъ. Но ваша бѣда состоитъ въ томъ, что вы, при природномъ недостаткѣ остроумія, за который вы не передъ кѣмъ не отвѣтственны, пытаетесь острить. Лучше бы вамъ предоставить остроуміе и иронію другимъ. Это—совѣтъ... дружескій совѣтъ, сказалъ бы я, еслибы не зналъ, что вы такъ же мало склонны принять мою дружбу, какъ я ее предложить вамъ. Вѣрнѣе, поэтому, будетъ сказать, что я просто, въ качествѣ читателя, не лишеннаго нѣкотораго эстетическаго вкуса, рекомендую вамъ воздержаться отъ пріемовъ изложенія, вамъ не свойственныхъ.

Впрочемъ, если хорошее изложеніе—хорошо, а дурное — дурно, то это всетаки вопросъ второстепенный. Будемъ смотрѣть въ корень вещей.

Странное впечатлѣніе производитъ ваша критика сочиненія г. Посникова. Уже то странно или, по крайней мѣрѣ, непривычно, что одинъ ученый критикуетъ другого ученаго съ такою язвительностью и озлобленіемъ. Мы привыкли совсѣмъ къ инымъ отношеніямъ въ средѣ ученыхъ людей. Изрѣдка, и то въ видѣ болѣе или менѣе темныхъ слуховъ, доносятся до насъ свѣдѣнія объ интригахъ и взаимныхъ подсиживаніяхъ, практикуемыхъ священнослужителями одного и

того же придѣла храма науки. По снаружи все чинно, все тишь, гладь и божья благодать; все взаимныя и любезнѣйшія производства въ санъ магистра и доктора. Публика даже совсѣмъ привыкла къ той мысли, что вы другъ друга покрываете, что среди васъ одинъ великодушнѣе другого, и другой великодушнѣе одного. И вдругъ такое страстное безпристрастіе! А страстное безпристрастіе и само-по-себѣ — любопытная вещь.

Профессоръ новороссійскаго университета получаетъ степень доктора за защиту диссертаціи «Общинное землевладѣніе». Защита (правда, не въ Одессѣ) проходитъ блистательно, до рѣдкости блистательно. А между тѣмъ, въ «Запискахъ новороссійскаго университета» появляется злѣйшая критика диссертаціи, клонящаяся къ совершенному разгромленію только-что увѣнчаннаго труда. Критику эту пишите вы, товарищъ г. Посникова, вѣроятно, очень часто сталкивающійся съ нимъ въ корридорахъ и аудиторіяхъ университета. Лежащая передо мною брошюра помѣчена извѣстною надписью: «Печатано по опредѣленію совѣта Императорскаго новороссійскаго университета. Ректоръ Н. А. Головкинскій». Что за удивительное, благороднѣйшее безпристрастіе! Но ваше личное безпристрастіе идетъ еще далѣе. Вы торопитесь заявить: «Авторъ настоящей статьи напередъ протестуетъ противъ зачисленія его въ ряды сторонниковъ или противниковъ общиннаго землевладѣнія; говорить въ извѣстномъ вопросѣ за или противъ того, что говорятъ другіе, еще не значитъ говорить за или противъ самого предмета вопроса». И вы остаетесь вѣрны этому заявленію: оставляете «предметъ вопроса» совершенно въ сторонѣ и на протяженіи трехъ слишкомъ печатныхъ листовъ только шпигуете г. Посникова. Опять-таки удивительное и благороднѣйшее безпристрастіе. Столь удивительное и благороднѣйшее, что намъ, простымъ смертнымъ, и не понять его. Мы можемъ, въ своей неученой слѣпотѣ, даже заподозрить благородство такого безпристрастія. Намъ можетъ придти въ голову такое соображеніе: какъ это такъ на цѣлыхъ трехъ печатныхъ листахъ держать «предметъ вопроса» подъ спудомъ и все свое остроуміе, и всю свою ученость направлять на личность автора разбираемаго сочиненія? До чего нужно изломаться и извратить въ себѣ самыя простыя требованія приличія и здраваго смысла, чтобы благополучно совершить такой фокусъ? Много говорятъ о неблаговидности полемическихъ пріемовъ, часто практикуемыхъ журналистами, и говорятъ иногда совершенно справедливо, но ничего подобнаго вашимъ пріемамъ я не помню. Бываетъ такъ, что иной газетчикъ, вмѣсто разговора о «предметѣ вопроса», наговоритъ сплетенъ, наберетъ нападокъ на шрифтъ и опечатки и т. п.— но не на трехъ же печатныхъ листахъ! Если къ этому объему статьи прибавить придирчивость, съ которою вы цѣпляетесь даже за отдѣльныя фразы и слова г. Посникова, язвительность, съ которою стараетесь острить на его счетъ, и старательность, съ которою вы провѣряли его цитаты—то получится въ высшей степени страстное безпристрастіе, весьма рѣдко встрѣчающееся въ природѣ. Что же такъ задѣло васъ? Очевидно, не «предметъ вопроса», потому что въ такомъ случаѣ вы не обнаружили бы такой холодности къ нему и не ухитрились бы промолчать о немъ, вертясь около него столько времени. Задѣли васъ, надо думать, высшіе, общіе интересы науки и ея достоинство, поруганное г. Посниковымъ.

О, безъ сомнѣнія такъ! Вы—поклонникъ чистой дѣвственной науки и не могли стерпѣть оскорбленія, нанесеннаго этой прекрасной дѣвѣ г. Посниковымъ. Оскорбленіе кровное, ибо, если вѣрить вамъ, г. Посниковъ: «а) не понимаетъ смысла вопроса и не знаетъ его литературы, а желаетъ лишь сочувствовать вопросу; b) *научно* незнакомъ съ политической экономіей, а между тѣмъ взялся рѣшать вопросъ въ экономическомъ смыслѣ». Но этого мало. Васъ въ особенности возмущаютъ тѣ «пріемы, при помощи которыхъ авторъ успѣлъ составить свое «общинное землевладѣніе» въ двухъ выпускахъ (около 25 печатныхъ листовъ), не вложивши туда никакой мысли, никакого серьезнаго содержанія. И, при всемъ томъ, онъ сумѣлъ придать своему произведенію такой внѣшній видъ, что оно можетъ вводить въ заблужденіе даже такихъ серьезныхъ людей, какъ напр. профес. Кавелинъ или князь Васильчиковъ». Эти коварные пріемы состоятъ, по вашему объясненію, въ пользованіи неавторитетными источниками, въ заимствованіи цитатъ изъ вторыхъ рукъ и въ умолчаніи о такомъ заимствованіи. Таково резюме вашей ученой критики.

Замѣчу мимоходомъ, что не смотря на весь свой ученый апломбъ, граничащій даже съ наглостью, вы немножко отстали. Вы еще считаете князя Васильчикова «серьезнымъ» человѣкомъ и признаете за нимъ авторитетъ, тогда какъ гг. Герье и Чичеринъ соединенными силами доказали, что это—ничтожнѣйшій изъ писателей, ничего ни въ чемъ не смыслящій. Обработали они бѣднаго князя даже много старательнѣе и язвительнѣе, чѣмъ вы г. Посникова. Это вамъ—урокъ, милордъ: не пейте изъ колодца, наплевать придется, и, для пущей ученой

важности, не ссылайтесь ни на одинъ, еще не вполнѣ признанный авторитетъ.

Какъ бы то ни было, но обвиненія, выставленныя вами противъ г. Посникова, очень тяжелы. Принимая въ соображеніе вашъ апломбъ и очевидную старательность, съ которою вы рылись въ книжкахъ для уличенія г. Посникова въ неправильныхъ цитатахъ, вамъ, можетъ быть, повѣрятъ. Я бы и самъ, чего добраго, повѣрилъ, еслибы мнѣ не пришла въ голову слѣдующая скептическая мысль. Вы уличаете г. Посникова, между прочимъ, въ томъ, что онъ «не понимаетъ смысла вопроса», и въ то же время сознательно, намѣренно оставляете «предметъ вопроса» подъ спудомъ. Тутъ что-нибудь да не такъ, подумалъ я въ своей неученой слѣпотѣ и сталъ попристальнѣе перечитывать вашъ обвинительный актъ, сличая его мѣстами съ данными судебнаго слѣдствія, то-есть съ указываемыми вами страницами труда г. Посникова. Результатъ получился совершенно неожиданный и, прямо сказать, для васъ, милордъ Георгъ англійскій, герой лубочной сказки, не лестный.

Значительную долю своего остроумія (еслибы вы только могли догадываться, до какой степени обдѣлила васъ природа даромъ остроумія!) вы тратите на уличеніе своей жертвы въ пользованіи десятью нѣмецкими брошюрами таксаторско-межевого содержанія. Вы придаете этому обстоятельству громадную важность. Вы перечисляете всѣ эти брошюры, разсказываете ихъ содержаніе, разсказываете, какъ и гдѣ онѣ продаются и покупаются, кто ихъ писалъ и почему писалъ.

Вполнѣ презирая десятокъ несчастныхъ брошюръ, вы, однако, не безъ самодовольства замѣчаете, что, дескать, «едва-ли кто въ Россіи, кромѣ насъ съ г. Посниковымъ, окажется счастливымъ обладателемъ этихъ летучихъ произведеній таксаторско-межевой части». Изъ-за чего же столько усердія, язвительности и ярости? Изъ-за того, что г. Посниковъ заимствуетъ свѣдѣнія изъ несчастныхъ брошюръ разныхъ нѣмецкихъ «совѣтниковъ» Кнауса, Браунварта, Лёбе, Шенка и пр. Тяжкое преступленіе! Но оно отягчается еще тѣмъ, что, если вамъ вѣрить, г. Посниковъ негласно производитъ почтенныхъ нѣмецкихъ совѣтниковъ въ санъ научныхъ авторитетовъ по предмету политической экономіи, приписывая имъ при этомъ защиту общиннаго землевладѣнія, и вдобавокъ обираетъ ихъ, выдаетъ ихъ мысли и слова за свои собственныя. Да, если вамъ вѣрить, то г. Посниковъ поступаетъ до послѣдней степени неблаговидно. Только по одному пункту нѣмецкихъ совѣтниковъ онъ оказывается фальсификаторомъ, своего рода фальшивымъ монетчикомъ и злостнымъ эксплоататоромъ чужихъ трудовъ. А кромѣ того, онъ вѣдь еще уличается въ совершенномъ невѣжествѣ, нагло выдаваемомъ за обладаніе истиной! Нуженъ-ли лучшій образчикъ патентованнаго ученаго, безусловно недостойнаго уваженія? Да, если вамъ вѣрить. Но я, признаться сказать, не повѣрилъ: необыкновенная страстность вашего безпристрастія слишкомъ подозрительна.

Замѣтьте, милордъ, что, испещряя свою критику ссылками на страницы труда г. Посникова и тѣмъ являя видъ чрезвычайной точности, вы, однако, не говорите точнымъ образомъ, гдѣ именно жертва вашего убійственнаго остроумія и эрудиціи выдаетъ Братнварта, Лёбе и проч. за авторитеты по предмету политической экономіи, и именно за авторитеты, защищающіе общинное землевладѣніе. Не потому вы этого не дѣлаете, что не хотите—вы бы, очевидно, рады были г. Посникова въ порошокъ стереть—а потому, что не можете. Дѣло просто въ томъ, что, говоря о системахъ межеванія, г. Посниковъ цитируетъ «произведенія по таксаторско-межевой части». Иныхъ, достопочтенный герой лубочной сказки, онъ и не могъ кажется, въ настоящемъ случаѣ, цитировать. Что же касается заимствованій у Браунварта, Вильгельми и пр., заимствованій, сдѣланныхъ будто бы чрезвычайно хитро и скрытно отъ читателей, то они состоятъ въ объясненіи плановъ, совершенно откровенно взятыхъ у Браунварта и проч. Полагаю, что, еслибы г. Посниковъ взялъ у Браунварта планъ, а объясненіе къ нему написалъ бы самъ, то отъ этого наука выиграла бы весьма мало.

Въ качествѣ профана, милордъ, я не могъ бы огорчаться поведеніемъ г. Посникова относительно цитатъ даже въ томъ случаѣ, если бы всѣ ваши обвиненія были безусловно справедливы. Съ нашей профанской точки зрѣнія, не особенно важно: заимствуетъ-ли писатель свѣдѣнія изъ первыхъ или изъ вторыхъ рукъ, если только онъ достаточно увѣренъ въ подлинности свѣдѣній. Но полагаю, и съ профанской, и съ ученой, и со всякой другой точки зрѣнія, напримѣръ, стр. 39-я вашей критики совершенно излишня. На этой страницѣ (на цѣлой страницѣ!) вы доказываете, что г. Посниковъ не знаетъ подлиннаго сочиненія Waolrich'a, которое цитуетъ, и знакомъ съ нимъ только по книжкѣ Макдонелля. Вы съ обычнымъ тонкимъ остроуміемъ замѣчаете при этомъ, что о книжкѣ Макдонелля «едва-ли кто знаетъ въ Россіи, кромѣ насъ съ г. Посниковымъ и еще одного третьяго, которому здѣсь и приносится искренняя благодарность за указаніе». Но зачѣмъ же вы тратите столько иронія, эрудиціи и намековъ

тонкихъ на то, чего не вѣдаетъ никто, когда г. Посниковъ прямо указываетъ источникъ, откуда онъ взялъ эту цитату?! Никакой «одинъ третій» не выведетъ васъ, я полагаю, изъ того комическаго положенія, въ которое вы становитесь, пространно уличая человѣка въ томъ, что онъ и не думаетъ скрывать. Одинъ четвертый, прочитавъ вашу стр. 39, спросилъ: «зачѣмъ это Цитовичъ такъ бѣшенно стучится въ отворенную дверь»? А одинъ пятый выразился по этому поводу на счетъ вашего лордства съ такою рѣзвостью, что я не посмѣю оскорбить вашъ слухъ его словами. Онъ васъ... Онъ васъ очень не похвалилъ; не могу и я, къ сожалѣнію, похвалить...

Такъ какъ я пишу вамъ откровенное письмо, а далеко не всѣмъ читателямъ извѣстна ваша митральёза, то позвольте мнѣ привести хоть одинъ образчикъ вашихъ учено-сатирическихъ выстрѣловъ. На стр. 35 вы пишете: «Бралось (г. Посниковымъ) все, что попадалось подъ руки и на глаза. Подвернулось «Обычное Право» профессора Пахмана—«крайне интересный трудъ» — въ цитату его *); попался «Опытъ профессора Янсона—превосходное изслѣдованіе»— въ плѣнъ его **); докладъ «Московскаго Общества» сельскаго хозяйства и подавно пригоденъ—въ цитату и его ***), хотя «идиллическій» ****) вопросъ о хуторахъ собственно внѣ сферы общиннаго землевладѣнія; встрѣтился г. Перетятковичъ съ Поволжьемъ въ XV и XVI вѣкахъ—и его въ плѣнъ *****). Какой-то военный писарь канцеляріи генералъ-адъютанта Крыжановскаго обронилъ бумагу за № 1291 по Главному Управленію иррегулярныхъ войскъ, Отдѣленіе II, Столъ 5; бумага говоритъ лишь о скотоводствѣ и рыболовствѣ уральскихъ казаковъ—она составила длинную цитату и притомъ цитату изъ первыхъ рукъ ******)» и т. д.

Теперь, когда вы излили по крайней мѣрѣ, хоть часть своей желчи на бумагу, вы, можетъ быть, въ состояніи разсуждать съ нѣкоторымъ хладнокровіемъ. Ну и разсудите же сами, что вы такое написали? Зачѣмъ эти инсинуирующія подчеркиванія самыхъ обыкновенныхъ словъ и ссылокъ? «Одинъ третій», одинъ сотый и т. д.—читатель видитъ, что вы, дойдя только до 36 стр. своей критики, уже сто одиннадцать разъ уличали въ чемъ-то г. Посникова, ибо сдѣлали сто одиннадцать выписокъ въ свидѣтельство того, что на такой-то страницѣ г. Посниковъ совершилъ такое-то преступленіе. Какія же это преступленія? Вѣдь вы сами должны понимать, что трудъ г. Пахмана, въ самомъ дѣлѣ, «крайне интересенъ», что трудъ г. Янсона, въ самомъ дѣлѣ, «превосходное изслѣдованіе», что цитированіе ихъ въ сочиненіи объ общинномъ землевладѣніи вполнѣ натурально и даже неизбѣжно. А вы издѣваетесь! «Чего смѣешься?—надъ собой смѣешься»! Когда человѣкъ очень разсердится, такъ разсердится, что даже теряетъ способность отличать оскорбительное отъ неоскорбительнаго, онъ именно такъ и поступаетъ. Конечно, человѣкъ не самыхъ высшихъ сортовъ, потому что кто почище, тотъ и ведетъ себя почистоплотнѣе. Торговки рыночныя такъ бранятся. Одна, напримѣръ, скажетъ: «я огурцовъ на гривенникъ продала». Кажется, чего бы проще? Даже и достопримѣчательнаго ничего нѣтъ. А неизвѣстно за что сердитая сосѣдка подхватываетъ: «продала! ишь ты! на гривенникъ продала! футы, ну-ты! на гривенникъ огурцовъ продала!» Очень бы интересно было проникнуть: чѣмъ вы собственно, милордъ, торгуете? Я, кажется, впрочемъ, проникъ; но объ этомъ потомъ, а теперь еще два-три образчика вашей рыночной полемики.

Г. Посниковъ сообщаетъ, между прочимъ, свои собственныя наблюденія въ Англіи, сдѣланныя имъ при посѣщеніи фермъ. Мало того, что вы всѣ свои, далеко, впрочемъ, не геркулесовскія силы напрягаете для накидыванія тѣни на подлинность этихъ наблюденій, вы торопитесь еще ехидно вставить: «Посѣщеніе фермъ—занятіе не трудное, благодаря частымъ и быстрымъ поѣздамъ желѣзныхъ дорогъ въ Англіи, и кромѣ того, занятіе пріятное, благодаря гостепріимству фермеровъ». Но г. Посниковъ и не выдаетъ своихъ посѣщеній за аскетическій подвигъ. А кромѣ того, вы хоть бы то сообразили: если посѣщеніе фермъ составляетъ не трудъ, а удовольствіе, то съ какой же стати заподозривать подлинность наблюденій г. Посникова? Отъ удовольствій вѣдь никто не прочь. Но «умъ со страстью не совмѣстны», какъ говоритъ кто-то у Шекспира, и когда «вскипѣлъ Бульонъ, потекъ во храмъ», онъ не вполнѣ владѣлъ своимъ разсудкомъ. Обуреваемый слѣпою страстью своего безпристрастія, вы теряете всякую сообразительность и взводите на свою жертву обвиненія, или сами по себѣ нелѣпыя, или взаимно другъ друга пожирающія. Кому, кромѣ «вскипѣвшаго бульона» (простите, что пишу не съ прописной буквы: Готфридъ Бульонскій всетаки, какъ слѣдуетъ, крестовый походъ отломалъ, ну, а вы маленько не дошли до святой земли), можетъ придти въ

*) Выпускъ II, стр. 56, примѣч. 7.
**) Тамъ-же, стр. 74, примѣч. 7.
***) Тамъ-же, стр. 169, примѣч. 1.
****) Тамъ-же, стр. 174, примѣч. 3.
*****) Тамъ-же, стр. 177, примѣч. 1.
******) Тамъ-же, стр. 63—64, примѣч. 3.

голову такое, напримѣръ, соображеніе: «если нашъ авторъ имѣлъ въ виду ознакомить крестьянъ съ нассауской и прусской системой размежеванія, то... Но... кромѣ того, его книга едва-ли можетъ быть вполнѣ вразумительна для крестьянъ, такъ какъ свои «исподніе и нижніе гоны» онъ намѣтилъ буквами греческаго алфавита». При этомъ, вы опять съ торжествующимъ видомъ указываете страницы, на которыхъ г. Посниковъ совершилъ такое тяжкое преступленіе, какъ употребленіе буквъ греческаго алфавита въ сочиненіи, будто бы предназначенномъ для чтенія русскихъ крестьянъ.

Это—шутовство, милордъ, если вы позволите мнѣ откровенно высказать свое мнѣніе. А шутовство можетъ оказаться, смотря по вкусамъ и темпераментамъ присутствующей публики, либо смѣшнымъ, либо омерзительнымъ. Самому шуту не возбраняется, впрочемъ, свободно выбрать любую квалификацію...

Но шутовство шутовствомъ, а, главное, злобы-то противъ г. Посникова въ васъ очень много. До сихъ поръ у насъ шла рѣчь больше о томъ, какъ и какими цитатами пользуется г. Посниковъ. Изъ этой части обвинительнаго акта довольно трудно вывести заключеніе, что вашъ товарищъ по новороссійскому университету (профессоръ, вѣроятно, политической экономіи), торжественно увѣнчанный въ московскомъ университетѣ, «незнакомъ съ политической экономіей» и «не понимаетъ смысла вопроса» объ общинномъ землевладѣніи. Оправдательныхъ документовъ къ этому заключенію надо искать въ другой части вашей критики. Эта часть для насъ, конечно, имѣетъ первостепенный интересъ, потому что, если-бы даже, дѣйствительно, вся работа г. Посникова была исполнена мошенническимъ образомъ (c'est le mot, если вамъ вѣрить), но была бы хороша по существу, то мы всетаки были бы въ выигрышѣ. Но, увы! эта часть критики разработана съ несравненно меньшимъ стараніемъ, чѣмъ великій вопросъ о десяти брошюрахъ нѣмецкихъ совѣтниковъ. Оно и естественно, конечно, при твердомъ желаніи оставить «предметъ вопроса» въ сторонѣ.

Вы говорите, что изслѣдованіе отношеній общиннаго землевладѣнія къ слабому развитію городовъ и фабрикъ въ Россіи, а также связи вопроса объ общинѣ съ вопросомъ народонаселенія—было бы чрезвычайно важно, а г. Посниковъ его не даетъ. Совершенно справедливо. Я первый готовъ отъ души пожелать, чтобы эти важныя стороны вопроса объ общинѣ, въ ближайшемъ будущемъ сосредоточили на себѣ вниманіе г. Посникова или другого, столь же добросовѣстнаго и хорошо подготовленнаго, писателя. Но границы настоящаго труда г. Посникова обозначены имъ самимъ такъ точно и обстоятельно, что я, простите, не вижу никакого смысла въ вашемъ упрекѣ человѣку, который сознательно и добросовѣстно ограничилъ свое изслѣдованіе извѣстными сторонами предмета. Здѣсь еще нѣтъ, милордъ, ни невѣжества, ни «непониманія смысла вопроса».

Не менѣе—опять-таки прошу прощенія—безсмысленны ваши нападки на употребленный г. Посниковымъ пріемъ сличенія нѣкоторыхъ сторонъ частной и общественной собственности. Вы находите, что это—пріемъ старый, несостоятельность котораго доказана скудостью результатовъ полемики конца пятидесятыхъ годовъ. Мимоходомъ сказать, величественно презирая эту полемику, вы протягиваете свои комариныя ножки совсѣмъ не по приличествующей вамъ скромной одежкѣ. Но это мимоходомъ. Главное же дѣло въ томъ, что вы не хотите или не умѣете понять задачу г. Посникова, не смотря на всю ясность ея постановки. Вѣрнѣе, я думаю, сказать: не хотите понять, потому дѣло-то ужъ слишкомъ ясное.

Позвольте на этомъ остановиться нѣсколько подробнѣе. Вы не хотите понять, потому что, повидимому, «предметъ вопроса», общинное землевладѣніе, интересуетъ васъ несравненно меньше, чѣмъ г. Посниковъ. Вы на него за что-то ужасно сердиты. За что? Отнюдь не за оскорбленіе высшихъ интересовъ науки, ибо г. Посниковъ ихъ не оскорблялъ. А затѣмъ остаются два мотива вашей сердитости: личный и, если можно такъ выразиться, общественный. Первый очень простъ: зависть, какъ толчокъ, интрига, какъ орудіе, устраненіе противника, какъ цѣль — вотъ, можетъ быть, исторія вашего похода. Я ничего не утверждаю, я только предполагаю и подъискиваю объясненіе вашему странному поведенію. Всѣ — люди, всѣ—человѣки, милордъ, и патентованные ученые люди, быть можетъ, менѣе простыхъ смертныхъ свободны отъ такихъ неблаговидныхъ вещей, какъ зависть и интрига. Гораздо интереснѣе другой возможный мотивъ.

Вы знаете, милордъ, что политическая экономія есть наука, далеко не установившаяся. Пожалуй, каждый считаетъ извѣстныя, дѣйствительно, научныя или якобы научныя положенія несомнѣнными. Но если такой ученый человѣкъ, какъ г. Чичеринъ, могъ, въ лѣто отъ Р. Х. 1878, среди бѣла дня и на глазахъ у всѣхъ, уцѣпиться за Фридерика Бастіа, блаженной памяти, какъ за новѣйшій научный авторитетъ, то одно это показываетъ, какая анархія господствуетъ

въ этой отрасли знанія. Не невозможно, что и г. Чичеринъ въ непродолжительномъ времени окажется въ чьихъ-нибудь глазахъ новѣйшимъ авторитетомъ по предмету политической экономіи, и какой-нибудь «одинъ третій» къ глупостямъ Бастіа, осложненнымъ глупостями г. Чичерина, прибавитъ еще новый слой собственныхъ глупостей. Ничего подобнаго съ науками установившимися случиться не можетъ. Въ нихъ Чичерины невозможны или, по крайней мѣрѣ, нисходятъ до роли того полуумнаго нѣмца (не помню его фамиліи), брошюры котораго «Земля неподвижна» и «Противорѣчія въ астрономіи» вамъ, вѣроятно, извѣстны. Неустановленность вашей науки зависитъ, между прочимъ, въ значительной степени отъ того, что она соприкасается съ самыми непосредственными житейскими интересами. Теоретическіе и практическіе экономическіе вопросы такъ тѣсно связаны, что разогнать ихъ въ разныя стороны представляется часто дѣломъ очень мудренымъ. И вотъ почему не только положенія, но самые термены экономической науки скользки и увертливы, какъ угри. Тѣмъ не менѣе, сквозь происходящій отсюда туманъ, можно очень явственно усмотрѣть, по крайней мѣрѣ, два способа группировки научныхъ фактовъ. Одному изъ нихъ очень давно посчастливилось проникнуть въ оффиціальный храмъ науки, другому—очень недавно, и то только отчасти. Пока дѣло идетъ о фактическомъ ростѣ и распредѣленіи «богатства народовъ», какъ у насъ несовсѣмъ правильно переводятъ заглавіе знаменитаго сочиненія Адама Смита, объ точки зрѣнія мало противорѣчатъ другъ другу. Но вотъ является предположеніе, быстро переходящее въ увѣренность, что ростъ «богатства народовъ», при настоящихъ условіяхъ, сопровождается абсолютнымъ или относительнымъ обѣдненіемъ рабочихъ массъ. Какъ фактъ, это признается умными и элементарно-добросовѣстными людьми всѣхъ партій. Но относящіеся сюда практическіе вопросы, а также неизбѣжное присутствіе людей глупыхъ и недобросовѣстныхъ, обращаютъ поле науки въ арену борьбы, отзвуки которой слышатся въ постановкѣ и разрѣшеніи даже самыхъ общихъ теоретическихъ вопросовъ, каковъ вопросъ о цѣнности. Имѣя въ виду, что «богатство народовъ» не совпадаетъ съ благосостояніемъ непосредственныхъ производителей, необходимо опредѣлить: который изъ этихъ элементовъ долженъ быть поставленъ во главу угла зданія науки. Отсюда—двѣ главныя школы.

Вы знаете, что школа богатства народовъ, царившая когда-то на каѳедрахъ и въ книгахъ, все болѣе отступаетъ передъ своей противницей. Послѣдняя, напротивъ, поддерживается всѣмъ ходомъ историческаго теченія, проникла, наконецъ, даже туда, гдѣ обыкновенно всего позже появляется свѣтъ новой истины — въ академическую науку. Вы знаете, какъ далеко зашелъ этотъ оборотъ дѣла въ Германіи. Что касается нашего отечества, то въ немъ новое (теперь-то далеко уже не новое) направленіе научной мысли до послѣдняго времени имѣло сторонниковъ и глашатаевъ только въ журналистикѣ. И на этомъ, какъ на многихъ другихъ пунктахъ, журналистика оказалась много болѣе чуткою къ голосу истины и справедливости, чѣмъ ваше сословіе. Алчущіе и жаждущіе правды выслушивали старую, высохшую, какъ пожелтѣвшій осенній листъ, дребедень съ высоты каѳедры и находили живое слово на страницахъ журналовъ. Понятно, въ которую сторону ихъ влекло. Журналистика одна выносила на своихъ плечахъ задачу водворенія научной мысли въ Россіи. Вы скажете, что, тѣмъ не менѣе, журналистикѣ случалось и обнаруживать легкомысліе, и впадать въ ошибки. Я, пожалуй, уступлю вамъ это; но вѣрно то, что ваше сословіе ничѣмъ ей не помогало. Оно занималось даже не охраненіемъ рутины—это было бы, все-таки, лучше — а простымъ пережевываніемъ ея въ университетскихъ аудиторіяхъ и изрѣдка въ книгахъ.

Милордъ, этому порядку наступаетъ, къ счастію и къ чести русскаго ученаго сословія, конецъ. За послѣднее время объявилась маленькая кучка молодыхъ профессоровъ, болѣе или менѣе рѣшительно разорвавшихъ свое дѣло съ рутиной. Вы догадываетесь, что я говорю о гг. Чупровѣ, Зиберѣ, Янжулѣ, Посниковѣ; можетъ быть, еще два-три найдутся, труды которыхъ заслуживаютъ тѣмъ большаго вниманія, что являются безъ всякой нелѣпой помпы «русской науки», оторванной отъ науки европейской. Здѣсь не мѣсто входить въ оцѣнку работъ названныхъ писателей, но несомнѣнно, что общая ихъ характеристическая черта—различеніе «богатства народовъ» и благосостоянія массъ—ставитъ ихъ особнякомъ въ русской ученой литературѣ. Направленію этому неизбѣжно предстоитъ крѣпнуть, развиваться, становиться опредѣленнѣе и рѣзче. Но это не даромъ дастся, не безъ борьбы. Далеко не всѣ встрѣтятъ новое научное направленіе съ распростертыми объятіями, и много явится желающихъ затормозить какъ ходъ исторіи вообще, такъ и ходъ развитія науки въ частности. Вы понимаете, что, если извѣстное научное направленіе пробивается даже сквозь толстыя стѣны школьныхъ зданій, такъ это—не простая случайность. Не въ томъ дѣло, что Иванъ, Сидоръ,

Карпъ и Егоръ, подъ вліяніемъ разныхъ случайныхъ обстоятельствъ своей личной жизни, усвоили себѣ извѣстный образъ мыслей. Нѣтъ, если вы потрудитесь окинуть своимъ прозорливымъ умственнымъ окомъ всю совокупность нашихъ русскихъ и европейскихъ дѣлъ, то увидите, что извѣстнаго рода вопросы настолько назрѣли, что сама жизнь выставляетъ новую ихъ постановку и новое рѣшеніе. Но новая постановка и новое рѣшеніе предполагаютъ существованіе старой постановки и стараго рѣшенія. Значитъ, борьба неизбѣжна. Это фатально. Мы можемъ даже предвидѣть ближайшія формы борьбы. Да и чего тутъ предвидѣть, когда мы уже присутствуемъ при началѣ борьбы, когда вы сами, милордъ, въ полномъ облаченіи героя лубочной сказки, являетесь застрѣльщикомъ въ рядахъ одной изъ воюющихъ сторонъ.

Я очень радъ, что мнѣ попалось подъ руку это выраженіе «воюющая сторона». Дѣло, видите-ли, въ томъ, что, пока направленіе (разумѣю общую характеристическую черту этого направленія), котораго придерживаются вышеупомянутые ученые, отстаивалось только извѣстною частью журналистики, рутинеры изъ вашего сословія гордо драпировались въ плащъ презрѣнія и величественно заграждали себѣ уста печатью молчанія. Такъ, въ видѣ монументовъ стояли. Журналистику они никоимъ образомъ не соглашались признать воюющей стороной и видѣли въ ней только нѣчто въ родѣ неогранизованной, необмундированной шайки разбойниковъ, связаться съ которою значитъ уронить честь мундира чиновниковъ министерства народнаго просвѣщенія. Положимъ, тутъ, можетъ быть, примѣшивался нѣкоторый страхъ передъ нашими привычными, такъ называемыми, бойкими перьями и опасеніе нѣкоторыхъ непріятностей въ родѣ разсказаннаго выше эпизода харьковскаго диспута. Но не въ этомъ дѣло. Такихъ же, какъ и вы сами, патентованныхъ ученыхъ, а равно кое-кого изъ солидныхъ или слывущихъ солидными практиковъ, непричастныхъ спеціально ни наукѣ, ни журналистикѣ, вы должны признать воюющей стороной. И вотъ сигналъ поданъ, вы бросаетесь въ аттаку.

Замѣчательно, что почти одновременно съ вашимъ разборомъ сочиненія г. Посникова появилась убійственная критика книги князя Васильчикова «Землевладѣніе и земледѣліе», написанная гг. Герье и Чичеринымъ. Въ то же время, г. Чичеринъ побивалъ камнями современное направленіе экономической науки на гостепріимныхъ страницахъ «Сборника государственнаго невѣжества». Можете сюда же г. Ю. Жуковскаго пристегнуть, хотя и непатентованнаго, но совершенно какъ бы патентованнаго ученаго. Это—тоже не простая случайность; это — начало борьбы, за которымъ послѣдуетъ продолженіе, а потомъ, съ Божіей помощью, и конецъ. Гг. Герье и Чичерину я буду имѣть честь писать особо. Но собственно г. Чичерина не могу обойти и здѣсь.

Возьмемъ хоть то же общинное землевладѣніе. Вы знаете, вѣроятно, лучше меня, какъ подкапывались и подкапываются подъ это учрежденіе съ чисто практическими цѣлями, а именно въ видахъ великодушнаго освобожденія мужика отъ земли и препровожденія его, «свободнаго, какъ птица», по добровольному этапу, въ руки тѣхъ, кому нужны безземельные рабочіе. Не смотря на полную прозрачность этихъ практическихъ цѣлей, онѣ облекались извѣстнымъ историческимъ, политико-экономическимъ, политическимъ, вообще якобы научнымъ антуражемъ. Теперь изготовленіе этого научнаго соуса становится все затруднительнѣе. Выручавшая прежде ссылка на европейскіе авторитеты неудобна. Нетолько потому, что европейскіе ученые люди стали много больше прежняго оказывать вниманія, именно, общинѣ, но и потому, что весь обликъ европейской науки значительно измѣнился. Г. Чичеринъ не знаетъ, но вы знаете, что любой, мало-мальски порядочный нѣмецкій учебникъ или курсъ политической экономіи, любая, мало мальски выдающаяся монографія имѣютъ нынѣ весьма мало общаго съ тѣмъ, что господствовало въ школьной наукѣ лѣтъ пятнадцать тому назадъ. Въ этомъ смыслѣ усилились рессурсы не противниковъ, а защитниковъ общиннаго землевладѣнія. Послѣдніе имѣютъ полное право утверждать, что они не отстали отъ поступательнаго движенія науки. А между тѣмъ, для извѣстнаго сорта практиковъ распущеніе общины представляется все болѣе и болѣе настоятельною необходимостью. Какъ же быть? Очень просто: о волкѣ помолвка, а волкъ и тутъ. Можно просто найти наемныхъ писакъ, которые за извѣстное вознагражденіе станутъ фальсифицировать науку, подтасовывать факты, брать наглостью и мѣднымъ лбомъ. У насъ до наемныхъ писакъ еще, кажется, не дошло. Но, исполняя не выраженный заказъ практиковъ, являются ученые люди, связанные съ ними общностью воззрѣній, наклонностей, а отчасти и интересовъ, которые начинаютъ дѣйствовать. Какъ они дѣйствуютъ, какъ они могутъ дѣйствовать при настоящемъ положеніи вещей, тому мы имѣемъ прекрасные образчики въ вашей критикѣ и въ критикѣ г. Чичерина. Вы, безъ сомнѣнія—историческіе дѣятели. Васъ выставила та же исторія, та же жизнь, другая сторона которой выставила вашихъ про-

тивниковъ. Рутина, опирающаяся на практическіе интересы, не можетъ сдаться безъ бою. Она должна напречь всѣ свои силы, искать себѣ паладиновъ вездѣ, гдѣ борьба возможна, значитъ, и въ ученомъ мірѣ. Жребій палъ пока на васъ и на г. Чичерина. Вы—жертва исторіи, милордъ, задняго двора исторіи. Впрочемъ, г. Чичеринъ гордо проходитъ парадными крыльцомъ. Но онъ — особь статья, и далеко не всякій обладаетъ такимъ мужествомъ, чтобы публично обнаруживать свое круглое невѣжество. Г. Чичерина задній дворъ исторіи выпустилъ на сцену, именно, въ качествѣ такого человѣка, который совершенно ничего не понимая, тѣмъ самымъ окрыляется къ побѣдамъ. А это, всетаки, имѣетъ свою цѣну. Изволь тутъ еще разбирать, что, обладая въ такой-то отрасли человѣческаго вѣдѣнія значительными знаніями, Z совершенно не знакомъ съ такою-то. На виду у всѣхъ и всѣмъ понятенъ тотъ фактъ, что г. Чичеринъ, несомнѣнно, ученый человѣкъ, при помощи старичка Бастіа (которому, вѣдь, монументъ гдѣ-то воздвигнутъ), такъ расправился съ разными мудрецами, что отъ нихъ только мокренько осталось. Это «духу придаетъ». При случаѣ, можно ссылку сдѣлать: извѣстный нашъ ученый, г. Чичеринъ, подробно разсмотрѣлъ и доказалъ и проч. Вашъ пріемъ тоже очень хорошъ, но онъ—другого сорта. Вы понимаете, что пушечнаго жерла шляпой не заткнешь, а потому и не трогаете самой пушки. Вы оставляете «предметъ вопроса» подъ спудомъ и только изо всѣхъ силъ стараетесь облить помоями г. Посникова. Чрезвычайно цѣлесообразный пріемъ въ томъ отношеніи, что въ читателѣ можетъ родиться такое соображеніе: эге! вотъ они каковы защитники общины и новаго слова въ наукѣ! И далеко не всякій сообразитъ, что, еслибы г. Посниковъ былъ вами фотографически вѣрно изображенъ, то это нимало не компрометируетъ научной точки зрѣнія, на которую онъ всталъ. Точно такъ же какъ наука вообще ни мало не компрометируется вашимъ, служителя науки, зазорнымъ поведеніемъ. Хорошъ пріемъ, что и говорить, но, всетаки, не всѣмъ онъ можетъ нравиться. Главная ваша бѣда въ томъ, что вы пересолили, обнаружили черезчуръ уже много страстности въ полемикѣ. Это выдаетъ заднюю мысль.

Вы находите, что пріемъ сличенія выгодъ и невыгодъ частной и общинной собственности старъ и несостоятеленъ. Но, герой лубочной сказки, какъ же быть, если со всѣхъ сторонъ раздаются проекты замѣны общинной собственности частною? Нужно или не нужно говорить о преимуществахъ той или другой?

Вы утверждаете, что разсматриваемые г. Посниковымъ вопросы о срочныхъ передѣлахъ, о принудительной обработкѣ, чрезполосицѣ и дробимости земли, за исключеніемъ перваго, не имѣютъ прямой связи съ вопросомъ объ общинѣ. Но, величайшій изъ героевъ лубочныхъ сказокъ, развѣ не это, именно, доказываетъ г. Посниковъ? Это называется: моимъ же добромъ, да мнѣ же челомъ, да еще съ попреками.

Вы утверждаете, что г. Посниковъ переноситъ огуломъ всю аргументацію англійскаго поземельнаго вопроса въ разрѣшеніе вопросовъ о русской общинѣ. Это просто— неправда, милордъ. Въ книгѣ г. Посникова ничего подобнаго нѣтъ, и самое примѣненіе линкольнширскаго tenant right, надъ которымъ вы такъ глумитесь, сводится на простое вознагражденіе при передѣлахъ за приложенное къ землѣ удобреніе, въ чемъ ничего особеннаго утопическаго усмотрѣть нельзя, тѣмъ болѣе, что и теперь уже извѣстны случаи, когда крестьяне отличаютъ, при передѣлахъ, хорошо удобренную землю отъ неудобренной.

Вы очень сердиты, милордъ, сердитѣе, чѣмъ вамъ позволяетъ ваша духовная комплекція. Особенно сердитесь вы за нѣсколько неодобрительныхъ словъ, сказанныхъ г. Посниковымъ о такъ называемыхъ экономистахъ и *ихъ* наукѣ. Но ни на одно возраженіе у васъ пороху не хватило или вы его не посмѣли сдѣлать. Вы ограничились ироніей, и я напомню вамъ эту достопамятную въ лѣтописяхъ сатиры и ироніи ѣдкую остроту. Вы говорите: «Очевидно, что нашъ авторъ разумѣетъ и себя подъ тѣмъ «всякимъ», «кто возвысился надъ узкой точкой частныхъ интересевъ», «кто понимаетъ» и т. д. Вѣроятно, въ доказательство такой возвышенности, принципъ раздѣленія труда онъ стравилъ свиньями, подсвинками и поросятами, которымъ на этотъ разъ не помѣшало то «энергическое средство», какое указано имъ же самимъ—продергиваніе въ ноздри проволочныхъ колецъ». Въ примѣчаніи вы поясняете, что «преувеличенія здѣсь нѣтъ никакого», и приводите подлинное мѣсто изъ книги г. Посникова. При этомъ оказывается, однако, что дѣло идетъ совсѣмъ не о раздѣленіи труда, а о способахъ пастьбы и потравахъ. Поводомъ же къ остроумному увѣренію, что г. Посниковъ «стравилъ принципъ раздѣленія труда свиньями», послужила, собственно, фраза, которою начинается это мѣсто: «въ тѣхъ, пока, относительно, счастливыхъ селеніяхъ, на которыхъ не распространилось еще дѣйствіе пресловутаго раздѣленія труда, въ селеніяхъ, гдѣ крестьяне удовлетворяютъ своимъ главнѣйшимъ потребностямъ продуктами домашняго изготовле-

нія—принято держать, для пропитанія семьи, въ числѣ прочаго скота и свиней» и т. д. Далѣе идетъ описаніе способовъ пастьбы.

Такъ не возражаютъ, остроумный милордъ, такъ говорятъ неправду, глупости и пустяки. И если издыхающая форма науки не можетъ выставить иныхъ, лучшихъ способовъ самозащиты, такъ, значитъ, торжество правды близко. Подумайте объ этомъ въ часы досуга. Отъ васъ лично, отъ вашего сословія вообще, будетъ зависѣть ваша собственная судьба при этомъ торжествѣ. Припомните овація, которыми сопровождался диспутъ г. Посникова. Это былъ залогъ сближенія между наукой и жизнью, залогъ того, что мы, уважающіе науку, горячо желаемъ уважать ея представителей. А пока—

Hier sitz' ich, forme Menschen nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei
Zu leiden, zu weinen,
Zu geniessen und zu freuen sich
Und dein nicht zu achten;
Wie ich!

II.

Письмо къ гг. Герье и Чичерину *)

Милостивые государи!

Позвольте начать выраженіемъ сожалѣнія о томъ, что «Отечественныя Записки» не могли съ должною обстоятельностью оцѣнить недавніе ученые подвиги одного изъ васъ и, притомъ, славнѣйшаго—г. Чичерина. Разумѣю статьи въ «Сборникѣ государственныхъ знаній». Не не хотѣли, милостивые государи, а не могли. Можете засчитать это въ число доказательствъ непобѣдимой логичности эрудиціи г. Чичерина. Какъ бы то ни было, но вынужденный къ краткому и голословному выраженію своей мысли, я долженъ сказать, что болѣе обнаженнаго и своею наготою довольнаго невѣжества русская ученая литература давно не видала. Васъ не поразитъ, конечно, такой рѣзкій отзывъ, ибо нѣчто подобное было высказываемо въ весьма разнообразныхъ органахъ печати. Это послѣднее обстоятельство, то-есть, довольно единодушная встрѣча, оказанная ученымъ подвигамъ г. Чичерина, много облегчаетъ мою скорбь. Но я всетаки лишенъ пикантной темы: вы издаете совокупными силами книгу «Русскіе диллетанты и общинное землевладѣніе», въ которой обвиняете князя Васильчикова въ заносчивомъ, поучающемъ невѣжествѣ, и въ тоже самое время одинъ изъ васъ обнаруживаетъ невѣжество, несомнѣнно рѣдкостное по своей заносчивости и стремленію поучать. Диллетантъ, съ пѳѳосомъ уличающій другихъ въ диллетантизмѣ—согласитесь, что это пикантно! Но дѣло даже не въ диллетантизмѣ. Вы уличаете князя Васильчикова не въ диллетантизмѣ, а въ кругломъ невѣжествѣ, въ незнаніи не только гимназическаго курса, но даже курса начальной народной школы. Равнымъ образомъ, и политико-экономическая критика г. Чичерина не есть плодъ только дилетантизма. Но дѣлать нечего: что съ возу упало, то пропало. Пожалѣйте человѣка, лишеннаго пикантной темы, и будемъ говорить о «русскомъ дилетантизмѣ и общинномъ землевладѣніи».

Повторяю, заглавіе вашей брошюры несовсѣмъ точно: вы не въ диллетантизмѣ обличаете князя Васильчикова. Вы говорите, напримѣръ: «Какое значеніе имѣетъ въ географіи выраженіе «новый свѣтъ»—князю Васильчикову неизвѣстно. На стр. 6 онъ называетъ этимъ именемъ Америку, а на 797 онъ разумѣетъ подъ странами «новаго свѣта» западную Европу». (7)—Или: «Описывая «продолжительный насильственный вводъ во владѣніе англійскихъ властей въ землю кельтовъ», т. е. въ Ирландію, князь Васильчиковъ говоритъ, что «только Кромвелю и Елисаветѣ удается окончательно завладѣть страной», какъ бы причисляя этимъ Кромвеля къ предшественникамъ дѣвственной королевы» (9).—Или: «князь Васильчиковъ поясняетъ (ст. 138), что ирландскій акръ нѣсколько больше англійскаго и составляетъ около $^1/_2$ десятины и потому, вычисляя арендную плату въ южныхъ графствахъ Ирландіи—отъ 7 до 15 ф. ст. за ирландскій акръ—говоритъ, «что это равняется отъ 50 до 105 руб. за русскую десятину!!» Князь Васильчиковъ могъ бы приставить, по крайней мѣрѣ, 4 восклицательные знака къ своей фразѣ, еслибы вѣрно разрѣшилъ слѣдующую простую ариѳметическую задачу: если за полдесятины платятъ 7 фунт., то сколько нужно заплатить за цѣлую? При этомъ оказалось бы, что за цѣлую платятъ отъ 100 до 210 руб., а не отъ 50 до 105, какъ вычислилъ князь Васильчиковъ. Перевертываемъ два листика въ книгѣ князя Васильчикова и находимъ, что размѣры ирландскаго акра очень увеличились, но что ариѳметическія способности автора остались тѣ же». На 143 стр. и т. д. (13).

Мнѣ кажется, даже этихъ только примѣровъ преступности князя Васильчикова достаточно, чтобы видѣть, что онъ привлекается къ неподкупному суду науки совсѣмъ не въ качествѣ диллетанта. Быть диллетантомъ, т. е. любителемъ, ни для кого не зазорно, но не знать, что $2\times7=14$, это уже совсѣмъ плохо, даже не для публициста, выступающаго съ трактатомъ о землевладѣ-

*) 1878, іюль.

ніи и земледѣліи. Въ старые годы, за такое вычисленіе пятилѣтнему мальчишкѣ вихры бы надрали, да и по нынѣшнему просвѣщенному времени не похвалятъ. Равнымъ образомъ, не знать что такое называется «новымъ свѣтомъ», свойственно отнюдь не диллетанту, а совершенно невѣжественному человѣку, не державшему никогда въ рукахъ ни учебника географіи, ни газетнаго листка. Образованному человѣку не менѣе неприлично думать, что Кромвель жилъ прежде Елисаветы. Позвольте ужъ, для полноты коллекціи, привести еще одинъ примѣръ невѣжества князя Васильчикова—изъ области грамматики. На стр. 213 вы глумитесь, что онъ называетъ извѣстную группу мѣропріятій «длинною цѣпью, сковавшею русское крестьянство или вѣрнѣе сказать, опутавшею все сельское сословіе сѣтью разнорѣчивыхъ, легкомысленныхъ, случайныхъ узаконеній». «Цѣпь, опутавшая сѣтью», доставляетъ вамъ большое развлеченіе.

Итакъ, не говоря о прочемъ, князь Васильчиковъ уже въ ариѳметикѣ, географіи, грамматикѣ и исторіи оказывается лишеннымъ познаній любого малолѣтка, едва начинающаго учиться. Но, милостивые государи, не хватили-ли вы черезъ край? Не находите-ли вы, что ваши доказательства грѣшатъ палишествомъ, доказываютъ слишкомъ много? Какъ ни какъ, но невозможно же допустить, чтобы князь Васильчиковъ, дѣйствительно и буквально, не зналъ таблицы умноженія или не обладалъ «ариѳметическими способностями», нужными для помноженія 2 на 7. Точно такъ же сомнительна возможность и остальныхъ приведенныхъ ошибокъ несчастнаго вами казнимаго князя. Вы скажете, что ошибки во всякомъ случаѣ—на лицо. Можно, однако, и въ этомъ сомнѣваться. Такъ, грамматическій примѣръ отнюдь не показываетъ ни того, чтобы князь Васильчиковъ не зналъ грамматики, ни того, чтобы онъ отродясь не видалъ цѣпи и сѣти и имѣлъ о ихъ формахъ смутныя представленія. Онъ показываетъ только, что стремительность вашей аттаки помѣшала вамъ правильно прочитать фразу князя Васильчикова. Если вы потрудитесь прочитать инкриминированную фразу слѣдующимъ образомъ: извѣстныя мѣры были «длинною цѣпью, сковавшею русское крестьянство, или, вѣрнѣе сказать, сѣтью разнорѣчивыхъ, легкомысленныхъ, случайныхъ узаконеній, опутавшею все сельское сословіе», то вы, можетъ быть, увидите, что острота насчетъ цѣпи и сѣти попадаетъ мимо цѣли. Разстановка словъ у князя, дѣйствительно, не особенно удачна, но еслибы я захотѣлъ пройтись насчетъ вашей собственной стилистики, то, повѣрьте, нашелъ бы такія цѣпи и сѣти, изъ которыхъ вамъ было бы довольно таки трудно выпутаться. Примѣръ географическій тоже къ дѣлу не идетъ, потому что на стр. 797 князь Васильчиковъ противопоставляетъ «новый свѣтъ» «древнему міру», что совершенно понятно и отнюдь не свидѣтельствуетъ о томъ, чтобы автору было неизвѣстно значеніе выраженія «новый свѣтъ». Что касается примѣра историческаго, то вы сами, повидимому, нѣсколько его конфузитесь, ибо говорите, что князь Васильчиковъ, говоря: «Кромвель и Елисавета», *«какъ бы* причисляетъ этимъ Кромвеля къ предшественникамъ дѣвственной королевы». Дѣйствительно, если я скажу, напримѣръ, что гг. Чичеринъ и Жуковскій жестоко избили Карла Маркса своими собственными боками, то это не значитъ, чтобы я не зналъ, кому изъ нихъ принадлежатъ хронологическое первенство въ совершеніи этого подвига.

Я боюсь, однако, милостивые государи, что кто-нибудь изъ присутствующихъ, наконецъ, меня остановитъ: дескать, что же вы толкуете о таблицѣ умноженія и географическихъ терминахъ? Я долженъ буду сослаться на васъ. Вамъ принадлежитъ честь поднятія вопроса объ «ариѳметическихъ способностяхъ» и географическихъ познаніяхъ князя Васильчикова. Я самъ былъ пораженъ, прочитавъ такія обвиненія въ критикѣ, написанной въ четыре профессорскія руки. Допустимъ, что князь Васильчиковъ, и въ самомъ дѣлѣ—не болѣе, какъ великовозрастный, тупой и лѣнивый Дезире Корбо, не умѣющій сообразить, сколько будетъ дважды семь. Но вѣдь и вамъ «не честь-хвала молодецкая» играть роль школьныхъ учителей, придирающихся къ Дезире Корбо для публичнаго обнаруженія своихъ познаній въ таблицѣ умноженія и начальныхъ курсахъ географіи и исторіи. А вы, къ сожалѣнію, придираетесь. Я уже не говорю о тѣхъ случаяхъ, когда стрѣлы вашей злобной ироніи оказываются совершенно тупыми («новый свѣтъ», «Кромвель и Елисавета», «цѣпи и сѣти» и проч., и проч., и проч.). Но даже въ тѣхъ, надо правду сказать, не малочисленныхъ случаяхъ, когда вы указываете дѣйствительные промахи князя Васильчикова, вы не можете отрѣшиться отъ указки школьнаго учителя, его мелочнаго самодовольства и амбиціи. Напримѣръ, для приведеннаго ариѳметическаго промаха вы не находите иного объясненія, какъ незнаніе и недостатокъ «ариѳметическихъ способностей». Такъ и видишь школьнаго учителя, гордаго въ потѣ лица добытымъ умѣніемъ умножить 2 на 7. О, вы истинно великіе ученые, вы таблицу умноженія знаете! Надо думать, гордость, именно, этого рода

познаніями окрылила г. Чичерина къ торжественному объявленію, что Лассаль—невѣжда; а Марксъ, кромѣ того—еще и дуракъ. Почтенный экс-профессоръ, вѣроятно, незадолго передъ тѣмъ освѣжилъ въ своей памяти курсъ народной школы и, преодолѣвъ его, рѣшилъ, что можетъ дерзать на все. Да, кто твердо знаетъ таблицу умноженія, тотъ—ужъ ни въ чемъ не диллетантъ, тому ужъ, конечно, и политическая экономія—трынъ трава.

Подобно профессору Цитовичу, вы пересолили, господа профессора, и этотъ злобный пересолъ показываетъ присутствіе нѣкоторой задней мысли, стыдливо прячущейся за мелкія придирки.

Вы утверждаете, что трудъ князя Васильчикова былъ встрѣченъ всей журналистикой съ восторгомъ, что никто до васъ не принимался за настоящій критическій разборъ его и не отмѣтилъ его промаховъ. Это не совсѣмъ такъ. Книга князя Васильчикова была встрѣчена журналистикой, дѣйствительно, очень любезно, но дѣло не обошлось все-таки безъ критики и полемики, и князь Васильчиковъ счелъ даже нужнымъ въ особой статьѣ (въ «Вѣстникѣ Европы») парировать нѣкоторыя изъ представленныхъ ему замѣчаній. Возраженія на книгу начались даже раньше ея появленія, по поводу отрывка, напечатаннаго, если не ошибаюсь, въ «Братской помочи». Они не кончились и по сіе время, какъ видно изъ напечатанія въ «Отечественныхъ Запискахъ» статей гг. Костычева и Чаславскаго. Слѣдовательно, роль ваша совсѣмъ не такъ красива и величественна, какъ вамъ кажется. Вы представляете дѣло такъ, что князь Васильчиковъ—какой-то всеобщій любимецъ и полубогъ, которому вся журналистика поклонилась; пришли вы и мужественно развѣнчали полубога. Совсѣмъ не такъ, милостивые государи! Журналистика очень заинтересовалась книгой князя Васильчикова, такъ какъ она затрогиваетъ вопросы высокой теоретической и практической важности. Въ это время, вы *два года вдвоемъ* шарили въ книгѣ, розыскивая ариѳметическіе, историческіе, географическіе и грамматическіе промахи и, наконецъ, разрѣшились брошюрой «Русскій диллетантизмъ и общинное землевладѣніе».

Несомнѣнно, однако, что вы сдѣлали нѣсколько новыхъ замѣчаній, какихъ другіе критики и рецензенты не дѣлали; несомнѣнно, что нѣкоторыя изъ этихъ замѣчаній совершенно справедливы. Несомнѣнно, наконецъ, и то, что книга князя Васильчикова имѣла большой успѣхъ.

Вы объясняете этотъ успѣхъ тѣмъ, что князь Васильчиковъ «поласкалъ общественное мнѣніе, покурилъ ѳиміаму нѣкоторымъ принципамъ, которые пользуются симпатіей различныхъ литературныхъ кружковъ, провозгласилъ себя приверженцемъ извѣстныхъ современныхъ идеаловъ» (4). Князь Васильчиковъ, говорите вы въ другомъ мѣстѣ, «и не обязанъ своимъ успѣхомъ логикѣ, а наоборотъ тому, что безъ всякой логики и послѣдовательности вторитъ разнымъ смутнымъ гуманитарнымъ инстинктамъ современнаго общества» (81). Однако, вамъ точно будто стыдно окончательно утвердиться на этомъ объясненіи. По крайней мѣрѣ, есть въ вашемъ памфлетѣ одно небезъинтересное мѣсто, нѣсколько иначе трактующее «смутные гуманитарные инстинкты»: «Наша печать, и она была въ этомъ случаѣ выраженіемъ общественнаго настроенія, отнеслась сочувственно къ книгѣ князя Васильчикова, потому что видѣла въ ней противовѣсъ различнымъ реакціоннымъ стремленіямъ въ области крестьянскаго быта. Но никакой страхъ передъ реакціей не оправдываетъ такого злоупотребленія печатнымъ словомъ, какое представляетъ сочиненіе князя Васильчикова. Мы глубоко сожалѣемъ о тѣхъ явленіяхъ, которыя вызвали снисходительность нашей печати къ сочиненію о «Землевладѣніи», но мы не раздѣлямъ такой точки зрѣнія, ибо главный признакъ умственной зрѣлости литературы и общества, главный залогъ ихъ дальнѣйшаго успѣха въ области политическаго и культурнаго развитія есть чувство правды и уваженіе къ истинѣ» (175).

Благородство вашихъ чувствъ находится, разумѣется, внѣ всякаго сомнѣнія. Но любопытно, всетаки, знать, что, именно, обусловило успѣхъ книги князя Васильчикова: «смутные ли гуманитарные инстинкты», или совершенно опредѣленныя и основательныя опасенія «различныхъ реакціональныхъ стремленій въ области крестьянскаго быта?» Многоразличныя соображенія даютъ мнѣ смѣлость думать, что вамъ самимъ этотъ любопытный вопросъ неясенъ. Это имѣетъ свои хорошія стороны, потому что читателямъ-то вы не только не даете опредѣленнаго взгляда на значеніе успѣха книги князя Васильчикова, но дѣлаете все, что можете, для отвода читательскихъ глазъ отъ надлежащей точки зрѣнія. Еслибы вы это продѣлывали съ полнымъ сознаніемъ своихъ поступковъ, то всѣ расположенные къ вамъ люди (къ коимъ не смѣю себя причислять) должны были бы очень огорчиться безнравственностью вашего поведенія. Но непониманіе всегда было, есть и будетъ смягчающимъ обстоятельствомъ. Должно, однако, сказать, что и теперь расположенные къ вамъ люди имѣютъ значительные поводы къ

огорченію. Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, вы наивны, какъ — простите—диллетанты, и именно какъ диллетанты, мнящіе себя вправѣ поучать, ибо диллетантизмъ самъ по себѣ вовсе не обязываетъ къ наивности. Но кое-что вы, однако, очень хорошо понимаете и кое-какія практическія цѣли преслѣдуете съ большою выдержкой. Въ виду этого, расположенные къ вамъ люди могутъ спросить себя: почему эти два почтенные мужа говорятъ неправду, будто успѣхъ книги князя Васильчикова не былъ омраченъ ни единымъ критическимъ облакомъ? Почему, въ самомъ дѣлѣ? Неужели ради мелочнаго самолюбія перваго портного, который ни у кого не учился? Неужели ради того, чтобы безпрепятственнѣе вознестись на небо и предстать оттуда внизу стоящимъ въ болѣе величественномъ видѣ? Вамъ лучше знать, милостивые государи; но фактъ остается фактомъ: вы показываете неправду и зачѣмъ-то прячете дѣйствительныя отношенія журналистики къ труду князя Васильчикова.

Позвольте мнѣ, собственно для уясненія дѣла и всего только на одну минуту, поставить величественное зданіе вашей памфлетно-ученой критики рядомъ съ скромной рецензіей, напечатанной въ «Отечественныхъ Запискахъ», № 8, 1877 г. Рецензія эта, несмотря на свою скромность, обратила на себя вниманіе князя Васильчикова. Онъ счелъ нужнымъ возражать и, между прочимъ, выразилъ особенную обиду по поводу замѣчанія рецензента, что у него, князя, «цифры танцуютъ», а также по поводу напоминанія словъ Іисуса сына Сирахова: «горе сердцамъ страшливымъ и рукамъ ослабленнымъ и грѣшнику, ходящу на двѣ стези». Если вы теперь потрудитесь мысленно удалить изъ своей критики всѣ ваши личные, ни для кого не обязательные взгляды на обязанности науки и потребности нашего отечества, всѣ ваши сатирическія выходки и лирическіе возгласы, то убѣдитесь, что остальная, чисто фактическая часть весьма подробно и даже излишне подробно развиваетъ, именно, эти двѣ мысли нашего рецензента. Вы приводите довольно много примѣровъ танцованія цифръ у князя Васильчикова, и хотя въ своемъ ученомъ самодовольствѣ школьнаго учителя приписываете его недостатку «ариѳметическихъ способностей» или незнанію таблицы умноженія, но танецъ цифръ, во всякомъ случаѣ, на лицо. Благодаря вамъ, и въ другихъ отношеніяхъ книга оказывается столь же небрежно составленною: вы указываете не мало настоящихъ историческихъ промаховъ, не такихъ, какъ «Кромвель и Елисавета», а настоящихъ. Далѣе, когда вы, совершенно, справедливо указываете на двойственное отношеніе князя Васильчикова къ соціализму (напримѣръ, на стр. 48), то фактическою, объективною частью этого указанія только повторяете слова: «горе сердцамъ страшливымъ и рукамъ ослабленнымъ и грѣшнику, ходящу на двѣ стези». Но скромная рецензія «Отечественныхъ Записокъ» выдѣляется изъ статей и замѣтокъ, вызванныхъ «Землевладѣніемъ и земледѣліемъ», только своимъ общимъ характеромъ и опредѣленностью точки зрѣнія. Въ сущности же, всѣ эти замѣчанія и статьи, воздавая книгѣ похвалы, иногда и преувеличенныя, старались показать, что князь Васильчиковъ «ходитъ на двѣ стези» и что цифры у него танцуютъ. Вы знаете, что таковъ, именно, былъ общій смыслъ почти всѣхъ возраженій князю Васильчикову по поводу его мнѣнія объ излишнемъ размѣрѣ крестьянскихъ надѣловъ.

Я отнюдь не думаю умалять заслугу вашей критики, поскольку заслуга, дѣйствительно, существуетъ. Отечества вы не спасли и сами весьма много напутали, монумента вамъ ставить не за что; но среди разсужденій, то наивныхъ, то дикихъ, среди придирокъ, то совсѣмъ вздорныхъ и ошибочныхъ, то совсѣмъ не важныхъ, вы сдѣлали не мало очень вѣрныхъ указаній, свидѣтельствующихъ, что князь Васильчиковъ всю свою работу дѣлалъ спустя рукава. Въ этомъ отношеніи, вы превзошли другихъ рецензентовъ и критиковъ, не имѣвшихъ ни достаточно злобы, ни достаточно терпѣнія для штудированія книги von Blatt zu Blatt. Но замѣтьте, что и они, въ свою очередь, обратили вниманіе на такія стороны книги, которыя вы оставили втунѣ; мало того: вы оставили втунѣ даже всю соотвѣтственную полемику, возникшую изъ-за книги; и того мало: вы на глазахъ у всѣхъ, среди бѣла дня, отрицаете самый фактъ этой полемики, утверждаете, что никто князю Васильчикову до васъ не прекословилъ. Скрывая фактъ полемики, вы просто вкратцѣ выражаете свое согласіе съ мнѣніемъ князя о чрезмѣрности крестьянскихъ надѣловъ. Вы пишете: «Невозможно объяснить обѣдненіе крестьянъ недостаточностью надѣла. Если имъ тяжело платить за настоящій надѣлъ, какъ утверждаютъ приверженцы этого воззрѣнія, то какъ же бы они стали платить за большій? Или предполагается, что этотъ большій надѣлъ надобно предоставить имъ даромъ или, по крайней мѣрѣ, на весьма льготныхъ условіяхъ, то-есть, что слѣдуетъ ограбить помѣщиковъ для того, чтобы обезпечить крестьянъ. Къ этому, повидимому, клонятся всѣ возгласы о недостаточности надѣла, возгласы, къ которымъ князь Васильчиковъ, надобно сказать къ его чести, не присоединяется» (233).

Съ вашего позволенія, милостивые государи, я еще вернусь, вѣроятно, къ этой тирадѣ, какъ съ точки зрѣнія ея «жаргона», такъ и съ точки зрѣнія возвышенности изложенныхъ въ ней мыслей. А теперь я привелъ ее только для того, чтобы напомнить вамъ, что журналистика не такъ ужъ до земли поклонилась князю Васильчикову, какъ вы изображаете. Журналистика далеко отстала отъ васъ. Она не накинулась на «Кромвеля и Елисавету» и на «Новый Свѣтъ», она даже не замѣтила, дѣйствительно, неправильнаго умноженія двухъ на семь и, дѣйствительно, курьезной ошибки князя Васильчикова, смѣшавшаго франковъ съ романскими племенами и противопоставившаго франковъ германцамъ. Все это такъ. Но журналистика, вы должны ей отдать эту справедливость, сосредоточила свое вниманіе на очень важномъ практическомъ вопросѣ, поднятомъ княземъ Васильчиковымъ. Допустимъ, что она рѣшила его ошибочно, но она имъ занималась, рѣшала не голословно, а съ помощью статистическихъ и другихъ фактическихъ данныхъ. Вамъ предстояло или разрушить это воздвигнутое журналистикой зданіе, или поддержать своимъ вѣскимъ словомъ князя Васильчикова; но, конечно, не буквально словомъ, не голымъ заявленіемъ о существованіи проекта ограбить помѣщиковъ, а чѣмъ-нибудь болѣе солиднымъ. Вы ничего, однако, подобнаго не сдѣлали. И потому, я полагаю, всякій безпристрастный человѣкъ скажетъ, что, по крайней мѣрѣ, на этомъ пунктѣ, журналистика и самъ князь Васильчиковъ выказали несравненно меньше «русскаго диллетантизма», чѣмъ вы, люди науки. Насчетъ лика науки, по-юпитеровски хмурящаго брови и грозно выглядывающаго изъ каждой страницы вашего памфлета, надо, впрочемъ, оговориться. Всѣ подобныя четверорукія произведенія бываютъ склонны къ одному очень комическому представленію. Въ нихъ можно сплошь и рядомъ наткнуться на такія, напримѣръ, надменно-самодовольныя восклицанія: кому не извѣстно, что Саксонское Зеркало и т. д.—Кому неизвѣстно! Да г. Чичерину неизвѣстно, ибо если бы ему было все извѣстно, такъ онъ не пригласилъ бы въ соратники г. Герье, а вышелъ бы на единоборство. Но и четырерукость, всетаки—не панацея. Конечно, для преодолѣнія вычисленій, не выходящихъ изъ рамокъ таблицы умноженія, совершенно достаточно соединенныхъ силъ двухъ патентованныхъ ученыхъ, хотя бы и не спеціалистовъ по математикѣ. Но, напримѣръ, для постановки и рѣшенія вопросовъ изъ области экономической науки, созвѣздіе Герье-Чичеринъ, не смотря на весь свой ослѣпительный блескъ, не представляетъ никакой гарантіи, ибо одинъ изъ этихъ ученыхъ благоразумно никогда не посягалъ на экономическіе вопросы, а другой недавно весьма неблагоразумно посягнулъ.

Отмѣчаю я это, впрочемъ, не для васъ, а для присутствующихъ. Вы слишкомъ опьянены благополучнымъ совершеніемъ умноженія двухъ на семь и другими побѣдами надъ княземъ Васильчиковымъ, чтобы не признавать Наполеона бородавкой, а себя Наполеонами. Но публика должна знать истину насчетъ дѣйствительныхъ вашихъ размѣровъ, чему я, къ сожалѣнію, не могу способствовать по мѣрѣ моихъ желаній.

Милостивые государи, къ вамъ пишетъ человѣкъ, отнюдь не предубѣжденный въ пользу князя Васильчикова quand même. Да оно и понятно: «ходящій на двѣ стези» рѣдко кого удовлетворяетъ вполнѣ, рѣдко въ комъ возбуждаетъ желаніе защищать его. Тѣмъ не менѣе, книга князя Васильчикова остается и послѣ вашей критики, въ извѣстномъ смыслѣ, трудомъ почтеннымъ. Дѣло въ томъ, что далеко не всѣ ваши побѣды такъ несомнѣнны, какъ по вопросу о двухъ, умноженныхъ на семь, или о германскомъ происхожденіи франковъ. Вы смертны, вы—люди, вы не всевѣдущи, это — натурально. Но въ критикѣ вашей, какъ и во всякомъ подобномъ произведеніи, кромѣ фактической правды и фактической же неправды, есть извѣстная точка зрѣнія на вещи, извѣстныя симпатіи и антипатіи, извѣстные пріемы мышленія и доказательства, которые, конечно, имѣютъ какое-нибудь фактическое основаніе; но, тѣмъ не менѣе, требуютъ особаго оправданія. Князю Васильчикову вы именно такого рода требованія предъявляете, сами, однако, имъ отнюдь не удовлетворяя. А между тѣмъ, въ этой области побѣда, не смотря на кажущуюся легкость, въ сущности, несравненно труднѣе, чѣмъ въ мірѣ подлежащихъ вѣсу и мѣрѣ фактовъ. Правильнымъ умноженіемъ двухъ на семь или точною историческою справкою легко всякаго убѣдить, что сдѣлана такая-то ошибка. Но когда вы говорите, что князь Васильчиковъ «бросаетъ въ аристократію грязь аристократической рукой», что есть въ нашемъ отечествѣ люди, предлагающіе «грабить помѣщиковъ», что идеалы равенства суммируются въ образѣ Прокуста, «который еще въ древности считался разбойникомъ», когда вы говорите эти и многія подобныя жестокія слова, вы еще очень далеки какъ отъ побѣды вообще, такъ и отъ доказательности въ частности. Слова эти свидѣтельствуютъ о пламенности вашего темперамента, о преданности вашей извѣстнымъ интересамъ, но ровно ничего не доказыва-

ютъ. Не доказываютъ даже предосудительности тѣхъ дѣйствій, которыя вы преслѣдуете жестокими словами. Наша аристократія свѣжа, какъ розовый бутонъ; но вамъ, конечно, извѣстны историческіе примѣры аристократій, весьма далекихъ отъ столь плѣнительной красоты. Если вамъ не нравится, что князь Васильчиковъ слѣдитъ за кое-какими изъянами въ нравственномъ обликѣ аристократій даже древняго міра, то это—дѣло вашего личнаго вкуса, вашего личнаго историческаго пониманія, вашего личнаго нравственнаго уровня. Но инкриминируемое вами «киданіе грязью» знакомо даже плебейскимъ, хотя и вполнѣ благонамѣреннымъ рукамъ Кайданова и Смарагдова. Тѣни этихъ незабвенныхъ руководителей русскаго юношества на поприщѣ историческаго нравоученія могутъ безбоязненно предстать передъ вами и сказать: да, мы кидали грязью. Изъ этого слѣдуетъ, по крайней мѣрѣ, то, что для уличенія князя Васильчикова въ предосудительномъ поведеніи жестокихъ словъ и восклицательныхъ знаковъ немножко мало. Жилъ юноша—

Zumen coeli! sancta Rosa!
Воскликалъ онъ дикъ и рьянъ
И, какъ громъ, его угроза
Поражала мусульманъ.

Но если это—аргументъ, то такъ называемый argumentum baculinum, палочный аргументъ, а палка о двухъ концахъ. Вы утверждаете, что князь Васильчиковъ оскорбляетъ науку и приноситъ вредъ своимъ соотечественникамъ, подрывая довѣріе къ тому, что вы считаете настоящей европейской наукой. Я утверждаю, что *вы* оскорбляете науку и приносите вредъ своимъ соотечественникамъ, стараясь подрывать довѣріе къ истинной европейской наукѣ. Вы говорите, что князь Васильчиковъ кидаетъ грязью въ чистое; я говорю, что этимъ занимаетесь вы. Вы утверждаете, что князь Васильчиковъ проповѣдуетъ «грабежъ» и «разбой»; я стою на томъ, что настоящій грабежъ и разбой проповѣдуется вами и т. д. Отъ степени нашего діалектическаго и полемическаго искусства будетъ зависѣть продолжительность и пряность этого препирательства. Такъ перебрасываются ловкіе акробаты шарами, потѣшая публику. Но мы, вѣдь—не акробаты, и публика должна, по крайней мѣрѣ, что-нибудь вынести изъ препирательства. Подобные споры ведутся и учеными людьми, и уличными торговками, и хорошими, и дрянными людьми. Но порядочные люди стараются свести споръ къ утвержденію и оправданію основныхъ принциповъ, съ точки зрѣнія которыхъ такъ или иначе квалифицируется извѣстный образъ дѣйствія. Если же это оказывается неудобнымъ почему-нибудь, и порядочные люди доходятъ до того норога спора, за которымъ видится рѣшительная невозможность соглашенія и даже взаимнаго пониманія—они тщательно раскрываютъ всѣ свои карты передъ публикой. Они расходятся такъ, что соглашеніе невозможно; они поэтому разъясняютъ присутствующимъ всѣ pro и contra, дабы эти присутствующіе могли выбирать сами.

Милостивые государи, вы ровно ничего подобнаго не сдѣлали. Хотя вашъ памфлетъ раздѣленъ на главы, трактующія: 1) о «познаніяхъ и методѣ князя Васильчикова», 2) объ его «экономическихъ понятіяхъ» и т. д., никакого внутренняго порядка эти рубрики въ вашу работу не вносятъ. Гордые знаніемъ таблицы умноженія, вы все рубите съ плеча, мѣшая важное съ неважнымъ, спорное съ безспорнымъ и представляетесь какимъ-то графомъ Монте-Кристо по части аксіомъ. Вы — ученые люди, и я преклоняюсь передъ вашей ученостью. Но осмѣливаюсь думать, что, еслибы вы были нѣсколько ближе знакомы съ нѣкоторыми областями знанія, въ предѣлы которыхъ вступаете съ слишкомъ легкимъ сердцемъ и слишкомъ легкимъ багажемъ, то вы убѣдились бы, что такого количества аксіомъ у науки рѣшительно нѣтъ. А, слѣдовательно, вамъ надлежало бы, по крайней мѣрѣ, указать тотъ научный путь, которымъ вы ихъ добыли. Вы этого не сдѣлали. Вы даже не изложили въ мало-мальски сносномъ порядкѣ ни своихъ собственныхъ воззрѣній, ни воззрѣній князя Васильчикова. Позвольте мнѣ сдѣлать это вкратцѣ за васъ.

Основная мысль князя Васильчикова проведена въ его трудѣ весьма послѣдовательно. Онъ различаетъ двѣ стороны вопросовъ, касающихся «землевладѣнія и земледѣлія»: сельско-хозяйственную культуру и положеніе рабочихъ силъ сельскаго населенія. Судьбы этихъ двухъ группъ явленій общественной жизни, по его мнѣнію, не одинаковы исторически, да и логически не необходимо совпадаютъ. Сельско-хозяйственная производительность, земледѣліе, можетъ колоссально возрастать, а земледѣлецъ превращаться въ то же самое время изъ независимаго землевладѣльца въ безземельнаго батрака, а затѣмъ и совсѣмъ ссаживаться съ земли и, наконецъ, быть вынужденнымъ бѣжать изъ отечества, эмигрировать. Такъ оно и было, въ большей или меньшей степени, въ различныхъ странахъ Западной Европы. Что касается Россіи, то въ ней и состояніе сельско-хозяйственной культуры, и положеніе рабочихъ силъ сельскаго населенія крайне незавидны, хотя русскій земледѣлецъ, въ большинствѣ случаевъ, пока еще и землевладѣлецъ. Русскому публицисту естественно

представляется вопросъ: должна-ли Россія въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи пройти всѣ моменты европейской исторіи? должна-ли она купить высокій уровень земледѣлія цѣною обезземеленія народныхъ массъ? Князь Васильчиковъ полагаетъ, что это отнюдь не обязательно или, по крайней мѣрѣ, съ этимъ направленіемъ теперь слѣдуетъ бороться до послѣдней возможности. Онъ полагаетъ, что должны быть сдѣланы всѣ усилія для сохраненія землевладѣльца-земледѣльца въ неприкосновенности, и уже на этой соціальной почвѣ можно безбоязненно двигать впередъ собственно сельско-хозяйственную культуру. Средство для этого, онъ видитъ, главнымъ образомъ, въ упроченіи и развитіи общественнаго землевладѣнія, которое, будучи исконною чертою нашего народнаго хозяйства и экономическихъ нравовъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, гарантируетъ равномѣрное распредѣленіе земли.

Такова суть книги кн. Васильчикова, та суть, которая обратила на себя вниманіе журналистики. Ею поднимались вопросы теоретическій и практическій первѣйшей важности: вопросъ чистой науки о томъ, что должно быть признано центромъ тяжести экономическаго изслѣдованія, богатство или человѣкъ, обиліе производства или положеніе народныхъ массъ, и вопросъ практическій о ближайшемъ будущемъ нашей родины. Обиліе фактовъ, не всегда вѣрныхъ и сбивающихся иногда даже на таблицѣ умноженія, но въ общемъ правильно освѣщающихъ исторію аграрныхъ отношеній въ Европѣ и положеніе русскаго крестьянина, дѣлало книгу не дешевымъ вкладомъ въ нашу литературу. Нѣкоторыя полу-славянофильскія словесныя упражненія, которыми кн. Васильчиковъ уснастилъ свою книгу, кое-какія вздорныя выходки противъ нѣкоторыхъ и вамъ нелюбыхъ европейскихъ экономическихъ ученій, наконецъ, странный взглядъ на размѣры крестьянскихъ надѣловъ много портили книгу. Но наша литература бѣдна, и книга кн. Васильчикова единственная въ своемъ родѣ...

Обратимся къ вашимъ возэрѣніямъ. Вы справедливо говорите, что многіе изъ пріемовъ кн. Васильчикова не научны. Но и вы, оффиціальные глашатаи истины, вы, факелы просвѣщенія, гордые одиночествомъ своего блеска во мракѣ «русскаго диллетантизма», вы тоже не безъ грѣха. Я позволю себѣ начать бѣглое изложеніе вашихъ научныхъ и практическихъ взглядовъ съ маленькаго указанія на пріемъ, грѣшащій противъ самыхъ элементарныхъ требованій научнаго изслѣдованія.

На стр. 231 вы говорите: «Кн. Васильчиковъ приписываетъ печальное положеніе крестьянства тяжести лежащихъ на немъ податей. Онъ ссылается на труды податной комиссіи, на отзывы управъ и другихъ мѣстныхъ учрежденій въ доказательство, что податные платежи крестьянъ превосходятъ доходность ихъ земель. Разборъ всей этой массы свѣдѣній не можетъ, конечно, входитъ въ объемъ нашей задачи; смѣемъ только думать, что они требуютъ весьма точной провѣрки. Но когда кн. Васильчиковъ приводитъ среднія цифры платежей и дохода съ десятины по 30 слишкомъ губерніямъ, и оказывается, что первые составляютъ 164 копѣйки, а второй 163 копѣйки, то мы не можемъ не сказать, что эти цифры фиктивныя. Невозможно соединять въ одну категорію губерніи черноземныя и промышленныя и дѣлать изъ этого общій выводъ. Относительно губерній не черноземной полосы мы воздержимся отъ всякаго сужденія. Надобно знать ихъ ближе, чтобы рѣшить вопросъ объ ихъ хозяйственномъ положеніи. Относительно же черноземныхъ губерній мы можемъ представить слѣдующій разсчетъ, который будетъ служить отвѣтомъ на всѣ возгласы объ обремененіи крестьянъ податями. Для примѣра мы возьмемъ близко извѣстный намъ Кирсановскій уѣздъ Тамбовской губерніи». Далѣе идетъ самый разсчетъ, приводить который считаю совершенно лишнимъ. Вы сообразите только, чему вы этотъ разсчетъ противопоставляете. Я уже не говорю о всеобщемъ сознаніи тяжести крестьянскихъ платежей и истекающихъ отсюда толкахъ о необходимости податной реформы, организаціи переселеній и дешеваго кредита и проч. Передъ вами рядъ цифръ. Цифры эти заимствованы изъ правительственныхъ и земскихъ источниковъ. Онѣ не представляютъ ничего неожиданнаго, неслыханнаго. При всей вашей охотѣ подмѣчать ошибки въ исполненіи четырехъ правилъ ариѳметики, вы не находите ни одного фактическаго возраженія. Вы просто провозглашаете аксіому: эти цифры фиктивныя. И затѣмъ, всей огромной массѣ оффиціальныхъ статистическихъ данныхъ, надъ добычей которыхъ трудились сотни лицъ, поставленныхъ прямо у дѣла, вы противопоставляете свой разсчетъ крестьянскаго бюджета въ «близко извѣстномъ вамъ» Кирсановскомъ уѣздѣ! Отчего не въ селѣ Чичеринѣ или деревнѣ Герьевкѣ, если таковыя существуютъ? Вы съ рѣдкимъ самообладаніемъ и совершенно яснымъ лбомъ, готовымъ ринуться даже на крѣпостную стѣну, объявляете свой разсчетъ «отвѣтомъ на *всѣ* возгласы объ обремененіи крестьянъ податями»! Побѣдоносный отвѣтъ! Побѣдоносный и вмѣстѣ типическій для васъ. Таковы, именно, побѣды, одержанныя вами надъ неучемъ Лассалемъ и неучемъ и дуракомъ Марксомъ.

И вы, убогіе, рѣшаетесь еще уличать кого бы то ни было въ неуваженіи къ фактамъ, въ ненаучности пріемовъ, въ диллетантизмѣ! О! намъ завидна доля ясныхъ лбовъ, не разбивающихся даже о крѣпостную стѣну и незнающихъ срама...

Легкомысленные, хотя и патентованные ученые люди, вы, въ видахъ возвеличенія участковаго землевладѣнія, съ особенною силою напираете на благосостояніе Малороссіи. Вы говорите, что въ «Малороссіи, насколько можно судить по частнымъ свѣдѣніямъ и явленіямъ, крестьяне, со времени освобожденія, не бѣднѣютъ, а богатѣютъ, тамъ не слышо такихъ жалобъ на упадокъ крестьянскаго хозяйства, какія раздаются у насъ». Оставимъ князя Васильчикова и развернемъ книгу профессора Янсона на стр. 109: «Масса крестьянъ и въ западныхъ губерніяхъ, не смотря на помощь, оказанную имъ указами 1863 г., далеко не можетъ нетолько уплатить съ своихъ надѣловъ подати и повинности, но и доставить средства существованія своимъ семействамъ. Въ одной изъ самыхъ богатыхъ мѣстностей юго-западнаго края, въ Старокон-стантиновскомъ уѣздѣ, Волынской губерніи, семья изъ трехъ ревизскихъ душъ, при 6½ дес. земли, платя податей и выкупныхъ платежей 25 рублей, при хорошемъ урожаѣ не досчитываетъ въ своемъ бюджетѣ 50 руб, а при среднемъ 120 рублей; при 10-ти почти десятинахъ на три ревиз. души и при 5-ти наличныхъ взрослыхъ и 4-хъ малолѣткахъ, другая семья не досчитывается 100 руб. Въ Кременецкомъ уѣздѣ, не смотря на хорошіе урожаи, крестьянское хозяйство не въ состояніи съ земельнаго надѣла покрывать свои расходы и имѣетъ постоянный дефицитъ, цифра котораго колеблется между 56 и 60 руб. Въ Дубенскомъ уѣздѣ выкупныхъ податей и земскихъ повинностей, въ 1864 году, на крестьянахъ, надѣленныхъ полевой землей, считалось 154,030 рублей; дохода же они получали отъ земли 167,390 руб., оставалось 12,360 руб, на удовлетвореніе всѣхъ потребностей, кромѣ прокормленія 6,015 дворовъ, или по 2 руб. на дворъ. Необходимое для удовлетворенія этихъ потребностей количество денегъ должно быть заработано крестьянами у помѣщиковъ. О Кіевской губерніи еще въ 1867 г. писали, что надѣлъ въ 4½ десятины можетъ прокормить семейство, состоящее изъ 2-хъ взрослыхъ и 2-хъ неработниковъ; подати надо заработать. Тоже самое и теперь повторяетъ г. Чубинскій въ докладѣ юго-западному отдѣлу географическаго общества: «земля можетъ только прокормить крестьянина; она не даетъ даже всей суммы на покрытіе расходовъ по податямъ и косвеннымъ налогамъ (вино, соль).» О Подольской губерніи доклады комиссіи по изслѣдованію положенія сельскаго хозяйства говорятъ: «При настоящемъ надѣлѣ, крестьянинъ доходомъ отъ земли можетъ покрыть всѣ сборы, а для содержанія семьи долженъ заработать внѣ своего надѣла, или, наоборотъ, надѣлъ даетъ крестьянину возможность, при среднемъ урожаѣ, прокормить и одѣть свою семью и прокормить скотъ, но для уплаты повинностей, для ремонта скота и построекъ прибѣгать онъ долженъ къ заработку». Въ лучшихъ уѣздахъ Кіевской губерніи (1-я мѣстность) еще въ 1866 году разсчитывалась доходность десятины надѣла въ 1 руб. 12 коп., а сумма платежей, на ней лежащихъ, въ 2 руб. 60 коп. По средней оцѣнкѣ крестьянской земли на основ. ст. 158-й мѣстнаго положенія и Высочайшаго повелѣнія 2-го сентября 1864 г., доходность крестьянской земли въ тѣхъ же уѣздахъ опредѣлена въ 2 руб. съ десятины, а вообще по Кіевской губерніи въ 1 руб 61 коп., тогда какъ въ средней полосѣ губерніи платежи достигли 3 руб. 26 коп. Трудно представить себѣ что-нибудь бѣ-ственнѣе положенія крестьянъ въ полѣсской части Западнаго Края; съ нимъ можетъ развѣ сравниться положеніе крестьянъ мглинскихъ, суражскихъ и смоленскихъ». И т. д., и т. д.

Но все, конечно, это — вздоръ. Всѣ эти цифры суть не болѣе какъ «возгласы», на которые вами уже данъ рѣшительный отвѣтъ. Говоря, однако, серьезно, вы никакого отвѣта не дали и ничего, кромѣ собственнаго почти невѣроятнаго легкомыслія, не показали. Пойдемъ дальше.

Не смотря на бѣдственное положеніе угла Россіи, незнающаго общины, вы стоите на томъ, что вся бѣда, именно, отъ общины. Размѣры же крестьянскихъ надѣловъ и платежей не оставляютъ ничего желать: первые столь велики, а вторые столь малы, что мужикъ долженъ бы былъ благоденствовать. Значитъ, и измѣненій никакихъ въ этомъ направленіи не требуется. Что же требуется? При всемъ желаніи уловить въ шумихѣ вашихъ словъ о свободѣ и европейскомъ просвѣщеніи какую-нибудь опредѣленную программу, я могъ уловить только одно положительное требованіе, правда, довольно побочное въ дѣлѣ «землевладѣнія и земледѣлія», но, тѣмъ не менѣе, поучительное. Вы находите, что «у насъ теперь много (?) заботятся объ устройствѣ сельскихъ школъ и этому нельзя не сочувствовать; но не здѣсь лежитъ главное зло: оно заключается въ недостаточномъ образованіи высшихъ классовъ; въ гражданскомъ быту, такъ же какъ и на полѣ брани, мы нуждаемся не въ хорошихъ солдатахъ, а въ образованныхъ

начальникахъ» (222). Ученые люди! вы не умѣете логически мыслить: на полѣ брани мы потому не нуждаемся въ хорошихъ солдатахъ, что они на лицо. Можете-ли вы то же самое сказать о просвѣщеніи народной массы? Я, однако, вполнѣ соглашаюсь съ вами, что образованіе нашихъ высшихъ классовъ крайне недостаточно, и отъ души желалъ бы нашему обществу, по крайней-мѣрѣ, такой степени образованія, которая дозволила бы всѣмъ и каждому по достоинству оцѣнивать ваши ученыя заслуги.

Затѣмъ вы, конечно, истинные «патріоты своего отечества», а не что либо другое, желаете Россіи всякаго преуспѣянія и полагаете, что послѣднее можетъ быть достигнуто только тѣмъ же самымъ путемъ, какимъ шла исторія западной Европы. Кн. Васильчиковъ другого мнѣнія, и вы за это его не одобряете, но на его картину исторіи аграрныхъ отношеній въ Европѣ вы не приводите, собственно говоря, ни одного стоющаго возраженія. Въ самомъ дѣлѣ, чего стоютъ, напримѣръ, ваши замѣчанія объ эмиграціи? Кн. Васильчиковъ утверждаетъ, что эмиграція есть признакъ глубокаго соціальнаго разстройства и происходитъ отъ «неравномѣрнаго размѣщенія жителей и недвижимыхъ имуществъ». Вы говорите, что эмиграція имѣетъ иногда другія причины. Никто противъ этого не споритъ; но тѣ факты эмиграціоннаго движенія, которые приводитъ князь Васильчиковъ, несомнѣнно таковы, какъ онъ говоритъ. И вы противъ этого ничего не возражаете, хотя и распинаете князя Васильчикова по поводу эмиграціи на цѣлыхъ четырехъ страницахъ, не обходясь при этомъ безъ противорѣчій и путаницы. Князь Васильчиковъ не трактатъ, не монографію объ эмиграціи пишетъ, а естественно касается только тѣхъ сторонъ ея, которыя находятся въ связи съ его темой. Въ другихъ случаяхъ вы говорите только жалкія слова. Придираясь къ отдѣльнымъ мелочамъ картины, вы вовсе не отрицаете ея общей физіономіи — вы только требуете другого словеснаго выраженія для того же факта. По вашему мнѣнію, эта картина — какая-то сотканная изъ разныхъ лоскутковъ, вкривь и вкось нашитыхъ, мантія, взятая на прокатъ у западныхъ соціалистовъ и плохо сидящая на княжескихъ плечахъ. «Вся исторія цивилизованнаго человѣчества—продолжаете вы: — представляется князю Васильчикову хаосомъ, въ которомъ не видно дѣйствія общихъ историческихъ законовъ, а только результатъ захвата, грубой силы и эгоистическихъ стремленій меньшинства. Тутъ нигдѣ не выясняется значеніе государства и вліяніе его организаціи на развитіе народной жизни, тутъ нигдѣ не принимаются въ разсчетъ сложныя условія экономическаго быта и закона, имъ управляющіе. Не даромъ князь Васильчиковъ протестуетъ противъ «ученыхъ авторитетовъ», признающихъ общіе однообразные историческіе законы. Онъ, дѣйствительно, съумѣлъ вполнѣ отрѣшиться отъ принципа, признающаго, что историческая жизнь управляется законами, которые могутъ быть познаваемы разумомъ, и, эманципировавшись отъ руководства разума, успѣлъ создать историческую картину, которая отражаетъ на себѣ не дѣйствительность, а хаотическое состояніе ума и понятій автора... Можно-ли въ наше время, когда все глубже проникаетъ въ общество убѣжденіе во владычествѣ общихъ законовъ и отсутствіи произвола и случайности въ жизни человѣчества, когда все болѣе сознается необходимость изучать историческую жизнь народовъ въ связи съ политическими и экономическими законами, когда *историческій* методъ объясненія становится господствующимъ во всѣхъ наукахъ — можно-ли теперь позволять себѣ морочить русскихъ читателей «историческими обзорами», которые строютъ исторію на принципѣ произвола и видятъ въ ней только рядъ уголовныхъ преступленій и мошенничества?» (70).

Сильно сказано. Но, вѣдь, вы, въ сущности, хотите только, чтобы кн. Васильчиковъ называлъ «захваты», «грубую силу» и «эгоистическія стремленія меньшинства» облагороженнымъ именемъ проявленій исторической необходимости. Сейчасъ видно ученыхъ людей, вступающихся за честь поруганной науки. Сильно сказано, но несовсѣмъ убѣдительно и несовсѣмъ правдиво. Кто не знаетъ, подумаетъ, что книга кн. Васильчикова написана языкомъ террора? а между тѣмъ, «грабежъ» и «разбой» попадаются въ ней, не смотря на ея большой объемъ, едва-ли не рѣже, чѣмъ въ вашей тоненькой брошюрѣ. Говоря, напримѣръ, объ Англіи, кн. Васильчиковъ замѣчаетъ, что «англійское землевладѣніе должно быть разсмотрѣно и обсуждено съ двухъ сторонъ: одна, внушающая полное уваженіе, это — либеральная политика высшихъ классовъ въ отношеніи гражданской равноправности всего англійскаго народа, другая — мрачная и печальная, это — постепенное присвоеніе себѣ тѣми же высшими сословіями всѣхъ имущественныхъ правъ, всего народнаго богатства, всей территоріи государства и послѣдовательное обращеніе прежнихъ землевладѣльцевъ изъ вольныхъ и полныхъ собственниковъ въ обязанныхъ поселянъ, изъ обязанныхъ поселянъ въ арендаторовъ, изъ фермеровъ въ вольныхъ хлѣбопашцевъ и наконецъ, изъ хлѣбопашцевъ въ поденьщи-

ковъ, чернорабочихъ и пролетаріевъ» (99). Что касается частностей этого процесса, то, говоря о разверстаніи общественныхъ земель, «довершившемъ обезземеленіе низшихъ классовъ и сосредоточившимъ все землевладѣніе въ рукахъ 30,000 богатѣйшихъ собственниковъ», кн. Васильчиковъ пишетъ: «результатъ этотъ тѣмъ болѣе замѣчателенъ, что онъ достигнутъ былъ безъ всякаго содѣйствія правительства, безъ всякихъ насильственныхъ мѣропріятій противъ крестьянъ и при полной свободѣ имущественныхъ правъ» (114). Ну а, напримѣръ, практиковавшаяся въ Англіи и особенно въ Шотландіи, такъ называемая, «прочистка имѣній», это—такая штука, которую, можетъ быть, даже вы обозвали бы нехорошимъ словомъ, еслибы вамъ довелось писать исторію землевладѣнія. Потому что, видите ли, непреложность историческихъ законовъ нисколько не мѣшаетъ существованію грабежей и мошенничества...

Я увѣренъ, что страстный гимнъ въ защиту непреложенныхъ историческихъ законовъ принадлежитъ вамъ, г. Герье, какъ неофиту. Г. Чичеринъ уже давно на этомъ конькѣ ѣздитъ и еще въ предисловіи къ «Исторіи политическихъ ученій» истолокъ въ ступкѣ своего глубокомыслія пестомъ своего разумѣнія Гегеля и Вико для полученія схемы историческихъ законовъ, изъ чего, впрочемъ, ничего, кромѣ кабалистики, не вышло. Другое дѣло – вы. Вы такъ яростно нападали на идею исторической законосообразности—помните, въ «Очеркѣ развитія исторической науки»? — сравнивали ее съ Атиллой-бичемъ божьимъ и еще съ какими-то ужасами. Теперь вы спрашиваете: въ наше время, какъ вы хотите безъ историческихъ законовъ? Что жъ, это—дѣло доброе, когда человѣкъ науки приближается къ научному пониманію вещей. Но вотъ и Кукшина тоже спрашивала: въ наше время, какъ вы хотите безъ эмбріологіи? Вамъ, какъ неофиту, простительно нѣкоторое увлеченіе, даже до забвенія чувствъ, но вашему, болѣе опытному сотруднику слѣдовало бы сказать вамъ: тпру! Впрочемъ, можетъ быть, и онъ, истолокшій Гегеля и Вико, невиненъ? Безъ сомнѣнія, все совершается по извѣстнымъ законамъ, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы все было добро зѣло и не подлежало нравственному суду. Наглядно вы можете сообразить по слѣдующему примѣру. Палачъ есть, говорятъ, необходимая принадлежность цивилизованнаго общества. Де-Мэстръ видѣлъ въ немъ даже что-то божественное. Однако, его презираютъ даже тѣ, кто пользуется его услугами и считаетъ себя безъ него небезопаснымъ. Такъ-то и въ исторіи. Я осмѣлился, въ письмѣ къ г. Цитовичу, какъ этого почтеннаго патріота своего отечества, такъ и васъ обоихъ, назвать продуктами и дѣятелями задняго двора исторіи. Я стою и теперь на томъ, что безъ памфлетовъ, подобныхъ вашимъ, исторія настоящаго и въ особенности ближайшаго будущаго времени не обойдется. Но, даже ради обычаевъ эпистолярной формы, я не подпишусь въ концѣ этого письма: уважающій васъ.

Замѣтьте, мимоходомъ, какой можетъ, съ божіей помощью, оборотъ выйти. Вы соціалистовъ не любите. Но, вѣдь, они составляютъ законнѣйшій историческій продуктъ европейской цивилизаціи, да и какъ же бы они, въ самомъ дѣлѣ, могли помимо историческихъ законовъ народиться? А между тѣмъ, въ силу высокихъ качествъ своего ума и сердца, вы вынуждены ругательски ругать этотъ историческій продуктъ. Мало того. Вы до извѣстной степени справедливо разсуждаете о всеобщности историческихъ законовъ. А потому, стремясь водворить на родной почвѣ европейскую цивилизацію во всѣхъ ея подробностяхъ, вы тѣмъ самымъ водружаете соціализмъ in spe... Бѣда съ этими непреложными историческими законами: никакъ не сообразишь,..

Простите, милостивые государи! Я хотѣлъ сгруппировать ваши взгляды, собрать разсыпанную храмину вашихъ идей и не сдѣлалъ этого. Виноватъ, въ этомъ, конечно, я, но виноваты и вы или, если вамъ больше нравится, виноватъ тотъ непреложный историческій законъ, который обязываетъ васъ безпорядочно мыслить и излагать свои мысли (а такой законъ и вправду существуетъ). Впрочемъ, кое-что мы, всетаки, добыли: положеніе крестьянъ превосходно—и земли у нихъ много, и платятъ они мало, и просвѣщены они достаточно, сколько ихъ немытому, съ позволенія сказать, рылу приличествуетъ: теперь не до нихъ, теперь надо водружать на ихъ спинахъ цивилизацію, а какъ таковая водружается, на то указываетъ непреложный историческій законъ обезземеленія крестьянъ; распустите общину, оставляя всѣ другія наличныя условія крестьянскаго быта неприкосновенными (то-есть просвѣщеніе, надѣлы и платежи), и мужикъ быстро распродастъ свою землю даже въ благословенномъ Кирсановскомъ уѣздѣ, а ужъ на что—рай земной: берега кисельные, рѣки молочныя, въ помѣщикахъ самъ г. Чичеринъ числится...

Эта программа, какъ въ своихъ теоретическихъ посылкахъ, такъ и въ практическихъ выводахъ рѣзко отличается отъ символа вѣры кн. Васильчикова. И не удивительно, что вы ополчились. Намъ, постороннимъ и неученымъ людямъ, вдвойнѣ лю-

бопытно присутствовать при вашей распрѣ. Во-первыхъ, рѣшаются, хотя примѣрно, судьбы отечества, а во-вторыхъ, сталкиваются двѣ научныя системы: одна (и эта, къ сожалѣнію, ваша)—ветхозавѣтная, а другая—новая, хотя и не цѣльная, не законченная.

Карлъ Марксъ, какъ неопровержимо доказалъ г. Чичеринъ въ пику всѣмъ нѣмецкимъ ученымъ (ибо почти всѣ они оказались насчетъ Маркса слабы), есть невѣжда и глупый человѣкъ. У него хватило, однако, учености и ума для подбора, у самыхъ разнообразныхъ представителей экономической литературы, цѣлаго арсенала мнѣній, афоризмовъ, положеній, гласящихъ, что «національное богатство есть нищета народа». Это парадоксальное, на первый взглядъ, выраженіе принадлежитъ одному старинному и вполнѣ благонамѣренному ученому, если не ошибаюсь, французскому физіократу, но самая мысль есть едва-ли не всеобщее достояніе. Уже на зарѣ экономической науки проницательные люди съ полною ясностью понимали, что ростъ богатства, какъ отвлеченной категоріи, безотносительно къ судьбамъ человѣческой личности и положенію народныхъ массъ, ведетъ къ обѣднѣнію (абсолютному или относительному) этихъ массъ. Благонамѣренность и неблагонамѣренность, консервативныя и разрушительныя тенденціи тутъ рѣшительно не причемъ. Тутъ надо просто имѣть немножко ума, ну и добросовѣстности, конечно. Повторяю, у глупаго и невѣжественнаго Маркса собрана цѣлая коллекція выраженій этого факта, принадлежащихъ представителямъ самыхъ разнообразныхъ партій и интересовъ. Одни выставляютъ эту экономическую аксіому съ задирающею наглостью, другіе съ холодностью естествоиспытателя, третьи съ сердечною болью, но аксіома остается аксіомой. Но, какъ замѣтилъ еще Гоббзъ, математическія аксіомы были бы предметомъ горячихъ споровъ, если-бы ими затрогивались практическіе интересы. Глупость и дрянность несравненно чаще попадаются на улицѣ, чѣмъ умъ и добросовѣстность. И вотъ, съ легкой руки преимущественно, французовъ и особенно Бастіа, запуганнаго соціализмомъ, основная экономическая аксіома стала расплываться въ лужѣ, якобы научныхъ, измышленій. Стали на тысячу ладовъ доказывать и размазывать, что едино есть на потребу: производство и обмѣнъ, что чѣмъ сильнѣе производство и чѣмъ больше обмѣновъ, тѣмъ счастливѣе страна, и что больше не о чемъ заботиться. На этой то ступени развитія экономической науки вы и остановились, милостивые государи. Но спросите любого свѣдущаго, слѣдящаго за ходомъ науки человѣка, это—ступень, давно пройденная. Г. Чичеринъ закончилъ свои статьи въ «Сборникѣ государственнаго невѣжества» обѣщаніемъ перейти во Францію—съ Германіей онъ уже покончилъ. Но сама Германія не покончила. И среди многаго въ ней любопытнаго я бы обратилъ особенное ваше вниманіе на такъ называемую этическую или профессорскую экономическую школу. Не потому обращаю я на нее ваше вниманіе, что она замѣчательна своей глубиной или послѣдовательностью. Нѣтъ, этихъ-то качествъ ей, пожалуй, и недостаетъ. Но она достойна вашего профессорскаго вниманія, именно, какъ школа профессорская. Все—патентованные ученые, милостивые государи, ваши, такъ сказать, собраты по оружію, и это чрезвычайно замѣчательно, хотя для васъ немножко неудобно, потому-что нѣмецкаго-то профессора какъ-то ужъ совсѣмъ странно исключить изъ инвентаря «западно-европейской науки и цивилизаціи». Вотъ когда вы соблаговолите познакомиться хотя бы съ этой только школой, весьма, мимоходомъ сказать, распространенной и сильной, вы убѣдитесь, до какой степени вы отстали и до какой степени опередилъ васъ кн. Васильчиковъ. Вы увидите, что, съ точки зрѣнія общепризнанной и самой даже благонамѣренной современной науки, по необходимости принявшей въ соображеніе историческій опытъ, данный со временъ блаженной памяти Фредерика Бастіа, благосостояніе народныхъ массъ превалируетъ надъ промышленнымъ и сельско-хозяйственнымъ развитіемъ, а слѣдовательно, отнюдь не полагается поднимать уровень земледѣлія цѣною обезземеленія земледѣльцевъ. Конечно, въ качествѣ сидящихъ на кисельныхъ берегахъ молочныхъ рѣкъ Кирсановскаго уѣзда, вы и тогда можете тянуть свою канитель: о «грабежахъ» и «разбояхъ» можно, вѣдь, и безъ помощи науки кричать; даже много удобнѣе Но вы, по крайней мѣрѣ, лишитесь своей наивности и перестанете смѣшить людей и позорить науку, говоря отъ ея имени. Вы вкусите древа познанія добра и зла и, какъ древле Адамъ и Ева, узнаете, что бѣгаете нагишомъ. Почтенные профессора и вдругъ—нагишомъ! Стыдно, конечно, будетъ, но пребывать совсѣмъ безъ стыда тоже не хорошо. Будущій историкъ русскаго общества будетъ, можетъ быть, неделикатнѣе нетолько кн. Васильчикова, но даже и васъ, и, признавая всю историческую законность вашихъ стараній на пользу родного Кирсановскаго уѣзда, сопроводитъ ваши имена очень нелестными эпитетами. Лучше же во-время устыдиться.

О неизрѣченной красотѣ науки вы говорите прекрасныя слова. Познакомьтесь же

съ нею. А теперь вы подаете только дурной примѣръ неуваженія къ наукѣ. И вотъ еще одинъ пунктъ такого неуваженія. Вы, г. Чичеринъ, все еще не можете забыть лавровъ, сомнительнаго, впрочемъ, достоинства, стяжанныхъ вами на статьяхъ «о сельской общинѣ». Старые это лавры, государь мой, и пора бы ихъ забыть! Вы доказывали въ этихъ статьяхъ, что общинное землевладѣніе въ Россіи есть продуктъ правительственной регламентаціи и крѣпостного права, введенный въ народную жизнь извнѣ съ чисто фискальными цѣлями. Для практической стороны вопроса о русской общинѣ это довольно безразлично. Самобытно-ли, изъ нѣдръ народнаго духа возникла община, или ее установила внѣшняя, посторонняя народу сила—практическій вопросъ состоитъ въ удобствахъ этой формы землевладѣнія. Удобна она, такъ не все-ли равно, какъ она народилась? А неудобна, такъ, опять-таки, не все-ли равно? Форма, во всякомъ случаѣ, живетъ, и съ ней такъ или иначе надо считаться, независимо отъ вопроса о ея происхожденіи. Не счелъ бы я, поэтому, пожалуй, нужнымъ колебать украшающій ваше чело засохшій лавровый вѣнокъ, если-бы вы не такъ упорно за него держались. Дѣло въ томъ, что современная наука открыла слѣды общиннаго землевладѣнія едва ли не на всемъ земномъ шарѣ и, притомъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, съ типическими чертами русской общины, съ періодическими передѣлами участковъ. Вы это сами знаете, потому что совершенно справедливо противопоставляете этотъ фактъ славянофильской увѣренности кн. Васильчикова въ исконномъ отличіи народнаго русскаго быта отъ западно-европейскаго. Дѣйствительно, пора съ этими бреднями кончить. Онѣ—не только бредни, а вредныя бредни. Онѣ плодятъ людей, до такой степени увѣренныхъ въ вѣковѣчной особности русскаго народа, что они и не замѣтятъ, какъ, благодаря стараніямъ вашимъ, г. Цитовича и другихъ теоретиковъ и практиковъ, которые не замедлятъ явиться, русская община растаетъ, какъ воскъ предъ лицомъ огня. Но, государь мой, если общинное землевладѣніе, судя по аналогіи, существовало рѣшительно вездѣ и во всякомъ случаѣ существовало и существуетъ въ мѣстахъ, не знавшихъ ни крѣпостного права, ни фискальныхъ цѣлей (какъ, напримѣръ, у многихъ дикарей), то ваша теорія происхожденія русской общины весьма мало надежна. По крайней мѣрѣ, она нуждается въ новой аргументаціи, и какъ ни велики, какъ ни знамениты статьи «О сельской общинѣ» и «Еще о сельской общинѣ», но, въ виду современнаго состоянія науки, простой ссылки на нихъ маловато. Значитъ, вамъ опять-таки поучиться надо. Что дѣлать: «вѣкъ живи, вѣкъ учись», даже послѣ основательнаго изученія таблицы умноженія. Примите благодушно этотъ совѣтъ человѣка, искренно желающаго у васъ поучиться, когда вы сами чему-нибудь научитесь.

III *).

Письмо къ г. Цитовичу.

Милостивый государь!

Простите за запоздалый отвѣтъ. Не считаю ни нужнымъ, ни удобнымъ разсказывать, почему онъ запоздалъ, и только прошу васъ вѣрить, что это произошло не отъ недостатка желанія съ моей стороны. Напротивъ, желаніе было сильное. Но, разъ отвѣтъ запоздалъ, я было думалъ и совсѣмъ обойтись безъ него. Я полагалъ, что въ другихъ органахъ печати писатели, болѣе меня счастливые, достаточно выяснятъ характеръ вашей полемики, и что сами вы, когда пройдетъ припадокъ раздраженія, въ которомъ написана ваша брошюра, возьмете назадъ, если не все, то многое, вами сказанное. Я говорю совершенно искренно. Я вѣрилъ, что вы не станете упорствовать. Я ошибся. Брошюра ваша имѣла успѣхъ, быстро потребовала второго и третьяго изданія и, вѣроятно, эта самая быстрота не позволила вамъ вновь продумать всѣ обвиненія, взводимыя вами на извѣстную часть литературы и общества. Вы остались при своемъ. Что же касается органовъ печати, то, мнѣ кажется, они упустили изъ виду многое въ въ вашей брошюрѣ, достойное вниманія. И вотъ почему я опять рѣшился писать къ вамъ. При этомъ мнѣ пріятно будетъ отличиться отъ васъ, какъ благопристойностью тона, такъ и содержаніемъ отвѣта.

Позвольте мнѣ прежде всего напомнить исходный пунктъ полемики.

Глубоко уважая науку, я вмѣстѣ съ тѣмъ очень люблю жизнь. Жизнь ставитъ (или должна ставить) цѣли наукѣ; наука освѣщаетъ (или должна освѣщать) пути жизни. Я нарочно пишу въ скобкахъ эти «должна ставить», «должна освѣщать». Хотя наука есть, собственно говоря, не болѣе, какъ одна изъ сторонъ жизни и въ абстрактѣ разногласить съ остальными сторонами не можетъ, но конкретная дѣйствительность, какъ вамъ, конечно, извѣстно изъ исторіи человѣчества, далеко не всегда представляетъ такое единеніе науки и жизни. Сплошь и рядомъ жизнь не хочетъ знать науки; сплошь и рядомъ наука не хочетъ знать жизни. Печальныя послѣдствія такого разлада—печаль-

*) 1878, декабрь.

ныя для обѣихъ сторонъ, представляя симптомъ важной общественной болѣзни, сами, вмѣстѣ съ тѣмъ, составляютъ источникъ многоразличныхъ лихихъ болѣстей. Такъ я смотрю на дѣло, и письма къ ученымъ людямъ были для меня не болѣе, какъ однимъ изъ способовъ выраженія сѣтованій и пожеланій по поводу упомянутаго разлада. Но я, разумѣется, не столь наивенъ, чтобы воображать примиреніе науки съ жизнью въ видѣ трогательныхъ объятій русскихъ ученыхъ людей съ нашимъ братомъ журналистомъ или въ видѣ лавровыхъ вѣнковъ, подносимыхъ обществомъ жрецамъ науки. Отнюдь не исключая изъ программы жизни ни трогательныхъ объятій, ни лавровыхъ вѣнковъ, я думаю, однако, что они пока еще преждевременны, ибо въ огромномъ большинствѣ случаевъ общество не знаетъ, какъ смотрятъ ученые люди на то, что его, общество, волнуетъ и тревожитъ. Даже ваша исповѣдь, проникнутая, повидимому, такимъ страстнымъ негодованіемъ на извѣстнаго рода общественныя явленія, явилась только послѣ того, какъ я не совсѣмъ почтительно отозвался о вашей особѣ. До тѣхъ поръ вы молча присутствовали при совершеніи безобразій, нынѣ такъ жестоко вами обличаемыхъ. Это очень важное обстоятельство, милостивый государь, и я приглашаю васъ спокойно и безпристрастно вдуматься въ него. Я становлюсь на вашу точку зрѣнія и допускаю, что всѣ ваши обвиненія безусловно справедливы. Но, въ такомъ случаѣ, почему же вы молчали доселѣ? Добро бы вамъ нечего было сказать—на нѣтъ и суда нѣтъ. Но вѣдь вы кипите негодованіемъ, вы бичуете, проклинаете, уличаете людей въ систематическомъ развратѣ. И все это вы держали при себѣ... Нужно ли еще большее свидѣтельство безучастія ученыхъ людей къ жизни общества? Съ вашей собственной точки зрѣнія, конечно, не нужно. Поэтому я осмѣливаюсь повторить великое изрѣченіе, обязательное для всякой критики: если я говорю неправду, то поправь меня, а если я говорю правду, то за что же ты бьешь меня? Вы не поправляете меня, а бьете и—простите за тривіальное выраженіе—бьете своими боками. Таковы именно и характеръ, и тонъ, и содержаніе вашего отвѣта вообще, и множество его частностей. Успѣхъ вашей брошюры отнюдь, мнѣ кажется, не долженъ соблазнять васъ, ибо дальнѣйшіе ея результаты не могутъ соотвѣтствовать вашимъ идеаламъ, насколько они въ брошюрѣ выясняются.

Сначала нѣсколько мелкихъ примѣровъ.

Вы полагаете, что я «разрушилъ въ себѣ эстетику», и, разумѣется, находите это не похвальнымъ. Можетъ быть, и разрушилъ, но и съ разрушенной эстетикой я цитирую великолѣпные стихи Гёте, а вы, защитникъ эстетики, цитируете какую то «мокрую квартиру на девять мѣсяцевъ», едва ли не вами изобрѣтенную и, какъ я осмѣливаюсь думать, весьма мало эстетическую. Полагаете ли вы, съ самомъ дѣлѣ, что стихи Гёте приличествуютъ разрушенной, а «мокрая квартира» неразрушенной эстетикѣ? А вѣдь «мокрая квартира» не единственный въ своемъ родѣ перлъ вашего остроумія. Конечно, не этимъ способомъ можно возстановить эстетику въ комъ она разрушена; конечно, я имѣю полное право сказать: вы не поправляете меня, а бьете и бьете своими боками.

Я просилъ всѣхъ интересующихся дѣломъ сообщать мнѣ свѣдѣнія о дѣятельности русскихъ ученыхъ людей. Вы находите, что это—приглашеніе къ сплетнямъ. Вы утверждаете даже, что я уже въ первомъ письмѣ прибѣгъ къ сплетнѣ. «Прежде всего,—говорите вы:—позвольте спросить, откуда вы узнали, кто я и кто Посниковъ? Ни въ книжкахъ вашего Посникова, ни въ моей брошюрѣ свѣдѣній объ этомъ нѣтъ; значитъ, вы добыли ихъ путемъ частныхъ справокъ». Во вниманіе къ тому почти истерическому раздраженію, съ которымъ вы, подобно нервной дамѣ, налегаете на *вашего* Посникова, я готовъ бы былъ оставить это обвиненіе безъ разсмотрѣнія. Но выражаемое вами здѣсь аскетическое цѣломудріе по отношенію къ «частнымъ справкамъ» слишкомъ не вяжется съ остальнымъ содержаніемъ брошюры, и я позволю себѣ напомнить вамъ, что свѣдѣнія о назначеніи того или другого профессора на ту или другую каѳедру всѣмъ доступны. Что г. Посниковъ профессоръ новороссійскаго университета—это я могъ узнать изъ газетъ, въ которыхъ въ свое время много говорилось о блистательномъ диспутѣ этого уважаемаго ученаго. Что вы тоже профессоръ новороссійскаго университета—это я могъ узнать изъ вашей брошюры, на обложкѣ которой значится: «печатано по опредѣленію совѣта Императорскаго новороссійскаго университета». Могъ узнать изъ вашего собственнаго письма, напечатаннаго въ 1875 г. въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», письма, въ которомъ вы объяснили, почему вы просили, чтобы вашъ предметъ былъ признанъ необязательнымъ. Могъ узнать и просто изъ «Университетскихъ Извѣстій», которыя не составляютъ тайны. Поэтому, хотя я и не помню, откуда именно я узналъ, что вы и г. Посниковъ «товарищи по службѣ въ университетѣ», но обнародованіе этого обстоятельства никоимъ образомъ сплетней назвать не могу. Я готовъ бы былъ, однако, весьма одобрить вашъ аскетизмъ, еслибы брошюра

ваша не была переполнена свѣдѣніями о какихъ-то мужчинахъ, находящихся на содержаніи у женщинъ, о какихъ-то прокурорахъ, «подвизающихся на аренѣ свободной любви», о какихъ-то «судьяхъ, которые сводничаютъ своихъ дочерей съ женатыми мужчинами», о какихъ-то «срываніяхъ зрѣлыхъ плодовъ въ ученыхъ лабораторіяхъ» и проч., и проч., и проч. Если обнародованіе того, всѣмъ доступнаго и всегда подлежащаго провѣркѣ и исправленію свѣдѣнія, что вы и г. Посниковъ товарищи по службѣ въ университетѣ; если это обнародованіе есть сплетня, то я затрудняюсь пріискать названіе для свѣдѣній, вами опубликованныхъ. Во всякомъ случаѣ, и по отношенію къ сплетнѣ вы не поправляете меня, а бьете и бьете своими боками.

Но противодѣйствіе разрушенію эстетики и распространенію сплетенъ не составляетъ спеціальной цѣли вашей брошюры. Поэтому, маленькія противорѣчія между словомъ и дѣломъ въ этихъ двухъ областяхъ, при всей своей характерности, составляютъ въ настоящемъ случаѣ дѣло побочное. Главная ваша цѣль—защита науки. Какъ будто я когда-нибудь на нее нападалъ! Какъ будто даже представителямъ науки, русскимъ ученымъ людямъ, я не сдѣлалъ величайшей чести, на какую только они могутъ претендовать, приглашая ихъ принять участіе въ руководительствѣ духовною жизнью общества! Умные люди такъ именно меня и поняли. Я имѣлъ удовольствіе получить письмо отъ одного почтеннаго русскаго ученаго (въ виду вашей склонности къ «частнымъ справкамъ», спѣшу прибавить, что онъ вамъ не «товарищъ» ни въ какомъ смыслѣ) письмо, въ которомъ онъ съ благородною горячностью благодаритъ меня за напоминаніе о приличествующей ученымъ людямъ высокой роли въ общественной жизни. Люди наивные и, смѣю сказать, не умные поступили иначе. Они стали иронизировать: а позвольте васъ спросить, гдѣ тѣ курсы исторіи, философіи, математики, правъ и проч., которые написаны журналистами? мы ихъ что-то не видали! Конечно, не видали! Курсы исторіи, математики и проч., безъ сомнѣнія, пишутся учеными людьми, а не журналистами. Это столь же достовѣрная и непоколебимая истина, какъ и та, что сапоги шьются сапожниками, а не портными. Но, къ сожалѣнію, это одна изъ тѣхъ чистыхъ истинъ, которыя, подобно непорочнымъ дѣвственницамъ, по законамъ естества безплодны. Я склоненъ думать, что и количествомъ, и качествомъ курсовъ исторіи, правъ, философіи и проч. русскимъ ученымъ людямъ гордиться не приходится. Это было бы очень не трудно доказать, хотя я не сомнѣваюсь въ существованіи чрезвычайно почтенныхъ работъ нѣкоторыхъ русскихъ ученыхъ людей. Но дѣло совсѣмъ не въ томъ, кто шьетъ сапоги и кто издаетъ курсы и учебники. Дѣло въ томъ, что исторія русской науки не имѣетъ ничего общаго съ исторіей русскаго общества, что, какъ я осмѣлился выразиться, алчущіе и жаждущіе правды не получаютъ никакой руководящей нити отъ людей ученыхъ и вынуждены обращаться къ намъ, журналистамъ. Это фактъ несомнѣнный, противъ котораго нельзя возражать ни указаніемъ на курсы, ни доказательствами *вреднаго* вліянія журналистики, даже еслибы эти доказательства были безупречны и съ фактической, и съ логической стороны. Положимъ, что вліяніе журналистики вредно, что она сѣетъ развратъ и мерзость. Допустимъ опять-таки, что всѣ ваши обвиненія безусловно справедливы, то-есть, что сообщаемыя вами безобразія не только совершались и совершаются, но имѣютъ то именно значеніе, какое вы имъ приписываете: значеніе повальнаго общественнаго разврата, вызваннаго и поддерживаемаго литературой. Но это значитъ, что я всетаки правъ; въ томъ смыслѣ, что духовнымъ развитіемъ общества заправляетъ литература, журналистика. Вы находите, что это дурно. Очень можетъ быть, но, во всякомъ случаѣ, приписывая литературѣ столь большое вліяніе, вы не опровергаете меня, а подтверждаете. И если вы этого сами не замѣчаете, то единственно благодаря тому раздраженію, въ которомъ написана ваша брошюра, и которое всегда склонно смѣшивать объективный фактъ съ субъективною его оцѣнкою.

Итакъ, вы не опровергаете моего показанія объ относительномъ вліяніи науки и журналистики, а подтверждаете его. И если ваша субъективная оцѣнка указаннаго мною факта справедлива, то я опять-таки спрашиваю васъ: почему же мечъ науки ржавѣлъ въ вашихъ ножнахъ? почему вы вынимаете его въ столь заржавленномъ видѣ только теперь, подъ вліяніемъ личной обиды? почему вы молча присутствовали при «обостреніи подбородка» русской женщины, при отрицаніи нравственнаго долга, при «срываніи зрѣлыхъ плодовъ въ ученыхъ лабораторіяхъ» и проч?..

Правда, вы указываете на «общее положеніе дѣлъ въ нашемъ отечествѣ, какъ на *одну* изъ причинъ пассивности русской науки». Но, во-первыхъ, это, какъ вы сами говорите, *одна* изъ причинъ и притомъ не надъ одной наукой тяготѣющая... А во-вторыхъ, какъ можете вы, авторъ «Отвѣта на письма къ ученымъ людямъ», ссылаться на общее положеніе дѣлъ въ нашемъ отече-

ствѣ?! Это даже нѣсколько комично выходитъ. Вы отстаиваете бытіе Божіе (котораго, я, по крайней мѣрѣ, никогда не отрицалъ), вы производите разслѣдованія о вредномъ вліяніи литературы и о кощунствѣ, вы даете посильную поддержку таинству брака, идеѣ нравственнаго долга и проч. Когда мѣшало всему этому общее положеніе дѣлъ въ нашемъ отечествѣ? Никогда, я думаю.

Что касается васъ лично, то истинная причина вашей пассивности, такъ внезапно смѣнившейся необычайною активностью, объясняется не этою комическою ссылкой на общее положеніе дѣлъ въ нашемъ отечествѣ, а другимъ мѣстомъ вашей брошюры. Я ссылался на вліяніе Писарева, которое, какъ оказывается, съ вашей точки зрѣнія, было крайне пагубно, а съ моей—имѣло и свои хорошія, и свои дурныя стороны. Взявъ, именно, это вліяніе, какъ дѣло прошедшее, подлежащее совершенно безпристрастному и спокойному обсужденію, я спрашивалъ васъ, почему ученые люди въ тѣ времена молчали? На это вы мнѣ возражаете вопросомъ: «но что же могли тутъ сдѣлать ученые люди?» Вотъ въ этомъ вопросѣ все дѣло: вы не знаете что дѣлать. То-есть не знали. Теперь-то вы знаете, что въ подобныхъ случаяхъ ученые люди должны метать громы, хотя бы въ видѣ брошюръ. И какъ только вы это узнали, такъ и бросили свою пассивность. Ларчикъ, какъ видите, открывается очень просто: ученые люди должны подавать свои голоса въ дебатахъ о вопросахъ, занимающихъ общество. Это именно моя мысль. Поэтому, я отъ души привѣтствую вашу брошюру. Конечно, мнѣ пріятно знать, что именно я раскрылъ вамъ глаза на обязанности ученыхъ людей. Но и помимо того, просто интересно знать, какъ смотрятъ на дѣла сего міра люди науки, въ виду чего, я готовъ оставить совсѣмъ въ сторонѣ не очень высокое происхожденіе вашей брошюры: личное самолюбіе. Беру вашъ отвѣтъ, какъ онъ есть.

Я радуюсь ему, какъ первой ласточкѣ, обѣщающей весну, какъ первой попыткѣ ученыхъ людей властно и громко вмѣшаться въ общественную жизнь. Радуюсь ему, какъ задачѣ: но это не мѣшаетъ мнѣ имѣть свое мнѣніе объ исполненіи задачи; мнѣніе—откровенно говоря — не весьма лестное. Я, однако, не ограничу сыпростымъ заявленіемъ своего мнѣнія. Я попробую его доказать.

Исполненію вашей задачи значительно повредило уже то обстоятельство, что вы, смѣшавъ объективный фактъ съ субъективною его оцѣнкой, потратили столько времени, силъ и мѣста на доказательства сильнаго вліянія журналистики и слабаго вліянія науки въ нашемъ отечествѣ. Я не только никогда въ этомъ не сомнѣвался, но, именно, это и говорилъ въ своемъ первомъ письмѣ къ вамъ. Поэтомъ, я вовсе не предрѣшалъ вопроса о томъ, хорошо или дурно вліяніе журналистики. Приглашая господъ ученыхъ людей сказать свое слово, я тѣмъ самымъ признавалъ ихъ право и обязанность вліять на общество, по крайней мѣрѣ, наравнѣ съ журналистикой. Правда, я не говорилъ ученымъ людямъ: придите княжити и володѣти нами, журналистами; да и что въ такомъ княженіи лестнаго: земля наша не велика, не обильна, а «наряда» въ ней даже черезчуръ достаточно. Но согласитесь, что и наше положеніе тоже не изъ пріятныхъ: пишешь, пишешь, и только лѣтъ черезъ десять послѣ твоей смерти найдется ученый человѣкъ, который скажетъ:—много напакостилъ такой-сякой покойникъ! Вотъ какъ вы про Писарева. Лучше же мы выслушаемъ выговоръ, конечно, мотивированный, при жизни, и либо исправимъ свои ошибки, если таковыя намъ будутъ указаны, либо попробуемъ отстоять то, что считаемъ истиной. Изъ этого вы видите, что значительная доля вашего отвѣта, по малой мѣрѣ, неумѣстна. Но затѣмъ остаются доказательства *вреднаго* вліянія журналистики, которыя могли бы быть очень цѣнны, еслибы были похожи на доказательства. Къ сожалѣнію, вы не указываете, гдѣ именно и когда журналистика проповѣдывала тѣ мерзости, въ проповѣди которыхъ вы ее уличаете. Судя по тѣмъ обвиненіямъ, которыя вы представляете лично мнѣ, вы не особенно внимательно вчитываетесь въ то, что бичуете, и склонны многое понимать «наоборотъ». Обвиненія противъ меня особенно удобны потому, что тутъ вы дѣлаете прямыя ссылки на мои слова.

Вы приписываете мнѣ мнѣніе, что «товарищей не обнажаютъ, а покрываютъ», вслѣдствіе чего вы должны были прикрыть грѣхи г. Посникова. Увы! милостивый государь, вы поняли меня совершенно «наоборотъ». Если вы потрудитесь вновь пробѣжать мое письмо, вы убѣдитесь, что я упрекаю ученыхъ людей, напротивъ, въ томъ, что они слишкомъ охотно производятъ другъ друга въ магистры и доктора, и, слѣдовательно, слишкомъ мало обнажаютъ другъ друга.

Вы утверждаете, что я «*совѣтую*» молодымъ людямъ учиться въ университетахъ только для окончанія курса; что я проповѣдую «кражу дипломовъ». Этому энергическому выраженію я осмѣливаюсь почтительнѣйше противопоставить скромное слово: *неправда*, предоставляя вамъ самимъ, творцу «мокрой квартиры» и другихъ эстетическихъ перловъ, замѣнить его болѣе точнымъ и характернымъ. Я не только не *совѣтовалъ*

красть дипломы, а, напротивъ, скорбѣлъ о томъ, что, благодаря «пассивности русской науки», такая кража иногда, по необходимости, имѣетъ мѣсто.

Таковы, милостивый государь, ваши свидѣтельства, когда они сопровождаются прямыми указаніями на лицо, совершившее преступленіе, и на мѣсто совершенія преступленія. Я отказываюсь разсуждать о томъ, насколько они достойны человѣка науки. Я только спрашиваю: какую же цѣну имѣютъ наши обвиненія, когда они направлены въ пространство, по туманному, расплывающемуся адресу «проповѣдниковъ новыхъ идей». Здѣсь уже вамъ, конечно, нечего было стѣсняться въ пониманіи вещей «наоборотъ» и вы широко воспользовались этой возможностью, столь широко, что, за полнымъ отсутствіемъ прямыхъ указаній и доказательствъ, я считаю себя вправѣ оставить вопросъ о вредномъ вліяніи журналистики безъ разсмотрѣнія. Я съ нѣсколько иной точки зрѣнія коснусь нѣкоторыхъ пунктовъ вашего обвинительнаго акта, раздѣленнаго на пять параграфовъ или «источниковъ живой воды» *). Конечно, не всѣхъ. Вы, безъ сомнѣнія, очень хорошо понимаете и понимали, когда писали свой обвинительный актъ, что мнѣ за вами не угоняться, что я не могу такъ же свободно, какъ вы, прогуляться по всѣмъ пяти «источникамъ живой воды», Да для моей цѣли это и не нужно. Хотя я науки не оскорбляю, но вы взялись защищать ее. Посмотримъ на двухъ, трехъ примѣрахъ—какъ вы ее защищаете.

«Практически самый важный изъ источниковъ, открытыхъ дѣтьми конца 50 и начала 60 годовъ», есть по вашему мнѣнію, источникъ № 2-й. Ну, и прекрасно, коли самый важный. На немъ мы и остановимся. Здѣсь, какъ вы выражаетесь своимъ нерушимо-эстетическимъ слогомъ, «пропивается совѣсть и чувство отвѣтственности, idem—чувство обязанности и долга». Въ видахъ такого «пропитія» изъ «теоріи рефлексовъ головнаго мозга» былъ сдѣланъ такой выводъ, что «принципъ свободной воли—одна выдумка и предразсудокъ, а различіе между добромъ и зломъ—схоластическая тонкость». Гдѣ вы нашли все это въ журналистикѣ, вы, разумѣется, не указываете и не можете указать. Но вы точно также не можете указать, гдѣ и когда патентованные русскіе ученые люди не то, что дали полное и удовлетворительное рѣшеніе важнаго вопроса, вызываемаго источникомъ № 2, а хотя бы серьезно занялись этимъ дѣломъ. А между тѣмъ, вопросъ, дѣйствительно, важный, Важный и скользкій. Вы лично, мнѣ кажется, довольно далеки отъ его пониманія, ибо дѣлаете изъ него предметъ своеобразной практической Polizeiwissenschaft. Вы кричите: караулъ! погибло различіе между добромъ и зломъ! Очень прискорбно, если оно погибло, но вѣдь это еще вопросъ. Карауловъ мы уже много слыхали, а путнаго разъясненія со стороны русскихъ ученыхъ людей не было. Въ журналистикѣ же я могу вамъ указать попытки такого разъясненія. Вы можете ихъ находить неудовлетворительными, это дѣло пониманія, но вы не можете отрицать ихъ существованіе, это дѣло элементаріой добросовѣстности. Допустимъ, однако, что они изъ рукъ вонъ плохи и посмотримъ, какъ рѣшаете вопросъ вы отъ лица науки.

Та торопливость, съ которою вы къ пункту № 2 своего обвинительнаго акта приписываете, что теорія рефлексовъ головнаго мозга сама по себѣ нисколько не отвѣтственна за дѣлаемые изъ нея выводы; эта торопливость дѣлаетъ вамъ величайшую честь. Но я, къ сожалѣнію, не могу сказать того же о сопоставленіи отрицательнаго рѣшенія вопроса о свободѣ воли съ отрицаніемъ различія между добромъ и зломъ. Безъ сомнѣнія, многимъ такое обобщеніе, особливо если оно сдѣлано въ энергическихъ, хотя и мало эстетическихъ выраженіяхъ, должно понравиться. Но этимъ многимъ, я полагаю, нѣтъ никакого дѣла до науки, равно какъ и наукѣ нѣтъ никакого дѣла до нихъ. Они изъ тѣхъ людей, которые, подобно купчихѣ Островскаго, приходятъ въ трепетъ отъ слова «жупелъ» и чувствуютъ нравственное успокоеніе, когда на это странное и страшное слово воздвигается гоненіе, въ видѣ словъ энергическихъ и вполнѣ понятныхъ, знакомыхъ. Площадная брань удовлетворила бы этихъ людей еще лучше. Хотѣлось бы думать, что не ихъ имѣли вы въ виду; хотѣлось бы думать, что намѣреніе ваше состоитъ въ томъ, чтобы произвести давленіе на умы людей, по вашему мнѣнію, заблуждающихся, но способныхъ и желающихъ мыслить. Произвели ли вы его? Нѣтъ, милостивый государь, навѣрно, нѣтъ. Вопросъ о свободѣ воли есть вопросъ чаучный, подлежащій, разумѣется,

*) Кстати объ этихъ источникахъ. Вы уличаете меня въ кощунствѣ за невинную метафору «живая вода», ибо, дескать, я «играюсь» «одною изъ наиболѣе высокихъ картинъ евангелія». На это я могу вамъ предъявить три отвѣта: 1) это не ваше дѣло, не дѣло человѣка науки; 2), употреблять евангельскія выраженія еще не значитъ кощунствовать; 3) «живая вода» поминается во множествѣ русскихъ и иныхъ сказокъ и легендъ, и, послѣдовательности ради, вамъ надобно бы было уличить въ кощунствѣ оперу «Руслан и Людмилу», въ которой, сколько помнится, «живая вода» тоже фигурируетъ. Къ этимъ тремъ отвѣтамъ, прибавлю еще вопросъ: зачѣмъ вы, благочестивый профессоръ, такъ усиленно утилизируете мое кощунство, если я въ самомъ дѣлѣ кощунствую?

всестороннему обсужденію, допускающій доводы pro и contra, но не иначе, какъ на научной почвѣ. Ударомъ шашки его не порѣшишь. Вамъ, какъ человѣку науки, лучше чѣмъ кому-нибудь должно быть извѣстно, что отрицательное рѣшеніе этого вопроса выводится не только изъ теоріи рефлексовъ головнаго мозга; что къ нему пришли, напримѣръ, философы въ родѣ Спинозы, Шопенгауера, историки въ родѣ Бокля, статистики въ родѣ Кетле, Герри, Вагнера; что для Канта вопросъ о свободѣ воли и необходимости былъ «антиноміей» и проч., и проч., и проч.; что, наконецъ, и многіе высокіе богословскіе авторитеты свободы воли не признаютъ. Вамъ должно быть извѣстно также, что различіе между добромъ и зломъ вовсе не необходимо ростетъ и падаетъ вмѣстѣ съ принципомъ свободы воли. Вы слыхали, конечно, знаменитое изрѣченіе Спинозы: «еслибы камень обладалъ сознаніемъ, такъ и онъ воображалъ бы, что падаетъ на землю свободно, а не въ силу тяжести». Слыхали также, что Спиноза и лично былъ человѣкомъ исключительно высокой нравственности, и теоретически училъ различать добро и зло, по крайней мѣрѣ, не хуже насъ съ вами. Что касается, собственно, русской ученой литературы, то въ ней довольно трудно найти попытки связать отрицательное рѣшеніе вопроса о свободѣ воли съ этической теоріей, съ теоріей различія добра и зла. Мнѣ пріятно, однако, сослаться на примѣръ, нѣсколько подходящій къ предмету нашей бесѣды. А именно, весьма, извѣстный русскій ученый, профессоръ Таганцевъ, въ своемъ курсѣ уголовнаго права, развиваетъ примѣрно ту же самую мысль, которую вы ставите въ тяжелую вину извѣстной части русской журналистики. Онъ утверждаетъ, что «всѣ научныя открытія послѣднихъ столѣтій, весь прогрессъ нашего знанія» ведетъ къ отрицательному рѣшенію вопроса о свободѣ воли. Профессоръ Таганцевъ полагаетъ, что на этомъ основаніи только и можетъ быть построена раціональная теорія наказанія. Мнѣ нѣтъ никакого дѣла до раціональной теоріи наказанія. Но если наука, спеціально завѣдывающая преступленіемъ и его карою, приходитъ къ извѣстному заключенію, то довольно странно признавать это заключеніе преступленіемъ и отождествлять его съ безразличіемъ добра и зла.

Я отнюдь не думаю, что говорю для васъ что-нибудь новое. Все это вы знаете и должны знать. Но бѣда въ томъ, что этого не знаютъ тѣ, кто приходитъ въ трепетъ отъ «жупела», и отлично знаютъ тѣ, кто жупела не боится. И васъ, я полагаю, мать родила, и вы были молоды. И если вы уже въ золотые годы молодости, въ âge des fleurs et du soleil не были черствымъ сухаремъ, способнымъ откликаться только на уколы личнаго самолюбія, вы должны помнить и понимать, какъ дорогъ бываетъ источникъ живой воды № 2, съ какою страстностью приникаютъ къ нему молодыя горячія уста. Что же вы имъ предлагаете? Идею практической истины, еле выглядывающей изъ-за окоповъ завѣдомо отжившей теоретической доктрины; различіе добра и зла, спасенное въ ущербъ научной истинѣ необходимости человѣческихъ дѣйствій. Нѣтъ, милостивый государь, это не защита науки. Это было бы ея пораженіемъ, еслибы она не имѣла иныхъ представителей и защитниковъ. И я съ гордостью могу сказать, что въ числѣ послѣднихъ состоитъ извѣстная часть журналистики, ибо она не попирала научной истины и не этою цѣною покупала различіе добра и зла. Вопросъ стоитъ вовсе не такъ, чтобы возбуждать сомнѣнія сказочнаго витязя: пойдешь направо — коня загубишь, пойдешь налѣво—самъ погибнешь. Тотъ, кто покупаетъ нравственность цѣною теоретической истины, одинаково далекъ и отъ нравственности, и отъ истины. Чуткія души очень хорошо понимаютъ это. Ученый, относящійся съ развязностью почти военнаго человѣка къ вопросу, тревожившему мощные умы Кантовъ и Спинозъ, не привлечетъ ихъ къ себѣ. Вы сами гоните ихъ отъ себя. Они пойдутъ учиться въ другомъ мѣстѣ. Обратятся и къ журналистикѣ.

Правда, вы говорите, что она учила и учитъ смѣшенію добра и зла и что въ этомъ, именно, состоитъ ея привлекательность для «хвостатыхъ дѣтей хвостатыхъ отцовъ». Но вы не указываете и не можете указать ни лицъ, проповѣдывавшихъ такое постыдное ученіе, ни мѣста, гдѣ оно проповѣдывалось. Вы только говорите: вотъ плоды—мужчины на содержаніи у женщинъ, отцы, сводничающіе дочерей и проч. Но позвольте, надо же разобраться. Прежде всего, ваши обличенія не имѣютъ за себя никакой достовѣрности, такъ какъ въ нихъ невозможно отличить Wahrheit отъ Dichtung. Если, напримѣръ, рисуя портретъ женщины, загубленной литературою, вы усвояете ей «подбородокъ впередъ», то весьма мудрено рѣшить, есть ли это портретъ или фантазія, индивидуальная или типическая черта. Но я готовъ допустить, что извѣстная доля разсказанныхъ вами мерзостей, дѣйствительно, продѣлывалась или продѣлывается. Я допускаю даже ваше объясненіе ихъ наличности, то самое объясненіе, которымъ вы такъ гордитесь, но относительно котораго я не могу признать за вами право первородства. Да, въ журналистикѣ, много раньше вашей

брошюры, не разъ говорилось о «чужихъ» людяхъ, инстинкты которыхъ воспитаны еще крѣпостнымъ правомъ, но которые не прочь надѣть, при случаѣ, любую личину. Тутъ журналистика не при чемъ. Не знаю, что дѣлаютъ оставшіеся внѣ ея вліянія Держиморды и Держимордихи, но весьма сомнѣваюсь, чтобы они были прочными столпами нравственности, хотя они, можетъ быть, и аплодируютъ вамъ, и разсыпаютъ на пути вашемъ одежды и вайи. Но я иду дальше. Я готовъ признать, что если не разсказанныя вами мерзости, то, во всякомъ случаѣ, прискорбныя ошибки могли совершаться и людьми, воспитанными литературой. Но, во-первыхъ, здѣсь я вамъ опять поставлю тотъ же вопросъ: чего же смотрѣли ученые люди? почему они раньше не взяли на себя трудъ остановить пагубное теченіе современной мысли, занесшей къ намъ, напримѣръ, отрицаніе свободы воли даже до уровня профессорскихъ каѳедръ? почему они не стали на стражѣ древа познанія добра и зла прежде, чѣмъ я васъ назвалъ героемъ лубочной сказки, милордомъ Георгомъ Англійскимъ? Отъ какихъ, иногда, подумаешь, пустяковъ зависитъ спасеніе и гибель народовъ! Не скажи я, что вы герой лубочной сказки, повальный развратъ искалѣчилъ бы всю Россію... Во-вторыхъ, надо имѣть въ виду вотъ что...

Одно дѣло ошибаться въ томъ или другомъ частномъ случаѣ добра и зла, другое дѣло отрицать самый принципъ ихъ различія. Нѣтъ ничего легче, какъ отличить соотвѣтственные два сорта людей: одни способны приносить жертвы, другіе нѣтъ. Римляне были, съ своей точки зрѣнія, правы, преслѣдуя христіанъ, но они были бы и съ своей точки зрѣнія не правы, они были бы наглые клеветники, еслибы, глядя на гибнущихъ въ циркахъ и на крестахъ христіанъ, стали утверждать, что тѣ не знаютъ и не хотятъ знать различія между добромъ и зломъ. Что касается современной русской дѣйствительности, то у насъ на кресты никого не вздѣваютъ. Но я могу вамъ все-таки напомнить одинъ родъ жертвъ. Учащіяся женщины, о которыхъ вы нашли возможнымъ сообщить «срываніе зрѣлыхъ плодовъ въ ученыхъ лабораторіяхъ», не по частнымъ справкамъ, а по всѣмъ извѣстнымъ фактамъ, засвидѣтельствованнымъ оффиціально, умѣли жертвовать собой въ минувшую войну. А разъ жертва на лицо, существуетъ и различеніе добра и зла. Здѣсь опять-таки вы оказались не въ силахъ отдѣлить объективный фактъ отъ субъективной его оцѣнки: вамъ не нравится извѣстное пониманіе добра и зла и, вмѣсто того, чтобы предъявить какіе-нибудь свои резоны, вы просто отрицаете несомнѣнный фактъ различенія добра и зла. Никогда и никакое дѣло не выигрывалось этимъ путемъ. Пусть вамъ аплодируютъ, пусть подносятъ лавровые вѣнки, ваше дѣло проиграно, объ чемъ я, конечно, не горюю. Но все-таки прискорбно, что первая попытка жреца науки подать свой голосъ въ общественномъ дѣлѣ такъ фальшива, такъ недостойна свѣтлой богини, которой онъ, жрецъ, оффиціально служитъ. Непроницательные люди могутъ подумать, что отъ лица науки можно и въ самомъ дѣлѣ сказать только то, что сказано вами. А это отнюдь не подниметъ значенія науки въ нашемъ отечествѣ. Даже совсѣмъ напротивъ.

Въ ближайшую связь съ источникомъ № 2 вы ставите «борьбу за существованіе, т. е. прикладные выводы, поставленные на счетъ теоріи Дарвина». Вы хотите сказать, что изъ теоріи Дарвина кѣмъ-то дѣлались безобразные нравственные выводы. Да, кѣмъ-то дѣлались нетолько безобразные въ нравственномъ отношеніи, но и ненаучные и нелогическіе выводы. Они къ намъ прибыли изъ Европы. И я васъ спрашиваю: кто у насъ старался дать отпоръ этимъ выводамъ, патентованные ученые люди или журналисты? Журналисты, милостивый государь, это фактъ, а ученые люди и пальцемъ не шевельнули и скорѣе поддерживали, чѣмъ опровергали справедливо вызывающіе ваше негодованіе выводы. Спросите своего товарища по службѣ въ университетѣ, профессора Мечникова: онъ слѣдитъ за литературой этого предмета и скажетъ вамъ, что ваше показаніе и здѣсь слѣдуетъ понимать «наоборотъ».

Источникъ живой воды № 3. «Борьба труда съ капиталомъ въ Россіи». Это трудный вопросъ, милостивый государь, и я не могу «изслѣдовать» его, особливо въ нѣсколькихъ строкахъ, какъ это удалось сдѣлать вамъ. Вы находите, что журналистика неправильно освѣщаетъ отношенія труда къ капиталу. Пожалуйста, освѣтите правильно. Кто не порадуется вѣскому слову человѣка науки въ вопросѣ, столь многихъ и столь справедливо интересующемъ! Но вы должны же предъявить какіе-нибудь факты, какія-нибудь доказательства, соображенія, выводы. На слово вамъ никто не повѣритъ, тѣмъ болѣе, что до сихъ поръ самое поучительное мѣсто въ вашемъ «изслѣдованіи» (вы серьезно прописываете это серьезное слово) гласитъ: труда въ Россіи *еще* нѣтъ. Это нѣсколько напоминаетъ отзывъ того капитана-исправника, который доносилъ начальству, что въ его районѣ нѣтъ ни климата, ни воздуха, а одинъ палящій зной. Если трудъ

русскаго мужика *еще* не трудъ, а такъ себѣ какое-то легкомысліе; если страна, прокармливающая сто милліоновъ желудковъ и выносящая довольно тяжеловѣсный бюджетъ, существуетъ безъ труда, то я могу только сказать: вотъ страна, «гдѣ зрѣетъ апельсинъ»: апельсинъ и ученые люди, отлично знающіе толкъ въ апельсинахъ. Я понимаю, что столь короткая расправа, столь македонское рѣшеніе вопроса должно нравиться трепещущимъ «жупела». Но неужели вы, въ самомъ дѣлѣ, думаете, что такими «изслѣдованіями» можно произвести благотворный переворотъ въ умахъ людей, по вашему мнѣнію, заблуждающихся, но способныхъ и желающихъ мыслить? Еслибы интересы этихъ людей были для васъ хоть сколько-нибудь дороги и вы, въ самомъ дѣлѣ, хотѣли бы образумить ихъ, освободивъ ихъ отъ пагубнаго вліянія журналистики, вы не написали бы такого «изслѣдованія», которое можетъ насмѣшить, раздражить, все, что хотите, но никакъ не убѣдить: вы не направляете журналистику, вы бьете ее, и—простите—бьете своими боками. Вотъ почему, признавая благотворность вашей задачи—заговорить отъ имени науки, я, повѣрьте моей искренности, съ величайшимъ прискорбіемъ долженъ признать исполненіе ея ниже всякой критики. А ужъ о степени цѣлесообразности ея и говорить не остается. Представьте себѣ, въ самомъ дѣлѣ, что какой-нибудь совершенно искренній человѣкъ, жаждущій свѣта, прослышавъ о вашемъ «изслѣдованіи» отношеній труда къ капиталу въ Россіи, обратится къ нему безъ всякой задней мысли. И вдругъ онъ получаетъ такой великолѣпный сюрпризъ, какъ уравненіе: трудъ въ Россіи=0. Останется-ли этотъ человѣкъ при васъ или пойдетъ искать истины въ другомъ мѣстѣ? Можетъ быть, журналистика сильно заблуждается, но такого колоссальнаго заблужденія она никогда не обнаруживала. О послѣдствіяхъ этого сопоставленія размыслите сами на досугѣ.

Источникъ живой воды, № 4: общинное землевладѣніе. «Ведущіе примѣрную борьбу примѣрнаго труда съ несуществующимъ капиталомъ, для большаго вдохновенія, любятъ поглядывать на русское общинное землевладѣніе. Дѣйствительно, оно является такимъ учрежденіемъ, которое, повидимому, наиболѣе способно лечь въ основаніе «новаго порядка вещей». На него, какъ вы, конечно, знаете, пророки новаго порядка указываютъ, какъ на такую особенность нашего отечества, которая напередъ оправдываетъ будущую ликвидацію нынѣшняго соціальнаго порядка. Дѣйствительно, при извѣстномъ свободомысліи, при свѣжести ума и сердца, не обремененныхъ рутинными познаніями, можно строить себѣ идеалъ такого порядка, гдѣ въ общеніи будетъ не одна земля, но и все прочее. Что же касается дѣтей, въ новомъ порядкѣ никто не будетъ отцомъ; но за то всѣ будутъ сообща имѣть надзоръ за общимъ воспитательнымъ домомъ—чего же лучше для практики полового подбора? Подбирайся свободно; вакансій въ воспитательномъ домѣ достанетъ, а не достанетъ—община добавитъ».

Я, разрушившій въ себѣ эстетику и принципіально затершій въ себѣ различіе между добромъ и зломъ, едва могъ выписать эту часть вашего «изслѣдованія» до такой степени она не чистоплотна. Но, кромѣ того, она совершенно неожиданна, ибо никто, никогда и нигдѣ, сколько мнѣ извѣстно (а я уже лѣтъ пятнадцать пристально слѣжу за литературой), не высказывалъ ничего подобнаго. Это плодъ единственно вашей игривой фантазіи, для ученаго и строго нравственнаго человѣка страннымъ образомъ направленной на пикантныя темы во вкусѣ французскихъ романистовъ третьяго сорта. Казалось бы, нѣтъ никакой возможности пристегнуть «клубничку» къ столь невинному, вѣками русской исторіи выросшенному и самимъ закономъ до извѣстной степени покровительствуемому учрежденію, какъ общинное землевладѣніе. Но когда за дѣло берется ученый человѣкъ съ игривой или раздраженной фантазіей, невозможное становится возможнымъ... Неужели и это защита науки? Неужели такими полемическими пріемами можно возбудить въ комъ бы то ни было уваженіе къ ученымъ людямъ?

Пора кончить, милостивый государь...

Вы высказали предположеніе, что я не разсчитывалъ на вашъ отвѣтъ, причемъ подразумѣвается, что этотъ побѣдоносный отвѣтъ совершенно разрушилъ мою увѣренность въ безнаказанности. Отчасти вы правы. Я, дѣйствительно, не очень разсчитывалъ на отвѣтъ. Но я очень желалъ его получить и, какъ это всегда бываетъ при сильныхъ желаніяхъ, какой-то внутренній голосъ шепталъ мнѣ: авось кривая вывезетъ! авось господинъ профессоръ откликнется! Помимо всякихъ другихъ мотивовъ, вы плохо изучили человѣческое сердце, если думаете, что роль гласа вопіющаго въ пустынѣ для кого-нибудь лестна и пріятна. А, впрочемъ, отвѣтъ вашъ я долженъ, дѣйствительно, признать въ извѣстномъ смыслѣ побѣдоноснымъ...

Я хотѣлъ сначала памфлетомъ отвѣчать на памфлетъ и таковъ именно былъ характеръ моего письма, не дошедшаго по адресу. Притомъ, я, однако, былъ далекъ отъ намѣренія подражать вашимъ полемическимъ пріемамъ. Такъ, напримѣръ, каковы бы ни были мои свѣдѣнія о семейной, интимной

жизни того или другого ученаго человѣка, я никогда не унижусь до полу-портретовъ, полу-фантазій и намековъ тонкихъ на то, чего не вѣдаетъ никто, и никогда не займу вниманіе читателей описаніемъ подбородковъ, какъ бы они ни высовывались впередъ. Равнымъ образомъ не стану я сообщать мнѣнія противника въ извращеніомъ видѣ («наоборотъ»). Памфлетъ этого вовсе не требуетъ, хотя этимъ, именно, отчасти объясняется фактическая побѣдоносность вашего отвѣта. Что же касается значительнаго числа людей, сочувствующихъ вамъ, то въ этомъ не вижу побѣды. Разъ существуютъ овцы и козлища, очень хорошо, если они обнаруживаются и идутъ одни налѣво, другіе направо. Такое выясненіе столь же въ моихъ интересахъ, сколько и въ вашихъ. Я очень радъ даже напечатанному въ «Гражданинѣ» письму двухъ харьковскихъ студентовъ, котораго я не читалъ, но которое, судя по газетнымъ отзывамъ, содержитъ въ себѣ панегирикъ вамъ и проклятіе мнѣ. Я думаю только, что помянутые два харьковскіе студента нѣсколько забыли долгъ благодарности, ибо кто, какъ не я, далъ вамъ поводъ выразить тѣ блестящія идеи и тѣ высокія нравственныя истины, которыя они встрѣтили въ вашей брошюрѣ? Какъ бы то ни было, но въ настоящемъ отвѣтѣ я могъ задаться только очень, очень скромною цѣлью. Если мнѣ удалось не то что убѣдить (для этого я слишкомъ связанъ), а хотя бы натолкнуть трепещущихъ «жупела» на ту мысль, что ваша брошюра, скажемъ для приличія, нецѣлесообразна, я совершенно доволенъ.

Да, вотъ еще что. Я пропустилъ одно обвиненіе, лично противъ меня направленное. Вы уличаете меня въ незнаніи отечественной географіи, потому что я «Полѣсье» отнесъ къ Малороссіи. Само по себѣ, это обвиненіе не заслуживало бы опроверженія, но такъ какъ вы на немъ построили нѣсколько игривостей, то осмѣлюсь сказать слѣдующее: я не хвастаюсь знаніемъ отечественной географіи, но твердо знаю, что Волынь (рѣчь шла у меня о волынскомъ Полѣсьѣ) населена малороссами. Можете и вы въ этомъ убѣдиться, заглянувъ въ любое сочиненіе по этнографической статистикѣ населенія Россіи.

V *).

Письмо къ издателямъ «Критическаго Обозрѣнія».

Милостивые Государи!

Съ января 1879 года вы будете издавать «Критическое Обозрѣніе», «журналъ для научной критики и библіографіи въ области наукъ историко-филологическихъ, юридическихъ, экономическихъ и государственныхъ», Отъ души привѣтствую ваше намѣреніе и позволяю себѣ служить вамъ чѣмъ могу—на первый разъ перепечаткой вашей profession de foi. Вы говорите:

«Нѣтъ сомнѣнія, что безпристрастная и дѣльная критическая оцѣнка научныхъ трудовъ представляетъ лучшее мѣрило уровня научнаго развитія въ каждой цивилизованной странѣ. Безъ такой критики наука не можетъ стоять на прочныхъ основаніяхъ: съ одной стороны труды, дѣйствительно, расширяющіе область человѣческаго знанія, могутъ оставаться многимъ неизвѣстными и проходить незамѣченными, если не затрогиваютъ интересовъ дня или не находятъ компетентныхъ рецензентовъ; съ другой—сочиненія quasi-ученыя и подкупающія публику современностью мыслей могутъ получать значеніе, котораго не заслуживаютъ. Безъ такой критики, наши ученые склонны впадать въ ту или другую крайность: одни относятся свысока къ западной наукѣ, игнорируютъ добытые ею результаты и вносятъ въ область науки духъ національности; другіе, напротивъ, склонны къ слѣпому, безотчетному благоговѣнію передъ западными авторитетами и считаютъ высшею честью получить похвальный отзывъ отъ какой нибудь иностранной посредственности. Наконецъ, безъ такой критики—что можетъ нравственно поддерживать изслѣдователя въ его работѣ? Часто случается, что добросовѣстный и многолѣтній трудъ подвергается или полному забвенію или-же голословному осужденію лишь потому, что не подходитъ по направленію къ тому или другому журнальному лагерю; часто бываетъ, что въ силу той же тенденціозности, какая нибудь слабая компиляція возвеличивается некомпетентнымъ, но бойкимъ рецензентомъ лишь потому, что ея направленіе соотвѣтствуетъ цѣлямъ той или другой редакціи. Не мудрено, что въ глазахъ образованной публики современная журнальная критика утратила въ значительной степени свой кредитъ: начиная просматривать критическую статью, нѣсколько опытный читатель знаетъ напередъ, что не найдетъ въ ней въ большинствѣ случаевъ безпристрастной научной оцѣнки, которою могъ бы руководиться. Слѣдя за научной полемикой, онъ такъ-же хорошо знаетъ, что едва-ли составимъ себѣ правильное понятіе о томъ, кто правъ, кто—нѣтъ, потому что вмѣсто научныхъ доводовъ можетъ легко натолкнуться на личныя нападки, придирки, извращеніе чужихъ мнѣній и нерѣдко подтасовку фактовъ».

Милостивые государи, если вы потрудитесь просмотрѣть мои первыя три письма къ ученымъ людямъ, то вы, безъ сомнѣнія, согласитесь, что я почти предчувствовалъ ваше появленіе на журнальномъ поприщѣ. Я былъ нѣкоторымъ образомъ выразителемъ той общественной потребности въ живомъ словѣ ученыхъ людей, которая, очевидно, столь назрѣла, что удовлетвореніе ея явилось почти немедленно вслѣдъ за ея выраженіемъ. Самымъ фактомъ своего появленія на аренѣ журналистики вы свидѣтельствуете о своемъ намѣреніи положить конецъ той розни между

*) 1878. декабрь.

наукой и жизнью, которой давно бы пора было кончиться. Въ добрый часъ! Позвольте же мнѣ, одному изъ самыхъ усердныхъ будущихъ читателей вашего журнала, выразить вамъ нѣсколько пожеланій. Это не будутъ совѣты, вы едва ли признаете за мной право давать ихъ, а только скромныя желанія читателя, для васъ во всякомъ случаѣ небезъинтересныя особливо при новости дѣла, за которое вы взялись.

Я думаю, что отчасти именно благодаря новости для васъ журнальнаго дѣла вы выразили столь рѣзкое сужденіе о журналистикѣ. Я вовсе не недумаю защищать журналистику огуломъ и допускаю значительную долю справедливости за вашимъ сужденіемъ. Но я хотѣлъ бы обратить ваше вниманіе на слѣдующія два обстоятельства.

«Часто случается, что добросовѣстный и многолѣтній трудъ подвергается или полному забвенію или же голословному осужденію лишь потому, что не подходитъ по направленію къ тому или другому журнальному лагерю; часто бываетъ, что въ силу той же тенденціозности, какая нибудь слабая компиляція возвеличивается некомпетентнымъ, но бойкимъ рецензентомъ лишь потому, что ея направленіе соотвѣтствуетъ цѣлямъ той или другой редакціи». Да, правда, все это часто случается, но я думаю, что кое что въ этомъ родѣ будетъ случаться и съ вами, если только вашему журналу суждена будущность. Я вполнѣ увѣренъ, что на страницахъ «Критическаго Обозрѣнія» не будетъ возвеличиваться недостойное и принижаться достойное — это правило обязательно для каждаго журнала. Но я сильно сомнѣваюсь, чтобы, въ особенности въ тѣхъ областяхъ знанія, которымъ вы посвятили свои силы, было возможно устраненіе «цѣлей редакціи» и «направленія» при отдѣленіи достойнаго отъ недостойнаго. Я не сомнѣваюсь въ вашей искренности. Ученымъ людямъ свойственно заблуждаться насчетъ своей «объективности», какъ говорятъ нѣмцы, насчетъ возможности жить и дѣйствовать внѣ всякихъ «направленій». Но это заблужденіе, и вы не замедлите сами убѣдиться въ этомъ, какъ только наука въ вашемъ лицѣ столкнется съ жизнью, какъ только вы сгруппируете вокругъ себя извѣстное число людей, горячо преданныхъ своему дѣлу. Явятся и направленіе, и цѣли редакціи. И въ этомъ нѣтъ ничего худого. Вы призваны руководить обществомъ, а какіе же вы будете руководители, если въ отдѣлѣ, скажемъ, экономическомъ, на одной страницѣ помѣстите изслѣдованіе о безтрудности существованія русскаго мужика, а на другой—изслѣдованіе о нашей податной системѣ. Вы скажете, что безтрудность есть и съ чисто объективной точки зрѣнія нелѣпость. Это правда. Но въ области этики и политики любое изслѣдованіе сопровождается не только объективными фактами, а и чисто субъективными моментами, каковы надежды, опасенія, желанія, идеалы. А такъ какъ идеалы бываютъ разные и часто несовмѣстимые, то вы, я полагаю, самою практикою журнальнаго дѣла будете приведены къ нѣсколько болѣе снисходительному сужденію о наличной журналистикѣ. Вы не будете возвеличивать недостойное и принижать достойное, но и «направленіямъ» вы воздадите по достоинству. Иначе вы, отвергнувшіе жизнь, будете сами ею отвергнуты и ваше прекрасное начинаніе не будетъ имѣть ровно никакого успѣха. Собственно, въ виду этой печальной возможности, я и скорблю о рѣзкости вашего осужденія журналистики.

Далѣе изъ мотивовъ вашей программы видно, что вы усматриваете «поврежденіе нравовъ» только въ журнальныхъ рецензентахъ, отъ пристрастія и не компетентности которыхъ страдаютъ интересы русской науки. О поврежденіи же нравовъ въ средѣ представителей самой науки вы не говорите ничего, какъ будто его и не бывало. Будетъ очень печально, если эта односторонность отразится и на исполненіи программы. Позволю себѣ обратить ваше вниманіе на двѣ группы фактовъ изъ жизни русской науки.

Въ Одессѣ существуетъ «новороссійское общество естествоиспытателей». Въ засѣданіи 4-го октября нынѣшняго года, членъ общества, г. Шведовъ, просилъ ассигновать на изданіе его сочиненія «о кометахъ» 300 руб., на что и послѣдовало согласіе общества. Затѣмъ оказалось, что г. Шведовъ желаетъ печатать свое сочиненіе на французскомъ языкѣ. Послѣдовало опять согласіе, на томъ основаніи, что въ уставѣ общества ничего не говорится о томъ, на какомъ языкѣ должны печататься сочиненія гг. членовъ. Дѣйствительно, уставъ объ этотъ ничего не говоритъ, но онъ говоритъ, между прочимъ, что цѣль общества состоитъ въ распространеніи естественно-историческихъ знаній въ Россіи; говоритъ также, что общество ежегодно получаетъ казенную субсидію. Конечно, еслибы мы жили въ той Аркадіи, «гдѣ зрѣетъ апельсинъ», гдѣ, благодаря отсутствію труда, казенныя субсидіи получаются тѣмъ же способомъ, какимъ евреи получали небесную манну въ пустынѣ, нечего было бы и разговаривать. Но такъ какъ мы живемъ не въ этой, а въ другой Аркадіи, то является любопытный вопросъ: въ какой мѣрѣ общество, имѣющее цѣлью распространеніе знаній въ Россіи и получающее казенную субсидію, призвано просвѣщать французовъ и благополучныхъ рос-

сіянъ, знающихъ французскій языкъ? Фактъ самъ по себѣ незначителенъ (отвѣтственность за его достовѣрность я возлагаю на моего корреспондета), но чрезвычайно характеренъ. Онъ свидѣтельствуетъ, что русскіе ученые люди даже въ тѣхъ случаяхъ, когда они связаны спеціальными обязательствами служить русскому обществу, склонны отъ этихъ обязательствъ отлынивать. И изъза чего? Въ настоящемъ случаѣ, просто изъза каприза: судя по фамиліи, г. Шведовъ долженъ владѣть русскимъ языкомъ, по крайней мѣрѣ, не хуже, чѣмъ французскимъ, а французскія сочиненія ничто не мѣшаетъ ему печатать во французскихъ научныхъ изданіяхъ. Я не знаю изъ-за чего гг. профессора такъ рѣдко печатаютъ свои лекціи; не знаю изъ-за чего русскіе ученые люди ѣздятъ иногда за тридевять земель рыться въ архивахъ и затѣмъ печатаютъ по-русски историческія сочиненія, мало интересныя для русскаго читателя и недоступныя для иностраннаго. Не знаю изъ-за чего. Но знаю, что все это весьма сильно подрываетъ жизненное значеніе русской науки, которая, слѣдовательно, страдаетъ не только оттого, что журнальные рецензенты пристрастны и некомпетентны.

Передо мной лежатъ: «Кіевскія Университетскія Извѣстія» за сентябрь 1878 года, «Отвѣтъ на рецензіи г. Беца» г. Коломнина (Спб., 1878 года) и «Отвѣтъ гг. Шефферу, Минху и Мерингу» г. Афанасьева (Кіевъ, 1878 года). Это все продукты полемики ученыхъ людей, а не какихъ-нибудь бойкихъ, но некомпетентныхъ журнальныхъ рецензентовъ. Не имѣю спеціальныхъ знаній, нужныхъ для оцѣнки этой полемики по существу, а изъ нея самой научиться чему нибудь трудно. Прочитавъ упомянутые документы, представляющіе въ совокупности любопытнѣйшую исторію кандидатуръ на двѣ вакантныя каѳедры, вы убѣдитесь, что не только возможны діаметрально противоположные отзывы двухъ спеціалистовъ объ однихъ и тѣхъ-же трудахъ третьяго спеціалиста, но возможны діаметрально противоположные отзывы *одного и того-же* спеціалиста, объ однихъ и тѣхъ-же трудахъ (такіе два отзыва даны г-мъ Караваевымъ о г-нѣ Коломнинѣ). Но этого мало. Г. Коломнинъ объ одной части этой полемики высказывается такъ: «истинный смыслъ ея пойметъ лишь тотъ, кто умѣетъ читать между строчекъ протоколовъ ученыхъ собраній, что предполагаетъ, разумѣется, знаніе личнаго состава его членовъ, его направленія и традицій и т. д.» Гдѣ-же, значитъ, намъ, профанамъ, во всемъ этомъ разобраться! Г. Шефферъ упрекаетъ г. Шкляревскаго: «онъ самымъ безцеремоннымъ образомъ поступаетъ съ рецензіей Меринга, очень часто совершенно извращаетъ смыслъ его словъ и, возражая ему, беззастѣнчиво высказываетъ самые явные парадоксы (чтобы не сказать болѣе) и выдаетъ ихъ за послѣднее слово науки». Съ своей стороны г. Шкляревскій публикуетъ, что г. Шефферъ «въ засѣданіяхъ факультета съ свойственною ему откровенностью неоднократно заявлялъ, что если на означенныя рецензіи будутъ представлены письменныя возраженія, то на эти послѣднія будутъ написаны анти - возраженія, и что всѣ эти бумаги будутъ циркулировать между членами факультета, вслѣдствіе чего выборы г. Соколова затянутся надолго. Зная изъ дѣла г. Коломнина дѣйствіе такой процедуры, я и нѣкоторые мои товарищи» и т. д. Обобщая, повидимому, цѣлый рядъ фактовъ, г. Мерингъ пишетъ: «каждое замѣщеніе вакантной каѳедры служитъ обыкновенно новой причиной распри членовъ факультета и вызываетъ естественное недовѣріе къ дѣйствіямъ факультета со стороны совѣта, нерѣдко даже со стороны высшаго начальства»; «возникаютъ нерѣдко такіе споры между членами факультета, которые дѣлаютъ достойную и безпристрастную оцѣнку кандидата немыслимою». Г. Афанасьевъ, вполнѣ сходясь въ этой характеристикѣ съ своимъ противникомъ, прибавляетъ отъ себя: «завѣдомо пристрастное отношеніе членовъ факультета къ дѣлу замѣщенія каѳедръ ставитъ каждаго кандидата въ крайне незавидное положеніе, такъ какъ, вмѣсто справедливой оцѣнки, на него набрасываются съ пѣной у рта, осыпаютъ его бранью, клевещутъ на него и даже не гнушаются прибѣгать къ провинціальному орудію—сплетнѣ».

И т. д., и т. д. Цѣлый, какъ видите, букетъ незабудокъ и розъ не безъ шиповъ. Во всякомъ случаѣ масличной вѣтви въ этомъ букетѣ нѣтъ. Повторяю, намъ, профанамъ, въ этихъ распряхъ не разобраться. Кое-гдѣ пробивается свѣтъ, разумѣется, и для насъ, когда распря касается не медицины, а логики и добросовѣстности. Напримѣръ, г. Боткинъ (по желанію представителей кіевскаго университета) указываетъ на доктора Соколова, какъ на человѣка, который «съ честью можетъ занять каѳедру терапевтической клиники». Г. Мерингъ не признаетъ г. Соколова достойнымъ кандидатомъ на томъ, между прочимъ, основаніи, что «статьи, мысль, пріемы и результаты опытовъ» г. Соколова «принадлежатъ въ сущности профессору Боткину». И когда вслѣдъ затѣмъ тотъ-же г. Мерингъ утверждаетъ, что «въ клиницисты не годится тотъ, кто, бывши ассистентомъ профессора Боткина, еще не понялъ что значитъ компенсація сердца и

кто способенъ напечатать подобные рефераты изъ знаменитой клиники»,—то и мы, профаны, начинаемъ кое-что понимать. Равнымъ образомъ, когда г. Караваевъ даетъ сначала благопріятный отзывъ о г. Коломнинѣ и вслѣдъ затѣмъ неблагопріятный; когда спеціальная полемика о научныхъ трудахъ по медицинѣ спускается до препирательства объ употребленіи грамматическихъ формъ и т. п.—мы получаемъ возможность «свое сужденіе имѣть». Совокупность этихъ отрывочныхъ проблесковъ свѣта для темныхъ людей должна, мнѣ кажется, убѣдить всякаго, что логика и добросовѣстность находятся не на сторонѣ противниковъ гг. Соколова, Афанасьева и Коломнина.

Какъ бы то ни было, ознакомившись съ этой поучительной полемикой, вы увидите, что рѣзкость вашего отзыва о журналистикѣ можетъ быть и справедлива, но очень односторонняя. Если въ журналистикѣ многое заклается на алтарѣ «направленія» и «цѣлей редакціи», каковой алтарь совершенно законенъ, то въ ученомъ мірѣ приносится иногда не меньше жертвъ на алтарѣ нѣсколько иного свойства. Я не защищаю всей журналистики и не обвиняю всѣхъ ученыхъ людей. Я только напутствую васъ на новомъ для васъ поприщѣ, напутствую призывомъ къ справедливости.

Житейскія и художественныя драмы *).

I.

Лѣтомъ 1878 года всѣ обратили вниманіе на огромное число самоубійствъ между военными и на совершенную, повидимому, ихъ безпричинность.

Вотъ нѣсколько газетныхъ извѣстій.

Къ первой половинѣ іюня, жившій въ лагерѣ при Александрополѣ (Эриванской губерніи), подполковникъ Тихомировъ застрѣлился. «Причина самоубійства пока неизвѣстна, но для разъясненія этого весьма загадочнаго и непонятнаго происшествія, назначено формальное слѣдствіе, которое, можетъ быть, что-нибудь и раскроетъ изъ этой таинственной исторіи. Говорятъ, что никто изъ лицъ, окружавшихъ Тихомирова, имѣвшаго отъ роду около 50 лѣтъ, даже въ послѣднее время его жизни, не замѣчалъ въ немъ ничего такого, что могло бы подать хотя малѣйшій поводъ подозрѣвать у него намѣреніе къ покушенію на самоубійство».

Въ лагерѣ близъ Рущука, въ Болгаріи, лишилъ себя жизни выстрѣломъ изъ револьвера штабсъ-капитанъ Бырдинъ. «Истинная причина самоубійства неизвѣстна».

Во второй половинѣ іюня, въ лагерѣ подъ Елисаветполемъ застрѣлился штабсъ-капитанъ Лобадовскій. «Причина самоубійства даже самымъ близкимъ къ нему людямъ неизвѣстна».

Въ Севастополѣ застрѣлился «молодой, едва начавшій свою карьеру», прапорщикъ Бѣлостокскаго полка Оболонскій.

Въ Елисаветградѣ хоронили 30-го іюня «единственнаго сына одного изъ мѣстныхъ помѣщиковъ, вольноопредѣляющагося Іосифа Роговскаго. Несчастный девятнадцатилѣтній юноша покончилъ жизнь двумя выстрѣлами изъ револьвера. По поводу этого самоубійства, какъ слышно, назначено слѣдствіе, которое, вѣроятно, и раскроетъ истинную причину, вынудившую молодого человѣка такъ рано покончить съ собой».

Въ Адріанополѣ лишилъ себя жизни выстрѣломъ изъ револьвера младшій ординаторъ военновременнаго № 11 госпиталя, молодой врачъ, лѣкарь Гурбскій, «самоубійство котораго многихъ крайне озадачило и очень поразило... По закрытіи того госпиталя, въ которомъ онъ такъ много потрудился, ему предстояло скорое возвращеніе на родину, для отдыха послѣ тяжелыхъ трудовъ, и вотъ, за нѣсколько дней до выѣзда въ Россію изъ Румеліи, этотъ несчастный труженикъ, повидимому, безъ всякой причины внезапно наложилъ на себя руки».

Въ первыхъ числахъ іюля, въ деревнѣ Пандырвали, въ Малой Азіи, застрѣлился субалтернъ-офицеръ 159-го пѣхотнаго Гурійскаго полка, прапорщикъ Правѣдовъ. «Причины самоубійства неизвѣстны съ достовѣрностью».

Находившійся въ Болгаріи, прикомандированный къ 62-му пѣхотному Суздальскому полку полковникъ Брянчаниновъ лишилъ себя жизни, утопившись въ рѣкѣ. «Причина самоубійства неизвѣстна».

Во второй половинѣ іюня, въ Дерменде-ре, въ Болгаріи, три субалтернъ-офицера

*) 1879, январь, февраль.

123-го пѣхотнаго Козловскаго полка, прапорщики Младовъ, Григорьевскій и Антоновскій произвели покушеніе на самоубійство. Младовъ и Григорьевскій покончили съ собой сразу, но Антоновскій только нанесъ себѣ выстрѣломъ изъ револьвера тяжкую рану. «Причина, побудившая этихъ юношей на самоубійство, достовѣрно неизвѣстна. Одно только несомнѣнно, что въ нашей дѣйствующей арміи, какъ въ Болгаріи, такъ и въ Малой Азіи, особенно въ послѣднее время, стали слишкомъ часто повторяться самоубійства офицеровъ, иногда, повидимому, безъ всякихъ особенно уважительныхъ причинъ».

Но не въ одной только дѣйствующей арміи обнаружилась между военными людьми усиленная склонность къ самоубійству.

Въ лагерѣ на Ходынскомъ полѣ застрѣлился командиръ 2-й стрѣлковой роты Ростовскаго полка, Швинтъ. Въ лагерѣ подъ Варшавой застрѣлился прапорщикъ Жалобинскій. Что было причиной самоубійства этого молодого офицера, еще только начавшаго жить—осталось тайной... При жизни этого несчастнаго человѣка, даже въ самое послѣднее время передъ самоубійствомъ его, никто изъ самыхъ близкихъ къ нему лицъ ничего не замѣчалъ въ его дѣйствіяхъ и поступкахъ такого, что могло бы возбудить хотя малѣйшее предположеніе о намѣреніи его наложить на себя руки». Въ Петербургѣ, въ іюнѣ, застрѣлился въ ресторанѣ братьевъ Вольфъ капитанъ гвардейской конной артиллеріи Кутузовъ; въ августѣ застрѣлился юнкеръ князь Хилковъ; въ іюлѣ застрѣлился изъ ружья рядовой Новочеркасскаго полка Братолюбовъ, изъ вольноопредѣляющихся.

Послѣдній оставилъ, какъ гласитъ газетное извѣстіе, «довольно странную записку»: «стрѣляюсь потому, что служить тяжело». Записка, въ самомъ дѣлѣ, довольно странная. Почти такая же странная, какъ та, которую нашли, въ августѣ, на трупѣ молодого «неизвѣстнаго званія» мужчины: «отравляюсь кислотой отъ невеселой своей жизни; на свѣтѣ надоѣло жить. Максимъ». Молчаливый Максимъ оставилъ объяснительную записку и всетаки ничего не сказалъ. Оставляя на время въ сторонѣ спеціально военныя самоубійства и просматривая длинный рядъ всякаго рода самоубійствъ нынѣшняго лѣта, невольно наталкиваешься на эту молчаливость, какъ на наиболѣе общую, наиболѣе типичную черту русскихъ самоубійцъ. «Причины неизвѣстны», а если извѣстны, такъ «отъ невеселой своей жизни». Какая драма закончилась смертью, какая связь между жизнью и смертью?—остается слишкомъ часто нетолько неизвѣстнымъ, но и непонятнымъ даже для самыхъ близкихъ къ самоубійцѣ людей. Легко можетъ быть, что ни одинъ изъ тѣхъ трехъ прапорщиковъ, которые предприняли въ Болгаріи коллективное самоубійство, не зналъ «достовѣрно» причинъ, побудившихъ его товарищей наложить на себя руки. По крайней мѣрѣ, таковъ именно характеръ коллективнаго покушенія на самоубійство двухъ молодыхъ людей въ Саратовѣ (тоже нынче лѣтомъ): «пріятели выпили; но выпитое вино не только не веселило ихъ душу, но и навело ихъ на мрачныя мысли. «Знаешь ли что, сказалъ хозяину гость: —совсѣмъ надоѣла жизнь, я хочу застрѣлиться».—Что-жъ, дѣло хорошее, отвѣтилъ тотъ.—«У меня, кстати, и револьверъ есть... Только боюсь, толку въ немъ будетъ немного: больно ужъ малъ», и т. д. Въ концѣ-концовъ, револьверъ, дѣйствительно, оказался ниже своего назначенія, и пріятелямъ застрѣлиться не удалось. Въ участкѣ, куда привели обоихъ раненыхъ, они, на предлагаемые вопросы, отвѣчали все тоже: «не стоитъ жить, скучно». Надо думать, что они совершенно искренно упорствовали и даже самимъ себѣ не могли объяснить хотя бы только болѣе пространно психическій процессъ, приведшій ихъ къ мысли о двойномъ самоубійствѣ. Бываютъ, конечно, и русскіе самоубійцы разговорчивые, даже болтливые. Но въ ихъ предсмертныхъ запискахъ, часто очень искреннихъ и трогательныхъ, сплошь и рядомъ мотивы рѣшенія покончить съ собой остаются въ какомъ-то туманѣ, сквозь который посторонній человѣкъ ничего разглядѣть не можетъ. Разумѣется, иногда и «камни вопіютъ», самая обстановка самоубійцы говоритъ за него съ полною ясностью, но самъ-то убійца слишкомъ часто не то не умѣетъ, не то не можетъ, не то не хочетъ разсказать, какое жизненное колесо его раздавило. Эта вольная или невольная молчаливость нашихъ самоубійцъ особенно бросается въ глаза при сравненіи съ европейскими самоубійствами, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыми.

За нынѣшнее лѣто въ русскія газеты попали только два извѣстія о заграничныхъ самоубійствахъ. Вотъ что пишетъ въ своей прощальной запискѣ къ дочери извѣстный военный писатель Рюстовъ: «Ты видишь, милая Аннели, что не каждый, кто ищетъ работы, находитъ ее. Не смотря на признанное всѣми обширное, основательное свое образованіе и способность къ труду, отецъ твой не могъ пріискать себѣ занятій. Съ другой стороны, ты видишь, что тутъ же въ Цюрихѣ многіе, образованіе которыхъ ограничивается почти однимъ только умѣньемъ читать и писать, занимаютъ важныя должности, на которыхъ они, разумѣется, ни-

чего путнаго сдѣлать не могутъ, и затѣмъ принимаютъ участіе въ разныхъ дутыхъ предпріятіяхъ, гдѣ и преслѣдуютъ единственную доступную ихъ пониманію цѣль — наживы. Ты не забудешь этого, милое дитя, и никогда не скажешь бѣдняку, который попроситъ у тебя милостыни, что еслибы онъ хотѣлъ, то нашелъ бы себѣ работу. Нерѣдко бываетъ, что самый лучшій рабочій не находитъ себѣ занятія. Съ другой стороны человѣкъ, во всѣхъ отношеніяхъ негодный, находитъ возможность жить припѣваючи, безъ всякаго труда. Благодарю Бога, что послѣ меня остаются однѣ лишь дочери. Еслибы у меня были сыновья, я могъ бы опасаться, что они, для того, чтобы жить безбѣдно, вынуждены будутъ сдѣлаться негодяями».

Это—цѣлая физіологія современнаго общества, цѣлый трактатъ, сжатый, сильный, ясный. А у насъ молчаливый Максимъ умираетъ просто отъ невеселой своей жизни, а то такъ и ровно ничего не оставляя въ назиданіе современникамъ и потомству. Можно, конечно, сказать, что одно дѣло—высокообразованный Рюстовъ, и другое дѣло—первый встрѣчный Максимъ. Но у насъ, напримѣръ, высокообразованный Чаславскій унесъ нынче лѣтомъ свою тайну въ гробъ съ еще большею молчаливостью, чѣмъ Максимъ, и точно также молча провалился молодой докторъ Гурбскій. А тѣ молодые и старые офицеры, которые покончили съ собой въ Болгаріи и Малой Азіи, разумѣется, были настолько образованы, чтобы хоть просто отмѣтить на клочкѣ бумажки подкосившія ихъ впечатлѣнія войны (дѣло было, по всей вѣроятности, именно въ этихъ впечатлѣніяхъ).

Другой случай заграничнаго самоубійства былъ такой. «Въ Капронѣ, въ штатѣ Иллинойсѣ, образованный, но утомленный жизнью человѣкъ, нѣкто Джорджъ Борлей, возвѣстилъ на 23-е іюля лекцію въ либеральномъ духѣ, съ примѣчаніемъ, что доставитъ слушателямъ рѣдкое удовольствіе быть свидѣтелями переселенія человѣка въ «вѣчное ничто», такъ какъ по окончаніи лекціи, онъ застрѣлится. Цѣна за входъ была назначена по одному фунту стерлинговъ съ персоны, и со сбора предположено было покрыть издержки на погребеніе лектора и пріобрѣсти для мѣстной библіотеки сочиненія Гекели и Дарвина. Лекція состоялась въ назначенный вечеръ и въ высшей степени заинтересовала многочисленныхъ слушателей: по окончаніи же ея Борлей сдержалъ слово: онъ пустилъ себѣ пулю въ лобъ прежде, чѣмъ его успѣли отъ этого удержать».

Борлей не оставилъ предсмертной объяснительной записки, подобно Рюстову. Газетное извѣстіе не сообщаетъ, къ сожалѣнію, содержанія его эксцентрической лекціи, которое, можетъ быть, даетъ не меньше письма Рюстова. Не смотря, однако, на эти пробѣлы, образъ Борлея совершенно ясенъ, благодаря завѣщанію пріобрѣсти сочиненія Дарвина въ связи съ упоминаніемъ о «вѣчномъ ничто». По Дарвину, жизнь сама собой питается, сама себя пожираетъ въ формѣ борьбы за существованіе, и поэтому-то къ дарвинизму такъ благосклонны всѣ пессимисты. Но признавъ эту враждебную жизни доктрину истиной, благородный и мыслящій человѣкъ долженъ естественно почувствовать глубокое отвращеніе отъ жизни, и, послѣдовательности ради, фактически броситься въ таинственныя и мрачныя объятія Нирваны. Но и въ моментъ разставанья съ жизнью, онъ всетаки долженъ заявить, что исповѣдуемое имъ ученіе истинно. Такъ и поступилъ Борлей. Тутъ связь между мыслью и жизнью, между жизнью и смертью не оставляетъ ничего желать въ смыслѣ полноты и ясности. Этой потребности или этого умѣнья всенародно обнажить свою душу, самымъ фактомъ, самымъ даже способомъ своей смерти громогласно заявить свои вѣрованія и разочарованія—у русскихъ самоубійцъ почти совсѣмъ нѣтъ. И если искать хоть что-нибудь подходящее къ самоубійству Борлея между русскими людьми, добровольно окунувшимся въ «вѣчное ничто» въ одно время съ нимъ, такъ придется остановиться на смерти чиновника палаты государственныхъ имуществъ въ Каменецъ-Подольскѣ. Этотъ несчастный бросился въ отхожее мѣсто, оставивъ записку, что «предпочитаетъ утонуть въ отхожемъ мѣстѣ, нежели служить съ негодяями». Газетный корреспондентъ сообщаетъ слухъ, что здѣсь «скрывается какая-то канцелярская драма». Драмы бываютъ всякія, бываютъ и канцелярскія; какая именно драма свела чиновника палаты государственныхъ имуществъ въ отхожее мѣсто—неизвѣстно, но вы, по крайней мѣрѣ, видите ясную тенденцію въ его самоубійствѣ, своеобразный юморъ сравненія среды, окружавшей его при жизни, со средою, избранною имъ для смерти, и, слѣдовательно, желаніе что-то заявить своей смертью, послать кому-то укоръ и урокъ. Обыкновенно и этого не бываетъ.

Драмъ много, слишкомъ много при бѣдности нашей по части декорацій и бутафорскихъ вещей, но онѣ все больше какъ-то безъ рѣчей ведутся и безъ рѣчей заканчиваются; или же такими рѣчами кончаются, изъ которыхъ трудно выжать что-нибудь, кромѣ того, что жилъ, жилъ человѣкъ, взялъ да умеръ. Найдутся охотники объяснить это обстоятельство необыкновенною глубиною русскаго духа, тѣмъ якобы спеціально рус-

скимъ отвращеніемъ отъ фразерства, которое давно уже на языкѣ у всѣхъ фразеровъ, или тѣмъ смиреніемъ и безропотностью, которыя намъ, какъ націи, усвояются людьми, не особенно смиренно расправляющимися (спасибо, на словахъ только) съ судьбами народовъ. Дескать, Рюстовъ—фразеръ, такъ и навалялъ передъ смертью цѣлую диссертацію, а нашъ Максимъ—молодецъ, только и сказалъ, что «отъ невеселой своей жизни». Джорджъ Борлей—человѣкъ гордый, лишенный благодати смиренія, вотъ онъ и устраиваетъ изъ своей смерти эффектное зрѣлище, а наши три прапорщика кончаютъ съ собой совсѣмъ смирно и смиренно. Кому это объясненіе нравится, тотъ пусть при немъ и остается. Но намъ оно кажется и мало лестнымъ для русскихъ молодцовъ и смиренниковъ, и совершенно невѣроподобнымъ. Такъ въ балаганахъ разсказываютъ: «вотъ извольте смотрѣть, турки валятся, какъ чурки, а наши безъ головъ стоятъ, да табачокъ понюхиваютъ». При видѣ молчаливаго человѣка нѣтъ надобности предполагать, что онъ молчитъ непремѣнно изъ отвращенія къ фразѣ или изъ смиренія. Можетъ быть ему просто сказать нечего. Это для большинства случаевъ гораздо вѣроятнѣе. Можетъ быть, и Максимъ, и три прапорщика и проч., и проч. просто «своихъ словъ не имѣютъ», не умѣютъ разсказать, что именно ихъ гнететъ, не даетъ жить, сводитъ въ могилу. Само собою разумѣется, что самоубійствамъ вслѣдствіе несчастной любви, самоубійствамъ воспитанниковъ учебныхъ заведеній, исключенныхъ или не выдержавшихъ экзамена и т. п., соотвѣтствуютъ психическіе процессы до такой степени элементарные, что объ ихъ непониманіи не можетъ быть и рѣчи. Но нельзя того же сказать о тѣхъ многочисленныхъ случаяхъ, въ которыхъ причины самоубійства остаются неизвѣстными и непонятными даже самымъ близкимъ людямъ или исчерпываются общими фразами: «отъ невеселой своей жизни», «жить надоѣло», «скучно» и т. п. Въ предположеніи, что самоубійцы этого рода сами не сознаютъ съ полною отчетливостью изъ за чего они стрѣляются, рѣжутся и топятся, въ этомъ предположеніи нѣтъ ничего для самоубійцъ оскорбительнаго. Статистики высчитываютъ зависимость числа самоубійцъ, напримѣръ, отъ колебанія цѣнъ на хлѣбъ. Подобная связь, въ общемъ, несомнѣнно существуетъ, но для каждаго отдѣльнаго случая это въ такой же мѣрѣ справедливо, какъ то, что волна, произведенная камнемъ, брошеннымъ въ Атлантическій океанъ въ Испаніи, добѣгаетъ до нашего Кронштадта. Повышеніе цѣны на хлѣбъ настигаетъ Максима и Борлея, Рюстова и каменецъ-подольскаго чиновника такими длинными и сложными путями, что прослѣдить ихъ нѣтъ никакой возможности. Примѣръ этому страдаетъ крайностью и односторонностью; мы привели его только наглядности ради. Дѣло въ томъ, что и ближайшая причина самоубійства можетъ не доходить до сознанія самоубійцы или очень смутно въ немъ отражаться. Это, конечно, должно чаще случиться у насъ, чѣмъ въ Европѣ, гдѣ сфера безсознательнаго вообще уже, гдѣ жизненные пути давно строго опредѣлились, гдѣ самосознаніе, слѣдовательно, и привычнѣе, и доступнѣе. Европеецъ можетъ ошибаться на счетъ истинныхъ причинъ «не веселой своей жизни», можетъ понимать ихъ узко и односторонне, но онъ не затруднится указать ихъ и съ большею или меньшею отчетливостью формулировать свое недовольство. Русскому человѣку это много труднѣе сдѣлать. Что-то щемитъ, давитъ, сосетъ сердце, а что? Максимъ молчитъ; онъ и самъ не знаетъ. Не знаетъ, кого или что проклинать, кого или что винить за свою испорченную жизнь. Смутно, въ глубинѣ души, что-то копошится, но нѣтъ ни вполнѣ сознательной мысли, ни, слѣдовательно, словъ...

Это—самая драматическая сторона въ русскихъ драмахъ, кончающихся самоубійствомъ. Тяжела жизнь, если она обрывается добровольно, но она еще тяжелѣе, если нѣтъ силъ не только бороться съ тѣмъ, что давитъ, но нѣтъ силъ даже словами выразить весь ужасъ своего положенія. Всѣмъ знакомъ тяжелый кошмаръ: приближается какая-то страшная, но неясная опасность, надо бы крикнуть, позвать на помощь и—нѣтъ крику, нѣтъ силъ позвать... А! еслибы крикнуть! еслибы найти тѣ потрясающія сочетанія звуковъ, въ которыхъ можно бы было вылить измученную душу, призвать на помощь и взволновать всѣхъ, всѣхъ своею исповѣдью... Быть можетъ, мы ошибаемся, быть можетъ, совсѣмъ не такъ слѣдуетъ объяснять молчаливость русскихъ самоубійцъ. Но самая молчаливость на лицо, а почему бы то ни было невысказанное горе—двойное горе, и эту мрачнѣйшую сторону русскихъ драмъ нельзя выкинуть изъ счета. Не добро быти человѣку едину. Тѣмъ болѣе не добро ему умирать чуть не какъ безсловесному животному. И если самъ Максимъ упорно молчитъ, такъ поищемъ, по крайней мѣрѣ, людей, которые заглянули бы въ его душу и сумѣли бы за него разсказать его пасмурную исторію.

Гдѣ же искать этихъ умѣлыхъ людей? Конечно, среди художниковъ. Больше негдѣ. Успѣховъ научной психологіи еще жди.

Передъ нами лежитъ только что вышед-

шая книжка г. Успенскаго (Г. Иванова) «Изъ памятной книжки». Читателямъ «Отечественныхъ Записокъ» хорошо знакомы вошедшіе въ нее «Очерки и разсказы», но они, надѣемся, не посѣтуютъ на насъ за пересмотръ отрывочныхъ наблюденій г. Успенскаго. Отличительныя качества этого писателя—чуткость и добросовѣстность, ручаются за то, что наша экскурсія не останется безъ результатовъ. Правда, упомянутыя качества не всѣми признаются за г. Успенскимъ, но иначе и быть не можетъ. Дидро, человѣкъ компетентный, говорилъ, что если книга никому не нравится, такъ она можетъ быть хороша, если нравится всѣмъ, такъ почти навѣрное плоха, если нравится немногимъ, такъ почти навѣрное хороша. Этотъ афоризмъ, приложимый не только къ книгамъ, но и къ ихъ творцамъ, къ писателямъ, немножко крутъ. Но въ немъ есть значительная доля истины. Надо только имѣть въ виду, что размѣръ и свойства успѣха писателя зависятъ не отъ однихъ его личныхъ качествъ, а и отъ условій времени. Бываютъ времена всеобщаго ликованія и надеждъ, очень пригодны для созданія всеобщихъ любимцевъ, въ число которыхъ могутъ попасть и дѣйствительно крупные писатели, но вмѣстѣ съ ними и мелкота разная, потому что когда надеждами полны площади и улицы, чердаки и бель-этажи, такъ попасть въ общій тонъ нетрудно и мелкотѣ. Въ половодье и пустой горшокъ, забытый на берегу, наливается тою же самою водой, которая сноситъ плотины. Но дѣло выходитъ гораздо сложнѣе во времена, болѣе мрачныя, когда объекты всеобщаго ликованія перебиты безжалостной рукой исторіи, когда общество переполнено взаимнымъ недовѣріемъ, отчужденіемъ и когда число Максимовъ ростетъ, какъ ростетъ и ихъ молчаливость. Въ такія невеселыя времена всеобщаго разброда писатель, даже наиболѣе чуткій и добросовѣстный, можетъ только въ исключительномъ случаѣ стать всеобщимъ любимцемъ. Онъ можетъ и незамѣченнымъ пройти, и вызывать всяческія противъ себя нареканія. Поддержки въ общемъ тонѣ онѣ не встрѣчаетъ, потому что и общаго тона никакого нѣтъ. Онъ въ значительной степени предоставленъ своимъ собственнымъ силамъ, а какъ бы эти силы ни были велики, онѣ всетаки силы единичныя. Но этого мало. Чуткій и добросовѣстный писатель естественно склоненъ забѣгать впередъ и сосредоточивать свое вниманіе на такихъ вещахъ, которыя только значительно позже заинтересуютъ современниковъ. Пройдетъ нѣсколько времени, и то, что онъ говоритъ, станетъ, можетъ быть, общимъ достояніемъ, даже общимъ мѣстомъ, но въ эту-то минуту провѣдникъ этого будущаго общаго мѣста оцѣнивается по достоинству сравнительно лишь немногими. Г. Успенскій находится именно въ такомъ положеніи. И мы оторвемся на минуту отъ русскихъ драмъ, чтобы сказать нѣсколько словъ неосновательнымъ людямъ, предъявляющимъ г. Успенскому совсѣмъ несообразныя претензіи

Помимо всего прочаго, мы къ этому побуждаемся упреками нашему журналу.

Нѣкоторые неосновательные люди упрекаютъ «Отечественныя Записки» за единовременное помѣщеніе статей гг. Успенскаго и Златовратскаго, представляющихъ будто-бы полную другъ другу противоположность. Это не имѣетъ никакого смысла. Весьма натурально, что гг. Успенскій и Златовратскій, наблюдая одну и туже среду, многое понимаютъ разно: они—не мундирныя пуговицы, которыя всѣ отливаются въ одну форму, а горячая любовь къ народу и серьезный интересъ къ его судьбамъ общи имъ обоимъ. Но и помимо этого, наблюденія ихъ относятся (вѣрнѣе, относились до сихъ поръ) къ двумъ совершенно различнымъ моментамъ народной жизни. Г. Успенскій занятъ, главнымъ образомъ, моментомъ разложенія деревенской жизни подъ вліяніемъ самыхъ разнообразныхъ условій, прямо втирающихся въ эту жизнь со стороны или выростающихъ изъ нея самой, благодаря ея замкнутости. Въ «Устояхъ» г. Златовратскій тоже сталъ на эту точку зрѣнія, а въ прежнее время его больше интересовала деревня, такъ сказать, an und für sich, деревня, «какъ таковая», и, слѣдовательно, болѣе или менѣе абстрактная. И тотъ, и другой пріемы имѣютъ свою цѣну, въ извѣстныхъ предѣлахъ совершенно законны, другъ друга пополняютъ, и поневолѣ приходятъ на память слова Гете, что нѣмцы зачѣмъ то мѣряютъ его съ Шиллеромъ, когда имъ просто надо радоваться, что у нихъ есть пара такихъ молодцовъ (Kerle). Мы думаемъ, что умные люди такъ и поступаютъ. А глупые люди... Глупые люди, пожалуй, скажутъ, что мы приравниваемъ Успенскаго къ Гете. Примѣры вѣдь эти бывали...

Разложеніе деревни, къ которому г. Успенскій присматривается съ такимъ глубокимъ интересомъ, подробности котораго онъ изучаетъ съ такою «ненавидящею любовью», которое, наконецъ, подтверждается всѣми добросовѣстными наблюдателями и многими апріорными соображеніями, это разложеніе, безъ сомнѣнія, прикуетъ къ себѣ всеобщее вниманіе въ самомъ непродолжительномъ времени. Оно чревато будущимъ, и скоро, слишкомъ скоро, закрывать передъ нимъ глаза будетъ не только нелѣпо, а и невозможно. Но въ настоящую минуту г. Успен-

скій забѣжалъ впередъ и толкуетъ о томъ, къ правильному пониманію чего приготовлено совсѣмъ незначительное меньшинство. Большинство относится къ его почти болѣзненно чуткимъ изслѣдованіямъ съ тупымъ равнодушіемъ, а кое-кто доходитъ даже до упрековъ въ какой-то «измѣнѣ», въ какой-то враждѣ къ народу. Это онъ то—врагъ народа! Ясно, что всеобщимъ любимцемъ ему не быть.

Обращаясь къ «Памятной книжкѣ», мы найдемъ въ ней только одинъ очеркъ, касающійся собственно деревенской жизни—«Книжка чековъ»,—разсказъ о томъ, какъ нѣкіе распоясовцы ощутили на себѣ загребистую и тяжелую лапу обладателя «книжки чековъ» Ивана Кузьмича Мясникова. Это—тоже драма, но не изъ тѣхъ, которыя насъ теперь занимаютъ.

Мы ее минуемъ.

Разсказавъ о томъ, какъ распоясовцы, претерпѣвъ раззореніе, претерпѣли и «благодѣянія» Ивана Кузьмича, какъ восторжествовала принесенная этимъ человѣкомъ въ распоясовскую среду теорія «человѣкъ—полтина», авторъ наталкивается на вопросъ: «кто же тѣ, кто по каплямъ выпиваетъ эту рѣку бюджетовъ, сливающуюся изъ безчисленныхъ распоясовскихъ ручейковъ? Какъ и чѣмъ живутъ тѣ, кто не рубитъ, не пилитъ, не возитъ, не глупитъ, какъ распоясовскій мужикъ, но для которыхъ на потребу идетъ распоясовскій трудъ, глупость—все! счастливы-ли, довольны-ли эти люди, стоящіе у готоваго, у настоящихъ «чистыхъ» денегъ, эти истинные неплательщики, хотя и не недоимщики?»

Нельзя сказать, чтобы авторъ вполнѣ удовлетворительно отвѣтилъ на эти вопросы, да онъ полнаго отвѣта, очевидно, не имѣлъ и въ виду, потому что оставилъ въ сторонѣ многое множество видовъ «неплательщиковъ». Но то, что есть, достойно вниманія, хотя и не особенно тщательно разработано. Прежде всего мы находимъ подтвержденіе той странной молчаливости, съ которою умираютъ наши Максимы. Вотъ какъ разсуждаетъ мѣщанинъ Б—въ, рѣшившій покончить съ собой и, дѣйствительно, кончающій самоубійствомъ:

«— Потому такая линія... Что-жъ дѣлать!.. (молчаніе). Одного платья сколько было—панталоновъ однихъ лѣтнихъ шесть паръ, у Корпуса... да что! Тьфу... Неужели изъ-за этого... Господи помилуй! вотъ ужъ стоитъ!.. тьфу! (молчаніе). Нѣтъ! а есть надъ человѣкомъ перстъ—вотъ что!.. Теперь я приказчикомъ, все хорошо... Приглашали къ Пеструхину на Невскій на семьдесятъ пять рублей... и съ удовольствіемъ принимали, самъ не захотѣлъ!.. потому что... да что! Мѣста! Вотъ ужъ наплевать-то!.. (молчаніе)... Изволили быть въ академіи художествъ? Ну, такъ тамъ есть одна картина... Представлена какъ страждетъ невинная дѣвица въ молодомъ своемъ возрастѣ и какъ невинно... ну, не стоитъ и говорить... Перстъ! нѣтъ, тутъ особая штука... У меня это все нарисовано на планѣ... (плана онъ не показалъ, а сказалъ: все особенное). А то мѣста, панталоны!.. Господи, очисти живота отъ всего, отъ этого... Одно осталось—музыка, оркестръ, серьезная игра!.. Послушать и помереть, вотъ! (молчаніе)... А вотъ что правды нѣтъ ни капли, такъ ужъ это съ тѣмъ возьмите! Перстъ!.. ловки, очень ловки они!.. Боже сохрани, какая канитель!.. Вы только посудите одно: былъ я на цвѣточной выставкѣ и вижу растеніе, фіалку... И думаю—сколь удивительно хорошо, сколь премудро—или, напротивъ того, возьмемъ человѣка, положимъ хоть меня: прихожу къ хозяину: «позвольте получить за два мѣсяца»... да нѣтъ, нѣтъ, тутъ болтать нечего! Что пустое разговаривать... Послушаю музыки, и съ Богомъ—на тотъ свѣтъ!»

Если это—преувеличеніе (авторъ самъ говоритъ, что кандидатъ въ самоубійцы разсуждалъ «примѣрно», «приблизительно» этими словами), такъ то художественное преувеличеніе, которое только направляетъ извѣстное освѣщеніе на фактъ, а не искажаетъ его. «Примѣрно» такія записки оставляются иногда русскими самоубійцами и въ дѣйствительности. Самое поразительное, самое трогательное въ нихъ, это именно молчаливость, сопровождаемая подчасъ тою безпорядочною болтливостью, которая ровно ничего не говоритъ, несмотря на всѣ усилія говорящаго. Мѣщанинъ Б — въ радъ бы рѣкой разлиться, весь міръ залитъ своимъ стономъ и ничего изъ этихъ неимовѣрныхъ усилій не выходитъ: онъ все вертится около какихъ-то шести паръ лѣтнихъ панталонъ отъ Корпуса, которыя самъ глубоко презираетъ. Въ его мозгу копошится нѣчто для него безконечно высшее, чѣмъ лѣтніе панталоны и всякія «мѣста», но это нѣчто бьется, какъ птица въ клѣткѣ, ища и не находя выхода, ища и не находя словъ для своего выраженія. Истинно «тьфу!» всѣ эти панталоны и мѣста у Пеструхина. Никто ихъ такъ не презираетъ, какъ этотъ самый мѣщанинъ Б—въ. А между тѣмъ они назойливо лѣзутъ въ голову, нѣтъ возможности согнать ихъ съ языка, нѣтъ возможности добраться сквозь нихъ до того святилища души, гдѣ точно въ сказачномъ ларцѣ за семью печатями лежитъ таинственное зерно какой-то высокой мысли. Драма—по истинѣ, страшная, рядомъ съ которой страданія первыхъ любов-

никовъ Александринской сцены кажутся просто уколами булавки или даже тѣмъ двусмысленнымъ полу-страданіемъ, полу-наслажденіемъ, которое вызывается щекоткой. Сколько безъисходной скорби въ этомъ: «мѣста, панталоны! Господи, очисти живота отъ всего этого!» Цѣлый адъ душевный въ десяткѣ безсмысленныхъ словъ. Чего бы не далъ Б—въ за «чистый животъ», чистую жизнь! Но въ чемъ эта чистая жизнь состоитъ, какъ подойти къ ней, какъ выразить свое стремленіе къ ней — онъ не знаетъ...

Тайна мѣщанина Б—ва такъ и осталась тайной для другихъ, какъ и для него самого. Но въ «Памятной книжкѣ» находимъ еще разсказъ о самоубійцѣ, менѣе таинственный.

Жила-была дѣвушка Вѣрочка, вся погруженная въ своего рода панталоны отъ Корпуса и мѣста въ семьдесятъ пять рублей. Очень обыкновенный типъ женщины, которая дѣлаетъ все, чтобы «казаться», и ничего, чтобы «быть». Вотъ какъ разсказываетъ про нее старушка, изъ которой, впрочемъ, авторъ сдѣлалъ уже слишкомъ тонкаго психолога: «Жить она думала, это... какъ бы тебѣ сказать?.. Это именно значитъ глотать что-ли (Анна Ѳедоровна очень затруднялась опредѣленіемъ, искала словъ и не могла найти)... то-есть, чтобы тѣломъ, даже желудкомъ чувствовать веселье. Вотъ этакое... это вотъ и считалось самымъ настоящимъ, изъ-за чего надо жить... Это вотъ былъ самый корень Вѣрочкиной души... А потомъ ложь... Любовь, это — неправда, а поддѣлка подъ любовь, это правда. Трудъ, это—такъ только, чтобъ не замѣтили какой нибудь гадости, больше ничего, вся задача—увильнуть отъ труда, да и жизнь-то вся, человѣческая—всѣхъ перехитрить, надуть, провести и дорваться... Не умѣю я говорить-то, а то бы я тебѣ не такъ это объяснила... Ну, вотъ тебѣ примѣръ скажу: сѣсть, напримѣръ, къ подоконнику и барабанить по немъ часа четыре, будто играешь на фортепьяно, это очень пріятно; посмотри на нее—артистка; а за настоящее фортепьяно сѣсть — слезы, мученье; все этому, настоящему, въ ней сопротивляется». И вотъ этакое-то созданіе, вдобавокъ еще значительно поистрепавшееся на поприщѣ маскарадныхъ похожденій, судьба свела съ совершенно необыкновеннымъ человѣкомъ. Вѣрочка понатерлась и въ разныхъ «вѣяніяхъ». Она слыхала и даже понимала многое, только ничему не вѣрила. Не вѣрила, напримѣръ, чтобы ея подруга могла поступить въ акушерки изъ какихъ-нибудь твердыхъ убѣжденій о долгѣ, обязанности и проч., и полагала, что эту подругу прельщаетъ лишь возможность часто видѣться съ красивымъ докторомъ. Такъ и, вообще, Вѣрочка смотрѣла на вещи, но всетаки могла, столкнувшись съ человѣкомъ, жаждавшимъ правды и свѣта, но совершенно необразованнымъ, сдѣлать ему кое-какія указанія насчетъ устройства личной жизни въ этомъ смыслѣ свѣта и правды. Молодой человѣкъ (онъ былъ столяръ) ухватился обѣими руками за указанія, а вмѣстѣ съ ними и за Вѣрочку, влюбился въ нее. Затѣмъ свадьба, и устройство жизни сообразно указаніямъ и согласно душевному запросу несчастнаго мужа. Но этой новой жизни Вѣрочка не выдержала: сначала кинулась было на старую дорожку маскарадныхъ похожденій, а потомъ отравилась. Старушка-психологъ такъ объясняетъ дѣло: «Я думаю, что мужъ просто убилъ ее своей искренностью... что постоянно, изо дня въ день, изъ минуты въ минуту, сохраняя ее, эту искренность, вѣрность любви, сознаніе важности дѣла, онъ заставлялъ ее ежеминутно, изо дня въ день, изъ часа въ часъ, ощущать въ себѣ именно недостатокъ того, что есть въ немъ; она, должно быть, каждую минуту чувствовала, что она фальшивая, что она хитрая, что она нелюбящая. Покуда она не понимала, что съ ней дѣлается, она мучилась, протестовала, сваливала вину на то, на другое; но мужъ, продолжая дѣлать все одно и тоже, должно быть довелъ ее, наконецъ, до того, что она поняла, кто она и что съ ней... Она поняла, что въ ней нѣтъ ничего, что нужно для жизни, въ которой нѣтъ лжи. Словомъ, поняла себя и отравилась».

Авторъ поступилъ очень тонко, заставивъ разсказать тайну Вѣрочки старушку-психолога, а не ее самое; сама Вѣрочка не молола бы такой чепухи, какъ тотъ мѣщанинъ Б—въ, въ сердцѣ котораго какая-то таинственная мысль узурпировала престолъ панталонъ отъ Корпуса; но всетаки она не съумѣла бы разсказать съ такою ясностью, какъ и почему ослѣпило ее сіяніе, исходившее отъ мужа. Впрочемъ, для насъ это, пожалуй, все равно. Есть, конечно, самоубійцы, способные разсказать, что ихъ раздавило и, можетъ быть, Вѣрочка была изъ такихъ. Для насъ теперь важенъ выводъ автора, сдѣланный имъ и за Вѣрочку, и за самоубійцъ безсловесныхъ: «она поняла, что въ ней нѣтъ ничего, что нужно для жизни, въ которой нѣтъ лжи, поняла себя и отравилась». Авторъ очень дорожитъ этимъ выводомъ и все содержаніе его «Памятной книжки» исчерпывается разсказами о людяхъ, которые мучатся, потому что разнообразныя случайности раскрыли передъ ними свѣтъ, къ которому они, однако, въ силу своего прошлаго, не могутъ

встать въ опредѣленныя отношенія: ни отвернуться отъ свѣта, ни себя передѣлать въ смыслѣ его требованій. Уже изъ этого видно, что «неплательщики», насчетъ которыхъ авторъ спрашивалъ: счастливы ли они? суть собственно очень спеціальный видъ неплательщиковъ. Авторъ отвѣчаетъ только за тѣхъ, кто получилъ отвращеніе отъ «свиного элемента», какъ выражается въ той же «Памятной книжкѣ» дьяконъ, тоже «понявшій себя» и спившійся съ круга; кто получилъ отвращеніе отъ свиного элемента, но не въ силахъ отъ него оторваться. «Памятная книжка» знаетъ даже моментъ, когда началось у насъ на Руси это «заболѣваніе мыслью», «совѣстью», «сущею правдой». «Освобожденіе крестьянъ, т. е. одно только понятіе объ *освобожденіи* сразу внесло невозможный для разслабленныхъ семей, но великій идеалъ жизни—жизни, основанной на честномъ трудѣ, на признаніи въ мужикѣ брата; вся прошлая жизнь была именно полнымъ, безпощаднѣйшимъ, и безцеремоннѣйшимъ нарушеніемъ этого смысла—и вотъ настала погибель... И въ эту-то минуту явились люди, воспитанные въ самой густотѣ неуваженія чужой личности, въ самыхъ затхлыхъ, разлагающихъ понятіяхъ, напримѣръ, что не думать легче и лучше, чѣмъ думать, что не работать лучше, чѣмъ работать, что работать долженъ мужикъ, а я выросту большой, женюсь на богатой, поѣду за границу и т. д. Этому-то поколѣнію, воспитанному въ образцовой школѣ безсовѣстности, пришлось лицомъ къ лицу стоять съ суровой русской дѣйствительностью... Началась съ этой минуты на Руси драма; понеслись проклятія, пошли самоубійства, отравы... Послышались и благословенія».

Итакъ, идеалъ, не всегда, быть можетъ, ясно сознаваемый, но неизбѣжно возникающій подъ вліяніемъ такого крупнаго переворота русской жизни, какъ освобожденіе крестьянъ, всею своею тяжестью давитъ людей, приближающихся къ нему, но неумѣющихъ приспособиться, покончить со старымъ. Тяжелое, но вмѣстѣ съ тѣмъ и утѣшительное зрѣлищѣ. Если мысль «жертвъ искупительныхъ проситъ», такъ тутъ ужъ ничего не подѣлаешь. Можно только одного желать: чтобы тягостный процессъ прошелъ быстро, чтобы дѣло не затягивалось черезъ часъ по столовой ложкѣ. А онъ, къ сожалѣнію, у насъ идетъ не особенно быстро. Исторія «заболѣваній мыслью и совѣстью» совсѣмъ не такъ проста, какъ объ этомъ записано въ «Памятной книжкѣ». Увы! она гораздо сложнѣе, прерывистѣе, случайнѣе. Не «съ этой минуты», не съ освобожденія крестьянъ пошли самоубійства и отравы. Напротивъ, оглядываясь теперь на это странное время, можно удивляться той необузданности надеждъ, тому розовому довѣрію къ будущему, которыми мы тогда были преисполнены. Казалось, историческая дорога лежитъ передъ нами такою ровною, гладкою скатертью, что только посвистывай, да возжами потрогивай. Въ ненавистномъ прошломъ не было, кажется, уголка, не оплеваннаго съ полнѣйшею искренностью. Тутъ не до самоубійствъ было, тутъ, напротивъ, все весельемъ и надеждой дышало. И каждый встрѣчный на улицѣ подходилъ къ вамъ и говорилъ:

Я пришелъ къ тебѣ съ привѣтомъ,
Разсказать, что солнце встало,
Что оно горячимъ свѣтомъ
По листамъ затрепетало...

Солнце встало. Потомъ солнце сѣло. Совы и филины замахали крыльями и затянули свою мрачную, похоронную пѣсню. Въ ночной темнотѣ пришлось жить и двигаться. А ночью, хоть и можно глазъ выколоть, но это не тѣ уколы, которыми колетъ глаза правда. Тяжело, неуклюже, зигзагами двигалась въ темнотѣ мысль, случайно задѣвая то того, то другого. Когда этихъ задѣтыхъ оказалось достаточно, процессъ пошелъ, конечно, быстрѣе, но онъ еще далеко не завершился, даже не вполнѣ выяснился, вслѣдствіе чего «заболѣванія» имѣютъ сплошь и рядомъ «чудной» характеръ и сами «заболѣвшіе» сплошь и рядомъ не понимаютъ, что съ ними дѣлается. Всегда и вездѣ увеличеніе числа самоубійствъ было однимъ изъ показателей совершающейся въ обществѣ крутой внутренней работы: такъ падалъ Римъ, такъ обновлялась Франція. И это вполнѣ натурально, такъ какъ рѣшительная раздѣлка съ тѣмъ, что складывалось вѣками, не можетъ обойтись безъ жертвъ. Естественны поэтому и тѣ драмы, которыя занимаютъ г. Успенскаго. Но дѣло въ томъ, что ими не исчерпывается драматизмъ нашего положенія. У насъ возможны драмы, серьезнѣйшія драмы съ самоубійствомъ въ пятомъ актѣ, о герояхъ которыхъ нельзя, конечно, сказать: они «поняли себя» и отравились.

Мы ни малѣйше не сомнѣваемся, что множество драмъ на Руси зарождается тѣмъ именно способомъ, который указанъ г. Успенскимъ. Мы только отмѣчаемъ односторонность его рѣшенія и связанный съ этой односторонностью излишній оптимизмъ. Вотъ какъ утѣшительно гласятъ послѣднія строки «Памятной книжки»: «...Эта болѣзнь—мысль. Тихими, тихими шагами, незамѣтными, почти непостижимыми путями пробирается она въ самые мертвые углы русской земли, зале-

гаетъ въ самыя не приготовленныя къ ней души... Тихо, сонно и скучно кругомъ насъ все, что только можетъ видѣть глазъ. Не встаетъ надъ поверхностью русской жизни ни одного крупнаго явленія въ области духа; кажется, что все спитъ или умерло. А между тѣмъ въ этой тишинѣ, въ этомъ кажущемся безмолвіи и снѣ, по песчинкѣ, по кровинкѣ, медленно, неслышно перестраивается на новый ладъ запуганная, забитая и забывшая себя русская душа—а главное—перестраивается во имя самой строгой правды».

Бываетъ и такъ. Мы это очень хорошо знаемъ, и никто больше насъ не цѣнитъ тѣхъ попытокъ русской души «перестраиваться во имя самой строгой правды», которыя мѣстами и временами поднимаютъ нашу сѣрую жизнь чуть не до уровня первыхъ христіанъ. Мы, не колеблясь, пишемъ эти слова, которыя въ настоящую минуту трудно, разумѣется, подтвердить фактами, но пройдетъ не много времени и это станетъ возможнымъ. Та страстная жажда покаянія, которая охватила стараго грѣшника Петра Васильича (въ той же «Памятной книжкѣ») и въ силу которой онъ утонулъ въ сѣрой мужицкой массѣ отдавъ ей остатки своихъ силъ, очень типична. И понятное дѣло, что, если-бы Петръ Васильичъ, познавъ свѣтъ истины, не ощутилъ-бы въ себѣ достаточно силъ для раздѣлки съ своимъ прошлымъ; если-бы старые грѣхи, при всей своей для него презрѣнности, перебивали бы еще дорогу его новой мысли, то мы, вѣроятно, имѣли-бы драму съ самоубійствомъ или чѣмъ-нибудь подобнымъ въ концѣ. Какъ-же иначе? Человѣкъ понялъ, безповоротно понялъ, что жить надо такъ-то и такъ-то (все равно какъ), но залегшій въ немъ наслѣдственный «свиной элементъ», въ видѣ-ли пристрастія къ шести парамъ панталонъ, въ видѣ-ли маскарадныхъ похожденій и т. п., не даетъ ему силъ приблизиться къ осуществленію идеала. Конецъ: презрѣніе къ себѣ, страшная душевная мука и—смерть. Это дѣло совѣсти, безжалостно и неподкупно сверлящей душу.

Но, во-первыхъ, совѣсть не единственная сила, способная безжалостно сверлить душу. Обращаясь къ списку самоубійствъ нынѣшняго лѣта, мы видимъ каменецъ-подольскаго чиновника, который хочетъ лучше утонуть въ отхожемъ мѣстѣ, чѣмъ служить съ негодяями; арестанта Маторина, покушавшагося на самоубійство, потому что «лучше умереть отъ своей руки, чѣмъ подъ розгами начальства»; горничную, бросившуюся въ Харьковѣ на рельсы, потому что ее заподозрили въ кражѣ, которой она не совершила; родственницу игуменьи нижегородскаго монастыря, не выдержавшую жестокаго обращенія матери-игуменьи; кучера полковника Ганести—Кривогузова, который, не выдержавъ систематическихъ побоевъ барина, убилъ его, а потомъ самъ повѣсился на возжахъ и проч., и проч. Мы располагаемъ очень скуднымъ матеріаломъ — спискомъ самоубійствъ за три-четыре мѣсяца. А то, конечно, можно бы было найти гораздо больше подобныхъ самоубійствъ, имѣющихъ источникомъ не мученія совѣсти, а что-то другое. Это во-первыхъ. А во-вторыхъ, такъ-ли уже безпрепятственно шествіе «болѣзни мысли» по лицу русской земли, какъ можно бы было заключить изъ оптимистическаго конца «Памятной книжки»? Дѣло въ томъ, что если эта болѣзнь движется «почти непостижимыми путями»—а это очень вѣрно—такъ значитъ пути постижимые для нея закрыты. При этихъ условіяхъ, то-есть при необходимости, въ которую поставлена мысль двигаться даже не проселочными, а почти непостижимыми путями, работа совѣсти, сравнительно говоря, можетъ еще безпрепятственно совершаться. Въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ, охваченный угрызеніями совѣсти, стремится наложить на себя эпитеміи и всячески урѣзать свой жизненный бюджетъ. Для себя ему ничего не нужно. Напротивъ, заморить грызущаго его червяка онъ только и можетъ лишеніями и потому онъ не только готовъ принять всякія оскорбленія, даже до мученическаго вѣнца, а самъ ищетъ ихъ. Препятствія для этой работы совѣсти могутъ найтись только въ самомъ субъектѣ, въ его «свиномъ элементѣ», если таковой сохранился, а внѣшняя обстановка съ такимъ человѣкомъ ничего сдѣлать не можетъ: для него лично, пожалуй, даже чѣмъ хуже, тѣмъ лучше. Взять хоть бы того же Петра Васильевича: чѣмъ больше холода и голода на него обрушивается, чѣмъ униженнѣе его положеніе, тѣмъ онъ свѣтлѣе душой. Но въ такомъ чистомъ видѣ работа совѣсти встрѣчается рѣдко (и это большое счастіе), хотя бываютъ цѣлыя историческія эпохи, ею окрашенныя. Обыкновенно, коррективамъ ея является работа чести, если позволено будетъ употребить это выраженіе въ чисто условномъ, хотя и близкомъ къ общепринятому, смыслѣ.

«Не заставьте меня потерять своей чести», говорилъ пишущему эти строки одинъ отставной солдатъ, прося выбрать ему книжка для чтенія. Какъ ни смѣшна эта фраза по формѣ, какъ ни мало она съ перваго взгляда идетъ къ дѣлу, но въ ней есть глубокій смыслъ. Солдатъ считалъ для себя безчестіемъ не знать чего-то (онъ самъ хорошенько не понималъ чего), что знаютъ другіе. Положеніе, совершенно обратное тому, въ какомъ находится Петръ Васильевичъ,

который считаетъ безсовѣстнымъ пользоваться благами, имѣющимися въ распоряженіи его жены, дѣтей, товарищей, и имѣвшимися когда-то въ его собственномъ распоряженіи. Правда, солдатъ вздыхалъ о такомъ благѣ, отъ котораго и Петръ Васильевичъ не отказался бы—о знаніи. Но работа совѣсти и работа чести вовсе не необходимо исключаютъ другъ друга. Есть нейтральная почва, на которой они уживаются совершенно мирно, одна другую пополняя. Найти и прочно установить эту нейтральную почву составляетъ задачу ближайшаго будущаго. Объ этомъ, впрочемъ, потомъ. Теперь у насъ идетъ рѣчь о томъ типическомъ различіи работы чести и работы совѣсти, которое, не мѣшая ихъ практическому соглашенію, тѣмъ не менѣе существуетъ. Какъ совѣсть требуетъ сокращенія бюджета личной жизни, и потому, въ крайнемъ своемъ развитіи, успокоивается лишеніями, оскорбленіями, мученіями, такъ честь требуетъ расширенія личной жизни, и потому не мирится съ оскорбленіями и бичеваніями. Совѣсть, какъ опредѣляющій моментъ драмы, убиваетъ ея носителя, если онъ не въ силахъ принизить, урѣзать себя до извѣстнаго предѣла. Честь, напротивъ, убиваетъ героя драмы, если униженія и лишенія переходятъ за извѣстные предѣлы. Повторяемъ, исключительные люди совѣсти, какъ исключительные люди чести, составляютъ довольно большую рѣдкость и обыкновенно мы видимъ смѣшеніе этихъ двухъ началъ въ той или другой пропорціи. Но въ данную минуту герой драмы можетъ находиться подъ исключительнымъ вліяніемъ того или другого элемента. Арестантъ Маторинъ, котораго начальникъ вязниковскаго арестантскаго отдѣленія, заподозривъ въ кражѣ, нещадно сѣкъ, чтобы добиться сознанія, имѣлъ совершенно чистую совѣсть—онъ не укралъ, въ немъ заговорила оскорбленная честь. Тоже и съ горничной, бросившейся подъ колеса вагона въ Харьковѣ; тоже и съ родственницей игумены нижегородскаго женскаго монастыря и проч. Совѣсть поступается личною неприкосновенностью, личнымъ достоинствомъ, личнымъ довольствомъ, личнымъ счастьемъ вообще. Честь, напротивъ, всего этого требуетъ. Ясно, что «почти непостижимые пути», на которые обречено у насъ движеніе мысли, должны несравненно тяжеле отзываться на работѣ чести, чѣмъ на работѣ совѣсти. Ясно, что здѣсь открывается широкое поле для всякаго рода недоразумѣній, которыя, однако, могутъ кончиться и пулей, и мышьякомъ, и веревкой. Самое присутствіе непостижимости путей мысли есть уже оскорбленіе чести, какъ нѣчто, мѣшающее личному счастью. Человѣкъ ищетъ свѣта, знанія и долженъ униженно ждать, пока какая-нибудь случайность направитъ непостижимый путь мысли въ его сторону! Но этого мало. Нечего и говорить о распоясовцѣ, котораго Иванъ Кузьмичъ купилъ, продалъ, обобралъ, развратилъ и который всетаки вынужденъ видѣть въ этомъ самомъ Иванѣ Кузьмичѣ благодѣтеля; распоясовецъ, кажется, на то и созданъ, чтобы непостижимые пути мысли его не захватывали. Ну, а «неплательщики»-то? Развѣ они вырабатали, развѣ они могли, состоя при непостижимыхъ путяхъ, выработать какія-нибудь опредѣленныя, ясно сознанныя нормы чести? они, имѣющіе, подобно Очищенному, на щекахъ своихъ таксу безчестія и готовые подставлять правую щеку послѣ лѣвой даже не за двугривенный, а такъ, для удовольствія заушающаго? Представьте же себѣ, какъ долженъ преломляться въ этой средѣ лучъ чести, попавшій въ нее непостижимыми путями, какой фантастическій кавардакъ долженъ онъ въ ней поднять. Представьте себѣ, въ самомъ дѣлѣ, что мысль случайно проникла въ убогую, оплеванную голову какого-нибудь Очищеннаго, и именно въ формѣ чести; что кто-нибудь такъ плюнулъ ему въ глаза, отнявъ у него, напримѣръ, жену или сына, что нравственный катарактъ сошелъ и очистившемуся глазу вдругъ представилась длинная длинная вереница претерпѣнныхъ оскорбленій и униженій. Еслибы это случилось вдругъ, такъ несчастный не дожилъ бы даже вѣроятно до самоубійства. Но если, что и гораздо вѣроятнѣе, прозрѣніе совершилось бы не съ такою быстротой, еслибы ядъ сознанія оскорбленнаго человѣческаго достоинства вливался постепенно, логически развиваясь изъ случайно запавшаго зерна, Очищенный легко могъ бы покончить веревкой или бритвой. Однако, разсказать передъ смертью, какое колесо его придавило, онъ не сумѣлъ бы. Онъ, какъ Максимъ, кончилъ бы коротко и неясно: отъ невеселой своей жизни. Какія-то незнакомыя, но острыя и ядовитыя иглы вонзаются въ дотолѣ непроницаемо толстокожую душу, какая-то неясная, летучая боль разливается по всему существу. А «понять себя»—какъ понять, когда иглы выскакиваютъ изъ какихъ-то непостижимыхъ угловъ и когда во всю прошлую жизнь ничего даже приблизительно подобнаго не только не испытывалъ, а даже не слыхивалъ? Онъ, привыкшій лобызать руку, которая его бьетъ, и въ этомъ лобызаніи видѣть весь духовный смыслъ своей жизни, не то что не посмѣетъ, а просто не сумѣетъ проклясть, словъ не найдетъ. Нѣтъ драмы страшнѣе, нѣтъ муки ужаснѣй...

Скажутъ: фи! Очищенный! Э, милостивые государи, въ общемъ счетѣ мы право не

далеко отъ Очищеннаго уѣхали, и неизвѣстно еще многіе ли бы остались въ живыхъ, еслибы удары совѣсти и чести посыпались на нихъ, какъ на Вѣрочку и Петра Васильевича г. Успенскаго и на Очищеннаго въ нашемъ предположеніи...

Призывать-ли эти удары? Конечно, призывать, какъ громъ, очищающій удушливую, застоявшуюся атмосферу, хотя онъ при случаѣ и человѣка убьетъ, и домъ спалитъ, и вѣковой дубъ расщепитъ. Спросите Вѣрочку, спросите Очищеннаго наканунѣ ихъ смерти, не хотятъ-ли они вернуться къ прежнему душевному равновѣсію, еще необезпокоенному иглами совѣсти и чести — они съ удивленіемъ посмотрятъ на васъ: разъ увидѣвъ хотя бы слабое сіяніе свѣта, никто не вернется къ тьмѣ. И даже становясь на точку зрѣнія сожалѣнія къ личнымъ судьбамъ Вѣрочекъ и Очищенныхъ, убитыхъ громомъ, можно сказать только одно: разъ въ обществѣ внутренняя работа началась и заявляетъ себя нисколько недвусмысленными симптомами, немыслимо задержать ее, хотя можно извратить, искалѣчить. Вѣрочка и Очищенный все равно погибнутъ, но, по крайней мѣрѣ, пусть они гибнутъ не какъ безсловесныя животныя, способныя только мычать и стонать, и пусть не гибнутъ ихъ дѣти, выросшія въ очистившейся атмосферѣ. Процессъ только затягивается, а не обрывается, если «болѣзнь—мысль» движется непостижимыми путями. Можно, конечно, ставить обществу горчишники, припускать піявокъ и тѣмъ отвлекать силы отъ внутренней работы. Но какъ эти отвлекающія средства вліяютъ на складъ русской жизни и на характеръ русскихъ драмъ, это мы увидимъ можетъ быть на военныхъ самоубійствахъ, съ которыхъ начали и которыми теперь заниматься не будемъ, потому что они требуютъ спеціальнаго разговора. Только намѣтивъ пока оба коренные мотива современной русской драмы, мы пойдемъ искать ихъ различныхъ проявленій и сочетаній на скорбныхъ листахъ жизни и литературы...

Слишкомъ пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, въ Москвѣ разыгралась драма: Александръ Андреичъ Чацкій, измученный «милліономъ терзаній», отправился «искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ». Куда привели эти исканія Чацкаго — на «погибельный Кавказъ», какъ тогда было въ модѣ, или туда, гдѣ нѣтъ ни болѣзней, ни печали, ни воздыханій, и еще куда нибудь— неизвѣстно. Одно несомнѣнно: драма на-лицо.

29-го января 1879 года, на сценѣ петербургскаго клуба художниковъ, разыгралась другая драма: въ память объ убійствѣ Грибоѣдова (которое, впрочемъ, произошло 30-го января) г. Нильскій убилъ Александра Андреича Чацкаго. Это—тоже драма.

Не шутя. Петербургъ вѣдь имѣетъ не малыя претензіи въ качествѣ умственнаго центра, и претензіи эти не совсѣмъ неосновательны. Клубъ художниковъ есть единственное въ Петербургѣ общественно-артистическое учрежденіе. Въ немъ происходило единственное въ Петербургѣ общественное празднованіе юбилея Грибоѣдова. Онъ нашелъ единственнаго актера на роль Чацкаго. И изъ всѣхъ этихъ единственностей произошло только единоборство г. Нильскаго съ Чацкимъ, въ которомъ Чацкій позорно палъ подъ ударами врага. Это ли не драма?

Напрасно Чацкій пытался отстоять свое существованіе горячими монологами и ядовитыми стрѣлами сарказма: деревянная тупость актера одолѣла—Чацкій выбитъ изъ позиціи героя. Къ чести его, однако, надо сказать, что онъ не безъ боя сдался: каждою своею строкою онъ отбивался и отъ г. Нильскаго, и отъ всего этого торжества; каждой строкой говорилъ, что онъ еще живъ, имѣетъ право жить, потому что живы и тотъ «книгамъ врагъ, въ ученый комитетъ который помѣстился и съ крикомъ требовалъ присягъ, чтобъ грамотѣ никто не зналъ и не учился»; живъ и Молчалинъ, живъ и все еще «не сломилъ безмолвія печати»; живы и тѣ «отечества отцы, которыхъ мы принять должны за образцы», тѣ «грабительствомъ богаты, защиту отъ суда нашедшіе въ родствѣ, великолѣпныя сооружая палаты, гдѣ разливаются въ пирахъ и въ мотовствѣ и гдѣ не воскресятъ кліенты-иностранцы прошедшаго житья подлѣйшія черты»; живъ Репетиловъ и Загорѣцкій, живъ Фамусовъ и Скалозубъ; жива угроза Скалозуба: «фельдфебеля въ Вольтеры дамъ— онъ въ три шеренги васъ построитъ, а пикнете, такъ мигомъ успокоитъ».

И вотъ почему надо надѣяться, что публика клуба художниковъ апплодировала не злодѣянію г. Нильскаго, а монологамъ Чацкаго. А, впрочемъ, какъ знать, чего не знаешь? Можетъ быть, этой публикѣ и въ самомъ дѣлѣ казалось, что Чацкаго пора похоронить, что пѣсня его спѣта и что «Горе отъ ума» есть только надгробный памятникъ, украшающій могилу прошлаго. «Блаженъ кто вѣруетъ, тепло тому на свѣтѣ», но за то какъ же холодно тому, кто не вѣруетъ!

Чацкому вѣдь тоже сначала тепло было. Онъ говорилъ: «какъ посмотрѣть да посравнить вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій— свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ». Онъ вѣрилъ, что «нынче смѣхъ страшитъ и

держитъ стыдъ въ уздѣ», что «нынче свѣтъ ужъ не таковъ: вольнѣе всякій дышетъ и не торопится вписаться въ полкъ шутовъ». Онъ было совсѣмъ забылъ «про умъ Молчалина, про душу Скалозуба». Но фельдфебель, исправляющій должность Вольтера, «книгамъ врагъ, въ ученый комитетъ который помѣстился», нотаціи Фамусова, болтовня Репетилова и проч. живо охладили его, проволочивъ сквозь строй пошлости и подлости. Онъ убѣдился, что никого не страшитъ смѣхъ и никого не держитъ стыдъ въ уздѣ въ томъ обществѣ, куда его толкнула судьба. Этотъ быстрый переходъ, отъ гордой вѣры въ коварное «нынче», въ «вѣкъ нынѣшній», къ жалобному воплю объ уголкѣ для оскорбленнаго чувства мало обращалъ на себя вниманіе критики. А онъ очень характеренъ...

Говоря по совѣсти, я все-таки не знаю, чему апплодировала публика клуба художниковъ, и отнюдь не поручусь, чтобы въ этихъ апплодисментахъ не было маленькаго, а, можетъ быть, и очень большого недоразумѣнія. Помните, какъ понравилась Скалозубу одна изъ страстныхъ тирадъ Чацкаго:

Мнѣ нравится, при этой смѣтѣ:
Искусно какъ коснулись вы
Предубѣжденія Москвы
Къ любимцамъ гвардіи, гвардейцамъ, гвардіонцамъ.
Ихъ золоту, шитью дивятся будто солнцамъ!
А въ первой арміи—когда отстали? въ чемъ?
Все такъ прилажено и тальи всѣ такъ узки,
И офицеровъ вамъ начтемъ,
Что даже говорятъ иные по-французски...

Бѣдный Чацкій! Дождался похвалы Скалозуба! Конечно, по недоразумѣнію, но это недоразумѣніе типическое, и, можетъ быть, въ числѣ свидѣтелей злодѣянія г. Нильскаго было не мало Скалозубовъ, Фамусовыхъ, Молчалиныхъ, графинь-бабушекъ и графинь-внучекъ, Загорѣцкихъ и Репетиловыхъ, которымъ тоже нравилось, какъ Чацкій клеймилъ пошлость и подлость. Грибоѣдовъ не далъ Чацкому разъяснить недоразумѣніе Скалозуба, который такъ и остался въ увѣренности, что Чацкій защищалъ «первую армію» съ ея узкими таліями и французскими разговорами. Многіе изъ тѣхъ, для кого «Горе отъ ума»—великое классическое произведеніе, образецъ мѣткой и вѣрно направленной сатиры, даже не подозрѣваютъ, что бичъ этой сатиры безжалостно гуляетъ по ихъ собственнымъ спинамъ. Они бы поняли это только въ такомъ случаѣ, еслибы Чацкій, оставаясь тѣмъ же Чацкимъ, заговорилъ прямо въ упоръ объ нихъ. А для этого нуженъ новый Чацкій. Ну, и представьте себѣ, какъ его встрѣтятъ, когда онъ заговоритъ своимъ великолѣпнымъ языкомъ: «а судьи кто?»

Новый Чацкій, конечно, не можетъ быть какъ двѣ капли воды похожъ на грибоѣдовскаго. Онъ не приметъ, напримѣръ, такъ близко къ сердцу насмѣшку надъ словомъ «сударыня» и пристрастіе къ словамъ «мадамъ, мадмуазель». Но многое иное онъ за то оцѣнитъ жестче, хотя бы уже потому, что Фамусовъ и Хлестова не имѣли бы возможности спорить—сколько у новаго Чацкаго душъ: триста или четыреста. У него только и есть одна—собственная, но именно по этому самому болѣе чистая и требовательная. Далѣе, исторія съ Софьей Павловной можетъ, разумѣется, быть и не быть. Она представляетъ недурную иллюстрацію къ общему положенію Чацкаго, но, платя дань обычаю дѣлать любовную интригу центромъ художественнаго произведенія, Грибоѣдовъ придалъ ей слишкомъ много вѣса въ «Горѣ отъ ума». Затѣмъ—самое важное—надо пріискать для новаго Чацкаго моментъ горделиваго, но легкомысленнаго увлеченія какой нибудь стороной «нынѣшняго вѣка». За этимъ далеко ходить нечего, особенно если имѣть въ виду, что Чацкій вообще не очень разборчивъ въ своихъ увлеченіяхъ. Говоря о мундирѣ, онъ вспоминаетъ:

Я самъ къ нему давно-ль отъ нѣжности отрекся?
Теперь ужъ въ это мнѣ дурачество не впасть;
Но кто-бъ тогда за всѣми не повлекся!
Когда изъ гвардіи, иные отъ двора,
Сюда на время пріѣзжали,
Кричали женщины—ура!
И въ воздухъ чепчики бросали.

У насъ женщины кричали ура! и не бросали въ воздухъ чепчиковъ только потому, что ихъ теперь не носятъ, еще очень недавно: не дальше какъ въ 1876 году, когда русскіе добровольцы потянулись въ Сербію. Женское «ура» было при этомъ только однимъ изъ симптомовъ. Въ воздухѣ носился энтузіазмъ, на-половину дѣланый, но отчасти совершенно искренній, и не одна пылкая голова мечтала о роли Лафайэта. Теперь это дѣло совсѣмъ прошлое, законченное, къ которому можно относиться вполнѣ спокойно. Много шушеры всплыло наверхъ, много безстыдства, самохвальства; но навѣрное въ числѣ прочихъ волновавшихся былъ и Чацкій, нѣсколько поверхностный, нѣсколько легкомысленный, нѣсколько фразистый, но умный, цѣльный и смѣлый. Надо помнить, что Чацкій—герой только по положенію въ драмѣ, а въ сущности совсѣмъ обыкновенный человѣкъ, выше средняго роста, съ ѣдкимъ и хорошо повѣшеннымъ языкомъ. Какъ-же ему было тутъ не присутствовать? Припомните обстановку: по улицамъ и въ вокзалахъ толпятся люди съ разгорѣвшимися лицами, съ совсѣмъ непривычными для казарменнаго Петер-

бурга разглагольствованіями о чьей-то свободѣ, объ освобожденіи, о величіи жертвы; газеты гремятъ гимны въ прозѣ... И пылкій Александръ Андреевичъ, пріятно изумленный «вѣкомъ нынѣшнимъ» въ сравненіи съ «минувшимъ», летѣлъ въ Сербію. Но тутъ-то и начиналось «горе отъ ума», съ мильономъ терзаній и въ, концѣ концовъ, съ жалобнымъ стономъ объ уголкѣ для оскорбленнаго чувства. Жестоко платится Александръ Андреичъ за свое увлеченіе. Мечты о свободѣ и освобожденіи разбиваются объ нагайку и военный геній Скалозуба, о холопство Молчалина, о Фамусовскія представленія «къ крестишку иль къ мѣстечку», о безпардонное вранье Репетилова, о наглость Загорѣцкаго. И я не поручусь, чтобы Александръ Андреичъ остался цѣлъ и невредимъ, чтобы онъ намѣренно не подставилъ сердце, одолѣваемое милліономъ терзаній, подъ турецкую пулю или самъ не наложилъ на себя рукъ.

Помянемъ же добрымъ словомъ этого хорошаго человѣка, слишкомъ пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ замученнаго, а нынѣ воскрешаго и вновь погребеннаго. Его монологи были не на столько сильны, чтобы убить Фамусовыхъ и Скалозубовъ—да такихъ монологовъ и не бываетъ—но они достаточно сильны, чтобы клеймить этотъ подлый людъ и теперь: слово есть дѣло, что бы ни толковали бездѣльники. Единственное *дѣло* Грибоѣдова состояло въ мужественной и даже нѣсколько театральной смерти. И какъ же блѣдно, какъ ничтожно это дѣло въ сравненіи съ оставленнымъ имъ *словомъ*..

Чѣмъ же помянуть Чацкаго, кромѣ того, что хорошій, дескать, человѣкъ былъ покойникъ и вѣчная ему память? Ближе всего, конечно, анализомъ нынѣшнихъ житейскихъ и художественныхъ драмъ на тему милліона терзаній. Только-что пережитые нами грозные военные годы, поднявшіе со дна русскаго общества столько мужества и грязи, самоотверженія и подлости, навѣрное, выставили хоть одного Чацкаго на всю коллекцію «свиныхъ рылъ», какъ сказалъ бы своимъ неблаговоспитаннымъ языкомъ Гоголь о персонажахъ «Горя отъ ума». Къ сожалѣнію, во всей огромной массѣ художественныхъ или якобы-художественныхъ произведеній, вызванныхъ тремя годами войны, нѣтъ ни одного, которое можно бы было поставить рядомъ съ «Горемъ отъ ума» не только по исполненію, а и по замыслу. Господа художники или якобы художники, эксплоатировавшіе войну, прибѣгали къ стихамъ и прозѣ, колебали небо и землю, перебрали всѣ шаблонныя положенія героевъ—прелестнаго рыцаря, оставившаго на родинѣ голубоокую или черноокую красавицу, пламеннаго борца за славянскую свободу, крошащаго турокъ, какъ капусту, прямодушнаго армейца, посрамляющаго офицеровъ генеральнаго штаба, героическаго казака, потчующаго нагайками жидовъ, молодого генерала, хладнокровно стоящаго подъ градомъ пуль—но Чацкій имъ не приходилъ въ голову. Тѣмъ не менѣе, особенно за послѣднее время, персонажи «Горя отъ ума», въ новомъ, неисправленномъ изданіи, такъ назойливо лѣзутъ впередъ, что вмѣстѣ съ ними въ художественныя драмы, даже помимо воли авторовъ, пробирается и Чацкій. Эхо его монологовъ раздается то тамъ, то сямъ, его можно услышать въ любомъ, маломальски не лубочномъ произведеніи, написанномъ на тему только что конченной войны. Смѣю даже сказать, что нѣтъ маломальски добропорядочнаго писателя, который не ощущалъ бы въ себѣ присутствія частицы уязвленной души Чацкаго! Поэтому за матеріалами для художественнаго возсозданія житейской драмы милліона терзаній намъ нечего долго гоняться. Мы ихъ найдемъ, въ большемъ или меньшемъ количествѣ, въ болѣе или менѣе разработанномъ видѣ, въ первомъ попавшемся романѣ, очеркѣ, повѣсти на тему нашей недавней военной славы.

Возьмемъ послѣднее, новѣйшее изъ произведеній этого рода—романъ г. Немировича-Данченко «Гроза».

Г. Немировичъ-Данченко — удивительный писатель. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что онъ—человѣкъ очень талантливый, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ спускается иногда до такой грубости формы, изображаетъ нѣкоторыя вещи такъ аляповато, что и любой бездарности впору. Очень любопытно прослѣдить, что именно выходитъ у него такъ аляповато. Можетъ быть, при этомъ выяснятся и причины аляповатости.

Вотъ, напримѣръ, изображеніе благородныхъ чувствъ русскаго солдата. Солдатъ гонитъ осла, нагруженнаго бочонками, подушками и одѣялами. Съ нимъ заводитъ разговоръ проѣзжая сестра милосердія, которой солдатъ объясняетъ, что всю эту благодать «болгары за бой подарили». По глазамъ солдата, однако, видно, что онъ вретъ, что онъ эту благодать «сбарантовалъ». Разговоръ продолжается: «— А вы кто? милосердая сестра будете? — Да... — Такъ вотъ, матушка, дозвольте подарочекъ сдѣлать.—И солдатъ давай бросать въ телѣгу одѣяла и подушки. —Куда это?... зачѣмъ?—А на што они солдату? Вамъ, по крайности, послѣ трудовъ праведныхъ для ради отдыху. Я вѣдь знаю, вы насъ жалѣете, должны и мы поэтому

васъ пожалѣть. Опять же этого дерма по турецкимъ домамъ въ Свиштовѣ сколько хошь, коли нужно, я и еще насбираю...— Кошева хотѣла было вернуть, да вспомнила, что зачастую раненымъ и лежать не на чемъ.—Ты вотъ что, любезный, коли хочешь доброе дѣло сдѣлать, такъ скажи своимъ, чтобы все такое, одѣяла тамъ, подушки, тюфяки въ лазареты тащили Для раненыхъ.—Помилуйте, развѣ намъ жаль... Мы съ полнымъ удовольствіемъ... Вамъ хлѣбца ихняго не угодно ли, а то фрухту? я мигомъ нарву. Фрухта здѣшняя легкая, кислая фрухта... Хотя она противу нашей капусты и не выстоитъ, кволая, а только и ее одобряютъ».

Это достойно масляничнаго балагана новѣйшей формаціи; новѣйшей, потому что, какъ ни долго держатся всякаго рода трафареты, но и для нихъ существуетъ мода я, слѣдовательно, необходимость измѣненія. Въ старые годы, благородство чувствъ русскаго солдата (по трафаретному письму) изображалось иначе. Солдатъ сказалъ-бы сестрѣ милосердія «взволнованнымъ голосомъ и со слезами умиленія на мужественномъ, загорѣломъ лицѣ», примѣрно, слѣдующее: «для тебя, дорогая сестра, за теплое участіе, съ которымъ ты проливаешь бальзамъ утѣшенія на раны нашихъ воиновъ, я, подъ градомъ вражескихъ пуль и среди молній окровавленныхъ ятагановъ, нарву сейчасъ плодовъ». Это въ очень старые годы такъ писали, во времена Кукольника. Теперь ужъ очень рѣдко кто покушается на такіе пріемы, и если заставляютъ говорить столь высокимъ стилемъ, такъ ужъ никакъ не солдатъ, а по малой мѣрѣ штабсъ-капитановъ, да и то больше въ моментъ любовнаго экстаза. Теперь требуется «простота», «добродушный юморъ», которые, при достаточной пересоленности, даютъ «кислую фрухту». Замѣтьте, что эта безобразная «кислая фрукта» совсѣмъ не случайность, она входитъ въ новѣйшее трафаретное письмо, какъ весьма существенная подробность; необходимо дать читателю понять, что русскій воинъ, простодушный, но въ своемъ простодушіи великій, совершенно своей судьбой доволенъ, иностранные «фрухты» презираетъ и выше всего ставитъ родную, отечественную капусту. При этомъ у читателя возникаетъ или, по намѣренію автора, должно возникать двойственное чувство. Съ одной стороны, солдатъ, предпочитающій капусту тонкимъ южнымъ плодамъ, можно сказать, совсѣмъ дуракъ въ гастрософическомъ смыслѣ и заслуживаетъ насмѣшки; но насмѣшка эта должна быть легкая и даже нѣсколько почтительная, потому что, съ другой стороны, перенесите-ка эту самую «простоту», эту придурковатую приверженность къ родной капустѣ, перенесите-ка ее изъ гастрософической въ другія, высшія инстанціи — что выйдетъ? Мы, «господа», интеллигентная толпа, никакимъ образомъ не можемъ одобрить грубый вкусъ солдата; но въ этой грубости, «какъ солнце въ малой каплѣ водъ», отражается та крѣпость родной «почвы», то убѣжденіе въ величіи всякой національной «отсебятины», которыя интеллигентная толпа, по обстоятельствамъ времени и мѣста, искренно или неискренно, пишетъ на своемъ знамени. Дуракъ, дуракъ этотъ солдатъ, но, расширяя горизонты и разумѣя эту самую капусту иносказательно, надо будетъ сознаться, что солдатъ правъ или, по крайней мѣрѣ, заслуживаетъ полнаго уваженія за презрѣніе къ чуждымъ русскому духу соблазнамъ. При томъ же онъ чрезвычайно деликатенъ. Онъ не бранитъ безусловно «здѣшнюю фрухту»; онъ согласенъ, что другіе «и ее одобряютъ» и, можетъ быть, не безъ основанія одобряютъ, но онъ даже не снисходитъ до разбора этого мнѣнія, потому—хороша, да не наша.

Этотъ художественный пріемъ, если только его можно назвать художественнымъ, былъ у насъ усвоенъ чуть не съ самаго начала войны. Потомъ интеллигентная толпа потребовала и другихъ.

Вотъ какъ изображаетъ г. Немировичъ-Данченко негодяевъ.

По улицамъ Тырнова ѣхалъ верхомъ «юный петербургскій кокодесъ» Залѣсскій. Изъ окна «выглядывала прехорошенькая болгарка. Черные, миндалинами прорѣзанные глаза... (и т. д. слѣдуетъ совершенно шаблонное описаніе болгарской красоты)...— Эта хоть куда-съ... хоть и въ Петербургѣ! млѣлъ Залѣсскій.—Строгія онѣ здѣсь... Никакого отъ нихъ профиту...—Ну, это потому, что вы не умѣете... При надлежащей подготовкѣ, началъ было онъ докторальнымъ тономъ, то-есть при нѣкоторой смѣлости, я полагаю, что и здѣсь можно...—Пробовали-съ...—Залѣсскій сомлѣлъ совсѣмъ; у него даже подъ ложечкой засосало. «Этакая свѣжесть!» повторялъ онъ. И, наконецъ, не выдержалъ. Выпучивъ грудь и поднявшись на стременахъ, онъ послалъ красавицѣ воздушный поцѣлуй. Та было остолбенѣла, но только на минуту. Потомъ ея лицо приняло оскорбленное выраженіе, и она, долго не думая, плюнула прямо въ глаза Залѣсскому, съ губъ котораго еще не успѣла сбѣжать самодовольная улыбка. — Ахъ ты, подлая! вскипѣлъ тотъ.—Нагайками пороть за это... Дерзость какая!.. Сволочь!».

Ругань Залѣсскаго и вообще всю эту сцену прекращаетъ докторъ Пастыревъ, съ которымъ мы еще встрѣтимся и который

совершенно посрамляетъ Залѣсскаго. Надо замѣтить, что Залѣсскій явился въ Болгарію съ планами административныхъ реформъ и съ рекомендательными письмами къ князю Черкасскому. Но князь оттолкнулъ хлыща, и хлыщъ кончилъ теплымъ мѣстечкомъ у Грегера, Когана и Горвица. Все это сдѣлано въ высшей степени аляповато, гораздо болѣе аляповато, чѣмъ эпизодъ съ болгаркой, но я привелъ всетаки его, собственно по крайней его фактической несообразности. Воздушный поцѣлуй, посланный представителемъ освобождающей Россіи представительницѣ освобождаемой Болгаріи — совсѣмъ ужъ не такая возмутительная вещь, чтобы за него стоило въ глаза плевать. Этотъ поцѣлуй и самъ по себѣ не представляетъ большого оскорбленія, а по сравненію съ многими изъ извѣстныхъ поступковъ освободителей — просто пустякъ. При всеобщемъ ликующемъ настроеніи, онъ непремѣнно долженъ былъ сойти даромъ Залѣсскому. Но тырновская красавица оскорбилась. Это тѣмъ удивительнѣе, что самъ г. Немировичъ-Данченко всего черезъ четыре-пять страницъ, сообщаетъ:— «Тырновъ славился еще недавно по всей странѣ легкостью своихъ нравовъ, до того, что жениться на дѣвушкѣ отсюда считалось дѣломъ не особенно почтеннымъ». При этомъ нѣкоторыя тырновскія обитательницы «одинаково благосклонно относились къ мусульманину и христіанину», а одна сдѣлала даже какое-то странное патріотическое ремесло изъ разврата (218). Съ чего же Залѣсскій въ городѣ, столь мало похожемъ на монастырь, получилъ плевокъ въ глаза за одинъ скромный воздушный поцѣлуй? А съ того, что такъ хотѣлось автору, а автору хотѣлось потому, что таковъ былъ заказъ интеллигентной толпы.

Уже поведеніе русскихъ добровольцевъ въ Сербіи значительно испортило то розовое настроеніе, въ которомъ находилось общество. Нагайка и военный геній Скалозуба, «родные человѣчки» Фамусова, безпардонное вранье Репетилова и Загорѣцкаго весьма быстро показали себя. Все это было намъ привычно у себя дома и при обыкновенномъ теченіи нашихъ дѣлъ и дѣлишекъ. Но на подкладкѣ освободительной миссіи все это отливало такими отвратительными пятнами, представляло такой поразительный контрастъ съ задачей освобожденія и спасенія народовъ, что было отъ чего «въ отчаянье придти». Процессъ освобожденія Болгаріи не внесъ ничего успокоительнаго въ это отчаяніе: напротивъ, передъ персонажами «Горя отъ ума» только еще большіе горизонты раскрылись, вслѣдствіе чего и дѣятельность ихъ стала шире. Она такъ нагло высовывалась впередъ, такъ безстыдно била по глазамъ, что интеллигентная толпа потребовала кары, хотя примѣрной, литературной. Ей кажется, что если казнить Петра и Ивана или посадить на ихъ мѣсто Кузьму и Демьяна (это вѣдь безсребренники), такъ дѣло будетъ въ шляпѣ. Ей не приходитъ въ голову, что дѣло совсѣмъ не въ Петрѣ и Иванѣ, а въ цѣлой системѣ, въ совокупности и возможности Петровъ и Ивановъ, Фамусовыхъ и Скалозубовъ. Интеллигентная толпа упускаетъ изъ виду, что освобождать и спасать народы совсѣмъ не такъ легко, что, при данной системѣ, Петръ и Иванъ *должны* выступить впередъ, а Кузьма и Демьянъ или сами не пойдутъ, или ихъ не пустятъ, или они ничего не подѣлаютъ. И вотъ послушный писатель, торопясь покарать зло, не останавливается даже передъ плевкомъ въ глаза со стороны болгарки и словеснымъ ошельмованіемъ со стороны соотечественника — за воздушный поцѣлуй! Я сильно сомнѣваюсь, чтобы этотъ эпизодъ имѣлъ мѣсто въ дѣйствительности въ томъ видѣ и въ той обстановкѣ, какъ разсказываетъ г. Немировичъ-Данченко. Не болгарка и не докторъ Пастыревъ казнили Залѣсскаго, а самъ авторъ. Это очень натурально. Человѣкъ непремѣнно срываетъ зло на личностяхъ, и отречься отъ этого всемогущаго позыва рѣдко кто въ состояніи. Но когда дѣло личностей отрывается отъ дѣла порождающей ихъ общественной организаціи, то, при перечеканкѣ означеннаго позыва въ художественные образы, должны непремѣнно получиться фигуры угловатыя, невѣрныя, преувеличенныя въ подробностяхъ и все таки далеко неисчерпывающія безобразія дѣйствительности. Если, въ самомъ дѣлѣ, вся бѣда отъ Петра и Ивана, такъ, конечно, это не просто мерзавцы, а мерзавцы, подлежащіе карѣ за каждый свой шагъ, и даже разговора не можетъ быть о пропорціи между поступкомъ и карой. Какая тутъ пропорція! Все въ пору будетъ! Воздушный поцѣлуй послалъ — плюньте ему въ глаза и вдобавокъ осмѣйте его. Кажется, какъ вѣдь строго? И дѣйствительно, по отношенію къ личности Залѣсскаго это очень строго. Но вмѣстѣ съ тѣмъ вы получаете совсѣмъ невѣрное и именно слишкомъ мягкое понятіе объ общемъ характерѣ отношеній освободителей и освобождаемыхъ. Авторъ проникнутъ такимъ негодованіемъ на воздушный поцѣлуй, напускаетъ за этотъ пустякъ такую реакцію со стороны болгарской красавицы и русскаго доктора, что остается только радоваться: если этакій вздоръ казнится такъ сильно, такъ значитъ все обстоитъ довольно благополучно.

До какой степени г. Немировичъ-Дан-

ченко далекъ отъ правильной оцѣнки общаго хода войны и освобожденія Болгаріи, видно изъ слѣдующей молніеносной тирады, которою заканчивается «Гроза».

Пастыревъ только теперь понялъ значеніе этой великой освободительной войны; понялъ его, слушая простого солдата на Шипкѣ, солдата, языкомъ котораго говорилъ народъ... Только теперь сообразилъ онъ, что не кучка журналистовъ и не десятокъ-другой славянолюбцевъ выдумали это избіеніе десятковъ тысячъ... Теперь уже онъ не бранилъ тѣхъ, кто шелъ впередъ, не клеймилъ своимъ осужденіемъ „сочувственниковъ", какъ онъ ихъ звалъ прежде. Пастыревъ слишкомъ много видѣлъ въ послѣдніе дни... Въ одушевленіи *грамотнаго, не слѣпо, а сознательно повинующагося солдата*, онъ чуялъ великую волю великаго народа. Въ ошибкахъ, безплодныхъ жертвоприношеніяхъ онъ видѣлъ безсиліе и бездарность людей, оторвавшихся отъ великаго народа и не съумѣвшихъ стать на высотѣ своего положенія, *когда они понадобились ему*. Народъ несъ свои хребты, свои руки, свою жизнь; другіе должны были принести силу ума, знаніе, опытность. Должны но не принесли. Въ этомъ грандіозномъ состязаніи *сѣраго пахотника, надѣвшаго на себя шинель солдатскую*, съ интеллигентнымъ бариномъ былъ великій смыслъ... Пахатникъ побѣдилъ барина, но баринъ все же посылалъ на смерть своего побѣдителя!.. И побѣдитель шелъ, и побѣдитель умиралъ... Все, что было повыше, теряло голову, отчаявалось.. Не отчаявался только одинъ народъ, солдатъ. Не терялъ вѣру только онъ, именно тотъ, кто на себѣ испытывалъ послѣдствія чужихъ ошибокъ. И умирая, онъ зналъ, что побѣда его, что рано или поздно, а хребты выстоятъ, вынесутъ, оправдаютъ... Когда грозовые раскаты оглушали сильныхъ знаніемъ, *склоняли знамена науки*, одинъ онъ стоялъ себѣ подъ ослѣпляющими молніями и упорно глядѣлъ на небо, ожидая что вотъ-вотъ прорвутся тучи, и сквозь эту черную пелену благодатное солнце обольетъ пропитанную кровью землю своими благотворными лучами... (и т. д. пафосъ идетъ все crescendo).. А далеко, далеко на сѣверѣ такая-же молчаливая, такая-же изнуренная въ вѣчныхъ тяготахъ своихъ стояла на готовѣ мужицкая Русь... Она, усталая не склонялась подъ ношею крестной; *она, обиднѣвшая, не жаловалась* и не теряла вѣры» и т. д.

Столь молніеносное писаніе анализировать трудно, тѣмъ болѣе, что эта молнія, какъ и подобаетъ молніи, является совершенно внезапно, въ самомъ концѣ книги, начало и продолженіе которой ничего подобнаго не обѣщаетъ, и по поводу разговора скептика Пастырева съ «простымъ солдатомъ», котораго (разговора) я при всемъ стараніи, найти въ книгѣ не могъ. Я очень объ этомъ жалѣю, потому что разговоръ былъ вѣрно убѣдительный и вообще примѣчательный... Какъ бы то ни было, но при всей страстности обличенія «сильныхъ знаніемъ», тѣхъ, которые должны были принести силу ума и не принесли, все обстоитъ чрезвычайно благополучно. Въ самомъ дѣлѣ, скептикъ, «чего-жъ тебѣ больше желать»? «Знамена науки» склонились подъ ударами военной грозы, но до тѣхъ поръ они стояли смѣло, гордо и свободно. Правда, они въ нужную минуту сплоховали, но утѣшительно, что они «понадобились» народу, потребовались имъ, и именно ему понадобились, имъ потребовались, а не кѣмъ-нибудь другимъ. Солдатъ грамотенъ и повинуется не слѣпо, а сознательно. Народъ «надѣлъ на себя солдатскую шинель», самъ надѣлъ, по собственной волѣ, а не на него надѣли въ рекрутскомъ присутствіи. «Мужицкая Русь» «не жаловалась», то-есть имѣла полную возможность жаловаться, но не пожелала, предпочла къ своимъ «вѣчнымъ тяготамъ» прибавить новыя. Чего жъ тебѣ больше желать, скептикъ? И какихъ тебѣ еще нужно доказательствъ, что, будь вмѣсто Петра и Ивана Кузьма и Демьянъ, все было бы добро зѣло, какъ въ первые дни бытія, съ ихъ ненарушенною первороднымъ грѣхомъ красотою?

Повторяю, я не нашелъ въ книгѣ г. Немировича того любопытнаго разговора Пастырева съ солдатомъ на Шипкѣ, который перевернулъ образъ мыслей скептика. Но я нашелъ въ книгѣ многое другое. Напримѣръ: «Тутъ именно во всей своей отвратительной наготѣ являлся апоѳеозъ войны, не тотъ, который въ блескѣ перебѣгающихъ молній ружейнаго огня, опутанный, словно знаменемъ, пороховымъ дымомъ, высоко возносится надъ полями битвъ; не тотъ, за которымъ слѣдуетъ неудержимое «ура!», который глупые люди встрѣчаютъ восторженными восклицаніями, а не менѣе глупые поэты—кровожадными строфами патріотическихъ одъ. Нѣтъ, это былъ апоѳеозъ—безсильно раскинутый, облитый кровью, глухо стонущій: образъ, упущенный пламенными поклонниками войны, никогда не облекавшійся въ краски и риѳмы батальными художниками и стихотворцами... Будь она прокляга, эта неистовая бойня!» (633). Это не какой-нибудь скептикъ говоритъ, а самъ г. Немировичъ, отъ собственнаго своего лица. Это, впрочемъ, не важно. Не особенно важно и то обстоятельство, что въ самомъ романѣ упоминается, хотя очень вскользь, о кое-какихъ грѣхахъ «народа, надѣвшаго солдатскую шинель», о томъ, напримѣръ, что солдатъ не прочь иногда «бѣженокъ (болгарскихъ бѣглянокъ) обижать» (544), и, повидимому, нѣсколько отличнымъ отъ Залѣсскаго способомъ, то-есть не воздушными поцѣлуями: всякая война, и особенно побѣдоносная, славная, сопровождается подобными мерзостями. Но вотъ что уже дѣйствительно важно. Въ «Грозѣ» сообщаются многочисленные факты мужества, самоотверженія, терпѣнія, искусства офицеровъ, докторовъ, сестеръ милосердія, такъ что не одинъ, значитъ, солдатъ умѣлъ умирать, а и кое-кто изъ «сильныхъ знаніемъ». Если къ этому

прибавить, что солдатъ дѣйствительно шелъ и умиралъ не особенно добровольно, не особенно сознательно, а такъ же, какъ онъ переходилъ черезъ Чертовъ мостъ при Суворовѣ и во многихъ другихъ поразительныхъ случаяхъ за совершенно ему чужое дѣло; если это прибавить къ примѣрамъ доблести «сильныхъ знаніемъ», которые г. Немировичъ самъ приводитъ — такъ неужели дѣло все-таки будетъ въ Петрѣ и Иванѣ? Неужели все-таки валить на дрянь-Залѣсскаго всѣ казни египетскія за воздушный поцѣлуй?! Нѣтъ, солдатъ умѣлъ умирать, но не какъ народъ, «надѣвшій» солдатскую шинель, а просто, какъ солдатъ, на котораго шинель надѣта. И «интеллигентный баринъ» не такъ ужъ сплошь былъ бездаренъ и низокъ, какъ говоритъ г. Немировичъ въ своемъ резюме. О, много было бездарности и низости, слишкомъ много! Но много и благороднѣйшихъ сердецъ было, разорвавшихся въ виду, правда, «безсилія», но не личнаго, а непобѣдимыми обстоятельствами опредѣленнаго. Но какое дѣло интеллигентной толпѣ до этихъ современныхъ изданій «Горя отъ ума»!

Къ нимъ мы и обратимся на основаніи матеріаловъ, сообщаемыхъ г. Немировичемъ-Данченко. Но прежде покончимъ съ самимъ г. Немировичемъ.

Я могъ бы привести еще много образчиковъ грубости красокъ этого писателя, но и приведеннаго, кажется, довольно. Интеллигентная толпа требовала кары грабительствующихъ жидовъ, ворующихъ интендантскихъ чиновниковъ, трусоватыхъ и фатоватыхъ офицеровъ генеральнаго штаба. Это— во-первыхъ; во-вторыхъ, она требовала возвеличенія русскаго солдата въ достоинство русскаго народа, добровольно и сознательно надѣвшаго солдатскую шинель; при этомъ солдатъ долженъ быть смиренъ, кротокъ, храбръ, своей капустой доволенъ, къ хорошему начальству уважителенъ и немножко придурковатъ. Все это—и эту сомнительную кару, и это сомнительное возвеличеніе—г. Немировичъ даетъ, и все это онъ исполняетъ дубовато-угловато, топорно. Но, къ счастью, онъ спо, собенъ иногда дѣлать свое дѣло независимо отъ требованій интеллигентной толпы. И тутъ онъ пишетъ страницы, надъ которыми стоитъ задуматься...

Заинтересованный нѣкоторыми изъ этихъ страницъ, я обратился лично къ г. Немировичу за нѣкоторыми разъясненіями насчетъ военныхъ самоубійствъ. Онъ былъ такъ любезенъ, что сообщилъ мнѣ слѣдующіе два факта, только два, за которые, однако, я приношу ему глубокую благодарность.

Во время стоянки около Санъ-Стефано, одинъ изъ лучшихъ и грамотныхъ солдатъ, въ горной баттареѣ Орлова, подошелъ къ этому послѣднему:

— Ваше в—іе, дозвольте спросить, скоро ли мы назадъ, въ Россію пойдемъ?

— Не знаю...

— А какъ примѣрно?

— Можетъ быть, мѣсяца черезъ два, если все обойдется хорошо.

На другой день солдата нашли повѣсившимся.

Изъ благодарности къ г. Немировичу, я не комментирую этого разсказа, не сопоставляю его съ «народомъ, надѣвшимъ солдатскую шинель»...

Другой разсказъ касается самоубійства военнаго доктора Гурбскаго, о которомъ я въ прошлый разъ упомянулъ мимоходомъ и между прочимъ.

Въ Трновѣ-Сейменли, въ 11-мъ военно-временномъ госпиталѣ, былъ врачъ Гурбскій. Онъ на войнѣ пробылъ съ начала кампаніи. Это былъ образецъ добросовѣстнаго отношенія къ своимъ обязанностямъ; поэтому у Гурбскаго оказались, въ концѣ концовъ, здоровье и нервы разстроенными до крайности. По окончаніи кампаніи, больныхъ у него на рукахъ осталось множество, на него одного приходилось болѣе 100 человѣкъ (помощника для этихъ у Гурбскаго не было). Наконецъ, видя, что помощниковъ ему не даютъ, что въ другихъ мѣстахъ десятки врачей остаются безъ дѣла, Гурбскій сталъ проситься въ Россію для поправленія здоровья. Долго хлопоталъ онъ объ этомъ и, наконецъ, получилъ отказъ «на отрѣзъ», притомъ въ крайне грубой формѣ. Гурбскаго это поразило. Онъ пробылъ на войнѣ больше года, а въ отпускъ посылали тѣхъ, кто не оставался и трехъ мѣсяцевъ. Это Гурбскаго поразило такъ, что онъ принялъ морфій. Товарищи, работавшіе съ другими больными, давно замѣчали въ немъ безнадежную тоску, слѣдили за нимъ и во-время спасли его, но не надолго. Изъ сожалѣнія къ Гурбскому, одинъ изъ товарищей выхлопоталъ ему отпускъ въ Россію, помимо военнаго начальника, управлявшаго медицинскою частью изъ Адріанополя. Начальникъ, узнавъ объ этомъ, вызвалъ Гурбскаго къ себѣ въ Адріанополь и такъ обругалъ его «за нарушеніе дисциплины», что нервы Гурбскаго не выдержали: тотчасъ же по возвращеніи отъ начальника въ гостинницу, онъ застрѣлился. Это было 3-го іюля.

Разсказъ этотъ многое, разумѣется, уясняетъ въ трагической смерти Гурбскаго, поразившей, какъ писали въ газетахъ, всѣхъ своею неожиданностью и кажущеюся безпричинностью. Но все-таки печальная исторія не вполнѣ ясна. Грубость Скалозуба мо-

жетъ достигнуть ужасающихъ размѣровъ, мы всѣ это очень хорошо знаемъ; но она въ данномъ случаѣ можетъ быть только послѣднимъ толчкомъ, спустившимъ курокъ револьвера, а заряженъ револьверъ былъ, очевидно, много раньше. Много какихъ-то душевныхъ мукъ принялъ Гурбскій прежде, чѣмъ Скалозубъ его доканалъ. Какія это были муки? Муки Гурбскаго и другихъ, поразившихъ всѣхъ своею многочисленностью?

Я уже въ прошлый разъ отвѣтилъ на этотъ вопросъ, какъ я его понимаю: сверлящая работа оскорбленной чести, или не менѣе сверлящая работа угрызеній совѣсти, или и та, и другая въ болѣе или менѣе сложной комбинаціи.

«Гроза» г. Немировича, хотя и называется романомъ, но вовсе не романъ. Это—рядъ наскоро связанныхъ эпизодовъ военной жизни. Съ однимъ изъ этихъ эпизодовъ мы познакомимся нѣсколько ближе.

Ротѣ капитана Боброва предстоитъ взять черкесскую деревню Хаджи-Бай. Поручикъ Егоровъ, «блѣдный, но спокойный, вывелъ солдатъ и развелъ ихъ, съ внутреннею болью всматриваясь въ эти, тоже поблѣднѣвшія, лица. Всѣмъ было жутко; было жутко и ему... А тутъ еще шевелилось въ душѣ чувство собственной виновности противъ нихъ, этихъ сѣрыхъ неприглядныхъ тружениковъ. И чѣмъ дальше, тѣмъ это чувство становилось больнѣе и больнѣе... Странный переворотъ совершался въ немъ, и такъ быстро! Еще вчера онъ былъ увѣренъ въ законности этой войны, въ ея неизбѣжности, а теперь—теперь въ его душѣ было то тяжелое похмѣлье, которое присуще каждому преступнику, пережившему экстазъ самаго преступленія. «Ты, вѣдь, какъ и другіе, кричалъ, требовалъ этой войны. Тутъ есть и твоя доля. А за что же будутъ умирать эти?... Имъ, лично имъ, развѣ была нужна эта бойня? Что имъ за дѣло до твоихъ убѣжденій?»

Тѣмъ временемъ Бобровъ подъ пулями шелъ съ своей ротой. Ему и самому стоило усилій не кланяться передъ пулями, а изъ солдатъ кое-кто ужъ и отставать сталъ. Онъ подбодрилъ ихъ. «Десятка два солдатъ порѣшительнѣе догнали Боброва; остальные шли неувѣренною массой, разомъ потерявшею всю свою стойкость и правильность. Самые трусливые залегли въ ровики, хотя тутъ же, около, пули такъ и падали, съ злобнымъ шипѣніемъ впиваясь въ рыхлую землю. Вѣдь и тутъ убить можетъ, а лежать все-таки какъ-то имъ легче... Все кажется безопаснѣе. Каждый только старается поглубже въ ровикъ уйти, тоже стараясь впиться всѣмъ своимъ существомъ въ землю.—Это еще что у меня? загремѣлъ Бобровъ, замѣтивъ начинающуюся панику.—Вы трусить... Стой!—Рота остановилась.—Стройся!—Какъ только солдаты стали въ ряды, волненіе уменьшалось и уменьшалось. — Я съ вами шутить не стану! На пле-чо!—Послышался лязгъ ружей, неправильный, въ разбродъ. Не совсѣмъ еще овладѣли собой солдаты. Какая-то шальная пуля ударила въ штыкъ, звонъ раздался на всю роту.—Еще разъ! Я васъ дойму. Я вамъ передъ самой траншеей ученье сдѣлаю. Къ ногѣ! На пле-чо!—На этотъ разъ команда исполнена была правильно».

Идутъ дальше. «Вы куда? остановилъ Бобровъ трехъ солдатъ. Четвертый, очевидно, былъ раненъ и громко стоналъ. Солдаты молчали.—Откуда вы?—Изъ цѣпи.—Куда? я спрашиваю...—Раненаго вотъ... нерѣшительно заговорили солдаты.—Трое одного? Ахъ, мерзавцы!.. Передать санитарамъ и маршъ въ цѣпь. Сейчасъ же догнать...—Люди неохотно повернулись, пробѣжали впередъ нѣсколько и залегли въ кусты. Разъ струсившій человѣкъ уже не владѣетъ собой, если за нимъ никто не смотритъ. Онъ по собственной своей волѣ уже не вернется въ бой... Скорѣе бы кончилась эта проклятая кукуруза. Правда, въ ней безопаснѣе, не видно непріятеля, но за то эта чаща стеблей, сплошная, хорошо прикрывающая, большой соблазнъ для солдата... Это *удобство схорониться* (курсивъ г. Немировича) ужасно смущаетъ... Другой даже и сознаетъ, что направо и налѣво падаютъ пули, слѣдовательно, и лежать скверно. Но онъ *шелъ* по инерціи; особеннаго усилія для этого ему не требовалось, онъ не шелъ, а *продолжалъ идти*. А теперь, чтобы *встать*, нужно *особое чрезвычайное усиліе* и идти нужно уже *не продолжать*, а *начать* вновь (курсивы г. Немировича). Ну, и лежитъ бѣдняга лицомъ въ землю. Только мурашки бѣгаютъ по спинѣ... Да какой-то холодъ чувствуешь въ эту теплую ночь, а горло словно спазмы перехватываютъ... Одинъ такой лежащій для другихъ словно магнитъ какой. Въ одиночку иной бы и не легъ, а тутъ къ товарищу привалиться все легче... Всю ночь пролежать и промолчать, слова не скажутъ, потому что стыдно, а все-таки не подымутся и не пойдутъ впередъ. Иной еще про себя молитву читаетъ».

Но вотъ и драка. «Кровожадный рокотъ барабановъ на минуту заглушилъ даже могучее «ура!», разомъ вырвавшееся изъ ста грудей... Такъ кричатъ только передъ неминучею смертью, чтобы ободрить, оглушить, освирѣпить себя. Такъ оретъ человѣкъ, чтобы на нѣсколько мгновеній сдѣлаться животнымъ, которое и само не попроситъ, и не дастъ никому пощады. И дѣйствительно, опьяняющи были эти крики. Въ головѣ

точно туманъ отъ нихъ — ни разсуждать, ни думать. Можно только бить, колоть. Съ толкомъ даже и стрѣлять нельзя въ этомъ одуряющемъ гамѣ. Вмѣстѣ съ дробью барабана, съ рѣзкимъ металлическимъ сигналомъ горниста, онъ давилъ въ сердцѣ и чувство опасности, и инстинкты жизни. Подъ вліяніемъ этого «ура» шаги дѣлались чаще, больше и быстрѣе, переходили въ бѣгъ. Тутъ уже не было отставшихъ. Все, что не залегло позади въ кукурузу, все теперь стремглавъ, *слѣпо* (курсивъ г. Немировича) бѣжало за Бобровымъ. Хотѣлось скорѣе дорваться туда. Росла жажда мести, кому и за что—до этого никому не было дѣла. Только скорѣе, скорѣе впередъ». Въ числѣ другихъ бѣжалъ и поручикъ Егоровъ. «И какъ нарочно, назойливое воспоминаніе такъ и стало передъ глазами поручика. Петербургская гостиная, толпа фразеровъ-славянолюбцевъ, оставшихся теперь въ своихъ теплыхъ и покойныхъ кабинетахъ. Гремятъ восторженныя рѣчи; цѣлый міръ закидывается шапками; очаровательныя дамы улыбаются храбрымъ на словахъ людямъ. Великодушные проекты перестроить цѣлый міръ, одинъ грандіознѣе другого, такъ и ростутъ въ этой «умной, интеллигентной бесѣдѣ»... А теперь здѣсь за фразы храбрыхъ людей, за ихъ восторги расплачиваются эти солдаты, эти оторванные отъ земли работники!.. И что за дѣло всѣмъ этимъ Иванамъ, Петрамъ до объединенія славянъ? «Умирать пора! И честнѣе умереть, чѣмъ жить», мелькнуло въ головѣ у Егорова... Да, честнѣе. Ты тоже кричалъ, ты тоже науськивалъ... Жутко, боязно... жить бы еще... Нѣтъ, умирать, умирать пора».

Въ дракѣ, при которой «въ жару ожесточенной бойни, защищавшихся не отличали отъ беззащитныхъ», при которой, «отступая, подаваясь впередъ, въ сторону, давили подошвами лица труповъ, каблуками бередили раны умирающихъ, спотыкаясь падали въ теплыя кровавыя лужи, давили своихъ и чужихъ, не обращая вниманія на стоны, глухо раздававшіеся подъ ногами, на проклятія раненыхъ»; въ этой дракѣ погибъ и поручикъ Егоровъ. Сабля его осталась въ ножнахъ: «Егоровъ видимо и не защищался. Бросился туда и упалъ подъ ударами. Онъ счелъ честнымъ вести людей на смерть, себя перваго обрекая смерти, не противясь ей, не убивая другихъ»...

Я имѣлъ не одинъ резонъ, дѣлая эту длинную выписку. Прежде всего, каково бы ни было абсолютное художественное достоинство приведеннаго эпизода, онъ во всякомъ случаѣ стоитъ безконечно выше добродѣтельнаго солдата, преданнаго родной капустѣ и угощающаго сестру милосердія «кислой фрухтой», или негодяя Залѣсскаго, не могущаго сдѣлать ни одного шага безъ напыщеннѣйшаго негодяйства, и тому подобныхъ шаблонныхъ образовъ и картинъ, разсыпанныхъ по «Грозѣ». И это очень натурально. Тамъ авторъ писалъ по трафарету и, будучи по рукамъ и ногамъ связанъ заказомъ интеллигентной толпы, не имѣлъ возможности ни свободно пускать въ ходъ свою изобразительную способность, ни черпать изъ запаса своихъ живыхъ наблюденій. Здѣсь, напротивъ, онъ осмѣлился изобразить струсившихъ и затѣмъ освирѣпѣлыхъ солдатъ и честнаго человѣка, съ горечью сравнивающаго болтовню петербургскихъ салоновъ съ военною дѣйствительностью. Оба эти мотива не только не входятъ въ программу требованій интеллигентной толпы, но прямо ей противорѣчатъ: подавай солдата мужественнаго и кроткаго, подавай честнаго человѣка, ликующаго при мысли о войнѣ. Разъ оторвавшись отъ этихъ требованій, г. Немировичъ очутился на свободѣ, и мы находимъ у него очень тонкія психологическія замѣчанія, очень вѣрныя наблюденія и ни одной аляповатости.

Можетъ, конечно, показаться, что поручикъ Егоровъ нѣсколько не во-время вспомнилъ о своихъ собственныхъ и чужихъ «науськиваніяхъ», что такъ не бываетъ, что смерть Егорова пахнетъ искусственной мелодрамой. Это правда; но если психологическій мотивъ въ этомъ случаѣ не совсѣмъ хорошо обставленъ, вдвинутъ въ не совсѣмъ подходящую рамку, то намѣченъ онъ все-таки очень вѣрно. Егоровъ былъ двадцать лѣтъ въ отставкѣ и тряхнулъ стариной ради войны за братьевъ славянъ. По всей вѣроятности, онъ былъ не изъ науськивающихъ, а изъ науськиваемыхъ, а если и науськивалъ, такъ его слабый голосъ былъ совершенно ничтоженъ въ общемъ хорѣ барабанно-патріотическаго концерта. Но въ извѣстную минуту его ничтожное активное участіе въ этомъ дѣлѣ могло вырости въ его собственномъ сознаніи до размѣровъ большого преступленія, заслуживающаго даже смертной казни. Въ моментъ-ли драки, или приготовленія къ ней, или раздумья послѣ нея, но эта минута покаянія и угрызеній совѣсти могла, а при извѣстныхъ нравственныхъ задаткахъ и должна была наступить. Бываютъ люди совершенно безсовѣстные, которые могутъ, не моргнувъ глазомъ, вести тысячи людей на гибель ради собственной фантазіи и за совершенно чуждое имъ, гибнущимъ, дѣло. Едва-ли не величайшимъ образцомъ такой безсовѣстности былъ Наполеонъ «великій». Но, разъ совѣсть заговорила, человѣкъ непремѣнно преувеличиваетъ свой грѣхъ, дѣлаетъ изъ мы-

ленькой мучащей его мухи огромнаго слона и только объ томъ и молитъ, чтобы этотъ слонъ раздавилъ его. Егорову кажется, что онъ, дѣйствительно, кого-то науськалъ, повелъ, вовлекъ и, какъ ни преувеличенно это мнѣніе, но въ немъ есть зерно истины: Егоровъ былъ однимъ изъ тѣхъ, которые бросили на одну чашку вѣсовъ родины свои личные порывы, не справляясь съ другой чашкой, на которой лежатъ интересы народа. Дѣйствительность отрезвила его. Дѣйствительность сказала ему: не вамъ освобождать и спасать, не вамъ, рабамъ своего брюха, своей фантазіи, низменнѣйшихъ инстинктовъ, рабамъ во всѣхъ смыслахъ слова! Врачу, исцѣлися самъ, переродитесь сами прежде, чѣмъ перерождать другихъ... Дѣйствительность говорила именно это, хотя Егоровъ не все въ этомъ говорѣ съ точностью понялъ, не все могъ самъ формулировать. Но что таковъ именно былъ общій смыслъ полученныхъ имъ впечатлѣній, видно изъ разговора, который онъ, еще до аттаки Хаджи-Бая, имѣлъ съ однимъ юнымъ горяченькимъ офицерикомъ: «Помяните мое слово, и въ эту войну, какъ и прежде, мы только на солдатѣ выѣдемъ. Только одинъ онъ все на себѣ и вынесетъ. Говорю вамъ, хребтамъ просторъ теперь. Хребты нужны... И прежде вѣдь не умомъ, а только хребтами брали». Къ этому воплю отчаянія и самобичеванія приходитъ все, мало-мальски порядочное, фигурирующее въ романѣ г. Немировича. Начиная съ генерала Драгомирова, который, по словамъ одного изъ дѣйствующихъ лицъ «Грозы», выразилъ мнѣніе, что насъ вывезетъ «святая скотина» солдатъ. Можетъ быть, это остроумно, но «хребты» остроумнѣе. Я понимаю, что идея спасительныхъ хребтовъ такъ понравилась автору, что онъ ее и отъ собственнаго своего лица неоднократно пускаетъ въ ходъ, и многимъ изъ своихъ героевъ вкладываетъ въ уста. Да, хребты, именно, хребты: физическая сила, численность и спинной мозгъ, сѣдалище безсознательной, автоматической психической дѣятельности. Какъ могъ г. Немировичъ написать при этихъ условіяхъ свое молніеносное резюме, какъ могъ онъ увидѣть въ этомъ торжествѣ спасительныхъ хребтовъ отблескъ высшаго, всенароднаго сознанія, этого я не знаю. Не знаю и не вѣрю, чтобы докторъ Пастыревъ могъ внезапно придти къ такому же заключенію. Герои «Грозы», говорящіе о хребтахъ, и самъ авторъ видятъ въ этомъ обстоятельствѣ какое-то своеобразное горькое утѣшеніе. Плохое утѣшеніе, главнымъ образомъ, тѣмъ плохое, что его невозможно идеализировать въ направленіи, желательномъ для ищущихъ утѣшенія.

Докторъ Пастыревъ пріѣхалъ на войну уже готовымъ скептикомъ, и на этой почвѣ скептицизма впечатлѣнія войны давали соотвѣтственные цвѣты и плоды. Прежде всего—непосредственныя впечатлѣнія бойни, изучаемой не изъ прекраснаго далека, откуда видны только общія очертанія въ туманѣ, а на мѣстѣ, среди всего этого безсмысленнаго ожесточенія, стадной свирѣпости и стадной трусости. Ну, съ этимъ ничего не подѣлаешь. Такова всякая война. Но тутъ Пастыревъ еще встрѣтилъ всю коллекцію «свиныхъ рылъ» персонажей «Горя отъ ума»; услышалъ похвальбу казака: «тутъ вашескородіе, наша нагайка въ чести; ей и на Дону столько дѣла не было» (это ужъ, я думаю, казакъ прихвастнулъ: «на Дону» не меньше было); услышалъ отъ болгарина слѣдующій отвѣтъ на вопросъ—кто лучше, «мы или турки»: «турци те сичко земютъ и братушки сламу и лябъ земютъ» (турки все берутъ и братушки солому и хлѣбъ берутъ) и проч., и проч. и проч. Все это было бы вполнѣ умѣстно въ войнѣ завоевательной, откровенно затѣянной съ цѣлью хищничества, грабежа, порабощенія. Но вѣдь это была война освободительная! Въ этомъ противорѣчіи предполагаемой цѣли и дѣйствительныхъ средствъ было столько ужаса, сколько не ожидала встрѣтить даже скептически настроенная мысль Пастырева. И онъ узналъ «милліонъ терзаній». Г. Немировичу хочется, чтобы Пастыревъ нашелъ уголокъ оскорбленному чувству въ идеѣ спасительныхъ хребтовъ. Но вѣдь и хребты не выстаивали, какъ видно изъ случая самоубійства солдата подъ Санъ-Стефано, любезно сообщеннаго мнѣ г. Немировичемъ, или изъ самоубійствъ погонцевъ, о которыхъ г. Немировичъ разсказываетъ во второмъ томѣ «Года войны». Конечно, вмѣсто одного хребта всегда можно поставить другой, пока запасъ ихъ не истощился, но надо же помнить и понимать, что это, дѣйствительно, только хребты, головы которыхъ остались дома среди своихъ обычныхъ думъ и кровныхъ интересовъ. Что же тутъ утѣшительнаго? Подставлять вмѣсто хребтовъ народъ, значитъ, подтасовывать факты и искать утѣшенія въ области фантазіи. Опять-таки, блаженъ кто вѣруетъ, тепло тому на свѣтѣ; но какъ же холодно тому, кто не вѣруетъ! А вѣру вѣдь и прожить можно.

Пастыреву еще хорошо—онъ скептикомъ и пріѣхалъ на войну. Представьте же себѣ на его мѣстѣ хоть тѣхъ трехъ юныхъ прапорщиковъ, которые предприняли коллективное самоубійство въ Болгаріи. По всей вѣроятности, они прямо со школьной скамьи попали въ пекло освобожденія Болгаріи. Я живо представляю себѣ, какъ эти розовые юноши съ жадностью читали газетные гимны въ прозѣ, какъ они рвались туда, на

«поле чести» и какія пылкія мечты гнѣздились въ ихъ головахъ. Конечно, тутъ были и мечты второго сорта: георгіевскій крестъ, раненая рука, граціозно лежащая на перевязи, почетъ, милыя улыбки милыхъ сердцу дѣвицъ и дамъ... Но были вѣдь и особые стимулы жаднаго стремленія въ глубь этой перспективы успѣховъ и ликованія. Немного найдется въ исторіи войнъ, принципіальное значеніе которыхъ такъ отвѣчало бы естественнымъ порывамъ молодыхъ душъ, неумудренныхъ опытомъ, но и не зачерствѣлыхъ въ опытѣ. Розовые прапорщики должны были съ нарочитою гордостію смотрѣться въ зеркало: они идутъ освобождать угнетенные народы, жить и жизнь давать другимъ, разбивать ярмо турецкаго деспотизма, тяготѣющаго надъ родственными племенами. Завидная доля. Завидная въ принципѣ и вовсе не завидная въ конкретной дѣйствительности, какъ видно изъ того, что розовые прапорщики оторвались отъ этой дѣйствительности самоубійствомъ. Что они должны были встрѣтить въ Болгаріи, это мы уже теперь очень хорошо знаемъ. Между прочимъ, тотъ же г. Немировичъ-Данченко разсказалъ намъ это въ «Грозѣ» и гораздо лучше въ «Годѣ войны». Было бы долго и ненужно перетряхивать всю эту массу тяжелыхъ впечатлѣній, обрушившихся на разгоряченный мозгъ юныхъ прапорщиковъ; ненужно, потому что многое намъ ужъ очень знакомо: ворующій интендантскій чиновникъ, грабительствующая компанія продовольствія войскъ, плевненскія неудачи, малкіелевскіе сапоги, первый забалканскій походъ, замерзшія тысячи солдатъ и проч. Я попрошу только читателя развернуть страницы 245—249 второго тома «Года войны» г. Немировича. Тамъ сообщаются нѣкоторыя подробности нашихъ отношеній къ болгарамъ, не однимъ г. Немировичемъ засвидѣтельствованныя. Русское начальство въ Болгаріи, съ знаменитымъ княземъ Черкасскимъ во главѣ, боится или вообще, по какимъ-то темнымъ соображеніямъ, не хочетъ вооружить освобождаемый народъ и, слѣдовательно, сразу налагаетъ на него тяжелое иго насилія и недовѣрія. Тоже самое начальство оказываетъ большое расположеніе къ отвратительной болгарской буржуазіи, къ народнымъ піявкамъ чорбаджіямъ, сторонится отъ молодыхъ интеллигентныхъ силъ страны изъ боязни революціи и дѣпляется за себялюбивое и тупое старье. А если молодой интеллигентный болгаринъ попадетъ въ городской совѣтъ, то происходитъ слѣдующее: «Воловъ, арбъ, лошадей нѣтъ, а тутъ налетаетъ какой-нибудь храбрый интендантъ или даже «товарищъ» (?) и давай за отказъ подчивать интеллигентнаго кончившаго университетъ болгарина нагайкой. Это не исключеніе, я случайностей не обобщаю. А сколько имъ приводилось выслушивать трехэтажныхъ словъ—и числа нѣтъ». Въ другомъ мѣстѣ нашъ авторъ говоритъ про эту вездѣсущую, всебьющую нагайку: «это былъ, такъ сказать, карманный словарь для разговора съ братушками—ихъ не билъ только лѣнивый».

О, какой густой краской негодованія и стыда должны были заливаться розовыя лица трехъ юныхъ прапорщиковъ! Нагайка, вѣдь это родная дочь нагайца, а не о водвореніи нагайской цивилизаціи мечтали юноши. Но если они рѣшились смѣть свое сужденіе имѣть, то, конечно, подобно Гурбскому, получали грубую, оскорбительную нотацію «за нарушеніе дисциплины». Прибавьте развинченные впечатлѣніями бойни нервы, полную невозможность сдѣлать что-нибудь для освобождаемыхъ, потому что нагайская цивилизація есть система, цѣликомъ перенесенная изъ нагайской степи, а не дѣло рукъ Петра или Ивана—и вы поймете «милліонъ терзаній» трехъ бѣдныхъ, молчаливыхъ прапорщиковъ. Еслибы еще ихъ воображеніе не было предварительно раздразнено перспективой геройскихъ подвиговъ освобожденія угнетенныхъ народовъ, такъ куда бы еще ни шло! Они, можетъ быть, очень быстро освоились бы съ нагайкой и сами съ успѣхомъ пускали въ ходъ это благородное оружіе. Но, разъ попробовавъ сладкаго, они вдвойнѣ чувствовали горечь горькаго. Каждый взмахъ нагайки, ложившейся на спину «братушки» и проливавшей этимъ страннымъ способомъ болгарскую кровь за болгарскую свободу, оставлялъ незалѣчимый рубецъ на ихъ собственной душѣ. И вотъ, когда этихъ не кровавыхъ, но хуже, чѣмъ кровавыхъ рубцовъ набралось довольно, три прапорщика сказали другъ другу: скучно жить... невеселая наша жизнь. Затѣмъ три выстрѣла и трехъ прапорщиковъ не стало. Они не жаловались, не оставили хоть какого-нибудь проклятія нагайкѣ, ибо только-что нюхнули идеальнаго воздуха чести и совѣсти и слишкомъ мало дышали имъ, чтобы претворить при помощи его въ формулу, въ слово, въ крикъ свои впечатлѣнія. О претвореніи ихъ въ какое-нибудь дѣйствіе (кромѣ самоубійства) не могло быть, разумѣется, и рѣчи. Что подѣлаешь!

Были, однако, и многословные самоубійцы. Исторію одного изъ нихъ разсказалъ тотъ же г. Немировичъ въ «Годѣ войны». Это былъ человѣкъ, 37 лѣтъ прослужившій отечеству, семейный — жена и пять человѣкъ дѣтей. Въ началѣ войны онъ былъ воспитателемъ въ военноучебномъ заведеніи, но попросился въ дѣйствующую армію и его пе-

ревели въ интендантство — начальникомъ интендантскаго эшелона. Повидимому, онъ сунулся въ воду, не спросясь броду, потому что черезъ два съ небольшимъ мѣсяца своего командованія эшелономъ, въ ноябрѣ 1877 года, онъ застрѣлился въ Зимницѣ. Изъ писемъ, которыя онъ оставилъ своему начальнику, помощнику и женѣ, видно, что его мучили двѣ вещи. Во первыхъ, установившіеся порядки; во-вторыхъ, репутація интендантскихъ чиновниковъ. «Это такая безурядица — читаемъ въ одномъ изъ его предсмертныхъ писемъ — такая ужасная ерунда, что мало-мальски порядочный и честный человѣкъ не можетъ выдержать. Люди транспорта оборваны, положеніе грустное, живутъ подъ открытымъ небомъ, зябнутъ безъ всякаго крова; а я ничѣмъ помочь не могу, въ виду всевозможныхъ законныхъ формальностей, которыя въ военное время непримѣнимы. Такой вотъ, напишутъ въ газетахъ, начальникъ транспорта застрѣлился, вотъ наворовалъ вѣрно и погибъ, какъ мошенникъ или воръ. Я прислалъ тебѣ то, что причиталось мнѣ изъ кроваваго моего содержанія, ни одной копѣйки казенной не взялъ, но кто-жъ этому повѣритъ? Ахъ! какъ всѣ интендантство ругаютъ, совѣстно служить въ подобномъ вѣдомствѣ, нѣтъ силы вынести ту ужасную ненависть, которую всѣ питаютъ къ интендантскому чиновнику».

Я ничего не прибавлю отъ себя къ этой выдержкѣ изъ письма «жертвы казеннаго эшелона», какъ нѣсколько наивно называлъ себя покойникъ, бывшій въ сущности жертвою чего-то, гораздо болѣе обширнаго и глубокаго. Подведемъ итогъ.

Интендантскій чиновникъ, «ужасная ерунда» и лично незаслуженное клеймо; три прапорщика и освободительная нагайка; Гурбскій и скалозубовскія оскорбленія; Егоровъ и чувство отвѣтственности за празднословіе—таковы слагаемыя. Итогъ подвести не трудно. Стихійныя силы исторіи поставили задачу освобожденія угнетенныхъ славянъ, но въ освободительной машинѣ оказались изъяны. Этого противорѣчія люди чести и совѣсти не вынесли. Мысль, можетъ быть, тутъ же, самымъ заглавіемъ задачи разбуженная, заглавіемъ звучнымъ и хорошимъ, въ ужасѣ отступала передъ дѣйствительностью. И не только передъ дѣйствительностью настоящей минуты, которая и сама по себѣ была слишкомъ очевидна. Нѣтъ, «непостижимыми путями» забравшаяся мысль должна была открывать такія перспективы въ прошедшее и будущее, населять ихъ такими воспоминаніями и ожиданіями, что человѣку съ развинченными нервами мудрено было найти выходъ. Ничего, можетъ быть, вполнѣ яснаго не было въ этихъ воспоминаніяхъ и ожиданіяхъ. Они вставали блѣдныя и туманныя, какъ привидѣнія изъ гробовъ. Но отъ этого не было легче. Поручикъ Егоровъ вспомнилъ, что онъ участвовалъ въ «науськиваніи» и въ отправкѣ на смерть людей, желающихъ жить. Но, разъ закравшись, эта скорбная мысль должна была вызывать подходящія, хотя и не столь опредѣленныя воспоминанія: не было-ли въ жизни поручика Егорова и еще чего-нибудь такого, отъ чего щемитъ совѣсть? Благо ему, если не было, но вѣдь кто можетъ поручиться, что не было и не будетъ? Докторъ Гурбскій потерпѣлъ оскорбленіе отъ Скалозуба, но не терпѣлъ-ли онъ и въ прошломъ какого-нибудь нагайства? онъ самъ или его близкіе и кровные? Можетъ быть, въ свое время онъ не записалъ тѣхъ оскорбленій въ сердцѣ своемъ достаточно рѣзкими чертами: то было дѣло домашнее, обыденное, привычное. Но тутъ они выступили яркими пятнами стыда...

Я, впрочемъ, ничего больше не скажу объ этихъ самоубійствахъ и даже жалѣю, что завелъ о нихъ рѣчь...

Литературныя замѣтки 1879 г.

I.

Нѣсколько словъ о славянофильствѣ и западничествѣ *).

(Изслѣдованія по русскому праву обычному и брачному. И. Г. Оршанскаго. Спб. 1879).

I.

Въ двѣнадцать часовъ по ночамъ
Изъ гроба встаетъ барабанщикъ,..

Потомъ встаютъ изъ темныхъ гробовъ молодцы егеря, старики гренадеры, несутся на воздушныхъ коняхъ усачи кирасиры.

Бываетъ и въ литературѣ двѣнадцать часовъ. Въ фантастически темную полночь происходитъ фантастическій ночной смотръ. Встаютъ, въ видѣ полнаго собранія сочиненій, князь Вяземскій, Самаринъ, Хомяковъ, даже князь Черкасскій и тѣни ихъ бодро бряцаютъ оружіемъ и торжественно маршируютъ передъ читающимъ людомъ. Гг. Достоевскій и Тургеневъ, еще живые для славы русской литературы, тоже какъ бы воскресаютъ, производя бури въ сердцахъ, послѣ того, какъ давно уже никакихъ бурь не производили и тихо и величаво занимали почетную позицію въ нѣкоторомъ родѣ подъ образами.

Есть извѣстная прелесть въ этой фантастической картинѣ. Ея неожиданность и причудливость невольно приковываютъ къ себѣ не то что вниманіе, а, какъ бы сказать, созерцаніе: тамъ, гдѣ сейчасъ только было несомнѣнно пустое мѣсто, вдругъ, по щучьему велѣнью, возникаютъ капризно переплетенные образы, что-то яркое, громкое и странное своею неожиданною яркостью, не то настоящее, не то поддѣльное, не то жизнь, не то миражъ. Мало-мало не чувствуешь позыва пощупать сосѣда, дабы убѣдиться въ реальномъ его существованіи. Фокусники печатаютъ въ афишахъ обѣщанія показать благосклонной публикѣ нѣчто «фантастическое и неопредѣленное, долженствующее произвести на зрителя легкое, но пріятное впечатлѣніе». А тутъ сама жизнь записалась въ фокусники и, задернувъ горизонты фантастическимъ туманомъ, населяетъ ихъ несуществующими руками, молодцовато покручивающими несуществующіе усы, и другими капризнѣйшими сочетаніями бытія и небытія. Все это выходитъ очень пріятно:

Ахъ, не все намъ слезы горькія
Лить о бѣдствіяхъ существенныхъ,
На минуту позабудемся
Въ чарованьи красныхъ вымысловъ!

Ибо все это есть вымыселъ, баллада Зедлица, въ переводѣ Василія Андреевича Жуковскаго. Немножко фантазіи, и вы можете вплести сюда еще какую-нибудь балладу, съ трепетнымъ отблескомъ луны на волнахъ рѣки, въ которой рѣзвятся и плещутъ русалки, преслѣдуя очарованнаго витязя, или съ игрой гномовъ въ чехарду. Это не помѣшаетъ: все равно вымыселъ. Но вымыселъ «красный», чарующій.

Однако, «чарованьемъ» не исчерпываются хорошія стороны «ночного смотра». По отношенію къ покойникамъ смотръ не только полезенъ, а и справедливъ, особливо, когда время ночное и торопиться некуда: пусть они еще и еще разъ проходятъ предъ живыми, являя законченные образцы хорошаго и дурного, поучая самыми заблужденіями своими, а тѣмъ болѣе зернами истины, собранными ими въ житницу родного слова. Сочиненія Хомякова или Самарина имѣютъ, правда, вообще говоря, только историческій интересъ, но интересъ этотъ въ настоящую минуту такъ освѣжается ходомъ дѣлъ, что почти перестаетъ быть историческимъ. Сравните, напримѣръ, серьезную образованность, трудолюбіе, умъ Хомякова или Самарина съ безпардонностью тѣхъ, кто нынѣ считаетъ себя ихъ преемниками, и вы наткнетесь на выводы, въ высокой степени поучительные и живые. И это, конечно, далеко не единственный случай поучительности знакомства съ покойниками.

Живыхъ—Достоевскаго и Тургенева — мы знаемъ, кажется, удовлетворительно и нѣтъ, слѣдовательно, надобности устраивать имъ ночной смотръ съ цѣлью ознакомленія. Тутъ иной, но не менѣе резонный мотивъ. Если мы можемъ, въ сферѣ умственной жизни, чѣмъ-нибудь гордиться передъ всѣмъ образованнымъ міромъ, такъ именно блестящими талантами нашихъ беллетристовъ, долголѣтнее служеніе которыхъ на поприщѣ русской литературы, конечно, заслуживаетъ признанія и чествованія. Воинъ, дипломатъ, администраторъ получаютъ оцѣнку отъ начальства и славу на придачу. Писатель (на-

*) 1879 г., апрѣль.

стоящій писатель, конечно) имѣетъ дѣло только съ обществомъ. Въ получаемомъ имъ воздаяніи нѣтъ ничего оффиціальнаго, что придаетъ воздаянію своеобразную цѣну. И если за долгіе годы работы, за массу эстетическихъ наслажденій и умственной пищи, розданной цѣлому ряду поколѣній, писатель встрѣчаетъ такія овація, какія только-что достались на Пушкинскомъ праздникѣ на долю гг. Тургенева и Достоевскаго, то это есть дѣло простой справедливости. Когда намъ предоставляется зажечь иллюминацію, мы зажигаемъ ее съ большою готовностью, но къ совершенно свободному выраженію своихъ чувствъ мы не привыкли и боимся взять на себя роль судей, оцѣнщиковъ, воздателей даже въ тѣхъ сферахъ, гдѣ благодарность, оцѣнка болѣе или менѣе полно предоставлена общественной иниціативѣ. Только этимъ и объясняется то обстоятельство, что мы такъ рѣдко сами ведемъ своихъ великихъ людей въ пантеонъ.

Тѣма не менѣе, ночной смотръ есть вымыселъ, баллада, дѣло фантастической полуночи, призраки которой должны разлетѣться прахомъ при первомъ крикѣ вѣстника утра. Хорошо присутствовать при ночномъ смотрѣ и видѣть, какъ тѣни скачутъ на воздушныхъ коняхъ; хорошо, но жутко, а когда иллюзія выяснится, такъ и просто невыносимо. Призраки, недоразумѣнія, невозможности, подставные люди, подставныя идеи, безпредметные восторги...

Хорошо поучаться трудами выбывшихъ и выбывающихъ изъ строя жизни, хорошо преклоняться передъ истинными заслугами. Но печально, когда это преклоненіе переплетается недоразумѣніями, извращающими самый смыслъ преклоненія и самую задачу поученія.

Давно уже замѣчено, что древнюю исторію совершенно напрасно называютъ древнею. Древній міръ есть, напротивъ, міръ молодой, младенческій, зародышевый, изъ котораго болѣзненнымъ процессомъ историческихъ родовъ и затѣмъ тяжкимъ опытомъ историческаго роста выработался міръ нынѣшній. Съ этой точки зрѣнія слѣдуетъ разумѣть и пословицу: яица курицу не учатъ. Убѣленный сѣдинами старецъ, конечно, имѣетъ право, ссылаясь на свой опытъ, бросить «мышенку, невидавшему свѣта», сердитое: яица курицу не учатъ. Но когда онъ опирается не на опытность свою, уроки которой всегда должны быть принимаемы къ свѣдѣнію, если не къ исполненію, а на систему убѣжденій своей молодости, то напротивъ, ему самому можно почтительно сказать: яица курицу не учатъ. Ибо авторитетъ его въ этомъ случаѣ есть лишь плодъ недоразумѣнія, призракъ фантастической полуночи, а самъ онъ не болѣе какъ яйцо, которому еще нужно расти и развиваться, чтобы достигнуть положенія правомѣрно поучающей курицы. Г. Незеленовъ, вызвавшій въ своихъ публичныхъ лекціяхъ тѣни славянофиловъ, публика, раздѣлившая свои восторги между гг. Тургеневымъ и Достоевскимъ и заставлявшая ихъ балансировать на противоположныхъ концахъ какого-то рычага, газетные комментаторы этихъ событій, повидимому, не особенно ясно понимаютъ значеніе пословицы «яица курицу не учатъ». Сороковые года, столь хорошо обслѣдованные и нельзя сказать, чтобы очень польщенные въ произведеніяхъ нашихъ знаменитыхъ беллетристовъ (со включеніемъ гг. Тургенева и Достоевскаго), вдругъ окружаются какимъ-то учительнымъ ореоломъ.

И арміи всей отдаютъ
Они тотъ пароль и тотъ лозунгъ:
И «Франція» тотъ ихъ пароль,
Тотъ лозунгъ «Святая Елена».

Позвольте однако. Святая Елена! Святая Елена прекрасный и много говорящій для своего времени лозунгъ, на островѣ св. Елены жилъ по волѣ судьбы человѣкъ, наполнившій своей славой весь міръ; но, оставляя даже въ сторонѣ вопросъ о законности этой славы, вѣдь этого человѣка давнымъ давно нѣтъ на свѣтѣ. Никакой медіумъ не возстановитъ частицы его праха въ формѣ мощной руки, по мановенію которой двигались молодцы егеря и усачи кирасиры. Изъ этихъ частицъ давнымъ давно гдѣ сорный лопухъ ростетъ, по выраженію Базарова, гдѣ роскошныя тропическія пальмы, гдѣ свѣжая изумрудная зелень.

Составитель «внутренняго обозрѣнія» возможно подробно разсмотритъ все, что говорилось и писалось по поводу внезапной реставраціи сороковыхъ годовъ, а я позволю себѣ только одно частное замѣчаніе. Г. Тургеневъ, уму и скромности котораго во всей этой исторіи надо отдать должную справедливость, въ одной изъ московскихъ рѣчей выразился такъ: «Въ наше, въ мое молодое время, слово «либералъ» означало протестъ противъ всего темнаго и притѣснительнаго, означало уваженіе къ наукѣ и образованію, любовь къ поэзіи и художеству, и, наконецъ, пуще всего означало любовь къ народу, который, находясь еще подъ гнетомъ крѣпостного безправія, нуждался въ дѣятельной помощи своихъ счастливыхъ сыновъ». Такъ какъ это говоритъ свидѣтель и видный дѣятель сороковыхъ годовъ, то, надо думать, мы имѣемъ въ его словахъ вполнѣ правдивое изображеніе идеаловъ и дѣйствительности того времени, то-есть, что въ тѣ времена дѣйствительно были на лицо и любовь къ поэзіи, и дѣятельная помощь счастливыхъ

сыновъ и проч. Но какіе-же это странные на теперешній взглядъ, какіе эмбріональные идеалы и программы жизни! «Любовь къ поэзіи и художеству» самымъ серьезнымъ образомъ выставляется, какъ одна изъ основныхъ чертъ нравственной физіономіи «либерала»! Теперь мы очень хорошо знаемъ, что любовь къ поэзіи и художеству вовсе не имѣетъ такого спеціальнаго значенія и можетъ процвѣтать въ мрачнѣйшія историческія эпохи и въ мрачнѣйшихъ сердцахъ. Знаемъ также, что чистокровные «либералы» могутъ весьма удобно плевать на всякую поэзію съ высоты зданія биржи. Но тогда дѣло было, по всей вѣроятности, иначе, то было время эмбріона, яйца, въ которомъ еще не обозначались подробности организаціи курицы. А изъ этого вытекаютъ весьма важныя слѣдствія. Когда вы смотрите на заспиртованный зародышъ человѣка, именно какъ на зародышъ, вы можете не только съ любопытствомъ, а даже съ симпатіей наблюдать его: вотъ эта нескладная, непропорціонально большая, грубо намѣченная голова выравняется и станетъ красивою или уродливою, умною или глупою; эти аляповатые зачатки рукъ вытянутся и зазубрятся пальцами, гибкими и сильными или безпомощными, загребущими или благословляющими, этотъ зачатокъ хвоста скроется и т. д. Но когда вы посмотрите на тотъ же зародышъ, какъ на образецъ, идеалъ... Да, впрочемъ, развѣ можно на него взглянуть съ этой точки зрѣнія иначе, какъ въ темную ночь, когда глазъ еле различаетъ предметы?

Примиреніе, примиреніе и примиреніе. Примиреніе семидесятыхъ годовъ съ сороковыми, примиреніе двухъ знаменитыхъ отроговъ сороковыхъ годовъ—западничества и славянофильства. Словомъ, какого кто хочетъ примиренія, тотъ то и устраиваетъ, воздвигая, однако, свое зданіе на песцѣ. Я склоненъ думать, что примиряться некому. Примиреніе семидесятыхъ годовъ съ сороковыми (не знаю, какъ наоборотъ) произошло задолго до мартовскихъ торжествъ, въ смыслѣ спокойнаго, беззлобнаго признанія исторической роли сороковыхъ годовъ, безъ идеализаціи и униженія. Примиреніе славянофильства и западничества тоже штука стара, которую бросить пора, ибо отъ того и другого давно одни хвосты остались. Цѣльный славянофилъ нынѣ также невозможенъ, какъ и цѣльный западникъ въ смыслѣ эмбріональныхъ идеаловъ сороковыхъ годовъ.

Два крупные момента умственной жизни сороковыхъ годовъ—славянофильство и западничество, если примирились, такъ давно, вѣрнѣе же сказать не примирились, а изсякли, утратили всякое самостоятельное значеніе подъ напоромъ волнъ жизни и науки.

II.

Передо мной лежатъ «Изслѣдованія по русскому праву обычному и брачному» И. Г. Оршанскаго, недавно и слишкомъ рано для русской науки умершаго юриста. Въ этой книгѣ есть замѣчательная статья «Народный судъ и народное право». Написана она по поводу вопроса о преобразованіи волостныхъ судовъ, самостоятельность которыхъ Оршанскій горячо, талантливо и съ большимъ знаніемъ дѣла отстаивалъ. Отдохнувъ отъ мартовскихъ торжествъ, поучимся же у этого умнаго, честнаго и знающаго человѣка.

Статья Оршанскаго, очень обширная, вся проникнута стремленіемъ оградить народный судъ отъ разныхъ нареканій. Таковъ становой хребетъ статьи, которая въ этомъ отношеніи написана очень старательно и искусно. Но неуклонно преслѣдуя свою спеціальную, чисто практическую цѣль, Оршанскій не особенно старался сводить свои концы съ концами въ другихъ отношеніяхъ, лежащихъ внѣ этой цѣли. Поэтому у него можно найти нѣсколько прискорбныхъ противорѣчій, прискорбныхъ не по важности своей, а единственно потому, что хорошую работу всегда хочется видѣть безупречною.

Напримѣръ, сообщая случай, какъ станичный судъ оштрафовалъ казака за передержательство сестры, ушедшей отъ свекра и не работавшей за него, Оршанскій прибавляетъ: «Съѣздъ отмѣнилъ это «дикое» рѣшеніе. Въ подобныхъ случаяхъ наши бюрократы-филантропы видятъ благодѣтельное вліяніе посреднической опеки, спасающей народъ отъ деспотизма волостныхъ судовъ. Но прежде всего, мы думаемъ, слѣдуетъ спросить: имѣлъ ли съѣздъ право постановлять такія рѣшенія? И такъ какъ вопросъ разрѣшается отрицательно закономъ 1866 года, то восхищаться незаконнымъ вторженіемъ начальства въ обычный бытъ крестьянства мы не видимъ никакихъ основаній, тѣмъ болѣе, что «дикое» въ глазахъ одного, можетъ быть справедливымъ и разумнымъ въ глазахъ другого» (29). Оставляя въ сторонѣ вопросъ о законности поведенія съѣзда, мы видимъ, что Оршанскій какъ бы отказывается отъ всякаго критерія, отъ всякаго права судить о «дикости» или не дикости рѣшенія волостныхъ судовъ и народныхъ обычаевъ вообще. Удержаться на такомъ своего рода аскетизмѣ мудрено, а потому, напримѣръ, на стр. 53-й Оршанскій рѣшается сказать: «встрѣчаемъ и крайне дикія рѣшенія по такого рода дѣламъ». И затѣмъ, во многихъ мѣстахъ статьи находимъ указанія, что волостной судъ не только «не

раздѣляетъ грубости народныхъ нравовъ» (55), но и противодѣйствуетъ ей.

На стр. 153 читаемъ: «Справедливо - ли въ виду такихъ данныхъ ставить въ особенную вину волостному суду, что онъ стремится болѣе къ индивидуальной справедливости, чѣмъ къ логически послѣдовательному примѣненію общихъ правовыхъ началъ, когда очевидно, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ національнымъ правовымъ воззрѣніемъ, отъ котораго не отрѣшались и наиболѣе образованные юристы и коронные судьи?» Изъ этого слѣдуетъ, повидимому, заключить, что Оршанскій принадлежитъ къ славянофильствующей братіи, ищущей національныхъ различій во что бы то ни стало и видящей въ національности критерій годности или негодности учрежденій или воззрѣній. Но непосредственно за приведенными строками идутъ слѣдующія: «Во-вторыхъ, и въ странахъ съ наиболѣе развитымъ юридическимъ мышленіемъ стремленіе къ индивидуализаціи правовыхъ началъ, если можно такъ выразиться, имѣетъ огромное вліяніе на судебную практику. По замѣчанію Рувандля, нѣмецкаго юриста-практика, не всѣ судьи способны къ неумолимо объективному исполненію буквы закона. Иные судьи отличаются стремленіемъ къ индивидуализаціи, къ достиженію справедливости по особенностямъ каждаго дѣла. Это направленіе все болѣе усиливается, напримѣръ, въ Баваріи и находится въ связи съ позитивнымъ духомъ времени... Даже французскій кассаціонный судъ, этотъ идеалъ судилища, преслѣдующаго абстрактное единообразіе закона въ его примѣненіи, несвободенъ отъ этого недостатка, если считать его за таковый... Кто сколько-нибудь знакомъ съ ходомъ развитія права на Западѣ въ новое время, знаетъ также, что индивидуализація есть лозунгъ науки и практики уголовнаго права въ особенности. Въ уголовномъ процессѣ идея эта сдѣлала уже большіе успѣхи съ тѣхъ поръ, какъ все болѣе распространяется институтъ присяжныхъ, судящихъ главнымъ образомъ на основаніи aequitas, и система относительнаго опредѣленія наказаній въ кодексахъ съ широкимъ правомъ выбора суда между максимумомъ и минимумомъ сообразно обстоятельствамъ каждаго дѣла... Можно доказать, что и въ гражданскомъ процессѣ та же идея имѣетъ большое вліяніе... Такимъ образомъ, только юридическое невѣжество можетъ возмущаться указаннымъ направленіемъ волостного суда и видѣть въ немъ серьезный аргументъ противъ дальнѣйшаго существованія этого суда».

Слѣдовательно, дѣло стоитъ не такъ просто и круто, чтобы по сю сторону національной границы лежали холодныя, неподвижныя нормы justitiae, а по ту сторону гибкость и человѣчность aequitatis. И за aequitas стоитъ не только «національность правоваго воззрѣнія», но и такія международныя вещи, какъ «позитивный духъ времени», прогрессъ юридической науки и т. п. Къ нимъ, какъ къ послѣдней инстанціи, обращается и самъ Оршанскій. Ясно, что, желая представить возможно большее количество аргументовъ въ пользу самостоятельности волостныхъ судовъ, Оршанскій иногда черпалъ ихъ изъ разныхъ и даже прямо противоположныхъ теоретическихъ источниковъ. Тѣмъ не менѣе, въ большинствѣ случаевъ его замѣчанія очень вѣски и если не всегда вполнѣ убѣдительны, то почти всегда способны пошевелить мысль и навести на размышленія. Такъ какъ спеціальная практическая цѣль статьи Оршанскаго насъ здѣсь не интересуетъ, то мы удовольствуемся нѣсколькими чисто фактическими ея указаніями.

«Любопытно сравнить правила крестьянскаго обычая объ опекѣ съ германскими народными обычаями по этому предмету. По нѣмецкимъ обычаямъ опека есть право (а не обязанность), принадлежащее родственникамъ малолѣтнихъ по степени близости ихъ родства. Опекунское право родителей отличается еще тѣмъ, что оно даетъ право пользованія доходами съ имущества опекаемыхъ дѣтей (какъ это признаетъ и римское право). У насъ законъ хотя, повидимому, и различаетъ между опекунскимъ правомъ родителей и другихъ лицъ (ст. 18 з. гр. и др.), но не даетъ имъ никакого права на имущество дѣтей. Народный же обычай признаетъ за родителями право безотчетнаго управленія имуществомъ малолѣтнихъ дѣтей собственно въ отношеніи доходовъ; другими словами, нашъ народъ сохранилъ общеевропейское воззрѣніе на право родителей опекуновъ пользоваться доходомъ съ имущества опекаемыхъ дѣтей, право, совершенно позабытое оффиціальнымъ закономъ. Подобно упомянутому выше русскому обычаю, источники нѣмецкаго права признаютъ за вдовой право опеки надъ дѣтьми до тѣхъ поръ, пока она не вступитъ въ новый бракъ. Воззрѣніе нашихъ крестьянъ, что опекунъ вправѣ воспользоваться всѣми доходами съ имущества опекаемаго, вполнѣ подтверждается нѣмецкими обычаями. Тамъ существовали юридическія поговорки: имущество сиротъ не увеличивается и не уменьшается; имѣніе малолѣтнихъ ничего не пріобрѣтаетъ. Принципъ этотъ признанъ былъ даже германскимъ закономъ относительно казенныхъ имѣній... Германскій обычай признавалъ всегда опекунское право мужа надъ несовершеннолѣтней женой и воззрѣніе это, болѣе или менѣе, сохранилось донынѣ у европей-

скихъ народовъ. У насъ общій законъ не знаетъ этого института, но обычай всегда признавалъ его и самъ законъ долженъ былъ сдѣлать уступку этому обычаю, когда приходилось регламентировать опеку у сельскаго населенія (ст. 325 и 362 з. гр.). Изъ этихъ указаній видно, что народные обычаи относительно опеки сходятся во всемъ существеніомъ съ народнымъ правомъ западной Европы, тогда какъ опека по своду во многомъ отличается отъ того, что выработано другими народами по этому предмету» (стр. 59 и слѣд.).

«Незаконнорожденныя дѣти, равно какъ пріемыши и пасынки, участвуютъ въ раздѣлѣ наслѣдства наравнѣ съ законными дѣтьми. Труды коммиссіи (для изслѣдованія состоянія волостныхъ судовъ) доказываютъ, что этотъ обычай существуетъ у крестьянъ повсемѣстно... Въ этомъ отношеніи русскіе крестьяне существенно расходятся съ магометанами, которые, руководствуясь религіознымъ закономъ, не признаютъ незаконныхъ дѣтей въ правѣ наслѣдованія. Наше оффиціальное право, въ отличіе отъ всѣхъ западно-европейскихъ, тоже придерживается этого строго отрицательнаго отношенія къ незаконнымъ дѣтямъ. Но замѣчательно, что народные обычаи здѣсь приближаются болѣе (сравнительно со сводомъ) не только къ началамъ западныхъ законодательствъ, но и къ ученію греческой церкви, признаваемой за основаніе нашего оффиціальнаго семейнаго права» (стр. 85).

«Относительно условій возможности уничтоженія силы договора практика волостныхъ судовъ представляетъ прямую противоположность практикѣ общихъ судовъ. Тогда какъ въ этихъ послѣднихъ, руководствующихся сводомъ, почти невозможно добиться отступленія отъ принципа обязательности формально правильнаго договора по самымъ вѣскимъ основаніямъ, народный судъ придерживается относительно этого предмета такихъ началъ, которыя почти во всемъ сходятся съ принципами науки права и западно-европейской юриспруденціи» (стр. 95).

Остановимся на этомъ. Въ доброе старое время, въ тѣ знаменитые сороковые годы, когда славянофилы и западники сначала мирно, а потомъ съ большимъ задоромъ пререкались объ относительныхъ достоинствахъ Востока и Запада; въ тѣ времена и Востокъ и Западъ представлялись, во-первыхъ, чѣмъ-то очень цѣльнымъ, а, во-вторыхъ, чѣмъ-то взаимно противоположнымъ или даже враждебнымъ въ самыхъ глубокихъ основаніяхъ своихъ. Это эмбріональное представленіе было для своего времени можетъ быть даже очень недурно. Но съ тѣхъ поръ много воды утекло. Какъ разъ съ конца сороковыхъ годовъ стали рѣзко обнаруживаться въ физіономіи европейскаго запада черты различія и противорѣчія, такъ что, въ концѣ концовъ, оказалась не одна Европа, а нѣсколько. Выясненіе этого обстоятельства, весьма мало занимавшаго наши сороковые годы, продолжается, можно сказать, до сего дня. А кромѣ того, народилась новая отрасль знанія, сравнительная исторія культуры, которая установила много совершенно неожиданныхъ различій и столь же неожиданныхъ сходствъ. Малый клочокъ этой новой отрасли знанія мы имѣемъ въ примѣрахъ, заимствованныхъ у Оршанскаго. Несмотря на то, что это клочекъ малый, онъ очень любопытенъ и во всей глубинѣ своего значенія, конечно, никогда не снился нашимъ отцамъ и дѣдамъ. Въ самомъ дѣлѣ, славянофилы были вполнѣ увѣрены, что русское образованное общество, оторвавшись, подъ вліяніемъ правительственнаго толчка Петра I, отъ своихъ національныхъ корней, усвоило себѣ чуждыя, европейскія формы цивилизаціи. Но при ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается, на примѣрахъ опеки, наслѣдства незаконнорожденныхъ и обязательности договора, что, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ народное право (а въ немъ-то и предполагались національные корни), сближается съ европейскимъ обычнымъ правомъ или съ европейскимъ писаннымъ закономъ, или съ европейскими теоріями права, отъ которыхъ наше оффиціальное законодательство, выработанное культурными людьми, такъ-же далеко, какъ и отъ народнаго права: русскій мужикъ больше европеецъ, чѣмъ русскій культурный человѣкъ, носящій европейское платье. Конечно, дѣло стоитъ не столь просто, но именно потому, что какъ есть Россія и Россія, такъ есть Европа и Европа. Есть, напримѣръ, германское обычное право, и о немъ Оршанскій замѣчаетъ мимоходомъ: «Неопредѣленность нашего обычнаго права особенно ясно обрисовывается при сравненіи его съ германскимъ обычнымъ правомъ. Почти вездѣ мы видимъ сходство правовыхъ понятій, но съ тѣмъ важнымъ различіемъ, что у насъ понятіе находится, такъ сказать, въ текучемъ, не кристализованномъ состояніи, а на западѣ оно воплотилось въ опредѣленную форму, приняло видъ обычая въ техническомъ смыслѣ» (156). Есть германскіе писанные законы, есть германскія теоріи права, есть, наконецъ, область германскихъ идеаловъ, въ которой вмѣщаются вещи весьма многоразличныя и кореннымъ образомъ взаимно враждебныя. Понятное дѣло, что если кто захочетъ сравнивать Востокъ и Западъ, не принимая въ соображеніе крайней сложности сравниваемыхъ предметовъ,

тотъ можетъ наплодить множество и, повидимому, чрезвычайно важныхъ различій. Рецептъ для этого очень простой; бери тѣ элементы Востока, которые кажутся тебѣ высокими, благородными, и мѣряй ихъ съ тѣми элементами Запада, которые представляются тебѣ низкими и неблагородными или наоборотъ. Такимъ родомъ и различіе установишь, и свое сердце масломъ смажешь. Во времена оны, подобные пріемы могли практиковаться вполнѣ добросовѣстно, ибо оны времена представляютъ періодъ эмбріональнаго состоянія понятій о Востокѣ и Западѣ, періодъ яйца, въ которомъ только и есть, что желтокъ, да бѣлокъ. Этотъ періодъ, можно сказать, рѣшительно окончился знаменитыми спорами объ общинѣ, происходившими въ тѣ памятные шестидесятые года, которые, впрочемъ, въ нынѣшнихъ мартовскихъ торжествахъ были совершенно забыты. Съ тѣхъ поръ, хотя и никому, конечно, не возбраняется излагать всевозможныя глупости, но добросовѣстнымъ возвращеніе къ бѣлку и желтку никоимъ образомъ признать нельзя. Тѣмъ болѣе, что на спорахъ объ общинѣ развитіе курицы отнюдь не кончилось. Поступательное движеніе европейской науки все больше стирало печать законности, налѣпленную сороковыми годами на славянофильство и западничество, и установляло условія плодотворности, цѣлесообразности сравненія элементовъ различныхъ типовъ цивилизаціи. Выяснилось, напримѣръ, что нѣкоторыя существенныя подробности народнаго русскаго быта не составляютъ ничего спеціально-русскаго или даже славянскаго, а болѣе или менѣе общи сѣверу, югу, востоку и западу, гдѣ они мѣстами исчезли только въ сравнительно недавнее время, а мѣстами сохранились и доселѣ. Выяснилось, что западная теоретическая мысль, въ связи съ ходомъ практической жизни, можетъ сознательно придти къ такому идеалу общежитія, который въ зародышѣ, инстинктивно осуществился гдѣ-нибудь въ глубинѣ востока или сѣвера. Выяснилось, что русское законодательство или формы жизни русскихъ культурныхъ людей, становясь въ противорѣчіе съ понятіями и обычаями народа, могутъ вмѣстѣ съ тѣмъ противорѣчить и началамъ европейской цивилизаціи. Вообще коллизіи Востока и Запада могутъ быть чрезвычайно разнообразны, какъ это видно на приведенныхъ примѣрахъ опеки, наслѣдства незаконнорожденныхъ и обязательности договора, столь разнообразны, что для всякаго становится очевидна недостаточность квалификаціи: вотъ востокъ, вотъ западъ. Иное, высшее судилище должно быть найдено, передъ которымъ смиренно сложатъ оружіе зачаточныя доктрины сороковыхъ годовъ.

Какъ искать его?

Могутъ замѣтить, что примѣры, заимствованные у Оршанскаго, слишкомъ частны. Что такое въ самомъ дѣлѣ значатъ какіе-нибудь обычаи и законы объ опекѣ въ колоссальномъ механизмѣ цивилизаціи и народной жизни? Капля въ морѣ, незамѣтная, исчезающая въ цѣломъ. Но извѣстно, что солнце отражается и въ малой каплѣ водъ. А впрочемъ, мы можемъ, не отходя отъ Оршанскаго, найти общія основанія правовой жизни народа, въ которыхъ обычаи опеки тонутъ, какъ частность. Такихъ общихъ основаній, по мнѣнію Оршанскаго, два: роль труда въ имущественномъ быту народа и общая семейная собственность. Но, собственно говоря, послѣдняя очень удобно сводится къ первой, какъ сейчасъ увидимъ. «У всѣхъ первобытныхъ народовъ, говоритъ нашъ авторъ, преимущественно земледѣльческихъ, прежде чѣмъ они достигли того уровня экономическаго развитія, когда накопленный капиталъ начинаетъ играть роль въ земледѣльческой промышленности, главное, даже исключительное значеніе въ опредѣленіи имущественныхъ правъ каждой личности имѣетъ ея личный трудъ» (60). У римлянъ, правовымъ понятіямъ которыхъ суждено было играть чуть не міровую роль, это соотвѣтствіе между трудомъ и имущественнымъ правомъ было нарушено уже въ древнѣйшее время: вслѣдствіе постоянныхъ войнъ, римляне выработали понятіе о завладѣніи чужимъ имуществомъ, какъ о главномъ источникѣ пріобрѣтенія. И понятное дѣло, что съ этой точки зрѣнія домовладыка, pater familias, имѣетъ исключительное право на имущество, пріобрѣтенное имъ главнымъ образомъ на войнѣ или за военныя заслуги. Иное мы видимъ у мирныхъ народовъ, которые, къ счастію, живутъ и на сѣверѣ, и на югѣ, и на востокѣ, и на западѣ. Такъ «нѣмецкій крестьянинъ видитъ въ трудѣ единственный источникъ честнаго добыванія имущества и, хотя это воззрѣніе не могло быть сохранено по постороннимъ причинамъ, но оно имѣло большое вліяніе на правовой бытъ народа во всѣхъ отношеніяхъ» (62). Напримѣръ, по нѣмецкимъ мужицкимъ понятіямъ, рубить чужой лѣсъ можно, а воровать дрова, нарубленный лѣсъ, въ который уже вложенъ трудъ, нельзя. Засѣявшій по ошибкѣ чужое поле не только получаетъ вознагражденіе за сѣмена и трудъ, но имѣетъ право на половину урожая и т. п. Отсюда проистекаютъ и обычаи опеки: опекунъ имѣетъ право пользоваться доходами съ имущества опекаемыхъ, потому что онъ, а не они, влагаетъ въ имущество свой трудъ.

Отсюда-же идетъ и сохранившееся въ германскомъ правѣ понятіе объ общей собственности семьи: добытое коллективнымъ трудомъ семьи должно и принадлежать ей, а не исключительно главѣ семейства. Этого рода порядки существовали во Франціи до революціи, существуютъ у насъ, существуютъ въ Индіи.

Такимъ образомъ, вмѣсто терминовъ политической или физической географіи, вмѣсто славянскихъ и германскихъ элементовъ права, вмѣсто востока и запада мы получаемъ терминъ экономическій и вполнѣ международный—трудъ. Но въ этомъ своемъ видѣ, трудъ есть только историческая категорія. Мы убѣждаемся только въ томъ, что во всѣхъ четырехъ странахъ свѣта, независимо отъ этнографическихъ и національныхъ опредѣленій, существуетъ или существовало общее начало правовыхъ отношеній. Существуетъ или существовало. Это поднимаетъ новые вопросы. Довольно хорошо извѣстно, какъ и чѣмъ это начало постепенно измѣнилось въ Европѣ. Гораздо менѣе, къ стыду нашему, извѣстно, какъ и чѣмъ оно замѣняется на нашихъ глазахъ въ Россіи. И въ этомъ отношеніи эмбріоны западничества и славянофильства ничего намъ разъяснить не могутъ. Слабые остатки видоизмѣненнаго и лишеннаго своей цѣльности славянофильства склонны даже утверждать, что никакого измѣненія не происходитъ. Спорить съ ними въ бѣглой замѣткѣ не приходится, да и вообще едва-ли есть какая надобность. Удовольствуемся, собственно для характеристики теченія дѣлъ, слѣдующимъ замѣчаніемъ Оршанскаго: «Несправедливо упрекаютъ крестьянъ въ томъ, что они отрицаютъ право собственности на томъ основаніи, что оно получило у нихъ другое развитіе, чѣмъ усвоенная сводомъ римская форма этого права. Общинная и общесемейная собственность, въ противоположность личной, есть результатъ иныхъ экономическихъ условій народнаго быта, исчезающій вмѣстѣ съ измѣненіемъ этихъ условій. Доказательствомъ служитъ, напримѣръ, слѣдующій интересный фактъ. Тогда какъ у бѣдныхъ поморовъ-рыболововъ на сѣверѣ судно составляетъ общую собственность всей семьи, у богатыхъ, напротивъ, оно принадлежитъ исключительно главѣ семьи (Сборн. народ. юрид обычаевъ Арханг. губ., стр. 48). Здѣсь мы видимъ, какъ, по естественному закону экономическаго развитія, личная собственность замѣняетъ общую у нашего крестьянина такимъ-же образомъ, какъ процессъ этотъ происходилъ повсемѣстно» (стр. 194). Примѣръ этотъ, дѣйствительно, очень любопытенъ въ спеціальномъ смыслѣ, но, конечно, можно бы было привести не мало, гораздо болѣе ярко характеризующихъ «естественный законъ экономическаго развитія», какъ выражается Оршанскій. А выражается онъ не совсѣмъ правильно: слово «естественный» въ данномъ случаѣ или ровно ничего не говоритъ, ибо всѣ процессы одинаково естественны, или говоритъ слишкомъ много, ибо усвоиваетъ процессу такую степень непоколебимости, неизбѣжности, которую еще нужно доказать. Какъ бы то ни было, процессъ совершается, тотъ самый процессъ, который давно уже начался въ Европѣ и, повидимому, приближается тамъ къ своему концу. Является вопросъ: какъ слѣдуетъ относиться къ этому процессу? Оршанскій держится, повидимому, того мнѣнія, что не должно быть никакого вмѣшательства въ ходъ народной жизни, и что даже квалифицировать какое-нибудь явленіе въ этой области дурнымъ, «дикимъ» не подобаетъ, потому что, дескать, дикое на одинъ взглядъ можетъ быть вовсе не дикимъ на другой, а разъ данное явленіе соотвѣтствуетъ условіямъ народной жизни, такъ значитъ оно вполнѣ умѣстно. Мы видѣли, однако, что онъ и самъ не удерживается на этой точкѣ зрѣнія, да иначе и быть не можетъ. Не касаясь практической стороны вопроса, надо-же хотя бы для собственнаго обихода, для удовлетворенія личной потребности познанія добра и зла, имѣть какой-нибудь критерій, мѣрило оцѣнки вещей, и мудрено допустить, чтобы вещь, столь важная, какъ внутренняя жизнь народа, не подлежала этому общему правилу. Очевидно, что такимъ критеріемъ не могутъ быть термины физической, политической или иной географіи. Похулить процессъ на томъ только основаніи, что онъ не національенъ и повторяетъ процессъ исторіи Запада, невозможно, ибо, во-первыхъ, и западная исторія началась съ того же отправного пункта, что и восточная, а во-вторыхъ, Востокъ превращается въ настоящемъ случаѣ въ Западъ совершенно самобытно. Похвалить-же процессъ на томъ единственномъ основаніи, что онъ вводитъ насъ въ область экономическихъ и правовыхъ порядковъ, нынѣ господствующихъ въ Европѣ, тоже не видится возможности, ибо въ самой Европѣ давно уже возникли сильнѣйшіе протесты противъ этихъ порядковъ. Значитъ, ни славянофильство, ни западничество насъ тутъ не вывозятъ.

Не можетъ-ли служить искомымъ критеріемъ найденный нами международный экономическій моментъ—трудъ? Нельзя-ли сказать такъ: начало труда, какъ основаніе гражданскихъ правовыхъ отношеній, есть не только историческая категорія, не только проникаетъ собою всѣ правовыя отношенія

въ извѣстный періодъ развитія у всѣхъ восточныхъ, западныхъ, сѣверныхъ и южныхъ народовъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ можетъ служить для насъ высшей инстанціей, куда слѣдуетъ обращаться въ случаѣ сомнѣній и разногласій. То есть данное явленіе изъ области семейныхъ, имущественныхъ, договорныхъ или обязательственныхъ отношеній, по просту говоря, хорошо, если въ немъ торжествуетъ трудовое начало, и дурно въ обратномъ случаѣ. Это было бы очень удобно, еслибы оказалось возможнымъ. Поднявъ начало труда со степени исторіи права на степень теоріи права, мы получили бы нѣчто стройное, цѣльное и въ высшей степени простое. Но, къ сожалѣнію, попытка провести трудовое начало по всѣмъ отдѣламъ гражданскаго права (такая попытка была сдѣлана г-жей Ефименко) враждебно сталкивается съ такими элементарными понятіями о добрѣ и злѣ, относительно которыхъ не можетъ быть разногласій.

Дѣйствительно, самъ Оршанскій, не смотря на все свое пристрастіе къ «народной правдѣ», вынужденъ признать, что у нашего крестьянства «личный трудъ и мускульная цѣнность лица играютъ главную роль и тамъ, гдѣ, повидимому, должны преобладать совершенно другія начала» (стр. 64). Главнымъ образомъ это относится къ семейнымъ отношеніямъ. Такъ, напримѣръ, съ невѣсты или съ ея семьи, нарушившей свадебный договоръ, женихъ взыскиваетъ убытки, расчисляя ихъ по рабочимъ днямъ. Такъ отецъ, имѣя въ виду рабочую силу дочери, старается дольше не выдать ее замужъ. Такъ и мужъ цѣнитъ въ женѣ главнымъ образомъ рабочую силу и т. п. Иногда это низведеніе человѣка до уровня механической силы принимаетъ форму очень замысловатыхъ и сложныхъ сдѣлокъ, какова, напримѣръ, приводимая Оршанскимъ: Ѳ. переселяется въ домъ И. съ тѣмъ, чтобы впослѣдствіи женить 12-ти-лѣтняго внука Ѳ. на внучкѣ И. Здѣсь бракъ дѣтей и пріобрѣтеніе вслѣдствіе этого семьей И. рабочей силы внука Ѳ. является эквивалентомъ за пропитаніе Ѳ. со внукомъ до совершеннолѣтія послѣдняго. Оршанскій старается оправдать подобные случаи, объясняя ихъ условіями нашей крестьянской жизни, при которой единственнымъ способомъ пріобрѣтенія является личный мускульный трудъ. Но дѣло вовсе не въ оправданіи, въ которомъ подобные, несомнѣнно безобразные случаи не нуждаются, и не въ объясненіи Оршанскаго, которое невѣрно или по малой мѣрѣ односторонне. Не надо обладать особенно пылкимъ воображеніемъ, чтобы представить себѣ такой порядокъ вещей, при которомъ личный трудъ составляетъ единственный способъ пріобрѣтенія, а безобразныхъ спекуляцій чужой душой и тѣломъ все-таки не происходитъ. Дѣло не въ томъ, что мужикъ зарабатываетъ хлѣбъ личнымъ трудомъ, а въ томъ, что трудъ этотъ чрезмѣренъ, совершается при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ и не оставляетъ досуга, способнаго внести хоть маленько свѣту со стороны въ житье-бытье мужика. А до какой степени этотъ свѣтъ нуженъ, видно изъ случая, опубликованнаго въ прошломъ году г. Кистяковскимъ: мужикъ нанялся къ другому, бездѣтному мужику въ дѣтопроизводители; «нанялъ меня къ своей женѣ, дабы у нея было дитя, съ уплатою мнѣ 10 руб.». Какъ ни объясняй такого рода факты, они остаются очевидною мерзостью, несогласимою ни съ какою теоріею права. А такъ какъ трудовое начало получаетъ, повидимому, полное признаніе, полную санкцію въ этихъ мерзостяхъ, то стало быть, элементъ труда не можетъ служить основаніемъ всѣхъ отдѣловъ гражданскаго права. Онъ можетъ играть свою роль, но, только, какъ подчиненная, составная часть начала болѣе общаго и широкаго.

Такихъ началъ сороковые годы выставили два: славянофилы — общину, западники — личность. Разумѣя подъ общиной, общиннымъ началомъ, сознательное подчиненіе личности цѣлому, славянофилы утверждали, что оно составляетъ нашу національную особенность, завѣщано намъ всей нашей исторіей и какъ идея, и какъ фактъ Но вмѣстѣ съ тѣмъ, этому началу приписывалось всемірное, какъ бы безусловное значеніе, въ силу чего и обѣщались славянскому племени великія мирныя побѣды надъ европейской цивилизаціей, независимо отъ побѣдъ воинскихъ. Западники справедливо указывали на елейную лживость этихъ увѣреній, соглашаясь, однако, что личное начало, подавленное на Востокѣ, торжествуетъ на Западѣ, въ чемъ именно и состоитъ величіе Запада.

Все это въ цѣломъ нынѣ никуда, можно сказать, не годится и должно быть перестроено отъ фундамента до крыши. Начать съ того, что невозможно приписывать исключительный, національный характеръ «общинному началу» ни въ томъ смыслѣ, какъ его разумѣли славянофилы, ни въ томъ, какъ его понимали западники, ибо во всякомъ случаѣ, фактически, оно въ свое время опредѣляло правовыя отношенія и въ Европѣ. Далѣе торжество личнаго начала въ западной Европѣ имѣетъ весьма условный характеръ. Такъ, Оршанскій, приведя свои соображенія о, такъ сказать, военномъ характерѣ и происхожденіи римскаго права, замѣчаетъ: «неудивительно поэтому, что ин-

дивидуализмъ въ правѣ и личная собственность пріобрѣли такое замѣчательное развитіе въ римскомъ правѣ» и въ тѣхъ законодательствахъ, на которыя римское право оказало свое давленіе. Но какой же это *индивидуализмъ* въ правѣ и какое же это развитіе *личной* собственности, когда всѣ индивиды, входящіе въ составъ семьи, за единственнымъ исключеніемъ домовладыки, *не имѣютъ* личной собственности? Это торжество домовладыки, а не личнаго начала. И если нашимъ сороковымъ годамъ (которымъ Оршанскій въ настоящемъ случаѣ вторитъ единственно по недоразумѣнію и безпечности относительно теоретическихъ источниковъ оправданія народнаго суда), это простое соображеніе не приходило въ голову, такъ это потому, что для того времени оно вовсе не было просто. Только въ концѣ сороковыхъ годовъ съ полною рѣзкостью обозначилось въ Европѣ то направленіе, которому принадлежитъ будущее и которое, примиряя въ себѣ односторонности предъидущихъ историческихъ моментовъ, можетъ быть формулировано, какъ торжество личнаго начала при посредствѣ начала общиннаго. Конечно, послѣднее надо понимать не въ томъ елейномъ смыслѣ, въ которомъ безсильно барахтались славянофилы, какъ мухи въ деревянномъ маслѣ.

Въ дальнѣйшее разсмотрѣніе этой сложной матеріи здѣсь не приходится вдаваться. Но ясно, что идеалы и программы сороковыхъ годовъ, какъ бы они ни были для своего времени хороши, намъ не указъ. Мы, на тридцать, сорокъ лѣтъ младшіе, тѣмъ самымъ на тридцать, сорокъ лѣтъ старше. И воздавая должную дань уваженія заслугамъ и талантамъ какъ славныхъ покойниковъ, такъ и славныхъ живущихъ, мы можемъ при случаѣ почтительно, но твердо сказать: «яица курицу не учатъ».

II.

Безъ вины виноватые *).

(«Незаконнорожденныя по саксонскому и французскому гражданскимъ кодексамъ». Приватъ-доцента Загоровскаго. Кіевскія Университетскія извѣстія, 1879, №№ 1—5).

«Если есть вопросъ, вполнѣ нетронутый русской цивилистикой, говоритъ г. Загоровскій въ предисловіи:—то такимъ по справедливости надо назвать вопросъ о незаконнорожденныхъ. Но если въ цивилистикѣ онъ не тронутъ, то о законодательствѣ надо сказать даже болѣе того—онъ совсѣмъ имъ отвергнутъ. Но, конечно, отрицаніе не есть рѣшеніе вопроса. Никакая статья не можетъ изгладить того, что начертала жизнь. Уже давно, а въ особенности въ послѣднее время, стали носиться благіе слухи, что реформа постановленій X т. о незаконнорожденныхъ поставлена на очередь. Нельзя не пожелать, чтобы слухи эти оправдались и чтобы слово стало наконецъ дѣломъ. Настоящая работа была предпринята тоже подъ вліяніемъ мысли о реформѣ. Мы думали, что именно теперь, когда возникло сознаніе необходимости пересмотра нашихъ законовъ о незаконнорожденныхъ, кстати повести рѣчь о томъ, какъ рѣшается этотъ вопросъ западно-европейскими законодательствами и каково вообще можетъ быть принципіальное рѣшеніе вопроса о незаконнорожденныхъ».

Все это, конечно, очень справедливо и хорошо, но надо пожалѣть, что непосредственно русскимъ законодательствомъ авторъ теперь не пожелалъ заняться. Имъ онъ «думаетъ заняться въ будущемъ», а теперь довольствуется лишь нѣсколькими бѣглыми замѣчаніями. Это жаль, потому что положеніе незаконнорожденныхъ въ Россіи, какъ мы сейчасъ увидимъ, отличается такими рѣзкими особенностями, которыя ставятъ вопросъ совершенно своеобразно и вопіютъ о реформѣ не столько ради самихъ незаконнорожденныхъ, сколько ради самого общества.

Но обратимся къ нашему автору.

Онъ выбралъ саксонское и французское законодательства, какъ двѣ типическія и притомъ противоположныя формы практическаго рѣшенія вопроса о незаконнорожденныхъ. Саксонское законодательство придерживается принципа такъ называемаго Paternität'a, французское цѣликомъ построено на противоположномъ началѣ—Maternität'ѣ. Саксонскій кодексъ даетъ незаконнорожденному или его матери право розыскивать судебнымъ порядкомъ отца и получать отъ него, при извѣстныхъ условіяхъ и съ извѣстными ограниченіями, матеріальное обезпеченіе. Французскій кодексъ, напротивъ, рѣшительно отрицаетъ право розыска отца; только добровольное признаніе отца создаетъ для незаконнорожденнаго извѣстныя наслѣдственныя права, а для самого отца—извѣстныя алиментарныя обязанности.

Г. Загоровскій съ большимъ тщаніемъ слѣдитъ за подробностями того и другого принципа, какъ они отразились въ саксонскомъ и французскомъ кодексахъ и, въ концѣ концовъ, рѣшительно высказывается въ пользу принципа «Paternität'a».

Вотъ его аргументы.

Отрицаніе связи между незаконнорожденнымъ и его отцомъ и отказъ первому въ алиментахъ отъ послѣдняго есть величайшая, ничѣмъ не оправдываемая несправед-

*) 1879 г., іюль.

ливость. Связь родителей съ дѣтьми устанавливается самою природою, и дѣло законодателя—не отрицать эту связь, а упрочивать ее. Устраняя отца отъ обязанности прокармливать незаконнорожденнаго, законъ совершаетъ несправедливость и по отношенію къ ребенку, и по отношенію къ матери: оба родителя—виновники рожденія незаконнаго дитяти, оба и должны участвовать въ прокормленіи ребенка, а не одна мать, которая есть, во-первыхъ, только одна сторона, а во-вторыхъ, сторона, экономически слабѣйшая. Говорятъ, что опредѣлить отчество неконнорожденнаго невозможно, такъ какъ оно предполагаетъ доказательство не только сожительства привлекаемаго ко взысканію мужчины съ матерью незаконнаго дитяти въ концепціонный срокъ, но еще и исключительность этого сожительства, то-есть, что никто другой, кромѣ него, въ разсматриваемый срокъ съ матерью не сожительствовалъ, а этого доказать нельзя. Но это—аргументъ только съ виду правильный. Если привлекаемый мужчина не докажетъ, что указывающая на него женщина имѣла въ извѣстный срокъ сношенія съ другими мужчинами, то этого достаточно, чтобы признать его отцомъ. Правда, это всетаки будетъ только возможность отчества, а не дѣйствительное отчество, но совершенно такою же возможностью довольствуется законъ при рожденіи въ бракѣ. Всякій нашелъ бы страннымъ, что законнорожденность дитяти, прижитаго въ бракѣ, надо считать несомнѣнной только тогда, когда будетъ доказано, что жена не только сожительствовала съ мужемъ въ концепціонный срокъ, но что и никто другой въ этотъ срокъ съ ней не сожительствовалъ. Положимъ, что законъ долженъ оказывать безусловное довѣріе къ женщинамъ, живущимъ въ бракѣ, но почему онъ долженъ оказывать столь-же безусловное недовѣріе незамужнимъ женщинамъ? Вообще возраженія о недостаточности процессуальныхъ основаній въ искѣ объ отчествѣ почти въ такой же мѣрѣ приложимы и ко всякому другому процессу, гражданскому и уголовному. Судебное рѣшеніе, какъ дѣло рукъ человѣческихъ, никогда не можетъ претендовать на непогрѣшимость. Суду почти во всякомъ процессѣ приходится многое брать на свою совѣсть, а между тѣмъ никто не скажетъ, что судъ долженъ отказаться отъ разсмотрѣнія дѣла объ убійствѣ, совершенномъ хитро, съ сокрытіемъ слѣдовъ преступленія, только потому, что оно трудно доказывается; никто не скажетъ, что судъ долженъ отказаться распутать самое противорѣчивое духовное завѣщаніе, гдѣ часто отъ такого или иного толкованія одни претенденты наживаютъ десятки тысячъ, а другіе идутъ по міру; никто не скажетъ, что судъ долженъ отказаться только потому, что распутать завѣщаніе трудно. Надо еще имѣть въ виду, что, хотя и вполнѣ возможны случаи затруднительнаго опредѣленія отчества, то сколько за то бываетъ и такихъ случаевъ, когда мужчина съ женщиной живутъ, что называется, au grand jour, ни передъ кѣмъ не скрываясь, и потомъ вдругъ расходятся, причемъ болѣе или менѣе терпятъ дѣти! Неужели и здѣсь надо руководствоваться все той же неумолимой формулой—pater est quem nuptiae demonstrant.

Говорятъ, что искъ объ отчествѣ деморализуетъ женщинъ и ведетъ ко всевозможнымъ скандаламъ; дескать, добропорядочныя женщины рѣдко прибѣгаютъ къ этому иску, предпочитая лучше самимъ нести тяготу заботы о ребенкѣ, чѣмъ предавать дѣло гласности, а женщины распутныя готовы пользоваться скандаломъ. Если бы даже это и было фактически вѣрно, то это еще не значило бы, чтобы женщины безукоризненной нравственности не пользовались покровительствомъ принципа Paternität'a: онѣ могутъ не заводить иска въ судѣ, но одной угрозой начать его заставить мужчину обезпечить существованіе ребенка, и, конечно, видя основательный искъ впереди, всякій предпочтетъ полюбовную сдѣлку принудительному рѣшенію; такъ и бываетъ въ дѣйствительности тамъ, гдѣ допускается розыскъ отца. Надо еще имѣть въ виду, что стремленіе закона оградить женскую нравственность, въ настоящемъ случаѣ, довольно двусмысленно. Одинъ нѣмецкій юристъ справедливо замѣчаетъ: «Правда, что если пастухъ и стадо знаютъ, что волкъ бродитъ около нихъ, то стадо становится боязливѣе, а пастухъ осторожнѣе. Однако, я никогда еще не слыхалъ, чтобы владѣльцы большихъ стадъ пригоняли стаи волковъ къ стадамъ, дабы тѣмъ усилить бдительность пастуховъ; и если собственность заботливѣе оберегается, когда ей угрожаютъ хищническія нападенія, то никто всетаки не предлагаетъ выпускать воровъ гулять свободно и безнаказанно, чтобы собственность заботливѣе охранялась. Мы же, отрицая искъ объ отчествѣ, освобождаемъ мужской полъ отъ всякихъ стѣсненій и въ оправданіе говоримъ: это для того, чтобы женская половина была осторожнѣе и нравственнѣе».

Ясно, что право розыска отца не только не можетъ ввести въ общество новый притокъ распущенности, а напротивъ, должно сдерживающимъ образомъ повліять на легкость нравовъ. Оно должно также благопріятно повліять на уменьшеніе нѣкоторыхъ преступленій. Законъ, запрещающій розыскъ, взваливаетъ всю тяжесть содержанія незаконнорожденнаго на мать, а такъ какъ, въ боль-

шинствѣ случаевъ, мать представляетъ слабую экономическую единицу, то немудрено, что она ищетъ исхода въ подкидываніи дѣтей, въ вытравленіи плода, въ дѣтоубійствѣ. На сколько эти преступленія могутъ участиться при господствѣ принципа, запрещающаго розыскъ, показываетъ Франція. По свидѣтельству одного французскаго ученаго, нѣкоторые съ ужасомъ спрашиваютъ: составляютъ-ли изгнаніе плода и дѣтоубійство преступленія для извѣстной части населенія и не обратились-ли они просто въ общественныя привычки? Другой спеціалистъ по вопросу о незаконнорожденныхъ, прямо относитъ учащенность случаевъ дѣтоубійства къ недостатку системы кодекса, говоря, что въ Швейцаріи и въ Германіи, гдѣ мать имѣетъ право звать обольстителя къ суду, требуя отъ него содержанія для себя и ребенка, они гораздо рѣже.

Наконецъ, количество незаконнорожденныхъ во всѣхъ европейскихъ странахъ столь значительно, что эта масса народу сама по себѣ заслуживаетъ вниманія и участія законодателя. Въ большихъ городахъ число незаконнорожденныхъ достигаетъ огромныхъ цифръ. Такъ въ Парижѣ приходилось въ 1816—1835 году одно незаконное дитя на троихъ родившихся, въ Берлинѣ 1 на 6, въ Кенигсбергѣ 1 на 5,2, въ Бреславлѣ 1 на 4,8, въ Линцѣ 1 на 3, въ Прагѣ 1 на 2,8, въ Вѣнѣ 1 на 2,6. Въ цѣлой странѣ этотъ огромный процентъ, конечно, нѣсколько распускается, но онъ всетаки очень великъ. Напримѣръ, въ Пруссіи по Кольбу приходилось въ 1867 г. на 921,798 всѣхъ родившихся — 75,962 незаконнорожденныхъ; въ 1868 г. на 925,529—76,169; въ 1871 г. на 867,056—78,746, въ 1872 на 1,023,005—73,527. Въ Саксоніи съ 1859 по 1867 г. процентъ незаконнорожденныхъ среднимъ числомъ равнялся 15. Въ великомъ герцогствѣ Баденскомъ было въ 1843—53 больше 15%, а въ 1853—55 больше 18% незаконнорожденныхъ и т. д. Такая крупная доля населенія, ни въ чемъ неповинная и всетаки болѣе или менѣе тяжело обставленная, конечно, заслуживаетъ вниманія.

Таковы аргументы г. Загоровскаго. Всѣ они склоняются въ пользу принципа Paternität'я, какъ и вообще мнѣнія лучшихъ современныхъ юристовъ. «Въ силу всего этого, говоритъ нашъ авторъ: — мы думаемъ, что при реформѣ русскаго законодательства очи нашихъ законодателей должны быть направлены въ нѣмецкія земли, а не во Францію; мы думаемъ, что въ этомъ смыслѣ не только принципъ саксонскаго законодательства, но и текстъ его, за указанными недостатками, достоинъ вниманія нашихъ законодателей. Можетъ быть, скажутъ, что странно совѣтовать реформу по чужому законодательству, не изучивши своего, что такое рѣшеніе вопроса будетъ слишкомъ космополитическимъ. На это мы отвѣтимъ, во-первыхъ, что нашъ сводъ въ вопросѣ о незаконнорожденныхъ есть тотъ же кодексъ Наполеона, только въ еще болѣе печальномъ видѣ; слѣдовательно, все то, что говорено было о недостаткахъ французскаго законадательства, прямо приложимо, за немногими исключеніями, и къ русскому; во-вторыхъ, объ изученіи нашего дѣйствующаго законодательства о иезаконнорожденныхъ, строго говоря, не можетъ быть и рѣчи по простой причинѣ: потому что его нѣтъ, такъ какъ одна статья, да пять, шесть фискальныхъ постановленій не составляютъ еще законовъ. Рѣчь, слѣдовательно, можетъ быть только о реформѣ законодательства, а въ дѣлѣ реформы важно не то, что національно и что не національно, а то, что справедливо и разумно».

Въ концѣ концовъ, г. Загоровскій приходитъ къ заключенію, что реформа нашего законодательства о незаконнорожденныхъ должна быть совершена:

1) По принципу *Paternität'a* и *алиментарной обязанности*, какъ самому справедливому и самому раціональному. На этотъ путь тѣмъ легче стать нашему законодательству, что оно уже слѣдуетъ ему, но только въ порядкѣ уголовномъ, при наказаніи за незаконное сожительство. Необходимо ввести, напротивъ, гражданскій искъ, а уголовное преслѣдованіе за незаконное сожительство совсѣмъ отмѣнить, какъ постановленіе устарѣлое.

2) Необходимо допустить *признаніе*, какъ не только справедливѣйшій, но и разумнѣйшій способъ констатированія незаконнаго сыновства.

3) Необходимо ввести *узаконеніе* черезъ послѣдующій бракъ, этотъ гуманнѣйшій институтъ, который нашло необходимымъ ввести еще жестокое къ незаконнорожденнымъ римское право, и который съ тѣхъ поръ живетъ во всѣхъ законодательствахъ Европы безъ различія ихъ принциповъ. Такое нововведеніе было бы тѣмъ исполнимѣе, что оно заключало бы въ себѣ лишь возвращеніе къ старинѣ—къ такъ называемому *привѣнчиванію* незаконныхъ дѣтей.

4) Необходимо установить обязательную *опеку* и тѣмъ поставить безпристрастнаго посредника между матерью незаконнорожденнаго и его отцомъ.

5) Необходимо дать незаконнорожденному *нѣкоторое право участія въ наслѣдованіи* послѣ своихъ родителей, такъ какъ лишеніе наслѣдственныхъ правъ есть уголовная кара, а незаконнорожденный никакого преступленія не совершилъ. Здѣсь новый за-

конъ могъ бы опереться на обычай нашего простого народа, который видитъ въ незаконнорожденномъ такого же законнаго претендента на наслѣдство, какъ и во всякомъ годномъ къ работѣ членѣ семьи. Кромѣ того, само собою разумѣется, должны быть отмѣнены и тѣ ограниченія въ публичныхъ правахъ незаконнорожденныхъ, которыя еще живутъ, какъ обломокъ старины, въ нашемъ законодательствѣ, какъ-то: приписка незаконнорожденныхъ привилегированныхъ сословій къ податнымъ и лишеніе ихъ, по крайней мѣрѣ de jure, служебныхъ правъ.

Мы бы ничего не имѣли ни противъ этого проекта реформы, ни противъ аргументаціи г. Загоровскаго, еслибы стояли на его точкѣ зрѣнія. Съ этой точки зрѣнія аргументація автора очень полна (мы ее значительно сократили), а проектъ реформы законченъ. Но намъ кажется, что вопросъ можетъ и долженъ быть и поставленъ, и разрѣшенъ гораздо шире. Г. Загоровскій сосредоточиваетъ почти все свое вниманіе на борьбѣ принциповъ Paternität'a и Maternität'a и, главнымъ образомъ, на правѣ розыска отца. Это подробность, конечно, очень важная, но все-таки только подробность, а, между тѣмъ, занятый тщательною ея разработкою авторъ не представилъ никакихъ оправданій или объясненій нѣкоторымъ своимъ взглядамъ, затрогивающимъ вопросъ о незаконнорожденныхъ гораздо глубже. Такъ, въ изслѣдованіи его встрѣчаются чуть не въ видѣ голыхъ афоризмовъ такого рода положенія: «Тогда какъ въ старину почти, иногда и совсѣмъ, не было различія между законными и незаконными дѣтьми; съ того времени, какъ успѣхи человѣчества на пути цивилизаціи обозначались явственно, это различіе не переставало и не перестаетъ существовать. Этотъ фактъ — не случайный. Онъ имѣетъ глубокій смыслъ и крѣпкія основы». Глубокій же смыслъ и крѣпкія основы состоятъ, по мнѣнію автора, въ томъ, что законодательства цивилизованныхъ странъ стремятся поддержать моногамическій бракъ, стоящій «во главѣ угла соціальной жизни». Бракъ, безъ сомнѣнія, имѣетъ огромное значеніе въ соціальной жизни цивилизованныхъ странъ, хотя можно сомнѣваться, чтобы онъ стоялъ, именно, «во главѣ угла». Но надо или очень плохо понимать исторію, или очень небрежно отнестись къ вопросу, чтобы свести весь историческій смыслъ различія между законными и незаконными дѣтьми на одинъ мотивъ уваженія къ браку, да еще именно къ моногамическому браку. Достаточно указать на мусульманское право, признающее полигамію и все-таки различающее законно и незаконнорожденныхъ. На самомъ дѣлѣ, въ установленіи этого различія вездѣ играли роль весьма разнообразные сословные и экономическіе мотивы. Не изъ уваженія же, въ самомъ дѣлѣ, къ браку возникло средневѣковое droit de bâtardise, по которому незаконнорожденному наслѣдовали не дѣти его, а сеньеры, или король. Не уваженіемъ къ браку руководствовались средневѣковые цехи, закрывая доступъ въ свою среду незаконнымъ. Не одинъ, по крайней мѣрѣ, этотъ мотивъ тутъ дѣйствовалъ, а и та боязнь конкурренціи, та цеховая исключительность, которая придиралась къ каждому удобному и неудобному случаю и (въ нѣкоторыхъ нѣмецкихъ цехахъ) отстраняла рядомъ съ незаконнорожденными, напримѣръ, лицъ славянскаго происхожденія. Самъ г. Загоровскій въ бѣгломъ историческомъ введеніи къ своему труду, говоря о старыхъ нѣмецкихъ порядкахъ, замѣчаетъ: «Упорнѣе всѣхъ отстаивалъ эти жестокія правила благородный классъ, надѣясь этимъ предохранить себя отъ неравныхъ браковъ и сберечь такимъ образомъ чистоту крови». При чемъ же тутъ уваженіе къ браку? Тотъ же г. Загоровскій, говоря о законахъ варваровъ, ссылается на Тацитово описаніе чистоты германскихъ нравовъ и именно изъ этой чистоты выводитъ жестокое отношеніе древнихъ германцевъ къ незаконнорожденнымъ: дескать, они уважали бракъ и именно потому преслѣдовали плоды внѣбрачныхъ связей. Но на слѣдующей же страницѣ авторъ сообщаетъ, что древніе германцы признавали незаконнорожденными и такихъ, которые рождались отъ брачнаго союза, если въ союзъ этотъ вступали лица различныхъ классовъ. Дѣти свободной женщины, состоявшей въ чистѣйшемъ моногамическомъ бракѣ съ рабомъ, считались незаконнорожденными и не имѣли права наслѣдовать своимъ родителямъ. Значитъ, не въ бракѣ тутъ дѣло. Далѣе, весьма многія законодательства, начиная съ древняго индусскаго и кончая современнымъ русскимъ, болѣе или менѣе жестоко караютъ незаконныхъ дѣтей лицъ высшихъ сословій, предоставляя въ этомъ отношеніи низшимъ классамъ полную свободу отъ всякой отвѣтственности за незаконное происхожденіе. Если бы законодательства эти руководились исключительно уваженіемъ къ браку, такъ они различали бы только законнорожденныхъ и незаконнорожденныхъ, а не осложняли бы дѣла различіями между кастами и сословіями. Ясно, что законодатели имѣютъ въ этомъ случаѣ въ виду совсѣмъ иные мотивы—политическіе, сословные, экономическіе.

Всѣ эти моменты законовъ о незаконнорожденныхъ оставлены г. Загоровскимъ безъ всякой оцѣнки. Сдѣлай онъ эту оцѣнку, онъ,

безъ сомнѣнія, не сказалъ бы съ такою безповоротною рѣшительностью, что различіе между законно и незаконнорожденными «имѣетъ глубокій смыслъ и крѣпкія основы». При ближайшемъ разсмотрѣніи смыслъ, можетъ быть, оказался бы очень мелкимъ, а основы очень шаткими, и г. Загоровскій не рѣшился бы положить слѣдующую краткую, энергическую, но мало осмотрительную резолюцію: «Существовавшее во время французской революціи приравненіе незаконнорожденныхъ къ законнорожденнымъ, было однимъ изъ фантастическихъ проявленій этого во многихъ другихъ отношеніяхъ благодѣтельнаго для человѣчества переворота». Можетъ быть, это и въ самомъ дѣлѣ «фантастическое проявленіе», но это надо доказать, а въ дѣлѣ доказательствъ недалеко уѣдешь съ афоризмами насчетъ глубокаго смысла и крѣпкихъ основъ.

Въ связи съ «фантастическимъ проявленіемъ» любопытно также слѣдующее разсужденіе (?) г. Загоровскаго: «Во Франціи незаконныя дѣти вначалѣ были лишены всякихъ наслѣдственныхъ правъ. Общимъ правиломъ было: enfants bastards ne succèdent. Законы французской революціи круто повернули отъ этого принципа въ противоположную сторону. Незаконныя дѣти наслѣдуютъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и законныя, говорятъ постановленія этого времени. Такимъ образомъ, дореволюціонное законодательство интересы дитяти приносило въ жертву интересамъ общественнаго порядка; законы революціонные напротивъ жертвовали интересами общественными изъ-за интересовъ дитяти». Что сей сонъ значитъ? Это—изреченіе мага, въ таинственный смыслъ котораго нѣтъ возможности проникнуть, а не логическое разсужденіе ученаго. Спрашивается: почему же страдаютъ «общественные интересы», когда незаконный сынъ наслѣдуетъ наряду съ законнымъ? и почему «интересы общественнаго порядка» выигрываютъ, когда незаконныя дѣти устраняются отъ наслѣдства? Г. Загоровскій не развиваетъ далѣе этой темы, онъ довольствуется афоризмами.

Мы не сомнѣваемся въ гуманномъ отношеніи г. Загоровскаго къ безъ вины виноватымъ незаконнорожденнымъ, въ его желаніи внести свѣточъ истины и справедливости въ эту мрачную область русскаго законодательства, равно какъ и въ его добрыхъ намѣреніяхъ вообще. Но занятый тщательнымъ разборомъ преимуществъ принципа Paternität'a, онъ, къ сожалѣнію, удѣлилъ слишкомъ мало вниманія другимъ сторонамъ вопроса. Вглядываясь въ его проектъ реформы русскихъ законовъ о незаконнорожденныхъ, мы видимъ, что онъ требуетъ почти полнаго уравненія правъ законныхъ и незаконныхъ дѣтей; *почти* полнаго, ибо онъ находитъ нужнымъ дать незаконнорожденному лишь *нѣкоторое* право участія въ наслѣдованіи. Онъ очень хорошо понимаетъ, что «лишеніе наслѣдственныхъ правъ есть уголовная кара, а незаконнорожденный никакого преступленія не совершилъ». Но всетаки *нѣкоторую* долю наслѣдственныхъ правъ незаконнорожденнаго онъ предполагаетъ урѣзать и, слѣдовательно, *нѣкоторое* наказаніе наложить. Это напоминаетъ анекдотъ о томъ находчивомъ ученикѣ, который, не зная навѣрное, слѣдуетъ-ли поставить въ диктантѣ запятую, поставилъ на всякій случай, но *маленькую*. Г. Загоровскій—не ученикъ, а учитель. По всей вѣроятности, онъ знаетъ, почему безъ вины виноватые всетаки должны нести *нѣкоторое* наказаніе, но читателямъ онъ этой тайны не сообщилъ, и аргументовъ его въ этомъ случаѣ мы совершенно не знаемъ. Правда, всѣ европейскія законодательства болѣе или менѣе урѣзываютъ наслѣдственныя права незаконнорожденныхъ, но изъ этого слѣдуетъ, можетъ быть, только то, что «очи нашихъ законодателей» должны быть направлены не только въ нѣмецкія земли, а и въ область теоретической истины и справедливости, и въ глубь родной страны.

Обратимъ и мы туда свои «очи».

Тамъ, въ этой родной странѣ, существуетъ весьма многочисленная группа лицъ (не менѣе полумилліона), самымъ фактомъ своего рожденія совершившихъ нѣчто постыдное, незаконное, даже преступное, и жестоко караемыхъ за это странное преступленіе. Правда, такіе безъ вины виноватые люди существуютъ вездѣ, но нигдѣ, по закону, преступленіе ихъ не цѣнится такъ высоко, какъ у насъ, нигдѣ не несутъ они столь тяжкихъ наказаній, нигдѣ не загороженъ имъ такъ плотно доступъ въ общество людей, по рожденію признаваемыхъ честными, законными, не преступными людьми.

Русскій незаконнорожденный носитъ, de jure, позорное клеймо до конца дней своихъ и узаконенъ быть не можетъ ни при какихъ обстоятельствахъ. Юридическая наука и практика на западѣ выработали два вида узаконенія—legitimatio per subsequens matrimonium, узаконеніе послѣдующимъ бракомъ, и legitimatio per rescriptum principis, узаконеніе рескриптомъ государя. Первый видъ узаконенія у насъ категорически не допускается: послѣдующій бракъ не имѣетъ обратной силы и дѣтей, прижитыхъ до брака, не узакониваетъ. Что же касается второго вида, то хотя ст. 144 X тома и гласитъ, что возможно узаконеніе незаконнорожденныхъ дѣтей лицъ привилегированныхъ сословій по особымъ Высочайшимъ указамъ, но въ

примѣчаніи къ той статьѣ поясняется, что всѣ прошенія этого рода оставляются безъ движенія. Ст. 152—154, трактующія объ усыновленіи купцами, обязываютъ, между прочимъ, надлежащія власти удостовѣриться—не есть ли усыновляемый незаконное дитя усыновляющаго, и, въ случаѣ утвердительнаго отвѣта, усыновленіе не допускается: можно усыновить чужого, но узаконить своего нельзя. Относительно порядка усыновленія мѣщанами, крестьянами и солдатами такой оговорки нѣтъ.

Незаконнорожденный, кто бы ни были его родители, приписывается къ одному изъ податныхъ сословій.

Незаконнорожденный не наслѣдуетъ не только отцу, существованія котораго законодательство вообще не признаетъ, хотя бы онъ нисколько не скрывался и даже желалъ бы признать своихъ незаконныхъ дѣтей своими, но и матери, не говоря уже о другихъ родственникахъ.

Незаконнорожденный, если онъ—воспитанникъ приказа общественнаго призрѣнія, не имѣетъ права на полученіе классныхъ чиновъ въ гражданской службѣ и не принимается въ учебныя заведенія, дающія служебныя права.

За что и для чего все это? Какою виной вызываются, какою цѣлью оправдываются эти драконовскіе законы?

Есть вопросы до такой степени ясные, есть темы до такой степени элементарныя, что ихъ стыдно и неловко развивать: рука не поднимается. Поневолѣ позавидуешь XVIII вѣку съ его наивностью и величіемъ, съ его горячею вѣрою въ могущество слова и въ непоколебимость «правъ человѣка». Увы! Намъ уже «не новы всѣ впечатлѣнья бытія». Насъ не поразишь картиной невиннаго младенца, въ головѣ котораго еще не шевелился ни одинъ дурной помыселъ и который вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, есть тяжкій преступникъ, уже въ моментъ рожденія лишенный правъ состоянія. Насъ не поразишь этою тяжкою отвѣтственностью невиннаго третьяго лица за чужую вину, если таковая есть. Всякій понимаетъ, что это—величайшая несправедливость, можно сказать, идеалъ несправедливости. Вопросъ, повидимому, упрощается и облегчается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что въ данномъ случаѣ возстановленіе несправедливости не угрожаетъ сколько-нибудь серьезнымъ интересамъ какой бы то ни было общественной группы. Кучка негодяевъ-отцовъ, которыхъ реформа обяжетъ признать и содержать дѣтей, кучка наслѣдниковъ, которымъ придется потѣсниться для новыхъ сонаслѣдниковъ—это такіе пустяки, которые никто не задумается переѣхать колесомъ. Притомъ же, если извѣстная часть отцовъ окажется недовольною, то за то другая часть только порадуется возможности назвать своихъ дѣтей своими. Словомъ, вопросъ простъ и ясенъ до послѣдней степени. Но, можетъ быть, именно потому, что онъ весь какъ на ладони и не требуетъ рѣшительно никакого напряженія мысли для своего разрѣшенія, можетъ быть, отчасти именно поэтому разрѣшеніе и откладывается въ долгій ящикъ. Извѣстно, что къ вещамъ очень ужъ простымъ и яснымъ люди склонны относиться спустя рукава. Понимая несправедливость существующаго порядка вещей, мы, однако, нисколько не шокируемся дикимъ названіемъ «незаконнорожденныхъ» (прозвище *незаконно-родившихъ*, при всей своей нелѣпости, было бы все-таки логичнѣе), и гуманный приватъ-доцентъ кіевскаго университета въ спеціальномъ трудѣ, написанномъ въ виду вѣроятной реформы русскаго законодательства, находитъ нужнымъ ставить *маленькую* запятую тамъ, гдѣ по здравому смыслу никакого знака препинанія не полагается. А г. Загоровскій—человѣкъ гуманный! А кіевскій университетъ называется университетомъ св. Владиміра, того самаго св. Владиміра, которому незаконное происхожденіе не помѣшало распространить свѣтъ христіанства въ Россіи и котораго даже надменная Рогнѣда попрекнула не тѣмъ, что онъ—незаконнорожденный, а тѣмъ, что онъ «рабичичъ».

На русскомъ законодательствѣ очевиднѣе, чѣмъ на какомъ-нибудь другомъ, невѣрность основнаго положенія г. Загоровскаго насчетъ «глубокаго смысла и крѣпкихъ основъ» различія между законными и незаконными дѣтьми. Говоря объ отсутствіи у насъ узаконенія послѣдующимъ бракомъ, каковаго ограниченія не знаетъ ни протестантская, ни католическая Европа, онъ самъ замѣчаетъ, что это ограниченіе не истекаетъ изъ необходимости покровительствовать законному браку. «Если бракъ родителями заключенъ, говоритъ онъ:—то потребность въ такихъ ограниченіяхъ исчезаетъ». Это справедливо, хотя слѣдовало бы прибавить, что отсутствіе узаконенія черезъ послѣдующій бракъ даже противорѣчитъ цѣли законодателя, если она дѣйствительно состояла въ покровительствѣ законному браку: не трудно себѣ представить такія положенія, когда родители незаконныхъ дѣтей вступили бы въ законный бракъ главнымъ образомъ ради того, чтобы избавить дѣтей отъ незаконнорожденности со всѣми ея послѣдствіями. Но дѣло въ томъ, что и вообще законодательство наше, опредѣляя права незаконнорожденныхъ, едва-ли руководилось однимъ желаніемъ покровительствовать законному браку. Еслибы это было такъ, то мы не ви-

дѣли бы прежде всего такого различія между незаконнорожденными разныхъ сословій. Если принципъ законнаго брака требуетъ кары незаконнорожденныхъ, такъ вѣдь онъ равно обязателенъ для всѣхъ сословій, а между тѣмъ, незаконный сынъ дворянина или купца не можетъ быть узаконенъ, тогда какъ такой же незаконный сынъ мѣщанина, крестьянина, нижняго воинскаго чина узаконяется простою припискою къ семейству. Далѣе, никоимъ образомъ нельзя объяснить принципомъ покровительства законному браку того лишенія публичныхъ правъ, на которое обречены воспитанники приказовъ общественнаго призрѣнія. Какъ ни тяжко по закону положеніе незаконнорожденныхъ вообще, но имъ не возбраняются ни служебное поприще, ни занятіе науками. Не получая отъ родителей ни наслѣдственныхъ правъ, ни наслѣдственнаго имущества, ни даже наслѣдственнаго имени, они лично могутъ пробивать себѣ любую жизненную дорогу, если у нихъ есть для того силы и способности. Исключеніе составляютъ почему-то воспитанники приказовъ общественнаго призрѣнія. Конечно, принципъ законнаго брака тутъ не причемъ.

Обстоятельство это станетъ еще очевиднѣе, если мы припомнимъ нѣкоторые чрезвычайно любопытные эпизоды изъ исторіи незаконнорожденныхъ въ Россіи.

При открытіи Екатериною II перваго воспитательнаго дома, питомцы получили поистинѣ великія и богатыя милости. Не говоря о колоссальныхъ средствахъ и привилегіяхъ, предоставленныхъ воспитательному дому, какъ учрежденію, питомцы лично со всѣмъ потомствомъ были объявлены навсегда вольными и ни въ какомъ случаѣ не подлежащими закрѣпощенію: не только питомица, выходя замужъ за крѣпостного, оставалась свободною, но питомецъ женясь на крѣпостной, тѣмъ самымъ освобождалъ ее; далѣе, питомцамъ и ихъ дѣтямъ и потомкамъ разрѣшалось покупать всякаго рода недвижимое имущество, устроивать фабрики, вступать въ купечество и избирать любое занятіе. То было время окончательнаго установленія крѣпостнаго права и колоссальной раздачи населенныхъ имѣній высокимъ лицамъ, отличившимся на разнообразныхъ поприщахъ. И въ такое-то время незаконнорожденные питомцы воспитательнаго дома были осыпаны такими дарами! Милліоны законнорожденныхъ могли пожалѣть, что они законнорожденные, а тысячи незаконнорожденныхъ—что матери пожелали ихъ оставить при себѣ, а не бросили въ воспитательный домъ, ибо незаконнорожденные вообще, внѣ стѣнъ воспитательныхъ домовъ, никакого облегченія своей участи не получили.

Императрица Марія Ѳеодоровна продолжала дѣло чрезвычайныхъ заботъ о питомцахъ воспитательныхъ домовъ. Лично входя во всѣ мельчайшія подробности обстановки «сиротъ при родителяхъ своихъ» или «несчастно-рожденныхъ», она выработала замѣчательный въ своемъ родѣ планъ ихъ воспитанія. Въ планъ входили занятія ремеслами, рисованіемъ, музыкой, иностранными языками и науками. Наиболѣе способныхъ императрица опредѣлила готовить въ университеты, менѣе способныхъ—въ учителя, учительницы, фельдшера, повивальныя бабки. Но опять-таки всѣ эти благодѣянія не распространялись за ограду воспитательныхъ домовъ, что имѣло роковыя послѣдствія для самихъ питомцевъ.

Хотя смертность дѣтей въ воспитательныхъ домахъ, не смотря на всѣ заботы императрицы Маріи Ѳеодоровны, достигала громадной цифры, будущее тѣхъ, кто выживалъ, представлялось въ такомъ заманчивомъ видѣ, что многіе родители отдавали туда своихъ законныхъ дѣтей подъ видомъ незаконныхъ и найденышей. Императоръ Николай поэтому совершенно измѣнилъ планъ воспитанія «несчастно-рожденныхъ». Нетолько питомцы лишились, со смертью императрицы Маріи, заботливѣйшей до баловства покровительницы, но въ 1837 году повелѣно было питомцевъ отдавать на воспитаніе крестьянамъ, кто постарше—помѣщать рабочими на фабрикахъ, прислугой въ казенныхъ заведеніяхъ, приписывать къ казеннымъ селеніямъ и проч. Рогъ изобилія, великодушно, но не совсѣмъ справедливо осыпавшій благодѣяніями произвольно намѣченную часть незаконнорожденныхъ, былъ убранъ.

Приводя эти эпизоды изъ исторіи незаконнорожденныхъ въ Россіи въ связь съ нынѣ дѣйствующимъ законодательствомъ, мудрено подвести ихъ подъ какой-нибудь одинъ опредѣленный общій принципъ. Мы видимъ то совершенно исключительныя права, то полное безправіе незаконнорожденныхъ. Видимъ рядъ колебаній, вполнѣ объясняемыхъ тѣми частными цѣлями, которыя имѣлись въ виду упомянутыми государями. Конечно, императрицы Екатерина и Марія и императоръ Николай равно чтили святость законнаго брака. И тѣмъ не менѣе, въ видахъ процвѣтанія воспитательнаго дома, Екатерина не стѣснилась, утверждая одною рукою крѣпостное право для законнорожденныхъ, срывать другою рукою иго рабства съ незаконнорожденныхъ. Императрица Марія Ѳеодоровна не стѣснилась даровать незаконнорожденнымъ способы достиженія разносторонняго и высшаго образованія, руководясь единственно добротою своего сердца. Императоръ Николай круто повернулъ дѣл

въ другую сторону, руководясь простою справедливостью. фактомъ переполненія воспитательныхъ домовъ не только незаконными, но и законными дѣтьми и, можетъ быть, еще какими-нибудь государственными соображеніями. Ничего принципіальнаго, а тѣмъ болѣе принципіально враждебнаго незаконнорожденнымъ мы здѣсь не видимъ. А если прибавить, что и нынѣ, не смотря на категорическую строгость примѣчанія къ ст. 144, legitimatio per rescriptum principis у насъ фактически существуетъ, то ясно станетъ, что верховный источникъ русскаго законодательства не можетъ считаться принципіально жестокимъ къ незаконнорожденнымъ.

Но, можетъ быть, само общество русское или народъ русскій до такой степени нетерпимо относится къ незаконнорожденнымъ, что законодательство поневолѣ должно принять въ соображеніе этотъ негодующій голосъ и единственно въ угоду ему жестоко карать безъ вины виноватыхъ. Г. Загоровскій сообщаетъ, что нѣсколько лѣтъ тому назадъ, на первомъ съѣздѣ русскихъ юристовъ въ Москвѣ, было выражено мнѣніе, что принципъ Paternität'a «противорѣчитъ понятіямъ нашего народа, относящагося презрительно и пренебрежительно къ незаконнорожденнымъ». На это г. Загоровскій возражаетъ: «Но всегда-ли надо законодателю сообразоваться въ своихъ реформахъ съ воззрѣніями народа; не служатъ-ли нерѣдко эти воззрѣнія лишь юридической патологіей, а не здравымъ правосознаніемъ? Защитникамъ народныхъ воззрѣній надо почаще припоминать такіе факты, какъ тотъ, что случился недавно въ одномъ изъ селъ Новгородской губерніи, фактъ всенароднаго сожженія, по приговору сельскаго схода, несчастной женщины, обвиненной въ колдовствѣ. Вообще ссылкой на нравы народа надо пользоваться съ осторожностью при вопросѣ о реформѣ. Ссылаясь на нравы, надо было воздержаться и отъ отмѣны крѣпостного права, потому что оно было въ нашихъ нравахъ... Законодатель долженъ имѣть воззрѣнія народа всегда въ виду, но лишь изрѣдка ими руководствоваться; иначе законъ будетъ только всегда народнымъ, но не всегда справедливымъ». Въ этомъ разсужденіи много вѣрнаго. Если интересы народа должны служить путеводной звѣздой для всякаго общественнаго дѣятеля, то отнюдь нельзя того же сказать о воззрѣніяхъ народа.

Дѣло однако въ томъ, что это разсужденіе г. Загоровскаго представляется нѣсколько излишнимъ, ибо мнѣніе, высказанное на съѣздѣ юристовъ, кажется, совершенно неосновательно: ни народъ въ тѣсномъ смыслѣ, ни общество наше отнюдь не характеризуются презрительнымъ и пренебрежительнымъ отношеніемъ къ незаконнорожденнымъ. На свидѣтельство личнаго опыта въ такомъ дѣлѣ ссылаться, конечно, нельзя. Нечего и ожидать, чтобы по отношенію къ занимающему насъ вопросу господствовало полное согласіе мнѣній. Одному выпало счастіе вращаться въ средѣ людей высоко развитыхъ или простыхъ сердцемъ, другой имѣетъ несчастіе наталкиваться на легкомысленныхъ или дрянныхъ и грубыхъ людей, отъ всей своей низкой души надѣляющихъ безъ вины виноватыхъ позорными кличками. Но если въ данномъ случаѣ личный опытъ ничего не говоритъ, то есть другіе, гораздо болѣе общіе и достовѣрные пробные камни отношенія общества и народа къ незаконнорожденнымъ.

Во-первыхъ, намъ рѣшительно ничего неизвѣстно о какомъ-нибудь протестѣ, о какомъ-нибудь недовольствѣ по поводу тѣхъ благодѣяній, которыя случайно и довольно безпорядочно сыпались на нѣкоторыхъ незаконнорожденныхъ. Законныя дѣти стали выдаваться за незаконныхъ, незаконнорожденные стали поддѣлываться — вотъ, повидимому, все, чѣмъ выразилось отношеніе общества къ великимъ и богатымъ милостямъ, которыми императрицы Екатерина и Марія Ѳеодоровна одарили питомцевъ воспитательныхъ домовъ. Положимъ, то — исторія; но вотъ и текущая дѣйствительность: давно-ли десятки тысячъ незаконнорожденныхъ дѣтей раскольниковъ-безпоповцевъ были объявлены законнорожденными—и ничего, кромѣ всеобщаго удовольствія, эта разумная и справедливая мѣра не вызвала. Достойно также вниманія, что русская беллетристика, вообще говоря, очень чутко относящаяся къ ранамъ русскаго сердца, не выставила ни одного выдающагося произведенія, въ которомъ незаконнорожденный, не говоримъ, предавался бы позору, это само собою разумѣется, но хотя бы изображался въ видѣ жертвы общественнаго презрѣнія. Единственное, быть можетъ, исключеніе составляетъ «Новь» г. Тургенева, герой которой чрезмѣрно удручается незаконностью своего происхожденія, какъ чѣмъ-то позорнымъ и открытымъ для всякаго рода двусмысленностей и оскорбленій. Но уже при самомъ появленіи «Нови» было замѣчено, что Неждановъ въ этомъ отношеніи — совсѣмъ не русская фигура и задуманъ цѣликомъ подъ вліяніемъ французскихъ литературныхъ и житейскихъ мелодрамъ.

Что касается собственно народа, то-есть простонародья, то тутъ мы имѣемъ весьма солидный матерьалъ для сужденія объ его отношеніяхъ къ незаконнорожденнымъ. И

матерьялъ этотъ ни мало не оправдываетъ мнѣнія, высказаннаго на первомъ съѣздѣ русскихъ юристовъ въ Москвѣ, о презрительномъ и пренебрежительномъ отношеніи нашего народа къ незаконнорожденнымъ. Совершенно напротивъ. Просматривая «Труды комиссіи по преобразованію волостныхъ судовъ», мы найдемъ довольно разнообразныя, глядя по мѣстности, свѣдѣнія о положеніи незаконныхъ дѣтей въ крестьянскомъ быту. Есть мѣстности, гдѣ незаконнорожденнымъ живется лучше, и есть такія, гдѣ имъ живется хуже. Но общій тонъ отношеній все-таки благопріятенъ и не имѣетъ никакого себѣ подобія въ нашемъ сводѣ. Особенно замѣчательны два пункта обычнаго права, поскольку имъ регулируется положеніе незаконнорожденныхъ. Во-первыхъ, крестьяне наши пользуются тѣмъ видомъ узаконенія, который введенъ во всѣ европейскія законодательства, кромѣ нашего, узаконеніемъ черезъ послѣдующій бракъ. Во-вторыхъ, въ крестьянскомъ быту незаконныя дѣти наслѣдуютъ и матери, и отцу. Повторяемъ, не вездѣ и въ народѣ практикуются эти два замѣчательные пункта, столь безусловно чуждые нашему писаному закону; по крайней мѣрѣ, не вездѣ въ полномъ объемѣ. Есть, напримѣръ, мѣстности, гдѣ незаконнорожденный не наслѣдуетъ отцу, а разсчитывается за прожитое въ его домѣ время, какъ годовой работникъ; есть такія, гдѣ наслѣдованіе незаконнорожденныхъ обусловлено извѣстными требованіями: требуется, напримѣръ, чтобы отецъ предварительно усыновилъ незаконнорожденнаго, чтобы отецъ вступилъ въ бракъ съ матерью своихъ дѣтей, чтобы незаконнорожденный болѣе или менѣе продолжительное время жилъ въ семьѣ и работалъ на нее и т. п. Оставляя эти мѣстныя различія и уклоненія отъ общаго принципа въ сторонѣ, мы найдемъ, что общій тонъ этого отдѣла русскаго обычнаго права вполнѣ благопріятенъ для незаконнорожденныхъ. Поэтому, коренная реформа нашего писанаго законодательства въ смыслѣ полнаго уравненія правъ законныхъ и незаконныхъ дѣтей отнюдь не была бы «фантастическимъ проявленіемъ». Она была бы не только справедлива, но и народна въ самомъ настоящемъ и строгомъ смыслѣ слова.

Такимъ образомъ, ни въ высшихъ, ни въ среднихъ, ни въ низшихъ слояхъ русскаго общества мы не находимъ ни одного элемента, вопіющаго о карѣ, преслѣдованіи незаконнорожденныхъ. Напротивъ, все, повидимому, складывается для нихъ чрезвычайно благопріятно. А между тѣмъ, жестокіе законы все-таки существуютъ. Не оправдывается - ли ихъ наличность какими-нибудь, вѣрными или невѣрными, ложными или истинными, государственными соображеніями?

Присматриваясь къ той многосложной и многовѣковой борьбѣ, которую вели въ Европѣ духовная и свѣтская власти, короли и сеньеры, сеньеры и городскія общины, общины и цехи, мы увидимъ въ этой борьбѣ, поскольку ею опредѣлились, между прочимъ, и права, и безправіе незаконнорожденныхъ, два, какъ говорятъ нѣмцы, Brennpunct'a: устраненіе экономической конкурренціи и сохраненіе «благородства» крови замкнутаго аристократическаго сословія. Мы не будемъ обсуждать, насколько справедливо давить изъ-за подобныхъ мотивовъ ни въ чемъ не повинныхъ людей. Не будемъ не только потому, что пришлось бы расплыться въ общихъ мѣстахъ и труизмахъ, но и потому еще, что Россія не знала ни цеховой системы, ни замкнутаго, истинно аристократическаго сословія, которое имѣло бы хотя кажущееся историческое право требовать жертвоприношеній на алтарѣ его благородства. Но еслибы подобные, лишенные всякой исторической почвы мотивы и руководили когда-нибудь нашимъ законодательствомъ, то теперь несостоятельность ихъ уже слишкомъ очевидна. Со введеніемъ всеобщей воинской повинности и съ несомнѣнно близкимъ уничтоженіемъ «податныхъ» сословій, съ предстоящей реформой системы налоговъ, фактически законныя и незаконныя дѣти значительно уравниваются въ правахъ. А разъ благородство крови не осложняется никакими привилегіями, уединеніе этого благородства, обереганіе его отъ вторженія пришлыхъ элементовъ обращается въ своего рода искусство для искусства и теряетъ всякій реальный смыслъ.

Но насъ могутъ, повидимому, не безъ основанія уличить въ противорѣчіи. Намъ могутъ сказать, что мы начали за здравіе, а кончили за упокой или, пожалуй, наоборотъ—начали за упокой, а кончили за здравіе; начали картиной ужаснаго и вполнѣ безправаго положенія незаконнорожденныхъ, а оказывается, что положеніе ихъ вовсе не такъ дурно: и общество-то къ нимъ относится, по крайней мѣрѣ, въ общемъ счетѣ, безъ нетерпимости, и не сегодня - завтра уравненіе правъ законно и незаконнорожденныхъ произойдетъ само собой, помимо всякой прямой реформы законодательства о незаконнорожденныхъ. Это не совсѣмъ такъ, конечно, но противорѣчіе все-таки, дѣйствительно, есть; противорѣчіе не наше, а житейское или, точнѣе, противорѣчіе между жизнью и писанымъ закономъ. Жестокіе законы существуютъ, но ихъ отрицаетъ сама жизнь. А изъ этого противорѣчія проистекаютъ слѣдствія, чрезвычайно важныя не

столько даже для самихъ незаконнорожденныхъ, сколько для всего общества въ цѣломъ.

Незаконнорожденный сынъ дворянина переходитъ въ податное состояніе, но, со введеніемъ всеобщей воинской повинности и податной реформой, реальная почва исчезаетъ изъ-подъ этого ограниченія правъ незаконнорожденнаго. Этого мало. Незаконнорожденный сынъ дворянина не можетъ быть узаконенъ, но мы упоминали уже, что фактически узаконеніе у насъ нерѣдко практикуется. Незаконнорожденный сынъ купца также не можетъ быть узаконенъ, но онъ можетъ быть усыновленъ, если удастся скрыть, что онъ—сынъ усыновляющаго, а это вѣдь не такъ трудно. Незаконнорожденный не носитъ имени отца, но для него можетъ быть выбрана любая фамилія и въ томъ числѣ фамилія отца. Незаконнорожденный сынъ не наслѣдуетъ ни отцу, ни матери, но никому не возбраняется завѣщать имущество кому угодно и въ томъ числѣ своему незаконнорожденному сыну. Все это и практикуется; все это можно сдѣлать, но только *можно*, а не *должно*, и притомъ можно только при помощи разныхъ ухищреній и вопреки буквѣ закона. Такимъ образомъ, выражаясь фигурально, дается полный просторъ плевеламъ и всячески затрудняется ростъ пшеницы. Протаптывается «тропинка бѣдствій», по которой отецъ-негодяй можетъ гулять на всей своей вольной волѣ, «не предвидя отъ сего никакихъ послѣдствій», а отецъ-порядочный человѣкъ долженъ изворачиваться между требованіями закона и желаніемъ оградить своихъ дѣтей отъ позорной клички и нищеты. Разсказываютъ анекдотъ объ испанскомъ путешественникѣ, попавшемъ куда-то на сѣверъ: его атаковали собаки, и когда онъ хотѣлъ схватить камень, чтобы обороняться, то оказалось, что камень примерзъ къ землѣ. Испанецъ обругалъ страну, въ которой «камень привязываютъ, а собакъ пускаютъ бѣгать». Эти слова довольно точно изображаютъ положеніе вопроса о незаконнорожденныхъ въ Россіи. Страдаютъ незаконныя дѣти негодяевъ, страдаютъ отцы-порядочные люди, но больше всего страдаетъ то чувство законности, которымъ и безъ того наше общество не богато, и не страдаютъ только тѣ, кто хочетъ безданно и безпошлинно срывать цвѣты наслажденія. Къ этому еще присоединяются многія обветшалыя и въ настоящее, по крайней мѣрѣ, время ничѣмъ необъяснимыя противорѣчія въ самомъ законодательствѣ. Современный человѣкъ, смѣемъ сказать, слишкомъ многое понимаетъ, чтобы понимать рѣзкую разницу въ порядкѣ узаконенія лицъ различныхъ сословій или ту не менѣе рѣзкую разницу, которую законъ установляетъ между воспитанниками приказовъ общественнаго призрѣнія и другими незаконнорожденными. Онъ можетъ, положа руку на сердце, съ совершенно чистою совѣстью сказать, что не понимаетъ этихъ юридическихъ явленій, что они для него—необъяснимая тайна, ключъ отъ которой заброшенъ въ бездонное море прошлаго. И было бы, кажется, напраснымъ трудомъ даже тамъ искать его, ибо едва-ли можно указать какой-нибудь общій принципъ, которымъ наше законодательство о незаконнорожденныхъ руководилось бы неуклонно, безъ шатаній изъ стороны въ сторону.

Мы чуть не каждый день слышимъ совершенно справедливыя жалобы на отсутствіе въ русскомъ человѣкѣ чувства законности, сѣтованія о томъ, что онъ всегда готовъ обойти законъ, даже безъ особенной нужды, изъ-за пустяковъ. И дѣйствительно, во всякомъ русскомъ человѣкѣ есть нѣчто отъ контрабандиста. Онъ—контрабандистъ самый разносторонній, искусный и охочій; контрабандистъ не только по своему общественному воспитанію, по нуждѣ, по привычкѣ, но иногда и по обязанности, какъ именно въ своемъ отношеніи къ незаконнорожденнымъ дѣтямъ; ибо, хотя законъ и повелѣваетъ въ этомъ случаѣ отцу не знать дѣтей, а дѣтямъ отца, но природа, мораль, общественное мнѣніе, сама религія обязываютъ обойти законъ. Мы, разумѣется, далеки отъ мысли приписывать контрабандистскую натуру русскаго человѣка именно несостоятельности нашего законодательства о незаконнорожденныхъ. Но и его туть капля меду есть. И во всякомъ случаѣ, оно можетъ служить хорошимъ примѣромъ пагубныхъ послѣдствій разъединенія закона и жизни. Мы думаемъ поэтому, что коренная реформа нашего законодательства въ смыслѣ полнаго уравненія правъ законныхъ и незаконныхъ дѣтей была бы не только актомъ справедливости по отношенію къ незаконнорожденнымъ, но и великимъ благодѣяніемъ для общества. Само собою разумѣется, что реформа эта не можетъ быть отдѣлена отъ пересмотра нашего семейнаго права вообще и, прежде всего, отъ реформы законовъ о разводѣ.

III.

Къ теоріи вольницы и подвижниковъ *).

«Мировичъ». Историческій романъ въ трехъ частяхъ. *Г. П. Данилевскаго*. (Вѣстникъ Европы).
«Король Сіона», «Пророкъ». Поэма въ десяти пѣсняхъ. *Роберта Гамерлинга*. Переводъ *Ѳ. Б. Миллера*. (Русскій Вѣстникъ).

I.

У насъ въ литературѣ нынче въ родѣ, какъ масляница: настоящей пищи мало, а больше историческіе романы, какъ блины, пекутся. Есть между этими романами скромные, безпритязательные, не уклоняющіеся по возможности отъ исторической дѣйствительности ни въ высь славословія, ни въ глубину пламенныхъ чувствъ. Таковы романы г. Карновича, которыхъ онъ, впрочемъ, и самъ не называетъ романами. Есть романы, стремящіеся прикрыть свою наготу духовную приторными причмокиваніями, причитаніями и пародіями на лиризмъ, романы г. Мордовцева. Есть романы г. Всеволода Соловьева, которые суть романы «такъ», какъ бываютъ блины со снѣтками, блины съ яйцами и блины «такъ». Есть другіе разные. И есть, наконецъ, романъ г. Григорія Данилевскаго—«Мировичъ».

Это—единственный въ своемъ родѣ. Онъ обратилъ на себя наибольшее вниманіе, его много читали, и съ интересомъ читали, объ немъ говорили. Успѣхъ этотъ, впрочемъ, отнюдь не можетъ быть объясненъ какими-нибудь качествами самого автора, кромѣ развѣ прилежанія. Художественный талантъ г. Данилевскаго очень не великъ, не велика даже простая умѣлость, и нѣкоторые пріемы изложенія просто ребяческіе. Словомъ, въ художественномъ смыслѣ, этотъ ракъ—даже на безрыбьи не рыба. Но романъ имѣетъ своимъ центромъ исключительно горькую судьбу царственнаго узника, почти совсѣмъ неизвѣстнаго русской читающей публикѣ. Романъ обнимаетъ одну изъ самыхъ удивительныхъ и въ нѣкоторомъ отношеніи самыхъ любопытныхъ эпохъ русской исторіи. Въ немъ появляются, кто мелькомъ, а кто и во весь ростъ, Петръ III, Екатерина, Дашкова, Іоаннъ Антоновичъ, Бирономъ, Минихъ, Лестокъ, Орловы, Потемкинъ, Ломоносовъ, Фонвизинъ, Новиковъ, Пугачевъ, Кондратій Селивановъ и проч. Правда, далеко не всѣ эти дѣйствующія лица, вызываются внутреннею необходимостью, вытекающею изъ конструкціи самаго романа. Если, напримѣръ, относительно Фонвизина можно еще сомнѣваться, то, напримѣръ, Селивановъ и въ особенности Пугачевъ совсѣмъ не нужны роману, какъ онъ задуманъ и проведенъ авторомъ. На этомъ стоитъ остановиться.

У гроба Петра III стоитъ Пугачевъ вдвоемъ съ другимъ казакомъ. Они пріѣхали въ Петербургъ случайно.

«Долго чернобородый, пробравшись въ храмъ, не отходилъ отъ ступеней траурнаго катафалка, на которомъ, подъ чернымъ балдахиномъ, съ скрещенными въ замшевыхъ перчаткахъ руками, лежало тѣло почившаго монарха.

— Ну, Иванычъ, пора,—шепнулъ, дернувъ его за кафтанъ, невзрачный, съ воспаленными, слезившимися глазами, бѣлокурый товарищъ.

— Не трошь,—обернувшись, сумрачно отвѣтилъ чернобородый.

Изъ-за высокихъ, блестѣвшихъ фольгой свѣчей, сдерживая плечомъ напоръ вздыхавшей и набожно шептавшей молитвы толпы, онъ продолжалъ вглядываться въ лицо покойника.

— Да, сказалъ,—вздохнувъ, про себя чернобородый:—не доля!.. врядъ-ли схожъ! набрехалъ на границѣ бѣглый солдатъ—гвардіопецъ... Ну, да ужъ коли Богъ восхощетъ,—прибавилъ онъ, переводя быстрые, каріе глаза къ иконамъ:—коли милостью взыщетъ, ослѣпитъ очи гордыни, сокрушитъ выю злыхъ... чудо и безъ сходствія въ явѣ скажется...

Посланцы вышли изъ церкви, отвязали коней и трусцой пустились по нарвскому тракту

— О чемъ, Иванычъ, шепчешь? Про что твои думы?—спросилъ бѣлокурый чернаваго, когда, миновавъ заставу, они очутились въ полѣ.

Смеркалось. Было душно. Темная, змѣившаяся молніями туча надвигалась отъ взморья.

— Не твое дѣло! не спрошенъ, не суйся,—грубо огрызнулся чернявый:—вонъ каки знаменія, прибавилъ онъ, протянувъ руку: — сполохов ожидать, лихихъ господнихъ испытаній, чудесъ...

— А что?—не утерпѣлъ спросить бѣлокурый.

— Сказываютъ... не государя хоронятъ,—какъ бы про себя проговорилъ чернобородый:—а простого офицера, государь-же будто живъ...

Казаки выѣхали въ лѣсъ, за которымъ дорога на-право шла въ Петергофъ, на-лѣво въ Гатчину.

— На Украйну бы уйти, въ село Кабанье, въ изюмскій полкъ, мыслилъ подъ вспышки молній чернявый:—сговоръ былъ съ парнемъ знакомца, казака тамошняго Коровки, какъ переходили границу; а не то бы въ Польшу, въ наши древней вѣры слободы, назваться выходцемъ изъ нѣмечины... Не кнутьемъ да батожьемъ токмо сыту быть. Пройдетъ время, забудутъ всѣ про бѣглаго... Въ тѣ-поры сызнова на Донъ, за Волгу... либо на Яикъ... Охъ, терпитъ, терпитъ мать сыра земля, старо благочестіе, подневольный народъ... Стонетъ родима сторонушка, вся какъ есть Рассея... Больше вытерпу нѣтъ! Охъ! съ Иргиза, съ Берды, съ Лабы-рѣки, съ Узеней, со всѣхъ скитовъ да уметовъ стекутся, сбѣгутся невольнички, попранной вѣры стадо .. Я-де, православные, вашъ владыко и царь!... Господь спасъ, вѣрный офицеръ выпустилъ изъ Питера... Показался гвардіонцу, покажусь и всему честному Христову народу, всей голытьбѣ, готовой за волю, за дѣдовскій, изначальный законъ, на всяку погибель...

— Ваше благородіе, а ваше благородіе, сталъ будить чей-то голосъ Мировича, заснувшаго подъ деревомъ близъ Горѣлаго Кабачка, у перекрестка петергофской и гатчинской дорогъ.

*) 1879 г., августъ.

Онъ открылъ глаза. Передъ нимъ, въ сумеркахъ, перегнувшись съ коня, стоялъ безъ шапки чернобородый казакъ; другой виднѣлся вдали.

— Это ли дорога на Гатчину? спросилъ казакъ.

— Она самая.

— Спасибо, ваше благородіе...

— А ты, стой, откуда? изъ Питера?

— Такъ точно.

Мировичъ вскочилъ.

— Схоронили государя? спросилъ онъ;—схоронили?

Казакъ покосился на офицера, надѣлъ шапку, отвѣтилъ: «живъ!—хоронятъ другого» и, хлестнувъ нагайкой по коню, поскакалъ въ догонку товарища.

— Новые смутные толки, шевелится сѣрый народъ! подумалъ Мировичъ:—сектанты, темная чернь волнуется, ковы готовятъ во тьмѣ»...

Этимъ и ограничивается роль Пугачева, которому, очевидно, разовыхъ пришлось бы получить немного. Въ такомъ же родѣ обработанъ и Кондратій Селивановъ. Спрашивается: для чего же было тревожить кости обоихъ этихъ самозванцевъ? Не то чтобы они не заслуживали вниманія историка или романиста. Совсѣмъ напротивъ, какъ читатель увидитъ съ нѣкоторою подробностью изъ второй половины предлагаемыхъ замѣтокъ. Было бы чрезвычайно любопытно и поучительно, рядомъ съ блестящимъ міромъ придворныхъ интригъ и взаимнаго пожиранія золоченыхъ людей, увидѣть тотъ современный ему темный міръ нищеты и страстныхъ исканій, который выдвинулъ лже императора и лже-Бога. Но авторъ сознательно ограничилъ свою задачу сферою интригъ, изъ-за которыхъ мучатъ, а за тѣмъ и убиваютъ несчастнаго принца Іоанна Антоновича. Пугачевъ и Селивановъ являются въ романѣ только для полноты коллекціи: дескать, жили еще въ то время эти два будущіе самозванца, надо, и ихъ показать читателю, хоть бѣгомъ провести мимо него. Никакой связи между этими людьми и всѣмъ сценаріумомъ романа нѣтъ. Присутствіе ихъ ничего не прибавляетъ роману, отсутствіе ничего бы не убавило. Селивановъ съ братіей плачутъ объ «искупителѣ», то-есть Петрѣ III, но почему они видятъ въ немъ искупителя, гдѣ тѣ моменты его царствованія или его личности, которыми оправдывались бы эти горькія сѣтованія хлыстовъ и скопцовъ, этого г. Данилевскій не потрудился намѣтить даже самомалѣйшими, самыми легкими штрихами, хотя и сводитъ Селиванова лицомъ къ лицу съ Петромъ III. Повидимому, изображаемый имъ міръ интригъ представляется ему чѣмъ-то самодовлѣющимъ, въ себѣ самомъ несущимъ и источникъ, и цѣль, и весь историческій смыслъ своего существованія. Но допустимъ, что моментальное появленіе будущихъ, грознаго и тихаго, самозванцевъ устроено ради намека, что гдѣ-то тамъ, внизу, идетъ своимъ чередомъ другая жизнь, не имѣющая ничего общаго ни съ Орловыми, ни съ Мировичами. Если даже таково было намѣреніе г. Данилевскаго, то оно осталось намѣреніемъ. Да и вообще подобные намеки требуютъ большого искусства, какого, къ сожалѣнію, у г. Данилевскаго нѣтъ въ распоряженіи.

Приведенныя размышленія Пугачева у гроба Петра III могутъ служить хорошимъ образчикомъ художественной силы г. Данилевскаго. Говорятъ—поэтъ подобенъ пророку. Силою воображенія онъ опережаетъ черепашій ходъ логическихъ умозаключеній простыхъ смертныхъ и хотя можетъ и впросакъ попадать, но можетъ и угадывать, уловлять невидимое, какъ бы видимое, желаемое и ожидаемое, какъ бы настоящее. Въ этомъ есть извѣстная доля правды: воображеніе—слишкомъ большая и слишкомъ реальная сила, чтобы можно было на нее фыркать. Но дѣло въ томъ, что есть поэты и поэтики, или, такъ какъ рѣчь сейчасъ о самозванцахъ шла, настоящіе поэты и поэты-самозванцы. Послѣднимъ особенное раздолье въ историческомъ романѣ, потому что здѣсь возможны пророчества заднимъ числомъ. И поэты-самозванцы, въ видахъ оправданія своего титула, обыкновенно принимаются пророчествовать съ тою торопливою грубостью, которая характеризуетъ именно немастеровъ своего дѣла и которая такъ облегчается условіями историческаго романа. Образчикъ—размышленія Пугачева у гроба Петра III. Благодаря торопливой предупредительности г. Данилевскаго, Пугачевъ вкратцѣ развиваетъ у гроба Петра III всю картину своей дѣятельности и тутъ же, на мѣстѣ, удачно пускаетъ въ ходъ импровизированный слухъ, что хоронятъ не Петра, а простого офицера; столь удачно, что, по одному слову Пугачева, безъ всякихъ разспросовъ и сомнѣній, Мировичъ рѣшаетъ: «новые смутные толки, шевелится сѣрый народъ». Новыхъ смутныхъ толковъ еще нѣтъ, сѣрый народъ еще не шевелится, но такъ какъ все это несомнѣнно будетъ, то г. Данилевскій смѣло пророчествуетъ.

И не одно такое смѣлое предвидѣніе заднимъ числомъ можно найти въ романѣ г. Данилевскаго. Такъ, имѣя въ виду связать извѣстнымъ образомъ судьбу Поликсены Пчелкиной съ судьбой Іоанна Антоновича, г. Данилевскій заставляетъ эту дѣвицу уже въ раннемъ дѣтствѣ мечтать о роли Іоанны д'Аркъ, спасительницы несчастнаго короля. Мечты дѣвицы Пчелкиной хотя и не вполнѣ осуществляются, но все-таки приближаются къ осуществленію, что весьма натурально, ибо подлежащій спасенію принцъ самымъ

планомъ романа заранѣе заготовленъ въ лицѣ Іоанна Антоновича.

Такъ вѣдь и въ жизни бываетъ. Дѣйствительно чуткій человѣкъ можетъ, даже безсознательно комбинируя различныя наблюденія, предугадать извѣстное событіе. Но когда событіе совершилось, тогда ужъ не требуется большой чуткости, чтобы говорить: «и былъ, братцы мои, въ эту ночь кругъ вокругъ луны, и такъ у меня сердце щемило, все думаю: не къ добру» и проч.

Есть еще другой, очень нехудожественный пріемъ у г. Данилевскаго. Надо ему, напримѣръ, разсказать читателю судьбу Іоанна Антоновича, какъ она складывалась до появленія его въ видѣ дѣйствующаго лица въ романѣ. Для этого онъ подмѣняетъ читателя Мировичемъ и сего послѣдняго заставляетъ выслушивать, разиня ротъ, краткую лекцію по дворцовой исторіи, причемъ, для благовидности и нѣкотораго оживленія, лекторами назначаются двое: Ломоносовъ и старуха Бавыкина. Выходитъ всетаки, несмотря на это механическое приспособленіе, сухо, дѣлано, деревянно и менѣе всего художественно.

Какъ бы то ни было, до всего этого мало дѣла большинству читателей, ищущихъ интереснаго чтенія. Пишу эти слова безъ обычныхъ въ подобныхъ случаяхъ ковычекъ, потому что не думаю иронизировать ни надъ читателемъ, ни надъ почтеннымъ авторомъ. Не смотря на всѣ свои недостатки, романъ даетъ дѣйствительно интересное чтеніе, благодаря новизнѣ, вѣрнѣе, нетронутости сюжета, его драматическому характеру и быстро, безостановочно развивающемуся дѣйствію; благодаря, наконецъ, тому, что передъ читателемъ мелькаютъ, хотя и грубовато отдѣланныя, но добросовѣстно изученныя историческія личности. Есть, наконецъ, въ романѣ и нѣсколько, дѣйствительно, удачныхъ сценъ; это—большей частью тѣ именно сцены, въ которыхъ дѣйствующія лица ѣдятъ, пьютъ, веселятся, играютъ въ карты, кутятъ, но не тѣ, въ которыхъ изображается какой-нибудь «подъемъ духа». Вообще житейски-простое и даже плосковатое удается автору несравненно лучше, чѣмъ высокое въ какомъ бы то ни было родѣ. Въ послѣднихъ случаяхъ ему помогаетъ еще иногда драматизмъ самой фабулы, не имъ, а исторической дѣйствительностью сочиненной, но и тутъ, напримѣръ, въ сценѣ свиданія Петра III съ Іоанномъ Антоновичемъ (которая могла бы быть потрясающею въ рукахъ мастера) добродушный, простой, съ грубыми солдатскими манерами Петръ много удачнѣе, чѣмъ болѣе сложная и потому болѣе высокая фигура Іоанна Антоновича.

Жалѣть-ли объ этомъ неумѣніи автора изображать подъемъ духа? Я думаю, что жалѣть не слѣдуетъ и что эта отрицательная особенность таланта г. Данилевскаго даже значительно способствуетъ украшенію романа, то-есть, не романа вообще, конечно, а такого романа, какъ «Мировичъ». Безъ сомнѣнія, чѣмъ многостороннѣе авторскія силы, тѣмъ лучше для читателя и для литературы. Но бываютъ положенія, когда даже такіе труизмы допускаютъ исключенія.

Говорятъ, какой-то нѣмецъ написалъ цѣлую книгу, въ которой изслѣдуетъ—были-ли дѣйствительно сказаны нѣкоторыя знаменитыя изрѣченія, приписываемыя знаменитымъ людямъ. При этомъ оказывается, напримѣръ, что знаменитое предсмертное восклицаніе Гете: «свѣта! больше свѣта!», если и имѣло въ дѣйствительности мѣсто, то совсѣмъ не въ томъ тонѣ, какъ обыкновенно думаютъ. Ничего поэтическаго, возвышеннаго въ этомъ восклицаніи не было: Гете просто просилъ подвинуть къ нему свѣчку, и такъ какъ свѣчи въ то время употреблялись еще сальныя, скверныя, оплывающія, то въ цѣломъ получается не особенно поэтическій моментъ. Не знаю хорошенько, такъ-ли именно разсказываетъ нѣмецъ, но дѣло не въ этомъ частномъ примѣрѣ, а въ общей идеѣ. Отвлеченно говоря, всякая правда одинаково хороша, значитъ, хорошо узнать истину и насчетъ предсмертнаго восклицанія Гете. Но вѣдь, собственно говоря, кому же тепло и кому холодно отъ достовѣрнѣйшаго изслѣдованія того обстоятельства, что, требуя передъ смертью свѣта, больше свѣта, Гете имѣлъ въ виду скверную сальную свѣчку? Свѣчку, такъ свѣчку, скверную, такъ скверную. Изслѣдованіе это никоимъ образомъ не помѣшаетъ поклоннику поэта видѣть въ его предсмертномъ восклицаніи какъ бы нѣкоторое резюме всей его жизни. Пусть это случайность, пусть это самыя обыкновенныя, ничтожныя слова, сказанныя при обыденнѣйшей обстановкѣ, но чтущій память поэта-натуралиста вкладываетъ въ нихъ свой собственный смыслъ, идеализируетъ ихъ. И онъ правъ, больше даже правъ, чѣмъ тотъ—да простится выраженіе—тупорылый человѣкъ, который будетъ твердить свое: да вѣдь онъ, молъ, сальной свѣчки просилъ. Однако, идеализація требуетъ извѣстнаго и не малаго умѣнья: надо знать, кого можно и кого нельзя идеализировать и какъ можно, и какъ нельзя. Если я идеализирую на свой собственный страхъ и для своего собственнаго домашняго обихода, если я, напримѣръ, обыкновеннѣйшіе поступки любимой женщины или милаго моему сердцу друга вижу въ ореолѣ идеальнаго сіянія, то въ большинствѣ случаевъ подставлять, вмѣсто этого идеальнаго свѣта, сальную свѣчку,

будетъ все равно, что безцѣльно и безнужно плевать мнѣ въ сердце. Возможны, конечно, и такія положенія, когда, даже въ чисто личныхъ дѣлахъ для каждаго честнаго человѣка обязательно водрузить сальную свѣчку тамъ, гдѣ ей быть надлежитъ. Но общее правило всетаки таково, что въ сферѣ личныхъ отношеній идеализація должна быть свободна. Иное дѣло, когда рѣчь идетъ объ общественномъ дѣятелѣ или объ общественномъ положеніи. Здѣсь фальшивая, незаконная идеализація можетъ принести неисчислимый вредъ. И естественно, что вредъ этотъ будетъ тѣмъ больше, чѣмъ больше силы, таланта потрачено на идеализацію. Возьмемъ ту же смерть Гете. Представимъ себѣ, что ее взялся изобразить художникъ большой силы. Если онъ, вопреки добросовѣстнымъ изслѣдованіямъ тупорылыхъ людей, устранитъ изъ своей картины сальную свѣчку совсѣмъ и введетъ въ нее моментъ идеальнаго свѣта, онъ будетъ всетаки правъ, ибо возможно всетаки связать жизнь Гете съ установившимся, «приподнятымъ» толкованіемъ его предсмертнаго восклицанія. Это не будетъ фотографія, конечно не будетъ тотъ «протоколъ» или еще какой-то «человѣческій документъ», объ который съ такимъ забавнымъ упорствомъ стукается лбомъ Эмиль Зола, но это будетъ всетаки правдивая картина. Условно правдивая, конечно, но вѣдь откуда же бѣдному человѣчеству взять безусловную-то правду? И не перемазать ли ужъ намъ всѣ мраморныя статуи на томъ основаніи, что бѣлыхъ глазъ и волосъ въ натурѣ не бываетъ? Подставляя, вмѣсто сальной свѣчки, идеальный свѣточъ въ картину смерти Гете, художникъ вѣрно, по крайней мѣрѣ, приблизительно вѣрно рисуетъ всю жизнь поэта, и зритель отъ этого только выигрываетъ, получаетъ больше, чѣмъ можетъ дать точнѣйшій протоколъ о сальной свѣчкѣ. Но это дѣло скользкое. Можно вѣдь и ошибиться выборомъ. Можно поднять на идеальный пьедесталъ и освѣтить идеальнымъ свѣтомъ душу грязную, какъ скотный дворъ, ибо художественная сила, сила таланта стоитъ довольно независимо отъ способности различить добро и зло. Понятно, что чѣмъ сильнѣе художникъ, чѣмъ онъ способнѣе произвести на зрителя или читателя впечатлѣніе и увлечь своей идеализаціей толпу, тѣмъ онъ опаснѣе.

Г. Данилевскій не опасенъ... Отнюдь не сатирически относясь къ нравамъ и людямъ изображаемой имъ эпохи и среды и даже нерѣдко пытаясь пустить туда цѣлые снопы идеальнаго свѣта, онъ обладаетъ, однако, если можно такъ выразиться, до такой степени деревяннымъ дарованіемъ, что ничего изъ этихъ попытокъ не выходитъ. Повторяю, объ этомъ жалѣть нечего. Напротивъ, надо радоваться, что и нѣкоторая деревянность дарованія можетъ иногда оказать хоть отрицательную пользу...

Судьба Іоанна Антоновича, дѣйствительно, исключительно скорбная и фатально скорбная. Онъ ни даже самомалѣйшаго грѣха совершить не успѣлъ и страдаетъ безусловно неповинно. Онъ — «несчастнорожденный», какъ его называетъ устами Ломоносова г. Данилевскій. Мало того. Если приставленные къ нему исполнители чужихъ велѣній мучатъ и оскорбляютъ его, то высшіе представители власти относятся къ нему, какъ къ личности, съ величайшею гуманностью. Но въ то же время они вынуждаются коллизіей политическихъ обстоятельствъ къ самымъ крутымъ относительно его мѣрамъ, даже чего круче и не бываетъ. Императрица Елизавета, увидавъ его, вздрогнула, залилась слезами и, прошептавъ окружающимъ: «голубь подстрѣленный, голубь! не могу его видѣть!»—уѣхала и болѣе его не видѣла и о немъ не спрашивала... А на замыслы Фридриха освободить принца объявила: «ничего не подѣлаетъ король, сунется, велю Иванушкѣ голову отрубить». Добродушный Петръ III тоже прослезился при свиданіи съ «Иванушкой». Екатерина опять-таки съ величайшею гуманностью вспомнила объ немъ при воцареніи, и всетаки Иванушка, когда Мировичъ задумалъ свое безумное дѣло, былъ убитъ.

Эта трагическая судьба естественно привлекаетъ къ Іоанну Антоновичу сердца. Въ числѣ ихъ и Мировичъ. Что же это за человѣкъ и какими побужденіями обусловливалась его попытка произвести государственный переворотъ освобожденіемъ и возведеніемъ на тронъ Іоанна Антоновича? На этотъ вопросъ собственно и отвѣчаетъ романъ г. Данилевскаго.

Мировичъ переступаетъ порогъ романа настоящимъ героемъ. Являясь въ первой же главѣ въ качествѣ «курьера изъ завоеванной Пруссіи», онъ полонъ одной мечтою принести пользу отечеству. Вновь вступившій на престолъ императоръ Петръ III, другъ и поклонникъ Фридриха II, отзываетъ, тотчасъ же по воцареніи, побѣдоносныя русскія войска изъ Пруссіи. Мировичъ, бѣдный армейскій офицеръ, скорбитъ объ этомъ и мечтаетъ измѣнить новое направленіе русской политики. «Себя не пожалѣю, всю правду докажу, лишь бы отечеству польза». Такъ размышляетъ пылкій молодой человѣкъ. Онъ глубоко преданъ своему отечеству. «Родина, дорогая родина, мыслитъ онъ:— вотъ она, наконецъ, и я опять среди нея... Храмъ Соломона!... далеко, кажется, до него. На чемъ-то они теперь стоятъ, чего дер-

жатся? Освѣтилъ-ли ихъ хоть малость свѣтъ истинной жизни, свѣтъ разума и вышней братской любви? Или все тотъ же этотъ край хмурый, непривѣтный, запустѣлый и вѣющій холодомъ?...» Дѣло въ томъ, что горячій патріотъ Мировичъ, кромѣ того, еще масонъ. «Міръ на трехъ основахъ сотворенъ, продолжалъ гордо и какъ бы въ раздумьи Мировичъ: — на разумѣ, силѣ и красотѣ. Разумъ—для предпріятія, сила—для приведенія въ дѣйство, красота—для украшенія. Жизнь наша—храмъ Соломоновъ, и каждый камень въ немъ да кладется безъ устали и ропоту»... Вдобавокъ Мировичъ имѣетъ нѣкоторыя вольныя мысли, которымъ преданъ до такой степени, что проповѣдуетъ ихъ даже въ кабакахъ или «вольныхъ домахъ». Въ одномъ изъ этихъ домовъ, у нѣкоей Дрезденши, у него происходитъ слѣдующій любопытнѣйшій разговоръ съ товарищемъ.

«Подали пива, и опять подали. Изъ дальнихъ комнатъ доносились звуки музыки.

— Кутятъ гвардейцы, произнесъ Ушаковъ.

— Дьяволы, анаѳемы! опять, точно сорвавшись, сказалъ Мировичъ.

— Да о комъ ты это, разскажи? спросилъ, уставясь на него, Ушаковъ.

Мировичъ вздохнулъ. Въ его черныхъ, безъ блеска, сердитыхъ глазахъ начиналъ свѣтиться дикій, блуждающій огонекъ.

— Изъ-за чего такія несправедливости? Ну, изъ-за чего? произнесъ онъ, посмотрѣвъ куда-то въ воздухъ:—вѣришь-ли, фу—какая тоска!

— Какія несправедливости?

— Да, какъ же, посуди. Ну, какъ могъ человѣкъ, по контракту съ обществомъ и государствомъ, передать другимъ то, на что самъ не имѣетъ права, располагать своею свободою, совѣстью, жизнью?.

...Читалъ ты господина Руссо? читалъ его «Contrat social?» Ну, что тамъ сказано о правахъ человѣчества? Понялъ теперь: о правахъ? То-то же. И если что по правдѣ плохо у насъ, такъ это, что нашего брата, мелкую сошку, вездѣ пынче считаютъ за ничто... Собаками, какъ есть собаками .. *Ни нажиться, ни произойти въ чины*»...

Читатель, вѣроятно, пораженъ подчеркнутыми словами, ихъ неумѣстностью въ устахъ пламеннаго патріота, думающаго лишь о пользѣ отечества, масона, для котораго жизнь есть храмъ Соломона, и поклонника Руссо. Я и самъ ими съ первоначала поразился, но затѣмъ, по мѣрѣ чтенія романа, убѣдился, что не только эти слова вполнѣ умѣстны, но что имъ надлежало бы даже стоять въ видѣ эпиграфа ко всему роману г. Данилевскаго. Нѣтъ никакой надобности принимать въ серьезъ разнообразныя высокія чувства, влагаемыя авторомъ въ Мировича. Надо понимать дѣло такъ, что верховная цѣль его жизни вся исчерпывается магическими словами: «нажиться и произойти въ чины». Онъ можетъ, разумѣется, болтать и о храмѣ Соломона, и о Contrat social, какъ вообще болтали въ тѣ времена, но, заполучи онъ своевременно хорошенькій контрактъ на постройку, хоть и не храма, и хорошенькій чинъ въ придачу, эпизодъ, извѣстный подъ именемъ заговора Мировича, навѣрное не существовалъ бы. Ставъ на эту точку зрѣнія, вы увидите въ Мировичѣ настоящую центральную фигуру романа. Центральную не въ томъ только смыслѣ, что около него формируется завязка и развязка романа, а и въ смыслѣ типа своего времени и своей среды, въ смыслѣ образа, въ которомъ удачно совмѣщаются всѣ выдающіяся особенности эпохи. Онъ волнуется, шумитъ, ругается, протестуетъ противъ остального персонала романа, но онъ всетаки—его родной братъ. И вся продѣлываемая имъ грызня, и вся его дѣятельность отражаетъ въ себѣ, какъ солнце въ малой каплѣ водъ, цѣлый историческій моментъ. Г. Данилевскій настолько добросовѣстенъ, какъ историкъ, и настолько слабъ, какъ художникъ, что попытка идеализировать Мировича ему совсѣмъ не удалась, и романъ, не смотря на свою деревянность, получилъ серьезный интересъ помимо воли автора.

Г. Данилевскій пустилъ въ ходъ три пружины, чтобы довести своего героя до попытки освободить Іоанна Антоновича. Во-первыхъ, Мировичъ, выслушавъ лекцію Ломоносова и старушки Бавыкиной, проникается непосредственнымъ участіемъ къ несчастному узнику. Во-вторыхъ, онъ желаетъ угодить своей возлюбленной, Поликсенѣ Пчёлкиной, той самой, которая уже въ раннейшей молодости пророчески мечтала о роли Іоанны д'Аркъ. Въ-третьихъ, наконецъ, онъ желаетъ добиться денегъ и чиновъ и, посадивъ на престолъ Іоанна Антоновича, стать тѣмъ же, чѣмъ стали Орловы. Эти три мотива разработаны авторомъ далеко не одинаково: слабѣе всего изображенъ чистѣйшій мотивъ непосредственнаго участія, лучше отдѣланъ мотивъ любви къ Поликсенѣ и еще лучше—мотивъ честолюбія и корыстолюбія. Это вполнѣ соотвѣтствуетъ общимъ свойствамъ таланта г. Данилевскаго, которому, какъ уже сказано, низкое и пошлое удается лучше, чѣмъ высокое. Но, счастливымъ образомъ, это соотвѣтствуетъ и дѣйствительности, дѣйствительному характеру эпохи, насколько онъ могъ отразиться въ личности Мировича.

Хищническіе инстинкты проснулись въ Мировичѣ очень рано. Бѣдный потомокъ богатыхъ предковъ, имѣнія которыхъ были конфискованы, Мировичъ воспитывался въ шляхетномъ кадетскомъ корпусѣ. Здѣсь онъ влюбился въ прекрасную дѣвицу Поликсену Пчёлкину, которая, однако, шутя, но напримикъ объявила, что полюбитъ его,

Когда онъ будетъ богачомъ,
Вельможей, а не пастухомъ,—

Чтобъ не въ убогой жить намъ хатѣ,
А въ раззолоченной палатѣ.

Г. Данилевскій придаетъ этой шутливой репликѣ необыкновенное значеніе, утверждая, что подъ ея именно вліяніемъ Мировичъ сталъ задумываться о чинахъ и деньгахъ, особенно о деньгахъ. Началъ онъ играть въ карты, ему повезло. Слухъ объ его счастливой игрѣ дошелъ и до начальника корпуса, князя Езупова, страстнаго игрока, который пожелалъ сразиться съ счастливымъ кадетомъ на зеленомъ полѣ.

Я вовсе не намѣренъ передавать въ подробности содержаніе романа и упомянулъ о сраженіи Мировича съ Езуповымъ только для того, чтобы обратить вниманіе читателя на эту сцену карточной игры. Ее стоитъ выписать почти цѣликомъ, потому что, не смотря на свою эпизодичность, она принадлежитъ къ числу лучшихъ въ романѣ. Схватка стараго безсовѣстнаго вельможи съ молодымъ, но уже много обѣщающимъ, кадетомъ очень удалась г. Данилевскому сравнительно съ напыщенною скудостью образовъ и картинъ высокаго благородства.

«—Ну, сядемъ въ бирибн, сказалъ вельможный начальникъ, кладя карты на столъ:—огурчики-огурцы, пошли въ дѣло молодцы!.. такъ ли? ну-ка, сивая, пойдемъ въ походъ!.. деньги есть?

Кадетъ показалъ дукаты. Езуповъ поставилъ возлѣ себя ларецъ. Они стали играть. «Мать пресвятая, владычица казанская, помоги! думалъ Мировичъ:—что, если выиграю у него не то что сотню, а полъ-тысячи, тысячу рублевъ? Онъ богатъ, въ игрѣ, слышно, зарывается, неотходчивъ... Тогда .. о тогда Поликсена моя...»

И онъ, дѣйствительно, сталъ выигрывать. Когда стемнѣло и подали свѣчи,—серебро, а потомъ и золото изъ ларца Езупова на половину перешли въ шляпу кадета. Руки князя дрожали, брови усиленно шевелились, старческое, апоплексически-красное лицо покрылось бѣлыми пятнами. Онъ не переставалъ сыпать любимыми поговорками.

— И начала она сомнѣватися!.. и начала! возглашалъ онъ, судорожно хлопая рукой по картѣ:—ура, сивая, не отставай! окунулся по уши, валяй и по маковку туда же...

Ларецъ Езупова опустѣлъ.

— Эй, вина! венгерскаго! выпьемъ, братъ! забывшись, крикнулъ начальникъ:—что-то душно...

— Не пью-съ! пролепеталъ блѣдный, взволнованный успѣхомъ Мировичъ.

— Вздоръ, приложимся! у меня, братъ, старое...

Подали бутылки и рюмки. Князь выпилъ, налилъ и партнеру, выпилъ и еще; грузя надъ своей неудачей, распахнулъ окно въ оранжерею, а дверь заперъ на ключъ, досталъ изъ пузатаго, выложеннаго бронзой бюро горсть кораллovъ и нѣсколько ювелирныхъ вещицъ и началъ удваивать ставки.

— Ахъ, вы Сашки-канашки мои, куда дѣли подтяжки мои? шутилъ онъ, щелкая картами по столу.

Къ полночи Езуповъ выбился изъ силъ и откинулся на спинку кресла. Все вынутое было вновь проиграно. Глаза князя лихорадочно сверкали, на углахъ губъ выступила пѣна.

— Ты—магъ, будесникъ! прохрипѣлъ онъ, въ охмѣленіи глядя на кадета и срывая съ горла обшитый пуанъ-де-шпанами платокъ:—не вывезла, сивая, усомнилася!.. отстала!.. Уходи теперь, братецъ, какъ есть, будто не игралъ... иначе, прибавилъ вдругъ Езуповъ:—я тебя за карточную игру подъ судъ...

Мировичъ помертвѣлъ.

— Ваше сіятельство, князь! вы шутите? проговорилъ онъ заикаясь.

— Не шучу, не шучу... Иди по добру, по здорову. Не то я тебя, каналья, выпровожу... не чисто, знать, играешь...

— Какъ смѣете! вскрикнулъ, вскакивая, Мировичъ:—вы забылись. Такія слова природному дворянину... Мои предки не меньше вашихъ вельможами были ..

На Мировичѣ не стало лица. Руки и подбородокъ его дрожали. Онъ, какъ пьяный, шатался, стоя, черезъ столъ, въ угрожающемъ положеніи передъ княземъ. Глаза его застлало пеленой.

— Вонъ, молокососъ, вонъ! закричалъ Езуповъ, также поднимаясь съ кресла и толстыми, прыгающими пальцами загребая снова въ ларецъ лежавшія на столѣ деньги, кораллы и ювелирныя вещицы:—я тебя, сударь, только пытали! Аль не догадался? Вижу нонѣ, какова ты птица... Езупова, братъ, князя не проведешь...

Свѣтъ окончательно померкъ въ глазахъ Мировича. Онъ опрокинулъ столъ съ картами и съ виномъ, рванулся къ князю, выбилъ у него ларецъ и ухватилъ его за руки. Борьба между сильнымъ, тучнымъ старикомъ и ловкимъ, дерзкимъ юношей началась отчаянная. Огромный паркъ князя слетѣлъ подъ софу, часы были обронены въ схваткѣ и растоптаны подъ ногами, рубаха и манжеты изорваны въ клочки. Сильно досталось и кадету. Съ отхваченнымъ лацканомъ кафтана, лопнувшимъ по швамъ камзоломъ и съ развитою косой, онъ въ рукопашномъ бою нечаянно далъ выскользнуть сопѣвшему въ его объятіяхъ князю, получилъ отъ него мѣткій ударъ чѣмъ-то тяжелымъ въ голову, но половчился, опять поймалъ его за каминомъ въ углу...»

Такъ въ тѣ времена играли въ карты. Такъ и жили: страстно и нагло рвали другъ у друга куски, не брезгая никакою низостью и, для, украшенія, приправляя это безпардонное рванье храмомъ Соломона, патріотизмомъ и «господиномъ Руссо»...

Конечно, это—не первоклассная живопись. Но сравните ее, ну хоть съ картиной Пугачева, размышляющаго у гроба Петра III (которая, по сюжету, стоитъ въ романѣ совсѣмъ одиноко, но по искусству, вполнѣ для автора типична), и вы поймете, что можетъ и чего не можетъ г. Данилевскій. Поймете вмѣстѣ съ тѣмъ ту странную и нѣсколько двусмысленную тайну его романа, въ силу которой романъ этотъ украшается какъ сравнительнымъ умѣньемъ автора рисовать пошлость, такъ и совершеннымъ его неумѣніемъ идеализировать. Счастливымъ образомъ, онъ, не умѣющій идеализировать, наткнулся на сюжеты, и не подлежащіе идеализаціи. Счастливымъ образомъ, онъ порядочно рисуетъ сальную свѣчку, когда понимаетъ, что передъ нимъ сальная свѣчка, а когда ему хочется изобразить идеальный свѣтъ, у него всетаки выходитъ сальная свѣчка. Романъ,

какъ художественное произведеніе, отъ этого, разумѣется, не выигрываетъ, но за то устраняется всякая опасность, что авторъ увлечетъ читателя незаконной идеализаціей.

Мы видѣли, что Мировичъ, пріѣхавъ курьеромъ отъ Панина изъ завоеванной Пруссіи, кипитъ негодованіемъ противъ мира. Полагая счастіе и величіе отечества въ продленіи войны, онъ самоотверженно рѣшаетъ себя ие пожалѣть, а ужъ не скрыть истины, какъ онъ ее понимаетъ. Но вотъ судьба наталкиваетъ его на самого императора. Петръ III пріѣзжаетъ въ Шлиссельбургъ навѣстить Іоанна Антоновича, относительно котораго онъ имѣетъ какія-то намѣренія, никому еще неизвѣстныя. Мировичъ случайно тутъ же, въ Шлиссельбургѣ. Онъ волнуется: «Ужли, наконецъ, и мнѣ окажетъ милость мачиха-фортуна?.. Но если произойдетъ чудо, если рѣшатъ возвратить ко двору принца? Кто лучше его съумѣетъ тогда быть защитникомъ, охраной всѣхъ несчастныхъ, сирыхъ, всѣхъ одѣленныхъ судьбой? *Тогда и я подамъ прошеніе о возвратѣ дѣдовскихъ имѣній*... Ну, отчего бы теперь государю, и безъ принца, не обратить на меня вниманія?.. Нѣтъ, заключилъ Мировичъ, прячась за спины другихъ:—лучше пусть онъ, добрый, безсильный, нерѣшительный, лучше пусть и не замѣтитъ меня. *Еще, пожалуй, узнаетъ, что черезъ меня доставлены пропозиціи Панина о продленіи войны... Пронеси его мимо, злосчастная судьба*»...

Такъ-то разсыпались пылкія мечты Мировича принести пользу отечеству... Но эта внезапная трусость—еще не большая бѣда. Это, можетъ быть—простая слабость, общечеловѣческая. Но изъ дальнѣйшей исторіи Мировича съ несомнѣнною ясностью обнаруживается, что этотъ патріотъ своего отечества есть мерзавецъ своей жизни; что этотъ рыцарь несчастнаго узника и прекрасной Поликсены, этотъ масонъ и поклонникъ господина Руссо—чуть-чуть не нравственный идіотъ, незнакомый даже съ азбукой морали.

Оторванный Поликсеной отъ картъ и кутежа, Мировичъ ѣдетъ предупредить Петра III о грозящей ему опасности, о готовящемся, по слухамъ, переворотѣ. Но въ то же утро и еще до отъѣзда Мировича разыгралось «предпріятіе господина Орлова». Мировичъ встрѣтилъ на петергофской дорогѣ коляску, въ которой ѣхали Екатерина съ Бибиковымъ и съ Орловымъ на козлахъ. Не подозрѣвая, кого и куда везетъ эта коляска, онъ оказалъ таинственнымъ проѣзжимъ услугу, крикнувъ имъ, что у нихъ колесо сейчасъ свалится. Путники бросили коляску и пошли пѣшкомъ до встрѣчи съ каретой Барятинскаго, а Мировичъ поѣхалъ своей дорогой. Но Петру III Мировичъ такъ и не оказалъ услуги: Гудовичъ, которому онъ подалъ письменный доносъ, сунулъ его, не читая, въ карманъ. А время, между тѣмъ, ушло.

Казалось бы послѣ этого, пѣсенка Мировича, по отношенію къ новой императрицѣ и ея приближеннымъ, спѣта: онъ вѣдь на нихъ везъ доносъ Петру. Однако, это нисколько не мѣшаетъ Мировичу лѣзть къ Григорію Орлову съ прошеніемъ о возвращеніи дѣдовскихъ имѣній и при этомъ съ невообразимою наглостью разсказывать ему, что я, дескать, спасъ жизнь императрицѣ, крикнувъ о соскочившемъ колесѣ! Забавно, что г. Данилевскій заставляетъ его держать себя во время этого разсказа такъ: «Я былъ спасителемъ государыни въ числѣ прочихъ... я главную ей оказалъ услугу... облегчилъ ей престолъ! проговорилъ Мировичъ, окидывая *гордымъ, подавляющимъ взоромъ* Орлова». Этотъ проходимецъ еще чѣмъ-то гордится! Съ тѣмъ же разсказомъ онъ пристаетъ къ Разумовскому, подаетъ насчетъ своихъ дѣдовскихъ имѣній прошеніе за прошеніемъ, хотя въ то же самое время замышляетъ возвести на престолъ Іоанна Антоновича и такимъ образомъ повторить роль Орлова. Отказъ на прошенія окончательно утверждаетъ его въ этой мысли и—«заговоръ Мировича» готовъ.

Выходитъ любопытный образчикъ безсовѣстности и наглости: нечаянно спасъ новую царицу въ то самое время, когда желалъ погубить ее, и серьезно ставитъ себѣ это въ заслугу, требуетъ награды; подаетъ этой царицѣ слезныя прошенія и тутъ же обдумываетъ планъ государственнаго переворота! А между тѣмъ это—типъ, это—сынъ своего вѣка и своей среды, и только въ этомъ смыслѣ онъ, конечно, и заслуживаетъ вниманія... Самъ по себѣ Мировичъ — такое ничтожество, о которомъ и говорить не стоитъ. Онъ—рѣшительно то же, что, напримѣръ, придворная старушка Бавыкина, благодушная, уважаемая Ломоносовымъ и пользующаяся очевидною симпатіей автора. У этой старушки происходитъ такой, напримѣръ, разговоръ съ императрицей Елизаветой. Императрица требуетъ, чтобы она разсказала ей сказку. Старушка отвѣчаетъ: «Казни, всевластная, не въ мочь; вся душенька во мнѣ трепехчется».—«Отчего же она у тебя трепехчется»?—смѣется государыня. — «Какъ иду къ тебѣ, милостивая, будто на исповѣдь, а вышла, точно у причастія была». И припадетъ Настастья къ постели царицы, ножки, юпочку ея цѣлуетъ до утра ей тараторитъ.—«Въ чемъ счастье, Филатовна?» — «Въ силѣ, матушка государыня, въ знатности, да въ деньгахъ. По деньгамъ и молебны служатъ». — «А горе

въ чемъ?»—«Безъ денегъ, всемилостивая».—«Да ты нешто, вѣдьма, жадна?»—«Жадна, охъ, жадна, и все, пресвѣтлая, что пожалуешь, возьму, деньга—охъ! она вѣдь и попа купитъ, и Бога обманетъ»...

Благодушная старушка Бавыкина, по крайней мѣрѣ, не приплетаетъ къ своему символу вѣры ни любви къ отечеству, ни народной гордости, ни Соломонова храма, ни господина Руссо, какъ это дѣлаютъ другія дѣйствующія лица романа...

II.

Давно уже, съ конца прошлаго столѣтія, раздаются протесты противъ того типа историческихъ писаній, который исключительно и всецѣло занимается войнами, перемиріями и мирами, перемѣнами династій и тому подобными, такъ сказать, верхними пленками общественной жизни. Протесты не прошли безслѣдно. Если исторія и до сихъ поръ нерѣдко трактуется на старый ладъ, то всетаки очевидны значительные въ этомъ отношеніи успѣхи. Мы видимъ, дѣйствительно, что историки стараются слѣдить и за экономическими условіями, и за литературой, и за характеромъ религіозныхъ воззрѣній, и за нравами изслѣдуемаго періода, и за многимъ другимъ, о чемъ въ старые годы не говорилось или почти не говорилось. Дѣло подвинулось настолько, что сталъ возможенъ сравнительно-историческій методъ въ приложеніи къ соціологическимъ вопросамъ, всестороннее изученіе общественныхъ явленій на исторической почвѣ. Но потому ли, что дѣло это всетаки еще вновѣ, или по другимъ какимъ причинамъ, есть не мало въ высшей степени любопытныхъ явленій, можно сказать дѣвственныхъ, почти нетронутыхъ историками и соціологами. И по странной, хотя довольно понятной, случайности, наименѣе изучаются тѣ явленія, которыя захватываютъ наибольшее число людей и интересовъ. Это объясняется, конечно, прежде всего общественнымъ положеніемъ самихъ изслѣдователей. Какъ въ старые годы историка занимали дѣянія властей и, главнымъ образомъ, военныхъ властей, на службѣ которыхъ онъ непосредственно состоялъ, такъ нынѣшній историкъ сосредоточиваетъ свое вниманіе преимущественно на дѣяніяхъ и интересахъ интеллигентнаго меньшинства, плоть отъ плоти котораго онъ самъ составляетъ. Масса народа, громадное большинство сѣраго, труждающагося и обремененнаго люда, силою врываясь на арену исторіи, заставляетъ, правда, иногда о себѣ говорить, но изъ этого разговора выходитъ въ большинствѣ случаевъ или холодный, чисто формальный рапортъ, или вопль ужаса въ виду грубости и звѣрства сѣрой массы, или, наконецъ, словесное воспроизведеніе тѣхъ лубочныхъ картинокъ, на которыхъ подъ огромными ногами огромной лошади огромнаго генерала проходятъ ряды маленькихъ солдатиковъ. Есть, безъ сомнѣнія, и очень цѣнныя изслѣдованія жизни сѣрыхъ массъ, но если количество ихъ сравнить съ числомъ хорошихъ работъ по исторіи различныхъ моментовъ жизни интеллигентнаго меньшинства, такъ это будетъ капля въ морѣ. Это натурально, но фактъ всетаки тотъ, что вещи, которыми живутъ тысячи, находятъ себѣ гораздо больше и гораздо болѣе тщательныхъ изслѣдователей, чѣмъ вещи, которыми живутъ тьмы. Понятно, напримѣръ, что большинство историковъ склонно разсматривать въ микроскопъ какихъ-нибудь крохотныхъ коровокъ, букашекъ, мушекъ, таракашекъ, подвизающихся на поприщѣ письменной литературы, съ восторгомъ говорить объ нихъ: «одни какъ изумрудъ, другіе какъ кораллъ»—и въ то же время не замѣтить слона въ устномъ народномъ творчествѣ. За послѣднее время, съ возникновеніемъ такъ называемой сравнительной исторіи культуры, дѣло какъ будто значительно измѣнилось въ смыслѣ болѣе справедливаго распредѣленія историческаго вниманія. Оно и, дѣйствительно, измѣнилось. Но не слѣдуетъ преувеличивать значеніе этого, безъ сомнѣнія серьезнаго и почтеннаго, движенія въ новѣйшей наукѣ. Историкъ, напримѣръ, старинныхъ, отжившихъ въ большинствѣ цивилизованныхъ обществъ формъ землевладѣнія поневолѣ обращаетъ свой взоръ на ту многоголовную массу, въ которой тѣ формы еще сохранились вполнѣ или отчасти; но при этомъ онъ любопытствуетъ главнымъ образомъ знать: какимъ образомъ изъ поземельной общины выросла строго обрамленная частная собственность? Точно также историкъ умственнаго развитія интересуется первобытными формами мышленія и пониманія природы въ тѣхъ видахъ, чтобы объяснить себѣ свою собственную исторію, свою собственную и своихъ кровныхъ и близкихъ. Историкъ нравственности или политическихъ учрежденій, погружаясь въ глубь временъ и притягивая сюда по аналогіи факты изъ жизни низшихъ классовъ на ряду съ фактами изъ жизни дикарей, занятъ опять-таки только эмбріологіей интеллигентнаго меньшинства. Любое сочиненіе по исторіи культуры самою своею конструкціей показываетъ, что такова именно его цѣль, таковъ основной мотивъ изслѣдователя. Могутъ замѣтить, что психическій мотивъ изслѣдователя въ данномъ случаѣ не имѣетъ ровно никакого значенія и что разъ историкъ, углубляясь въ свою собственную

эмбріологію, тѣмъ самымъ вынуждается изучать жизнь милліоновъ, дотолѣ остававшихся внѣ изученія, то болѣе справедливое распредѣленіе историческаго вниманія во всякомъ случаѣ осуществляется само собой. Но это замѣчаніе вѣрно только отчасти. Ни одинъ благоразумный человѣкъ не станетъ отрицать плодотворное значеніе, переживаемаго нынѣ наукой, поворота къ изученію собственно народной жизни, жизни громаднаго большинства общества. Этотъ поворотъ будетъ засчитанъ современной наукѣ; онъ уже многое далъ и, безъ сомнѣнія, еще большее дастъ. Но это солнце не безъ пятенъ.

Психическій мотивъ изслѣдователя—совсѣмъ не такая уже безразличная для хода и результатовъ изслѣдованія вещь, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. И въ настоящемъ случаѣ, если какой-нибудь Тайлоръ, Лёббокъ или любой другой историкъ культуры изучаетъ народную жизнь въ видахъ собственной эмбріологіи, то-есть преимущественно для того, чтобы объяснить себѣ, какимъ образомъ изъ первобытнаго человѣка (современнаго дикаря, мужика и собственно древняго человѣка) выработался именно онъ, Тайлоръ или Леббокъ, то это можетъ оказать весьма неблагопріятное вліяніе на его работу. Это неблагопріятное вліяніе можетъ быть двоякое: философское и чисто фактическое. Съ философской стороны изслѣдователю грозитъ фатализмъ и доктринерская прямолинейность. Оглядываясь назадъ, проводя отъ себя до первобытнаго человѣка извѣстную линію, которую выражается исторія его собственнаго развитія (точнѣе и общѣе, развитія интеллигентнаго меньшинства), изслѣдователь естественно склоняется думать, что таковъ единственный и наилучшій путь, обязательный, слѣдовательно, и для нынѣ живущаго первобытнаго человѣка, то-есть для дикаря, и для народа въ тѣсномъ смыслѣ слова. Когда такой взглядъ высказывается открыто и поддерживается какими-нибудь доказательствами, тогда опасность не очень велика или, по крайней мѣрѣ, можетъ быть предотвращена критикой. Но дѣло въ томъ, что въ большинствѣ случаевъ эта вѣра въ единый спасающій или даже единый возможный путь развитія остается невысказанною и даже несознанною. Она спасается поэтому отъ критики, но за то не поддерживается логическими доказательствами. И понятно, что еслибы она была даже вполнѣ основательна, такъ безсознательность ея, смутность, непродуманность должны всетаки невыгодно отразиться на работѣ историка. Съ фактической стороны, изученіе народной жизни, въ качествѣ эмбріологіи интеллигентнаго меньшинства, точно также должно ложиться темными пятнами на работу историка. Признавая за единый спасающій и единый возможный путь развитія ту линію, которую онъ ведетъ отъ себя до первобытнаго человѣка, историкъ естественно удѣляетъ сравнительно ничтожную долю вниманія тѣмъ моментамъ народной жизни, которые не лежатъ на этой линіи, уклоняются отъ нея. Можно даже съ большею опредѣленностью указать, какія именно историческія явленія, вслѣдствіе этого обстоятельства, должны выкидываться и, дѣйствительно, выкидываются за бортъ науки, плохо изучаются или даже вовсе не изучаются. Но прежде, чѣмъ перейти къ нимъ, остановимся на одномъ любопытномъ конкретномъ примѣрѣ замѣчательной исторической работы, впадающей въ обѣ помянутыя ошибки, то-есть и въ философскую, и въ фактическую. Я разумѣю историческую теорію Лассаля.

Теорія эта слишкомъ извѣстна, чтобы стоило припоминать ее въ подробности. Для нашей цѣли достаточно вспомнить отношенія Лассаля къ крестьянскимъ войнамъ шестнадцатаго вѣка. Онъ признавалъ это крестьянское движеніе реакціоннымъ, такъ какъ, дескать, оно имѣло въ виду только послѣдовательнѣйшее и строжайшее проведеніе общаго принципа тогдашней эпохи, эпохи, уже приходившей къ концу вмѣстѣ съ этимъ своимъ принципомъ; движеніе клонилось къ послѣдовательному, чистѣйшему и строжайшему проведенію того принципа, что землевладѣніе должно быть господствующимъ началомъ и условіемъ, которое одно даетъ каждому человѣку право участвовать въ государственной власти. Не только крестьянамъ не приходило въ голову заявлять свои требованія просто отъ имени человѣка, разумнаго существа, но они не замѣчали и того, что уже народился и тихо, медленно, безъ всякихъ бурныхъ взрывовъ, но прочно развивался новый, въ то время, дѣйствительно, прогрессивный общественный принципъ—принципъ капитала. Въ немъ именно лежалъ залогъ дальнѣйшаго историческаго развитія, а крестьяне тянули колесницу исторіи назадъ или, по крайней мѣрѣ, въ сторону рѣшительно отживавшаго принципа землевладѣнія.

Очевидно происхожденіе этой части теоріи Лассаля, очевидна и ея фальшивость. Проводя прямую линію отъ своихъ собственныхъ воззрѣній назадъ къ среднимъ вѣкамъ, авторъ видитъ, что эти его воззрѣнія пришли на смѣну воззрѣніямъ буржуазнымъ, изъ которыхъ и выработались, какъ тѣ въ свою очередь выработались изъ средневѣковыхъ идей, которыя были ими затеры. Уловивъ этотъ стройный логическій порядокъ, авторъ

склоняется къ мысли, что таковъ единственный и наилучшій путь развитія, и что, слѣдовательно, все, отклоняющееся отъ этого пути, во-первыхъ, фатально обречено на погибель, а во-вторыхъ, и не заслуживаетъ большого вниманія, какъ нѣчто случайное, какъ мелкая помѣха правильному теченію дѣлъ. Послѣдняго онъ не говоритъ, конечно, не говоритъ, чтобы опальное историческое явленіе не заслуживало вниманія, но онъ дѣлаетъ больше, просто и прямо не обращаетъ вниманія. Посмотрите, съ какою точностью и обстоятельностью, хотя очень кратко, обрисованы въ упомянутой теоріи явленія, лежащія на большой дорогѣ прогресса, и какъ сравнительно пренебрежительно отдѣлывается она нѣсколькими словами отъ крестьянскаго движенія XVI вѣка. Она просто сбрасываетъ его въ сторону, какъ сбрасываетъ локомотивъ ничтожное препятствіе, положенное на прямолинейно-вытянувшіеся рельсы желѣзной дороги. Пренебреженія въ самомъ дѣлѣ такъ много, что даже фактическая сторона дѣла изображена совсѣмъ не вѣрно. Не вѣрно, напримѣръ, чтобы крестьянамъ не приходило въ голову предъявлять свои требованія прямо отъ имени человѣка. Напротивъ, эта мысль получила даже въ пѣснѣ народной очень рѣзкое выраженіе. Такъ, французскіе крестьяне пѣли: «nous sommes hommes comme eux», а у нѣмецкихъ и англійскихъ была въ ходу пѣсня съ замысловатымъ напоминаніемъ объ Адамѣ и Евѣ. Не вѣрно, чтобы въ области экономической и политической крестьянское движеніе имѣло своимъ девизомъ землевладѣніе, «какъ таковое»—оно имѣло въ виду интересы не землевладѣнія, а земледѣльческаго труда, а кромѣ того, имъ отстаивалась религіозная свобода въ гораздо большей степени, чѣмъ Лютеромъ, съ котораго принято считать, съ котораго и Лассаль считаетъ новый, буржуазный періодъ исторіи. Безъ сомнѣнія, въ крестьянскомъ движеніи было много темнаго, грубаго, невыработаннаго, много, наконецъ, такого, что прямо противорѣчило основнымъ принципамъ движенія. Но были-ли свободны отъ этихъ недостатковъ другія, современныя крестьянскому движенію, явленія и хотя бы, напримѣръ, тѣ самые роды принципа капитала, который Лассаль признаетъ для своего времени прогрессивнымъ? Достаточно вспомнить, что эти роды совершились при помощи гильдіи и цеха, въ которыхъ темнаго, грубаго и самопротиворѣчащаго было, конечно, не меньше, чѣмъ въ крестьянскихъ движеніяхъ. Но дѣло въ томъ, что роды капиталы можно, при помощи ряда положительныхъ и отрицательныхъ звеньевъ, привести въ преемственную историческую связь съ идеями Лассаля. а относительно крестьянскаго движенія XVI вѣка этого сдѣлать нельзя. Не смотря на свой страшный, кровавый характеръ, оно не дало долговѣчныхъ видимыхъ плодовъ и не изъ него росла дальнѣйшая исторія. Оно представляетъ какъ бы островъ, оторванный отъ материка исторіи, или полузаросшую травой проселочную дорогу, круто сворачивающую съ торнаго пути, которая давно заброшена, въ концѣ которой нѣтъ жилого мѣста и былое значеніе которой только слабо сохранилось въ народной памяти.

Но значитъ ли это, что подобныя историческія явленія и въ самомъ дѣлѣ не заслуживаютъ большаго вниманія? Отнюдь не значитъ. Правда, вопросъ этотъ невольно приходитъ въ голову, но единственно потому, что мы уже очень привыкли смотрѣть на исторію, какъ на свою собственную эмбріологію. Какъ! картина безчисленныхъ кровавыхъ жертвъ, убійствъ, всяческихъ ужасовъ, картина жестокаго мщенія за жестокое поруганіе, картина безпомощной массы, съ величайшимъ напряженіемъ вырабатывающей и отстаивающей свой религіозный, нравственный и общественный идеалъ—эта картина не заслуживаетъ вниманія только потому, что ей нѣтъ мѣста въ нашей фамильной картинной галереѣ? Это было бы безумiемъ гордости, еслибы не было результатомъ недоразумѣнія. Но и наша собственная эмбріологія будетъ далеко не полна, если мы будемъ обходить подобныя, на первый взглядъ, «беззаконныя кометы среди расчисленныхъ свѣтилъ». Изученіе ихъ необходимо, изученіе самое тщательное, хотя бы уже потому, что любопытно же, въ самомъ дѣлѣ, знать, почему, напримѣръ, въ XVI вѣкѣ сотни тысячъ крестьянъ такъ упорно отказывались стать въ ряды нашихъ духовныхъ предковъ, ступить на тотъ историческій путь, который, по Лассалю или по кому другому, разстилался передъ нами такою ровною скатертью?

Историческая теорія Лассаля, не смотря на свое остроуміе, логическую стройность и вѣрность многихъ частныхъ замѣчаній, очень типична въ отношеніи этого презрѣнія къ историческимъ явленіямъ, которыя не могутъ быть приведены въ непрерывную преемственную связь съ нашимъ собственнымъ духовнымъ содержаніемъ. Типична и эта небрежная фактическая обработка опальнаго явленія, типична и эта безповоротная рѣшительность приговора: крестьянская война была явленіемъ реакціоннымъ, и именно потому реакціоннымъ, что она пыталась свернуть исторію съ той дороги, которая фактически соединяетъ средніе вѣка съ XIX вѣкомъ. Типично, наконецъ, и то, что

опалѣ подверглось именно крестьянское движеніе.

Нетрудно, въ самомъ дѣлѣ, видѣть, что именно большія народныя движенія, и главнымъ образомъ крестьянскія, должны подвергаться и, дѣйствительно, подвергаются опалѣ историческаго невниманія. Разумѣется, это—дѣло относительное. Разнаго рода историческіе трактаты въ общемъ связномъ разсказѣ не могутъ совершенно миновать упомянутыя явленія. Не мало, пожалуй, есть и отдѣльныхъ монографій, имъ посвященныхъ. Но сравнительно, повторяю, все это—капля въ морѣ. А, кромѣ того, есть два способа обработки историческаго матерьяла, которыми почти никогда не затрогиваются народныя движенія, и это чрезвычайно характерно въ виду нѣкоторыхъ особенностей тѣхъ двухъ способовъ—разумѣю философско-историческія построенія и историческую беллетристику.

Что бы мы ни понимали подъ философіей исторіи—группировку-ли матерьяла въ частные соціологическіе законы, какъ это дѣлаетъ Бокль, или формулировку немногихъ общихъ гигантскихъ шаговъ человѣчества, какъ это пытались дѣлать, напримѣръ, Гегель, Контъ и многіе другіе — несомнѣнно одно: народныя движенія игнорируются всѣми наличными опытами философіи исторіи. Это—фактъ, въ вѣрности котораго каждый самъ можетъ убѣдиться. И надъ нимъ стоитъ призадуматься. Онъ показываетъ, что до сихъ поръ не найдена такая высшая и общая точка зрѣнія, съ которой были бы замѣтны нити причинъ и слѣдствій, связывающія опальныя явленія съ общимъ ходомъ исторіи. Не найдена, конечно, только потому, что ее безъ особеннаго упорства искали, хотя философія исторіи, казалось бы, самою своею задачею и самымъ титуломъ своимъ обязывается принимать въ соображеніе всю совокупность историческихъ фактовъ. Это характерно. Еще характернѣе отношеніе исторической беллетристики къ занимающимъ насъ явленіямъ. Дѣло въ томъ, что изо всѣхъ способовъ обработки историческаго матерьяла историческая беллетристика, по необходимости, отличается наибольшею чуткостью къ тому, что можетъ интересовать читателя. Она вѣдь имѣетъ дѣло не съ горстью спеціалистовъ, предъявляющихъ свои особенныя, справедливыя или несправедливыя требованія, даже не съ тою публикою, которая ищетъ популяризованнаго знанія, а съ громаднымъ большинствомъ читающаго люда, Драматическій, духъ захватывающій интересъ—вотъ, казалось бы, главное, что нужно этому люду, а этого добра народныя движенія, какъ литературный сюжетъ, даютъ, конечно, вволю. И все-таки беллетристическая эксплоатація этого сюжета составляетъ, сравнительно говоря, рѣдкость. Это зависитъ, конечно, оттого, что беллетристы чуютъ, что драматизмъ этого сюжета совсѣмъ чужой для большинства читателей, какъ и для нихъ самихъ, впрочемъ, для беллетристовъ. Такимъ образомъ, оба полюса обработки историческаго матерьяла—философія исторіи, вѣдающая черты наиболѣе общія, и историческая беллетристика, имѣющая дѣло съ яркими, конкретными образами — обходятъ народныя движенія. Это—и результатъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, очень наглядный симптомъ общей холодности къ предмету.

Тѣмъ пріятнѣе остановиться на художественномъ произведеніи талантливаго поэта на тему, непосредственно связанную съ тѣми самыми крестьянскими войнами XVI вѣка, которыя такъ презрительно третируются Лассалемъ. Это—«Король Сіона» или «Пророкъ», поэма въ десяти пѣсняхъ Гамерлинга, печатающаяся въ переводѣ г. Миллера въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Мы торопимся обратить на нее вниманіе читателей, не дожидаясь ея окончанія. Мы не знаемъ, какъ называется поэма въ оригиналѣ, вѣроятно «Царь Сіона» или «Царь новаго Сіона», потому что таковъ былъ въ дѣйствительности пышный титулъ, принятый Яномъ Бокельсономъ, болѣе извѣстнымъ подъ именемъ Іоганна Лейденскаго. Переводчикъ назвалъ поэму «Король Сіона», а редакція «Русскаго Вѣстника» замѣнила потомъ это названіе заглавіемъ «Пророкъ». Мотивируется это желаніемъ «избѣгнуть библейскаго выраженія Царь Сіона». Желаніе довольно странное, такъ какъ здѣсь важно и характерно именно заимствованіе Бокельсономъ титула изъ библіи. И не мало художественнаго варварства обнаруживается въ щепетильности почтенной редакціи. Но это—дѣло, конечно, не важное.

Трудно найти сюжетъ, болѣе благодарный для художника, чѣмъ это, блестящее, какъ метеоръ, и, какъ метеоръ, мимолетное царствованіе бывшаго бродячаго актера. Гнуснѣйшіе и чистѣйшіе инстинкты человѣка, величавая, золотомъ облитая фигура пророка и толпы восторженнаго народа, блестящая, театральная обстановка и страшный конецъ Бокельсона, борьба различныхъ партій и звонъ оружія, и шумъ, толпы на улицахъ и площадяхъ Мюнстера, красавица Девора, суровый Матисонъ,—чего хочешь, того просишь. Но сюжетъ богатъ не только этою внѣшнею роскошью красокъ и звуковъ, которая можетъ подкупить и дюжиннаго художника. Художникъ-мыслитель найдетъ въ немъ, кромѣ того, почти не тронутую, истинно золотоносную жилу психологіи массовыхъ

движеній, въ общихъ чертахъ всегда и вездѣ схожихъ. Намъ хотѣлось бы предложить читателю взглянуть на поэму Гамерлинга именно съ этой точки зрѣнія. Но прежде надо установить нѣкоторыя общія черты психологіи народныхъ движеній, отчасти уже указанныя нами въ кое-какихъ прежнихъ статьяхъ, отчасти непосредственно изъ тѣхъ указаній вытекающія. Конечно, мы будемъ очень кратки.

Поступательный ходъ цивилизаціи постоянно будитъ новыя потребности въ людяхъ, но не всегда и не всѣмъ разбуженнымъ даетъ средства удовлетворенія. Бываютъ такіе историческіе моменты, когда эта неудовлетвореннность достигаетъ крайняго напряженія. Тогда возникаютъ два, повидимому, противоположныя, но несомнѣнно изъ одного источника вытекающія и весьма часто сливающіяся движенія: формируются вольница и подвижники. Вольница стремится во что бы то ни стало, не останавливаясь ни передъ какими крайними средствами, добыть себѣ удовлетвореніе всѣхъ потребностей. Подвижники, напротивъ, опять-таки во что бы то ни стало, стремятся заглушить свои потребности и довести ихъ до minimum'a. Не смотря на кажущуюся противоположность, эти два теченія вполнѣ родственны. Они всегда возникаютъ единовременно, рекрутируютъ свой персоналъ изъ однихъ и тѣхъ же слоевъ общества, имѣютъ однихъ и тѣхъ же враговъ и легко переходятъ другъ въ друга.

Имѣя подъ руками достаточный и достаточно разнообразный матерьялъ, не трудно вывести этотъ историческій законъ образованія вольницы и подвижниковъ, не трудно указать, при какихъ обстоятельствахъ они должны неизбѣжно возникнуть. Но это отнюдь не значитъ, что имъ самимъ не трудно возникнуть. Напротивъ, роды ихъ крайне трудны. Огромныя умственныя усилія тратятся всякій разъ на образованіе этихъ противоположныхъ идеаловъ, хотя они постоянно повторяются въ исторіи. Эта затрата велика не только потому, что напрягается мозгъ темныхъ, непривычныхъ къ отвлеченному мышленію людей, но и потому еще, что большія массовыя движенія не знаютъ раздѣленія идеаловъ на индивидуальные и общественные. Личная нравственность и общественный идеалъ сопрягаются для нихъ неразрывно и требуютъ единовременной выработки.

Понятно, что эта задача и сама по себѣ не легкая, а потому здѣсь возможны весьма разнообразныя и весьма печальныя заблужденія. Возможны, конечно, даже несомнѣнныя мерзости и ловленіе рыбы въ мутной водѣ. Но рядомъ съ ними имѣютъ мѣсто и чистѣйшія заблужденія, то-есть, такія, на которыя способны только чистѣйшіе люди, иногда лучшіе люди своего времени, но поставленные въ неблагопріятныя условія. Большія массовыя движенія легко осложняются сектантствомъ, а секта, какъ нѣчто замкнутое въ себѣ, нетершимое и, въ добавокъ еще, часто преслѣдуемое и потому вынужденное скрываться, трудно провѣтривается со стороны. Голосъ критики или не проникаетъ въ нее, или исходитъ изъ такихъ источниковъ, которые въ глазахъ секты не имѣютъ ни малѣйшаго авторитета. Такимъ образомъ, тяжелая работа выясненія идеаловъ личной нравственности и общественнаго благоустройства производится въ совершенной темнотѣ, въ застоявшемся, спертомъ воздухѣ.

Кромѣ разнаго рода заблужденій, почти неизбѣжныхъ при такомъ порядкѣ вещей, окружающая темнота способствуетъ еще возвышенію царьковъ и божковъ, вообще людей, пользующихся диктаторскимъ значеніемъ. Масса, утомленная непосильной духовной работой, жаждетъ вождя, облеченнаго не то что диктаторской, а даже божественной силой. И такой вождь является, во исполиненіе всеобщихъ ожиданій. Большею частью онъ прикрывается какимъ-нибудь и почему-нибудь авторитетнымъ именемъ, каковы лже-миссіи и самозванцы, иногда сами вѣрящіе въ свою миссію, иногда сознательно играющіе роль.

Къ тому же результату ведетъ склонность всякой массы къ подражанію. Нѣтъ надобности, чтобы всѣ вовлеченные въ широкое движеніе на себѣ лично испытали во всемъ объемѣ его коренный мотивъ, то-есть ту неудовлетворенность потребностей, которая разрѣшается требованіемъ *всего* у вольницы и отреченіемъ отъ *всего* у подвижниковъ. Достаточно, чтобы на тотъ или другой изъ этихъ путей энергически вступила выдающаяся личность, и ея примѣръ заразитъ многихъ.

Вотъ очень бѣгло, очень схематически намѣченныя рамки, которыя намъ предстоитъ теперь наполнить плотью и кровью конкретныхъ историческихъ явленій. Намъ поможетъ поэма Гамерлинга.

Извѣстно, что реформація не только не улучшила невыносимаго матерьяльнаго положенія нѣмецкихъ крестьянъ, но еще ухудшила его. Но за то она дала народу библію. А библія не только разбудила духовную жажду, но и навела мысль на разныя сближенія современнаго порядка вещей съ пламенными рѣчами библейскихъ пророковъ. Изъ всего этого произошли цвиккаускіе пророки, лже-мессіи, крестьянская война, секта перекрещенцевъ, анабаптистовъ. Въ трид-

цатыхъ годахъ XVI столѣтія на сцену выступаетъ фанатикъ-перекрещенецъ Матисонъ, гарлемскій булочникъ. Центромъ его дѣятельности сталъ скоро Мюнстеръ, гдѣ, по прошествіи нѣкотораго времени, объявился и «Царь Сіона», гдѣ, слѣдовательно, разыгрывается и поэма Гамерлинга.

Будущій царь Сіона появляется въ поэмѣ очень эффектно. Труппа бродячихъ акробатовъ и актеровъ расположилась, по дорогѣ къ Мюнстеру, бивуакомъ въ лѣсу. Начальникъ веселой банды Ванъ-Штратенъ, перекликая труппу, не находитъ одного изъ своихъ товарищей—Яна.

«Гдѣ же ты, Янъ? отзовись!» Такъ онъ крикнулъ въ кусты, и оттуда
Вышелъ задумчивый юноша, статный и черно-
кудрявый,
Мощный огонь его глазъ и осанка внушаютъ
почтенье;
Странно одѣтъ онъ: короткій пурпуровый плащъ
покрываетъ
Плечи его, а корона изъ фольги златой — его
кудри.
«Ну, вотъ, не правъ-ли я былъ? засмѣявшись,
сказалъ хромоногій:—
Вотъ онъ въ плащѣ и коронѣ, чтобъ лучше предъ
ставить деревьямъ
Ликъ псалмопѣвца царя, который убилъ Голіаѳа.
Экій ты, Янъ, чудодѣй. Но я право готовъ по-
божиться,
Что украшеньемъ и честію труппы ты въ Мюн-
стерѣ будешь.
Ну, такъ броди себѣ по лѣсу, царь нашъ, гуляй
на здоровье.
Только смотри, не зѣвай, не замедли явиться
къ жаркому,
Иначе ты при коронѣ и мантіи ляжешь го-
лодный,
Что для тебя, государь, не очень-то будетъ по-
лезно:
Вѣдь посмотри на себя—ты и блѣденъ, и худъ,
какъ портняга!»
Такъ Липсъ Ванъ-Штратенъ сказалъ; но юноша
вмѣсто отвѣта
Только слегка усмѣхнулся, и всѣ на него съ
удивленьемъ
Взоры свои устремили, какъ будто волшебная
сила
Ихъ привлекаетъ къ нему. Въ глазахъ его что-
то сверкаетъ,
Что ихъ чаруетъ сердца. Суровъ его взглядъ, но
улыбка
Нѣжною прелестью дышетъ; въ чертахъ его
сила и кротость.
Юнъ онъ лѣтами; но если вглядишься въ лицо
молодое,
Тотчасъ увидишь, что онъ далеко не по лѣтамъ
разуменъ.
Съ перваго взгляда онъ кажется только мечта-
телемъ страннымъ;
Но если глубже вглядишься въ глаза его, пол-
ные думы,
То увидишь въ нихъ силу могучую воли—такую,
Что содрогнешься невольно. Всѣ любятъ его и
боятся.
Онъ удалился безмолвно, и вѣтви кустовъ его
скрыли.

Въ лѣсу Янъ встрѣчаетъ сначала жену Матисона, красавицу Девору, а потомъ и самого пророка, который идетъ въ Мюнстеръ вводить новые порядки. При этомъ фольговая корона Яна даетъ поводъ къ разнымъ двусмысленностямъ, пророчествамъ, намекающимъ, что этотъ балаганный царь скоро станетъ настоящимъ царемъ. Тутъ же, въ лѣсу, Янъ принимаетъ отъ Матисона крещеніе и выкладываетъ ему свою душу:

«Ярко, о старецъ, ты будущность мнѣ освѣтилъ
передъ взоромъ.
Самъ я давно замѣчалъ, что люди объяты
какимъ-то
Новымъ стремленьемъ, но думалъ, что это лишь
говоръ ничтожный.
Въ душу мнѣ пламенъ ты бросилъ! Ужели воз-
можно устроить
Царство любви благодатной, и вѣчнаго счастья,
и правды?
Видишь, я странно устроенъ: съ какимъ-то дво-
якимъ стремленьемъ
Въ сердцѣ живу я; одно меня къ высшему, къ
чистому тянетъ;
Тутъ же другое влечетъ меня къ счастью и
радостямъ жизни.
Но никогда никакимъ наслажденьемъ я не былъ
доволенъ,
Если оно не могло возвысить и духъ мой, и
сердце.
Такъ оставался я чистымъ и гордымъ, гнушаясь
порокомъ;
Былъ я мечтателемъ въ дѣтствѣ, такимъ я и
нынѣ остался!»

И т. д. Янъ разсказываетъ о своихъ грезахъ, въ которыхъ главную роль играютъ короны, пурпурныя платья, дворцы, колоннады, о своихъ путешествіяхъ, которыя онъ предпринималъ, чтобы самолично видѣть всякую красоту и пышность, наконецъ, о своей теперешней роли фигляра, объ удовольствіи—«въ риѳмахъ, въ стихахъ вдохновенныхъ собственный міръ создавать». Словомъ, передъ нами сразу обрисовывается художественная натура, предназначенная играть крупную роль, благодаря ея какой-то внутренней, всѣми безъ спора признаваемой, таинственной силѣ.

Нельзя требовать, чтобы историкъ-беллетристъ ни на шагъ не отступалъ отъ фактической правды событія. Въ подробностяхъ ему долженъ быть предоставленъ довольно широкій произволъ. Но произволъ этотъ имѣетъ свои границы, и Гамерлингъ едва-ли не вышелъ изъ нихъ. Не важно, что онъ заставляетъ Яна Бокельсона знакомиться съ Матисономъ подъ стѣнами Мюнстера, передъ окончательнымъ его тамъ водвореніемъ, тогда какъ исторически знакомство это завязалось гораздо раньше. Янъ былъ въ Мюнстерѣ уже апостоломъ Матисона. Но эта маленькая перетасовка не наноситъ, собственно говоря, никакого ущерба истинѣ, потому что это — мелочь, которою безъ сомнѣнія можно пожертвовать ради достиженія художественнаго эффекта. Иное дѣло — обрисовка характера Яна, а въ ней Гамерлингъ, кажется, далеко не вѣренъ

исторіи. Величавый красавецъ Янъ, дѣйствительно, производилъ сильное впечатлѣніе на окружающихъ. Онъ былъ, дѣйствительно, художественная натура. страстно любившая блескъ, красоту и пышность. Но, насколько можно судить по его дѣятельности, ему были совершенно чужды фаустовская раздвоенность души и мечтательное стремленіе dahin, впередъ, въ будущее, къ какому-то таинственному, неясно очерченному образу совершенства.

Недаромъ Ванъ-Штратенъ говоритъ, что Янъ худъ и блѣденъ, «какъ портняга». Это намекъ на первоначальную профессію Бокельсона. Отецъ его отдалъ въ ученье къ портному. Но Янъ скоро бросилъ это дѣло и пустился въ тѣ шатанія по бѣлому свѣту, о которыхъ онъ разсказываетъ Матисону. Затѣмъ, мы его застаемъ въ Лейденѣ, хозяиномъ не то кабака, не то трактира, подъ весьма прозаическою вывѣскою «Трехъ селедокъ», гдѣ онъ, вмѣстѣ съ женой, давалъ театральныя представленія иногда собственнаго сочиненія. Тутъ у него останавливался Матисонъ и крестилъ его и назначилъ пророкомъ. По всей вѣроятности, суровый, глубоко искренній и краснорѣчивый Матисонъ, дѣйствительно, «бросилъ пламя» въ душу молодого трактирщика—поэта-актера. Но едва-ли когда-нибудь ученикъ вполнѣ сочувствовалъ учителю, и едва-ли учитель понималъ своего ученика. Мы сейчасъ увидимъ, что и Гамерлингъ заставляетъ ихъ потомъ рѣзко разойтись, и это—одинъ изъ любопытнѣйшихъ моментовъ поэмы; но дѣло въ томъ, что они, по всей вѣроятности, никогда не сходились вплотную: если учитель вполнѣ вѣрилъ ученику, то ученикъ всегда наполовину обманывалъ учителя, хотя, можетъ быть, обманывалъ при этомъ и самого себя. Съ художественными, а тѣмъ болѣе съ спеціально актерскими натурами это бываетъ часто. Матисонъ клалъ всю свою душу въ будущее, въ осуществленіе царства Божія, царства правды и счастія на землѣ, Бокельсонъ, напротивъ, весь жилъ въ настоящемъ и ловилъ минуту, чтобы высосать изъ нея все, возможное наслажденіе. Чувства будущаго, этого страшнаго и вмѣстѣ благодатнаго чувства, которое такъ облагораживаетъ человѣка, но въ тоже время отравляетъ каждый глотокъ изъ чаши настоящаго, этого чувства Іоганнъ Лейденскій былъ совершенно лишенъ. Скорѣе въ немъ можетъ быть заподозренъ Неронъ: это — тоже художественная и именно актерская натура, потому что Неронъ былъ всетаки, по крайней мѣрѣ, мраченъ, значитъ, его всетаки точилъ какой-то червь недовольства настоящимъ. Весельчакъ и бонъ-виванъ Бокельсонъ, конечно, ушелъ бы отъ Ванъ-Штратена въ лѣсъ, еслибы зналъ, что тамъ сидитъ прекрасная Девора, ушелъ бы, можетъ быть, даже въ фольговой коронѣ и пурпуровомъ плащѣ, потому что этотъ костюмъ шелъ къ нему, но ужъ никоимъ образомъ не пошелъ бы онъ туда мечтателемъ, грезящимъ самъ не зная о чемъ. Мнѣ неизвѣстна поэма Гамерлинга въ оригиналѣ, а въ русскомъ переводѣ она еще не кончена; но несомнѣнно, что, при изображеніи театральнаго владычества Яна въ Мюнстерѣ, Гамерлингъ долженъ или сильно отступить отъ исторической дѣйствительности, или дѣлать всевозможныя натяжки, чтобы сохранить за Яномъ характеръ мечтательности и ухода въ будущее. Достаточно вспомнить характерный отвѣтъ Яна, когда его, уже разбитаго и плѣннаго, спросили: зачѣмъ онъ женился на восемнадцати женахъ? «Я женился не на восемнадцати женахъ, не смущаясь, отвѣтилъ ex-царь Сіона:— а на восемнадцати дѣвушкахъ, и сдѣлалъ изъ нихъ восемнадцать женъ». Спокойный и грубый юморъ этого отвѣта вполнѣ умѣстенъ. Ничего иного Бокельсонъ по совѣсти не могъ бы отвѣтить. На восемнадцати женахъ онъ даже не потому женился, чтобы его манилъ какой-нибудь идеалъ женщины, вѣчно убѣгающій, вѣчно недостижимый, какъ нѣкоторые думаютъ о типѣ Донъ-Жуана: ему прямо и просто нравилось дѣлать изъ дѣвушекъ женъ, хотя, очень можетъ быть, этотъ обнаженный мотивъ осложнялся для него актерскимъ стремленіемъ подражать царямъ Давиду и Соломону.

Но пойдемъ дальше за Гамерлингомъ.

Въ лѣсу, гдѣ совершилось крещеніе Яна, собираются анабаптисты: Матисонъ поведетъ ихъ въ Мюнстеръ. Къ нимъ пристаетъ Янъ, а затѣмъ, подъ вліяніемъ рѣчей Матисона и заразительнаго возбужденія анабаптистовъ, и вся труппа Ванъ-Штратена: «и тѣ, что вчера восхваляли князя-епископа, дружно воскликнули: «слава Сіону! слава пророку его Матисону!» И тутъ же собравшись, съ анабаптистами вмѣстѣ направили путь свой на Мюнстеръ»... Бездомные бродяги, балаганные фигляры всей гурьбой становятся въ ряды основателей царства правды и счастія.

Въ Мюнстерѣ тѣмъ временемъ идетъ борьба между католиками, лютеранами и анабаптистами. Приходъ Матисона со свѣжими силами подливаетъ масла въ огонь. Начинается настоящее сраженіе. Обрисовываются роли вождей: ученаго Ротмана, ловкаго агитатора Книпердолинга, гиганта Тилана и верховнаго вождя Матисона. Янъ держится пока въ тѣни. Только при вступленіи въ городъ, полусумасшедшій Дузентшуръ, будущій оффиціальный пророкъ сіонскаго цар-

ства, признаетъ въ Янѣ восходящую звѣзду, которая должна затмить самого Матисона.

Третья пѣсня поэмы, озаглавленная «Моріо», для насъ особенно любопытна.

Анабаптисты одолѣли. Фактически въ Мюнстерѣ царитъ Матисонъ. Его могучее слово съ утра до вечера гремитъ на площади, призывая «къ полной свободѣ въ союзѣ со строгостью жизни святою, къ той чистотѣ, что могла бы въ самомъ человѣкѣ устроить храмъ божества, навсегда устраняющій всякую внѣшность». Проповѣдь имѣетъ огромный успѣхъ: «у многихъ сердца возгорѣлись. Времени духъ ихъ заранѣ къ тому приготовилъ, и часто, пламенной рѣчи внимая, мужчины и жены впадали въ религіозный восторгъ, начинали вѣщать предъ народомъ и изступленно взывали, по городу бѣгая: «Кайтесь! кайтесь, да внидите въ царство небесное, въ царство свободы и чистоты совершенной!» Сначала надъ ними смѣялись, но, съ любопытствомъ ихъ слушая, сами потомъ заражались тѣмъ же священнымъ восторгомъ. О царствѣ грядущемъ нѣмые стали вѣщать, а слѣпые—о знаменьяхъ, видѣнныхъ въ небѣ. Каждый бродящій по городу нищій и каждый безумный благоговѣнье къ себѣ возбуждали своимъ появленіемъ: въ каждомъ болтаньи безумца таинственный смыслъ находили. Но не одинъ лишь народъ, и дворянъ увлекало теченье; много монаховъ, монахинь, оставивши кельи, бѣжало къ анабаптистамъ и рвеніемъ тѣмъ же отъ нихъ вдохновлялось».

Затѣмъ, по вызову Крехтинга, того самаго, который впослѣдствіи раздѣлилъ страшную участь Яна и Книпердолинга, пророкъ провозглашаетъ всегдашній принципъ массовыхъ движеній: «каждый, кто нынѣ не съ нами, тотъ нашъ противникъ и врагъ, и предатель». На городской площади ставится бочка съ водой, и каждый, кто не хочетъ принять второго крещенія, изгоняется изъ города. Но Крехтингъ заявляетъ еще о необходимости устроить судьбу неимущихъ. Тогда пророкъ объявляетъ уничтоженіе частной собственности. Онъ объявляетъ, что настало «время взаимной любви, святой и высокой, что нынѣ каждый проникнуться долженъ святаго ученія словомъ, страсти въ себѣ усмирять, устраняясь отъ зла и раздора; что и у нихъ, какъ у древнихъ служителей церкви Господней, общею и нераздѣльною всякая собственность будетъ». «Тысячи лѣтъ передъ нами стоитъ, какъ страшилище міра, такъ продолжалъ онъ:— нужда, истомленная гладомъ и жаждой. Пугало это страшнѣе войны и ужаснѣе рабства! Чтобъ положить ей конецъ, мы должны уравнять достоянье; жизнію пользуйся каждый! О, да подавится жадный, жирный обжора кускомъ при мысли, что онъ пожираетъ меньшаго брата кусокъ!» По слову пророка, всѣ сносятъ на площадь свои пожитки, къ которымъ присоединяется имущество изгнанныхъ, отказавшихся отъ второго крещенія. Очередь доходитъ и до монастырей и храмовъ. Матисонъ имѣетъ здѣсь въ виду, кромѣ богатой добычи, еще и разрушеніе «идоловъ», остатковъ и символовъ старой вѣры.

Эту сцену грабежа церквей и разрушенія «идоловъ», которое пророкъ начинаетъ собственноручно, мы должны, къ сожалѣнію, краткости ради, пропустить, равно, какъ и слѣдующую, въ которой разыгрывается одно изъ грозныхъ и вмѣстѣ шутовскихъ балаганныхъ представленій, такъ свойственныхъ народнымъ движеніямъ. Въ Мюнстерѣ былъ обычай на масляницѣ дѣлать куклу изъ пакли, «Моріо», которую торжественно носили по улицамъ, а по окончаніи масляницы примѣрно судили за развратъ и пьянство и потомъ сожигали. На этотъ разъ разгулявшаяся толпа хочетъ судить и жечь, въ видѣ Моріо, двухъ монаховъ. Одного изъ нихъ спасаетъ отреченіе отъ монашества, а другого вмѣшательство пророка, который съ неудовольствіемъ смотритъ на дикій разгулъ толпы.

Какъ бы взамѣнъ свирѣпаго развлеченія, котораго онъ лишилъ толпу, Матисонъ велитъ жечь книги и рукописи. Фоліанты, свитки, дѣловыя бумаги летятъ въ костеръ. Самъ Матисонъ достаетъ изъ груды время отъ времени ту или другую книгу, читаетъ ея заглавіе и, произнося нѣсколько приличныхъ случаю словъ, бросаетъ въ огонь. Вотъ полетѣла книга Теофраста «Тайныя силы растеній и камней», за ней «О славныхъ дѣяньяхъ Александра Великаго въ Персіи, въ царствѣ Индійскомъ», вотъ «Quintessentia rerum, школа премудрости древней и новой въ толковомъ порядкѣ», вотъ «Крѣпость Петра, основанье священнаго римскаго папства» и «Зеркало Лютера, какъ онъ боролся съ папизмомъ». Никто не перечитъ пророку, но когда онъ хотѣлъ бросить въ огонь «Творенья Назона; боговъ и богинь приключенья, очень искусно съ латинскаго переведенныя въ риемахъ», въ толпѣ раздался протестующій голосъ. То былъ голосъ Яна Бокельсона. Онъ терпѣливо смотрѣлъ, какъ горѣли натуралисты, философы, историки, но поэтамъ онъ проситъ пощады. Между старикомъ и юношей возгорается споръ, и, наконецъ, Янъ открыто бросаетъ перчатку учителю: «Развѣ ты хочешь, чтобъ міръ снова сдѣлался мрачной пустыней лишь для того, чтобы чары прекраснаго не увлекали сердце къ пороку и

злу? Какъ и ты, я душой устремляюсь къ чистой, божественной жизни! Но жить навсегда отчужденнымъ отъ обаянья красотъ, возвышающихъ душу и сердце, я и въ раю не желалъ бы! И если не можешь съ усердіемъ къ высшему благу ты слить и невинныя радости жизни, то не мечтай о себѣ, что ты міру несешь избавленье, новый устроивъ Сіонъ, святую обитель блаженства! Тихо и вѣчно одинъ сидѣлъ ты въ печальной каморкѣ, мысли свои устремлялъ къ одному только полюсу жизни, и созерцанья твои лишь въ кругу его тѣсномъ вращались; я же скитался всегда и мечтой далеко уносился; болѣе теплое солнце мнѣ сердце и кровь согрѣвало, болѣе ясное небо духовный туманъ разгоняло. Такъ предо мною вполнѣ открылся міръ духа и сердца. Я къ одному лишь стремлюсь: я надѣюсь въ священномъ союзѣ, здѣсь на землѣ, наконецъ, увидать добродѣтель и радость! Вотъ какъ различны мы оба въ мечтаньяхъ о царствѣ Сіона! Вмѣстѣ съ тобою я шелъ до сихъ поръ, о, учитель германскій! Нынѣ-жъ нашъ путь раздвоился: новое знамя въ Сіонѣ я поднимаю отнынѣ для честнаго боя съ тобою, и да рѣшитъ ужъ судьба, кто изъ насъ закоснѣлъ въ заблужденьи!»

Непривыкшій къ противорѣчію, пророкъ пораженъ этой дерзкой рѣчью, тѣмъ болѣе, что, какъ онъ видитъ, толпа уже колеблется: ее подкупаютъ и импозантный видъ Яна, и его смѣлость, и самое содержаніе рѣчи. Но ссора прекращается извѣстіемъ о приближеніи къ городу сильныхъ враговъ. На завтра Матисонъ убитъ въ вылазкѣ, которая, однако, кончается благополучно, благодаря находчивости и смѣлости Яна. Янъ торжественно въѣзжаетъ въ городъ во главѣ импровизированнаго войска. Полусумасшедшій Дузентшуръ кричитъ ему: «слава тебѣ, побѣдитель, князь лучезарный Сіона!» Этотъ крикъ подхватывается толпой, и съ тѣхъ поръ въ Мюнстерѣ начинается то самое царство красоты и блеска, котораго такъ боялся старикъ Матисонъ.

Это царство красоты и блеска составляетъ совершенно спеціальную особенность разсматриваемаго историческаго эпизода. Никакое другое народное движеніе не можетъ съ нимъ въ этомъ отношеніи соперничать. Но для полученія какихъ-нибудь общихъ выводовъ, надо временно отвлечь спеціальныя особенности. И, сдѣлавъ эту операцію въ настоящемъ случаѣ, мы получимъ только одно изъ многочисленныхъ проявленій закона образованія вольницы и подвижниковъ. Въ мюнстерской драмѣ законъ этотъ нѣсколько заслоненъ посторонними, осложняющими элементами, но усмотрѣть его все-таки не трудно, особливо сопоставляя съ другими, подходящими историческими примѣрами.

Въ извѣстныхъ «Страдахъ» скопческаго лже-христа Кондратія Селиванова разсказывается, что, когда его везли въ Сибирь, онъ встрѣтился съ Пугачевымъ. И его провожали полки полками, разсказываетъ Селивановъ: — и тожъ подъ великимъ везли карауломъ его; а меня везли вдвое того больше, и весьма строго везли. *И тутъ, который народъ меня провожалъ, за нимъ пошли, а которые его провожали, за мной пошли*». Трудно рѣшить, что хочетъ сказать этими словами Селивановъ: говоритъ-ли онъ о взаимномъ обмѣнѣ конвоя, что мудрено, или о толпѣ любопытныхъ, или, наконецъ, о сочувствующихъ, поклонникахъ, такъ какъ раньше у него шла рѣчь, между прочимъ, и о такого рода провожатыхъ? *). Послѣднее, повидимому, допустить труднѣе всего, не подчеркнутыя слова сами собой напрашиваются на иносказательное, символическое толкованіе и тогда получаютъ глубокій смыслъ. Въ то самое время, когда Мировичи и Орловы рвали другъ друга и сами надрывались, чтобы «нажиться и произойти въ чины», въ глубинѣ Россіи шла напряженнѣйшая духовная работа. Подкладку ея составляла все та же Magenfrage, все тотъ же вопросъ желудка, который всегда составляетъ основную интимную пружину исторіи. Но тогда какъ для Орловыхъ и Мировичей этотъ матеріальный вопросъ не претворялся ни въ какую высшую, идеальную задачу и измѣнялся не качественно, а количественно, въ смыслѣ расширенія сферы съѣдобныхъ веществъ, въ народныхъ массахъ дѣло шло иначе. Народу плохо жилось, и онъ тревожно и напряженно спрашивалъ себя: какъ жить? онъ-ли самъ или кто другой виноватъ въ томъ, что ему плохо живется? какъ устроить, чтобы кончилась вся эта драка съ голоду и съ жиру? Отвѣты получились тѣ же, которые при подобныхъ обстоятельствахъ всегда получали взволнованныя массы: или надо расширить свой жизненный бюджетъ до возможныхъ предѣловъ, причемъ недостающее придется взять силой, или, напротивъ, надо этотъ жизненный бюджетъ сократить до послѣдней возможности, бѣжать соблазновъ міра. Эти два рѣшенія, неизбѣжныя для взбаламученнаго народнаго моря, долго бродятъ съ разными посторонними приставками и урѣзками, несознанныя, невысказанныя, не формулиро-

*) Надеждинъ объясняетъ этотъ апокрифъ хвастовствомъ Селиванова: дескать, «полки» отошли отъ самозванца къ нему, Селиванову, настоящему Петру III и Христу. Безсмыслица этого объясненія очевидна сама собой, такъ какъ, по разсказу, самозванцы обмѣнялись провожатыми.

ванныя, потомъ начинаютъ мало по малу отливаться въ опредѣленныя формы и, наконецъ, находятъ личность, какъ бы замыкающую ихъ неровное, трепетное развитіе. Такихъ личностей можетъ быть, разумѣется, за-разъ нѣсколько, потому что два кардинальные типа программы жизни могутъ распадаться на нѣсколько подвидовъ. Нѣтъ также необходимости, чтобы эти замыкающія личности сами выработали формулу рѣшенія, они могутъ и чужими трудами воспользоваться и даже быть орудіемъ менѣе выступающихъ дѣятелей. Намъ нѣтъ надобности разбирать эти подробности относительно Пугачева и Селиванова. Несомнѣнно одно: они замыкаютъ собою два параллельныя и единовременныя броженія, на первый взглядъ діаметрально противоположныя. Пугачевщинѣ предшествовали многочисленныя мелкія вспышки, скопчеству—разныя мистическія секты, въ особенности люди Божіи, хлысты. Пугачевъ манилъ къ себѣ волей и всякими земными благами, Селивановъ—«голубиною» чистотою, отреченіемъ отъ земныхъ благъ, причемъ какъ бы пробнымъ камнемъ бралось безповоротное отреченіе отъ «лѣпости», отъ напряженнѣйшаго, послѣ потребности дыханія и голода, требованія человѣческой природы. Безобразіе скопческаго рѣшенія, крайняя грубость его гарантировали сами по себѣ, что оно не будетъ принято сколько-нибудь значительнымъ большинствомъ народа. Но надо имѣть въ виду, что это—только одно изъ подвижническихъ теченій, бросающееся въ глаза неумолимою послѣдовательностью своей односторонности. Оно дополняется другими теченіями, изъ которыхъ укажемъ только на бѣгунство или странничество, возникшее въ ту же эпоху. Въ одной изъ бѣгунскихъ пѣсенъ изображается разговоръ «прекрасной пустыни» съ неофитомъ. Пустыня пугаетъ:

У меня же во пустынѣ
Нѣту сладкія то пищи,
Нѣту питія медвяна,
Нѣту цвѣтного то платья,
Нѣту свѣтлыя палаты.
У меня ли во пустынѣ
Тебѣ не съ кѣмъ слова молвить,
У меня ли во пустынѣ
Тебѣ не съ кѣмъ разгуляться.

Неофитъ объявляетъ, что «гнилая колода» ему милѣе сладкой пищи, болотная вода милѣе медвяного питья, черная схима дороже цвѣтного платья, а разговаривать онъ хочетъ только съ «матерью-пустыней».

Казалось бы, грозная, звѣрская, жадная къ жизни пугачевщина не можетъ имѣть ничего общаго съ подобными самобичеваніями. И всетаки, нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что Пугачевъ и Селивановъ помѣнялись провожатыми. Дѣло не въ томъ только, что оба самозванца опирались на одно и то же довѣріе народа къ царю, какъ къ власти, столь высокой, что для нея не нужно и невозможно пристрастіе, несправедливость, и что оба они избрали себѣ имя именно Петра III, отъ котораго народъ въ особенности ждалъ льготъ. Титулъ Христа Селивановъ не самъ выбралъ, а получилъ по преданію. Этого мало. Источникъ обоихъ движеній несомнѣнно одинъ и тотъ же: тяжелое матерьяльное положеніе. Врагъ одинъ и тотъ же: наличный порядокъ. Конечный идеалъ общественнаго устройства, у обоихъ не особенно ясный, имѣетъ опять-таки много общаго. Объ этомъ, впрочемъ, мы распространяться не будемъ. Идеалы личной нравственности, правда, очень различны, но выборъ ихъ часто опредѣляется разными, легко измѣняющимися случайностями, особенно при трудности рѣшенія этихъ вопросовъ для темной массы. Вожди, замыкающіе броженіе, являющіеся наиболѣе яркими и мыслящими его представителями, и тѣ нерѣдко мѣняютъ *все* на *ничто* и обратно. Стенька Разинъ былъ въ свое время аскетъ, знакомый съ соловецкимъ монастыремъ, а вождь гайдамаковъ Желѣзнякъ побывалъ когда-то въ кіевскомъ монастырѣ. Особенно любопытны въ этомъ отношеніи нѣкоторыя черты психологіи Запорожской Сѣчи. Извѣстенъ аскетизмъ этой вольницы по отношенію къ женщинамъ. Извѣстно также, что буйный разгулъ и пьяное веселье запорожца нерѣдко кончались торжественнымъ прощаньемъ со свѣтомъ, при которомъ, напившись, напявшись и нащеголявши въ послѣдній разъ, казакъ поступалъ въ монастырь. Такова великая тайна народной души, въ выдающихся своихъ представителяхъ не знающей компромиссовъ и половинныхъ сдѣлокъ. Но велика и темнота народной массы, а потому не надо удивляться, что мысль ея, тревожно бѣгая по линіямъ двухъ приведенныхъ крайнихъ рѣшеній, путается, спотыкается. Несомнѣнно, что большія, народныя движенія, осложненныя и неосложненныя сектантствомъ, всѣ сводятся къ одному изъ двухъ типовъ: вольницы и подвижниковъ. Этому нисколько не противорѣчатъ второстепенныя различія въ предѣлахъ самыхъ этихъ типовъ, вызванныя случайными обстоятельствами времени и мѣста: можно найти не мало различій, напримѣръ, между ессеями, богумилами, бѣгунами и скопцами, но это всетаки, будетъ одинъ и тотъ же типъ подвижниковъ. Не противорѣчатъ этому и массовые и единоличные переходы отъ одного типа къ другому — или даже временное совмѣщеніе ихъ: если многія аскетическія секты предаются иногда крайнему распутству, то логически всетаки не трудно отли-

чить эти два момента. Переходы же эти просто объясняются окружающею темнотою, которая, обусловливаясь отсутствіемъ критики вслѣдствіе замкнутости, преслѣдованій или ограниченнаго умственнаго кругозора, затрудняетъ выходъ. Ища этого выхода, мысль толкается изъ стороны въ сторону. Тѣмъ паче понятно единовременное существованіе обѣихъ крайностей, если онѣ не сливаются, не переходятъ другъ въ друга. Ессей въ бѣлой одеждѣ, символически выражавшей его чопорную чистоту и кротость, встрѣчался и долженъ былъ встрѣчаться въ Іерусалимѣ съ террористомъ зелотомъ и съ сикаріемъ, у котораго подъ полой былъ спрятанъ ножъ для убійства изъ-за угла. Много ужасовъ и много даже грязи выступаетъ на арену исторіи, когда поднимаются подвижники и вольница. Но это неизбѣжно, и надо помнить, что единовременное ихъ появленіе свидѣтельствуетъ о глубокой внутренней работѣ, совершающейся, къ сожалѣнію, по той или по другой причинѣ, въ потемкахъ.

Возвращаясь къ нашимъ перекрещенцамъ, мы видимъ, что споръ Яна Бокельсона съ Матисономъ представляетъ схватку принциповъ вольницы и подвижниковъ. Но личныя особенности «Царя Сіона» спеціализировали эту схватку. Любопытно, что Гамерлингъ, насколько можно судить по четыремъ пѣснямъ изъ десяти, хочетъ сдѣлать красавицу Девору козлищемъ отпущенія за грѣхи Яна, хочетъ сдѣлать изъ нея какого-то демона, съ которымъ Янъ долженъ бороться, охраняя свою чистоту, и не устоять въ этой борьбѣ. Дѣло было проще, конечно. Актеръ и поэтъ, Бокельсонъ принялъ красоту за операціонный базисъ для передвиженія мюнстерскихъ анабаптистовъ изъ подвижниковъ (по крайней мѣрѣ, по принципу) въ вольницу. Все остальное вытекаетъ само собой изъ этого оригинальнаго, занятаго имъ положенія.

Матисонъ ввелъ второе крещеніе, изгналъ папистовъ и лютеранъ и всѣхъ, «кто не съ нами», уничтожилъ частную собственность, распустилъ монастыри, разрушилъ храмы. Ни одной изъ этихъ реформъ Янъ не тронулъ, но на все положилъ свою актерскую печать. Его первымъ дѣломъ было учрежденіе двѣнадцати старѣйшинъ, по числу колѣнъ израильскихъ. Они, между прочимъ, выработали новый кодексъ, существеннѣйшій параграфъ котораго гласилъ, что, такъ какъ власть исходитъ отъ Бога, то всякій обязанъ, подъ страхомъ смерти, повиноваться пророку. Смертная казнь назначалась и за другія преступленія, между которыми поражаютъ разныя подробности, касающіяся половыхъ отношеній. Но собственно легальныя формы этихъ отношеній были скоро рѣзко измѣнены введеніемъ многоженства. И всемогущему царю Сіона пришлось тотчасъ же пустить въ ходъ по этому случаю свое всемогущество: нѣсколькимъ десяткамъ противниковъ полигаміи были струблены головы. Казнены были еще двѣ или три женщины, или пожелавшія, по примѣру мужей, поліандріи, или отрекшіяся отъ мужей - полигамистовъ. Впослѣдствіи, пророкъ собственноручно и публично, при своей обычной театральной обстановкѣ, отрубилъ голову одной изъ своихъ восемнадцати царицъ за непокорность. Но и этого всемогущества Яну было мало. Дузентшуръ, конечно, по его требованію, провозгласилъ его царемъ Новаго Сіона «и всего міра» и помазалъ его на это фантастическое царство. Скучно вспоминать о театральныхъ братскихъ обѣдахъ, устроенныхъ Яномъ, о проповѣдяхъ съ танцами, объ изобрѣтенныхъ имъ для себя и для свиты пышныхъ костюмахъ, о его правѣ вѣнчанія и развода, чѣмъ онъ въ особенности интересовался, о раздѣленіи всей Германіи на двѣнадцать герцогствъ, которыя онъ великодушно роздалъ своимъ слугамъ въ ожиданіи, когда они будутъ имъ завоеваны и проч.

Словомъ, молодой красавецъ-пророкъ катался, какъ сыръ въ маслѣ, ни мало не помышляя о будущемъ, пилъ изъ полной чаши наслажденій, но пилъ спокойно, хотя и страстно. Это не былъ даже тотъ кутежъ отчаянія, которому нерѣдко предаются, чуя гибель своего дѣла, самозванцы и другіе вожди возстаній. Янъ не заглядывалъ въ будущее ни со страхомъ, ни съ надеждой, ни съ вѣрой, ни съ отчаяніемъ. Онъ просто жилъ каждой настоящей минутой. И это ставитъ его совершенно особнякомъ среди крупныхъ лже-пророковъ, лже-мессій и самозванцевъ.

IV.

Экспериментальный романъ*).

«Парижскія письма». Э. Зола («Вѣстникъ Европы») — «Братья Земганно». Романъ Эдм. Гонкура («Слово»). — «Баритонъ». Романъ В. Крестовскаго (псевдонимъ). Спб. 1879.

I.

Россія должна воздвигнуть памятникъ искусству. Именно Россія, а не Европа, хотя Россія и въ этомъ отношеніи бѣдна, а Европа и въ этомъ отношеніи богата. Ни въ какой европейской странѣ и, надо думать, нигдѣ въ цѣломъ мірѣ искусство не играетъ такой важной и своеобразной роли, какъ въ нашемъ отечествѣ. Я разумѣю, конечно, царицу

*) 1879 г., сентябрь.

искусствъ—поэзію, вообще беллетристику, потому что остальныя отрасли искусства, хотя уже и декретированныя манифестами г. Стасова, еще не успѣли съиграть какую-нибудь общественную роль.

Недавно оксфордскій университетъ показалъ, что и Европѣ извѣстно это своеобразное значеніе искусства въ Россіи: университетъ торжественно облекъ званіемъ почетнаго доктора правъ нашего маститаго художника, И. С. Тургенева, за его труды по освобожденію крестьянъ въ Россіи. Такъ или почти такъ были формулированы поэтическія права И. С. Тургенева на званіе доктора правъ оксфордскаго университета. По незнанію Россіи, университетъ впалъ въ маленькую ошибку, ибо оказанный имъ русскому художнику почетъ по всѣмъ правамъ принадлежитъ не И. С. Тургеневу, а Д. В. Григоровичу, первыя произведенія котораго изъ крестьянской жизни, по своему общественному значенію, далеко затмѣваютъ «Записки охотника». Но это ошибка частная, второстепенная, фактическая. Въ принципѣ оксфордскій университетъ не ошибся, признавъ за русскимъ искусствомъ крупное общественное значеніе. Долгое время поэзія была на Руси чуть не единственнымъ и, во всякомъ случаѣ, лучшимъ и надежнѣйшимъ проводникомъ, если не политической мысли, то гуманныхъ идей. Она и до сихъ поръ не совсѣмъ утратила эту привилегію, и, кромѣ того породила спеціальную отрасль литературной дѣятельности, оказавшую неисчислимыя услуги русскому обществу. Эта отрасль—литературная критика, нигдѣ и ни въ какой литературѣ не имѣвшая такого значенія, какъ въ нашей. Читатель знаетъ, что вопросы о предѣлахъ компетенціи искусства, о принципахъ поэзіи, объясненіе значенія того или другаго беллетристическаго произведенія и т. п., еще недавно притягивали къ себѣ крупныя литературныя силы и волновали весь читающій людъ. Конечно, не одно искусство создало эту обширную и плодотворную отрасль литературы. Искусство было скорѣе поводомъ, чѣмъ причиною. Причины же были отчасти общія у своеобразнаго развитія литературной критики и у выдающагося, такъ сказать, выпяченнаго значенія искусства. Это были своего рода священныя мѣста, за которыми было признано право убѣжища: туда бѣжалъ бѣдный русскій писатель, когда ему приходила въ голову запретная мысль; тамъ онъ могъ дышать свободнѣе хотя бы въ атмосферѣ общихъ мѣстъ о гражданскихъ обязанностяхъ поэзіи; тамъ научился онъ писать между строкъ; тамъ заставилъ онъ полюбить себя. Правда, священныя мѣста не всегда оказывались достаточно защищенными, и писатель извлекался изъ нихъ вопреки праву убѣжища Это случалось вѣдь иногда и съ настоящими храмами, за которыми въ древнія времена право убѣжища было признано закономъ: исторія знаетъ не мало примѣровъ, что, вопреки этому праву, кровь спасавшихся въ храмѣ обагряла его ступени. Но это было дѣломъ особой остервенѣлости, исключительно наглаго попиранія всего освященнаго закономъ и обычаемъ, а при обыкновенномъ теченіи дѣлъ право убѣжища всетаки существовало.

Какъ бы то ни было, а искусство непосредственно и черезъ посредство литературной критики постоянно вливало въ общественное сознаніе массу гуманныхъ идей, иногда остававшихся на ступени расплывающагося, неопредѣленнаго гуманизма, а иногда принимавшихъ весьма опредѣленный политическій характеръ. Въ этомъ отношеніи у насъ просто чудеса происходили: понятіями о задачахъ и пріемахъ искусства опредѣлялись политическія партіи. Не мало, разумѣется, при этомъ было всякой путаницы. Такъ, напримѣръ, люди, теперь величающіе себя «консерваторами», поставляли себѣ въ обязанность ратовать противъ «тенденціи» въ искусствѣ. Къ ихъ политической программѣ крѣпко приросло требованіе такъ называемаго чистаго искусства, безстрастно и какъ бы экстатически возводящаго въ перлъ созданія явленія жизни. Но будущій историкъ тѣхъ временъ, глядя по своему темпераменту, или съ веселымъ смѣхомъ, или съ горькимъ негодованіемъ отмѣтитъ, что изъ этого именно лагеря вышли всѣ эти «Некуда», «Панурговы стада», «Марины изъ Алаго Рога» и разные другіе образцы тенденціознѣйшей беллетристики. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что произведенія эти сдѣлали не мало вреда (не потому. конечно, что въ нихъ была тенденція, а потому, что тенденція эта была пакостная). Но перевѣсъ ума, таланта и правды никогда не былъ на этой сторонѣ, а потому, не смотря на эти пятна на солнцѣ и не смотря на произведенную ими путаницу, оксфордскій университетъ былъ въ принципѣ вполнѣ правъ, чествуя И. С. Тургенева: русское искусство сослужило большую и хорошую службу своему отечеству. Кромѣ того, всякій, кто возьметъ Бѣлинскаго, Добролюбова, Писарева, А. Григорьева, Н. Соловьева и еще кое-кого, будетъ имѣть въ рукахъ цѣлый арсеналъ разнообразнѣйшихъ мнѣній о принципахъ, задачахъ и пріемахъ искусства. Но онъ безъ труда замѣтитъ, что эти какъ будто чрезвычайно интересующіе критиковъ вопросы, въ сущности, играютъ второстепенную и побочную роль въ ихъ писаніяхъ: сквозь споры о принципахъ искусства ясно видны очертанія, скажемъ, гражданскихъ, чтобы не сказать политическихъ идей

и партій. Разумѣется, въ этомъ и была вся сила литературной критики: ловко цѣпляясь за выдающіяся мѣста поэтическаго произведенія, она давала мало-развитому и малознающему обществу важные уроки въ легкой, привлекательной формѣ комментарія.

Однако, и самый вопросъ о роли, пріемахъ и задачахъ искусства поневолѣ при этомъ разработывался и разработался, наконецъ, повидимому, до совершенной разжеванности. Въ самомъ дѣлѣ, трудно, кажется, даже придумать какую-нибудь точку зрѣнія на эти предметы, которая еще не практиковалась бы въ нашей литературѣ. Всѣ—и умныя и глупыя—слова, какія только могутъ быть по этому поводу сказаны, казалось бы, уже исчерпаны.

Однако, нѣтъ. У насъ явился новый учитель. Иностранецъ, французъ, конечно, не знающій, что мы видали всякіе виды по части теоретической, отвлеченной стороны литературной критики, почти ежемѣсячно внушаетъ намъ на страницахъ «Вѣстника Европы» свои идеи. Онъ внушаетъ ихъ и французамъ я, говорятъ, производитъ у себя на родинѣ даже маленькія бури. Но, что всего удивительнѣе, даже мы, видавшіе всякіе виды, мы, которыхъ въ этой области, кажется, ничѣмъ удивить нельзя, ни умомъ, ни глупостью,—мы должны признать, что Эмиль Золя, сказалъ, наконецъ, новое слово.

Да, такихъ словъ, какія прописаны въ послѣднемъ «Парижскомъ письмѣ» Эмиля Золя («Вѣстникъ Европы», сентябрь), такихъ словъ мы еще не слыхивали.

Какъ-то, по поводу выхода части «Парижскихъ писемъ» отдѣльнымъ изданіемъ, мы имѣли случай говорить объ Эмилѣ Золя какъ о критикѣ. Съ тѣхъ поръ талантливый романистъ и плохой мыслитель по существу, разумѣется, измѣниться не успѣлъ. Это все тотъ же человѣкъ безъ образованія и безъ царя въ головѣ, ощупью ищущій теоретическаго оправданія для своихъ художественныхъ пріемовъ. Но, выступая на это поприще теоретическаго оправданія, онъ былъ еще довольно скроменъ. Началъ онъ съ неумѣреннаго, но все-таки довольно приличнаго восхваленія своихъ литературныхъ друзей — Флобера, Гонкуровъ, Доде, потомъ перешелъ къ задорной и придирчивой критикѣ старыхъ писателей въ родѣ Жоржъ-Занда и Виктора Гюго. При этомъ онъ сначала исподволь, довольно тихимъ голосомъ развивалъ какую-то путаницу насчетъ «реальнаго» и «идеальнаго», а потомъ, постепенно возвышая голосъ до грознаго окрика диктатора, нетерпимѣйшаго главы школы, дошелъ, наконецъ, до послѣднихъ предѣловъ самохвальства и нелѣпости. Въ одномъ изъ послѣднихъ «Парижскихъ писемъ», онъ требовалъ, чтобы французская республика приняла не только къ свѣдѣнію, но даже какъ-то къ руководству его, Эмиля Золя, «научную формулу» романа, а въ самомъ послѣднемъ письмѣ, озаглавленномъ «Экспериментальный романъ», объявилъ, что онъ, Эмиль Золя, сдѣлалъ для романа то-же самое, что Клодъ Бернаръ сдѣлалъ для медицины. Excusez du peu!

Чтобы достойно оцѣнить комизмъ этой претензіи, надо вникнуть, почему тутъ именно Клодъ Бернаръ попался, а не Ньютонъ, не Галилей, не Дарвинъ, не Лавуазье.

По всѣмъ видимостямъ, Клодъ Бернаръ попался просто потому, что попался. Просто Эмилю Золя подвернулось подъ руку «Введеніе къ изученію опытной медицины». Понятно, самъ Золя разсказываетъ дѣло иначе. Клодъ Бернаръ, по его словамъ, для него важенъ потому, что «съ удивительною силою и ясностью установилъ экспериментальный методъ». Правда, можно было бы найти не мало другихъ сочиненій, философскихъ и научныхъ, посвященныхъ методологіи. Но, говоритъ Золя: «что опредѣлило мой выборъ и остановило меня на «Введеніи», — такъ это то, что именно медицина, въ глазахъ очень многихъ, остается еще на степени искусства, подобно роману». Исходя отсюда, Золя дѣлаетъ рядъ выписокъ изъ «Введенія», предлагая подставлять вездѣ вмѣсто слова «медикъ» слово «романистъ». Не останавливается онъ и передъ подстановкой своего собственнаго имени, вмѣсто имени Клода Бернара.

Такъ, напримѣръ, онъ приводитъ слѣдующія слова Бернара: «Медицинѣ предназначено мало по малу выйти изъ эмпиризма, и она выйдетъ изъ него точно такъ же, какъ и всѣ другія науки, при помощи экспериментальнаго метода. Это глубокое убѣжденіе поддерживаетъ и направляетъ мою научную жизнь. Я глухъ къ голосу медиковъ, требующихъ, чтобы имъ объяснили экспериментальнымъ путемъ корь и скарлатину, и думающихъ извлечь отсюда доказательство противъ употребленія экспериментальнаго метода въ медицинѣ. Эти обезкураживающія и отрицающія возраженія исходятъ вообще отъ систематическихъ или лѣнивыхъ умовъ, предпочитающихъ полагаться на свои системы или засыпать въ потемкахъ, вмѣсто того, чтобы работать и стараться изъ нихъ выйти. Экспериментальное направленіе, принимаемое медициной, теперь опредѣлилось. Это вовсе не фактъ эфемернаго вліянія какой-нибудь личной системы; это результатъ научнаго развитія самой медицины. Таковы мои убѣжденія, которыя я стараюсь внушать молодымъ медикамъ, слушающимъ мой курсъ въ Collège de France. Прежде всего нужно

вдохнуть научный духъ въ молодыхъ людей и посвятить ихъ въ понятія и тенденціи современныхъ наукъ».

Эти слова знаменитаго ученаго Золà съ серьезнѣйшимъ видомъ пародируетъ, даже не подозрѣвая, что пишетъ пародію, слѣдующимъ образомъ: «Только экспериментальный методъ можетъ вывести романъ изъ той лжи и ошибокъ, въ коихъ онъ теперь блуждаетъ Вся моя литературная жизнь была направляема этимъ убѣжденіемъ. Я глухъ къ голосу критиковъ, требующихъ отъ меня формулированія законовъ наслѣдственности и вліянія среды на дѣйствующихъ лицъ; тѣ, кои дѣлаютъ мнѣ эти обезкураживающіе и отрицательные упреки, обращаютъ ихъ ко мнѣ только по лѣности ума, по увлеченію традиціей, по привязанности болѣе или менѣе искренней къ философскимъ и религіознымъ вѣрованіямъ. Экспериментальное направленіе, принимаемое романомъ, нынѣ уже опредѣлилось. Это вовсе не фактъ эфемернаго вліянія какой-нибудь личной системы, это результатъ научнаго развитія самаго изученія человѣка. Таковы мои убѣжденія, которыя я стараюсь внушать молодымъ писателямъ, читающимъ меня, такъ какъ я думаю, что имъ слѣдуетъ прежде всего вдохнуть научный духъ и познакомить ихъ съ понятіями и тенденціями новѣйшихъ наукъ».

Вотъ, значитъ, какъ смотритъ на себя французскій романистъ. Одно только немножко странно. Если Клодъ Бернаръ имѣетъ право быть глухимъ къ голосу медиковъ, требующихъ, чтобы имъ «объяснили экспериментальнымъ путемъ корь и скарлатину» (изъ цитаты мудрено понять, въ какомъ смыслѣ отвергаетъ эти требованія Бернаръ), то изъ этого еще отнюдь не слѣдуетъ, что только лѣнивые или «увлеченные традиціей» умы могутъ требовать формулированія законовъ наслѣдственности. И если Зола кажется, что его положеніе и положеніе Бернара одинаковы, такъ только потому, что ему неизвѣстно, что кое-что изъ законовъ наслѣдственности и вліянія среды уже формулировано. Ученый романистъ, полагающій что его читатели должны именно изъ его произведеній знакомиться съ «понятіями и тенденціями новѣйшихъ наукъ», самъ нѣсколько слабъ насчетъ этихъ «новѣйшихъ наукъ». Да оно и понятно. Еслибы онъ съ этими науками былъ знакомъ хоть маломальски, такъ, во-первыхъ, не благировалъ бы такъ насчетъ сходства медицины съ изящнымъ искусствомъ, не употреблялъ бы такихъ забавныхъ терминовъ, какъ «новѣйшія науки», а—главное—указалъ бы своимъ читателямъ какія-нибудь болѣе авторитетныя руководства, чѣмъ собственные его романы и письма.

Забавности Парижскаго письма, озаглавленнаго «Экспериментальный романъ», неисчислимы. Исчерпать ихъ нѣтъ возможности. Зарапортовавшійся романистъ строитъ такую классификацію наукъ: во-первыхъ, — физика и химія, во-вторыхъ,—физіологія и медицина, и, въ-третьихъ... въ-третьихъ — «экспериментальный романъ»! Этотъ экспериментальный романъ, если еще не совершилъ, то совершитъ чудеса. Онъ будетъ «управлять жизнью, управлять обществомъ, рѣшитъ, наконецъ, всѣ задачи соціализма, въ особенности доставитъ твердыя основы правосудію, разрѣшая путемъ опыта криминальные вопросы»! Штандартъ будетъ скакать, тридцать тысячъ курьеровъ налетятъ на господъ Золà, Гонкуровъ, Флоберовъ, Додо и скажутъ: «пожалуйте управлять вселенной»! Все это будетъ навѣрное, только еще не очень скоро, потому что господа романисты-экспериментаторы, какъ снисходительно соглашается Золà, сдѣлали еще мало «опытовъ». Эти «опыты», можетъ быть, нѣсколько смутятъ читателей. Какъ это, въ самомъ дѣлѣ, господа романисты будутъ «разрѣшать путемъ опыта криминальные вопросы»? Совершать примѣрныя преступленія, что ли? Убивать, грабить, насиловать женщинъ и потомъ въ видѣ романовъ, сообщать результаты своихъ опытовъ криминалистамъ? Кажется, это единственный способъ примѣнить опытный методъ къ криминальнымъ вопросамъ. Да, такъ можно было бы думать на основаніи общепринятыхъ доселѣ мнѣній. До сихъ поръ, въ самомъ дѣлѣ, думали, что, вообще говоря, при изученіи явленій общественныхъ возможно только наблюденіе. Опытъ же можетъ примѣняться только въ крайне рѣдкихъ, исключительныхъ случаяхъ; ибо опытъ предполагаетъ въ этой области возможность такъ грубо обращаться съ человѣкомъ, такъ насильственно ставить его въ разнообразнѣйшія условія, что на это можетъ рискнуть развѣ очень ужъ развязный администраторъ (да и у того руки всетаки коротки), а никакъ не наука. Такъ думали до сихъ поръ. Но Эмиль Зола открылъ секретъ. Онъ утверждаетъ, что если романистъ «заставляетъ дѣйствующихъ лицъ дѣйствовать въ частной исторіи, чтобы показать, что ихъ поступки будутъ таковы, какихъ требуетъ детерминизмъ изучаемыхъ явленій»—то это и будетъ опытъ. Онъ можетъ и на примѣръ сослаться. Вотъ, напримѣръ, личность барона Гюло въ «Cousine Bette» Бальзака. «Общій фактъ, наблюденный Бальзакомъ,—это вредъ, который страстный темпераментъ человѣка приноситъ ему самому, семейству и обществу. Разъ выбравъ сюжетъ, онъ отправился отъ наблюденныхъ фактовъ, потомъ произвелъ свой опытъ,

подчиняя Гюло цѣлой серіи испытаній, заставляя его дѣйствовать въ различной средѣ, чтобы показать функціонированіе механизма его страсти. Итакъ, *очевидно*, что здѣсь не только наблюденіе, но и опытъ, потому что Бальзакъ не является строгимъ фотографомъ собранныхъ имъ фактовъ, потому что онъ прямо вмѣшивается, ставя своего героя въ условія, которыхъ самъ остается хозяиномъ. Экспериментальный романъ есть только протоколъ опыта, который романистъ повторяетъ передъ глазами публики. Въ результатѣ вся операція состоитъ въ томъ, чтобы взять факты въ природѣ, затѣмъ изучить ихъ механизмъ, дѣйствуя на явленія посредствомъ измѣненія обстоятельствъ, не удаляясь никогда отъ законовъ природы. Въ концѣ-концовъ, является знаніе человѣка, научное знаніе, въ его индивидуальныхъ и соціальныхъ дѣйствіяхъ».

И все это бумага терпитъ! Очевидно, Золя не понимаетъ, что гарантія достовѣрности опыта заключается въ немъ самомъ, въ его очевидности и никоимъ образомъ не можетъ быть отыскана въ тѣхъ условіяхъ, въ которыя романистъ своимъ личнымъ произволомъ поставитъ своихъ дѣйствующихъ лицъ. Вотъ если бы Бальзакъ досталъ гдѣнибудь напрокатъ живого барона Гюло и воочію показалъ бы, какъ онъ дѣйствуетъ при различныхъ условіяхъ,—тогда это былъ бы дѣйствительно опытъ. Стыдно, впрочемъ, и возиться съ такими элементарными пустяками, которые, однако, Эмиль Золя съ комичнѣйшею надменностью выдвигаетъ на всенародное поворище. Есть, конечно, извѣстная доля истины въ его разсужденіяхъ; но эта доля такъ мала, такъ мала, что изъза нея рѣшительно не стоитъ стульевъ ломать. Она сводится къ тому, что нынѣшнему романисту надо многое знать и многому учиться. Это совершенно справедливо, разумѣется, потому что современному роману такъ много дано, что естественно съ него много и спросится. Справедливо также, что романистъ долженъ не только самъ учиться, а и учить, но, конечно, не физіологіи и уголовному праву, а чему-то такому, отъ чего именно Золя, кажется, открещивается.

Золя, трудясь надъ водруженіемъ знамени «экспериментальнаго романа», объявляетъ войну какимъ-то «романистамъ-идеалистамъ». Кто эти зловредные враги, понять довольно трудно. Они, видите-ли, «умышленно остаются въ неизвѣстномъ, вслѣдствіе всевозможныхъ религіозныхъ и философскихъ предразсудковъ, подъ изумительнымъ предлогомъ, будто неизвѣстное благороднѣе и прекраснѣе извѣстнаго». Они «удаляются въ область неизвѣстнаго, изъ-за удовольствія тамъ быть»; имъ «нравятся самыя рискованныя гипотезы». Надо думать, что всѣ эти «ученыя» фразы накинуты, главнымъ образомъ, на Виктора Гюго, котораго Эмилю Золя ужасно хочется свергнуть съ литературнаго престола, дабы самому возсѣсть на оный. Но этого, кажется, не будетъ. Гюго напыщенъ, Гюго ходуленъ, но онъ владѣетъ секретомъ потрясать сердца, а, каковы бы ни были познанія Золя въ «новѣйшихъ наукахъ»,— онъ этого стародавняго секрета не знаетъ. Онъ думаетъ, что художникъ не долженъ «ни одобрять, ни негодовать», а безстрастно производить «опыты». Пусть такъ. Не будемъ спорить. Но вѣрно то, что на литературныхъ престолахъ сидятъ только тѣ, кто умѣетъ возбуждать негодованіе или добрыя чувства въ читателѣ. А для этого надо много такта, много наблюдательности, наконецъ, много знаній вообще и знанія человѣческаго сердца въ особенности. А физіологія, конечно, тоже не помѣшаетъ. Такъ что Эмилю Золя, какъ и другимъ «экспериментаторамъ», не вредно будетъ ей поучиться. Но главное, имъ надо поучиться вліять на читателя и, сообразно этому, измѣнить свои взгляды на задачи искусства.

II.

Мы видѣли теорію. Посмотримъ на практику. Передъ нами лежатъ два поэтическія произведенія. Одно принадлежитъ перу одного изъ корифеевъ «экспериментальной» французской школы, Гонкура — «Братья Земганно». Другое написано слишкомъ двадцать лѣтъ тому назадъ нашей соотечественницей, извѣстной подъ псевдонимомъ В. Крестовскій—«Баритонъ». Этотъ старый романъ вышелъ теперь новымъ изданіемъ. Сопоставленіе этихъ двухъ романовъ напрашивается само собой, когда рѣчь идетъ о задачахъ искусства. Не потому, чтобы любопытно было сравнивать таланты авторовъ—отъ этого мы себя увольняемъ, а потому, что въ обоихъ романахъ самою ихъ фабулою косвеннымъ образомъ задѣвается именно вопросъ о задачахъ искусства.

Жили были два брата Земганно. Они были художники. Ихъ соединила самая тѣсная дружба. Говорятъ, что Гонкуръ изобразилъ въ этой дружбѣ тѣ отношенія, которыя существовали между нимъ и его младшимъ братомъ, Жюлемъ, уже умершимъ, съ которымъ, какъ извѣстно, они работали на поприщѣ романа и анекдотической исторіи рука объ руку. Такимъ образомъ романъ получаетъ особенно задушевный и отчасти автобіографическій характеръ. Тѣмъ поучительнѣе выборъ отрасли искусства, которую Гонкуръ усвоилъ братьямъ Земганно: эти художники были... клоуны-акробаты! Уже

этотъ выборъ чрезвычайно характеренъ для школы «экспериментаторовъ»: въ немъ отражается вся суть ихъ пониманія задачъ искусства. Что акробаты, клоуны, гимнасты— дѣйствительно художники въ глазахъ Гонкура, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія: онъ ихъ такъ прямо и называетъ художниками, артистами, а ремесло ихъ — искусствомъ.

Гонкуръ добросовѣстно изучалъ это искусство, конечно, теоретически и путемъ наблюденія, а не «экспериментально». Мы знакомимся изъ романа съ множествомъ подробностей акробатической техники; узнаемъ, напримѣръ, что маленькаго Нелло начали обучать великому искусству съ пяти лѣтъ, и узнаемъ, какъ именно его учили, какъ онъ раздвигалъ ноги «плашкой», дѣлалъ «стойку съ ничка», исполнялъ «арабскій прыжокъ», «черезголовицу» и проч. Узнаемъ много еще другихъ любопытныхъ вещей, совокупность которыхъ показываетъ, что Гонкуръ занимался «Братьями Земганно» чрезвычайно серьезно. И притомъ — ни малѣйшаго протеста противъ безобразія всей этой процедуры акробатическаго воспитанія, противъ злой судьбы братьевъ Земганно, изломавшей ихъ тѣло и загнавшей ихъ душу въ пространство, отдѣляющее «плашку» отъ «черезголовицы». Напротивъ, авторъ не налюбуется на своихъ героевъ и съ полнѣйшимъ сочувствіемъ рисуетъ ихъ времяпровожденіе. Правда, братьевъ преслѣдуютъ нѣкоторыя несчастія: дѣла труппы, управляемой ихъ отцомъ, идутъ неважно, у нихъ умираетъ мать, а потомъ и отецъ. Но сколько за то прелести было въ нихъ существованіи! Шатаясь по всему лицу Франціи, «они всегда имѣли передъ собой просторъ, надъ ними было свѣтлое небо... слухъ ихъ постоянно услаждался застѣнчивыми звуками земли, музыкой дыханія лѣсныхъ сводовъ... взоръ ихъ терялся въ безднахъ голубоватой дали; и ихъ радовало, когда яркій лучъ лѣтняго солнца выдавалъ зайца, притаившагося между полевыми кочками», и проч., и проч. Словомъ, отдай все за эту жизнь, такъ и то мало.

А кромѣ того, радости самодовлѣющаго искусства: сознаніе художественно выполненной «черезголовицы» и «стойки съ ничка». Это тоже чего-нибудь да стоитъ! Однако, въ этихъ именно радостяхъ искусства заключается узелъ драмы, сгубившей обоихъ братьевъ. Дѣло въ томъ, что старшій братъ, Джіанни, былъ очень честолюбивъ. Благородно честолюбивъ, конечно, какъ и подобаетъ истинному художнику: онъ хотѣлъ довести свое искусство до высшей степени совершенства, все равно какъ Эмиль Золя. Хотѣлъ изобрѣсти какой-нибудь необыкновенный «туръ», который не только обезсмертилъ бы его имя въ лѣтописяхъ искусства, но и самое искусство поднялъ бы въ высшую сферу.

«Руки Джіанни, даже когда онъ отдыхалъ, постоянно были заняты, и онъ безпрерывно пускалъ ихъ въ ходъ. Какъ бы невольно и безсознательно онѣ схватывали предметы, находившіеся вблизи, ставили ихъ ребромъ, горлышкомъ, если это была бутылка, какою-нибудь частью поверхности, на которой они не могли держаться, тщетно стараясь удержать ихъ въ такомъ положеніи хотя въ теченіи мгновенія; и безъ устали работали онѣ, какъ машина, стремясь нарушить законы тяжести, равновѣсія, измѣнить вѣчныя привычки вещей падающихъ, если лишить ихъ опоры. Кромѣ того, онъ часто по цѣлымъ часамъ вертѣлъ и поворачивалъ во всѣ стороны какую-нибудь мебель, столъ или стулъ, относясь ко всему этому съ такой любознательностью, съ такой настойчивой пытливостью, что однажды младшій братъ сказалъ ему наконецъ:

— Послушай, Джіанни, чего ты хочешь отъ этой вещи?

— Я ищу!

— Чего-же ты ищешь?

— А вотъ...

И Джіанни прибавилъ:—Нѣтъ, чертъ возьми, я никогда не найду!

— Но чего же? Скажи, скажи! повторялъ Нелло, протягивая послѣдній слогъ и сообщая ему тотъ жалобный тонъ, который отличаетъ просьбы дѣтей, желающихъ что-нибудь узнать.

— Когда подростешь... Теперь не совсѣмъ будетъ понятно... Я, братишка, ищу и для тебя...».

Словомъ, Джіанни былъ экспериментаторъ и мечталъ о переворотѣ въ искусствѣ. Нелло былъ не таковъ. Лишенный художественной иниціативы, но одаренный отъ природы большимъ талантомъ, который еще, вдобавокъ, былъ развитъ тщательнымъ воспитаніемъ, Нелло любилъ искусство, но во всемъ довѣрялся любимому брату. Когда онъ, наконецъ, узналъ, какая высокая цѣль одушевляетъ честолюбиваго Джіанни, онъ безусловно отдалъ себя въ его распоряженіе. Братья серьезно занимались искусствомъ. Кромѣ того, что Джіанни неустанно вертѣлъ стулья и ставилъ бутылки вверхъ дномъ, оба брата предпринимали артистическія поѣздки. Такъ они съѣздили въ Англію, гдѣ, «участвуя въ представленіяхъ въ качествѣ трапецистовъ, усвоивали себѣ особенности, оригинальныя черты, гимнастическія выходки каждаго клоуна, въ обществѣ котораго они жили по недѣлѣ и по двѣ; они, однимъ словомъ, проникали въ самую суть искусства, улавливая всевозможныя проявленія его своеобразнаго генія у различныхъ индивидуумовъ».

И вотъ, наконецъ, мечта Джіанни, послѣ долгихъ мытарствъ, близка къ осуществленію: онъ придумалъ такой туръ, который затмитъ все доселѣ виданное и даже можетъ быть превратитъ экспериментальнымъ путемъ искусство въ науку. Но на этомъ-то желан-

номъ турѣ дѣло и оборвалось. Задача состояла, главнымъ образомъ, въ томъ, что младшій братъ долженъ былъ сдѣлать вертикальный прыжокъ въ четырнадцать футовъ слишкомъ. Это былъ основной принципъ «тура». Но геніальный Джіанни еще усложнилъ задачу: прыжокъ совершался не въ открытомъ пространствѣ, а сквозь вертикально поставленную бездонную бочку; затѣмъ Нелло прыгалъ на плечи къ брату, ноги котораго помѣщались на узкомъ, полукругломъ желѣзномъ стержнѣ; предполагалось еще ввести въ туръ рядъ опасныхъ прыжковъ другъ черезъ друга. Кромѣ того, братья придумывали сценическую обстановку для своего гимнастическаго упражненія. «И Нелло, обыкновенно придававшій поэтическіе штрихи работѣ брата, изобрѣлъ роскошную гирлянду, сплетенную изъ фантастическихъ грезъ и музыкальныхъ звуковъ, которые казались разомъ—и отголоскомъ далекихъ урагановъ, и вздохами природы. Но, въ концѣ-концовъ, братья замѣтили, что *отважность* ихъ тура исчезаетъ въ прелести обстановки. Тогда, съ общаго согласія, они рѣшились быть на этотъ разъ только гимнастами, чтобы впослѣдствіи придать характеръ новизны вещи, когда она станетъ избитою, украсивъ ее цвѣтами поэтическаго вымысла».

Все бы это безъ сомнѣнія и совершилось ad majorem artis gloriam, искусство обогатилось бы новымъ высокимъ произведеніемъ, если бы въ исторію не вмѣшалась, по обыкновенію, женщина, нѣкая американка Томпкинсъ, наѣздница, состоявшая въ той же труппѣ, въ которой являли свои таланты братья Земганно. Это была чрезвычайно фантастическая дама и, главное, она была, подобно Тамарѣ, прекрасна, какъ ангелъ небесный, какъ демонъ коварна и зла. Ей приглянулся красавецъ Нелло. Но Нелло былъ равнодушенъ къ ней. Мало того. Будучи геніальною натурою, но, не имѣя серьезной преданности высшимъ цѣлямъ искусства, какъ старшій братъ, Нелло позволялъ себѣ безпощадныя насмѣшки надъ Томпкинсъ, облекая ихъ, однако, въ тонко-художественныя формы. Въ пику наѣздницѣ, Нелло «каждый вечеръ устраивалъ продолжительную, почти блестящую интермедію. Томпкинсъ была предметомъ восторговъ, выражавшихся смѣшными ломаными движеніями шеи, колѣнопреклоненій, оканчивающихся уродливымъ оцѣпенѣніемъ, любовныхъ желаній, сказывавшихся въ невозможномъ тремоло ногъ, въ приложеніи къ сердцу рукъ, нелѣпо скорченныхъ. Потомъ, въ экстазѣ обожанія, онъ начиналъ ее умолять, и всѣ мускулы его тѣла вызывали смѣхъ, и горечь пластической шутки брызгала изъ каждаго его нерва. На одной изъ своихъ вывороченныхъ ногъ онъ точно на гитарѣ, исполнялъ передъ красавицей любовный романсъ, изображая чарующую прелесть его звуковъ мимическими движеніями... Молодой клоунъ своею спиной, своими ногами, своими плечами, своими руками и, такъ сказать, вдохновляемый геніемъ свой физической ловкости, со смѣхомъ противопоставлялъ пламени женщины самое обидное равнодушіе, самое насмѣшливое невниманіе, самое шутовское презрѣніе».

Этого не могла простить женщина, да еще такая, какъ Томпкинсъ. Она отомстила страшно: устроила такъ, что полотняная бездонная бочка, сквозь которую Нелло долженъ былъ прыгать въ знаменитомъ турѣ, замѣнена была деревянною. А вслѣдствіе этого Нелло упалъ и переломилъ себѣ обѣ ноги.

Злая судьба въ лицѣ Томпкинсъ оборвала художественную карьеру Нелло, обломавъ ему ноги. Она не пожалѣла этой палитры Рафаэля, этого рѣзца Микель-Анжело, этого пера Шекспира, этихъ ногъ геніальнаго акробата! И вотъ въ обоихъ братьяхъ начинается сложная борьба чувствъ. Они любятъ искусство, но любятъ и другъ друга. Если младшій лишенъ своего художественнаго инструмента и изнываетъ въ тоскѣ по невозможной уже для него артистической карьерѣ, то не долженъ ли и старшій, обладающій вполнѣ безукоризненными ногами, тоже отказаться отъ этой карьеры? Да, долженъ. Это рѣшилъ самъ старшій братъ. Однако, сразу привести это рѣшеніе въ исполненіе было выше силъ его. Великій художникъ не могъ сразу отказаться отъ художественнаго наслажденія создавать «туры», кувыркаться на трапеціи и исполнять «черезголовицу». Втайнѣ отъ несчастнаго калѣки брата онъ вставалъ по ночамъ и въ особомъ помѣщеніи страстно предавался служенію Аполлону и музамъ. Но однажды Нелло засталъ его на этихъ упражненіяхъ. Произошла потрясающая сцена, которою и оканчивается романъ.

«Нелло вошелъ такъ тихо, что гимнастъ не замѣтилъ этого. И, стоя на колѣняхъ, младшій братъ смотрѣлъ на старшаго, который летѣлъ въ воздухѣ съ бѣшеною ловкостью крѣпкаго тѣла, нетронутыхъ членовъ. Онъ смотрѣлъ на него и, видя его, такимъ гибкимъ и такимъ ловкимъ, онъ говорилъ себѣ, что Джіанни никогда не откажется отъ работы въ циркѣ, и эта мысль вырвала вдругъ изъ его груди громкій рыдающій звукъ. Старшій, изумленный этимъ крикомъ, который поразилъ его среди вихря его упражненій, сѣлъ на трапецію, наклонилъ впередъ голову въ пространство, по направленію къ жалкому, мѣшкообразному существу, ползавшему въ тѣни, сильнымъ ударомъ сорвалъ трапецію, которую выбросилъ въ широкое верхнее окно, разлетѣвшееся въ дребезги, подбѣжалъ къ своему брату, поднялъ его, прижалъ къ своей груди. И оба, обнимая другъ друга, начали плакать, плакать долго, не произнося ни слова. Потомъ

старшій братъ, окинулъ однимъ взглядомъ всѣ предметы, относившіеся къ его ремеслу, и простившись съ ними, въ порывѣ высокаго самоотверженнаго чувства, воскликнулъ: «Дитя, поцѣлуй меня... Братья Земганно умерли.. здѣсь только два плохихъ скрипача... Они теперь будутъ играть на своихъ скрипкахъ... сидя на стульяхъ».

Таковъ экспериментальный романъ. Что онъ дѣйствительно экспериментальный, то въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. И не только потому, что Гонкуръ давно уже поставленъ Эмилемъ Зола въ переднемъ ряду «экспериментаторовъ», «реалистовъ» и какъ онъ еще ихъ тамъ титулуетъ. Нѣтъ, мы имѣемъ въ «Братьяхъ Земганно» всѣ признаки «экспериментальнаго» романа. Во-первыхъ, авторъ не зараженъ никакимъ «философскимъ предразсудкомъ» и не «удаляется въ область неизвѣстнаго изъ-за удовольствія тамъ быть». Во вторыхъ, авторъ предъявляетъ читателю «протоколъ опыта». Изучивъ на самомъ себѣ и на своихъ отношеніяхъ къ брату Жюлю механизмъ дружбы и художническаго сотрудничества, онъ затѣмъ выбираетъ для своихъ дѣйствующихъ лицъ особую среду и особыя положенія, и показываетъ какъ они въ этой средѣ и въ этихъ положеніяхъ дѣйствуютъ.

Однако, не точно-ли такъ поступаютъ и всѣ другіе романисты и поэты, не претендующіе на титулъ экспериментаторовъ и не получающіе его отъ глашатая новой формулы романа? Тургеневъ и Рафаилъ Зотовъ, Викторъ Гюго и Достоевскій, Зола и Гоголь,—развѣ не одинаково ставятъ своихъ героевъ въ условія, которыхъ сами остаются хозяевами, и не изучаютъ предварительно «механизмъ фактовъ»? Безъ сомнѣнія, изучать они могутъ хорошо и дурно, тщательно и небрежно, придумывать «условія» могутъ подходящія и неподходящія. Это — особь статья, но собственно въ принципѣ всѣ они одинаково производятъ «опыты» въ томъ малоосмысленномъ значеніи, которое придаетъ этому слову Зола. Что же касается таинственной «области неизвѣстнаго» и «философскихъ и религіозныхъ предразсудковъ», то ее понять довольно мудрено. Кажется, шекспировскія вѣдьмы и выходцы съ того свѣта должны быть отнесены именно сюда. Если такъ, то не будемъ говорить о Шекспирѣ, подняться до котораго всемъ экспериментаторамъ вмѣстѣ будетъ, впрочемъ, много потруднѣе, чѣмъ геніальному Нелло вспрыгнуть на высоту четырнадцати футовъ сквозь деревянную бочку, а вѣдь и онъ, бѣдный, обломалъ себѣ ноги. Не будемъ говорить о Викторѣ Гюго, кажется, главномъ изъ подсудимыхъ, привлеченныхъ къ суду экспериментаторами. Но вотъ хоть бы Гюставъ Флоберъ, котораго Зола провозгласилъ когда-то величайшимъ изъ современныхъ французскихъ писателей и самымъ видимымъ изъ реалистовъ. Флоберъ написалъ «Искушеніе св. Антонія», въ которомъ фигурируютъ и дьяволъ, и символическія животныя, и всякая чертовщина. Но Зола не осудилъ за это Флобера, а напротивъ—превознесъ «Искушеніе» до небесъ. Правъ Зола въ этомъ частномъ случаѣ или нѣтъ—для насъ все равно. Но значитъ, и экспериментаторы не чужды фантастическихъ рамокъ, обусловленныхъ религіозными и философскими предразсудками. Въ «Братьяхъ Земганно» этого не замѣтно, но можно найти не мало *не* экспериментаторовъ, тоже обходящихся безъ чертовщины.

Спрашивается, въ чемъ же состоитъ типическая особенность «Братьевъ Земганно», какъ произведенія экспериментальной школы? Ни въ чемъ иномъ, какъ въ своеобразномъ отношеніи къ задачамъ искусства. Отношеніе это достаточно характеризуется уже выборомъ художественной профессіи для братьевъ Земганно. Есть что-то наивно-кощунственное въ готовности Гонкура перенести свои отношенія къ брату на взаимныя отношенія двухъ клоуновъ. Тутъ не въ дружбѣ дѣло, которая, разумѣется, можетъ связывать и клоуновъ, и романистовъ, а въ томъ, что интересный фактъ многолѣтняго литературнаго сотрудничества братьевъ Гонкуровъ уподобленъ акробатическому сотрудничеству братьевъ Земганно. Гонкуръ, не колеблясь, говоритъ о художественномъ геніѣ братьевъ Земганно и о величіи искусства кувыркаться черезъ голову, даже не подозрѣвая, что этимъ сближеніемъ онъ не клоуновъ поднимаетъ до поэтовъ, а напротивъ—поэтовъ низводитъ до уровня клоуновъ. До сихъ поръ прозвище акробата, клоуна, могло быть только кровной обидой для литератора вообще, для художника-литератора въ особенности, потому что въ этомъ прозвищѣ сказывался упрекъ въ готовности работать единственно для развлеченія праздной толпы, жаждущей пикантныхъ и головоломныхъ «штукъ», «туровъ». Клоунъ ломается передъ публикой, не только забывая свое достоинство, но всячески его терзая и нанося ему раны и безобразнымъ парикомъ, и блестками шутовского костюма, и нелѣпыми прыжками, и готовностью принять примѣрную пощечину или отшибить себѣ спину какъ бы неловкимъ паденіемъ на-земь. Все это клоунъ готовъ принять и перенести, лишь бы разсмѣшить публику и добиться насмѣшливыхъ аплодисментовъ, въ которыхъ больше презрѣнія, чѣмъ одобренія. Акробатъ-гимнастъ стоитъ какъ бы ступенькой выше: онъ не хохота ищетъ и не хохотъ возбуждаетъ, а удивленіе, даже извѣст-

ное сочувствіе, не тогда, разумѣется, когда передъ началомъ и послѣ окончанія «тура» дѣлаетъ безобразный традиціонный жестъ «ручкой», а когда рискуетъ жизнью единственно для того, чтобы доставить праздной толпѣ нѣсколько мгновеній жестокаго удовольствія, состоящаго въ напряженномъ состояніи нервовъ. Но нѣтъ, кажется, надобности распространяться о томъ, что и онъ служитъ самымъ низменнымъ инстинктамъ зрителей. Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго, если сказать художнику, что онъ клоунъ или акробатъ, значило до сихъ поръ нанести ему тяжкую обиду. Но вотъ одинъ изъ самыхъ видныхъ «экспериментаторовъ» переворачиваетъ все это наизнанку. И это гораздо характернѣе для школы, чѣмъ всѣ якобы ученыя разсужденія Эмиля Зола. Это—только неудачныя попытки ощупью искомаго теоретическаго оправданія, даже простая бляга; а то само разумѣніе цѣлей и задачъ искусства, разумѣніе, живьемъ, въ дѣйствіи.

Читатель замѣтилъ, можетъ быть, что изъ всего громаднаго арсенала «новѣйшихъ наукъ» Зола упоминаетъ только законы наслѣдственности и вліянія среды. Это объясняется очень просто. Когда-то, еще отнюдь не помышляя стать въ ряды «научныхъ» дѣятелей, Зола задумалъ серію романовъ подъ общимъ заглавіемъ «Ругонъ-Макары». Задача была въ томъ, чтобы изобразить исторію семейства, отпрыски котораго попадаютъ въ различныя условія, но сохраняютъ всетаки нѣчто родственное. Точнѣе говоря, это была не задача—задачей она стала уже потомъ—а пустая рамка, но рамка чрезвычайно удобная, въ которую ловкій романистъ можетъ вставить рядъ картинъ, имѣющихъ для читателя непрерывный и притомъ двойной интересъ новизны и стараго знакомства. Въ качествѣ рамки она уже не разъ и употреблялась романистами (напримѣръ, Евгеніемъ Сю), но, какъ и всякая рамка, она не предопредѣляла содержанія романа. Вставивъ въ нее нѣсколько талантливо написанныхъ картинъ изъ временъ второй имперіи, тогда всѣхъ занимавшей своимъ безпримѣрнымъ паденіемъ, Зола имѣлъ успѣхъ. Успѣхъ, кромѣ извѣстнаго таланта автора, обусловливался еще тщательностью работы. Этимъ, надо отдать справедливость «экспериментаторамъ», всѣ они болѣе или менѣе отличаются, и можно удивляться, напримѣръ, въ «Братьяхъ Земганно», массѣ труда и времени, которую Гонкуръ долженъ былъ затратить на изученіе акробатической техники. Но вотъ, по мѣрѣ того, какъ росъ успѣхъ Эмиля Зола, онъ и самъ все росъ въ своихъ собственныхъ глазахъ и, наконецъ, въ одинъ прекрасный день, возмнилъ, что онъ призванъ сдѣлать совершенно противоестественное и не логичное превращеніе искусства въ науку. Какъ тотъ мольеровскій герой, который не зналъ, что онъ всю жизнь говоритъ прозой, Зола не зналъ, что онъ въ «Ругонъ-Макарахъ» примѣняетъ законы наслѣдственности и вліянія среды. А когда узналъ, то съ большою рѣшительностью и во всеуслышаніе объявилъ, что изо лба его фиговое дерево произрастаетъ. И въ самомъ дѣлѣ, это было фиговое дерево; то-есть нѣчто такое, чему законами природы отведено свое мѣсто, съ которымъ лобъ художника не имѣетъ ничего общаго. Зола былъ бы совершенно правъ, если бы объявилъ, что въ устройствѣ рамки для «Ругонъ-Макаровъ» намѣренъ держаться «новѣйшихъ наукъ», которыя, дескать, я и буду изучать. Оставаясь въ предѣлахъ законовъ наслѣдственности, отчего художнику не примѣнить къ своимъ дѣйствующимъ лицамъ законъ, напримѣръ, атавизма, то-есть, отчего ему не вложить въ правнука характерныхъ чертъ прадѣда, видоизмѣнивъ ихъ согласно условіямъ времени и мѣста? Дѣло очень законное и, главное, очень простое, слишкомъ простое, чтобы по поводу его колебать небо и землю и толковать о переворотѣ въ искусствѣ. Но Зола не говоритъ, что онъ намѣренъ только усвоить истины «новѣйшихъ наукъ» и утилизировать ихъ въ романѣ по мѣрѣ силъ и умѣнья. Онъ утверждаетъ, что «экспериментаторы» создадутъ и создаютъ «научное знаніе» при посредствѣ «опыта». Это — чистый вздоръ, разумѣется, чистая бляга, не имѣющая никакого прямаго вліянія на дѣйствительный ходъ творчества «экспериментаторовъ». Рамка, сплетенная на основаніи законовъ наслѣдственности и вліянія среды, остается рамкой, а картина въ нее вставляется та, которую тотъ или другой экспериментаторъ можетъ написать при своемъ умственномъ и нравственномъ развитіи и при своей наблюдательности и талантѣ. Но бляга можетъ имѣть большое и совсѣмъ нехорошее косвенное вліяніе.

Возьмемъ хоть бы тѣ же законы наслѣдственности и представимъ себѣ, что три художника, А, В и С, рѣшили ими воспользоваться въ романѣ. При этомъ первые двое, не имѣя между собой ничего общаго по своимъ нравственнымъ и политическимъ идеаламъ, сходятся въ томъ, что берутъ законы наслѣдственности только для опредѣленія рамки романа, послѣдній же хочетъ ихъ утилизировать въ качествѣ содержанія, въ качествѣ непосредственной задачи романа. *А*—наивный республиканецъ. Сообразно этому, онъ даетъ намъ образъ пламеннаго республиканца временъ первой революціи, въ которомъ впервые разбужена ненависть

ко всякимъ привилегіямъ и монополіямъ. Это направленіе пламеннаго темперамента повторяется въ сынѣ перваго республиканца въ 1848 г. и во внукѣ въ настоящее время. Другіе члены семейства, обладая тѣмъ же темпераментомъ, бросаются, подъ вліяніемъ среды, въ военную дѣятельность временъ Наполеона I и въ пакости второй имперіи, и тамъ нравственно и даже физически растлѣваются. Все это осложняется, разумѣется, любовными интригами, драматическими коллизіями между родственниками, пожалуй, даже хоть подборомъ родичей. *B*—бонапартистъ. Онъ совсѣмъ иначе понимаетъ дѣло, и поэтому, взявъ даже ту же самую серію родственниковъ въ нисходящей и боковыхъ линіяхъ, дастъ картину совершенно иного содержанія, хотя вставленную въ ту же самую рамку. Наконецъ, *C*—просто блягеръ. Онъ говоритъ: «не мое дѣло казнить и миловать, судить и рядить кого-нибудь съ точки зрѣнія нравственныхъ или политическихъ идеаловъ». Я — ученый, химикъ, анатомъ, «протоколистъ», я наблюдаю факты и дѣлаю опыты. Я просто покажу, что законы наслѣдственности распространяются и на психическую дѣятельность человѣка, и такимъ образомъ добуду «научное знаніе». Сообразно этому, онъ... Трудно, впрочемъ, сказать, что онъ сдѣлаетъ, сообразно этому ни съ чѣмъ несообразному рѣшенію, ибо міръ Божій великъ, фактовъ въ немъ безчисленное множество, «опытовъ» можно натворить тоже безчисленное множество, прослѣдить дѣйствіе наслѣдственности можно на каждомъ шагу, хотя бы даже въ такой формѣ: жилъ-былъ танцмейстеръ, большой любитель своего искусства, женился онъ на кухаркѣ, тоже любительницѣ; жили они счастливо и родили сына, который уже пяти лѣтъ подрыгивалъ ножками польку-мазурку; но, получивъ отъ отца хорошее наслѣдство, онъ не нуждался въ отцовской профессіи, а напротивъ — попалъ въ высшій свѣтъ, плѣнивъ своимъ наслѣдственнымъ талантомъ одну прелестную маркизу; однако, въ дочери, родившейся отъ этого брака съ маркизой, то-есть, во внукѣ танцмейстера и кухарки, проснулись наклонности бабушки: она съ малыхъ лѣтъ все кашу варила. Если романистъ не дастъ ничего, кромѣ этого остова романа, а только размажетъ его тщательнѣйшимъ описаніемъ подробностей танцовальнаго и кулинарнаго искусствъ, такъ это будетъ романъ, можетъ быть, и экспериментальный, но ужъ, навѣрное, вполнѣ безсмысленный. Романистъ можетъ явить въ немъ необычайныя познанія по части хореографической и гастрономической техники, онъ можетъ вполнѣ безукоризненно примѣнить законы наслѣдственности, но никто же не скажетъ, что онъ дастъ «научное знаніе о человѣкѣ». А такъ какъ именно въ этомъ, по словамъ романиста-блягера, состояла его цѣль, то всякій пойдетъ искать научнаго знанія тамъ, гдѣ его въ самомъ дѣлѣ можно найти, а романъ прочтетъ такъ себѣ для развлеченія, для того же, для чего ходятъ смотрѣть акробатовъ и клоуновъ.

Безъ сомнѣнія, бляга не всесильна. Здоровые инстинкты, пробиваясь изъ-подъ нея, спасали до сихъ поръ самого Золя отъ роли клоуна, хотя въ его мелкихъ разсказахъ, входящихъ время отъ времени въ «Парижскія письма», можно найти вещи, очень близко подходящія къ роману: жилъ-былъ танцмейстеръ и женился на кухаркѣ. Есть у него, напримѣръ, разсказъ о томъ, какъ одинъ молодой человѣкъ наставилъ рога старику и сдѣлалъ его женѣ ребенка въ то самое время, когда старикъ объѣдался устрицами, въ надеждѣ, что эта пища возбудитъ его дѣтородную способность. Пожалуй, и для этого разсказа можно придумать рамку изъ цвѣтовъ «новѣйшихъ наукъ», можно, напримѣръ, поблягировать насчетъ законовъ дѣторожденія. Но на самомъ дѣлѣ, какихъ ни измышляй пружинъ, чтобъ мужу буйю ухитриться, а истина должна открыться. Истина же состоитъ въ томъ, что это просто пикантный разсказъ на стародавнюю тему женскаго грѣхопаденія, разсказъ, эксплоатирующій самые низменные инстинкты читателей, которые въ сущности съ такимъ же интересомъ слѣдятъ за исторіей стараго рогоносца и его молодой жены, съ какимъ зрители слѣдятъ за кунстштюками гимнаста и балаганствомъ клоуна. Если тутъ и есть разница, то она отнюдь не въ пользу романиста; романистъ владѣетъ болѣе могучимъ орудіемъ, чѣмъ мускулы гимнаста, и, значитъ, съ него больше спрашивать можно. Въ сущности, подъ всѣми этими толками о наукѣ, «опытѣ» и тому подобныхъ прекрасныхъ вещахъ скрывается простая распущенность. Люди не имѣютъ строго опредѣленныхъ нравственныхъ и политическихъ идеаловъ и, вмѣсто того, чтобы потрудиться надъ выработкою ихъ, говорятъ: «намъ ничего этого и не нужно, мы ученые, мы создаемъ науку о человѣкѣ». А такъ какъ въ этомъ смыслѣ одинаково интересны, одинаково достойны изученія и клоунъ, и Наполеонъ III, и герой «Брюха Парижа», и старый рогоносецъ, объѣдающійся устрицами то романисты распускаютъ себѣ возжи или еще точнѣе, играютъ роль тѣхъ малыхъ и элементарно развитыхъ животныхъ, которыя не сами ходятъ за добычей, а пассивно ловятъ все, что принесетъ къ нимъ волной Попадется вторая имперія —прекрасно, но можетъ попасться и пошлѣйшая исторія

стараго рогоносца, объѣдающагося устрицами, и исторія братьевъ Земганно: все перемелется жерновами экспериментальнаго романа и изо всего мука выйдетъ. Такая распущенность въ выборѣ предметовъ художественнаго воспроизведенія, разумѣется, отнюдь не выкупается тщательностью, съ которою экспериментаторы изучаютъ разъ намѣченный предметъ. Во всякомъ случаѣ, каковы бы ни были познанія въ этомъ родѣ и хотя бы, напримѣръ, Гонкуръ, для вящшаго изученія гимнастики, самъ кувыркался на трапеціи и надѣвалъ клоунскій парикъ—о «научномъ знаніи человѣка» тутъ серьезнаго разговора быть не можетъ.

Но если толки экспериментаторовъ о добываемомъ ими научномъ знаніи представляютъ просто блягу, пустословіе, то не обнаруживаютъ-ли, по крайней мѣрѣ, наши романисты того болѣе скромнаго, но болѣе приличествующаго искусству знанія человѣческаго сердца, которое выражается сильнымъ вліяніемъ на читателя? C'est selon, какъ говорятъ французы. Вѣдь и клоунъ удачнымъ, то-есть хохотъ вызывающимъ фарсомъ показываетъ, что онъ знаетъ человѣческое сердце или, по крайней мѣрѣ, сердце посѣтителей цирка. Если поэтому, напримѣръ, Золя, въ вышепомянутомъ разсказѣ объ устрицахъ, старомъ мужѣ и молодой женѣ, разсчитывалъ вызвать въ читателѣ улыбку да кое-какіе скабрезные помыслы, то онъ, вѣроятно, достигъ своей цѣли и тѣмъ самымъ показалъ, что знаетъ человѣческое сердце. Однако, это знаніе таково, что о немъ приличнѣе сказать: вотъ человѣкъ, который знаетъ, гдѣ раки зимуютъ. Въ этомъ смыслѣ какой-нибудь Бело съ своей «Огненной женщиной» долженъ быть поставленъ гораздо выше Золя. Не объ этомъ, разумѣется, знаніи рѣчь идетъ. Мы знаемъ, что, напримѣръ, Жоржъ Зандъ, каковы бы ни были въ другихъ отношеніяхъ ея талантъ и поэтическая манера, умѣла съ такой силою предъявлять, «объективировать» свое задушевное, что оно становилось вмѣстѣ съ тѣмъ задушевнымъ многаго множества читателей и читательницъ. Конечно, это зависѣло не только отъ глубокой вѣры автора въ это свое задушевное, а и отъ тонкаго знанія струнъ, которыя надо затрогивать въ душѣ читателя, чтобы произвести впечатлѣніе. Такъ вотъ любопытно было бы знать, въ какой мѣрѣ обладаютъ «экспериментаторы» *этимъ* знаніемъ.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что «Братья Земганно»—одно изъ самыхъ задушевныхъ произведеній экспериментальной школы вообще и Гонкура въ особенности. Но пусть же читатель, отрѣшившись отъ внѣшняго интереса фабулы романа, попробуетъ опредѣлить, какое впечатлѣніе онъ вынесъ изъ этой трогательной исторіи двухъ клоуновъ. Всѣ люди, всѣ человѣки, въ томъ числѣ и клоуны. И площадному гаеру не чужда возможность страшной, потрясающей драмы, и гимнастъ можетъ являть образцы высокаго. А тутъ Гонкуръ еще всѣми силами старается внушить намъ уваженіе къ героямъ, не только украшая ихъ достоинствами ума и сердца, но возводя еще ихъ въ санъ художниковъ. Что же выходитъ на дѣлѣ? Какого эффекта достигаетъ авторъ? Напримѣръ, этотъ геніальный Джіанни, который въ каждую свободную минуту вертитъ стулья и ставитъ бутылки вверхъ дномъ,—развѣ это, въ концѣ концовъ, не уморительнѣйшая фигура, способная возбудить только смѣхъ? Гонкуръ выбивается изъ силъ, чтобы возбудить сочувствіе къ Джіанни, сидящему въ позѣ мыслителя, изобрѣтателя, пожираемаго своею идеей, но никакъ не удается автору вселить въ читателя свое собственное отношеніе къ честолюбивому акробату, и даже когда этотъ человѣкъ предается одиночной и тайной «черезголовицѣ» и затѣмъ въ порывѣ самоотверженія, отказывается отъ любимаго искусства—насъ разбираетъ всетаки только смѣхъ и смѣхъ. А когда Нелло ломается передъ Томпкинсъ и, напримѣръ, «на одной изъ своихъ вывороченныхъ ногъ, точно на гитатрѣ, исполняетъ передъ красавицей любовный романсъ», такъ это выходитъ не только не художественно, какъ думаетъ Гонкуръ, а просто на просто омерзительно.

А, между тѣмъ, Гонкуръ, безъ сомнѣнія,—человѣкъ талантливый. Почему же его не вывозитъ ни талантъ, ни тщательность работы? Потому, что онъ самъ—акробатъ, потому, что онъ относится къ своему дѣлу совершенно такъ же, какъ относится добросовѣтный гимнастъ, вродѣ Джіанни, къ своему. Онъ въ сущности совершенно правъ, когда воплощаетъ свою собственную и брата своего, Жюля, жизнь въ формѣ жизни братьевъ Земганно. Въ принципѣ, это—кощунство, поруганіе и оплеваніе поэзіи, но для «экспериментаторовъ» это—не кощунство, а наивная правда. Со стороны, однако, такое уподобленіе поэзіи и ремесла клоуновъ остается всетаки смѣшнымъ или возмутительнымъ.

Смѣшно или возмутительно не то, что герои романа—акробаты, что они мечтаютъ о славѣ, любятъ, самоотвергаются. Все это въ порядкѣ вещей. И даже въ «Братьяхъ Земганно» можно найти два-три эпизода, въ которыхъ акробаты, являясь героями драмы, не возбуждаютъ, однако, ни смѣха, ни негодованія. Но эти эпизоды не касаются главныхъ дѣйствующихъ лицъ.

Когда еще былъ живъ отецъ братьевъ Земганно, въ труппѣ участвовалъ великанъ и силачъ Рабастанъ, глупое животное, которое умѣло только ѣсть и играть мускулами. Когда труппа пріѣзжала въ какой-нибудь городъ или мѣстечко, она вызывала мѣстныхъ жителей помѣряться силой съ Рабастаномъ на пари. Рабастанъ всегда побѣждалъ и доставлялъ труппѣ не малый доходъ. Но вотъ, однажды, къ великому ужасу всей семьи акробатовъ, Рабастана повалилъ вызванный имъ на бой мельникъ. «Труппа еще не вышла изъ оцѣпенѣнія, потрясенная и приниженная, какъ вдругъ раздался канальски-лукавый голосъ клоуна, публично крикнувшаго ошеломленному Геркулесу, что онъ черезчуръ сильно обнималъ одну грязную женщину въ ночь, предшествовавшую единоборству... Страшный ударъ повалилъ клоуна на землю... Клоунъ сказалъ правду. Дѣйствительно, атлетъ, до сихъ поръ бывшій влюбленнымъ только въ ѣду, внезапно воспылалъ нѣжностью къ одной женщинѣ, которую таскалъ за собою и которой приносилъ въ жертву значительную часть своихъ силъ. Печальнѣе всего для артиста и труппы въ этомъ пораженіи было то, что онъ совершенно убилъ въ немъ сознаніе своего превосходства, что онъ потомъ былъ побѣжденъ еще два или три раза, и что съ этого времени онъ впалъ въ нѣмое отчаяніе и меланхолическую увѣренность, что его сила заколдована, и ничѣмъ нельзя было уговорить его совершить хотя одинъ изъ прежнихъ подвиговъ».

Другой эпизодъ. Отецъ братьевъ умеръ, дѣла шли плохо, и Джіанни рѣшилъ продать весь свой сценическій инвентарь, чтобы уѣхать и подняться вмѣстѣ съ Нелло со ступеньки бродячихъ балаганщиковъ на высшую. Покупатель нашелся, дѣло сдѣлано, Джіанни возвращается къ себѣ домой. «У входа въ балаганъ стояла Колотушка (примадонна) и поджидала его. Въ послѣднее время онъ уже нѣсколько разъ замѣчалъ, что она хочетъ ему что-то сказать; но, когда нужно было говорить, она глотала слова.—«Наконецъ, это вы, мосье Джіанни... Васъ долго не было сегодня... Я хотѣла...»— И она остановилась, и потомъ произнесла въ смущеніи: «Короче, вотъ въ чемъ дѣло... говорятъ, что дикія женщины теперь въ модѣ... что это приноситъ хорошій доходъ... И я уже справлялась, какъ это онѣ ѣдятъ мясо... Ничего особенно гадкаго, знаете, нѣтъ въ сырыхъ цыплятахъ... Къ тому же мнѣ нечего важничать... И для васъ я готова съѣсть ихъ сколько угодно... Даже сигары...» — Джіанни посмотрѣлъ на нее. Колотушка покраснѣла и сквозь черноту ея загорѣлаго лица блеснулъ лучъ нѣжнаго чувства, которое она питала къ молодому антрепренеру, глубоко затаивъ его на днѣ своей души. Бѣдная дѣвушка, побуждаемая этою любовью и не находя другого средства поддержать падающія дѣла фирмы, подавила въ себѣ горделивое чувство примадонны, такъ какъ пляска на канатѣ доставляла ей первенствующее положеніе въ труппѣ, и соглашалась, въ порывѣ этой высокой самоотверженности, занять самую низкую ступеньку на лѣстницѣ профессіи акробатовъ: пожирательницы живыхъ куръ».

Казалось бы, радости и горести, вообще душевная жизнь такого глупаго животнаго, какъ Рабастанъ, и такой распутной бабенки, какъ Колотушка, не могутъ идти ни въ какое сравненіе съ тѣмъ, что волнуетъ братьевъ Земганно: тамъ лучезарный ореолъ искусства, а здѣсь скотскія ласки и готовность жрать живыхъ куръ. На дѣлѣ, однако, выходитъ наоборотъ. Рабастанъ и Колотушка—акробаты низшаго разбора, такъ сказать, чернь искусства, работающая изъза куска хлѣба. Но вы навѣрное не засмѣетесь, читая приведенные эпизоды, а напротивъ — съ интересомъ и участіемъ будете слѣдить за отчаяніемъ Рабастана, лишеннаго возможности по-прежнему «работать» изъ-за того, что въ немъ, наконецъ, проснулось что-то человѣческое, хотя и облеченное въ скотскую форму, и за дѣйствительно трогательнымъ самоотверженіемъ Колотушки. Эти эпизоды не возбудятъ въ васъ смѣха, именно потому, что Рабастану и Колотушкѣ отведенно настоящее мѣсто. Въ ихъ печальной судьбѣ вы видите суровый приговоръ ихъ жалкому и презрѣнному ремеслу, которое такъ уродуетъ человѣка, что даже лучшія его качества получаютъ какую-то обдерганную, общипанную форму; видите приговоръ и всему тому порядку, который создаетъ жранье живыхъ куръ изъза куска хлѣба.

Значитъ, смѣшно не то, что братья Земганно фигурируютъ въ качествѣ героевъ романа. Смѣшно то, что на нихъ брошенъ свѣтъ самодовлѣющаго искусства, въ себѣ самомъ несущаго свою цѣль и оправданіе. Колотушка жретъ живыхъ куръ. Это понятно, это даже возвышенно, ибо она практикуетъ свое «искусство» не ради него самого, не ради того, чтобы возбудить удивленіе праздной толпы, а, во-первыхъ, для того, чтобы жить, и, во-вторыхъ, для того, чтобы поправить дѣла любимаго человѣка. Цѣль не въ жраньѣ куръ: это жранье есть только средство для достиженія иныхъ цѣлей, изъ которыхъ одна, по крайней мѣрѣ, законна, а другая самоотверженна. Не Колотушкина вина въ томъ, что она можетъ достигать этихъ цѣлей только такимъ през-

рѣшнымъ средствомъ, какъ ея «искусство»: она—ни въ чемъ неповинная sancta simplicitas. Другое дѣло—братья Земганно. Въ ихъ исторіи, съ тѣхъ поръ какъ они бросили отцовскій балаганъ, ни разу не упоминается вопросъ о пропитаніи. Онъ давалъ себя безъ сомнѣнія знать. Но Гонкуръ имѣлъ безтактность скрыть эту сторону дѣла, полагая вѣроятно тѣмъ самымъ возвысить братьевъ и ихъ искусство. Никакихъ иныхъ цѣлей братья Земганно тоже не преслѣдуютъ, что уже самою профессіей ихъ опредѣляется. Они исполняютъ черезголовицу для черезголовицы и арабскій прыжокъ для арабскаго прыжка. Ихъ искусство замыкается въ самомъ себѣ и не порождаетъ ничего высшаго. Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. На то они и акробаты. Но, увѣнчавъ ихъ лаврами художества, Гонкуръ не только сдѣлалъ ихъ смѣшными, а показалъ, кромѣ того, что самъ онъ, пиша «Братьевъ Земганно», смотрѣлся въ зеркало. Его собственное искусство, поэзія, романъ для него тоже въ самомъ себѣ замыкается. Зола скажетъ, что это неправда, что изъ «Братьевъ Земганно» истекаетъ научное знаніе человѣка. Но, такъ какъ это—одно пустословіе, то можно съ увѣренностью сказать, что изъ «Братьевъ Земганно» ровно ничего не проистекаетъ. И вотъ почему романъ этотъ въ цѣломъ не будитъ въ читателѣ ничего, кромѣ смѣха, хотя, авторъ думалъ возвести своихъ клоуновъ въ перлъ созданія.

III.

Мнѣ остается слишкомъ мало времени и мѣста, чтобы подробно говорить о романѣ Крестовскаго-псевдонима «Баритонъ». Къ счастію, цѣль предлагаемыхъ замѣтокъ и не требуетъ такой подробности: я не думаю разбирать «Баритона».

Это — произведеніе не блестящее. Отъ него исходитъ только такой ровный, мягкій, пріятный, не рѣжущій глазъ свѣтъ, какой даетъ рабочая лампа подъ абажуромъ. Главный недостатокъ романа состоитъ въ неумѣренной идеализаціи бурсы: семинаристы Крестовскаго-псевдонима почти всѣ такъ умны, такъ добродѣтельны, цѣломудренны, такъ жаждутъ просвѣщенія и такъ любятъ семинарію, мѣсто своего воспитанія, что если-бы мы даже не знали «Бурсы» Помяловскаго, пришлось бы усомниться въ вѣрности такого trop de fleurs. Главное достоинство романа состоитъ въ теплой тенденціи и въ пониманіи задачъ искусства, каковое пониманіе, какъ и въ «Братьяхъ Земганно», выражается не только практически, самимъ романомъ, а и теоретически затрогивается его фабулой. Крестовскій-псевдонимъ тоже немножко смотрѣлся въ зеркало, когда писалъ «Баритона».

Архіерейскій пѣвчій, обладающій изъ ряда вонъ выходящимъ голосомъ («баритономъ») и талантомъ случаемъ наталкивается на хорошую женщину, госпожу Майцову. Хорошая женщина пригрѣваетъ молодаго бурсака, нѣсколько дикаго, застѣнчиваго, неотшлифованнаго и будитъ дремлющіе въ немъ задатки хорошихъ мыслей и чувствъ. Стараніями ея дѣло налаживается такъ, что бурсакъ долженъ ѣхать въ Петербургъ для довершенія своего артистическаго образованія; но нѣкоторыя печальныя особенности «кутейнической» среды не даютъ осуществиться этому плану. «Баритонъ», только что разбуженный къ свѣту, радости и простору, умираетъ чуть не прямо отъ отчаянія, что эти райскія двери, на минуту передъ нимъ открытыя, вдругъ захлопываются.

Такова фабула романа. Читатель видитъ, что и здѣсь, какъ въ «Братьяхъ Земганно», герой романа—художникъ, мечтающій объ артистической карьерѣ. Но Гонкуръ даетъ намъ какихъ-то фантастическихъ царей искусства и не даетъ ни единаго слова осужденія ихъ средѣ, даже не пытается реабилитировать ее, до такой степени онъ увѣренъ въ ея великолѣпіи и правомѣрности ея положенія. (Эпизоды вродѣ исторіи Рабастана и Колотушки вкраплены мимоходомъ и относятся только ко времени площадного поприща братьевъ Земганно, а съ тѣхъ поръ, какъ они продали свой балаганъ и стали давать представленія въ циркахъ, все было добро зѣло). Крестовскій-псевдонимъ поступаетъ какъ разъ наоборотъ. Правда, какъ уже замѣчено, товарищи и начальники «баритона» большею частью слишкомъ хороши, слишкомъ идеальны. Но этой неумѣренной идеализаціей авторъ, въ сущности, какъ бы говоритъ: посмотрите, вѣдь это—люди, превосходные люди; за что же вы гоните и оскорбляете ихъ, за что отгоняете ихъ отъ чаши жизни своими предразсудками и своимъ неумѣніемъ устроить сносный общественный порядокъ? Ради этого укоризненнаго вопроса и производится вся неумѣренная идеализація: авторъ превозноситъ людей, а не среду, не положеніе, какъ это дѣлаетъ Гонкуръ. И послѣдняя лесть, конечно, гораздо горше первой. Горячія рѣчи госпожи Майцовой въ защиту права «кутейниковъ» на свѣтъ и просторъ и тяжелое раздумье на эту тему Ивановскаго (такъ зовутъ баритона) многимъ могутъ показаться теперь уже труизмами. Но вѣдь роману двадцать лѣтъ, и авторъ все-таки совершенно справедливо говоритъ въ коротенькомъ предисловіи: «Баритонъ» пи-

санъ въ 1857 году. Многое съ тѣхъ поръ измѣнилось въ обществѣ и въ той средѣ, откуда взять романъ; но, какъ бы ни были велики внѣшнія перемѣны, за ними стоятъ еще цѣлые ряды укоренившихся понятій, обычаевъ, матеріальныхъ преградъ, которыя не такъ скоро допускаютъ минувшее сдѣлаться *только* воспоминаніемъ».

Ясно во всякомъ случаѣ, что авторъ написалъ романъ не для того, чтобы разсказать анекдотъ объ одномъ архіерейскомъ пѣвчемъ, не для того, чтобы доставить читателю мимолетное развлеченіе и просто приковать его вниманіе къ различнымъ туръ-дефорсамъ беллетристики. Авторъ нисколько не скрываетъ не только отъ себя, но и отъ читателей, что хочетъ произвести на нихъ давленіе въ совершенно опредѣленномъ смыслѣ. Онъ, пожалуй, тоже дѣлаетъ «опытъ», но не для той нелѣпой и, собственно говоря, мнимой, никѣмъ не практикуемой цѣли, чтобы добыть путемъ романа научное знаніе. Авторъ производитъ опытъ надъ читателемъ: онъ хочетъ знать, можно ли этого читателя расшевелить изображеніемъ загубленной, забитой, приниженной жизни. Нашему автору опытъ удался; но онъ могъ бы и не удасться, и это все-таки ничего не говорило бы противъ такой постановки вопроса о цѣляхъ и задачахъ искусства. Неудача свидѣтельствовала бы только о слабости таланта, а не о невѣрности замысла, тогда какъ, при «экспериментальномъ» пониманіи задачи романа, талантъ Гонкура ничего не вывезъ.

Само собою разумѣется, что если самъ авторъ такъ понимаетъ свою художественную задачу, то это пониманіе должно отразиться и на личности героя романа, тоже художника. Гонкуръ вложилъ братьямъ Земганно свое пониманіе, Крестовскій-псевдонимъ долженъ вложить Ивановскому—свое. Такъ оно и есть въ дѣйствительности. И «Баритонъ», подобно Джіанни, мечтаетъ о славѣ, и его манитъ подняться къ высшимъ ступенькамъ искусства. Но какая разница! Въ самыхъ пылкихъ своихъ мечтахъ Джіанни не выбивается изъ заколдованнаго круга трапецій и вверхъ дномъ поставленныхъ бутылокъ, который созданъ для него усердіемъ Гонкура. Передъ «Баритономъ», напротивъ, Майцова распахнула на одно мгновеніе истинно райскія двери: тамъ, за этими дверями, юному семинаристу рисуется залитое ослѣпительнымъ блескомъ пространство, которое онъ хочетъ не только наполнить своимъ пѣніемъ и музыкой, но въ которомъ намѣчаются для него, пока еще смутными и неопредѣленными чертами, «счастье и свобода, широкій путь, разумный трудъ». Эта неопредѣленность мечты вполнѣ приличествуетъ юному, только что разбуженному бурсаку; но онъ уже знаетъ цѣну счастья и свободы, широкаго пути и разумнаго труда. Онъ лихорадочно набирается знаній, роется въ книгахъ, горько раздумывается надъ своимъ и своихъ братьевъ по духу положеніемъ, и временами прорывается уже у него бурный протестъ. Если бы его не подкосила злая судьба и онъ попалъ бы въ Петербургъ, ему пришлось бы, вѣроятно, пережить много разочарованій. Очень можетъ быть, что онъ забросилъ бы и свое пѣніе, и музыку, потому что для Ивановскаго, какъ и для Крестовскаго, искусство не есть самодовлѣющая цѣль, а только средство. Но сѣмена добра и правды остались бы и дали бы цвѣтъ и плодъ.

Таковъ «опытъ» Крестовскаго-псевдонима. *Этотъ* опытъ дорого стоитъ, и, значитъ, «не хвально намъ искать правды» у экспериментаторовъ, которые такъ смахиваютъ на шутовъ гороховыхъ.

V.

Обличеніе и казнь порока *).

Изъ современной жизни. Фельетонные разсказы Маститаго беллетриста. Спб. 1879.
Аристократія гостиннаго двора. Картины нравовъ Н. Морскаго. Спб. 1879.

I.

Русская «либеральная» литература въ чемъ-то ужасно виновата. Это можно отъ многихъ вѣрныхъ людей услышать. Это говорятъ и г. Цитовичъ, и г. Незлобинъ, и кн. Мещерскій, и г. Зарубинъ, и г. Катковъ, и г. Комаровъ, и Jean qui pleure, и Jean qui rit. Чего ужъ, значитъ, вѣрнѣе! Въ чемъ именно состоитъ вина либеральной литературы, объ этомъ я говорить не буду—пусть читатель справится въ первоначальныхъ источникахъ. Предупреждаю только его, чтобы онъ надѣлъ перчатки, ибо—грязно. Но странно, что всѣ эти чрезвычайно почтенные господа, справедливо или несправедливо взваливая на литературу отвѣтственность за преступленія, имѣющія политическій характеръ, ничего не говорятъ о преступленіяхъ, лишенныхъ всякаго политическаго оттѣнка. Почему бы этимъ чрезвычайно почтеннымъ господамъ не заняться разработкою отношеній между литературой съ одной стороны и Ландсбергами, Маевскими, Чижевскими, Юханцевыми и проч., и проч., и проч., имъ же имя легіонъ—съ другой? Тема очень пикантная, очень благодарная, тѣмъ болѣе, что за послѣднее время совершенно

*) 1879 г., октябрь.

не политическія убійства, кражи, всякія мерзости принимаютъ и количественно, и качественно колоссальный характеръ. Вамъ случается слышать такое неслыханное, что по истинѣ «за человѣка страшно» становится. Такой нравственной одичалости, о какой свидѣтельствуетъ наша криминальная хроника чуть не каждый день, давно уже въ лѣтописяхъ русской жизни не встрѣчалось. Главное, это нравственная одичалость. Преступленія не диво. Всегда и вездѣ они совершались, но совсѣмъ не всегда и не вездѣ является такъ много нравственно-тупыхъ преступниковъ, затѣвающихъ и исполняющихъ свое дѣло «съ легкимъ сердцемъ», съ полною беззаботностью, съ видомъ «нравственнаго карлика», какъ выразился о Ландсбергѣ, кажется, его защитникъ. Такъ вотъ нельзя-ли подыскать корней этому обстоятельству въ литературѣ, въ «либеральной» или въ какой иной, это ужъ какъ придется. Невѣроятнаго тутъ ничего нѣтъ, ибо какъ разъ въ наше время и въ литературѣ происходитъ невиданное и неслыханное.

За послѣднее время русскій читатель, пробѣгая столбцы газетъ, не разъ, вѣроятно, спрашивалъ себя съ недоумѣніемъ: откуда у насъ въ литературѣ взялись бонапартисты? Кажется, Богъ избавилъ Россію отъ участи Франціи вынести на своихъ плечахъ Наполеоновъ I и III и имѣть въ перспективѣ Наполеона V. Всякіе виды видало наше не всегда счастливое отечество, но эта чаша миновала его. Откуда же бонапартисты? Откуда эти люди, до такой степени лишенные стыда, что какъ бы даже гордятся своей безобразной наготой, до такой степени нравственно ограниченные, что имъ никакой законъ не писанъ? Ложь, клевета, сквернословіе—все это, пожалуй, не ново въ нашей литературѣ, но совершенно нова та циническая откровенность, съ которою это теперь все продѣлывается. Прежде люди всетаки старались изворачиваться, старались показать, что, по крайней мѣрѣ, элементарныя требованія добропорядочнаго поведенія не совсѣмъ чужды ихъ пониманію и что есть у нихъ за душой нѣчто такое, чего они въ оплеванномъ видѣ публикѣ не покажутъ. Когда человѣкъ дѣлаетъ гадость и при этомъ краснѣетъ, извиняется или даже просто лжетъ, утверждая, что онъ этой гадости не сдѣлалъ, то вамъ всетаки остается утѣшеніе, что прародители наши не даромъ пострадали за вкушеніе плода съ древа познанія добра и зла. Ну, сдѣлалъ человѣкъ мерзость, это очень прискорбно, но, по крайней мѣрѣ, онъ не утратилъ способности понимать разницу между мерзостью и героическимъ подвигомъ. Теперь—и это чисто бонапартистская черта—люди сплошь и рядомъ готовы требовать лаврового вѣнка или монтіоновской преміи за такую мерзость, относительно которой и малыя дѣти, и выжившіе изъ ума старцы не могутъ, кажется, усомниться, что она доподлинная мерзость. И когда этимъ людямъ не даютъ ни лаврового вѣнка, ни монтіоновской преміи, а, напротивъ, ставятъ ихъ къ позорному столбу на судъ общественнаго мнѣнія или тянутъ къ установленному писанымъ закономъ суду, они искренно раздражаются на манеръ неправо оскорбленной невинности и грозятъ совершить еще и еще героическій подвигъ, то есть еще и еще мерзость. Они не понимаютъ! Вотъ что, по истинѣ, ужасно. Они не понимаютъ, подобно тому бушмену, который, на вопросъ о разницѣ между добромъ и зломъ, отвѣчалъ: хорошо украсть чужую жену, дурно, когда у меня украдутъ мою жену. Но первобытная наивность бушмена есть зачатокъ, сѣмя, изъ котораго, при благопріятныхъ условіяхъ, можетъ вырости здоровое и вѣтвистое древо познанія добра и зла. Совершенно такая же наивность Фіаленовъ де-Персиньи и Полей де-Кассаньяковъ есть, напротивъ, признакъ разложенія, за которымъ неизбѣжно должна слѣдовать смерть. Нужно продолжительное подготовительное дѣйствіе какихъ то особенно развращающихъ условій, чтобы получился такой результатъ, какъ выбѣганіе на улицу нагишомъ, выбѣганіе наивно воинствующее, не только не сопровождающееся какимъ-нибудь сомнѣніемъ насчетъ приличія подобныхъ поступковъ, но совершающееся даже съ гордостью. Фрина, являясь ареопагу голая, била, по крайней мѣрѣ, на свою красоту, всѣми признанную. А тутъ какая ужъ красота!

Всегда и вездѣ могутъ оказаться отдѣльныя личности, страдающія нравственнымъ слабоуміемъ, такъ же неспособныя понимать, что хорошо и что дурно, какъ слѣпорожденный не понимаетъ, какая разница между краснымъ и синимъ цвѣтомъ. Но такое явленіе имѣетъ исключительно психіатрическій интересъ: причины его только въ исключительныхъ случаяхъ или съ чрезвычайно общей точки зрѣнія могутъ разрости до размѣровъ общественнаго вопроса. Иное дѣло, когда нравственное слабоуміе всплываетъ наверхъ en masse и само получаетъ характеръ общественнаго дѣятеля.

Съ недавняго времени у насъ сильно пошелъ въ ходъ такой беллетристическій пріемъ. Разузнаетъ писатель интимныя подробности чьей-нибудь жизни, разузнаетъ путемъ дружбы, интимныхъ отношеній, разспросовъ у свѣдущихъ людей, а иной, можетъ быть, даже путемъ совершенно спеціальнаго служебнаго положенія (см. свѣдѣнія о г. Н.

Морскомъ въ фельетонѣ «Недѣли» № 32 за 1878 годъ). Разузнаетъ и затѣмъ «изобличаетъ». «Изобличаетъ», впрочемъ, неподходящее слово. Это въ старые годы изобличали, а теперь опишутъ вашъ носъ, вашъ пиджакъ, обивку вашей мебели, дадутъ вамъ прозрачный псевдонимъ и затѣмъ сплетая были съ небылицей, припишутъ вамъ какую нибудь гнусность. Такъ какъ вы прямо всетаки не названы, то авторъ пасквиля всегда можетъ сказать: — Христосъ, молъ, съ тобой, это игра ума и случайное совпаденіе. Пріемъ высокоблагородный, конечно, но нѣсколько рискованный, потому мало-ли какія непріятности могутъ изъ-за этой самой игры ума выйти.

Авторы произведеній, заглавія которыхъ выписаны въ заголовкѣ предлагаемыхъ замѣтокъ, оба очень хорошо знакомы съ этимъ истинно художественнымъ и высокоблагороднымъ пріемомъ. У г. Н. Морского находимъ слѣдующій разговоръ:

«— Что же за пріятность: сидишь съ человѣкомъ и разговариваешь, а онъ за тобой, какъ соглядатай, все примѣчаетъ...

«— Этакъ и насъ опишутъ когда, тетенька, пошутила Палаша.

«— Не можетъ этого быть, спокойно рѣшила Марья Гавриловна, допивъ и накрывъ чашку: — побоятся... приказчики-то такъ намнутъ бока...

«И, задумавшись на мгновеніе, прибавила:—это пустое... писатель все человѣкъ бѣдный, не рѣшится на такое дѣло... а то и подкупить его можно» («Аристократія Гостиннаго двора», стр. 135).

Съ своей стороны, и г. Маститый Беллетристъ сообщаетъ въ одномъ изъ «фельетонныхъ разсказовъ» какъ въ газетѣ «Плевательница» пишутся пасквили съ прозрачными псевдонимами (Шахматовъ-Шашкинъ, Ломовъ-Дуроломовъ и проч.) и какъ редакторъ этой чрезвычайно почтенной газеты, получивъ отъ одной дамы отказъ раздѣлить его пламенныя къ ней чувства, нагло угрожаетъ ей пасквилемъ. «Отличная штука выйдетъ—говоритъ онъ:—особенно если мы обставимъ и какъ слѣдуетъ изобразимъ въ беллетристической формѣ, эдакъ въ видѣ маленькаго романчика, героемъ котораго сдѣлаемъ нѣкоего пламеннаго брюнета, именуемаго господиномъ Ломовымъ» («Изъ современной жизни», стр. 385). Впрочемъ, этого мерзавца, которому авторъ далъ кличку по шерсти — Мерзенштернъ, подъ конецъ разсказа, повидимому, просто бьютъ.

Итакъ гг. Н. Морской и Маститый Беллетристъ хорошо знакомы съ тѣмъ благороднымъ художественнымъ пріемомъ, который клеймится названіемъ пасквиля, и, повидимому, по достоинству цѣнятъ его. А такъ какъ эту свою оцѣнку они изложили на страницахъ «Новаго Времени», то тѣмъ изумительнѣе мужество этой газеты, не только напечатавшей повѣсть «Докторъ Самохвалова-Самолюбова», но и принявшей по этому поводу пасквиль подъ свою спеціальную защиту. Читателю, вѣроятно, извѣстна эта исторія. Въ «Новомъ Времени» начали печатать повѣсть «Докторъ Самохвалова-Самолюбова», а такъ какъ въ ней, надо думать, были изображены носъ, цвѣтъ глазъ, обивка мебели и проч. доктора Кошеваровой-Рудневой, то и сама г-жа Руднева себя узнала и другіе ее узнали. Надо всетаки отдать справедливость нашему обществу, этотъ пасквиль возбудилъ всеобщее негодованіе, а г-жа Руднева подняла искъ о диффамаціи. Редакція «Новаго Времени», съ своей стороны, не отрицала, что это, дѣйствительно, пасквиль, но находила, что профессія газеты «Плевательница» и ея редактора Мерзенштерна не только не есть что нибудь зазорное, а напротивъ, особый видъ безкорыстнаго служенія отечеству и высокимъ идеаламъ. Газета доказывала именно, что, во-первыхъ, если творческія силы писателя не велики, то пусть онъ, по крайней мѣрѣ, изображаетъ голую правду, и что во-вторыхъ, надо казнить порокъ. Въ примѣненіи къ настоящему случаю, эти разсужденія теоретизировали мерзенштерновскую практику, возводили ее въ принципъ. Ибо и Мерзенштернъ могъ бы сопроводить свой пасквиль такимъ комментаріемъ: во-первыхъ, я пишу голую правду—героиня разсказа г. Маститаго Беллетриста, дѣйствительно, грѣшитъ съ «нѣкіимъ пламеннымъ брюнетомъ, именуемымъ Ломовымъ»: во-вторыхъ, я казню порокъ — героиня прелюбодѣйствуетъ. Но редакція «Новаго Времени» пошла нѣсколько дальше редакціи «Плевательницы». Когда присяжный повѣренный Александровъ. по приглашенію г-жи Рудневой, взялся вести ея дѣло, редакція «Новаго Времени» пригрозила и ему: напишемъ, дескать, и объ тебѣ голую правду и будемъ казнить твои пороки. Отчего не написать голой правды о г. Александровѣ и отчего не казнить его пороковъ! Но объявлять этотъ походъ ни раньше, ни позже, а именно въ ту минуту, когда г. Александровъ беретъ на себя дѣло г-жи Рудневой, это значитъ не только обнаруживать ростъ «нравственнаго карлика», но еще требовать себѣ за это уродство почета, уваженія, аплодисментовъ.

Конечно, пасквиль и убійство двѣ вещи разныя. Но, имѣя въ виду не самыя дѣянія, а ихъ нравственную подкладку, всякій безъ особеннаго напряженія мысли пойметъ, что Ландсберги и «Новыя Времена» представ-

ляютъ равно необходимыя слагаемыя какого-то итога, надъ чудовищностью котораго, дѣйствительно, стоитъ призадуматься. Полагаю, что наблюдатели «современной жизни» въ родѣ г. Маститаго Беллетриста и рисующіе «картины нравовъ» въ родѣ г. Н. Морского, такъ хорошо знающіе цѣну Мерзенштерновъ, должны будутъ съ этимъ согласиться. Было бы поэтому чрезвычайно любопытно, еслибы проницательные обвинители современной литературы въ разныхъ грѣхахъ обратили свое вниманіе на эту сторону дѣла. Они имѣли бы при этомъ возможность внести значительныя поправки въ свои обвиненія. Въ самомъ дѣлѣ, разсужденія ихъ можно формулировать примѣрно такъ: читая различныя вольнодумныя статьи по вопросамъ отвлеченнаго и общественнаго характера и таковое же вольнодумное обсужденіе текущихъ дѣлъ, молодежь пропитывается ядомъ отрицанія, и потому вся сила карательныхъ и стѣснительныхъ мѣръ должна быть направлены на корень зла, на укрощеніе вольнодумства въ литературѣ. Мы не тронемъ этого разсужденія ни однимъ пальцемъ, но пусть господа обвинители подумаютъ о слѣдующемъ. Ландсберги и Юханцевы, Чижевскіе и Маевскіе и какъ ихъ еще тамъ зовутъ, отравились навѣрное не изъ чаши вольнодумства. Скандалъ, пасквиль, амурныя похожденія, уголовщина — вотъ ихъ обычная умственная пища. Ни одной «вольнодумной» страницы они не прочтутъ, но за то съ жадностью проглотятъ романъ, дѣйствіе котораго разыгрывается въ «Гостинницѣ тринадцати повѣшенныхъ», въ которомъ дѣйствующія лица грабятъ, рѣжутъ, предаются утѣхамъ любви. А ужъ если эти утѣхи освѣщены какимъ-нибудь особенно пакостнымъ свѣтомъ, да если еще вдобавокъ въ томъ или другомъ героѣ можно признать «черты знакомаго лица», ихъ отъ романа за уши не оттащишь. Глубоко развращающее и прямо подстрекающее на преступленія вліяніе скандальной и уголовной беллетристики указано многими учеными психіатрами и криминалистами. Во Франціи, во времена Наполеона III, само правительство, которому, собственно говоря, было на руку это гнусное отвлеченіе общественнаго вниманія отъ общественныхъ дѣлъ, само правительство, наконецъ, ужаснулось, и министръ внутреннихъ дѣлъ Билью обратился въ 1860 г. къ профектамъ съ такимъ циркуляромъ: «Эта легкая литература, добывающая успѣхъ цинизмомъ картинъ, безнравственностью интригъ, развратомъ героевъ, получила въ наше время печальное развитіе. Она вторглась подъ разными формами всюду, въ большія и мелкія газеты и во множество дешевыхъ изданій, спеціально посвященныхъ эксплоатаціи порока. Всякій, сохранившій хоть какое-нибудь уваженіе къ благопристойности, не можетъ оставаться равнодушнымъ. Болѣе, чѣмъ пора положить этому предѣлъ». Предѣлъ, разумѣется, не былъ положенъ, потому что и вообще въ такихъ случаяхъ предѣлы кладутся не циркулярами, а, напротивъ, возможнымъ сокращеніемъ циркуляровъ. Недаромъ во время бонапартовскаго режима сложилась поговорка, что добродѣтель даетъ газетѣ 1000 экземпляровъ въ розничной продажѣ, а развратъ и преступленіе 20 — 30,000. Этотъ развращающій матеріалъ газеты черпали или изъ области собственной фантазіи, или изъ дѣйствительной жизни. Процессъ Тропмана, надлежаще приправленный, довелъ цифру экземпляровъ, напримѣръ, Petit Journal до 500,000. Редакторъ этой газеты Милью дошелъ до такого безстыдства, что, по поводу другого подобнаго процесса, нѣкоего Пантена, задалъ пиръ на 300 человѣкъ, причемъ былъ провозглашенъ тостъ въ честь Тропмана, «благодѣтеля фирмы»! Уголовщина, скандалъ, сплетня, пасквиль, эксплоатируемые такъ безстыдно, концентрируютъ мерзостные соки, бродящіе въ обществѣ, и культивируютъ ихъ. Повторяю, это фактъ, признанный наукою. Литература есть, дѣйствительно, могучій дѣятель, могучій на добро и на зло и когда у нея вырвана кошница съ хлѣбомъ, она всетаки дѣйствуетъ, разсѣвая плевелы. Поэтому, для изслѣдователя современной русской жизни было бы отнюдь не безплодною задачею поискать въ литературѣ параллелей нравственной одичалости, заявляющей себя въ скандальной и уголовной хроникѣ дѣйствительности. Такое изслѣдованіе пролило бы не мало свѣта на загадочный вопросъ: откуда у насъ въ литературѣ взялись бонапартисты? Не берусь рѣшить этотъ вопросъ, но думаю, что вольнодумство и чрезмѣрная свобода въ обсужденіи теоретическихъ общественныхъ вопросовъ и текущихъ дѣлъ тутъ рѣшительно не причемъ, что напротивъ усиленіе карательныхъ и стѣснительныхъ мѣръ, какъ того желаютъ проницательные обвинители «либеральной» литературы, будетъ, между прочимъ, имѣть результатомъ дальнѣйшее развитіе скандала и сплетни. Чѣмъ ограниченнѣе поле теоретическихъ и практическихъ вопросовъ, отведенное свободному обсужденію литературы, тѣмъ, понятное дѣло, больше мѣста остается для литературы развращающей и тѣмъ большій мракъ долженъ распространяться на и безъ того забытую границу между добромъ и зломъ.

Разумѣется, предложеніе мое останется втунѣ, это я очень хорошо знаю. Проницательные обвинители не возьмутъ на себя труда разысканія литературныхъ корней и нитей той Ландсбергіады, той почти сказоч-

ной мрази, въ которую съ каждымъ днемъ все глубже и глубже опускается русская общественная жизнь. Не возьмутъ они на себя этого труда потому, что у нихъ самихъ «рыльце въ пушку». Проницательность по части разысканія литературныхъ корней и нитей оставляетъ имъ достаточно досуга для упражненій въ уголовной, скандальной, клубничной и пасквильной беллетристикѣ. Мало того, проницательность даже съ особенною охотою облекается въ эти паскудныя формы, подъ предлогомъ изображенія «голой правды» и «казни порока». Мерзенштерны чрезвычайно проницательный народъ или, что то же, наши проницательные обвинители состоятъ почти сплошь изъ Мерзенштерновъ, а потому, разумѣется, нѣтъ никакой надежды, чтобы они, въ самомъ дѣлѣ, занялись любопытнѣйшимъ вопросомъ о происхожденіи русскихъ бонапартистовъ.

Предоставимъ, значитъ, этотъ вопросъ будущему. Я имъ тоже не займусь. Но я обращу ваше вниманіе на странность положенія нашихъ бонапартистовъ. Такъ какъ у нихъ нѣтъ Бонапарта, то-есть такого живого конкретнаго образа, который былъ бы вмѣстѣ съ тѣмъ и политическимъ и нравственнымъ символомъ, и единымъ источникомъ всяческой благостыни, и объединяющимъ центромъ, то они грызутся между собою даже въ несравненно большей степени, чѣмъ грызлись настоящіе французскіе бонапартисты, когда погибъ Наполеонъ IV и еще не обрисовался Наполеонъ V. И Боже! какія отвратительныя формы принимаетъ эта взаимная грызня бонапартистовъ, съ которыхъ снята даже узда Бонапарта, то-есть единственная возможная для нихъ нравственная узда!

Кн. Мещерскій попробовалъ было погладить г. Суворина по головкѣ за добропорядочное поведеніе (добропорядочное, конечно, въ совершенно спеціальномъ смыслѣ кн. Мещерскаго), но былъ за это облитъ изъ веселой глубины «Новаго Времени» такими помоями, что отскочилъ, вѣроятно, даже съ нѣкоторымъ ужасомъ. Г. Незлобинъ печаталъ свои пасквили въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Русскомъ Вѣстникѣ» и «Новомъ Времени», и вдругъ изъ мрачной глубины курскаго острога раздается его голосъ, обзывающій эти почтенные органы «клоаками». «Новое Время», печатавшее пасквили г. Незлобина, посылаетъ ему въ свою очередь эпитетъ «грязнаго бездѣльника». Газета дѣлаетъ при этомъ прозрачные намеки, кого и за что именно выгнали откуда-то «съ позоромъ и даже съ пощечинами». Въ довершеніе всего г. Цитовичъ, подъявшій мечъ и издающій, кромѣ собственныхъ проницательныхъ произведеній, еще пасквили г. Незлобина, вынужденъ печатно заявлять, что онъ никогда не занимался... мужеложствомъ!.. Большаго позора литература, кажется, не можетъ испытать, большей грязи даже ни одинъ типографскій станокъ не вынесетъ.

Говорятъ, что если посадить въ тѣсную банку нѣсколько пауковъ, то они начинаютъ ѣсть другъ друга. Особенно, говорятъ, скверны въ такихъ случаяхъ такъ называемые крестовики, тѣ обыкновеннѣйшіе у насъ пауки, у которыхъ природа нарисовала на спинѣ очень фигурные кресты. Я никогда этого не видалъ, но отвратительное должно быть зрѣлище: эти раздутыя, мясистыя, жадныя существа съ такими большими туловищами и такими маленькими головами хватаютъ другъ друга длинными, мохнатыми, крючковатыми лапами... бр! какая мерзость!

И всетаки нѣтъ худа безъ добра. Во-первыхъ, если пауки даже совсѣмъ другъ друга поѣдятъ, такъ что и на племя ничего не оставятъ, то человѣчество отъ этого ровно ничего не потеряетъ. Значитъ, пусть ихъ. А во-вторыхъ... во-вторыхъ, опять-таки пусть ихъ; пусть еще судорожнѣе корчатся крючковатыя лапы паука, которому другой такой же паукъ отъѣдаетъ голову, не замѣчая, что третій паукъ уже обхватилъ его такими же длинными, цѣпкими, но побѣдно дрыгающими лапами; пусть это зрѣлище скорѣе достигнетъ той высшей степени отвратительности, на какую оно только способно. Можетъ быть, тогда всѣ, кому слѣдуетъ, убѣдятся, что тѣсная банка есть только арена взаимнаго пожиранія пауковъ.

II.

Однако, замѣтитъ, можетъ быть, иной наивный читатель, порокъ-то вѣдь надо казнить, и отчего же не дѣлать этого въ беллетристической формѣ? Замѣчаніе отчасти, пожалуй, резонное, а отчасти очень наивное. Хотя, по нынѣшнему времени, можетъ быть, не излишне было бы доказывать, что дважды два совсѣмъ не стеариновая свѣчка, но я всетаки слишкомъ уважаю читателя, чтобы пускаться въ разсужденія о мерзости пасквиля. А затѣмъ порокъ, дѣйствительно, казнить надо и дѣлать это въ беллетристической формѣ можно. Но если криминалисты замѣчаютъ, что настоящая, публичная казнь производитъ иногда на зрителей совсѣмъ неожиданное впечатлѣніе, побуждая ихъ къ подражанію палачу или преступнику, то тѣмъ паче справедливо это относительно казни беллетристической. Настоящій художникъ и искренній человѣкъ можетъ, конечно,

и въ беллетристической формѣ «глаголомъ жечь сердца людей», можетъ представить «порокъ» въ такомъ видѣ, что вполнѣ передастъ читателю свое отвращеніе къ этому пороку. Но настоящіе-художники, которые еще въ добавокъ были бы искренними людьми, нынѣ такъ же рѣдки, какъ полуимперіалы или серебряные рубли. Находящаяся же во всеобщемъ обращеніи мелкая размѣнная монета литературы въ большинствѣ случаевъ «казнитъ порокъ», облизываясь и причмокивая. Тутъ и рѣчи быть не можетъ о силѣ отталкивающаго впечатлѣнія. Совершающій казнь, положимъ, и наговоритъ карающихъ словъ, но эти слова будутъ сами по себѣ, а образы сами по себѣ. Карающія слова будутъ холодно и механически разставлены тамъ, гдѣ имъ, по правиламъ реторики, быть надлежитъ, и потому ровно никакого впечатлѣнія не произведутъ, а циническіе образы и картины, размалеванныя съ сочувственнымъ причмокиваніемъ и аппетитнымъ облизываніемъ губъ, сдѣлаютъ свое дѣло.

Съ этой точки зрѣнія, мы и предлагаемъ читателю посмотрѣть на произведенія гг. Маститаго Беллетриста и Н. Морского. Такого рода фельетонныхъ романовъ, повѣстей, очерковъ много. Но нѣкоторые изъ нихъ, какъ напримѣръ, творенія г. Незлобина, слишкомъ ужъ грязны, такъ что и притронуться къ нимъ отвратительно. Другіе, напротивъ, слишкомъ блѣдны, и по этому самому недостаточно типичны. Господъ Маститаго и Морского съ насъ совершенно достаточно, тѣмъ болѣе, что оба они не лишены таланта. Пожалуй, съ насъ было бы довольно даже одного г. Маститаго, и г. Морского мы беремъ не ради его сходства съ другими, а напротивъ, ради его оригинальности, какъ читатель увидитъ. Но такъ какъ оба они печатали свои произведенія въ фельетонахъ газеты «Новое Время», принявшей пасквиль подъ свою фактическую и принципіальную защиту, и такъ какъ вообще весь этотъ жанръ состоитъ въ «казни порока» при помощи на половину вымышленныхъ, а на половину дѣйствительныхъ лицъ и событій, то надо сдѣлать оговорку. Разыскивать, гдѣ у нашихъ авторовъ кончается Dichtung, и гдѣ начинается Wahrheit, мы не будемъ. Съ кого они портреты эти пишутъ, гдѣ разговоры эти слышатъ и насколько вѣрно передаютъ видѣнное и слышанное — это для насъ безразлично. Мы только посмотримъ на художественные пріемы, при помощи которыхъ казнятъ порокъ современные добровольцы по части цензуры нравовъ. Иное отношеніе къ подобнаго рода произведеніямъ имѣло бы смыслъ, еслибы была какая-нибудь надежда усовѣстить рыцарей «Новаго Времени» и ихъ собратовъ по рыцарскому ордену, Но я, по крайней мѣрѣ, такой честолюбивой мечты не питаю. «Новое Время» живетъ скандаломъ, какъ живетъ имъ какой-нибудь Поль де-Кассаньякъ, о которомъ завтра же всѣ забудутъ, если онъ не напомнитъ о себѣ сегодня новой возмутительной выходкой. Обратите, въ самомъ дѣлѣ, вниманіе, какъ встрѣчаетъ «Новое Время» дѣлаемыя ему указанія и наставленія. Изъ множества примѣровъ, которые могли бы составить въ цѣломъ прелестный букетъ цвѣтовъ, рѣшительно всѣхъ возможныхъ оттѣнковъ и формъ, беру два, три—наудачу.

Какъ-то «Новое Время» восхитилось книжонкой нѣкоего Гандтмана: «Der Slavismus im Lichte der Ethik». Но, обтекая мыслію судьбы славянства, почтенная газета не успѣла прочитать не только самой книжонки, а даже ея заглавія: она приписала это твореніе автору «Философіи Безсознательнаго», Гартману, и радовалась, что вотъ, дескать, какъ благосклонно судитъ о славянахъ знаменитый философъ. Между тѣмъ, на оберткѣ книжонки очень ясно напечатано: «Handtmann, Prediger in Seedorf bei Lenzen», а на стр. 12 этотъ Prediger даже полемизируетъ съ Гартманомъ, упрекая его въ недостаткѣ уваженія къ славянамъ. «Биржевыя Вѣдомости» замѣтили по этому поводу, что не годится распространенной газетѣ такъ морочить публику. И распространенная газета на этотъ разъ отнеслась къ замѣчанію довольно терпимо: просто промолчала. Но когда тѣ же «Биржевыя Вѣдомости», уже преобразившись въ «Молву», дали «Новому Времени» другой урокъ нѣмецкаго чтенія, то газета г. Суворина чрезвычайно разсердилась. Дѣло въ томъ, что газета эта перевела статейку Бертольда Ауэрбаха по еврейскому вопросу, озаглавивъ ее: «Мужественное слово». При этомъ многоученная редакція, съ обычными усмѣшками и остротами, объясняла, въ пику Ауэрбаху, что никакого «мужества» въ данномъ случаѣ онъ не выказалъ. «Молва» объяснила, что статейка Ауэрбаха называется въ оригиналѣ «Mahnwort» (напоминаніе) и что, смѣшавъ Mahn и Mann, то есть переврав Ауэрбаха, «Новое Время» не имѣло никакого резона еще и попрекать Ауэрбаха своей собственной ошибкой, за которую гимназисту поставили бы единицу. «Новое Время» и не подумало, конечно, повиниться въ ошибкѣ, даже не упомянуло объ ней ни однимъ словомъ, но за то съ яростью набросилось на г. Полетику, попрекая его, не помню ужъ чѣмъ, кажется, по обыкновенію тѣмъ, что онъ дурные мониторы строилъ. Какъ будто, если-бы г. Полетика строилъ хорошіе мониторы, то «Новое Время» было бы грамотнѣе! Профессоръ Алексѣевъ сообщаетъ въ своемъ

«Обзорѣ химической литературы за 1878 г.» анекдотъ еще пикантнѣе. Привожу разсказъ въ подлинникѣ: «Въ газетѣ «Новое Время», № 780-й (7-го мая 1878 г.) явилась слѣдующая замѣтка: «30-го апрѣля, въ 5 часовъ по полудни (!), преподаватели гатчинскаго института, Борейша и Голубковъ, занимавшіеся вмѣстѣ съ г. Капустинымъ, открыли *метилент*—газъ, который тщетно старались получить многіе, весьма извѣстные химики». Затѣмъ слѣдовалъ рядъ разсужденій о важности и значеніи этого открытія и о переворотѣ, который оно произведетъ въ химіи... Когда впослѣдствіи оказалось, что редакція «Новаго Времени» сдѣлалась жертвою мистификаціи (Капустинъ оказался институтскимъ сторожемъ), она не сочла нужнымъ въ этомъ сознаться, не смотря на просьбу одного изъ поименованныхъ въ этой замѣткѣ преподавателей».

Можно бы было еще припомнить, какъ газета открыла знаменитаго художника «Квинквеченто», какія совершенно никому неизвѣстныя свѣдѣнія сообщала она своимъ читателямъ о Луи-Бланѣ и еще многое, многое другое. Было бы даже не безполезно составить возможно полный букетъ вздора, пущеннаго «Новымъ Временемъ» въ обращеніе. Но мы и безъ того далеко отошли отъ непосредственнаго предмета настоящихъ замѣтокъ. Читатель видитъ разницу между отношеніемъ газеты къ доходному и къ убыточному скандалу. «Новое Время» не говоритъ: да, мы насчетъ метилена проврались и поставили преподавателя гатчинскаго института въ незаслуженное комическое положеніе; тѣмъ паче не угрожаетъ газета: но мы и еще провремся, мы такой газъ откроемъ, что небу жарко станетъ! Однако, по дѣлу г-жи Кашеваровой-Рудневой редакція поступаетъ именно такъ; она говоритъ: да, мы напечатали пасквиль, но мы еще и г. Александрова обработаемъ! И это совершенно понятно. Смѣшеніе Гандтмана съ Гартманомъ, «мужественное слово» Ауэрбаха, открытіе метилена—все это скандалы, но убыточные. Еслибы какая-нибудь, столь же распространенная какъ «Новое Время», газета взяла на себя трудъ слѣдить изо дня въ день даже не за идеями, а только за фактами, выпускаемыми газетой г. Суворина въ обращеніе, то послѣдняя весьма скоро была бы, говоря русской пословицей, убита не дубьемъ, а рублемъ. Совсѣмъ другое дѣло скандалъ по части пикантностей и въ особенности пасквиля. Тутъ всегда можно не только сознаться, но и пригрозить въ будущемъ еще большею непристойностью: розничная продажа вывезетъ.

Итакъ, мы ограничимся только художественными пріемами гг. Маститаго и Морского.

Не знаю, помните-ли вы маленькій, но прелестный набросокъ Николая Успенскаго «Изъ дневныхъ записокъ». Авторъ этихъ записокъ, между прочимъ, желаетъ написать романъ въ трехъ частяхъ, но не можетъ подвинуться дальше начала первой главы. За то такихъ началъ онъ написалъ множество:

„Въ тихую лунную ночь, въ фруктовомъ саду, въ роскошномъ павильонѣ сидѣла молодая женщина чудной красоты, въ бѣломъ платьѣ. Мѣсяцъ ярко освѣщалъ ея гибкій станъ, падая на роскошную матовой бѣлизны грудь, съ легкимъ розовымъ отливомъ, нѣжную, какъ персикъ; изъ подъ платья рисовались ея ножки въ спальныхъ туфляхъ съ голубой обшивкой...

„На берегу пруда, подъ широколиственнымъ кленомъ стояла молодая женщина; шелестъ листьевъ и плескъ воды заставлялъ ее пугливо оглядываться и закрывать свою грудь рукой. Послѣ минутной нерѣшимости она начала сбрасывать съ себя одежду...

„Въ жаркій полдень, въ фруктовомъ саду, подъ густою липой сидѣла молодая женщина, въ бѣломъ пеньюарѣ, съ полуоткрытою грудью съ оттѣнкомъ матоваго цвѣта...

„Въ роскошной аристократической спальнѣ, вернувшись съ бала, стояла молодая женщина; она старалась освободиться отъ платья, которое разшнуровывала молодая горничная...

„Съ мраморной аристократической лѣстницы, при свѣтѣ лампъ, спускалась, въ газовомъ платьѣ, молодая женщина съ обнаженною грудью“...

Замѣтьте, какое разнообразіе: то лунная ночь, а то вдругъ жаркій лѣтній полдень, то широколиственный кленъ на берегу пруда, а то мраморная аристократическая лѣстница. Недостаетъ только бани. Но какое вмѣстѣ съ тѣмъ единство! Потому что и въ лѣтній полдень, и въ лунную ночь, и подъ широколиственнымъ кленомъ, и на мраморной аристократической лѣсницѣ происходитъ, собственно говоря, одно и тоже. Она, вездѣ она, терзающая разслабленное воображеніе поэта, вездѣ голая женщина, а вмѣстѣ съ тѣмъ—кто знаетъ!—можетъ быть и «голая правда». Совершенно такое же единство въ разнообразіи представляютъ «фельетонные разсказы» г. Маститаго. Объединяющая точка рѣшительно та же самая, что и у автора «Дневныхъ записокъ», а отчасти и разнообразіе достигается тѣми же скромными средствами, то-есть измѣненіями широколиственнаго клена на мраморную аристократическую лѣстницу. Но такъ какъ г. Маститый есть вмѣстѣ съ тѣмъ добровольцъ по части цензуры нравовъ, то такимъ разнообразіемъ онъ удовольствоваться не можетъ: онъ иногда просто разсказываетъ пикантный анекдотъ, а иногда казнитъ порокъ. Это разнообразіе очень облегчаетъ задачу критики. Еслибы мы имѣли дѣло съ сплошною «казнью порока», какую представляютъ, напримѣръ, изданныя г. Цитовичемъ творенія г. Незлобина, то пришлось бы употребить

довольно сложный логическій аппаратъ для вскрытія истинныхъ вожделѣній самого автора. Положимъ, что и г. Незлобинъ, казня порокъ, облизывается и думаетъ: эхъ, кабы мнѣ самому это казнимое мною грѣхопаденіе совершить! Но съ него надо снимать маску моралиста, а г. Маститый самъ любезно ее снимаетъ. Стоитъ, значитъ, только сличить одинъ фельетонный разсказъ съ другимъ и тѣ художественные пріемы, которыми казнится порокъ, отдѣлятся сами собой.

«Вся спальня была какъ бы въ голубомъ туманѣ отъ свѣта, пробивавшагося сквозь голубыя шторы, отъ голубыхъ обоевъ, голубой мягкой мебели и голубого съ бѣлымъ ковра. Средину комнаты занимала огромная, широкая кровать, обитая простеганнымъ атласомъ. Лучъ солнца, проскользавшій изъза занавѣсъ оконъ, разбивался серебряными блестками въ мягкихъ углубленіяхъ и возвышеніяхъ шелка и какъ будто тонулъ въ кружевахъ подушекъ. Поднявъ красивую, съ разметавшимися волосами, головку съ этихъ подушекъ, Анна Николаевна старалась подтянуть одѣяло до подбородка и какъ можно плотнѣе закутаться въ него отъ взглядовъ компаніи, окружавшей ея постель. Она кричала, хихикала, взвизгивала, извиваясь подъ одѣяломъ, причемъ ея даже слишкомъ роскошныя формы обрисовывались съ соблазнительною ясностью» («Изъ современной жизни», стр. 9).

«Комната была освѣщена розовымъ фонаремъ яйцевидной формы, спускавшимся надъ самою кроватью. Кровать помѣщалась посреди комнаты. Необыкновенно широкая, массивная, съ вычурно-изогнутой спинкой, украшенной фреской, во вкусѣ ренессансъ, изображающей Леду и лебедя, съ розовымъ атласнымъ одѣяломъ, съ грудой подушекъ, окаймленныхъ кружевами, съ упругимъ стеганнымъ валикомъ въ ногахъ. Настоящее ложе кокотки со всѣмъ подлымъ шикомъ и комфортомъ этого рода мебели. На мягкомъ коврѣ съ ярко голубымъ фономъ и пестрыми букетами, у самой кровати, бросались въ глаза бѣлыя туфли съ золотымъ шитьемъ, съ изогнутыми каблуками и какими-то воздушными, точно кремъ, бантами. На обѣихъ стѣнахъ, по сторонамъ кровати, сверкали огромныя продольныя зеркала, повѣшенныя такъ низко, что въ нихъ отражалась вся постель. Въ глубинѣ комнаты нишь, декорированная бархатной драпировкой; въ нишѣ виднѣлась мраморная ванна, за которой также блестѣло огромное зеркальное стекло. Однимъ словомъ, во всемъ убранствѣ видѣнъ былъ наглый разсчетъ усилить впечатлѣніе сладострастія различными постыдными эффектами» (207).

«Полукруглая, вся обдѣланная зеркалами нишь, озаренная серебрянымъ свѣтомъ искривленнаго мавританскаго фонаря, отражаетъ широкую кровать. Свѣтло сѣрый шелковый пологъ, окаймленный розовымъ бордюромъ, схваченный на верху золотымъ кольцомъ, упадаетъ въ мягкихъ складкахъ, выгнутою линіею какъ будто какой-то волшебной палатки. На мягкомъ коврѣ, заткannомъ по ярко-голубому фону бѣлыми и розовыми огромными цвѣтами, стоятъ маленькія восточныя туфли, алаго цвѣта, съ загнутыми носками и безъ задковъ; съ низенькой спинки мягкаго стеганнаго кресла небрежно свѣшивается брошенная въ безпорядкѣ бѣлая съ кружевами блуза. Въ матовомъ свѣтѣ, разливаемомъ фонаремъ, носится легкій дымокъ курильницы, развѣвающій ароматъ съ мраморнаго столика, стоящаго у кровати. Въ мерцающемъ полусвѣтѣ алькова блестятъ ея нѣжные глаза, обрисованныя чудною линіею ея трепещущія дѣвственныя плечи, слышится ея голосъ, то печальный и тихій, то звучащій серебрянымъ смѣхомъ. Ночь идетъ неслышно и незамѣтно. Сколько страстныхъ ласкъ, сколько лепета тайныхъ признаній, сколько порывовъ безумнаго веселья и безумной нѣги» (335).

Изволите видѣть. Кажется, простая штука—кровать, а между тѣмъ, при добромъ желаніи, сколько разнообразія можно ввести въ ея описаніе. Можно повѣсить надъ ней голубой фонарь, а можно и розовый, можно поставить возлѣ кровати алыя туфли безъ задковъ, а можно и бѣлыя съ изогнутыми каблуками. Этого мало. Можно сказать мрачнымъ басомъ: вотъ кровать, убранная съ подлымъ разсчетомъ на постыдные эффекты! Но можно и рекомендовать ее воркующимъ, задыхающимся теноркомъ: вотъ кровать, сулящая бездну наслажденій! Въ послѣднемъ случаѣ у надлежаще подготовленнаго читателя потекутъ слюнки, а въ первомъ... въ первомъ тоже потекутъ слюнки, потому что, въ самомъ дѣлѣ, говоритъ-ли человѣкъ басомъ или теноромъ, это нисколько не опредѣляетъ самаго содержанія его рѣчи. Если образъ или картина остаются неизмѣнными, то художественный (?!) пріемъ «казни порока» путемъ накопленія карающихъ словъ въ родѣ «постыдный», «подлый» ровно ни къ чему не ведетъ. А то вѣдь торговцы могли бы открыто продавать нынѣ запрещенныя непристойныя картинки. Стоило бы только комментировать ихъ карающими словами: пожалуйте, господа, купите эту отвратительную мерзость, это гнусное изображеніе порочныхъ страстей!..

Хотите еще примѣръ?

«Поза, которую она приняла, дышала самой задорной нѣгой. Она свѣсила по бокамъ

свои красивыя руки и легкимъ, особеннымъ движеніемъ вдругъ какъ-то стянула ими прозрачный тюникъ широкаго утренняго пеплума, такъ что ея полная грудь, ноги, переплетенныя одна съ другой, однимъ словомъ, всѣ очертанія роскошнаго тѣла обрисовались подъ тонкимъ бѣлымъ батистомъ, точно она вышла сейчасъ изъ воды» (24).

«Стоя передъ нимъ и отбросивъ руки по бедрамъ, она судорожно сжимала бѣлыя складки капота на бокахъ, такъ что онѣ вытягивались и обрисовывали весь изгибъ пышной груди, двигавшейся подъ полотномъ» (141).

— «А вѣдь очень недурна дѣвочка, а? воскликнула она, кокетливо дурачась и, прижавъ обѣ руки по бокамъ назадъ, потянулась всѣмъ своимъ роскошнымъ станомъ и грудью къ Рыдванову» (239).

Повидимому, тутъ разнообразія ровно никакого нѣтъ. Но это только потому такъ кажется, что единство ужъ очень сильно выступаетъ впередъ: всѣ эти прелестныя дамы, точно хорошо вымуштрованные солдаты, съ замѣчательнымъ единообразіемъ исполняютъ артикулъ веселаго грѣха, прижимая, по командѣ автора, руки къ бокамъ и «обрисовывая» свою «пышную грудь». Но имѣйте въ виду, что первая прелестная дама есть обыкновеннѣйшая кокотка, вторая—фантастическая женщина, ищущая сильныхъ ощущеній въ Сербіи, третья—женщина, ненавидящая своего мужа и подстрекающая своего любовника на убійство. Развѣ это не достаточно разнообразно? И развѣ не можетъ авторъ въ каждую данную минуту выхватить изъ ноженъ мечъ моралиста и воскликнуть: ты, безстыдно обтягивающая складки на бедрахъ съ подлымъ разсчетомъ гнусно обрисовать свою роскошную грудь! ты, нагло откидывающая свои обворожительныя руки, ты, и т. д. И порокъ будетъ казненъ. И отечеству будетъ оказана такая услуга, за которую меньше, какъ лавровый вѣнокъ, взять нельзя.

Этою возможностью казнить порокъ столь простыми средствами (проще вѣдь быть не можетъ) объясняется многое. Напримѣръ, г. Маститый, преслѣдуя порокъ до его послѣднихъ и мрачнѣйшихъ убѣжищъ, не останавливается передъ весьма прозрачнымъ описаніемъ пороковъ противоестественныхъ. Это довольно рискованно, конечно, и даже весьма большіе художники никогда не рѣшаются преслѣдовать порокъ столь далеко. Ихъ удерживаетъ отчасти элементарное чувство приличія, а отчасти то соображеніе, что этого рода пороки до такой степени презираются, до такой степени вынуждены прятаться, что и нѣтъ особенной надобности предавать ихъ публичной казни. Какъ и зачѣмъ казнить порокъ, и безъ того всѣми презираемый и притомъ столь отвратительный, что до него нельзя прикоснуться, не совершая оскорбленія общественной нравственности? Но для г. Маститаго, владѣющаго секретомъ казнить порокъ единственно карающими прилагательными, такія сомнѣнія не существуютъ. Онъ смѣло вступаетъ въ конкуренцію съ знаменитѣйшими изъ современныхъ карателей порока, съ «скандальными романами г. Адольфа Белло», какъ презрительно выражается герой скандальнаго разсказа «Изъ записокъ погибшаго». Героиня именно этого разсказа, кромѣ всякихъ другихъ мерзостей, предается пороку, извѣстному подъ названіемъ лесбійской любви. Впрочемъ, авторъ милостивъ къ этой прелестной Антонинѣ Аполлоновнѣ. Онъ не обременяетъ ее эпитетами «наглой», «безстыдной», «подлой», хотя она, дѣйствительно, глубоко подла и безстыдна. Напротивъ, онъ возводитъ ее нѣкоторымъ образомъ въ перлъ созданія при помощи такого рода моральной философіи: «было что-то такое въ этой женщинѣ, что ставило ее выше всѣхъ условныхъ понятій о нравственности; трудно понять въ чемъ заключалось это высшее ея обаяніе, но, кажется, въ томъ по преимуществу, что она свои порочныя увлеченія всегда возводила на степень захватывающей беззавѣтной страсти» (331). На этотъ разъ, значитъ, мечъ моралиста остается въ ножнахъ и ни одна смертоносная стрѣла изъ колчана карающихъ эпитетовъ не вынимается.

Но можетъ быть авторъ казнитъ на этотъ разъ порокъ болѣе тонкимъ, болѣе художественнымъ пріемомъ? Мудрено, однако, найти въ разсказѣ что-нибудь подходящее. Разсказъ ведется отъ лица «погибшаго», нѣкоего Рытвина, а погибъ онъ вдвойнѣ: во-первыхъ, измочалился въ объятіяхъ прелестной Антонины Аполлоновны, а во-вторыхъ, съ отчаянія, что эта бабенка его бросила, отправился освобождать славянъ и тамъ убитъ. Достойно вниманія, что «священная идея освобожденія» ни мало не отвлекаетъ умственнаго взора Рытвина отъ той «ниши», отъ того «алькова», отъ той «широкой кровати», гдѣ онъ наслаждался любовью Антонины Аполлоновны. Онъ весь полонъ благодарности за прошлое и не посылаетъ туда ни одной протестующей ноты. Этимъ опредѣляется цинически вызывающій тонъ разсказа. Авторъ можетъ быть поэтому хотѣлъ казнить порокъ не непосредственно въ лицѣ, дѣйствительно, подлой и развратной бабенки, а въ лицѣ Рытвина, человѣка этою бабенкою столь измочаленнаго, что онъ только объ широкой кровати и думаетъ. Еслибы г. Маститый, въ самомъ дѣлѣ,

пожелалъ спрятаться за такой оборотъ дѣла, то онъ всетаки уподобился бы тому торговцу, который считалъ бы себя вправѣ продавать непристойныя картинки съ карающими комментаріями. И прелестная Антонина Аполлоновна, можетъ быть, не безъ успѣха могла бы ему рипостировать не менѣе хитрымъ оборотомъ мысли: да, могла бы она сказать, я развратная бабенка и только измочаленный Рытвинъ способенъ меня идеализировать, но вѣдь еслибы я была менѣе развратна, Рытвинъ остался бы при мнѣ, и однимъ воиномъ за священную идею освобожденія славянъ было бы меньше—давайте же мнѣ лавровый вѣнокъ, декретируйте мнѣ благодарность отечества!

Нелѣпый, если хотите, чудовищный по нравственному слабоумію оборотъ мысли. Но, когда наши добровольцы по части цензуры нравовъ серьезно говорятъ о своихъ правахъ на благодарность отечества за совершаемую ими казнь порока, развѣ это менѣе чудовищно?

III.

Но вѣдь порокъ соблазнителенъ, значитъ, должно же быть въ немъ что-нибудь привлекательное. Какъ же художнику обойтись безъ изображенія этой привлекательности?

Вопросъ довольно элементарный, и, если хотите, даже чисто техническій. На это отвѣчаютъ произведенія великихъ мастеровъ. Но намъ не зачѣмъ за этимъ обращаться къ мастерамъ. Намъ это и подмастерье покажетъ. Разумѣю г. Морского. О немъ, впрочемъ, всего нѣсколько словъ.

Я не знаю и не хочу знать, что въ «Аристократіи гостиннаго двора» взято изъ дѣйствительности, и какими цвѣтами собственной фантазіи украсилъ авторъ свою «натуру». Я беру «Аристократію гостиннаго двора» въ качествѣ беллетристическаго произведенія, и смотрю на художественные пріемы, которыми въ ней казнятся порокъ.

Это вещь длинная, утомительно растянутая, сбивающаяся мѣстами на шаржъ, но въ ней есть положительно талантливыя и притомъ оригинально-талантливыя страницы. Мало того, автору, въ самомъ дѣлѣ, удается «казнить порокъ». Дѣло это вовсе не такъ легко, какъ думаетъ г. Маститый, а потому стоитъ остановиться на причинахъ удачи г. Морского. Большіе художники и искренніе люди, какъ уже сказано, достигаютъ этого просто силою своего художественнаго дарованія и своей искренности. Но хотя г. Морской и обнаруживаетъ талантъ, онъ, конечно, всетаки не большой художникъ; въ искренности его я тоже имѣю много резоновъ сомнѣваться, а потому склоненъ думать, что его удача есть именно только удача, случайный фактъ, объясняемый какими-нибудь внѣшними причинами. Можно даже, кажется, съ большою вѣроятностью указать на эти причины. Во-первыхъ, г. Морской вводитъ насъ въ весьма мало знакомый міръ сливокъ нашей нарождающейся и, однако, уже вырождающейся буржуазіи. Старикъ Дудкинъ, милліонеръ, начавшій свою карьеру чѣмъ-то въ родѣ торговли моченными грушами, еще ходитъ въ долгополомъ сюртукѣ, свято блюдетъ свою сѣдую бороду и самъ сидитъ за прилавкомъ. Его сынъ уже блистаетъ французскимъ языкомъ, связями съ французскими кокотками и утонченнѣйшимъ развратомъ, который его доводитъ до идіотизма. Это гніеніе молочныхъ зубовъ въ собирательной пасти «аристократіи гостиннаго двора», когда еще не успѣли притупиться старые острые и крѣпкіе клыки, естественно вызываетъ интересъ. Вторая причина удачи г. Морского заключается въ манерѣ изложенія, манерѣ чисто внѣшней, но во многихъ отношеніяхъ вывозящей нашего автора. Дѣло въ томъ, что вся книжка г. Морского почти сплошь написана какимъ-то своеобразно монотоннымъ, ровно безучастнымъ письмомъ. Эта намѣренная или ненамѣренная, но очень выдержанная монотонность скрываетъ многія художественныя прорѣхи. Она прежде всего избавляетъ отъ необходимости довольствоваться карающими прилагательными тамъ, гдѣ авторъ не находитъ въ себѣ силы для полной обрисовки образа или картины. Авторъ не опускаетъ тона разсказа до густоты мрачнаго баса и не поднимаетъ его до высоты нѣжнаго тенорка, и потому о немъ можно сказать, что голосъ у него небольшой, но онъ имъ хорошо владѣетъ. Своеобразное впечатлѣніе при этихъ условіяхъ производитъ именно «казнь порока». Комическаго таланта у г. Морского нѣтъ ни на волосъ и, вступая въ эту область, онъ немедленно впадаетъ въ шаржъ и грубую каррикатуру. Не велика можетъ быть сама по себѣ и способность изображать трагическое, но тѣмъ не менѣе есть очень хорошія страницы въ этомъ родѣ. Кое-что выдѣлилось само собой на общемъ, монотонно сѣромъ фонѣ, а что не вышло, не удалось, то, безъ особеннаго оскорбленія эстетическаго чувства, такъ и исчезаетъ въ общемъ сѣромъ фонѣ, какъ будто авторъ намѣренно небрежно мазнулъ кистью. Г. Морской вообще какъ будто не гонится за эффектами и возмутительнѣйшія вещи разсказываетъ ровнымъ, небрежно-холоднымъ, монотонно-сѣрымъ языкомъ. Можетъ быть, въ этомъ контрастѣ и весь его секретъ. Такъ или иначе, но если читатель, даже получившій свое нравственное воспи-

таніе на фельетонныхъ разсказахъ г. Маститаго или въ объятіяхъ Антонины Аполлоновны, прочтетъ, напримѣръ, разговоръ Дудкина-junior съ докторомъ въ театрѣ («Аристократія гостиннаго двора», стр. 197) или сцену оргіи на стр. 203—206, у него уже навѣрное не потекутъ слюнки.

А между тѣмъ, г. Морской есть только подмастерье. Значитъ, можно же, изображая «порокъ», не отступать отъ болѣе чѣмъ труизма, отъ простой тавтологіи: мерзость есть мерзость. Не велика заслуга помнить этотъ афоризмъ, но когда общественные дѣятели, публицисты, журналисты, ежедневно поучающіе свою публику истинамъ морали и политики, неустанно, словомъ и дѣломъ твердятъ, что мерзость есть героическій подвигъ, то и нравственная азбука становится дѣломъ не лишнимъ.

VI.

Теорія внутренняго равновѣсія *).

Критическія бесѣды Евгенія Маркова («Русская Рѣчь»).

I.

Мой другъ Иванъ Непомнящій далъ когда-то характеристику г. Евгенія Маркова при помощи очень нехитраго пріема. Онъ взялъ сочиненія этого писателя, сдѣлалъ изъ нихъ выборки, съ математическою ясностью свидѣтельствующія, что г. Евгеній Марковъ противорѣчитъ себѣ на каждомъ шагу, и затѣмъ опредѣлилъ тотъ центральный пунктъ, около котораго турбильономъ носятся всѣ мысли г. Маркова, то сталкиваясь другъ съ другомъ, то отскакивая въ разныя стороны, но, въ концѣ-концовъ, благополучно возвращаясь къ своему центру. Центромъ этимъ оказались интересы «людей просвѣщеннаго и либеральнаго образа мыслей», которыхъ г. Марковъ столь уважаетъ, что даже предоставляетъ имъ въ будущемъ «тихія и простыя прелести крѣпостного быта», въ измѣненной, конечно, согласно духу времени, формѣ.

Я потому вспомнилъ этюдъ Ивана Непомнящаго, что собираюсь писать о «критическихъ бесѣдахъ» г. Маркова, составляющихъ почти ежемѣсячное украшеніе журнала «Русская Рѣчь». Иванъ Непомнящій, съ своей неизмѣнной точки зрѣнія забытья и забвенія, съ большимъ сочувствіемъ отнесся къ идеямъ г. Маркова и даже выдавалъ его, г. Маркова, за свой, Ивана Непомнящаго, псевдонимъ. Какъ бы въ подтвержденіе этого, г. Марковъ поставилъ себѣ, кажется, спеціальною задачею доказывать въ «критическихъ бесѣдахъ», что, во-первыхъ, писатель имѣетъ полное право и даже какъ бы обязанъ противорѣчить самому себѣ, и что, во-вторыхъ, люди просвѣщеннаго и либеральнаго образа мыслей, дѣйствительно, достойны обновленныхъ тихихъ и простыхъ прелестей крѣпостного быта. Темы довольно пикантныя, не безъинтересно разсмотрѣть ихъ поближе.

Само собою разумѣется, что положенія, столь обнаженныя, далеко не всякій рѣшится выставить. Не рѣшается и г. Марковъ. Онъ вынужденъ прибѣгать къ довольно сложнымъ и хитросплетеннымъ уловкамъ, чтобы полуприкрыть наготу своихъ идей. Прежде всего онъ надѣваетъ для этого полное вооруженіе борца за жизнь: разноцвѣтныя пѣтушьи перья игриво вьются на его шлемѣ, латы, ярко вычищенныя толченымъ кирпичемъ, блестятъ на солнцѣ, сквозь забрало видны пламенныя очи и жизнерадостно улыбающіяся уста, изъ могучей груди рвется побѣдный кликъ, въ рукѣ сверкаетъ острый мечъ. И горе темнымъ силамъ, враждующимъ съ жизнью! Одна бѣда: прекрасный и сильный витязь все не въ то мѣсто попадаетъ... Это, безъ сомнѣнія, единственная причина, почему еще никто не погибъ отъ грозныхъ ударовъ г. Маркова. А то, кто бы устоялъ?

Въ русской литературѣ г. Марковъ находитъ двѣ темныя, враждебныя жизни силы: замкнутость литературныхъ «кружковъ», «партійность» литературы и «литературную хандру», мрачный пессимистическій взглядъ на жизнь, останавливающійся только на отрицательной сторонѣ явленій. «Кружковщина», «партійность», насильственно подгоняя идеи, образы, картины, эксплоатируемые литературой, къ опредѣленнымъ неподвижнымъ формуламъ, оскорбляетъ жизнь отсутствіемъ простора и свободы; литературная хандра наноситъ жизни ущербъ своею мрачностью, отсутствіемъ положительныхъ типовъ и картинъ, нарисованныхъ свѣтлыми, яркими, веселящими глазъ красками. (Группирую обвиненія, разсыпанныя въ нѣсколькихъ статьяхъ). Поразивъ въ этихъ двухъ смыслахъ современную русскую литературу чисто теоретическими соображеніями, г. Марковъ иллюстрируетъ свою теорію двумя критическими статьями: во-первыхъ, о г. Достоевскомъ, который служитъ для него образчикомъ нашей литературной хандры; во-вторыхъ, о Гейнѣ, какъ объ идеалѣ широкой, вольнолюбивой и жизнелюбивой поэзіи.

Уже изъ этого выбора видно, что прекрасный и сильный витязь склоненъ не въ то мѣсто попадать. Заявивъ въ началѣ статьи о г. Достоевскомъ, что «трудно выбрать для

*) 1879 г., ноябрь.

иллюстраціи нашего современнаго литературнаго характера болѣе подходящій матеріалъ», г. Марковъ къ концу статьи естественно приходитъ къ заключенію, что г. Достоевскій не имѣетъ въ современной нашей литературѣ ничего себѣ подобнаго, ничего подходящаго. Маленькія несогласія концевъ съ началами довольно часто попадаются у Евгенія Маркова и объясняются нѣкоторыми коренными свойствами могучаго духа этого писателя. Онъ такъ краснорѣчивъ и такъ любовно отдается на волю волнъ своего краснорѣчія, что гдѣ ужъ тутъ искать согласія конца съ началомъ! Вырвется у него красивое словечко и понесетъ, понесетъ своего творца куда-то въ сторону, совсѣмъ неожиданно для него самого. Но въ данномъ случаѣ дѣло объясняется, кромѣ общихъ свойствъ ума г. Маркова, еще и неудачнымъ выборомъ «иллюстраціи». Въ самомъ дѣлѣ, г. Марковъ имѣлъ бы полное право вывернуть свою начальную фразу на изнанку, то-есть сказать: «трудно выбрать для иллюстраціи нашего современнаго литературнаго характера менѣе подходящій матеріалъ», чѣмъ г. Достоевскій. Дѣло тутъ не въ оригинальности дарованія г. Достоевскаго, по крайней мѣрѣ, не въ ней одной, даже не въ составляющей его спеціальность разработкѣ жизни людей, больныхъ духомъ. Весь г. Достоевскій цѣликомъ, со всѣми его смутными надорванно-мистическими идеалами, совсѣмъ чужой современной русской литературѣ, да и всей нашей жизни. Болѣзненное творчество г. Достоевскаго не имѣетъ рѣшительно ничего общаго съ тѣмъ настроеніемъ, которое г. Марковъ называетъ не особенно удачно «литературной хандрой». Нѣтъ, поэтому, ничего удивительнаго, если г. Марковъ, начавъ статью за упокой, долженъ былъ кончить ее за здравіе, а середину ея наполнить изреченіями, столь много говорящими уму и сердцу, какъ напримѣръ, слѣдующее: «Мы (это г. Марковъ) считаемъ Достоевскаго очень даровитымъ, очень оригинальнымъ и сильнымъ писателемъ». Смѣло, ново и поучительно!

Гораздо интереснѣе статья о Гейне. Нельзя сказать, чтобы и въ ней не было многозначительныхъ заявленій въ родѣ: мы считаемъ Гейне оригинальнымъ и сильнымъ поэтомъ; или пространныхъ, изъ лирическаго пламени сотканныхъ воззваній въ томъ смыслѣ, что дважды два четыре и что, хоть вся литература толкуй противное, а мы, то-есть г. Марковъ, оставляемъ себѣ свободу вѣрить въ таблицу умноженія. Все это есть. Есть и прекрасныя фразы, столь вѣскія, что ихъ можно съ удобствомъ вывернуть на изнанку, ни мало не повредивъ ихъ красотѣ. Напримѣръ, г. Марковъ заявляетъ: «Гейне былъ пѣвецъ жизни, весны, молодости и любви—вотъ основной источникъ его поэзіи, его духа! Но жизнь, любовь—это прежде всего правда. Не даромъ каждое слово Гейне насквозь дышетъ правдой, иногда содрогающей правдой, граничащей то съ цинизмомъ, то съ безумствомъ». Неудобопонятно, но за то прекрасно сказано! Столь неудобопонятно и столь прекрасно, что вы можете вложить въ эту фразу совершенно противоположную мысль и сказать, напримѣръ, такъ: «Леопарди былъ пѣвецъ смерти и отчаянія—вотъ основной источникъ его поэзіи, его духа! Но смерть, отчаяніе—это прежде всего правда. Не даромъ каждое слово Леопарди насквозь дышетъ правдой, иногда содрогающей правдой, граничащей то съ цинизмомъ, то съ безумствомъ». Почему въ самомъ дѣлѣ жизнь и любовь больше правда, чѣмъ смерть и ненависть? И что это собственно значитъ: жизнь и любовь прежде всего правда? Г. Марковъ великій мастеръ сочинять такія громкія, но вполнѣ безсмысленныя фразы. Въ статьѣ о Гейне ихъ не меньше, чѣмъ въ другихъ его произведеніяхъ. Но статья всетаки любопытна.

Не въ Гейне тутъ дѣло, конечно. Гейне поэтъ, которому особенно посчастливилось у насъ на Руси. Его неустанно переводятъ, ему подражаютъ, и никто рѣшительно не сомнѣвается въ его поэтическомъ значеніи. И замѣчательно, что переводятъ у насъ Гейне люди самыхъ разнообразныхъ литературныхъ «кружковъ» и «партій». Есть переводы Писарева и г. Буренина, М. Михайлова и г. Аверкіева, Плещеева и Майкова и проч., и проч. Словомъ, реабилитировать Гейне, доказывать кому-то и зачѣмъ то, что это великій поэтъ, значитъ, именно попадать не въ то мѣсто, съ тараномъ ломиться въ настежь отворенную дверь. Тѣмъ не менѣе, для г. Маркова Гейне только предлогъ для пораженія «нѣкоторыхъ педантическихъ моралистовъ нашей россійской журналистики», «нашихъ либерально-гражданскихъ критиковъ», «аргусовъ либерализма и гражданственности», «позитивистовъ, раціоналистовъ и реалистовъ». Онъ съ паѳосомъ восклицаетъ: «Нѣтъ, господа позитивисты, раціоналисты и реалисты! Бичи посильнѣе вашихъ, критика поглубже вашей не могли сбить поэта (Гейне) съ его природнаго пути, не могли погасить въ немъ ту смѣлую, бодрящую вѣру въ разнообразіе и широту міра, которая такъ ненавистна вамъ». Нужды нѣтъ, что между нашими «либерально-гражданскими критиками», «позитивистами, раціоналистами и реалистами» были и есть жаркіе почитатели Гейне; нужды нѣтъ, что даже, по условіямъ времени и мѣста, они не могли бы, еслибы и хотѣли, про-

бовать сбить Гейне «съ его природнаго пути»: г. Евгеній Марковъ увлеченъ своей фразой, какъ нѣкогда Наполеонъ былъ увлеченъ своимъ рокомъ. Разница только въ томъ, что Наполеонъ отлично понималъ, что именно случилось съ нимъ при Ватерлоо, а г. Евгеній Марковъ не устаетъ стоять въ позѣ побѣдителя, картинно потряхивая разноцвѣтными пѣтушьими перьями на шлемѣ и блистая вычищенными толченымъ кирпичемъ латами. Вы, говоритъ, такіе-сякіе, потому ненавидите Гейне, что ненавидите жизнь, а жизнь ненавидите потому, что она рвется изъ узкихъ догматовъ вашихъ партій и не мирится съ исключительно отрицательнымъ характеромъ вашей дѣятельности; въ васъ нѣтъ любви, въ васъ только гнѣвъ и отрицаніе!

«Аргусы», «реалисты» и проч. стоятъ, разумѣется, ни живы, ни мертвы передъ этимъ грознымъ рыцаремъ съ пѣтушьими перьями на шлемѣ. Они разбиты, уничтожены и съ трепетомъ ждутъ послѣдняго удара марковскаго Дюрандаля. Но Дюрандаль самъ остановился въ воздухѣ. Рыцарь пѣтушьяго пера призадумался: Гейне вѣдь тоже издавалъ ноты гнѣва, злобы, отрицанія... Однако, рыцарь призадумался не на долго. Онъ хватается за злой юморъ и холодный скептицизмъ Гейне, чтобы, прослѣдивъ его въ пѣвцѣ «жизни, весны, молодости и любви», оправдать свою теорію обязательности противорѣчій.

«Разнообразіе, противорѣчіе — ядъ его поэзіи, вотъ обыденное сужденіе о Гейне», говоритъ г. Марковъ. И затѣмъ начинаетъ рубить и колоть это «обыденное сужденіе». Удары его несомнѣнно смертоносны, но не мѣшало бы, однако, справиться, гдѣ и когда было высказано изрубленное и исколотое сужденіе. Сколько намъ извѣстно, всѣ маломальски смыслящіе и чуткіе люди находили особенную прелесть въ своеобразномъ гейневскомъ сочетаніи сарказма и сантиментальности, холодной насмѣшки и жаркаго признанія въ любви. Это до такой степени бросающаяся въ глаза и привлекательная черта поэзіи Гейне, что безчисленное множество юношей, начинающихъ поэтизировать, стараются усвоить ее себѣ. Стараются, разумѣется, въ большинствѣ случаевъ тщетно, потому что тайна сія велика есть и простымъ подражаніемъ ея не добудешь. Тѣмъ не менѣе, общепризнанность красоты переливовъ злобы и любви у Гейне не подлежитъ никакому сомнѣнію. Существовали, конечно, въ свое время черствые сухари, которымъ была чужда и не понятна эта капризная красота, но они sind längst gestorben, Herr Markoff, а сражаться съ мертвецами, это даже не совсѣмъ по-рыцарски выходитъ.

Сочетаніе ядовитой насмѣшки и сантиментальности, злобы и любви само по себѣ вовсе не составляетъ противорѣчія, и все, что говоритъ г. Марковъ въ этомъ отношеніи якобы въ защиту Гейне, есть одно празднословіе. Увы! нашъ бренный міръ устроенъ такъ, что въ немъ нельзя любить *всего* и самъ любвеобильный г. Марковъ очень не любитъ «аргусовъ гражданственности и либерализма», которые, однако, занимаютъ свое мѣсто подъ солнцемъ. Кто любитъ цвѣты своего сада, тотъ не любитъ барана, когда онъ, забредя въ садъ, щиплетъ цвѣты; кто любитъ барана, тотъ не любитъ волка; кто любитъ волка, тотъ не любитъ борзой собаки. «Тотъ охаетъ, другой смѣется, и все на свѣтѣ такъ ведется». Съ страстною любовью относиться къ пожираемому и въ то же время злобно трактовать пожирающее отнюдь не значитъ противорѣчить себѣ. Совсѣмъ напротивъ, это значитъ жить цѣльно и полно. Но этого мало. Можно глубоко любить пожираемое и именно въ силу этой любви обливать его ядомъ насмѣшки и укора за безсиліе и тупую покорность судьбѣ. Точно также можно страстно любить друга или женщину и выражать эту любовь не только словами нѣжности и ласки, а вмѣстѣ съ тѣмъ и сарказмомъ и негодованіемъ. Можно и съ самимъ собой, наконецъ, ту же штуку продѣлывать. И никакого противорѣчія тутъ не будетъ. Это ясно, какъ азбука. Если же г. Марковъ приходитъ къ этому результату не прямымъ путемъ самыхъ простыхъ соображеній, а при помощи разныхъ ненужныхъ вавилоновъ и лирическихъ отступленій, такъ на то есть особыя причины. Гейневское сочетаніе сарказма и сантиментальности, это мнимое противорѣчіе, на самомъ дѣлѣ свидѣтельствующее только о полнотѣ жизни пылкаго темперамента, ему надо поставить за одну скобку съ настоящими и ни мало не похвальными противорѣчіями, ни мало не похвальными, хотя бы въ нихъ былъ грѣшенъ не только маленькій Марковъ, но и великій Гейне.

Г. Евгеній Марковъ милостиво разрѣшаетъ поэту: «пусть онъ нынче молится передъ католическимъ распятіемъ, завтра вдохновляется бурями революціи, послѣ завтра таетъ въ нѣгѣ безпечной любви; пусть онъ сегодня бичуетъ фарисейство, а завтра воспѣваетъ луну и фіалки; пусть онъ сегодня мучится отчаяніемъ безвѣрія, а завтра ободряетъ всѣхъ вѣрою въ жизнь и счастіе. Въ этомъ еще нѣтъ никакого противорѣчія, въ этомъ только непритворность естественной и обильной жизни».

Въ другомъ мѣстѣ: «Писатель, который кроитъ по заказанному шаблону свои стихи и прозу, который не знаетъ истомляющаго

угара вдохновенія, а изготовляетъ свои романы или драмы спокойно и послѣдовательно, какъ секретарь канцелярскіе доклады, конечно, не скоро устанетъ и не нуждается въ разнообразіи мотивовъ... Но поэтъ такой огненной страсти, какъ Гейне, нуждается въ разнообразіи, какъ птица въ чистомъ воздухѣ... Онъ любитъ такъ сердечно и много, что ему простительно отдохнуть отъ этой любви на ледяномъ сарказмѣ или горделивомъ презрѣніи. Онъ мыслитъ такъ глубоко и широко, что иногда вправѣ пошутить, какъ школьникъ или какъ повѣса».

И далѣе: «Этимъ тонкимъ инстинктомъ своего внутренняго равновѣсія, этою органическою необходимостью обновлять себя погруженіемъ въ нетронутыя стихіи жизни объясняется вполнѣ удовлетворительно и то обстоятельство, смущавшееe даже сторонниковъ поэта, что его по очередно видѣли то страстнымъ рыцаремъ интересовъ человѣчества, ломавшимъ копья за его права и свободу, смѣлымъ «барабанщикомъ новой миссіи», то чистосердечнымъ ненавистникомъ всей политической и общественной суеты».

Хорошо пишутъ курскіе помѣщики! Это давно уже замѣчено. Но читатель видитъ всетаки, что г. Марковъ валитъ въ одну кучу вещи совершенно несоизмѣримыя. Не найдется такого полоумнаго, который выдумалъ бы точку зрѣнія, возбраняющую поэту не то, что сегодня и завтра, а единовременно, однимъ поэтическимъ взмахомъ, бичевать фарисейство и любоваться фіалкой; ибо между фарисействомъ и фіалкой общаго только то и есть, что и то, и другая въ русскомъ языкѣ съ буквы *ф* начинаются. Разнообразіе же мотивовъ или, какъ выражается г. Марковъ на родномъ нарѣчіи курскихъ помѣщиковъ, «обновленіе себя погруженіемъ въ нетронутыя стихіи жизни» не только непредосудительно само по себѣ, но даже составляетъ великое достоинство. Отвлечено говоря, чѣмъ больше струнъ въ распоряженіи поэта, тѣмъ лучше. Если писатель обладаетъ достаточно широкимъ талантомъ, чтобы сегодня разразиться сатирой, а завтра написать идиллію, сегодня создать потрясающую трагедію, а завтра заставить читателей расхохотаться, то только и можно сказать: вотъ многообъемлющій талантъ. И не до такой же, въ самомъ дѣлѣ, степени мы отупѣли, чтобы нуждаться въ поученіяхъ г. Маркова, что слова «многообъемлющій талантъ», «разнообразный талантъ» суть слова похвальныя! Это мы и безъ курскихъ помѣщиковъ знаемъ. Но мы знаемъ также, что если писатель сегодня оплевываетъ (все равно въ трагической или комической формѣ) то самое, что вчера превозносилъ, то тутъ нѣтъ уже ровно ничего похвальнаго. За Гейне числится этотъ грѣхъ и, хотъ онъ, покойникъ, всетаки не нуждается въ омовеніи волнами курскаго краснорѣчія, но достовѣрно, что этимъ несообразнымъ волнамъ не смыть того грѣха. По выраженію Шерра, Гейне «то освѣщаетъ свой гуманистическій идеалъ всѣмъ свѣтомъ поэзіи и мысли, то вслѣдъ затѣмъ начинаетъ его колотить своей арлекинской палкой, забрасываетъ сарказмами и волочитъ его въ грязи». Что же тутъ хорошаго? А г. Маркову именно это то и нравится.

Мы не объ Гейне разсуждаемъ, а всего только о г. Марковѣ. Поэтому оставимъ Гейне въ покоѣ. Еслибы пришлось разбирать Гейне съ точки зрѣнія мнимыхъ и дѣйствительныхъ противорѣчій, сваленныхъ г. Марковымъ въ одну кучу, то надлежало бы, оставивъ внѣ всякаго спора право поэта любоваться фіалкой и въ то же время бичевать фарисейство, разрѣшить слѣдующій вопросъ: не была-ли «арлекинская палка» Гейне по отношенію къ его «гуманистическому идеалу» выраженіемъ той «ненавидящей любви», которая обдаетъ сарказмомъ и негодованіемъ горячо любимый предметъ? Отвѣтить на этотъ вопросъ значитъ подвергнуть анализу всего Гейне—работа сложная, трудная и, признаться сказать, не особенно для насъ нужная. Предположимъ, что такой анализъ уже сдѣланъ. Если въ результатѣ его окажется, что «арлекинская палка» была, дѣйствительно, только выраженіемъ ненавидящей любви, то на дѣятельности Гейне нѣтъ ни одного пятна. Если же нѣтъ, если онъ въ самой глубинѣ души своей, непосредственно забрасывалъ грязью и билъ свой вчерашній идеалъ, то, принимая въ соображеніе всевозможныя смягчающія обстоятельства, эти шатанія, по малой мѣрѣ, не прибавляютъ новыхъ лавровъ къ вѣнку Гейне. Г. же Марковъ утверждаетъ напротивъ, что прибавляютъ, ибо свидѣтельствуютъ объ «инстинктѣ внутренняго равновѣсія». Эти таинственныя требованія внутренняго равновѣсія вообще играютъ важную роль въ критическихъ бесѣдахъ г. Маркова.

II.

Въ одной древней книгѣ я нахожу слѣдующее пророчество, изложенное въ эпистолярной формѣ, именно въ видѣ письма къ г. Каткову:

«Еслибы самолюбіе мое и мое самомнѣніе равнялись вашимъ, любезный собратъ, то тѣ яростныя выходки, которыми меня вы удостоили, могли бы внушить мнѣ мысль,

что мое вліяніе на общественныя дѣла выросло до вашего вліянія, что въ русской журналистикѣ только и осталось двѣ силы: я, бывшій уѣздный учитель, и вы, бывшій столичный профессоръ, и что вопросъ только въ томъ, кто изъ насъ Давидъ и кто Голіаѳъ, вопросъ, который легко рѣшился бы единоборствомъ между нами на удивленіе современникамъ и потомкамъ... Но, съ измлада отличаясь великодушіемъ, я готовъ принять васъ въ свои объятія и скрѣпить невещественныя отношенія вещественными знаками. Давайте руку и подѣлимъ Россію между собой—вы возьмете западъ, со всѣми краями, сѣверо-западнымъ и юго-западнымъ, а я востокъ до предѣловъ Китайской имперіи и Бухары, исключая Сибири, которую я вамъ же предоставляю. Будемъ дѣйствовать дружно, будемъ вмѣстѣ вызывать разные призраки и уловлять ими соотечественниковъ. На нашу долю еще хватитъ легковѣрныхъ и глупцовъ среди 70-милліоннаго народа русскаго».

Это не изъ Сивиллиныхъ книгъ выписка и не изъ Мартына Задеки, да и не изъ очень древней книги, а изъ «Очерковъ и картинокъ» г. Суворина, изданныхъ отдѣльной книжкой въ 1875 году. Сапоговъ, положимъ, г. Суворинъ успѣлъ съ тѣхъ поръ не одну пару сносить. Но какое это все-таки недавнее и вмѣстѣ съ тѣмъ, говоря иносказательно, какое древнее время! Окруженный веселымъ сіяніемъ либерализма, г. Суворинъ кокетливо прощался съ публикой, дѣлая ей «ручкой» и улыбаясь тою граціозною, балетною улыбкой, съ которой танцовщица, окончивъ свой туръ, раскланивается зрителямъ, чтобы уступить мѣсто подругѣ. Прелестная балерина очень хорошо знаетъ, что еще нѣсколько тактовъ, и она опять выпорхнетъ «плѣнять своимъ искусствомъ свѣтъ», ибо безъ нея комплектъ не полонъ и балетъ не балетъ, а потому и прощаніе ея съ публикой не имѣетъ въ себѣ ничего мрачнаго; напротивъ, это одна прелесть. Такъ и г. Суворинъ прощался съ публикою въ послѣднемъ своемъ фельетонѣ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей». И дѣйствительно, попробовалъ онъ пристроиться тамъ и сямъ и, наконецъ, возсталъ въ новой и вящшей славѣ, оправдавъ собственное пророчество. Нынѣ онъ уже безъ всякой ироніи «готовъ принять въ свои объятія» г. Каткова и подѣлить съ нимъ Россію въ томъ, можетъ быть, и справедливомъ расчетѣ, что на долю каждаго изъ нихъ «еще хватитъ легковѣрныхъ и глупцовъ среди 70-милліоннаго народа русскаго».

Я ничего не потерялъ съ осуществленіемъ ироническаго пророчества г. Суворина, ни въ чемъ не разочаровался, ничего не оторвалъ отъ сердца: ни друга, ни брата, ни единомышленника. Я не раздѣлялъ образа мыслей г. Суворина, когда для него слово «либералъ» было похвальнымъ словомъ, не раздѣляю и теперь, когда это слово стало для него ругательнымъ. Да и мудрено довольно говорить объ «образѣ мыслей» г. Суворина, когда я помню, напримѣръ, изъ временъ его либерализма такой случай, что на пространствѣ двухъ недѣль онъ выразилъ два діаметрально противоположныя мнѣнія о петровской реформѣ. Случай этотъ, какъ извѣстно всѣмъ, слѣдившимъ за дѣятельностью г. Суворина, далеко не единичный. Какъ бы то ни было, я, кажется, могу спокойно и безпристрастно судить о причинахъ, слѣдствіяхъ, смыслѣ и значеніи вольтижированія г. Суворина. Но поищемъ матеріаловъ для такого сужденія въ разсужденіяхъ г. Маркова.

Разсуждая о нашихъ литературныхъ партіяхъ, направленіяхъ, «кружкахъ», г. Марковъ, по обыкновенію, валитъ въ одну кучу вещи, не имѣющія между собой ничего общаго. Это его любимый пріемъ, при помощи котораго такъ легко взмутить воду и потомъ выловить изъ нея ту именно рыбу, которая требуется. Когда онъ говоритъ, напримѣръ, что литературные кружки не имѣютъ никакого резона доходить до такого самомнѣнія, чтобы предъявлять публикѣ личныя и кружковыя дрязги, то, конечно, онъ говоритъ правду. Сплетни и чисто личныя пререканія, занимающія въ нашей теперешней литературѣ такое видное мѣсто, хотя и объясняются узостью поля, отведеннаго для литературнаго воздѣлыванія, но во всякомъ случаѣ ни мало литературы не украшаютъ. Однако, это обстоятельство не имѣетъ прямого отношенія къ темѣ г. Маркова, къ правомѣрности порханія съ одной литературной вѣтки на другую. Процвѣтаніе сплетенъ и дрязгъ составляетъ для г. Маркова одну изъ иллюстрацій современнаго положенія литературы, которое, дескать, обременено «талмудизмомъ», «цеховою» замкнутостью и тупою преданностью разъ навсегда усвоеннымъ, неподвижнымъ принципамъ. Но газета г. Суворина представляетъ нагляднѣйшее свидѣтельство, что можно, подобно вольной пташкѣ, порхать съ вѣтки на вѣтку и на каждой изъ нихъ чирикать новую пѣсню и въ то же время быть вмѣстилищемъ сплетенъ и личныхъ дрязгъ. Значитъ, нѣтъ никакой причинной связи между литературнымъ сплетничествомъ съ одной стороны и неподвижностью принциповъ съ другой. Оно, впрочемъ, и a'priori понятно. Но для г. Маркова удобно припутывать справедливыя, но не идущія къ дѣлу замѣчанія, дабы подъ флагомъ ихъ справедли-

вости провести, незримо для читателей, вещи, очень идущія къ дѣлу, но совершенно несправедливыя. Если мы отдѣлимъ всѣ эти побочныя соображенія, между которыми есть и вѣрныя, и вздорныя, оставивъ только занимающую насъ съ г. Марковымъ суть дѣла, и затѣмъ уже только въ этой сути будемъ искать матеріаловъ для сужденія о дѣятельности г. Суворина, то найдемъ слѣдующее.

Изъ богатаго содержаніемъ, кипящаго раствора русской жизни, осѣли твердые, неподвижные кристаллы русскихъ литературныхъ партій, съ острыми, строго опредѣленными углами и гранями. Житейское море волнуется, бушуетъ, выдвигаетъ новые вопросы, напрашивается на новыя точки зрѣнія, а литературныя партіи ничего этого знать не хотятъ и твердятъ все то же, что онѣ твердили десять, пятнадцать, двадцать лѣтъ тому назадъ. Твердятъ каждая свое, въ одиночку, нетерпимѣйшимъ образомъ относясь къ сосѣду и не признавая за нимъ права голоса въ процессѣ добычи истины. Да даже, собственно говоря, имъ до истины никакого дѣла нѣтъ. Не въ разработкѣ истины полагаютъ свою задачу литературные кружки и партіи, а въ охраненіи во что бы то ни стало разъ провозвѣщенныхъ принциповъ ихъ собственнаго символа вѣры, «подобно тому, какъ все служеніе весталокъ состояло въ охранѣ разъ зажженнаго священнаго огня». Не только публицисты, а и беллетристы подтасовываютъ образы и картины, руководясь кружковыми шаблонами, и не смѣютъ отступить отъ того «либеральнаго» или «консервативнаго» символа вѣры, который усвоенъ той или другой литературной партіей. Всѣ лгутъ, притворяются, уродуютъ свою мысль и чувства въ угоду идолу направленія. Полное отсутствіе того «инстинкта внутренняго равновѣсія», который, во-первыхъ, признаетъ за всякимъ право добиваться истины своимъ особеннымъ путемъ и съ своей особенной точки зрѣнія, а во-вторыхъ, и обладателю этого драгоцѣннаго инстинкта не даетъ заморозиться въ мертвомъ принципѣ, а побуждаетъ смотрѣть на вещи сегодня такъ, завтра иначе, смотря по требованіямъ жизни. Есть въ литературѣ люди, «способные не противорѣчить себѣ ни въ одномъ высказанномъ словѣ, ни въ одномъ обнаруженномъ желаніи». Но это «жалкіе скопцы человѣчества» (что это собственно значитъ «скопцы человѣчества»? и какіе такіе еще бываютъ?), и хвастаться ими литературѣ не приходится. Напротивъ, они-то и показываютъ, какъ мертва литература въ своей заказной насильственной вѣрности разъ заданному паролю и какъ нелѣпа подгонка журнальныхъ статей къ одному цвѣту.

Такова картина современной русской литературы, нарисованная искусной рукой г. Маркова. То ли дѣло г. Суворинъ!..

Позвольте, однако, вѣдь г. Суворинъ живъ, и не просто живъ, а наполняетъ собою исторію, ибо издается и ежедневно («Новое Время»), и еженедѣльно («Еженедѣльное Новое Время»), и ежемѣсячно («Историческій Вѣстникъ»), и ежегодно («Русскій Календарь»), словомъ во всѣхъ видахъ, какіе только употребительны въ русской литературѣ. Спрашивается, насколько же вѣрна картина, нарисованная г. Марковымъ, если литература владѣетъ такимъ перломъ, какъ г. Суворинъ, и если этотъ перлъ занимаетъ въ литературѣ такое пространство? Онъ-то, надѣюсь, не похожъ на кристалъ съ острыми, опредѣленными углами и гранями, или на весталку, вѣрно охраняющую разъ зажженный священный огонь. Но г. Суворинъ особь статья, о немъ потомъ. И, помимо его чрезвычайно типической литературной физіономіи, я не могу признать полной вѣрности за картиною г. Маркова. Хорошо или не хорошо само по себѣ неуклонное служеніе разъ выработаннымъ идеямъ, есть ли оно признакъ духовной смерти или, напротивъ, стойкой, не сдающейся жизни, я, во всякомъ случаѣ, не вижу, чтобы оно преобладало въ русской литературѣ. За примѣрами ходить не далеко: самъ г. Марковъ пишетъ единовременно въ такихъ, повидимому, различныхъ журналахъ, какъ «Дѣло» и «Русская Рѣчь». Изъ этого слѣдуетъ, кажется, заключить, что, не считая самого г. Маркова, этого пламеннаго апостола внутренняго равновѣсія, по крайней мѣрѣ, издатели этихъ двухъ почтенныхъ журналовъ не суть «скопцы человѣчества». А у насъ и всѣхъ-то журналовъ штукъ шесть. Такихъ примѣровъ можно бы было привести множество. Но этого мало. Литература поставлена нынѣ въ такія условія, что ни одинъ журналъ не можетъ ручаться за вполнѣ послѣдовательное проведеніе своей программы, а потому различные конкретные примѣры «внутренняго равновѣсія» могутъ объясняться именно тѣмъ, что равновѣсіе это навязывается внѣшними обстоятельствами. Но въ литературѣ нашей есть прямые единомышленники г. Маркова, готовые подыскивать теоретическія основы для практики внутренняго равновѣсія. Само собою разумѣется, что для принципіальнаго возведенія ренегатства или шатанія мысли въ перлъ созданія нужна такая смѣлость, какая рѣдко попадается въ природѣ. Не всѣмъ же ходить безъ фиговаго листка! Однако, при случаѣ, особенно, когда нужно во что бы то ни стало и чѣмъ бы то ни было уколоть человѣка, мы не прочь и отъ идей г. Маркова. Я это на самомъ себѣ испыталъ. Поз-

воляю себѣ остановиться на этомъ не потому, разумѣется, что дѣло идетъ обо мнѣ, а потому, что и, въ самомъ дѣлѣ, исторія курьезная и для нашей литературы характерная. Дѣло въ томъ, что въ концѣ прошлаго года я издалъ первый томъ своихъ сочиненій. Время тогда стояло любопытное. Во-первыхъ, продолжались, уже, впрочемъ, затихая, толки о «народѣ»; во-вторыхъ, г. Цитовичъ поднималъ свою травлю, достигнувшую вслѣдъ затѣмъ геркулесовыхъ столбовъ; въ-третьихъ, въ воздухѣ висѣлъ не совсѣмъ еще разсѣянный туманъ барабаннаго патріотизма и мистическихъ національныхъ задачъ. Просматривая для отдѣльнаго изданія статьи, вошедшія въ первый томъ моихъ сочиненій, я увидѣлъ, что какъ разъ по этимъ тремъ пунктамъ, исчерпывавшимъ тогдашнюю злобу дня, я, 8—10 лѣтъ тому назадъ, выражалъ мнѣнія, совершенно тождественныя съ тѣми, которыхъ держусь теперь. Такъ какъ я понимаю «внутреннее равновѣсіе» иначе, чѣмъ г. Марковъ, то, съ моей стороны, естественно было подчеркнуть эту, если хотите, неподвижность принциповъ, что я и сдѣлалъ въ предисловіи. Я не ставилъ себѣ этой неподвижности въ заслугу, я видѣлъ въ ней только удобство какъ для себя, такъ и для читателей. Нашлись, однако, два критика, которые именно эту вѣрность разъ выработаннымъ принципамъ поставили мнѣ въ тяжелый грѣхъ. Ни тотъ, ни другой не сказали ни слова о томъ, правильно или неправильно смотрѣлъ я десять лѣтъ тому назадъ и смотрю теперь на позорныя литературныя травли, на «народъ» и его отношеніе къ цивилизаціи, на барабанный патріотизмъ. Нѣтъ, они только вознегодовали на мою «неподвижность», на то, что, какъ выразился одинъ изъ нихъ, на моей умственной работѣ не видно жизненныхъ слѣдовъ. Вотъ, еслибы я въ теченіи десяти лѣтъ раза три-четыре вывернулся на изнанку; еслибы я принялъ, напримѣръ, участіе въ литературной травлѣ, которую считаю гнусностью, или пробарабанилъ бы нѣчто о мистическихъ національныхъ задачахъ, которыя самъ же объявлялъ химерою — о, тогда другое дѣло! Тогда на моей умственной работѣ были бы видны жизненные слѣды, и мои почтенные критики были бы вполнѣ удовлетворены. Теперь же, если я не получилъ отъ нихъ титула «скопца человѣчества», то единственно, я полагаю, потому, что судьбою былъ избранъ именно г. Марковъ для изобрѣтенія этого не только логически, но даже грамматически безсмысленнаго термина. Ну, имъ и книги въ руки! Но гдѣ же всетаки правда въ картинѣ г. Маркова? Очевидно, не такъ ужъ онъ одинокъ, какъ ему кажется, и его проповѣдь шатанія мысли имѣетъ свои не только практическіе, а и теоретическіе прецеденты. Остается затѣмъ оцѣнить теорію «внутренняго равновѣсія». Сдѣлать это на конкретномъ примѣрѣ, въ родѣ г. Суворина, кажется, всего удобнѣе ..

Еже писахъ — писахъ. Вычеркивать не буду. Но мнѣ было бы очень прискорбно, еслибы читатель заключилъ изъ предыдущаго, что я хочу мѣряться съ г. Суворинымъ. Нѣтъ, Боже избави, ни въ какомъ случаѣ и ни въ какомъ смыслѣ! Примѣръ изъ своей практики я привелъ только потому, что мнѣ кажется очень поучительнымъ самый фактъ разсужденій моихъ критиковъ, а къ г. Суворину отношусь совершенно, что называется, объективно: намъ съ нимъ дѣлить нечего.

Теорія г. Маркова состоитъ изъ двухъ частей. Она утверждаетъ, во-первыхъ, что въ обществѣ долженъ быть предоставленъ, равновѣсія ради, свободный голосъ всѣмъ, ищущимъ истины, отъ какой бы точки они въ своихъ поискахъ ни отправлялись. Она утверждаетъ далѣе, что въ самой личности писателя должно проявляться внутреннее равновѣсіе, каковое достигается свободнымъ переходомъ отъ одной точки зрѣнія къ другой, подъ вліяніемъ требованій постоянно измѣняющейся жизни. Первую часть теоріи мы пока оставимъ въ сторонѣ. Что же касается второй, то, какъ уже сказано выше, изъ нея надо выкинуть совсѣмъ неправильно пристегнутое сюда г. Марковымъ «обновленіе духа погруженіемъ въ новыя стихіи жизни». Воспѣвать фіалку и затѣмъ бичевать фарисейство безспорно можно, но можно-ли сегодня бичевать фарисейство, а завтра его же воспѣвать въ этомъ именно и состоитъ нашъ вопросъ.

Прежде всего я не вижу, почему г. Суворинъ или самъ г. Марковъ, или любой другой вольтижёръ въ этомъ родѣ, почему они, сегодня объявляя петровскую реформу благомъ, а завтра зломъ, сегодня обливая г. Каткова ироніей, а завтра печатая бюллетени о его здоровьи, обнаруживаютъ инстинктъ внутренняго развновѣсія. Я думаю, напротивъ, что г. Суворину именно недостаетъ внутренняго равновѣсія, ибо какое же это, въ самомъ дѣлѣ, равновѣсіе, когда то одна чашка вѣсовъ подскакиваетъ къ верху, а другая стукается о подставку, то наоборотъ? Инстинктъ внутренняго равновѣсія, казалось бы, долженъ побуждать человѣка, говоря, напримѣръ, о петровской реформѣ, съ разу опредѣлить ея хорошія и дурныя стороны и подвести полный по возможности итогъ. Само собою разумѣется, что если человѣкъ не достаточно знакомъ съ предметомъ, о которомъ говоритъ, то ему

можетъ быть въ самомъ непродолжительномъ времени придется измѣнить свой итогъ и встать въ противорѣчіе съ тѣмъ, что имъ самимъ только что сказано. Но никакихъ особенныхъ достоинствъ онъ этимъ, конечно, не обнаружитъ, лавровъ отъ современниковъ и потомства не заслужитъ, и единственная мораль, которая можетъ быть извлечена изъ его поведенія, состоитъ въ правилѣ: не суйся въ воду, не спросясь броду, не говори объ томъ, чего не знаешь. Такимъ образомъ, первую причину того, что г. Марковъ называетъ равновѣсіемъ и что, въ дѣйствительности, есть только шатаніе, составляетъ незнаніе. Знаніе, конечно, дѣло наживное, но въ незнаніи всетаки ничего хорошаго нѣтъ, и было бы гораздо лучше, еслибы г. Суворинъ, трактуя о какомъ-нибудь предметѣ, предварительно съ нимъ хорошенько познакомился. Кажется, объ этомъ даже въ прописяхъ упоминается. Второю причиною шатанія или, на языкѣ г. Маркова, равновѣсія можетъ быть очень большая впечатлительность и экспансивность. Сегодня человѣкъ имѣетъ о предметѣ извѣстное мнѣніе, а завтра напоръ новыхъ впечатлѣній смываетъ это мнѣніе, и человѣкъ не въ силахъ удержаться, чтобы не высказать своего новаго убѣжденія съ такою же откровенностью, съ какою только вчера еще высказалъ совершенно противоположное; онъ въ себѣ не властенъ, онъ такъ же рефлективно разряжаетъ себя, какъ рефлективно отдергиваетъ уколотую лапку обезглавленная лягушка. Прекрасно, не властенъ и потому, пожалуй, невмѣняемъ. Но не надо всетаки забывать, что рефлексъ есть низшая форма нервной дѣятельности, на которую даже обезглавленная лягушка способна. Впечатлительность и откровенность вовсе не похвальныя качества, какъ обыкновенно думаютъ, а совершенно индиферентныя. Впечатлительность можетъ гарантировать и очень богатую, и очень бѣдную, очень одностороннюю внутреннюю жизнь, все равно, какъ мягкая сургучная масса одинаково покорно даетъ оттиски и фальшивой, и настоящей печати, и геральдическаго льва, и печати тайнаго революціоннаго общества, и масонскихъ знаковъ, и сердца, пронзеннаго стрѣлой съ двумя цѣлующимися голубками на придачу. Что же касается откровенности, то если она состоитъ, напримѣръ, въ выбалтываніи всякой мерзости и глупости, которая придетъ въ голову, то она переходитъ въ наглость и безстыдство. Въ пользу такъ называемыхъ впечатлительныхъ и откровенныхъ людей подкупаетъ ихъ подвижность, юркость, повидимому, свидѣтельствующая объ обиліи жизни. И недаромъ г. Марковъ, требующій безустаннаго шатанія мысли, является въ полномъ вооруженіи борца за жизнь. Неспорно, что внѣшняя подвижность можетъ иногда и, въ самомъ дѣлѣ, быть выраженіемъ настоящаго богатства жизни. Но это вовсе не необходимая связь, особенно если принять въ соображеніе различныя ступени жизни. Я спрошу г. Маркова: въ комъ больше жизни, въ обезглавленной-ли лягушкѣ, рефлективно отдергивающей пораненую лапку, или въ Муціи Сцеволѣ, не выдергивающемъ полусожженной руки изъ огня? И Муцій могъ бы отдернуть руку, это дѣло не хитрое, но та высшая ступень жизни, которая его одушевляетъ, до такой степени примируетъ надъ низшими ступенями, что рефлексъ, самый естественный, задерживается. Такимъ образомъ вторая причина шатанія, очень естественная, очень, если хотите, простительная, всетаки не предоставляетъ шатающемуся никакихъ преимуществъ, не прибавляетъ ему никакого плюса. Если въ его поведеніи и обнаруживается обиліе жизни, то именно низшей жизни, и, было бы во всѣхъ отношеніяхъ лучше, если бы г. Суворинъ обладалъ центральной психической силой, достаточно могучей, чтобы задерживать его рефлексы. Третья причина шатанія можетъ заключаться столько же въ личности шатающагося, сколько въ окружающей средѣ. Русское житейское море, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ очень бушуетъ, но по разнымъ причинамъ, о которыхъ отчасти рѣчь будетъ ниже, оно не даетъ и не можетъ давать общественному дѣятелю опредѣленныхъ толчковъ и въ опредѣленномъ направленіи. Европейскій общественный дѣятель, выступая гласно или молчаливо уполномоченнымъ представителемъ извѣстныхъ слоевъ общества или извѣстныхъ интересовъ, хотя и можетъ, разумѣется, мѣнять свои взгляды, но тѣмъ не менѣе имѣетъ въ представляемыхъ имъ элементахъ твердую опору и какъ бы наѣзженную уже колею, съ которой трудно сбиться даже мало знающему или очень впечатлительному человѣку. У насъ же такому человѣку чрезвычайно легко очутиться въ положеніи г. Суворина. У насъ общественный дѣятель, и особенно писатель, долженъ въ самомъ себѣ имѣть какую-нибудь твердую опору, ибо откуда-нибудь со стороны ему нечего ждать ни руля, ни весла. Г. Суворинъ, человѣкъ безспорно талантливый, хотя уже и растрепавшій свой талантъ, выдвинулся единственно «бойкостью пера». Въ Европѣ онъ и занималъ бы соотвѣтственное этой бойкости мѣсто въ хвостѣ какой-нибудь партіи. Онъ бы писалъ, а партія водила бы его перомъ по бумагѣ. Я предвижу возраженіе г. Маркова. Почему же не внѣ всякихъ партій? а Прудонъ? на-

помнитъ онъ, Прудонъ, который, не замыкаясь ни въ какую партію, одинаково относился къ нимъ всѣмъ. Въ такихъ случаяхъ обыкновенно на Прудона ссылаются (его г. Марковъ и дѣйствительно поминаетъ) и совсѣмъ напрасно ссылаются). Ибо Прудонъ есть, во-первыхъ, Прудонъ, а г. Суворинъ всего только г. Суворинъ, а во-вторыхъ, Прудонъ всю свою жизнь былъ въ основаніи вѣренъ одной идеѣ, въ шатаніяхъ не грѣшенъ и едва-ли даже не есть «скопецъ человѣчества». Какъ бы то ни было, но у насъ г. Суворинъ, самъ нуждающійся въ руководительствѣ, единственно благодаря бойкости своего пера попалъ въ руководители. Это безконечно усложняетъ и затрудняетъ его положеніе, дѣлаетъ его даже глубоко-трагическимъ, если, разумѣется, вѣрить въ искренность г. Суворина.

Я убѣжденъ, въ самомъ дѣлѣ, что, при условіи искренности, г. Суворинъ долженъ быть глубоко несчастнымъ человѣкомъ. Какъ-ни-какъ, а вѣдь онъ учитель. Онъ скликаетъ къ себѣ толпу слушателей и, каково бы ни было отношеніе къ нему этихъ слушателей, а въ душѣ его не разъ и не два должны загораться стыдъ и скорбь. Для оправданія разныхъ противорѣчій часто ссылаются на примѣръ Бѣлинскаго, и г. Марковъ, конечно, тоже; при всей склонности понимать вещи на выворотъ, какъ ихъ никто не понимаетъ и какъ ихъ понимать нельзя, онъ въ то же время не упускаетъ ни одного случая повторить избитое общее мѣсто. Мудрено найти что-нибудь неудачнѣе и безсердечнѣе ссылки на Бѣлинскаго. Этотъ страстный человѣкъ, запутавшійся въ сѣтяхъ нѣмецкой философіи, былъ истинный мученикъ. Припомните его собственный разсказъ, какъ нѣкто отказался отъ знакомства съ нимъ потому именно, что онъ написалъ «Бородинскую годовщину», и какъ Бѣлинскій, услышавъ отказъ отъ знакомства, горячо пожалъ руку этому господину. Припомните разсказъ Панаева, какъ Бѣлинскій, увидавъ у него на столѣ книжку «Отечественныхъ Записокъ», случайно развернутую на статьѣ о Менцелѣ, едва не упалъ въ нервномъ припадкѣ. И эти-то страшныя мученія, которыхъ однихъ было бы достаточно, чтобы предать проклятію всякія шатанія, эти мученія приводятся не какъ образчикъ того, чего слѣдуетъ избѣгать, а напротивъ, возводятся въ перлъ созданія, поднимаются на высоту принципа какого-то несуразнаго «внутренняго равновѣсія» или какихъ то еще «жизненныхъ слѣдовъ!» Право, мы переживаемъ совершенно безподобное время. Я думаю, во всей исторіи литературы нельзя найти попытокъ принципіальнаго оправданія ренегатства или тѣмъ паче простого шатанія изъ стороны въ сторону. Ренегатомъ можетъ быть негодяй, продавшій своего Бога за столько-то цѣлковыхъ, и тогда онъ просто негодяй, не подлежащій, разумѣется, никакой идеализаціи. Ренегатомъ можетъ быть и достойнѣйшій человѣкъ, искренно и всѣмъ сердцемъ отдавшійся новой вѣрѣ, и тогда онъ несчастнѣйшій человѣкъ, тѣмъ болѣе несчастный, чѣмъ сильнѣе была его вѣра въ стараго бога. Чего-нибудь да стоятъ эти душевные надломы, и я, по крайней мѣрѣ, ни другу ни недругу не пожелаю переживать ихъ. Можно глубоко сочувствовать мученіямъ, испытываемымъ ренегатомъ, можно сочувствовать и смѣлости, съ которою человѣкъ отбрасываетъ отъ себя заблужденіе, разъ онъ убѣдился, что это дѣйствительно заблужденіе. Но надо совершенно взломать въ себѣ всякую логику и всякія требованія нравственности, чтобы рекомендовать ренегатство и шатаніе, ради самого ренегатства и шатанія. Если краска стыда заливаетъ лицо г. Суворина, когда ему попадаются на глаза его старыя статьи; если онъ по временамъ испытываетъ хоть десятую долю тѣхъ мученій, какія переживалъ Бѣлинскій, вспоминая, что онъ всенародно проповѣдывалъ «гнусности» (собственное выраженіе Бѣлинскаго; а съ теперешней точки зрѣнія г. Суворина его, напримѣръ, письмо къ г. Каткову есть, конечно, гнусность), если, оглядываясь на свое прошлое и видя тамъ безконечную чехарду мыслей и чувствъ, г. Суворинъ ощущаетъ подступъ слезъ къ горлу, я ему глубоко сочувствую. Это, значитъ, хорошій, искренній человѣкъ, мнѣ жаль его, онъ имѣетъ всѣ права на сочувствіе. Но именно въ чехардѣ его мыслей и чувствъ видѣть еще какія-то особенныя права и притомъ чуть не права на титулъ великаго человѣка, это такая дикая мысль, которая только въ наше безподобное время и можетъ народиться. Самъ г. Суворинъ много скромнѣе. Онъ не чехардой своей хвастается, а только тѣмъ, что завелъ отдѣлъ «Среди газетъ и журналовъ». Это ему и зачтется нелицепріятнымъ судомъ потомства.

Могутъ замѣтить, что стыдъ и слезы г. Суворина, вообще его личныя муки, при всей ихъ почтенности, не представляютъ чего-нибудь важнаго въ смыслѣ общественномъ, и что нельзя же, напримѣръ, мнѣ, исповѣдующему новый завѣтъ, отказаться отъ желанія обратить въ свою вѣру людей ветхозавѣтныхъ только потому, что это обращеніе горечью отзовется на ихъ личной жизни. Безъ сомнѣнія нельзя. Но дѣло совсѣмъ не въ этомъ. Для всякаго, а тѣмъ болѣе для писателя, человѣка по профессіи поучающаго, обязательно бросить заблужденіе, какъ

только онъ убѣдился въ томъ, что оно заблужденіе, и вести людей къ истинѣ, чего бы имъ это ни стоило. Но личная горечь душевнаго надлома составляетъ притомъ только печальную необходимость, а отнюдь не самодовлѣющій принципъ. Измѣненіе взглядовъ естественно и законно, но совершенно ни съ чѣмъ несообразно дѣлать систему, теорію, принципъ не изъ элементовъ истины, а изъ измѣненія взглядовъ на нее. Еслибы г. Марковъ, такъ пламенно объясняющійся въ любви къ жизни, въ самомъ дѣлѣ любилъ ее, онъ относился бы къ ней бережно и не радовался бы тому, что ей часто приходится тратиться на мучительное самопротиворѣчіе. Еслибы самому ему не было такъ легко прыгать съ одной вѣтки древа познанія добра и зла на другую; онъ не возводилъ бы этого пріятнаго для него, но тяжелаго для другихъ прыганія въ систему.

Дѣло здѣсь именно въ системѣ. Все предыдущее справедливо при томъ условіи что шатунъ шатается вполнѣ искренно, или по малому знакомству съ предметомъ, о которомъ разсуждаетъ, или по излишней впечатлительности и неспособности задерживать свои рефлексы, или наконецъ по отсутствію всякой твердой опоры въ окружающей средѣ. Но, разъ утвердилась система, подъ именемъ ли теоріи «внутренняго равновѣсія», или «откровеннаго направленія» или «жизненныхъ слѣдовъ», за нее могутъ съ удобствомъ прятаться самыя низкія поползновенія, простая торговля убѣжденіями. Ибо, если для общества полезна литературная чехарда, полезна сама по себѣ, какъ таковая, такъ отчего же не сдѣлать изъ нея ремесла и не получать за отправленіе этого ремесла деньги въ той или другой формѣ? Возьмемъ самую мягкую форму и представимъ себѣ, что шатунъ не продается непосредственно, а только ловко наживляетъ свои удочки соотвѣтственными времени и мѣсту приманками, заботясь единственно объ томъ, чтобы на приманку шелъ читатель. Это даже почти неизбѣжный исходъ для писателя, который самъ нуждается въ руководительствѣ, а между тѣмъ поставленъ въ положеніе руководителя. Ясно, что, постоянно «ловя моментъ», онъ можетъ сказаться вынужденнымъ наживлять удочку приманками для самыхъ грубыхъ инстинктовъ, питать въ обществѣ всякіе предразсудки, нелѣпое самомнѣніе, страсть къ скандалу и проч. Но продажность далеко еще не единственный возможный результатъ шатанія, возведеннаго въ систему. Если даже шатунъ не продается, а только распускаетъ себѣ вожжи и просто валяетъ по всѣмъ по тремъ, какъ ухорскій ямщикъ, такъ и то онъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, вліяетъ на общество самымъ развращающимъ образомъ и, между прочимъ, совершенно извращаетъ нормальное отношеніе читателя къ литературѣ. Читатель видитъ, что сегодня шатунъ пишетъ панегирикъ Петру и его реформѣ, а завтра обдаетъ реформу помоями, и такъ не разъ и не два, а изо дня въ день, по всѣмъ предметамъ знанія и незнанія, по всѣмъ вопросамъ бытія и небытія. Прежде всего читатель, конечно, не можетъ извлечь изъ этихъ взаимныхъ противорѣчій какой-нибудь опредѣленный взглядъ на петровскую реформу. Хотя г. Марковъ нутверждаетъ, что именно этимъ способомъ раскрываются разныя стороны истины, но это онъ, по обыкновенію, не въ то мѣсто попадаетъ, ибо мы имѣемъ дѣло не съ учеными, открывающими новые факты и систематически освѣщающими предметъ, а съ продуктами минутнаго настроенія по отношенію къ однимъ и тѣмъ же фактамъ. Оставимъ въ покоѣ г. Суворина и возьмемъ примѣръ изъ литературной дѣятельности самого г. Маркова. Въ первомъ томѣ своихъ сочиненій, говоря о невѣжествѣ и косности русскаго мужика, онъ съ грустью замѣчаетъ: «Оглянитесь назадъ, въ исторію. Андрей Первозванный, говорятъ, засталъ на Руси квасъ и паренье въ баняхъ; прошло 1800 лѣтъ и всетаки у русскаго мужика только и есть добраго что квасъ, да субботняя баня въ печи, да изба по прежнему жильемъ пахнетъ». А въ «Барчукахъ» того же самого г. Маркова тотъ же фактъ исторической непреклонности кваса и березовыхъ вѣниковъ получаетъ вотъ какое освѣщеніе: «Я съ радостью нашелъ въ преданіяхъ объ Андреѣ Первозванномъ разсказъ о старомъ славянскомъ обычаѣ париться въ банѣ вѣниками и пить скверный квасъ. Лапти и тулупы, лукошки и корыта, какъ показываетъ исторія, были на зарѣ нашего отечества столь же культивируемы, какъ и теперь». Вы видите, что одинъ и тотъ же фактъ заставляетъ г. Маркова то плакать, то радоваться, а потому читатель долженъ уже какъ-нибудь самъ добираться чего этотъ фактъ стоитъ. Допустимъ, что этотъ отдѣльный случай противорѣчія имѣетъ за себя всѣ смягчающія обстоятельства, но представьте, что г. Марковъ издаетъ вполнѣ откровенную газету, въ которой вольтижируетъ изо дня въ день. Нечего и говорить, что читатель его не получитъ никакой руководящей нити для сужденія о фактѣ, который трактуется сегодня такъ, а завтра навыворотъ. Но этого мало. Читатель, можетъ быть, сначала и попробуетъ ловить угря за хвостъ, но, видя необыкновенную увертливость угря, по неволѣ броситъ это безполезное занятіе и станетъ искать въ газетѣ чего-нибудь уже вполнѣ несомнѣннаго,

каковы: скандалъ, сплетня, ругань и т. п. Если притомъ г. Марковъ окажется достаточно талантливымъ или ловкимъ, чтобы заставить себя читать, то тѣмъ хуже и для читателя, и для литературы, и для всего общества. Капля по каплѣ, на половину сознательно, на половину безсознательно, вливается въ общество презрѣніе къ литературѣ, тотъ именно видъ презрѣнія, съ которымъ потребители относятся къ шутамъ, сводникамъ и другимъ представителямъ профессій, постыдныхъ, но съумѣвшихъ сдѣлаться необходимыми или, по крайней мѣрѣ, удобными для потребителей ..

Хорошо ли все это? Столь нехорошо, столь элементарно нехорошо, что мнѣ становится, наконецъ, стыдно далѣе распространять опроверженіе теоріи внутренняго равновѣсія, и я ставлю точку.

III.

Однако у теоріи внутренняго равновѣсія есть еще другая половина, до сихъ поръ не разсмотрѣнная: г. Марковъ требуетъ, во имя все того же равновѣсія, чтобы всѣмъ мнѣніямъ и всѣмъ оттѣнкамъ мнѣній, какія только выработаны нашею нынѣшнею общественною жизнью, былъ предоставленъ просторъ, чтобы была признана законность существованія различныхъ взглядовъ на вещи и чтобы въ особенности развился противовѣсъ нынѣшнему мрачному, пессимистическому направленію литературы, «литературной хандрѣ».

На этотъ разъ идея «равновѣсія» много умѣстнѣе, если не въ житейскомъ, то въ логическомъ смыслѣ, и я готовъ обѣими руками подписаться подъ требованіемъ г. Маркова. Понятно, однако, что нельзя ни ожидать, ни желать, чтобы, напримѣръ, я внезапно раскрылъ г. Маркову объятія и воскликнулъ: Евгеній! мы розно понимаемъ вещи, но мы уважаемъ другъ друга, ибо одинаково стремимся къ истинѣ, только съ разныхъ сторонъ къ ней подходимъ! Тѣмъ паче нельзя ожидать и желать, чтобы всѣ плачущіе и «хандрящіе» ни съ того ни съ сего, а единственно по щучьему велѣнью, по марковскому прошенью, возликовали. Нѣтъ, такъ дѣла не дѣлаются и не должны дѣлаться. Г. Марковъ, столь увѣренный во всемогуществѣ жизни, долженъ понимать, что взаимная нетерпимость въ литературѣ, а равно и литературная хандра вырощены извѣстными условіями и что, слѣдовательно, только съ устраненіемъ этихъ условій устранятся и тѣ явленія, которыя намъ обоимъ такъ не нравятся. Судя по нѣкоторымъ отдѣльнымъ мѣстамъ «критическихъ бесѣдъ», г. Марковъ не чуждъ совершенно точнаго пониманія условій, порождающихъ литературную хандру и взаимную нетерпимость.

«Застой мысли въ нашей журналистикѣ, говоритъ онъ:—по особому положенію ея, есть не только слѣдствіе застоя мысли въ обществѣ, но отчасти и причина, его вызывающая. Поэтому онъ является опасностью весьма серьезнаго и практическаго характера. Конечно, невозможно отрицать, чтобы застой этотъ не зависѣлъ главнымъ образомъ отъ условій, противъ которыхъ безсильна журналистика и которыя стоятъ совершенно внѣ ея Внѣшнія стѣсненія съуживаютъ предѣлы литературной дѣятельности, подрываютъ ея энергію, отвлекаютъ отъ нея полезныя силы, сообщаютъ ей характеръ неискренности и недосказанности, слѣдовательно, лишаютъ литературу ея спокойнаго воспитательнаго значенія, вообще, оказываютъ то вредоносное вліяніе на умственную жизнь общества, какое во всѣ вѣка и у всѣхъ народовъ неминуемо оказывало всякое стѣсненіе общественной совѣсти». И въ другомъ мѣстѣ: «Открыть русской мысли широкій путь къ практическому дѣлу — вотъ почти единственный способъ поставить нашу литературу на высоту европейскихъ и сообщить ей, вмѣсто ея теперешняго, болѣзненнаго характера, характеръ здоровой и плодотворной общественной силы». Внѣшними условіями, тяготѣющими надъ литературой, объясняются отчасти и проявленія нетерпимости литературныхъ партій. По крайней мѣрѣ, г. Марковъ «охотно готовъ признать честность» слѣдующаго мотива: «Журналистика можетъ быть вынуждаема къ исключительности, такъ сказать, своими «политическими» обстоятельствами. Можетъ быть она во многихъ случаяхъ и была бы готова согласиться съ справедливою мыслью, но развѣ можно людямъ своего же стана выставлять темныя стороны своего дѣла въ то время, когда они окружены злорадствомъ и зложеніемъ, когда всякая ошибка ихъ поставится имъ въ вину и погубитъ все ихъ дѣло? Они поневолѣ вынуждены не допускать ни малѣйшаго раскола въ своей средѣ, передъ лицомъ своихъ враговъ, они обязаны, для спасенія дѣла, пожертвовать всѣмъ, отречься отъ всякаго, чей голосъ возбуждаетъ удовольствіе въ станѣ ихъ противниковъ».

Повторяю, г. Марковъ признаетъ «честность» этого мотива. Казалось бы, если этотъ мотивъ достодолжнымъ образомъ развить и дополнить, да прибавить еще сюда соображенія самого же г. Маркова о значеніи внѣшнихъ условій, тяготѣющихъ надъ литературной, то получится вполнѣ удовлетворительное объясненіе, какъ литературной хандры, такъ и той доли исключительности,

какая, дѣйствительно, въ литературѣ проявляется. Я говорю: «той доли, какая дѣйствительно существуетъ», потому что, вполнѣ соглашаясь съ г. Марковымъ относительно вреда исключительности въ принципѣ, я осмѣливаюсь утверждать, что при настоящемъ положеніи вещей наша литература обнаруживаетъ ея еще слишкомъ мало. Я могъ бы привести не мало примѣровъ практическаго отверженія «честнаго» мотива, указаннаго г. Марковымъ. Могъ бы привести примѣры, какъ «свои» своихъ обдаютъ завѣдомыми, позорными клеветами единственно по легкомыслію или по побужденіямъ дряннаго личнаго самолюбія. Могъ бы привести и обратные примѣры, какъ свои раскрываютъ объятія чужимъ. Я думаю, что совершенно особая деликатность положенія русской журналистики обязываетъ ее, дѣйствительно, сплошь и рядомъ кривить душой, умалчивать о чрезвычайно важномъ и подчеркивать такое неважное, какъ, напримѣръ, г. Марковъ. Это печально, конечно, такъ печально, что одной этой печали достаточно для объясненія всей «литературной хандры». Не тому надо удивляться, что эта хандра есть, а опять-таки тому, что ея мало. Я не понимаю, почему такъ весело, напримѣръ, г. Лейкину, не понимаю, чему радуется г. Авсѣенко, изображая грасы русскихъ маркизовъ и виконтовъ, или г. Марковъ, рисуя обитателей «черноземныхъ полей» и «берега моря». Для меня это такъ же дико, неделикатно, грубо, какъ жирный, раскатистый хохотъ или самодовольная усмѣшка на кладбищѣ. При нѣкоторой послѣдовательности самъ г. Марковъ долженъ бы былъ придти къ подобному же заключенію, да, собственно говоря, инстинктивно онъ и приходитъ къ нему окольнымъ путемъ, обвиняя *всю* литературу въ хандрѣ: значитъ, эти смѣшливые Лейкины, эти жизнерадостные Авсѣенки и Марковы, эти брызжущіе весельемъ «Новыя Времена»—стоятъ внѣ литературы; значитъ, хандритъ все, что, по невыраженному мнѣнію самого г. Маркова, дѣйствительно достойно названія литературы. Можно поэтому думать, что таковы требованія жизни, той самой жизни, рыцаремъ которой выступаетъ г. Марковъ. И въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Можно и a priori сообразить, что бываютъ такія обстоятельства, когда раздвигать ротъ до ушей и лосниться всей физіономіей значитъ обнаруживать отсутствіе пониманія и чувства, вялую, апатичную жизнь. Кто говоритъ! Постоянная «хандра» и жизнь съ оглядкой, какая ужъ это жизнь! Но дѣло въ томъ, что, по обстоятельствамъ времени и мѣста, она можетъ стать нравственно обязательною и нравственно высшею формою жизни. Если кто въ этомъ сомнѣвается, тому я рекомендую прочитать слѣдующія выразительныя и исполненныя здраваго смысла слова г. Маркова: «Въ обществахъ, не успѣвшихъ или не умѣвшихъ устроиться нормально, на литературу приходится глядѣть совсѣмъ иначе, чѣмъ въ правильно устроенныхъ обществахъ. Она поневолѣ является тутъ, какъ протестъ жизни, какъ стремленіе освѣтить упущенныя ею стороны; она, чуть не по самой задачѣ своей, по крайней мѣрѣ, по временнымъ и мѣстнымъ обстоятельствамъ своимъ, должна быть исключительною, преувеличенною въ своихъ требованіяхъ, отрицательною, враждующею, болѣзненною. Пока она только стучится въ двери и требуетъ себѣ мѣста, ея пріемы и настроеніе поневолѣ должны быть воинственны. Правила борьбы совсѣмъ другія, чѣмъ правила мирной, нормальной жизни».

Ты сказалъ!.. Было бы однако большою ошибкою думать, что угря можно поймать за хвостъ. Угорь рыба юркая, увертливая, и не только ее нельзя поймать за хвостъ въ ея родной стихіи, но, говорятъ, она иногда даже изъ пирога уползаетъ, будучи отпрепарирована по всѣмъ правиламъ кулинарнаго искусства.

Высказавъ вышеприведенное мнѣніе о зависимости «застоя мысли» отъ внѣшнихъ условій, г. Марковъ прибавляетъ нѣкоторое «однако», такое «однако», которое совершенно мѣняетъ дѣло. «Мы, говоритъ онъ:— хорошо знаемъ изъ опыта исторіи своего собственнаго народа, а также и народовъ, богаче насъ одаренныхъ, долѣе насъ жившихъ, что неблагопріятныя внѣшнія вліянія далеко не всегда способны задавить искренность мысли, если только ключъ ея бьетъ изъ глубины съ силою и постоянствомъ, безъ которыхъ невозможна борьба. Мы знаемъ напротивъ, что ничто такъ не окрыляетъ энергіи мысли, ничто не побуждаетъ ее такъ зорко охранять свою чистоту, какъ окружающія ее стѣсненія и опасности. Чѣмъ уже и бѣднѣе сфера дѣятельности, оставленная мысли, тѣмъ полнѣе должна стремиться мысль примѣнить къ этой сферѣ тѣ принципы глубокаго, всесторонняго, свободнаго и безпристрастнаго изслѣдованія, которые составляютъ неизмѣнныя условія мысли.

Откуда все это «мы знаемъ», я, по крайней мѣрѣ, не знаю. Если неблагопріятныя внѣшнія условія иногда и «окрыляли» энергію мысли, то ужъ навѣрное никогда не гарантировали ей возможности всесторонней, свободной и безпристрастной работы. Надо имѣть очень разноцвѣтныя пѣтушьи перья на шлемѣ, чтобы сказать прямо и безъ прикрасъ: сіе бѣлое есть черное. Какъ бы то ни было, а внѣшнія условія, только что объявленныя «вредоносными», оказываются

даже чрезвычайно полезными, ибо ничто лучше ихъ не окрыляетъ энергіи мысли. Если же вы напомните г. Маркову, что эти внѣшнія условія даютъ мѣсто «честному» мотиву литературной исключительности, то онъ и тутъ провозгласитъ нѣкоторое «однако», а именно: «Истина не можетъ быть отыскиваема по законамъ практической дѣятельности партій. Партіи, дѣйствуя на выборахъ или при голосованіи, могутъ довольствоваться грубымъ практическимъ результатомъ, въ сознаніи, что этотъ пріобрѣтаемый результатъ самъ по себѣ есть дѣйствующая сила, которая будетъ работать далѣе по тому же пути... Но въ сужденіяхъ общественной мысли (?), при отыскиваніи истины, такія равнодѣйствующія являются ложью, искаженіемъ не только существа истины, но даже самой возможности напасть на истину... Мыслить можно только искренно, только полно, только во всѣхъ подробностяхъ; если же мы заранѣе говоримъ себѣ, что будемъ мыслить только такъ, а не этакъ»... И т. д., и т. д., и т. д.

Вы, наконецъ, махаете руками, чтобы остановить этотъ потокъ краснорѣчія, и объявляете г. Маркову: таблицу умноженія мы сами знаемъ; знаемъ, что мыслить можно только искренно и полно; но мы знаемъ также, и вы знаете и даже пишете, что говорить искренно и полно не всегда возможно. Это немаловажное обстоятельство создаетъ особыя условія, которыя рекомендуютъ и особый образъ не мышленія, а дѣйствія. Представимъ себѣ, что г. Марковъ по какимъ-нибудь чисто внѣшнимъ обстоятельствамъ не можетъ «искренно и полно» говорить о Полинезіи, а я могу. При такихъ обстоятельствахъ и я долженъ, въ спорѣ съ г. Марковымъ, молчать о Полинезіи, долженъ не только въ силу основныхъ требованій нравственности, а и въ видахъ «равновѣсія», въ видахъ, если хотите, «отыскиванія истины». Ибо, если я буду безпрепятственно болтать о Полинезіи, а г. Марковъ, имѣющій на этотъ счетъ свои особыя и, можетъ быть, чрезвычайно важныя и драгоцѣнныя мнѣнія, будетъ сидѣть съ зажатымъ ртомъ, то слушатель получитъ въ свое распоряженіе только мое, одностороннее, ни чѣмъ не уравновѣшенное сужденіе.

Изъ всего этого слѣдуетъ, кажется, заключить, что хлѣбъ-соль, изображенная на аляповатой оберточной виньеткѣ «Русской Рѣчи», прообразуетъ отнюдь не «критическія бесѣды» г. Евгенія Маркова, а что-нибудь другое. Бесѣды же эти суть не болѣе, какъ пространная, ежемѣсячная повѣсть о томъ, какъ нѣкоторый рыцарь въ чрезвычайно ярко вычищенныхъ латахъ рубилъ, сѣкъ, кололъ и все не въ то мѣсто попадалъ.

Есть, однакоже, одно мѣсто, въ которое г. Евгеній Марковъ попадаетъ не безъ искусства и, во всякомъ случаѣ, съ большимъ постоянствомъ.

Въ статьѣ о Гейне есть одна, чрезвычайно краснорѣчивая страница, которую я, впрочемъ, не смотря на ея ослѣпительную красоту, выписывать не буду, ибо скучно. Суть ея, насколько ее понимать можно, состоитъ въ томъ, что поэты, любимцы музъ и Аполлона, полны любовью не къ тому или другому опредѣленному предмету, а вообще любовью; и что въ экстазѣ этой любви они провидятъ далекій, какъ еле брезжущая утренняя заря, но несомнѣнный въ будущемъ, а пока только духовному оку поэта зримый міръ всеобщей гармоніи и счастія. Вся эта страница представляетъ какъ бы одинъ пламенный вздохъ, литературную истому по далекомъ, но прекрасномъ идеалѣ. Далекъ онъ, очень далекъ, однако, нѣчто отъ него уже имѣется на землѣ, и г. Марковъ, хотя и прозаикъ, знаетъ, что именно. Знаетъ и ни мало не скрываетъ, а прямо озаглавливаетъ одну изъ своихъ критическихъ бесѣдъ: «Буржуазные идеалы». Да, какъ тамъ это все въ далекомъ будущемъ устроится, про то только поэты настояще знаютъ: можетъ быть, тогда воскреснутъ «тихія, простыя прелести крѣпостнаго быта», а во ожиданіи, въ задатокъ, г. Марковъ рекомендуетъ «буржуазные идеалы». Онъ очень сердитъ на нашу литературу за то, что для нея слова «буржуазные идеалы» чуть не бранныя. «Приступите, говоритъ онъ:—къ изображенію этого обезпеченнаго и сравнительно изящнаго быта, къ психологическимъ изображеніямъ его болѣе сложныхъ и тонкихъ типовъ, вашъ романъ или ваши разсказы будутъ сейчасъ же преслѣдуемы современными критиками, какъ праздное упражненіе на сантиментальныя темы, какъ послѣобѣденное услажденіе богатыхъ баръ, какъ вредоносное съ общественной точки зрѣнія, усыпляющее его (чью?) совѣсть «прекраснодушіе», по выраженію любимаго современнаго сатирика».

Позволю себѣ замѣтить г. Маркову, что «прекраснодушіе» не изобрѣтено «любимымъ современнымъ сатирикомъ», а есть терминъ русско-нѣмецкаго философскаго жаргона сороковыхъ годовъ. И затѣмъ ничего уже больше не позволю себѣ замѣтить г. Маркову по поводу его защиты буржуазныхъ идеаловъ, ибо это матерія длинная, а замѣтки мои и безъ того разрослись чрезъ мѣру. Ничего или почти ничего. По существу спорить не буду и сдѣлаю только два замѣчанія.

Я думаю, во-первыхъ, что русская литература обнаруживаетъ большое и въ ней, слабой и недоразвитой, особенно драгоцѣнное чутье, чураясь «буржуазныхъ идеаловъ». Каковъ бы ни былъ европейскій буржуа, на историческій блескъ котораго ссылается г. Марковъ — нашъ русскій буржуа, этотъ не вполнѣ еще сложившійся конгломератъ помѣщика, мечтающаго о воскрешеніи тихихъ и простыхъ прелестей крѣпостнаго быта, разжирѣвшаго лавочника, кабатчика и кулака—этотъ конгломератъ по истинѣ чудовищенъ. Его чураться и бояться простительно даже тѣмъ, кто преклоняется передъ исторической ролью европейскаго буржуа.

Матеріалъ для второго замѣчанія заимствую у самого г. Маркова. О, этотъ человѣкъ драгоцѣненъ, какъ хорошая мелочная лавочка, въ которой и сальныя свѣчи есть, и одеколонъ, и лопаты, и манная крупа, даже сапоги въ смятку, что составляетъ уже роскошь, такъ какъ въ обыкновенныхъ лавочкахъ ихъ не бываетъ. Онъ отнюдь не хочетъ сказать, «что на свѣтѣ должно существовать только одно строго практическое отношеніе къ идеямъ и системамъ, осуществляемое буржуазіей. Далеко нѣтъ! Мы, продолжалъ онъ: — не первый разъ выступаемъ передъ публикой, чтобы намъ было необходимо напоминать, съ какимъ горячимъ сочувствіемъ мы всегда привѣтствуемъ великодушныя иллюзіи и страстныя увлеченія, не имѣющія ничего общаго съ житейскою основательностью буржуазныхъ взглядовъ». Еще бы! Вся Россія знаетъ творенія г. Маркова наизусть, а слѣдовательно, знаетъ, что въ нихъ чего хочешь, того проснешь, и что онъ вообще имѣетъ чрезвычайную склонность къ вещамъ, «неимѣющимъ ничего общаго». Насъ поэтому отнюдь не должно соблазнять то обстоятельство, что значительная часть «великодушныхъ иллюзій и страстныхъ увлеченій» состоитъ, именно, въ побіеніи «буржуазныхъ идеаловъ», которымъ вѣдь и отъ поэтовъ, въ родѣ Гейне, доставалось. Это совершенные пустяки. Прекрасны цвѣты моего сада, прекраснъ баранъ, обгладывающій цвѣты, прекраснъ волкъ, пожирающій барана, прекрасна борзая собака, хватающая волка за горло. Но всего въ природѣ прекраснѣе, мнѣ кажется, угорь. И именно въ тотъ, нѣсколько даже фантастическій моментъ, когда онъ, къ величайшему изумленію кухарки, совершенно отпрепарированный, выползаетъ изъ пирога...

VII.

Кое-что *).

«Читателю нѣтъ дѣла до того, удобно или неудобно, легко или тяжело писать отчетъ о текущихъ новостяхъ литературы въ данную минуту; ему все равно даже и то, возможно ли это вообще или невозможно, разумѣется, со стороны нравственной. Настроеніе, близкое къ тому томительному душевному состоянію, для котораго въ русскомъ литературномъ языкѣ пока еще не существуетъ подходящаго названія, и которое на нашемъ латинско-французско-русскомъ литературномъ жаргонѣ называется «простраціей силъ», гораздо больше свойственно и знакомо литератору, чѣмъ читателю. Единственная привилегія, какою пользуется у насъ литераторъ, только въ томъ и состоитъ, что ему приходится часто испытывать это незавидное настроеніе, до котораго нѣтъ дѣла читателю, исправно и сполна уплатившему свой подписной взносъ или свой пятачекъ за номеръ газеты».

Это говоритъ одинъ газетный обозрѣватель литературы. Я глубоко благодаренъ за эти слова товарищу по ремеслу и несчастію. Благодаренъ въ особенности за то, что онъ написалъ ихъ, приступая къ отчету о прошлой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ», и по крайней мѣрѣ, отчасти въ примѣненіи къ сотрудникамъ «Отечественныхъ Записокъ». Одно только меня смущаетъ. Тяжелыя положенія и печальныя мысли надо выражать соотвѣтственными словами, а «прострація» слишкомъ красивое слово для обозначенія того некрасиваго душевнаго состоянія, о которомъ говоритъ обозрѣватель. Надо найти слово проще, грубѣе, унизительнѣе. Сказать «изможденіе», такъ и то еще можетъ быть слишкомъ красиво будетъ, а то—«прострація»!

«Смотрите, какъ онъ худъ и блѣденъ, какъ презираютъ всѣ его!» Я думаю, это про русскаго писателя сказано и, кажется, преимущественно про литературнаго обозрѣвателя. Читатель знаетъ одно: подавай ему литературное обозрѣніе. Онъ читаетъ много разныхъ разностей и хочетъ объ этихъ разностяхъ поболтать. Вполнѣ законное желаніе. Но съ другой стороны, откуда же взять для васъ, милостивыя государыни и милостивые государи, литературное обозрѣніе, когда нѣтъ литературы? Нѣтъ, по крайней мѣрѣ, въ смыслѣ объекта, подлежащаго обозрѣнію? когда литература, такъ сказать, необозрима? Говоря безъ всякихъ каламбуровъ и парадоксовъ, вы понимаете, что если

*) 1879 г., декабрь.

тѣсно жить писателю вообще, то литературному обозрѣвателю тѣсно въ квадратѣ. О, такъ тѣсно, такъ тѣсно, что подчасъ ясно чувствуешь, какъ не хватаетъ воздуха для дыханія... И знаете-ли вы, милостивыя государыни и милостивые государи почему этотъ человѣкъ такъ «худъ и блѣденъ»? Потому что онъ изморился на службѣ, за которую вы не дадите, не можете дать, да онъ и не возьметъ, ни чина, ни пенсіи, ни мундира; потому что лучшіе годы жизни онъ убилъ на то, чтобы, съ почти акробатскою гибкостью цѣпляясь за разныя шероховатости своего скорбнаго поприща, хоть изрѣдка, урывками, въ искалѣченномъ видѣ сказать вамъ свое задушевное. «Прострація» то эта чего-нибудь да стоитъ. И когда докторъ велитъ вамъ принимать фосфоръ, какъ хорошій, дескать, питательный матеріалъ для нервной ткани, вы, конечно, его принимаете, но въ то же время думаете, что, въ концѣ концовъ, тутъ никакой фосфоръ не поможетъ. Пусть бы эта самая нервная ткань расходовалась даже вдесятеро быстрѣе, но по-божески, на непосредственное дѣло, а не на томительное измышленіе формъ для обхода препятствій. Въ этомъ оскорбленіе, въ этомъ изможденіе. Это совсѣмъ не личный вопросъ, потому что потрудитесь оглянуться на литературу и вы увидите, какъ густо заселена она изможденными и оскорбленными, хотя и не всегда чувствующими свое оскорбленіе фигурами. О, я знаю, есть и праздничные образы, въ цвѣтныхъ платьяхъ, съ бутоньерками въ петлицахъ и гордо закинутой головой. Но я не завидую имъ, ибо помню древнее изрѣченіе: лучше быть недовольнымъ человѣкомъ, чѣмъ самодовольнымъ животнымъ; а резоновъ для водруженія бутоньерки въ петлицу никакихъ не вижу. Не бутоньерку въ петлицу надо сажать, а разодрать одежды свои и посыпать голову пепломъ, проще и безъ аллегорій говоря, бросить перо. А между тѣмъ это почти невозможно или, по крайней мѣрѣ, такъ больно, такъ трудно, что десятьюдесять разъ остановишься на этомъ рѣшеніи и все-таки не отойдешь. Въ чемъ тутъ дѣло, я ужъ и не знаю: въ надеждѣ-ли, этой, какъ увѣряютъ поэты, «кроткой посланницѣ небесъ», которая, однако, временами, кажется просто «пустою и глупою шуткой»; въ привычкѣ-ли періодически терзаться мученіями незавершенной мысли или, наконецъ, просто въ боязни остаться безъ куска хлѣба. А можетъ быть и всѣ три причины тутъ дѣйствуютъ. Однако, говоря по совѣсти, послѣдняя причина, самая, конечно, унизительная, потому что писателю такъ же постыдно единственно изъ-за куска хлѣба писать, какъ священнику священнодѣйствовать; такъ эта-то унизительная причина едва-ли очень сильно въ настоящемъ случаѣ дѣйствуетъ. Какъ ни какъ, а вѣдь и мы не лыкомъ шиты, и на литературѣ свѣтъ не клиномъ сошелся. Еслибы дѣло о кускѣ хлѣба шло, то не только кусокъ хлѣба въ буквальномъ смыслѣ слова, а и весьма «жирныя говяда» на придачу мы могли бы получить отъ разныхъ другихъ профессій, притомъ же гораздо болѣе спокойныхъ. Мы могли бы обвинять, защищать, лѣчить, учить, воздѣлывать науку. Всѣ эти горшки лѣпятся не богами и мы бы лѣпили ихъ не хуже, по крайней мѣрѣ, другихъ. А вотъ подите же...

И вотъ, милостивые государи, когда вы взвѣсите всѣ скорби и угрызенія, составляющія общій фонъ жизни русскаго писателя, фонъ, на которомъ случайныя обстоятельства вычеканиваютъ разные случайные, веселые и невеселые узоры, вы поймете многое въ нашей литературѣ. Вы поймете, напримѣръ, «литературную хандру», такъ возмущающую веселаго г. Евгенія Маркова; поймете тѣ скорбныя, мрачныя ноты, которыя такъ привычны въ нашей литературѣ; ту нервность и неровность, съ которою живетъ русскій писатель, то озлобленіе, съ которымъ онъ иногда отводитъ душу на какомъ-нибудь вздорѣ, мелочи, не стоющей можетъ быть никакого вниманія.

Тяжело жить на свѣтѣ, господа, и на этотъ, по крайней мѣрѣ, разъ я избавляю себя отъ повинности литературнаго обозрѣнія: литературы нѣтъ... Но у васъ есть наука...

А! наука—совсѣмъ другое дѣло. Собственно говоря, когда нѣтъ литературы, тогда и вообще ничего нѣтъ, въ томъ числѣ и науки. Есть-ли отсутствіе литературы только одинъ изъ симптомовъ отсутствія всякаго присутствія или причина его, по крайней мѣрѣ, одна изъ причинъ—разбирать не стоитъ. Вѣрно то, что у насъ бывали времена когда вся мало-мальски выдающаяся духовная жизнь общества сосредоточивалась въ литературѣ, и не бывало такого времени, когда, при отсутствіи литературы, процвѣтала бы какая-нибудь другая форма удовлетворенія духовныхъ интересовъ, въ томъ числѣ и наука. Ученые люди полагаютъ, однако, иначе. Я, напримѣръ, въ качествѣ журналиста, охотно сознаюсь въ своемъ изможденіи, не беру даже красиваго слова «прострація», собственно за его красоту, и, значитъ, ни мало не считаю себя своею дѣятельностью удовлетвореннымъ. Если меня спросятъ, стоялъ-ли я на высотѣ своей задачи, я отвѣчу, глядя по минутѣ, со стыдомъ или со злостью: нѣтъ, не стоялъ. Совсѣмъ другое дѣло редакція «Критическаго Обозрѣнія». Въ качествѣ группы ученыхъ

людей, «*при самомъ строгомъ отношеніи къ себѣ*», она можетъ сказать, что главная задача, поставленная новому органу—поднятіе уровня научной критики—была строго ею выполняема». Такъ буквально говоритъ сама редакція въ № 22. Я очень уважаю редакцію «Критическаго Обозрѣнія» и искренно желаю успѣха почтенному журналу, но думаю, что успѣху этому ни мало не поспособствуетъ самодовольство редакціи. Если она такъ увѣрена, что вела свое дѣло хорошо и, значитъ, и на будущее время намѣрена вести его въ общемъ точно также, то «Критическое Обозрѣніе» успѣха имѣть не будетъ или же это будетъ вполнѣ незаслуженный успѣхъ. Говоря о самодовольствѣ почтенной редакціи, я не хотѣлъ бы, чтобы она припомнила выписанное выше древнее изреченіе. Я отношу его исключительно къ нѣкоторымъ дѣятелямъ литературы, а сама редакція «Критическаго Обозрѣнія» тщательно отгораживаетъ себя отъ литературы заборомъ «объективно-научной критики». Не совсѣмъ хорошо понимаю, что это именно за штука, но понимаю, что кто въ эту штуку вѣритъ, тотъ можетъ быть самодоволенъ даже въ такія минуты, какія переживаетъ литература нынѣ. Кто говоритъ: я объективно-научный критикъ, для того, конечно, тоже розы не безъ шиповъ ростутъ, но онъ всетаки не несетъ и десятой доли тѣхъ скорбей и угрызеній, которымъ отданы на жертву мы, обыкновенные журналисты. Значитъ, у него гораздо больше шансовъ быть собой довольнымъ. Но на долю редакціи «Критическаго Обозрѣнія» этихъ шансовъ выпало очень мало. Она не имѣетъ резоновъ быть очень самодовольной, даже въ смыслѣ «объективно научной критики». Не думаю, чтобы эта объективно научная критика требовала распущенности, безпорядочности, отсутствія опредѣленнаго плана изданія, а во всемъ этомъ «Критическое Обозрѣніе» далеко не безъ грѣха. Напримѣръ, въ первомъ же номерѣ критическаго журнала, столь малаго размѣра, что ему дай Богъ справиться съ текущими новостями европейской и русской научной литературы, мы находимъ разборы трехъ книгъ, изданныхъ въ 1877 г., т. е. два года тому назадъ. Или, напримѣръ, такая странность. «Критическое Обозрѣніе» помѣщало на своихъ страницахъ исключительно разборы книгъ юридическаго, экономическаго и историко-филологическаго содержанія, но вдругъ, какъ разъ въ серединѣ года дало у себя въ № 14 мѣсто обширной статьѣ о книгѣ Клода Бернара «Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux». И затѣмъ опять ни одного разбора книги естественно историческаго содержанія. Значитъ-ли это, что за цѣлый годъ въ области естествознанія не явилось ничего достойнаго вниманія, кромѣ лекцій Клода Бериара? Конечно, нѣтъ. Это просто значитъ, что редакція, повидимому, такъ благопріятно обставленная, не имѣетъ никакого плана и добываетъ свой матеріалъ совершенно случайно. Возьмемъ-ли мы философскую литературу, мы не только не найдемъ въ «Критическомъ Обозрѣніи» постояннаго и равномѣрнаго вниманія къ новостямъ этой литературы вообще или къ какому-нибудь отдѣлу ея, но найдемъ вещи, для ученаго журнала непозволительныя. Напримѣръ, въ № 10 есть статья о пессимизмѣ и оптимизмѣ, въ которой говорится о Гартманѣ и Дюрингѣ, но не на основаніи ихъ подлинныхъ сочиненій, а на основаніи сокращенныхъ изложеній г. Козлова, книжки Вайхингера и статьи г. Хлѣбникова. При этомъ авторъ утверждаетъ, что сочиненія Гартмана и Дюринга «переведены» г. Козловымъ, что вовсе не правда. Сомнѣваюсь, чтобы уровень научной критики дѣйствительно поднимался такимъ способомъ. И такъ во всемъ: то читатели «Критическаго Обозрѣнія» получаютъ списки вновь выходящихъ иностранныхъ книгъ, то не получаютъ; то редакція начнетъ слѣдить за журналистикой, то прекратитъ это занятіе; то въ журналѣ пробьется живая струнка въ видѣ полемики г. Ковалевскаго съ г. Чичеринымъ, то замретъ, то разбираются книги, дѣйствительно, интересныя въ томъ или другомъ отношеніи, а то и такія, о которыхъ говорить рѣшительно не стоитъ. Подобные грѣхи встрѣчаются и въ общей журналистикѣ, но тамъ они имѣютъ за собой множество смягчающихъ обстоятельствъ, а иногда ихъ даже и нельзя назвать грѣхами, потому что кажущаяся случайность можетъ на самомъ дѣлѣ требоваться внутреннимъ планомъ изданія. Во всякомъ случаѣ, мы и не говоримъ о себѣ съ тѣмъ самодовольствомъ, съ какимъ редакція «Критическаго Обозрѣнія» оглядывается на пройденный ею путь. И за всѣмъ тѣмъ, еслибы меня, постояннаго читателя «Критическаго Обозрѣнія», попросили указать, хотя бы только съ приблизительною опредѣленностью, планъ почтеннаго журнала, преслѣдуемыя имъ задачи и цѣли, его общую руководящую идею, я сказалъ бы: не знаю. Думаю, что, обратившись съ подобными вопросами къ самой редакціи, мы тоже не получили бы удовлетворенія, ибо сказать: «мы занимались объективно-научною критикой» еще не значитъ, въ самомъ дѣлѣ, что-нибудь сказать. Редакція даже ни разу не потрудилась объяснить своимъ читателямъ, какъ понимаетъ она роль науки въ обществѣ вообще, въ нашемъ въ особенности, и въ чемъ соб-

ственно состоятъ, по ея мнѣнію, задачи объективно-научной критики. А поводовъ для такого разъясненія было, конечно, не мало. Ихъ можетъ дать каждое крупное, а иногда даже и мелкое научное сочиненіе.

Все это я говорю единственно въ видахъ всяческаго успѣха «Критическаго Обозрѣнія» и вполнѣ благонамѣренно. Единственный у насъ научно-критическій журналъ, конечно, долженъ вестись лучше, старательнѣе, планомѣрнѣе, чѣмъ ведется теперь «Критическое Обозрѣніе». Главное, планомѣрнѣе. Если область объективно-научной критики, въ самомъ дѣлѣ, такъ хороша, то покажите же ее намъ, простымъ смертнымъ и мученикамъ субъективизма, съ ясностью и во всей красѣ. Можетъ быть и мы захотимъ отдохнуть отъ всѣхъ тревогъ въ благодатномъ царствѣ этой объективно-научной критики: тамъ вѣдь не стыдно, не больно, тамъ нѣтъ ни злобы, ни печали, тамъ нѣтъ ничего, кромѣ познанія всякаго рода вещей и наслажденія этимъ познаніемъ. Не житье тамъ, а масляница, а мы такъ долго и усердно постимся, что право, наконецъ, заслуживаемъ масляницы. Отдохнуть бы на лонѣ спокойной, безстрастной науки, замереть бы...

Господа «Критическаго Обозрѣнія», откройте свой секретъ, если самн имъ владѣете, научите насъ быть самодовольными!

На самомъ дѣлѣ это еще вопросъ, владѣетъ-ли «Критическое Обозрѣніе» секретомъ самодовольства, ибо хотя оно и весьма любезно гладитъ само себя по головѣ, но резоновъ для этого никакихъ не предъявляетъ. И когда тѣ, у кого скребутъ на сердцѣ кошки, замѣчаютъ это отсутствіе резоновъ — а какъ же его не замѣтить? — то жало зависти поневолѣ притупляется. Нѣтъ, завидовать тутъ нечему. А вотъ нельзя-ли г. Евгенію де-Роберти позавидовать? По всѣмъ видимостямъ, можно и должно. Начать съ того, что «Критическое Обозрѣніе» сдѣлало для этого знаменитаго писателя исключеніе или почти исключеніе. Лѣнь пересматривать всѣ номера почтеннаго журнала, но съ увѣренностью всетаки говорю, что онъ почти не слѣдилъ за европейской научной журналистикой. Можетъ быть такъ, случайно что-нибудь и проскользнуло, и въ числѣ этихъ случайностей фигурируютъ статья г. Евгенія де-Роберти о XIX томѣ журнала «La philosophie positive» и статья о «Notes sociologiques» г. Евгенія де-Роберти, напечатанныхъ въ той же «La philosophie positive». Столь большое вниманіе къ г. Евгенію де-Роберти, при столь маломъ вниманіи къ европейской научной журналистикѣ, не противорѣча общему характеру случайности «Критическаго Обозрѣнія», показываетъ однако, повидимому, что мы имѣемъ дѣло съ писателемъ, дѣйствительно, высокаго достоинства. Такъ «Критическое Обозрѣніе» и понимаетъ г. де-Роберти, такъ онъ и самъ себя понимаетъ. Между прочимъ, «Критическое Обозрѣніе» поминаетъ «скромность» г. де-Роберти, озаглавившаго свою работу просто: notes sociologiques, «соціологическія замѣтки». Но вотъ теперь эти самыя notes явились отдѣльнымъ изданіемъ по-русски, подъ заглавіемъ уже далеко не столь скромнымъ, а именно: «Международная научная библіотека. Соціологія. Евгенія де-Роберти. Спб. 1880». Подобной книги, конечно, нѣтъ ни въ природѣ, ни въ другихъ мѣстахъ. «Соціологія» г. де-Роберти единственна въ своемъ родѣ. Европейскіе ученые пишутъ «соціологическіе опыты», «элементы соціальной науки», «основанія соціологіи», прибѣгаютъ къ еще болѣе частнымъ и скромнымъ заглавіямъ, и самъ г. де-Роберти является въ Европѣ съ скромнымъ видомъ автора «соціологическихъ замѣтокъ». Но у себя въ отечествѣ онъ не считаетъ нужнымъ церемониться и пишетъ *просто* «Соціологія». Совершенно такъ же, какъ тотъ генералъ, который говоритъ своему лакею: зачѣмъ ты, братецъ, меня все Иваномъ Ивановичемъ зовешь, зови просто «ваше превосходительство». Оно и натурально. Книга г. де-Роберти есть до сихъ поръ единственный представитель русскаго отдѣла «международной научной библіотеки». Понятно, что г. де-Роберти имѣетъ всѣ резоны для самодовольства.

Никакихъ, милостивые государи, ровно никакихъ резоновъ. Самодовольнымъ можно быть всегда и вездѣ, даже на рѣкахъ вавилонскихъ, но быть заслужению-самодовольнымъ, по крайней мѣрѣ по нашему времени, такъ трудно, такъ трудно, что даже почти невозможно. И если кто громоздится на пьедесталъ, то весьма не трудно его свести съ онаго.

Что такое «Международная научная библіотека»? Дѣло это затѣяло еще въ 1871 г. «Британское общество для споспѣшествованія наукамъ». Съ тѣхъ поръ международная научная библіотека подвинулась довольно далеко, выпустивъ не одинъ десятокъ томовъ. Это все общедоступныя сочиненія по самымъ разнообразнымъ вопросамъ, издающіяся единовременно на французскомъ, нѣмецкомъ и англійскомъ языкахъ. Въ числѣ англійскихъ авторовъ фигурируютъ Тиндаль, Гёксли, Леббокъ, Бэнъ, Спенсеръ, Карпентеръ, Маудсли и проч.; изъ французовъ Клодъ Бернаръ, Катрфажъ, Вюрцъ, Кетле, Тэнъ, Бертело и проч.; изъ нѣмцевъ Вирховъ, Лейкартъ, Штейнталь, Вундтъ и т. д. Все изданіе ведется подъ наблюденіемъ особаго комитета ученыхъ.

Въ 1874 году, редакція журнала «Знаніе» возымѣла благое намѣреніе издавать, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя изъ сочиненій, входящихъ въ составъ международной научной библіотеки, на русскій языкъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, она предприняла привлечь и русскихъ ученыхъ къ международной научной библіотекѣ. Такимъ образомъ, возникъ русскій отдѣлъ этой библіотеки и хотя въ объявленіяхъ о немъ довольно смутно говорилось объ отношеніяхъ русскаго отдѣла къ французскому, нѣмецкому и англійскому, но всетаки русскій отдѣлъ былъ, кажется, не совсѣмъ миѳъ. По крайней мѣрѣ, было опубликовано, что онъ состоитъ подъ контролемъ особаго комитета, состоящаго изъ гг. Бутлерова, Костомарова и Сѣченова. Публиковались даже названія сочиненій, долженствующихъ войти въ составъ русскаго отдѣла. Тутъ значились: г. Костомарова «Историческое значеніе русскаго народнаго пѣснотворчества», г. Капустина «Международныя отношенія», г. Якобія «Элементы гигіены» и др. «Соціологіи» г. де-Роберти, однако, въ этомъ спискѣ не было. Все это дѣло давно уже лопнуло. Редакція «Знанія», издавъ нѣсколько переводныхъ сочиненій изъ международной научной библіотеки и не издавъ ни одного русскаго, пріостановила свою дѣятельность, да и само «Знаніе» прекратилось.

Что же означаетъ послѣ всего этого пышная надпись на книгѣ г. де-Роберти «Международная научная библіотека»? Ровно ничего, кромѣ того, что г. де-Роберти очень собой доволенъ, но доволенъ совершенно незаслуженно. Что касается содержанія «Соціологіи», то его можно характеризовать однимъ словомъ—вода; вода, мѣстами, какъ и слѣдуетъ быть хорошей водѣ, безъ вкуса, безъ цвѣта и безъ запаха, а мѣстами мутноватая. Многія и многія страницы г. де-Роберти посвящаетъ, напримѣръ, вполнѣ элементарнымъ и даже вполнѣ ненужнымъ по своей элементарности соображеніямъ о томъ, что соціологическихъ фактовъ много, а соціологія, какъ наука, всетаки бѣдна. Есть и жеванныя и пережеванныя мысли по поводу разногласія Спенсера съ Контомъ насчетъ классификаціи наукъ. Есть весьма недожеванныя и весьма вообще подозрительнаго достоинства соображенія о значеніи «описательнаго» метода въ соціологіи. Есть и разное другое въ этомъ родѣ, но «соціологіи», конечно, нѣтъ. Все это изложено тѣмъ благосклоннымъ, грасирующимъ тономъ «буароднаго чеаэка», которымъ еще недавно говорили чувствующіе свое достоинство старопечатные дворяне. Но любопытно, всетаки знать причемъ тутъ международная научная библіотека? Любопытно, ибо сочиненіе г. де-Роберти не появлялось до сихъ поръ ни на нѣмецкомъ, ни на англійскомъ языкахъ, какъ непремѣнно было бы, еслибы «Соціологія» нашего ученаго отечественной фабрикціи входила въ составъ международной научной библіотеки. Весьма также позволительно сомнѣваться, чтобы сочиненіе это находилось на просмотрѣ у котораго-либо изъ ученыхъ комитетовъ, наблюдающихъ за изданіемъ международной научной библіотеки. Можетъ быть, во французскомъ отдѣлѣ «Соціологія» г. де-Роберти и появится, такъ какъ она была предварительно напечатана въ журналѣ гг. Литтре и Вырубова, которые хотя и не участвуютъ въ редижированіи международной научной библіотеки, но имѣютъ, конечно, подходящія связи. Въ концѣ-концовъ пышная надпись на книгѣ г. де-Роберти, сама по себѣ ровно ничего не говорящая ни уму, ни сердцу читателя, показываетъ, однако, къ какимъ, либо ребяческимъ, либо... какъ бы это сказать повѣжливѣе... безцеремоннымъ пріемамъ долженъ по нынѣшнему времени прибѣгать русскій человѣкъ для приданія себѣ самодовольнаго вида. Я утверждаю, что двусмысленное появленіе единственнаго тома русскаго отдѣла международной научной библіотеки совсѣмъ не случайный эпизодъ изъ исторіи современнаго русскаго просвѣщенія. Можетъ показаться случайнымъ то обстоятельство, что редакція «Знанія» не довела своего предпріятія не только до конца, а и до начала. Допустимъ, что и то случайно, что не нашлось продолжателей у «Знанія» ни между издателями, ни между самими русскими учеными. Но изъ всѣхъ этихъ якобы случайныхъ слагаемыхъ получается совершенно не случайный итогъ: русскаго отдѣла международной научной библіотеки нѣтъ и въ настоящую минуту быть не можетъ. Одна ласточка весны не дѣлаетъ, а такая безцеремонная или забавная ласточка, какъ «Соціологія» г. де-Роберти, даже съ особенною ясностью оттѣняетъ отсутствіе весны. Есть, хоть ихъ и немного, очень почтенные и европейски извѣстные русскіе ученые, такъ что въ смыслѣ наличности подходящаго матеріала, собственно говоря, не видится никакого препятствія для образованія русскаго отдѣла международной научной библіотеки. Но не хватаетъ тѣхъ общественныхъ факторовъ, безъ которыхъ весь этотъ матеріалъ осужденъ либо оставаться въ письменныхъ столахъ или даже только въ головахъ авторовъ, либо появляться спорадически, и во всякомъ случаѣ не можетъ сложиться въ общественное предпріятіе, какова международная научная библіотека. Для этого требуется извѣстный запросъ со стороны общества, извѣстная готовность со стороны уче-

ныхъ людей удовлетворить этому запросу или даже вызвать его, извѣстное единеніе между самими учеными людьми, единеніе на почвѣ интересовъ науки, сознательно удовлетворяемыхъ въ качествѣ общественной цѣли. Въ свою очередь, эти факторы требуютъ для своего осуществленія ряда другихъ условій, которыхъ у насъ тоже нѣтъ. И вотъ почему я утверждаю, что отсутствіе русскаго отдѣла международной научной библіотеки нисколько не случайно. Г. Евгеній де-Роберти можетъ, конечно, издать еще и еще сочиненіе съ надписью «международная научная библіотека», какъ это, впрочемъ, можетъ сдѣлать и всякій другой русскій писатель. Но изъ этого всетаки ровно ничего не выйдетъ. Не выйдетъ, по крайней мѣрѣ, того учрежденія, которое такъ разрослось во Франціи, Германіи и Англіи подъ именемъ международной научной библіотеки.

Повторяю, когда нѣтъ литературы, ничего нѣтъ. Показатель-ли это только или причина, разсуждать не будемъ. Во всякомъ случаѣ, господа ученые—это, конечно, къ г. де-Роберти не относится, потому что, какой же онъ ученый, онъ шалунъ—сбавьте немножко своего самодовольства и посыпьте, подобно намъ, главы свои пепломъ. То отсутствіе всякаго присутствія, отъ котораго мы изнываемъ, рано или поздно настигнетъ васъ даже за твердынями объективно-научной критики. Только вы, можетъ быть, это не такъ скоро замѣтите и все будете гладить себя по головѣ и думать вслухъ: ахъ, какъ мы хороши! Нѣтъ господа, совсѣмъ не хороши. Право даже хуже насъ, грѣшныхъ, потому что мы вотъ, по крайней мѣрѣ, то скуемъ. Скучно оно, конечно, и читателю скучно, а намъ вдвойнѣ, но, по крайней мѣрѣ, эта скука свидѣтельствуетъ о томъ, что мы не утратили способности воспринимать впечатлѣнія отъ внѣшняго міра. А вы ликуете. Вы думаете, что вы и въ самомъ дѣлѣ находитесь въ безвоздушномъ пространствѣ объективно-научной критики, гдѣ нѣтъ ни коня съ копытомъ, ни рака съ клешней...

Литературныя замѣтки 1880 г.

I. Январь.

Принесетъ-ли новый годъ нашей литературѣ новое счастіе—дѣло темное. Знаменитые миѳическіе покровители всего русскаго, Авось и Небось, можетъ быть и вывезутъ, а можетъ быть и не вывезутъ. Это божества, конечно, могущественныя, о чемъ свидѣтельствуетъ вся русская исторія, но капризныя, о чемъ тоже исторія не умалчиваетъ. Они могутъ вознести русскаго человѣка выше лѣса стоячаго, такъ что мимоходящіе скажутъ: боги! какъ этотъ человѣкъ высоко летаетъ и какъ онъ чувствуетъ свое достоинство на высотѣ птичьяго полета! Но могутъ они также этого самаго человѣка въ такомъ какомъ-нибудь мѣстѣ устроить, гдѣ и мимоходящихъ-то никакихъ не бываетъ, такъ что не то что любоваться, а и пожалѣть некому. Темное, говорю, дѣло. И ни одинъ смертный не приподниметъ завѣсы будущаго. Таковъ, впрочемъ, характеръ русской жизни вообще. Хоть и не лестно, а надо сознаться, что историческіе законы, кажется, не для насъ писаны. У другихъ народовъ, напримѣръ «флотовъ нѣтъ—передъ флотами», и это, говорятъ, историческій законъ, а у насъ нѣтъ флотовъ, нѣтъ, нѣтъ и потомъ опять-таки нѣтъ.

Во всякомъ случаѣ, новый годъ уже принесъ, если не новое счастіе, то нѣсколько новинокъ, и за то спасибо. Новый годъ принесъ новую газету («Страна»), новые журналы («Русское Богатство», «Русская мысль»), новую, какъ сообщаютъ газетные слухи, газету г. Цитовича (одна эта новинка чего стоитъ!), новое произведеніе г. Гончарова. О новыхъ періодическихъ изданіяхъ еще успѣемъ наговориться, тѣмъ болѣе, что не всѣ они еще въ настоящую минуту появились. О новомъ произведеніи г. Гончарова можно говорить теперь же. Это вещь законченная. Напечатана она въ № 1 «Русской Рѣчи» и называется «Литературный вечеръ».

По старой памяти, мы все еще ждемъ нѣкотораго сладостнаго, умственнаго и нравственнаго волненія при появленіи новаго произведенія котораго либо изъ даровитыхъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Ожиданіе, довольно легкомысленное, конечно, но такова ужъ сила преданія. Поэтому обусловленныя этимъ ожиданіемъ иногда чрезмѣр-

ная требовательность, придирчивость, ворчливость, хотя вполнѣ несправедливы, но понятны. Не будь подъ «Литературнымъ вечеромъ» много обѣщающей подписи г. Гончарова, этотъ «очеркъ», какъ называетъ его самъ авторъ, прочелся бы заурядъ съ разнымъ другимъ журнальнымъ матеріаломъ; кое-кто зѣвнулъ бы нѣсколько разъ при его чтеніи, кое-кто совсѣмъ не дочиталъ бы, кое-кто, дочитавъ, подумалъ бы: и охота же было этому очерку растянуться на шесть печатныхъ листовъ! Кромѣ этой, совершенно невинной и, надо правду сказать, даже при наличности подписи г. Гончарова справедливой претензіи, никто не предъявилъ бы автору ничего. Теперь совсѣмъ другое дѣло. Теперь каждый принимается за «Литературный вечеръ» съ надеждой встрѣтить яркіе типическіе образы, можетъ быть правильно, а можетъ быть неправильно освѣщенные, но во всякомъ случаѣ живые, сильно или сладостно трогающіе читателя. Тотъ, можетъ быть, даже разсчитываетъ, что вотъ человѣкъ сейчасъ «ударитъ по сердцамъ съ невѣдомою силой» и, дочитавъ «Литературный вечеръ» до конца, естественно разсердится. Но будемъ же справедливы. Возьмемъ то, что намъ даютъ.

Никакихъ яркихъ типическихъ образовъ въ очеркѣ г. Гончарова нѣтъ, да авторъ и не имѣлъ въ виду создать ихъ. Строго говоря, это не только не художественное произведеніе, а вещь, даже не преслѣдующая художественныхъ цѣлей. Это просто характеристика нѣкоторыхъ сторонъ нынѣшняго положенія литературы, изложенная въ привычной автору беллетристической формѣ. Для такой характеристики очеркъ немножко длиненъ и осыпанъ нѣкоторыми ненужными подробностями. Но все-таки это именно такая характеристика, и по замыслу, и по исполненію, и иныхъ требованій ей предъявлять нельзя. Съ этой точки зрѣнія, очеркъ, не смотря на растянутость, отнюдь не лишенъ интереса и поучительности.

Великосвѣтскій авторъ читаетъ въ великосвѣтскомъ кругу свой романъ изъ великосвѣтскаго быта. Для этого именно случая великосвѣтскій кругъ немножко потѣснился и далъ у себя мѣсто простымъ смертнымъ, «оглашеннымъ»: профессору, редактору журнала, газетному критику. Самъ по себѣ романъ великосвѣтскаго автора большого вниманія не заслуживаетъ. Г. Гончаровъ разсказываетъ содержаніе части его своими словами: благороднѣйшій графъ влюбленъ въ прекраснѣйшую княгиню, прекраснѣйшая княгиня влюблена въ благороднѣйшаго графа, но коварнѣйшій баронъ, пользуясь маленькою случайностью, разводитъ интригу, вслѣдствіе которой любовь смѣняется раздоромъ. Но «ручей два древа раздѣляетъ, а вѣтви ихъ, сплетясь, ростутъ», сердца графа и княгини остаются неразлучными и потому обладатели сердецъ вновь соединяются, чтобы потомъ вновь разойтись, но уже при другихъ условіяхъ. Такъ какъ дѣйствіе великосвѣтскаго романа происходитъ и въ Россіи, и за-границей, то авторъ инкрустируетъ разныя тонкія описанія красивыхъ мѣстностей, музеевъ, картинъ, маневровъ въ Красномъ Селѣ и проч., и проч. Да идетъ все это мимо насъ! Но вотъ романъ прочитанъ и начинаются сужденія объ немъ, сначала при самомъ авторѣ, а потомъ и безъ него. Въ этихъ сужденіяхъ заключается весь интересъ «очерка» не только для насъ, читателей, но, очевидно, и для самого г. Гончарова, выбравшаго эпиграфомъ къ очерку стихъ Крылова: «лебедь рвется въ облака, ракъ пятится назадъ, а щука тянетъ въ воду».

Сначала, въ присутствіи автора, сужденія высказываются, конечно, только благопріятныя. «Оглашенные», случайно попавшіе въ высокіе хоромы на роли экспертовъ, молчатъ, а «свои» выражаютъ восторги въ такомъ родѣ. Нѣкоторый господинъ Фертовъ категорически объявляетъ: «Comme c'est beau! on se croirait transporté à l'époque d'Homère!» «C'est divin! c'est Homère doublé de Tasse!» А князь Пестовъ, съ своей стороны, проситъ автора: «Vous me donnerez un exemplaire: je le mettrai à coté de J. J. Rousseau». По отбытіи автора и нѣкоторыхъ изъ его друзей, между прочимъ, и тѣхъ, которые столь блаженно сравнивали его съ Гомеромъ, Тассомъ и Руссо, начинается веселый ужинъ, развязываются всѣ языки... Говорятъ и о только-что выслушанномъ произведеніи, и о литературѣ вообще. Генералъ недоволенъ тѣмъ, что въ литературѣ употребляются слова «объективный, субъективный, эксплоатація, инспирація, конкурренція, интеллигенція». Старикъ Красноперовъ, пріятель Булгарина и Греча, вспоминаетъ доброе старое время, когда, «бывало, сочинители по струнѣ ходили», «являлись къ Николаю Ивановичу на поклонъ и выслушивали отъ него благіе совѣты, да слѣдовали имъ». Онъ же, Красноперовъ, находитъ, что литература колеблетъ «основы». Въ этомъ его поддерживаетъ господинъ Трухинъ, пускающій шпиъ по змѣиному насчетъ разрушительныхъ стремленій и недостатка уваженія къ религіи. Это крайняя правая сторона за ужиномъ. Крайнюю лѣвую изображаетъ собой газетный критикъ Кряковъ, безпорядочно и азартно полемизирующій направо и налѣво, и каждому изъ собесѣдниковъ въ отдѣльности, равно какъ и всему обществу въ цѣломъ говорящій дерзости. Центръ занимаютъ свѣтскій, но образо-

ванный и умный старикъ Чешневъ, редакторъ журнала и профессоръ. Какъ и подобаетъ центру, среднимъ людямъ, они говорятъ средняго рода и средняго достоинства рѣчи, склоняясь то немножко вправо, то немножко влѣво. Настоящій парламентъ! Дебаты, подъ руководствомъ президента г. Гончарова, идутъ о задачахъ искусства, о національности, объ идеализмѣ и реализмѣ и другихъ матеріяхъ важныхъ. Очеркъ г. Гончарова чуждъ художественнаго замысла и несправедливо было бы предъявлять ему требованія въ этомъ родѣ. Однако, если смотрѣть на него и какъ на публицистику, вставленную, по капризу и склонности автора, въ беллетристическую форму, очеркъ производитъ все-таки какое-то странное впечатлѣніе. Помимо растянутости, это зависитъ, кажется, отъ того, что г. Гончаровъ не пожелалъ вмѣшаться самъ въ дебаты дѣйствующихъ лицъ и держитъ себя именно, какъ президентъ палаты, заботящійся единственно о томъ, чтобы всѣ стороны высказались. Хорошъ-ли такой пріемъ въ чистой беллетристикѣ, это особь-статья, но въ публицистикѣ онъ, конечно, не хорошъ. Еслибы дѣйствующія лица *жили* въ очеркѣ, мы имѣли бы, значитъ, поэтическое произведеніе, но они только разговариваютъ. Надо же, чтобы эти разговоры были опредѣленнымъ образомъ сгруппированы и освѣщены, чтобы они имѣли свой raison d'être, чтобы читатель могъ понимать, почему именно эти, а не сотни другихъ возможныхъ разговоровъ ему предъявляются. Между тѣмъ, единственное, вполнѣ опредѣленное освѣщеніе этихъ длинныхъ и подчасъ довольно-таки скучныхъ разговоровъ, которое авторъ рѣшается дать отъ себя, резюмируется эпиграфомъ. Объ остальномъ надо догадываться, что, впрочемъ, особеннаго труда не представляетъ. Въ концѣ-концовъ, всѣ эти разговоры, если не художественно, то довольно вѣрно воспроизводящіе различные существующіе у насъ оттѣнки мнѣнія о литературѣ, дѣйствительно показываютъ, что лебедь рвется въ облака, ракъ пятится назадъ, а щука тянетъ въ воду. И это, конечно, фактъ, достойный вниманія. Затѣмъ, оттѣнокъ легкой, а иногда даже очень не легкой ироніи, съ которой г. Гончаровъ относится къ крайней правой своего парламента, долженъ быть ему, по нынѣшнему времени, поставленъ положительно въ заслугу. Само собою разумѣется, что и безъ этой ироніи никто не заподозрилъ бы нашего почтеннаго романиста въ солидарности съ глупыми и злобными людьми въ родѣ Красноперова и Трухина. Но глупость и злоба гуляютъ нынѣ по бѣлому свѣту съ такою развязностью, блещутъ такою самоцвѣтною наглостью, что просто полезно, когда человѣкъ въ родѣ г. Гончарова, человѣкъ съ крупнымъ литературнымъ именемъ ни въ какой неблагонамѣренности не заподозрѣнный, говоритъ: вотъ глупость и злоба. Что касается крайней лѣвой, т. е. газетнаго критика Крякова, то и къ нему авторъ относится не безъ иронія, но выражается она главнымъ образомъ тѣмъ, что онъ усвоиваетъ Крякову какую-то безпорядочность и непорядочность мысли, полемики, выраженій, костюма, манеръ. Впрочемъ, съ Крякомъ выходитъ въ концѣ очерка необыкновенно странный казусъ, смыслъ котораго остается во мракѣ неизвѣстности. Оказывается именно, что онъ вовсе не газетный критикъ Кряковъ, а артистъ императорскихъ театровъ, актеръ, настоящій актеръ съ фальшивой бородой и усами, шутки ради приведенный на литературный вечеръ студентомъ, родственникомъ хозяина. Зачѣмъ понадобилась г. Гончарову эта странная фикція уразумѣть тѣмъ труднѣе, что, по мнѣнію всѣхъ присутствующихъ, равно какъ и по мнѣнію самого автора, актеръ сыгралъ свою роль безукоризненно, какъ будто на литературномъ вечерѣ присутствовалъ не актеръ, а настоящій газетный критикъ изъ «нигилистовъ». Зачѣмъ же было городить странный огородъ съ фальшивой бородой и усами? Какъ бы то ни было, но, посмѣиваясь надъ безпорядочностью и непорядочностью Крякова, г. Гончаровъ не дѣлаетъ изъ него пугала въ нравственномъ и умственномъ отношеніи. Напротивъ, по задачѣ автора, это человѣкъ не глупый, искренній и честный. Но симпатіи автора все-таки не на его сторонѣ, а на сторонѣ центра и именно главнымъ образомъ старика Чешнева.

Разсказывая своими словами содержаніе великосвѣтскаго романа, г. Гончаровъ характеризуетъ его, между прочимъ, такъ: «Ничего вульгарнаго, никакой черновой, будничной стороны не входило въ рамки этой жизни, гдѣ все было очищено, убрано, освѣщено и украшено, какъ въ свѣтлыхъ и изящныхъ залахъ богатаго дома. Прихожія, кухни, дворъ, со всею внѣшнею естественностью — ничего этого не проникало сюда; сіяли одни чистые верхи жизни, какъ снѣговыя вершины Альпъ». По поводу этой стороны романа, происходитъ много сшибокъ за ужиномъ и, между прочимъ, такая:

«—Это протестъ аристократизма и милитаризма противъ демократіи—вотъ какъ я назову! сердито сказалъ Кряковъ.—Протестъ привилегированныхъ сословій, съ ихъ роскошью, придворною утонченностью, противъ...

— Противъ грубости, цинизма, неряшества, всякой моральной и матеріальной распущенности... это правда! добавилъ Чешневъ тоже пылко.

Генералъ, Суховъ и Урановъ засмѣялись.— Bien dit! раздалось съ другого конца стола.

— И это подвигъ со стороны автора, продолжалъ Чешневъ.—Давно пора было поднять копье противъ бурнаго натиска на все то, чѣмъ живетъ и держится общество!

— Напримѣръ, на что? почти грубо спросилъ Кряковъ.

— Напримѣръ, на человѣческія приличія, уваженіе къ человѣческому достоинству, сдержанность, обузданіе дикихъ страстей, а вмѣстѣ съ этимъ, конечно, и на соотвѣтствующія формы общежитія, на утонченность нравовъ, такъ же, какъ на чистый вкусъ и здоровыя понятія... и въ искусствахъ! Словомъ, протестъ противъ всякой распатанности и растрепанности въ людскомъ обществѣ, противъ всякаго звѣроподобія! Вотъ въ чемъ состоитъ подвигъ автора! Человѣчество долгимъ и трудным путемъ достигало этихъ результатовъ, а тутъ вдругъ явилось поколѣніе, которое хочетъ стереть все, добытое тысячелѣтіями... И что оно поставитъ на это мѣсто? Вотъ противъ этой лжи и грубаго насилія и протестуетъ авторъ!

— Нѣтъ! бурно заговорилъ Кряковъ: — онъ протестуетъ противъ простоты нравовъ, естественности быта, требованій времени, противъ человѣческихъ правъ, личной свободы, равенства!.. вотъ въ чемъ подвигъ вашего автора! Онъ хочетъ защитить положеніе героевъ наверху, ихъ привилегированную утонченность, роскошь, уклоненіе отъ прямого и положительнаго труда!

— Пошли за полиціей! тихо, удерживая смѣхъ, сказалъ Суховъ хозяину».

Въ этомъ полемическомъ эпизодѣ, получающемъ и дальнѣйшее, если не развитіе, то распространеніе, заключается, повидимому, самый Brennpunkt всего «Литературнаго вечера». Глупыя рѣчи Красноперова, злобное шипѣніе Трухина, академическіе періоды профессора, уклончивыя разъясненія журналиста отходятъ на задній планъ. На сценѣ остаются Чешневъ и Кряковъ. Разговоръ поднимается въ болѣе высокую сферу общихъ вопросовъ и какъ бы столкновенія двухъ разныхъ міровъ, двухъ цивилизацій. И хотя Чешневъ и Кряковъ разстаются другъ съ другомъ со всѣми признаками взаимнаго уваженія, но вы чувствуете, что здѣсь-то и должно быть главнымъ образомъ приложено иносказаніе насчетъ лебедя и щуки. Оно и понятно: Красноперовы и Трухины имѣютъ, конечно, голосъ въ житейскихъ дѣлахъ, большой голосъ, а нынѣ даже совсѣмъ черезъ край большой. Но какъ бы громко они не галдѣли, какъ бы ни вредили обществу своимъ змѣинымъ шипѣньемъ, въ процессѣ выработки идей они равны нулю. Они представители не идеи, а инстинкта и рутины. Они могутъ только въ критическій моментъ дебатовъ чисто идейнаго характера крикнуть, подобно Сухову, но не со смѣхомъ, а съ ужасомъ или злобой: «пошли за полиціей!» Они не видятъ разницы между полиціей и логическимъ доводомъ и, постоянно смѣшивая эти двѣ вещи, хотя и могутъ наполнить собой данный историческій моментъ и окрасить его черной краской, но они и идея—какая бы то ни было, старая, новая, вѣрная, невѣрная — не имѣютъ между собой ничего общаго. Красноперовыхъ и Трухиныхъ нельзя обойти въ картинѣ, какою задался г. Гончаровъ, потому что въ соотвѣтственной жизненной картинѣ они занимаютъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ: и сѣкутъ, и рубятъ, и въ полонъ берутъ. Но не сошлась же на нихъ интеллигентная Русь клиномъ. Многіе и многіе на разные лады и тоны поютъ, вопіютъ, взываютъ и глаголятъ: «пошли за полиціей!» Но есть же и здравомыслящіе люди, которые могутъ смотрѣть на вещи каждый по своему и расходиться между собою рѣшительно во всемъ, кромѣ, однако, понятія о взаимныхъ границахъ логики и полиціи. Въ сущности, эти двѣ вещи даже не граничатъ другъ съ другомъ, ибо не имѣютъ никакихъ точекъ соприкосновенія между собой. Чешневъ и Кряковъ одинаково понимаютъ это, не смотря на полное разногласіе во всѣхъ другихъ отношеніяхъ. И вотъ почему ихъ дебаты несравненно интереснѣе, чѣмъ окрики Красноперовыхъ и шипѣніе Трухиныхъ, хотя послѣдніе и наполняютъ собою пространство, а первые почти не слышны. Естественно также, что дебаты Крякова и Чешнева отодвигаютъ на второй планъ расплывающіяся, межеумочныя рѣчи журналиста и профессора, фигурирующихъ въ «Литературномъ вечерѣ». Въ практической жизни такіе межеумки играютъ несомнѣнно важную роль, потому что ихъ виляющая срединность приходится какъ разъ по плечу разномастной толпѣ съ ея разномастными интересами: никого не удовлетворяя вполнѣ, они раздаютъ всѣмъ сестрамъ по маленькимъ серьгамъ и сестры остаются, до поры до времени, довольны, самодовольно поглядывая въ зеркало и позвякивая маленькими дешевыми подвѣсками. Но въ мірѣ идей наибольшій интересъ выпадаетъ на долю цѣлостной, логически законченной, до послѣдней ступени развитія доведенной мысли. Такими и должны быть, по очевидному замыслу автора, идеи Чешнева и Крякова. Таковы они по замыслу, но не по исполненію.

Чешневы и Кряковы отнюдь не новыя фигуры въ нашей литературѣ. Это приснопамятные «отцы» и «дѣти», въ отношеніи которыхъ «Литературный вечеръ» не вводитъ ни одной новой жизненно-типической черты. Да г. Гончаровъ и не имѣлъ въ виду пополненія типа, потому что свелъ все дѣло къ разговорамъ, оставивъ Чешневу условную сдержанность и изящество, а Крякову столь же условную пылкость и неряшество.

Но именно потому, что все дѣло сведено къ разговорамъ, идеи Кряковыхъ и Чешневыхъ получили или могли бы, по крайней мѣрѣ, получить нѣсколько большую опредѣленность. Особенности личныхъ характеровъ, случайныя черты темпераментовъ, вкусовъ, склонностей, все индивидуальное отсутствуетъ въ «Литературномъ вечерѣ». Все это остается гдѣ-то за кулисами, гдѣ-то на днѣ, котораго никто не видитъ, а на верхъ всплываютъ только идеи. Въ то же время, однако, случайно или намѣренно избралъ г. Гончаровъ для своего изложенія форму разговора за ужиномъ, соскакивающаго съ одного предмета на другой въ капризномъ безпорядкѣ; но уже самая эта форма изложенія не даетъ возможности съ достаточною полнотою высказаться тѣмъ изъ собесѣдниковъ, которыхъ святая святыхъ не можетъ вылиться въ короткую формулу: «пошли за полиціей!» Для Крякова и Чешнева такое положеніе, разумѣется, особенно невыгодно. Ихъ міросозерцанія надо реставрировать по отдѣльнымъ крупинкамъ вскользь брошенныхъ замѣчаній и другъ друга перебивающихъ репликъ. Собственно говоря, разъ г. Гончаровъ отказался отъ чисто-художественнаго замысла, ему надлежало бы остановиться на излюбленной формѣ классической древности, формѣ почти, такъ сказать, безплотнаго діалога, гдѣ нѣтъ ничего, кромѣ идейной исповѣди. Къ этой формѣ, обладающей своеобразнымъ, хотя и непривычнымъ для насъ изяществомъ, еще недавно не безъ успѣха прибѣгалъ Ренанъ.

Что же это за идеи Чешнева и Крякова? Если сказать, что Чешневъ идеалистъ, а Кряковъ реалистъ, то многіе, во-первыхъ, этому повѣрятъ, а, во-вторыхъ, многимъ покажется, что они отлично поняли, въ чемъ дѣло. На самомъ же дѣлѣ, слова «идеализмъ» и «реализмъ» имѣютъ такую длинную исторію и въ теченіе этой исторіи такъ много прилипло къ нимъ разнаго случайнаго и посторонняго, что сказать: Чешневъ идеалистъ, а Кряковъ реалистъ—едва-ли значитъ сказать что-нибудь опредѣленное и всѣмъ одинаково понятное. Правда, самъ Чешневъ ставитъ въ одномъ мѣстѣ Крякову упрекъ, что тотъ хочетъ «жить безъ идеала, то-есть жить безъ цѣли», и Кряковъ не парируетъ упрека. Но это зависитъ, конечно, только отъ того, что въ безпорядочной causerie за ужиномъ Крякову трудно равномѣрно слѣдить за всѣми направленными противъ него обвиненіями и уличеніями. А то какъ бы не найти возраженія! Да и изъ дальнѣйшаго разговора съ полною ясностью обнаруживается, что у Крякова есть очень опредѣленныя цѣли и очень опредѣленные идеалы. Бѣда только въ томъ, что тѣ формы пониманія чести и совѣсти, права и долга, которыя принадлежатъ Крякову, до такой степени чужія Чешневу, что онъ даже отказывается признавать ихъ формами пониманія чести и совѣсти, права и долга. Это, конечно, бѣда для того воза, который остается на мѣстѣ, потому что впряженные въ него лебедь, ракъ и щука тянутъ въ разныя стороны. Но это, кромѣ того, глубокая ошибка Чешнева, ошибка и теоретическая, и практическая. Теорія обязываетъ всякаго, разсуждающаго объ идеалахъ, понимать, что если противникъ имѣетъ иной идеалъ, такъ это еще не значитъ, чтобы онъ не имѣлъ его вовсе. Съ практической же стороны просто невыгодно, объявляя идеалъ противника отсутствующимъ, тѣмъ самымъ лишать себя возможности доказать ложность этого идеала. И нѣтъ ничего мудренаго, если противникъ, при видѣ такого полемическаго пріема, не только подумаетъ, а и вслухъ заявитъ: эге! братъ, видно дѣло-то твое плохо, коли ты уклоняешься отъ оцѣнки моего идеала, подъ предлогомъ его отсутствія!

Глядя на препирательства Крякова и Чешнева со стороны, мы не имѣемъ никакого резона прибѣгать къ какимъ-нибудь уловкамъ и можемъ, кажется, совершенно спокойно признать, что идеалы есть и у той, и у другой стороны. Но всетаки такъ прямо дать Чешневу кличку идеалиста, а на Крякова надѣть ярлыкъ реалиста было бы не совсѣмъ осмотрительно.

Чешневъ выражаетъ мнѣніе, что прослушанный обществомъ великосвѣтскій романъ есть протестъ противъ «всякой расшатанности и растрепанности въ людскомъ обществѣ». Сказано это въ пику Крякову, но сказано не въ видѣ бранныхъ словъ, по крайней мѣрѣ, не исключительно бранныхъ. Чешневъ хочетъ сказать, что Кряковъ и ему подобные расшатываютъ исторически сложившіяся узы, которыми люди связываются въ общество, и отказываются повиноваться тѣмъ условнымъ требованіямъ, которыя означенными узами ставятся. Живой примѣръ такого отрицательнаго образа дѣйствій у Чешнева передъ глазами: Кряковъ ведетъ себя за ужиномъ не такъ, какъ требуется установившимися въ собравшемся обществѣ правилами, и говоритъ не такъ, и одѣтъ не такъ, какъ тамъ принято, и много ѣстъ, и много пьетъ. Эта мелочь очень важна, какъ для Чешнева, такъ и для всего собравшагося за ужиномъ общества, но не въ ней одной дѣло. Кромѣ подробностей нѣсколько эксцентрическаго въ свѣтскомъ смыслѣ поведенія, никакихъ иныхъ поступковъ Кряковъ не совершаетъ, но онъ позволяетъ себѣ критически относиться къ обществен-

нымъ узамъ, которыя священны въ глазахъ Чешнева. И этого словеснаго посягательства достаточно, чтобы Чешневъ «стоналъ» отъ душевной боли. Напримѣръ, Кряковъ нѣсколько неуважительно отзывается объ образѣ жизни офицеровъ. «Боже мой! Боже мой! застоналъ Чешневъ:—какая злая несправедливость! И это русскій человѣкъ говоритъ о русскихъ людяхъ, о своихъ братьяхъ»! Это чрезвычайно характерный для Чешнева оборотъ мысли. Въ жизни ему не разъ, разумѣется, случается дурно отзываться о «русскихъ людяхъ» и о «братьяхъ» въ буквальномъ смыслѣ слова, если у него таковые есть. Онъ можетъ быть даже очень сильно подтачиваетъ въ этомъ смыслѣ стихійные союзы «русскихъ людей» и «братьевъ», что, разумѣется, не мѣшаетъ ему быть умнымъ и честнымъ человѣкомъ. Но въ принципѣ онъ считаетъ эти союзы и устанавливаемыя ими людскія отношенія неприкосновенными, возвышенными, великими. На неприкосновенности ихъ основываются всѣ его идеалы чести, самопожертвованія, преданности: люди должны жить и умирать такъ, какъ того требуютъ связывающія ихъ семейныя, сословныя, общественныя, государственныя, національныя узы. Чуть человѣкъ выбился изъ шеренги, въ которую его поставилъ фактъ рожденія и другія случайности, онъ представляется уже Чешневу растрепаннымъ и расшатаннымъ. Онъ, напримѣръ, съ восторгомъ говоритъ о картинѣ маневровъ въ Красномъ Селѣ, вставленной въ великосвѣтскій романъ: ему нравится это единообразіе движеній, это проникновеніе массы людей какъ бы одной волей. Какимъ образомъ это объединеніе достигается, какою оно цѣною покупается, до этого ему дѣла нѣтъ. Разъ сложилась изъ отдѣльныхъ людей нѣкоторая группа, все равно, какъ бы она ни сложилась, люди должны проникнуться беззавѣтною преданностью ей и въ этомъ повиновеніи велѣніямъ группы видѣть свою задачу, свою цѣль жизни и свой идеалъ. Безъ сомнѣнія, на этомъ именно основаніи, Чешневъ и самъ себя считаетъ идеалистомъ, и другіе его такимъ полагаютъ. Имя вещи не мѣняетъ, поэтому отчего же, пожалуй, и не называть Чешнева идеалистомъ. Но почему же бы, спрашивается, не называть его и реалистомъ, если онъ строитъ свои идеалы на почвѣ сырья реальной дѣйствительности? Священныя для него узы онъ беретъ не изъ какой-нибудь идеальной области, а прямо такими, какими ихъ родила исторія и дѣйствительность, во всей ихъ конкретной реальности. Предлагая личности заколоться на алтарѣ того цѣлаго, въ которое она помимо воли попала, Чешневъ именно въ этомъ самозаклапіи видитъ идеалъ, порывъ къ небу, но собственно цѣлое-то онъ просто съ земли поднимаетъ. Существуетъ, напримѣръ, свѣтское общество съ извѣстными, не однимъ поколѣніемъ установленными понятіями о чести, долгѣ, достоинствѣ; сообразоваться съ этими понятіями и, въ случаѣ надобности, жертвовать собою ради нихъ, значитъ, по Чешневу, жить съ цѣлью, съ идеаломъ, уклоняться же отъ нихъ, значитъ, быть растрепаннымъ, расшатаннымъ, распущеннымъ. Я вовсе не желаю принижать идеализмъ Чешнева упоминаніемъ о требованіяхъ свѣтскаго общества, уваженіе къ которымъ весьма мало популярно. Нѣтъ, я беру ихъ только въ видѣ удобнаго примѣра и затѣмъ, хотѣлъ бы не только не принижать идеализмъ Чешнева, а, напротивъ, уяснить его себѣ въ наиполнѣйшемъ и чистѣйшемъ видѣ. Я не отрицаю этого идеализма и готовъ вѣрить, что Чешневы, сами по себѣ, способны и въ другихъ будить благородныя чувства самоотверженія, преданности, любви, и сами ихъ обнаруживать. Тѣмъ не менѣе узы, во имя которыхъ этотъ идеализмъ будится и проявляетъ себя, отнюдь не имѣютъ идеальнаго характера: они цѣликомъ взяты изъ реальной дѣйствительности и ею поддерживаются. И вотъ почему Чешневу, при всемъ его умѣ и благородствѣ (такимъ хочетъ его показать авторъ, а мы вѣримъ автору), приходится не разъ замараться нѣкоторою солидарностью съ глупымъ Красноперовымъ и дряннымъ Трухинымъ, а между нимъ и искреннимъ и неглупымъ Кряковымъ лежитъ непроходимая пропасть.

Въ самомъ дѣлѣ, Кряковъ смотритъ на вещи, какъ разъ наоборотъ взгляду Чешнева. Онъ расчленяетъ ножомъ анализа, (не Богъ знаетъ какого остраго, но вѣдь дѣло за веселымъ ужиномъ происходитъ) тѣ именно, якобы идеальныя группы, во имя которыхъ Чешневъ взываетъ къ самоотреченію и преданности, расчленяетъ во имя «правды», какъ онъ самъ говоритъ. И вотъ почему онъ «реалистъ». Опять-таки имя вещи не мѣняетъ и пусть Кряковъ будетъ реалистъ, кстати же онъ и самъ склоненъ себя такъ называть. Но я опять-таки не знаю, почему бы ему не называться идеалистомъ, если онъ изъ расчлененныхъ элементовъ реальныхъ группъ, чтимыхъ Чешневымъ, строитъ свои, дѣйствительно, идеальныя группы съ особыми понятіями о формахъ чести, совѣсти, права, долга. Можетъ быть, эти его идеалы нелѣпы, но они несомнѣнно идеалы и, во имя ихъ, онъ, по малой мѣрѣ, также способенъ и на самопожертвованіе, и на преданность, какъ и Чешневъ. Однако, разница какъ въ идеалахъ,

такъ и въ процессахъ ихъ выработки, до такой степени велика въ данномъ случаѣ, что о какомъ-нибудь примиреніи тутъ не можетъ быть и рѣчи: лебедь рвется въ облака, а щука тянетъ въ воду.

Но этого мало. Не въ томъ только бѣда, что Чешневъ и Кряковъ не могутъ столковаться. Обратите вниманіе на положеніе самихъ Чешневыхъ. Взять хоть бы тѣ же узы свѣтскаго общества, съ ихъ требованіями условнаго изящества и сдержанности, которыя Чешневъ такъ чтитъ. Чтитъ онъ ихъ, это правда, но, собственно говоря, Кряковъ со своей рѣзкой манерой говорить правду, какъ онъ ее понимаетъ, манерой, совершенно въ этомъ обществѣ неприличной, всетаки нравится Чешневу, да и остальнымъ собесѣдникамъ. Имъ самимъ тяжело въ обычной атмосферѣ, они рады струѣ свѣжаго воздуха, ворвавшейся въ случайно распахнутую форточку; чтимыя ими по преданію и привычкѣ узы уже утратили часть своего руководящаго значенія. И еще вопросъ, каковъ будетъ тотъ телецъ, котораго они заколютъ, въ случаѣ нужды, на алтарѣ свѣтскихъ узъ, вопросъ—не бѣгаютъ-ли они отдыхать отъ нихъ куда-нибудь въ совсѣмъ не свѣтскіе уголки. Затѣмъ Чешневъ, желая показать, какъ сильна связь, сливающая въ одно цѣлое «русскихъ людей», указываетъ на то единодушіе въ самопожертвованіи, которое обнаружилось въ минувшую войну. Это очень характерно. Допустимъ, что единодушіе въ самопожертвованіи было, въ самомъ дѣлѣ, полное, въ чемъ, конечно, усомниться было бы болѣе, чѣмъ позволительно. Но замѣчательно вотъ что. Возьмите любой русскій романъ, повѣсть, фельетонный беллетристическій набросокъ за послѣдніе годы, и вы почти навѣрное найдете тамъ героя, пылающаго самоотверженіемъ, сжигаемаго идеаломъ и несущаго это самоотверженіе непремѣнно либо въ Сербію, либо въ Болгарію. Когда такой герой становится столь шаблоннымъ лицомъ всѣхъ повѣстей и романовъ изъ русской жизни, то невольно рождается вопросъ: куда же бы онъ, этотъ самоотверженный герой, дѣвался, еслибы мы не гуляли по Сербіи и Болгаріи? куда бы понесъ онъ свой идеализмъ? Припомните изрѣченіе легкомысленнаго фельетониста, который, неустанно трубя «въ походъ!», говорилъ: укажите мнѣ внутреннюю задачу, столь же увлекательную, столь же будящую жизнь, какъ война, и я стану ее проповѣдывать. Надъ фельетонистомъ посмѣялись, попрекнули его близорукостью, мѣщающею ему видѣть огромной важности внутреннія задачи. Онъ, конечно, заслуживалъ упрека и насмѣшки, но упрекали и смѣялись далеко не всегда тѣ, кто имѣлъ на это право. Можетъ быть, вотъ и Чешневъ смѣялся, а между тѣмъ, самъ не можетъ найти, въ подтвержденіе своей мысли о единодушіи самопожертвованія «русскихъ людей», ничего, кромѣ войны. Да и романисты не даромъ такъ обрадовались случаю пристроить въ Сербіи и Болгаріи самоотверженіе своихъ героевъ. Дѣло въ томъ, что *съ точки зрѣнія идеализма Чешнева*, въ самомъ дѣлѣ, у насъ дома нѣтъ достаточно сильнаго дисциплинирующаго начала, которое объединило бы людей и властно потребовало бы отъ нихъ самоотверженія. Все идетъ своимъ чередомъ, самоотверженіе не требуется, чешневскому идеализму питаться нечѣмъ: нѣтъ такихъ реальныхъ узъ, за которыя нужно бы было и стоило бы умереть. Говорю вообще, разумѣется, потому что въ томъ или другомъ частномъ случаѣ могутъ найтись, напримѣръ, семейныя узы, достаточно сильныя и увлекательныя, чтобы потребовать и жизни, и смерти. Но это частности, не имѣющія общественнаго значенія. И положеніе Чешневыхъ, конечно, очень печальное. Они и рады бы найти такія реальныя узы, которыя могли бы служить объединяющимъ знаменемъ для всѣхъ русскихъ людей, но не находятъ. И сами они, вслѣдствіе этого, за отсутствіемъ руководящей и зовущей на жизнь и смерть идеи, играютъ роль не дисциплинированнаго войска, а какой-то милиціи, которая не умѣетъ ходить въ ногу, зря машетъ саблями, стрѣляетъ какъ попало. А иной, даже изъ Чешневыхъ, въ этой странной свалкѣ, до того спутается, что примкнетъ къ Красноперовымъ и Трухинымъ и крикнетъ: «пошли за полиціей»!

Не знаю, къ какому разряду собесѣдниковъ «Литературнаго вечера» долженъ быть причисленъ кіевскій профессоръ г. Хлѣбниковъ, но что онъ милиціонеръ—это вѣрно.

Г. Хлѣбниковъ, будучи еще профессоромъ варшавскаго университета, началъ свою ученo-литературную дѣятельность двумя сочиненіями по русской исторіи, которыя обѣщали въ немъ недюжиннаго дѣятеля на скудной нивѣ русской науки. Но затѣмъ г. Хлѣбниковъ, уклонившись отъ своей первоначальной спеціальности, издалъ большой томъ, подъ заглавіемъ «Право и государство», уже ровно ничего не обѣщавшій. Еще одинъ шагъ, и г. Хлѣбниковъ сталъ почти ежемѣсячно ратовать на страницахъ кіевскихъ «Университетскихъ извѣстій» противъ разнаго рода «измовъ». Много онъ ихъ побилъ и никто этого не замѣтилъ, даже сами побитые. Не буду и я ворошить эту груду писаній, изданныхъ, кажется, недавно отдѣльной книгой. Остановлю вниманіе читателя только на новѣйшемъ, послѣднемъ

эпизодѣ изъ учено-литературной дѣятельности г. Хлѣбникова.

Кіевскій приватъ-доцентъ Загоровскій защищалъ диссертацію на степень магистра, подъ заглавіемъ «Незаконнорожденные по саксонскому и французскому гражданскимъ кодексамъ, въ связи съ принципіальнымъ рѣшеніемъ вопроса о незаконнорожденныхъ вообще». Объ этой диссертаціи читатели «Отечественныхъ Записокъ» были въ свое время поставлены въ извѣстность. Въ № 11 кіевскихъ «Университетскихъ извѣстій» находимъ разборъ этой диссертаціи, принадлежащій перу г. Хлѣбникова, и въ придачу къ нему «Замѣтку о правилахъ и формахъ литературной борьбы». Начинается эта замѣтка такъ: Прочитавъ въ «Юридическомъ Вѣстникѣ», а также въ журналѣ «Гражданскаго и уголовнаго права», отчетъ о диспутѣ г. Загоровскаго, въ которомъ искажены мнѣнія, высказанныя мною и моими товарищами, а также замѣтку въ «Юридическомъ Вѣстникѣ» о моей статьѣ о цивилизаціи, я считаю нужнымъ высказать слѣдующее».

Мнѣ неизвѣстны отчеты и замѣтки Юридическаго Вѣстника и журнала Гражданскаго и Уголовнаго права. Изъ «Замѣтки» г. Хлѣбникова съ ними тоже познакомиться нельзя, потому что преподавая общія «правила и формы литературной борьбы», г. Хлѣбниковъ не дѣлаетъ ни одного указанія, какъ именно эти «правила и формы» были нарушены въ означенныхъ спеціальныхъ изданіяхъ. Судя, однако, по тону «замѣтки», можно думать, что не г. Хлѣбниковъ остался побѣдителемъ въ этой распрѣ. Онъ только хочетъ доказать, повидимому, что побѣжденъ онъ неправильно, дурными средствами, каковыя, дескать, и вообще въ нашей литературѣ господствуютъ.

«Въ чемъ же (чѣмъ же?) отличается честная литературная и политическая борьба отъ нечестной? спрашиваетъ г. Хлѣбниковъ и отвѣчаетъ такъ: «Въ честной борьбѣ противники нападаютъ не на слабыя стороны противоположнаго ученія, но, наоборотъ, на его сильныя стороны, оставляя слабыя безъ вниманія, ибо только побѣда надъ сильными сторонами противника есть честная побѣда, достойная человѣка». Вотъ совершенно новое и, можно сказать, неожиданное въ своей рыцарственности правило полемики. Безъ сомнѣнія, сильныя стороны противника должны быть подвергнуты тщательному анализу, но вѣдь полемика не рыцарскій турниръ, въ которомъ требуется только обнаруженіе силы, ловкости, удальства, умѣнія владѣть оружіемъ. Совершенно непонятно, почему въ литературной и политической борьбѣ слабыя стороны противника, то-есть наиболѣе нелѣпыя должны быть оставляемы «безъ вниманія». Это было бы, конечно, очень выгодно для писателей и ученыхъ, богатыхъ «слабыми сторонами», но не особенно выгодно для истины и для публики, среди которой нелѣпости имѣли бы странную привилегію распространяться безданно и безпошлинно. Ну, а если какая-нибудь доктрина или книга сплошь состоитъ изъ «слабыхъ сторонъ»? О, въ такомъ случаѣ она неприкосновенна! Пусть она гуляетъ по бѣлому свѣту безъ узды и кнута, пусть заражаетъ незрѣлые и неподготовленные умы, ибо критикъ долженъ быть рыцаремъ и прежде всего заботиться о сохраненіи рыцарскаго достоинства, а не объ уясненіи истины! Боже, какая Аркадія процвѣла бы тогда въ печальной юдоли нашей науки и литературы и какъ хорошо жилось бы въ этой Аркадіи гг. Хлѣбниковымъ, которымъ, однако, и теперь живется недурно, ибо они безъ того имѣютъ привилегію говорить о вещахъ, для другихъ недоступныхъ. Но таково уже положеніе всѣхъ привилегированныхъ: избаловавшись, они хотятъ все новыхъ и новыхъ привилегій и доходятъ, наконецъ, до того, что требуютъ привилегій даже для такихъ своихъ «сторонъ», которыя сами вынуждены признать «слабыми»! Дайте имъ только это право безпрепятственно говорить нелѣпости, и они спасутъ отечество. А отечество въ опасности! Катилина у воротъ! Да какое у воротъ?! «Посмотрите на нашу литературу, что она представляетъ? восклицаетъ г. Хлѣбниковъ. На высочайшія идеи человѣческой жизни, какъ-то: религія философія, нравственность надѣты чудовищныя и отвратительныя маскарадныя хари, и эти хари намѣренно выставляются за истинныя физіономіи этихъ великихъ идей, причемъ публика намѣренно и ловко одурачивается. Это дѣлаютъ среди бѣлаго дня тѣ же лица, которыя съ пѣной у рта говорятъ объ іезуитахъ, какъ будто это не есть самаго худшаго вида іезуитизмъ, дѣйствованіе по правилу: цѣль оправдываетъ средства... Именно такимъ способомъ одержана въ нашемъ обществѣ побѣда реализма надъ идеализмомъ съ его религіозными, философскими и нравственными формами».

Въ виду столь ужаснаго положенія дѣла, г. Хлѣбниковъ, независимо отъ «права слабыхъ сторонъ», предлагаетъ слѣдующій кодексъ полемики:

«Писатель, не соблюдающій слѣдующихъ условій, не можетъ требовать къ себѣ уваженія: 1) если упрекаетъ другого писателя за его религію, національность, сословное происхожденіе, образъ жизни, форму занятій, мѣсто воспитанія; 2) если упрекаетъ въ незнаніи и непониманіи, въ тупости или бездарности; 3) если, обходя существо книги или статьи, нападаетъ только на мелочи, подробности или недосмотры; 4) если искажаетъ текстъ сочиненія или умышленно невѣрно передаетъ его содержаніе; 5) если

упрекаетъ въ неправственномъ происхожденіи религіозныхъ, философскихъ или политическихъ убѣжденій противника; 6) если, выбирая отдѣльныя мѣста или фразы, вставляетъ ихъ въ другія сочетанія, придавая имъ иной смыслъ; 7) если сопровождаетъ свою критику бранью; 8) если называетъ доносчикомъ или подкупленнымъ писателемъ. Писатель, грѣшащій противъ первыхъ трехъ пунктовъ, виновенъ въ литературномъ неприличіи; грѣшащій противъ 3-го пункта виновенъ въ недобросовѣстности; грѣшащій же противъ послѣднихъ пяти пунктовъ виновенъ въ безчестномъ веденіи литературной борьбы. Въ литературной борьбѣ дозволительно: 1) доказывать, что приведенные факты недостаточны, односторонни, невѣрны; 2) что не приведены противоположные факты; 3) что принципы писателя противорѣчатъ такимъ-то основаніямъ науки; 4) что изъ этихъ принциповъ слѣдуютъ нелѣпыя послѣдствія; 5) что принципы автора ведутъ къ такому-то общественному злу; 6) что они находятся во взаимномъ противорѣчіи; 7) что упущены изъ вниманія слѣдующія литературныя работы; 8) что принципы автора находятся въ противорѣчіи съ основами государственности, религіи, нравственности, но никоимъ образомъ нельзя доказывать, что авторъ намѣренно подрываетъ государство, религію, нравственность, ибо это можетъ доказывать прокуроръ, а не критикъ».

Говоря вообще, этотъ кодексъ вовсе не такъ дуренъ, какъ можно бы было ожидать отъ творца права слабыхъ сторонъ. Напротивъ, нѣкоторые параграфы кодекса по истинѣ драгоцѣнны, и, конечно, не тѣ, кого г. Хлѣбниковъ называетъ реалистами, стали бы возставать противъ обузданія гг. Катковыхъ, Цитовичей и иныхъ, а обузданіе это само собой вытекаетъ изъ кодекса. И весьма любопытнымъ представляется то обстоятельство, что г. Хлѣбниковъ не замѣчаетъ, до какой степени большинство параграфовъ его кодекса самою силою вещей направляется не на тѣхъ, кто, по его словамъ, надѣваетъ маскарадныя хари на высочайшія идеи человѣческой жизни, а напротивъ, на самозванныхъ защитниковъ этихъ идей. Это невольное признаніе, дѣлая величайшую честь добросовѣстности г. Хлѣбникова, не дѣлаетъ чести его сообразительности. Виданное-ли, дѣйствительно, дѣло, чтобы «реалисты» (будемъ ужъ для краткости употреблять эту кличку) упрекали своихъ противниковъ, напримѣръ, въ намѣренномъ подрываніи основъ религіи, государственности, или попрекали ихъ иноземнымъ происхожденіемъ и т. п. Ну, а «идеалисты» забавляются этимъ нерѣдко. Такимъ образомъ, картина средствъ, при помощи которыхъ будто бы «одержана въ нашемъ обществѣ побѣда реализма надъ идеализмомъ съ его религіозными, философскими и нравственными формами»—должна быть, кажется, понимаема нѣсколько наоборотъ. Это обнаружилось тотчасъ же, какъ только г. Хлѣбниковъ отъ общихъ фразъ о «маскарадныхъ харяхъ» перешелъ къ конкретнымъ подробностямъ добропорядочной и недобропорядочной полемики. За всѣмъ тѣмъ кодексъ не обошелся безъ слабыхъ сторонъ. Непонятно, почему, напримѣръ, доказательства незнанія и непониманія, обнаруженныхъ противникомъ, должны быть исключены изъ полемики, или почему нельзя назвать человѣка доносчикомъ, если онъ, дѣйствительно, доносчикъ. Это, однако, мелочи, съ которыми легко примириться, если другіе параграфы кодекса будутъ приняты въ руководство господами, занимающимися срываніемъ, «маскарадныхъ харь».

Посмотримъ, какъ занимается этимъ дѣломъ самъ г. Хлѣбниковъ. Какъ извѣстно читателямъ, диссертація г. Загоровскаго есть плодъ добросовѣстнаго изученія французскаго и саксонскаго законодательствъ о незаконнорожденныхъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, представляетъ, по тенденціи, нѣчто крайне скромное и умѣренное. Такъ, г. Загоровскій полагаетъ, что различіе правъ законныхъ и незаконныхъ дѣтей есть законный продуктъ цивилизаціи; что онъ «имѣетъ глубокій смыслъ и крѣпкія основы»; что онъ вполнѣ объясняется стремленіемъ всѣхъ законодательствъ поддержать моногамическій бракъ, стоящій «во главѣ угла соціальной жизни». Затѣмъ, въ практическомъ отношеніи, г. Загоровскій рекомендуетъ русскому законодательству усвоить саксонскій принципъ Paternität'a, въ силу котораго незаконнорожденный или его мать могутъ судебнымъ порядкомъ разыскивать отца и получать отъ него, при извѣстныхъ условіяхъ и съ извѣстными ограниченіями, матеріальное обезпеченіе. Кажется, что можетъ быть скромнѣе? Но г. Хлѣбниковъ смотритъ на дѣло иначе.

Г. Загоровскій задалъ себѣ задачу въ предѣлахъ законодательства о незаконнорожденныхъ. Хлѣбниковъ этимъ недоволенъ. Онъ находитъ, что магистрантъ долженъ былъ расширить свою задачу и ввести въ нее изслѣдованіе вообще о значеніи семейства и его роли въ государствѣ. Мало того. Г. Хлѣбниковъ утверждаетъ, что магистрантъ «*не прочелъ*, какъ видно, *ни одного сочиненія*, трактующаго о бракѣ и семействѣ вообще, а читалъ только то, что писали цивилисты спеціально по вопросу о незаконнорожденныхъ». Съ чисто фактической точки зрѣнія, это утвержденіе по малой мѣрѣ смѣло. Не то, что г. Загоровскій, доцентъ, надо думать, гражданскаго права, а и нашъ братъ имѣлъ бы полное право обидѣться, еслибы ему въ упоръ брякнули, что онъ не читалъ ни одного сочиненія, трактующаго о бракѣ и семействѣ. Не знаю только, какимъ изъ параграфовъ кодекса

т. Хлѣбникова разрѣшается такой полемическій пріемъ. Должно быть хорошій пріемъ, потому, какіе же иные можетъ употреблять самъ законодатель честной полемики? А вотъ и другіе пріемы.

«На первой же страницѣ своего трактата, говоритъ г. Хлѣбниковъ: — авторъ критикуетъ нашъ мѣткій терминъ «незаконнорожденныя», употребляемый для дѣтей, рожденныхъ внѣ брака, и находитъ, что этотъ терминъ «странень, потому что рожденіе человѣка не можетъ быть беззаконніемъ». Очевидно, что г. Загоровскій натуралистъ, признающій лишь дѣйствительность физическихъ законовъ и отрицающій бытіе нравственныхъ законовъ. Дѣйствительно, съ точки зрѣнія физическихъ законовъ, рожденіе человѣка не можетъ быть беззаконіемъ, но со стороны нравственныхъ законовъ, признающихъ лишь одну связь мужчины и женщины дозволенной, законной, правомѣрной, это связь въ бракѣ, весьма естественно, что дѣти, рожденныя внѣ брака, будутъ дѣти незаконнорожденныя. . Натуралистическая теорія, признавая бракъ лишь договорнымъ, а не религіозно-нравственнымъ союзомъ, естественно выводитъ отсюда послѣдствія, вытекающія изъ идеи договора, природѣ котораго противны атрибуты вѣчности и неизмѣнности. Если бракъ есть только договоръ, то онъ долженъ быть, какъ и всякій договоръ, лишь временнымъ и уничтожаемымъ по волѣ договаривающихся сторонъ. Далѣе, изъ натуралистической идеи брака необходимо слѣдуетъ, что въ бракъ могутъ вступать всѣ лица, имѣющія необходимыя физическія качества, безъ отношенія къ степенямъ родства и свойства. Признавши эти два положенія, мы уничтожаемъ бракъ, какъ вѣчный союзъ мужчины и женщины, и учреждаемъ конкубинатъ, какъ новую форму, замѣняющую бракъ».

Остановимся на минуту. Въ кодексѣ честной и добропорядочной полемики значится, между прочимъ, что недозволительно попрекать противника «ненравственнымъ происхожденіемъ его религіозныхъ, философскихъ или политическихъ убѣжденій». Поступаетъ ли г. Хлѣбниковъ сообразно этому параграфу, когда утверждаетъ, что критикуемый имъ писатель «отрицаетъ бытіе нравственныхъ законовъ» и что его убѣжденія имѣютъ не нравственное, а какое-то «натуралистическое» происхожденіе? И это по поводу того, что г. Загоровскій отрицаетъ, по мнѣнію г. Хлѣбникова, «мѣткій», а въ сущности грамматически и логически невѣрный и ненужно-оскорбительный терминъ «незаконнорожденныя»! Къ счастію для г. Загоровскаго, онъ можетъ сослаться на примѣръ императрицы Маріи Ѳеодоровны, которая, конечно, не придерживаясь «натуралистической теоріи брака», тѣмъ не менѣе рѣшительно отрицала терминъ «незаконнорожденныя», а употребляла и другимъ рекомендовала употреблять термины: «несчастнорожденныя» и «сироты при родителяхъ своихъ». Но г. Хлѣбниковъ уже закусилъ удила и мчится далѣе. Навязавъ противнику натуралистическую теорію брака, о которой у того и помину нѣтъ, г. Хлѣбниковъ уже отъ себя начинаетъ развивать подробности этой теоріи, ставя ихъ, разумѣется, на счетъ противнику. При этомъ онъ говоритъ... не знаю, какъ выразиться, потому что желалъ бы держаться кодекса г. Хлѣбникова, а этимъ кодексомъ упреки въ незнаніи и непониманіи не допускаются... Г. Хлѣбниковъ утверждаетъ, что «изъ натуралистической идеи брака *необходимо* слѣдуетъ, что въ бракъ могутъ вступать всѣ лица, имѣющія необходимыя физическія качества, безъ отношенія къ степенямъ родства и свойства». Осмѣливаюсь думать, что г. Хлѣбниковъ не имѣлъ ни малѣйшаго права навязывать этотъ выводъ не только г. Загоровскому, но и «натуралистической идеѣ брака»; ибо натуралисты и до сихъ поръ спорятъ о значеніи браковъ между родственниками, и большинство ихъ склоняется къ тому заключенію, что подобные браки не должны быть терпимы. А между тѣмъ г. Хлѣбниковъ и далѣе вертится на этомъ столь несчастномъ для него пунктѣ и, вѣроятно, къ величайшему изумленію г. Загоровскаго, поучаетъ его: «Уничтоженіе родства и свойства, какъ препятствій для брака, вноситъ развратъ въ самыя нѣдра семействъ, дозволяя превращаться родственной любви въ чувственную; этотъ принципъ ведетъ къ тому, что двоюродные братья и сестры уже съ раннихъ лѣтъ начинаютъ упражняться въ кокетствѣ и смотрятъ другъ на друга, какъ на будущихъ жениховъ и невѣстъ». Откуда мнѣ сіе? могъ бы спросить г. Загоровскій; съ какой стати этотъ человѣкъ слабыхъ сторонъ читаетъ мнѣ лекцію о кокетствѣ двоюродныхъ братьевъ и сестеръ и проч., когда я не только ничего подобнаго не говорилъ, но когда этого и вывести изъ моей работы нельзя, даже въ томъ случаѣ, если толковать основную мысль этой работы, именно, такъ, какъ ее толкуетъ г. Хлѣбниковъ?!

Вотъ пріемы, помощью которыхъ «идеалистъ» г. Хлѣбниковъ срываетъ «маскарадныя хари», надѣтыя іезуитствующими людьми на «высочайшія идеи человѣческой жизни». Вотъ рыцарская борьба, которую ведетъ этотъ авторъ кодекса благопристойной полемики. Что же касается «истинныхъ физіономій» тѣхъ «высочайшихъ идей», то я приведу только одинъ образчикъ.

По мнѣнію г. Хлѣбникова «женщина, вступающая въ конкубинатъ, необходимо имѣетъ другія воззрѣнія на жизнь въ сравненіи съ женщиной, соглашающейся вступить только въ бракъ. Первая, очевидно, есть чувственная женщина, женщина, потерявшая стыдливость и цѣломудріе, а потеря этихъ качествъ низводитъ женщину до самки,

т. е. до существа, *словамъ котораго нельзя придавать ни малѣйшаго значенія*. Нравственно падшая женщина *не можетъ говорить истину*, потому что, падая, она пріучилась придумывать разныя невѣроятныя исторіи, чтобы оправдать стыдъ своего поведенія въ глазахъ другихъ».

Преклоняюсь передъ несокрушимой логикой г. Хлѣбникова, но нахожу, что напрасно онъ не довелъ своего дѣла до конца. Почему, въ самомъ дѣлѣ, не идти дальше? Почему, напримѣръ, не постановить, чтобы свидѣтельскія показанія женщинъ, находящихся въ небрачномъ сожительствѣ съ мужчиной, не принимались судомъ? или еще лучше, почему не понимать этихъ показаній всегда наоборотъ, ибо вѣдь такая женщина «не можетъ говорить истину».

Написалъ я все это, да и струсилъ: что, если г. Хлѣбниковъ, съ моей легкой руки, пойдетъ по слѣдамъ г. Цитовича и, ослѣпивъ современниковъ летучими брошюрами, написанными по всѣмъ правиламъ кодекса честной полемики, дойдетъ до изданія политической газеты: «съ большимъ бюджетомъ», какъ пишутъ о предпріятіи г. Цитовича?... Э! видно такая моя судьба! Авось либо мои крестники когда-нибудь припомнятъ, что я, малый, послужилъ невольною причиною ихъ величія...

II. Мартъ.

Помните-ли вы въ «Грозѣ» Островскаго старую барыню, неизмѣнно сопровождаемую двумя лакеями въ треугольныхъ шляпахъ, которая, грозно стуча палкой, рычитъ направо и налѣво: «всѣ въ огнѣ горѣть будете неугасимомъ! всѣ въ смолѣ будете кипѣть неутолимой!» Какъ ни комична злоба этой старой грѣшницы, обжогшейся на своемъ молокѣ и дующей на чужую воду, но вы совершенно понимаете тотъ мистическій страхъ, который она наводитъ на Катерину и другихъ. Смѣшна-то смѣшна старуха, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ужасна, особенно, когда, по словамъ Кулигина, «жестокіе, сударь, нравы въ нашемъ городѣ».

Мрачную, трагикомичную группу старой барыни и ея лакеевъ въ треугольныхъ шляпахъ очень напоминаетъ извѣстная часть нашей литературы съ «Московскими Вѣдомостями» во главѣ. Увидитъ-ли старуха робкую, любящею и не смѣющую любить Катерину, или бойкую, разбитную Варвару, или играющихъ мальчиковъ, она знай свое твердитъ: всѣ въ смолѣ кипѣть будете! Злобы у нея столько, что она рада бы сейчасъ же сама подвалить дровъ подъ котелъ со смолой и ввергнуть туда весь міръ, кромѣ себя самой, своихъ лакеевъ и ихъ треугольныхъ шляпъ. Откуда столько злости, столько ненависти ко всему, что смѣетъ жить? Когда старуха еще не была старухой, когда у нея «щеки горѣли, рученьки мѣли», она жила во вся, какъ могла и умѣла. Теперь не блеститъ уже ея глазамъ жаждой радости, не горѣть ея щекамъ краской жизни... А впрочемъ, Богъ ее знаетъ, чего она смолой кипитъ! Не всѣ же старые люди такъ бѣснуются. Вѣрно то, что трагикомическая старуха доходитъ до забвенія всякаго приличія, до галлюцинацій и истерическихъ причитаній. Хотя она и намекаетъ, что ополчилась на защиту добрыхъ нравовъ, но это еще весьма большой вопросъ, что именно она отстаиваетъ и можно-ли что бы то ни было отстоять тѣми способами, къ которымъ она прибѣгаетъ: клюкой, угрозой «огня неугасимаго», злобнымъ окрикомъ на всѣхъ и на все, «не разбираючи лица». Собственно фактъ на лицо: старуха хоть кое-кого и пугаетъ, кое-кого смѣшитъ, но вѣдь въ существѣ вещей она ничему не помѣшала, ничего не остановила, можетъ быть даже кого-нибудь именно на грѣхъ натолкнула, а ужъ что вящшій сумбуръ въ «жестокіе нравы нашего города» внесла, такъ это несомнѣнно.

Аллюры самихъ «Московскихъ Вѣдомостей» слишкомъ извѣстны, чтобы надо было ихъ выставлять здѣсь на позорище. Почтенная газета, перенявшая у волка единственную волчью пѣсню, такъ давно ее тянетъ, что истощила уже, кажется, всѣ доступные ей варіанты этой пѣсни и не имѣетъ уже въ запасѣ рѣшительно ничего такого, чѣмъ могла бы удивить Европу. Остается только буквальное повтореніе припѣва насчетъ неутолимой смолы, въ которой всѣ кипѣть будутъ. Это ужъ просто и скучно становится. Но не оскудѣла земля русская. На смѣну отживающаго борца или, по крайней мѣрѣ, на подкрѣпленіе ему возстаютъ свѣжія силы, способныя прибавить новаго перцу къ старому кушанью и придумать нѣсколько неожиданные варіанты волчьей пѣсни. Таковъ, напримѣръ, г. Цитовичъ, о которомъ, впрочемъ, пока рѣчь впереди, потому что онъ только на дняхъ еще долженъ проявиться въ полномъ комплектѣ лучей своего сіянія — въ газетѣ «Берегъ». Таковъ князь Н. Н. Голицынъ, съ новаго года редактирующій «Варшавскій Дневникъ». И мнѣ кажется, что я вижу отсюда треугольную шляпу на головѣ князя Голицына.

Мала птичка да ноготокъ востеръ! Что такое «Варшавскій Дневникъ»? Невѣдомый міру казенный листокъ, одинъ изъ тѣхъ,

которые существуютъ только для статистики: дескать, столько-то и столько-то періодическихъ изданій въ Россіи. А посмотрите-ка, что сдѣлалъ изъ него кн. Голицынъ. Что такое самъ кн. Голицынъ? А посмотрите-ка, какимъ орломъ ширяетъ онъ по страницамъ «Варшавскаго Дневника». Такія уже времена пришли, что соединеніе двухъ маленькихъ вещей дастъ большіе результаты. Результаты эти, впрочемъ, велики и въ величіи своемъ любопытны, конечно, только въ очень условномъ смыслѣ. Любопытно именно видѣть новые, свѣжею силою придуманные варіанты стараго refrain: «всѣ въ огнѣ горѣть будете неугасимомъ! всѣ въ смолѣ будете кипѣть неутолимой!»

Возьмемъ для примѣра №№ 18 и 19 «Варшавскаго Дневника». Въ нихъ есть обширныя передовыя статьи, вполнѣ характеризующія тонъ и манеру обновленной варшавской газетки и вполнѣ исчерпывающія политическія идеи ея редактора. Въ № 18 рѣчь идетъ о русскихъ революціонерахъ, въ № 19 о политически умѣренныхъ элементахъ русскаго общества. Разумѣется, всѣ въ смолѣ будутъ кипѣть неутолимой, а кн. Голицынъ будетъ дровъ подкладывать и любоваться корчами кипящихъ. Я, пожалуй, сравнилъ бы это зрѣлище съ извѣстной картиной Каульбаха, на которой Арбуэцъ, слѣпой, тычетъ жезломъ куда попало, хотя каждое мановеніе этого жезла намѣчаетъ жертву инквизиціоннаго костра, еретика, подлежащаго сожженію. Но понятно, что это слишкомъ лестное для варшавской газетки сравненіе. Группа старухи и сопровождающихъ ее лакеевъ въ треугольныхъ шляпахъ—образъ гораздо болѣе подходящій.

Серьезному анализу передовыя статьи варшавской газетки, конечно, не подлежатъ. Но посмотрѣть на нихъ нѣсколько ближе все-таки стоитъ. Посмотрѣть не съ точки зрѣнія какой-нибудь партіи, а просто съ точки зрѣнія здраваго смысла и въ интересахъ, такъ сказать, чистаго знанія: чего люди хотятъ, какъ своего желаемаго добиваются?

Итакъ, рѣчь идетъ о русской агитаціи.

«То, о чемъ слѣдуетъ призадуматься, не столько самыя *проявленія* этого таинственнаго и неуловимаго зла, сколько вопросъ о томъ — *откуда все это идетъ*? (этотъ и всѣ слѣдующіе курсивы принадлежатъ «Варшавскому Дневнику»). Гдѣ тотъ ужасный родникъ, изъ котораго постоянно бьетъ ключомъ эта болотная вода? Изъ какихъ нѣдръ, въ какой глуши? Какіе соки русской земли его питаютъ? Насъ не смущаютъ «проявленія», прокламаціи, демонстраціи, дѣло Петрова, Иванова, Ѳедорова, Засуличъ или другое; но то—откуда и зачѣмъ ползетъ этотъ ядъ по Россіи и какъ бы навсегда намъ отъ него избавиться? Невольно призадумаешься, когда за послѣдній годъ ужъ больно расходились наши дурные соки... Въ сущности, это все та же пѣсня, все та же лѣтопись аберрацій русской интеллигенціи и нравственности, все та же лѣтопись, пишущаяся на нашихъ глазахъ уже цѣлыя *десятилѣтія*... Мрачна она, и за послѣднее время она пишется уже кровавыми чернилами... Не настало-ли время крикнуть зычнымъ голосомъ: *довольно*! Ни шагу болѣе, ни іоты!.. Jam satis... «Терпѣнью тоже мѣра есть!»... Пора отрезвиться, ибо самые инстинкты самосохраненія общества требуютъ энергическаго протеста со стороны всѣхъ людей, не потерявшихъ здраваго смысла, съ той минуты, какъ изъ подъ полы начинаетъ выглядывать дуло револьвера, съ той минуты, какъ нарождается парижскій кастетъ. Надо не только протестовать, но и дѣйствовать. Пора выйти изъ положенія индифферентнаго и снисходительнаго, признающаго во всѣхъ агитаціяхъ послѣднихъ 20 лѣтъ одни лишь преходящія и даже невинныя увлеченія молодого, подростающаго поколѣнія. Пора подумать отцамъ—о своихъ дѣтяхъ, всей Россіи—о своей будущности... Кто именно тутъ виноватъ и на сколько—о томъ мы говорить не будемъ; мы — отцы со смиреніемъ примемъ на себя болѣе половины вины и не намъ бы теперь жаловаться и сокрушаться... Въ виду всего этого, понятно, что борьба неминуема, что давно пришла пора дѣйствовать *самому обществу*, которое не желаетъ слушать никакихъ революціонныхъ доктринъ и не признаетъ въ нихъ и тѣни какого-либо прогресса. Оно не желаетъ видѣть и зарева какой-либо смуты...

«Русскій революціонеръ! Стань передъ судомъ общества и скажи: кто ты и чего ты желаешь?.. Ты молчишь, ибо нѣтъ у тебя словъ для оправданія. Исторія твоя нова, ибо ты не выросъ изъ хода русскаго «протеста», ты не дитя его. Ты дитя Запада, европейской революціи, ты ходишь на помочахъ, на веревочкѣ... Ты молокососъ и мальчишка. Не стрѣлецкіе бунты тебя вскормили и не борьба противъ дубинки Петровой. Темно и грязно твое происхожденіе. Колыбель твоя—клоаки парижской коммуны и тамъ твоя родина, послѣ того, какъ ты пролилъ свой русскій очагъ и русскую семью. Русскій Искаріотъ! Ты предаешь Россію на торжищахъ Европы за ломоть хлѣба; ты русскій парій, ты русскій *варваръ*?.. Да, вы, мнящіе служить свѣту, наукѣ и прогрессу, вы истинные *варвары* XIX столѣтія: ибо изъ-за васъ вездѣ задерживается постоянно дѣло истиннаго прогресса и науки, вы и ваши дѣянія служатъ камнемъ преткновенія, вы мѣшаете ходу преобразованій, вы составляете постоянный диссонансъ въ русскомъ хорѣ, вы роете намъ день и ночь западни и волчьи ямы, развращаете юношество, разносите всюду язву полуобразованія... Но вы не только варвары... но вы еще и холопы!.. Въ Россіи всѣ свободны, и вы одни, мнимые слуги прогресса и апостолы анархіи, остались въ ней рабами. Вы холопы, ибо находитесь въ полномъ, безусловномъ рабствѣ у своихъ вожаковъ; вы холопы, ибо не имѣете никакой ни духовной, ни умственной самостоятельности... Въ Россіи всѣ свободны, а потому немыслимъ какой-либо съ вами компромиссъ и сліяніе. Не нужно намъ цивилизаціи и ученій, проповѣдуемыхъ «варварами и холопами». Исторія наша повѣствуетъ, что таковы были всегда отношенія къ грубымъ варварамъ и буйнымъ холопамъ въ Россіи... Варвары изгонялись, а съ холопами, не слушавшими ни перваго, ни второго предостереженій (а вамъ дано ихъ было сотни), поступали по древнему правилу: рабъ біенъ да будетъ!»

Хотя кн. Голицынъ говоритъ все это отъ имени «общества» или, по крайней мѣрѣ, какъ бы въ полномъ согласіи съ обществомъ, которое «не хочетъ видѣть и зарева какой-либо смуты», онъ заканчиваетъ статью слѣдующими словами: «Воображая себя передъ лицомъ русскаго общества, мы видимъ столь много выраженій несочувствія на лицахъ нашихъ слушателей, что считаемъ полезнымъ пріостановиться и попросить сказать, чѣмъ прегрѣшили мы, такъ говоря и думая».

Въ слѣдующемъ, 19 номерѣ, почтенный князь ведетъ примѣрную бесѣду съ этимъ «русскимъ обществомъ», съ этими не сочувствующими слушателями. Какъ истый рыцарь, онъ предоставляетъ первое слово своимъ противникамъ и даже обязательно говоритъ это слово за нихъ: мнѣ возразятъ то-то и то-то, говоритъ онъ. Это «то-то и то-то» состоитъ въ разнаго рода успокоительныхъ увѣреніяхъ, что русскіе революціонеры представляютъ собою «партію идіотовъ», что они хотя лукавы, но глупы и безтолковы, что они такъ ничтожны и въ количественномъ и въ качественномъ отношеніи, что изъ-за нихъ не стоитъ поднимать «междоусобную брань», что мы переживаемъ переходную эпоху, съ окончаніемъ которой пройдутъ всѣ подобныя сыпи и болячки. Наконецъ, князь Голицынъ не выдерживаетъ и отнимаетъ слово у своихъ многорѣчивыхъ противниковъ:

«Нѣтъ, сладкія сирены!.. Остановитесь.

«Я допою за васъ вашу пѣсенку, ваше баюшки-баю... Пора ужъ намъ наизустъ знать эту затверженную нашею печатью рѣчь, которую жужжатъ намъ въ уши уже 20 лѣтъ. Такая рѣчь, такія возраженія, такія комментаріи—не что иное, какъ равнодушіе и трусливость, плоды все того же безшабашнаго либеральничанья, которые достигли цѣли: убаюкали и какъ бы «анестезировали» наше общественное мнѣніе. Мы совсѣмъ почти заснули подъ звуки этихъ модуляцій на темы, взятыя одновременно изъ либеральнаго хлама и изъ архива шовинизма... Выходитъ, что какъ будто все позволено, до пугачевщины исключительно; слѣдовательно, все обстоитъ благополучно, не объ чемъ и думать, еще менѣе говорить и дѣйствовать, бить какую-то тревогу. Появится какая-нибудь прокламація—ее сниметъ будочникъ; появится пропагандистъ—ему наложитъ въ шею любой русскій мужичекъ, а со стрижкою, что ходитъ въ народъ, еще сердитѣе поступитъ русская баба... И достаточно»!..

Затѣмъ идетъ все, что обыкновенно въ такихъ случаяхъ по штату полагается: «соціалисты бель-этажей», «редакціи русскихъ журналовъ», все какъ слѣдуетъ. Читатель видитъ, что главная оригинальность кн. Голицына состоитъ не въ энергіи брани и не въ грамотности, а въ нѣкоторыхъ магическихъ манипуляціяхъ. Сидитъ у себя князь въ кабинетѣ, за письменнымъ столомъ и вызываетъ тѣнь, положимъ, Сидорова. Тѣнь, покорно является, но, будучи тѣнью, безтѣлеснымъ фантомомъ, конечно, молчитъ. «Ты кто такой»? Молчаніе. «А! ты молчишь, и не потому молчишь, что ты тѣнь, а потому, что тебѣ сказать нечего!» Но иногда князь надѣляетъ вызываемые фантомы даромъ слова, примѣрно, какъ это дѣлаютъ чревовѣщатели, и конечно, для того, чтобы въ свое время его отнять грознымъ окрикомъ: «молчать, сирена»! И сирена натурально умолкаетъ. Не говоря объ эффектности подобнаго рода примѣрныхъ собесѣдованій съ фантомами, произвольно вызываемыми изъ міра небытія и въ него же отпускаемыми, они очень удобны, потому что представляютъ какъ бы игру съ болваномъ. Не смотря, однако, на всѣ эти эффектныя и удобныя сцены духовидѣнія и чревовѣщанія, чего собственно достигаетъ князь Голицынъ?

Еслибы «Варшавскій Дневникъ» занимался только опытами бѣлой и черной магіи, духовидѣнія и чревовѣщанія, то говорить объ немъ, пожалуй, что и не стоило бы. Но обратите вниманіе вотъ на что. «Сирены», по заявленію самого кн. Голицына, считаютъ русскихъ революціонеровъ «партіей идіотовъ», людьми лукавыми, но глупыми, вполнѣ ничтожными, однако, это ни мало не гарантируетъ «сиренъ» отъ кипѣнія въ общемъ котлѣ смолы неутолимой. Такъ понимаетъ дѣло не одинъ кн. Голицынъ, и въ этомъ состоитъ едва-ли не интереснѣйшій моментъ нынѣшняго положенія литературы. Сирены, собственно говоря, совершенно согласны принять энергическую формулу, предлагаемую «Варшавскимъ Дневникомъ»: рабъ біенъ да будетъ. Но они находятъ, что, во-первыхъ, одного битья и по существу мало и что во-вторыхъ, какъ и кн. Голицынъ утверждаетъ, «пора дѣйствовать самому обществу». Напрасно! Вотще печатаетъ «Молва» яростнѣйшіе фельетоны противъ соціализма не только русскаго, а и европейскаго; вотще высыпаетъ она цѣлый лексиконъ ругательныхъ словъ на голову Бебеля, который даже публично отрекся отъ всякой солидарности съ русскими нигилистами; вотще несетъ масличную вѣтвь мира профессоръ Градовскій, степенно доказывая, что наши консерваторы и наши либералы въ существѣ вещей едино суть, что споръ ихъ «домашній»; вотще пытается возвысить примиряющій голосъ и К. Д. Кавелинъ: всѣ въ огнѣ горѣть будете неугасимомъ, всѣ въ смолѣ будете кипѣть неутолимой!

Если выдѣлить литературу изо всей со-

вокупности общественной жизни и представить ее себѣ въ видѣ совершенно свободнаго обмѣна мыслей, происходящаго въ нѣкоторомъ нравственномъ безвоздушномъ пространствѣ, въ которомъ нѣтъ ни трепія, ни сопротивленія среды, то припѣвъ старой барыни, сопровождаемой лакеями въ треугольныхъ шляпахъ, окажется, съ позволенія сказать, плевымъ дѣломъ. Въ немъ нѣтъ ни логики, ни простого здраваго смысла: предоставленный самому себѣ, своей внутренней силѣ и не поддерживаемый никакой силой со стороны, онъ долженъ мгновенно замереть въ пространствѣ. Но литература отправляетъ свои обязанности въ «нашемъ городѣ», а въ этомъ городѣ жестокіе, сударь, нравы. Пусть жестокость нравовъ имѣетъ свои причины, но тѣмъ не менѣе она существуетъ. «Варшавскій Дневникъ» утверждаетъ, что у насъ «всѣ свободны», кромѣ подпольныхъ агитаторовъ, но во всякомъ случаѣ, позволительно, оставаясь на почвѣ литературнаго обозрѣнія, утверждать, что не всѣ мнѣнія у насъ одинаково свободны. Припѣвъ старой барыни всѣмъ доступенъ, а пѣніе «сиренъ», при всей своей скромности и умѣренности, при всемъ своемъ воркующе - примирительномъ характерѣ, можетъ быть во всякую данную минуту прекращено, даже не прибѣгая къ какимъ - нибудь экстреннымъ мѣрамъ. И посмотрите же, какое странное положеніе создается всѣмъ этимъ для сиренъ. Отъ нихъ требуютъ содѣйствія, имъ говорятъ, что «пора дѣйствовать самому обществу», не полагаясь на одни полицейскія мѣры, а чуть онѣ попробуютъ выразить свое мнѣніе, такъ предъ ними съ полною ясностью встаетъ некрасивый образъ котла со смолой неутолимой. Очевидно, кн. Голицынъ и ему подобные — утописты самой высокой пробы. Фраза «пора дѣйствовать самому обществу» или ровно ничего не значитъ, или значитъ, что пора высказаться разнообразнымъ общественнымъ элементамъ, какъ они къ настоящей минутѣ выработались всѣмъ своимъ прошлымъ. И только чистокровный утопистъ можетъ, повторяя эту фразу, въ то же время сортировать званныхъ и избранныхъ.

Бѣдныя сирены! Несомнѣнно, что, какъ бы пышно не зеленѣла несомая ими масличная вѣтвь мира, ничего имъ, кромѣ смоляного котла, отъ кн. Голицына не дождаться. Но выигрываетъ-ли отъ этого хоть сколько-нибудь дѣло, представляемое кн. Голицынымъ и братіей—это вопросъ, на который отвѣчать тоже нетрудно. Для отдѣльной личности, котелъ съ кипящей смолой—вещь, конечно, очень страшная, но, какъ извѣстно, на людяхъ и смерть красна.

Итакъ, рабъ біенъ да будетъ. Хорошо. Это практическое правило, не оставляющее ничего желать въ смыслѣ ясности и краткости. Взятое безотносительно, оно не лишено даже глубокомыслія: рабъ, настоящій рабъ, рабъ не по общественному положенію, а въ душѣ, дѣйствительно, долженъ быть битъ. Въ этомъ смыслѣ и краса его жизни, высшая, можетъ быть, единственная духовная цѣль его существованія, безъ которой онъ просто животное. Онъ любитъ быть битымъ, и совсѣмъ не такъ, какъ карась любитъ, чтобы его жарили въ сметанѣ: стремленіе быть битымъ — не акциденція его, а субстанція. Впрочемъ, это вопросъ философскій, а намъ, съ кн. Голицынымъ, не до философіи. Будемъ разумѣть дѣло во всей его практической наготѣ. Надо, значитъ, розыскать раба и бить его. Но нельзя же поступать въ этомъ случаѣ такъ, какъ рекомендуетъ извѣстный юмористическій рецептъ вѣрнѣйшаго истребленія блохъ: излови блоху, насыпь ей въ ротъ персидскаго порошка, излови другую и т. д., и такимъ образомъ истребишь всѣхъ блохъ. Кн. Голицынъ понимаетъ, повидимому, что это совѣтъ юмористическій. Онъ говоритъ, что для него не важны «проявленія», а важно доподлинно знать, «откуда все это идетъ». Но откуда оно идетъ, кажется, ни одинъ смертный, хоть онъ семи пядей во лбу будь, не пойметъ изъ диссертаціи кн. Голицына. Надо ему, однако, отдать справедливость, онъ все-таки поднимается много выше той политики кухарокъ, богомолокъ, дворниковъ и бывалыхъ «кавалеровъ», которые примитивнѣйшимъ образомъ объясняютъ все дѣло «жидами», да «поляками». Кн. Голицынъ ищетъ корней въ прошломъ, и именно въ послѣднихъ двадцати годахъ нашей исторіи. Онъ не пальцемъ въ небо попалъ, ибо уже a priori можно сказать, что всякое настоящее родилось изъ нѣдръ прошедшаго и, въ свою очередь, беременно будущимъ. Но вѣдь мало-ли что происходило въ послѣднія двадцать лѣтъ. Радости и скорби, надежды и разочарованій, героизма и подлости, ума и глупости, красоты и безобразія столько мы за эти двадцать лѣтъ видѣли, что нуженъ довольно тонкій анализъ для выясненія, какія именно явленія настоящаго какими явленіями прошлаго обусловливаются. Ну, а этого съ кн. Голицына спрашивать нельзя: овому данъ талантъ, овому—два, а овому и ничего. Кто что можетъ, тотъ то и даетъ. Кн. Голицынъ можетъ чревовѣщать, ну, и чревовѣщаетъ; можетъ восклицать объ отнѣ неугасимомъ и смолѣ неутолимой, ну, и восклицаетъ.

Отправимся же куда-нибудь въ другое мѣсто.

Я не знаю, сколько талантовъ дано г. А. Н., автору «современнаго этюда»: «Довольно!», напечатаннаго въ № 3-мъ «Русской Рѣчи». Должно быть, много дано, потому что внутренняя сила, молодецкая удаль такъ и брызжетъ изъ каждой строки его «современнаго этюда». Этюдъ не великъ, меньше печатнаго листа, но онъ могъ бы быть и еще гораздо меньше. Его можно бы было, безъ малѣйшаго ущерба для вкуса, цвѣта и запаха, свести, примѣрно, къ такому ряду восклицаній: «эхъ вы! пріуныли! нешто годится доброму русскому молодцу бабиться, объ своей судьбѣ печалиться?! Распу стили нюни-то! А вы вотъ какъ дѣлайте: вотъ онъ я!» Къ этому ухарскому бахвальству «этюдъ» г. А. Н. могъ бы быть сведенъ не только безъ ущерба для его достоинствъ, а даже съ нѣкоторою для него выгодою. Когда подгулявшій молодецъ, въ сапогахъ бураками и въ новой ситцевой рубахѣ, куражится въ такомъ вкусѣ передъ сосѣдними парнями и дѣвками, онъ представляетъ очень цѣльный и въ своемъ родѣ привлекательный образъ. Всѣ зрители и слушатели отлично знаютъ, что онъ только куражится, что и удали никакой особенной въ немъ нѣтъ, что и плясать-то онъ даже не гораздъ; а такъ просто выпилъ человѣкъ и куражится, съ общаго безмолвнаго согласія, будто онъ и вправду аховый молодецъ. Онъ и самъ понимаетъ, что это не болѣе, какъ фикція, но такъ какъ она никому не вредитъ, а ему любо, то онъ входитъ въ роль, и представленіе идетъ себѣ своимъ чередомъ, при всеобщемъ смѣхѣ. Выходитъ добродушно, безобидно и забавно. Но этотъ привлекательный образъ разсыпался бы прахомъ, еслибы веселый парень вздумалъ въ серьезъ, «отъ разума», величаться передъ «молодцами» и корить ихъ за то, что они пріуныли. Совсѣмъ это не его дѣло. Разсыпавъ забавно-ухарскія восклицанія резонами, онъ всю свою обѣдню испортитъ. Такъ и съ г. А. Н. случилось. Конечно, мудрено составить «этюдъ» изъ восклицаній: «эхъ, вы! пріуныли!» да «вотъ онъ я!» Но въ стихахъ это, можетъ быть, и не дурно вышло бы, особенно если въ томъ quasi-народномъ вкусѣ, къ которому покойный гр. Алексѣй Толстой часто прибѣгалъ. Можетъ быть, разумѣется, и тогда вышло бы дурно, а теперь то ужъ навѣрное не хорошо.

«Этюдъ» открывается маленькой диссертаціей объ энергіи. Энергія, видите-ли, «разсматривая ее, какъ общественную силу, какъ энергію націи, бываетъ двухъ родовъ, сообразно характеру націи». Энергія романской расы порывиста, но кратковременна и разрушительна, въ англо-саксонской, напротивъ, онъ проявляется медленно, но упорно. Что касается насъ, россіянъ, то мы «представляемъ первоначальную разрозненность въ этомъ отношеніи, колеблемся въ ту или другую сторону. Наши народные инстинкты болѣе схожи съ упорствомъ англо-саксонской расы; но въ нашей интеллигенціи, въ нашемъ культурномъ слоѣ, къ сожалѣнію, замѣчается сходство скорѣе съ романскою расой. Мы также порывисты, и притомъ на весьма короткій срокъ, но затѣмъ опускаемъ руки, теряемъ всякую энергію сами и даже начинаемъ плакаться и заражать тою же апатіей и другихъ, заражать юное поколѣніе наше, которое не принимало участія въ нашемъ порывѣ, но слышитъ только наши сѣтованія и старческій разслабленный стонъ».

Затѣмъ, г. А. Н. всласть предается распространенію восклицанія: «довольно!», т. е. довольно унынія, будемъ бодры и прочее такое. Развитіе этой темы, однако же, уже напередъ значительно парализовано ученными соображеніями автора по мало изслѣдованному предмету психологіи народовъ. Въ самомъ дѣлѣ, если каждой націи, по самой ея природѣ, свойственъ особый видъ энергіи, такъ вѣдь ужъ тутъ ничего не подѣлаешь: Волга-матушка вспять не побѣжитъ, романская энергія не превратится въ англо-саксонскую и обратно. Вся эта диссертація о расахъ приплетена, значитъ, ни къ селу ни къ городу, больше въ видѣ архитектурнаго украшенія, по существу, совершенно ненужнаго. Да и въ качествѣ архитектурнаго украшенія, она плоска и шаблонна, какъ греческіе фронтоны нашихъ старыхъ помѣщичьихъ домовъ. Любой писарь военнаго министерства (это народъ, какъ извѣстно, чрезвычайно цивилизованный), скажетъ вамъ, другими словами, конечно, но съ тѣмъ же апломбомъ, то же самое, что говоритъ г. А. Н., то-есть, что французы—народъ легкомысленный, а англичане—народъ упорный. И все это, если не на чистоту, то, по крайней мѣрѣ, на половину вздоръ. Такъ, напримѣръ, въ тѣхъ историческихъ событіяхъ, которыя обыкновенно приводятся, какъ свидѣтельство порывистости французской энергіи, французское крестьянство, вообще говоря, почти не участвовало; а когда оно en masse выступало на историческую сцену, какъ въ жакеріи, оно вело себя совершенно такъ же, какъ русское крестьянство, во времена Разина, Пугачева и т. п.; а русскому крестьянству г. А. Н. усвоиваетъ энергію англо-саксонскаго типа, рѣзко противорѣчащаго типу романскому.

Но довольно объ этихъ пустякахъ. Обратимся лучше къ той проповѣди упорной энергіи, съ которою г. А. Н. обращается къ намъ, предварительно объявивъ насъ по самой природѣ нашей къ упорной энергіи

неспособными. Не хорошо, когда парень въ сапогахъ съ бураками и новой ситцевой рубахѣ берется не за свое дѣло, ну, да Богъ съ нимъ!

Вотъ что случилось въ послѣднія 20—25 лѣтъ.

«Убаюканные голосами цѣлаго сонмища причитальщиковъ и плакальщиковъ, стонавшихъ о живомъ человѣкѣ, какъ о мертвомъ, разлагающемся трупѣ, мы залремали по своимъ норамъ и логовищамъ и проспали нашу энергію, придушили ее и теперь тщетно ищемъ ее въ себѣ, и даже вовсе не хотимъ искать, а сваливаемъ свой грѣхъ на другихъ, дозволяя баюкать себя тѣмъ же услужливымъ голосамъ, продолжавшимъ увѣрять насъ на всѣ лады, что мы обратились въ тряпки, но что мы и не могли сдѣлаться ничѣмъ инымъ, кромѣ тряпокъ, по обстоятельствамъ, «отъ насъ независящимъ»... Малѣйшая неудача, маленькое столкновеніе—и мы торжественно умываемъ руки à la Пилатъ, слагаемъ съ себя свои полномочія, свои обязанности, удаляемся отъ дѣлъ и начинаемъ всѣмъ и каждому твердить о невозможности вести дѣло далѣе, о невыносимомъ гнетѣ и давленіи. Встрѣтится препятствіе относительно народныхъ школъ—и земство торжественно заявляетъ о прекращеніи субсидій, о закрытіи самыхъ школъ.. Борьбы, борьбы на легальной почвѣ, борьбы, съ помощью которой только и вырабатывается самоуправленіе, у насъ нѣтъ... Мы промотали ту нравственную энергію и силу, которую преемственно получили отъ нашихъ предковъ. Мы даже не промотались, а измотались, измочалились, отрепались! Мы такъ долго носились съ излюбленною нами хандрою и тоскою, что сами напустили туману на все насъ окружающее и, наконецъ, перестали понимать, о чемъ собственно мы хандримъ. Доболтались до излюбленнаго слова: «прострація, изможденіе силъ» и рады! Задрапировались этими словами даже не какъ тогою древнихъ, а просто какъ халатомъ да туфлями, надѣтыми на босую ногу—и довольны! Дошли, молъ, до стѣны, дальше и идти некуда. И говоримъ это лежа на диванѣ и отплевываясь отъ горечи во рту, развившейся отъ того же лежанья... Мы сами себя величаемъ «изможденными». Чѣмъ? Жизнью? Нѣтъ, жилось не хуже, чѣмъ пятьдесятъ и сто лѣтъ тому назадъ. Истощеніемъ, какъ результатомъ продолжительнаго непосильнаго труда?—Нѣтъ, никакого особеннаго труда съ нашей стороны не было. Бездѣятельностью, за отсутствіемъ всякаго, мало-мальски добротворнаго труда?—Нѣтъ, захотѣли бы и нашли бы этого труда вдоволь, по горло.—Чѣмъ же?—Фразою! Жалкими словами! Вначалѣ, когда рядомъ съ фразою шло и дѣло, фраза имѣла содержаніе, а потому значеніе и смыслъ. Но намъ было недостаточно этого дѣла; мы хотѣли и мечтали сразу, съ размаха не только догнать, но даже и перегнать Европу. Мы мечтали о радикальной ломкѣ, о порваніи всякой связи съ прошедшимъ, со вчерашнимъ днемъ, со всѣмъ, во что мы еще вѣрили вчера, во что насъ учили вѣрить еще съ дѣтскихъ лѣтъ. И мы съ полнѣйшимъ глумленіемъ относились къ тѣмъ, которые не хотѣли, да и не могли порвать всякую связь съ прошедшимъ, глубоко засѣвшимъ въ нихъ. Мы создали одинъ воинствующій, боевой лагерь съ лозунгомъ: «передовой». Если ты нашъ, то чѣмъ рѣзче ты отрицаешь, чѣмъ радикальнѣе отрѣшаешься отъ всего прошедшаго, чѣмъ громче заявляешь о себѣ хотя бы на словахъ, тѣмъ тебѣ болѣе почета. Но если ты не нашъ, если ты изъ «отсталыхъ», ты непремѣнно «крѣпостникъ»: не осмѣливайся разѣвать рта—ты только прикрываешь этимъ твои животные инстинкты. Тебѣ нѣтъ вѣры ни въ чемъ; ты сгнившій сукъ; ты долженъ молчать; ты можешь только злиться втихомолку, глядя на нашъ быстрый полетъ впередъ. И великая преемственная духовная связь между двумя смежными поколѣніями, между отцами и дѣтьми разомъ оборвалась. Чуждаясь мелкой, постепенной работы, недостойной генія, какимъ мы себя воображали, мы начали огульно, съ плеча отрицать все, прикрывая образующуюся пустоту все тѣми же громкими фразами, побудившими насъ къ движенію впередъ... И мы получили хроническій катарръ души... Мы развили въ себѣ ужасную болѣзнь—мнительность, самое страшное зло, при которомъ организмъ не можетъ жить здоровою жизнью, потому что когда онъ даже здоровъ, то воображеніе считаетъ его больнымъ и, дѣйствительно, доводитъ его до болѣзни. И когда этихъ лежебоковъ, этихъ изможденныхъ людишекъ выпустятъ изъ душной комнаты на свѣжій воздухъ, на что они будутъ похожи? Свѣжій воздухъ собьетъ ихъ съ ногъ: они упадутъ отъ него въ обморокъ; имъ еще придется привыкать къ нему; а многіе изъ этихъ изможденныхъ, повѣрьте, возвратятся опять въ свои конуры и запрутъ окна, чтобы не простудиться... Довольно ныть! Довольно!»

Простите за длинную выписку. Но статья г. А. Н. произвела нѣкоторую сенсацію, отрывки изъ нея были перепечатаны въ газетахъ съ болѣе или менѣе лестными для автора комментаріями, и мнѣ хотѣлось выбрать изъ нея для читателя все существенное. При томъ же умныхъ людей слѣдуетъ выслушивать по возможности вполнѣ, до конца. Вы видите, что г. А. Н. въ теоретической или, пожалуй, исторической части своего «современнаго этюда» говоритъ, въ сущности, тоже самое, что и князь Голицынъ, насколько послѣдняго уразумѣть можно. Оба понимаютъ дѣло такъ, что въ послѣдніе двадцать — двадцать пять лѣтъ надъ нашимъ отечествомъ пронеслась сокрушительная буря отрицанія, въ которой и заключается корень настоящаго положенія вещей. Но въ практическихъ выводахъ наши авторы совершенно расходятся. Кн. Голицынъ полагаетъ, что задача настоящей минуты исчерпывается рецептомъ: «рабъ біенъ да будетъ». А г. А. Н. видитъ исходъ въ личной энергіи и въ легальной борьбѣ на англо-саксонскій манеръ. Позволю себѣ, однако, замѣтить, что г. А. Н. не совсѣмъ хорошо знакомъ съ типомъ англо саксонской энергіи и, въ частности, съ англійскими пріемами борьбы на легальной почвѣ. Я заключаю это изъ того, что онъ такъ презрительно третируетъ отказы земствъ отъ субсидій на народныя школы, а это есть воспроизведеніе пріема борьбы чисто англійскаго типа.

Затѣмъ... Затѣмъ я охотно поднимаю перчатку, брошенную авторомъ «Довольно!» от-

части лично мнѣ, ибо «прострація, изможденіе силъ»—отчасти мой грѣхъ. «Изможденіе»—«другъ Тряпичкинъ, вотъ пища для твоего саркастическаго ума!» Разные Тряпичкины и, въ самомъ дѣлѣ, достаточно потеребили это изможденіе. Такъ и ожидать слѣдовало, принимая въ соображеніе практикуемое въ нашей литературѣ благородство нравовъ. Если человѣкъ самъ заявилъ, что онъ усталъ, изнемогъ, такъ благородство обязываетъ на того человѣка накинуться со всѣми тупыми и острыми, колющими и рѣжущими оружіями, какія у кого имѣются въ распоряженіи. Бей его! лягай! Онъ вѣдь самъ сказалъ, что изнемогъ и не можетъ вести свое дѣло такъ, какъ, по велѣнію своей совѣсти, долженъ его вести: значитъ, бить можно!

О, благородные Тряпичкины съ саркастическимъ умомъ! Пожалуйте же сюда кто-нибудь изъ васъ, пожалуйте хоть вы, г. А. Н. Дайте посмотрѣть на себя поближе. Кто вы такой, прежде всего? Какой я ни на есть, но я стою передъ вами безъ маски и вуаля. Слишкомъ десять лѣтъ бесѣдую я съ читателями «Отечественныхъ Записокъ». Всякій, и вы въ томъ числѣ, можетъ видѣть, сколько въ этихъ бесѣдахъ фразы и сколько мысли, сколько я за эти слишкомъ десять лѣтъ работалъ и сколько на диванѣ лежалъ. Худо-ли, хорошо-ли я свое дѣло дѣлалъ, но я на лицо. А вы что такое? Что кроется за этими иниціалами: А. Н.? Упорный труженикъ, безстрашный борецъ мысли, слова, дѣла? Вы говорите въ первомъ лицѣ множественнаго числа: *мы* отрицали зря и что попало, *мы* разрушали и сокрушали. И ставите эпиграфомъ къ своему этюду слова: «нашъ грѣхъ, нашъ великій грѣхъ»! Нѣтъ, у грѣха, у сознаннаго и давящаго совѣсть грѣха, не бываетъ такой молодецкой поступи, такихъ сверкающихъ очей и такихъ сапоговъ бураками. Сознанный грѣхъ клонитъ голову къ низу, горитъ заревомъ вспышекъ стыда или блекнетъ отъ медленной, постоянной муки. Нѣтъ, вы безгрѣшны, вы—«вотъ онъ я!» вы не участвовали въ изображенной вами вакханаліи всеобщаго разрушенія, въ этомъ, если вамъ вѣрить, послѣднемъ днѣ Помпеи, растянувшемся на два съ половиной десятка лѣтъ.

Я вижу, вы смѣетесь себѣ въ бороду и думаете: какой наивный человѣкъ! догадался, что «мы разрушили», есть только manière de parler и радъ, точно Америку открылъ! Нѣтъ, государь мой, я знаю, что это не Америка, но я хочу подчеркнуть ваше неучастіе въ разрушеніи Помпеи, подчеркнуть и затѣмъ спросить: что же вы-то, вы сами въ это время дѣлали? Вопросъ любопытный не потому, чтобы отечество нынвало отъ нетерпѣнія знать, чѣмъ и когда занимался его великолѣпіе, г. А. Н., а въ болѣе общемъ смыслѣ. Положимъ, что разрушеніе Помпеи изображено вполнѣ вѣрно, но не всѣ же общественныя силы были имъ заняты. Г. А. Н. и многіе, многіе другіе господа были заняты совсѣмъ другими дѣлами. И вотъ, безъ сомнѣнія, почему они, не въ примѣръ прочимъ, сохранили англосаксонскую энергію даже до сего дня. Такъ пусть же кто-нибудь изъ нихъ, ближайшимъ образомъ, конечно, это приличествуетъ сдѣлать г. А. Н., пусть онъ разскажетъ не отъ лица фиктивнаго и юмористическаго «мы», а искренно, на чистоту — что онъ дѣлалъ въ послѣдній день Помпеи. Имѣя эту исповѣдь въ рукахъ, мы будемъ имѣть лишній матеріалъ для сужденія о причинной связи злобы дня съ нашимъ недавнимъ прошлымъ. Кто знаетъ, можетъ быть, если посмотрѣть на дѣло съ разныхъ сторонъ, такъ злоба дня вытечетъ не изъ двадцати-лѣтняго занятія отрицаніемъ (которое вѣдь еще надо провѣрить), а изъ двадцати лѣтняго занятія тѣмъ неизвѣстнымъ дѣломъ, которымъ занимался г. А. Н. Можетъ быть и не такъ, конечно, но любопытно все-таки вложить персты въ язвы гвоздиныя.

«Мы»! Отъ имени этого фиктивнаго «мы» можно очень разнообразныя вещи разсказать. Можно, напримѣръ, такъ: мы двадцать лѣтъ сохраняли себя въ маринованномъ видѣ при разныхъ казенныхъ и частныхъ пирогахъ, на все, кромѣ своего брюха, плевали, и вотъ, какъ видите, мы также свѣжи и крѣпки, какъ въ ту минуту, когда замариновались. Вы не маринованный, г. А. Н.? Можно и такъ: мы двадцать лѣтъ, какъ дикаго звѣря, травили всякую свѣжую и искреннюю мысль, не давая ей отдыха и возможности оглянуться, самое себя провѣрить, и вотъ, какъ видите, наши рога опять трубятъ все тотъ же призывъ на охоту. Вы не были ни доѣзжачимъ, ни выжлятникомъ, г. А. Н.? Или такъ: мы двадцать лѣтъ толковали, что наше время не время широкихъ задачъ. Вы теперь въ первый разъ говорите это, г. А. Н.?

Г. А. Н. представляетъ дѣло въ такомъ видѣ, какъ будто на Руси цѣлыхъ двадцать лѣтъ безданно и безпошлинно хозяйничали какіе-то дикіе разрушители. Только однажды онъ туманно упоминаетъ о «независящихъ обстоятельствахъ», да столь же туманно говоритъ о какихъ-то «отсталыхъ», не желавшихъ разрывать связи съ своимъ прошлымъ, но, должно думать, безъ всякаго сопротивленія растоптанныхъ необузданными разрушителями. И вотъ эти саврасы безъ узды двадцать лѣтъ свирѣпствовали, пока, наконецъ, ихъ не обуздала собственная

хандра, тоска въ созданной ими самими вокругъ себя атмосферѣ безусловной пустоты. Теперь эти «лежебоки», эти «изможденные людишки» до того дошли, что если ихъ и выпустить на волю (значитъ, они всетаки не на волѣ? не то чтобы какъ саврасы безъ узды?), такъ они окажутся не въ силахъ вынести ароматъ свѣжаго воздуха и упадутъ въ обморокъ или просто уйдутъ назадъ, въ свои старыя, душныя конуры.

Я поднимаю и эту перчатку, брошенную «изможденнымъ людишкамъ»... Мнѣ самому приходила въ голову эта страшная мысль. Что, если я, въ самомъ дѣлѣ, доживя до желанной минуты свѣта и простора, не выдержу солнечнаго блеска, что если онъ меня, непривычнаго, ослѣпитъ и я не воспользуюсь возможностью любоваться изумрудною зеленью луговъ, лазурью небесъ, всей роскошью природы, открываемою свѣтомъ и просторомъ? Страшная, унизительная мысль... Г. А. Н. думаетъ, что «добрались до излюбленнаго слова «изможденіе» и рады!» Не знаю, кѣмъ оно излюблено и кто ему радъ, но знаю, что если сбудется ваше зловѣщее предсказаніе и настанетъ надрывающая душу минута сознанія собственнаго безсилія въ моментъ запроса на силы, у меня всетаки хватитъ силъ сказать новой жизни: morituri te salutant! и разсказать ей скорбную повѣсть о русскомъ литераторѣ моего времени и, разумѣется само собою, моего склада мысли. Для васъ, человѣка въ сапогахъ съ бураками, а можетъ быть и для многихъ другихъ, тутъ будетъ много неожиданнаго, потому что вы привыкли разумѣть «независящія обстоятельства» очень узко, прямо и просто въ смыслѣ цензуры. Цензура очень важная вещь, конечно, но независящія обстоятельства давно уже получили такое широкое и разностороннее развѣтвленіе, о которомъ и понятія не можетъ имѣть диллетантъ литературы, внезапно, какъ Петрушка, изъ-за ширмы походнаго балагана выскакивающій и внезапно же скрывающійся послѣ краткой реплики. Дайте срокъ, мы вамъ разскажемъ это. И даже вы, не смотря на свои сапоги съ бураками, скажете: эти люди грѣшили, какъ и всѣ грѣшатъ, но они страдали, какъ не всѣмъ приходится страдать!..

III. Апрѣль.

Тѣни Лассаля не даютъ покоя дамы. Сначала русская дама, г-жа С., а потомъ та самая Елена Дённигесъ, изъ-за которой Лассаль безсмысленно и безславно погибъ, повѣдали міру исторію своихъ интимныхъ отношеній къ покойнику. Эти дамы не пожалѣли красокъ для изображенія своихъ портретовъ: онѣ такъ плѣнительны, такъ обаятельно хороши и умны, ихъ сердце, умъ и физика представляютъ такую неисчерпаемую Голконду, что гдѣ же великому человѣку устоять! Дюжинный человѣкъ можетъ пройти мимо подобныхъ алмазныхъ розсыпей равнодушно, можетъ даже не замѣтить, какую царственную роскошь попираетъ онъ ногами. Но первый человѣкъ—а Лассаль былъ, конечно, первый человѣкъ въ своемъ родѣ и въ свое время—долженъ оцѣнить Голконду съ перваго же взгляда и жадно припасть къ несмѣтнымъ сокровищамъ, волею судьбы сосредоточеннымъ въ одномъ образѣ дамы? И вотъ эти сокровища выбалтываютъ, къ вящшему своему прославленію, все, что происходило между ними и первымъ человѣкомъ, и даже то, чего очевидно не происходило. А вслѣдъ за ними и критики всѣхъ мастей и величинъ лѣзутъ въ душу покойника съ руками и ногами (потому что есть и такіе критики, которые ногами пишутъ) и располагаются тамъ, какъ у себя дома. А дома у нихъ, ай—ай! какъ неприглядно...

Достойное наказаніе для человѣка вродѣ Лассаля, который, въ самомъ дѣлѣ, тратилъ на женщинъ слишкомъ большую долю своихъ силъ. Но надо же и пожалѣть покойника. Хоть и мертвый человѣкъ, а всетаки такъ безпощадно стучать въ крышку его гроба комьями грязи не подобаетъ. Пусть Лассаль склонилъ голову передъ г-жей С. и Еленой Дённигесъ-Раковица, но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы прекрасныя дамы имѣли право писать свои мемуары съ той развязностью, съ какой ведутъ себя лошади побѣдителей въ храмахъ побѣжденной страны. Лошади мѣсто въ конюшнѣ. Тамъ она можетъ правомѣрно исполнять всѣ свои естественныя отправленія, никого не удивляя и только радуя сердца сельскихъ хозяевъ.

Любопытно, что мемуары г-жи С. еще возбудили у насъ нѣкоторыя, весьма небольшія сомнѣнія, а мемуарамъ Елены Дённигесъ, безъ сравненія менѣе вѣроподобнымъ, всѣ повѣрили. Въ этомъ сошлись и г. В. К., изложившій мемуары на страницахъ «Вѣстника Европы» и относящійся къ Лассалю весьма сочувственно, и критикъ «Новаго Времени», который серьезно увѣренъ, что, обругавъ Лассаля Хлестаковымъ и еще какъ-то, онъ тѣмъ самымъ обнаруживаетъ большое мужество. Ни этотъ сочувствующій человѣкъ, ни этотъ необыкновенно смѣлый человѣкъ не посмѣли усомниться въ показаніяхъ такой дамы, какъ Елена Дённигесъ: какъ она сказала, такъ все и было. И даже въ голову имъ не пришелъ вопросъ: да правда-ли, дескать, все это? А между

тѣмъ вопросъ это очень естественный, потому что, во-первыхъ, въ печати вообще много врутъ, во-вторыхъ, въ автобіографіяхъ, врутъ еще больше, въ-третьихъ, въ такихъ автобіографіяхъ, какъ мемуары Елены Дённигесъ, врутъ и еще того больше. Эта дама хочетъ погрѣться въ лучахъ славы человѣка, который есть уже мертвое тѣло, а дѣло извѣстное, что мертвымъ тѣломъ можно и заборъ подпереть; эта дама хочетъ разсказать, какъ голова Лассаля лежала у ея прелестныхъ ножекъ и какъ у нея прелестны не только ножки, а и ручки, и глазки, и головка, и сердечко. Вѣроятно-ли, чтобы при такихъ условіяхъ эта дама не приплела къ были хоть капельку небылицы? Кажется, не надо быть первостепеннымъ знатокомъ человѣческаго сердца, чтобы отвѣтить: рѣшительно невѣроятно! Но критики и комментаторы не только не прибѣгли къ какимъ-нибудь критическимъ пріемамъ для отдѣленія были отъ небылицы, а отнеслись къ дѣлу такъ, какъ будто передъ ними лежитъ результатъ старательнаго и всесторонняго изслѣдованія, не допускающаго и тѣни сомнѣнія.

Надо отдать справедливость нашей соотечественницѣ. Она много добросовѣстнѣе, чѣмъ г-жа Дёнигесъ-Раковица, передаетъ свой романъ и много благороднѣе относится къ памяти любившаго ее человѣка. Подъ ея перомъ, Лассаль, за вычетомъ нѣкоторыхъ подробностей, въ общихъ чертахъ является все-таки не очень противорѣчащимъ тому Лассалю, котораго мы знаемъ по публичной дѣятельности. Вы видите просто настойчиваго, самолюбиваго, самоувѣреннаго, страстнаго человѣка, какимъ Лассаль былъ во всемъ. Естественно, что качества эти въ интимныхъ, семейныхъ или любовныхъ отношеніяхъ могутъ создавать двусмысленныя или некрасивыя положенія, которыя, хотя и подчеркиваются г-жею С., но далеко не съ такою грубостью, какъ это дѣлаетъ Елена Раковица. Притомъ же г-жа С., по крайней мѣрѣ, приложила къ своимъ мемуарамъ «исповѣдь» Лассаля, несомнѣнно подлинную и потому въ біографическомъ смыслѣ очень цѣнную, а Елена довела естественную въ подобныхъ мемуарахъ лживость до виртуозности.

Послѣдній романъ Лассаля въ общихъ чертахъ давно извѣстенъ. Страстно влюбившись въ дочь баварскаго чиновника Дёнигеса, Елену, Лассаль ухлопалъ на борьбу съ ея родителями пропасть ума, энергіи и чувства. Сама Елена играла при этомъ крайне двусмысленную роль, склоняясь то на сторону Лассаля и даже навязываясь ему, то на сторону родителей и своего стариннаго обожателя, ничтожнаго валаха или молдаванина Янко Раковица. Въ концѣ-концовъ, Лассаль совершенно убѣдился въ дрянности Елены; но разочарованіе не обошлось ему даромъ: измученный и оскорбленный возмутительными подробностями всей этой исторіи, онъ послалъ прямой вызовъ Дённигесу и косвенный Янко, и ничтожный валахъ вписалъ въ исторію свое имя въ качествѣ убійцы Лассаля. Недавно героиня этого романа пожелала напомнить о себѣ міру и издала брошюру «Meine Beziehungen zu Ferdinand Lassale» (съ приложеніемъ *своего* портрета!). Въ № 3 «Вѣстника Европы» г. В. К. взялъ на себя трудъ привести въ нѣкоторую систематическую связь показанія героини съ тѣми свѣдѣніями о послѣдней любви и смерти Лассаля, которыя уже и раньше имѣлись.

Что за женщина была причиной смерти Лассаля—видно изъ слѣдующаго. Друзья Лассаля, которыхъ онъ просилъ принять участіе въ переговорахъ съ самой Еленой и ея отцомъ, предупреждали его, что Елена «хуже и безстыднѣе, чѣмъ можно себѣ вообразить». Но онъ все еще вѣрилъ въ ея искренность, прямоту и любовь. Онъ желалъ видѣться съ нею наединѣ, полагая, что только при этомъ условіи она дастъ вполнѣ свободный отвѣтъ. Елена отказалась. Вотъ какъ сообщили объ этомъ Лассалю его друзья, Гэнле и Рюстовъ:

„Она показалась намъ душевно вполнѣ свободной и нисколько не смущенной, и скорѣе обнаружила холодную насмѣшку и условную веселость, чѣмъ хотя бы какой-нибудь слѣдъ происходившей прежде или еще продолжающейся душевной борьбы. Полковникъ Рюстовъ спокойно и рѣшительно объяснилъ ей, почему Лассаль настаиваетъ на двухчасовомъ (по большей мѣрѣ) разговорѣ съ нею наединѣ или при свидѣтелѣ, присутствіе котораго требуется приличіемъ, но который не стѣснялъ бы ихъ свободы. Она отклонила это требованіе, возразивъ на нѣкоторыя отдѣльныя представленія:

„— Къ чему это? Я знаю, чего онъ хочетъ. Мнѣ надоѣла эта исторія.

„Когда напомнили о данныхъ ею клятвахъ, она возразила съ насмѣшкой.

— Клятва?! Я не даю клятвъ!

„На замѣчаніе, что эти отвѣты рѣзко противорѣчатъ совершенно исключительнымъ ея поступкамъ, напримѣръ тому, что происходило въ пансіонѣ Леове *), она отвѣчала съ легкостью:

„—Да, это правда, но это случилось лишь въ первую минуту.

„Рюстовъ, наконецъ, поставилъ ей на видъ, что, судя по одному изъ ея заявленій, она какъ будто боится возврата къ прежнему настроенію послѣ личной бесѣды съ Лассалемъ. Но она отрицала это опасеніе и отозвалась, что личная бесѣда «совершенно безполезна». И когда Гэнле замѣтилъ, что нѣтъ надобности длить бесѣду два часа, что Лассаль самъ прервете ее гораздо раньше, если Елена отвѣтитъ и ему точно такъ же, она сказала, смѣясь:

*) Исторія эта состояла въ томъ, что Елена бѣжала изъ родительскаго дома въ пансіонъ Леове къ Лассалю, который, однако, имѣя свой собственный планъ, возвратилъ дѣвушку матери.

„— Лассаль любитъ говорить много и долго, ему и двухъ часовъ, пожалуй, будетъ мало!

„На слова полковника Рюстова, что, по ея собственному сознанію, она глубоко неправа передъ Лассалемъ, что она поэтому обязана дать ему удовлетвореніе, Елена возразила съ улыбкой:

„— Удовлетвореніе его тщеславію?

„— Нѣтъ, я говорю о его нравственномъ чувствѣ, поправилъ ее Рюстовъ".

Наконецъ, и самъ Лассаль объявилъ, что отказывается отъ дальнѣйшихъ попытокъ, «вслѣдствіе безусловной безнравственности» Елены.

Въ своихъ мемуарахъ, однако, Елена желаетъ представить дѣло совсѣмъ въ другомъ освѣщеніи. Она хочетъ увѣрить читателя, что «надежда принадлежать Лассалю никогда не покидала ея, что если бы она хоть минуту осталась съ Гэнле одна, безъ непріятнаго ей Рюстова и безъ отца, который стоялъ прямо противъ нея и не спускалъ съ нея испытующаго взгляда, дѣло приняло бы совсѣмъ иной оборотъ. Рѣзко отвѣчая Рюстову, котораго отецъ выдавалъ ей за человѣка безпристрастнаго, понимающаго невозможность брака между нею и Лассалемъ, она будто бы дала понять свое тяжелое положеніе Гэнле и вполнѣ расположила его въ свою пользу». На дѣлѣ, однако, Гэнле такъ мало ожидалъ отъ нея, что махнулъ рукой и уѣхалъ, не считая нужнымъ дожидаться ея письменнаго отвѣта.

Въ виду этихъ обстоятельствъ становится особенно интереснымъ разсказъ Елены о томъ, какъ она приняла извѣстіе о роковой дуэли. Елена признается, что «была довольна вѣстью о дуэли. Гибель Янко казалось ей несомнѣнною; Лассаль убьетъ его непремѣнно и тогда въ домѣ поднимется гвалтъ, подъ шумъ котораго она опять уйдетъ къ Лассалю! Въ ночь передъ дуэлью, пока Янко писалъ письма роднымъ, она занялась приготовленіями къ задуманному бѣгству, жгла сохранившіяся письма, положила въ дорожный мѣшокъ немного бѣлья и украшеній и утромъ надѣла два платья, одно на другое, чтобы быть совершенно готовый и снаряженной въ путь. Приготовившись бѣжать, она простилась съ Янко «не безъ нѣкотораго состраданія»! Когда Янко вернулся съ дуэли побѣдоносный, между ними произошелъ слѣдующій, по словамъ Елены, разговоръ:

„—Рада-ли ты, что я живъ?

„—Да, конечно...

„—А что ты сдѣлаешь, если я скажу, что Лассаль раненъ?

„Она захохотала.

„—Я бы этому не повѣрила!

„—И, однако, это такъ, я ранилъ его, вовсе не желая, и, надѣюсь, ранилъ легко.

„—Ты? Ты его ранилъ? Ну, разумѣется, рана должна быть очень легкая, сказала Елена съ усмѣшкой.—Поди, оставь меня одну, прибавила она съ неудовольствіемъ.

„На третій день послѣ дуэли, Янко вошелъ къ ней утромъ, блѣдный, и пригласилъ ее въ садъ.

„—Я имѣю сказать тебѣ нѣчто прискорбное, только не здѣсь.

„Въ саду онъ молча подвелъ ее къ скамейкѣ.

„—Что такое? спросила она.

„—Лассаль умеръ!

„Она оттолкнула Янкс, проговоривъ: уйди! уйди! теперь я и тебя ненавижу".

«Но эта «ненависть» прошла очень скоро, прибавляетъ г. В. К.: полгода спустя Елена уже была женою этого самаго Янко, отъ руки котораго палъ ея «царственный орелъ», и которому она въ тотъ критическій день такъ сильно желала тяжелой или смертельной раны».

Если читатель повѣритъ показаніямъ Гэнле и Рюстова, Елена выйдетъ не хороша; а если онъ повѣритъ ея собственному разсказу, она выйдетъ еще хуже. Во всякомъ же случаѣ, эта дама — столь легкомысленно двуличная и столь наивно безстыдная, что принимать ея «Beziehungen» въ качествѣ достовѣрнаго историческаго матеріала невозможно. Ея мемуары требуютъ самаго тщательнаго критическаго процѣживанія, которое, однако, въ настоящемъ случаѣ крайне затруднительно, потому что дѣло идетъ объ отношеніяхъ любовныхъ, то-есть больше чѣмъ на половину недоступныхъ провѣркѣ показаніями посторонніхъ свидѣтелей. Впрочемъ, простой здравый смыслъ помогаетъ, если не совсѣмъ расплести кружево были и небылицы въ разсказѣ Елены, то, по крайней мѣрѣ, съ увѣренностью рѣшить, что небылицы тутъ очень много. Увѣренность эта дается не только личными свойствами автора, какъ они обнаруживаются собственною ея исповѣдью, то-есть разсказомъ, тщательно напомаженнымъ и завитымъ, а и совершенною невѣроятностью нѣкоторыхъ отдѣльныхъ эпизодовъ. Напримѣръ, Елена разсказываетъ, что Лассаль воспылалъ къ ней страстью, даже не видавшись съ нею, по-наслышкѣ, а когда увидѣлъ, то съ перваго же раза сталъ ей говорить «ты». Мало того: въ этотъ же первый разъ, выходя вмѣстѣ съ нею изъ дома, гдѣ они случайно встрѣтились, Лассаль «взялъ ее на руки, какъ ребенка, и понесъ съ лѣстницы; спустившись, онъ опять поставилъ ее на ноги; предложилъ ей свою руку и, помолчавъ минуту, сказалъ: «теперь намъ надо поговорить и о дѣлѣ; когда мы увидимся опять и когда мнѣ пріѣхать къ твоей бабушкѣ, чтобы на чистоту объясниться съ нею»? Надо замѣтить, что эта ни съ чѣмъ несообразная сцена происходила въ домѣ берлинскаго адвоката Гирземенцеля и въ присутствіи родственниковъ Елены: «молодой, но *очень чопорной* дамы и пожилого господина». Г. В. К. пропускаетъ эту сцену

безъ всякаго протеста, а критикъ «Новаго Времени», будучи чрезвычайно смѣлъ, горячо протестуетъ противъ поведенія Лассаля. Мнѣ кажется, однако, что изъ разсказа Елены слѣдуетъ совсѣмъ другой выводъ, а именно тотъ, что г-жа Раковица очень плохая сочинительница. Нѣмцы средняго круга не на другой планетѣ живутъ. Настолько-то мы знаемъ ихъ бытъ и условія жизни, чтобы признать приведенную дикую сцену рѣшительно невозможною. Крестьянскій парень можетъ, при первомъ же свиданіи съ приглянувшеюся ему женщиной, облапить ее или ласково вытянуть по спинѣ. Этимъ онъ не нарушитъ этикета, и присутствующіе или сочувственно улыбнутся, или даже не замѣтятъ. Но чтобы Лассаль или кто другой могъ въ домѣ берлинскаго адвоката, въ присутствіи «очень чопорной» родственницы и пожилого родственника, «тыкать» и носить по лѣстницѣ на рукахъ дочь нѣмецкаго чиновника, которую онъ въ первый разъ видитъ,—это, какъ хотите, очень плохое сочиненіе! Тутъ совсѣмъ не въ Лассалѣ дѣло, а во всей обстановкѣ того общественнаго круга, въ которомъ Лассаль и Елена были «свои»: адвокаты, чиновники, профессора, въ числѣ которыхъ Гнейстъ, Бекъ, Дитерици. Что же касается самого Лассаля, то опять-таки нельзя не припомнить сравнительной правдивости и благородства мемуаровъ нашей соотечественницы, г-жи С. Тамъ Лассаль, тоже въ своемъ ослѣпленіи страстью, дѣлаетъ подчасъ неловкія вещи, но это всетаки, по крайней мѣрѣ, безукоризненный джентльменъ, а не смѣсь дикаго бурша, гороховаго шута и сантиментальнаго болвана, какимъ его изображаетъ г-жа Раковица.

Многіе думаютъ, что грубая неделикатность, съ которою въ мемуарахъ, подобныхъ брошюрѣ Елены Раковица, раскрываются передъ толпой подробности интимнѣйшихъ отношеній, съ избыткомъ выкупается ихъ историческою цѣнностью. Какъ ни какъ, говорятъ, а мы узнаемъ факты изъ жизни замѣчательнаго человѣка и, каковы бы ни были эти факты, къ славѣ или къ позору замѣчательнаго человѣка они относятся, они во всякомъ случаѣ уясняютъ его фигуру. Это большая ошибка. Подобные мемуары не только ничего не уясняютъ, а напротивъ—даже очень многое затмѣваютъ. Не всякій человѣкъ способенъ написать правдивыя воспоминанія, особенно если онъ игралъ какую-нибудь выдающуюся роль въ воспоминаемыхъ событіяхъ. Всѣ понимаютъ, что первый встрѣчный не можетъ написать литературный портретъ, положимъ, хоть того же Лассаля на основаніи книжныхъ или рукописныхъ матеріаловъ; всѣ понимаютъ, что для этого мало наличности книгъ и рукописей, а нужно присутствіе еще чего-то въ мозгу и сердцѣ того, кто эти матеріалы возмется обработывать. А когда дѣло идетъ о мемуарахъ, то безмолвно признается совершенно достаточнымъ фактъ близости даннаго лица къ замѣчательному человѣку или крупному событію. Но самъ по себѣ фактъ близости ровно ничего не значитъ. Есть люди дальнозоркіе, есть и близорукіе, есть страдающіе дальтонизмомъ, а есть и и совсѣмъ слѣпые. Иному близкое разстояніе отъ предмета не только не помогаетъ, а мѣшаетъ видѣть. Лакей великаго человѣка очень близокъ къ своему барину: онъ видитъ его каждый день, утромъ, днемъ, вечеромъ, ночью; видитъ, какъ онъ одѣвается, умывается, работаетъ, принимаетъ просителей и гостей, видитъ его отношенія къ женѣ, дѣтямъ, друзьямъ и врагамъ. Извѣстно, однако, что великіе люди для ихъ лакеевъ не существуютъ. Извѣстно также, что это не отъ того зависитъ, что великіе люди не велики, а оттого, что лакеи суть лакеи. Елена Дённигесъ именно изъ лакеевъ. Правда, она вовсе не желаетъ умалить величія Лассаля—еще бы онъ не былъ великимъ человѣкомъ, когда положилъ свою душу за нее, Елену Дённигесъ-Раковица. эту алмазную розсыпь въ дамскомъ туалетѣ! Въ наивности своей она, можетъ быть, даже думаетъ, что возвеличиваетъ его тѣми словами и поступками, которые ему приписываетъ. Но отношеніе ея всетаки лакейское, и великій человѣкъ никакъ изъ-подъ ея пера не выходитъ. Близость къ Лассалю ни мало ея не выручаетъ. Совсѣмъ даже напротивъ. Помимо лжи, очевидно разсыпанной щедрою рукой въ «Meine Beziehungen», Елена лжетъ даже тамъ, гдѣ, можетъ быть, говоритъ правду. Это совсѣмъ не парадоксъ, какъ читатель, надѣюсь, убѣдится изъ слѣдующаго примѣра.

«Клянусь, твой выборъ не дуренъ, сказалъ Лассаль, довольный и потирая свои руки. — Жена Фердинанда Лассаля должна быть первою изъ всѣхъ. Поговоримъ объ этомъ обстоятельно. Имѣешь-ли ты понятіе о моихъ планахъ и цѣляхъ? Нѣтъ? Взгляни на меня, прибавилъ онъ, выпрямляясь:—похожъ-ли я на человѣка, способнаго довольствоваться второю ролью въ государствѣ? Неужели я стану отдавать сонъ моихъ ночей, мозгъ моихъ костей и силу моихъ легкихъ, чтобы вынимать для другихъ каштаны изъ огня? Похожъ-ли я на политическаго мученика? Нѣтъ! Я готовъ дѣйствовать и бороться, но я хочу также насладиться добытымъ призомъ и возложить на тебя—скажу пока—побѣдный вѣнецъ. Поди сюда и стань подлѣ меня передъ зеркаломъ. Посмотри: не гордая-ли, не царственная-ли чета передъ тобою?.. «Фердинандъ, избранникъ народа» — вотъ какъ они должны назвать меня, если удастся наше дѣло и мы торжественно вѣдемъ въ Берлинъ».

Любопытно, что г-жѣ С. Лассаль подоб-

ныхъ глупостей не говорилъ, хотя и развивалъ ей свои виды на будущее. Мало того, въ обширной и педантически добросовѣстной «исповѣди», написанной имъ спеціально для г-жи С., читаемъ, между прочимъ, слѣдующее: «Правда—я не скрою этого отъ васъ—весьма возможно, что, если извѣстныя событія совершатся, жизнь ваша, если вы будете моей женой, получитъ цѣлый потокъ движенія, шума и блеска. Но не правда-ли, Софи, не слѣдуетъ жадно спекулировать, ради личнаго счастья, великими вопросами, которые составляютъ цѣль усилій всего человѣческаго рода? Итакъ, на это не слѣдуютъ отнюдь разсчитывать». Такое ужъ видно, значитъ, счастье прелестной вдовѣ Янко Раковица, что человѣкъ, обращающійся съ другими женщинами благопристойно, ее хватаетъ «въ обнимку» при первомъ свиданіи, и говорящій съ другими умно и честно—ей болтаетъ глупости! Однако, какъ говорилъ Суворовъ, «разъ счастье, два раза счастье, помилуй Богъ! надо же когда-нибудь и немножко умѣнья!» Такъ и съ прелестной Еленой: разъ счастье, два раза счастье, надо же, наконецъ, когда-нибудь немножко умѣнья, и, конечно, умѣнья передать въ смѣшномъ и глупомъ видѣ то, что она видѣла очень близко, слишкомъ близко для ея способности видѣть. Весьма возможно, что нѣчто подобное приведенной тирадѣ Лассаль говорилъ Еленѣ: честолюбіе и самоувѣренность Лассаля были извѣстны и безъ мемуаровъ г-жи Раковица, а въ экстазѣ любви мало-ли что говорится любимой женщинѣ. Такое подчасъ говорится, чего не только другимъ людямъ, а и себѣ самому не рѣшишься сказать. И вотъ почему всегда есть нѣчто подло-предательское въ выбалтываніи, хотя бы даже фотографически вѣрномъ, подобныхъ интимныхъ разговоровъ. Только художникъ, истинный, большой художникъ, въ состояніи передать ту полноту жизни, изъ которой выливается такая смѣсь шутки и задушевности, искренности и сознательнаго преувеличенія фантазіи и разумѣнія. Страстная любовь, такъ сказать, взбалтываетъ душу и поднимаетъ съ самаго ея дна ей самой невѣдомый осадокъ жизни и мысли; съ страстно любимымъ человѣкомъ человѣкъ больше одинъ, больше наединѣ, чѣмъ когда онъ въ самомъ дѣлѣ одинъ. Тайна сія велика есть, и, однако, она хорошо знакома всѣмъ, «горячо любившимъ, еще остатокъ жизни сохранившимъ». Многое бываетъ при этомъ смѣшно и глупо, если это многое вырвать изъ всего и передать хотя бы и вѣрно, но не полно, безъ всей своеобразной душевной обстановки. На такое полное, художественное изображеніе лакей великаго человѣка, конечно, неспособенъ. Неспособна и Елена Дённигесъ-Раковица. И лакей, и она не только много врутъ въ прямомъ смыслѣ слова, но врутъ даже тогда, когда говорятъ правду. Поэтому, мемуары г-жи Раковица ничего не уясняютъ, а затмѣваютъ многое. Враги Лассаля или его идеи естественно схватятся за нихъ, какъ за бранное оружіе, а необыкновено смѣлые люди, безъ опредѣленнаго назначенія, возьмутъ да и обзовутъ, для обнаруженія своей необыкновенной смѣлости, Лассаля Хлестаковымъ. Это-то ужъ, впрочемъ, черезъ-чуръ глупо. Хлестаковъ типиченъ именно тѣмъ, что вретъ о своемъ прошедшемъ и настоящемъ положеніи—въ этомъ весь смыслъ Хлестакова. Лассаль, если даже судить о немъ исключительно по мемуарамъ Елены, ничего подобнаго не дѣлалъ: онъ не говорилъ, что за нимъ тридцать тысячъ курьеровъ пріѣзжали, а мечталъ о будущемъ, для котораго предполагалъ сильно и упорно работать. Это, кажется, двѣ вещи довольно разныя, даже если вѣрить, что г-жа Раковица—не плохая сочинительница, а правдивѣйшая, добросовѣстнѣйшая и всепонимающая свидѣтельница.

Лассаль былъ честолюбивъ и женолюбивъ. Это несомнѣнно. Но за это онъ и при жизни много терпѣлъ, и за гробомъ съ избыткомъ наказуется прелестными ручками, которыя, не смотря на свою прелесть и миніатюрные размѣры, бьютъ больно, даже не подозрѣвая что бьютъ, и полагая, что вѣнчаютъ лаврами и розами. Казнь совершена, тѣнь опозорена, прелестные палачи, исполнивъ свою обязанность, потираютъ раздушенныя ручки, зѣваки, вдоволь натѣшившись, расходятся по домамъ. Казненная тѣнь остается одна на площади. Подойдемъ къ ней поближе не для того, чтобы бросить ей лишнее слово укора, нанести, по мѣрѣ силъ, еще одинъ ударъ, но и не для того, чтобы оправдывать недостойное оправданія, а просто, чтобы объяснить себѣ явленіе.

Первый въ своемъ родѣ, въ своей серіи человѣкъ превосходно характеризованъ словами Ломеллино о Фіеско (у Шиллера): онъ «молитъ повелительно», онъ «торговецъ сердцами толпы». Фіеско и самъ понимаетъ, что онъ въ Генуѣ «одинъ». Онъ, и въ самомъ дѣлѣ, одинъ можетъ свергнуть иго Доріевъ. Есть въ Генуѣ пламенныя сердца, въ родѣ Бургоньино, есть люди великаго духа, въ родѣ Веррины, но это все не то. Веррина, по своему справедливо признающій себя «единственнымъ великимъ человѣкомъ», единственъ только въ томъ смыслѣ, что онъ одинъ рѣшается убить горячо имъ любимаго Фіеско, послѣ того какъ тотъ замѣнилъ собою Доріевъ. Что же касается перваго мѣста въ дѣлѣ вліянія, то Веррина безъ вся-

каго спора и раздумья уступаетъ его Фіеско. Иначе и быть не можетъ. Дорія нанесъ Верринѣ величайшее оскорбленіе, изнасиловавъ его дочь, но это возмутительное насиліе возбудило жажду мести и негодованіе лишь въ маленькомъ кружкѣ друзей Веррины. А когда подосланный убійца оцарапалъ Фіеско руку, то произошла сцена, о которой разсказываетъ Ломеллино: «Все собраніе въ недвижныхъ группахъ, полныхъ ужаса, внимало ему, едва переводя дыханіе. Онъ говорилъ недолго, но когда простеръ окровавленную руку, народъ сталъ драться за падающія капли, какъ за святыню».

Въ этомъ именно заключается характеристическая разница между людьми дюжины и первыми людьми. Люди дюжины могутъ обладать многими чрезвычайно почтенными, даже великими качествами ума и сердца, а первые люди, напротивъ того, отличаться многими и многими слабостями, и всетаки первые люди управляютъ умами и сердцами, а сердца и умы людей дюжины управляются. Дюжинный человѣкъ можетъ очень хорошо понимать всѣ недостатки перваго, даже очень умно и тонко развинчивать его на его составныя части, вѣшать, мѣрять и опредѣлять цѣну этихъ людей, очень ясно видѣть, чего тутъ не хватаетъ и чего слишкомъ много, и въ то же время или прямо быть подъ сильнѣйшимъ вліяніемъ перваго, или, по крайней мѣрѣ, оказаться совершенно безсильнымъ для парализованія этого вліянія. Выдающіеся изъ дюжинныхъ людей теоретически иногда отлично понимаютъ, что въ данную минуту нужно и возможно, но въ ихъ духовномъ механизмѣ не хватаетъ соотвѣтственной практической пружины, того секрета дерзать и владѣть, который составляетъ силу первыхъ людей. Въ чемъ этотъ секретъ собственно состоитъ — дѣло, конечно, темное, которое разберетъ-ли, нѣтъ-ли будущая психологія, но наличность его есть фактъ, всякому читателю, безъ сомнѣнія, извѣстный. Каждый даже изъ своего личнаго опыта, семейнаго, школьнаго, кружковаго, житейскаго, не говоря уже объ обширномъ полѣ историческаго наблюденія, знаетъ, что есть такія избранныя личности, которыя «молятъ повелительно» и «торгуютъ сердцами толпы». Цѣнить ихъ надо прежде всего относительно. Дюжина бываетъ и малая, и большая; иной первый человѣкъ дивитъ только свой муравейникъ, а иной ворочаетъ судьбами міра, одинъ проявляетъ свою таинственную силу въ практической жизни, другой — въ области теоретической мысли, третій — въ художественныхъ образахъ. Эти разнообразныя условія могутъ давать очень различныя и сложныя комбинаціи, но въ большинствѣ случаевъ всетаки не представляется затрудненій отличить избраннаго отъ званныхъ, перваго отъ дюжины.

Отношенія первыхъ людей къ людямъ дюжины и обратно бываютъ чрезвычайно разнообразны. Наиболѣе умные и честные просто признаютъ стихійный фактъ первенства и устроиваются примѣнительно къ этому признанію. Такъ поступилъ Веррина относительно Фіеско. Образчикъ такого правильнаго отношенія можетъ представить одно, на первый взглядъ нѣсколько загадочное, но очень любопытное, находящееся въ перепискѣ Бѣлинскаго, сравненіе его, Бѣлинскаго, съ Лермонтовымъ. А именно, разсказывая о своемъ свиданіи съ Лермонтовымъ на гауптвахтѣ, гдѣ тотъ сидѣлъ за дуэль съ Барантомъ, Бѣлинскій, между прочимъ пишетъ: «Боже мой, какъ онъ ниже меня по своимъ понятіямъ и какъ я безконечно ниже его въ моемъ передъ нимъ превосходствѣ! Каждое его слово — онъ самъ, вся его натура во всей глубинѣ и цѣлости своей. Я съ нимъ робокъ, меня давятъ такія цѣлостныя, полныя натуры, я передъ нимъ благоговѣю и смиряюсь въ сознаніи своего ничтожества». Это сравненіе вѣрно только на половину. Бѣлинскій никогда не былъ первымъ въ своемъ родѣ человѣкомъ, но онъ былъ уменъ и честенъ, и потому безбоязненно и непостыдно призналъ фактъ своего сравнительно малаго роста и большаго, изъ ряда вонъ выходящаго роста Лермонтова. Онъ даже отчасти угадалъ по-крайней мѣрѣ отрицательную сторону этой разницы въ ростѣ. Онъ понялъ, что «понятія» играютъ тутъ второстепенную роль. Въ самомъ дѣлѣ, «понятія» первыхъ въ своемъ родѣ людей часто далеко превосходятъ понятія окружающихъ и даже всѣхъ современниковъ, но не въ нихъ заключается ихъ главная обаятельная сила. Однако, и не въ той «цѣлостности и полнотѣ натуры», которую Бѣлинскій приписываетъ Лермонтову. Лермонтовъ, какъ мы увидимъ сегодня же, вовсе не былъ такой цѣлостной, всегда себѣ равной и вѣрной натурой, но онъ въ высокой степени обладалъ практическимъ психологическимъ тактомъ, умѣньемъ оригинально, самостоятельно, повелительно трогать тѣ именно струны людскихъ сердецъ, которыя хотѣлъ затронуть. Въ этомъ вся суть дѣла. Розенкранцу и Гильденштерну не играть на душѣ Гамлета, какъ бы они ни были умны, а Гамлетъ съиграетъ на ихъ душахъ все, что захочетъ, какъ на флейтѣ. Даже когда дѣятельность перваго въ своемъ родѣ человѣка сосредоточивается исключительно въ области теоретической мысли, въ области «понятій», такъ и то однихъ понятій мало; нужно умѣнье такъ распредѣлять,

комбинировать и предъявлять ихъ, чтобы они охватывали умы, какъ неводомъ рыбу. А это и есть практическій психологическій тактъ.

Какъ бы то ни было, но если Бѣлинскій только на половину вѣрно сравнилъ себя съ Лермонтовымъ, онъ всетаки умно и честно приступилъ къ сравненію. На это далеко не всѣ даже умные люди способны. Даже умные люди могутъ «обижаться» нравственными преимуществами ближняго. Преобладаніе первыхъ въ своемъ родѣ людей принимаетъ подчасъ, дѣйствительно, обидныя формы, вслѣдствіе чего около нихъ, рядомъ съ любовью, преданностью, восторженнымъ поклоненіемъ, очень естественно, а иногда даже до извѣстной степени правомѣрно кишитъ ненависть, зависть, злоба. Первому человѣку, по какому-то безмолвному соглашенію, уступаютъ дорогу, ему разрѣшается многое, чего не позволятъ никому другому, къ нему обращены надежды и ожиданія. Иначе говоря, онъ самъ садится въ передній уголъ, иногда дерзко-спокойно, иногда съ «повелительной мольбой», иногда съ непріятною надменностью отстраняя тѣхъ, кто стоитъ на дорогѣ. Это обидно. Дюжинный человѣкъ, если онъ уменъ и талантливъ, а тѣмъ паче, если онъ глупъ и бездаренъ, легко можетъ поддаться соображенію, что вѣдь, молъ, этотъ человѣкъ ничѣмъ не лучше меня, а только есть въ немъ какая-то таинственная душевная черточка, на которую люди лѣзутъ, какъ мухи на сахаръ; изъ-за этой ничтожной, невѣдомой черточки онъ и самъ портится, становится самолюбивъ, честолюбивъ, властолюбивъ, нетерпимъ, да и все стадо барановъ гонитъ, куда ему вздумается, можетъ быть, прямо на погибель. Подобныя соображенія выливаются иногда въ чрезвычайно курьезныя отношенія, примѣрно такія же, какія должны существовать между какимъ-нибудь тигромъ и укротителемъ звѣрей: тигръ глубоко ненавидитъ укротителя и долженъ понимать, что онъ несравненно его сильнѣе, но одинъ взглядъ этого маленькаго, слабенькаго человѣка — и тигръ, злобно рыча и скаля зубы, всетаки поджимаетъ хвостъ. Тигръ, разумѣется, Богъ съ нимъ, но за человѣка въ такомъ положеніи обидно, даже просто теоретически со стороны обидно, какъ обидно всякое господство человѣка надъ человѣкомъ. Однако, изъ этого всетаки не проистекаетъ ни одного резона для отрицанія самаго факта первенства. Напротивъ, его надо прежде всего признать во всемъ его объемѣ и затѣмъ изучать его, потому что только при этомъ условіи возможна какая бы то ни была борьба.

Ставши на эту точку зрѣнія, мы можемъ уже гораздо мягче посмотрѣть на нѣкоторыя непривлекательныя нравственныя черты, очень часто свойственныя первымъ людямъ: честолюбіе, властолюбіе, самомнѣніе. Насчетъ этихъ качествъ прописная мораль совершенно права, когда они принимаютъ извѣстныя формы и размѣры, но совершенно не права, когда помышляетъ съ корнемъ вырвать ихъ изъ человѣческой природы. Не права не только потому, что затѣваетъ предпріятіе ей, мертвой и мертвящей, непосильное, а и потому, что, въ случаѣ удачи предпріятія, оно оказалось бы неразумнымъ. Честолюбіе, напримѣръ, есть такая комбинація уваженія къ собственной личности и любви къ людямъ, безъ которой, при равныхъ прочихъ условіяхъ, міръ оказался бы мелокъ, какъ мелкая тарелка; и тускъ, какъ нечищенный мѣдный тазъ. Если человѣкъ ищетъ почестей, славы, хочетъ, чтобы его имя гремѣло, чтобы ему платили дань удивленія и поклоненія, такъ вѣдь это значитъ, что онъ дорожитъ мнѣніемъ людей, любитъ ихъ. И почетъ, и слава составляютъ въ этомъ случаѣ его законную награду, при томъ, разумѣется, необходимомъ условіи, что достигшій ихъ, дѣйствительно, *достигалъ*, то-есть работалъ, боролся, тратилъ силы, рисковалъ здоровьемъ и жизнью. Въ этомъ трудѣ, борьбѣ, затратѣ силъ сказывается второй составной элементъ честолюбія, — уваженіе къ собственной личности, потому что если человѣкъ требуетъ себѣ почестей только на томъ, напримѣръ, основаніи, что сынъ своего отца или внукъ своего дѣда и, значитъ, самъ имѣетъ право сложа руки почивать на наслѣдственныхъ лаврахъ, то онъ тѣмъ самымъ вычеркиваетъ свою собственную личность изъ счета. Онъ уважаетъ уже не свою личность, а свой родъ, и не человѣческую личность вообще, а какой-нибудь отвлеченный принципъ. Само собою разумѣется, что лучшая, высшая форма честолюбія, та, въ которой правильно сочетаются любовь къ себѣ и любовь къ людямъ, можетъ въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи рѣзко измѣниться. Ея первоначальный источникъ можетъ совершенно атрофироваться и останется только голая, безмысленная погоня за почетомъ ради почета. Тогда человѣкъ начинаетъ исповѣдывать паскудный, унизительный принципъ: «люби не люби, да почаще взглядывай». Тогда онъ превращается въ подобіе какого-нибудь Нерона, требующаго себѣ божескихъ почестей и отвѣчающаго на нихъ скотскими дѣйствіями. Тогда честолюбіе перестаетъ быть стимуломъ дѣятельности и двигателемъ исторіи. Бываетъ, конечно, что честолюбцы, какъ говоритъ Брутъ, размышляя о Юліѣ Цезарѣ, идутъ по лѣстницѣ:

Всходя, лицо они къ ней обращаютъ,
Взойдя же, къ ней становятся спиной.
Взоръ тотчасъ устремляютъ къ облакамъ
И презираютъ жалкія ступени,
По коимъ до вершины добрались.

Къ такому человѣку мы вправѣ относиться совершенно такъ же, какъ онъ относится къ другимъ: если для него люди — средство, такъ и онъ можетъ оказаться для людей средствомъ, которое, отслуживъ свою службу, смѣняется другимъ. Но пока первый человѣкъ не жалѣетъ, по выраженію Лассаля, приписываемому ему г-жей Раковица, сна своихъ ночей, мозга своихъ костей и силы своихъ легкихъ, честолюбіе остается могучимъ стимуломъ. При этомъ условіи, его плодотворность или злотворность измѣряется не имъ самимъ, какъ стимуломъ, а тѣми цѣлями, ради которыхъ мозгъ костей расходуется. И зло, и добро можетъ нести съ собой такой честолюбецъ, но не потому зло и не потому добро, что онъ честолюбецъ, а потому, что дѣятельность его направлена въ ту или другую сторону.

Приблизительно то же самое должно сказать о властолюбіи, что само собою понятно. Интереснѣе самоувѣренность, самомнѣніе.

Любопытно, что качество это часто осложняется у первыхъ въ своемъ родѣ людей своеобразнымъ фатализмомъ, странною, но непоколебимою вѣрою не только въ свои силы, а и въ свою «звѣзду». У мало развитыхъ первыхъ людей, какимъ былъ, напримѣръ, Наполеонъ I, черта эта достигаетъ фантастическихъ размѣровъ, но въ большей или меньшей степени она присуща и другимъ. Удивительнаго здѣсь ничего нѣтъ. Постоянныя удачи первыхъ въ своемъ родѣ людей обусловливаются не только ихъ умомъ и способностями вообще, и не только ихъ упорнымъ трудолюбіемъ, а еще и въ особенности ихъ умѣніемъ «торговать сердцами толпы», ихъ практическимъ психологическимъ тактомъ, отчасти врожденнымъ, отчасти воспитаннымъ плаваніемъ по житейскому морю. Дѣло это въ значительной степени безсознательное. Можетъ быть, у человѣка, обладающаго такимъ тактомъ, и есть нѣсколько опредѣленныхъ, формулированныхъ правилъ обращенія съ людьми, но руководствоваться ими во всей ихъ желѣзной непреклонности онъ постоянно, конечно, не можетъ. Тѣ безконечно разнообразныя отношенія, въ которыя ему приходится становиться, требуютъ не строго формулированныхъ правилъ, по крайней мѣрѣ, не только ихъ, а главнымъ образомъ быстрой находчивости, гибкости, даваемой безсознательной психической работой. Одаренный этою гибкостью человѣкъ еще, можетъ быть, за минуту до совершенія извѣстнаго поступка или произнесенія извѣстнаго слова самъ не знаетъ, какъ онъ поступитъ и что скажетъ. Но онъ по опыту знаетъ, что въ трудную минуту его психологическій тактъ его выручитъ, натолкнетъ его на ту именно мысль, на то именно слово или на то именно дѣйствіе, которое въ данную минуту произведетъ самый подходящій эффектъ. Это, конечно, процессъ, столь же естественный, какъ и всякій другой психическій актъ. Но онъ такъ быстръ и теменъ, что прослѣдить его сознательною мыслью трудно, а это натурально болѣе или менѣе приближаетъ людей къ фантастической вѣрѣ въ свою «звѣзду». Не развитая критическимъ упражненіемъ мысль приметъ эту находчивость психологическаго такта за голосъ неземныхъ, таинственныхъ силъ, голосъ самого божества, и человѣкъ выростетъ въ собственныхъ глазахъ до размѣровъ излюбленнаго «сына судьбы». И даже въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ дѣйствуетъ вполнѣ сознательно, по заранѣе обдуманному плану, съ разными изворотами, требуемыми стеченіемъ обстоятельствъ, онъ будетъ все-таки думать, что имъ руководитъ какая-то таинственная звѣзда. Отбросивъ фантастическую и мистическую сторону этого представленія, мы должны признать, что онъ и въ самомъ дѣлѣ излюбленный сынъ судьбы, потому что при его зачатіи, рожденіи или воспитаніи элементарныя силы природы сложились такъ, что одарили его величайшимъ изъ даровъ—даромъ ловца людей. Человѣкъ, критически мыслящій, какимъ былъ Лассаль, такъ и посмотритъ на это. Въ своей «Исповѣди» онъ прямо и просто говоритъ, что «имѣетъ даръ увлекать за собою людей». Если прибавить къ этому громадную эрудицію Лассаля, его необыкновенную логическую способность, его энергію въ достиженіи разъ намѣченной цѣли, то его самомнѣніе и самоувѣренность станутъ совершенно понятны.

Правда, въ его рѣчахъ и сочиненіяхъ часто пробиваются непріятно рѣжущія ухо ноты не то что хвастливости, а,—какъ бы сказать,—слишкомъ нескромнаго публичнаго заявленія своихъ достоинствъ. Но, во-первыхъ, эти заявленія ни въ какомъ случаѣ не ниже дѣйствительности: добросовѣстно опровергнуть ихъ не можетъ ни даже самый злой и убѣжденный врагъ Лассаля. Во-вторыхъ, въ его устахъ подобныя заявленія имѣли еще одно спеціальное значеніе и назначеніе.

Практическій дѣятель, одаренный тѣмъ психологическимъ тактомъ, который даетъ ему возможность «молить повелительно» и «торговать сердцами толпы», оказался бы очень несчастнымъ человѣкомъ, если бы до-

рога передъ нимъ лежала скатертью. Ему нужна борьба, нужны, значитъ, препятствія и враги. Въ своей «Исповѣди» Лассаль почти съ любовью и во всякомъ случаѣ съ своего рода сладострастіемъ говоритъ о врагахъ. Онъ пишетъ: «У насъ въ Пруссіи, очень мало кто ко мнѣ равнодушенъ. Почти все общество дѣлится въ отношеніи меня на двѣ партіи. Одна, къ которой принадлежитъ вся аристократія и большая часть буржуазіи, — часто даже лица съ легкимъ оттѣнкомъ либерализма,— боится и ненавидитъ меня. Другая партія, къ которой принадлежитъ остальная часть буржуазіи и народъ, уважаетъ, любитъ и нерѣдко даже обожаетъ меня. Для людей этой послѣдней партіи я—человѣкъ великой геніальности и характера почти нечеловѣческаго, отъ котораго они ждутъ великихъ дѣяній. Другіе, враги, также ждутъ отъ меня большихъ дѣлъ. Но именно потому, что они боятся меня болѣе чѣмъ кого-либо другого, они такъ непомѣрно ненавидятъ меня, что я не могу дать вамъ вѣрнаго понятія объ этой всепожирающей ненависти. Они постоянно стараются преслѣдовать меня. Правда, что и враги мои въ глубинѣ души уважаютъ меня такъ же, какъ и друзья, часто даже больше, потому что они лучше друзей угадываютъ меня. Именно, уважая меня втайнѣ, они тѣмъ не менѣе стараются оклеветать меня, потому что клевета — единственное орудіе этихъ гнилыхъ партій, чувствующихъ постепенно приближающуюся смерть. Я всегда шелъ съ поднятымъ челомъ, съ презрѣніемъ на устахъ, съ оружіемъ въ рукахъ, всегда побѣдителемъ, всегда нанося удары лжи, смущая клевету, торжествуя надъ ненавистью. Но этимъ самымъ я собралъ еще болѣе ненависти вокругъ себя, тѣмъ болѣе пылкой, что она оставалась всегда безсильной противъ меня, и потому, что я всегда являлся болѣе чистымъ и блистательнымъ послѣ всѣхъ нападокъ, направленныхъ противъ меня». Съ такимъ же, если еще не съ большимъ увлеченіемъ Лассаль разсказываетъ объ одномъ частномъ эпизодѣ своей жизни, объ извѣстной многолѣтней борьбѣ по дѣлу графини Гацфельдъ.

У такого человѣка враговъ всегда достаточно, но онъ никогда не упуститъ случая если не создать новаго врага, то обратить врага, болѣе или менѣе холоднаго, смирнаго въ квалифицированнаго, озлобленнаго. Для этого онъ пуститъ въ ходъ и презрительную насмѣшку, и надменное заявленіе своего превосходства. Во всеуслышаніе подраздразнивая враговъ подобными выходками, онъ знаетъ, что правда и сила на его сторонѣ, что врагъ или промолчитъ, скрежеща зубами, или дастъ ему поводъ для новаго торжества. Эта страсть, вульгарно выражаясь, поддразнивать враговъ и затѣмъ любоваться ихъ безсильной злобой, достигаетъ иногда у первыхъ въ своемъ родѣ людей до степени почти ребячества. Лассаль въ этомъ отношеніи былъ еще сравнительно очень умѣренъ. Притомъ же многое здѣсь объясняется цѣлями и формами агитаціи. Обращаясь въ своихъ рѣчахъ и въ извѣстной части своихъ сочиненій къ рабочимъ и къ такъ называемой большой публикѣ, Лассаль, въ интересахъ самаго дѣла, имѣлъ всѣ соблазны рѣзко подчеркивать въ глазахъ этой массы свое научное значеніе, а равно и то обстоятельство, что лучшіе умы признаютъ за нимъ это значеніе, отрицаетъ же его лишь мелюзга, притворяющаяся ученою.

Обратимся къ наиболѣе щекотливому пункту, къ любовнымъ похожденіямъ Лассаля. На это дѣло Лассаль тратился, дѣйствительно, чрезмѣрно, изъ-за него же погибъ отъ пули двуногаго животнаго и изъ-за прекрасныхъ глазъ пустѣйшей бабенки. Болѣе безславнаго и безсмысленнаго конца для Лассаля и нарочно нельзя бы было придумать. Многое здѣсь должно быть поставлено на счетъ прямо физически страстному темпераменту Лассаля. Это просто несчастіе, настоящее, стихійное, въ которомъ человѣкъ не виноватъ и которое равно доступно Jovi и bovi, первому и послѣднему человѣку. Но, независимо отъ этого предательскаго физическаго подарка судьбы, Лассаль, въ качествѣ перваго человѣка, былъ обставленъ совершенно исключительными условіями и соблазнами. Красота, умъ, нравственная сила, громкая извѣстность, все соединилось, чтобы сдѣлать его, какъ онъ и самъ признавалъ, «баловнемъ» женщинъ. Хорошо разсуждать какому-нибудь духовно и физически корявому моралисту, когда его цѣломудріе такъ прочно гарантировано его корявостью, но, вовсе не оправдывая Лассаля, надо же всетаки войти въ его положеніе.

Безъ сомнѣнія, однако, онъ не былъ пассивной жертвой женскихъ исканій, онъ самъ шелъ къ нимъ на встрѣчу, самъ искалъ и добивался. И если мы выдѣлимъ отсюда ни мало не интересную и не характерную физическую страстность темперамента, то получимъ въ остаткѣ одну изъ самыхъ любопытныхъ чертъ «торговцевъ сердцами толпы», тѣхъ, что «молятъ повелительно». Припомните опять Фіеско, припомните, какую искусную игру ведетъ онъ съ графиней Юліей, сестрой младшею Дорія. Правда, онъ затѣваетъ эту исторію изъ чисто политическихъ видовъ и кончаетъ тѣмъ, что жестоко надругается надъ побѣжденной имъ гордой красавицей. Но вы видите въ то-же время, что процессъ игры увлекаетъ его самого,

что ему любо, рядомъ съ политической агитаціей, пробовать силу своей повелительной мольбы надъ красавицей, и что самъ онъ вовсе не далекъ отъ возможности искренне, съ увлеченіемъ обжечься на этомъ огнѣ. Любовная исторія развивается параллельно съ политической агитаціей, и трудно сказать, въ которую изъ этихъ двухъ сторонъ Фіеско направляетъ болѣе ума, ловкости, энергіи. Въ Лассалѣ мы видимъ нѣчто подобное, съ тою разницей, что онъ, кажется, никогда не возился съ женщинами изъ-за политическихъ видовъ. Въ этомъ отношеніи была бы особенно поучительна его послѣдняя и самая нелѣпая любовь — къ Еленѣ. Здѣсь темпераментъ его былъ, кажется, не при чемъ, какъ можно судить по слѣдующему отрывку изъ одного письма его къ графинѣ Гацфельдъ: «Вы совѣтуете мнѣ подумать о томъ, что еще недавно я былъ смертельно влюбленъ въ другую. Но я отвѣчу на это, что, во-первыхъ, понятія «быть смертельно влюбленнымъ» для меня вообще не существуетъ, а во-вторыхъ, что и теперь еще въ чувственномъ отношеніи М. для меня привлекательнѣе Елены, и это можетъ служить вамъ лучшимъ доказательствомъ, что я повинуюсь не одному только чувственному влеченію». Къ сожалѣнію, мемуары Елены до такой степени недостовѣрны, что извлечь изъ нихъ какіе-нибудь матеріалы для правдивой характеристики увлеченія Лассаля мудрено. Г. В. К., вслѣдъ за самимъ Лассалемъ, впрочемъ, склоненъ объяснять дѣло жаждою тихаго личнаго счастія и сердечной пищи среди бурь общественнаго волненія и обилія пищи умственной. Этотъ мотивъ, безъ сомнѣнія, долженъ былъ имѣть мѣсто, имъ объясняется многое и въ переходахъ отъ одного увлеченія къ другому: Лассаль могъ страстно искать личнаго счастія и, не найдя его здѣсь,—обратиться туда, не найдя тамъ, — броситься въ третье мѣсто. Но собственно безуміе его послѣдней страсти требуетъ еще какихъ-то спеціальныхъ поясненій.

Дѣло въ томъ, что всякая сила рвется наружу, ищетъ проявиться, ищетъ работы, и чѣмъ сила больше, тѣмъ она рвется энергичнѣе и разностороннѣе. Такъ и специфическая сила первыхъ въ своемъ родѣ людей, сила практическаго психологическаго такта. Обладающіе этою силою люди не только могутъ, а и хотятъ управлять сердцами и умами. Разумѣется, на первомъ планѣ стоитъ для нихъ вліяніе на массы. Но представьте себѣ, что вліянію этому, въ томъ размѣрѣ, въ какомъ оно удовлетворило бы данное лицо, являются непреодолимыя препятствія. Куда дѣть эту силу сознательнаго психологическаго анализа и безсознательной находчивости, всю эту тонкую работу ума, чувства и характера?—На женщину! Не то я хочу сказать, чтобы такъ должно было быть, но такъ бываетъ. Безъ сомнѣнія, управленіе сердцемъ женщины никогда не можетъ стать суррогатомъ вліянія на массы, но все же оно требуетъ подчасъ большой затраты душевныхъ силъ и можетъ до нѣкоторой степени играть роль отвлекающаго начала.

Въ какомъ положеніи находился Лассаль во время своего увлеченія Еленой—видно изъ слѣдующаго письма къ графинѣ Гацфельдъ: «Вы очень ошибочно судите обо мнѣ, полагая, что я не могу довольствоваться нѣкоторое время наукой, дружбой и красивой природой, что мнѣ необходима политика. Я ничего не желаю такъ сильно, какъ вполнѣ развязаться съ политикой, чтобы уйти въ науку, дружбу и природу. Я исполненъ политикой и сытъ ею по горло. Правда, я воспылалъ бы къ ней большею страстью, чѣмъ когда-нибудь прежде, если бы наступили серьезныя событія, если бы я получилъ власть или имѣлъ въ виду средство пріобрѣсти ее, такое средство, которое мнѣ пригодно, потому что безъ власти ничего не сдѣлаешь. А для ребяческой игры я слишкомъ старъ и слишкомъ великъ. Оттого я въ высшей степени неохотно принялъ предсѣдательство въ общемъ германскомъ союзѣ рабочихъ. Я уступилъ только вашимъ настояніямъ. И теперь это положеніе гнететъ меня. Боюсь, сильно боюсь, что событія будутъ развиваться медленно, очень медленно, а моя страстная душа не терпитъ этихъ дѣтскихъ болѣзней, этихъ хроническихъ процессовъ. Я понимаю политику, какъ дѣятельность настоящей минуты. Все другое можно дѣлать, оставаясь и въ научной области. Попытаюсь оказать въ Гамбургѣ нѣкоторое вліяніе на событія. Но насколько это будетъ успѣшно—я не могу обѣщать и самъ не ожидаю многаго. О, какъ хотѣлось бы мнѣ устраниться! Сейчасъ получилъ письмо отъ Елены, письмо въ высшей степени серьезное. Дѣло принимаетъ рѣшительный оборотъ... Итакъ, впередъ черезъ Рубиконъ! Онъ ведетъ къ счастью».

Съ нашей скромной, русской точки зрѣнія можно бы было, конечно, сказать, что Лассаль, что называется, «зарвался», если признавалъ свою дѣятельность, въ моментъ предсѣдательства въ общемъ германскомъ союзѣ рабочихъ, неудовлетворяющею. Но это ужъ его личное дѣло. Слишкомъ былъ, значитъ, требовательный человѣкъ покойникъ, да и насчетъ быстроты развитія событій онъ вѣдь угадалъ. Какъ бы то ни было, но онъ, борецъ по природѣ и всѣмъ инстинктамъ, «торговецъ сердцами толпы»,

хотѣлъ «устраниться» и «вполнѣ развязаться съ политикой». Только благодаря этому обстоятельству, его любовь къ Еленѣ и могла принять характеръ такой безумной, ослѣпляющей страсти. Надо же ему было найти приложеніе для освободившейся душевной силы. «Наука», «дружба», «красивая природа»—прекрасныя вещи, но пользованіе ими можетъ совершаться вполнѣ мирно, спокойно, не требуя затраты специфической силы первыхъ въ своемъ родѣ людей; ни науку, ни друзей, ни красивую природу не приходится «повелительно молить»; ни наука, ни дружба, ни красивая природа не могутъ служить объектомъ приложенія острой, жгучей страсти съ ея своеобразными волненіями и порывами. Все это могла дать въ положеніи Лассаля только любовь къ женщинѣ. Что же касается выбора предмета страсти, то это опять—психологическая тайна, никому невѣдомая. Со стороны глядя, обидно, что Лассаль ухлопалъ себя на Елену Дённигесъ. Но не онъ первый и не онъ послѣдній. Такой монументальный человѣкъ, какъ Фаустъ, увлекся наивной простушкой Маргаритой. Создатель «Фауста», олимпіецъ Гёте (тоже первый въ своемъ родѣ человѣкъ), до семидесяти пяти лѣтъ сохранившій способность волноваться любовью, имѣлъ въ своей коллекціи любимыхъ женщинъ экземпляры очень плохого достоинства. Любопытно, что изъ душевныхъ качествъ Елены Дённигесъ Лассаль, повидимому, наиболѣе цѣнилъ то обстоятельство, что ея воля тонула въ его волѣ.

Извѣстно, что для производства какого-нибудь опыта или наблюденія, надо выбрать такой моментъ или такъ расположить условія изучаемаго явленія, чтобы оно было на лицо, по возможности, въ чистомъ видѣ, безъ осложненій посторонними обстоятельствами. Исторія послѣдней любви Лассаля хотя и намекаетъ на объясненіе странныхъ отношеній, возникающихъ иногда между людьми крупнаго роста и женщинами, не слишкомъ запутана, ибо осложнена его несчастнымъ темпераментомъ и бурною политическою дѣятельностью. Дѣло было бы гораздо яснѣе, если бы онъ, сохраняя всѣ остальныя свои качества, обладалъ болѣе холоднымъ темпераментомъ и хотя временно былъ совершенно и безнадежно отторгнутъ отъ политической дѣятельности. Наша недавняя исторія выставила человѣка очень крупнаго роста, въ значительной степени подходящаго къ этимъ условіямъ. Я говорю о Лермонтовѣ.

Недавно вышло новое, четвертое изданіе сочиненій Лермонтова. Ничего тутъ новаго нѣтъ, и читатель, можетъ быть, даже подивится желанію говорить въ настоящую минуту о Лермонтовѣ. Но, право, когда долго перебираешь новенькіе двугривенные и пятиалтынные, которые всѣ такъ аккуратны и такъ похожи другъ на друга, и тяжелые, мрачные пятаки, послѣ которыхъ руки такъ непріятно мѣдью пахнутъ, пріятно остановиться на старомъ, неуклюжемъ, огромномъ цѣлковомъ. Само собою разумѣется, что я не имѣю ни малѣйшей претензіи сказать что-нибудь новое о поэтѣ, о которомъ писано и переписано. Мнѣ хочется только посмотрѣть на него, какъ на человѣка, и притомъ только въ предѣлахъ затронутыхъ выше вопросовъ.

Къ предыдущему изданію сочиненій Лермонтова была приложена обширная статья. Въ нынѣшнемъ, въ виду увеличенія объема изданія, статья эта замѣнена коротенькимъ біографическимъ очеркомъ. При этомъ издатель сообщаетъ, что «въ скоромъ времени должна появиться въ печати обстоятельная біографія Лермонтова, составленная П. А. Висковатымъ». Обстоятельная біографія поэта—дѣло, безъ сомнѣнія, очень желательное, но собственно для характеристики личности Лермонтова мы имѣемъ и теперь уже достаточно матеріаловъ, какъ въ его сочиненіяхъ, такъ и въ различныхъ воспоминаніяхъ.

Лермонтовъ, какъ и Лассаль, убитъ на дуэли, въ концѣ-концовъ, тоже изъ-за женщины. Что касается интимной, сердечной жизни, то главный матеріалъ для біографіи Лермонтова, какъ и Лассаля, заключается въ мемуарахъ дамы, въ извѣстныхъ запискахъ г-жи Хвостовой. Но нашъ поэтъ много счастливѣе своего нѣмецкаго товарища по роду смерти. Невольный убійца Лермонтова. Н. С. Мартыновъ, на просьбу издателя записокъ г-жи Хвостовой сообщить нѣкоторыя біографическія данныя о поэтѣ, отвѣтилъ слѣдующими благородными словами: «Не смотря на все мое желаніе сдѣлать что-либо для васъ пріятное, самое простое чувство приличія не дозволяетъ мнѣ исполнить просьбу вашу. Именно потому, какъ вы выразились въ письмѣ вашемъ, что злой рокъ судилъ мнѣ быть орудіемъ Провидѣнія въ смерти Лермонтова, я уже не считаю себя вправѣ вымолвить хотя бы единое слово въ его осужденіе, набросить малѣйшую тѣнь на его память; принять же всю нравственную отвѣтственность этого несчастнаго событія на себя одного,—я не въ силахъ». Невольный убійца Лермонтова отлично понимаетъ то что оказывается недоступнымъ Еленѣ Дённигесъ и многимъ читателямъ ея мемуаровъ. Онъ понимаетъ, что его воспоминанія о Лермонтовѣ, хотя бы они даже содержали фактическую правду, всетаки рискуютъ не быть ни достаточно деликатными, ни даже достаточно правдивыми по

тону, который, какъ извѣстно, fait la musique. Не менѣе счастливъ Лермонтовъ и въ другомъ отношеніи: записки г-жи Хвостовой не могутъ идти ни въ какое сравненіе съ мемуарами г-жи Раковица. Правда, разница эта въ значительной степени опредѣляется самымъ содержаніемъ воспоминаній: тамъ Лассаль былъ оскорбленъ женщиной, а здѣсь женщина оскорбляется Лермонтовымъ. Но, пожалуй, тѣмъ большей еще фальши можно бы было ожидать отъ записокъ г-жи Хвостовой. На дѣлѣ, однако, мы тутъ видимъ настоящую, несомнѣнную правду не только въ общихъ чертахъ, а и почти во всѣхъ мелкихъ подробностяхъ. Передъ нами возстаетъ реальный образъ поэта, крайне непривлекательный, но облитый чарующею прелестью воспоминаній женщины, беззавѣтно любившей и все простившей.

Записки г-жи Хвостовой, конечно, извѣстны читателю, и я хочу только напомнить ему ту необыкновенную, даже не для такого почти мальчишки, какимъ тогда былъ Лермонтовъ, ловкость, съ которою онъ довелъ автора «записокъ» до страстной къ нему любви и затѣмъ грубо, нагло оттолкнулъ ее. Все было пущено въ ходъ: и безпредѣльная преданность, и жаркая ласка, и обманъ, даже предательство, шутовство, ревность, слезы, смѣхъ Отношенія пережили нѣсколько фазисовъ, и вотъ какъ вспоминаетъ г-жа Хвостова объ одномъ изъ нихъ: «Лермонтовъ поработилъ меня совершенно своею взыскательностью, своими капризами, онъ не *молилъ*, но *требовалъ* (курсивъ г-жи Хвостовой) любви, онъ не преклонялся передъ моей волей, какъ Л—хинъ, но налагалъ на меня свои тяжелыя оковы, говорилъ, что не понимаетъ ревности, но безпрестанно терзалъ меня сомнѣніемъ и насмѣшками».

Прежде всего является вопросъ; какъ могъ этотъ, тогда совершенно незначительный, невидный юноша увлечь свѣтскую дѣвушку, красавицу, окруженную толпой поклонниковъ, обращавшую на себя на балахъ вниманіе высокихъ особъ и, слѣдовательно, достаточно избалованную? Затѣмъ: какая нужда была Лермонтову продѣлывать всю эту исторію, если онъ, въ концѣ-концовъ, отвергъ влюбленную женщину? Какъ ни безобразно было въ этомъ дѣлѣ поведеніе Лермонтова, но, принимая въ соображеніе всѣ обстоятельства, надо сказать, что то была работа великаго духа, безжалостною рукою судьбы и русской исторіи искалѣченнаго. Стало уже, кажется, общимъ мѣстомъ, что Лермонтовъ, будучи геніальнымъ человѣкомъ, загубленъ характеромъ свѣтскаго общества, въ которомъ вращался. Это совершенно справедливо; но надо прибавить, что вращайся онъ и не въ свѣтскомъ обществѣ, его судьба была бы примѣрно всетаки такая же. Не къ одному свѣтскому обществу того времени примѣнима извѣстная эпиграмма насчетъ Брута въ Римѣ, Перикла въ Аѳинахъ и гусарскаго офицера въ Россіи. Для дѣятельности, въ которую такой человѣкъ, какъ Лермонтовъ, съ его силами и претензіями, могъ бы уйти весь, въ тогдашней Россіи, едва-ли бы нашелся просторъ. Человѣкъ, весьма мало развитой, но съ громадными природными силами и съ не меньшимъ самолюбіемъ, Лермонтовъ кругомъ себя ничего не уважалъ и не могъ уважать. Правда, въ его произведеніяхъ прорываются иногда фальшивыя ноты, рѣзко противорѣчащія этому общему настроенію; но наличность ихъ зависитъ отъ того, что та «съ небомъ гордая вражда», которая восхищала Бѣлинскаго, съ небомъ и преданіемъ, была въ Лермонтовѣ дѣломъ почти исключительно натуры и инстинкта, а не «понятій» и какихъ-нибудь опредѣленныхъ идеаловъ. Далѣе, въ числѣ его силъ, самою, быть можетъ, выдающеюся была специфическая сила первыхъ въ своемъ родѣ людей. Она сказалась не только въ томъ, что онъ двадцати пяти лѣтъ сталъ однимъ изъ величайшихъ русскихъ поэтовъ и тѣмъ самымъ засвидѣтельствовалъ свою способность волновать умы и сердца нѣсколькихъ поколѣній, но и во всей его недолгой жизни, насколько мы ее знаемъ. Всѣ воспоминанія о Лермонтовѣ рисуютъ его, именно, человѣкомъ, по собственной волѣ создающимъ любовь и ненависть. Кого онъ хотѣлъ заставить полюбить себя, тотъ любилъ его; кого хотѣлъ обидѣть, тотъ былъ обиженъ на смерть. Въ его произведеніяхъ разсыпано множество замѣчаній по житейской, практической философіи, иногда ребячески напыщенныхъ, но иногда поражающихъ знаніемъ жизни и людей, тѣмъ болѣе поражающихъ, что вѣдь этотъ человѣкъ имѣлъ возможность наблюдать жизнь всего безъ году недѣлю. Объясняется это тѣмъ, что это, собственно, не знаніе, а угадываніе, результатъ сильной безсознательной внутренней работы, того практическаго психологическаго такта, который дается иногда людямъ даромъ, при рожденіи. Въ человѣкѣ, такъ легко угадывающемъ людей и такъ умѣющемъ затрогивать въ нихъ тѣ именно струны, которыя ему хочется затронуть, желаніе первенствовать очень естественно. Но гдѣ и въ чемъ могъ Лермонтовъ искать приложенія для своей силы перваго въ своемъ родѣ человѣка? Въ литературѣ? пожалуй, онъ тамъ и первенствовалъ, но именно его родъ литературной дѣятельности, поэзія, не давалъ наслажденія очевидной, непосредственной «торговли сердцами». Въ офицерскихъ шалостяхъ? Онъ и

тамъ, пожалуй, первенствовалъ, не брезгая ничѣмъ. Какъ образчикъ, напомню разсказъ Панаева: «Лермонтовъ зналъ силу своихъ глазъ и любилъ смущать и мучить людей робкихъ и нервическихъ своимъ долгимъ и пронзительнымъ взглядомъ. Однажды онъ встрѣтилъ у г. Краевскаго моего пріятеля М. А. Я—ва. Я—въ сидѣлъ противъ Лермонтова. Они не были знакомы другъ съ другомъ. Лермонтовъ нѣсколько минутъ не спускалъ съ него глазъ. Я—въ почувствовалъ сильное нервное раздраженіе и вышелъ въ другую комнату, не будучи въ состояніи вынести этого взгляда. Онъ и до сихъ поръ не забылъ его». Такимъ дешевымъ способомъ проявлять свою силу, такъ школьнически оказывать давленіе на людей, умному человѣку, разумѣется, должно очень скоро надоѣсть. Что же оставалось? Куда дѣвать силу и страсть управлять сердцами? Пусть отвѣтитъ на это самъ Лермонтовъ.

Какъ ни велика была сила психологическаго чутья въ Лермонтовѣ, онъ всетаки жилъ слишкомъ мало. И вотъ почему онъ такъ часто и охотно воспроизводилъ въ своихъ писаніяхъ самого себя, иногда распредѣляя свои качества между нѣсколькими дѣйствующими лицами своихъ повѣстей, поэмъ, драмъ. Въ его юношеской драмѣ «Странный человѣкъ» герой, молодой Арбенинъ, долженъ изображать его самого, Лермонтова. Однако, и поведеніе гуляки Бѣлинскаго тоже напоминаетъ Лермонтовскія черты. Напримѣръ, предательство Бѣлинскаго, выслушивающаго признанія Арбенина въ любви къ Наташѣ и затѣмъ перебивающаго ему дорогу, есть довольно точный сколокъ или, вѣрнѣе, предвосхищеніе поведенія самого Лермонтова въ исторіи съ г-жей Хвостовой. Этотъ Бѣлинскій выражаетъ, между прочимъ, какъ бы программу жизни молодого человѣка вообще, предполагая, что онъ можетъ думать только о томъ, «какъ заставить женщину любить или признаться въ томъ, что она притворялась». Запомнивъ эту странную программу, пойдемъ дальше.

Въ юношеской же, очень напыщенной, очень вообще ребяческой, но любопытной для исторіи развитія Лермонтова «Повѣсти» (безъ заглавія), фигурируетъ нищій, уродъ, горбачъ, одаренный демоническою натурой и способностью вліять на массы. Дѣло происходитъ въ прошломъ столѣтіи, за нѣсколько мѣсяцевъ до пугачевскаго бунта. Оскорбленный всѣми неправдами, породившими пугачевщину, нищій, носящій поэтическое имя Вадима, дышетъ местью и разрушеніемъ. Наконецъ, онъ добивается своего. Юный авторъ размышляетъ: «Надо имѣть слишкомъ великую или слишкомъ ничтожную душу, чтобы такъ играть и жизнью, и смертью. *Однимъ* словомъ, Вадимъ убилъ семейство! И что же онъ такое? вчера нищій, сегодня рабъ, а завтра бунтовщикъ, незамѣтный въ пьяной, окровавленной толпѣ! Не самъ-ли онъ создалъ свое могущество! Какая слава, если бы онъ избралъ другое поприще, если бы то, что сдѣлалъ для своей личной мести, если бы это терпѣніе, это кроткое терпѣніе, эту скорость мысли, эту рѣшительность обратилъ въ пользу какого-нибудь народа, угнетеннаго чуждымъ завоевателемъ... Какая слава, если бы онъ, напримѣръ, родился въ Греціи, когда турки угнетали потомковъ Леонида... А теперь? Имѣя въ виду только одну цѣль—смерть трехъ человѣкъ, изъ коихъ одинъ только виновенъ, теперь онъ со всѣмъ своимъ геніемъ долженъ потонуть въ пучинѣ неизвѣстности». Въ этомъ, хотя и юношескомъ размышленіи заключается, собственно говоря, весь Лермонтовъ, со всею недодѣланностью «понятій», свободолюбивыми инстинктами и жаждою первенства и извѣстности, которую онъ не зналъ гдѣ утолить.

Печоринъ, которому, какъ извѣстно, Лермонтовъ вкладываетъ въ голову и сердце много своихъ чувствъ и мыслей, разсуждаетъ: «А вѣдь есть необъятное наслажденіе въ обладаніи молодой, едва распустившейся души! Она, какъ цвѣтокъ, котораго лучшій ароматъ испаряется на встрѣчу первому лучу солнца; его надо сорвать въ эту минуту и, подышавъ имъ досыта, бросить на дорогѣ: авось кто-нибудь подниметъ! Я чувствую въ себѣ эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встрѣчается на пути; я смотрю на страданія и радости другихъ только въ отношеніи къ себѣ, какъ на пищу, поддерживающую мои душевныя силы. Самъ я больше не способенъ безумствовать подъ вліяніемъ страсти; *честолюбіе у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось въ другомъ видѣ*; ибо честолюбіе есть ничто иное, какъ жажда власти, а первое мое удовольствіе—подчинять моей волѣ все, что меня окружаетъ. Возбуждать къ себѣ чувство любви, преданности и страха—не есть ли первый признакъ и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданій и радостей, не имѣя на то никакого положительнаго права, не самая-ли это сладкая пища нашей гордости»?

Въ «Маскарадѣ» Арбенинъ говоритъ Нинѣ:

...У другихъ на свѣтѣ
Надеждъ и цѣлей милліонъ:
У одного богатство есть въ предметѣ,
Другой въ науки погруженъ,
Тотъ добивается чиновъ, крестовъ и славы,
Тотъ любитъ общество, забавы,
Тотъ странствуетъ, тому игра волнуетъ кровь.
Я странствовалъ, игралъ, былъ вѣтренъ и трудился;
Постигъ друзей коварную любовь,

Чиновъ я не хотѣлъ, а славы не добился;
Богатъ и безъ гроша,—былъ скукою томимъ.
Вездѣ я видѣлъ зло и, гордый, передъ нимъ
Нигдѣ не преклонялся.
Все, что осталось мнѣ отъ жизни, это—ты,
Созданье слабое, но ангелъ красоты.

Герой неконченной повѣсти, Лугинъ, пишетъ: «Мнѣ часто случалось возбуждать въ иныхъ женщинахъ всѣ признаки страсти; но такъ какъ я точно знаю, что въ этомъ обязанъ только искусству и привычкѣ кстати трогать нѣкоторыя струны человѣческаго сердца, то и не радуюсь этому счастью... Такъ какъ я зналъ поддѣльность чувства, внушеннаго мной, и благодарилъ за него только себя, то самъ не могъ забыться до полной, безотчетной любви. Къ моей страсти примѣшивалось всегда немного злости».

Этихъ выписокъ съ насъ довольно. Въ нихъ много фальши, рисовки, оригинальничанья, но много и правды. Онѣ показываютъ, между прочимъ, что Лермонтовъ и самъ если не вполнѣ ясно понималъ, то во всякомъ случаѣ угадывалъ, почему любовныя похожденія занимаютъ такъ много мѣста въ его жизни (эпизодъ съ г-жей Хвостовой далеко не единственный въ своемъ родѣ) и что̀ именно въ этихъ похожденіяхъ для него такъ привлекательно. Чувственность здѣсь была не причемъ или почти не причемъ. Занимательна была не она, а тонкая психологическая игра, утоленіе жажды «торговать сердцами», жажды, основанной на присутствіи соотвѣтственной силы. При иныхъ условіяхъ эта сила, конечно, получила бы иное направленіе, а при тогдашнихъ, признавая все безобразіе многихъ поступковъ Лермонтова, нельзя всетаки очень винить его за обиліе и страстность любовныхъ похожденій. И, во всякомъ случаѣ, если винить его лично, такъ въ то же время и пожалѣть надо. Когда чуть не единственной практической задачей жизни, по какимъ бы то ни было обстоятельствамъ, становится такая чудовищная программа, какъ «заставлять женщину любить или признаваться въ томъ, что она притворялась»,—тогда не можетъ уже быть рѣчи о «цѣлостной натурѣ», всегда себѣ равной и вѣрной; тогда получается «Lermontoff toujours calculateur et énigmatique», каковъ былъ Лермонтовъ по опредѣленію г-жи Хвостовой и каковъ онъ былъ въ дѣйствительности. А эти вѣчныя энигмы и калькюли не могутъ обходиться даромъ, какъ признавалъ, устами Лугина, и самъ Лермонтовъ. Онъ былъ мучитель, но онъ же былъ и мученикъ. Игра увлекала и его, но такъ какъ это была игра заданная, надуманная, выбранная за неимѣніемъ другой, болѣе удовлетворяющей, то увлеченіе никогда не было достаточно полно и душа болѣзненно раздваивалась.

Съ перваго взгляда, вторая половина программы «Страннаго человѣка» можетъ показаться необъяснимо нелѣпой. Еще понятно, что человѣкъ мечтаетъ о томъ, чтобы заставить женщину любить себя, но почему онъ рядомъ съ этой мечтой ставитъ, какъ нѣчто равноцѣнное, мысль «заставить женщину признаться, что она притворялась»? Что тутъ занимательнаго или дорогого? На это отвѣчаетъ «Маскарадъ». Вся драма построена, собственно говоря, на томъ, чтобы вырвать у Нины признаніе, что она притворялась и притворяется, а не любитъ. Если вы припомните, то сладострастіе (иначе нельзя назвать), съ которымъ Арбенинъ разыгрываетъ роль судебнаго слѣдователя, то искусство и знаніе женскаго сердца, съ которымъ онъ ведетъ свое слѣдствіе, самъ мучась имъ и въ то же время находя отраду въ сознаніи, что онъ не обманутъ, потому что онъ все понимаетъ, все угадываетъ и такъ или иначе владѣетъ сердцемъ человѣка, даже обманувшаго его, вы поймете и вторую половину дикой программы «Страннаго человѣка»: то душа работы проситъ, страстной, энергической и хотя бы мучительной работы надъ сердцами людей...

«Юнкерская поэзія», «юнкеръ»—кощунствовали у насъ не такъ давно, говоря о Лермонтовѣ. «Юнкерская поэзія»—это чистый вздоръ и притомъ близорукій, а потому вредный вздоръ. «Юнкеръ»—въ этомъ есть нѣчто отъ правды, но далеко не вся правда. Во всякомъ же случаѣ, если правда, то да покараетъ исторія условія, сдѣлавшія Лермонтова юнкеромъ.

IV. Май.

Первая русская оригинальная политическая мысль явилась на самой зарѣ русской исторіи. Она выразилась въ призваніи варяговъ: земля наша велика и обильна, а порядку въ ней нѣтъ, придите княжити и володѣти нами. Это было, въ самомъ дѣлѣ, оригинально. И такъ именно понимаютъ дѣло русскіе историки. Въ другихъ странахъ и у другихъ народовъ, съ гордостью говорятъ они:—исторія начиналась завоеваніемъ; приходили чужіе люди, туземцы съ ними боролись, насколько хватало силъ, затѣмъ изнемогали передъ невозможностью противостоять большей силѣ, которая и принималась володѣть. У насъ не такъ — мы сами варяговъ призвали. Хотя нѣкоторые новѣйшіе историки и пытаются вычеркнуть изъ нашей исторіи этотъ эпизодъ, находя въ немъ даже нѣчто для нашего національнаго самолюбія обидное, но, во всякомъ случаѣ, всѣ мы такъ учились и всѣ сжились съ этимъ первымъ проблескомъ оригинальной русской

политической мысли. Вычеркнуть его было бы даже какъ-то жалко. Тѣмъ болѣе жалко, что съ той сѣдой древности и по самое сіе время, оригинальностью наша политическая мысль, вообще говоря, не блистала. Справедливо полагаютъ и старые славянофилы, и новые славянофилы, и нѣкоторые просто скудельные сосуды безъ всякаго содержанія, справедливо полагаютъ они, что мы не оригинальны, ибо все съ Запада заимствуемъ. Тѣмъ болѣе справедливо. что и славянофильскія-то даже идеи ни мало не оригинальны, а ужъ объ идеяхъ скудельныхъ, если таковыя есть, и говорить нечего. Конечно, это отчасти отъ того зависитъ, что во времена Гостомысла Европа и сама не очень стара была, а къ сегодняшнему дню она столько пережила, передумала и перечувствовала, что въ высокой степени трудно придумать что-нибудь ею уже не придуманное. Если какія-нибудь Америки еще и не открыты Европою, то болѣе или менѣе ясно намѣчены пути къ нимъ и, совершивъ даже такое открытіе, русскій человѣкъ лишь примкнетъ къ одному изъ многообразныхъ теченій европейской мысли. Такая уже наша доля. Китайцамъ, когда ихъ небесная имперія превратится, по законамъ естества и исторіи, въ земную, открывать придется еще меньше. Хотя и говорятъ, что они выдумали порохъ раньше европейцевъ, но то было раньше, а позже ужъ не будетъ. Не потому, чтобы французы, нѣмцы и англичане были какіе-нибудь отъ природы экстренные люди, а потому, что они жили и долго, и шибко, и широко.

Однако, если вполнѣ оригинальная русская политическая мысль почти невозможна, то возможно болѣе или менѣе оригинальное приложеніе мысли готовой къ условіямъ нашей жизни. Такихъ оригинальностей второго сорта у насъ за послѣднее время даже очень много появилось—точно какъ грибы ростутъ. Я отчасти ожидалъ этого урожая, но долженъ признаться, что далеко не угадалъ всѣхъ формъ осуществленія ожиданія.

Я, напримѣръ, большія надежды возлагалъ на г. Цитовича. Этотъ, думалъ я, покажетъ, что не оскудѣла святая Русь, что можетъ собственныхъ Платоновъ и быстрымъ разумомъ Ньютоновъ россійская земля рождать: хоть пороху и не выдумаетъ, но единственно потому, что онъ уже выдуманъ, а приложенія пороха придумаетъ чуть-чуть что не оригинальныя. Самое положеніе г. Цитовича не только позволяло питать такія надежды, но даже обязывало его осуществить ихъ. Онъ явился въ періодической прессѣ нѣкоторымъ образомъ варягомъ, хотя варягомъ на выворотъ, ибо печать его не призывала, но всетаки въ полной парадной варяжской формѣ. Форма красивая, величественная и чрезвычайно воинственная! Однако, увы! г. Цитовичъ моихъ надежд не осуществилъ. Какъ листья древесные осенью, надежды эти блекли и опадали съ каждымъ номеромъ «Берега». Это что-то мелкое, плоскодонное, неумѣлое, безсодержательное, и я не удивлюсь, если въ непродолжительномъ времени варягъ будетъ уволенъ въ отставку безъ прошенія и даже безъ красиваго варяжскаго мундира. Читать въ «Берегѣ» почти нечего, да его должно быть и въ самомъ дѣлѣ читаютъ очень мало, если судить по количеству печатающихся въ немъ объявленій, а это термометръ очень чуткій.

Оказалось, что г. Цитовичъ оригиналенъ въ такомъ спеціальномъ смыслѣ, что съ этою спеціальностью нѣтъ никакой возможности вести такое большое и разностороннее дѣло, какъ ежедневная политическая газета. Г. Цитовичъ, вспомоществуемый г. Незлобинымъ, полагаетъ политическую злобу дня въ изслѣдованіи вопроса, кто съ кѣмъ живетъ въ незаконномъ бракѣ. Желаетъ онъ произвести это изслѣдованіе не только въ общихъ очертаніяхъ и даже не только статистически, а по возможности поименно: Петровъ съ Сидоровой, Козлова съ Ивановымъ и т. д. Въ предѣлахъ этого изслѣдованія, г. Цитовичъ очень боекъ и даже нѣсколько напоминаетъ своею юркостью рыбу, привольно плавающую въ водѣ. А вы видѣли, конечно, рыбу, вытащенную изъ воды: плавники безсильно прилегли къ тѣлу, глаза выпучены, ротъ безпомощно разѣвается, жабры неуклюже колышатся... Печальное, я вамъ скажу, зрѣлище. Съ другой стороны, однако, еще со временъ дѣдушки Крылова извѣстно, что щука сама виновата, задавшись несвойственной ей задачей ловить мышей. Я думаю, что г. Цитовичъ пророчески далъ своей газетѣ имя «Берегъ»: онъ есть именно щука, неблагоразумно выбравшаяся изъ воды на берегъ. Ахъ! на этомъ берегу водятся и продовольственные капиталы, и различныя системы образованія, и земства, и раскольники, и буржуазія, и либералы, и консерваторы и много еще другихъ разныхъ разностей, совершенно неясныхъ съ точки зрѣнія спеціальнаго изслѣдованія о томъ, кто съ кѣмъ живетъ въ незаконномъ бракѣ...

Бѣдная щука! Какъ печально дрожатъ ея поблѣднѣвшія жабры, какъ безпомощно разѣваетъ она ротъ, усиливаясь глотнуть воздуху... И это въ полной парадной формѣ варяжскаго мундира—каково положеніе?

Нельзя, однако, сказать, чтобы г. Цитовичъ ужъ ровно ничего не изобрѣлъ на берегу. Нѣтъ, онъ, напримѣръ, изобрѣлъ

прекрасный и, право, кажется, довольно оригинальный проектъ образованія русской буржуазіи изъ раскольниковъ. Въ основѣ своей проектъ, разумѣется, ни мало не оригиналенъ: въ Европѣ вездѣ существуетъ буржуазія, надо и намъ завести свою собственную. Почему? зачѣмъ? для чего? — дѣло темное, а только надо, чтобы какъ въ Европѣ. Но разъ вы оставите въ сторонѣ эту основную неоригинальность, проектъ г. Цитовича способенъ напомнить вамъ даже времена Гостомысла и призванія варяговъ. Положимъ, что рекомендуется нѣчто въ подражаніе Европѣ, но, замѣтьте, какой оригинальный оборотъ: рекомендуется почти какъ учрежденіе. Въ Европѣ буржуазія выросла, хотя и подъ охраною и даже съ прямою помощью правительствъ, но послѣднія вовсе не имѣли при этомъ въ виду созданія буржуазіи, какъ чего-то самодовлѣющаго, какъ провиденціально-необходимаго звѣна въ цѣпи общественныхъ отношеній. Мало того, еслибы правительства, прямо или косвенно способствовавшія не созданію буржуазіи (создалась она сама), а ея укрѣпленію и развитію, могли предвидѣть ея историческую роль, то, конечно, попытались бы найти иные способы выбраться изъ различныхъ затрудненій, въ которыя были поставлены. А въ этихъ затрудненіяхъ и было все дѣло: правительства помогали росту и укрѣпленію буржуазіи въ видахъ созданія противовѣса власти феодаловъ, въ видахъ фискальныхъ и т. п. А затѣмъ уже буржуазія стала сама княжити и володѣти и правительствами, и народами. У насъ не такъ. Мы, памятуя доблестный примѣръ своей сѣдой древности, сами приглашаемъ новыхъ варяговъ: придите, дескать, княжити и володѣти нами.

Но откуда же взять этихъ новыхъ варяговъ? откуда именно призвать ихъ? Думалъ, думалъ г. Цитовичъ, можетъ быть, даже на картахъ или на кофейной гущѣ гадалъ, и внезапно получилъ просіяніе своего ума: раскольники!

Нѣтъ никакой нужды съ подробностью разбирать этотъ нелѣпый проектъ; нѣтъ надобности распространяться о томъ, что слово «раскольникъ» обнимаетъ собою очень разнообразныя и не легко примиримыя вещи; что въ невозможномъ, конечно, случаѣ осуществленія проекта, къ розни сословій у насъ прибавилась бы еще рознь и вражда вѣроисповѣдная; что религіозные и политическіе принципы многихъ русскихъ сектъ рѣзко противорѣчатъ функціямъ буржуазіи и проч., и проч., и проч. Вообще, это вздоръ самый многосторонній. Но всетаки онъ очень любопытенъ, потому что съ чрезвычайною ясностью характеризуетъ горечь и трудность положенія патріота своего отечества, желающаго, чтобы отечество это имѣло свою собственную, доморощенную буржуазію. Откуда ее взять въ самомъ дѣлѣ? Выписать изъ-за моря, какъ древле настоящихъ варяговъ, будетъ по нынѣшнему времени не патріотично. Изъ нѣдръ отечества добыть было бы, разумѣется, очень хорошо, но гдѣ въ этихъ нѣдрахъ найти подходящіе элементы или, по крайней мѣрѣ, центральное ядро, около котораго подходящіе элементы могли бы осѣсть уже сами собой? Помѣщикъ на эту центральную роль не годится, обѣднѣлъ онъ и захудалъ, но всетаки слишкомъ баринъ и лѣнивъ. Купецъ и деревенскій кулакъ, конечно, годятся, но всякій маломальски нравственно чистоплотный человѣкъ долженъ съ ужасомъ отступить передъ зрѣлищемъ грядущей Россіи, если въ ней будетъ княжити и володѣти этотъ людъ. Общественное положеніе европейской буржуазіи и опредѣляется, главнымъ образомъ, тѣмъ, что она владѣетъ самымъ удобнымъ, самымъ подвижнымъ и наилегче приложимымъ орудіемъ производства, капиталомъ. Но затѣмъ это основное условіе ея господства осложняется еще болѣе или менѣе высокимъ уровнемъ образованія, исторически выработанными идеями политической свободы и гражданскаго равенства. Эти-то побочныя условія и придаютъ иногда такой ослѣпительный, для посторонняго зрителя, воодушевляющій блескъ нѣкоторымъ страницамъ европейской исторіи. Нашъ купецъ и деревенскій кулакъ обнажены отъ всякихъ такихъ побочныхъ условій: ни образованія, ни политическаго и нравственнаго развитія тутъ, разумѣется, днемъ съ огнемъ не отыщешь. Эти будутъ володѣти нами не образованіемъ своимъ и не преданностью какой бы то ни было, хотя бы односторонней идеѣ, а прямо и просто карманомъ: «все куплю, сказало злато». Ясно, что такихъ варяговъ звать не приходится, слишкомъ уже зазорно. Да и чего ихъ звать, когда они завтра, кажется, сами придутъ? И вотъ, г. Цитовичъ, «уставясь въ землю лбомъ», придумалъ раскольничью буржуазію. Проектъ, разумѣется, тотчасъ же провалился подъ градомъ всеобщихъ насмѣшекъ. Но память объ немъ должна быть сохранена для потомства. Пусть оно знаетъ, какъ изобрѣтателенъ русскій умъ, когда желаетъ быть оригинальнымъ, и какъ онъ въ поискахъ за оригинальностью фатально возвращается къ заряѣ русской исторіи и призванію тѣхъ или другихъ варяговъ. «Хлѣба и зрѣлищъ»! кричала римская чернь. Насъ хлѣбомъ не корми и зрѣлищъ намъ не надо, а только варяговъ намъ подавай.

А, впрочемъ, у русской политической

мысли есть и еще одинъ исходъ: дѣятель можетъ не призывать варяговъ, а самого себя провозгласить варягомъ. Это тоже у насъ нерѣдко практикуется, и иногда въ пикантной, если не вполнѣ оригинальной формѣ. Самый изобрѣтательный на этотъ счетъ человѣкъ въ Москвѣ живетъ и называется Михаиломъ Никифоровичемъ Катковымъ.

Человѣкъ этотъ уже давно объявилъ, что русская земля велика и обильна, но что порядку въ ней нѣтъ и что по этой самой причинѣ онъ провозглашаетъ себя варягомъ. Такъ давно это произошло, что нынѣ г. Катковъ уже, кажется, ничѣмъ и никого удивить не можетъ. Я бы и не сказалъ ничего объ одной новой программѣ варяжскаго хозяйничанья г. Каткова, еслибы не нѣкоторое постороннее обстоятельство, показавшееся мнѣ любопытнымъ.

Въ № 16 газеты «Недѣля» напечатана статейка, подъ заглавіемъ «Легкомысленная замѣтка». Мнѣ кажется, однако, что заглавіе это не вполнѣ соотвѣтствуетъ содержанію статейки, которую слѣдовало бы озаглавить «Глупая замѣтка». А почему, тому слѣдуютъ пункты:

Въ одинъ прекрасный день «Московскія Вѣдомости» разразились передовой статьей, въ которой доказывали, что на Руси нѣтъ ни либераловъ, ни консерваторовъ, ни вообще какой-нибудь партіи въ европейскомъ смыслѣ, а есть только партіи русская и антирусская, національная и антинаціональная. «Недѣля» по этому случаю пишетъ:

«Весьма естественно, что либералы переполошились страшно. Помилуйте, сколько времени жили, горя не чуяли, и вдругъ ихъ совсѣмъ упраздняютъ! Оно, конечно, нѣсколько обидно, но вѣдь «Московскія Вѣдомости» давно извѣстны своею компетентностью въ вопросахъ подобнаго рода. Если онѣ говорятъ такъ, значитъ, оно въ самомъ дѣлѣ такъ; и остается только удивляться, что наши либералы выпустили цѣлую армію противъ—смѣшно сказать!—противъ еднаго слова московской газеты. Конечно, съ нѣкотораго времіръ стоитъ уже не на трехъ китахъ, а только на одномъ; конечно, только и свѣта, что въ московскомъ окнѣ, но всетаки цѣлая армія противъ одного слова, это, какъ хотите, просто даже неразсчетливо. Ну, а что если этихъ словъ будетъ не одно, а два, три, десять? Тогда уже никакихъ средствъ не хватитъ и придется смиренно склонить голову передъ непобѣдимымъ врагомъ. Вдобавокъ, либералы поступили противъ всякихъ правилъ тактики. Прежде всего выѣхала впередъ тяжелая артиллерія въ лицѣ профессора Градовскаго съ цѣлымъ зарядным ящикомъ историческихъ доводовъ. Съ грохотомъ полетѣли тяжелыя ядра, но попали-ли они куда-нибудь—неизвѣстно, потому что неизвѣстно, въ какую цѣль были они направлены. Противный лагерь, довольный произведенною въ рядахъ непріятеля смутою, упорно молчалъ, думая про себя: „однако, задалъ же я имъ работу!“ и артиллерійскіе залпы сами собой прекратились. Тогда, размахнувъ цвѣтнымъ либеральнымъ значкомъ, на борзомъ конѣ выскочилъ впередъ другой Градовскій, Гамма, и рѣзво помчался на непріятеля, но потомъ задумался, свернулъ въ сторону и выѣхалъ на берегъ. Затѣмъ двинулся г. Ярошъ, но его выстрѣлы, во-первыхъ, запоздали, во-вторыхъ же, были направлены тоже неизвѣстно куда. „Юридическій Вѣстникъ“, „Отечественныя Записки“, „Вѣстникъ Европы“ и пр. не замедлили также послать съ своей стороны по нѣсколько выстрѣловъ въ ту же сторону. Короче, разыгралась цѣлая баталія только изъ-за того, что одному изъ непріятелей угодно было усомниться въ существованіи другого. Казалось бы, пусть себѣ усомняется: тѣмъ хуже для него самого. А главное, борьба вышла совершенно безцѣльною: либералы всетаки повержены во прахъ, потому что пораженіе ихъ было основано только на одномъ словѣ, ничѣмъ не мотивированномъ и поэтому вполнѣ неотразимомъ“.

И такъ далѣе, въ томъ же игривомъ тонѣ, отчасти даже въ стихахъ, на тему комической погибели «либерала» и комическаго его существованія. Вотъ образчикъ поэзіи:

Разсуждая безпристрастно,
Онъ совсѣмъ неслышенъ былъ.
Еслибъ даже въ общемъ роѣ
Кто-нибудь его узналъ
И спросилъ: «что ты такое?»
Онъ и самъ бы не сказалъ.
Безъ одежды, безъ обличья,
Этотъ страшный либералъ
Лишь одно имѣлъ отличье:
Онъ мечталъ, мечталъ, мечталъ.

Я ничего собственно не имѣю противъ этой характеристики «страшнаго либерала». Но мнѣ нѣсколько странно видѣть ее въ «Недѣлѣ», притомъ изложенною въ такой задирательной формѣ, которая не совсѣмъ соотвѣтствуетъ прирожденной скромности, всегда составлявшей лучшее украшеніе почтенной газеты. Можетъ быть, еще страннѣе то обстоятельство, что характеристика эта была сочувственно перепечатана въ «Новомъ Времени». Характеристика относится вѣдь какъ разъ къ тому періоду всемірной исторіи, когда нынѣшніе столбцы «Новаго Времени» либеральничали «безъ одежды, безъ обличья» на страницахъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей». Такимъ образомъ, «Новое Время» повторяетъ, слѣдовательно, исторію той унтеръ-офицерши, которая сама себя высѣкла. А, значитъ, исторія эта вовсе не такъ невѣроятна, какъ полагаютъ нѣкоторые скептики. Когда человѣкъ раскаялся, а его за старые грѣхи никто не сѣчетъ—онъ сѣчетъ самъ себя, это натурально.

Мнѣ, впрочемъ, теперь нѣтъ никакого дѣла ни до унтеръ-офицерши, ни до самосѣченія «Новаго Времени», ни до «страшнаго либерала», меня занимаетъ легкомысленная замѣтка «Недѣли». Воистину легкомысленная чтобы не сказать больше. Авторъ понимаетъ статью «Московскихъ Вѣдомостей» въ томъ смыслѣ, что либераловъ на Руси нѣтъ. Другими словами, авторъ ровно ничего

не понимаетъ, да, кажется, и не хочетъ понимать, а просто ищетъ случая для проявленія своей игривости. Если г. Катковъ, въ самомъ дѣлѣ, просто отрицаетъ существованіе либераловъ, то тѣмъ же приговоромъ онъ и бытіе консерваторовъ отрицаетъ, а потому легкомысленному автору легкомысленной замѣтки надлежало бы пролить не одну, а двѣ юмористическія слезы. Правда, авторъ можетъ сказать, что не оплакиваетъ смерти консерваторовъ, потому что сами они бодро встрѣтили свой приговоръ и не произвели той пальбы, которую будто бы учинили либералы. Мимоходомъ сказать, пальба эта изображена авторомъ легкомысленной замѣтки, кажется, не совсѣмъ вѣрно. Не знаю хорошенько, какъ другіе, перечисленные въ замѣткѣ органы печати, но «Отечественныя Записки» до сихъ поръ ничего не говорили по поводу обсуждаемаго мнѣнія «Московскихъ Вѣдомостей». Впрочемъ, маленькая ложь не составляетъ еще большой бѣды въ букетѣ великихъ истинъ. Какъ бы то ни было, консерваторы или считающіе себя таковыми (потому что въ дѣйствительности, какіе же у насъ консерваторы?), въ самомъ дѣлѣ, молча и даже сочувственно встрѣтили свой смертный приговоръ, напечатанный въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». По какой бы это причинѣ? А по той простой причинѣ, что это вовсе не смертный приговоръ. Въ качествѣ варяга, имѣющаго право вязать и рѣшать, и вообще установлять порядокъ въ великой, обильной, но безпорядочной землѣ, г. Катковъ просто объявляетъ себя и своихъ единомышленниковъ вѣрными слугами Россіи, а всѣхъ прочихъ русскихъ людей измѣнниками и врагами отечества. Замѣтьте: всѣхъ прочихъ. Въ числѣ этихъ прочихъ имѣются и подпольные писатели. и агитаторы, существованія которыхъ г. Катковъ ужъ, конечно, не отрицаетъ, но которыхъ онъ систематически ставитъ за одну скобку съ либералами, къ великому, повидимому, и вполнѣ естественному неудовольствію обѣихъ сторонъ. При этихъ условіяхъ, статья «Московскихъ Вѣдомостей» о вѣрныхъ слугахъ и врагахъ отечества, можетъ быть, и не исключаетъ возможности насмѣшки надъ «страшнымъ либераломъ», который «мечталъ, мечталъ, мечталъ», но построить хотя бы и очень легкомысленную замѣтку на одной этой насмѣшкѣ въ высокой степени непрактично. Тѣмъ хуже, тѣмъ ужаснѣе, если человѣкъ, виновный только въ томъ, что онъ «мечталъ, мечталъ, мечталъ», можетъ быть объявленъ врагомъ отечества на страницахъ такого, хотя и безпардоннаго, но и до сихъ поръ всетаки вліятельнаго органа, какъ «Московскія Вѣдомости». Тѣмъ хуже, если эта операція надъ «мечтателемъ» можетъ не негодованіе возбуждать, а приводить въ игривое настроеніе духа. Очень мы уже должно быть обносились...

Статья «Московскихъ Вѣдомостей», по существу, разумѣется, не новость. Не разъ и не два г. Катковъ пускалъ въ ходъ тотъ же самый пріемъ дикой классификаціи русскихъ людей, нѣсколько напоминающей времена опричнины. Бывали при этомъ и весьма пикантныя подробности, въ родѣ поименныхъ указаній на враговъ отечества. Но статья, о которой идетъ рѣчь, представляетъ полнѣйшее выраженіе и обобщеніе не только разныхъ прежнихъ выходокъ г. Каткова, а и всѣхъ дрянныхъ и зловонныхъ инстинктовъ нашего печальнаго времени.

Въ газетахъ пишутъ, что тамъ чиновникъ, желая насолить товарищу, доноситъ, что товарищъ этотъ «*занимается соціализмомъ*»; здѣсь купецъ систематически пишетъ доносы на всѣхъ, недостаточно передъ нимъ почтительныхъ; тутъ другой купецъ судится за ложный доносъ; тамъ предсѣдатель земской управы уличается въ томъ же и проч. «Московскія Вѣдомости» сыплютъ нелѣпѣйшіе доносы направо и налѣво, а слѣдомъ за ними и «Берегъ», эта плохая копія неподражаемаго оригинала, эта рачья клешня чудовищнаго миѳическаго животнаго, у котораго есть и конское копыто. Надо было собрать разсыпанную храмину этихъ отдѣльныхъ гадостей и создать для нихъ общую формулу. Статья «Московскихъ Вѣдомостей» и даетъ такую формулу: есть только двѣ партіи—русская и не русская, національная и антинаціональная, друзья и враги отечества. Это вѣдь почти тоже, что знаменитая формула нѣмецкой философіи: «я» и «не-я». Сходства тутъ даже гораздо больше, чѣмъ можетъ показаться съ перваго взгляда, потому что «русская», «національная» партія это только «я» г. Каткова, а все остальное входитъ въ обширную и враждебную область «не-я». Это было бы очень смѣшно, еслибы не было такъ возмутительно. Это смѣшно, какъ изолированная претензія гоголевскаго сумасшедшаго, воображающаго себя испанскимъ королемъ. Но это возмутительно, какъ обобщеніе бродящихъ въ обществѣ дрянныхъ тенденцій. Я сморкаюсь въ носовой платокъ, а вы обходитесь при этой операціи безъ платка—я объявляю васъ врагомъ отечества. Я вѣрую въ классицизмъ, какъ въ единую, спасающую систему образованія, вы не раздѣляете этого мнѣнія — вы зачисляетесь въ ряды антинаціональной партіи. Я требую отъ экспедиціи заготовленія государственныхъ кредитныхъ знаковъ неустанной работы, а вы желаете, напротивъ, сокращенія ея дѣятельности—вы представитель не-рус-

ской партіи. Я курю папиросы и чрезвычайно уважаю г. Цитовича, а вы курите сигары и полагаете, что г. Цитовичъ есть человѣкъ съ маленькой головой и большими претензіями—вы врагъ отечества. И т. д., и т. д., и т. д. Все это вовсе не смѣшно, когда есть какіе-нибудь шансы, что «я», стремящееся наложить свою личную печать на всю громадную массу «не-я», можетъ болѣе или менѣе добиться своего. Шансы эти отъ разныхъ причинъ зависятъ, и нѣтъ, кажется, нужды доказывать, что въ данномъ случаѣ они есть.

Недавно ежедневная печать, служившая въ настоящемъ случаѣ нелицемѣрнымъ выраженіемъ общественнаго мнѣнія, ликовала по случаю выхода гр. Толстого въ отставку. Не мое дѣло обсуждать дѣятельность бывшаго министра народнаго просвѣщенія, и я хочу только указать на замѣчательное единодушіе печати, вообще довольно у насъ рѣдкое. Даже «Берегъ» напечаталъ по этому поводу статью, хотя и приправленную обычною доносительною дребеденью, но все-таки имѣющую образъ и подобіе настоящей публицистики. Замѣчательна также умѣренность литературы. Я не помню ни одной статьи, въ которой требовалось бы измѣненія господствующей системы образованія; за то мнѣнія газеты выразили, напротивъ, желаніе, чтобы система въ основаніяхъ своихъ осталась неприкосновенною, и всетаки ликовали по поводу отставки гр. Толстого. Дѣло въ томъ, что ни одно изъ лицъ, имѣющихъ власть въ Россіи, не проводило съ такою жестокою послѣдовательностью принципа, выражаемаго краткою и энергическою формулою «я и не-я», какъ бывшій министръ народнаго просвѣщенія. Его личное убѣжденіе перевѣшивало для него мнѣніе, можно сказать, всей Россіи. До такой степени перевѣшивало, что онъ никогда не затруднялся обрекать на молчаніе людей, позволявшихъ себѣ думать, что собственно *народное* образованіе не только не преждевременно, а составляетъ настоятельнѣйшую потребность минуты; что классическая система образованія не есть единственный проводникъ просвѣщенія; что въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія можетъ быть предоставлена извѣстная доля самодѣятельности общества; что воспитанники среднихъ учебныхъ заведеній чрезмѣрно обременены занятіями въ школѣ и внѣ школы. Въ министерство гр. Толстого это были вопросы неприкосновенные. Отстаиваніе приведенныхъ мнѣній, хотя бы выраженное въ самыхъ скромныхъ формахъ, налагало на отстаивающихъ печать политической неблагонадежности. Еслибы личныя убѣжденія бывшаго министра даже не отличались такою исключительностью и страстностью, такъ и то его способы проведенія ихъ въ жизнь гнетущимъ образомъ отражались бы на мыслящихъ людяхъ. Когда сильный человѣкъ упорно гнетъ свою линію, не взирая ни на какіе протесты, у него всегда являются приспѣшники, которые, вынося мысль вождя на площадь, доводятъ ее до абсурда, придаютъ ей наглую форму и вмѣстѣ съ тѣмъ обдѣлываютъ подъ шумокъ свои личныя дѣлишки. И въ періодической прессѣ, и въ книжной литературѣ недавняго времени найдется не мало прямыхъ указаній, напримѣръ, такого рода, что только врагъ отечества можетъ находить наличное число народныхъ школъ недостаточнымъ. Кажется, такое безобразіе можно только во снѣ увидѣть, да и то въ горячкѣ, а между тѣмъ, это говорилось на яву. Да и мало-ли такихъ безобразныхъ сновъ мы за послѣднее время на яву видѣли! Положимъ, что вящшая деморализація приспѣшниковъ не бѣда, а только полубѣды. Конечно, при другихъ условіяхъ, они либо молчали бы, либо даже совсѣмъ противоположную пѣсню пѣли. Но это всетаки такой дрянной матеріалъ, что на него никогда положиться нельзя и жалѣть объ окончательномъ его гніеніи не приходится. Къ счастію, однако, русское общество не изъ одного этого матеріала состоитъ. Въ немъ есть прежде всего подростающее поколѣніе, на неокрѣпшія легкія котораго не можетъ не вліять самымъ пагубнымъ образомъ зараженная атмосфера. Есть далѣе взрослые порядочные люди, которымъ по истинѣ «есть отчего въ отчаяніе придти». А ужь что хорошаго въ отчаяніи! Наконецъ, и помимо отчаянія, деморализующимъ образомъ вліяетъ необходимость мечтать объ томъ, объ чемъ болитъ сердце, или лавировать между Сциллой и Харибдой. Развѣ это нормально?..

Возвращаясь къ легкомысленной замѣткѣ «Недѣли», нельзя не остановиться передъ любопытнымъ вопросомъ: почему эта почтенная газета, казалось бы, уже прирожденною скромностью своею гарантированная отъ нѣкоторыхъ неблаговидныхъ поступковъ, поступила въ данномъ случаѣ такъ неблаговидно? Почему она не только не присоединила своего столь могущественнаго голоса къ столь слабымъ протестующимъ голосамъ либераловъ, но еще и обдала послѣднихъ, по силѣ возможности, насмѣшкой? Сдѣлай это «Берегъ», все было бы понятно. Но для «Недѣли» нужно, кажется, особое объясненіе, а также и для «Новаго Времени», сочувственно отозвавшагося и о статьѣ «Московскихъ Вѣдомостей», и о легкомысленной замѣткѣ «Недѣли». Хотя «Новое Время» сплошь и рядомъ ведетъ себя самымъ недостойнымъ образомъ, но это больше отъ

«откровеннаго» его направленія зависитъ: вотъ, дескать, мое сердце, на, смотри и убѣдись, что у меня взамѣнъ этого органа пустопорожнее мѣсто въ груди находится. Само себя высѣчь «Новое Время» всегда готово, пасквиль тоже всегда можетъ у себя пріютить, но политическій доносъ не составляетъ его спеціальности. Поэтому-то я и ищу особаго объясненія для сочувствія «Новаго Времени» такому обобщенному, въ перлъ созданія возведенному доносу, какъ раздѣленіе всѣхъ русскихъ людей на вѣрныхъ слугъ и враговъ отечества, и такому игривому погребенію либерала, какое учинено въ «Недѣлѣ». Если возможно говорить о направленіи «Новаго Времени», помимо его энциклопедической откровенности, такъ, конечно, оно либерально, какъ, впрочемъ, и всѣ наши газеты, исключая «Берега» и «Московскихъ Вѣдомостей», но вовсе не исключая насмѣшливой «Недѣли».

Дѣло въ томъ, что упраздненіе политическихъ партій и классификацію русскихъ людей на двѣ группы—истинно русскихъ и нерусскихъ—можно разумѣть не только въ безпардонно-доносительномъ, а и въ нѣкоторомъ идиллическомъ смыслѣ. Представьте себѣ стадо барашковъ, полстада бѣлыхъ, полстада черныхъ, или нѣтъ, лучше много-много бѣлыхъ и чуть-чуть черныхъ, или нѣтъ, еще лучше, очень много бѣленькихъ барашковъ и нѣсколько козловъ. Главное, чтобы было много совершенно одинаково бѣлыхъ барашковъ и чтобы всѣ они мирно паслись на одномъ лужку. Вотъ это и есть Россія. Бѣленькіе барашки суть настоящіе русскіе люди, національная партія, а черные бараны или козлы—не русскіе, антинаціональная партія. Идиллія! Уличенія антинаціоналовъ въ политической измѣнѣ тутъ нѣтъ и помину, этотъ элементъ вообще исключенъ изъ картинки, забытъ, объ немъ нѣтъ разговора, хотя, конечно, печально, что черные барашки или козлы увлекаются не-русскими идеалами. Какіе тутъ, помилуйте, либералы, консерваторы, радикалы или какіе еще—просто люди родныхъ, національныхъ идеаловъ и люди идеаловъ, чуждыхъ русской жизни. И чувствительно, и для умственной лѣни удобно. «Недѣля» давно уже эту тему развивала и по временамъ все еще къ ней возвращается. «Новое Время» тоже полагаетъ, что, взобравшись на небольшую горку, можно съ высоты этой горки раскассировать либераловъ, консерваторовъ и иныхъ по группамъ бѣленькихъ и черненькихъ барашковъ.

Идиллія, что и говорить, очень чувствительная, но есть въ ней одинъ маленькій изъянъ. Положимъ, что даже все стадо состоитъ изъ однихъ бѣленькихъ барашковъ, но, радуясь этому единству цвѣта, авторы идилліи забываютъ, что есть между бѣленькими барашками жирные и худые, рогатые и комолые, и что взаимныя ихъ отношенія гораздо болѣе опредѣляются этимъ присутствіемъ или отсутствіемъ роговъ и слоя жира, чѣмъ цвѣтомъ шерсти.

Позвольте привести маленькую иллюстрацію изъ текущей журналистики. Недавно, не помню гдѣ-то, излагалась та мысль, что интеллигенція, развиваясь на «народной почвѣ», можетъ вполнѣ сойтись, слиться съ народомъ. Въ видѣ образчиковъ, приведены оперы Глинки и дамскіе костюмы въ русскомъ вкусѣ. Глинка, дескать, черпалъ свою музыку изъ «народной почвы», и потому, не смотря на высшую степень развитія его музыки, она вполнѣ понятна и симпатична народу, а Шумана или Шопена музыку народъ называетъ «свинымъ плачемъ». Въ этомъ послѣднемъ показаніи позволительно, конечно, усомниться, но не въ томъ дѣло, не въ «свиномъ плачѣ». Вотъ тоже дамскіе костюмы. Хотя сарафанъ свѣтской дамы можетъ быть и шелковый, и бархатный и золотомъ обшитый, и жемчугомъ унизанный, но, сохраняя форму русскаго сарафана, то-есть, оставаясь на «народной почвѣ», онъ знаменуетъ сліяніе интеллигенціи съ народомъ. Видите, какъ прекрасно и какъ просто. Матерія, изъ которой сдѣланъ сарафанъ, есть совершенный пустякъ съ идиллической точки зрѣнія, такой пустякъ, о которомъ и говорить не стоитъ. Важна форма сарафана. И вообще, нѣтъ женскихъ платьевъ бархатныхъ, шелковыхъ, ситцевыхъ, шерстяныхъ, пестрядинныхъ, пасконныхъ и пр., а есть женскія платья русскія и не русскія, національныя и антинаціональныя...

Какъ ни дикъ этотъ выводъ, какъ ни напоминаетъ онъ сонъ фараона, которому пригрезилось, что двѣнадцать тощихъ коровъ съѣли двѣнадцать коровъ тучныхъ, но онъ всетаки лучше, чѣмъ идиллическое распущеніе партій въ двухъ половинахъ стада барановъ. Тутъ вы всетаки хоть что-нибудь опредѣленное, уловимое имѣете, а когда вамъ разсказываютъ идиллію о бѣлыхъ и черныхъ баранахъ, то вы рѣшительно не знаете, къ какимъ же баранамъ причислить самого автора легкомысленной замѣтки, или г. Суворина.

V. Іюль.

Я не былъ на Пушкинскомъ праздникѣ. Въ той тихой, далекой, полудикой глуши, гдѣ я отдыхалъ отъ Петербурга и литературы, даже газетное эхо шумнаго торжества слышалось какъ-то черезъ два въ третій.

Чудно выходило. Вдругъ пронесется завы-

вающій, сантиментально-тигровый голосъ Я. П. Полонскаго:

Пушкинъ—это возрожденье
Русской музы, воплощенье
Нашихъ трезвыхъ думъ и чувствъ:
. . . . . .
Это—въ сумеркахъ Украйны
Прелесть чародѣйной тайны,
Ночь и Лысая гора...

Потомъ послышится воркованіе г. Каткова, кроткаго, какъ голубь, и шипъ, и шелестъ рѣчи г. Достоевскаго, мудраго, какъ змій... Гаркнетъ во всю свою молодецкую глотку г. Цитовичъ что-то объ удобствѣ своего дебоша»... Г. Навроцкій скромно заявитъ, что, по болѣзни дочери, не можетъ украсить собою московское торжество... Послышится глухой шумъ взаимныхъ подкапываній между разными учрежденіями, имѣющими власть праздновать... И скептическій голосъ гр. Л. Н. Толстого: это все комедія!..»

Согласитесь, что весь этотъ винегретъ въ такомъ видѣ, по крайней мѣрѣ, имѣлъ полное право казаться ерундой, говоря энергическимъ старымъ слогомъ. Пушкинъ вовсе не Лысая гора, г. Катковъ совсѣмъ не голубь, и семейное горе г. Навроцкаго не имѣетъ никакого отношенія къ памяти Пушкина. Это навѣрное. Ерундистость всей этой ерунды была для меня потому особенно осязательна, что кругомъ себя я видѣлъ почти только одну мощную, никогда не завирающуюся и никогда не притворяющуюся природу. Я не знаю, про что гудѣло море, посылая на берегъ волну за волной, передъ кѣмъ горы снимали и надѣвали свои облачныя шапки, о чемъ шумѣлъ водопадъ, безъ устали прыгая съ приступка на приступокъ—но знаю, что никакой фальши тутъ не было. Могу догадываться, про что выли по ночамъ шакалы, что шипѣла пойманная черепаха и что свистѣла злобная гадюка—хорошаго мало во всѣхъ этихъ звукахъ, но ерунды всетаки нѣтъ, а есть одно, во истину «откровенное» направленіе, безъ всякаго вилянія и лицемѣрія. Хорошо въ этакой дикой глуши пожить! Отойдутъ отъ тебя всѣ печали и обиды, такими мелкими и нестоющими объявятся житейскія дрязги, улягутся волненія, окрѣпнутъ нервы и миромъ и безпредметнымъ благоволеніемъ наполнится душа... Очень хорошо... Но подите же, какъ странно устроенъ человѣкъ. «Ахъ! двѣ души въ груди его живутъ», и я долженъ признаться, что частица души моей была тамъ, въ Москвѣ. Цикады поютъ лучше Я. П. Полонскаго, змѣя быстрѣе и изящнѣе, чѣмъ Ѳ. М. Достоевскій, скользитъ по травѣ и камнямъ, гора въ облачной шапкѣ выше М. Н. Каткова, море глубже г. Навроцкаго, а шакалъ воетъ, по крайней мѣрѣ, не хуже г. Цитовича. И всетаки...

До такой степени «всетаки», что даже тамъ, въ далекой глуши, я не могъ отказаться отъ удовольствія искать смысла въ отрывочныхъ звукахъ газетнаго эхо, а, вернувшись въ Петербургъ и вновь окунувшись въ литературный омутъ, рѣшаюсь предложить читателю два-три запоздалыя слова о только что минувшемъ торжествѣ.

Повторяю, что ни говори Я. П. Полонскій, а Пушкинъ не Лысая гора. Это просто вздоръ. И такого вздора много было наговорено на самомъ праздникѣ и по поводу его. Было, однако, говорено и дѣльное, и значительное. Но если искать словъ, наиболѣе полно объясняющихъ дѣйствительное значеніе торжества, то, по моему, они заключаются въ вышеприведенныхъ изреченіяхъ гр. Л. Н. Толстого и г. Цитовича. Конечно, изреченія эти, отчасти благодаря своей лаконической формѣ, а отчасти по существу, требуютъ поправокъ и поясненій.

«Все это комедія», сказалъ, говорятъ (пишутъ въ газетахъ), гр. Толстой г. Тургеневу, который приглашалъ его на пушкинскій праздникъ. Сказалъ и не поѣхалъ. Да, это несомнѣнно комедія, хотя, надо замѣтить, одна изъ тѣхъ комедій, участвовать въ которыхъ ни мало не зазорно. Это комедія, во-первыхъ, потому, что въ торжествѣ, рядомъ съ искреннимъ увлеченіемъ, было обнаружено не мало театральнаго искусства. Это комедія, во-вторыхъ, потому, что Пушкинъ тутъ былъ предлогъ, символъ, прикрытіе, все, что хотите, но только не непосредственный герой торжества. Истинный смыслъ праздника заключается не въ чествованіи поэта, а въ томъ, что, какъ выразилась газета г. Цитовича, литераторы обрадовались «удобству своего дебоша». Грубо и даже малограмотно сказано, но въ основаніи вѣрно. Надо только измѣнить тонъ изреченія, тотъ самый тонъ, который, какъ извѣстно, fait la musique. Г. Цитовичъ пустился въ ходъ ругательную музыку. И это бы еще не бѣда. Но надо было сперва твердо установить самый фактъ «удобства своего дебоша», пріискавъ, разумѣется, болѣе грамматическую и приличную форму для выраженія факта, а потомъ уже разобрать, кто изъ «дебошировъ» достоинъ ругательной музыки и кто не достоинъ.

Думаю, не нужно доказывать, что, напримѣръ, голубиное воркованіе г. Каткова, столь противорѣчащее всей его дѣятельности, было настоящей комедіей въ смыслѣ большаго или меньшаго театральнаго искусства. Нѣкоторые глубокомысленные люди, мня защитить г. Каткова отъ нападковъ въ лицемѣріи, утверждаютъ, что этотъ воинственный Мальбругъ можетъ завтра же съ совершенно чистою совѣстью ѣхать въ свой обычный

походъ на литературу, ибо, дескать, онъ предлагалъ примиреніе только на сегодня, на день торжества. Мнѣ кажется, что эта защита есть тотъ самый камень, который услужливый медвѣдь, будучи опаснѣе врага, запустилъ прямо въ лобъ пустыннику. Впрочемъ, не о г. Катковѣ и не объ услужливыхъ медвѣдяхъ рѣчь. Я взялъ г. Каткова только для примѣра. Не онъ одинъ обнаружилъ на пушкинскомъ праздникѣ талантъ комедіанта. И любопытна тутъ не сама комедія, а мотивы, подвинувшіе этихъ господъ выступить на поприще драматическаго искусства. Самый фактъ комедіантства несомнѣненъ даже для тѣхъ, кто его отрицаетъ: они очень хорошо понимаютъ, что лгутъ. Ну, и Господь съ ними! Коли сами себѣ не вѣрятъ, такъ кто же имъ со стороны повѣритъ?

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что это комедія дрянная, и еслибы только изъ нея состоялъ пушкинскій праздникъ, такъ гр. Л. Н. Толстой былъ бы сугубо правъ, отказавшись принять въ немъ участіе. Но дѣло не такъ было, то-есть не совсѣмъ такъ. Кромѣ дрянной, лицемѣрной комедіи, была еще комедія искренняя. И состояла она въ томъ, что подъ предлогомъ чествованія памяти Пушкина участвовавшіе въ торжествѣ болѣе или менѣе искали и находили «удобство своего дебоша». Такъ всегда бываетъ на подобныхъ торжествахъ, вездѣ, въ цѣломъ мірѣ, и это очень натурально; но на пушкинскомъ праздникѣ это, предусмотрѣнное г. Цитовичемъ, явленіе получило необычайные размѣры, на что имѣются, однако, свои резоны.

Я знаю, что И. С. Тургеневъ съ этимъ никакъ не согласится. Всѣ ораторы пушкинскаго праздника естественно должны были заявлять, что вотъ, дескать, мы собрались со всѣхъ концовъ Россіи чествовать дорогую намъ память великаго поэта и т. д. Иначе, конечно, и нельзя. Но, сказавъ на эту, какъ бы даже оффиціальную и во всякомъ случаѣ обязательную тему нѣсколько болѣе или менѣе вялыхъ словъ, большинство ораторовъ съѣзжало на «дебошъ». Едва-ли не одинъ г. Тургеневъ пространно остановился на уваженіи русскаго общества къ великому поэту и даже на этомъ именно явленіи построилъ самую суть своей рѣчи. Правда, г. Шпилевскій, профессоръ казанскаго университета, всю свою небольшую рѣчь составилъ изъ указанія на вниманіе и уваженіе, которымъ начинаетъ пользоваться Пушкинъ среди инородческой молодежи казанскаго учебнаго округа. Но, какъ ни любопытенъ самъ по себѣ этотъ фактъ, онъ въ настоящемъ случаѣ большого значенія не имѣетъ: инородческой молодежи казанскаго учебнаго округа не было на праздникѣ, да и притомъ она самая малая капля въ морѣ. Г. Тургеневъ естественно поставилъ вопросъ гораздо шире. Вотъ наиболѣе характерный въ этомъ смыслѣ отрывокъ изъ его рѣчи:

«Пушкинъ не избѣгъ общей участи художниковъ-поэтовъ, начинателей. Онъ испыталъ на себѣ охлажденіе современниковъ; послѣдующія поколѣнія еще болѣе удалились отъ него, перестали нуждаться въ немъ, воспитываться на немъ и только въ недавнее время становится замѣтнымъ возвращеніе къ его поэзіи... Причины того охлажденія... достаточно извѣстны. Намъ приходится только вызвать ихъ въ вашей памяти. Онѣ лежали въ самой судьбѣ, въ историческомъ развитіи общества, въ условіяхъ, при которыхъ зарождалась новая жизнь, вступившая изъ литературной эпохи въ политическую. Возникли нежданныя и, при всей неожиданности, законныя стремленія, небывалыя и неотразимыя потребности; явились вопросы, на которые нельзя было не дать отвѣта... Не до поэзіи, не до художества стало тогда. Одинаково восхищаться «Мертвыми душами» и «Мѣднымъ всадникомъ», или «Египетскими ночами» могли только записные словесники, мимо которыхъ побѣжали сильныя, хотя и мутныя волны той новой жизни. Міросозерцаніе Пушкина показалось узкимъ, его горячее сочувствіе нашей, иногда оффиціальной, славѣ—устарѣлымъ, его классическое чувство мѣры и гармоніи — холоднымъ анахронизмомъ. Изъ бѣломраморнаго храма, гдѣ поэтъ явился жрецомъ, гдѣ, правда, горѣлъ огонь... но на алтарѣ—и сожигалъ... одинъ ѳиміамъ, люди пошли на шумныя торжища, гдѣ именно нужна метла... и метла нашлась. Поэтъ-эхо, по выраженію Пушкина, поэтъ центральный, самъ къ себѣ тяготѣющій, положительный, какъ жизнь на покоѣ — смѣнился поэтомъ-глашатаемъ, центробѣжнымъ, тяготѣющимъ къ другимъ, отрицательнымъ, какъ жизнь въ движеніи. Самъ главный, первоначальный истолкователь Пушкина, Бѣлинскій, смѣнился другими судьями, мало цѣнившими поэзію. Вслѣдъ за скоро прерваннымъ голосомъ Лермонтова, когда Гоголь сталъ уже властителемъ людскихъ думъ, зазвучалъ голосъ поэта «мести и печали», а за нимъ пошли другіе—и повели за собою наростающія поколѣнія. Искусство, завоевавшее твореніями Пушкина право гражданства, несомнѣнность своего существованія, языкъ имъ созданный—сталъ служить другимъ началамъ, столь же необходимымъ въ общественномъ настроеніи. Многіе видѣли и видятъ до сихъ поръ въ этомъ измѣненіи простой упадокъ; но мы позволяемъ себѣ замѣтить, что падаетъ, рушится только мерт-

вое, неорганическое. Живое измѣняется органически — ростомъ. А Россія ростетъ, не падаетъ. Что подобное развитіе — какъ всякій ростъ—неизбѣжно сопряжено съ болѣзнями, мучительными кризисами, съ самыми злыми, на первый взглядъ безвыходными противорѣчіями—доказывать, кажется, нечего; насъ этому учитъ не только всеобщая исторія, но даже исторія каждой отдѣльной личности. Сама наука намъ говоритъ о необходимыхъ болѣзняхъ. Но смущаться этимъ, оплакивать прежнее, всетаки относительное спокойствіе, стараться возвратиться къ нему—и возвращать въ нему другихъ, хотя бы насильно—могутъ только отжившіе или близорукіе люди. Въ эпохи народной жизни, носящія названіе переходныхъ—дѣло мыслящаго человѣка, истиннаго гражданина своей родины — идти впередъ, не смотря на трудность и часто грязь пути, но идти, не теряя ни на мигъ изъ виду тѣхъ основныхъ идеаловъ, на которыхъ построенъ весь бытъ общества, котораго онъ состоитъ живымъ членомъ. И десять, и пятнадцать лѣтъ тому назадъ — празднество, которое привлекло насъ всѣхъ сюда, было бы привѣтствовано, какъ актъ справедливости, какъ дань общественной благодарности; но, быть можетъ, не было бы того чувства единодушія, которое проникаетъ теперь насъ всѣхъ, безъ различія званія, занятій и лѣтъ. Мы уже указали на тотъ радостный фактъ, что молодежь возвращается къ чтенію, къ изученію Пушкина; но мы не должны забывать, что нѣсколько поколѣній подрядъ прошли передъ нашими глазами, поколѣній, для которыхъ самое имя Пушкина было не что иное, какъ только имя, въ числѣ другихъ обреченныхъ забвенію именъ. Не станемъ, однако, слишкомъ винить эти поколѣнія: мы старались вкратцѣ изобразить, почему это забвеніе было неизбѣжно. Но мы не можемъ также не радоваться этому возврату къ поэзіи».

Во всей коллекціи рѣчей пушкинскаго праздника не найдется ни одной, въ которой отношеніе русскаго общества къ поэту было бы подвергнуто столь тщательному анализу, какъ въ приведенномъ отрывкѣ изъ рѣчи г. Тургенева. Резюмировать этотъ отрывокъ можно такъ: общество охладѣло къ Пушкину по такимъ-то и такимъ-то причинамъ, а нынѣ опять къ нимъ возвращается. Сказанная на пушкинскомъ торжествѣ рѣчь эта рѣшительно свидѣтельствуетъ с полной непосредственности торжества: собрались, дескать, люди помянуть человѣка, къ которому были несправедливы, но котораго теперь опять оцѣнили и полюбили; собрались не по какимъ-нибудь стороннимъ побужденіямъ, а единственно потому, что Пушкинъ имъ дорогъ.

Я думаю, однако, что это совсѣмъ не вѣрно, и что подвергнуть сомнѣнію выводъ, естественно вытекающій изъ рѣчи г. Тургенева, не трудно, не только на основаніи общаго колорита праздника, но и на основаніи рѣчи самого г. Тургенева. Да эта рѣчь свидѣтельствуетъ, мнѣ кажется, съ полною ясностью, что даже самъ г. Тургеневъ участвовалъ въ торжествѣ не столько Пушкина ради, сколько «для удобства своего дебоша»...

Мнѣ надоѣла, однако, эта грубая и безграмотная фраза. Надо ее чѣмъ-нибудь замѣнить...

Въ повѣсти Г. И. Успенскаго «Раззореніе», какія-то таинственныя личности научаютъ героя «производить по своему дѣлу шумъ». И герой очень радъ этой, предлагаемой ему, роли. Да какъ же и не радоваться-то? «Производить по своему дѣлу шумъ» значитъ жить во вся, отводить наболѣвшую душу, всенародно молиться своему Богу, звать другихъ къ дверямъ его храма, рубить и жечь идоловъ чужихъ, ложныхъ боговъ. Кто же отъ этого откажется, если только у него, дѣйствительно, есть «свое дѣло», стоющее шума, свой Богъ? А какъ же такому дѣлу не быть у нашего брата, литератора! Я вовсе не хочу говорить комплиментовъ литературному сословію, но вѣдь это такъ натурально: люди, постоянно вращающіеся въ сферѣ мысли и общественныхъ дѣлъ, естественно должны либо сами выработать себѣ стоющее шума дѣло, либо пристроиться къ какому-нибудь готовому. Тутъ ни хвалы не можетъ быть, ни порицанія — иначе нельзя, почти физически нельзя. Другое дѣло формы, принимаемыя «своимъ дѣломъ» и служеніемъ ему. Тутъ найдется мѣсто и хвалѣ, и порицанію, ибо «свое дѣло» можетъ, напримѣръ, вертѣться, какъ флюгеръ, указывающій направленіе вѣтровъ, можетъ оно, кромѣ того, быть и широкимъ, и узкимъ, даже чисто личнымъ. Вотъ это-то и надо бы было разобрать прежде, чѣмъ придавать ругательный тонъ «дебоша» законному стремленію литераторовъ и ученыхъ «производить по своему дѣлу шумъ».

Напомню отрывокъ изъ рѣчи профессора—академика Сухомлинова, вызвавшій громъ рукоплесканій:

«Пушкину суждено было пережить тяжелую пору для нашей научной и литературной дѣятельности. Какой-то злобный демонъ, духъ разрушенія и гибели, парилъ надъ русскими университетами, изгоняя изъ нихъ служителей истиннаго бога — бога свѣта и знанія. (*Рукоплесканія*). Тотъ же духъ недовѣрія и преслѣдованія тяготѣлъ и надъ литературой. Писатели должны были умолкать на полусловѣ и вслѣдствіе этого происходило то, что обыкновенно бываетъ въ

подобныхъ случаяхъ: недосказанная правда казалась ложью и недосказанная ложь — правдою. (*Взрывъ рукоплесканій*).

«Совершенную противуположность представляетъ эпоха предшествовавшая—начало девятнадцатаго столѣтія, бывшее вмѣстѣ съ тѣмъ и началомъ царствованія императора Александра I. Тогда люди государственные, участвовавшіе въ составленіи университетскаго устава, доказывали необходимость свободы изслѣдованія и преподаванія. Тогда составители цензурнаго устава открыто и прямо говорили противъ всякихъ стѣсненій печатному слову и добивались для него возможно-большей свободы.

«На чью же сторону склонился Пушкинъ? Что говорили ему его свѣтлый умъ, его чистая совѣсть? — Пушкинъ выразилъ свой взглядъ самымъ опредѣленнымъ образомъ, и слова его должны сдѣлаться достояніемъ исторіи и девизомъ всѣхъ русскихъ университетовъ, всѣхъ истинныхъ друзей науки, литературы и просвѣщенія:

Дней Александровыхъ прекрасное начало:
Провѣдай, что въ тѣ дни произвела печать!
На поприщѣ ума нельзя намъ отступать».

Не берусь судить о томъ, что думалъ самъ г. Сухомлиновъ, произнося эти прекрасныя и горячія слова. Но публика, рукоплеща имъ, несомнѣнно не о Пушкинѣ думала, а о злобѣ дня, «производила по своему дѣлу шумъ», клала свитокъ своихъ собственныхъ скорбей къ подножію монумента поэта. У кого же поднимется рука бросить въ нее за это камнемъ, у кого повернется языкъ на порицаніе? Униженія отъ этого Пушкину и его памяти, разумѣется, нѣтъ никакого. Напротивъ. Спросите у любого изъ живыхъ современниковъ, имѣющихъ право ждать памятниковъ и публичнаго поминовенія, и онъ, конечно, скажетъ, если, по обстоятельствамъ времени и мѣста, мой монументъ представитъ «удобство для дебоша», если къ нему будутъ стекаться потомки для изліянія своихъ скорбей и радостей, то—пусть... И еще бы не пусть! Какого еще, съ позволенія сказать, рожна великому человѣку нужно? Вотъ, если потомки понесутъ къ подножію монумента чисто личное дѣло и личное самолюбіе, тогда другая музыка выйдетъ, музыка, въ самомъ дѣлѣ, оскорбительная для памяти великаго человѣка...

Все это такъ, скажетъ, можетъ быть, г. Тургеневъ, но развѣ вы не видите, что, независимо отъ «удобства своего дебоша», общество цѣнитъ на пушкинскомъ торжествѣ самого Пушкина, непосредственно, безъ отношенія къ какимъ бы то ни было злобамъ дня? развѣ вы не видите, что его опять начинаютъ чтить какъ великаго поэта, и возвращаются къ нему, послѣ временнаго охлажденія?

Съ позволенія г. Тургенева, я этого не вижу. Не вижу въ обществѣ, не вижу и изъ рѣчи г. Тургенева. Приведенный отрывокъ изъ рѣчи г. Тургенева, самъ собою распадается на двѣ части. Въ одной части, въ той, которая относится къ нашему недавнему прошлому, все ясно и правдиво; въ другой, трактующей о настоящемъ времени, все неясно и произвольно. Когда г. Тургеневъ говоритъ объ охлажденіи къ Пушкину, онъ указываетъ, во-первыхъ, на несомнѣнный фактъ, наиболѣе яркое выраженіе котораго—статьи Писарева—еще у всѣхъ въ памяти; онъ далѣе изслѣдуетъ причины этого охлажденія, приводитъ ему объясненіе, несовсѣмъ, правда, полное, но тщательное, добросовѣстное и вѣроподобное. Не то въ другой части. Тутъ самый фактъ ставится, если можно такъ выразиться, коломъ. Нѣтъ ни доказательствъ его наличности, ни какого бы то ни было намека на его причины, а есть одно только недоразумѣніе. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ симптомы «возвращенія» русскаго общества къ Пушкину? Я ихъ не знаю. Правда, объ этомъ свидѣтельствуетъ г. Тургеневъ, а свидѣтельство такого человѣка весьма важно, но все-таки его показаніе чисто голословно. Не видать новыхъ выдающихся изслѣдованій или критическихъ статей о Пушкинѣ, не слыхать, чтобы сочиненія его очень прилежно читались, и вообще ничего такого нѣтъ, на чемъ можно бы было правомѣрно построить «возвращеніе» къ Пушкину. Правда, нѣтъ и статей въ родѣ писаревскихъ, но это означаетъ можетъ быть только то, что мы маленько постарше стали. Надо при этомъ замѣтить, что Писаревъ считалъ нужнымъ бороться съ Пушкинымъ, валить его съ пьедестала, значитъ, признавалъ за нимъ силу, а теперь наступила, кажется, пора полнаго равнодушія. Такъ было, по крайней мѣрѣ, до пушкинскаго праздника. Не знаю, какъ будетъ дальше. Много и шибко жило за послѣднее время наше отечество, но ни герцеговинское возстаніе, ни турецкая война, ни политическіе процессы, ни процессы разныхъ червонныхъ и другихъ мастей валетовъ, словомъ, ни одно изъ событій, волновавшихъ за послѣдніе годы русское общество, не напоминало и не могло напоминать Пушкина. Мало того. Можно, нисколько не оскорбляя памяти поэта, смѣло сказать, что намъ было не до него. И это косвеннымъ образомъ можно вывести даже изъ собственной аргументаціи г. Тургенева. Почтенный романистъ объясняетъ, что въ пятидесятыхъ-шестидесятыхъ годахъ появились «небывалыя и неотразимыя

потребности», «жизнь выступила изъ литературной эпохи въ политическую», а потому «поэтъ центральный, самъ къ себѣ тяготѣющій, положительный, какъ жизнь на покоѣ», то-есть Пушкинъ, отступилъ на второй планъ; его мѣсто занялъ «поэтъ центробѣжный, тяготѣющій къ другимъ, отрицательный, какъ жизнь въ движеніи», то-есть Некрасовъ. Все это, по мнѣнію г. Тургенева, естественно и неизбѣжно вытекало изъ самаго положенія вещей и вполнѣ этимъ положеніемъ объясняется. Ну, а что же теперь? удовлетворены что-ли «небывалыя и неотразимыя потребности»? жизнь изъ политической эпохи перешла опять въ литературную или объ эти сферы какъ-нибудь сопряглись въ высшемъ единствѣ всесторонней, гармонической полноты? Должно быть нѣчто подобное случилось, если, въ самомъ дѣлѣ, опять объявился, по словамъ г. Тургенева, запросъ на «поэта центральнаго, положительнаго, какъ жизнь на покоѣ». Но г. Тургеневъ не хуже меня, не хуже каждаго, имѣющаго очи видѣти и уши слышати, знаетъ, что наша эпоха политическая по преимуществу, даже слишкомъ односторонне-политическая, что жизнь наша течетъ тревожнѣе, чѣмъ когда-нибудь. Откуда же, изъ какой почвы можетъ тутъ вырости усиленный запросъ на поэта «положительнаго, какъ жизнь на покоѣ»? Поживемъ — увидимъ, а пока немножко рано началъ хоронить г. Тургеневъ «музу мести и печали». Тутъ дѣло, конечно, совсѣмъ не въ личномъ отношеніи г. Тургенева къ этой музѣ. Правда, знаменитый романистъ идетъ въ этомъ смыслѣ очень далеко, такъ далеко, что даже удивительно. Пояснивъ сначала, что *«поэзія Пушкина»* уступила, по обстоятельствамъ, первое мѣсто поэзіи Некрасова, г. Тургеневъ въ концѣ рѣчи, не обинуясь, радуется, что русское общество опять возвращается къ *«поэзіи»*, просто къ поэзіи, къ поэзіи вообще. Значитъ, поэзія Пушкина есть поэзія, а поэзія Некрасова даже не поэзія, а такъ себѣ, въ родѣ капусты, огородный овощъ... Это по истинѣ очень далеко, да и отъ истины не близко. Но все-таки это чисто личное мнѣніе г. Тургенева, за которое никто, кромѣ него, не отвѣтственъ. Но онъ подсовываетъ русскому обществу забвеніе поэта «жизни въ движеніи», за что Богъ истины и справедливости караетъ его по заслугамъ: заставляетъ впадать въ противорѣчія...

Въ концѣ-концовъ, если я какія-нибудь частности невѣрно понялъ или неправильно истолковалъ, остается все-таки несомнѣннымъ, что г. Тургеневъ не только память Пушкина чествовалъ, а и производилъ по своему поэтическому дѣлу шумъ. И онъ совершенно въ своемъ правѣ. Конечно, можно бы было пожелать, чтобы знаменитый романистъ, пользуясь «удобствомъ своего дебоша», употреблялъ только достойные его славы пріемы, но что касается собственно дебоша, то, повторяю, онъ совершенно въ своемъ правѣ. Положимъ, что все это комедія, положимъ, что Пушкинъ тутъ только предлогъ и «удобство», но если г. Тургеневъ искренно вѣритъ въ обновляющую силу и въ своевременность поэзіи, «положительной, какъ жизнь на покоѣ», то пусть пользуется «удобствомъ». Тутъ все дѣло въ искренности...

Любопытно было бы, однако, знать, что именно ввело г. Тургенева въ заблужденіе насчетъ возвращенія русскаго общества непосредственно-ли къ Пушкину или къ представляемой этимъ великаномъ поэзіи, «положительной, какъ жизнь на покоѣ». По-видимому, нѣтъ ни одного сколько-нибудь крупнаго факта въ русской общественной жизни, который можно бы было привести въ подтвержденіе этой мысли, и есть, напротивъ, очень много фактовъ, прямо или косвенно ее опровергающихъ. Конечно, г. Тургеневъ могъ встрѣчать людей, не только благоговѣющихъ передъ памятью Пушкина, но и видящихъ въ немъ какъ бы знамя минуты. Но не такъ же онъ легкомысленъ, чтобы обобщить эти случайныя встрѣчи. Перебирая въ своей памяти пережитыя нами за послѣднее время разныя разности, я могъ остановиться только на одной группѣ фактовъ, на первый взглядъ способной привести къ тѣмъ ошибочнымъ наблюденіямъ и выводамъ, къ которымъ пришелъ г. Тургеневъ. Это именно тѣ овація, предметомъ которыхъ были прошлою зимою гг. Тургеневъ и Достоевскій. Пушкинъ тутъ не при чемъ, конечно, но могло казаться, что «поэзія» играетъ тутъ весьма существенную роль, что гг. Тургеневъ и Достоевскій чествуются въ качествѣ поэтовъ. Сколько помнится, однако, самъ г. Тургеневъ этому не вѣрилъ. Не помню въ точности словъ, которыя ему тогда приписывались, но смыслъ ихъ былъ именно тотъ, что вотъ, дескать, я изображаю изъ себя «удобство дебоша». Эта трезвость и критическій тактъ дѣлаютъ величайшую честь г. Тургеневу. Онъ, равно какъ и г. Достоевскій, былъ, дѣйствительно, въ ту минуту «удобствомъ». Если вы, читатели и читательницы, помните, какъ вы тогда «въ воздухъ чепчики бросали» и производили другія подобныя операціи (легко можетъ быть, что и забыли), то помните также, что гг. Тургеневу и Достоевскому были тогда усвоены двѣ довольно, впрочемъ, туманныя политическія программы, чѣмъ, мимоходомъ ска-

зать, оба эти писателя были поставлены въ немалое затрудненіе. Корень былъ въ этихъ программахъ, да еще въ томъ, что русское общество чувствовало острую потребность заявить о своемъ существованіи. А затѣмъ толпа, въ которой возбужденіе передается отъ одной головы къ другой такъ же стихійно, какъ электрическая искра, всегда готова поднять на щитъ и носителя программы, и сапоги его, и вола его, и раба его, и осла его. Это въ особенности относится къ нашей, русской толпѣ, имѣющей слишкомъ малую практику въ дѣлѣ выраженія своихъ чувствъ. Было бы поэтому очень нерезонно объяснить тогдашнія овація тѣмъ, что вотъ, дескать, русское общество отложило въ сторону всѣ свои остальныя думы, забыло всѣ свои скорби и раны и только объ одномъ и думаетъ, какъ бы увѣнчать лаврами и розами своихъ поэтовъ. Какъ уже сказано, г. Тургеневъ не впалъ въ это заблужденіе. Но все-таки...

Мнѣ не хотѣлось бы трогать несомнѣнно больное мѣсто души г. Тургенева, но дѣло это прошлое и, кажется, въ этомъ случаѣ вполнѣ примѣнима русская пословица: быль молодцу не укоръ. На одномъ изъ московскихъ обѣдовъ, какое-то духовное лицо имѣло безтактность провозгласить тостъ въ честь г. Тургенева, какъ автора клички «нигилистъ». Г. Тургеневу было навѣрное очень больно въ эту минуту. Онъ долженъ былъ вспомнить тѣ времена, когда отъ него, по его собственному позднѣйшему признанію, отвернулась лучшая часть русскаго общества. Но годы шли за годами, люди пробовали жить и умирали, новые и новые слои отложились на русской жизни, прошлое мало-по-малу стерлось, и г. Тургеневъ сталъ просто одною изъ гордостей русскаго искусства, а въ глазахъ нѣкоторыхъ еще и носителемъ извѣстной политической программы. А тамъ обычная механика возбужденія толпы, не имѣющей практики въ дѣлѣ выраженія своихъ чувствъ, и г. Тургеневъ на пьедесталѣ...

Я боюсь, что эту свою личную, очень, въ сущности, простую и вполнѣ спеціальную, но для него самого преувеличенно важную исторію г. Тургеневъ имѣлъ неосторожность обобщить до предѣловъ возвращенія русскаго общества къ поэзіи жизни на покоѣ и къ Пушкину...

Нѣтъ, къ сожалѣнію, о Пушкинѣ мало кто у насъ думаетъ, что, впрочемъ, вполнѣ понятно и вполнѣ объясняется тѣми самыми мотивами, которыми г. Тургеневъ обставилъ охлажденіе къ Пушкину лѣтъ двадцать тому назадъ. Мало кто думалъ о Пушкинѣ и на пушкинскомъ праздникѣ. Что у кого болитъ, тотъ о томъ и говоритъ, а спеціально Пушкинымъ у насъ, кромѣ развѣ гг. Анненкова и Грота, никто не боленъ. Г. Достоевскій, напримѣръ, по этой части вполнѣ здоровъ, онъ совсѣмъ другимъ страдаетъ, онъ... самимъ собой боленъ...

Я не намѣренъ распространяться о рѣчи г. Достоевскаго, такъ какъ ея вліяніе и противорѣчивость достаточно характеризованы въ письмѣ г. Г. У., напечатанномъ въ прошломъ номерѣ «Отечественныхъ Записокъ». Характеристика вышла замѣчательно удачная, даже помимо воли автора. Въ самомъ дѣлѣ, письмо г. Г. У. характеризуетъ не только рѣчь г. Достоевскаго, а и настроеніе публики, и при томъ характеризуетъ не словами лишь, а и, такъ сказать, самолично. Увлеченный общимъ настроеніемъ минуты, г. Г. У. подслушалъ въ рѣчи г. Достоевскаго то самое, что ему подсказало его собственное сердце, и только затѣмъ, посмотрѣвъ на дѣло «съ холоднымъ вниманіемъ разсудка», разобралъ, что рѣчь эта есть пустая и не совсѣмъ умная шутка. Да, пустая, потому что человѣкъ не далъ ни одного твердаго вывода, ни одной не колеблящейся мысли, и не совсѣмъ умная, потому что «не можно вѣкъ носить личинъ». Для не присутствовавшихъ на праздникѣ первое впечатлѣніе не существуетъ, а у присутствовавшихъ оно пройдетъ, какъ прошло у г. Г. У. И тогда... Боже! что долженъ тогда подумать о г. Достоевскомъ тотъ, напримѣръ, молодой человѣкъ, который послѣ его рѣчи упалъ въ обморокъ...

Что же касается перваго впечатлѣнія, то это такъ понятно. Во-первыхъ, г. Достоевскій мастерски, истинно художественно читаетъ (а вѣдь у насъ ораторы не говорятъ, а читаютъ); во-вторыхъ, рѣчь эта была оригинально задумана, вѣрнѣе сказать, оригинально, не по шаблону построена; въ-третьихъ, наконецъ, публика была такъ жадна, что готова была проглотить всякій камень, обтесанный и покрашенный на манеръ хлѣба. Люди собрались производить по своему дѣлу шумъ, люди, надо помнить, непривычные, которые годами и годами ждутъ случая публично, шумно и свободно заявить о своемъ существованіи. Даже у гораздо болѣе взрослыхъ, чѣмъ мы, народовъ это публичное, свободное и шумное выраженіе чувствъ, будучи отчасти средствомъ для достиженія тѣхъ или другихъ практическихъ цѣлей, вмѣстѣ съ тѣмъ само по себѣ составляетъ цѣль. Какой-нибудь, положимъ, англичанинъ шумитъ на митингѣ въ разсчетѣ, что этотъ шумъ произведетъ такой-то результатъ, но, помимо этого, самый этотъ шумъ есть одна изъ формъ жизни и, въ качествѣ таковой, имѣетъ совершенно самостоятельную привлекательность: чело-

вѣкъ живетъ, чувствуетъ себя единицей, а не безгласнымъ и безправнымъ нулемъ, онъ самъ выбралъ себѣ предметъ уваженія, любви или ненависти, вражды, презрѣнія и естественно дорожитъ этой самостью. Такъ мать дорожитъ своимъ ребенкомъ: она «со скрежетомъ сына носила и со стономъ его родила». Но, какъ ни дорога для англичанина или другого европейца эта свобода выбора и свобода выраженія, онъ всетаки, вообще говоря, не воспользуется ею, какъ капризная, нервная барыня, то-есть безъ вниманія къ своимъ интересамъ, какъ онъ ихъ понимаетъ, и къ ближайшимъ практическимъ результатамъ. Можетъ, разумѣется, и съ нимъ случиться грѣхъ перваго впечатлѣнія, наталкивающаго на слова и поступки, противорѣчащіе всему его прошлому, но это будетъ исключеніе, а не общее правило; онъ съ молокомъ матери всосалъ привычку къ самости. У насъ этого нѣтъ, конечно, и потому нечего удивляться, если свободный, публичный шумъ имѣетъ для насъ преувеличенную прелесть, если ему предаются, такъ сказать, зря, преимущественно ради него самого и въ случаяхъ, не совсѣмъ подходящихъ.

На пушкинскомъ праздникѣ публика, естественно, ожидала услышать нѣчто такое, чего она не можетъ услышать въ другихъ мѣстахъ, то-есть въ печати (больше-то у насъ и мѣстъ никакихъ нѣтъ; есть, правда, еще мѣста, да тѣ ужъ очень отдаленныя). А чего именно нельзя услышать въ печати, объ чемъ именно «даже въ полголоса мы не пѣвали»—это всѣмъ очень хорошо извѣстно. Вотъ этого-то, всѣмъ извѣстнаго, но постоянно умалчиваемаго, и ждала публика, тревожно ловя настороженнымъ ухомъ каждое подходящее слово, пропуская мимо ушей остальное и жадно глотая и хлѣбъ, и камень, обтесанный и покрашенный на манеръ хлѣба. Гдѣ же ужъ тутъ было разобраться въ виляніи и двусмысленностяхъ рѣчи г. Достоевскаго. Онъ вѣдь на то и билъ, чтобы раздать всѣмъ сестрамъ по серьгамъ съ фальшивыми камнями, да потомъ всѣ серьги опять обобрать и къ себѣ въ карманъ положить, подмѣнивъ крашеныя стеклышки своихъ сережекъ чистыми алмазами и жемчугами искренняго увлеченія толпы. Я съ большимъ нетерпѣніемъ жду слѣдующаго произведенія г. Достоевскаго. Очень и очень любопытно будетъ узнать, какъ отразилось на немъ московское торжество. Не слѣпъ же онъ, не можетъ же онъ не понимать, что въ его рѣчи вызвало эту сладкую бурю чувствъ; не можетъ же онъ думать, что соблазнилъ кого-нибудь, напримѣръ, знаменитой деревянной, стоеросовой фразой Татьяны или змѣиной насмѣшкой надъ русскимъ скитальцемъ. Быть можетъ, онъ пойметъ, наконецъ, что тамъ, гдѣ есть столько энтузіазма и горячаго увлеченія, тамъ есть по всей вѣроятности и боль, и правда; правда и боль высокая, великая, достойная прямого и честнаго къ ней отношенія...

Мнѣ обидно за г. Достоевскаго, воспользовавшагося удобствомъ, чтобы вымѣнять свои фальшивые камешки на настоящія драгоцѣнности; обидно за публику, сразу не замѣтившую, на чьей сторонѣ выгода въ этомъ обмѣнѣ; всего обиднѣе за жизненныя явленія, послужившія какъ бы подкладкой недоразумѣнія. Но всетаки я чувствую нѣкоторое удовлетвореніе. Были же какіе нибудь резоны у г. Достоевскаго для раздачи всѣмъ сестрамъ по серьгамъ, хотя бы и съ фальшивыми камнями. Были резоны и у г. Каткова для примирительной рѣчи.

„Да здравствуетъ солнце, да скроется тьма!“ закончилъ г. Катковъ свою рѣчь стихомъ Пушкина. О, да! да здравствуетъ солнце, да скроется тьма! Я боюсь только, что при этомъ придется скрыться и г. Каткову. Мнѣ кажется даже, что онъ и самъ этого боится, а потому и сказалъ примирительную рѣчь. Мнѣ кажется, онъ и г. Достоевскій думаютъ, что не сегодня-завтра опять и опять повторится нѣчто подобное пушкинскому празднику, что наступитъ, пожалуй, сплошной перманентный пушкинскій праздникъ, а потому надлежитъ забѣжать передъ событіями и заранѣе раздать всѣмъ сестрамъ по серьгамъ. И мнѣ кажется, что они правы, если не въ разсчетахъ своихъ (этому бы я не порадовался), то въ ожиданіяхъ. Не подумайте, чтобы я вернулся изъ прекрасной, ободряющей глуши нагруженный излишнимъ оптимизмомъ. Нѣтъ, я знаю, что завтра же погода можетъ перемѣниться, но при данныхъ, нынѣшнихъ обстоятельствахъ гг. Катковъ и Достоевскій, можетъ быть, и не заблуждаются. Тѣмъ временемъ мы помаленьку привыкнемъ выражать свои чувства, выбирать предметы чествованія и вражды, научимся различать фальшивыя и настоящія драгоцѣнности, а потомъ—vogue la galère!

VI. Августъ.

Есть рѣчи—значеніе
Темно иль ничтожно,
Но имъ безъ волненья
Внимать невозможно...

Какъ кому, разумѣется, и какія рѣчи. Иванъ глазомъ не моргнетъ, слушая рѣчи, волнующія Сидора, а Сидоръ будетъ позѣвывать, да въ затылкѣ почесывать, присутствуя при волненіи Егора. Бываетъ, одна-

ко, и такъ, что и Иванъ, и Сидоръ, и Егоръ, и всякій или почти всякій, человѣческое имя носящій, не могутъ безъ волненія внимать однѣмъ и тѣмъ же рѣчамъ, какъ бы ни было ихъ значеніе темно иль ничтожно. Разно они ихъ понимаютъ, разное содержаніе въ нихъ вкладываютъ, изъ-за этого разнаго пониманія рѣки чернилъ, если не крови, проливаютъ, но всетаки такъ или иначе одинаково волнуются. Такое единогласіе въ волненіи можетъ объявляться по такимъ поводамъ, которые сами по себѣ выѣденнаго яйца не стоютъ, но по обстоятельствамъ времени и мѣста получаютъ чрезвычайно острый характеръ. Великая, напримѣръ, истина, что дважды два четыре, великая и безспорная, одна изъ тѣхъ, на которыхъ міръ стоитъ, но, собственно какъ поводъ для волненія, она, разумѣется, не стоитъ выѣденнаго яйца. Кто ее отрицаетъ, тотъ даже не глупецъ и не невѣжда, а нѣчто, ниже всякаго возможнаго уровня лежащее. Значитъ, и волноваться тутъ не изъ чего! Это при обыкновенныхъ условіяхъ. Но можно себѣ представить такія обстоятельства, что и такимъ рѣчамъ, какъ «дважды два четыре», Иванъ, Егоръ и Сидоръ внимаютъ съ одинаковымъ волненіемъ. Чѣмъ, впрочемъ, рисовать гипотетическую и даже, можно сказать, совершенно фантастическую картину волненія изъ-за таблицы умноженія, напомню лучше, какъ недавно «Новое Время» и «Молва», а вмѣстѣ съ ними, безъ сомнѣнія, весь читающій и тѣмъ паче весь пишущій людъ, волновались изъ-за рѣчей, значеніе которыхъ, можетъ быть, не совсѣмъ ничтожно, но въ достаточной степени темно.

Катался г. Суворинъ по Волгѣ на пароходѣ, разныхъ людей встрѣчалъ и разные разговоры съ ними велъ. Разговоры, надо думать, все больше бездѣльные были, но одинъ *дѣльный* выдался. Передавая его содержаніе, г. Суворинъ такъ и озаглавилъ свой фельетонъ: «Дѣльный разговоръ», чтобы, значитъ, никакого сомнѣнія не было, что се левъ, а не собака, дѣльный, а не бездѣльный разговоръ. Собесѣдникомъ г. Суворина былъ «одинъ изъ просвѣщеннѣйшихъ и наиболѣе либеральныхъ нашихъ земцевъ». Разговоръ, во всякомъ случаѣ, интересный былъ. Альфою и омегою его, первымъ и послѣднимъ словомъ была свободная печать.

Что печати приличествуетъ свобода, это—истина, хоть и не столь очевидная, какъ дважды два четыре, но всетаки одна изъ тѣхъ, проповѣдывать которыя даже немножко стыдно. Аргументы въ пользу свободы печатнаго слова до такой степени общеизвѣстны и до такой степени азбучны, что надо обладать извѣстнымъ мужествомъ, чтобы выступить на стогны и торжища съ повтореніемъ ихъ. Особенно это трудно нашему брату журналисту. Онъ можетъ кричать и стонать, какъ кричитъ и стонетъ голодный человѣкъ: «я ѣсть хочу!» но понятно, что голодный человѣкъ не станетъ, просто не можетъ аргументировать, что, дескать, организмъ требуетъ пополненія убыли пластическаго матеріала и т. д. Подобныя истины умѣстны лишь въ курсахъ физіологіи. Точно также авторъ какого-нибудь ученаго трактата по государствовѣдѣнію можетъ съ удобствомъ собрать во-едино всѣ аргументы въ пользу свободы печати, но журналисту трудно доказывать то, что для него столь же осязательно, какъ любая аксіома. Собесѣдникомъ г. Суворина былъ не журналистъ, а «одинъ изъ просвѣщеннѣйшихъ и наиболѣе либеральныхъ земцевъ», и потому, что касается свободы печати, онъ, не конфузясь, могъ доказывать, что дважды два четыре. Натурально, однако, что въ развитіи своей аргументаціи онъ долженъ былъ затрогивать разные, на первый взглядъ побочные, якобы не имѣющіе отношенія къ литературѣ вопросы, и потому рѣчи его вышли не столь ужъ безапелляціонно непреложны, какъ таблица умноженія. Г. Суворинъ съ очевиднымъ волненіемъ передаетъ эти рѣчи. «Молва» ихъ выслушала съ такимъ же волненіемъ и, повторяю, навѣрное, весь читающій людъ имъ не безъ волненія внималъ. А между тѣмъ, значеніе ихъ навѣрное темно иль ничтожно. Ничтожно, если собесѣдникомъ г. Суворина, въ самомъ дѣлѣ, былъ «одинъ изъ просвѣщеннѣйшихъ и наиболѣе либеральныхъ нашихъ земцевъ», и если имѣть въ виду его разсужденія собственно о необходимости свободы печати; темно, если онъ, какъ увѣряютъ «Петербургская Газета» и «С.-Петербургскія Вѣдомости» не простой земецъ, а «лицо, отъ котораго стоитъ въ зависимости эта самая свобода печати», и если взять во вниманіе всю совокупность «дѣльнаго разговора». Въ самомъ дѣлѣ, «просвѣщеннѣйшій и наиболѣе либеральный» человѣкъ желаетъ безусловной свободы печати—это вѣдь тоже, что масляное масло. Ничего въ этомъ любопытнаго нѣтъ. Г. Суворинъ могъ бы даже просто заявить, что его спутникъ стоитъ за полную свободу печати, и мы всѣ знали бы, что это человѣкъ просвѣщенный и либеральный. Что же касается темнаго значенія «дѣльнаго разговора», то...

Для этого надо привести хоть самыя существенныя мѣста разговора. Изложенію его г. Суворинъ предпосылаетъ нѣкоторое собственное разсужденіе и собственную характеристику умственной физіономіи просвѣщен-

наго и либеральнаго человѣка, котораго ему Богъ послалъ въ спутники. Къ сожалѣнію, характеристика эта очень похожа на сапоги въ смятку. Спутникъ г. Суворина «крѣпко стоялъ на своихъ убѣжденіяхъ, что въ наше время всего рѣже встрѣчается, какъ извѣстно», прибавляетъ Незнакомецъ: — большинство «качается». Однако, худа никакого въ этомъ нѣтъ, ибо «не качаются только прямолинейные», которымъ «ничего не стоитъ повторять извѣстныя либеральныя фразы, брать готовое и говорить, что лучше ничего не выдумаешь». Спутникъ г. Суворина былъ не таковъ: «онъ не былъ ни западникомъ, ни славянофиломъ, не держалъ у себя въ карманѣ ни Гнейста, ни Кошелева, но старался проложить практическій путь улучшеніямъ мѣрами постепенными». Изъ этой характеристики видно, что просвѣщенный и либеральный земецъ, съ одной стороны, «крѣпко стоялъ на своихъ убѣжденіяхъ», но съ другой стороны, кажется, и «качался», что, впрочемъ, одинаково хорошо, хотя и сопоставляется въ качествѣ противоположнаго. Это выходитъ какъ будто немножко нескладно. Не совсѣмъ также понятно, почему западничество и славянофильство исключаютъ «практическій путь постепенныхъ мѣръ». Но оставимъ эти маленькія несообразности, равно какъ и самого г. Суворина, въ покоѣ. Онъ—человѣкъ, извѣстный своей прыткостію, за нимъ не угоняешься. Еще недавно, напримѣръ, онъ съ большою пылкостью видѣлъ ключъ къ уразумѣнію всей русской исторіи въ земскомъ соборѣ, ну, а нынѣ понимаетъ русскую исторію уже не такъ. Обратимся лучше къ его спутнику, серьезно отмѣтивъ изъ рекомендаціи г. Суворина только одну черту: «единственный вопросъ, который онъ рѣшалъ радикально— это свобода печати; онъ ее признавалъ полностью, безъ всякихъ урѣзокъ».

Читатель понимаетъ волненіе всякаго литературнаго сердца при подобныхъ «рѣчахъ», особливо, если правда, что ихъ произноситъ то «лицо, отъ котораго стоитъ въ зависимости эта самая свобода печати». Невѣроятнаго тутъ ничего нѣтъ. Въ Европѣ ни одинъ государственный человѣкъ не откажетъ журналисту въ изложеніи своихъ взглядовъ на какой-нибудь практическій вопросъ, подлежащій разрѣшенію. А что вопросъ о свободной русской печати подлежитъ разрѣшенію, это несомнѣнно. И не даромъ все настойчивѣе и настойчивѣе идутъ слухи о предстоящемъ въ самомъ скоромъ времени коренномъ пересмотрѣ дѣйствующаго законодательства о печати. Въ газеты уже проникло извѣстіе о назначеніи соотвѣтственной комиссіи подъ предсѣдательствомъ графа Валуева, при членахъ: графѣ Лорисъ-Меликовѣ и гг. начальникѣ главнаго управленія по дѣламъ печати Абазѣ, министрѣ народнаго просвѣщенія Сабуровѣ, министрѣ внутреннихъ дѣлъ Маковѣ, съ допущеніемъ въ комиссію представителей печати. На нашей улицѣ, значитъ, праздникъ, а наша улица, замѣтьте это хорошенько, читатель, есть вмѣстѣ съ тѣмъ и ваша улица, о чемъ, впрочемъ, подробнѣе рѣчь будетъ ниже.

Вотъ что говорилъ спутникъ г. Суворина: «Чего бояться? Обличеній? Но кому же они страшны—неужели принципамъ, основамъ, какъ у насъ говорятъ? Ни мало. Я дѣло понимаю такъ, что господа, высоко и низко стоящіе на ступеняхъ административной лѣстницы, боятся обличеній и порицаній единственно ради своего самолюбія и спокойствія, но совсѣмъ не ради принциповъ. Развѣ порицаніе дѣйствій не только губернскаго, но и столичнаго сановника колеблетъ какія-нибудь основы, какіе-нибудь принципы? У насъ говорятъ: да, колеблетъ, «обаяніе власти». Но эта фраза ровно ничего собою не обозначаетъ, ибо и безъ всякой печати никто не повѣритъ, что администрація состоитъ изъ ангеловъ, неспособныхъ ничѣмъ провиниться ни передъ законами, ни передъ общественною совѣстью, ни передъ долгомъ, налагаемымъ службой!.. Подпольная печать, совершенно безвредная для самолюбій администраторовъ, колеблетъ принципы, колеблетъ основы, подрываетъ именно то, что сохранить необходимо. Важенъ не тотъ или другой администраторъ, а важны общіе государственные и общественные принципы. Ихъ защищать необходимо... Еслибы отъ меня зависѣло, я попробовалъ бы полную свободу печати... Попробовалъ бы, но совершенно искренно. Я закрылъ бы глаза на ея отступленія даже отъ здраваго смысла, не только отъ здравыхъ понятій о государствѣ и обществѣ, которыя раздѣляетъ большинство населенія. Думаю, что перемололось бы... По моему мнѣнію, почти нѣтъ выхода между печатью свободною и печатью строго подцензурною: что нибудь одно, но не середина. Середина уже доказала, что она безсильна... Развѣ вы не знаете, что мысль вѣчно ищетъ выхода, что чѣмъ рѣзче ее сдавливаютъ, тѣмъ рѣзче она проявляется, какъ скоро находитъ какую-нибудь лазейку».

Затѣмъ, просвѣщенный и либеральный земецъ объяснилъ, какъ онъ понимаетъ недавнюю исторію русской литературы. По его мнѣнію, цензура шестидесятыхъ годовъ, строго блюдя за литературною неприкосновенностью личностей отдѣльныхъ администраторовъ, тѣмъ самымъ вызвала менѣе опредѣленныя, но за то и болѣе общія на-

падки на самую администрацію, на администрацію вообще, а за администраціей наступалъ чередъ другихъ «основъ» и, такимъ образомъ, народился «нигилизмъ». Нехорошо, продолжалъ просвѣщенный и либеральный земецъ, «нехорошо то положеніе печати, гдѣ можно подрывать всякіе принципы, всякія основы, всякую власть, благодаря тому, что самолюбіе гг. администраторовъ не можетъ допустить критики надъ ихъ дѣйствіями. Выходитъ, что всякій отдѣльный администраторъ значитъ больше, чѣмъ основной государственный принципъ. Вы можете осмѣять все, что хотите, самыя святыя чувства, самыя неприкосновенныя основы, но берегитесь задѣть чью-нибудь личность. Это совсѣмъ нехорошо»...

Странныя иногда бываютъ положенія, читатель. Присутствуете вы, напримѣръ, при разговорѣ, предметъ котораго интересуетъ васъ самымъ близкимъ, самымъ кровнымъ образомъ. Замѣчаете вы, къ великому своему удовольствію, что тотъ или другой изъ собесѣдниковъ смотритъ на предметъ, повидимому, совершенно такъ же, какъ и вы сами. Прекрасно. Но затѣмъ вы замѣчаете, что вашъ, повидимому, единомышленникъ, среди несомнѣнныхъ истинъ и очень тонкихъ замѣчаній, вводитъ въ свою аргументацію вещи, съ которыми вы уже никакъ согласиться не можете, которыя вамъ даже понять трудно. Я именно это испытывалъ, читая разсужденія просвѣщеннаго и либеральнаго земца. Я, разумѣется, не меньше его желаю полной свободы печати, даже, вѣроятно, сильнѣе, чѣмъ онъ, потому что меня это дѣло гораздо ближе затрогиваетъ. Не менѣе опять-таки ясно, чѣмъ онъ, понимаю я, что четырнадцать классовъ, по которымъ распредѣляются русскіе чиновники, совсѣмъ не то, что девять чиновъ, на которые раздѣляются ангелы. Но за всѣмъ тѣмъ, значеніе рѣчей просвѣщеннаго и либеральнаго земца для меня всетаки темно. Собственно говоря, «полностью и безъ урѣзокъ» онъ признаетъ свободу печати только въ предѣлахъ обличенія ошибокъ и злоупотребленій администраціи. За этими предѣлами—мракъ. Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ, правда, что «закрылъ бы глаза на отступленія печати даже отъ здраваго смысла, не только отъ здравыхъ понятій о государствѣ и обществѣ, которыя раздѣляетъ большинство населенія». Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, земецъ стоитъ на томъ, что «общіе государственные и общественные принципы защищать необходимо». Само собою разумѣется, что необходимо, но, во-первыхъ, какими средствами и пріемами, а, во-вторыхъ, что разумѣть подъ «общими» государственными и общественными принципами? Я боюсь, весь «дѣльный разговоръ» построенъ въ томъ смыслѣ, что обличительной литературѣ должна быть предоставлена полная свобода именно для того, чтобы отвлечь журналистику отъ обсужденія принциповъ. Разсчетъ, можетъ быть, и очень тонкій, но едва-ли вѣрный, какъ едва-ли вѣрна иллюстрирующая этотъ разсчетъ картина литературы пятидесятыхъ-шестидесятыхъ годовъ. Любопытно, что, рисуя эту картину, спутникъ г. Суворина не забылъ такой мелочи, какъ появившаяся одно время масса летучихъ листковъ смѣхотворнаго содержанія. Всѣмъ этимъ «Бардадымамъ», «Смѣхамъ», «Весельчакамъ» и проч., и проч. онъ даже отдалъ извѣстную справедливость, а литературу по вопросу освобожденія крестьянъ забылъ, ни разу объ ней не упомянулъ. А между тѣмъ, самый фактъ этой литературы значительно колеблетъ соображенія просвѣщеннаго и либеральнаго земца. Въ самомъ дѣлѣ, крѣпостное право было однимъ изъ принциповъ, одною изъ основъ русскаго общества и государства. Литературѣ пятидесятыхъ годовъ, то-есть временъ шатанія крѣпостного права, надлежало бы, придерживаясь мнѣнія просвѣщеннаго и либеральнаго земца, предоставить полную свободу обличенія злоупотребленій помѣщиковъ и администраціи, но вмѣстѣ съ тѣмъ рекомендовать ей воздержаніе насчетъ самаго принципа. Какимъ образомъ рекомендовать и какимъ образомъ настоять на выполненіи рецепта воздержанія—дѣло темное.

Прилагая разсужденія почтеннаго земца къ тѣмъ временамъ, можно бы было думать, что, предоставивъ литературѣ безусловную свободу обличенія, правительство тѣмъ самымъ отвлекло бы ее отъ критики принципа. Въ дѣйствительности дѣло было не такъ и не могло такъ быть. Крѣпостное право создало такую общую атмосферу, въ которой обличительная борьба съ отдѣльными личностями, при всей своей необходимости и законности, могла достигать результатовъ слишкомъ ничтожныхъ, чтобы изъ-за нихъ стоило бороться. Такія положенія могутъ и въ будущемъ повторяться. И крѣпостное право было для многихъ, даже до не очень давняго времени, одною изъ «самыхъ неприкосновенныхъ основъ», вызывавшихъ «самыя святыя чувства». Теперь такихъ эксцентриковъ, конечно, нѣтъ уже. Но всетаки подлежащіе защитѣ «общіе государственные и общественные принципы» могутъ пониматься разными людьми разно. И если разсчетъ земца окажется, въ самомъ дѣлѣ, невѣрнымъ, то, спрашивается: какъ же поступать съ свободною печатью, то-есть съ тою ея частью, которая не захочетъ отречься отъ своего права критики принциповъ и

основъ? Карать и давить ее? Тогда зачѣмъ же и огородъ городить?

Въ какой мѣрѣ темно на этотъ счетъ значеніе рѣчей почтеннаго земца, это видно изъ слѣдующаго мѣста «дѣльнаго разговора»:

«— Печать теперь свободнѣе (замѣтилъ г. Суворинъ).

«— О, знаю, знаю; я боюсь одного, что скоро ей говорить будетъ нечего. Она все говоритъ: «дайте, пожалуйста, дайте!»— извѣстно чего. А я вамъ скажу, у меня на этотъ счетъ свое мнѣніе.

«— При исповѣданіи полной свободы печати?

«— Да, именно при ней. Я не вѣрю въ патентованныя формы» и т. д.

Затѣмъ слѣдуетъ изложеніе политическаго profession de foi почтеннаго земца, изъ котораго (изложенія) видно, что того «извѣстно чего», объ чемъ литература проситъ, совсѣмъ не нужно. Это, видите-ли, только «форма», за которую нѣчего гоняться, «пока сильно развитое общественное мнѣніе и сильно развитая гласность не станутъ на стражѣ народныхъ интересовъ». Надо только развивать учрежденія, созданныя въ новѣйшее время, «то-есть упрочивать ихъ самостоятельность въ отведенной имъ сферѣ дѣятельности, постепенно расширять эту сферу передачей имъ всего того, что имѣетъ характеръ мѣстнаго интереса и мѣстной потребности, передать имъ исполненіе и тѣхъ общихъ задачъ, въ разрѣшеніи которыхъ возможно разнообразіе». Сверхъ того, земецъ настаиваетъ на устраненіи «циркулярнаго законодательства», разумѣя подъ этимъ терминомъ «всѣ тѣ поясненія и разъясненія къ реформамъ, которыми угощала насъ администрація и которыми сплошь и рядомъ не объясняла, а измѣняла нѣкоторыя, иногда даже существенныя стороны преобразованій». На будущее время такія разъясненія должны дѣлаться или «всѣми министрами сообща, коллективнымъ обсужденіемъ закона, отступать отъ котораго никто не долженъ», или однимъ министромъ, «но съ тѣмъ, чтобъ онъ былъ отвѣтственнымъ не на бумагѣ только, а на дѣлѣ».

«— Отвѣтственное министерство? (спросилъ г. Суворинъ).

«— Пожалуй, отвѣтственное министерство.

«— Съ первымъ министромъ?

«— Съ первымъ министромъ...

«— Вы согласны?

«— Согласенъ.

«— Ну, и чудесно».

Конечно, чудесно. Но оставляя въ сторонѣ темный вопросъ о томъ, передъ кѣмъ же, собственно, это отвѣтственное министерство будетъ отвѣтственно, я обращаю ваше вниманіе на слѣдующее, тоже довольно темное обстоятельство. Положимъ, что освобожденная печать строго придерживается программы, начертанной ей просвѣщеннымъ и либеральнымъ земцомъ, то-есть, пользуется предоставленнымъ ей правомъ обличенія произвольныхъ и неправильныхъ дѣйствій администраціи, но оставляетъ неприкосновенными принципы и основы. Спрашивается: какъ будетъ вести себя обличаемая и критикуемая администрація? Просвѣщенный и либеральный земецъ совершенно справедливо замѣтилъ, что представители администраціи не ангелы, а такіе же люди, какъ и всѣ, значитъ, грѣшные. Но въ числѣ обыкновеннѣйшихъ грѣховъ большинства земнородныхъ есть стремленіе зажать противнику ротъ, если обстоятельства позволяютъ это сдѣлать. И можно думать, что администрація не всегда будетъ отказывать себѣ въ этомъ маленькомъ удовольствіи, доколѣ принципы и основы ей будутъ въ этомъ способствовать. Допустимъ что найдутся администраторы добросовѣстные, благонамѣренные, которые не станутъ злоупотреблять силой и будутъ терпѣливо выслушивать критику своей дѣятельности. Но вѣдь, собственно говоря, такіе и теперь есть или, по крайней мѣрѣ, могутъ быть. При томъ же, на долю такихъ добросовѣстныхъ и благонамѣренныхъ администраторовъ и безъ того, вѣроятно, придется наименьшая доля критики, а главное, наличность ихъ ни мало не гарантирована: сегодня администрируетъ одинъ, завтра—другой. Если же, въ видахъ избѣжанія подобныхъ случайностей, заняться выработкою мѣръ, которыя гарантировали бы свободную печать отъ произвола администраціи, то не будетъ-ли это признано критикою принциповъ и основъ? Скажутъ, можетъ быть, что возстановленіе суда по дѣламъ печати, давно уже изморомъ окончившагося и замѣненнаго нынѣ административными взысканіями, создастъ достаточныя въ данномъ случаѣ гарантіи. Судъ лучше административныхъ взысканій, это безспорно, но надо, во-первыхъ, знать, какъ онъ будетъ организованъ, а во-вторыхъ, если судъ по дѣламъ печати даже вполнѣ гарантируетъ свободу печати, то еще остается открытымъ вопросъ о личной неприкосновенности ея представителей. Скептицизмъ тутъ, кажется, вполнѣ законенъ, и вотъ какъ, между прочимъ, выразила этотъ скептицизмъ газета «Молва»:

«Свободная печать только при извѣстныхъ политическихъ формахъ и при извѣстномъ жизненномъ строѣ можетъ сдѣлаться выразителемъ дѣйствительнаго общественнаго мнѣнія и благотворнымъ орудіемъ для развитія народной жизни и ея прогрессивнаго совершенствованія. На всякій печатный листокъ и на всякую чепуху, какою промышляетъ

газетное гешефтмахерство, нельзя смотрѣть, какъ на выраженіе общественнаго мнѣнія. За общественное мнѣніе можетъ быть признаваемо только мнѣніе, выражаемое людьми или даже корпораціями людей, получившими для этого особое полномочіе отъ общества и пользующимися особою его довѣренностью. Только на мнѣніе, ими высказываемое, можетъ опереться общество, какъ на своего вожака и руководителя. Дѣло политической свободной печати въ томъ только и можетъ состоять, чтобы, поддерживая и развивая мнѣніе, такимъ образомъ высказываемое, содѣйствовать его распространенію среди общества и укорененію въ общественномъ сознаніи. Безъ обезпеченія же способовъ выраженія такому мнѣнію, свободной политической печати, собственно говоря, нечего дѣлать, и самое существованіе ея немыслимо».

Затѣмъ... Затѣмъ произошло нѣчто, въ нашей литературѣ весьма обыкновенное. Но все-таки въ минуту разсужденій о свободной печати, о ея высокомъ значеніи и назначеніи, въ такую минуту, это, въ сущности, заурядное и мелкое происшествіе, право, даже неожиданно. Происшествій было, впрочемъ, два. Во-первыхъ, «Новое Время» ripостировало «Молвѣ» съ обычною своею находчивостью въ томъ смыслѣ, что «Молва» есть чучело или пугало. Полемика въ такомъ родѣ продолжалась нѣсколько дней, но, послѣ неоднократнаго развитія этой остроумной темы, г. Суворинъ неожиданно заявилъ: «Я совершенно раздѣляю взглядъ «Молвы», что *вполнѣ* свободная печать возможна только при вполнѣ свободныхъ и *укрѣпившихся* политическихъ учрежденіяхъ, но достаточно свободная печать возможна всегда («Новое Время» 27-го іюля). Я понимаю даже самую рѣзкую полемику, если она вытекаетъ изъ вполнѣ опредѣлившихся убѣжденій, передуманныхъ самостоятельно, вошедшихъ въ плоть и кровь человѣка. Но назвать людей чучелами или пугалами только для того, чтобы, по прошествіи нѣсколькихъ дней, съ ними «совершенно» согласиться, это, воля ваша, ужъ черезчуръ. Натурально, что иного возьметъ раздумье: какіе же это дѣятели свободной политической печати! какіе выразители и руководители общественнаго мнѣнія!..

Другое происшествіе состояло въ томъ, что нѣкоторые органы печати, правда, ужъ совсѣмъ послѣдняго разбора, прослышавъ откуда-то, что собесѣдникомъ г. Суворина было лицо, власть надъ литературой имѣющее, накинулись на газету «Молва» не только за то, что она говорила, но и за то, съ кѣмъ она осмѣлилась не соглашаться! И это, замѣтьте, въ виду заявленія этого самаго лица, что литературѣ должна быть предоставлена безусловная свобода обсужденія дѣйствій и мнѣній представителей администраціи! Людямъ говорятъ: обличайте, критикуйте, это ваше право и ваша обязанность, а они холопски хохочутъ или столь же холопски негодуютъ: ишь, дескать, кого критиковать вздумалъ! Такая глубина холопства, конечно, тоже не особенно способна убѣдить кого слѣдуетъ, что настала пора свободной печати...

Но за то, еслибы люди, власть имѣющіе, пожелали сыграть комедію и даровать свободу печати съ тѣмъ, чтобы, въ сущности, вовсе не давать ея, то-есть, чтобы она отнюдь не была вѣрнымъ, прочнымъ и энергическимъ выраженіемъ общественнаго мнѣнія, то они на многихъ могли бы разсчитывать: найдутся такіе представители печати, которые будутъ болтать зря, что на языкъ попадетъ, сегодня одно, завтра другое, замѣняя силу внутренняго убѣжденія яркостью выраженій «чучело» или «пугало»; найдутся и такіе, которые просто не возьмутъ свободы, скажутъ: «вы наши отцы; мы ваши дѣти! Гдѣ ужъ намъ!»...

Къ счастію, на этихъ двухъ сортахъ людей свѣтъ не клиномъ сошелся. Свобода печати несомнѣнно вызоветъ на поприще политической литературы иныя силы, нынѣ удерживаемыя отъ нея въ сторонѣ, какъ неприглядностью положеніемъ печати непосредственно, такъ и искусственнымъ сосредоточеніемъ политической печати въ рукахъ людей, случайно ею овладѣвшихъ. Будутъ, конечно, и не шатуны, и не холопы. А, можетъ быть, и наличныя силы какъ-нибудь перевоспитаются. Безобразное шатаніе, съ градомъ ругательствъ сожигающее сегодня то, передъ чѣмъ еще вчера разбивался лобъ, кромѣ личныхъ свойствъ шатуновъ, зависитъ еще отъ отсутствія у насъ струй общественной жизни, достаточно сильныхъ и опредѣленныхъ, чтобы безповоротно увлекать слабыхъ людей въ ту или другую сторону. Ну, а народятся же когда-нибудь такія струи! Не вѣчно же русская общественная жизнь будетъ представлять собою киселеобразную массу, готовую принять любую форму по желанію даже не особенно искусной кухарки. Что же касается холопства, то, при болѣе или менѣе продолжительномъ дѣйствіи подходящихъ условій, и холопъ можетъ эмансипироваться, облагородиться. Вы скажете, что это мечта. Можетъ быть, и мечта, но, во всякомъ случаѣ, какъ ни дрянно многое въ текущей литературѣ, но литература сама по себѣ стоитъ выше всего этого. Русская литература особенно; относительно, разумѣется, говоря. Это требуетъ поясненія.

Въ чужихъ краяхъ испоконъ вѣка сущо-

ствуютъ различные организованные способы выраженія мыслей и чувствъ. Литература тамъ только одинъ изъ способовъ. У насъ, напротивъ, это былъ до сихъ поръ единственный способъ. Явятся, конечно, и другіе, но до сихъ поръ, кто хотѣлъ и имѣлъ что сказать во всеуслышаніе, кого душили слезы или смѣхъ, кому такъ же невозможно было молчать, какъ невозможно беременной женщинѣ не родить, тотъ шелъ въ литературу. Правда, онъ тамъ являлся съ полузажатымъ ртомъ, который ежеминутно могъ быть зажатъ совсѣмъ да и зажимался часто, но вѣдь иного просвѣта все-таки не было. Будемъ надѣяться, что другіе организованные способы выраженія мыслей и чувствъ разовьются со всевозможною роскошью, но къ нимъ надо еще будетъ приглядываться, а литература уже дѣло налаженное. Она имѣетъ свое прошедшее, на которомъ много грязныхъ пятенъ, но которое можетъ выставить и людей большого ума, и людей таланта, и людей сильной воли, борцовъ и страдальцевъ. Здѣсь есть традиціи и привычка къ дѣлу, и мнѣ мечтается иногда, что литература, оказавшая уже столько услугъ русскому обществу, окажетъ ихъ еще больше. И не только въ томъ смыслѣ, въ какомъ она оказывала ихъ всегда и вездѣ, въ смыслѣ медленнаго воспитательнаго вліянія или быстраго давленія въ ту или другую сторону, при разрѣшеніи практическихъ вопросовъ, не терпящихъ отлагательства. Нѣтъ, это само собой, а мнѣ мечтается, что литература непосредственнѣе, прямѣе послужитъ обществу...

Стыдно немножко разсказывать эти мечты. Что же за охота, въ самомъ дѣлѣ, фантазеромъ прослыть? Но все-таки одну такую фантазію мнѣ разсказать очень хочется...

Совсѣмъ это недавно я фантазировалъ, подъ вліяніемъ «дѣльнаго разговора» и извѣстія о комиссіи для пересмотра законовъ о печати, съ допущеніемъ въ ту комиссію представителей печати.

Мечтаю я прежде всего, что представители эти не по одиночкѣ и не случайно въ комиссію приглашаются, какъ вздумается членамъ комиссіи. Нѣтъ, литераторамъ предложено самимъ выбрать изъ своей среды депутацію, которая постоянно присутствуетъ въ засѣданіяхъ комиссіи. Это и для самой комиссіи удобно, ибо случайно выхваченный изъ среды писателей человѣкъ не всегда былъ въ состояніи дать требуемыя разъясненія по тому или другому вопросу. Далѣе, въ составъ депутатовъ входятъ и представители провинціальной печати. И это очень хорошо, потому что исторія, напримѣръ, «Камско-Волжской Газеты», «Кіевскаго Телеграфа», газеты «Сибирь», газеты «Обзоръ» показываетъ, что провинціальной литературѣ есть что разсказать, разсказать нѣчто особенное, спеціальное, по особому положенію ея относительно мѣстной администраціи, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, нѣчто и въ общемъ смыслѣ поучительное. Затѣмъ все идетъ, какъ по маслу. Члены комиссіи одушевлены искреннимъ уваженіемъ къ свободѣ печатнаго слова и горячимъ желаніемъ, чтобы литература расцвѣла, какъ пышный цвѣтъ; о самихъ литераторахъ, разумѣется, и говорить нечего, а потому первыя станціи на пути къ свободѣ печати проходятся легко и быстро: единогласно, безъ колебаній, пререканій, сомнѣній, отмѣняются предварительная цензура для провинціальныхъ изданій и административныя взысканія для всѣхъ, отмѣняется не тотъ или другой видъ этихъ взысканій, а самый ихъ принципъ. Установляется коренное, руководящее для дальнѣйшихъ работъ комиссіи правило, что никакой, даже самый тяжкій проступокъ литературы не подлежитъ непосредственному воздѣйствію главнаго управленія по дѣламъ печати, а тѣмъ паче какого-либо посторонняго вѣдомства. Отнынѣ всякое преступленіе, совершенное путемъ печати, карается по суду и только по суду. Что касается формы суда, то этотъ вопросъ моя мечта обѣгаетъ, имѣя въ виду нѣчто, болѣе въ фантастическомъ смыслѣ заманчивое. Она установляетъ только самую общую формулу суда, выработанную европейской политической жизнью, а до извѣстной степени и нашей собственною практикою: судъ долженъ быть независимый и гласный. Это, впрочемъ, само собою вытекаетъ изъ коренного принципа свободы печати отъ давленія администраціи. Если судъ по дѣламъ печати составится изъ элементовъ, прямо или косвенно зависимыхъ отъ администраціи, то это будетъ лишь дальнѣйшее развитіе драматическаго представленія, въ которомъ мы, литераторы, нынѣ принимаемъ участіе.

До сихъ поръ, какъ видитъ читатель, ничего фантастическаго въ моей мечтѣ нѣтъ. Напротивъ, все вѣроятно и въ дѣйствительности будетъ происходить именно такъ или почти такъ. По крайней мѣрѣ, это совершенно вѣроподобно. Но вѣдь фантазія и всегда такъ работаетъ: возьметъ зернышко дѣйствительности, подлинной земной персти, и, постепенно одухотворяя его и поднимая къ вѣчно лазурному небу идеала, доводитъ, наконецъ, до размѣровъ мало-мало не вавилонской башни. Какъ бы, однако, она высоко ни залетала, ея работа совершенно законна, если она логически развивается изъ первоначальнаго зернышка земной персти...

Естественное дѣло, что, съ установленіемъ коренного правила независимости печати отъ

администраціи, падаютъ не одни только административныя взысканія, но и всякаго рода внушенія со стороны администраціи. Отмѣняется, слѣдовательно, и постановленіе 1873 года, по которому, «если, по соображеніямъ высшаго правительства, найдено будетъ неудобнымъ оглашеніе или обсужденіе въ печати, въ теченіе нѣкотораго времени, какого либо вопроса государственной важности, то редакторы изъятыхъ отъ предварительной цензуры повременныхъ изданій поставляются о томъ въ извѣстность черезъ главное управленіе по дѣламъ печати, по распоряженію министра внутреннихъ дѣлъ». И, конечно, всякій порадуется отмѣнѣ этого тяжкаго не только для литературы, но и для всего общества права администраціи заграждать печати уста по «вопросамъ государственной жизни». «Вопросъ государственной важности»—это что-то до такой степени общее, неуловимое, неопредѣленное, что еслибы мы, журналисты, даже не имѣли на этотъ счетъ очень тяжелой практики, такъ и то знали бы, что въ эти огромныя скобки можно вставить рѣшительно какое угодно вводное предложеніе. При случаѣ и добромъ желаніи, можно, пожалуй, напримѣръ, и г. Цитовича объявить неприкосновеннымъ во имя «вопроса государственной важности». Между тѣмъ, какъ, собственно говоря, этотъ экс-профессоръ, но не экс-мудрецъ, есть не вопросъ государственной важности, а просто злобная бездарность. Если же дѣло идетъ о вопросахъ, дѣйствительно, государственной важности, то тѣмъ паче. Разъ литература не раба, закованная въ ручныя и ножныя кандалы и функція которой состоитъ въ позорномъ фиглярствѣ для увеселенія публики; разъ она признана свободною выразительницею и руководительницею общественнаго мнѣнія—«вопросы государственной важности» несомнѣнно входятъ въ предѣлы ея компетенціи. Это ясно, какъ божій день, и комиссія, безъ сомнѣнія, придетъ къ такому логическому выводу сама собой, безъ указанія со стороны участвующихъ въ ея засѣданіяхъ представителей печати.

Затѣмъ, господа литераторы почтительнѣйше предъявляютъ господамъ членамъ комиссіи еще нѣкоторыя соображенія, тоже безупречно логически вытекающія изъ основного положенія о независимости печати. Соображенія эти они излагаютъ, разумѣется, не такъ, какъ слѣдуетъ ниже, не въ формѣ вольнаго литературнаго произведенія, а въ дѣловой формѣ какой-нибудь докладной записки. Для меня важна не форма, а содержаніе.

Господа литераторы говорятъ:

Съ живѣйшею благодарностью принимая даруемую намъ свободу и клятвенно обязуясь воспользоваться ею на благо родины по нашему крайнему разумѣнію, мы боимся, однако, что принятыя до сихъ поръ комиссіей мѣры еще не гарантируютъ намъ этой возможности служить родинѣ честно, всѣми своими силами. Мы боимся, что освобожденіе будетъ только оффиціальное и номинальное. Представимъ себѣ, что гласный и независимый судъ оправдалъ привлеченнаго администраціей къ отвѣтственности автора книги, издателя, редактора или сотрудника періодическаго изданія. Администрація, значитъ, ошиблась: въ книгѣ или статьѣ нѣтъ ничего преступнаго, и потому она свободно вращается въ читающей публикѣ, принося ей, можетъ быть, существенную пользу, будя въ ней добрыя чувства, свѣтлыя мысли, сообщая полезныя свѣдѣнія. Гдѣ же въ это время находится авторъ статьи или книги? Гдѣ! По всей вѣроятности, онъ спокойно сидитъ въ своемъ рабочемъ кабинетѣ и, нравственно поддержанный только-что пережитымъ торжествомъ истины и справедливости, готовитъ матерьялы для новаго труда. Онъ знаетъ, что этотъ новый трудъ будетъ лучше предъидущаго, потому что скрасится свѣтомъ сознанія, что il y a des juges не только à Berlin. Онъ уже отсталъ отъ «рабьихъ» привычекъ мысли и эмансипировался отъ «эѳіопскаго» языка. Онъ съ радостнымъ трепетомъ слѣдитъ за развитіемъ въ немъ истинно свободнаго и потому истинно служащаго родинѣ писателя. Онъ знаетъ, что или администрація, наученная опытомъ, отнесется къ его новому труду внимательнѣе и не найдетъ въ немъ преступленія, котораго тамъ нѣтъ, или же судъ вновь воздастъ должное истинѣ и справедливости... Онъ не знаетъ одного... Вѣрнѣе сказать, онъ очень хорошо знаетъ, но въ чаду успѣха забылъ, что можетъ во всякую данную минуту очутиться въ мѣстахъ, чрезвычайно удаленныхъ отъ его рабочаго кабинета. Вы сами знаете, что въ такомъ путешествіи нѣтъ ничего невозможнаго. При нынѣшнихъ вѣяніяхъ въ сферахъ, власть имущихъ, позволительно надѣяться, что администрація не будетъ злоупотреблять этимъ правомъ или, точнѣе сказать, этою возможностью. Но, обсуждая законы о печати, мы должны имѣть въ виду не то или другое настроеніе и не тотъ или другой личный составъ администраціи, а принципъ. И понятно, что покуда, даже при полнѣйшей неприкосновенности литературнаго произведенія, самъ производитель его не будетъ гарантированъ отъ печальныхъ случайностей, о настоящей свободѣ печатнаго слова не можетъ быть рѣчи.

Такъ говорятъ господа представители печати, и господа члены комиссіи благосклонно выслушиваютъ ихъ рѣчи, признавая за нами и благонамѣренность, и логику. А такъ какъ

мы находимся въ области фантазіи (пожалуйста, не забывайте!), то изъ дебатовъ, вызванныхъ приведенною рѣчью представителей печати, вырабатывается проектъ, рѣшительно уже ни съ чѣмъ несообразный. А именно, предполагается литераторовъ, не въ примѣръ прочимъ русскимъ гражданамъ, объявить какъ бы неприкосновенными: ни административной высылкѣ, ни аресту, ни обыску, ни какому другому воздѣйствію администраціи безъ предписанія судебныхъ властей — они не подлежатъ. На сей конецъ имъ выдаются особые знаки для ношенія на груди или какіе шарфы что-ли, которые стоитъ только предъявить явившейся въ квартиру писателя полицейской власти, чтобы та почтительно ретировалась.

Господа литераторы, присутствующіе въ комиссіи, сами отлично понимаютъ, что проектъ этотъ, хотя и весьма лестный для ихъ самолюбія и совершенно логически вытекающій изъ основного пункта независимости печати, тѣмъ не менѣе фантастиченъ. Они конфузятся. Они говорятъ: мы великодушны; мы издревле привыкли заботиться о чужихъ дѣлахъ больше, чѣмъ о своихъ; мы не можемъ, не разрушая всѣхъ своихъ традицій, воспользоваться столь исключительнымъ правомъ, столь важною привилегіею и прежде всего желали бы видѣть всю Россію опоясанною шарфомъ административной неприкосновенности.

На это члены комиссіи строго, но справедливо замѣчаютъ, что господа представители печати выходятъ изъ предѣловъ лежащей передъ ними спеціальной задачи; что они призваны сюда затѣмъ, чтобы участвовать въ обсужденіи законовъ, касающихся печати, а не затѣмъ, чтобы печаловаться о Россіи и поднимать общіе вопросы; что они, «какъ пролетарій какой, все выше сферы своей лѣзутъ».

Здѣсь я ставлю точку. Не потому, чтобы фантазія уже дошла до того предѣла, его же она (фантазія-то!) прейти не можетъ. Нѣтъ, ставлю точку единственно потому, что знаки препинанія существуютъ и употреблять ихъ надо же. А какъ далека еще фантазія отъ своего предѣла, это читатель и самъ понимать можетъ. А если понимаетъ, то, вглядываясь въ отдаленныя перспективы, едва намѣченныя моей мечтой, онъ, конечно, признаетъ, что праздникъ на нашей, литературной улицѣ есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и праздникъ на его, читательской и даже, можно сказать, вообще обывательской улицѣ. Въ виду этого, онъ, я думаю, не откажется вмѣстѣ со мной воскликнуть, отъ имени современниковъ и потомства:

Да здравствуетъ литература!..

Простите, читатель, за мечту, конечно, ни на что не пригодную. Въ ней даже и не я, собственно говоря, виноватъ, а «дѣльный разговоръ», да извѣстіе о комиссіи:

Есть рѣчи—значенье
Темно иль ничтожно,
Но имъ безъ волненья
Внимать невозможно...

Вы должны, однако, признать, что въ моей фантазіи есть элементы самой реальной правды. Въ самомъ дѣлѣ, правы-ли были бы литераторы, заявивъ комиссіи, что свобода литературнаго произведенія безъ личной свободы производителя немыслима? Разумѣется, были бы совершенно правы. Правда-ли была бы комиссія, устранивъ этотъ вопросъ, какъ не входящій въ ея спеціальную задачу? Разумѣется, была бы права.

Выходитъ какая-то административная антиномія, которую не берусь разрѣшить...

VII. Сентябрь.

Если человѣкъ, даже чрезвычайно талантливый, скажетъ или напишетъ какую-нибудь путаницу и потомъ будетъ вновь и вновь къ ней возвращаться, стараясь свести концы съ концами, то достаточный-ли это поводъ, чтобы присутствующіе также вновь и вновь къ той путаницѣ возвращались?

Другими словами: г. Достоевскій произнесъ извѣстную рѣчь на пушкинскомъ праздникѣ въ Москвѣ; объ ней много толковали; теперь г. Достоевскій издалъ эту рѣчь съ комментаріями въ видѣ «Дневника писателя»; стоитъ-ли объ ней опять толковать?

Рѣшительно не стоитъ. Ибо эти самые толки могутъ побудить г. Достоевскаго въ ближайшемъ номерѣ «Дневника писателя» опять заняться азартнѣйшимъ водотолченіемъ, а это зрѣлище вовсе непріятное вообще и въ настоящемъ случаѣ въ особенности. Толки о рѣчи г. Достоевскаго и о его комментаріяхъ къ ней должны, кажется, и самому г. Достоевскому очень не нравиться. Въ самомъ дѣлѣ, они ему только дорогу загораживаютъ. Онъ сказалъ, напримѣръ, очень ужъ старое слово, что мы, русскіе, скажемъ Европѣ новое слово. Объ чемъ тутъ, спрашивается, толковать? Скажемъ, такъ скажемъ, а пока будемъ ждать, можетъ быть, именно г. Достоевскому и суждено сказать это новое слово. Не лучше-ли же предоставить ему полный просторъ, не задерживать его въ прихожей комнатѣ новаго слова возраженіями противъ пророчества, совершенно въ сущности невиннаго. Еслибы еще г. Достоевскій перешелъ изъ области прорицаній въ сферу дѣйствительности и прямо указалъ, что вотъ, дескать, въ чемъ состоитъ новое слово, преподносимое нами Европѣ, ну, тогда другое дѣло, тогда было бы объ чемъ тол-

ковать, тогда можно бы было разсуждать, дѣйствительно-ли это слово новое; а если новое, то хорошо-ли оно. Но вѣдь ничего подобнаго нѣтъ...

До какой, въ самомъ дѣлѣ, степени господа комментаторы мѣшаютъ г. Достоевскому, можно видѣть изъ слѣдующаго примѣра. Почтенный романистъ говоритъ, между прочимъ, что «для настоящаго русскаго Европа и удѣлъ всего великаго *арійскаго племени* также дороги, какъ и сама Россія, какъ и удѣлъ своей родной земли, потому что нашъ удѣлъ и есть всемірность, и не мечемъ пріобрѣтенная, а силой братства и братскаго стремленія нашего къ возсоединенію людей». Объ арійскомъ племени и еще гдѣ-то говорится съ такою же опредѣленностью. Сообразно этому, въ «Дневникѣ писателя» г. Достоевскій шлетъ весьма ядовитую пику «жидамъ». Это послѣдовательно. Еслибы «жиды» принадлежали къ великому арійскому племени, то г. Достоевскій не сказалъ бы объ нихъ ничего ядовитаго, ибо мы русскіе, призваны не къ ядовитостямъ насчетъ инородцевъ, а напротивъ, къ братскому возсоединенію людей. Однако, этотъ «удѣлъ» нашъ, по мысли г. Достоевскаго, не простирается за предѣлы великаго арійскаго племени, а такъ какъ «жиды»—семиты, то имъ можно всякую пакость сказать и учинить. Мысль очень оригинальная, но нѣсколько невыясненная, да и то, собственно говоря, не выяснены самые пустяки, а именно причины ограниченія нашей всемірности арійскимъ племенемъ. Немножечко бы еще подождать, предоставивъ г. Достоевскому возможность безпрепятственнаго размышленія среди всеобщаго благоговѣйнаго молчанія, и онъ, разумѣется, все это уяснилъ бы сначала самому себѣ, а потомъ и остальному человѣчеству. Но вотъ выскакиваетъ «Берегъ» съ неудержимымъ стремленіемъ наложить на «Дневникъ писателя» клеймо своего сочувствія и, *въ подтвержденіе* (замѣтьте!) идеи г. Достоевскаго, излагаетъ слѣдующее: «Безъ этой объединяющей, умиротворяющей силы развѣ ужился бы нашъ народъ со всѣми тѣми разнообразными племенами, которыя какъ кольцомъ окружаютъ его со всѣхъ сторонъ. Находясь въ центрѣ, русскій одинаково дружитъ и съ финномъ, и съ эстомъ, и съ литовцемъ, и съ цыганомъ, съ черкесомъ, киргизомъ, калмыкомъ, китайцемъ, чукчей, самоѣдомъ, лапландцемъ, со всѣми, однимъ словомъ, народами и народцами, которые окружаютъ его или живутъ среди его, какъ, напримѣръ, татары, евреи, нѣмцы» («Берегъ», 17-го августа). И выходитъ простое, самое заурядное хвастовство во-первыхъ, а во-вторыхъ, извращается оригинальная мысль г. Достоевскаго, который финновъ, евреевъ, татаръ, чукчей и прочихъ, не принадлежащихъ къ великому арійскому племени, вовсе не имѣлъ въ виду и всегда можетъ быть готовъ даже собственноручно имъ какую-нибудь пакость сдѣлать во славу Божію. Какая же это, спрашивается, помощь или поддержка г. Достоевскому? Никакой помощи нѣтъ, а только съ толку мыслителя сбиваютъ, не даютъ ему обдумываться и высказаться. На счетъ инородцевъ не-арійскаго происхожденія у г. Достоевскаго есть, очевидно, особое мнѣніе, за геніальность котораго ручаются, во-первыхъ, самый фактъ ограниченія «всемірности» арійскимъ племенемъ, а, во-вторыхъ, нѣкоторые прецеденты. Всѣ, безъ сомнѣнія, помнятъ геніальную простоту, съ которою г. Достоевскій въ «Дневникѣ писателя» же разрѣшалъ восточный вопросъ. Онъ тогда тоже прорицалъ и именно прорицалъ, что мы возьмемъ Константинополь и что все это произойдетъ чрезвычайно просто. Помните, писалъ онъ, какъ съ Казанью было: взяли русскіе Казань и татары стали торговать мыломъ и халатами; такъ и съ Константинополемъ будетъ. Прорицаніе немножко не осуществилось, но дѣло не въ этомъ, не всякое же лыко въ строку, а дѣло въ томъ, что вотъ какъ съ не-арійцами надлежитъ поступать: не братствомъ ихъ подчивать и не «возсоединеніемъ», а ступай-ко, дескать, свиное ухо, мыломъ торговать!

По всѣмъ этимъ причинамъ, я утверждаю, что о «Дневникѣ писателя» толковать не стоитъ. Но «придраться» къ «Дневнику писателя» можно, что я и собираюсь сдѣлать. Я слѣдую въ этомъ отношеніи примѣру самого г. Достоевскаго, который даже озаглавилъ часть «Дневника писателя» такъ: «Придирка къ случаю». Но это, собственно говоря, не придирка къ случаю, а весьма тщательный отвѣтъ профессору Градовскому, напечатавшему въ газетѣ «Голосъ» критическую статейку о рѣчи г. Достоевскаго. Подъ тщательностью отвѣта я разумѣю, однако, не то, чтобы въ антикритикѣ почтеннаго романиста не было никакого неряшества мысли. Напротивъ, его тамъ, какъ и всегда у г. Достоевскаго, вдоволь. Но тамъ есть также нѣкоторые ходы и подходы, тщательно обдуманные въ низменно полемическомъ смыслѣ личныхъ уколовъ, болѣе или менѣе чувствительныхъ, и эффектовъ, болѣе или менѣе удачно заслоняющихъ самый предметъ спора. (Люди, помадящіеся деревяннымъ масломъ, вообще нерѣдко обнаруживаютъ это искусство). Вотъ одинъ образчикъ полемическихъ пріемовъ г. Достоевскаго, ни мало не исключающихъ логическаго неряшества, одинъ, на пробу.

Выразивъ вышеприведенную мысль о нашей всемірности, пріобрѣтенный силой братства и братскаго стремленія нашего къ возсоединенію людей, г. Достоевскій находитъ подтвержденіе этого «мечтанія» своего и въ нашей новой исторіи. «Ибо, говоритъ онъ:—что дѣлала Россія во всѣ эти два вѣка въ своей политикѣ, какъ не служила Европѣ, можетъ быть, гораздо болѣе, чѣмъ самой себѣ?» На это г. Градовскій замѣчаетъ: «Г. Достоевскій гордится тѣмъ, что мы два вѣка служили Европѣ. Признаемся, это «служеніе» вызываетъ въ насъ не радостное чувство. Время-ли вѣнскаго конгресса и вообще эпохи конгрессовъ можетъ быть предметомъ нашей «гордости»? То ли время, когда мы, служа Меттерниху, подавляли національное движеніе въ Италіи и Германіи и косились даже на единовѣрныхъ грековъ? И какую ненависть нажили мы въ Европѣ именно за это служеніе.»

Резонно или не резонно это замѣчаніе г. Градовскаго, но вслушайтесь, пожалуйста, внимательнѣе въ антикритику г. Достоевскаго:

Развѣ я хвалилъ то, *какъ* мы служили? Я только хотѣлъ отмѣтить фактъ служенія, и фактъ этотъ истиненъ. Но фактъ служенія и то, *какъ* мы служили — два дѣла совсѣмъ разныя. Мы могли надѣлать очень много политическихъ ошибокъ, да и европейцы ихъ дѣлаютъ во множествѣ поминутно, но не промахи наши я хвалилъ, я только фактъ нашего служенія (почти всегда безкорыстнаго) обозначилъ. Неужели вы не понимаете, что это двѣ вещи разныя? «Г. Достоевскій гордится тѣмъ, что мы служили Европѣ», говорите вы. Да вовсе и не гордясь я это сказалъ, я только обозначилъ черту нашего народнаго духа, черту многознаменующую. Такъ отыскать прекрасную, здоровую черту въ духѣ національномъ, значитъ ужъ непремѣнно гордиться? А что вы говорите про Меттерниха и про конгрессы? Это вы-то меня будете въ этомъ учить? Да я еще, когда вы были студентомъ, про служеніе Меттерниху говорилъ, да еще посильнѣе вашего, и именно за слова объ неудачномъ служеніи Меттерниху (между другими словами, конечно) тридцать лѣтъ тому назадъ извѣстнымъ образомъ и отвѣтилъ. Для чего же вы это исказили? А вотъ, чтобы показать: «Видите-ли, какой я либералъ, а вотъ поэтъ, восторженный-то любитель народа, слышите, какія ретроградныя вещи мелетъ, гордясь нашимъ служеніемъ Меттерниху». Самолюбіе, г. Градовскій»!

Увертки, г. Достоевскій!

Обратите вниманіе хоть на это напоминаніе о понесенномъ тридцать лѣтъ тому назадъ наказаніи. Эффектъ чрезвычайно цѣлесообразный. Выходитъ, что противникъ, хотя и либеральничаетъ, но, во-первыхъ, жидко, а во-вторыхъ, такъ сказать, безданно и безпошлинно, а самъ г. Достоевскій либеральничалъ круто и наказаніе потерпѣлъ. Вы невольно проникаетесь уваженіемъ къ потерпѣвшему за правду и приходите къ мысли, что ученаго учить и, въ самомъ дѣлѣ, нечего, только портить. Однако, уваженіе уваженіемъ, а эффектъ-то хоть и достигаетъ низменной полемической цѣли, но къ дѣлу вовсе не идетъ, вовсе къ нему не относится. Мало-ли, что тридцать лѣтъ тому назадъ было! Тридцать лѣтъ тому назадъ г. Достоевскій говорилъ, напримѣръ, о каторгѣ ужъ, конечно, не съ благоговѣніемъ, не съ фантастическою вѣрою, что она можетъ просвѣтить человѣка лучшимъ свѣтомъ, а потому, дескать, на каторгу ссылать непремѣнно слѣдуетъ. Ну, а теперь онъ каторгу именно въ этомъ смыслѣ понимаетъ. Такъ и съ Меттернихомъ могло случиться. Тридцать лѣтъ много времени...

Или вотъ тоже эффектъ насчетъ «восторженнаго любителя народа». Хотя онъ и подъ ироническимъ соусомъ поданъ и отъ лица г. Градовскаго, но это-то и эффектно. А къ дѣлу все-таки не идетъ. Г. Градовскій могъ бы возразить: «Вовсе я васъ, государь мой, восторженнымъ любителемъ народа не считаю и не могу считать, ибо даже тутъ, въ этомъ самомъ мѣстѣ вашей антикритики, вы третируете народъ совершенно также, какъ тотъ фельдъегерь, о которомъ вы говорите въ «Дневникѣ писателя» же: «Ему вся Россія представлялась лишь въ его начальствѣ, а все, что кромѣ начальства, почти недостойно было существовать». Въ самомъ дѣлѣ, припомнимъ любой эпизодъ изъ исторіи нашего служенія Европѣ за послѣдніе два вѣка. Припомнимъ, напримѣръ, какъ русскія войска ходили подъ предводительствомъ Суворова «спасать царей» или, какъ Гергей складывалъ оружіе передъ побѣдоноснымъ русскимъ воинствомъ. Какъ ни отдѣляй въ обоихъ этихъ эпизодахъ факта служенія отъ того, *какъ* мы служили, но нѣтъ никакой возможности пріурочить сюда «силу братства и братскаго стремленія къ возсоединенію людей». Какое ужъ тутъ братство и какое возсоединеніе! Но, къ счастію, тутъ мудрено разыскать и «черту нашего народнаго духа» или даже «духа національнаго». Народъ нашъ знаетъ и любитъ своего царя, но спасать европейскихъ царей ему никогда не приходило въ голову. Эта идея цѣликомъ принадлежала императору Павлу, который, если хотите, съ своей точки зрѣнія, даже не впадалъ при этомъ въ политическую ошибку: могущественный и убѣжденный представи-

тель абсолютной монархіи, онъ посылалъ своихъ солдатъ умирать за этотъ принципъ. Такимъ образомъ, не народъ служилъ Европѣ, а императоръ Павелъ, да и не Европѣ вовсе, а монархическому принципу. Усмиреніе венгровъ объясняется точно также, о чемъ, впрочемъ, даже распространяться совѣстно, до такой степени это элементарно. А карточные домики строить, конечно, можно; «представлять себѣ всю Россію лишь въ начальствѣ» тоже можно. Но требовать себѣ за это титула «восторженнаго любителя народа» не годится, не дадутъ. Ибо народъ нашъ даже ни чуточки своего «духа» не вкладывалъ въ дѣло возстановленія австрійскаго господства надъ мятежной Венгріей. И думалъ онъ при этомъ не о «служеніи», а о «службѣ», съ горькими слезами отправляя на эту службу своихъ сыновей и братьевъ. Чего-нибудь да стоютъ эти слезы, господинъ, именующій себя восторженнымъ любителемъ народа и изъ за начальства не видящій этого самаго народа!

Такъ вотъ какова «придирка» г. Достоевскаго. Моя придирка будетъ гораздо проще, какъ читатель не замедлитъ и самъ убѣдиться. Личныхъ уколовъ у меня вовсе не будетъ, я надѣюсь, потому что гг. Градовскій и Достоевскій мнѣ разными своими сторонами почти одинаково чужіе люди; собственно ихъ препирательствомъ я ни мало не задѣтъ, а потому и къ эффектамъ, отводящимъ глаза отъ предмета спора, мнѣ тоже прибѣгать нѣтъ надобности. Многое въ ихъ полемикѣ я даже признаю совершенно неприкосновеннымъ, а именно всю ту часть ея, въ которой противники препираются, стоя на общей имъ обоимъ почвѣ христіанства. Но и за вычетомъ этого пункта остается всетаки много любопытнаго, много такого, къ чему можно и стоитъ придраться.

Довольно натурально, что г. Достоевскій преувеличиваетъ значеніе своей рѣчи, доходя въ этомъ направленіи даже до комизма—такова уже человѣческая слабость. Со стороны дѣло, конечно, лучше видно, но было бы всетаки и напраснымъ, и ненужнымъ трудомъ разочаровывать г. Достоевскаго, еслибы не одно чрезвычайно важное и чрезвычайно любопытное обстоятельство.

Почтенный романистъ считаетъ «слишкомъ серьезнымъ» тотъ моментъ пушкинскаго праздника, въ которомъ онъ игралъ такую видную роль. Серьезность этого момента состояла въ томъ, что подъ вліяніемъ рѣчи г. Достоевскаго «ярко и ясно объявились люди, которые жаждутъ подвига, утѣшающей мысли, обѣтованія дѣла. Значитъ, не хочетъ уже общество удовлетворяться однимъ только нашимъ либеральнымъ хихиканьемъ надъ Россіей, значитъ, мерзитъ уже ученіе о вѣковѣчномъ безсиліи Россіи! Одна только надежда, одинъ намекъ—и сердца зажглись святою жаждою всечеловѣческаго дѣла, всебратскаго служенія и подвига». Эти «новые элементы» упоминаются и еще въ одномъ мѣстѣ, именно въ самомъ началѣ отвѣта г. Градовскому, и тоже въ сопоставленіи «съ либеральнымъ подхихикиваніемъ надъ всякимъ словомъ надежды на Россію». Кромѣ, однако, «либераловъ» или «русскихъ европейцевъ» и «новыхъ элементовъ», есть еще у насъ «Пушкинъ, Хомяковъ, Самарины, Аксаковы», которые начали «толковать о настоящей сути народной (до нихъ хоть и толковали о ней, но какъ-то классически и театрально). И когда они начали толковать о «народной правдѣ», всѣ смотрѣли на нихъ, какъ на эпилептиковъ и идіотовъ, имѣющихъ въ идеалѣ «ѣсть рѣдьку и писать донесенія».

Мимоходомъ сказать, я что-то не помню, чтобы на Хомякова, Аксаковыхъ, Самариныхъ, а тѣмъ болѣе на Пушкина, смотрѣли, какъ на эпилептиковъ и идіотовъ, да, конечно, и г. Достоевскій не помнитъ. Это онъ такъ, для красоты и энергіи слога, а также для удобства полемики; ну, и пусть его. Гораздо любопытнѣе классификація нашей интеллигенціи, состоящей, значитъ, изъ хихикающихъ либераловъ, преклоняющихся передъ Европой и безнадежно махнувшихъ рукой на все русское, новыхъ элементовъ, объявившихся послѣ рѣчи г. Достоевскаго, и Пушкина, поставленнаго за одну скобку съ славянофилами. Классификація, мнѣ кажется, несовсѣмъ обстоятельная, потому что, напримѣръ, я рѣшительно не знаю, въ которую изъ трехъ рубрикъ надо помѣстить Гоголя, «съ незримыми слезами сквозь зримый смѣхъ», или Некрасова «съ музой мести и печали» и «ненавидящею любовью», или гр. Льва Толстого съ невѣріемъ въ европейскій прогрессъ, или даже самого Хомякова съ его рѣшительнымъ утвержденіемъ, что родная земля «всякой мерзости полна». Недоумѣваю также, куда пристроитъ г. Достоевскій всю ту мелкую сошку, которая, хоть, напримѣръ, въ «Новомъ Времени» ежедневно презираетъ Европу и хихикаетъ надъ хихикающими. Правда, эта мелкая сошка лепечетъ сегодня одно, а завтра столь же азартно другое, но всетаки мѣсто подъ луной занимаетъ, а, между тѣмъ, хихикающими либералами себя не признаетъ, а «новыми элементами» ее г. Достоевскій самъ, разумѣется, не назоветъ.

Кстати, о «Новомъ Времени». Газета эта еще недавно поддакивала таинственному спутнику г. Суворина, о которомъ я писалъ въ предъидущемъ нумерѣ «Отечест-

венныхъ Записокъ» и который, между прочимъ, негодовалъ на литературу шестидесятыхъ годовъ за то, что она была непочтительна къ Кавуру и парламентаризму. Это вѣдь, кажется, значитъ къ Европѣ? Несомнѣнно, однако, что «Современникъ», на который намекалъ въ этомъ случаѣ спутникъ г. Суворина, имѣлъ весьма мало общаго съ славянофильствомъ. Такъ вотъ и любопытно бы было знать, куда пристроитъ г. Достоевскій тѣхъ людей, которые отнюдь не будучи славянофилами, тѣмъ не менѣе, не оказывали почтенія Кавуру и парламентаризму. Въ предтечи «новыхъ элементовъ» что-ли зачислитъ, тѣхъ новыхъ элементовъ, которые ждали рѣчи г. Достоевскаго, чтобы «объявиться ярко и ясно»? въ куколку той бабочки, которая развернула свои блестящія крылышки на пушкинскомъ праздникѣ? Съ другой стороны, такъ какъ мы попали, кажется, въ фантастическую область превращеній не хуже Овидіевыхъ, то не суть ли и самые «новые элементы» просто свиньи? Да, свиньи, тѣ, именно, «свиньи», о которыхъ такъ много говорится въ «Бѣсахъ» г. Достоевскаго. О, г. Достоевскій, если-бы вы только могли догадаться, какую глубоко комическую непроницательность обнаруживаете вы, утверждая, что только послѣ вашей рѣчи и подъ ея вліяніемъ «объявились ярко и ясно» люди, жаждущіе подвига и обѣтованія дѣла! Много, много раньше они объявились, такъ что ихъ даже hat man gekreuzigt und verbannt... und Schweine genannt...

Что же я это, однако, дѣлаю?! Виноватъ, читатели, тысячу разъ виноватъ, я вовсе не хотѣлъ препираться съ г. Достоевскимъ или писать о «Дневникѣ писателя», но что же дѣлать: увлекся. Позвольте же мнѣ еще одно маленькое отступленіе и затѣмъ мы можемъ, пожалуй, даже оставить совсѣмъ въ сторонѣ г. Достоевскаго съ его рѣчью и «Дневникомъ писателя».

Въ «Дневникѣ писателя» есть одна очень горячая страница, написанная совершенно въ апокалипсическомъ стилѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ чисто дѣтская, дѣтская съ какой угодно точки зрѣнія. На этой страницѣ предсказывается погибель Европы: произойдетъ огромная война, всѣ фабрики закроются и «милліоны голодныхъ ртовъ отверженныхъ пролетаріевъ брошены будутъ на улицу». Они-то и низвергнутъ Европу: «всѣ эти парламентаризмы, всѣ исповѣдываемыя теперь гражданскія теоріи, всѣ накопленныя богатства, банки, науки, жиды, все это рухнетъ въ одинъ мигъ и безслѣдно— кромѣ развѣ жидовъ, которые и тогда найдутся какъ поступить, такъ что имъ даже въ руку будетъ работа». Насъ, однако, этотъ погромъ не коснется: «Волны разобьются лишь о нашъ берегъ, ибо тогда только въявь и воочію обнаружится передъ всѣми, до какой степени нашъ національный организмъ особливъ отъ европейскаго. Тогда и вы, гг. доктринеры, можетъ быть, схватитесь и начнете искать у насъ «народныхъ началъ», надъ которыми теперь только смѣетесь. А теперь-то вы, господа, теперь-то указываете намъ на Европу и зовете пересаживать къ намъ именно тѣ самыя учрежденія, которыя тамъ завтра же рухнутъ, какъ изжившій свой вѣкъ абсурдъ, и въ которыя и тамъ уже многіе умные люди давно не вѣрятъ».

Всякій, разумѣется, посмѣется надъ этой забавной окрошкой изъ «парламентаризмовъ, гражданскихъ теорій, богатствъ, банковъ, наукъ и жидовъ», мелко на мелко искрошенныхъ рукою г. Достоевскаго и безсильно плавающихъ въ мискѣ съ русскимъ квасомъ. Г. Градовскій посмѣется въ особину, въ качествѣ автора извѣстныхъ статей о соціализмѣ въ «Русской Рѣчи» и, слѣдовательно, человѣка, вѣрующаго въ провомѣрность и прочность наличныхъ европейскихъ порядковъ. Я не вѣрю ни въ эту правомѣрность, ни въ эту прочность, но съ своей стороны всетаки тоже посмѣюсь. Что въ Европѣ можетъ произойти въ близкомъ будущемъ огромный переворотъ, это совершенно справедливо, но какъ же не посмѣяться надъ увѣренностью, что погромъ этотъ разобьется о нашъ берегъ и обнаружитъ только особливость нашего національнаго организма. Совсѣмъ напротивъ, я думаю, онъ обнаружитъ до какой степени нашъ національный организмъ сроднился уже, слился съ европейскимъ. Разныя тутъ могутъ выйти комбинаціи. Можетъ быть, чего Боже сохрани, мы, по старой памяти и по старымъ образцамъ, примемся опять за «служеніе» Европѣ, а можетъ быть и какъ нибудь на новый манеръ послужимъ. Все это можетъ быть, но вотъ что уже навѣрное будетъ: когда рухнутъ европейскіе банки, то въ ту же минуту рухнутъ и банки русскіе, въ чемъ даже г. Достоевскій, не смотря на всю свою невинность, легко убѣдится, вникнувъ въ любую биржевую хронику любой газеты. А вмѣстѣ съ банками (а слѣдовательно — horribili dictu—вмѣстѣ съ «науками и жидами!») рухнетъ и... Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ, этотъ папа нынѣшняго славянофильства, этотъ глашатай «народной правды», состоящій директоромъ банка и получающій за это приспособленіе народной правды не одинъ десятокъ тысячъ... Нѣтъ, вы подумайте только, въ какой компаніи-то придется Ивану Сергѣевичу погибать—въ компаніи «наукъ и жидовъ»!

Мы въ самомъ сердцѣ вопроса, читатель, не смотря на комическій элементъ, который поневолѣ просится на бумагу, когда рѣчь идетъ объ апокалипсическихъ прорицаніяхъ г. Достоевскаго. Мы въ самомъ сердцѣ вопроса, ибо онъ въ томъ, именно, и состоитъ, что г. Достоевскій, толкующій нынѣ о вредоносности европейскаго «просвѣщенія» и европейскихъ политическихъ формъ, ни единымъ словомъ не протестовалъ противъ водруженія у насъ европейскихъ экономическихъ порядковъ.

Водруженіе это происходитъ уже давно, подвинулось весьма далеко, а г. Достоевскій, разсыпая во всѣ стороны блистательные лучи своей геніальности и оригинальности, не замѣчалъ этого, и только теперь, да и то единственно въ пику Европѣ, говоритъ: «не можетъ одна малая часть человѣчества владѣть всѣмъ остальнымъ человѣчествомъ, какъ рабомъ, а вѣдь для этой единственной цѣли слагались до сихъ поръ всѣ гражданскія учрежденія Европы». Я помню, что имѣлъ удовольствіе обращать вниманіе г. Достоевскаго на это обстоятельство, когда писалъ о его «свиньяхъ» — «Бѣсахъ» тожъ. Помню также, что выразился при этомъ приблизительно такъ: свобода великая и соблазнительная вещь, но мы не хотимъ свободы, если она, какъ было въ Европѣ, только увеличитъ нашъ вѣковой долгъ народу. Хотя меня за это изъ нѣкоторыхъ подворотень, по прелестному выраженію г. Г. У., и «хватали за икры», но я твердо знаю, что выразилъ одну изъ интимнѣйшихъ и задушевнѣйшихъ идей нашего времени; ту именно, которая придаетъ семидесятымъ годамъ оригинальную физіономію и ради которой они, эти семидесятые годы, принесли страшныя, неисчислимыя жертвы, объ чемъ, впрочемъ, говорить еще рано. Выходитъ, значитъ, что не г. Достоевскому насъ учить, особливо, если онъ нашу же идею заливаетъ деревяннымъ масломъ изъ лампадки, въ которую и мухи попали, и разная другая нечисть.

А наше дѣло вотъ какъ происходило. Мы начали работать головой и сердцемъ въ темную ночь, когда говорить о прелестяхъ свободныхъ учрежденій не полагалось, а про себя размышлять о нихъ можно было развѣ только въ интересахъ чистой истины, что по малой мѣрѣ, скучно. Мы знали, что свобода придетъ, какъ всякій знаетъ, что, утромъ взойдетъ солнце и освѣтитъ добрыхъ и злыхъ, но утро было такъ далеко, а непосредственная пища для ума и сердца была такъ необходима. Естественно было искать задачъ, достаточно широкихъ, чтобы онѣ могли утолить жажду идеала, и достаточно близкихъ, чтобы пробы рѣшенія ихъ были возможны при наличныхъ условіяхъ. Такая задача сама собой встала передъ нами въ видѣ многомилліонной сѣрой массы народа. Это разъ. Далѣе, какъ тѣ «умные люди» въ Европѣ, о которыхъ упоминаетъ г. Достоевскій, такъ и наши, русскіе умные люди давно уже приучили насъ не давать «Кавуру и парламентаризму» цѣны выше той, которой они, дѣйствительно, стоютъ. Къ такой же строго-справедливой оцѣнкѣ этихъ вещей мы приходили и путемъ собственныхъ наблюденій и размышленій. Европейская исторія и европейская наука съ одинаковою ясностью убѣждали насъ, что свобода, какъ безусловный принципъ, плохой руководитель, ибо, подобно всякому абсолюту, всякой попыткѣ подняться выше условій человѣческой природы, источена внутреннимъ противорѣчіемъ. Мы убѣждались, что такъ называемая, полная экономическая свобода есть, въ сущности, только разнузданность крупныхъ экономическихъ силъ и фактическое рабство силъ малыхъ. Аналогичный результатъ получался при перенесеніи вопроса въ чисто-теоретическія сферы предѣловъ и методовъ познаванія, что, впрочемъ, въ настоящую минуту для насъ не интересно. Наконецъ, что касается политической свободы, то она оказывалась, дѣйствительно, солнцемъ, но только солнцемъ, а это хоть и очень, безпредѣльно много въ экономіи земного шара, но вовсе ужъ не такъ много въ своеобразной экономіи человѣческихъ идеаловъ: es leuchtet die Sonne über bös' und gut'. Политическая свобода безсильна измѣнить взаимныя отношенія наличныхъ силъ въ средѣ самаго общества, она можетъ только обнаружить ихъ, вывести на всеобщее позорище, а вмѣстѣ съ тѣмъ, слѣдовательно, придать большую яркость, обострить эти отношенія. Такъ разсуждали мы, а въ силу этихъ разсужденій наша щепетильность, наше даже презрительное отношеніе къ «Кавуру и парламентаризму» были вполнѣ естественны. Это было совсѣмъ не повтореніе басни о лисицѣ и виноградѣ, отнюдь нѣтъ: мы съ глубочайшею искренностью признавали виноградъ хорошимъ, но зеленымъ, да онъ таковъ и въ дѣйствительности. Оцѣнивая политическую свободу, какъ таковую, даже не съ точки зрѣнія какого-нибудь иного, болѣе обширнаго принципа, мы не могли не замѣтить періодически повторяющагося въ Европѣ и особенно въ быстро живущей Франціи страннаго круговращенія: политическая свобода, купленная иногда цѣною цѣлаго океана крови, падала отъ ничтожнаго толчка Бонапарта или другого, охочаго до власти человѣка, чтобы потомъ вновь подниматься со страшными усиліями и вновь падать. Этотъ томительный круговоротъ объясняется тѣмъ, что ни разу еще политиче-

ская свобода, при своемъ зарожденіи, не осложнялась существенною помощью народу, который поэтому хладнокровно, а иногда даже сочувственно смотрѣлъ, какъ богиня свободы шаталась и падала съ своего пьедестала. Въ концѣ концовъ, только тотъ политическій порядокъ окажется непоколебимымъ, который не шарлатански, какъ это не разъ случалось въ Европѣ, а искренно и честно заинтересуетъ собою милліоны. Такимъ образомъ, и съ этой стороны теоретическихъ разсужденій о чуждыхъ намъ европейскихъ порядкахъ, мы привлекались все къ тѣмъ же интересамъ народа, какъ краеугольному камню политическаго мышленія.

Обстоятельство это имѣло много чрезвычайно важныхъ результатовъ, изъ которыхъ я отмѣчу только два. Во-первыхъ, славянофильство и западничество въ ихъ противорѣчіи оказались для насъ пройденною ступенью, къ которой мы можемъ относиться съ полнѣйшимъ безпристрастіемъ, какъ къ чему-то закончившему свое земное поприще и похороненному. Славянофильство и западничество изжиты нами, мы переросли ихъ, такъ что попытки г. Достоевскаго и другихъ, такъ или иначе, вновь воздвигнуть эти состарѣвшіяся знамена не имѣютъ для насъ, по крайней мѣрѣ, ровно никакого значенія. Удивить, а тѣмъ паче напугать насъ картиною разрушенія наличныхъ европейскихъ порядковъ—нельзя. Самая мысль о томъ, чтобы произвести этою картиною какое-то потрясающее впечатлѣніе, есть просто смѣшная мечта, потому что воистину ученаго учить нечего. Все, даже стѣсненіе мысли и слова, практиковавшееся у насъ до сегодня, способствовало тому, чтобы дать намъ въ руки хорошо отточенный ножъ анализа европейскихъ порядковъ, съ точнымъ, сознательнымъ отдѣленіемъ въ нихъ пшеницы отъ плевелъ. Въ этомъ смыслѣ мы не западники, но и не имѣемъ никакого повода чураться западничества. Съ другой стороны, однако, этотъ, именно этотъ самый анализъ предохранилъ насъ отъ славянофильскаго смѣшенія двухъ, совершенно различныхъ категорій—національнаго и народнаго. Мы не будемъ спорить, что въ томъ или другомъ частномъ случаѣ эти категоріи могутъ совпадать. Могутъ, конечно, могутъ, какъ прохожденіе Венеры между землей и солнцемъ можетъ совпадать съ рожденіемъ на землѣ великаго человѣка. Въ этомъ смыслѣ, мы не славянофилы, но и не имѣемъ повода чураться славянофильства. Но мы твердо знаемъ также, что высшіе моменты національной славы могутъ не случайно, а причинно совпадать съ высшими же моментами безправія народа; что колоссальное національное богатство можетъ создаваться цѣною страшной нищеты народа. Все это мы уже инстинктивно, почти болѣзненно чутко настороженнымъ чутьемъ слышимъ. Но не только инстинктомъ и чутьемъ слышимъ, а и разумомъ понимаемъ, со всею даже, если хотите, роскошью законченной теоретической системы. Но и не только чистымъ разумомъ, ибо безъ большого труда можемъ обставить свои положенія цѣлой коллекціей историческихъ и статистическихъ иллюстрацій.

Таковъ одинъ результатъ того обстоятельства, что интересы народа стали для насъ краеугольнымъ камнемъ политическаго мышленія. Другой результатъ не менѣе характеренъ.

Скептически настроенные по отношенію къ принципу свободы, мы готовы были не домогаться никакихъ правъ для себя; не привилегій только, объ этомъ и говорить нечего, а самыхъ даже элементарныхъ параграфовъ того, что въ старину называлось естественнымъ правомъ. Мы были совершенно согласны довольствоваться въ юридическомъ смыслѣ акридами и дикимъ медомъ и лично претерпѣвать всякія невзгоды. Конечно, это отреченіе было, такъ сказать, платоническое, потому что намъ, кромѣ акридъ и дикаго меда, никто ничего и не предлагалъ, но я говорю о настроеніи, а оно именно таково было и доходило до предѣловъ, даже мало вѣроятныхъ, объ чемъ въ свое время скажетъ исторія. «Пусть сѣкутъ, мужика сѣкутъ же»—вотъ какъ, примѣрно, можно выразить это настроеніе въ его крайнемъ проявленіи. И все это ради одной возможности, въ которую мы всю душу клали; именно возможности непосредственнаго перехода къ лучшему, высшему порядку, минуя среднюю стадію европейскаго развитія, стадію буржуазнаго государства. Мы вѣрили, что Россія можетъ проложить себѣ новый историческій путь, особливый отъ европейскаго, причемъ опять-таки для насъ важно не то было, чтобы это былъ какой-то національный путь, а чтобы онъ былъ путь хорошій, а хорошимъ мы признавали путь сознательной, практической пригонки національной физіономіи къ интересамъ народа. Предполагалось, что нѣкоторые элементы наличныхъ порядковъ, сильные либо властью, либо своею многочисленностью, возьмутъ на себя починъ проложенія этого пути. Это была возможность. Теоретическою возможностью она остается въ нашихъ глазахъ и до сихъ поръ. Но она убываетъ, можно сказать, съ каждымъ днемъ. Практика урѣзываетъ ее безпощадно, сообразно чему наша программа осложняется, оставаясь при той же конечной цѣли, но вырабатывая новыя средства.

Говорятъ, у насъ скоро весна будетъ; говорятъ, ласточки уже прилетѣли и мы начнемъ скоро полною грудью вдыхать свѣжій, живительный и весенній воздухъ, отъ котораго только чахоточные умираютъ, а здоровые крѣпнутъ. Гимны веснѣ, въ стихахъ и прозѣ, уже слышатся со всѣхъ сторонъ. «Сухо дерево, завтра пятница» или «дай Богъ не сглазить». Очевидно, во всякомъ случаѣ, что правительство убѣдилось въ неправильности того пути стѣсненія мысли и слова, на который его увлекли люди, усердные не по разуму. Тѣмъ не менѣе, все, пережитое нами въ только еще заканчивающійся періодъ тѣсноты, еще слишкомъ свѣжо, чтобы можно было открыто и безъ всякихъ предосторожностей касаться еще незажившихъ ранъ. Не могу кстати не отмѣтить мимоходомъ фіаско, претерпѣннаго нѣкоторыми нашими прорицателями, играющими роль черныхъ вороновъ старинныхъ легендъ и сказокъ. Эти прорицатели прорицали, что какъ только ослабнетъ узда, сдерживавшая литературу, такъ вся литература поголовно заговоритъ языкомъ революціи и террора. Узда, очевидно, ослабла, а литература въ огромномъ большинствѣ только «благодаритъ, пріемлетъ и ни мало вопреки глаголетъ», обнаруживая въ этомъ направленіи, можетъ быть, даже излишнее усердіе.

Какъ бы то ни было, но для дальнѣйшаго развитія начатой бесѣды я склоненъ остановить вниманіе читателя на одномъ безобидномъ литературно-житейскомъ эпизодѣ, который въ свое время прошелъ почти незамѣченнымъ, хотя представляетъ величайшій интересъ. Я вовсе не думаю преувеличивать значеніе этого эпизода; не думаю утверждать, что онъ послужилъ началомъ чего-нибудь крупнаго и рѣшительнаго. Но нѣчто крупное въ нашемъ душевномъ настроеніи произошло какъ разъ около того же времени, когда означенный эпизодъ объявился, и произошло вдобавокъ по тѣмъ самымъ мотивамъ, которые тѣмъ эпизодомъ рисуются очень ярко.

Въ январѣ 1878 года, въ газетѣ «Русское Обозрѣніе» (№№ 3 и 4) было напечатано «письмо къ редактору» бывшаго губернскаго прокурора оренбургской судебной палаты г. Павлова-Сильванскаго. Признаюсь, я и теперь не могу безъ волненія читать эту скорбную исповѣдь, да и желалъ бы даже посмотрѣть на человѣка, способнаго читать ее безъ волненія: это былъ бы любопытнѣйшій психологическій феноменъ съ веревками, вмѣсто нервовъ.

Будучи въ 1871 году назначенъ на должность губернскаго прокурора въ оренбургскомъ генералъ-губернаторствѣ, г. Павловъ-Сильванскій съ самаго начала уклонялся отъ этой чести, а черезъ годъ опять обращался къ министру юстиціи съ просьбой о переводѣ. «Мое нежеланіе оставаться въ Оренбургѣ, говоритъ онъ:—объясняется тѣмъ, что я тогда уже предвидѣлъ неизбѣжность столкновенія съ администраціей. Началу этимъ недоразумѣніямъ было невольно положено моими рѣшительными протестами противъ неотвѣчавшихъ, по моему мнѣнію, требованіямъ справедливости нѣкоторыхъ мѣропріятій во время киргизскаго возстанія, размежеванія башкирскихъ земель и тѣхъ прискорбныхъ смутъ среди временно-обязанныхъ крестьянъ нѣкоторыхъ вліятельныхъ землевладѣльцевъ, которыя были вызваны нетактичностью и крайне произвольнымъ отношеніемъ полиціи къ личности и имуществу крестьянъ. Принятіе моихъ протестовъ министромъ юстиціи и правительствующимъ сенатомъ и высочайшее помилованіе крестьянъ установило еще болѣе натянутое отношеніе между мною и представителями мѣстной власти». Передавая только «часть тѣхъ фактовъ, о которыхъ своевременно сообщилъ» министру юстиціи, и «проходя молчаніемъ массу другихъ фактовъ, очевидцемъ которыхъ онъ былъ въ теченіи 10-ти лѣтъ», г. Павловъ-Сильванскій разсказываетъ, *между прочимъ*, слѣдующее: «Во время четырехмѣсячнаго путешествія для ревизіи, по порученію министра, оренбургскихъ судебныхъ учрежденій, сотни просителей шли ко мнѣ со всѣхъ сторонъ этого обширнаго края. Истину говорю, всюду двери моей квартиры не запирались передъ ними съ ранняго утра и до глубокой ночи... Трудно повѣрить, что въ числѣ просителей я встрѣчалъ людей, помѣшанныхъ на сознаніи абсолютной невозможности когда либо найти правосудіе... Я освобождалъ невинныхъ узниковъ, которые по нѣсколько лѣтъ томились въ тюрьмахъ послѣ оправданія ихъ судомъ. Я слышалъ жалобы крестьянокъ, которыхъ по приказанію и въ присутствіи исправника, пытали и жгли раскаленными щипцами за то, что онѣ вступались за своихъ мужей... Примѣрно, въ 1870—71 году, верстахъ въ 50-ти отъ Оренбурга, въ мѣстечкѣ Илецкій городокъ, учрежена тюрьма для ссыльно-каторжныхъ. Фактъ невѣроятный, но вѣрный: смотрителемъ этой тюрьмы назначенъ былъ выгнанный за взятки изъ службы становой приставъ, о которомъ одинъ изъ «органовъ администраціи» отозвался, что это человѣкъ, ради корыстныхъ цѣлей, «способный на все»... Въ 1874 году, во время четырехмѣсячнаго моего отсутствія изъ Оренбурга, чаша страданій несчастныхъ арестантовъ переполнилась; варварство обращенія съ ними приняло чудовищный характеръ: молва о немъ проникла даже въ Петербургъ. Скоро сдѣлалось

извѣстнымъ, что оттуда послѣдовало распоряженіе о законномъ взысканіи съ виновныхъ въ безчеловѣчныхъ истязаніяхъ арестантовъ... Одною изъ прямыхъ монхъ обязанностей было наблюденіе за точнымъ исполненіемъ высочайшихъ повелѣній. Между тѣмъ, когда я возвращался изъ отпуска, администрація скрыла отъ меня какъ самое высочайшее распоряженіе, послѣдовавшее въ мое отсутствіе, такъ и фактъ, его вызвавшій... Я узналъ, что два мѣсяца тому назадъ, на деревенской площади, среди многолюднаго стеченія мѣстнаго населенія, въ присутствіи смотрителя, тюремные надзиратели истязали арестантовъ съ такою жестокостью, что *народъ*, очевидецъ этого, по истинѣ, чудовищнаго варварства, *крестился и плакалъ*. «Ихъ не били, жаловались мнѣ арестанты-свидѣтели: — а убивали. Бьютъ, бьютъ, пока они не потеряютъ сознанія, тогда обольютъ водой и снова бьютъ чѣмъ попало: каблуками, замками, кандалами, ружейными прикладами. На томъ мѣстѣ, гдѣ били, точно скотину кололи. Затѣмъ, ихъ связали одной веревкой и волокли въ тюремный дворъ за ноги. Несчастные представляли четыре окровавленныя массы синей опухоли, такъ что нельзя было различить ихъ другъ отъ друга»...

Но довольно этихъ гнусностей, читатель. Я не затѣмъ вспомнилъ письмо г. Павлова-Сильванскаго, чтобы поиграть на вашихъ нервахъ картинами ужаса. Какъ ни ужасны эти картины сами по себѣ, но въ этой исторіи есть сторона, которая въ настоящую минуту для насъ интереснѣе. Дѣло въ томъ, что г. Павловъ-Сильванскій, облеченный властью прокурора, снабженный первоначально даже особыми полномочіями отъ министра, оказался совершенно безсильнымъ сдѣлать то, что долженъ былъ и хотѣлъ сдѣлать. Этого мало. Обвиняемый смотритель, хотя и былъ удаленъ отъ должности, но имѣлъ еще возможность вліять на ходъ слѣдствія и, въ концѣ-концовъ, поступилъ управляющимъ въ имѣніе губернатора. Прокуроръ же, испытавъ цѣлый рядъ интригъ, угрозъ, сплетенъ, подвергся полицейскому обыску безъ соблюденія указываемыхъ на этотъ случай закономъ формъ, и затѣмъ уволенъ отъ должности, «согласно прошенію», котораго, прибавляетъ г. Павловъ-Сильванскій, «я никому и никогда не подавалъ». «Что все это значитъ? Съ этимъ вопросомъ я поспѣшилъ въ 1875 году въ Петербургъ, но и до сихъ поръ не нахожу на него отвѣта». Такъ заканчиваетъ свой разсказъ г. Павловъ-Сильванскій. Нашелъ-ли онъ какой-нибудь отвѣтъ впослѣдствіи— неизвѣстно. Но извѣстно, что № «Русскаго Обозрѣнія», въ которомъ было помѣщено его письмо, просуществовавъ дня два-три, былъ вслѣдъ за тѣмъ изъятъ изъ продажи и отбирался у торгующихъ газетами. Эпилогъ, достойный всей этой исторіи, столь типичной для только что пережитаго нами прошлаго. Повторяю, въ этой типичности все дѣло и ради нея только, просто какъ безобидный образчикъ, я и припомнилъ письмо г. Павлова-Сильванскаго.

Прокуроръ, «Царево око», оказался въ невозможности исполнить свою прямую обязанность и, перепробовавъ всѣ средства до печатнаго опубликованія включительно, долженъ признать себя разбитымъ компактною кучкою мѣстныхъ администраторовъ и вліятельныхъ землевладѣльцевъ, у которыхъ рука руку моетъ. И послѣ этого лицемѣры или люди съ веревочными нервами (одно изъ двухъ непремѣнно) говорятъ намъ, что дѣло не въ учрежденіяхъ, не во внѣшнихъ вещахъ, а «въ себѣ!» Идите, фарисеи, съ этою проповѣдью туда, къ этимъ смотрителямъ и прочимъ, кто пытаетъ и мучитъ людей! Тамъ васъ встрѣтятъ, конечно, безъ «либеральнаго хихиканья» и безъ «европейничанія», а либо съ чисто русскимъ, національнымъ «такъ и такъ», либо, напротивъ, съ распростертыми объятіями и другими признаками сочувствія. А еслибы вы вздумали обратиться съ этою проповѣдью хоть къ тому же г. Павлову-Сильванскому, и приглашать его «искать себя въ себѣ» или какъ тамъ это говорится на вашемъ елейномъ жаргонѣ, то онъ, достаточно измученный фактами, чтобы еще терзаться елейными рѣчами, отвѣтитъ вамъ, я думаю, презрѣніемъ. И я по совѣсти долженъ сказать, что такой отвѣтъ едва-ли вами не заслуженъ. А впрочемъ, allez toujours!

Мы себя въ себѣ не искали, что грѣха таить, если это только, въ самомъ дѣлѣ, грѣхъ, а не просто напыщенная безсмыслица. Это вовсе не значитъ, что идеалы личной нравственности—дѣло пустое и вниманія не стоющее, но ставить ихъ въ независимость отъ «учрежденій», значитъ или не чисто играть, или дѣла не понимать. И вотъ, что касается «учрежденій», я прошу васъ серьезно вдуматься въ исторію г. Павлова-Сильванскаго и затѣмъ обобщить ее до предѣловъ, разрѣшаемыхъ логикой и здравымъ смысломъ. Благонамѣренные, исполненные наилучшихъ желаній представители власти, которыми являются въ настоящемъ случаѣ прокуроръ, а отчасти, пожалуй, и министръ юстиціи, не выдерживаютъ борьбы съ кучкой мѣстныхъ администраторовъ и кулаковъ. Начало похода противъ прокурора совпадаетъ съ размежеваніемъ башкирскихъ земель и «тѣми прискорбными смутами среди временно-обязанныхъ крестьянъ и-

которыхъ вліятельныхъ землевладѣльцевъ, которыя были вызваны нетактичностью и крайне произвольнымъ отношеніемъ полиціи къ личности и имуществу крестьянъ». Вѣнчающій дѣло конецъ исторіи состоитъ въ поступленіи смотрителя тюрьмы въ управляющіе имѣніемъ губернатора и въ полицейскомъ обыскѣ у прокурора съ удаленіемъ его отъ должности. Вы видите, какъ все здѣсь дружно, связано, переплетено, и какъ именно поэтому представитель высшей центральной власти безсиленъ. Съ другой стороны, «народъ крестился и плакалъ», глядя на возмутительнѣйшее поруганіе человѣческой личности и жестокія пытки. А между тѣмъ, та теоретическая возможность, въ которую мы всю душу свою клали, только на этихъ элементахъ, порознь или вмѣстѣ дѣйствующихъ, и могла быть построена. Благонамѣренные представители центральной власти и народъ, въ нашемъ предположеніи, должны были положить починъ новому, особливому историческому пути для Россіи. Но если между этими элементами протискивается всемогущій братскій союзъ мѣстнаго кулака съ мѣстнымъ администраторомъ, то наша теоретическая возможность обращается въ простую иллюзію, а вмѣстѣ съ тѣмъ отреченіе отъ элементарныхъ параграфовъ естественнаго права теряетъ всякій смыслъ. Очевидно, никому отъ этого отреченія ни тепло, ни холодно, кромѣ отрекающихся, которымъ холодно, и всемогущаго братскаго союза, которому тепло. Да, ему тепло, и въ этомъ корень вещей. Оказывается, что если европейскія учрежденія не гарантируютъ народу его куска хлѣба и есть тамъ «милліоны голодныхъ ртовъ отверженныхъ пролетаріевъ» рядомъ съ тысячами жирныхъ буржуа, то наши наличные порядки фактически тоже ничего не гарантируютъ, кромѣ акридъ и дикаго меду для желающихъ и не желающихъ ими питаться. Грубѣе, разумѣется, у насъ все это выходитъ, наглѣе, безформеннѣе, но, спрашивается, какого добраго почина не задавитъ всемогущій братскій союзъ, пока мы только себя въ себѣ искать будемъ? Пусть-ко г. Достоевскій попробуетъ, ну хоть въ сельскіе учителя поступить, да тамъ поговорить, напримѣръ, о томъ, что, дескать, «не можетъ одна малая часть человѣчества владѣть всѣмъ остальнымъ человѣчествомъ, какъ рабомъ». Пусть попробуетъ въ этомъ направленіи поработать на родной нивѣ, а мы посмотримъ, въ какомъ видѣ онъ оттуда выскочитъ. Вотъ о себѣ, въ себѣ, надъ собой, это точно что вездѣ и всегда можно, на виду у всякаго союза, потому что это союзу на руку... Въ отношеніи аппетита наглости и фактическаго могущества, нашъ союзъ никакимъ европейскимъ буржуа не уступитъ. И какъ же, значитъ, запоздалъ г. Достоевскій и комп. съ своимъ хихиканьемъ надъ западомъ! Вотъ, еслибы онъ протестовалъ тогда, когда нашъ союзъ только еще слагался—то другое дѣло, а онъ хладнокровно присутствовалъ при снятіи головы и теперь плачетъ по волосамъ.

Но г. Достоевскій еще что! Онъ, по крайней мѣрѣ, уже лѣтъ тридцать не либеральничалъ и не европейничалъ. А вотъ, напримѣръ, «Новое Время». Нечего вспоминать ту розовую пору, когда столпы его, упражняясь въ сочиненіи «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», либеральничали на всѣхъ парахъ. Но вотъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда они уже сочиняли «Новое Время», они съ величайшею опредѣленностью заявляли, что «вся программа настоящаго времени, всѣ его стремленія, желанія и цѣли, всѣ руководящіе принципы семидесятыхъ годовъ, словомъ, все ихъ profession de foi можетъ быть исчерпано однимъ словомъ: Европа». *Тогда*, видите-ли, они считали правильнымъ распинаться передъ Европой, а *теперь* не могутъ удержаться отъ самодовольнаго хихиканья надъ Европой. Это, впрочемъ, не мѣшаетъ имъ предлагать «необходимую реформу», состоящую въ учрежденіи званія вице-предсѣдателя совѣта министровъ, каковой вице предсѣдатель будетъ первымъ министромъ и главою кабинета, на манеръ европейскаго. Справедливо, однако, замѣчаютъ «Современныя Извѣстія», что это будетъ не европейскій премьеръ, а турецкій великій визирь...

Ахъ, господа, дѣло, въ сущности, очень просто. Если мы, въ самомъ дѣлѣ, находимся наканунѣ новой эры, то нуженъ прежде всего свѣтъ, а свѣтъ есть безусловная свобода мысли и слова, а безусловная свобода мысли и слова невозможна безъ личной неприкосновенности, а личная неприкосновенность требуетъ гарантій. Какія это будутъ гарантіи—европейскія, африканскія, «что Литва, что Русь-ли»—не все-ли это равно, лишь бы онѣ были гарантіями? Надо только помнить, что новая эра очень скоро обветшаетъ, если народу отъ нея не будетъ ни тепло, ни холодно...

А искать себя въ себѣ, подъ собой—это просто пустяки.

Пора кончить...

VIII. Октябрь.

Съ будущаго года появится цѣлый рядъ (кажется, слишкомъ двадцать) новыхъ газетъ. Нѣкоторыя алтынныя души, чуя конкурренцію, уже успѣли добыть изъ своей грязной глубины упрекъ въ стремленіи къ алтыну и бросить этотъ упрекъ на встрѣчу будущимъ конкуррентамъ. Сами они, видите

ли, безсребренники и могутъ съ чистою совѣстію сказать: «изъ чести лишь одной я въ домѣ семъ служу».

Алтынъ алтыномъ, конечно, но приписывать алтыну столь исключительную творческую роль, значитъ, въ данномъ случаѣ или ровно ничего не понимать, или, обнаруживать чрезвычайно грязную душу, или, пожалуй, и то и другое вмѣстѣ (къ счастію, глупость и подлость идутъ рука объ руку гораздо чаще, чѣмъ обыкновенно думаютъ). Помимо всякаго алтына, дѣло объясняется такъ просто, что, право, кажется, ни одного шага нельзя сдѣлать, чтобы не натолкнуться все на одно и тоже объясненіе. Возьмите, напримѣръ, любой номеръ газеты «Новое Время» и обратите ваше вниманіе на самую послѣднюю его строчку. Тамъ напечатано: «Редакторъ М. П. Федоровъ. Издатель А. С. Суворинъ». Что такое М. П. Федоровъ? Надѣюсь, что онъ прекрасный человѣкъ. Но даже при чрезвычайно высокихъ качествахъ ума и сердца, онъ, какъ писатель, только тѣмъ отличается отъ безчисленнаго множества другихъ Ѳедоровыхъ, что, въ противность правиламъ грамматики, пишется «фертомъ» (ф), а не «ѳитой». Такъ ему нравится фертомъ, и прекрасно. Но литература и грамматика, по крайней мѣрѣ, въ принципѣ, такъ дружны, что одного этого отличія слишкомъ мало, чтобы М. П. Федоровъ могъ быть редакторомъ газеты, издателемъ которой числится писатель, пользующійся такою извѣстностью, какъ г. Суворинъ. Всякій и понимаетъ, что М. П. Федоровъ есть, какъ говорятъ нѣмцы, Strohmann, подставной человѣкъ, къ которому пришлось прибѣгнуть потому, что г. Суворинъ казался въ свое время человѣкомъ недостаточно благонамѣреннымъ. Конечно, и тогда всякій понималъ, какую именно роль М. П. Федоровъ играетъ въ газетѣ, но подлежащія административныя сферы находили почему-то удобнымъ на этотъ счетъ обманываться. И это еще хорошо, потому что подлежащія сферы могли не пожелать обманываться и, не утвердивъ въ званіи редактора г. Суворина, не утвердить и г. Федорова, пишущагося фертомъ, и любого изъ гг. Ѳедоровыхъ, пишущихся ѳитой, и Сидорова, и Карпова, и Петрова, и, такимъ образомъ, изморомъ прикончить газету. Дѣло бывалое.

Я не предполагаю заниматься критикой недавнихъ нашихъ порядковъ по дѣламъ печати, если только имъ приличествуетъ наименованіе порядковъ. Я лишь отмѣчаю фактъ. Не отмѣненные пока, къ сожалѣнію, законодательнымъ путемъ, порядки эти на практикѣ, de facto, всетаки видоизмѣнились, въ совершенной гармоніи съ видоизмѣненіемъ разныхъ другихъ порядковъ, ни больше, ни меньше. И вотъ является цѣлый рядъ новыхъ газетъ. Но это, собственно говоря, можетъ быть вовсе не новыя газеты, въ томъ смыслѣ не новыя, что онѣ задуманы не сегодня, а два, три года, можетъ быть, пять, семь лѣтъ тому назадъ, но либо не могли найти своего М. П. Федорова, либо даже не пытались его искать, въ виду своеобразныхъ взглядовъ администраціи на этотъ предметъ. Распредѣлите хоть половину новыхъ газетъ на предыдущіе годы, и вы получите остатокъ, не только не поражающій своею громадностью, но даже довольно мизерный, въ виду важности переживаемаго нами времени.

Алтынныя души, чуя конкурренцію, почти клятвенно увѣряютъ, что наличныхъ газетъ совершенно достаточно для обихода русскаго человѣка и что новыя изданія быстро исчезнутъ въ такъ называемой «борьбѣ съ равнодушіемъ публики». Послѣднее весьма вѣроятно, то-есть вѣроятно, что не всѣ заявленныя на будущій годъ газеты примутся и утвердятся. Я не понимаю только, почему это такъ безпокоитъ алтынныя души и почему онѣ стали столь сердобольны. Что же касается увѣренія, что наличныя газеты совершенно удовлетворяютъ общественной потребности, то это увѣреніе, разумѣется, облыжное. Стоитъ только присмотрѣться, напримѣръ, къ странной толкотнѣ, происходящей на страницахъ «Новаго Времени», чтобы убѣдиться, что эта мало почтенная газета не можетъ удовлетворять ни всѣхъ своихъ читателей, ни даже всѣхъ своихъ сотрудниковъ. А «Новое Время» одна изъ самыхъ распространенныхъ у насъ газетъ. Многіе изъ бродящихъ въ обществѣ оттѣнковъ политической мысли или плохо представлены, или даже совсѣмъ не представлены въ наличной прессѣ. Возьмите, напримѣръ, «Берегъ» и, признавъ безспорною его задачу, посмотрите только на ея исполненіе. Положимъ, что и самая задача не только не привлекательна, но вдобавокъ еще и лишена сколько-нибудь опредѣленнаго характера, ибо никакой программы мы не видимъ, а видимъ только какое-то противодѣйствіе вообще, противодѣйствіе, неизвѣстно чему и неизвѣстно во имя чего. Но, даже примирившись со всѣмъ этимъ и будучи вполнѣ убѣжденнымъ сторонникомъ задачи «Берега», вы всетаки не скажете, что вашъ образъ мыслей представленъ въ печати хорошо. Вѣдь не скажете же вы, что непристойная ругань есть вполнѣ цѣлесообразное средство для водворенія добрыхъ нравовъ. Ну, а «Берегъ» поступаетъ именно въ этомъ родѣ, когда заявляетъ свою индивидуальность, и отличается совершенною тусклостью, когда таковой не заявляетъ. Усердіе есть, да рессурсовъ-то ужъ очень мало.

Я разсуждаю, разумѣется, со стороны, что называется, объективно; лично я, конечно, вовсе не желаю, чтобы въ числѣ новыхъ газетъ будущаго года объявился новый «Берегъ», исправленный и дополненный блестящимъ остроуміемъ, тонкой насмѣшкой, искреннимъ вдохновеніемъ, ясностью мысли, практическою опытностью, твердостью и опредѣленностью убѣжденій, вообще однимъ изъ тѣхъ качествъ, которыхъ не хватаетъ теперешнему, топорно грубому и неумѣлому «Берегу». Да ничего подобнаго и не предвидится. Я «Берегъ» только къ примѣру взялъ. Но если такъ плохо представлена идея «Берега», то что же съ другими оттѣнками политической мысли? Можно бы было уже a priori сказать, что нѣкоторые изъ нихъ совсѣмъ не представлены, а нѣкоторые являются въ болѣе или менѣе извращенномъ видѣ.

Изо всѣхъ грядущихъ газетъ до настоящей минуты только одна «Русь» г. Аксакова торжественно выразила свое profession de foi, въ формѣ широковѣщательнаго объявленія. Г. Аксаковъ полагаетъ, что «вся нужда, вся задача наша теперь именно въ томъ, чтобы внести, наконецъ, правду въ русскую жизнь, чтобы возвратить ей свободу органическаго самороста, чтобы, въ самомъ дѣлѣ, Русь была Русью». И вотъ почему въ словѣ «Русь» для г. Аксакова «сосредоточенъ весь смыслъ той правды, которой недостаетъ нашему изолгавшемуся общественному бытію, по которой такъ тоскуетъ, такъ истомился русскій человѣкъ. Страшно устала наша земля отъ сочинительства, мудрованія, фальши, которая такъ долго, такъ властно гнула, муштровала, переиначивала ее на разные чужіе лады и порядки».

Старыя это рѣчи и много уже разъ мы ихъ слыхали, между прочимъ, отъ того же самаго г. Аксакова. Но до сихъ поръ этимъ рѣчамъ какъ-то не счастливилось, какъ-то ничего путнаго изъ нихъ не выходило. Надо думать, что и теперь тоже путнаго не выйдетъ, но все-таки любопытно будетъ видѣть новый и, вѣроятно, уже послѣдній опытъ. Мы и нынѣ, не дожидаясь «Руси» г. Аксакова, много слышимъ насчетъ самобытности, органическаго самороста и другое разное въ этомъ родѣ. Но это либо шипящія рѣчи г. Достоевскаго, который, кажется, гордится тѣмъ, что поставилъ себя внѣ времени, пространства и вообще всего (чего на дѣлѣ, конечно, быть не можетъ), либо смѣсь французскаго съ нижегородскимъ, каковы, напримѣръ, разглагольствія «Новаго Времени» о дрянности Европы. Цѣльнаго, заправскаго нижегородскаго — нѣтъ, и натурально, что кто хочетъ этого заправскаго, тотъ наличной періодической печатью не удовлетворенъ. А г. Аксаковъ обѣщаетъ это заправское въ полномъ размѣрѣ. Вотъ что, между прочимъ, читаемъ въ томъ же объявленіи объ изданіи «Руси»: «Печальниковъ о русскомъ народѣ и «любителей» расплодилось теперь не мало; но эти печальники, по выраженію поэта, за немногими исключеніями, плачутъ лишь о народѣ, а не съ народомъ; эти любители, по большей части, не состоятъ съ нимъ въ общеніи мысли и духа и именно не любятъ того, что ему всего святѣй и дороже». Недоволенъ также г. Аксаковъ тѣмъ, что интеллигенція наша, «съ важностью и самодовольствомъ разсѣвшись налѣво и направо, «въ либералахъ» и «въ консерваторахъ», воображаетъ и величаетъ себя, дѣйствительно, интеллигенціей и совсѣмъ готовой, достойной представительницей русскаго народа», тогда какъ «истинно либеральна и консервативна у насъ только народная жизненная правда». Г. Аксаковъ, еще ничѣмъ не обнаруживъ достоинствъ своей «Руси», уже въ самомъ объявленіи объ ней рискуетъ по отношенію къ «интеллигенціи» такими эпитетами, какъ «вздорный», «пошлый», «пустозвонный». Все это достаточно старо, достаточно сумбурно и, надо прибавить, достаточно нагло. Но, во всякомъ случаѣ, если г. Аксаковъ не въ объявленіи только, а въ самой газетѣ, состоя съ народомъ «въ общеніи мысли и духа», будетъ пропагандировать истину о стояніи земли на трехъ китахъ, то онъ скажетъ, конечно, нѣчто такое, чего изъ наличныхъ газетъ ни одна не рискнетъ говорить. Отчего же этихъ рѣчей не послушать? Мы переживаемъ такое время, что любопытно всѣхъ выслушать и до конца.

Или взять хоть тѣхъ «печальниковъ», о которыхъ говоритъ г. Аксаковъ. Положимъ, что они поступаютъ гнусно и презрительнаго смѣху достойно, «плача о народѣ», а не «съ народомъ», какъ того требуетъ московская нравственная философія, но нельзя же сказать, чтобы гнусность эта была удовлетворительно представлена въ нашей прессѣ. Вы скажете, можетъ быть, что гнусность и презрительнаго смѣха достойныя мысли и не должны появляться на бѣлый свѣтъ. Да, но вѣдь это ужъ не такъ достовѣрно, это вѣдь еще вопросъ, что гнуснѣе и смѣху достойнѣе? «Плакать о народѣ», это значитъ скорбѣть, напримѣръ, о томъ, что онъ, за неимѣніемъ другихъ пристанищъ, прибѣгаетъ къ заступничеству «Успленьи-матушки». Плакать «съ народомъ», это значитъ, напротивъ, идти вмѣстѣ съ нимъ къ этой самой «Успленью-матушкѣ», которой даже и въ святцахъ нѣтъ. На чьей же сторонѣ гнусныя и смѣху достойныя мысли? Вопросъ небезъинтересный, и намъ придется, вѣроятно,

разсуждать о немъ довольно пространно, когда арена литературы оживится новыми дѣятелями.

Повторяю, оживленіе это, совершенно независимо отъ алтына, объясняется очень просто, во-первыхъ, искуственнымъ задержаніемъ появленія новыхъ періодическихъ изданій въ предъидущихъ годахъ; во-вторыхъ, неудовлетворительнымъ (съ какой угодно точки зрѣнія: либеральной, консервативной, нижегородской, французской) состояніемъ наличной прессы. Не бѣда, если многія изъ возникающихъ газетъ не выдержутъ конкурренціи и растаютъ, какъ первый осенній снѣгъ. Но будетъ очень больно, если въ дѣло вмѣшаются всѣмъ извѣстныя «независящія обстоятельства» и радужныя надежды интеллигенціи окажутся еще болѣе преувеличенными, чѣмъ онѣ оказались уже теперь.

Ну, что будетъ, то будетъ. А пока позвольте остановить ваше вниманіе на одномъ вопросѣ, съ которымъ грядущимъ газетамъ придется считаться на первыхъ же порахъ. До сихъ поръ я въ своихъ замѣткахъ тщательно избѣгалъ всякаго повода заводить рѣчь объ этомъ вопросѣ и имѣлъ на то свои резоны. Тѣ самые резоны, которые кто-то изъ древнихъ выразилъ въ краткой, но ясной и энергической формулѣ: «что хочу, то не могу, а что могу, то не хочу». Въ самомъ дѣлѣ, это наиболѣе колючій изъ всѣхъ предметовъ, занимающихъ общество и литературу, одинъ изъ тѣхъ предметовъ, относительно которыхъ самая элементарная нравственная чистоплотность предписываетъ или ровно ничего не говорить, или говорить все. А говорить все было до сихъ поръ больше, чѣмъ неудобно, просто — невозможно. Я не обольщаюсь надеждой, чтобы дѣла значительно въ этомъ отношеніи измѣнились, хотя до извѣстной степени всетаки измѣнились. Но за то я и не собираюсь рѣшать вопросъ. Мнѣ хочется только поставить его, и притомъ съ одной только стороны, ради одного практическаго и, какъ мнѣ кажется, вполнѣ логическаго вывода.

Въ сентябрьской книжкѣ мало извѣстнаго журнала «Русская Рѣчь» напечатанъ разсказъ г. Круглова «Горе Солохонушки». Какъ бллетристическое произведеніе, разсказъ этотъ есть самая заурядная вещь съ рутинными пріемами и весьма сомнительными признаками дарованія. Но по самой фабулѣ своей, которую легко передать въ нѣсколькихъ словахъ, разсказъ любопытенъ.

Солохонушка или Серафима Солохоновна — просвирня, а горе у нея вотъ какое: во-первыхъ, дочка ея умерла или, точнѣе, избита и убита мужемъ, а во-вторыхъ, внучка въ Сибирь на поселеніе сослана.

Дочка Сонюшка была замужемъ за священникомъ, отцомъ Паисіемъ, человѣкомъ крутымъ и суровымъ. Не любила его Сонюшка, и когда у нихъ наняла комнату молодой живописецъ, Владиміръ Павловичъ, молодые люди слюбились. Владиміръ Павловичъ, по презрительному отзыву отца Паисія, «водки не пьетъ, въ карты играть терпѣть не можетъ, только и знаетъ, что свои картины да книжки». Но этимъ-то онъ должно быть и понравился Сонюшкѣ. Какъ бы то ни было, отецъ Паисій очень скоро узналъ женину тайну, еще когда она имѣла чисто платоническій характеръ, и такъ избилъ Сонюшку, что она отдала Богу душу, а самъ ушелъ въ Соловки, да тамъ и пропалъ безъ вѣсти. У Солохоновны осталась на рукахъ внучка Надечка. Пристроила она ее, при помощи благотворителей, сначала въ пансіонъ, а потомъ и въ гимназію. Тутъ Надечка особенно сдружилась съ одной товаркой, Варей Сивковой, и ея братомъ, Вадимомъ Ивановичемъ. «Онъ-то постарше ея былъ, разсказываетъ Солохоновна:—въ пятомъ классѣ уже, и такой все прилежный; придетъ, бывало, и обѣимъ объясняетъ что-нибудь». Подруги тоже были «прилежны»: Варя кончила курсъ третьею по списку, Надечка первою и съ медалью, а Вадимъ тѣмъ временемъ ужъ въ Петербургѣ уѣхалъ «дальше ученье продолжать». Кончила Надечка курсъ, а все еще учится, все за книжками сидитъ, чѣмъ приводитъ бабушку въ большое недоумѣніе, а наконецъ, и въ ужасъ, потому что оказывается, что Надечка читаетъ, между прочимъ, и «запрещенныя» книжки. Дальше—больше: Надечка уѣхала въ Петербургъ «на курсы» и пріѣхала оттуда на каникулы стриженая и въ очкахъ. И узнаетъ, наконецъ, бабушка Солохоновна, что Надечка арестована... судится... сослана въ Сибирь на поселеніе. Сивковы тоже попались: «Вадимъ-то еще тяжелѣе кару понесъ, а Варечки участь такая же, какъ и Нади, подъ одно наказаніе подошла». Вспоминая объ этихъ дѣлахъ, Солохоновна иногда говоритъ, что Надечку «опутали злые люди, подвели—и пропала». Иногда же разсуждаетъ такъ: «И тѣ-то вѣдь были хорошіе... Владиміръ Павловичъ, напримѣръ, а что вышло? Силенъ врагъ рода человѣческаго, силенъ!» Во всякомъ случаѣ, авторъ, по его словамъ, понималъ, что дѣлается въ сердцѣ Солохонушки, когда видѣлъ ее въ церкви молящеюся и слышалъ чтеніе діакона: «Иже аще соблазнитъ единаго отъ малыхъ сихъ, уне есть ему, да обвѣсится жерновъ осельскій на выи его и потонетъ въ пучинѣ морстѣй».

Что дѣлается въ сердце Солохонушки, прекрасной, впрочемъ, должно быть старушки не особенно интересно. Не потому, чтобы

ея горе не заслуживало вниманія по своей малокалиберности. Напротивъ, ея горе — настоящее горе, а вдобавокъ, Солохонушка не единственный въ своемъ родѣ экземпляръ, ихъ много; этихъ сироть-старушекъ съ разорваннымъ сердцемъ, и сумма ихъ горей даетъ слишкомъ почтенную цифру. Но въ данномъ случаѣ, дѣло-то ужъ очень просто: налетѣла буря и унесла Сонюшку, налетѣла другая буря и унесла Надечку, осталась сиротка-старушка съ разорваннымъ сердцемъ, но совершенно не понимающая—откуда буря? зачѣмъ? почему? кто виноватъ? Не то злые люди виноваты, не то добрые, не то просто сатана, исконный врагъ рода человѣческаго, древле соблазнившій Еву, а нынѣ соблазняющій Сонюшекъ и Надечекъ. Очевидно, что пожалѣть старушку Солохонушку можно и должно, но поучиться у нея нечему: она сама нуждается въ томъ, чтобы кто-нибудь растолковалъ ей истинныя причины ея горя.

Не можетъ-ли заняться этимъ дѣломъ г. Кругловъ? Едва-ли, хотя евангельскій текстъ: «иже аще соблазнитъ» и проч., свидѣтельствуетъ, повидимому, о томъ, что г. Кругловъ имѣетъ для своего обихода собственное объясненіе дѣла. Онъ, кажется, такъ понимаетъ, что за тѣми несомнѣнно хорошими людьми, которые послужили непосредственною причиною гибели дочки и внучки Солохоновны, лежитъ что-то очень злое и вмѣстѣ могущественное, вполнѣ достойное «жернова осельскаго». Но что это такое, это таинственное и губительное нѣчто—люди или порядки—ближайшимъ образомъ не опредѣляется. Должно быть люди, злые и странные люди, поставившіе себѣ задачей соблазнять «малыхъ сихъ» и губить ихъ. Да, это должно быть очень злые, очень жестокіе люди, какіе-то демоны, потому что ихъ злоба даже ничѣмъ не мотивируется; до такой степени демоны, что г. Круглову даже повѣрить нельзя. Онъ ничего не растолкуетъ Солохоновнѣ.

Не растолкуетъ-ли г. Добровъ, авторъ книги «Откровенное слово о важнѣйшихъ событіяхъ нашей внутренней жизни за послѣднее двадцатипятилѣтіе», о которой «Отечественныя Записки» дали библіографическій отчетъ въ прошломъ номерѣ? Въ этой книгѣ есть глава, спеціально посвященная «обзору условій, благопріятствовавшихъ зарожденію и временному развитію соціально-политическаго движенія». Можетъ быть, тутъ мы узнаемъ что-нибудь болѣе обстоятельное о судьбѣ, если не Сонюшки, то хоть Надечки. Мы такъ для краткости и говорить будемъ: объ условіяхъ, благопріятствовавшихъ гибели Надечки.

Г. Добровъ начинаетъ свой обзоръ рѣшительнымъ отрицаніемъ виновности нынѣшней литературы или литературы шестидесятыхъ годовъ. Источникъ гибели Надечки онъ видитъ «въ томъ личномъ, частномъ неудовольствіи, которое обусловливалось противорѣчіемъ между великими преобразованіями настоящаго двадцатипятилѣтія и нѣкоторыми практическими уклоненіями въ сторону отъ прямого пути послѣдовательнаго развитія началъ, вложенныхъ въ основу этихъ преобразованій». Дѣло, по объясненію г. Доброва, состоитъ въ томъ, что мы, русскіе, какъ только столкнулись лицомъ къ лицу съ Европой, такъ и стали ей подражать, цѣликомъ перенося къ себѣ ея идеалы. Такъ наши предки были сначала вольтерьянцами, потомъ масонами, но ничего опаснаго, да даже и просто серьезнаго изъ этого не произошло: и вольтерьянство, и масонство исчезли «такъ», безъ какихъ бы то ни было крупныхъ мѣропріятій противъ нихъ. Современники наши точно также увлекаются европейскими, совершенно намъ чуждыми соціалистическими идеалами, но судьба этого ученія оказывается уже иною. Дѣло опять-таки кончилось бы «такъ», само собою, еслибы почва для него не была расчищена вышеупомянутыми противорѣчіями между коренными основаніями реформъ и практическими отъ нихъ уклоненіями. Надо помнить и понимать, что коренныя основы реформы истекшаго двадцатипятилѣтія необходимо должны были поднять нравственный обликъ русскаго человѣка, развить въ немъ сознаніе гражданскаго долга и сдѣлать его чутче, отзывчивѣе къ разнымъ окружающимъ его аномаліямъ. А между тѣмъ, съ половины шестидесятыхъ годовъ мы видимъ постоянное стѣсненіе печати, явно противорѣчащее духу реформы. Рядомъ съ этимъ практикуются чрезвычайно строгія мѣры относительно молодыхъ людей, по такимъ поводамъ: «у одного нашли запрещенныя книжки, у другого—дневникъ, въ которомъ нашли нѣсколько соціально-политическихъ афоризмовъ, третій оказался знакомъ съ взаправдашнимъ агитаторомъ, быть можетъ, и не зная настоящей политической профессіи послѣдняго; у четвертаго нашли предосудительныя въ политическомъ смыслѣ фотографическія карточки; пятый подъ веселый часъ сказалъ нѣсколько нецензурно-либеральныхъ фразъ, задѣвъ ими какую нибудь губернскую, уѣздную или сельскую власть. Написанная отъ имени крестьянъ жалоба на сельскаго писаря или напечатанная въ газетѣ обличительная корреспонденція тоже иногда отражались непріятными послѣдствіями на «сочинителяхъ», которыхъ задѣтыя ими личности спѣшили представить кому слѣдуетъ, какъ людей не только неблагонадежныхъ, но и агитаторовъ, нетерпимыхъ въ благоустроенномъ обществѣ». Ви-

новные въ подобныхъ дѣлахъ люди изгонялись изъ учебныхъ заведеній, иногда подвергались суду, а въ большей части случаевъ ссылались безъ суда, административнымъ порядкомъ, отдавались подъ полицейскій надзоръ, терпѣли обыски, аресты». Легко себѣ представить, продолжаетъ г. Добровъ, какъ у этихъ людей «неудовольствіе частностями постепенно замѣнялось жгучимъ и весьма опредѣленнымъ чувствомъ ненависти уже не къ отдѣльнымъ личностямъ, а ко всему обществу; какъ изъ людей, безобиднѣйшихъ уже по юности и неопытности ихъ, изъ нихъ могли выработаться не только сильные, такъ сказать, отточенные характеры, но и фанатики». Тѣмъ временемъ торопливость въ дѣлѣ преслѣдованія и разслѣдованія достигла предѣловъ извѣстнаго заявленія гр. Палена о заговорѣ, охватившемъ будто бы 37 губерній. Подобныя извѣстія и слухи, разумѣется, пугали однихъ и радовали другихъ, именно революціонеровъ, выроставшихъ, благодаря имъ, въ собственныхъ глазахъ. А при этомъ еще министерство народнаго просвѣщенія ежегодно выталкивало на улицу изъ среднихъ учебныхъ заведеній сотни юношей, пополнявшихъ собой ряды революціи.

Резюмируя свои соображенія, г. Добровъ говоритъ, что условіями, способствовавшими распространенію соціально-революціоннаго движенія были: «1) появленіе въ средѣ общества обшираго класса не доучившейся молодежи, вынужденной покинуть учебное заведеніе, вслѣдствіе непосильной и изнурительной работы, при томъ надъ предметами, польза которыхъ не уравновѣшивалась съ количествомъ затрачиваемаго труда, а также вслѣдствіе формальнаго, чтобы не сказать безсердечнаго, отношенія учебной администраціи къ учащимся и проистекавшаго отсюда торопливаго и необдуманнаго исключенія провинившихся изъ учебныхъ заведеній; 2) прискорбное заблужденіе второстепенныхъ и третьестепенныхъ исполнителей находить въ каждомъ мелочномъ и нерѣдко необдуманномъ поступкѣ серьезное зло; при чемъ для устраненія этого зла принимались въ большихъ размѣрахъ такія мѣры, которыя вели къ результатамъ, діаметрально противоположнымъ: административная ссылка и состояніе подъ надзоромъ полиціи стали практическою школою, которая давала побывавшимъ въ ней аттестатъ агитаторской зрѣлости; 3) таинственность, которою прикрывались указанныя мѣры и проникавшіе въ общество изъ оффиціальныхъ источниковъ слухи о распространенности заговора, болѣзненно возбуждая общественные нервы, въ то же время, породивъ въ средѣ партіи агитаторовъ преувеличенное самомнѣніе о громадной численности ихъ, искусственно должны были поддерживать и возбуждать ихъ энергію; 4) излишнее недовѣріе администраціи, которое выразилось за послѣднее десятилѣтіе стремленіемъ выдѣлить изъ сферы печатнаго слова откровенное мнѣніе о многихъ животрепещущихъ вопросахъ и событіяхъ дня».

Вотъ, значитъ, отчего погибла Надечка. Ее погубили совсѣмъ не демоны и, можетъ быть, даже не люди, а если люди, настоящіе люди съ плотью и кровью, то, можетъ быть, и чрезвычайно жестокіе, но главное слѣпые и самоувѣренные, ожидавшіе совсѣмъ иныхъ результатовъ. Мнѣ это толкованіе представляется несравненно болѣе вѣроподобнымъ и, во всякомъ случаѣ, гораздо болѣе яснымъ, чѣмъ толкованіе г. Круглова. Вполнѣ удовлетворительнымъ, однако, признать его нельзя. Оно требуетъ весьма существенныхъ дополненій и измѣненій.

У Солохонушки двойное горе: сначала Сонюшка замучена, а потомъ ужъ Надечку буря снесла. Очень натурально, что внучка распрашивала о матери, а бабушка хоть въ общихъ чертахъ разсказала, какъ было дѣло. И можно себѣ представить, что перечувствовала и передумала сирота, узнавъ драму, покончившую существованіе ея матери. При маленькой наклонности теоретизировать—а у какого же юноши этой наклонности нѣтъ? развѣ у самаго лядащаго—Надя жадно впивается въ первый серьезный практическій вопросъ, предлагаемый ей жизнью, и строитъ на немъ цѣлую вавилонскую башню сомнѣній, мучительныхъ думъ и скорбныхъ чувствъ. Что бы ни прибыло впослѣдствіи къ этой башнѣ, что бы изъ нея ни убыло, но въ Надѣ уже на вѣки-вѣчные залегло ядро скептицизма, недовѣрія къ оффиціальной святости семейныхъ узъ, какъ они нынѣ сложились, а зерно даетъ ростокъ, ростокъ развивается, убирается зеленью. Точно также, что бы ни прибыло къ первоначальнымъ скорбнымъ думамъ и что бы изъ нихъ ни убыло, но, по крайней мѣрѣ, на первыхъ порахъ, пока жизнь крылья не отшибла, Надя поневолѣ мечтаетъ о самостоятельной, независимой жизни, не похожей на ту, которою жила ея мать. И вотъ Надя учится и учится, до того учится, что даже въ изумленіе Солохоновну приводитъ. А опять-таки зерно даетъ ростокъ, ростокъ развивается. Отъ школьнаго ученія Надя переходитъ къ внѣ-школьному чтенію, ища отвѣтовъ и разъясненій. Надо замѣтить, что судьба Нади не совсѣмъ подходитъ къ общимъ выводамъ г. Доброва. Она не «неудачница» въ смыслѣ окончанія курса. Напротивъ, она кончаетъ курсъ первою и съ медалью, да и вблизи около себя, въ средѣ

своихъ ближайшихъ друзей, не видитъ неудачниковъ: Сивковы, братъ и сестра, благополучно проходятъ между Сциллой и Харибдой средняго образованія и идутъ все дальше и дальше. Конечно, Надя слышитъ и о тѣхъ вещахъ, о которыхъ говоритъ г. Добровъ—о вышвырнутыхъ изъ учебныхъ заведеній, объ арестахъ и административныхъ ссылкахъ и проч.; вѣроятно, даже не только слышитъ, а видитъ все это, и ея воспріимчивая душа все больше растравляется. Такъ что, хотя личная судьба Нади сложилась благопріятнѣе, чѣмъ на общей картинѣ, нарисованной авторомъ «Откровеннаго слова», но вышеприведенныя разсужденія его остаются и относительно ея въ своей силѣ. Но, мнѣ кажется, что всего этого все-таки недостаточно для полнаго объясненія дѣла.

Въ рецензіи «Откровеннаго слова», напечатанной въ прошломъ номерѣ «Отечественныхъ Записокъ», было уже замѣчено, что слово г. Доброва не заслуживаетъ спеціальнаго эпитета «откровенный» и что, въ частности, несоотвѣтствіе заглавія книжки съ ея содержаніемъ получаетъ свое выраженіе въ мнѣніи г. Доброва, будто бы «надѣлъ крестьянъ землею составляетъ преимущество нашего освобожденія крестьянъ отъ такого же на Западѣ, устранивъ возможность развитія сельскаго пролетаріата». Дѣйствительно, въ печати было столько и столь обстоятельно говорено о степени обезпеченія крестьянъ надѣлами, что «откровенность» г. Доброва производитъ довольно странное впечатлѣніе. А между тѣмъ, г. Добровъ строитъ на своей, ничѣмъ не оправдываемой розовой увѣренности, чрезвычайно важные выводы. Такъ, онъ утверждаетъ, что пессимисты неосновательно указываютъ на «появленіе новаго типа людей низшаго происхожденія, но, путемъ денежной наживы, достигшихъ той могущественнѣйшей власти въ обществѣ, которая обусловливается матеріальнымъ богатствомъ»; неосновательно «указывается на то, что аристократію родовую начинаетъ вытѣснять аристократія денежная, комплектующаяся изъ разношерстной массы всевозможныхъ проходимцевъ или «чумазыхъ», какъ ихъ окрестила наша сатира». И потому именно неосновательно, что «рановато еще вопіять о давленіи у насъ денежной аристократіи надъ остальными классами общества, по той простой причинѣ, что пока у насъ ея еще нѣтъ, если не считать денежною аристократіей отдѣльныхъ личностей, которыя въ такомъ обширномъ государствѣ, какъ Россія, не составляютъ какой-либо замѣтной типичной двигающей силы; также, что касается господства капитала, то оно представляетъ собою еще явленіе, чуждое нашему общественному строю жизни, такъ какъ мы пока можемъ скорѣе жаловаться на отсутствіе у насъ капитала, чѣмъ на преобладаніе его надъ другими производительными силами страны». Сообразно этому, г. Добровъ рѣшительно утверждаетъ, что «въ складѣ нашей жизни нѣтъ такихъ условій, при которыхъ естественно зарождается соціально-революціонное движеніе, то-есть сельскаго и городского пролетаріата».

Знакомыя эти рѣчи и даже не глупыя рѣчи, а все-таки пора бы ихъ перестать говорить. Конечно, у насъ нѣтъ денежной аристократіи и могущественнаго капитала въ томъ смыслѣ, какъ они существуютъ въ Западной Европѣ. Конечно, у насъ нѣтъ и европейскихъ сплоченныхъ, объединенныхъ армій пролетаріата. И если въ тѣхъ книжкахъ, которыя, къ ужасу своему, нашла Солохоновна у внучки, утверждается что-нибудь подобное и если книжки эти имѣли существенное вліяніе на судьбу Нади, то бѣдная дѣвушка погибла изъ-за чистой глупости. Въ этомъ, однако, можно сомнѣваться. Глупость слишкомъ очевидна, чтобы ею могла соблазниться такая дѣвушка, какою г. Кругловъ изображаетъ Надю: серьезная, много учившаяся и на собственной, личной судьбѣ познавшая несчастіе. Правда, золотые годы юности способны увлекаться невидимымъ, какъ бы видимымъ, и близко принимать къ сердцу совсѣмъ чужую, далекую нищету, печаль и обиду. Весьма поэтому вѣроятно, что, читая описанія различныхъ эпизодовъ происходящей въ Европѣ борьбы труда съ капиталомъ, Надя мысленно становилась на сторону труда, его героевъ дѣлала своими героями, ихъ торжество встрѣчала любовно, какъ свое собственное, а ихъ пораженіе, почти какъ личный себѣ ударъ. Но какъ бы далеко ни заходило въ этомъ направленіи сочувствіе Нади, какъ бы ни приближала она къ себѣ силою фантазіи образы и картины европейской борьбы, руководящей нитью, опредѣляемою этими данными, только и могло быть общее направленіе сочувствія въ связи съ нѣкоторыми общими же теоретическими истинами. Въ качествѣ чрезвычайно общаго направленія (сочувствія всѣмъ труждающимся и обремененнымъ) и чрезвычайно общихъ истинъ (нѣкоторыя истины экономической науки), это направленіе и эти истины покрывали, конечно, собою и окружавшую Надю русскую дѣйствительность. Иначе и быть не можетъ. Говорятъ, дуракамъ законъ не писанъ. Но есть неписанные законы, обязательные и для дураковъ. А мы и не дураки вдобавокъ. Но, чтобы Надя отождествляла конкретную русскую дѣйствительность съ

такою же конкретною европейскою дѣйствительностью и чтобы, слѣдовательно, она съ пользою могла выслушать поученія г. Доброва, это совершенно невѣроятно. Но допустимъ невѣроятное. Допустимъ, что Надя, въ припадкѣ галлюцинацій, въ родѣ дон-кихотовскихъ, увидѣла вокругъ себя, на своей родной почвѣ, европейскихъ рабочихъ и капиталъ, ворочающій милліонами. Но въ такомъ случаѣ судьба ея была бы столь мало типична, столь исключительна, что имѣла бы развѣ только психическій интересъ. Повисла бы она себѣ одинокая, на подобіе одинокаго ламанчскаго рыцаря, на крылѣ вѣтряной мельницы, принятой ею за великана, и только. Врачъ-психіатръ можетъ съ любопытствомъ остановиться на этомъ случаѣ, но публицисту съ нимъ дѣлать ничего. А въ нашемъ казусѣ есть, очевидно, какая-то работа для публицистики, во-первыхъ, потому, что публицистика имъ, дѣйствительно, занимается, а во-вторыхъ, потому, что у Нади есть подруга Варя, у Вари братъ Вадимъ, а у Вадима опять друзья.

Какія книжки Солохоновна нашла у внучки, какого именно содержанія, г. Кругловъ не говоритъ и я не знаю. Но знаю, что въ весьма многихъ книжкахъ, которыя должны были попадаться Надѣ, рекомендуется, напримѣръ, сохраненіе крестьянской общины, предоставленіе мужику бо́льшаго количества земли и лучшаго качества, сокращеніе лежащей на немъ податной тяжести и проч., и все это обыкновенно мотивируется желаніемъ удержать мужика на землѣ, съ которою онъ и самъ разстается только поневолѣ; желаніемъ, чтобы онъ не оказался «свободнымъ, какъ птица» европейскимъ пролетаріемъ. Уже по одному этому можно думать, что соображенія г. Доброва, поскольку въ нихъ заключается истина, не новость для Нади. И уже по одному этому надо думать, что Надя не мечтала о русской борьбѣ между трудомъ и капиталомъ на чисто европейскій ладъ. Еслибы она желала буквальнаго повторенія у насъ этой борьбы, она должна была бы сочувствовать всякимъ прямымъ и косвеннымъ причинамъ обезземеленія мужика и вообще всему, что дѣлаетъ его жизнь невыносимою. Но въ Надѣ такое сочувствіе было бы, разумѣется, совершенно противоестественно. Все, что можетъ внушить ей опытъ европейской борьбы, въ качествѣ руководящей нити, это—опасеніе, какъ бы не повторилась у насъ эта неприглядная сторона европейской исторіи. Весьма можетъ быть, что, подыскивая аналогіи, дѣлая сближенія, ища вокругъ себя зародышей того, что разрослось такъ страшно въ Европѣ, Надя въ частностяхъ заблуждается и преувеличиваетъ. Но большой бѣды тутъ, кажется, нѣтъ, потому что заблуждаться свойственно человѣку вообще, и надо только, чтобы открытое, но совершенно открытое обсужденіе вещей помогало заблуждающимся выходить на путь истины. Во всякомъ случаѣ, до сихъ поръ, до этого момента исторіи Нади, она не предоставляетъ ничего предосудительнаго, какъ въ смыслѣ логики, такъ и во всѣхъ другихъ смыслахъ. И г. Доброву все еще нечему учить Надю.

Кто же возьметъ на себя великій трудъ предотвращенія историческихъ путей родины отъ повторенія европейской борьбы? Очевидно, правительство. Оно обладаетъ и нужными для этого средствами, и не менѣе нужнымъ безпристрастіемъ, незаинтересованностью въ торжествѣ неправды. Такова непремѣнно была мысль Нади. Она ее и изъ многихъ книжекъ могла почерпнуть, и русскихъ, и иностранныхъ, да и изо всего склада русской жизни. Разсказываютъ, что одинъ изъ такъ называемыхъ петрашевцевъ, донынѣ здравствующій, глубоко поразилъ своими показаніями императора Николая; глубоко и въ совершенно благопріятномъ смыслѣ, ибо въ показаніяхъ этихъ развивалась та мысль, что правительству, и только правительству, предстоитъ въ Россіи роль водворителя всеобщаго мира и счастія, какъ ихъ понималъ обвиняемый.

Тѣмъ временемъ Надя, собственнымъ-ли наблюденіемъ, чтеніемъ-ли, или разсказами наблюдателей, убѣждается, что пока еще что будетъ, а уже и теперь мужикъ опутанъ и все больше и больше опутывается такою сѣтью, какую развѣ особенно хитрому пауку удается сплести. Она и паука видитъ. Это и есть «новый типъ людей низшаго происхожденія, но путемъ денежной наживы достигшій той могущественнѣйшей власти въ обществѣ, которая обусловливается матеріальнымъ богатствомъ». Г. Добровъ эту характеристику иронически дѣлаетъ и прибавляетъ, что у насъ нѣтъ еще «новѣйшихъ феодаловъ, высокія трубы фабрикъ которыхъ напоминаютъ высокія башни замковъ, а поселившееся вокругъ этихъ фабрикъ многочисленное рабочее населеніе, безусловно зависимое отъ владѣтелей этихъ новѣйшихъ замковъ—средневѣковыхъ виллановъ». И совершенно это напрасная иронія г. Доброва. Положимъ, что и «новѣйшіе феодалы» у насъ есть, количествомъ, конечно, поменьше, чѣмъ въ Европѣ, но за то качествомъ во многихъ отношеніяхъ гораздо похуже. Да и не объ новѣйшихъ феодалахъ теперь рѣчь, а просто о Дерновыхъ да Колупаевыхъ, которыхъ, и безъ указаній г. Доброва, никто съ Борзигами не смѣшиваетъ. Ихъ, разумѣется, не сравнишь съ баронами, у которыхъ поступь гордая, рѣчи

громкія и трубачи и герольды впереди ѣдутъ. Нѣтъ, они гдѣ ползкомъ, гдѣ ничкомъ. Вѣдь и у пауковъ разные нравы бываютъ: одни хватаютъ наскокомъ, а другіе исподволь подкрадываются. Во всякомъ же случаѣ паукъ есть паукъ, особливо, когда у него есть помощникъ, котораго Щедринъ окрестилъ вопросительной кличкой «quibus auxilliis».

Зайдите въ любой хорошій посудный магазинъ въ С.-Петербургѣ, изъ тѣхъ, которые торгуютъ товаромъ русскихъ фабрикъ, и поищите тамъ фарфоровую группу (преспанье) слѣдующаго содержанія: столъ, покрытый зеленымъ сукномъ; у стола въ креслѣ сидитъ человѣкъ въ черномъ сюртукѣ съ стоячимъ краснымъ воротникомъ и красными обшлагами, а около него прислонился къ креслу кулекъ, изъ котораго торчатъ голова сахару, бутылка и еще что-то; человѣкъ въ черномъ сюртукѣ съ краснымъ воротникомъ стучитъ кулакомъ по столу и комически грозно смотритъ на стоящую противъ него понурую фигуру мужика съ опущенной головой и сложенными на животѣ руками; съ другой стороны стола, съ той, которая ближе къ кульку, стоитъ тоже мужикъ или мѣщанинъ съ клинообразной бородкой; франтоватымъ, но почтительнымъ жестомъ, онъ одной рукой указываетъ грозному человѣку на понураго мужика, а другую держитъ за спиной. Группа сдѣлана довольно аляповато, и неизвѣстный художникъ, ея творецъ, имѣлъ, вѣроятно, въ виду самое элементарное обличеніе во взяточничествѣ. Но она мнѣ нравится. Я держу ее у себя на письменномъ столѣ и часто, глядя на нее, думаю, что здѣсь не хватаетъ еще одной фигуры, о которой художникъ, можетъ быть, не слыхалъ и съ которой онъ, можетъ быть, и не справился бы.

Эта недостающая фигура—Надя.

Надя прослышала, что понурый мужикъ имѣетъ чрезвычайно странныя понятія о вещахъ. Такъ, ея собственная бабушка, просвирня Серафима Солохоновна, какъ разсказываетъ г. Кругловъ, научила понураго мужика, что у него пройдетъ лихорадка, если онъ сожжетъ надъ рюмкой богоявленской воды три бумажки и потомъ эту воду выпьетъ, а на бумажкахъ должна быть слѣдующая надпись въ такомъ точно видѣ:

Абракалаусъ
Бракалаусъ
Ракалаусъ
Акалаусъ
Калаусъ
Алаусъ
Лаусъ
Аусъ
Усъ
Съ
Ъ

и 12 сестеръ ея.
Господи, раба твоего прости и избави!
Аминь.

Увѣренъ еще понурый мужикъ, что къ медикамъ за совѣтами обращаться не слѣдуетъ, какъ къ «суетному спасенію человѣческому». А что къ каждой его не только болѣзни, но и всякой вообще нуждѣ приставленъ особый, спеціальный святой, къ которому и слѣдуетъ обращаться съ спеціальною опять-таки молитвою. Такія прибѣжища есть «не только при недостаткѣ материнаго молока, слабомъ ученіи дѣтей, гоненіи жены мужемъ, но и при торговыхъ дѣлахъ, не исключая даже торговли виномъ и крѣпкими напитками». Всему этому понурый мужикъ научился отъ протоіерея Евгенія Попова въ Перми, издавшаго въ прошломъ году брошюру: «Святые, имѣющіе особенную благодать помогать въ разныхъ болѣзняхъ и другихъ нуждахъ». Я, къ сожалѣнію, этой брошюры не видалъ и узналъ объ ея существованіи изъ «Вѣстника Европы».

И когда женѣ понурнаго мужика приходитъ пора родить, онъ велитъ подвѣшивать ее на веревкахъ къ потолку и встряхивать ее; а если у его ребенка животъ болитъ, онъ ловитъ мышенка и пускаетъ его на животикъ младенца: гдѣ мышь укуситъ, тамъ и есть больное мѣсто, и отъ этого укушенія болѣзнь проходитъ.

Много еще разныхъ другихъ странныхъ вещей знаетъ понурый мужикъ, не говоря уже объ увѣренности, что земля на трехъ китахъ стоитъ, каковую увѣренность раздѣляетъ и «плачущій съ народомъ» Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ.

Но Надя не хочетъ, да и не можетъ плакать съ народомъ. Ей это представляется и не нужнымъ, и не честнымъ, и безсмысленнымъ. И вотъ она пришла къ понурому мужику, чтобы помочь ему, его женѣ и его ребенку избавиться мало-мальски отъ разныхъ подвѣшиваній и укушеній. Видитъ она человѣка, не только темнаго до темноты «абракалауса» и мышинаго укушенія, но и нищаго, какъ Іовъ. Видитъ, что человѣкъ съ клинообразной бородкой и франтоватыми, но почтительными жестами, при помощи quibus auxilliis въ черномъ сюртукѣ съ краснымъ воротникомъ, опуталъ его, темнаго и нищаго, какъ муху. Надя грамотѣ знаетъ. Можетъ разныя книжки читать, понимать и другимъ объяснять, въ томъ числѣ и положеніе о крестьянахъ, и уставъ о воинской повинности, и судебные уставы. Она видитъ, что можетъ разъяснить понурому мужику не только дозволительность обращенія къ «суетному спасенію человѣческому», то-есть къ доктору или фельдшеру, но противозаконность, именно

противозаконность, а не безчеловѣчность только ярма, наложеннаго на него человѣкомъ съ франтоватымъ, но почтительнымъ жестомъ. Но и этотъ человѣкъ тоже не слѣпъ. Онъ понимаетъ, что такимъ манеромъ муха, пожалуй, и проскочитъ сквозь паутину или, по крайней мѣрѣ, слишкомъ долго заставитъ съ собой провозиться. Онъ отправляется съ своими сомнѣніями и опасеніями къ quibus auxilliis. А затѣмъ происходитъ та сцена, которой недостаетъ на моей аляповатой фарфоровой группѣ, потому что недостаетъ и самой Нади, но которую г. Добровъ несомнѣнно признаетъ реальною, ибо и въ его «откровенномъ словѣ» читаемъ: «написанная отъ имени крестьянъ жалоба на сельскаго писаря или напечатанная въ газетѣ обличительная корреспонденція тоже иногда отражались непріятными послѣдствіями на «сочинителяхъ», которыхъ задѣтыя ими личности спѣшили представить кому слѣдуетъ, какъ людей не только неблагонадежныхъ, но и агитаторовъ, нетерпимыхъ въ благоустроенномъ обществѣ».

По самому существу дѣла, эта часть исторіи Нади не обнаружена и въ подробностяхъ неизвѣстна. Но что она могла происходить именно такимъ образомъ, это видно изъ напечатанныхъ недавно въ газетахъ фактовъ изъ иной, хотя и очень близкой области. Напримѣръ, изъ извѣстія, что административный ссыльный, водворенный въ Пинегѣ, переведенъ мѣстною администраціею изъ этого прекраснаго города въ еще болѣе прекрасную Мезень, за газетную корреспонденцію; или изъ исторіи въ высшей степени сложныхъ и наглыхъ интригъ, погубившихъ газету «Сибирь», о чемъ г. Нестеровъ недавно подробно разсказалъ въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ».

Итакъ, нельзя сомнѣваться въ справедливости показаній г. Доброва относительно вліянія практики бывшаго министерства народнаго просвѣщенія, торопливости администраціи въ дѣлѣ пресѣченія и предупрежденія, недовѣрія къ свободному голосу печати—на судьбу Нади. Но слагающаяся изъ этихъ данныхъ картина неполна безъ понураго мужика, этого неизбѣжнаго ингредіента всякой русской картины. Что бы ни говорилъ г. Добровъ объ «обезпеченности», и какъ бы мы ни были строги къ Надѣ, есть двѣ вещи, которыхъ отъ нея никоимъ образомъ требовать нельзя: 1) незнакомства съ тѣмъ, чего, повидимому, не знаетъ г. Добровъ, ну хоть, напримѣръ, съ извѣстнымъ трудомъ профессора Янсона, и 2) черствaго сердца.

Я очень хорошо понимаю, что все вышесказанное неполно, отрывочно, незакончено. Но я и предупредилъ читателя, что рѣшился тронуть ключій вопросъ не для всесторонняго его разсмотрѣнія и разрѣшенія, а единственно ради одного практическаго вывода.

Выводъ этотъ вотъ какой.

Если первый толчокъ скептицизму и скорбнымъ думамъ Нади данъ варварскимъ убійствомъ ея матери, то-есть безобразіемъ семейнаго строя, то не Надя въ этомъ виновата, а надо придумать средства для возвышенія нравственнаго уровня общества. Средства для этого есть нехитрыя, но не объ нихъ теперь рѣчь.

Голодъ, охватившій Россію, даже въ наиболѣе розово смотрящихъ людяхъ (въ родѣ «Московскихъ Вѣдомостей») вызываетъ и опасенія, и проекты чрезвычайныхъ государственныхъ мѣръ, каковы пріостановка вывоза хлѣба за границу, предпріятіе большихъ государственныхъ работъ и проч. Остается только ожидать всеобщаго признанія того несомнѣннаго факта, что настоящее положеніе вещей есть лишь обостренное неурожаемъ выраженіе нашихъ экономическихъ порядковъ вообще. Это къ роли понураго мужика въ исторіи Нади.

Практика бывшаго министерства народнаго просвѣщенія самимъ правительствомъ признана неудовлетворительною, хотя новый министръ и не обѣщаетъ никакого крутого поворота. Значитъ, поскольку эта практика вліяла на Надю, Надя реабилитирована.

Недовѣріе къ свободному голосу печати въ принципѣ ослабѣло, хотя мы и до сихъ поръ еще видимъ прискорбныя уклоненія отъ принципа.

Сокращенія торопливости въ дѣлѣ пресѣченія и предупрежденія мы не видимъ, но, конечно, потому что и самую торопливость не вполнѣ открыто видѣли. Мы имѣемъ, однако, симптомъ въ пересмотрѣ дѣлъ нѣкоторыхъ ссыльныхъ и возвращеніи ихъ на родину. Значитъ, фактъ излишней торопливости признанъ, а онъ, согласно справедливому разсужденію г. Доброва, игралъ существенную роль въ исторіи Нади.

Изъ всего этого, мнѣ кажется, логически слѣдуетъ то заключеніе, что Надя должна быть возвращена бабушкѣ Солохоновнѣ и обществу. Можетъ быть, она и находится въ числѣ возвращенныхъ, но у нея была подруга Варя Сивкова, а у Вари братъ Вадимъ. На нихъ тоже вліяли условія, нынѣ всѣми или почти всѣми признанныя, по малой мѣрѣ, неудовлетворительными. Стало быть...

Возвращеніе Нади, Вари, Вадима есть дѣло власти. Но вотъ мнѣ кажется, что можетъ и должно сдѣлать общество. Кто видѣлъ кого-нибудь изъ тѣхъ немногихъ административныхъ ссыльныхъ, которые нынѣ возвращены обществу или которымъ возвращено общество (такихъ есть нѣсколько въ

Петербургѣ, есть, разумѣется, и въ провинціи), тотъ не можетъ думать объ ихъ судьбѣ безъ ужаса. Безъ гроша денегъ, безъ теплаго платья, безъ занятій и почти безъ возможности найти таковыя, эти несчастные люди—точно растенія, вырванныя съ корнемъ и брошенныя на чуждую почву. Корни есть, вы это видите, значитъ, есть и силы, хотя и подточенныя, а жить все-таки нечѣмъ. Будучи въ ссылкѣ, эти люди получали извѣстное пособіе отъ казны, болѣе, чѣмъ скромное, конечно, но съ освобожденіемъ они естественно лишаются и всякаго казеннаго попеченія, кромѣ развѣ полицейскаго надзора. Полагаю, что общество можетъ и должно избавить ихъ отъ голода, холода и всякихъ униженій не случайными, единичными подачками.

IX. Ноябрь.

Ахъ, какія сердитыя существа выскакиваютъ изъ подворотень «Новаго Времени» и «Берега» аккуратно каждый мѣсяцъ вслѣдъ за выходомъ номера «Отечественныхъ Записокъ»! И какъ мнѣ, бѣдному, всякій разъ отъ нихъ достается! Просто, писать страшно... Но самая моя большая бѣда въ томъ состоитъ, что я рѣшительно не могу догадаться, чего отъ меня эти сердитыя существа хотятъ и отчего они такъ сердиты. Радъ бы угодить, но не знаю чѣмъ. Вижу, что изъ себя люди выходятъ: и рвутъ, и мечутъ, и мимоходящихъ пѣной отъ злобы обдаютъ, а за что—неизвѣстно. Можно одно только понять: по предположенію сердитыхъ существъ, я *долженъ* имѣть въ запасѣ ужасно либеральныя мысли, но... Но тутъ-то и начинается совершенно непонятный для меня сумбуръ. Выходитъ какъ-то такъ, что хотя я и долженъ имѣть ужасно либеральныя мысли, но 1) ихъ вовсе не имѣю, 2) дѣйствительно ихъ имѣю, 3) прячу ихъ по свойственному мнѣ коварству, 4) прячу ихъ изъ трусости. Эти четыре предположенія или утвержденія, не знаю, какъ назвать, комбинируются такъ и этакъ, сочетаются и разъединяются на разныя манеры. На все это я могъ бы сказать: ахъ, господа, ну, уличили вы меня въ ужасно либеральныхъ мысляхъ и въ неимѣніи таковыхъ, въ трусости и въ коварствѣ, ну уличили разъ, уличили два, но зачѣмъ же эта ежемѣсячная ярость? И если есть у васъ что-нибудь еще не высказанное, что могло бы объяснить эту ярость, то сдѣлайте одолженіе—откройтесь...

На этомъ я могъ бы и покончить разговоръ съ сердитыми существами, періодически выскакивающими изъ подворотень «Новаго Времени» и «Берега». Но мнѣ хочется дать дѣлу другой оборотъ. Это зацѣпистое, если можно такъ выразиться, изслѣдованіе ужаснаго либерализма, гнѣздящагося или совершенно не гнѣздящагося, но долженствующаго гнѣздиться въ моей душѣ, по странной ассоціаціи представленій, вызываетъ въ моей памяти нѣкоторые образы и картины изъ недавняго прошлаго.

Дѣло было лѣтомъ прошлаго 1879 года. Я жилъ на дачѣ. Чудесная, теплая, лунная ночь была, я долго гулялъ и, наконецъ, легъ спать. Но не успѣлъ еще и задремать, какъ въ дверь раздался сильный стукъ. Какъ былъ, не одѣтый, я подошелъ къ окну, отворилъ его и увидѣлъ толпу людей. При лунномъ освѣщеніи картина была довольно эффектная. Но мнѣ было не до художественныхъ эффектовъ, потому что въ ту же минуту, какъ я, на чей-то вопросъ, назвалъ себя, я почувствовалъ, что руки мои охвачены точно желѣзнымъ кольцомъ. Обязанность желѣзнаго кольца исправляли руки жандарма, стоявшаго у окна (оно было низко, аршина на два отъ земли). Напрасно объяснялъ я, что не думаю ни бѣжать, ни сопротивляться. Жандармъ держалъ крѣпко и даже не смотрѣлъ на меня, показывая мнѣ лишь свой профиль, одну румяную щеку и одинъ густо нафабренный усъ: взоръ же его, да, вѣроятно, и душа были устремлены въ ту сторону, гдѣ блистали при лунномъ освѣщеніи офицерскіе погоны. Но офицерскіе погоны также не внимали моимъ заявленіямъ и я только тогда освободился отъ желѣзнаго кольца, когда нежданнымъ гостямъ была отворена дверь. Жандармскій майоръ, нѣсколько жандармовъ солдатъ, становой приставъ, понятые крестьяне наполнили комнату... Первые шаги обыска были очень обидны для чувства нравственной брезгливости, но это—мимо. Съ теченіемъ времени оказалось, что господинъ майоръ, исполнявшій роль главнокомандующаго, очень, въ сущности, добродушный человѣкъ, но нѣсколько беззаботный насчетъ литературы. Отвлеченно говоря, въ этомъ нѣтъ большой бѣды, но въ данномъ случаѣ, при обыскѣ въ квартирѣ литератора, выходило довольно оригинально. Разумѣется, и рѣчи быть не могло объ томъ, чтобы господинъ майоръ зналъ меня, какъ литератора, хотя бы даже только по имени. Да и въ самомъ дѣлѣ, это уже было бы слишкомъ роскошно. Но все-таки... Такъ, напримѣръ, когда господинъ майоръ увидалъ книгу Рихарда фонъ-деръ-Альма «Theologische Briefe», то не безъ укоризны спросилъ, почему у меня имѣются лейпцигскія изданія. Пораженный этою идеею, я нашелся только сказать, что въ Лейпцигѣ издается довольно много книгъ. Становой приставъ, знавшій, какъ оказалось, нѣмецкій языкъ, подтвердилъ мою мысль и, за-

глянувъ въ книгу, удостовѣрилъ, что ничего преступнаго она въ себѣ не заключаетъ. При осмотрѣ другихъ книгъ, рукописей, корректуръ, дѣловыхъ писемъ, бумагъ литературнаго фонда, господинъ становой приставъ также оказалъ не мало услугъ... Во всякомъ случаѣ, часу къ шестому утра, когда солнце уже поднялось для своего ежедневнаго осмотра земныхъ дѣлъ, я былъ полноправнымъ русскимъ гражданиномъ, у котораго, по тщательномъ обыскѣ, ничего предосудительнаго не найдено...

На другой же день, я поѣхалъ на свою городскую квартиру, но нашелъ ее запечатанною. Явилась полиція, распечатала квартиру и опять я присутствовалъ при переборкѣ книгъ, писемъ, рукописей, корректуръ, вообще всего того хлама, который, однако, только постороннимъ лицамъ представляется хламомъ, подлежащимъ хаотическому выбрасыванію изъ столовъ и шкафовъ. На этотъ разъ я имѣлъ дѣло не съ просто добродушнымъ человѣкомъ, а съ характеромъ довольно мрачнымъ и наклоннымъ къ скептицизму. Предводительствовавшій обыскомъ полицейскій офицеръ съ перваго же слова обнаружилъ сухую, дѣловую вѣжливость, каковую и выдержалъ до конца. Однако, насчетъ литературы онъ оказался также довольно беззаботнымъ. Найдя нѣсколько сотъ экземпляровъ перваго тома моихъ сочиненій, связанныхъ пачками, онъ велѣлъ городовымъ и дворникамъ развязать ихъ и затѣмъ, при помощи околодочнаго надзирателя, съ мрачною добросовѣстностью пересмотрѣлъ каждый экземпляръ въ отдѣльности. При этомъ онъ съ нѣкоторою строгостью спросилъ, почему на книгѣ нѣтъ помѣтки: «дозволено цензурою». Однако, выслушавъ отъ меня краткое изложеніе дѣйствующаго законодательства о печати, удовлетворился. Не такъ легко повѣрилъ онъ, что обратившая на себя его вниманіе малороссійская брошюра есть, дѣйствительно, малороссійская, а не польская, какъ онъ почему-то думалъ. Но повѣрилъ-ли онъ въ концѣ-концовъ моей диссертаціи о латинской азбукѣ, коею пользуются поляки, или разсудилъ, что изслѣдованіе языка, на которомъ напечатана брошюра, есть, въ сущности, задача филологіи, а не полиціи, я во всякомъ случаѣ опять почувствовалъ себя полноправнымъ русскимъ гражданиномъ, у котораго ничего предосудительнаго не найдено...

Прошло нѣсколько времени. Наступила осень. И вотъ, въ одну прекрасную ночь, я увидѣлъ около своей кровати необыкновенно большого роста околодочнаго надзирателя со свѣчей въ рукахъ. Непріятное, я вамъ скажу, пробужденіе, но при нѣкоторой привычкѣ и особенно, когда твердо знаешь, что вотъ пройдетъ нѣсколько скучныхъ часовъ и тебѣ подтвердятъ, что ты полноправный русскій гражданинъ, у котораго ничего предосудительнаго не найдено; при этихъ, говорю, условіяхъ, претерпѣть можно. Итакъ, я всталъ... Главнымъ изслѣдователемъ былъ опять новый типъ—ловкій, развязный, почти изящный капитанъ, на лицѣ котораго суровость предстоявшей ему миссіи умѣрялась присущею истинно свѣтскому человѣку благосклонностью. Заявивъ о цѣли своего посѣщенія, онъ прямо спросилъ: «Есть у васъ что-нибудь неподлежащее?»—Ничего нѣтъ—«Скажите лучше сами, все равно найдемъ».—Ищите—... Изо всѣхъ, видѣнныхъ мною изслѣдователей, капитанъ былъ наименѣе беззаботенъ насчетъ литературы. Онъ обнаружилъ короткое знакомство съ иностранною политикою, и, увидавъ портретъ Гарибальди, шутливо замѣтилъ: «Экъ вы его въ уголъ повѣсили, точно на Капреру сослали!» и при этомъ тщательно заглянулъ за портретъ. Но по дѣламъ внутренней политики, благоразумно не шелъ дальше еврейскаго вопроса. О писателяхъ или, по крайней мѣрѣ, о ихъ образѣ жизни имѣлъ не лишенное ясности представленіе. Такъ, на мой вопросъ о причинахъ столь учащенныхъ ночныхъ посѣщеній, онъ съ твердостью отвѣтилъ, что не знаетъ, но еслибы и зналъ, то не сказалъ бы, но тутъ же шутливо прибавилъ: «литераторы ведутъ сидячую жизнь, маленькое волненіе имъ время отъ времени полезно». Это была шутка свѣтскаго человѣка... Я ввелъ бы, однако, читателя въ заблужденіе, еслибы рекомендовалъ капитана совершенно свободнымъ отъ беззаботности насчетъ литературы. Но, обладая тактомъ свѣтскаго человѣка, онъ ловко обходилъ подводные камни, въ родѣ лейпцигскихъ изданій, дѣйствующаго законодательства о печати, латинской азбуки и проч. Замѣтивъ, что, перебирая вмѣстѣ съ необыкновенно большого роста околодочнымъ надзирателемъ библіотеку, капитанъ очень утомился, я сказалъ: «Капитанъ! вы видите, что неразсмотрѣнныхъ книгъ еще много, а такъ какъ васъ интересуютъ, повидимому, не самыя книги, а возможность найти въ нихъ какое-нибудь «неподлежащее» письмо, листокъ, рукопись, что-нибудь въ этомъ родѣ, то позвольте вамъ предложить такую мѣру: пусть городовые и понятые перелистываютъ книги—въ десять-двѣнадцать рукъ операція живо кончится». Капитанъ согласился, дѣло пошло, дѣйствительно, скоро, и я, наконецъ, дождался той минуты, когда капитанъ сѣлъ писать протоколъ. Протоколъ былъ слѣдующаго, примѣрно, содержанія: у такого-то ничего предосудительнаго не найдено, а потому онъ можетъ считать себя полноправнымъ русскимъ гражданиномъ, но съ

отобраніемъ у него паспорта и подписки о невыѣздѣ...

Послѣднее было, во-первыхъ, неожиданно, а во-вторыхъ, не обѣщало веселыхъ перспективъ. Поэтому я написалъ подлежащему начальству письмо съ просьбою разъяснить мнѣ, путемъ допроса или инымъ, въ чемъ я подозрѣваюсь. Въ отвѣтъ я получилъ, черезъ нѣсколько дней, надлежащее приглашеніе, и въ концѣ-концовъ, бумаги были мнѣ возвращены безъ всякихъ объясненій...

Я очень хорошо знаю, что сердитыя существа «Берега» и «Новаго Времени» меня за этотъ разсказъ не похвалятъ. Они скажутъ, что я желаю изобразить себя «ужасно либеральнымъ» страдальцемъ, что въ разсказѣ сквозитъ «проклятое ненавистничанье», достойное большаго возмездія, и вообще, съ пѣной у рта, наговорятъ очень много совершенно неподходящаго вздора. Не потому, чтобы я хотѣлъ этотъ вздоръ парировать, а единственно въ интересахъ нижеслѣдующаго изложенія считаю нужнымъ пояснить, зачѣмъ я все это разсказалъ.

Вотъ зачѣмъ. Во-первыхъ, отрицательный резонъ: отчего бы и не разсказать? Я очень хорошо знаю, что у многихъ другихъ есть въ запасѣ этого же рода разсказы, гораздо болѣе яркіе, такъ сказать въ превосходной степени, что на мою долю достались сравнительно пустяки. Но и они, мнѣ кажется, любопытны. Во-вторыхъ, что вы подѣлаете, разъ въ мозгу вашемъ произошла неразрывная ассоціація необъяснимой ежемѣсячной ярости «Берега» и «Новаго Времени» и столь же необъяснимой учащенности ночныхъ визитовъ? Если справедливо, что написаннаго перомъ не вырубишь топоромъ, такъ ассоціаціи идей, разъ она совершилась, и подавно ничѣмъ не разрубишь. Волей-неволей, надо отдаться этому «теченію мысли», стараясь только извлечь изъ него возможную пользу. Я сейчасъ и постараюсь, и тогда читатель фактически увидитъ цѣль разсказа.

Дѣло происходило, очевидно, такимъ образомъ. Упраздненное нынѣ, но приснопамятное III отдѣленіе, путемъ какихъ-нибудь слуховъ, убѣдилось, что у меня въ домѣ должно находиться нѣчто «неподлежащее», но что именно—неизвѣстно. И вотъ начинается изслѣдованіе этого неизвѣстнаго, но долженствующаго у меня быть неподлежащаго, при помощи самыхъ разнообразныхъ и даже взаимно исключающихся пріемовъ: то желѣзное кольцо жандармскихъ рукъ, когда я не думаю ни бѣжать, ни сопротивляться, то шутки свѣтскаго капитана, опять-таки мною ничѣмъ не вызванныя и не заслуженныя; три протокола о ненахожденіи ничего предосудительнаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, отобраніе паспорта и подписки о невыѣздѣ, когда я и безъ того о выѣздѣ не помышляю. Въ одномъ только отношеніи всѣ дѣйствія всѣхъ изслѣдователей были равны или почти равны между собою: всѣ они отличались беззаботностью насчетъ литературы. Повторяю, въ этомъ нѣтъ большой бѣды, разсматривая вещи отвлеченно, но въ данномъ случаѣ, согласитесь, это обстоятельство никакихъ затрудненій не устраняло, ничего не уясняло, а напротивъ, обременяло и меня, и господъ изслѣдователей. Еслибы у меня что-нибудь неподлежащее, дѣйствительно, хранилось и было открыто, то было бы не трудно отвести глаза изслѣдователямъ, столь прекраснымъ во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, но столь беззаботнымъ насчетъ литературы. Съ другой стороны, и они, благодаря этой беззаботности, могли бы придать совершенно несоотвѣтствующее значеніе какому-нибудь «лейпцигскому изданію» или книгѣ безъ цензурной помѣтки. Все это и вынудило меня, наконецъ, просить, чтобы мнѣ разъяснили, чего отъ меня надо и чего у меня ищутъ.

Этого же рода просьбу представляю я теперь сердитымъ существамъ «Берега» и «Новаго Времени», которыя лѣзутъ ко мнѣ въ душу съ такою же настойчивостью и съ такимъ же разнообразіемъ пріемовъ, съ какими изслѣдователи посѣщали меня ночнымъ временемъ. Спѣшу, однако, оговориться: полной аналогіи я провести не могу, ибо господа изслѣдователи сами по себѣ, конечно, ие питали ко мнѣ злобы, а сердитыя существа переполнены злобой, такъ что черезъ край бѣжитъ, въ родѣ, какъ самовары, своевременно не закрытые. За то во всѣхъ другихъ отношеніяхъ аналогія весьма близкая. На первомъ планѣ стоитъ, разумѣется, требованіе: вынь да положь неподлежащее, оно у тебя должно быть. Изслѣдователи предъявляютъ это требованіе съ прямотою лицъ, власть имѣющихъ, и притомъ въ душу не вторгаются, а довольствуются осмотромъ предметовъ вещественныхъ. Напротивъ, сердитыя существа, во-первыхъ, вещественными знаками не удовлетворяются, а ищутъ невещественныхъ отношеній; во-вторыхъ, задаютъ свой вопросъ не прямо, а либо съ доносомъ (сколько онъ душъ-то либерализмомъ загубилъ!), либо съ комическимъ поддразниваніемъ (ничего въ немъ такого ужасно либеральнаго нѣтъ!). Но требованіе-то всетаки одно и то же. Аналогія идетъ и дальше. Даже до беззаботности насчетъ литературы. Конечно, сердитыя существа—литераторы; это я слишкомъ хорошо знаю, ибо, будучи самъ литераторомъ, часто вынужденъ стыдиться за ихъ существованіе. Но это еще ничего не значитъ.

Г. Суворинъ однажды, съ свойственною ему развязностью, объявилъ печатно, что не читалъ ни одной моей статьи, но что это не мѣшаетъ ему писать о моихъ статьяхъ. Еще бы! Сердитыя существа находятся въ иномъ положеніи: они свидѣтельствуютъ своею ежемѣсячною яростью, что читаютъ меня весьма усердно. Но гоголевскій Петрушка тоже вѣдь читалъ!

И еще одна черта аналогіи. Изслѣдователь слыхалъ о «неподлежащихъ» лейпцигскихъ изданіяхъ, можетъ быть, даже видалъ ихъ и въ рукахъ держалъ. Объяснить ему, что въ качествѣ литератора я имѣю право держать у себя даже завѣдомо неподлежащія изданія (ну, хотя бы для опроверженія ихъ), разумѣется, нѣтъ возможности. Но этого мало. Свое случайное и поверхностное знакомство съ лейпцигскими изданіями изслѣдователь обобщаетъ: невинный городъ Лейпцигъ представляется ему источникомъ исключительно неподлежащихъ писаній. Совершенно такимъ же образомъ сердитыя существа, обобщая свое скудное знакомство съ различными политическими теоріями, пришли къ убѣжденію, что «неподлежащее» и «либерализмъ»—синонимы. Еще въ тѣ времена, когда нынѣшнее «Новое Время» напропалую либеральничало въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», а «Берегъ» разводилъ бобы въ Харьковѣ или Одессѣ, я имѣлъ неоднократно случаи разъяснять это довольно распространенное недоразумѣніе. И если теперь думаю возвратиться къ этой темѣ, то, разумѣется, не ради сердитыхъ существъ, а ради общаго интереса темы.

Въ самомъ дѣлѣ, мнѣ кажется, что яростныя выскакиванія сердитыхъ существъ и разсказанные мною эпизоды изслѣдованія, будучи сопоставлены, естественно наводятъ на вопросъ: что же это такое, это таинственное неподлежащее, которое нужно обнаружить и изъять изъ обращенія? Я не думаю, чтобы кто-нибудь съумѣлъ отвѣтить на этотъ вопросъ. Газета «Страна» напечатала недавно длинный списокъ темъ, о которыхъ главное управленіе по дѣламъ печати особыми, сепаратными распоряженіями рекомендовало въ 1879 г. литературѣ молчать. Тутъ есть и крестьянскіе надѣлы, и переселенія, и гимназическое образованіе, и даже какой-то процессъ князей Бѣлосельскихъ! Вообще, очень длинный списокъ, но онъ, разумѣется, ничего не уясняетъ, кромѣ положенія литературы въ 1879 году, положенія не просто печальнаго, а по истинѣ отчаяннаго. Чтобы чувствовать унизительность этого положенія, очевидно, не было надобности въ какихъ-нибудь необыкновенно высокихъ идеалахъ. Самое элементарное чувство собственнаго достоинства и самыя скромныя понятія о миссіи литературы не могли примириться съ этимъ страннымъ, ни съ какой точки зрѣнія необъяснимымъ гнетомъ. Иной, можетъ быть, и не подумалъ бы написать хотя единую строчку о процессѣ кн. Бѣлосельскихъ, но онъ не можетъ не придти къ самымъ грустнымъ и оскорбительнымъ размышленіямъ, когда этотъ процессъ объявляется «вопросомъ государственной важности» и, въ качествѣ такового, запретнымъ плодомъ. Прибавьте, что не только въ писаніяхъ своихъ, а и въ жизни, у себя дома, литераторъ могъ натолкнуться на сомнѣніе въ дозволительности «лейпцигскаго изданія»; прибавьте тотъ вышеописанный соусъ, подъ которымъ это сомнѣніе подавалось... Конечно, не всякому литератору довелось испытать все это на себѣ лично, но всякій зналъ, что кругомъ него происходятъ и не такія еще вещи! Принявъ все это въ соображеніе, вы не тому удивитесь, что кое-кто изъ литераторовъ предавался унынію, а удивитесь, напротивъ, непроницаемой толстокожести людей, сохранившихъ бодрую и, по обстоятельствамъ времени и мѣста, безстыжую веселость...

Само собою разумѣется, что я не попытаюсь разрѣшить вышепоставленный вопросъ о томъ, что это за таинственное «неподлежащее», которое надо обнаружить и изъять изъ обращенія. Это такъ же невозможно, какъ «Левіаѳана на удѣ вытащить на брегъ», тѣмъ болѣе, что неподлежащее съ одной точки зрѣнія, можетъ оказаться не только подлежащимъ, а даже обязательно сказуемымъ съ другой. Но нѣкоторые матеріалы, если не для разрѣшенія, то, по крайней мѣрѣ, для уясненія вопроса каждый можетъ доставить.

Доктрина и политическая система либерализма состоитъ, какъ извѣстно, въ томъ, что въ теоріи или на практикѣ роль правительства съуживается до возможнаго minimum'a. Доктрина развивалась преимущественно англійскими и англизированными экономистами, многими политическими мыслителями и, наконецъ, нѣкоторыми нѣмецкими метафизиками. Система практиковалась въ большей или меньшей законченности во всей Западной Европѣ. И теоретическая доктрина, и практическая система потерпѣли, наконецъ, фіаско. Систематическій либералъ, въ истинномъ и полномъ значеніи этого слова, есть въ настоящее время гага avis. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы стародавняя тяжба элементовъ свободы и власти окончилась. Мы сейчасъ увидимъ, въ какихъ формахъ она еще продолжается (въ теоретической, разумѣется, области), но сначала выяснимъ одно обстоятельство,

хотя и вполнѣ элементарное, однако, по нынѣшнему смутному времени, не для всѣхъ все-таки, кажется, ясное.

Читатель благоволитъ просмотрѣть вмѣстѣ съ нами только что вышедшую книжку: «Изъ воспоминаній жандарма 30-хъ и 40-хъ годовъ», г. Ломачевскаго. Книжка состоитъ изъ двухъ частей. Первая («Виленская драма») была напечатана въ «Вѣстникѣ Европы». Это разсказъ объ одномъ мелкомъ польскомъ политическомъ процессѣ, хотя и содержащій кое-что интересное, но мы его оставимъ въ покоѣ. Вторая часть называется «Голубой мундиръ» и есть какъ бы сборникъ анекдотовъ изъ жандармской практики; сборникъ, составленный, однако, совсѣмъ не такъ, какъ составляются «анекдоты Балакирева» и т. п. Нѣтъ, г. Ломачевскій вложилъ въ свой сборникъ весьма яркую тенденцію, характеръ которой опредѣляется уже самымъ заглавіемъ «Голубой мундиръ». Г. Ломачевскій—идилликъ. Онъ желалъ бы вѣчно прогуливаться въ голубомъ мундирѣ подъ голубымъ небомъ, смотрѣть на божій міръ голубыми глазами и подносить согражданамъ букеты изъ голубыхъ незабудокъ. И такое ему счастіе выпало, что голубую перспективу эту онъ не только въ идеалѣ или фантазіи видѣлъ, а и въ дѣйствительности. Серія анекдотовъ открывается извѣстнымъ отвѣтомъ императора Николая на просьбу перваго шефа жандармовъ, графа Бенкендорфа, объ инструкціи. Императоръ подалъ графу бѣлый платокъ и сказалъ: «Не упускай случаевъ утирать слезы несчастнымъ и обиженнымъ—вотъ тебѣ инструкція». Г. Ломачевскій, насколько можно судить по собственнымъ его разсказамъ о собственной его дѣятельности, неуклонно старался слѣдовать этому правилу. Въ качествѣ минскаго жандармскаго штабъ-офицера, г. Ломачевскій былъ всевѣдущъ, вездѣсущъ и все направлялъ къ справедливости, къ воздаянію каждому по дѣламъ его.

Напримѣръ, былъ такой случай. Министерство внутреннихъ дѣлъ отказало генералъ-губернатору въ опредѣленіи титулярнаго совѣтника Богушевича въ должность совѣтника минскаго губернскаго правленія, сославшись не на законъ, а на принятое будто бы министерствомъ правило замѣщать мѣста, состоящія въ VI классѣ, чиновниками непремѣнно штабъ-офицерскаго чина. Между тѣмъ, черезъ какія-нибудь двѣ недѣли, министерство опредѣлило такого же титулярнаго совѣтника на такое же мѣсто VI класса. Пошли толки, невыгодные для генералъ-губернатора. Но вдругъ толки замолкли, ибо министерство, въ отмѣну прежняго своего распоряженія, утвердило Богушевича совѣтникомъ губернскаго правленія. Въ чемъ же секретъ этого внезапнаго возстановленія справедливости къ титулярному совѣтнику Богушевичу? Въ «голубомъ мундирѣ»: г. Ломачевскій «о поводѣ и значеніи толковъ счелъ себя обязаннымъ донести графу Бенкендорфу». Или вотъ, напримѣръ, подкупленный писецъ казенной палаты подставилъ въ одной справкѣ фамилію «Капканъ» вмѣсто «Капланъ», вслѣдствіе чего нѣкій Іосель Капланъ, долженъ былъ очень пострадать, но вмѣшался голубой мундиръ, и «бѣднякъ былъ спасенъ, а виновные подверглись заслуженной отвѣтственности». А вотъ еще, въ самомъ дѣлѣ, любопытный казусъ. Минскій губернаторъ Сушковъ терпѣть не могъ губернскаго предводителя дворянства, Ошторпа. Наступили новые выборы, на которыхъ, по разсчетамъ губернатора, долженъ былъ восторжествовать нѣкто Прошинскій. Вышло, однако, не такъ: выбранъ былъ опять Ошторпъ, уѣхавшій, надо замѣтить, въ это время въ Вильну благодарить генералъ-губернатора за только что полученную звѣзду. Раздосадованный губернаторъ придумалъ чрезвычайно оригинальный способъ насолить Ошторпу. «Не долго думая, онъ даетъ предложеніе губернскому правленію о томъ, что до его свѣдѣнія дошло, что пріѣхавшая изъ имѣнія Дукоры дѣйствительная статская совѣтница Ошторпъ имѣетъ съ собой до 40 человѣкъ безпаспортной прислуги, и потому велитъ поручить совѣтнику Малафееву произвести строжайшее слѣдствіе для обнаруженія зла». Начинается слѣдствіе, тянутъ къ допросамъ прислугу г-жи Ошторпъ. А губернатору все не терпится, чтобы насолить посолонѣе да поскорѣе. И вотъ онъ поручаетъ губернскому правленію опубликовать въ губернскихъ вѣдомостяхъ, что изъ Минска, безъ всякаго вида, отлучился неизвѣстно куда дѣйствительный статскій совѣтникъ Левъ Ошторпъ; «примѣтами онъ: съ двумя звѣздами и колтуномъ». Само собою разумѣется, что за такія юмористическія упражненія губернатора не похвалили. Но кто прекратилъ или, по крайней мѣрѣ, наибольше способствовалъ прекращенію этого губернаторскаго юмора? Г. Ломачевскій прямо не говоритъ, должно быть изъ скромности, но что голубой мундиръ и здѣсь сыгралъ свою роль, это видно изъ небесно-голубого тона эпилога: «Пожалѣли минчуки добраго Сушкова. Черезъ двѣ недѣли онъ былъ уволенъ безъ прошенія, но вслѣдъ затѣмъ, получилъ пенсію по званію губернатора». Былъ въ практикѣ г. Ломачевскаго и еще одинъ случай, нѣсколько подходящій къ предъидущему. Появляется въ 1842 году въ «Минскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ» публикація: разыскивается «не утвержденный въ дворянскомъ достоинствѣ шляхтичъ Слуц-

каго уѣзда Онуфрій Сухозанетъ съ сыновьями Иваномъ, Николаемъ и Петромъ для избранія рода жизни податного состоянія». Вслѣдъ за тѣмъ, однако, было напечатано «дополнительное приказаніе насчетъ прекращенія иска». Вы догадываетесь, что секретъ «дополнительнаго приказанія» лежитъ гдѣ-нибудь въ складкахъ голубого мундира. И, дѣйствительно, голубой мундиръ, то-есть г. Ломачевскій объяснилъ управлявшему губерніей вице-губернатору, что «Иванъ Онуфріевичъ Сухозанетъ съ 14-го декабря 1825 года генералъ-адъютантъ и женатъ на княжнѣ Вѣлосельской; что Николай — старый генералъ-лейтенантъ и женатъ на дочери генерала-отъ-артиллеріи князя Яшвиля, а Петръ въ чинѣ полковника убитъ былъ въ 1812 году». Понятно, что вице-губернаторъ «искренне благодарилъ» г. Ломачевскаго за сообщеніе, ибо своевременнымъ сообщеніемъ этимъ голубой мундиръ заранѣе утиралъ вице-губернаторскія слезы, которыя легко могли пролиться при дальнѣйшемъ разыскиваніи Онуфрія Сухозанета и трехъ его сыновей...

Справедливость требуетъ, однако, сказать, что г. Ломачевскій утиралъ слезы не только титулярныхъ совѣтниковъ и вице-губернаторовъ. Въ примѣръ можно привести энергію, съ которою онъ открылъ подлогъ въ ревизской сказкѣ, имѣвшій было результатомъ перечисленіе свободныхъ крестьянъ въ крѣпостные графа Хоткевича.

Эти и другіе подобные анекдоты приводятся г. Ломачевскимъ отнюдь не для возвеличенія только своей личности. Человѣкъ слабъ, конечно, а потому и здѣсь не совсѣмъ безъ грѣха, но можно всетаки съ увѣренностью сказать, что г. Ломачевскій не только голубой мундиръ носилъ, а и голубое сердце въ груди имѣлъ и до сихъ поръ имѣетъ. Онъ нѣкоторымъ образомъ фанатикъ голубого мундира. Разсказавъ одинъ анекдотъ, такъ сказать, посторонняго вѣдомства, анекдотъ о томъ, какъ онъ, г. Ломачевскій, будучи уже предсѣдателемъ казенной палаты, обратилъ вниманіе на бѣдственное положеніе одного заслуженнаго офицера и какъ, по его, г. Ломачевскаго, представленію, министры финансовъ и военный выхлопотали означенному офицеру пособіе; разсказавъ этотъ анекдотъ, авторъ прибавляетъ: «Это сдѣлано не жандармомъ, но въ томъ же духѣ». За Л. В. Дубельта г. Ломачевскій стоитъ горой, доказывая его безпристрастіе и безкорыстіе. А когда нашему автору было однажды предоставлено, въ видѣ особаго почета, право выбора имени постригаемому монаху, то онъ выбралъ ему имя Леонтія, по всѣмъ видимостямъ въ честь знаменитаго управляющаго III отдѣленіемъ. Сообразно такой фантастической преданности дѣлу и величію голубого мундира г. Ломачевскій и отъ другихъ ожидалъ того же. Вышеупомянутый Ошторпъ, тотъ самый, приметы котораго были: «двѣ звѣзды и колтунъ», спросилъ однажды нашего автора, какимъ образомъ онъ знаетъ все, что дѣлается въ губерніи и кто у него агенты. Г. Ломачевскій отвѣчалъ: «Я охотно назову вамъ лучшаго изъ моихъ агентовъ: это вы сами!... Понимая васъ за честнаго и благонамѣреннаго человѣка, я не сомнѣваюсь, что всякая несправедливость, дошедшая до вашего свѣдѣнія, способна возмутить васъ, и вы вѣрно не захотите, потворствуя злу, скрывать его и молчать. Стало быть, я услышу. Дѣйствующія лица, причастныя къ этому дѣлу, по естественному порядку вещей, раздѣляются на двѣ категоріи: на такихъ, кому выгодно зло, и такихъ, кому оно вредно. Послѣднія молчать не станутъ. Я опять услышу. Кромѣ этого, если въ обществѣ сложится убѣжденіе, что я не пустой фатъ, не лѣнтяй, что съумѣю разобрать сущность дѣла, какъ бы оно сложно и запутано на было, не затрудняюсь отличить правду отъ лжи, мишуру отъ чистаго золота и кажущееся отъ дѣйствительнаго, то всѣ заинтересованныя въ несправедливомъ дѣлѣ лица сами позаботятся, чтобы я какъ можно скорѣе узналъ о событіи и взглянулъ на него съ той точки зрѣнія, откуда оно представляется въ желаемомъ ими видѣ. Вотъ мои средства, вотъ мои агенты, другихъ у меня нѣтъ».

Словомъ, совершенная идиллія даже въ фантастическомъ родѣ: человѣкъ, облеченный въ голубой мундиръ, гуляетъ подъ сводомъ голубого неба, и голубыя незабудки и васильки со всѣхъ сторонъ протягиваютъ ему свои нѣжныя чашечки, умильно прося: сорви насъ, голубой человѣкъ, свяжи въ букетъ и поднеси отечеству...

Правда, г. Ломачевскій сейчасъ же послѣ этихъ строкъ разсказываетъ, что ему пришлось однажды «другимъ способомъ» узнать о возмутительнѣйшемъ происшествіи (помѣщица изъ ревности до смерти засѣкла горничную). Этотъ другой способъ состоялъ въ военной хитрости: г. Ломачевскій, уловивъ намекъ губернатора, воспользовался имъ, чтобы хитро выпытать уже всю исторію отъ вице-губернатора. Значитъ, не всегда такъ бывало, чтобы къ жандармскому штабъ-офицеру извѣстія слеталисъ сами собой на подобіе стаи воркующихъ голубей. Но дѣло не въ томъ, что въ дѣйствительности, даже жандармской, не все окрашено голубымъ цвѣтомъ. Я старался только характеризовать образъ мыслей г. Ломачевскаго. И вамъ, конечно, любопытно знать, какъ относится этотъ идилликъ къ нашему нынѣшнему возрожденію. Относится онъ смутно. Онъ при-

знаетъ, не смотря на весь свои идеализмъ, что въ доброе старое время не всѣ жандармы занимались утираніемъ слезъ и не всѣ одинаково смотрѣли на свою задачу: «одни понимали ее слишкомъ широко и дѣйствовали произвольно и почти безконтрольно, а другіе, ничего не дѣлая и ни во что не вмѣшиваясь, благодушествовали, не подозрѣвая, что они уподобляются огороднымъ чучеламъ, только при сильномъ вѣтрѣ пугающимъ птицъ размахиваніемъ рукъ». Что же касается нынѣшняго времени, то нашъ авторъ понимаетъ его исключительно въ смыслѣ «газетныхъ толковъ, пересудовъ, предположеній, догадокъ и радужныхъ надеждъ, вызванныхъ закрытіемъ верховной распорядительной комиссіи и упраздненіемъ III отдѣленія, вмѣстѣ съ настойчивыми слухами о предстоящей централизаціи всѣхъ отраслей управленія въ одномъ лицѣ губернатора». Обо всемъ этомъ г. Ломачевскій судить не берется; можетъ быть потому, что помнитъ, какъ губернаторъ Сушковъ распубликовалъ предводителя дворянства Ошторпа, а можетъ быть и по инымъ еще причинамъ. Тѣмъ не менѣе, онъ категорически заявляетъ, что собственно идиллическія цѣли III отдѣленія «съ 20-го ноября 1864 г. вполнѣ достигаются и безъ жандармовъ судомъ гласнымъ и нѣкоторою свободою печатнаго слова». Если въ этомъ заявленіи сдѣлать нѣкоторую поправку, въ томъ именно смыслѣ, что фактически дѣло не такъ ужъ круто повернулось съ 20-го ноября 1864 г., то мы получимъ несомнѣнную истину. И получимъ, замѣтьте, изъ рукъ бывшаго жандарма, доселѣ съ умиленіемъ вспоминающаго о голубомъ мундирѣ. Конечно, это не тоже самое, что восклицаніе Юліана: «ты побѣдилъ, галилеянинъ!» но все-таки любопытно и для нашего просвѣщеннаго времени характерно. Въ концѣ-концовъ, дѣло стоитъ, разумѣется, такъ, что надо выбирать что-нибудь одно: либо жандармовъ, либо гласность, свободу слова и печати. Какъ показываютъ «газетные толки, пересуды, предположенія, догадки и радужныя надежды» по поводу переименованія III отдѣленія въ департаментъ государственной полиціи, наше общество, вслѣдъ за правительствомъ, конечно, рѣшительно выбираетъ гласность...

Въ свое время газеты такъ много говорили о III отдѣленіи, что нынѣ не представляется уже надобности пространно разсуждать о преимуществахъ гласности передъ отдѣльнымъ корпусомъ жандармовъ. Этотъ видъ правительственнаго вмѣшательства рѣшительно забракованъ самою жизнью, а доктрина чистаго либерализма на этомъ пунктѣ рѣшительно торжествуетъ. Независимо отъ спеціально политической, такъ сказать, самозащитительной цѣли III отдѣленія, имѣлось въ виду учрежденіе, которое было бы, можетъ быть, очень благодѣтельно, еслибы не заключало въ себѣ внутренняго противорѣчія. «Утирать слезы несчастныхъ и обиженныхъ», что можетъ быть выше этой задачи?! Теперь, разумѣется, ни у кого не повернется языкъ сказать, что эта задача была разрѣшена хотя съ какою-нибудь приблизительностью. И этого можно было, конечно, ожидать въ виду внутренней противорѣчивости задачи. Сознавая, какая масса зла проистекаетъ изъ крѣпостного права и кристализаціи около него административныхъ элементовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ не считая возможнымъ измѣнить наличные порядки кореннымъ образомъ, предполагалось найти въ III отдѣленіи какъ бы ту точку въ пространствѣ, которой требовалъ Архимедъ, чтобы повернуть земной шаръ. Отборные, довѣренные люди, ничѣмъ не связанные, люди не отъ міра сего, облеченные совершенно исключительными полномочіями, должны были парализировать частныя и особенно острыя проявленія неприкосновеннаго коренного зла. Этимъ предполагалось достиженіе косвеннымъ образомъ и спеціально политической цѣли—предупрежденіе общественнаго недовольства. Съ теченіемъ времени выяснилось, однако, что хотя г. Ломачевскій утеръ на своемъ вѣку много слезъ, что хотя было, можетъ быть, довольно много совершенно такихъ же г. Ломачевскихъ, но учрежденіе въ общемъ итогѣ безъ сравненія больше заставляло проливать слезъ, чѣмъ ихъ утирало. Оно и понятно. Голубой мундиръ былъ надѣтъ все-таки на людей; а слѣдовательно, на существъ, не чуждыхъ человѣческихъ слабостей. Это разъ. Во-вторыхъ, учрежденіе, поставленное въ столь исключительныя условія, конечно, должно было относиться очень ревниво ко всякой конкуренціи. Конкуренцію же эту могла главнымъ образомъ представить, какъ это ни кажется на первый взглядъ страннымъ, свобода мысли и слова. Еслибы всякая несправедливость, обида, насиліе подлежали свободному обсужденію въ печати, въ общественныхъ собраніяхъ, въ судѣ, на каѳедрѣ, то самый raison d'être жандармеріи терпѣлъ бы значительный ущербъ. Если тайна и мракъ требовали спеціальныхъ утирателей слезъ, то понятно, что и спеціалисты эти дорожили мракомъ и тайною. Но свободная мысль была не только конкурентъ, а и прямой врагъ. Свободная мысль не знаетъ тѣхъ формальныхъ предѣловъ, которые очень удобно могутъ быть указаны голубому и всякаго другого цвѣта мундиру. Свободная мысль не могла остановиться на злоупотребленіяхъ, на особенно

пикантныхъ частностяхъ и случайностяхъ. По природѣ своей она должна была идти дальше и подвергать анализу самый порядокъ, правовыя основы его, что уже вовсе не совпадало съ миссіей III отдѣленія. Голубой мундиръ и свободная мысль были совершенно согласны въ томъ, что, напримѣръ, помѣщичьи истязанія крестьянъ представляютъ нѣчто «неподлежащее», которое надо обнаружить и изъять изъ обращенія. Но свободная мысль полагала, что и само крѣпостное право есть неподлежащее, а голубой мундиръ не только этого не полагалъ, а считалъ, напротивъ, самое это сомнѣніе въ правомѣрности наличныхъ порядковъ неподлежащимъ, которое надо обнаружить и изъять изъ обращенія. Въ концѣ-концовъ, голубой мундиръ всю свою энергію направилъ на искорененіе этой и другихъ подобныхъ формъ и проявленій свободной мысли. Тяжба эта обозначилась на страницахъ русской исторіи эпизодами, передъ качествомъ и количествомъ которыхъ сборникъ идиллическихъ анекдотовъ г. Ломачевскаго, конечно, меркнетъ...

Говорятъ, тяжба кончилась. Говорятъ, свободная мысль выиграла процессъ. Я этого не знаю, хотя не сомнѣваюсь, что именно такъ, а не иначе кончится процессъ между вѣковѣчною свободною мыслію и преходящимъ голубымъ мундиромъ. Но я сильно сомнѣваюсь, чтобы урокъ исторіи былъ понятъ всѣмъ нашимъ обществомъ во всемъ его объемѣ. Непривычные къ кипучей жизненной работѣ люди (а мы, конечно, въ большинствѣ къ ней непривычны, да и гдѣ бы могли эту привычку пріобрѣсти?) естественно склонны прятаться за спины Гарунъ-аль-Рашидовъ, справедливыхъ, могущественныхъ, во все вникающихъ и ничѣмъ, кромѣ своихъ высокихъ качествъ ума и сердца, не связанныхъ. Г. Ломачевскій, напримѣръ, былъ настоящимъ Гарунъ-аль-Рашидомъ Минской губерніи, и большинство читателей навѣрное съ болѣе или менѣе насмѣшливою улыбкою прочтетъ его сборникъ анекдотовъ. Но я боюсь, что этотъ скептицизмъ относится не къ Гаруну-аль-Рашиду вообще, а только къ его голубому мундиру. Это довольно понятно. Признаюсь откровенно, я усмотрѣлъ въ книжкѣ г. Ломачевскаго нѣчто, какъ бы для меня новое. Не потому, разумѣется, чтобы я не слыхалъ о высокой цѣли, положенной въ основаніе III отдѣленія, или о томъ или другомъ частномъ случаѣ, когда голубой мундиръ утеръ слезы, напримѣръ, женѣ, которой мужъ не давалъ отдѣльнаго вида на жительство и т. п. Нѣтъ, я все это зналъ, но все это тонуло въ массѣ фактовъ совершенно другого характера. Всѣ этого рода факты надо разрыть и снять, чтобы дорыться до той подкладки, которую показываетъ г. Ломачевскій. Взрывъ газетной радости по случаю закрытія III отдѣленія показалъ, какъ относится наше общество къ дѣятельности голубого мундира. Естественно поэтому, что и все, прикосновенное къ этой дѣятельности, не пользуется симпатіей, хотя бы оно носило характеръ даже чрезвычайной добродѣтели. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы мы усвоили слѣдующую простую и несомнѣнную истину: Гарунъ-аль-Рашидъ былъ хорошій и даже, можетъ быть, великій человѣкъ; но въ наше трудное время, съ усложненіемъ всѣхъ общественныхъ отношеній—Гарунъ-аль-Рашидъ сталъ невозможностью; поэтому требовать или надѣяться, что Бисмаркъ, Гамбетта или иной государственный дѣятель повторитъ трогательную исторію Гарунъ-аль-Рашида—безумно.

Я имѣю въ виду только теоретическую постановку вопроса о комбинаціи элементовъ свободы и власти; имена Гамбетты, Бисмарка подвернулись подъ перо просто въ качествѣ иллюстраціи. Повторяю, доктрина и система либерализма потерпѣли фіаско. Наука и практика признали необходимость правительственнаго или государственнаго вмѣшательства въ теченіе общественной жизни. Но ни наука, ни практика, ни простой здравый смыслъ, умудренный историческимъ опытомъ, не признаютъ вмѣшательства на манеръ Гаруна-аль-Рашида, все равно, облеченнаго или не облеченнаго въ голубой мундиръ. По нынѣшнему времени, это просто мечта, мечта «неподлежащая», которую надо обнаружить и изъять изъ обращенія. Ибо даже въ случаѣ совершенно невѣроятнаго осуществленія, мечта эта не могла бы придать никакой прочности, никакой устойчивости общественнымъ отношеніямъ. Г. Ломачевскій, исправляя должность Гаруна-аль-Рашида въ Минской губерніи, могъ и не обнаружить высокихъ качествъ и только надувать добрыхъ минчуковъ; могъ погибнуть жертвою какой-нибудь интриги; могъ, наконецъ, умереть, оставивъ губернію, какъ онъ выражается, подобію «огороднаго чучела, только при сильномъ вѣтрѣ пугающаго птицъ размахиваніемъ рукъ», или же человѣку, дѣйствующему «произвольно и почти безконтрольно».

Итакъ, Гарунъ-аль-Рашидъ есть non sens. Его благодѣтельная функція должна быть цѣликомъ усвоена свободной мысли, съ тѣмъ, однако, условіемъ, что свободная мысль не можетъ удовольствоваться непосредственнымъ утираніемъ слезъ обиженныхъ и изслѣдованіемъ только ближайшихъ причинъ слезъ. Она пойдетъ, должна идти, не можетъ не идти глубже, къ самому субстрату явленій, вызывающихъ слезы. И ни-

какое стороннее вмѣшательство, ни подъ какими даже самыми благовидными предлогами, не должно ее сдерживать. Не здѣсь, значитъ, надо искать фіаско либерализма.

Однако, свободная мысль, будучи въ извѣстномъ смыслѣ огромною и, въ концѣ-концовъ, непреоборимою силою—безплотна. Она имѣетъ въ своемъ распоряженіи лишь средства раскрытія зла и той доли его увраченія, которая можетъ быть достигнута давленіемъ на общественное мнѣніе. Свободная мысль можетъ обнаружить «неподлежащее», но изъятіе его изъ обращенія выходитъ изъ предѣловъ компетенціи свободной мысли. Нужны, слѣдовательно, органы, непосредственно дающіе общественной жизни импульсъ въ желательномъ направленіи, и нужно знать, въ чемъ именно это желательное направленіе состоитъ.

Въ разъясненіи этихъ вопросовъ намъ помогутъ двѣ недавно вышедшія книги академическаго происхожденія. Одна изъ нихъ, «Государственная власть въ европейскомъ обществѣ» варшавскаго профессора г. Блока, есть диссертація на ученую степень. Другая «Основныя положенія теоріи экономической политики съ Адама Смита до настоящаго времени» профессора Петровской академіи, г. Иванюкова, представляетъ, повидимому, отрывокъ изъ лекцій по политической экономіи. Интересъ предмета, затрогиваемаго обѣими книгами, несомнѣненъ, но нельзя сказать, чтобы читатель гг. Блока и Иванюкова почувствовалъ себя совершенно удовлетвореннымъ.

Собственно экономическую политику «съ Адама Смита до настоящаго времени» г. Иванюковъ очерчиваетъ очень бѣгло. Итогъ экономической политики съ Адама Смита до настоящаго времени г. Иванюковъ выражаетъ неоднократно, напримѣръ, въ слѣдующихъ словахъ: «Либерализмъ хотѣлъ сдѣлать трудъ свободнымъ, а вмѣсто того подчинилъ его игу капитала. Онъ мечталъ объ общественномъ благосостояніи, а создалъ крайнюю шаткость, необезпеченность общественныхъ отношеній, нищету и крайнюю бѣдность большинства населенія. Онъ поставилъ себѣ цѣлью уничтоженіе монополіи, но устраненныя имъ юридическія монополіи замѣнились гигантскою фактическою монополіею. Онъ хотѣлъ сдѣлать просвѣщеніе общимъ достояніемъ, а сдѣлалъ его привилегіею владѣющихъ классовъ. Словомъ, онъ стремился къ возможно широкой свободѣ, а въ результатѣ получилъ новые виды закрѣпощенія». Переходя къ настоящему времени, г. Иванюковъ отмѣчаетъ двѣ школы, утвердившіяся на развалинахъ либеральной экономіи: соціализмъ и такъ называемую этическую или реалистическую школу, или «профессорскій соціализмъ» (Kathedersocialismus), который нашъ авторъ дѣлаетъ центромъ тяжести своего изслѣдованія и съ точки зрѣнія котораго вообще судитъ о вещахъ. Объ этомъ ученіи въ нашемъ журналѣ была уже рѣчь, будетъ, вѣроятно, и опять въ непродолжительномъ времени. Теперь мы ограничимся только самыми общими его чертами, какъ онѣ изложены у г. Иванюкова.

Лежащіе въ основаніи современныхъ европейскихъ государствъ принципы свободы личности и равенства всѣхъ передъ закономъ, въ большей или меньшей степени осуществляясь въ юридической области, враждебно сталкиваются въ области экономической съ рѣзкимъ неравенствомъ хозяйственныхъ силъ. Юридически всѣ европейскіе люди равны и свободны, но фактически извѣстная часть общества оказывается подчиненною и униженною. Въ древнемъ мірѣ и въ средніе вѣка это фактическое неравенство различныхъ классовъ общества отличалось чрезвычайною рѣзкостью, но за то оно нисколько не противорѣчило правовымъ идеаламъ своего времени. Древній рабъ и средневѣковой крѣпостной были таковыми и по праву, и фактически. Нынѣ же поденщику говорятъ, что онъ свободенъ, и, дѣйствительно, нѣтъ такой юридической нормы, которая ограничивала бы свободу его личности, но вся его жизненная обстановка налагаетъ на него ни мало не фиктивное ярмо. Противорѣчіе идетъ и дальше. Античный и средневѣковой міръ жилъ на счетъ раба и крѣпостнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ искренно презиралъ физическій трудъ. Наоборотъ, наше время провозгласило, что трудъ есть обязанность и высшая задача человѣка; политическая экономія доказала, что онъ есть важнѣйшій факторъ въ созданіи цѣнностей, творецъ національнаго богатства. Такимъ образомъ, наше время въ идеѣ воздаетъ труду почетъ, возводитъ его на пьедесталъ; въ дѣйствительности же трудящіеся классы занимаютъ низшую ступень общественной лѣстницы и едва добываютъ себѣ необходимыя средства существованія — противорѣчіе между идеалами и практикой, указанное еще Сен-Симономъ. Противорѣчіе это чревато многими важными послѣдствіями. Не говоря уже о необходимо сопутствующихъ ему лицемѣріи и фразерствѣ, въ немъ лежитъ корень такъ называемаго соціальнаго вопроса. Экономическій порядокъ новѣйшаго либеральнаго хозяйства, основанный на свободной конкуренціи, потерялъ кредитъ, между тѣмъ, какъ идеи политической свободы и равенства крѣпко вросли въ общее сознаніе. Съ этой-то точки зрѣнія профессорскій соціализмъ подвергаетъ критикѣ какъ наличные экономическіе порядки въ

Европѣ, такъ и ученіе чистой либеральной политической экономіи. Притомъ оказывается, что «вопіющія вредныя слѣдствія новѣйшей частно-хозяйственной системы, вытекающія изъ проведенія въ законодательство принципа неограниченной частной собственности почти на всѣ роды хозяйственныхъ цѣнностей и изъ устраненія государства отъ вмѣшательства въ народное хозяйство, дѣлаютъ необходимымъ: 1) ограниченіе области частно-хозяйственной системы общественно-хозяйственною системою и 2) регулированіе ея государствомъ». Есть вещи, до такой степени нужныя всѣмъ, что предоставлять ихъ въ частную собственность нельзя никому; есть общественныя потребности, удовлетвореніе которыхъ не можетъ быть, безъ большаго ущерба для интересовъ цѣлаго общества, предоставлено свободному взаимному тренію единичныхъ или ассоціированныхъ предпринимателей; есть, наконецъ, такія сферы хозяйственной дѣятельности, которыя, по различнымъ соображеніямъ, должны оставаться въ частныхъ рукахъ, но должны регулироваться государствомъ, примѣромъ чего можетъ служить фабричное законодательство; органомъ, завѣдующимъ общественно-хозяйственною системою, а также регулирующимъ частно-хозяйственную дѣятельность, можетъ быть или само государство, или мѣстныя власти, въ качествѣ представителей общихъ интересовъ данной пространственной единицы.

Мы ограничимся этимъ легкимъ абрисомъ профессорскаго соціализма, тѣмъ болѣе, что онъ, не въ обиду будь сказано г. Иванюкову, ничего самостоятельнаго доселѣ не произвелъ и даже, толкуя объ «интересахъ цѣлаго», много напуталъ. Во всякомъ случаѣ, критическая сторона профессорскаго соціализма представляетъ явленіе въ своемъ родѣ очень замѣчательное. Она не оригинальна, ибо цѣликомъ списана у чистыхъ соціалистовъ, но благодаря умѣренности и аккуратности, главнымъ образомъ, нѣмецкихъ профессоровъ, она нынѣ чрезвычайно быстро распространяется, окончательно подрывая кредитъ чистаго либерализма. Однако, чтобы дать читателю общее и вмѣстѣ наглядное выраженіе цѣлей, стремленій и упованій профессорскаго соціализма, я приведу еще отрывокъ изъ рѣчи одного изъ вождей его, Шмоллера: «Государство, по ихъ (катедеръ-соціалистовъ) взглядамъ, должно также далеко стоять отъ возвеличенія индивидуума по принципамъ естественнаго права и отъ абсолютной теоріи всепоглощающей государственной власти. Помѣщая государство въ общее теченіе историческаго прогресса, они признаютъ, что его задачи должны быть, смотря по условіямъ культуры, то шире, то уже. Но никогда не считаютъ они государство, подобно естественному праву и манчестерской школѣ, необходимымъ зломъ, которое нужно ограничивать. Для нихъ государство есть всегда великое нравственное нравственное учрежденіе для воспитанія человѣческаго рода. Искренно преданные конституціонной системѣ, они, однако, не хотятъ перемежающагося сословнаго господства различныхъ экономическихъ классовъ, борющихся между собою. Они хотятъ сильной государственной власти, стоящей выше эгоистическихъ сословныхъ интересовъ, которая издавала бы законы, вела честно администрацію, поддерживала бы слабыхъ, поднимала низшіе классы. Они видали въ двухсотлѣтней борьбѣ, какую побѣдоносно ведутъ прусское чиновничество и прусское королевство за правовое равенство, за устраненіе всѣхъ привилегій и преимуществъ высшихъ классовъ—*лучшее* наслѣдіе нашего нѣмецкаго государственнаго строя, которому мы должны пребыть вѣрны».

Не взирая на расплывчатость этой политической исповѣди, читатель всетаки очень ошибется, если заподозритъ Шмоллера въ желаніи окружить прусское чиновничество атрибутами Гаруна-аль-Рашида. Нѣтъ, европейскій человѣкъ, даже когда онъ очень низко стоитъ на лѣстницѣ разумѣнія общественныхъ отношеній, ни въ какомъ случаѣ Гаруновъ не желаетъ. Шмоллеръ говоритъ, между прочимъ, далѣе, что «слишкомъ большое неравенство въ имуществахъ и распредѣленіи доходовъ, слишкомъ рѣзкая сословная борьба должны современемъ уничтожить и всѣ свободныя политическія учрежденія и привести насъ къ абсолютному правительству». «*Уже по одному этому*», прибавляетъ онъ:—мы вѣримъ, что государство не можетъ равнодушно смотрѣть на подобное общественное развитіе». Словомъ, Шмоллеръ желаетъ такой комбинаціи, которая сохранила бы всѣ гарантіи политической свободы, но компенсировала бы *элементомъ* власти невыгоды такъ называемой свободы экономической. И это въ интересахъ «цѣлаго», какъ говорятъ обыкновенно представители профессорскаго соціализма, или въ интересахъ слабыхъ хозяйственныхъ единицъ, прямо сказать, рабочихъ классовъ, какъ говорятъ профессора иногда.

Угрожающее положеніе, все явственнѣе занимаемое въ Европѣ рабочими классами, породило усиленные поиски надлежащей комбинаціи свободы и власти. Г. *Достоевскій*, и тотъ, совершенно вчужѣ, содрагается отъ мысли о томъ моментѣ, когда *доведенный* до предѣла упругости пролетарій пойдетъ направо и налѣво косить цивилизацію, не дающую ему ничего, кромѣ званія сво-

боднаго человѣка. Европейскіе политическіе мыслители, лучше насъ съ г. Достоевскимъ знающіе цѣну личной безопасности и спокойнаго умственнаго труда, давно уже подумываютъ, какъ удовлетворить растущую гнѣвную силу. Но есть въ Европѣ много и такихъ людей, которымъ до этой силы никакого дѣла нѣтъ, которыя «безъ страха и упрека» обдѣлываютъ свои дѣла. Эти люди цѣлыми плотными слоями лежатъ въ европейскомъ обществѣ. И вотъ многіе политическіе мыслители, между прочимъ, останавливаются на задачѣ парализировать бѣдственное вліяніе личныхъ интересовъ этихъ общественныхъ слоевъ; парализировать созданіемъ силы, которая была бы сильнѣе ихъ. Въ числѣ этихъ мыслителей очень видное мѣсто занимаетъ Лоренцъ Штейнъ, писатель, обладающій многими высокими достоинствами, но, къ сожалѣнію, запутавшійся въ гегелевской философіи и такъ распространенной между нѣмецкими юристами органической теоріи.

Русскій ученый, г. Блокъ, предпринялъ критику теоріи или, вѣрнѣе, теорій Штейна. Книга г. Блока состоитъ изъ трехъ главъ, изъ которыхъ каждая раздѣляется на два параграфа: въ первомъ критикуются тѣ или другія мнѣнія Штейна, а во второмъ критика иллюстрируется соотвѣтственными явленіями политической жизни, преимущественно Франціи.

Для насъ интересно отмѣтить только слѣдующія черты теоріи Штейна. Признавая представительныя учрежденія законнымъ органомъ общества, Штейнъ замѣчаетъ, что, тѣмъ не менѣе, они всецѣло отражаютъ въ себѣ данное отношеніе общественныхъ силъ, а такъ какъ въ обществѣ преобладаетъ имущій классъ, то и такъ называемое народное представительство служитъ лишь интересамъ этого имущаго класса. Большинство въ палатахъ есть не столько большинство убѣжденій, сколько большинство интересовъ. Не говоря объ избирательномъ цензѣ, сосредоточивающемъ политическую власть въ рукахъ капиталистовъ, даже всеобщая подача голосовъ, при данныхъ экономическихъ условіяхъ, не въ силахъ передвинуть политическій центръ тяжести. Но тутъ является на помощь государство. Въ лицѣ монархической власти и должностныхъ лицъ, естественныхъ носителей государственной идеи, мы имѣемъ начало, стоящее выше всѣхъ сословныхъ интересовъ и способное подчинить каждый частный интересъ общимъ цѣлямъ. Для этого монархическая власть должна быть поставлена столь высоко, чтобы ей уже и желать ничего не оставалось. При этомъ, однако, она не можетъ оставаться покоющимся, лишеннымъ самодѣятельности представительствомъ государственной идеи». Она «ощущаетъ глубокую потребность въ личномъ хотѣніи и дѣйствованіи». И вотъ «назначеніе этой потребности состоитъ не въ чемъ иномъ, какъ въ томъ, что монархическая власть должна самодѣятельно, противъ воли и естественной тенденціи господствующаго класса, взяться за возвышеніе низшаго, соціально и политически подчиненнаго класса и въ этомъ смыслѣ употреблять ввѣренное ей государственное верховенство». За это народъ отвѣтитъ любовью, благодарностью и въ случаѣ надобности поддержкою, но и высшіе классы «легко будетъ убѣдить», что возвышеніе низшаго класса обыкновенно необходимо въ ихъ собственныхъ интересахъ.

Первую половину приведенной теоріи г. Блокъ рѣшительно принимаетъ, а вторую столь же рѣшительно отрицаетъ. Онъ думаетъ, что соціальная роль представительныхъ учрежденій именно такова, какъ ее рисуетъ Штейнъ, то-есть, роль эта состоитъ въ укрѣпленіи интересовъ имущихъ классовъ. Но съ другой стороны и власть, поставленная согласно требованіямъ Штейна, и не захочетъ и не возможетъ заняться «возвышеніемъ низшаго класса». Какимъ же путемъ можетъ произойти это возвышеніе, по мнѣнію самаго г. Блока? Вотъ какимъ: «При широкомъ развитіи производительныхъ и другихъ ассоціацій, а также дешеваго взаимнаго кредита, рабочіе будутъ въ состояніи сберегать и наживать капиталы. Нѣкоторая ихъ часть можетъ и совсѣмъ перейти въ ряды капиталистовъ. Тогда уменьшится существующее предложеніе труда, возвысится задѣльная плата и получатся еще болѣе значительныя сбереженія изъ заработковъ. Подобный экономическій переворотъ несомнѣнно долженъ привести къ обогащенію рабочихъ классовъ и подорвать соціальное господство капиталистовъ». Признаюсь, я никакъ не ожидалъ встрѣтить въ докторской диссертаціи столь легкомысленныя строки. Всякій вникавшій въ дѣло, конечно, разсмѣется при мысли о возможности разрѣшенія соціальнаго вопроса путемъ перехода извѣстнаго числа рабочихъ въ классъ капиталистовъ. Дѣло, впрочемъ, не въ этомъ; даже не въ томъ, что г. Блокъ, поставивъ въ первой главѣ вопросъ о соціальной роли политическихъ факторовъ такъ широко и такъ скептически, въ двухъ остальныхъ главахъ съуживаетъ его до полемики о подробностяхъ конституціонной механики. Дѣло вообще не въ г. Блокѣ.

Опровергнуть штейновскую теорію власти не трудно. Достаточно, напримѣръ, указать, что въ этой теоріи противоположность интересовъ различныхъ классовъ признается

сначала непреоборимою, а потомъ оказывается, что власти «легко будетъ убѣдить» имущіе классы въ нѣкоторой солидарности ихъ интересовъ съ интересами классовъ неимущихъ. Г. Блокъ, критикуя эту теорію, приводитъ аргументы отъ опыта и отъ разума. Между ними есть резонные, есть и слабые. Въ общемъ они сводятся главнымъ образомъ къ тому, что власть не можетъ быть такъ изолирована отъ вліянія имущихъ классовъ, какъ это требуется теоріей Штейна. Вообще говоря, это совершенно справедливо. Мечта Штейна, да и не одного Штейна, объ идеальной власти и идеальныхъ чиновникахъ разбита жизнью. Но, къ сожалѣнію, г. Блокъ не оцѣнилъ той живой подкладки, которая лежитъ подъ теоріей Штейна. Гдѣ-то въ «Geschichte der socialen Bewegung» Штейнъ совершенно опредѣленно говоритъ, что власть должна обладать «высокимъ нравственнымъ мужествомъ», чтобы провести соціальную реформу. Онъ объясняетъ при этомъ, что безъ такого исключительнаго условія власть или выродится въ деспотизмъ, или сдѣлается тѣнью власти, или просто уступитъ мѣсто республикѣ. Эти основанія діагноза непоколебимы, какъ бы ни были ошибочны упованія Штейна. Съ другой стороны, заслуживаетъ полнаго вниманія и то положеніе, намекъ на которое мы видѣли выше у Шмоллера, а именно, что «слишкомъ рѣзкая сословная борьба должна современемъ уничтожить и всѣ свободныя политическія учрежденія». Г. Блокъ чрезвычайно презрительно относится къ неимущимъ классамъ, къ «народу», какъ къ политической силѣ. По его мнѣнію, «поддержка» «голодныхъ массъ» ничего не стоитъ. Это только «красный призракъ». Исторія знаетъ однако, что этотъ призракъ облекается по временамъ въ плоть и кровь. Знаетъ это и г. Блокъ и приводитъ крушеніе различныхъ «временныхъ правительствъ», какъ свидѣтельство ничтожества поддержки «голодныхъ массъ». Онъ забываетъ при этомъ о судьбѣ тѣхъ «безвременно» погибавшихъ правительствъ, которыя предшествовали «временнымъ». А эта судьба показываетъ, что если не въ дѣлѣ созиданія, то въ дѣлѣ разрушенія поддержка голодныхъ массъ не послѣдняя спица въ колесницѣ. Что же касается поддержки въ дѣлѣ созиданія, то голодныя массы, конечно, дадутъ ее лишь тѣмъ, кто сдѣлаетъ ихъ неголодными. Правда, что въ европейской политической практикѣ красный призракъ часто выдвигается въ качествѣ пугала, или правительствомъ для устрашенія буржуазіи, или буржуазіей для устрашенія правительства. Но это пугало имѣетъ всетаки вполнѣ реальное основаніе. По крайней мѣрѣ, такъ думаютъ европейскіе люди, воочію видавшіе призракъ на улицѣ и вообще знающіе дѣло ближе, жизненнѣе, чѣмъ мы съ г. Блокомъ. И это, можетъ быть, важнѣйшій изъ уроковъ, преподанныхъ новѣйшею исторіею Европы. Въ немъ именно лежитъ причина крушенія доктрины чистаго либерализма. Отсюда именно вытекаютъ всѣ требованія правительственнаго вмѣшательства. Въ старые годы его требовали рѣшительные соціалисты, надѣясь по своему повернуть этимъ рычагомъ установившійся порядокъ. Теперь оно становится вопросомъ благоразумія съ точки зрѣнія весьма разнообразныхъ партій. Люди очень умѣренные, но обладающіе нѣкоторою проницательностью, приходятъ все больше и больше къ заключенію, что въ недалекомъ будущемъ выживетъ та комбинація общественныхъ и политическихъ силъ, которая въ большей или меньшей степени удовлетворитъ массы. Спору нѣтъ, здѣсь играютъ роль не всегда чистыя побужденія. Но тѣмъ, можетъ быть, ярче рисуется настоятельность дѣла.

Итакъ, свободная мысль и сообразно ея указаніямъ и подъ ея контролемъ происходящее правительственное вмѣшательство въ видахъ удовлетворенія массъ—вотъ, по указаніямъ европейскаго опыта, остовъ, который долженъ быть облеченъ плотью и кровью политической формы. Сторонникъ той или другой, реальной или идеальной, готовой или предстоящей формы, сторонникъ по личной симпатіи, или по традиціи, или по инымъ побужденіямъ, долженъ желать, чтобы его излюбленная форма приспособилась къ этимъ двумъ требованіямъ. Съ этой точки зрѣнія онъ долженъ изслѣдовать и то «неподлежащее», которое надо обнаружить и изъять изъ обращенія. Само собою разумѣется, что излюбленная форма можетъ оказаться неспособною приладиться. Тогда она увлечена своимъ рокомъ...

X. Декабрь.

Литературное событіе дня есть первый номеръ газеты г. Аксакова «Русь». Какъ ни страннымъ это кажется съ перваго взгляда, но, при нашей бѣдности, это въ самомъ дѣлѣ событіе, съ которымъ необходимо считаться. Новый литературный органъ съ строго опредѣленной физіономіей и вездѣ былъ бы интереснымъ явленіемъ, а у насъ тѣмъ паче, ибо литературная земля наша можетъ быть и велика и обильна, но физіономій-то въ ней навѣрное мало. Лица есть, и довольно разнообразныя: есть лица съ правильнымъ классическимъ профилемъ, есть «славныя русскія лица», съ носомъ на манеръ картофеля и съ одной, почему-то порѣдѣвшей, какъ у Ноздрева, бакенбардой, есть аккуратныя нѣмецкаго формата лица,

съ совершенно цѣлыми бакенбардами, есть разныя другія, а физіономій всетаки маловато. Поврежденная бакенбарда, конечно, много и ясно говоритъ даже не физіономисту, но это признакъ чисто внѣшній, и можно обладать имъ, вовсе не обладая физіономіей, то-есть всегда себѣ равнымъ отраженіемъ внутренней цѣлости и единства. Что касается, газеты г. Аксакова, то навѣрное никто не сомнѣвался, что это будетъ газета съ физіономіей. Однимъ эта физіономія могла нравиться, другимъ не нравиться, однихъ радовать, другихъ безпокоить, но всякій ожидалъ газеты съ строго опредѣленной, послѣдовательно выдержанной программой. Общія черты этой программы были также приблизительно извѣстны, потому что г. Аксаковъ старинный знакомецъ русскаго читателя. И, конечно, было любопытно знать, какимъ языкомъ и какія рѣчи заговоритъ настоящее, старое славянофильство въ наши исключительно трудные дни. И въ наличной прессѣ есть органы, испускающіе время отъ времени славянофильскіе звуки, но это такъ, больше по неразумію, а настоящаго, цѣльнаго славянофильскаго органа русская литература давно уже въ своей средѣ не видала. Многіе думали даже, что онъ уже невозможенъ. Забѣгая нѣсколько впередъ, я скажу, что á la longue чтеніе «Руси» станетъ крайне обременительнымъ: эти вавилонскія башни изъ метафоръ, подъ которыми подъ конецъ совсѣмъ исчезаетъ предметъ разговора; этотъ надутый, напыщенный тонъ, эта восклицательная форма, прикрывающая весьма вопросительное содержаніе — все это должно очень скоро пріѣсться. Но такъ какъ этотъ благовѣстъ не раздавался уже нѣсколько лѣтъ, то въ новинку онъ можетъ показаться яркимъ, характернымъ, или, по крайней мѣрѣ, пикантнымъ. Худо-ли, хорошо-ли, но онъ во всякомъ случаѣ отличается и отъ канцелярскаго тона докладныхъ записокъ, и отъ шутовскаго тона балаганныхъ представленій, и отъ иныхъ тоновъ, усвоенныхъ значительною частью нашей газетной прессы. Прибавьте къ этому издавна сопутствующую славянофиламъ репутацію безтрепетной послѣдовательности въ логическомъ теченіи идей и рѣзкой прямоты въ практическомъ смыслѣ. Славянофилы часто жаловались на свою судьбу, указывая на выпадавшія на ихъ долю административныя преслѣдованія, на недобросовѣстное къ нимъ отношеніе противниковъ, на непониманіе и несочувствіе, съ которыми имъ приходилось встрѣчаться. Нельзя отказать этимъ жалобамъ въ извѣстной справедливости; но нельзя также не замѣтить, что судьба славянофильства не составляетъ какого-нибудь исключенія. Есть у насъ литературныя школы или партіи, терпѣвшія, разумѣется, безъ всякаго сравненія больше, чѣмъ славянофилы. Объ этомъ даже и говорить смѣшно. Но этого мало. Что касается собственно отношеній общества къ славянофильству, то хотя оно, общество, дѣйствительно никогда не смотрѣло на славянофиловъ, какъ на руководителей и, напротивъ, очень часто надъ ними глумилось; но тѣмъ не менѣе усвоило себѣ въ среднемъ выводѣ какое-то отрицательное почтеніе къ нимъ. Не рѣдкость въ самомъ дѣлѣ услышать отзывъ въ такомъ приблизительно родѣ, что хоть славянофилы, молъ, и деруть, но за то въ ротъ хмѣльного не берутъ. Я не думаю, чтобы этотъ отзывъ былъ очень лестенъ самъ по себѣ, но, принимая въ соображеніе многоразличныя эксцентричности славянофильства, онъ можетъ назваться довольно мягкимъ. Въ немъ, во всякомъ случаѣ, отражается дѣйствительно довольно распространенное уваженіе къ моральнымъ, если не интелектуальнымъ качествамъ славянофиловъ. А изъ этого видно, что славянофиламъ не все шипы доставались, подносились имъ и розы и даже, откровенно говоря въ преувеличенномъ размѣрѣ. Говорятъ, напримѣръ, о стойкости убѣжденій славянофиловъ. Но какова бы ни была степень этой стойкости, исторія русской литературы и жизни представляетъ не мало такихъ примѣровъ, въ которыхъ стойкость убѣжденій была подвержена гораздо болѣе сильнымъ испытаніямъ и засвидѣтельствована гораздо болѣе ярко, чѣмъ у славянофиловъ. Почему же именно имъ отводится это почтительное «въ ротъ хмѣльного не берутъ»? Неужели потому только, что они «деруть»?

Потому-ли, посему-ли, но вышеизложенныя данныя сложились самымъ благопріятнымъ образомъ, чтобы сдѣлать изъ появленія «Руси» событіе. Притомъ же г. Аксаковъ, въ своемъ широковѣщательномъ объявленіи, такъ страшно размахнулся, что, казалось, вотъ-вотъ только мокренько останется отъ всякой «лжи», и «правда» засіяетъ, какъ одинокій, но все своимъ блескомъ и красотою затмѣвающій алмазъ.

Гора родила мышь. Это довольно обыкновенное происшествіе, столь обыкновенное, что при другихъ условіяхъ его стоило бы только отмѣтить и пройти дальше, къ другимъ дѣламъ и дѣлишкамъ. Но на этотъ разъ рожденіе мыши сопровождается нѣкоторыми неожиданными обстоятельствами, да и мышь выходитъ нѣсколько неожиданная.

Прежде всего есть нѣчто неожиданное во встрѣчѣ, оказанной г. Аксакову въ газетной прессѣ. Кое-кто расшаркался передъ «Русью» по очевидному неразумію—это просто и понятно: неразумію законы не писаны. Кое-кто болѣе или менѣе тонко выразилъ, что

новая газета въ ротъ хмѣльного не беретъ, хотя деретъ значительно—это тоже понятно, это просто повтореніе наиболѣе распространеннаго мнѣнія о славянофилахъ вообще. Наконецъ, «Берегъ» и «Московскія Вѣдомости» встрѣтили «Русь», какъ друга и гостя дорогого. Это обстоятельство уже не настолько понятно, чтобы объ немъ говорить не стоило. Оно наводитъ во всякомъ случаѣ на размышленія.

Было время, когда «День» г. Аксакова корилъ «Московскія Вѣдомости» «мекленбургскими воззрѣніями», а «Московскія Вѣдомости», въ свою очередь, обзывали газету г. Аксакова «демократическо-соціальною». Было время, когда сочувствіе такихъ органовъ «казеннаго міросозерцанія», какъ «Берегъ» и «Московскія Вѣдомости», г. Аксаковъ гордо назвалъ бы невозможностью или увидѣлъ бы въ немъ горькую себѣ обиду и оскорбленіе. Славянофильство могло до извѣстной степени сойтись съ «казеннымъ міросозерцаніемъ» въ оцѣнкѣ текущей дѣйствительности, главнымъ образомъ, въ отрицательной сторонѣ оцѣнки, но была всетаки между ними такая непереходимая пропасть, которая дѣлала рѣшительно невозможными взаимныя любезности и дружескія рукопожатія. Въ тѣхъ случаяхъ, когда казенное міросозерцаніе взывало къ жандарму, славянофилы требовали свободы мысли. Извѣстное, напримѣръ, литературное направленіе могло и славянофиламъ, и казенному міросозерцанію одинаково казаться вреднымъ и неразумнымъ. Но казенное міросозерцаніе притомъ восклицало, какъ восклицаетъ и нынѣ: когда же, наконецъ, заткнутъ глотку этимъ вреднымъ и неразумнымъ людямъ?! Славянофилы, напротивъ, говорили: когда же, наконецъ, этимъ вреднымъ и неразумнымъ людямъ дадутъ высказаться вполнѣ, дабы неразуміе ихъ обнаружилось и вредъ улетучился въ свободной и честной борьбѣ мнѣній? Прибавьте къ этому демократическую струнку славянофильства; ту самую, которая породила обмѣнъ эпитетами: «мекленбургскій» и «демократическо-соціальный», и вы поймете, что любезная встрѣча, оказанная «Руси» «Берегомъ» и «Московскими Вѣдомостями», дѣйствительно, немножко неожиданна.

Значитъ, tempora mutantur. Но кто же въ настоящемъ случаѣ долженъ съ гордостью или стыдомъ докончить фразу: et nos mutamur in illis? Казенное міросозерцаніе? Нѣтъ, оно ничего не забыло, ничему не научилось и ничего не уступило. Еще недавно оно наполняло пространство воплями торжества и вящшей злобы. Если теперь, въ настоящую минуту, его торжество становится нѣсколько сомнительнымъ, то это, конечно, не по его винѣ, а злоба его ни мало не затихла; напротивъ, какъ осенняя муха, чующая приближеніе смерти, казенное міросозерцаніе, по крайней мѣрѣ, въ лицѣ «Берега», достигло невиданныхъ и неслыханныхъ предѣловъ грязи, цинизма, злости. И эти-то нищіе духомъ, эти-то люди, настолько невѣрующіе въ «истину», что не могутъ себѣ представить ея торжество безъ содѣйствія жандармеріи, эти люди дружески подмигиваютъ г. Аксакову, жмутъ ему руку и рекомендуютъ его: вотъ человѣкъ!

Такъ какъ казенное міросозерцаніе не пошатнулось, то не пошатнулось-ли славянофильство? Я не знаю, вы тоже не знаете. И въ этомъ состоитъ вторая неожиданность мыши, рожденной горою.

Одна ласточка весны не дѣлаетъ. Одинъ номеръ даже еженедѣльной газеты не можетъ высказаться вполнѣ. Но всѣ привыкли считать физіономію славянофильства настолько оригинальною и опредѣленною, а времена нынѣ стоятъ настолько крутыя, что ожидать отъ перваго номера «Руси» чего-нибудь большаго, чѣмъ онъ даетъ въ дѣйствительности, было вполнѣ натурально. Кругомъ мы видимъ голодъ и очевидную необходимость измѣненія направленія государственнаго хозяйства, рядъ небывало дерзкихъ политическихъ преступленій и окончательную невозможность дальнѣйшаго практическаго примѣненія казеннаго міросозерцанія. Около этихъ двухъ группъ жизненныхъ фактовъ и жизнью подсказываемыхъ выводовъ кристализуется вся, по истинѣ, страшная злоба дня. Быть или не быть не утопіи какой-нибудь, не Аркадіи съ вѣчно голубымъ небомъ и вѣчно изумрудною зеленью, а хоть маломальски сносному, мирному, бодрственному житью на Руси? Потому что вѣдь это почти сонъ, что мы кругомъ себя видимъ; дикій, фантастическій сонъ, полный химерическихъ образовъ. Наши нервы получили въ короткое время такую массу острыхъ возбужденій, что, наконецъ, притупились. Но можемъ же мы всетаки встряхнуться и понять, если не почувствовать. Безъ сомнѣнія, и г. Аксаковъ понялъ, потому что рѣшился прервать свое многолѣтнее молчаніе и принять участіе въ разъясненіи причинъ нашихъ бѣдъ и въ указаніи выхода. Никто не можетъ требовать, чтобы газета съ разу отвѣтила на всѣ вопросы тревожнаго дня. Но можно было ожидать указанія такого общаго пункта, съ котораго редакція «Руси» намѣрена обсуждать идеи и факты, и затѣмъ соотвѣтственнаго расположенія матеріала въ порядкѣ убывающей важности.

Что же намъ даетъ въ этомъ родѣ «Русь»?

Почтенная газета очень хорошо понимаетъ всю трудность переживаемой нами годины.

Ея первая передовая статья начинается такъ: «Много пережила Россія въ эти послѣдніе годы. Пережила и передумала. Величавыя міровыя событія, слава, какая рѣдко достается на долю народамъ—и рядомъ: цѣлая вереница событій своихъ, безславныхъ—точно позорныя язвы на тѣлѣ; побѣды и пораженія; проявленіе мощныхъ, невиданныхъ міромъ силъ и гнетущей внутренней немощи; дивные подвиги, несмѣтныя жертвы—и вѣнцомъ всего, дома: нестроеніе, недоумѣніе, сомнѣніе въ себѣ самой и своемъ призваніи. Было всего».

Привожу эту тираду съ математическою точностью, даже съ сохраненіемъ знаковъ препинанія подлинника, дабы не нанести его своеобразію ни малѣйшаго ущерба. Своеобразно оно, точно, но всякій, я думаю, согласится, что настоящее положеніе вещей требуетъ для своего изображенія не столько оригинально нескладнаго стиля, сколько гораздо болѣе яркихъ красокъ и гораздо большей рельефности. Какое ужъ тутъ «недоумѣніе», когда голодъ завтра загуляетъ по родинѣ, какъ полновластный хозяинъ! Иной замѣтитъ, пожалуй, что это факты, всѣмъ слишкомъ хорошо извѣстные, чтобы требовалась яркая и подробная ихъ характеристика. Въ настоящемъ случаѣ, это не совсѣмъ вѣрно, какъ читатель сейчасъ увидитъ.

Какъ бы то ни было, «Русь», въ той же первой своей передовой статьѣ, признаетъ, что «настоящая пора—пора великой исторической важности». И ознаменовать эту пору надо вотъ какъ. Прежде всего надо бросить подражаніе иноземнымъ образцамъ, чтобы Русь стала Русью, чтобы русская правда засіяла самобытнымъ свѣтомъ и проч., и проч., и проч. Это чрезвычайно старая пѣсня, имѣющая обыкновенно несчастіе разноситься туманомъ, не сгущаясь въ сколько-нибудь опредѣленныя формы. На этотъ разъ, однако, мы получаемъ нѣчто, если не вполнѣ опредѣленное, то, по крайней мѣрѣ, уловимое. Дѣло въ томъ, что вся передовая статья «Руси» посвящена полемикѣ съ мыслію о дальнѣйшемъ слѣдованіи по «пути реформъ» и объ «увѣнчаніи зданія» по европейскимъ образцамъ. «Вѣнчать зданіе!—восклицаетъ г. Аксаковъ:—да вѣнчать-то нечего! Зданія-то еще никакого нѣтъ!.. Пристально всматриваясь въ наше современное «зданіе», мы въ сущности увидимъ лишь двѣ истинныя историческія основы или, выражаясь техническимъ языкомъ русскихъ плотниковъ, двѣ *державы*, стоящія на лицо, твердыя, какъ гранитъ, пережившія вѣка, всѣ невзгоды и всѣ преобразованія. Это русскій народъ и единоличная верховная власть... Эти два начала, двѣ существенныя реальныя силы связаны между собою живымъ органическимъ союзомъ, которымъ и стоитъ наше государственное бытіе... Но это еще не зданіе».

Такимъ образомъ, въ принципѣ «Русь» ничего не имѣетъ или, по крайней мѣрѣ, ничего не говоритъ противъ увѣнчанія зданія, но находитъ его преждевременнымъ, ибо и самаго зданія еще нѣтъ. Конечно, разсуждаетъ г. Аксаковъ, можно хоть сейчасъ взять на прокатъ въ Европѣ извѣстную политическую форму, но проку изъ этого не выйдетъ, а выйдетъ, напротивъ, вредъ. Мы имѣемъ поучительный въ этомъ смыслѣ прецедентъ въ исторіи освобожденія крестьянъ. «Въ великодушномъ порывѣ, подъ вліяніемъ западно-европейскихъ воззрѣній, не разъ пытались у насъ и прежде рѣшить вопросъ о крестьянскомъ освобожденіи». Ну, и вышло бы, какъ съ освобожденіемъ польскихъ крестьянъ Наполеономъ въ 1811 г. и прибалтійскихъ крестьянъ Александромъ въ 1819 г., то-есть вышло бы освобожденіе безъ земли, тогда какъ, дождавшись 1861 г., мы получили свое, оригинальное рѣшеніе вопроса. «Вотъ что значитъ дождаться національнаго рѣшенія своихъ національныхъ задачъ», замѣчаетъ г. Аксаковъ. Но, такъ какъ изъ повелительнаго наклоненія «дожидайся» никоимъ образомъ политической программы устроить нельзя, а газета должна же имѣть таковую, то и г. Аксаковъ предъявляетъ свою. При этомъ оказывается, что вышеприведенное разсужденіе о двухъ и только двухъ «державахъ» не слѣдуетъ понимать ужъ такъ буквально. Не знаю, какъ вяжется теорія двухъ державъ съ нижеслѣдующимъ, но во всякомъ случаѣ, по мнѣнію г. Аксакова, «изъ-за рушившейся стѣны крѣпостного права тотчасъ же высунулось встрѣченное единодушнымъ сочувствіемъ народа лицо мирового посредника—*перваго новаго земскаго человѣка*. Этотъ типъ земскаго человѣка не былъ знакомъ древней Руси; это уже новый, но исторически организовавшійся типъ! Процессъ мучительной формаціи завершился; создались силы, интеллигентныя земскія силы, которыхъ именно недоставало древней сиротствующей земщинѣ».

Но всетаки, «можно-ли строить верхніе ярусы, пока мы не обознаемъ въ точности, не утвердимъ самыхъ его основъ»? Нѣтъ, нельзя. «Не въ высь и не въ ширь простираться посовѣтовали бы мы теперь нашимъ земствамъ, а *въ глубь да около* (всѣ курсивы принадлежатъ «Руси»). Надо прежде всего стать живою правдою въ уѣздѣ, а для достиженія этого едва-ли не безразлично все то, въ чемъ до сихъ поръ видѣли и видятъ они помѣху». Г. Аксаковъ представляетъ себѣ дѣло такъ: правительство «предоставляетъ намъ заняться составленіемъ плана *ад-*

и неволею, предоставляя государственныя средства на преувеличенное развитіе частныхъ интересовъ и кладя къ подножію ихъ благосостояніе народа и «національный» принципъ. А мы тѣмъ временемъ все съ гордостью вспоминаемъ, что дождались національнаго рѣшенія національныхъ задачъ! Мало того—ссылаясь на этотъ, такъ сказать, съѣденной молью примѣръ, рекомендуемъ ожиданіе, какъ политическій принципъ, программу! А! лѣтъ пятнадцать тому назадъ, это были бы, можетъ быть, разумныя рѣчи. Теперь онѣ запоздали. Аплодируя торжественному вшествію банкирской и желѣзнодорожной Европы, смѣшно до чего хотите смѣшно, запирать двери передъ Европой политической и научной.

Ибо, даже признавая разныя гордости гг. Аксаковыхъ и иныхъ въ принципѣ законными, Европа можетъ обратиться къ намъ словами книги пророка Исаіи: «И ты сдѣлался безсильнымъ, какъ мы! и ты сталъ подобенъ намъ! Въ преисподнюю низвержена гордыня твоя со всѣмъ шумомъ твоимъ; подъ тобою подстилается червь, и черви—покровъ твой!»

Оглавленіе четвертаго тома.

стр.

Жертва старой русской исторіи (1868 г.) 1
Идеализмъ, идолопоклонство и реализмъ (1873 г.) 31
Суздальцы и суздальская критика (1870 г.) 69
О литературной дѣятельности Ю. Г. Жуковскаго (1871 г.) 137
Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Ю. Жуковскаго (1877 г.) 165

Въ перемежку. (Фантазія, дѣйствительность, воспоминанія, предсказанія) **(1876—1877 г.)** 205
Письма о правдѣ и неправдѣ (1877 г.) 381
Литературныя замѣтки 1878 г.
I. Химеры и центавры.—Жизнь и сочиненія Н. С. Никитина.—Отвлеченная литература и отвлеченные литераторы. О газетахъ 463
II. Опять о газетахъ.—Русскій политическій корреспондентъ.—О новыхъ журналахъ.—О хорошемъ поступкѣ и ошибочныхъ мнѣніяхъ г. Антоновича.—Рыцарь Ла-Серда. 495
III. Хвастовство и его исторія.—Хвастовство «Недѣли».—Умъ и чувства, какъ факторы прогресса.—Горе не отъ ума. . 527
IV. О новыхъ повѣстяхъ гг. Авсѣенко, Полонскаго, г-жи Стацевичъ, Писемскаго.—О положительныхъ типахъ въ беллетристикѣ. 549
Письма къ ученымъ людямъ (1878 г.).
I. Письмо къ проф. Цитовичу 575
II. Письмо къ гг. Герье и Чичерину 597
III. Второе письмо къ проф. Цитовичу 620
IV. Письмо къ издателямъ «Критическаго Обозрѣнія» 635
Житейскія и художественныя драмы (1879 г.) 641
Литературныя замѣтки 1879 г.
I. Нѣсколько словъ о славянофильствѣ и западничествѣ . . 685
II. Безъ вины виноватые 701
III. Къ теоріи вольницы и подвижниковъ 721
IV. Экспериментальный романъ 756
V. Обличеніе и казнь порока 782

ный вопросъ, но тѣмъ паче не подобаетъ разрубать его по-македонски, простою ссылкою на какой бы то ни было единичный историческій примѣръ. Еще менѣе резоновъ разрубать узелъ мечемъ картоннымъ, то-есть хвастливой фразой о «дивныхъ подвигахъ» или о томъ, что «въ Россіи ежедневно происходитъ 30 или 40 тысячъ сходокъ совершенно свободно и безъ всякаго полицейскаго комиссара». Подобное нелѣпое хвастовство, недостойное честнаго публициста, должно быть совершенно изгнано изъ дебатовъ о судьбахъ родины, если дебатирующимъ эти судьбы, въ самомъ дѣлѣ, хоть сколько-нибудь дороги. Картонныхъ мечей «Русь» выставила цѣлый арсеналъ, но о дѣлѣ не сказала ни слова.

Вопросъ, можетъ быть, и труденъ для разрѣшенія, но стоитъ очень просто: почему дѣло реформы должно быть пріостановлено? Если мы отбросимъ аргументы македонскіе и картонные, то едва-ли не единственное подходящее указаніе найдемъ не въ передовой статьѣ, а въ «политической лѣтописи», начинающейся слѣдующими словами: «Странное дѣло! Едва только перенесешься мыслью за нашу западную границу, какъ эта мысль невольно и незамѣтно пріурочивается не къ народамъ, не къ странамъ, даже не къ «интересамъ» того или другого государства, явно заявленнымъ исторіей, а къ *лицамъ*, къ личному произволу того или другого политическаго дѣятеля». И далѣе: «Восторжествуй опять Биконсфильдъ надъ Гладстономъ, и міръ увидѣлъ бы странное зрѣлище: какъ въ теченіи одного года одна и та же страна три раза перемѣнила свою политику, и каждый разъ въ направленіи діаметрально противоположномъ». (Рѣчь идетъ объ англійской политикѣ въ восточномъ вопросѣ). Многое, и горькое, и смѣшное, приходитъ въ голову по поводу этого размышленія. Но мало-ли какую горечь и какіе комическіе моменты приходится проглатывать! Однако, всетаки любопытно было бы знать, что возразитъ г. Аксаковъ иностранцу, который произнесетъ такое сужденіе: «Восторжествуй опять гр. Д. А. Толстой, и міръ увидѣлъ бы странное зрѣлище» и т. д. И многое еще подобное могъ бы замѣтить иностранецъ, а если способенъ замѣтить иностранецъ, то тѣмъ болѣе обязаны замѣчать мы. Европа, конечно, далеко не Аркадія, въ которой аркадскіе пастушки, любовно перемигиваясь съ аркадскими пастушками, любовно пасутъ аркадскихъ барашковъ, въ свою очередь, тоже любовно поглядывающихъ на своихъ пастырей. Есть въ европейской жизни стороны, очень неудобныя, есть и прямо возмутительныя. Критикуйте эти стороны, бичуйте ихъ и молите Бога истины и справедливости, чтобы чаша эта миновала насъ. Если въ васъ хватитъ спартанской надменности, то смотрите, пожалуй, на Европу, какъ на илота, котораго исторія напоила допьяна намъ въ поученіе. Но помните, что поученіе не картонными мечами добывается. Поученіе добудется только въ такомъ случаѣ, если мы рѣшимъ хоть по временамъ честно и трезво оглядываться кругомъ себя. Иначе мы можемъ очутиться въ очень трагическомъ или въ очень комическомъ положеніи, какъ смотрѣть на дѣло. Оскорбительно горько представить себѣ русскаго человѣка, молящагося о минованіи чаши и, въ то же самое время, помимо воли и сознанія, пьющаго изъ этой самой чаши. Оскорбительно-смѣшно представить себѣ русскаго человѣка, пьющаго изъ той же чаши, но съ комическою надменностью размахивающаго картоннымъ мечемъ и увѣряющаго, что онъ гарантированъ отъ европейскихъ язвъ. Осмотритесь, и вы увидите, что мы *еще* не имѣемъ лучшаго изъ того, что создано вѣковымъ трудомъ Европы, но *уже* имѣемъ слишкомъ многое изъ ея печальнаго и грязнаго наслѣдія. Индѣ въ зародышѣ, а индѣ даже въ преувеличенномъ размѣрѣ, подъ сѣнію нашего недостроеннаго зданія разростается многое европейское, съ чѣмъ сама Европа, по крайней мѣрѣ, имѣетъ возможность бороться.

«Русь» скажетъ, пожалуй: моимъ же добромъ, да мнѣ же челомъ. Мы, дескать, именно это самое и говоримъ. Нѣтъ, не вашимъ добромъ, ибо, во-первыхъ, изъ нашего разсужденія никоимъ образомъ не можетъ проистечь повелительное наклоненіе «дожидайся», такъ какъ, по истинѣ, уже дождались, а во-вторыхъ, г. Аксаковъ навѣрное не согласится съ нами въ оцѣнкѣ пунктовъ непотребнаго вторженія Европы. Не согласится, потому что такими пунктами мы признаемъ, между прочимъ, и газету «Русь», редактируемую г. Аксаковымъ, и существующую систему кредита, съ которой г. Аксаковъ тѣсно связанъ въ качествѣ директора одного изъ московскихъ банковъ...

Я сейчасъ прочиталъ второй и третій номера «Руси» и жалѣю, что потратилъ столько времени и мѣста на бесѣду объ этой почтенной газетѣ. Справедливо говоритъ «Молва», что, если г. Аксаковъ будетъ такъ продолжать, то его скоро и въ редакціяхъ читать перестанутъ. Но вино откупорено, надо его выпить, хоть на-скоро. Я сдѣлаю еще только два замѣчанія о «Руси» и затѣмъ перейду къ другимъ матеріаламъ.

Въ передовой статьѣ № 1 «Руси» съ величайшею опредѣленностью говорится: «въ Россіи ежедневно происходитъ 30 и 40 ты-

сячъ сходокъ совершенно свободно и безъ всякаго полицейскаго комиссара: мы разумѣемъ наши сельскіе міры или вѣча». Этимъ *фактомъ* г. Аксаковъ, такъ сказать, тычетъ въ носъ «любому иностранцу», который, по его предположенію, долженъ «ахнуть» отъ такого «либерализма». Ну, а что скажетъ любой иностранецъ, прочитавъ № 3 «Руси», въ статьѣ г. Н. Б. «Скрытыя причины яваго зла» слѣдующія строки: «Мало уже они (крестьяне) вѣрятъ въ казенные волостные сходы, а складываются tacitu consensu въ никому невѣдомыя гнѣзда многими деревнями и что имъ вѣдать надлежитъ, про то вѣдаютъ втихомолку. А на полосатыхъ столбахъ возлѣ казенныхъ волостныхъ правленій красуется гербъ и буквы М. В. Д. Уже становой и исправникъ распоряжаются тамъ, что называется, какъ у себя дома; но и послѣдній сотскій и десятскій и самъ непосредственный начальникъ сихъ нижнихъ чиновъ земской полиціи, конный урядникъ— первоприсутствующіе и непрерывно присутствующіе тамъ члены».

Я не комментирую. Я только спрашиваю: куда дѣвались эти вольныя «вѣча», передъ которыми долженъ ахать любой иностранецъ? Куда дѣвались они въ теченіе трехъ недѣль, лежащихъ между первымъ и третьимъ номеромъ «Руси», и износилъ-ли г. Аксаковъ за это время хоть одну пару сапогъ?

Надѣюсь, читатель, вы не ожидали такой быстрой смѣны декорацій, такой фантастической фееріи съ превращеніями и провалами, не говоря уже о бенгальскихъ огняхъ.

Но изъ всѣхъ неожиданностей, какими «Русь» угостила читателей въ своемъ первомъ же номерѣ, самая пикантная есть, я думаю, статья г. Дмитрія Самарина «Теорія о недостаточности крестьянскихъ надѣловъ по ученію профессора Ю. Э. Янсона». Профессоръ Янсонъ намѣренъ, какъ я слышалъ, отвѣчать г. Самарину въ газетѣ «Порядокъ» и въ новомъ изданіи своего, давно уже не имѣющагося въ продажѣ, труда. Тогда мы, можетъ быть, еще вернемся къ этой темѣ, а теперь посмотримъ на статью г. Самарина только съ точки зрѣнія неожиданности.

Безъ сомнѣнія, эпитетъ «демократическо-соціальный», который нѣкогда прилагался «Московскими Вѣдомостями» къ изданіямъ г. Аксакова, этимъ послѣднимъ никогда не былъ заслуженъ. Всегда себѣ вѣрныя, «Московскія Вѣдомости» уличали славянофильскія изданія въ «травлѣ» дворянства и въ поползновеніяхъ унизить и ограбить его. Все это вздоръ, конечно. Газетовый бояринъ былъ г. Аксакову всегда по малой мѣрѣ такъ же дорогъ, какъ и сермяжный мужикъ. Самую идею и самое даже слово «демократизмъ» онъ неоднократно отталкивалъ отъ себя съ негодованіемъ и презрѣніемъ, какъ порожденіе запада. Тѣмъ не менѣе, благодаря сплетенію разныхъ недоразумѣній, распутывать которыя мы не будемъ, за славянофилами укрѣпилась репутація нарочито демократической, народолюбивой школы. Въ частности, видя въ освобожденіи крестьянъ съ землею «національное рѣшеніе національной задачи», а въ общинѣ исконное славянское учрежденіе, чуждое западу, «День» г. Аксакова горячо ратовалъ противъ теорій «свободы труда», имѣвшихъ въ перспективѣ обезземелить крестьянъ и превратить ихъ въ «хорошихъ» рабочихъ на чужой землѣ и у чужого дѣла вообще. Въ виду этихъ-то обстоятельствъ, появленіе статьи г. Самарина въ первомъ же номерѣ «Руси» дѣйствительно пикатно и здѣсь, безъ сомнѣнія, надо главнымъ образомъ искать причинъ тѣхъ дружественныхъ объятій, которыя «Берегъ» и «Московскія Вѣдомости» распростерли газетѣ г. Аксакова. Не удивительно, что г. Самаринъ и проф. Янсонъ различно смотрятъ на размѣры крестьянскихъ надѣловъ. Но то удивительно, что г. Самаринъ *три года* (книга г. Янсона вышла 1877 г.) молчалъ, сочиняя свою критику или ища для нея пристанища, а г. Аксаковъ предоставилъ этой критикѣ мѣсто въ первомъ номерѣ «Руси», какъ бы признавая тѣмъ самымъ, что болѣе вреднаго литературнаго явленія нѣтъ и за три года не было. Напримѣръ, книга гг. Чичерина и Герье (если уже нужны старыя книги, а она, впрочемъ, и моложе книги г. Янсона), книга, въ которой подвергаются поруганію, казалось бы, самые завѣтные идеалы славянофиловъ, это—ничего, объ ней можно промолчать, а съ книгой г. Янсона надо поторопиться! А между тѣмъ, что же такого въ этой книгѣ особенно зловреднаго съ спеціально славянофильской точки зрѣнія, съ той самой точки зрѣнія, которую, надо было думать, г. Аксаковъ съ свойственною ему и, такъ сказать, наслѣдственною прямотой обнаружитъ въ первомъ же номерѣ? Г. Янсонъ, основываясь на правительственныхъ заявленіяхъ и документахъ, говоритъ, между прочимъ: «Итакъ, крестьянамъ давалась при освобожденіи не только усадебная осѣдлость, во избѣжаніе бродяжничества, но и полевой надѣлъ, который бы, во-первыхъ, обезпечивалъ ихъ бытъ; во-вторыхъ, кромѣ того, давалъ имъ возможность выполнять ихъ обязанности предъ правительствомъ и помѣщиками, т. е. платить налоги государственные и другіе, и выкупные платежи или оброки». Этотъ «великій принципъ»

привѣтствовался, какъ «долженствовавшій спасти Россію отъ язвы пролетаріата и положить такія прочныя основы нашему будущему хозяйственному и соціальному развитію, какихъ была лишена западная Европа». Отъ этого великаго принципа Редакціонныя Комиссіи въ своихъ работахъ уклонились, и въ результатѣ мы имѣемъ настоящее положеніе вещей, настоятельно требующее податной и аграрной реформъ. Съ такою постановкою и съ такимъ рѣшеніемъ вопроса «Русь» рѣшительно несогласна. Она не только не можетъ написать слова «великій принципъ» безъ ироническихъ ковычекъ, но, совершенно забывая свою теорію «двухъ державъ», говоритъ устами г. Самарина: «Вмѣсто того, чтобы научнымъ путемъ доказать справедливость принципа и возможность его осуществленія, ученый профессоръ довольствуется утвержденіемъ, что его точка зрѣнія согласна со взглядомъ правительства и что принципъ, изъ котораго онъ исходитъ, установленъ правительствомъ. Но правильно-ли поступаетъ профессоръ, перенося въ научную сферу подчиненіе авторитету правительственному, вполнѣ законное и умѣстное въ жизни, иначе сказать, правильно-ли авторитетомъ правительственнымъ разрѣшать научные вопросы?» Конечно, неправильно. Но какъ всетаки далеко мы ушли отъ тѣхъ двухъ державъ, которыя однѣ высятся въ безбрежномъ морѣ русскаго небытія и единеніе которыхъ могло бы, кажется, такъ полно осуществиться въ практическомъ примѣненіи «великаго принципа»! Стало быть есть на Руси и кромѣ двухъ державъ нѣчто крѣпкое, авторитетное, и именно — наука! А наука въ окончательномъ выводѣ говоритъ вотъ что: «Итакъ, быть крестьянъ у насъ можетъ, а, слѣдовательно, и долженъ быть обезпеченъ не однимъ поземельнымъ надѣломъ, а *надѣломъ и личнымъ трудомъ* (курсивъ «Руси»), приложеннымъ частью къ душевому надѣлу, частью *къ землѣ, снимаемой въ аренду* (курсивъ мой), частью къ промысламъ кустарнымъ и отхожимъ, частью къ торговлѣ и т. д.»

Значитъ, господамъ помѣщикамъ арендаторы нужны, и въ этомъ состоитъ наука. Признаюсь, я никогда не слыхалъ объ такой наукѣ, которая ставила бы обработку арендованной земли, въ качествѣ самостоятельной отрасли производства, рядомъ съ земледѣліемъ собственно и промыслами. Должно быть это и есть та самая русская наука, настоящая русская, которою славянофилы давно уже грозятся удивить Европу. Но какъ, однако, въ этой русской наукѣ много «мекленбургскаго»!..

Довольно о «Руси».

Николай Тургеневъ разсказываетъ въ своихъ извѣстныхъ мемуарахъ, что въ царствованіе Александра I ему приходилось вести горячіе споры объ относительномъ значеніи общей реформы и освобожденія крестьянъ. Находилось не малое, повидимому, число людей, требовавшихъ извѣстныхъ правъ для себя, для такъ называемаго «общества», но полагавшихъ при этомъ, что масса народа должна оставаться въ крѣпостномъ безправіи. Тургеневъ, какъ онъ самъ разсказываетъ, съ негодованіемъ возставалъ противъ такого рѣшенія, указывая на вѣроятныя возмутительныя послѣдствія реформы при такихъ условіяхъ. Онъ находилъ, что съ реформой надо подождать впредь до освобожденія крестьянъ и былъ, разумѣется, вполнѣ справедливъ. Мы имѣемъ здѣсь образчикъ сознательнаго, резоннаго приглашенія ждать, безъ мистическаго разговора о національномъ рѣшеніи національныхъ задачъ, но за то съ опредѣленнымъ указаніемъ на мотивы и предѣлъ ожиданія. Именно такого рода указанія должны быть предъявлены теперь людьми, утверждающими, что нынѣшняя наша реформаціонная эпоха должна быть пріостановлена въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи. Выражаясь устарѣлымъ уже нынѣ слогомъ кн. Мещерскаго, мы можемъ относиться къ «точкѣ къ реформамъ» безъ всякихъ предразсудковъ. Мы можемъ спокойно взвѣсить доводы pro и contra, если, конечно, это будутъ въ самомъ дѣлѣ доводы, а не хвастливыя фразы о вольныхъ вѣчахъ и тому подобныхъ вещахъ, фразы, неспособныя прожить дольше трехъ недѣль. Возьмемъ для примѣра такой мотивъ и такой предѣлъ ожиданія: точка у реформъ должна стоять съ непоколебимостью часового впредь до тѣхъ поръ, когда наше, такъ называемое народное просвѣщеніе станетъ, во-первыхъ, дѣйствительнымъ просвѣщеніемъ, а во-вторыхъ, дѣйствительно народнымъ; тогда, дескать, и только тогда часовой можетъ быть снятъ, и пусть свободная жизнь польется кипучимъ потокомъ, не компрометируемая невѣжествомъ и естественнымъ безсиліемъ невѣжества. Хотя ни одинъ спеціалистъ по части знаковъ препинанія никогда не указывалъ на этотъ мотивъ и этотъ предѣлъ пріостановки, но въ пользу ихъ можно бы было несомнѣнно сказать очень многое, очень вѣское. Однако, тщательно собравъ всѣ доводы, какіе могутъ быть сдѣланы съ этой точки зрѣнія, вы сдѣлаете еще только полдѣла. Какова бы ни была безотносительная, отвлеченная цѣнность этихъ аргументовъ, они подлежатъ еще нѣкоторой переоцѣнкѣ, ибо противникъ можетъ возразить: это такъ, все это теоретически вѣрно, но докажите мнѣ, что при наличныхъ порядкахъ возмо-

женъ фундаментъ вашего логическаго зданія; докажите, что пріостановка можетъ способствовать или, по крайней мѣрѣ, не мѣшать превращенію фикціи народнаго просвѣщенія въ дѣйствительность. Вотъ если и это обстоятельство будетъ доказано, то мы будемъ имѣть полную, законченную аргументацію. Пусть же кто-нибудь попробуетъ ее представить!

Точно такимъ же требованіямъ должна удовлетворить теорія ожиданія національнаго разрѣшенія національныхъ задачъ, если она хочетъ, въ самомъ дѣлѣ, убѣждать слушателей и читателей, а не оглушать ихъ звономъ всѣхъ сорока сороковъ Москвы. Теорія должна доказать, что рекомендуемый ею процессъ ожиданія, дѣйствительно, можетъ облегчить или подготовить извѣстное благопріятное рѣшеніе нашихъ кровныхъ вопросовъ. Допустимъ, что въ словахъ «ожиданіе національнаго рѣшенія національныхъ задачъ» заключается вполнѣ опредѣленный смыслъ, и посмотримъ, не подрывается-ли «національное», если не непосредственно самымъ ожиданіемъ, то сопутствующими ему условіями жизни.

Рекомендую вниманію читателей, статью г. Николая—она «Очерки нашего пореформеннаго общественнаго хозяйства», напечатанную въ октябрьской книжкѣ «Слова». Читатель «Отечественныхъ Записокъ» не встрѣтитъ въ общемъ характерѣ и направленіи этой статьи чего-нибудь незнакомаго, но навѣрное заинтересуется многими подробностями и чрезвычайно любопытной, можно сказать, картинной группировкой фактовъ.

Будучи, очевидно, чуждъ русско-мекленбургской наукѣ «Руси», г.—онъ начинаетъ свое изслѣдованіе, подобно г. Янсону, а именно выпиской изъ манифеста 19-го февраля 1861 г. Затѣмъ онъ задается вопросомъ: почему же положенный въ основаніе освобожденія принципъ земельнаго надѣла («національное рѣшеніе національной задачи») не далъ ожидаемыхъ благихъ результатовъ? Уже въ самомъ началѣ семидесятыхъ годовъ,по разсчету нашего автора (на основаніи «Трудовъ податной комиссіи»), государственные и удѣльные крестьяне въ 37 губерніяхъ европейской Россіи платили изъ чистаго дохода, даваемаго землей, $92,_{75}$%. Платежи же бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ, по отношенію къ чистому доходу съ земли, выражались $098._{28}$%, т. е. они не только отдавали весь свой доходъ съ земли, но должны были приплачивать еще столько же изъ сторонняхъ заработковъ. Съ тѣхъ поръ уровень народнаго благосостоянія еще болѣе понизился. Но это пониженіе не можетъ быть приписываемо, какъ дѣлаютъ обыкновенно, исключительно тяжести податей. Есть еще иныя причины ухудшенія народнаго хозяйства. Эти причины лежатъ въ начавшейся на Руси тотчасъ послѣ освобожденія крестьянъ борьбѣ двухъ противоположныхъ экономическихъ принциповъ. «Принципъ манифеста—надѣленіе крестьянъ землей, или выражаясь шире, доставленіе самимъ производителямъ орудій труда для наибольшаго развитія производительности, а слѣдовательно для развитія условій, наиболѣе обезпечивающихъ экономическій ростъ всего народа; принципъ этотъ стоялъ въ безусловномъ противорѣчіи съ принципомъ, на которомъ зиждется хозяйственный строй западно-европейскихъ государствъ». Европою, въ экономическомъ отношеніи (авторъ говоритъ исключительно объ экономическихъ явленіяхъ), правитъ принципъ капиталистическій, основная черта котораго состоитъ въ разлученіи производителя, съ одной стороны, и орудій производства и произведеннаго продукта, съ другой. У насъ былъ, напротивъ, торжественно заявленъ принципъ принадлежности орудій и продукта производства никому иному, какъ производителю. Но, будучи заявленъ, онъ не получилъ дальнѣйшаго развитія. Уже въ самомъ «Положеніи» находятся статьи, противорѣчащія его основному принципу, а «послѣ него не было ни одного законодательнаго акта, имѣющаго цѣлью развитіе крестьянъ, какъ производителей: вся послѣдующая государственно-хозяйственная дѣятельность была направлена въ совершенно противоположную сторону». Вторженіе капиталистическаго принципа произведено такими, «повидимому, невинными» средствами, какъ кредитъ и желѣзныя дороги. Анализомъ этихъ двухъ путей вторженія и занимается статья г.—она.

Я не хочу снимать съ читателей нравственной обязанности прочитать статью г.—она въ подлинникѣ (надо надѣяться, что она появится отдѣльнымъ изданіемъ). Притомъ же изложеніе этой обширной статьи заняло бы много времени и мѣста и отвлекло бы насъ далеко въ сторону. Съ насъ достаточно слѣдующаго вывода, несомнѣнно вытекающаго изъ указанной статьи: дождавшись «національнаго разрѣшенія національной задачи», мы, можно сказать, въ ту же минуту настежъ отворили свои ворота банкирской и желѣзнодорожной Европѣ. *Эта* Европа, вторгаясь къ намъ безъ всякаго съ нашей стороны протеста, быстро и цѣпко душитъ задатки нашего оригинальнаго или, пожалуй, если хотите національнаго экономическаго развитія. Наше недостроенное зданіе не только не мѣшаетъ этому вторженію, а напротивъ, способствуетъ ему волею

и неволею, предоставляя государственныя средства на преувеличенное развитіе частныхъ интересовъ и кладя къ подножію ихъ благосостояніе народа и «національный» принципъ. А мы тѣмъ временемъ все съ гордостью вспоминаемъ, что дождались національнаго рѣшенія національныхъ задачъ! Мало того—ссылаясь на этотъ, такъ сказать, съѣденной молью примѣръ, рекомендуемъ ожиданіе, какъ политическій принципъ, программу! А! лѣтъ пятнадцать тому назадъ, это были бы, можетъ быть, разумныя рѣчи. Теперь онѣ запоздали. Аплодируя торжественному вшествію банкирской и желѣзнодорожной Европы, смѣшно до-до чего хотите смѣшно, запирать двери передъ Европой политической и научной.

Ибо, даже признавая разныя гордости гг. Аксаковыхъ и иныхъ въ принципѣ законными, Европа можетъ обратиться къ намъ словами книги пророка Исаіи: «И ты сдѣлался безсильнымъ, какъ мы! и ты сталъ подобенъ намъ! Въ преисподнюю низвержена гордыня твоя со всѣмъ шумомъ твоимъ; подъ тобою подстилается червь, и черви—покровъ твой!»

Оглавленіе четвертаго тома.

	стр.
Жертва старой русской исторіи (1868 г.)	1
Идеализмъ, идолопоклонство и реализмъ (1873 г.)	31
Суздальцы и суздальская критика (1870 г.)	69
О литературной дѣятельности Ю. Г. Жуковскаго (1871 г.)	137
Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Ю. Жуковскаго (1877 г.)	165

Въ перемежку. (Фантазія, дѣйствительность, воспоминанія, предсказанія) **(1876—1877 г.)** 205

Письма о правдѣ и неправдѣ (1877 г.) 381

Литературныя замѣтки 1878 г.

I. Химеры и центавры.—Жизнь и сочиненія Н. С. Никитина.—Отвлеченная литература и отвлеченные литераторы. О газетахъ 463

II. Опять о газетахъ.—Русскій политическій корреспондентъ.—О новыхъ журналахъ.—О хорошемъ поступкѣ и ошибочныхъ мнѣніяхъ г. Антоновича.—Рыцарь Ла-Серда. 495

III. Хвастовство и его исторія.—Хвастовство «Недѣли».—Умъ и чувства, какъ факторы прогресса.—Горе не отъ ума. 527

IV. О новыхъ повѣстяхъ гг. Авсѣенко, Полонскаго, г-жи Стацевичъ, Писемскаго.—О положительныхъ типахъ въ беллетристикѣ. 549

Письма къ ученымъ людямъ (1878 г.).

I. Письмо къ проф. Цитовичу 575

II. Письмо къ гг. Герье и Чичерину 597

III. Второе письмо къ проф. Цитовичу 620

IV. Письмо къ издателямъ «Критическаго Обозрѣнія» 635

Житейскія и художественныя драмы (1879 г.) 641

Литературныя замѣтки 1879 г.

I. Нѣсколько словъ о славянофильствѣ и западничествѣ 685

II. Безъ вины виноватые 701

III. Къ теоріи вольницы и подвижниковъ 721

IV. Экспериментальный романъ 756

V. Обличеніе и казнь порока 782

стр.
VI. Теорія внутренняго равновѣсія 801
VII. Кое-что 828
Литературныя замѣтки 1880 г.
I. Январь 837
II. Мартъ 857
III. Апрѣль. 871
IV. Май 898
V. Іюль 910
VI. Августъ 924
VII. Сентябрь 940
VIII. Октябрь 958
IX. Ноябрь 977
X. Декабрь 1000

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

DEC 15 2011

STALL STUDY CHARGE

WIDENER
BOOK DUE
FEB 2 4 1988
JUL - 9 1988
2580651

WIDENER
BOOK DUE
FEB - 3 1981
7016324